VISIT…

Annotation

В четвертом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатаются произведения, опубликованные в 1861–1866 гг.: «Униженные и оскорбленные», «Скверный анекдот», «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья», «Крокодил», «Игрок». Все они (кроме «Игрока») впервые публиковались в журналах Ф. М. и М. М. Достоевских «Время» и «Эпоха».

http://rulitera.narod.ru

- Федор Михайлович Достоевский
  - Униженные и оскорбленные
    -
    - Часть первая
      - Глава I
      - Глава II
      - Глава III
      - Глава IV
      - Глава V
      - Глава VI
      - Глава VII
      - Глава VIII
      - Глава IX
      - Глава X
      - Глава XI
      - Глава XII
      - Глава XIII
      - Глава XIV
      - Глава XV
    - Часть вторая
      - Глава I
      - Глава II
      - Глава III
      - Глава IV
      - Глава V

        - Глава VI
        - Глава VII
        - Глава VIII
        - Глава IX
        - Глава X
        - Глава XI
    - Часть третья
        - Глава I
        - Глава II
        - Глава III
        - Глава IV
        - Глава V
        - Глава VI
        - Глава VII
        - Глава VIII
        - Глава IX
        - Глава X
    - Часть четвертая
        - Глава I
        - Глава II
        - Глава III
        - Глава IV
        - Глава V
        - Глава VI
        - Глава VII
        - Глава VIII
        - Глава IX
    - Эпилог
- Скверный анекдот
- Зимние заметки о летних впечатлениях
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
    - Глава V
    - Глава VI
    - Глава VII

        - Глава VIII
    - Записки из подполья
        - I
            - I
            - II
            - III
            - IV
            - V
            - VI
            - VII
            - VIII
            - IX
            - X
            - XI
        - II
            - I
            - II
            - III
            - IV
            - V
            - VI
            - VII
            - VIII
            - IX
            - X
    - Крокодил. Необыкновенное событие, или пассаж в пассаже
        -
        -
        - I
        - II
        - III
        - IV
    - Игрок
        -
        - Глава I
        - Глава II
        - Глава III

        - Глава IV
        - Глава V
        - Глава VI
        - Глава VII
        - Глава VIII
        - Глава IX
        - Глава X
        - Глава XI
        - Глава XII
        - Глава XIII
        - Глава XIV
        - Глава XV
        - Глава XVI
        - Глава XVII
    - Примечания
        -
        - Униженные и оскорбленные
        - Скверный анекдот
        - Зимние заметки о летних впечатлениях
        - Записки из подполья
        - Крокодил
        - Игрок
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14

- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51

- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88

- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125

- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162

- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199

- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232

- comments
  - 1
  - 2
  - 3

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40

- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77

- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114

- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151

- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188

- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225

- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262

- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299

- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336

- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368

Федор Михайлович Достоевский
Собрание сочинений в пятнадцати томах
Том 4. Униженные и оскорбленные. Повести и рассказы 1862-1866. Игрок.

Униженные и оскорбленные

роман в четырех частях с эпилогом

Часть первая

Глава I

Прошлого года, двадцать второго марта, вечером со мной случилось престранное происшествие. Весь этот день я ходил по городу и искал себе квартиру. Старая была очень сыра, а я тогда уже начинал дурно кашлять. Еще с осени хотел переехать, а дотянул до весны. В целый день и ничего не мог найти порядочного. Во-первых, хотелось квартиру особенную, не от жильцов, а во-вторых, хоть одну комнату, но непременно большую, разумеется вместе с тем и как можно дешевую. Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате. Кстати: мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же?

Еще с утра я чувствовал себя нездоровым, а к закату солнца мне стало даже и очень нехорошо начиналось что-то вроде лихорадки. К тому же я целый день был на ногах и устал. К вечеру, перед самыми сумерками, проходил и по Вознесенскому проспекту. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли… Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!

Но солнечный луч потух; мороз крепчал и начинал пощипывать за нос; сумерки густели; газ блеснул из магазинов и лавок. Поровнявшись с кондитерской Миллера, я вдруг остановился как вкопанный и стал смотреть на ту сторону улицы, как будто предчувствуя, что вот сейчас со мной случится что-то необыкновенное, и в это-то самое мгновение на противоположной стороне я увидел старика и его собаку. Я очень хорошо помню, что сердце мое сжалось от какого-то неприятнейшего ощущения и я сам не мог решить, какого рода было это ощущение.

Я не мистик, в предчувствия и гаданья почти не верю; однако со мною, как, может быть, и со всеми, случилось в жизни несколько происшествий, довольно необъяснимых. Например, хоть этот старик: почему при тогдашней моей встрече с ним, я тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мной случится что-то не совсем обыденное? Впрочем, я был болен, а болезненные ощущения почти всегда бывают обманчивы.

Старик своим медленным, слабым шагом, переставляя ноги, как будто палки, как будто не сгибая их, сгорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара, приближался к кондитерской. В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры. И прежде, до этой встречи, когда мы сходились с ним у Миллера, он всегда болезненно поражал меня. Его высокий рост, сгорбленная спина, мертвенное восьмидесятилетнее лицо, старое пальто, разорванное по швам, изломанная круглая двадцатилетняя шляпа, прикрывавшая его обнаженную голову, на которой уцелел, на самом затылке, клочок уже не седых, а бело-желтых волос; все движения его, делавшиеся как-то бессмысленно, как будто по заведенной пружине, — всё это невольно поражало всякого, встречавшего его в первый раз. Действительно, как-то странно было видеть такого отжившего свой век старика одного, без присмотра, тем более что он был похож на сумасшедшего, убежавшего от своих надзирателей. Поражала меня тоже его необыкновенная худоба: тела на нем почти не было, и как будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону и никогда ничего не видя, — я в этом уверен. Он хоть и смотрел на вас, но шел прямо на вас же, как будто перед ним пустое пространство. Я это несколько раз замечал. У Миллера он начал являться недавно, неизвестно откуда и всегда вместе с своей собакой. Никто никогда не решался с ним говорить из посетителей кондитерской, и он сам ни с кем из них не заговаривал.

«И зачем он таскается к Миллеру, и что ему там делать? — думал я, стоя по другую сторону улицы и непреодолимо к нему приглядываясь. Какая-то досада — следствие болезни и усталости — закипала во мне. — Об чем он думает? — продолжал я про себя, — что у него в голове? Да и думает ли еще он о чем-нибудь? Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то

целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?»

Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, отчего же мне, с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки; что она — собака необыкновенная; что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное; что это, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде[*] и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице — господин впереди, а собака за ним следом, — то ее нос прямо касался полы его платья, как будто к ней приклеенный. И походка их и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом:

Стары-то мы, стары, господи, как мы стары!

Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни[*], и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к из данью. Я перешел через улицу и вошел вслед за стариком в кондитерскую.

В кондитерской старик аттестовал себя престранно, и Миллер, стоя за своим прилавком, начал уже в последнее время делать недовольную гримасу при входе незваного посетителя. Во-первых, странный гость никогда ничего не спрашивал. Каждый раз он прямо проходил в угол к печке и там садился на стул. Если же его место у печки бывало занято, то он, постояв несколько времени в бессмысленном недоумении против господина, занявшего его место, уходил, как будто озадаченный, в другой угол к окну. Там выбирал какой-нибудь стул, медленно усаживался на нем, снимал шляпу, ставил ее подле себя на пол, трость клал возле шляпы и затем, откинувшись на спинку стула, оставался неподвижен в продолжение трех или четырех часов. Никогда он не взял в руки ни одной газеты, не произнес ни одного слова, ни одного звука; а

только сидел, смотря перед собою во все глаза, но таким тупым, безжизненным взглядом, что можно было побиться об заклад, что он ничего не видит из всего окружающего и ничего не слышит. Собака же, покружившись раза два или три на одном месте, угрюмо укладывалась у ног его, втыкала свою морду между его сапогами, глубоко вздыхала и, вытянувшись во всю свою длину на полу, тоже оставалась неподвижною на весь вечер, точно умирала на это время. Казалось, эти два существа целый день лежат где-нибудь мертвые и, как зайдет солнце, вдруг оживают единственно для того, чтоб дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому не известную обязанность. Насидевшись часа три-четыре, старик наконец вставал, брал свою шляпу и отправлялся куда-то домой. Поднималась и собака и, опять поджав хвост и свесив голову, медленным прежним шагом машинально следовала за ним. Посетители кондитерской наконец начали всячески обходить старика и даже не садились с ним рядом, как будто он внушал им омерзение. Он же ничего этого не замечал.

Посетители этой кондитерской большею частию немцы. Они собираются сюда со всего Вознесенского проспекта — всё хозяева различных заведений: слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера, седельники — всё люди патриархальные в немецком смысле слова. У Миллера вообще наблюдалась патриархальность. Часто хозяин подходил к знакомым гостям и садился вместе с ними за стол, причем осушалось известное количество пунша. Собаки и маленькие дети хозяина тоже выходили иногда к посетителям, и посетители ласкали детей и собак. Все были между собою знакомы, и все взаимно уважали друг друга. И когда гости углублялись в чтение немецких газет, за дверью, в квартире хозяина, трещал августин[*], наигрываемый на дребезжащих фортепьянах старшей хозяйской дочкой, белокуренькой немочкой в локонах, очень похожей на белую мышку. Вальс принимался с удовольствием. Я ходил к Миллеру в первых числах каждого месяца читать русские журналы, которые у него получались.

Войдя в кондитерскую, я увидел, что старик уже сидит у окна, а собака лежит, как и прежде, растянувшись у ног его. Молча сел я в угол и мысленно задал себе вопрос: «Зачем я вошел сюда, когда мне тут решительно нечего делать, когда я болен и нужнее было бы спешить домой, выпить чаю и лечь и постель? Неужели в самом деле я здесь

только для того, чтоб разглядывать этого старика?» Досада взяла меня. «Что мне за дело до него, — думал я, припоминая то странное, болезненное ощущение, с которым я глядел на него еще на улице. — И что мне за дело до всех этих скучных немцев? К чему это фантастическое настроение духа? К чему эта дешевая тревога из пустяков, которую я замечаю в себе в последнее время и которая мешает жить и глядеть ясно на жизнь, о чем уже заметил мне один глубокомысленный критик, с негодованием разбирая мою последнюю повесть?» Но, раздумывая и сетуя, я все-таки оставался на месте, а между тем болезнь одолевала меня всё более и более, и мне наконец стало жаль оставить теплую комнату. Я взял франкфуртскую газету, прочел две строки и задремал. Немцы мне не мешали. Они читали, курили и только изредка, в полчаса раз, сообщали друг другу, отрывочно и вполголоса, какую-нибудь новость из Франкфурта да еще какой-нибудь виц или шарфзин знаменитого немецкого остроумца Сафира[*]; после чего с удвоенною национальною гордостью вновь погружались в «пение.

Я дремал с полчаса и очнулся от сильного озноба. Решительно надо было идти домой. Но в ту минуту одна немая сцена, происходившая в комнате, еще раз остановила меня. Я сказал уже, что старик, как только усаживался на своем стуле, тотчас же упирался куда-нибудь своим взглядом и уже не сводил его на другой предмет во весь вечер. Случалось и мне попадаться под этот взгляд, бессмысленно упорный и ничего не различающий: ощущение было пренеприятное, даже невыносимое, и я обыкновенно как можно скорее переменял место. В эту минуту жертвой старика был один маленький, кругленький и чрезвычайно опрятный немчик, со стоячими, туго накрахмаленными и воротничками и с необыкновенно красным лицом, приезжий гость, купец из Риги, Адам Иваныч Шульц, как узнал я после, короткий приятель Миллеру, но не знавший еще старика и многих из посетителей. С наслаждением почитывая «Dorfbarbier»[*[1]] и попивая свой пунш, он вдруг, подняв голову, заметил над собой неподвижный взгляд старика. Это его озадачило. Адам Иваныч был человек очень обидчивый и щекотливый, как и вообще все «благородные» немцы. Ему показалось странным и обидным, что его так пристальной бесцеремонно рассматривают. С подавленным негодованием отвел он глаза от неделикатного гостя, пробормотал себе что-то под нос и молча закрылся

газетой. Однако не вытерпел и минуты через две подозрительно выглянул из-за газеты: тот же упорный взгляд, то же бессмысленное рассматривание. Смолчал Адам Иваныч и в этот раз. Но когда то же обстоятельство повторилось и в третий, он вспыхнул и почел своею обязанностию защитить свое благородство и не уронить перед благородной публикой прекрасный город Ригу, которого, вероятно, считал себя представителем. С нетерпеливым жестом бросил он газету на стол, энергически стукнув палочкой, к которой она была прикреплена, и, пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь уставился своими маленькими, воспаленными глазками на досадного старика. Казалось, оба они, и немец и его противник, хотели пересилить друг друга магнетическою силою своих взглядов и выжидали, кто раньше сконфузится и опустит глаза. Стук палочки и эксцентрическая позиция Адама Иваныча обратили на себя внимание всех посетителей. Все тотчас же отложили свои занятия и с важным, безмолвным любопытством наблюдали обоих противников. Сцена становилась очень комическою. Но магнетизм вызывающих глазок красненького Адама Ивановича совершенно пропал даром. Старик, не заботясь ни о чем, продолжал прямо смотреть на взбесившегося господина Шульца и решительно не замечал, что сделался предметом всеобщего любопытства, как будто голова его была на луне, а не на земле. Терпение Адама Иваныча наконец лопнуло, и он разразился.

— Зачем вы на меня так внимательно смотрите? — прокричал он по-немецки резким, пронзительным голосом и с угрожающим видом.

Но противник его продолжал молчать, как будто не понимал и даже не слыхал вопроса. Адам Иваныч решился заговорить по-русски.

— Я вас спросит, зачом ви на мне так прилежно взирайт? — прокричал он с удвоенною яростию. — Я ко двору известен, а ви неизвестен ко двору! — прибавил он, вскочив со стула.

Но старик даже и не пошевелился. Между немцами раздался ропот негодования. Сам Миллер, привлеченный шумом, вошел в комнату. Вникнув в дело, он подумал, что старик глух, и нагнулся к самому его уху.

— Каспадин Шульц вас просил прилежно не взирайт на него, — проговорил он как можно громче, пристально всматриваясь в непонятного посетителя.

Старик машинально взглянул на Миллера, и вдруг в лице его, доселе неподвижном, обнаружились признаки какой-то тревожной мысли, какого-то беспокойного волнения. Он засуетился, нагнулся, кряхтя, к своей шляпе, торопливо схватил ее вместе с палкой, поднялся со стула и с какой-то жалкой улыбкой — униженной улыбкой бедняка, которого гонят с занятого им по ошибке места, — приготовился выйти из комнаты. В этой смиренной, покорной торопливости бедного, дряхлого старика было столько вызывающего на жалость, столько такого, отчего иногда сердце точно перевертывается в груди, что вся публика, начиная с Адама Иваныча, тотчас же переменила свой взгляд на дело. Было ясно, что старик не только не мог кого-нибудь обидеть, но сам каждую минуту понимал, что его могут отовсюду выгнать как нищего.

Миллер был человек добрый и сострадательный.

— Нет, нет, — заговорил он, ободрительно трепля старика по плечу, — сидитт! Aber[2] гер Шульц очень просил вас прилежно не взирайт на него. Он у двора известен.

Но бедняк и тут не понял; он засуетился еще больше прежнего, нагнулся поднять свой платок, старый, дырявый синий платок, выпавший из шляпы, и стал кликать свою собаку, которая лежала не шевелясь на полу и, по-видимому, крепко спала, заслонив свою морду обеими лапами.

— Азорка, Азорка! — прошамкал он дрожащим, старческим голосом, — Азорка!

Азорка не пошевельнулся.

— Азорка, Азорка! — тоскливо повторял старик и пошевелил собаку палкой, но та оставалась в прежнем положении.

Палка выпала из рук его. Он нагнулся, стал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки. Бедный Азорка! Он был мертв. Он умер неслышно, у ног своего господина, может быть от старости, а может быть и от голода. Старик с минуту глядел на него, как пораженный, как будто не понимая, что Азорка уже умер; потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчанья. Все мы были тронуты… Наконец бедняк приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе.

— Можно шушель сделать, — заговорил сострадательный Миллер,

желая хоть чем-нибудь утешить старика. (Шушель означало чучелу). — Можно кароши сделать шушель; Федор Карлович Кригер отлично сделает шушель; Федор Карлович Кригер велики мастер сделать шушель, — твердил Миллер, подняв с земли палку и подавая ее старику.

— Да, я отлично сделает шушель, — скромно подхватил сам гер Кригер, выступая на первый план. Это был длинный, худощавый и добродетельный немец с рыжими клочковатыми волосами и очками на горбатом носу.

— Федор Карлович Кригер имеет велики талент, чтоб сделать всяки превосходны шушель, — прибавил Миллер, начиная приходить в восторг от своей идеи.

— Да, я имею велики талент, чтоб сделать всяки превосходны шушель, — снова подтвердил гер Кригер, — и я вам даром сделайт из ваша собачка шушель, — прибавил он в припадке великодушного самоотвержения.

— Нет, я вам заплатит за то, что ви сделайт шушель! — неистово вскричал Адам Иваныч Шульц, вдвое раскрасневшийся, в свою очередь сгорая великодушием и невинно считая себя причиною всех несчастий.

Старик слушал всё это, видимо не понимая и по-прежнему дрожа всем телом.

— Погодитт! Выпейте одну рюмку кароши коньяк! — вскричал Миллер, видя, что загадочный гость порывается уйти.

Подали коньяк. Старик машинально взял рюмку, но руки его тряслись, и, прежде чем он донес ее к губам, он расплескал половину и, не выпив ни капли, поставил ее обратно на поднос. Затем, улыбнувшись какой-то странной, совершенно не подходящей к делу улыбкой, ускоренным, неровным шагом вышел из кондитерской, оставив на месте Азорку. Все стояли в изумлении; послышались восклицания.

— Швернот! вас-фюр-эйне-гешихте! — говорили немцы, выпуча глаза друг на друга.

А я бросился вслед за стариком. В нескольких шагах от кондитерской, поворотя от нее направо, есть переулок, узкий и темный, обставленный огромными домами. Что-то подтолкнуло меня, что старик непременно повернул сюда. Тут второй дом направо строился и весь был обставлен лесами. Забор, окружавший дом, выходил чуть не на средину переулка, к забору была прилажена деревянная настилка для

проходящих. В темном углу, составленном забором и домом, я нашел старика. Он сидел на приступке деревянного тротуара и обеими руками, опершись локтями на колена, поддерживал свою голову. Я сел подле него.

— Послушайте, — сказал я, почти не зная, с чего и начать, — не горюйте об Азорке. Пойдемте, я вас отвезу домой. Успокойтесь. Я сейчас схожу за извозчиком. Где вы живете?

Старик не отвечал. Я не знал, на что решиться. Прохожих не было. Вдруг он начал хватать меня за руку.

— Душно! — проговорил он хриплым, едва слышным голосом, — душно!

— Пойдемте к вам домой! — вскричал я, приподымаясь и насильно приподымая его, — вы выпьете чаю и ляжете в постель… Я сейчас приведу извозчика. Я позову доктора… мне знаком один доктор…

Я не помню, что я еще говорил ему. Он было хотел приподняться, но, поднявшись немного, опять упал на землю и опять начал что-то бормотать тем же хриплым, удушливым голосом. Я нагнулся к нему еще ближе и слушал.

— На Васильевском острове, — хрипел старик, — в Шестой линии… в Ше-стой ли-нии… Он замолчал.

— Вы живете на Васильевском? Но вы не туда пошли; это будет налево, а не направо. Я вас сейчас довезу…

Старик не двигался. Я взял его за руку; рука упала, как мертвая. Я взглянул ему в лицо, дотронулся до него — он был уже мертвый. Мне казалось, что всё это происходит но сне.

Это приключение стоило мне больших хлопот, в продолжение которых прошла сама собою моя лихорадка. Квартиру старика отыскали. Он, однако же, жил не на Васильевском острову, а в двух шагах от того места, где умер, в доме Клугена, под самою кровлею, в пятом этаже, в отдельной квартире, состоящей из одной маленькой прихожей и одной большой, очень низкой комнаты, с тремя щелями наподобие окон. Жил он ужасно бедно. Мебели было всего стол, два стула и старый-старый диван, твердый, как камень, и из которого со всех сторон высовывалась мочала; да и то оказалось хозяйское. Печь, по-видимому, уже давно не топилась; свечей тоже не отыскалось. Я серьезно теперь думаю, что старик выдумал ходить к Миллеру единственно для того, чтоб посидеть при свечах и погреться. На столе

стояла пустая глиняная кружка и лежала старая, черствая корка хлеба. Денег не нашлось ни копейки. Даже не было другой перемены белья, чтоб похоронить его; кто-то дал уж свою рубашку. Ясно, что он не мог жить таким образом, совершенно один, и, верно, кто-нибудь, хоть изредка, навещал его. В столе отыскался его паспорт. Покойник был из иностранцев, но русский подданный, Иеремия Смит, машинист, семидесяти восьми лет от роду. На столе лежали две книги: краткая география и Новый завет в русском переводе, исчерченный карандашом на полях и с отметками ногтем. Книги эти я приобрел себе. Спрашивали жильцов, хозяина дома, — никто об нем почти ничего не знал. Жильцов в этом доме множество, почти всё мастеровые и немки, содержательницы квартир со столом и прислугою. Управляющий домом, из благородных, тоже немного мог сказать о бывшем своем постояльце, кроме разве того, что квартира ходила по шести рублей в месяц, что покойник жил в ней четыре месяца, но за два последних месяца не заплатил ни копейки, так что приходилось его сгонять с квартиры. Спрашивали: не ходил ли к нему кто-нибудь? Но никто не мог дать об этом удовлетворительного ответа. Дом большой: мало ли людей ходит в такой Ноев ковчег, всех не запомнишь. Дворник, служивший в этом доме лет пять и, вероятно, могший хоть что-нибудь разъяснить, ушел две недели перед этим к себе на родину, на побывку, оставив вместо себя своего племянника, молодого парня, еще не узнавшего лично и половины жильцов. Не знаю наверно, чем именно кончились тогда все эти справки, но наконец старика похоронили. В эти дни между другими хлопотами я ходил на Васильевский остров, в Шестую линию, и, только придя туда, усмехнулся сам над собою: что мог я увидать в Шестой линии, кроме ряда

обыкновенных домов? «Но зачем же, — думал я, — старик, умирая, говорил про Шестую линию и про Васильевский остров? Не в бреду ли?»

Я осмотрел опустевшую квартиру Смита, и мне она понравилась. Я оставил ее за собою. Главное, была большая комната, хоть и очень низкая, так что мне в первое время всё казалось, что я задену потолок головою. Впрочем, я скоро привык. За шесть рублей в месяц и нельзя было достать лучше. Особняк соблазнял меня; оставалось только похлопотать насчет прислуги, так как совершенно без прислуги нельзя было жить. Дворник на первое время обещался приходить хоть по разу в

день, прислужить мне в каком-нибудь крайнем случае. «А кто знает, — думал я, — может быть, кто-нибудь и наведается о старике!» Впрочем, прошло уже пять дней, как он умер, а еще никто не приходил.

Глава II

В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом; но дело все-таки кончилось тем, что я — вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки?

Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, последний год моей жизни. Хочу теперь всё записать, и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски. Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный; менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие… Да, я хорошо выдумал. К тому ж и наследство фельдшеру; хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять.

Но, впрочем, я начал мой рассказ, неизвестно почему, из средины. Коли уж всё записывать, то надо начинать сначала. Ну, и начнем сначала. Впрочем, не велика будет моя автобиография.

Родился я не здесь, а далеко отсюда, в — ской губернии. Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве, и вырос я в доме Николая Сергеича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости. Детей у него была одна только дочь, Наташа, ребенок тремя годами моложе меня. Мы росли с ней как брат с сестрой. О мое милое детство! Как глупо тосковать и жалеть о тебе на двадцать пятом году жизни и, умирая, вспомянуть только об одном тебе с восторгом и благодарностию! Тогда на небе было такое ясное, такое непетербургское солнце и так резво, весело бились наши маленькие

сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груда мертвых камней, как теперь. Что за чудный был сад и парк в Васильевском, где Николай Сергеич был управляющим; в этот сад мы с Наташей ходили гулять, а за садом был большой, сырой лес, где мы, дети, оба раз заблудились… Золотое, прекрасное время! Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею. Тогда за каждым кустом, за каждым деревом как будто еще кто-то жил, для нас таинственный и неведомый; сказочный мир сливался с действительным; и, когда, бывало, в глубоких долинах густел вечерний пар и седыми извилистыми космами цеплялся за кустарник, лепившийся по каменистым ребрам нашего большого оврага, мы с Наташей, на берегу, держась за руки, с боязливым любопытством заглядывали вглубь и ждали, что вот-вот выйдет кто-нибудь к нам или откликнется из тумана с овражьего дна и нянины сказки окажутся настоящей законной правдой. Раз, потом, уже долго спустя, я как-то напомнил Наташе, как достали нам тогда однажды «Детское чтение»[*], как мы тотчас же убежали в сад, к пруду, где стояла под старым густым кленом наша любимая зеленая скамейка, уселись там и начали читать «Альфонса и Далинду»[*] — волшебную повесть. Еще и теперь я не могу вспомнить эту повесть без какого-то странного сердечного движения, и когда я, год тому назад, припомнил Наташе две первые строчки: «Альфонс, герой моей повести, родился в Португалии; дон Рамир, его отец» и т. д., я чуть не заплакал. Должно быть, это вышло ужасно глупо, и потому-то, вероятно, Наташа так странно улыбнулась тогда моему восторгу. Впрочем, тотчас же спохватилась (я помню это) и для моего утешения сама принялась вспоминать про старое. Слово за словом, и сама расчувствовалась. Славный был этот вечер; мы всё перебрали: и то, когда меня отсылали в губернский город в пансион, — господи, как она тогда плакала! — и нашу последнюю разлуку, когда я уже навсегда расставался с Васильевским. Я уже кончил тогда с моим пансионом и отправлялся в Петербург готовиться в университет. Мне было тогда семнадцать лет, ей пятнадцатый. Наташа говорит, что я был тогда такой нескладный, такой долговязый и что на меня без смеху смотреть нельзя было. В минуту прощанья я отвел ее в сторону, чтоб сказать ей что-то ужасно важное; но язык мой как-то вдруг онемел и завяз. Она припоминает, что я был в большом волнении. Разумеется, наш разговор не клеился. Я не знал, что сказать, а она, пожалуй, и не поняла бы меня.

Я только горько заплакал, да так и уехал, ничего не сказавши. Мы свиделись уже долго спустя, в Петербурге. Это было года два тому назад. Старик Ихменев приехал сюда хлопотать по своей тяжбе, а я только что выскочил тогда в литераторы.

Глава III

Николай Сергеич Ихменев происходил из хорошей фамилии, но давно уже обедневшей. Впрочем, после родителей ему досталось полтораста душ хорошего имения. Лет двадцати от роду он распорядился поступить в гусары. Всё шло хорошо; но на шестом году его службы случилось ему в один несчастный вечер проиграть всё свое состояние. Он не спал всю ночь. На следующий вечер он снова явился к карточному столу и поставил на карту свою лошадь — последнее, что у него осталось. Карта взяла, за ней другая, третья, и через полчаса он отыграл одну из деревень своих, сельцо Ихменевку, в котором числилось пятьдесят душ по последней ревизии. Он забастовал и на другой же день подал в отставку. Сто душ погибло безвозвратно. Через два месяца он был уволен поручиком и отправился в свое сельцо. Никогда в жизни он не говорил потом о своем проигрыше и, несмотря на известное свое добродушие, непременно бы рассорился с тем, кто бы решился ему об этом напомнить. В деревне он прилежно занялся хозяйством и тридцати пяти лет от роду женился на бедной дворяночке Анне Андреевне Шумиловой, совершенной бесприданнице, но получившей образование в губернском благородном пансионе у эмигрантки Мон-Ревеш[*], чем Анна Андреевна гордилась всю жизнь, хотя никто никогда не мог догадаться: в чем именно состояло это образование. Хозяином сделался Николай Сергеич превосходным. У него учились хозяйству соседи-помещики. Прошло несколько лет, как вдруг в соседнее имение, село Васильевское, в котором считалось девятьсот душ, приехал из Петербурга помещик, князь Петр Александрович Валковский. Его приезд произвел во всём околодке довольно сильное впечатление. Князь был еще молодой человек, хотя и не первой молодости, имел немалый чин, значительные связи, был красив собою, имел состояние и, наконец, был вдовец, что особенно было интересно для дам и девиц всего уезда. Рассказывали о блестящем

приеме, сделанном ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то сродни; о том, как все губернские дамы «сошли с ума от его любезностей», и проч., и проч. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, производят чрезвычайный эффект. Князь, однако же, был не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя. С своими соседями по имению он не заблагорассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеичу. Правда, что Николай Сергеич был одним из самых ближайших его соседей. В доме Ихменевых князь произвел сильное впечатление. Он тотчас же очаровал их обоих; особенно в восторге от него была Анна Андреевна. Немного спустя он был уже у них совершенно запросто, ездил каждый день, приглашал их к себе, острил, рассказывал анекдоты, играл на скверном их фортепьяно, пел. Ихменевы не могли надивиться: как можно было про такого дорогого, милейшего человека говорить, что он гордый, спесивый, сухой эгоист, о чем в один голос кричали все соседи? Надобно думать, что князю действительно понравился Николай Сергеич, человек простой, прямой, бескорыстный, благородный. Впрочем, вскоре всё объяснилось. Князь приехал в Васильевское, чтоб прогнать своего управляющего, одного блудного немца, человека амбиционного, агронома, одаренного почтенной сединой, очками и горбатым носом, но, при всех этих преимуществах, кравшего без стыда и цензуры и, сверх того, замучившего нескольких мужиков. Иван Карлович был наконец пойман и уличен на деле, очень обиделся, много говорил про немецкую честность; но, несмотря на всё это, был прогнан и даже с некоторым бесславием. Князю нужен был управитель, и выбор его пал на Николая Сергеича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чем, конечно, не могло быть и малейшего сомнения. Кажется, князю очень хотелось, чтоб Николай Сергеич сам предложил себя в управляющие; но этого не случилось, и князь в одно прекрасное утро сделал предложение сам, в форме самой дружеской и покорнейшей просьбы. Ихменев сначала отказывался; но значительное жалованье соблазнило Анну Андреевну, а удвоенные любезности просителя рассеяли и все остальные недоумения. Князь достиг своей цели. Надо думать, что он был большим знатоком людей. В короткое время своего

знакомства с Ихменевым он совершенно узнал, с кем имеет дело, и понял, что Ихменева надо очаровать дружеским, сердечным образом, надобно привлечь к себе его сердце, и что без этого деньги не много сделают. Ему же нужен был такой управляющий, которому он мог бы слепо и навсегда довериться, чтоб уж и не заезжать никогда в Васильевское, как и действительно он рассчитывал. Очарование, которое он произвел в Ихменеве, было так сильно, что тот искренно поверил в его дружбу. Николай Сергеич был один из тех добрейших и наивно-романтических людей, которые так хороши у нас на Руси, что бы ни говорили о них, и которые, если уж полюбят кого (иногда бог знает за что), то отдаются ему всей душой, простирая иногда свою привязанность до комического.

Прошло много лет. Имение князя процветало. Сношения между владетелем Васильевского и его управляющим совершались без малейших неприятностей с обеих сторон и ограничивались сухой деловой перепиской. Князь, не вмешиваясь нисколько в распоряжения Николая Сергеича, давал ему иногда такие советы, которые удивляли Ихменева своею необыкновенною практичностью и деловитостью. Видно было, что он не только не любил тратить лишнего, но даже умел наживать. Лет пять после посещения Васильевского он прислал Николаю Сергеичу доверенность на покупку другого превосходнейшего имения в четыреста душ, в той же губернии. Николай Сергеич был в восторге; успехи князя, слухи об его удачах, о его возвышении он принимал к сердцу, как будто дело шло о родном его брате. Но восторг его дошел до последней степени, когда князь действительно показал ему в одном случае свою чрезвычайную доверенность. Вот как это произошло… Впрочем, здесь я нахожу необходимым упомянуть о некоторых особенных подробностях из жизни этого князя Валковского, отчасти одного из главнейших лиц моего рассказа.

Глава IV

Я упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он еще в первой молодости и женился на деньгах. От родителей своих, окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено; долги на нем лежали

огромные. У двадцатидвухлетнего князя, принужденного тогда служить в Москве, в какой-то канцелярии, не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь как «голяк — потомок отрасли старинной».* Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданом, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое именье и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство: была добра и безответна. Князь воспользовался этим достоинством вполне: после первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на руках ее отца-откупщика в Москве, а сам уехал служить в — ю губернию, где выхлопотал, через покровительство одного знатного петербургского родственника, довольно видное место. Душа его жаждала отличий, возвышений, карьеры, и, рассчитав, что с своею женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве, он решился, в ожидании лучшего, начать свою карьеру с провинции. Говорят, что еще в первый год своего сожительства с женою он чуть не замучил ее своим грубым с ней обхождением. Этот слух всегда возмущал Николая Сергеича, и он с жаром стоял за князя, утверждая, что князь неспособен к неблагородному поступку. Но лет через семь умерла наконец княгиня, и овдовевший супруг ее немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвел даже некоторое впечатление. Еще молодой, красавец собою, с состоянием, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимою веселостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Он чрезвычайно нравился женщинам, и связь с одной из светских красавиц доставила ему скандалезную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечений он приехал искать в Петербурге: ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого. Граф Наинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если б он явился обыкновенным просителем, пораженный его успехами в обществе, нашел возможным и приличным обратить на него свое особенное внимание и даже удостоил

взять в свой дом на воспитание его семилетнего сына. К этому-то времени относится и поездка князя в Васильевское и знакомство его с Ихменевыми. Наконец получив через посредство графа значительное место при одном из важнейших посольств, он отправился за границу. Далее слухи о нем становились несколько темными: говорили о каком-то неприятном происшествии, случившемся с ним за границей, но никто не мог объяснить, в чем оно состояло. Известно было только, что он успел прикупить четыреста душ, о чем уже я упоминал. Воротился он из-за границы уже много лет спустя, в важном чине, и немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В Ихменевке носились слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом. «Смотрит в вельможи!» — говорил Николай Сергеич, потирая руки от удовольствия. Я был тогда в Петербурге, в университете, и помню, что Ихменев нарочно писал ко мне и просил меня справиться: справедливы ли слухи о браке? Он писал тоже князю, прося у него для меня покровительства; но князь оставил письмо его без ответа. Я знал только, что сын его, воспитывавшийся сначала у графа, а потом в лицее[*], окончил тогда курс наук девятнадцати лет от роду. Я написал об этом к Ихменевым, а также и о том, что князь очень любит своего сына, балует его, рассчитывает уже и теперь его будущность. Всё это я узнал от товарищей-студентов, знакомых молодому князю. В это-то время Николай Сергеич в одно прекрасное утро получил от князя письмо, чрезвычайно его удивившее…

Князь, который до сих пор, как уже упомянул я, ограничивался в сношениях с Николаем Сергеичем одной сухой, деловой перепиской, писал к нему теперь самым подробным, откровенным и дружеским образом о своих семейных обстоятельствах: он жаловался на своего сына, писал, что сын огорчает его дурным своим поведением; что, конечно, на шалости такого мальчика нельзя еще смотреть слишком серьезно (он видимо старался оправдать его), но что он решился наказать сына, попугать его, а именно: сослать ого на некоторое время в деревню, под присмотр Ихменева. Князь писал, что вполне полагается на «своего добрейшего, благороднейшего Николая Сергеевича и в особенности на Анну Андреевну», просил их обоих принять его ветрогона в их семейство, поучить в уединении уму-разуму, полюбить его, если возможно, а главное, исправить его легкомысленный характер и «внушить спасительные и строгие правила, столь необходимые в

человеческой жизни». Разумеется, старик Ихменев с восторгом принялся за дело. Явился и молодой князь; они приняли его как родного сына. Вскоре Николай Сергеич горячо полюбил его, не менее чем свою Наташу; даже потом, уже после окончательного разрыва между князем-отцом и Ихменевым, старик с веселым духом вспоминал иногда о своем Алеше — так привык он называть князя Алексея Петровича. В самом деле, это был премилейший мальчик: красавчик собою, слабый и нервный, как женщина, но вместе с тем веселый и простодушный, с душою отверстою и способною к благороднейшим ощущениям, с сердцем любящим, правдивым и признательным, — он сделался идолом в доме Ихменевых. Несмотря на свои девятнадцать лет, он был еще совершенный ребенок. Трудно было представить, за что его мог сослать отец, который, как говорили, очень любил его? Говорили, что молодой человек в Петербурге жил праздно и ветрено, служить не хотел и огорчал этим отца. Николай Сергеич не расспрашивал Алешу, потому что князь Петр Александрович, видимо, умалчивал в своем письме о настоящей причине изгнания сына. Впрочем, носились слухи про какую-то непростительную ветреность Алеши, про какую-то связь с одной дамой, про какой-то вызов на дуэль, про какой-то невероятный проигрыш в карты; доходили даже до каких-то чужих денег, им будто бы растраченных. Был тоже слух, что князь решился удалить сына вовсе не за вину, а вследствие каких-то особенных, эгоистических соображений. Николай Сергеич с негодованием отвергал этот слух, тем более что Алеша чрезвычайно любил своего отца, которого не знал в продолжение всего своего детства и отрочества; он говорил об нем с восторгом, с увлечением; видно было, что он вполне подчинился его влиянию. Алеша болтал тоже иногда про какую-то графиню, за которой волочились и он и отец вместе, но что он, Алеша, одержал верх, а отец на него за это ужасно рассердился. Он всегда рассказывал эту историю с восторгом, с детским простодушием, с звонким, веселым смехом; но Николай Сергеич тотчас же его останавливал. Алеша подтверждал тоже слух, что отец его хочет жениться.

Он выжил уже почти год в изгнании, в известные сроки писал к отцу почтительные и благоразумные письма и наконец до того сжился с Васильевским, что когда князь на лето сам приехал в деревню (о чем заранее уведомил Ихменевых), то изгнанник сам стал просить отца позволить ему как можно долее остаться в Васильевском, уверяя, что

сельская жизнь — настоящее его назначение. Все решения и увлечения Алеши происходили от его чрезвычайной, слабонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы; от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли. Но князь как-то подозрительно выслушал его просьбу… Вообще Николай Сергеич с трудом узнавал своего прежнего *«друга»:* князь Петр Александрович чрезвычайно изменился. Он сделался вдруг особенно придирчив к Николаю Сергеичу; в проверке счетов по именью выказал какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Всё это ужасно огорчило добрейшего Ихменева; он долго старался не верить самому себе. В этот раз всё делалось обратно в сравнении с первым посещением Васильевского, четырнадцать лет тому назад: в этот раз князь перезнакомился со всеми соседями, разумеется из важнейших; к Николаю же Сергеичу он никогда не ездил и обращался с ним как будто с своим подчиненным. Вдруг случилось непонятное происшествие: без всякой видимой причины последовал ожесточенный разрыв между князем и Николаем Сергеичем. Подслушаны были горячие, обидные слова, сказанные с обеих сторон. С негодованием удалился Ихменев из Васильевского, но история еще этим не кончилась. По всему околодку вдруг распространилась отвратительная сплетня. Уверяли, что Николай Сергеич, разгадав характер молодого князя, имел намерение употребить все недостатки его в свою пользу; что дочь его Наташа (которой уже было тогда семнадцать лет) сумела влюбить в себя двадцатилетнего юношу; что и отец и мать этой любви покровительствовали, хотя и делали вид, что ничего не замечают; что хитрая и «безнравственная» Наташа околдовала наконец совершенно молодого человека, не видавшего в целый год, ее стараниями, почти ни одной настоящей благородной девицы, которых так много зреет в почтенных домах соседних помещиков. Уверяли, наконец, что между любовниками уже было условлено обвенчаться, в пятнадцати верстах от Васильевского, в селе Григорьеве, по-видимому тихонько от родителей Наташи, но которые, однако же, знали всё до малейшей подробности и руководили дочь гнусными своими советами. Одним словом, в целой книге не уместить всего, что уездные кумушки обоего пола успели насплетничать по поводу этой истории. Но удивительнее всего, что князь поверил всему

этому совершенно и даже приехал в Васильевское единственно по этой причине, вследствие какого-то анонимного доноса, присланного к нему в Петербург из провинции. Конечно, всякий, кто знал хоть сколько-нибудь Николая Сергеича, не мог бы, кажется, и одному слову поверить из всех взводимых на него обвинений; а между тем, как водится, все суетились, все говорили, все оговаривались, все покачивали головами и… осуждали безвозвратно. Ихменев же был слишком горд, чтоб оправдывать дочь свою пред кумушками, и настрого запретил своей Анне Андреевне вступать в какие бы то ни было объяснения с соседями. Сама же Наташа, так оклеветанная, даже еще целый год спустя, не знала почти ни одного слова из всех этих наговоров и сплетней: от нее тщательно скрывали всю историю, и она была весела и невинна, как двенадцатилетний ребенок.

Тем временем ссора шла всё дальше и дальше. Услужливые люди не дремали. Явились доносчики и свидетели, и князя успели наконец уверить, что долголетнее управление Николая Сергеича Васильевским далеко не отличалось образцовою честностью. Мало того: что три года тому назад при продаже рощи Николай Сергеич утаил в свою пользу двенадцать тысяч серебром, что на это можно представить самые ясные, законные доказательства перед судом, тем более что на продажу рощи он не имел от князя никакой законной доверенности, а действовал по собственному соображению, убедив уже потом князя в необходимости продажи и предъявив за рощу сумму несравненно меньше действительно полученной. Разумеется, всё это были одни клеветы, как и оказалось впоследствии, но князь поверил всему и при свидетелях назвал Николая Сергеича вором. Ихменев не стерпел и отвечал равносильным оскорблением; произошла ужасная сцена. Немедленно начался процесс. Николай Сергеич, за неимением кой-каких бумаг, а главное, не имея ни покровителей, ни опытности в хождении по таким делам, тотчас же стал проигрывать в своей тяжбе. На имение его было наложено запрещение. Раздраженный старик бросил всё и решился наконец переехать в Петербург, чтобы лично хлопотать о своем деле, а в губернии оставил за себя опытного поверенного. Кажется, князь скоро стал понимать, что он напрасно оскорбил Ихменева. Но оскорбление с обеих сторон было так сильно, что не оставалось и слова на мир, и раздраженный князь употреблял все усилия, чтоб повернуть дело в свою пользу, то есть, в сущности, отнять у бывшего своего управляющего

последний кусок хлеба.

Глава V

Итак, Ихменевы переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти четыре года я не забывал ее никогда. Конечно, я сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней; но когда мы вновь свиделись, я скоро догадался, что она суждена мне судьбою. Сначала, в первые дни после их приезда, мне всё казалось, что она как-то мало развилась в эти годы, совсем как будто не переменилась и осталась такой же девочкой, как и была до нашей разлуки. Но потом каждый день я угадывал в ней что-нибудь новое, до тех пор мне совсем незнакомое, как будто нарочно скрытое от меня, как будто девушка нарочно от меня пряталась, — и что за наслаждение было это отгадывание! Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражен и желчен. Дела его шли худо; он негодовал, выходил из себя, возился с деловыми бумагами, и ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила как потерянная и сначала ничего сообразить не могла. Петербург ее пугал. Она вздыхала и трусила, плакала о прежнем житье-бытье, об Ихменевке, о том, что Наташа на возрасте, а об ней и подумать некому, и пускалась со мной в престранные откровенности, за неимением кого другого, более способного к дружеской доверенности.

Вот в это-то время, незадолго до их приезда, я кончил[*] мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера[*], и, как новичок, сначала не знал, куда его сунуть. У Ихменевых я об этом ничего не говорил; они же чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно, то есть не служу и не стараюсь приискать себе места. Старик горько и даже желчно укорял меня, разумеется из отеческого ко мне участия. Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну как, в самом деле, объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы, а потому до времени их обманывал, говорил, что места мне не дают, а что я ищу из всех сил. Ему некогда было поверять меня. Помню, как однажды Наташа, наслушавшись наших разговоров, таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе, допрашивала меня, выпытывала: что я именно делаю, и, когда я перед

ней не открылся, взяла с меня клятву, что я не сгублю себя как лентяй и праздношатайка. Правда, я хоть не признался и ей, чем занимаюсь, но помню, что за одно одобрительное слово ее о труде моем, о моем первом романе, я бы отдал все самые лестные для меня отзывы критиков и ценителей, которые потом о себе слышал. И вот вышел наконец мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет! Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим. И описать не могу, как обрадовались старики моему успеху, хотя сперва ужасно удивились: так странно их это поразило! Анна Андреевна, например, никак не хотела поверить, что новый, прославляемый всеми писатель — тот самый Ваня, который и т. д., и т. д., и всё качала головою. Старик долго не сдавался и сначала, при первых слухах, даже испугался; стал говорить о потерянной служебной карьере, о беспорядочном поведении всех вообще сочинителей. Но беспрерывные новые слухи, объявления в журналах и наконец несколько похвальных слов, услышанных им обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его изменить свой взгляд на дело. Когда же он увидел, что я вдруг очутился с деньгами, и узнал, какую плату можно получать за литературный труд, то и последние сомнения его рассеялись. Быстрый в переходах от сомнения к полной, восторженной вере, радуясь как ребенок моему счастью, он вдруг ударился в самые необузданные надежды, в самые ослепительные мечты о моей будущности. Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы, и чего-чего не было в этих планах! Он начал выказывать мне какое-то особенное, до тех пор небывалое ко мне уважение. Но все-таки, помню, случалось, сомнения вдруг опять осаждали его, часто среди самого восторженного фантазирования, и снова сбивали его с толку.

«Сочинитель, поэт! Как-то странно… Когда же поэты выходили в люди, в чины? Народ-то всё такой щелкопер[*], ненадежный!»

Я заметил, что подобные сомнения и все эти щекотливые вопросы приходили к нему всего чаще в сумерки (так памятны мне все подробности и всё то золотое время!). В сумерки наш старик всегда становился как-то особенно нервен, впечатлителен и мнителен. Мы с Наташей уж знали это и заранее посмеивались. Помню, я ободрял его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова*; рассказывал про Пушкина, про Гоголя.

— Знаю, братец, всё знаю, — возражал старик, может быть, слышавший первый раз в жизни все эти истории. — Гм! Послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана. Стихи, братец, вздор; уж ты не спорь, а мне поверь, старику; я добра желаю тебе; чистый вздор, праздное употребление времени! Стихи гимназистам писать; стихи до сумасшедшего дома вашу братью, молодежь, доводят… Положим, что Пушкин велик, кто об этом! А все-таки стишки, и ничего больше; так, эфемерное что-то… Я, впрочем, его и читал-то мало… Проза другое дело! Тут сочинитель даже поучать может, — ну, там о любви к отечеству упомянуть или так, вообще про добродетели… да! Я, брат, только не умею выразиться, но ты меня понимаешь; любя говорю. А ну-ка, ну-ка прочти! — заключил он с некоторым видом покровительства, когда я наконец принес книгу и все мы после чаю уселись за круглый стол, — прочти-ка, что ты там настрочил; много кричат о тебе! Посмотрим, посмотрим!

Я развернул книгу и приготовился читать. В тот вечер только что вышел мой роман из печати, и я, достав наконец экземпляр, прибежал к Ихменевым читать свое сочинение.

Как я горевал и досадовал, что не мог им прочесть его ранее, по рукописи, которая была в руках у издателя! Наташа даже плакала с досады, ссорилась со мной, попрекала меня, что чужие прочтут мой роман раньше, чем она… Но вот наконец мы сидим за столом. Старик состроил физиономию необыкновенно серьезную и критическую. Он хотел строго, строго судить, «сам увериться». Старушка тоже смотрела необыкновенно торжественно; чуть ли она не надела к чтению нового чепчика/Она давно уже приметила, что я смотрю с бесконечной любовью на ее бесценную Наташу; что у меня дух занимается и темнеет в глазах, когда я с ней заговариваю, и что и Наташа тоже как-то яснее, чем прежде, на меня поглядывает. Да! пришло наконец это время,

пришло в минуту удач, золотых надежд и самого полного счастья, всё вместе, всё разом пришло! Приметила тоже старушка, что и старик ее как-то уж слишком начал хвалить меня и как-то особенно взглядывает на меня и на дочь… и вдруг испугалась: всё же я был не граф, не князь, не владетельный принц или по крайней мере коллежский советник из правоведов*, молодой, в орденах и красивый собою! Анна Андреевна не любила желать вполовину.

«Хвалят человека, — думала она обо мне, — а за что — неизвестно. Сочинитель, поэт… Да ведь что ж такое сочинитель?»

Глава VI

Я прочел им мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до двух часов пополуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого; а вместо того вдруг такие будни и всё такое известное — вот точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского*; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались*; и всё это таким простым слогом описано, ни дать ни взять, как мы сами говорим… Странно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеича и даже немного надулась, точно чем-то обиделась: «Ну стоит, право, такой вздор печатать и слушать, да еще и деньги за это дают», — написано было на лице ее. Наташа была вся внимание, с жадностию слушала, не сводила с меня глаз, всматривалась в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж? Прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренно плакала, от всей души сожалея моего героя и пренаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастиях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком: «С первого шага видно, что далеко кулику до Петрова дня*; так себе, просто рассказец; зато сердце захватывает, — говорил он, — зато становится понятно и памятно, что кругом происходит; зато познается,

что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой![*]» Наташа слушала, плакала и под столом, украдкой, крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала; щечки ее горели, слезинки стояли в глазах; вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты. Отец и мать переглянулись между собою.

— Гм! вот она какая восторженная, — проговорил старик, пораженный поступком дочери, — это ничего, впрочем, это хорошо, хорошо, благородный порыв! Она добрая девушка… — бормотал он, смотря вскользь на жену, как будто желая оправдать Наташу, а вместе с тем почему-то желая оправдать и меня.

Но Анна Андреевна, несмотря на то что во время чтения сама была в некотором волнении и тронута, смотрела теперь так, как будто хотела выговорить: «Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»[*] и т. д.

Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, и, проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старик принялся было опять «серьезно» оценивать мою повесть, но от радости не выдержал характера и увлекся:

— Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо! Утешил! Так утешил, что я даже и не ожидал. Не высокое, не великое, это видно… Вон у меня там «Освобождение Москвы» лежит[*], в Москве же и сочинили, — ну так оно с первой строки, братец, видно, что, так сказать, орлом воспарил человек… Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот именно за то и люблю, что понятнее! Роднее как-то оно; как будто со мной самим всё это случилось. А то что высокое-то? И сам бы не понимал. Слог бы я выправил: я ведь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышенного… Ну да уж теперь поздно: напечатано. Разве во втором издании? А что, брат, ведь и второе издание, чай, будет?[*] Тогда опять деньги… Гм!

— И неужели вы столько денег получили, Иван Петрович? — заметила Анна Андреевна. — Гляжу на вас, и всё как-то не верится. Ах ты, господи, вот ведь за что теперь деньги стали давать!

— Знаешь, Ваня? — продолжал старик, увлекаясь всё более и более, — это хоть не служба, зато все-таки карьера, Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан.[*] А что если бы и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то!

И он говорил это с таким убежденным видом, с таким добродушием, что недоставало решимости остановить и расхолодить его фантазию.

— Или вот, например, табакерку дадут… Что ж? На милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может, и ко двору попадешь, — прибавил он полушепотом и с значительным видом, прищурив свой левый глаз, — или нет? Или еще рано ко двору-то?

— Ну, уж и ко двору! — сказала Анна Андреевна, как будто обидевшись.

— Еще немного, и вы произведете меня в генералы, — отвечал я, смеясь от души.

Старик тоже засмеялся. Он был чрезвычайно доволен.

— Ваше превосходительство, не хотите ли кушать? — закричала резвая Наташа, которая тем временем собрала нам поужинать.

Она захохотала, подбежала к отцу и крепко обняла его своими горячими ручками:

— Добрый, добрый папаша! Старик расчувствовался.

— Ну, ну, хорошо, хорошо! Я ведь так, спроста говорю. Генерал не генерал, а пойдемте-ка ужинать. Ах ты чувствительная! — прибавил он, потрепав свою Наташу по раскрасневшейся щечке, что любил делать при всяком удобном случае, — я, вот видишь ли, Ваня, любя говорил. Ну, хоть и не генерал (далеко до генерала!), а все-таки известное лицо, сочинитель!

— Нынче, папаша, говорят: писатель.

— А не сочинитель? Не знал я. Ну, положим, хоть и писатель; а я вот что хотел сказать: камергером, конечно, не сделают за то, что роман сочинил; об этом и думать нечего; а все-таки можно в люди пройти; ну сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли; деньгами помогут. Разумеется, надо, чтобы всё это и с твоей стороны было благородно; чтоб за дело, за настоящее дело деньги и почести брать, а не так, чтоб как-нибудь там, по протекции…

— Да ты не загордись тогда, Иван Петрович, — прибавила, смеясь, Анна Андреевна.

— Да уж поскорей ему звезду, папаша, а то что в самом деле, атташе да атташе!

И она опять ущипнула меня за руку.

— А эта всё надо мной подсмеивается! — вскричал старик, с восторгом смотря на Наташу, у которой разгорелись щечки, а глазки весело сияли, как звездочки. — Я, детки, кажется, и вправду далеко зашел, в Альнаскары записался[*]; и всегда-то я был такой… а только знаешь, Ваня, смотрю я на тебя: какой-то ты у нас совсем простой…

— Ах, боже мой! Да какому же ему быть, папочка?

— Ну нет, я не то. А только все-таки, Ваня, у тебя какое-то эдак лицо… то есть совсем как будто не поэтическое… Эдак, знаешь, бледные они, говорят, бывают, поэты-то, ну и с волосами такими, и в глазах эдак что-то… Знаешь, там Гете какой-нибудь или проч. … я это в «Аббаддонне» читал[*]…а что? Опять соврал что-нибудь? Ишь, шалунья, так и заливается надо мной! Я, друзья мои, не ученый, только чувствовать могу. Ну, лицо не лицо, — это ведь не велика беда, лицо-то; для меня и твое хорошо, и очень нравится… Я ведь не к тому говорил… А только будь честен, Ваня, будь честен, это главное; живи честно, не возмечтай! Перед тобой дорога широкая. Служи честно своему делу; вот что я хотел сказать, вот именно это-то я и хотел сказать!

Чудное было время! Все свободные часы, все вечера проводил я у них. Старику приносил вести о литературном мире, о литераторах, которыми он вдруг, неизвестно почему, начал чрезвычайно интересоваться; даже начал читать критические статьи Б., про которого я много наговорил ему и которого он почти не понимал, но хвалил до восторга и горько жаловался на врагов его, писавших в «Северном трутне»[*]. Старушка зорко следила за мной и Наташей; но не уследила она за нами! Между нами уже было сказано одно словечко, и я услышал наконец, как Наташа, потупив головку и полураскрыв свои губки, почти шепотом сказала мне: *да*. Но узнали и старики; погадали, подумали; Анна Андреевна долго качала головою. Странно и жутко ей было. Не верила она мне.

— Ведь вот хорошо удача, Иван Петрович, — говорила она, — а вдруг не будет удачи или там что-нибудь; что тогда? Хоть бы служили вы где!

— А вот что я скажу тебе, Ваня, — решил старик, надумавшись, — я и сам это видел, заметил и, признаюсь, даже обрадовался, что ты и Наташа… ну, да чего тут! Видишь, Ваня: оба вы еще очень молоды, и моя Анна Андреевна права. Подождем. Ты, положим, талант, даже замечательный талант… ну, не гений, как об тебе там сперва

прокричали[*], а так, просто талант (я еще вот сегодня читал на тебя эту критику в «Трутне»; слишком уж там тебя худо третируют[*]; ну да ведь это что ж за газета!). Да! так видишь: ведь это еще не деньги в ломбарде, талант-то; а вы оба бедные. Подождем годика эдак полтора или хоть год: пойдешь хорошо, утвердишься крепко на своей дороге — твоя Наташа; не удастся тебе — сам рассуди!.. Ты человек честный; подумай!..

На этом и остановились. А через год вот что было.

Да, это было почти ровно через год! В ясный сентябрьский день, перед вечером, вошел я к моим старикам больной, с замиранием в душе и упал на стул чуть не в обмороке, так что даже они перепугались, на меня глядя. Но не оттого закружилась у меня тогда голова и тосковало сердце так, что я десять раз подходил к их дверям и десять раз возвращался назад, прежде чем вошел, — не оттого, что не удалась мне моя карьера и что не было у меня еще ни славы, ни денег; не оттого, что я еще не какой-нибудь «атташе» и далеко было до того, чтоб меня послали для поправления здоровья в Италию; а оттого, что можно прожить десять лет в один год, и прожила в этот год десять лет и моя Наташа. Бесконечность легла между нами… И вот, помню, сидел я перед стариком, молчал и доламывал рассеянной рукой и без того уже обломанные поля моей шляпы; сидел и ждал, неизвестно зачем, когда выйдет Наташа. Костюм мой был жалок и худо на мне сидел; лицом я осунулся, похудел, пожелтел, — а все-таки далеко не похож был я на поэта, и в глазах моих все-таки не было ничего великого, о чем так хлопотал когда-то добрый Николай Сергеич. Старушка смотрела на меня с непритворным и уж слишком торопливым сожалением, а сама про себя думала: «Ведь вот эдакой-то чуть не стал женихом Наташи, господи помилуй и сохрани!»

— Что, Иван Петрович, не хотите ли чаю? (самовар кипел на столе), да каково, батюшка, поживаете? Больные вы какие-то вовсе, — спросила она меня жалобным голосом, как теперь ее слышу.

И как теперь вижу: говорит она мне, а в глазах ее видна и другая забота, та же самая забота, от которой затуманился и ее старик и с которой он сидел теперь над простывающей чашкой и думал свою думу. Я знал, что их очень озабочивает в эту минуту процесс с князем Валковским, повернувшийся для них не совсем хорошо, и что у них случились еще новые неприятности, расстроившие Николая Сергеича

до болезни. Молодой князь, из-за которого началась вся история этого процесса, месяцев пять тому назад нашел случай побывать у Ихменевых. Старик, любивший своего милого Алешу как родного сына, почти каждый день вспоминавший о нем, принял его с радостию. Анна Андреевна вспомнила про Васильевское и расплакалась. Алеша стал ходить к ним чаще и чаще, потихоньку от отца; Николай Сергеич, честный, открытый, прямодушный, с негодованием отверг все предосторожности. Из благородной гордости он не хотел и думать: что скажет князь, если узнает, что его сын опять принят в доме Ихменевых, и мысленно презирал все его нелепые подозрения. Но старик не знал, достанет ли у него сил вынести новые оскорбления. Молодой князь начал бывать у них почти каждый день. Весело было с ним старикам. Целые вечера и далеко за полночь просиживал он у них. Разумеется, отец узнал наконец обо всем. Вышла гнуснейшая сплетня. Он оскорбил Николая Сергеича ужасным письмом, всё на ту же тему, как и прежде, а сыну положительно запретил посещать Ихменевых. Это случилось за две недели до моего к ним прихода. Старик загрустил ужасно. Как! Его Наташу, невинную, благородную, замешивать опять в эту грязную клевету, в эту низость! Ее имя было оскорбительно произнесено уже и прежде обидевшим его человеком… И оставить всё это без удовлетворения! В первые дни он слег в постель от отчаяния. Всё это я знал. Вся история дошла до меня в подробности, хотя я, больной и убитый, всё это последнее время, недели три, у них не показывался и лежал у себя на квартире. Но я знал еще… нет! я тогда еще только предчувствовал, знал, да не верил, что кроме этой истории есть и у них теперь что-то, что должно беспокоить их больше всего на свете, и с мучительной тоской к ним приглядывался. Да, я мучился; я боялся угадать, боялся верить и всеми силами желал удалить роковую минуту. А между тем и пришел для нее. Меня точно тянуло к ним в этот вечер!

— Да, Ваня, — спросил вдруг старик, как будто опомнившись, — уж не был ли болен? Что долго не ходил? Я виноват перед тобой: давно хотел тебя навестить, да всё как-то того… — И он опять задумался.

— Я был нездоров, — ответил я.

— Гм! нездоров! — повторил он пять минут спустя. — То-то нездоров! Говорил я тогда, предостерегал, — не послушался! Гм! Нет, брат Ваня: муза, видно, испокон веку сидела на чердаке голодная, да и будет сидеть. Так-то!

Да, не в духе был старик. Не было б у него своей раны на сердце, не заговорил бы он со мною о голодной музе. Я всматривался в его лицо: оно пожелтело, в глазах его выражалось какое-то недоумение, какая-то мысль в форме вопроса, которого он не в силах был разрешить. Был он как-то порывист и непривычно желчен. Жена взглядывала на него с беспокойством и покачивала головою. Когда он раз отвернулся, она кивнула мне на него украдкой.

— Как здоровье Натальи Николаевны? Она дома? — спросил я озабоченную Анну Андреевну.

— Дома, батюшка, дома, — отвечала она, как будто затрудняясь моим вопросом. — Сейчас сама выйдет на вас поглядеть. Шутка ли! Три недели не видались! Да чтой-то она у нас какая-то стала такая, — не сообразишь с ней никак: здоровая ли, больная ли, бог с ней!

И она робко посмотрела на мужа.

— А что? Ничего с ней, — отозвался Николай Сергеич неохотно и отрывисто, — здорова. Так, в лета входит девица, перестала младенцем быть, вот и всё. Кто их разберет, эти девичьи печали да капризы?

— Ну, уж и капризы! — подхватила Анна Андреевна обидчивым голосом.

Старик смолчал и забарабанил пальцами по столу. «Боже, неужели уж было что-нибудь между ними?» — подумал я в страхе.

— Ну, а что, как там у вас? — начал он снова. — Что Б., всё еще критику пишет?

— Да, пишет, — отвечал я.

— Эх, Ваня, Ваня! — заключил он, махнув рукой. — Что уж тут критика!

Дверь отворилась, и вошла Наташа.

Глава VII

Она несла в руках свою шляпку и, войдя, положила ее на фортепиано; потом подошла ко мне и молча протянула мне руку. Губы ее слегка пошевелились; она как будто хотела мне что-то сказать, какое-то приветствие, но ничего не сказала.

Три недели как мы не видались. Я глядел на нее с недоумением и страхом. Как переменилась она в три недели! Сердце мое защемило

тоской, когда я разглядел эти впалые бледные щеки, губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкавшие из-под длинных, темных ресниц горячечным огнем и какой-то страстной решимостью.

Но боже, как она была прекрасна! Никогда, ни прежде, ни после, не видал я ее такою, как в этот роковой день. Та ли, та ли это Наташа, та ли это девочка, которая, еще только год тому назад, не спускала с меня глаз и, шевеля за мною губками, слушала мой роман и которая так весело, так беспечно хохотала и шутила в тот вечер с отцом и со мною за ужином? Та ли это Наташа, которая там, в той комнате, наклонив головку и вся загоревшись румянцем, сказала мне: *да*.

Раздался густой звук колокола, призывавшего к вечерне. Она вздрогнула, старушка перекрестилась.

— Ты к вечерне[*] собиралась, Наташа, а вот уж и благовестят, — сказала она. — Сходи, Наташенька, сходи, помолись, благо близко! Да и прошлась бы заодно. Что взаперти-то сидеть? Смотри, какая ты бледная, ровно сглазили.

— Я… может быть… не пойду сегодня, — проговорила Наташа медленно и тихо, почти шепотом. — Я… нездорова, — прибавила она и побледнела как полотно.

— Лучше бы пойти, Наташа; ведь ты же хотела давеча и шляпку вот принесла. Помолись, Наташенька, помолись, чтоб тебе бог здоровья послал, — уговаривала Анна Андреевна, робко смотря на дочь, как будто боялась ее.

— Ну да; сходи; а к тому ж и пройдешься, — прибавил старик, тоже с беспокойством всматриваясь в лицо дочери, — мать правду говорит. Вот Ваня тебя и проводит.

Мне показалось, что горькая усмешка промелькнула на губах Наташи. Она подошла к фортепиано, взяла шляпку и надела ее; руки ее дрожали. Все движения ее были как будто бессознательны, точно она не понимала, что делала. Отец и мать пристально в нее всматривались.

— Прощайте! — чуть слышно проговорила она.

— И, ангел мой, что прощаться, далекий ли путь! На тебя хоть ветер подует; смотри, какая ты бледненькая. Ах! да ведь я и забыла (всё-то я забываю!) — ладонку[*] я тебе кончила; молитву зашила в нее, ангел мой; монашенка из Киева научила прошлого года; пригодная молитва; еще давеча зашила. Надень, Наташа. Авось господь бог тебе здоровья пошлет. Одна ты у нас.

И старушка вынула из рабочего ящика нательный золотой крестик Наташи; на той же ленточке была привешена только что сшитая ладонка.

— Носи на здоровье! — прибавила она, надевая крест и крестя дочь, — когда-то я тебя каждую ночь так крестила на сон грядущий, молитву читала, а ты за мной причитывала. А теперь ты не та стала, и не дает тебе господь спокойного духа. Ах, Наташа, Наташа! Не помогают тебе и молитвы мои материнские! — И старушка заплакала.

Наташа молча поцеловала ее руку и ступила шаг к дверям; но вдруг быстро воротилась назад и подошла к отцу. Грудь ее глубоко волновалась.

— Папенька! Перекрестите и вы… свою дочь, — проговорила она задыхающимся голосом и опустилась перед ним на колени.

Мы все стояли в смущении от неожиданного, слишком торжественного ее поступка. Несколько мгновений отец смотрел на нее, совсем потерявшись.

— Наташенька, деточка моя, дочка моя, милочка, что с тобою! — вскричал он наконец, и слезы градом хлынули из глаз его. — Отчего ты тоскуешь? Отчего плачешь и день и ночь? Ведь я всё вижу; я ночей не сплю, встаю и слушаю у твоей комнаты!.. Скажи мне всё, Наташа, откройся мне во всем, старику, и мы…

Он не договорил, поднял ее и крепко обнял. Она судорожно прижалась к его груди и скрыла на его плече свою голову.

— Ничего, ничего, это так… я нездорова… — твердила она, задыхаясь от внутренних, подавленных слез.

— Да благословит же тебя бог, как я благословляю тебя, дитя мое милое, бесценное дитя! — сказал отец. — Да пошлет он тебе навсегда мир души и оградит тебя от всякого горя. Помолись богу, друг мой, чтоб грешная молитва моя дошла до него.

— И мое, и мое благословение над тобою! — прибавила старушка, заливаясь слезами.

— Прощайте! — прошептала Наташа.

У дверей она остановилась, еще раз взглянула на них, хотела было еще что-то сказать, но не могла и быстро вышла из комнаты. Я бросился вслед за нею, предчувствуя недоброе.

Глава VIII

Она шла молча, скоро, потупив голову и не смотря на меня. Но, пройдя улицу и ступив на набережную, вдруг остановилась и схватила меня за руку.

— Душно! — прошептала она, — сердце теснит… душно!

— Воротись, Наташа! — вскричал я в испуге.

— Неужели ж ты не видишь, Ваня, что я вышла *совсем*, ушла от них и никогда не возвращусь назад? — сказала она, с невыразимой тоской смотря на меня.

Сердце упало во мне. Всё это я предчувствовал, еще идя к ним; всё это уже представлялось мне, как в тумане, еще, может быть, задолго до этого дня; но теперь слова ее поразили меня как громом.

Мы печально шли по набережной. Я не мог говорить; я соображал, размышлял и потерялся совершенно. Голова у меня закружилась. Мне казалось это так безобразно, так невозможно!

— Ты винишь меня, Ваня? — сказала она наконец.

— Нет, но… но я не верю; этого быть не может!.. — отвечал я, не помня, что говорю.

— Нет, Ваня, это уж есть! Я ушла от них и не знаю, что с ними будет… не знаю, что будет и со мною!

— Ты к *нему*, Наташа? Да?

— Да! — отвечала она.

— Но это невозможно! — вскричал я в исступлении, — знаешь ли, что это невозможно, Наташа, бедная ты моя!

Ведь это безумие. Ведь ты их убьешь и себя погубишь! Знаешь ли ты это, Наташа?

— Знаю; но что же мне делать, не моя воля, — сказала она, и в словах ее слышалось столько отчаяния, как будто она шла на смертную казнь.

— Воротись, воротись, пока не поздно, — умолял я ее, и тем горячее, тем настойчивее умолял, чем больше сам сознавал всю бесполезность моих увещаний и всю нелепость их в настоящую минуту. — Понимаешь ли ты, Наташа, что ты сделаешь с отцом? Обдумала ль ты это? Ведь *его* отец враг твоему; ведь князь оскорбил твоего отца, заподозрил его в грабеже денег; ведь он его вором назвал. Ведь они тягаются… Да что! Это еще последнее дело, а знаешь ли ты, Наташа… (о боже, да ведь ты всё это знаешь!) знаешь ли, что князь заподозрил твоего отца и мать, что они сами, нарочно, сводили тебя с

Алешей, когда Алеша гостил у нас в деревне? Подумай, представь себе только, каково страдал тогда твой отец от этой клеветы. Ведь он весь поседел в эти два года, — взгляни на него! А главное: ты ведь это всё знаешь, Наташа, господи боже мой! Ведь уж я не говорю, чего стоит им обоим тебя потерять навеки! Ведь ты их сокровище, всё, что у них осталось на старости. Я уж и говорить об этом не хочу: сама должна знать; припомни, что отец считает тебя напрасно оклеветанною, обиженною этими гордецами, неотомщенною! Теперь же, именно теперь, всё это вновь разгорелось, усилилась вся эта старая, наболевшая вражда из-за того, что вы принимали к себе Алешу. Князь опять оскорбил твоего отца, в старике еще злоба кипит от этой новой обиды, и вдруг всё, всё это, все эти обвинения окажутся теперь справедливыми! Все, кому дело известно, оправдают теперь князя и обвинят тебя и твоего отца. Ну, что теперь будет с ним? Ведь это убьет его сразу! Стыд, позор, и от кого же? Через тебя, его дочь, его единственное, бесценное дитя! А мать? Да ведь она не переживет старика… Наташа, Наташа! Что ты делаешь? Воротись! Опомнись!

Она молчала; наконец взглянула на меня как будто с упреком, и столько пронзительной боли, столько страдания было в ее взгляде, что я понял, какою кровью и без моих слов обливается теперь ее раненое сердце. Я понял, чего стоило ей ее решение и как я мучил, резал ее моими бесполезными, поздними словами; я всё это понимал и все-таки не мог удержать себя и продолжал говорить:

— Да ведь ты же сама говорила сейчас Анне Андреевне, *может быть,* не пойдешь из дому… ко всенощной[*]. Стало быть, ты хотела и остаться; стало быть, не решилась еще совершенно?

Она только горько улыбнулась в ответ. И к чему я это спросил? Ведь я мог понять, что всё уже было решено невозвратно. Но я тоже был вне себя.

— Неужели ж ты так его полюбила? — вскричал я, с замиранием сердца смотря на нее и почти сам не понимая, что спрашиваю.

— Что мне отвечать тебе, Ваня? Ты видишь! Он велел мне прийти, и я здесь, жду его, — проговорила она с той же горькой улыбкой.

— Но послушай, послушай только, — начал я опять умолять ее, хватаясь за соломинку, — всё это еще можно поправить, еще можно обделать другим образом, совершенно другим каким-нибудь образом! Можно не уходить из дому. Я тебя научу, как сделать, Наташечка. Я

берусь вам всё устроить, всё, и свидания, и всё… Только из дому-то не уходи!.. Я буду переносить ваши письма; отчего же не переносить? Это лучше, чем теперешнее. Я сумею это сделать; я вам угожу обоим; вот увидите, что угожу… И ты не погубишь себя, Наташечка, как теперь… А то ведь ты совсем себя теперь губишь, совсем! Согласись, Наташа: всё пойдет и прекрасно и счастливо, и любить вы будете друг друга сколько захотите… А когда отцы перестанут ссориться (потому что они непременно перестанут ссориться) — тогда…

— Полно, Ваня, оставь, — прервала она, крепко сжав мою руку и улыбнувшись сквозь слезы. — Добрый, добрый Ваня! Добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты всё простил, только об моем счастье и думаешь. Письма нам переносить хочешь…

Она заплакала.

— Я ведь знаю, Ваня, как ты любил меня, как до сих пор еще любишь, и ни одним-то упреком, ни одним горьким словом ты не упрекнул меня во всё это время! А я, я… Боже мой, как я перед тобой виновата! Помнишь, Ваня, помнишь и наше время с тобою? Ох, лучше б я не знала, не встречала б *его* никогда!.. Жила б я с тобой, Ваня, с тобой, добренький ты мой, голубчик ты мой!.. Нет, я тебя не стою! Видишь, я какая: в такую минуту тебе же напоминаю о нашем прошлом счастии, а ты и без того страдаешь! Вот ты три недели не приходил: клянусь же тебе, Ваня, ни одного разу не приходила мне в голову мысль, что ты меня проклял и ненавидишь. Я знала, отчего ты ушел: ты не хотел нам мешать и быть нам живым укором. А самому тебе разве не было тяжело на нас смотреть? А как я ждала тебя, Ваня, уж как ждала! Ваня, послушай, если я и люблю Алешу как безумная, как сумасшедшая, то тебя, может быть, еще больше, как друга моего, люблю. Я уж слышу, знаю, что без тебя я не проживу; ты мне надобен, мне твое сердце надобно, твоя душа золотая… Ох, Ваня! Какое горькое, какое тяжелое время наступает!

Она залилась слезами. Да, тяжело ей было!

— Ах, как мне хотелось тебя видеть! — продолжала она, подавив свои слезы. — Как ты похудел, какой ты больной, бледный; ты в самом деле был нездоров, Ваня? Что ж я, и не спрошу! Всё о себе говорю; ну, как же теперь твои дела с журналистами? Что твой новый роман, подвигается ли?

— До романов ли, до меня ли теперь, Наташа! Да и что мои дела! Ничего; так себе, да и бог с ними! А вот что, Наташа: это он сам потребовал, чтоб ты шла к нему?

— Нет, не он один, больше я. Он, правда, говорил, да я и сама… Видишь, голубчик, я тебе всё расскажу: ему сватают невесту, богатую и очень знатную; очень знатным людям родня. Отец непременно хочет, чтоб он женился на ней, а отец, ведь ты знаешь, — ужасный интриган; он все пружины в ход пустил: и в десять лет такого случая не нажить. Связи, деньги… А она, говорят, очень хороша собою; да и образованием и сердцем — всем хороша; уж Алеша увлекается ею. Да к тому же отец и сам его хочет поскорей с плеч долой сбыть, чтоб самому жениться, а потому непременно и во что бы то ни стало положил расторгнуть нашу связь. Он боится меня и моего влиянии на Алешу…

— Да разве князь, — прервал я ее с удивлением, — про вашу любовь знает? Ведь он только подозревал, да и то не наверно.

— Знает, всё знает.

— Да ему кто сказал?

— Алеша же всё и рассказал, недавно. Он мне сам говорил, что всё это рассказал отцу.

— Господи! Что ж это у вас происходит! Сам же всё и рассказал, да еще в такое время?..

— Не вини его, Ваня, — перебила Наташа, — не смейся над ним! Его судить нельзя, как всех других. Будь справедлив. Ведь он не таков, как вот мы с тобой. Он ребенок; его и воспитали не так. Разве он понимает, что делает? Первое впечатление, первое чужое влияние способно его отвлечь от всего, чему он за минуту перед тем отдавался с клятвою. У него нет характера. Он вот поклянется тебе, да в тот же день, так же правдиво и искренно, другому отдастся; да еще сам первый к тебе придет рассказать об этом. Он и дурной поступок, пожалуй, сделает; да обвинить-то его за этот дурной поступок нельзя будет, а разве что пожалеть. Он и на самопожертвование способен и даже знаешь на какое! Да только до какого-нибудь нового впечатления: тут уж он опять всё забудет. *Так и меня забудет, если я не буду постоянно при нем.* Вот он какой!

— Ах, Наташа, да, может быть, это всё неправда, только слухи одни. Ну, где ему, такому еще мальчику, жениться!

— Соображения какие-то у отца особенные, говорю тебе.

— А почему ж ты знаешь, что невеста его так хороша и что он и ею уж увлекается?

— Да ведь он мне сам говорил,

— Как! Сам же и сказал тебе, что может другую любить, а от тебя потребовал теперь такой жертвы?

— Нет, Ваня, нет! Ты не знаешь его, ты мало с ним был; его надо короче узнать и уж потом судить. Нет сердца на свете правдивее и чище его сердца! Что ж? Лучше, что ль, если б он лгал? А что он увлекся, так ведь стоит только мне неделю с ним не видаться, он и забудет меня и полюбит другую, а потом как увидит меня, то и опять у ног моих будет. Нет! Это еще и хорошо, что я знаю, что не скрыто от меня это; а то бы я умерла от подозрений. Да, Ваня! Я уж решилась: *если я не буду при нем всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит.* Уж он такой: его всякая другая за собой увлечь может. А что же я тогда буду делать? Я тогда умру… да что умереть! Я бы и рада теперь умереть! А вот каково жить-то мне без него? Вот что хуже самой смерти, хуже всех мук! О Ваня, Ваня! Ведь есть же что-нибудь, что я вот бросила теперь для него и мать и отца! Не уговаривай меня: всё решено! Он должен быть подле меня каждый час, каждое мгновение; я не могу воротиться. Я знаю, что погибла и других погубила… Ах, Ваня! — вскричала она вдруг и вся задрожала, — что если он в самом деле уж не любит меня! Что если ты правду про него сейчас говорил (я никогда этого не говорил), что он только обманывает меня и только кажется таким правдивым и искренним, а сам злой и тщеславный! Я вот теперь защищаю его перед тобой; а он, может быть, в эту же минуту с другою и смеется про себя… а я, я, низкая, бросила всё и хожу по улицам, ищу его… Ох, Ваня!

Этот стон с такою болью вырвался из ее сердца, что вся душа моя заныла в тоске. Я понял, что Наташа потеряла уже всякую власть над собой. Только слепая, безумная ревность в последней степени могла довести ее до такого сумасбродного решения. Но во мне самом разгорелась ревность и прорвалась из сердца. Я не выдержал: гадкое чувство увлекло меня.

— Наташа, — сказал я, — одного только я не понимаю: как ты можешь любить его после того, что сама про него сейчас говорила? Не уважаешь его, не веришь даже в любовь его и идешь к нему без возврата, и всех для него губишь? Что ж это такое? Измучает он тебя на

всю жизнь, да и ты его тоже. Слишком уж любишь ты его, Наташа, слишком! Не понимаю я такой любви.

— Да, люблю как сумасшедшая, — отвечала она, побледнев, как будто от боли. — Я тебя никогда так не любила, Ваня. Я ведь и сама знаю, что с ума сошла и не так люблю, как надо. Нехорошо я люблю его… Слушай, Ваня: я ведь и прежде знала и даже в самые счастливые минуты наши предчувствовала, что он даст мне одни только муки. Но что же делать, если мне теперь даже муки от него — счастье? Я разве на радость иду к нему? Разве я не знаю вперед, что меня у него ожидает и что я перенесу от него? Ведь вот он клялся мне любить меня, все обещания давал: а ведь я ничему не верю из его обещаний, ни во что их не ставлю и прежде не ставила, хоть и знала, что он мне не лгал, да и солгать не может. Я сама ему сказала, сама, что не хочу его ничем связывать. С ним это лучше: привязи никто не любит, я первая. А все-таки я рада быть его рабой, добровольной рабой; переносить от него всё, всё, только бы он был со мной, только бы я глядела на него! Кажется, пусть бы он и другую любил, только бы при мне это было, чтоб и я тут подле была… Экая низость, Ваня? — спросила она вдруг, смотря на меня каким-то горячечным, воспаленным взглядом. Одно мгновение мне казалось, будто она в бреду. — Ведь это низость, такие желания? Что же? Сама говорю, что низость, а если он бросит меня, я побегу за ним на край света, хоть и отталкивать, хоть и прогонять меня будет. Вот ты уговариваешь теперь меня воротиться, — а что будет из этого? Ворочусь, а завтра же опять уйду, прикажет — и уйду; свистнет, кликнет меня, как собачку, я и побегу за ним… Муки! Не боюсь я от него никаких мук! Я буду знать, что *отнего* страдаю… Ох, да ведь этого не расскажешь, Ваня!

«А отец, а мать?» — подумал я. Она как будто уж и забыла про них.

— Так он и не женится на тебе, Наташа?

— Обещал, всё обещал. Он ведь для того меня и зовет теперь, чтоб завтра же обвенчаться потихоньку, за городом; да ведь он не знает, что делает. Он, может быть, как и венчаются-то, не знает. И какой он муж! Смешно, право. А женится, так несчастлив будет, попрекать начнет… Не хочу я, чтоб он когда-нибудь в чем-нибудь попрекнул меня. Всё ему отдам, а он мне пускай ничего. Что ж, коль он несчастлив будет от женитьбы, зачем же его несчастным делать?

— Нет, это какой-то чад, Наташа, — сказал я. — Что ж, ты теперь

прямо к нему?

— Нет, он обещался сюда прийти, взять меня; мы условились…

И она жадно посмотрела вдаль, но никого еще не было.

— И его еще нет! И ты *первая* пришла! — вскричал я с негодованием. Наташа как будто пошатнулась от удара. Лицо ее болезненно исказилось.

— Он, может быть, и совсем не придет, — проговорила она с горькой усмешкой. — Третьего дня он писал, что если я не дам ему слово прийти, то он поневоле должен отложить свое решение — ехать и обвенчаться со мною; а отец увезет его к невесте. И так просто, так натурально написал, как будто это и совсем ничего… Что если он и вправду поехал к *ней,* Ваня?

Я не отвечал. Она крепко стиснула мне руку — и глаза ее засверкали.

— Он у ней, — проговорила она чуть слышно. — Он надеялся, что я не приду сюда, чтоб поехать к ней, а потом сказать, что он прав, что он заранее уведомлял, а я сама не пришла. Я ему надоела, вот он и отстает… Ох, боже! Сумасшедшая я! Да ведь он мне сам в последний раз сказал, что я ему надоела… Чего ж я жду!

— Вот он! — закричал я, вдруг завидев его вдали на набережной.

Наташа вздрогнула, вскрикнула, вгляделась в приближавшегося Алешу и вдруг, бросив мою руку, пустилась к нему. Он тоже ускорил шаги, и через минуту она была уже в его объятиях. На улице, кроме нас, никого почти не было. Они целовались, смеялись; Наташа смеялась и плакала, всё вместе, точно они встретились после бесконечной разлуки. Краска залила ее бледные щеки; она была как исступленная… Алеша заметил меня и тотчас же ко мне подошел.

Глава IX

Я жадно в него всматривался, хоть и видел его много раз до этой минуты; я смотрел в его глаза, как будто его взгляд мог разрешить все мои недоумения, мог разъяснить мне: чем, как этот ребенок мог очаровать ее, мог зародить в ной такую безумную любовь — любовь до забвения самого первого долга, до безрассудной жертвы всем, что было для Наташи до сих пор самой полной святыней? Князь взял меня за обе

руки, крепко пожал их, и его взгляд, кроткий и ясный, проник в мое сердце.

Я почувствовал, что мог ошибаться в заключениях моих на его счет уж по тому одному, что он был враг мой. Да, я не любил его, и, каюсь, я никогда не мог его полюбить, — только один я, может быть, из всех его знавших. Многое в нем мне упорно не нравилось, даже изящная его наружность, и, может быть, именно потому, что она была как-то уж слишком изящна. Впоследствии я понял, что и в этом судил пристрастно. Он был высок, строен, тонок; лицо его было продолговатое, всегда бледное; белокурые волосы, большие голубые глаза, кроткие и задумчивые, в которых вдруг, порывами, блистала иногда самая простодушная, самая детская веселость. Полные небольшие пунцовые губы его, превосходно обрисованные, почти всегда имели какую-то серьезную складку; тем неожиданнее и тем очаровательнее была вдруг появлявшаяся на них улыбка, до того наивная и простодушная, что вы сами, вслед за ним, в каком бы вы ни были настроении духа, ощущали немедленную потребность, в ответ ему, точно так же как и он, улыбнуться. Одевался он неизысканно, но всегда изящно; видно было, что ему не стоило ни малейшего труда это изящество во всем, что оно ему прирожденно. Правда, и в нем было несколько нехороших замашек, несколько дурных привычек хорошего тона: легкомыслие, самодовольство, вежливая дерзость. Но он был слишком ясен и прост душою и сам, первый обличал в себе эти привычки, каялся в них и смеялся над ними. Мне кажется, этот ребенок никогда, даже и в шутку, не мог бы солгать, а если б и солгал, то, право, не подозревая в этом дурного. Даже самый эгоизм был в нем как-то привлекателен, именно потому, может быть, что был откровенен, а не скрыт. В нем ничего не было скрытного. Он был слаб, доверчив и робок сердцем; воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно и жалко, так же как грешно обмануть и обидеть ребенка. Он был не по летам наивен и почти ничего не понимал из действительной жизни; впрочем, и в сорок лет ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как бы осуждены на вечное несовершеннолетие. Мне кажется, не было человека, который бы мог не полюбить его; он заласкался бы к вам, как дитя. Наташа сказала правду: он мог бы сделать и дурной поступок, принужденный к тому чьим-нибудь сильным влиянием: но, сознав последствия такого поступка, я думаю, он бы умер от раскаяния.

Наташа инстинктивно чувствовала, что будет его госпожой, владычицей; что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая. Но и в его глазах сияла любовь, и он с восторгом смотрел на нее. Она с торжеством взглянула на меня. Она забыла в это мгновение всё — и родителей, и прощанье, и подозрения… Она была счастлива.

— Ваня! — вскричала она, — я виновата перед ним и не стою его! Я думала, что ты уже и не придешь, Алеша. Забудь мои дурные мысли, Ваня. Я заглажу это! — прибавила она, с бесконечною любовью смотря на него. Он улыбнулся, поцеловал у ней руку и, не выпуская ее руки, сказал, обращаясь ко мне:

— Не вините и меня. Как давно хотел я вас обнять как родного брата; как много она мне про вас говорила! Мы с вами до сих пор едва познакомились и как-то не сошлись. Будем друзьями и… простите нас, — прибавил он вполголоса и немного покраснев, но с такой прекрасной улыбкой, что я не мог не отозваться всем моим сердцем на его приветствие.

— Да, да, Алеша, — подхватила Наташа, — он наш, он наш брат, он уже простил нас, и без него мы не будем счастливы. Я уже тебе говорила… Ох, жестокие мы дети, Алеша! Но мы будем жить втроем… Ваня! — продолжала она, и губы ее задрожали, — вот ты воротишься теперь к *ним*, домой; у тебя такое золотое сердце, что хоть они и не простят меня, но, видя, что и ты простил, может быть, хоть немного смягчатся надо мной. Расскажи им всё, всё, *своими* словами из сердца; найди такие слова… Защити меня, спаси; передай им все причины, всё, как сам понял. Знаешь ли, Ваня, что я бы, может быть, и не решилась на *это*, если б тебя не случилось сегодня со мною! Ты спасение мое: я тотчас же на тебя понадеялась, что ты сумеешь им так передать, что по крайней мере этот первый-то ужас смягчишь для них. О боже мой, боже!.. Скажи им от меня, Ваня, что я знаю, простить меня уж нельзя теперь: они простят, бог не простит; но что если они и проклянут меня, то я все-таки буду благословлять их и молиться за них всю мою жизнь. Всё мое сердце у них! Ах, зачем мы не все счастливы! Зачем, зачем!.. Боже! Что это я такое сделала! — вскричала она вдруг, точно опомнившись, и, вся задрожав от ужаса, закрыла лицо руками. Алеша

обнял ее и молча крепко прижал к себе. Прошло несколько минут молчания.

— И вы могли потребовать такой жертвы! — сказал я, с упреком смотря на него.

— Не вините меня! — повторил он, — уверяю вас, что теперь все эти несчастья, хоть они и очень сильны, — только на одну минуту. Я в этом совершенно уверен. Нужна только твердость, чтоб перенести эту минуту; то же самое и она мне говорила. Вы знаете: всему причиною эта семейная гордость, эти совершенно ненужные ссоры, какие-то там еще тяжбы!.. Но… (я об этом долго размышлял, уверяю вас) всё это должно прекратиться. Мы все соединимся опять и тогда уже будем совершенно счастливы, так что даже и старики помирятся, на нас глядя. Почему знать, может быть, именно наш брак послужит началом к их примирению! Я думаю, что даже и не может быть иначе. Как вы думаете?

— Вы говорите: брак. Когда же вы обвенчаетесь? — спросил я, взглянув на Наташу.

— Завтра или послезавтра; по крайней мере, послезавтра — наверно. Вот видите, я и сам еще не хорошо знаю и, по правде, ничего еще там не устроил. Я думал, что Наташа, может быть, еще и не придет сегодня. К тому же отец непременно хотел меня везти сегодня к невесте (ведь мне сватают невесту; Наташа вам сказывала? да я не хочу). Ну, так я еще и не мог рассчитать всего наверное. Но все-таки мы, наверное, обвенчаемся послезавтра. Мне, по крайней мере, так кажется, потому что ведь нельзя же иначе. Завтра же мы выезжаем по Псковской дороге. Тут у меня недалеко, в деревне, есть товарищ, лицейский, очень хороший человек; я вас, может быть, познакомлю. Там в селе есть и священник, а, впрочем, наверно не знаю, есть или нет. Надо было заранее справиться, да я не успел… А, впрочем, по-настоящему, всё это мелочи. Было бы главное-то в виду. Можно ведь из соседнего какого-нибудь села пригласить священника; как вы думаете? Ведь есть же там соседние села! Одно жаль, что я до сих пор не успел ни строчки написать туда; предупредить бы надо. Пожалуй, моего приятеля нет теперь и дома… Но — это последняя вещь! Была бы решимость, а там всё само собою устроится, не правда ли? А покамест, до завтра или хоть до послезавтра, она пробудет здесь у меня. Я нанял особую квартиру, в которой мы и воротясь будем жить. Я уж не пойду жить к отцу, не

правда ли? Вы к нам придете; я премило устроился. Ко мне будут ходить наши лицейские; я заведу вечера…

Я с недоумением и тоскою смотрел на него. Наташа умоляла меня взглядом не судить его строго и быть снисходительнее. Она слушала его рассказы с какою-то грустною улыбкой, а вместе с тем как будто и любовалась им, так же как любуются милым, веселым ребенком, слушая его неразумную, но милую болтовню. Я с упреком поглядел на нее. Мне стало невыносимо тяжело.

— Но ваш отец? — спросил я, — твердо ли вы уверены, что он вас простит?

— Непременно; что ж ему останется делать? То есть он, разумеется, проклянет меня сначала; я даже в этом уверен. Он уж такой; и такой со мной строгий. Пожалуй, еще будет кому-нибудь жаловаться, употребит, одним словом, отцовскую власть. Но ведь всё это не серьезно. Он меня любит без памяти; посердится и простит. Тогда все помирятся, и все мы будем счастливы. Ее отец тоже.

— А если не простит? подумали ль вы об этом?

— Непременно простит, только, может быть, не так скоро. Ну что ж? Я докажу ему, что и у меня есть характер. Он всё бранит меня, что у меня нет характера, что я легкомысленный. Вот и увидит теперь, легкомыслен ли я или нет? Ведь сделаться семейным человеком не шутка; тогда уж я буду не мальчик… то есть я хотел сказать, что я буду такой же, как и другие… ну, там семейные люди. Я буду жить своими трудами. Наташа говорит, что это гораздо лучше, чем жить на чужой счет, как мы все живем. Если б вы только знали, сколько она мне говорит хорошего! Я бы сам этого никогда не выдумал; — не так я рос, не так меня воспитали. Правда, я и сам знаю, что я легкомыслен и почти ни к чему не способен; но, знаете ли, у меня третьего дня явилась удивительная мысль. Теперь хоть и не время, но я вам расскажу, потому что надо же и Наташе услышать, а вы нам дадите совет. Вот видите: я хочу писать повести и продавать в журналы, так же как и вы. Вы мне поможете с журналистами, не правда ли? Я рассчитывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один роман, так, для пробы, и знаете ли: могла бы выйти премиленькая вещица. Сюжет я взял из одной комедии Скриба[*]…Но я вам потом расскажу. Главное, за него дадут денег… ведь вам же платят! Я не мог не усмехнуться.

— Вы смеетесь, — сказал он, улыбаясь вслед за мною. — Нет,

послушайте, — прибавил он с непостижимым простодушием, — вы не смотрите на меня, что я такой кажусь; право, у меня чрезвычайно много наблюдательности; вот вы увидите сами. Почему же не попробовать? Может, и выйдет что-нибудь… А впрочем, вы, кажется, и правы: я ведь ничего не знаю в действительной жизни; так мне и Наташа говорит; это, впрочем, мне и все говорят; какой же я буду писатель? Смейтесь, смейтесь, поправляйте меня; ведь это для нее же вы сделаете, а вы ее любите. Я вам правду скажу: я не стою ее; я это чувствую; мне это очень тяжело, и я не знаю, за что это она меня так полюбила? А я бы, кажется, всю жизнь за нее отдал! Право, я до этой минуты ничего не боялся, а теперь боюсь: что это мы затеваем! Господи! Неужели ж в человеке, когда он вполне предан своему долгу, как нарочно, недостанет уменья и твердости исполнить свой долг? Помогайте нам хоть вы, друг наш! вы один только друг у нас и остались. А ведь я что понимаю один-то! Простите, что я на вас так рассчитываю; я вас считаю слишком благородным человеком и гораздо лучше меня. Но я исправлюсь, будьте уверены, и буду достоин вас обоих.

Тут он опять пожал мне руку, и в прекрасных глазах его просияло доброе, прекрасное чувство. Он так доверчиво протягивал мне руку, так верил, что я ему друг!

— Она мне поможет исправиться, — продолжал он. — Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь очень худого, не сокрушайтесь слишком об нас. У меня все-таки много надежд, а в материальном отношении мы будем совершенно обеспечены. Я, например, если не удастся роман (я, по правде, еще и давеча подумал, что роман глупость, а теперь только так про него рассказал, чтоб выслушать ваше решение), — если не удастся роман, то я ведь в крайнем случае могу давать уроки музыки. Вы не знали, что я знаю музыку? Я не стыжусь жить и таким трудом. Я совершенно новых идей в этом случае. Да, кроме того, у меня есть много дорогих безделушек, туалетных вещиц; к чему они? Я продам их, и мы, знаете, сколько времени проживем на это! Наконец, в самом крайнем случае, я, может быть, действительно займусь службой. Отец даже будет рад; он всё гонит меня служить, а я всё отговариваюсь нездоровьем. (Я, впрочем, куда-то уж записан). А вот как он увидит, что женитьба принесла мне пользу, остепенила меня и что я действительно начал служить, — обрадуется и простит меня…

— Но, Алексей Петрович, подумали ль вы, какая история выйдет

теперь между вашим и ее отцом? Как вы думаете, что сегодня будет вечером у них в доме?

И я указал ему на помертвевшую от моих слов Наташу. Я был безжалостен.

— Да, да, вы правы, это ужасно! — отвечал он. — Я уже думал об этом и душевно страдал… Но что же делать? Вы правы: хотя только бы ее-то родители нас простили! А как я их люблю обоих, если б вы знали! Ведь они мне всё равно что родные, и вот чем я им плачу!.. Ох, уж эти ссоры, эти процессы! Вы не поверите, как это нам теперь неприятно! И за что они ссорятся! Все мы так друг друга любим, а ссоримся! Помирились бы, да и дело с концом! Право, я бы так поступил на их месте… Страшно мне от ваших слов. Наташа, это ужас, что мы с тобой затеваем! Я это и прежде говорил… Ты сама настаиваешь… Но послушайте, Иван Петрович, может быть, всё это уладится к лучшему; как вы думаете? Ведь помирятся же они наконец! Мы их помирим. Это так, это непременно; они не устоят против нашей любви… Пусть они нас проклинают, а мы их все-таки будем любить; они и не устоят. Вы не поверите, какое иногда бывает доброе сердце у моего старика! Он ведь это так только смотрит исподлобья, а ведь в других случаях он прерассудительный. Если б вы знали, как он мягко со мной говорил сегодня, убеждал меня! А я вот сегодня же против него иду; это мне очень грустно. А всё из-за этих негодных предрассудков! Просто — сумасшествие! Ну что если б он на нее посмотрел хорошенько и пробыл с нею хоть полчаса? Ведь он тотчас же всё бы нам позволил. — Говоря это, Алеша нежно и страстно взглянул на Наташу.

— Я тысячу раз с наслаждением воображал себе, — продолжал он свою болтовню, — как он полюбит ее, когда узнает, и как она их всех изумит. Ведь они все и не видывали никогда такой девушки! Отец убежден, что она просто какая-то интриганка. Моя обязанность восстановить ее честь, и я это сделаю! Ах, Наташа! тебя все полюбят, все; нет такого человека, который бы мог тебя не любить, — прибавил он в восторге. — Хоть я не стою тебя совсем, но ты люби меня, Наташа, а уж я… ты ведь знаешь меня! Да и много ль нужно нам для нашего счастья! Нет, я верю, верю, что этот вечер должен принесть нам всем и счастье, и мир, и согласие! Будь благословен этот вечер! Так ли, Наташа? Но что с тобой? Боже мой, что с тобой?

Она была бледна как мертвая. Всё время, как разглагольствовал

Алеша, она пристально смотрела на него; но взгляд ее становился всё мутнее и неподвижнее, лицо всё бледнее и бледнее. Мне казалось, что она, наконец, уж и не слушала, а была в каком-то забытьи. Восклицание Алеши как будто вдруг разбудило ее. Она очнулась, осмотрелась и вдруг — бросилась ко мне. Наскоро, точно торопясь и как будто прячась от Алеши, она вынула из кармана письмо и подала его мне. Письмо было к старикам и еще накануне писано. Отдавая мне его, она пристально смотрела на меня, точно приковалась ко мне своим взглядом. Во взгляде этом было отчаяние; я никогда не забуду этого страшного взгляда. Страх охватил и меня; я видел, что она теперь только вполне почувствовала весь ужас своего поступка. Она силилась мне что-то сказать; даже начала говорить и вдруг упала в обморок. Я успел поддержать ее. Алеша побледнел от испуга; он тер ей виски, целовал руки, губы. Минуты через две она очнулась. Невдалеке стояла извозчичья карета, в которой приехал Алеша; он подозвал ее. Садясь в карету, Наташа как безумная схватила мою руку, и горячая слезинка обожгла мои пальцы. Карета тронулась. Я еще долго стоял на месте, провожая ее глазами. Всё мое счастье погибло в эту минуту, и жизнь переломилась надвое. Я больно это почувствовал… Медленно пошел я назад, прежней дорогой, к старикам. Я не знал, что скажу им, как войду к ним? Мысли мои мертвели, ноги подкашивались…

И вот вся история моего счастия; так кончилась и разрешилась моя любовь. Буду теперь продолжать прерванный рассказ.

Глава X

Дней через пять после смерти Смита я переехал на его квартиру. Весь тот день мне было невыносимо грустно. Погода была ненастная и холодная; шел мокрый снег, пополам с дождем. Только к вечеру, на одно мгновение, проглянуло солнце и какой-то заблудший луч, верно из любопытства, заглянул и в мою комнату. Я стал раскаиваться, что переехал сюда. Комната, впрочем, была большая, но такая низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая, несмотря на кой-какую мебель. Тогда же подумал я, что непременно сгублю в этой квартире и последнее здоровье свое. Так оно и случилось.

Всё это утро я возился с своими бумагами, разбирая их и приводя в

порядок. За неимением портфеля я перевез их в подушечной наволочке; всё это скомкалось и перемешалось. Потом я засел писать. Я всё еще писал тогда мой большой роман[*]; но дело опять повалилось из рук; не тем была полна голова…

Я бросил перо и сел у окна. Смеркалось, а мне становилось всё грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Всё казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Приближалась весна; так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет божий, дохнув запахом свежих полей и лесов: а я так давно не видал их!.. Помню, пришло мне тоже на мысль, как бы хорошо было, если б каким-нибудь волшебством или чудом совершенно забыть всё, что было, что прожилось в последние годы; всё забыть, освежить голову и опять начать с новыми силами. Тогда еще я мечтал об этом и надеялся на воскресение. «Хоть бы в сумасшедший дом поступить, что ли, — решил я наконец, — чтоб перевернулся как-нибудь весь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться». Была же жажда жизни и вера в нее!.. Но, помню, я тогда же засмеялся. «Что же бы делать пришлось после сумасшедшего-то дома? Неужели опять романы писать?..»

Так я мечтал и горевал, а между тем время уходило. Наступала ночь. В этот вечер у меня было условлено свидание с Наташей; она убедительно звала меня к себе запиской еще накануне. Я вскочил и стал собираться. Мне и без того хотелось вырваться поскорей из квартиры хоть куда-нибудь, хоть на дождь, на слякоть.

По мере того как наступала темнота, комната моя становилась как будто просторнее, как будто она всё более и более расширялась. Мне вообразилось, что я каждую ночь в каждом углу буду видеть Смита: он будет сидеть и неподвижно глядеть на меня, как в кондитерской на Адама Ивановича, а у ног его будет Азорка. И вот в это-то мгновение случилось со мной происшествие, которое сильно поразило меня.

Впрочем, надо сознаться во всем откровенно: от расстройства ли нерв, от новых ли впечатлений в новой квартире, от недавней ли хандры, но я мало-помалу и постепенно, с самого наступления сумерек, стал впадать в то состояние души, которое так часто приходит ко мне теперь, в моей болезни, по ночам, и которое я называю *мистическим ужасом.* Это — самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в

порядке вещей, но что непременно, может быть сию же минуту, осуществится, как бы в насмешку всем доводам разума придет ко мне и станет передо мною как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый. Боязнь эта возрастает обыкновенно всё сильнее и сильнее, несмотря ни на какие доводы рассудка, так что наконец ум, несмотря на то что приобретает в эти минуты, может быть, еще большую ясность, тем не менее лишается всякой возможности противодействовать ощущениям. Его не слушаются, он становится бесполезен, и это раздвоение еще больше усиливает пугливую тоску ожидания. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов. Но в моей тоске неопределенность опасности еще более усиливает мучения.

Помню, я стоял спиной к дверям и брал со стола шляпу, и вдруг в это самое мгновение мне пришло на мысль, что когда я обернусь назад, то непременно увижу Смита: сначала он тихо растворит дверь, станет на пороге и оглядит комнату; потом тихо, склонив голову, войдет, станет передо мной, уставится на меня своими мутными глазами и вдруг засмеется мне прямо в глаза долгим, беззубым и неслышным смехом, и всё тело его заколышется и долго будет колыхаться от этого смеха. Всё это привидение чрезвычайно ярко и отчетливо нарисовалось внезапно в моем воображении, а вместе с тем вдруг установилась во мне самая полная, самая неотразимая уверенность, что всё это непременно, неминуемо случится, что это уж и случилось, но только я не вижу, потому что стою задом к двери, и что именно в это самое мгновение, может быть, уже отворяется дверь. Я быстро оглянулся, и что же? — дверь действительно отворялась, тихо, неслышно, точно так, как мне представлялось минуту назад. Я вскрикнул. Долго никто не показывался, как будто дверь отворялась сама собой; вдруг на пороге явилось какое-то странное существо; чьи-то глаза, сколько я мог различить в темноте, разглядывали меня пристально и упорно. Холод пробежал по всем моим членам. К величайшему моему ужасу, я увидел, что это ребенок, девочка, и если б это был даже сам Смит, то и он бы, может быть, не так испугал меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого ребенка в моей комнате в такой час и в такое время.

Я уже сказал, что дверь она отворяла так неслышно и медленно, как будто боялась войти. Появившись, она стала на пороге и долго смотрела на меня с изумлением, доходившим до столбняка; наконец тихо,

медленно ступила два шага вперед и остановилась передо мною, всё еще не говоря ни слова. Я разглядел ее ближе. Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче сверкали ее большие черные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый, дырявый платок, которым прикрывала свою, еще дрожавшую от вечернего холода, грудь. Одежду на ней можно было вполне назвать рубищем; густые черные волосы были неприглажены и всклочены. Мы простояли так минуты две, упорно рассматривая друг друга.

— Где дедушка? — спросила она наконец едва слышным и хриплым голосом, как будто у ней болела грудь или горло.

Весь мой мистический ужас соскочил с меня при этом вопросе. Спрашивали Смита; неожиданно проявлялись следы его.

— Твой дедушка? да ведь он уже умер! — сказал я вдруг, совершенно не приготовившись отвечать на ее вопрос, и тотчас раскаялся. С минуту стояла она в прежнем положении и вдруг вся задрожала, но так сильно, как будто в ней приготовлялся какой-нибудь опасный нервический припадок. Я схватился было поддержать ее, чтоб она не упала. Через несколько минут ей стало лучше, и я ясно видел, что она употребляет над собой неестественные усилия, скрывая передо мною свое волнение.

— Прости, прости меня, девочка! Прости, дитя мое! — говорил я, — я так вдруг объявил тебе, а может быть, это

еще и не то… бедненькая!.. Кого ты ищешь? Старика, который тут жил?

— Да, — прошептала она с усилием и с беспокойством смотря на меня.

— Его фамилия была Смит? Да?

— Д-да!

— Так он… ну да, так это он и умер… Только ты не печалься, голубчик мой. Что ж ты не приходила? Ты теперь откуда? Его похоронили вчера; он умер вдруг, скоропостижно… Так ты его внучка?

Девочка не отвечала на мои скорые и беспорядочные вопросы. Молча отвернулась она и тихо пошла из комнаты. Я был так поражен, что уж и не удерживал и не расспрашивал ее более. Она остановилась еще раз на пороге и, полуоборотившись ко мне, спросила:

— Азорка тоже умер?

— Да, и Азорка тоже умер, — отвечал я, и мне показался странным ее вопрос: точно и она была уверена, что Азорка непременно должен был умереть вместе с стариком. Выслушав мой ответ, девочка неслышно вышла из комнаты, осторожно притворив за собою дверь.

Через минуту я выбежал за ней в погоню, ужасно досадуя, что дал ей уйти! Она так тихо вышла, что я не слыхал, как отворила она другую дверь на лестницу. С лестницы она еще не успела сойти, думал я, и остановился в сенях прислушаться. Но всё было тихо, и не слышно было ничьих шагов. Только хлопнула где-то дверь в нижнем этаже, и опять всё стало тихо.

Я стал поспешно сходить вниз. Лестница прямо от моей квартиры, с пятого этажа до четвертого, шла винтом; с четвертого же начиналась прямая. Это была грязная, черная и всегда темная лестница, из тех, какие обыкновенно бывают в капитальных домах с мелкими квартирами. В ту минуту на ней уже было совершенно темно. Ощупью сойдя в четвертый этаж, я остановился, и вдруг меня как будто подтолкнуло, что здесь, в сенях, кто-то был и прятался от меня. Я стал ощупывать руками; девочка была тут, в самом углу, и, оборотившись к стене лицом, тихо и неслышно плакала.

— Послушай, чего ж ты боишься? — начал я. — Я так испугал тебя; я виноват. Дедушка, когда умирал, говорил о тебе; это были последние его слова… У меня и книги остались; верно, твои. Как тебя зовут? где ты живешь? Он говорил, что в Шестой линии…

Но я не докончил. Она вскрикнула в испуге, как будто оттого, что я знаю, где она живет, оттолкнула меня своей худенькой костлявой рукой и бросилась вниз по лестнице. Я за ней; ее шаги еще слышались мне внизу. Вдруг они прекратились…Когда я выскочил на улицу, ее уже не было. Пробежав вплоть до Вознесенского проспекта, я увидел, что все мои поиски тщетны: она исчезла. «Вероятно, где-нибудь спряталась от меня, — подумал я, — когда еще сходила с лестницы».

Глава XI

Но только что я ступил на грязный, мокрый тротуар проспекта, как вдруг столкнулся с одним прохожим, который шел, по-видимому, в глубокой задумчивости, наклонив голову, скоро и куда-то торопясь. К

величайшему моему изумлению, я узнал старика Ихменева. Это был для меня вечер неожиданных встреч. Я знал, что старик дня три тому назад крепко прихворнул, и вдруг я встречаю его в такую сырость на улице. К тому же он и прежде почти никогда не выходил в вечернее время, а с тех пор, как ушла Наташа, то есть почти уже с полгода, сделался настоящим домоседом. Он как-то не по-обыкновенному мне обрадовался, как человек, нашедший наконец друга, с которым он может разделить свои мысли, схватил меня за руку, крепко сжал ее и, не спросив, куда я иду, потащил меня за собою. Был он чем-то встревожен, тороплив и порывист. «Куда же это он ходил?» — подумал я про себя. Спрашивать его было излишне; он сделался страшно мнителен и иногда в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек, оскорбление.

Я оглядел его искоса: лицо у него было больное; в последнее время он очень похудел; борода его была с неделю небритая. Волосы, совсем поседевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротнике его старого, изношенного пальто. Я еще прежде заметил, что в иные минуты он как будто забывался; забывал, например, что он не один в комнате, разговаривал сам с собою, жестикулировал руками. Тяжело было смотреть на него.

— Ну что, Ваня, что? — заговорил он. — Куда шел? А я вот, брат, вышел; дела. Здоров ли?

— Вы-то здоровы ли? — отвечал я, — так еще недавно были больны, а выходите.

Старик не отвечал, как будто не расслушал меня.

— Как здоровье Анны Андреевны?

— Здорова, здорова… Немножко, впрочем, и она хворает. Загрустила она у меня что-то… о тебе поминала: зачем не приходишь. Да ты ведь теперь-то к нам, Ваня? Аль нет? Я, может, тебе помешал, отвлекаю тебя от чего-нибудь? — спросил он вдруг, как-то недоверчиво и подозрительно в меня всматриваясь. Мнительный старик стал до того чуток и раздражителен, что, отвечай я ему теперь, что шел не к ним, он бы непременно обиделся и холодно расстался со мной. Я поспешил отвечать утвердительно, что я именно шел проведать Анну Андреевну, хоть и знал, что опоздаю, а может, и совсем не успею попасть к Наташе.

— Ну вот и хорошо, — сказал старик, совершенно успокоенный моим ответом, — это хорошо… — и вдруг замолчал и задумался, как

будто чего-то не договаривая.

— Да, это хорошо! — машинально повторил он минут через пять, как бы очнувшись после глубокой задумчивости. — Гм… видишь, Ваня, ты для нас был всегда как бы родным сыном; бог не благословил нас с Анной Андреевной… сыном… и послал нам тебя; я так всегда думал. Старуха тоже… да! и ты всегда вел себя с нами почтительно, нежно, как родной, благодарный сын. Да благословит тебя бог за это, Ваня, как и мы оба, старики, благословляем и любим тебя… да!

Голос его задрожал; он переждал с минуту.

— Да… ну, а что? Не хворал ли? Что же долго у нас не был?

Я рассказал ему всю историю с Смитом, извиняясь, что смитовское дело меня задержало, что, кроме того, я чуть не заболел и что за всеми этими хлопотами к ним, на Васильевский (они жили тогда на Васильевском), было далеко идти. Я чуть было не проговорился, что все-таки нашел случай быть у Наташи и в это время, но вовремя замолчал.

История Смита очень заинтересовала старика. Он сделался внимательнее. Узнав, что новая моя квартира сыра и, может быть, еще хуже прежней, а стоит шесть рублей в месяц, он даже разгорячился. Вообще он сделался чрезвычайно порывист и нетерпелив. Только Анна Андреевна умела еще ладить с ним в такие минуты, да и то не всегда.

— Гм… это все твоя литература, Ваня! — вскричал он почти со злобою, — довела до чердака, доведет и до кладбища! Говорил я тебе тогда, предрекал!.. А что Б. всё еще критику пишет?

— Да ведь он уже умер, в чахотке. Я вам, кажется, уж и говорил об этом.

— Умер, гм… умер! Да так и следовало. Что ж, оставил что-нибудь жене и детям*? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ль, была… И на что эти люди женятся!

— Нет, ничего не оставил, — отвечал я.

— Ну, так и есть! — вскричал он с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно до него касалось и как будто умерший Б. был его брат родной. — Ничего! То-то ничего! А знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится, еще тогда, когда, помнишь, ты мне его всё расхваливал. Легко сказать: ничего не оставил! Гм… славу заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу, но ведь слава не накормит. Я, брат, и о тебе тогда же всё предугадал, Ваня;

хвалил тебя, а про себя всё предугадал. Так умер Б.? Да и как не умереть! И житье хорошо и… место хорошее, смотри!

И он быстрым, невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба. Мы выходили уж на площадь; перед нами во мраке вставал памятник*, освещенный снизу газовыми рожками, и еще далее подымалась темная, огромная масса Исакия, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба.

— Ты ведь говорил, Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, с сердцем. Ну, так вот они все таковы, люди-то с сердцем, симпатичные-то твои! Только и умеют, что сирот размножать! Гм… да и умирать-то, я думаю, ему было весело!.. Э-э-эх! Уехал бы куда-нибудь отсюда, хоть в Сибирь!.. Что ты, девочка? — спросил он вдруг, увидев на тротуаре ребенка, просившего милостыню.

Это была маленькая, худенькая девочка, лет семи-восьми, не больше, одетая в грязные отрепья; маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холоду тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти. Тощее, бледное и больное ее личико было обращено к нам; она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку. Старик так и задрожал весь, увидя ее, и так быстро к ней оборотился, что даже ее испугал. Она вздрогнула и отшатнулась от него.

— Что, что тебе, девочка? — вскричал он. — Что? Просишь? Да? Вот, вот тебе… возьми, вот!

И он, суетясь и дрожа от волнения, стал искать у себя в кармане и вынул две или три серебряные монетки. Но ему показалось мало; он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку, — всё, что там было, — положил деньги в руку маленькой нищей.

— Христос тебя да сохранит, маленькая… дитя ты мое! Ангел божий да будет с тобою!

И он несколько раз дрожавшею рукою перекрестил бедняжку; но вдруг, увидав, что и я тут и смотрю на него, нахмурился и скорыми

шагами пошел далее.

— Это я, видишь, Ваня, смотреть не могу, — начал он после довольно продолжительного сердитого молчания, — как эти маленькие, невинные создания дрогнут от холоду на улице… из-за проклятых матерей и отцов. А впрочем, какая же мать вышлет такого ребенка на такой ужас, если уж не самая несчастная!.. Должно быть, там в углу у ней еще сидят сироты, а это старшая; сама больна, старуха-то; и… гм! Не княжеские дети! Много, Ваня, на свете… не княжеских детей! гм!

Он помолчал с минуту, как бы затрудняясь чем-то.

— Я, видишь, Ваня, обещал Анне Андреевне, — начал он, немного путаясь и сбиваясь, — обещал ей… то есть, мы согласились вместе с Анной Андреевной сиротку какую-нибудь на воспитание взять… так, какую-нибудь; бедную то есть и маленькую, в дом, совсем; понимаешь? А то скучно нам, старикам, одним-то, гм… только видишь: Анна Андреевна что-то против этого восставать стала. Так ты поговори с ней, эдак знаешь, не от меня, а как бы с своей стороны… урезонь ее… понимаешь? Я давно тебя собирался об этом попросить… чтоб ты уговорил ее согласиться, а мне как-то неловко очень-то просить самому… ну, да что о пустяках толковать! Мне что девочка? и не нужна; так, для утехи… чтоб голос чей-нибудь детский слышать… а впрочем, по правде, я ведь для старухи это делаю; ей же веселее будет, чем с одним со мной. Но всё это вздор! Знаешь, Ваня, эдак мы долго не дойдем: возьмем-ка извозчика; идти далеко, а Анна Андреевна нас заждалась…

Было половина восьмого, когда мы приехали к Анне Андреевне.

Глава XII

Старики очень любили друг друга. И любовь, и долговременная свычка связали их неразрывно. Но Николай Сергеич не только теперь, но даже и прежде, в самые счастливые времена, был как-то несообщителен с своей Анной Андреевной, даже иногда суров, особливо при людях. В иных натурах, нежно и тонко чувствующих, бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказываться и выказывать даже милому себе существу свою нежность не только при людях, но даже и наедине; наедине еще больше;

только изредка прорывается в них ласка, и прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана. Таков отчасти был и старик Ихменев с своей Анной Андреевной, даже смолоду. Он уважал ее и любил беспредельно, несмотря на то что это была женщина только добрая и ничего больше не умевшая, как только любить его, и ужасно досадовал на то, что она в свою очередь была с ним, по простоте своей, даже иногда слишком и неосторожно наружу. Но после ухода Наташи они как-то нежнее стали друг к другу; они болезненно почувствовали, что остались одни на свете. И хотя Николай Сергеич становился иногда чрезвычайно угрюм, тем не менее оба они, даже на два часа, не могли расстаться друг с другом без тоски и без боли. О Наташе они как-то безмолвно условились не говорить ни слова, как будто ее и на свете не было. Анна Андреевна не осмеливалась даже намекать о ней ясно при муже, хотя это было для нее очень тяжело. Она давно уже простила Наташу в сердце своем. Между нами как-то установилось, чтоб с каждым приходом моим я приносил ей известие о ее милом, незабвенном дитяти.

Старушка становилась больна, если долго не получала известий, а когда я приходил с ними, интересовалась самою малейшею подробностию, расспрашивала с судорожным любопытством, «отводила душу» на моих рассказах и чуть не умерла от страха, когда Наташа однажды заболела, даже чуть было не пошла к ней сама. Но это был крайний случай. Сначала она даже и при мне не решалась выражать желание увидеться с дочерью и почти всегда после наших разговоров, когда, бывало, уже всё у меня выспросит, считала необходимостью как-то сжаться передо мною и непременно подтвердить, что хоть она и интересуется судьбою дочери, но все-таки Наташа такая преступница, которую и простить нельзя. Но всё это было напускное. Бывали случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла при мне Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергеича, а при нем начинала *намекать*, хоть и с большою осторожностью, на людскую гордость, на жестокосердие, на то, что мы не умеем прощать обид и что бог не простит непрощающих, но дальше этого при нем не высказывалась. В такие минуты старик тотчас же черствел и угрюмел, молчал, нахмурившись, или вдруг, обыкновенно чрезвычайно неловко и громко, заговаривал о другом, или, наконец, уходил *к себе*, оставляя нас одних и давая таким образом Анне

Андреевне возможность вполне излить передо мной свое горе в слезах и сетованиях. Точно так же он уходил к себе всегда при моих посещениях, бывало только что успеет со мною поздороваться, чтоб дать мне время сообщить Анне Андреевне все последние новости о Наташе. Так сделал он и теперь.

— Я промок, — сказал он ей, только что ступив в комнату, — пойду-ка к себе, а ты, Ваня, тут посиди. Вот с ним история случилась, с квартирой; расскажи-ка ей. А я сейчас и ворочусь…

И он поспешил уйти, стараясь даже и не глядеть на нас, как будто совестясь, что сам же нас сводил вместе. В таких случаях, и особенно когда возвращался к нам, он становился всегда суров и желчен и со мной и с Анной Андреевной, даже придирчив, точно сам на себя злился и досадовал за свою мягкость и уступчивость.

— Вот он какой, — сказала старушка, оставившая со мной в последнее время всю чопорность и все свои задние мысли, — всегда-то он такой со мной; а ведь знает, что мы все его хитрости понимаем. Чего ж бы передо мной виды-то на себя напускать! Чужая я ему, что ли? Так он и с дочерью. Ведь простить-то бы мог, даже, может быть, и желает простить, господь его знает. По ночам плачет, сама слышала! А наружу крепится. Гордость его обуяла… Батюшка, Иван Петрович, рассказывай поскорее: куда он ходил?

— Николай Сергеич? Не знаю; я у вас хотел спросить.

— А я так и обмерла, как он вышел. Больной ведь он, в такую погоду, на ночь глядя; ну, думаю, верно, за чем-нибудь важным; а чему ж и быть-то важнее известного вам дела? Думаю я это про себя, а спросить-то и не смею. Ведь я теперь его ни о чем не смею расспрашивать. Господи боже, ведь так и обомлела и за него и за нее. Ну как, думаю, к ней пошел; уж не простить ли решился? Ведь он всё узнал, все последние известия об ней знает; я наверное полагаю, что знает, а откуда ему вести приходят, не придумаю. Больно уж тосковал он вчера, да и сегодня тоже. Да что же вы молчите! Говорите, батюшка, что там еще случилось? Как ангела божия ждала вас, все глаза высмотрела. Ну, что же, оставляет злодей-то Наташу?

Я тотчас же рассказал Анне Андреевне всё, что сам знал. С ней я был всегда и вполне откровенен. Я сообщил ей, что у Наташи с Алешей действительно как будто идет на разрыв и что это серьезнее, чем прежние их несогласия; что Наташа прислала мне вчера записку, в

которой умоляла меня прийти к ней сегодня вечером, в девять часов, а потому я даже и не предполагал сегодня заходить к ним; завел же меня сам Николай Сергеич. Рассказал и объяснил ей подробно, что положение теперь вообще критическое; что отец Алеши, который недели две как воротился из отъезда, и слышать ничего не хочет, строго взялся за Алешу; но важнее всего, что Алеша, кажется, и сам не прочь от невесты и, слышно, что даже влюбился в нее. Прибавил я еще, что записка Наташи, сколько можно угадывать, написана ею в большом волнении; пишет она, что сегодня вечером всё решится, а что? — неизвестно; странно тоже, что пишет от вчерашнего дня, а назначает прийти сегодня, и час определила: девять часов. А потому я непременно должен идти, да и поскорее.

— Иди, иди, батюшка, непременно иди, — захлопотала старушка, — вот только он выйдет, ты чайку выпей… Ах, самовар-то не несут! Матрена! Что ж ты самовар? Разбойница, а не девка!.. Ну, так чайку-то выпьешь, найди предлог благовидный, да и ступай. А завтра непременно ко мне и всё расскажи; да пораньше забеги. Господи! Уж не вышло ли еще какой беды! Уж чего бы, кажется, хуже теперешнего! Ведь Николай-то Сергеич всё уж узнал, сердце мне говорит, что узнал. Я-то вот через Матрену много узнаю, а та через Агашу, а Агаша-то крестница Марьи Васильевны, что у князя в доме проживает… ну, да ведь ты сам знаешь. Сердит был сегодня ужасно мой, Николай-то. Я было то да се, а он чуть было не закричал на меня, а потом словно жалко ему стало, говорит: денег мало. Точно бы он из-за денег кричал. После обеда пошел было спать. Я заглянула к нему в щелку (щелка такая есть в дверях; он и не знает про нее), а он-то, голубчик, на коленях перед киотом[*] богу молится. Как увидала я это, у меня и ноги подкосились. И чаю не пил и не спал, взял шапку и пошел. В пятом вышел. Я и спросить не посмела: закричал бы он на меня. Часто он кричать начал, всё больше на Матрену, а то и на меня; а как закричит, у меня тотчас ноги мертвеют и от сердца отрывается. Ведь только блажит, знаю, что блажит, а всё страшно. Богу целый час молилась, как он ушел, чтоб на благую мысль его навел. Где же записка-то ее, покажи-ка!

Я показал. Я знал, что у Анны Андреевны была одна любимая, заветная мысль, что Алеша, которого она звала то злодеем, то бесчувственным, глупым мальчишкой, женится наконец на Наташе и что отец его, князь Петр Александрович, ему это позволит. Она даже и

проговаривалась передо мной, хотя в другие разы раскаивалась и отпиралась от слов своих. Но ни за что не посмела бы она высказать свои надежды при Николае Сергеиче, хотя и знала, что старик их подозревает в ней и даже не раз попрекал ее косвенным образом. Я думаю, он окончательно бы проклял Наташу и вырвал ее из своего сердца навеки, если б узнал про возможность этого брака.

Все мы так тогда думали. Он ждал дочь всеми желаниями своего сердца, но он ждал ее одну, раскаявшуюся, вырвавшую из своего сердца даже воспоминание о своем Алеше. Это было единственным условием прощения, хотя и не высказанным, но, глядя на него, понятным и несомненным.

— Бесхарактерный он, бесхарактерный мальчишка, бесхарактерный и жестокосердый, я всегда это говорила, — начала опять Анна Андреевна. — И воспитывать его не умели, так, ветрогон какой-то вышел; бросает ее за такую любовь, господи боже мой! Что с ней будет, с бедняжкой! И что он в новой-то нашел, удивляюсь!

— Я слышал, Анна Андреевна, — возразил я, — что эта невеста очаровательная девушка, да и Наталья Николаевна про нее то же говорила…

— А ты не верь! — перебила старушка. — Что за очаровательная? Для вас, щелкоперов, всякая очаровательная, только бы юбка болталась. А что Наташа ее хвалит, так это она по благородству души делает. Не умеет она удержать его, всё ему прощает, а сама страдает. Сколько уж раз он ей изменял! Злодеи жестокосердые! А на меня, Иван Петрович, просто ужас находит. Гордость всех обуяла. Смирил бы хоть мой-то себя, простил бы ее, мою голубку, да и привел бы сюда. Обняла б ее, посмотрела б на нее! Похудела она?

— Похудела, Анна Андреевна.

— Голубчик мой! А у меня, Иван Петрович, беда! Всю ночь да весь день сегодня проплакала… да что! После расскажу! Сколько раз я заикалась говорить ему издалека, чтоб простил-то; прямо-то не смею, так издалека, ловким этаким манером заговаривала. А у самой сердце так и замирает: рассердится, думаю, да и проклянет ее совсем! Проклятия-то я еще от него не слыхала… так вот и боюсь, чтоб проклятия не наложил. Тогда ведь что будет? Отец проклял, и бог покарает. Так и живу, каждый день дрожу от ужаса. Да и тебе, Иван Петрович, стыдно: кажется, в нашем доме взрос и отеческие ласки от

всех у нас видел: тоже выдумал, очаровательная! А вот Марья Васильевна ихняя лучше говорит. (Я ведь согрешила, да ее раз на кофей и позвала, когда мой на всё утро по делам уезжал). Она мне всю подноготную объяснила. Князь-то, отец-то Алешин, с графиней-то в непозволительной связи находился. Графиня давно, говорят, попрекала его: что он на ней не женится, а тот всё отлынивал. А графиня-то эта, когда еще муж ее был жив, зазорным поведением отличалась. Умер муж-то — она за границу: всё итальянцы да французы пошли, баронов каких-то у себя завела; там и князя Петра Александровича подцепила. А падчерица ее, первого ее мужа, откупщика, дочь меж тем росла да росла. Графиня-то, мачеха-то, всё прожила, а Катерина Федоровна меж тем подросла, да и два миллиона, что ей отец-откупщик в ломбарде оставил, подросли. Теперь, говорят, у ней три миллиона; князь-то и смекнул: вот бы Алешу женить! (не промах! своего не пропустит). Граф-то, придворный-то, знатный-то, помнишь, родственник-то ихний, тоже согласен; три миллиона не шутка. Хорошо, говорит, поговорите с этой графиней. Князь и сообщает графине свое желание. Та и руками и ногами: без правил, говорят, женщина, буянка такая! Ее уже здесь не все, говорят, принимают; не то что за границей. Нет, говорит, ты, князь, сам на мне женись, а не бывать моей падчерице за Алешей. А девица-то, падчерица-то, души, говорят, в своей мачехе не слышит; чуть на нее не молится и во всем ей послушна. Кроткая, говорят, такая, ангельская душа! Князь-то видит, в чем дело, да и говорит: ты, графиня, не беспокойся. Именье-то свое прожила, и долги на тебе неоплатные. А как твоя падчерица выйдет за Алешу, так их будет пара: и твоя невинная, и Алеша мой дурачок; мы их и возьмем под начало и будем сообща опекать; тогда и у тебя деньги будут. А то что, говорит, за меня замуж тебе идти? Хитрый человек! Масон![*] Так полгода тому назад было, графиня не решалась, а теперь, говорят, в Варшаву ездили, там и согласились. Вот как я слышала. Всё это Марья Васильевна мне рассказала, всю подноготную, от верного человека сама она слышала. Ну, так вот что тут: денежки, миллионы, а то что — очаровательная!

Рассказ Анны Андреевны меня поразил. Он совершенно согласовался со всем тем, что я сам недавно слышал от самого Алеши. Рассказывая, он храбрился, что ни за что не женится на деньгах. Но Катерина Федоровна поразила и увлекла его. Я слышал тоже от Алеши, что отец его сам, может быть, женится, хоть и отвергает эти слухи, чтоб

не раздражить до времени графини. Я сказал уже, что Алеша очень любил отца, любовался и хвалился им и верил в него как в оракула.

— Ведь не графского же рода и она, твоя очаровательная-то! — продолжала Анна Андреевна, крайне раздраженная моей похвалой будущей невесте молодого князя. — А Наташа ему еще лучше была бы партия. Та откупщица, а Наташа-то из старинного дворянского дома, высокоблагородная девица. Старик-то мой вчера (я забыла вам рассказать) сундучок свой отпер, кованый, — знаете? — да целый вечер против меня сидел да старые грамоты наши разбирал. Да серьезный такой сидит. Я чулок вяжу, да и не гляжу на него, боюсь. Так он видит, что я молчу, рассердился да сам и окликнул меня и целый-то вечер мне нашу родословную толковал. Так вот и выходит, что мы-то, Ихменевы-то, еще при Иване Васильевиче Грозном дворянами были, а что мой род, Шумиловых, еще при Алексее Михайловиче известен был, и документы есть у нас, и в истории Карамзина упомянуто*. Так вот как, батюшка, мы, видно, тоже не хуже других с этой черты. Как начал мне старик толковать, я и поняла, что у него на уме. Знать, и ему обидно, что Наташей пренебрегают. Богатством только и взяли перед нами. Ну, да пусть тот, разбойник-то, Петр-то Александрович, о богатстве хлопочет; всем известно: жестокосердая, жадная душа. В иезуиты*, говорят, тайно в Варшаве записался? Правда ли это?

— Глупый слух, — отвечал я, невольно заинтересованный устойчивостью этого слуха. Но известие о Николае Сергеиче, разбиравшем свои грамоты, было любопытно. Прежде он никогда не хвалился своею родословною.

— Всё злодеи жестокосердые! — продолжала Анна Андреевна, — ну, что же она, мой голубчик, горюет, плачет? Ах, пора тебе идти к ней! Матрена, Матрена! Разбойник, а не девка!.. Не оскорбляли ее? Говори же, Ваня.

Что было ей отвечать? Старушка заплакала. Я спросил, какая у ней еще случилась беда, про которую она мне давеча собиралась рассказать?

— Ах, батюшка, мало было одних бед, так, видно, еще не вся чаша выпита! Помнишь, голубчик, или не помнишь? был у меня медальончик, в золото оправленный, так для сувенира сделано, а в нем портрет Наташечки, в детских летах; восьми лет она тогда была, ангельчик мой. Еще тогда мы с Николаем Сергеичем его проезжему живописцу заказывали, да ты забыл, видно, батюшка! Хороший был

живописец, купидоном ее изобразил: волосики светленькие такие у ней тогда были, взбитые; в рубашечке кисейной представил ее, так что и тельце просвечивает, и такая она вышла хорошенькая, что и наглядеться нельзя. Просила я живописца, чтоб крылышки ей подрисовал, да не согласился живописец. Так вот, батюшка, я, после ужасов-то наших тогдашних, медальончик из шкатулки и вынула, да на грудь себе и повесила на шнурке, так и носила возле креста, а сама-то боюсь, чтоб мой не увидал. Ведь он тогда же все ее вещи приказал из дому выкинуть или сжечь, чтоб ничто и не напоминало про нее у нас. А мне-то хоть бы на портрет ее поглядеть; иной раз поплачу, на него глядя, — всё легче станет, а в другой раз, когда одна остаюсь, не нацелуюсь, как будто ее самое целую; имена нежные ей прибираю да и на ночь-то каждый раз перекрещу. Говорю с ней вслух, когда одна остаюся, спрошу что-нибудь и представляю, как будто она мне ответила, и еще спрошу. Ох, голубчик Ваня, тяжело и рассказывать-то! Ну, вот я и рада, что хоть про медальон-то он не знает и не заметил; только хвать вчера утром, а медальона и нет, только шнурочек болтается, перетерся, должно быть, а я и обронила. Так и замерла. Искать; искала-искала, искала-искала — нет! Сгинул да пропал! И куда ему сгинуть? Наверно, думаю, в постели обронила; всё перерыла — нет! Коли сорвался да упал куда-нибудь, так, может, кто и нашел его, а кому найти, кроме *него* али Матрены? Ну, на Матрену и думать нельзя: она мне всей душой предана… (Матрена, да ты скоро ли самовар-то?) Ну, думаю, если он найдет, что тогда будет? Сижу себе, грущу, да и плачу-плачу, слез удержать не могу. А Николай Сергеич всё ласковей да ласковей со мной; на меня глядя, грустит, как будто и он знает, о чем я плачу, и жалеет меня. Вот и думаю про себя: почему он может знать? Не сыскал ли он и в самом деле медальон, да и выбросил в форточку. Ведь в сердцах он на это способен; выбросил, а сам теперь и грустит — жалеет, что выбросил. Уж я и под окошко, под форточкой, искать ходила с Матреной — ничего не нашла. Как в воду кануло. Всю ночь проплакала. Первый раз я ее на ночь не перекрестила. Ох, к худу это, к худу, Иван Петрович, не предвещает добра; другой день, глаз не осушая, плачу. Вас-то ждала, голубчика, как ангела божия, хоть душу отвести… И старушка горько заплакала.

— Ах, да, и забыла вам сообщить! — заговорила она вдруг, обрадовавшись, *что* вспомнила, — слышали вы от него что-нибудь про сиротку?

— Слышал, Анна Андреевна, говорил он мне, что будто вы оба надумались и согласились взять бедную девочку, сиротку, на воспитание. Правда ли это?

— И не думала, батюшка, и не думала! И никакой сиротки не хочу! Напоминать она мне будет горькую долю нашу, наше несчастье. Кроме Наташи, никого не хочу. Одна была дочь, одна и останется. А только что ж это значит, батюшка, что он сиротку-то выдумал? Как ты думаешь, Иван Петрович? Мне в утешение, что ль, на мои слезы глядя, аль чтоб родную дочь даже совсем из воспоминания изгнать да к другому детищу привязаться? Что он обо мне дорогой говорил с вами? Каков он вам показался — суровый, сердитый? Тс! Идет! После, батюшка, доскажете, после!.. Завтра-то прийти не забудь…

Глава XIII

Вошел старик. Он с любопытством и как будто чего-то стыдясь оглядел нас, нахмурился и подошел к столу.

— Что ж самовар, — спросил он, — неужели до сих пор не могли подать?

— Несут, батюшка, несут; ну, вот и принесли, — захлопотала Анна Андреевна.

Матрена тотчас же, как увидала Николая Сергеича, и явилась с самоваром, точно ждала его выхода, чтоб подать. Это была старая, испытанная и преданная служанка, но самая своенравная ворчунья из всех служанок в мире, с настойчивым и упрямым характером. Николая Сергеича она боялась и при нем всегда прикусывала язык. Зато вполне вознаграждала себя перед Анной Андреевной, грубила ей на каждом шагу и показывала явную претензию господствовать над своей госпожой, хотя в то же время душевно и искренно любила ее и Наташу. Эту Матрену я знал еще в Ихменевке.

— Гм… ведь неприятно, когда промокнешь; а тут тебе и чаю *не хотят* приготовить, — ворчал вполголоса старик.

Анна Андреевна тотчас же подмигнула мне на него. Он терпеть не мог этих таинственных подмигиваний и хоть в эту минуту и старался не смотреть на нас, но по лицу его можно было заметить, что Анна Андреевна именно теперь мне на него подмигнула и что он вполне это

знает.

— По делам ходил, Ваня, — заговорил он вдруг. — Дрянь такая завелась. Говорил я тебе? Меня совсем осуждают. Доказательств, вишь, нет; бумаг нужных нет; справки неверны выходят… Гм…

Он говорил про свой процесс с князем; этот процесс всё еще тянулся, но принимал самое худое направление для Николая Сергеича. Я молчал, не зная, что ему отвечать. Он подозрительно взглянул на меня.

— А что ж! — подхватил он вдруг, как будто раздраженный нашим молчанием, — чем скорей, тем лучше. Подлецом меня не сделают, хоть и решат, что я должен заплатить. Со мной моя совесть, и пусть решают. По крайней мере дело кончено; развяжут, разорят… Брошу всё и уеду в Сибирь.

— Господи, куда ехать! Да зачем бы это в такую даль! — не утерпела не сказать Анна Андреевна.

— А здесь от чего близко? — грубо спросил он, как, бы обрадовавшись возражению.

— Ну, все-таки… от людей… — проговорила было Анна Андреевна и с тоскою взглянула на меня.

— От каких людей? — вскричал он, переводя горячий взгляд от меня на нее и обратно, — от каких людей? От грабителей, от клеветников, от предателей? Таких везде много; не беспокойся, и в Сибири найдем. А не хочешь со мной ехать, так, пожалуй, и оставайся; я не насилую.

— Батюшка, Николай Сергеич! Да на кого ж я без тебя останусь! — закричала бедная Анна Андреевна. — Ведь у меня, кроме тебя, в целом свете нет ник…

Она заикнулась, замолчала и обратила ко мне испуганный взгляд, как бы прося заступления и помощи. Старик был раздражен, ко всему придирался; противоречить ему было нельзя.

— Полноте, Анна Андреевна, — сказал я, — в Сибири совсем не так дурно, как кажется. Если случится несчастье и вам надо будет продать Ихменевку, то намерение Николая Сергеевича даже и очень хорошо. В Сибири можно найти порядочное частное место, и тогда…

— Ну, вот по крайней мере, хоть ты, Иван, дело говоришь. Я так и думал. Брошу всё и уеду.

— Ну, вот уж и не ожидала! — вскрикнула Анна Андреевна,

всплеснув руками, — и ты, Ваня, туда же! Уж от тебя-то, Иван Петрович, не ожидала… Кажется, кроме ласки, вы от нас ничего не видали, а теперь…

— Ха-ха-ха! А ты чего ожидала! Да чем же мы жить-то здесь будем, подумай! Деньги прожиты, последнюю копейку добиваем! Уж не прикажешь ли к князю Петру Александровичу пойти да прощения просить?

Услышав про князя, старушка так и задрожала от страха. Чайная ложечка в ее руке звонко задребезжала о блюдечко.

— Нет, в самом деле, — подхватил Ихменев, разгорячая сам себя с злобною, упорною радостию, — как ты думаешь, Ваня, ведь, право, пойти! На что в Сибирь ехать! А лучше я вот завтра разоденусь, причешусь да приглажусь; Анна Андреевна манишку новую приготовит (к такому лицу уж нельзя иначе!), перчатки для полного бонтону* купить да и пойти к его сиятельству: батюшка, ваше сиятельство, кормилец, отец родной! Прости и помилуй, дай кусок хлеба, — жена, дети маленькие!.. Так ли, Анна Андреевна? Этого ли хочешь?

— Батюшка… я ничего не хочу! Так, сдуру сказала; прости, коли в чем досадила, да только не кричи, — проговорила она, всё больше и больше дрожа от страха.

Я уверен, что в душе его всё ныло и перевертывалось в эту минуту, глядя на слезы и страх своей бедной подруги; я уверен, что ему было гораздо больнее, чем ей; но он не мог удержаться. Так бывает иногда с добрейшими, но слабонервными людьми, которые, несмотря на всю свою доброту, увлекаются до самонаслаждения собственным горем и гневом, ища высказаться во что бы то ни стало, даже до обиды другому, невиноватому и преимущественно всегда самому ближнему к себе человеку. У женщины, например, бывает иногда потребность чувствовать себя несчастною, обиженною, хотя бы не было ни обид, ни несчастий. Есть много мужчин, похожих в этом случае на женщин, и даже мужчин не слабых, в которых вовсе не так много женственного. Старик чувствовал потребность ссоры, хотя сам страдал от этой потребности.

Помню, у меня тут же мелькнула мысль: уж и в самом деле не сделал ли он перед этим какой-нибудь выходки, вроде предположений Анны Андреевны! Чего доброго, не надоумил ли его господь и не ходил ли он в самом деле к Наташе, да одумался дорогой, или что-нибудь не

удалось, сорвалось в его намерении, — как и должно было случиться, — и вот он воротился домой, рассерженный и уничтоженный, стыдясь своих недавних желаний и чувств, ища, на ком сорвать сердце за свою же *слабость,* и выбирая именно тех, кого наиболее подозревал в таких же желаниях и чувствах. Может быть, желая простить дочь, он именно воображал себе восторг и радость своей бедной Анны Андреевны, и, при неудаче, *разумеется,* ей же первой и доставалось за это.

Но убитый вид ее, дрожавшей перед ним от страха, тронул его. Он как будто устыдился своего гнева и на минуту сдержал себя. Мы все молчали; я старался не глядеть на него. Но добрая минута тянулась недолго. Во что бы ни стало надо было высказаться, хотя бы взрывом, хотя бы проклятием.

— Видишь, Ваня, — сказал он вдруг, — мне жаль, мне не хотелось бы говорить, но пришло такое время, и я должен объясниться откровенно, без закорючек, как следует всякому прямому человеку… понимаешь, Ваня? Я рад, что ты пришел, и потому хочу громко сказать при тебе же, гак, чтоб и *другие* слышали, что весь этот вздор, все эти слезы, вздохи, несчастья мне наконец надоели. То, что я вырвал из сердца моего, может быть с кровью и болью, никогда опять не воротится в мое сердце. Да! Я сказал и сделаю. Я говорю про то, что было полгода назад, понимаешь, Ваня! И говорю про это так откровенно, так прямо именно для того, чтоб ты никак не мог ошибиться в словах моих, — прибавил он, воспаленными глазами смотря на меня и, видимо, избегая испуганных взглядов жены. — Повторяю: это вздор; я не желаю!.. Меня именно бесит, что меня, как дурака, как самого низкого подлеца, *все* считают способным иметь такие низкие, такие слабые чувства… думают, что я с ума схожу от горя… Вздор! Я отбросил, я забыл старые чувства! Для меня нет воспоминаний… да! да! да! и да!..

Он вскочил со стула и ударил кулаком по столу так, что чашки зазвенели.

— Николай Сергеич! Неужели вам не жаль Анну Андреевну? Посмотрите, что вы над ней делаете, — сказал я, не в силах удержаться и почти с негодованием смотря на него. Но я только к огню подлил масла.

— Не жаль! — закричал он, задрожав и побледнев, — не жаль, потому что и меня не жалеют! Не жаль, потому что в моем же доме

составляются заговоры против поруганной моей головы, за развратную дочь, достойную проклятия и всех наказаний!..

— Батюшка, Николай Сергеич, не проклинай!.. всё, что хочешь, только дочь не проклинай! — вскричала Анна Андреевна.

— Прокляну! — кричал старик вдвое громче, чем прежде, — потому что от меня же, обиженного, поруганного, требуют, чтоб я шел к этой проклятой и у ней же просил прощения! Да, да, это так! Этим мучат меня каждодневно, денно и нощно, у меня же в доме, слезами, вздохами, глупыми намеками! Хотят меня разжалобить… Смотри, смотри, Ваня, — прибавил он, поспешно вынимая дрожащими руками из бокового своего кармана бумаги, — вот тут выписки из нашего дела! По этому делу выходит теперь, что я вор, что я обманщик, что я обокрал моего благодетеля!.. Я ошельмован, опозорен из-за нее! Вот, вот, смотри, смотри!..

И он начал выбрасывать из бокового кармана своего сюртука разные бумаги, одну за другою, на стол, нетерпеливо отыскивая между ними ту, которую хотел мне показать; но нужная бумага, как нарочно, не отыскивалась. В нетерпении он рванул из кармана всё, что захватил в нем рукой, и вдруг — что-то звонко и тяжело упало на стол… Анна Андреевна вскрикнула. Это был потерянный медальон.

Я едва верил глазам своим. Кровь бросилась в голову старика и залила его щеки; он вздрогнул. Анна Андреевна стояла, сложив руки, и с мольбою смотрела на него. Лицо ее просияло светлою, радостною надеждою. Эта краска в лице, это смущение старика перед нами… да, она не ошиблась, она понимала теперь, как пропал ее медальон!

Она поняла, что он нашел его, обрадовался своей находке и, может быть, дрожа от восторга, ревниво спрятал его у себя от всех глаз; что где-нибудь один, тихонько от всех, он с беспредельною любовью смотрел на личико своего возлюбленного дитяти, — смотрел и не мог насмотреться, что, может быть, он так же, как и бедная мать, запирался один от всех разговаривать с своей бесценной Наташей, выдумывать ее ответы, отвечать на них самому, а ночью, в мучительной тоске, с подавленными в груди рыданиями, ласкал и целовал милый образ и вместо проклятий призывал прощение и благословение на ту, которую не хотел видеть и проклинал перед всеми.

— Голубчик мой, так ты ее еще любишь! — вскричала Анна Андреевна, не удерживаясь более перед суровым отцом, за минуту

проклинавшим ее Наташу.

Но лишь только он услышал ее крик, безумная ярость сверкнула в глазах его. Он схватил медальон, с силою бросил его на пол и с бешенством начал топтать ногою.

— Навеки, навеки будь проклята мною! — хрипел он, задыхаясь. — Навеки, навеки!

— Господи! — закричала старушка, — ее, ее! Мою Наташу! ее личико… топчет ногами! ногами!.. тиран! бесчувственный, жестокосердый гордец!

Услышав вопль жены, безумный старик остановился в ужасе от того, что сделалось. Вдруг он схватил с полу медальон и бросился вон из комнаты, но, сделав два шага, упал на колена, уперся руками на стоявший перед ним диван и в изнеможении склонил свою голову.

Он рыдал как дитя, как женщина. Рыдания теснили грудь его, как будто хотели ее разорвать. Грозный старик в одну минуту стал слабее ребенка. О, теперь уж он не мог проклинать; он уже не стыдился никого из нас и, в судорожном порыве любви, опять покрывал, при нас, бесчисленными поцелуями портрет, который за минуту назад топтал ногами. Казалось, вся нежность, вся любовь его к дочери, так долго в нем сдержанная, стремилась теперь вырваться наружу с неудержимою силою и силою порыва разбивала всё существо его.

— Прости, прости ее! — восклицала, рыдая, Анна Андреевна, склонившись над ним и обнимая его. — Вороти ее в родительский дом, голубчик, и сам бог на страшном суде своем зачтет тебе твое смирение и милосердие!..

— Нет, нет! Ни за что, никогда! — восклицал он хриплым, задушаемым голосом. — Никогда! Никогда!

Глава XIV

Я пришел к Наташе уже поздно, в десять часов. Она жила тогда на Фонтанке, у Семеновского моста, в грязном «капитальном» доме купца Колотушкина, в четвертом этаже. В первое время после ухода из дому она и Алеша жили в прекрасной квартире, небольшой, но красивой и удобной, в третьем этаже, на Литейной. Но скоро ресурсы молодого князя истощились. Учителем музыки он не сделался, но начал занимать

и вошел в огромные для него долги. Деньги он употреблял на украшение квартиры, на подарки Наташе, которая восставала против его мотовства, журила его, иногда даже плакала. Чувствительный и проницательный сердцем, Алеша, иногда целую неделю обдумывавший с наслаждением, как бы ей что подарить и как-то она примет подарок, делавший из этого для себя настоящие праздники, с восторгом сообщавший мне заранее свои ожидания и мечты, впадал в уныние от ее журьбы и слез, так что его становилось жалко, а впоследствии между ними бывали из-за подарков упреки, огорчения и ссоры. Кроме того, Алеша много проживал денег тихонько от Наташи; увлекался за товарищами, изменял ей; ездил к разным Жозефинам и Миннам; а между тем он все-таки очень любил ее. Он любил ее как-то с мучением; часто он приходил ко мне расстроенный и грустный, говоря, что не стоит мизинчика своей Наташи; что он груб и зол, не в состоянии понимать ее и недостоин ее любви. Он был отчасти прав; между ними было совершенное неравенство; он чувствовал себя перед нею ребенком, да и она всегда считала его за ребенка. Со слезами каялся он мне в знакомстве с Жозефиной, в то же время умоляя не говорить об этом Наташе; и когда, робкий и трепещущий, он отправлялся, бывало, после всех этих откровенностей, со мною к ней (непременно со мною, уверяя, что боится взглянуть на нее после своего преступления и что я один могу поддержать его), то Наташа с первого же взгляда на него уже знала, в чем дело. Она была очень ревнива и, не понимаю каким образом, всегда прощала ему все его ветрености. Обыкновенно так случалось: Алеша войдет со мною, робко заговорит с ней, с робкою нежностию смотрит ей в глаза. Она тотчас же угадает, что он виноват, но не покажет и вида, никогда не заговорит об этом первая, ничего не выпытывает, напротив, тотчас же удвоит к нему свои ласки, станет нежнее, веселее, — и это не была какая-нибудь игра или обдуманная хитрость с ее стороны. Нет; для этого прекрасного создания было какое-то бесконечное наслаждение прощать и миловать; как будто в самом процессе прощения Алеши она находила какую-то особенную, утонченную прелесть. Правда, тогда еще дело касалось одних Жозефин. Видя ее кроткую и прощающую, Алеша уже не мог утерпеть и тотчас же сам во всем каялся, без всякого спроса, — чтоб облегчить сердце и «быть по-прежнему», говорил он. Получив прощение, он приходил в восторг, иногда даже плакал от радости и умиления, целовал, обнимал

ее. Потом тотчас же развеселялся и начинал с ребяческою откровенностью рассказывать все подробности своих похождений с Жозефиной, смеялся, хохотал, благословлял и восхвалял Наташу, и вечер кончался счастливо и весело. Когда прекратились у него все деньги, он начал продавать вещи. По настоянию Наташи отыскана была маленькая, но дешевая квартира на Фонтанке. Вещи продолжали продаваться, Наташа продала даже спои платья и стала искать работы; когда Алеша узнал об этом, отчаянию его не было пределов: он проклинал себя, кричал, что сам себя презирает, а между тем ничем не поправил дела. В настоящее время прекратились даже и эти последние ресурсы; оставалась только одна работа, но плата за нее была самая ничтожная.

С самого начала, когда они еще жили вместе, Алеша сильно поссорился за это с отцом. Тогдашние намерения князя женить сына на Катерине Федоровне Филимоновой, падчерице графини, были еще только в проекте, но он сильно настаивал на этом проекте; он возил Алешу к будущей невесте, уговаривал его стараться ей понравиться, убеждал его и строгостями и резонами; но дело расстроилось из-за графини. Тогда и отец стал смотреть на связь сына с Наташей сквозь пальцы, предоставляя всё времени, и надеялся, зная ветреность и легкомыслие Алеши, что любовь его скоро пройдет. О том же, что он может жениться на Наташе, князь, до самого последнего времени, почти перестал заботиться. Что же касается до любовников, то у них дело отлагалось до формального примирения с отцом и вообще до перемены обстоятельств. Впрочем, Наташа, видимо, не хотела заводить об этом разговоров. Алеша проговорился мне тайком, что отец как будто немножко и рад был всей этой истории: ему нравилось во всем этом деле унижение Ихменева. Для формы же он продолжал изъявлять свое неудовольствие сыну: уменьшил и без того небогатое содержание его (он был чрезвычайно с ним скуп), грозил отнять всё; но вскоре уехал в Польшу, за графиней, у которой были там дела, всё еще без устали преследуя свой проект сватовства. Правда, Алеша был еще слишком молод для женитьбы; но невеста была слишком богата, и упустить такой случай было невозможно. Князь добился наконец цели. До нас дошли слухи, что дело о сватовстве пошло наконец на лад. В то время, которое я описываю, князь только что воротился в Петербург. Сына он встретил ласково, но упорность его связи с Наташей неприятно изумила его. Он

стал сомневаться, трусить. Строго и настоятельно потребовал он разрыва; но скоро догадался употребить гораздо лучшее средство и повез Алешу к графине. Ее падчерица была почти красавица, почти еще девочка, но с редким сердцем, с ясной, непорочной душой, весела, умна, нежна. Князь рассчитал, что все-таки полгода должны были взять свое, что Наташа уже не имела для его сына прелести новизны и что теперь он уже не такими глазами будет смотреть на будущую свою невесту, как полгода назад. Он угадал только отчасти… Алеша действительно увлекся. Прибавлю еще, что отец вдруг стал необыкновенно ласков к сыну (хотя все-таки не давал ему денег). Алеша чувствовал, что под этой лаской скрывается непреклонное, неизменное решение, и тосковал, — не так, впрочем, как бы он тосковал, если б не видал ежедневно Катерины Федоровны. Я знал, что он уже пятый день не показывался к Наташе. Идя к ней от Ихменевых, я тревожно угадывал, что бы такое она хотела сказать мне? Еще издали я различил свет в ее окне. Между нами уже давно было условлено, чтоб она ставила свечку на окно, если ей очень и непременно надо меня видеть, так что если мне случалось проходить близко (а это случалось почти каждый вечер), то я все-таки, по необыкновенному свету в окне, мог догадаться, что меня ждут и что я ей нужен. В последнее время она часто выставляла свечу…

Глава XV

Я застал Наташу одну. Она тихо ходила взад и вперед по комнате, сложа руки на груди, в глубокой задумчивости. Потухавший самовар стоял на столе и уже давно ожидал меня. Молча и с улыбкою протянула она мне руку. Лицо ее было бледно, с болезненным выражением. В улыбке ее было что-то страдальческое, нежное, терпеливое. Голубые ясные глаза ее стали как будто больше, чем прежде, волосы как будто гуще, — всё это так казалось от худобы и болезни.

— А я думала, ты уж не придешь, — сказала она, подавая мне руку, — хотела даже Мавру послать к тебе узнать; думала, не заболел ли опять?

— Нет, не заболел, меня задержали, сейчас расскажу. Ну что с тобой, Наташа? Что случилось?

— Ничего не случилось, — отвечала она, как бы удивленная. — А

что?

— Да ты писала… вчера написала, чтоб пришел, да еще назначила час, чтоб не раньше, не позже; это как-то не по-обыкновенному.

— Ах, да! Это я *его* вчера ждала.

— Что ж он, всё еще не был?

— Нет. Я и думала: если не придет, так с тобой надо будет переговорить, — прибавила она, помолчав.

— А сегодня вечером ожидала его?

— Нет, не ждала; он вечером *там.*

— Что же ты думаешь, Наташа, он уж совсем никогда не придет?

— Разумеется, придет, — отвечала она, как-то особенно серьезно взглянув на меня.

Ей не нравилась скорость моих вопросов. Мы замолчали, продолжая ходить по комнате.

— Я всё тебя ждала, Ваня, — начала она вновь с улыбкой, — и знаешь, что делала? Ходила здесь взад и вперед и стихи наизусть читала; помнишь, — колокольчик, зимняя дорога: «Самовар мой кипит на дубовом столе…», мы еще вместе читали:

Улеглася метелица; путь озарен,
Ночь глядит миллионами тусклых очей…
. . .

И потом:

То вдруг слышится мне — страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня:
«Ах, когда-то, когда-то мой милый придет,
Отдохнуть на груди у меня!
У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле
За цветной занавеской кровать…»*

— Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня, и какая

фантастическая, раздающаяся картина. Канва одна, и только намечен узор, — вышивай что хочешь. Два ощущения: прежнее и последнее. Этот самовар, этот ситцевый занавес, — так это всё родное… Это как в мещанских домиках в уездном нашем городке; я и дом этот как будто вижу: новый, из бревен, еще досками не обшитый… А потом другая картина:

То вдруг слышится мне — тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:
«Где-то старый мой друг? Я боюсь, он войдет
И, ласкаясь, обнимет меня!
Что за жизнь у меня! — И тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно…
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно.
Что за жизнь! Полинял пестрый полога цвет;
Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому — милого нет…
Лишь старуха ворчит…»

— «Я больная брожу»… эта «больная», как тут хорошо поставлено! *«Побранить меня некому»,* — сколько нежности, неги в этом стихе и мучений от воспоминаний, да еще мучений, которые сам вызвал, да и любуешься ими… Господи, как это хорошо! Как это бывает!

Она замолчала, как будто подавляя начинавшуюся горловую спазму.

— Голубчик мой, Ваня! — сказала она мне через минуту и вдруг опять замолчала, как будто сама забыла, что хотела сказать, или сказала так, без мысли, от какого-то внезапного ощущения.

Между тем мы всё прохаживались по комнате. Перед образом горела лампадка. В последнее время Наташа становилась всё набожнее и набожнее и не любила, когда об этом с ней заговаривали.

— Что, завтра праздник? — спросил я, — у тебя лампадка горит.

— Нет, не праздник… да что ж, Ваня, садись, должно быть устал. Хочешь чаю? Ведь ты еще не пил?

— Сядем, Наташа. Чай я пил.

— Да ты откуда теперь?

— От *них*. — Мы с ней всегда так называли родной дом.

— От них? Как ты успел? Сам зашел? Звали?..

Она засыпала меня вопросами. Лицо ее сделалось еще бледнее от волнения. Я рассказал ей подробно мою встречу с стариком, разговор с матерью, сцену с медальоном, — рассказал подробно и со всеми оттенками. Я никогда ничего не скрывал от нее. Она слушала жадно, ловя каждое мое слово. Слезы блеснули на ее глазах. Сцена с медальоном сильно ее взволновала.

— Постой, постой, Ваня, — говорила она, часто прерывая мой рассказ, — говори подробнее, всё, всё, как можно подробнее, ты не так подробно рассказываешь!..

Я повторил второй и третий раз, поминутно отвечая на ее беспрерывные вопросы о подробностях.

— И ты в самом деле думаешь, что он ходил ко мне?

— Не знаю, Наташа, и мнения даже составить не могу. Что грустит о тебе и любит тебя, это ясно; но что он ходил к тебе, это… это…

— И он целовал медальон? — перебила она, — что он говорил, когда целовал?

— Бессвязно, одни восклицания; называл тебя самыми нежными именами, звал тебя…

— Звал?

— Да.

Она тихо заплакала.

— Бедные! — сказала она. — А если он всё знает, — прибавила она после некоторого молчания, — так это не мудрено. Он и об отце Алеши имеет большие известия.

— Наташа, — сказал я робко, — пойдем к ним…

— Когда? — спросила она, побледнев и чуть-чуть привстав с кресел. Она думала, что я зову ее сейчас.

— Нет, Ваня, — прибавила она, положив мне обе руки на плечи и грустно улыбаясь, — нет, голубчик; это всегдашний твой разговор, но… не говори лучше об этом.

— Так неужели ж никогда, никогда не кончится этот ужасный раздор! — вскричал я грустно. — Неужели ж ты до того горда, что не хочешь сделать первый шаг! Он за тобою; ты должна его первая

сделать. Может быть, отец только того и ждет, чтоб простить тебя… Он отец; он обижен тобою! Уважь его гордость; она законна, она естественна! Ты должна это сделать. Попробуй, и он простит тебя без всяких условий.

— Без условий! Это невозможно; и не упрекай меня, Ваня, напрасно. Я об этом дни и ночи думала и думаю. После того как я их покинула, может быть, не было дня, чтоб я об этом не думала. Да и сколько раз мы с тобой же об этом говорили! Ведь ты знаешь сам, что это невозможно!

— Попробуй!

— Нет, друг мой, нельзя. Если и попробую, то еще больше ожесточу его против себя. Безвозвратного не воротишь, и знаешь, чего именно тут воротить нельзя? Не воротишь этих детских, счастливых дней, которые я прожила вместе с ними. Если б отец и простил, то все-таки он бы не узнал меня теперь. Он любил еще девочку, большого ребенка. Он любовался моим детским простодушием; лаская, он еще гладил меня по голове, так же как когда я была еще семилетней девочкой и, сидя у него на коленях, пела ему мои детские песенки. С первого детства моего до самого последнего дня он приходил к моей кровати и крестил меня на ночь. За месяц до нашего несчастья он купил мне серьги, тихонько от меня (а я всё узнала), и радовался как ребенок, воображая, как я буду рада подарку, и ужасно рассердился на всех и на меня первую, когда узнал от меня же, что мне давно уже известно о покупке серег. За три дня до моего ухода он приметил, что я грустна, тотчас же и сам загрустил до болезни, и — как ты думаешь? — чтоб развеселить меня, он придумал взять билет в театр!.. Ей-богу, он хотел этим излечить меня! Повторяю тебе, он знал и любил девочку и не хотел и думать о том, что я когда-нибудь тоже стану женщиной… Ему это и в голову не приходило. Теперь же, если б я воротилась домой, он бы меня и не узнал. Если он и простит, то кого же встретит теперь? Я уж не та, уж не ребенок, я много прожила. Если я и угожу ему, он все-таки будет вздыхать о прошедшем счастье, тосковать, что я совсем не та, как прежде, когда еще он любил меня ребенком; а старое всегда лучше кажется! С мучениями вспоминается! О, как хорошо прошедшее, Ваня! — вскричала она, сама увлекаясь и прерывая себя этим восклицанием, с болью вырвавшимся из ее сердца.

— Это всё правда, — сказал я, — что ты говоришь, Наташа. Значит,

ему надо теперь узнать и полюбить тебя вновь. А главное: узнать. Что ж? Он и полюбит тебя. Неужели ж ты думаешь, что он не в состоянии узнать и понять тебя, он, он, такое сердце!

— Ох, Ваня, не будь несправедлив! И что особенного во мне понимать? Я не про то говорила. Видишь, что еще: отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что без него всё это началось и разрешилось с Алешей, а он не знал, проглядел. Он знает, что и не предчувствовал этого, и несчастные последствия нашей любви, мой побег, приписывает именно моей «неблагодарной» скрытности. Я не пришла к нему с самого начала, я не каялась потом перед ним в каждом движении моего сердца, с самого начала моей любви; напротив, я затаила всё в себе, я пряталась от него, и, уверяю тебя, Ваня, втайне ему это обиднее, оскорбительнее, чем самые последствия любви, — то, что я ушла от них и вся отдалась моему любовнику. Положим, он встретил бы меня теперь как отец, горячо и ласково, но семя вражды останется. На второй, на третий день начнутся огорчения, недоумения, попреки. К тому же он не простит без условий. Я, положим, скажу, и скажу правду, из глубины сердца, что понимаю, как его оскорбила, до какой степени перед ним виновата. И хоть мне и больно будет, если он не захочет понять, чего мне самой стоило всё это *счастье* с Алешей, какие я сама страдания перенесла, то я подавлю свою боль, всё перенесу, — но ему и этого будет мало. Он потребует от меня невозможного вознаграждения: он потребует, чтоб я прокляла мое прошедшее, прокляла Алешу и раскаялась в моей любви к нему. Он захочет невозможного— воротить прошедшее и вычеркнуть из нашей жизни последние полгода. Но я не прокляну никого, я не могу раскаяться… Уж так оно пришлось, так случилось… Нет, Ваня, теперь нельзя. Время еще не пришло.

— Когда же придет время?

— Не знаю… Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье; купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием всё очищается… Ох, Ваня, сколько в жизни боли!

Я замолчал и задумчиво смотрел на нее.

— Что ты так смотришь на меня, Алеша, то бишь — Ваня? — проговорила она, ошибаясь и улыбнувшись своей ошибке.

— Я смотрю теперь на твою улыбку, Наташа. Где ты взяла ее? У тебя прежде не было такой.

— А что же в моей улыбке?

— Прежнее детское простодушие, правда, в ней еще есть… Но когда ты улыбаешься, точно в то же время у тебя как-нибудь сильно заболит на сердце. Вот ты похудела, Наташа, а волосы твои стали как будто гуще… Что это у тебя за платье? Это еще у них было сделано?

— Как ты меня любишь, Ваня! — отвечала она, ласково взглянув на меня. — Ну, а ты, что ты теперь делаешь? Как твои-то дела?

— Не изменились; всё роман пишу; да тяжело, не дается. Вдохновение выдохлось. Сплеча-то и можно бы написать, пожалуй, и занимательно бы вышло; да хорошую идею жаль портить. Эта из любимых. А к сроку непременно надо в журнал. Я даже думаю бросить роман и придумать повесть поскорее, так, что-нибудь легонькое и грациозное и отнюдь без мрачного направления… Это уж отнюдь… Все должны веселиться и радоваться!..

— Бедный ты труженик! А что Смит?

— Да Смит умер.

— Не приходил к тебе? Я серьезно говорю тебе, Ваня: ты болен, у тебя нервы расстроены, такие всё мечты. Когда ты мне рассказывал про наем этой квартиры, я всё это в тебе заметила. Что, квартира сыра, нехороша?

— Да! У меня еще случилась история, сегодня вечером… Впрочем, я потом расскажу.

Она меня уже не слушала и сидела в глубокой задумчивости.

— Не понимаю, как я могла уйти тогда от *них; я* в горячке была, — проговорила она наконец, смотря на меня таким взглядом, которым не ждала ответа.

Заговори я с ней в эту минуту, она бы и не слыхала меня.

— Ваня, — сказала она чуть слышным голосом, — я просила тебя за делом.

— Что такое?

— Я расстаюсь с ним.

— Рассталась или расстаешься?

— Надо кончить с этой жизнью. Я и звала тебя, чтоб выразить всё, всё, что накопилось теперь и что я скрывала от тебя до сих пор. — Она всегда так начинала со мной, поверяя мне свои тайные намерения, и всегда почти выходило, что все эти тайны я знал от нее же.

— Ах, Наташа, я тысячу раз это от тебя слышал! Конечно, вам жить вместе нельзя; ваша связь какая-то странная; между вами нет

ничего общего. Но… достанет ли сил у тебя?

— Прежде были только намерения, Ваня; теперь же я решилась совсем. Я люблю его бесконечно, а между тем выходит, что я ему первый враг; я гублю его будущность. Надо освободить его. Жениться он на мне не может; он не в силах пойти против отца. Я тоже не хочу его связывать. И потому я даже рада, что он влюбился в невесту, которую ему сватают. Ему легче будет расстаться со мной. Я это должна! Это долг… Если я люблю его, то должна всем для него пожертвовать, должна доказать ему любовь мою, это долг! Не правда ли?

— Но ведь ты не уговоришь его.

— Я и не буду уговаривать. Я буду с ним по-прежнему, войди он хоть сейчас. Но я должна приискать средство, чтоб ему было легко оставить меня без угрызений совести. Вот что меня мучит, Ваня; помоги. Не присоветуешь ли чего-нибудь?

— Такое средство одно, — сказал я, — разлюбить его совсем и полюбить другого. Но вряд ли это будет средством. Ведь ты знаешь его характер? Вот он к тебе пять дней не ездит. Предположи, что он совсем оставил тебя; тебе стоит только написать ему, что ты сама его оставляешь, а он тотчас же прибежит к тебе.

— За что ты его не любишь, Ваня?

— Я!

— Да, ты, ты! Ты ему враг, тайный и явный! Ты не можешь говорить о нем без мщения. Я тысячу раз замечала, что тебе первое удовольствие унижать и чернить его! Именно чернить, я правду говорю!

— И тысячу раз уже говорила мне это. Довольно, Наташа; оставим этот разговор,

— Я бы хотела переехать на другую квартиру, — заговорила она опять после некоторого молчания. — Да ты не сердись, Ваня…

— Что ж, он придет и на другую квартиру, а я, ей-богу, не сержусь.

— Любовь сильна; новая любовь может удержать его. Если и воротится ко мне, так только разве на минуту, как ты думаешь?

— Не знаю, Наташа, в нем всё в высшей степени ни с чем не сообразно, он хочет и на той жениться и тебя любить. Он как-то может всё это вместе делать.

— Если б я знала наверно, что он любит ее, я бы решилась… Ваня! Не таи от меня ничего! Знаешь ты что-нибудь, чего мне не хочешь

сказать, или нет?

Она смотрела на меня беспокойным, выпытывающим взглядом.

— Ничего не знаю, друг мой, даю тебе честное слово; с тобой я был всегда откровенен. Впрочем, я вот что еще думаю: может быть, он вовсе не влюблен в падчерицу графини так сильно, как мы думаем. Так, увлечение…

— Ты думаешь, Ваня? Боже, если б я это знала наверное! О, как бы я желала его видеть в эту минуту, только взглянуть на него. Я бы по лицу его всё узнала! И нет его! Нет его!

— Да разве ты ждешь его, Наташа?

— Нет, он у *ней;* я знаю; я посылала узнавать. Как бы я желала взглянуть и на нее… Послушай, Ваня, я скажу вздор, но неужели же мне никак нельзя ее увидеть, нигде нельзя с нею встретиться? Как ты думаешь?

Она с беспокойством ожидала, что я скажу.

— Увидать еще можно. Но ведь только увидать — мало.

— Довольно бы того хоть увидать, а там я бы и сама угадала. Послушай: я ведь так глупа стала; хожу-хожу здесь, всё одна, всё одна, — всё думаю; мысли как какой-то вихрь, так тяжело! Я и выдумала, Ваня: нельзя ли тебе с ней познакомиться? Ведь графиня (тогда ты сам рассказывал) хвалила твой роман; ты ведь ходишь иногда на вечера к князю Р ***[*]; она там бывает. Сделай, чтоб тебя ей там представили. А то, пожалуй, и Алеша мог бы тебя с ней познакомить. Вот ты бы мне всё и рассказал про нее.

— Наташа, друг мой, об этом после. А вот что: неужели ты серьезно думаешь, что у тебя достанет сил на разлуку? Посмотри теперь на себя: неужели ты покойна?

— Дос-та-нет! — отвечала она чуть слышно. — Всё для него! Вся жизнь моя для него! Но знаешь, Ваня, не могу я перенести, что он теперь у нее, обо мне позабыл, сидит возле нее, рассказывает, смеется, помнишь, как здесь, бывало, сидел… Смотрит ей прямо в глаза; он всегда так смотрит; и в мысль ему не приходит теперь, что я вот здесь… с тобой.

Она не докончила и с отчаянием взглянула на меня.

— Как же ты, Наташа, еще сейчас, только сейчас говорила…

— Пусть мы вместе, все вместе расстанемся! — перебила она с сверкающим взглядом. — Я сама его благословлю на это. Но тяжело,

Ваня, когда он сам, первый, забудет меня? Ах, Ваня, какая это мука! Я сама не понимаю себя: умом выходит так, а на деле не так! Что со мною будет!

— Полно, полно, Наташа, успокойся!..

— И вот уже пять дней, каждый час, каждую минуту… Во сне ли, сплю ли — всё об нем, об нем! Знаешь, Ваня: пойдем туда, проводи меня!

— Полно, Наташа.

— Нет, пойдем! Я тебя только ждала, Ваня! Я уже три дня об этом думаю. Об этом-то деле я и писала к тебе… Ты меня должен проводить; ты не должен отказать мне в этом… Я тебя ждала… Три дня… Там сегодня вечер… он там… пойдем!

Она была как в бреду. В прихожей раздался шум; Мавра как будто спорила с кем-то.

— Стой, Наташа, кто это? — спросил я, — слушай! Она прислушалась с недоверчивою улыбкою и вдруг страшно побледнела.

— Боже мой! Кто там? — проговорила она чуть слышным голосом.

Она хотела было удержать меня, но я вышел в прихожую к Мавре. Так и есть! Это был Алеша. Он об чем-то расспрашивал Мавру; та сначала не пускала его.

— Откудова такой явился? — говорила она, как власть имеющая. — Что? Где рыскал? Ну уж иди, иди! А меня тебе не подмаслить! Ступай-ка; что-то ответишь?

— Я никого не боюсь! Я войду! — говорил Алеша, немного, впрочем, сконфузившись.

— Ну ступай! Прыток ты больно!

— И пойду! А! И вы здесь! — сказал он, увидев меня, — как это хорошо, что и вы здесь! Ну вот и я; видите; как же мне теперь…

— Да просто войдите, — отвечал я, — чего вы боитесь?

— Я ничего не боюсь, уверяю вас, потому что я, ей-богу, не виноват. Вы думаете, я виноват? Вот увидите, я сейчас оправдаюсь. Наташа, можно к тебе? — вскрикнул он с какой-то выделанною смелостию, остановясь перед затворенною дверью.

Никто не отвечал.

— Что ж это? — спросил он с беспокойством.

— Ничего, она сейчас там была, — отвечал я, — разве что-нибудь…

Алеша осторожно отворил дверь и робко окинул глазами комнату. Никого не было.

Вдруг он увидал ее в углу, между шкафом и окном. Она стояла там, как будто спрятавшись, ни жива ни мертва. Как вспомню об этом, до сих пор не могу не улыбнуться. Алеша тихо и осторожно подошел к ней.

— Наташа, что ты? Здравствуй, Наташа, — робко проговорил он, с каким-то испугом смотря на нее.

— Ну что ж, ну… ничего!.. — отвечала она в ужасном смущении, как будто она же и была виновата. — Ты… хочешь чаю?

— Наташа, послушай… — говорил Алеша, совершенно потерявшись. — Ты, может быть, уверена, что я виноват… Но я не виноват; я нисколько не виноват! Вот видишь ли, я тебе сейчас расскажу.

— Да зачем же это? — прошептала Наташа, — нет, нет, не надо… лучше дай руку и… кончено… как всегда… — И она вышла из угла; румянец стал показываться на щеках ее.

Она смотрела вниз, как будто боясь взглянуть на Алешу.

— О боже мой! — вскрикнул он в восторге, — если б только был виноват, я бы не смел, кажется, и взглянуть на нее после этого! Посмотрите, посмотрите! — кричал он, обращаясь ко мне, — вот: она считает меня виноватым; всё против меня, все видимости против меня! Я пять дней не езжу! Есть слухи, что я у невесты, — и что ж? Она уж прощает меня! Она уж говорит: «Дай руку, и кончено!» Наташа, голубчик мой, ангел мой, ангел мой! Я не виноват, и ты знай это! Я не виноват ни настолечко! Напротив! Напротив!

— Но… Но ведь ты теперь *там*… Тебя теперь *туда* звали… Как же ты здесь? Ко… который час?..

— Половина одиннадцатого! Я и был там… Но я сказался больным и уехал и — это первый, первый раз в эти пять дней, что я свободен, что я был в состоянии урваться от них, и приехал к тебе, Наташа. То есть я мог и прежде приехать, но я нарочно не ехал! А почему? ты сейчас узнаешь, объясню; я затем и приехал, чтоб объяснить; только, ей-богу, в этот раз я ни в чем перед тобой не виноват, ни в чем! Ни в чем!

Наташа подняла голову и взглянула на него… Но ответный взгляд его сиял такою правдивостью, лицо его было так радостно, так честно, так весело, что не было возможности ему не поверить. Я думал, они

вскрикнут и бросятся друг другу в объятия, как это уже несколько раз прежде бывало при подобных же примирениях. Но Наташа, как будто подавленная счастьем, опустила на грудь голову и вдруг… тихо заплакала. Тут уж Алеша не мог выдержать. Он бросился к ногам ее. Он целовал ее руки, ноги; он был как в исступлении. Я придвинул ей кресла. Она села. Ноги ее подкашивались.

Часть вторая

Глава I

Через минуту мы все смеялись как полуумные.

— Да дайте же, дайте мне рассказать, — покрывал нас всех Алеша своим звонким голосом. — Они думают, что всё это, как и прежде… что я с пустяками приехал… Я вам говорю, что у меня самое интересное дело. Да замолчите ли вы когда-нибудь!

Ему чрезвычайно хотелось рассказать. По виду его можно было судить, что у него важные новости. Но его приготовленная важность от наивной гордости владеть такими новостями тотчас же рассмешила Наташу. Я невольно засмеялся вслед за ней. И чем больше он сердился на нас, тем больше мы смеялись. Досада и потом детское отчаяние Алеши довели наконец нас до той степени, когда стоит только показать пальчик, как гоголевскому мичману[*], чтоб тотчас же и покатиться со смеху. Мавра, вышедшая из кухни, стояла в дверях и с серьезным негодованием смотрела на нас, досадуя, что не досталось Алеше хорошей головомойки от Наташи, как ожидала она с наслаждением все эти пять дней, и что вместо того все так веселы.

Наконец Наташа, видя, что наш смех обижает Алешу, перестала смеяться.

— Что же ты хочешь рассказать? — спросила она.

— А что, поставить, что ль, самовар? — спросила Мавра, без малейшего уважения перебивая Алешу.

— Ступай, Мавра, ступай, — отвечал он, махая на нее руками и торопясь прогнать ее. — Я буду рассказывать всё, что было, всё, что есть, и всё, что будет, потому что я всё это знаю. Вижу, друзья мои, вы хотите знать, где я был эти пять дней, — это-то я и хочу рассказать; а вы мне не даете. Ну, и, во-первых, я тебя всё время обманывал, Наташа, всё это время, давным-давно уж обманывал, и это-то и есть самое главное.

— Обманывал?

— Да, обманывал, уже целый месяц; еще до приезда отца начал; теперь пришло время полной откровенности. Месяц тому назад, когда еще отец не приезжал, я вдруг получил от него огромнейшее письмо и

скрыл это от вас обоих. В письме он прямо и просто — и заметьте себе, таким серьезным тоном, что я даже испугался, — объявлял мне, что дело о моем сватовстве уже кончилось, что невеста моя совершенство; что я, разумеется, ее не стою, но что все-таки непременно должен на ней жениться. И потому, чтоб приготовлялся, чтоб выбил из головы все мои вздоры и так далее, и так далее, — ну, уж известно, какие это вздоры. Вот это-то письмо я от вас и утаил…

— Совсем не утаил! — перебила Наташа, — вот чем хвалится! Л выходит, что всё тотчас же нам рассказал. Я еще помню, как ты вдруг сделался такой послушный, такой нежный и не отходил от меня, точно провинился в чем-нибудь, и всё письмо нам по отрывкам и рассказал.

— Не может быть, главного, наверно, не рассказал. Может быть, вы оба угадали что-нибудь, это уж ваше дело, а я не рассказывал. Я скрыл и ужасно страдал.

— Я помню, Алеша, вы со мной тогда поминутно советовались и всё мне рассказали, отрывками, разумеется, в виде предположений, — прибавил я, смотря на Наташу.

— Всё рассказал! Уж не хвастайся, пожалуйста! — подхватила она. — Ну, что ты можешь скрыть? Ну, тебе ли быть обманщиком? Даже Мавра всё узнала. Знала ты, Мавра?

— Ну, как не знать! — отозвалась Мавра, просунув к нам свою голову, — всё в три же первые дня рассказал. Не тебе бы хитрить!

— Фу, какая досада с вами разговаривать! Ты всё это из злости делаешь, Наташа! А ты, Мавра, тоже ошибаешься. Я, помню, был тогда как сумасшедший; помнишь, Мавра?

— Как не помнить. Ты и теперь как сумасшедший.

— Нет, нет, я не про то говорю. Помнишь! Тогда еще у нас денег не было, и ты ходила мою сигарочницу серебряную закладывать; а главное, позволь тебе заметить, Мавра, ты ужасно передо мной забываешься. Это всё тебя Наташа приучила. Ну, положим, я действительно всё вам рассказал тогда же, отрывками (я это теперь припоминаю). Но тона, тона письма вы не знаете, а ведь в письме главное тон. Про это я и говорю.

— Ну, а какой же тон? — спросила Наташа.

— Послушай, Наташа, ты спрашиваешь — точно шутишь. Не *шути.* Уверяю тебя, это очень важно. Такой тон, что я и руки опустил. Никогда отец так со мной не говорил. То есть скорее Лиссабон

провалится[*], чем не сбудется по его желанию; вот какой тон!

— Ну-ну, рассказывай; зачем же тебе надо было скрывать от меня?

— Ах, боже мой! да чтоб тебя не испугать. Я надеялся всё сам уладить. Ну, так вот, после этого письма, как только отец приехал, пошли мои муки. Я приготовился ему отвечать твердо, ясно, серьезно, да всё как-то не удавалось. А он даже и не расспрашивал; хитрец! Напротив, показывал такой вид, как будто уже всё дело решено и между нами уже не может быть никакого спора и недоумения. Слышишь, *не может быть* даже; такая самонадеянность! Со мной же стал такой ласковый, такой милый. Я просто удивлялся. Как он умен, Иван Петрович, если б вы знали! Он всё читал, всё знает; вы на него только один раз посмотрите, а уж он все ваши мысли, как свои, знает. Вот за это-то, верно, и прозвали его иезуитом. Наташа не любит, когда я его хвалю. Ты не сердись, Наташа. Ну, так вот… а кстати! Он мне денег сначала не давал, а теперь дал, вчера. Наташа! Ангел мой! Кончилась теперь наша бедность! Вот, смотри! Всё, что уменьшил мне в наказание, за все эти полгода, всё вчера додал; смотрите сколько; я еще не сосчитал. Мавра, смотри, сколько денег! Теперь уж не будем ложки да запонки закладывать!

Он вынул из кармана довольно толстую пачку денег, тысячи полторы серебром, и положил на стол. Мавра с удовольствием на нее посмотрела и похвалила Алешу. Наташа сильно торопила его.

— Ну, так вот — что мне делать, думаю? — продолжал Алеша, — ну как против него пойти? То есть, клянусь вам обоим, будь он зол со мной, а не такой добрый, я бы и не думал ни о чем. Я прямо бы сказал ему, что не хочу, что я уж сам вырос и стал человеком, и теперь — кончено! И, поверьте, настоял бы на своем. А тут — что я ему скажу? Но не вините и меня. Я вижу, ты как будто недовольна, Наташа. Чего вы оба переглядываетесь? Наверно, думаете: вот уж его сейчас и оплели и ни капли в нем твердости нет. Есть твердость, есть, и еще больше, чем вы думаете! А доказательство, что, несмотря на мое положение, я тотчас же сказал себе: это мой долг; я должен всё, всё высказать отцу, и стал говорить, и высказал, и он меня выслушал.

— Да что же, что именно ты высказал? — с беспокойством спросила Наташа.

— А то, что не хочу никакой другой невесты, а что у меня есть своя, — это ты. То есть я прямо этого еще до сих пор не высказал, но я

его приготовил к этому, а завтра скажу; так уж я решил. Сначала я стал говорить о том, что жениться на деньгах стыдно и неблагородно и что нам считать себя какими-то аристократами — просто глупо (я ведь с ним совершенно откровенно, как брат с братом). Потом объяснил ему тут же, что я tiers état и что tiers état c'est l'essentiel[*];[3] что я горжусь тем, что похож на всех, и не хочу ни от кого отличаться… Я говорил горячо, увлекательно. Я сам себе удивлялся. Я доказал ему наконец и с его точки зрения… я прямо сказал: какие мы князья? Только по роду; а в сущности что в нас княжеского? Особенного богатства, во-первых, нет, а богатство — главное. Нынче самый главный князь — Ротшильд[*]. Во-вторых, в настоящем-то большом свете об нас уж давно не слыхивали. Последний был дядя, Семен Валковский, да тот только в Москве был известен, да и то тем, что последние триста душ прожил, и если б отец не нажил сам денег, то его внуки, может быть, сами бы землю пахали, как и есть такие князья. Так нечего и нам заноситься. Одним словом, я всё высказал, что у меня накипело, — всё, горячо и откровенно, даже еще прибавил кой-что. Он даже и не возражал, а просто начал меня упрекать, что я бросил дом графа Наинского, а потом сказал, что надо подмазаться к княгине К., моей крестной матери, и что если княгиня К. меня хорошо примет, так, значит, и везде примут и карьера сделана, и пошел, и пошел расписывать! Это всё намеки на то, что я, как сошелся с тобой, Наташа, то всех их бросил; что это, стало быть, твое влияние. Но прямо он до сих пор не говорил про тебя, даже, видимо, избегает. Мы оба хитрим, выжидаем, ловим друг друга, и будь уверена, что и на нашей улице будет праздник.

— Да хорошо уж; чем же кончилось, как он-то решил? Вот что главное. И какой ты болтун, Алеша…

— А господь его знает, совсем и не разберешь, как он решил; а я вовсе не болтун, я дело говорю: он даже и не решал, а только на все мои рассуждения улыбался, но такой улыбкой, как будто ему жалко меня. Я ведь понимаю, что это унизительно, да я не стыжусь. Я, говорит, совершенно с тобой согласен, а вот поедем-ка к графу Наинскому, да смотри, там этого ничего не говори. Я-то тебя понимаю, да они-то тебя не поймут. Кажется, и его самого они все не совсем хорошо принимают; за что-то сердятся. Вообще в свете отца теперь что-то не любят! Граф сначала принимал меня чрезвычайно величаво, совсем свысока, даже совсем как будто забыл, что я вырос в его доме, припоминать начал, ей-

богу! Он просто сердится на меня за неблагодарность, а, право, тут не было никакой от меня неблагодарности; в его доме ужасно скучно — ну, я и не ездил. Он и отца принял ужасно небрежно; так небрежно, так небрежно, что я даже не понимаю, как он туда ездит. Всё это меня возмутило. Бедный отец должен перед ним чуть не спину гнуть; я понимаю, что всё это для меня, да мне-то ничего не нужно. Я было хотел потом высказать отцу все мои чувства да удержался. Да и зачем! Убеждений его я не переменю, а только его раздосадую; а ему и без того тяжело. Ну, думаю, пущусь на хитрости, перехитрю их всех, заставлю графа уважать себя — и что ж? Тотчас же всего достиг, в какой-нибудь один день всё переменилось! Граф Наинский не знает теперь, куда меня посадить. И всё это я сделал, один я, через свою собственную хитрость, так что отец только руки расставил!..

— Послушай, Алеша, ты бы лучше рассказывал о деле! — вскричала нетерпеливая Наташа. — Я думала, ты что-нибудь про наше расскажешь, а тебе только хочется рассказать, как ты там отличился у графа Наинского. Какое мне дело до твоего графа!

— Какое дело! Слышите, Иван Петрович, какое дело? Да в этом-то и самое главное дело. Вот ты увидишь сама; всё под конец объяснится. Только дайте мне рассказать… А наконец (почему же не сказать откровенно!), вот что, Наташа, да и вы тоже, Иван Петрович, я, может быть, действительно иногда очень, очень нерассудителен; ну, да, положим даже (ведь иногда и это бывало), просто глуп. Но тут, уверяю вас, я выказал много хитрости… ну… и, наконец, даже ума; так что я думал, вы сами будете рады, что я не всегда же… неумен.

— Ах, что ты, Алеша, полно! Голубчик ты мой!..

Наташа сносить не могла, когда Алешу считали неумным. Сколько раз, бывало, она дулась на меня, не высказывая на словах, если я, не слишком церемонясь, доказывал Алеше, что он сделал какую-нибудь глупость; это было больное место в ее сердце. Она не могла снести унижения Алеши и, вероятно, тем более, что про себя сознавалась в его ограниченности. Но своего мнения отнюдь ему не высказывала и боялась этого, чтоб не оскорбить его самолюбия. Он же в этих случаях был как-то особенно проницателен и всегда угадывал ее тайные чувства. Наташа это видела и очень печалилась, тотчас же льстила ему, ласкала его. Вот почему теперь слова его больно отозвались в ее сердце…

— Полно, Алеша, ты только легкомыслен, а ты вовсе не такой, — прибавила она, — с чего ты себя унижаешь?

— Ну, и хорошо; ну, так вот и дайте мне досказать. После приема у графа отец даже разозлился на меня. Думаю, постой! Мы тогда ехали к княгине; я давно уже слышал, что она от старости почти из ума выжила и вдобавок глухая, и ужасно любит собачонок. У ней целая стая, и она души в них не слышит. Несмотря на всё это, она с огромным влиянием в свете, так что даже граф Наинский, le superbe,[4] у ней antichambre делает.[5] Вот я дорогою и основал план всех дальнейших действий, и как вы думаете, на чем основал? На том, что меня все собаки любят, ей-богу! Я это заметил. Или во мне магнетизм какой-нибудь сидит, или потому, что я сам очень люблю всех животных, уж не знаю, только любят собаки, да и только! Кстати о магнетизме, я тебе еще не рассказывал, Наташа, мы на днях духов вызывали, я был у одного вызывателя; это ужасно любопытно, Иван Петрович, даже поразило меня. Я Юлия Цезаря* вызывал.

— Ах, боже мой! Ну, зачем тебе Юлия Цезаря? — вскричала Наташа, заливаясь смехом. — Этого недоставало!

— Да почему же… точно я какой-нибудь… Почему же я не имею права вызвать Юлия Цезаря? Что ему сделается? Вот смеется!

— Да ничего, конечно, не сделается… ах, голубчик ты мой! Ну, что ж тебе сказал Юлий Цезарь?

— Да ничего не сказал. Я только держал карандаш, а карандаш сам ходил по бумаге и писал. Это, говорят, Юлий Цезарь пишет. Я этому не верю.

— Да что ж написал-то?

— Да написал что-то вроде «обмокни», как у Гоголя*…да полно смеяться!

— Да рассказывай про княгиню-то!

— Ну, да вот вы всё меня перебиваете. Приехали мы к княгине, и я начал с того, что стал куртизанить* с Мими. Эта Мими — старая, гадкая, самая мерзкая собачонка, к тому же упрямая и кусака. Княгиня без ума от нее, не надышит; она, кажется, ей ровесница. Я начал с того, что стал Мими конфетами прикармливать и в какие-нибудь десять минут выучил подавать лапку, чему во всю жизнь не могли ее выучить. Княгиня пришла просто в восторг; чуть не плачет от радости: «Мими! Мими! Мими лапку дает!» Приехал кто-то: «Мими лапку дает! Вот

выучил крестник!» Граф Наинский вошел: «Мими лапку дает!» На меня смотрит чуть не со слезами умиления. Предобрейшая старушка; даже жалко ее. Я не промах, тут опять ей польстил: у ней на табакерке ее собственный портрет, когда еще она невестой была, лет шестьдесят назад. Вот и урони она табакерку, я подымаю да и говорю, точно не знаю: Quelle charmante peinture![6] Это идеальная красота! Ну, тут она уж совсем растаяла; со мной и о том и о сем, и где я учился, и у кого бываю, и какие у меня славные волосы, и пошла, и пошла. Я тоже: рассмешил ее, историю скандалезную ей рассказал. Она это любит; только пальцем мне погрозила, а впрочем, очень смеялась. Отпускает меня — целует и крестит, требует, чтоб каждый день я приезжал ее развлекать. Граф мне руку жмет, глаза у него стали масленые; а отец, хоть он и добрейший, и честнейший, и благороднейший человек, но верьте или не верьте, а чуть не плакал от радости, когда мы вдвоем домой приехали; обнимал меня, в откровенности пустился, в какие-то таинственные откровенности, насчет карьеры, связей, денег, браков, так что я многого и не понял. Тут-то он и денег мне дал. Это вчера было. Завтра я опять к княгине, но отец все-таки благороднейший человек — не думайте чего-нибудь, и хоть отдаляет меня от тебя, Наташа, но это потому, что он ослеплен, потому что ему миллионов Катиных хочется, а у тебя их нет; и хочет он их для одного меня, и только по незнанию несправедлив к тебе. А какой отец не хочет счастья своему сыну? Ведь он не виноват, что привык считать в миллионах счастье. Так уж они все. Ведь смотреть на него нужно только с этой точки, не иначе, — вот он тотчас же и выйдет прав. Я нарочно спешил к тебе, Наташа, уверить тебя в этом, потому, я знаю, ты предубеждена против него и, разумеется, в этом не виновата. Я тебя не виню…

— Так только-то и случилось с тобой, что ты карьеру у княгини сделал? В этом и вся хитрость? — спросила Наташа.

— Какое! Что ты! Это только начало… я потому рассказал про княгиню, что, понимаешь, я через нее отца в руки возьму, а главная моя история еще и не начиналась.

— Ну, так рассказывай же!

— Со мной сегодня случилось еще происшествие, и даже очень странное, и я до сих пор еще поражен, — продолжал Алеша. — Надо вам заметить, что хоть у отца с графиней и порешено наше сватовство, но официально еще до сих пор решительно ничего не было, так что мы

хоть сейчас разойдемся и никакого скандала; один только граф Наинский знает, но ведь это считается родственник и покровитель. Мало того, хоть я в эти две недели и очень сошелся с Катей, но до самого сегодняшнего вечера мы ни слова не говорили с ней о будущем, то есть о браке и… ну, и о любви. Кроме того, положено сначала испросить согласие княгини К., от которой ждут у нас всевозможного покровительства и золотых дождей. Что скажет она, то скажет и свет; у ней такие связи… А меня непременно хотят вывести в свет и в люди. Но особенно на всех этих распоряжениях настаивает графиня, мачеха Кати. Дело в том, что княгиня, за все ее заграничные штуки, пожалуй, еще ее и не примет, а княгиня не примет, так и другие, пожалуй, не примут; так вот и удобный случай — сватовство мое с Катей. И потому графиня, которая прежде была против сватовства, страшно обрадовалась сегодня моему успеху у княгини, но это в сторону, а вот что главное: Катерину Федоровну я знал еще с прошлого года; но ведь я был тогда еще мальчиком и ничего не мог понимать, а потому ничего и не разглядел тогда в ней…

— Просто ты тогда любил меня больше, — прервала Наташа, — оттого и не разглядел, а теперь…

— Ни слова, Наташа, — вскричал с жаром Алеша, — ты совершенно ошибаешься и меня оскорбляешь!.. Я даже не возражаю тебе; выслушай дальше, и ты всё увидишь… Ох, если б ты знала Катю! Если б ты знала, что это за нежная, ясная, голубиная душа! Но ты узнаешь; только дослушай до конца! Две недели тому назад, когда по приезде их отец повез меня к Кате, я стал в нее пристально вглядываться. Я заметил, что и она в меня вглядывается. Это завлекло мое любопытство вполне; уж я не говорю про то, что у меня было свое особенное намерение узнать ее поближе, — намерение еще с того самого письма от отца, которое меня так поразило. Не буду ничего говорить, не буду хвалить ее, скажу только одно: она яркое исключение из всего круга. Это такая своеобразная натура, такая сильная и правдивая душа, сильная именно своей чистотой и правдивостью, что я перед ней просто мальчик, младший брат ее, несмотря на то что ей всего только семнадцать лет. Одно еще я заметил: в ней много грусти, точно тайны какой-то; она неговорлива; в доме почти всегда молчит, точно запугана… Она как будто что-то обдумывает. Отца моего как будто боится. Мачеху не любит — я догадался об этом; это сама графиня

распускает, для каких-то целей, что падчерица ее ужасно любит; всё это неправда: Катя только слушается ее беспрекословно и как будто уговорилась с ней в этом; четыре дня тому назад, после всех моих наблюдений, я решился исполнить мое намерение и сегодня вечером исполнил его. Это: рассказать всё Кате, признаться ей во всем, склонить ее на нашу сторону и тогда разом покончить дело…

— Как! Что рассказать, в чем признаться? — спросила с беспокойством Наташа.

— Всё, решительно всё, — отвечал Алеша, — и благодарю бога, который внушил мне эту мысль; но слушайте, слушайте! Четыре дня тому назад я решил так: удалиться от вас и кончить всё самому. Если б я был с вами, я бы всё колебался, я бы слушал вас и никогда бы не решился. Один же, поставив именно себя в такое положение, что каждую минуту должен был твердить себе, что надо кончить и что я *должен* кончить, я собрался с духом и — кончил! Я положил воротиться к вам с решением и воротился с решением!

— Что же, что же? Как было дело? Рассказывай поскорее!

— Очень просто! Я подошел к ней прямо, честно и смело… Но, во-первых, я должен вам рассказать один случай перед этим, который ужасно поразил меня. Перед тем как нам ехать, отец получил какое-то письмо. Я в это время входил в его кабинет и остановился у двери. Он не видал меня. Он до того был поражен этим письмом, что говорил сам с собою, восклицал что-то, вне себя ходил по комнате и наконец вдруг захохотал, а в руках письмо держит. Я даже побоялся войти, переждал еще и потом вошел. Отец был так рад чему-то, так рад; заговорил со мной как-то странно; потом вдруг прервал и велел мне тотчас же собираться ехать, хотя еще было очень рано. У них сегодня никого не было, только мы одни, и ты напрасно думала, Наташа, что там был званый вечер. Тебе не так передали…

— Ах, не отвлекайся, Алеша, пожалуйста; говори, как ты рассказывал всё Кате!

— Счастье в том, что мы с ней целых два часа оставались одни. Я просто объявил ей, что хоть нас и хотят сосватать, но брак наш невозможен; что в сердце моем все симпатии к ней и что она одна может спасти меня. Тут я открыл ей всё. Представь себе, она ничего не знала из нашей истории, про нас с тобой, Наташа! Если б ты могла видеть, как она была тронута; сначала даже испугалась. Побледнела вся.

Я рассказал ей всю нашу историю: как ты бросила для меня свой дом, как мы жили одни, как мы теперь мучаемся, боимся всего и что теперь мы прибегаем к ней (я и от твоего имени говорил, Наташа), чтоб она сама взяла нашу сторону и прямо сказала бы мачехе, что не хочет идти за меня, что в этом всё наше спасение и что нам более нечего ждать ниоткуда. Она с таким любопытством слушала, с такой симпатией. Какие у ней были глаза в ту минуту! Кажется, вся душа ее перешла в ее взгляд. У ней совсем голубые глаза. Она благодарила меня, что я не усомнился в ней, и дала слово помогать нам всеми силами. Потом о тебе стала расспрашивать, говорила, что очень хочет познакомиться с тобой, просила передать, что уже любит тебя как сестру и чтоб и ты ее любила как сестру, а когда узнала, что я уже пятый день тебя не видал, тотчас же стала гнать меня к тебе…

Наташа была тронута.

— И ты прежде этого мог рассказывать о своих подвигах у какой-то глухой княгини! Ах, Алеша, Алеша! — вскрикнула она, с упреком на него глядя. — Ну что ж Катя? Была рада, весела, когда отпускала тебя?

— Да, она была рада, что удалось ей сделать благородное дело, а сама плакала. Потому что она ведь тоже любит меня, Наташа! Она призналась, что начинала уже любить меня; что она людей не видит и что я понравился ей уже давно; она отличила меня особенно Потому, что кругом всё хитрость и ложь, а я показался ей человеком искренним и честным. Она встала и сказала: «Ну, бог с вами, Алексей Петрович, а я думала…» Не договорила, заплакала и ушла. Мы решили, что завтра же она и скажет мачехе, что не хочет за меня, и что завтра же я должен всё сказать отцу и высказать твердо и смело. Она упрекала меня, зачем я раньше ему не сказал: «Честный человек ничего не должен бояться!» Она такая благородная. Отца моего она тоже не любит; говорит, что он хитрый и ищет денег. Я защищал его; она мне не поверила. Если же не удастся завтра у отца (а она наверное думает, что не удастся), тогда и она соглашается, чтоб я прибегнул к покровительству княгини К. Тогда уже никто из них не осмелится идти против. Мы с ней дали друг другу слово быть как брат с сестрой. О, если б ты знала и ее историю, как она несчастна, с каким отвращением смотрит на свою жизнь у мачехи, на всю эту обстановку… Она прямо не говорила, точно и меня боялась, но я по некоторым словам угадал. Наташа, голубчик мой! Как бы залюбовалась она на тебя, если б увидала! И какое у ней сердце доброе!

С ней так легко! Вы обе созданы быть одна другой сестрами и должны любить друг друга. Я всё об этом думал. И право: я бы свел вас обеих вместе, а сам бы стоял возле да любовался на вас. Не думай же чего-нибудь, Наташечка, и позволь мне про нее говорить. Мне именно с тобой хочется про нее говорить, а с ней про тебя. Ты ведь знаешь, что я тебя больше всех люблю, больше ее… Ты мое всё!

Наташа молча смотрела на него, ласково и как-то грустно. Его слова как будто ласкали и как будто чем-то мучили ее.

— И давно, еще две недели назад, я оценил Катю, — продолжал он. — Я ведь каждый вечер к ним ездил. Ворочусь, бывало, домой и всё думаю, всё думаю о вас обеих, всё сравниваю вас между собою.

— Которая же из нас выходила лучше? — спросила, улыбаясь, Наташа.

— Иной раз ты, другой она. Но ты всегда лучше оставалась. Когда же я говорю с ней, я всегда чувствую, что сам лучше становлюсь, умнее, благороднее как-то. Но завтра, завтра всё решится!

— И не жаль ее тебе? Ведь она любит тебя; ты говоришь, что сам это заметил?

— Жаль, Наташа! Но мы будем все трое любить друг друга, и тогда…

— А тогда и прощай! — проговорила тихо Наташа как будто про себя. Алеша с недоумением посмотрел на нее.

Но разговор наш вдруг был прерван самым неожиданным образом. В кухне, которая в то же время была и переднею, послышался легкий шум, как будто кто-то вошел. Через минуту Мавра отворила дверь и украдкой стала кивать Алеше, вызывая его. Все мы оборотились к ней.

— Там вот спрашивают тебя, пожалуй-ка, — сказала она каким-то таинственным голосом.

— Кто меня может теперь спрашивать? — проговорил Алеша, с недоумением глядя на нас. — Пойду!

В кухне стоял ливрейный лакей князя, его отца. Оказалось, что князь, возвращаясь домой, остановил свою карету у квартиры Наташи и послал узнать, у ней ли Алеша? Объявив это, лакей тотчас же вышел.

— Странно! Этого еще никогда не было, — говорил Алеша, в смущении нас оглядывая, — что это?

Наташа с беспокойством смотрела на него. Вдруг Мавра опять отворила к нам дверь.

— Сам идет, князь! — сказала она ускоренным шепотом и тотчас же спряталась.

Наташа побледнела и встала с места. Вдруг глаза ее загорелись. Она стала, слегка опершись на стол, и в волнении смотрела на дверь, в которую должен был войти незваный гость.

— Наташа, не бойся, ты со мной! Я не позволю обидеть тебя, — прошептал смущенный, но не потерявшийся Алеша.

Дверь отворилась, и на пороге явился сам князь Валковский своею собственною особою.

Глава II

Он окинул нас быстрым, внимательным взглядом. По этому взгляду еще нельзя было угадать: явился он врагом или другом? Но опишу подробно его наружность. В этот вечер он особенно поразил меня.

Я видел его и прежде. Это был человек лет сорока пяти, не больше, с правильными и чрезвычайно красивыми чертами лица, которого выражение изменялось судя по обстоятельствам; но изменялось резко, вполне, с необыкновенною быстротою, переходя от самого приятного до самого угрюмого или недовольного, как будто внезапно была передернута какая-то пружинка. Правильный овал лица несколько смуглого, превосходные зубы, маленькие и довольно тонкие губы, красиво обрисованные, прямой, несколько продолговатый нос, высокий лоб, на котором еще не видно было ни малейшей морщинки, серые, довольно большие глаза — всё это составляло почти красавца, а между тем лицо его не производило приятного впечатления. Это лицо именно отвращало от себя тем, что выражение его было как будто не свое, а всегда напускное, обдуманное, заимствованное, и какое-то слепое убеждение зарождалось в вас, что вы никогда и не добьетесь до настоящего его выражения. Вглядываясь пристальнее, вы начинали подозревать под всегдашней маской что-то злое, хитрое и в высочайшей степени эгоистическое. Особенно останавливали ваше внимание его прекрасные с виду глаза, серые, открытые. Они одни как будто не могли подчиняться его воле. Он бы и хотел смотреть мягко и ласково, но лучи его взглядов как будто раздваивались и между мягкими, ласковыми

лучами мелькали жесткие, недоверчивые, пытливые, злые… Он был довольно высокого роста, сложен изящно, несколько худощаво и казался несравненно моложе своих лет. Темно-русые мягкие волосы его почти еще и не начинали седеть. Уши, руки, оконечности ног его были удивительно хороши. Это была вполне породистая красивость. Одет он был с утонченною изящностию и свежестию, но с некоторыми замашками молодого человека, что, впрочем, к нему шло. Он казался старшим братом Алеши. По крайней мере его никак нельзя было принять за отца такого взрослого сына.

Он подошел прямо к Наташе и сказал ей, твердо смотря на нее:

— Мой приход к вам в такой час и без доклада — странен и вне принятых правил; но я надеюсь, вы поверите, что, по крайней мере, я в состоянии сознать всю эксцентричность моего поступка. Я знаю тоже, с кем имею дело; знаю, что вы проницательны и великодушны. Подарите мне только десять минут, и я надеюсь, вы сами меня поймете и оправдаете.

Он выговорил всё это вежливо, но с силой и с какой-то настойчивостью.

— Садитесь, — сказала Наташа, еще не освободившаяся от первого смущения и некоторого испуга.

Он слегка поклонился и сел.

— Прежде всего позвольте мне сказать два слова ему, — начал он, указывая на сына. — Алеша, только что ты уехал, не дождавшись меня и даже не простясь с нами, графине доложили, что с Катериной Федоровной дурно. Она бросилась было к ней, но Катерина Федоровна вдруг вошла к нам сама, расстроенная и в сильном волнении. Она сказала нам прямо, что не может быть твоей женой. Она сказала еще, что пойдет в монастырь, что ты просил ее помощи и сам признался ей, что любишь Наталью Николаевну… Такое невероятное признание от Катерины Федоровны и, наконец, в такую минуту, разумеется, было вызвано чрезвычайною странностию твоего объяснения с нею. Она была почти вне себя. Ты понимаешь, как я был поражен и испуган. Проезжая теперь мимо, я заметил в ваших окнах огонь, — продолжал он, обращаясь к Наташе. — Тогда мысль, которая преследовала меня уже давно, до того вполне овладела мною, что я не в состоянии был противиться первому влечению и вошел к вам. Зачем? Скажу сейчас, но прошу наперед, не удивляйтесь некоторой резкости моего объяснения.

Всё это так внезапно…

— Я надеюсь, что пойму и как должно… оценю то, что вы скажете, — проговорила, запинаясь, Наташа.

Князь пристально в нее всматривался, как будто спешил *разучить* ее вполне в одну какую-нибудь минуту.

— Я и надеюсь на вашу проницательность, — продолжал он, — и если позволил себе прийти к вам теперь, то именно потому, что знал, с кем имею дело. Я давно уже знаю вас, несмотря на то что когда-то был так несправедлив и виноват перед вами. Выслушайте: вы знаете, между мной и отцом вашим — давнишние неприятности. Не оправдываю себя; может быть, я более виноват перед ним, чем сколько полагал до сих пор. Но если так, то я сам был обманут. Я мнителен и сознаюсь в том. Я склонен подозревать дурное прежде хорошего — черта несчастная, свойственная сухому сердцу. Но я не имею привычки скрывать свои недостатки. Я поверил всем наговорам и, когда вы оставили ваших родителей, я ужаснулся за Алешу. Но я вас еще не знал. Справки, сделанные мною мало-помалу, ободрили меня совершенно. Я наблюдал, изучал и наконец убедился, что подозрения мои неосновательны. Я узнал, что вы рассорились с вашим семейством, знаю тоже, что ваш отец всеми силами против вашего брака с моим сыном. И уж одно то, что вы, имея такое влияние, такую, можно сказать, власть над Алешей, не воспользовались до сих пор этою властью и не заставили его жениться на себе, уж одно это выказывает вас со стороны слишком хорошей. И все-таки, сознаюсь перед вами вполне, я всеми силами решился тогда препятствовать всякой возможности вашего брака с моим сыном. Я знаю, я выражаюсь слишком откровенно, но в эту минуту откровенность с моей стороны нужнее всего; вы сами согласитесь с этим, когда меня дослушаете. Скоро после того, как вы оставили ваш дом, я уехал из Петербурга; но, уезжая, я уже не боялся за Алешу. Я надеялся на благородную гордость вашу. Я понял, что вы сами не хотели брака прежде окончания наших фамильных неприятностей; не хотели нарушать согласия между Алешей и мною, потому что я никогда бы не простил ему его брака с вами; не хотели тоже, чтоб сказали про вас, что вы искали жениха-князя и связей с нашим домом. Напротив, вы даже показали пренебрежение к нам и, может быть, ждали той минуты, когда я сам приду просить вас сделать нам честь отдать вашу руку моему сыну. Но все-таки я упорно оставался

вашим недоброжелателем. Оправдывать себя не стану, но причин моих от вас не скрою. Вот они: вы не знатны и не богаты. Я хоть и имею состояние, но нам надо больше. Наша фамилия в упадке. Нам нужно связей и денег. Падчерица графини Зинаиды Федоровны хоть и без связей, но очень богата. Промедлить немного, и явились бы искатели и отбили бы у нас невесту; а нельзя было терять такой случай, и, несмотря на то что Алеша еще слишком молод, я решился его сватать. Видите, я не скрываю ничего. Вы можете с презрением смотреть на отца, который сам сознается в том, что наводил сына, из корысти и из предрассудков, на дурной поступок; потому что бросить великодушную девушку, пожертвовавшую ему всем и перед которой он так виноват, — это дурной поступок. Но не оправдываю себя. Вторая причина предполагавшегося брака моего сына с падчерицею графини Зинаиды Федоровны та, что эта девушка в высшей степени достойна любви и уважения. Она хороша собой, прекрасно воспитана, с превосходным характером и очень умна, хотя во многом еще ребенок. Алеша без характера, легкомыслен, чрезвычайно нерассудителен, в двадцать два года еще совершенно ребенок и разве только с одним достоинством, с добрым сердцем, — качество даже опасное при других недостатках. Уже давно я заметил, что мое влияние на него начинает уменьшаться: пылкость, юношеские увлечения берут свое и даже берут верх над некоторыми настоящими обязанностями. Я его, может быть, слишком горячо люблю, но убеждаюсь, что ему уже мало одного меня руководителем. А между тем он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным, благодетельным влиянием. Его натура подчиняющаяся, слабая, любящая, предпочитающая любить и повиноваться, чем повелевать. Так он и останется на всю свою жизнь. Можете себе представить, как я обрадовался, встретив в Катерине Федоровне идеал девушки, которую бы я желал в жены своему сыну. Но я обрадовался поздно; над ним уже неразрушимо царило другое влияние — ваше. Я зорко наблюдал его, воротясь месяц тому назад в Петербург, и с удивлением заметил в нем значительную перемену к лучшему. Легкомыслие, детскость — в нем почти еще те же, но в нем укрепились некоторые благородные внушения; он начинает интересоваться не одними игрушками, а тем, что возвышенно, благородно, честно. Идеи его странны, неустойчивы, иногда нелепы; но желания, влечения, но сердце — лучше, а это фундамент для всего; и всё это лучшее в нем —

бесспорно от вас. Вы перевоспитали его. Признаюсь вам, у меня тогда же промелькнула мысль, что вы, более чем кто-нибудь, могли бы составить его счастье. Но я прогнал эту мысль, я не хотел этих мыслей. Мне надо было отвлечь его от вас во что бы то ни стало; я стал действовать и думал, что достиг своей цели. Еще час тому назад я думал, что победа на моей стороне. Но происшествие в доме графини разом перевернуло все мои предположения, и прежде всего меня поразил неожиданный факт: странная в Алеше серьезность, строгость привязанности к вам, упорство, живучесть этой привязанности. Повторяю вам: вы перевоспитали его окончательно. Я вдруг увидел, что перемена в нем идет еще дальше, чем даже я полагал. Сегодня он вдруг выказал передо мною признак ума, которого я отнюдь не подозревал в нем, и в то же время необыкновенную тонкость, догадливость сердца. Он выбрал самую верную дорогу, чтоб выйти из положения, которое считал затруднительным. Он затронул и возбудил самые благороднейшие способности человеческого сердца, именно — способность прощать и отплачивать за зло великодушием. Он отдался во власть обиженного им существа и прибег к нему же с просьбою об участии и помощи. Он затронул всю гордость женщины, уже любившей его, прямо признавшись ей, что у нее есть соперница, и в то же время возбудил в ней симпатию к ее сопернице, а для себя прощение и обещание бескорыстной братской дружбы. Идти на такое объяснение и в то же время не оскорбить, не обидеть — на это иногда не способны даже самые ловкие мудрецы, а способны именно сердца свежие, чистые и хорошо направленные, как у него. Я уверен, что вы, Наталья Николаевна, не участвовали в его сегодняшнем поступке ни словом, ни советом. Вы, может быть, только сейчас узнали обо всем от него же. Я не ошибаюсь? Не правда ли?

— Вы не ошибаетесь, — повторила Наташа, у которой пылало всё лицо и глаза сияли каким-то странным блеском, точно вдохновением. Диалектика князя начинала производить свое действие. — Я пять дней не видала Алеши, — прибавила она. — Всё это он сам выдумал, сам и исполнил.

— Непременно так, — подтвердил князь, — но, несмотря на то, вся эта неожиданная его прозорливость, вся эта решимость, сознание долга, наконец вся эта благородная твердость — всё это вследствие вашего влияния над ним. Всё это я окончательно сообразил и обдумал сейчас,

едучи домой, а обдумав, вдруг ощутил в себе силу решиться. Сватовство наше с домом графини разрушено и восстановиться не может; но если б и могло — ему не бывать уже более. Что ж, если я сам убедился, что вы одна только можете составить его счастие, что вы — настоящий руководитель его, что вы уже положили начало его будущему счастью! Я не скрыл от вас ничего, не скрываю и теперь; я очень люблю карьеры, деньги, знатность, даже чины; сознательно считаю многое из этого предрассудком, но люблю эти предрассудки и решительно не хочу попирать их. Но есть обстоятельства, когда надо допустить и другие соображения, когда нельзя всё мерить на одну мерку… Кроме того, я люблю моего сына горячо. Одним словом, я пришел к заключению, что Алеша не должен разлучаться с вами, потому что без вас погибнет. И признаться ли? Я, может быть, целый месяц как решил это и только теперь сам узнал, что я решил справедливо. Конечно, чтоб высказать вам всё это, я бы мог посетить вас и завтра, а не беспокоить вас почти в полночь. Но теперешняя поспешность моя, может быть, покажет вам, как горячо и, главное, как искренно я берусь за это дело. Я не мальчик; я не мог бы в мои лета решиться на шаг необдуманный. Когда я входил сюда, уже всё было решено и обдумано. Но я чувствую, что мне еще долго надо будет ждать, чтоб убедить вас вполне в моей искренности… Но к делу! Объяснять ли мне теперь вам, зачем я пришел сюда? Я пришел, чтоб исполнить мой долг перед вами и — торжественно, со всем беспредельным моим к вам уважением, прошу вас осчастливить моего сына и отдать ему вашу руку. О, не считайте, что я явился как грозный отец, решившийся наконец простить моих детей и милостиво согласиться на их счастье. Нет! Нет! Вы унизите меня, предположив во мне такие мысли. Не сочтите тоже, что я был заранее уверен в вашем согласии, основываясь на том, чем вы пожертвовали для моего сына; опять нет! Я первый скажу вслух, что он вас не стоит и… (он добр и чистосердечен) — он сам подтвердит это. Но этого мало. Меня влекло сюда, в такой час, не одно это… я пришел сюда… (и он почтительно и с некоторою торжественностью приподнялся с своего места) я пришел сюда для того, чтоб стать вашим другом! Я знаю, я не имею на это ни малейшего права, напротив! Но — позвольте мне заслужить это право! Позвольте мне надеяться!

Почтительно наклонясь перед Наташей, он ждал ее ответа. Всё

время, как он говорил, я пристально наблюдал его. Он заметил это.

Проговорил он свою речь холодно, с некоторыми притязаниями на диалектику, а в иных местах даже с некоторою небрежностью. Тон всей его речи даже иногда не соответствовал порыву, привлекшему его к нам в такой неурочный час для первого посещения и особенно при таких отношениях. Некоторые выражения его были приметно выделаны, а в иных местах его длинной и странной своею длиннотою речи он как бы искусственно напускал на себя вид чудака, силящегося скрыть пробивающееся чувство под видом юмора, небрежности и шутки. Но всё это я сообразил потом; тогда же было другое дело. Последние слова он проговорил так одушевленно, с таким чувством, с таким видом самого искреннего уважения к Наташе, что победил нас всех. Даже что-то вроде слезы промелькнуло на его ресницах. Благородное сердце Наташи было побеждено совершенно. Она, вслед за ним, приподнялась с своего места и молча, в глубоком волнении протянула ему свою руку. Он взял ее и нежно, с чувством поцеловал. Алеша был вне себя от восторга.

— Что я говорил тебе, Наташа! — вскричал он. — Ты не верила мне! Ты не верила, что это благороднейший человек в мире! Видишь, видишь сама!..

Он бросился к отцу и горячо обнял его. Тот отвечал ему тем же, но поспешил сократить чувствительную сцену, как бы стыдясь выказать свои чувства.

— Довольно, — сказал он и взял свою шляпу, — я еду. Я просил у вас только десять минут, а просидел целый час, — прибавил он, усмехаясь. — Но я ухожу в самом горячем нетерпении свидеться с вами опять как можно скорее. Позволите ли мне посещать вас как можно чаще?

— Да, да! — отвечала Наташа, — как можно чаще! Я хочу поскорей… полюбить вас… — прибавила она в замешательстве.

— Как вы искренни, как вы честны! — сказал князь, улыбаясь словам ее. — Вы даже не хотите схитрить, чтоб сказать простую вежливость. Но ваша искренность дороже всех этих поддельных вежливостей. Да! Я сознаю, что я долго, долго еще должен заслуживать любовь вашу!

— Полноте, не хвалите меня… довольно! — шептала в смущении Наташа. Как хороша она была в эту минуту!

— Пусть так! — решил князь, — но еще два слова о деле. Можете ли вы представить, как я несчастлив! Ведь завтра я не могу быть у вас, ни завтра, ни послезавтра. Сегодня вечером я получил письмо, до того для меня важное (требующее немедленного моего участия в одном деле), что никаким образом я не могу избежать его. Завтра утром я уезжаю из Петербурга. Пожалуйста, не подумайте, что я зашел к вам так поздно именно потому, что завтра было бы некогда, ни завтра, ни послезавтра. Вы, разумеется, этого не подумаете, но вот вам образчик моей мнительности! Почему мне показалось, что вы непременно должны были это подумать? Да, много помешала мне эта мнительность в моей жизни, и весь раздор мой с семейством вашим, может быть, только последствия моего жалкого характера!.. Сегодня у нас вторник. В среду, в четверг, в пятницу меня не будет в Петербурге. В субботу же я непременно надеюсь воротиться и в тот же день буду у вас. Скажите, я могу прийти к вам на целый вечер?

— Непременно, непременно! — вскричала Наташа, — в субботу вечером я вас жду! С нетерпением жду!

— А как я-то счастлив! Я более и более буду узнавать вас! но… иду! И все-таки я не могу уйти, чтоб не пожать вашу руку, — продолжал он, вдруг обращаясь ко мне. — Извините! Мы все теперь говорим так бессвязно… Я имел уже несколько раз удовольствие встречаться с вами, и даже раз мы были представлены друг другу. Не могу выйти отсюда, не выразив, как бы мне приятно было возобновить с вами знакомство.

— Мы с вами встречались, это правда, — отвечал я, принимая его руку, — но, виноват, не помню, чтоб мы с вами знакомились.

— У князя Р. прошлого года.

— Виноват, забыл. Но, уверяю вас, в этот раз не забуду. Этот вечер для меня особенно памятен.

— Да, вы правы, мне тоже. Я давно знаю, что вы настоящий, искренний друг Натальи Николаевны и моего сына. Я надеюсь быть между вами троими четвертым. Не так ли? — прибавил он, обращаясь к Наташе.

— Да, он наш искренний друг, и мы должны быть все вместе! — отвечала с глубоким чувством Наташа. Бедненькая! Она так и засияла от радости, когда увидела, что князь не забыл подойти ко мне. Как она любила меня!

— Я встречал много поклонников вашего таланта, — продолжал князь, — и знаю двух самых искренних ваших почитательниц. Им так приятно будет узнать вас лично. Это графиня, мой лучший друг, и ее падчерица, Катерина Федоровна Филимонова. Позвольте мне надеяться, что вы не откажете мне в удовольствии представить вас этим дамам.

— Мне очень лестно, хотя теперь я мало имею знакомств…

— Но мне вы дадите ваш адрес! Где вы живете? Я буду иметь удовольствие…

— Я не принимаю у себя, князь, по крайней мере в настоящее время.

— Но я, хоть и не заслужил исключения… но…

— Извольте, если вы требуете, и мне очень приятно. Я живу в — м переулке, в доме Клугена.

— В доме Клугена! — вскричал он, как будто чем-то пораженный. — Как! Вы… давно там живете?

— Нет, недавно, — отвечал я, невольно в него всматриваясь. — Моя квартира сорок четвертый номер.

— В сорок четвертом? Вы живете… один?

— Совершенно один.

— Д-да! Я потому… что, кажется, знаю этот дом. Тем лучше… Я непременно буду у вас, непременно! Мне о многом нужно переговорить с вами, и я многого ожидаю от вас. Вы во многом можете обязать меня. Видите, я прямо начинаю с просьбы. Но до свидания! Еще раз вашу руку!

Он пожал руку мне и Алеше, еще раз поцеловал ручку Наташи и вышел, не пригласив Алешу следовать за собою.

Мы трое остались в большом смущении. Всё это случилось так неожиданно, так нечаянно. Все мы чувствовали, что в один миг всё изменилось и начинается что-то новое, неведомое. Алеша молча присел возле Наташи и тихо целовал ее руку. Изредка он заглядывал ей в лицо, как бы ожидая, что она скажет?

— Голубчик Алеша, поезжай завтра же к Катерине Федоровне, — проговорила наконец она.

— Я сам это думал, — отвечал он, — непременно поеду.

— А может быть, ей и тяжело будет тебя видеть… как сделать?

— Не знаю, друг мой. И про это я тоже думал. Я посмотрю… увижу… так и решу. А что, Наташа, ведь у нас всё теперь

переменилось, — не утерпел не заговорить Алеша.

Она улыбнулась и посмотрела на него долгим и нежным взглядом.

— И какой он деликатный. Видел, какая у тебя бедная квартира, и ни слова…

— О чем?

— Ну… чтоб переехать на другую… или что-нибудь, — прибавил он, закрасневшись.

— Полно, Алеша, с какой же бы стати!

— То-то я и говорю, что он такой деликатный. А как хвалил тебя! Я ведь говорил тебе… говорил! Нет, он может всё понимать и чувствовать! А про меня как про ребенка говорил; все-то они меня так почитают! Да что ж, я ведь и в самом деле такой.

— Ты ребенок, да проницательнее нас всех. Добрый ты, Алеша!

— А он сказал, что мое доброе сердце вредит мне. Как это? Не понимаю. А знаешь что, Наташа. Не поехать ли мне поскорей к нему? Завтра чем свет у тебя буду.

— Поезжай, поезжай, голубчик. Это ты хорошо придумал. И непременно покажись ему, слышишь? А завтра приезжай как можно раньше. Теперь уж не будешь от меня по пяти дней бегать? — лукаво прибавила она, лаская его взглядом. Все мы были в какой-то тихой, в какой-то полной радости.

— Со мной, Ваня? — крикнул Алеша, выходя из комнаты.

— Нет, он останется; мы еще поговорим с тобой, Ваня. Смотри же, завтра чем свет!

— Чем свет! Прощай, Мавра!

Мавра была в сильном волнении. Она всё слышала, что говорил князь, всё подслушала, но многого не поняла. Ей бы хотелось угадать и расспросить. А покамест она смотрела так серьезно, даже гордо. Она тоже догадывалась, что многое изменилось.

Мы остались одни. Наташа взяла меня за руку и несколько времени молчала, как будто ища, что сказать.

— Устала я! — проговорила она наконец слабым голосом. — Слушай: ведь ты пойдешь завтра к нашим?

— Непременно.

— Маменьке скажи, а *ему* не говори.

— Да я ведь и без того никогда об тебе с ним не говорю.

— То-то; он и без того узнает. А ты замечай, что он скажет? Как

примет? Господи, Ваня! Что, неужели ж он в самом деле проклянет меня за этот брак? Нет, не может быть!

— Всё должен уладить князь, — подхватил я поспешно. — Он должен непременно с ним помириться, а тогда и всё уладится.

— О боже мой! Если б! Если б! — с мольбою вскричала она.

— Не беспокойся, Наташа, всё уладится. На то идет. Она пристально поглядела на меня.

— Ваня! Что ты думаешь о князе?

— Если он говорил искренно, то, по-моему, он человек вполне благородный.

— Если он говорил искренно? Что это значит? Да разве он мог говорить неискренно?

— И мне тоже кажется, — отвечал я. «Стало быть, у ней мелькает какая-то мысль, — подумал я про себя. — Странно!»

— Ты всё смотрел на него… так пристально…

— Да, он немного странен; мне показалось.

— И мне тоже. Он как-то всё так говорит… Устала я, голубчик. Знаешь что? Ступай и ты домой. А завтра приходи ко мне как можно пораньше от них. Да слушай еще: это не обидно было, когда я сказала ему, что хочу поскорее полюбить его?

— Нет… почему ж обидно?

— И… не глупо? То есть ведь это значило, что покамест я еще не люблю его.

— Напротив, это было прекрасно, наивно, быстро. Ты так хороша была в эту минуту! Глуп будет он, если не поймет этого с своей великосветскостью.

— Ты как будто на него сердишься, Ваня? А какая, однако ж, я дурная, мнительная и какая тщеславная! Не смейся; я ведь перед тобой ничего не скрываю. Ах, Ваня, друг ты мой дорогой! Вот если я буду опять несчастна, если опять горе придет, ведь уж ты, верно, будешь здесь подле меня; один, может быть, и будешь! Чем заслужу я тебе за всё! Не проклинай меня никогда, Ваня!..

Воротясь домой, я тотчас же разделся и лег спать. В комнате у меня было сыро и темно, как в погребе. Много странных мыслей и ощущений бродило во мне, и я еще долго не мог заснуть.

Но как, должно быть, смеялся в эту минуту один человек, засыпая в комфортной своей постели, — если, впрочем, он еще удостоил

усмехнуться над нами! Должно быть, не удостоил!

Глава III

На другое утро часов в десять, когда я выходил из квартиры, торопясь на Васильевский остров к Ихменевым, чтоб пройти от них поскорее к Наташе, я вдруг столкнулся в дверях со вчерашней посетительницей моей, внучкой Смита. Она входила ко мне. Не знаю почему, но, помню, я ей очень обрадовался. Вчера я еще и разглядеть не успел ее, и днем она еще более удивила меня. Да и трудно было встретить более странное, более оригинальное существо, по крайней мере по наружности. Маленькая, с сверкающими, черными, какими-то нерусскими глазами, с густейшими черными всклоченными волосами и с загадочным, немым и упорным взглядом, она могла остановить внимание даже всякого прохожего на улице. Особенно поражал ее взгляд: в нем сверкал ум, а вместе с тем и какая-то инквизиторская недоверчивость и даже подозрительность. Ветхое и грязное ее платьице при дневном свете еще больше вчерашнего походило на рубище. Мне казалось, что она больна в какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болезни, постепенно, но неумолимо разрушающей ее организм. Бледное и худое ее лицо имело какой-то ненатуральный смугло-желтый, желчный оттенок. Но вообще, несмотря на всё безобразие нищеты и болезни, она была даже недурна собою. Брови ее были резкие, тонкие и красивые; особенно был хорош ее широкий лоб, немного низкий, и губы, прекрасно обрисованные, с какой-то гордой, смелой складкой, но бледные, чуть-чуть только окрашенные.

— Ах, ты опять! — вскричал я, — ну, я так и думал, что ты придешь. Войди же!

Она вошла, медленно переступив через порог, как и вчера, и недоверчиво озираясь кругом. Она внимательно осмотрела комнату, в которой жил ее дедушка, как будто отмечая, насколько изменилась комната от другого жильца. «Ну, каков дедушка, такова и внучка, — подумал я. — Уж не сумасшедшая ли она?» Она всё еще молчала; я ждал.

— За книжками! — прошептала она наконец, опустив глаза в землю.

— Ах, да! Твои книжки; вот они, возьми! Я нарочно их сберег для тебя.

Она с любопытством на меня посмотрела и как-то странно искривила рот, как будто хотела недоверчиво улыбнуться. Но позыв улыбки прошел и сменился тотчас же прежним суровым и загадочным выражением.

— А разве дедушка вам говорил про меня? — спросила она, иронически оглядывая меня с ног до головы.

— Нет, про тебя он не говорил, но он…

— А почему ж вы знали, что я приду? Кто вам сказал? — спросила она, быстро перебивая меня.

— Потому, мне казалось, твой дедушка не мог жить один, всеми оставленный. Он был такой старый, слабый; вот я и думал, что кто-нибудь ходил к нему. Возьми, вот твои книги. Ты по ним учишься?

— Нет.

— Зачем же они тебе?

— Меня учил дедушка, когда я ходила к нему.

— А разве потом не ходила?

— Потом не ходила… я больна сделалась, — прибавила она, как бы оправдываясь.

— Что ж у тебя, семья, мать, отец?

Она вдруг нахмурила свои брови и даже с каким-то испугом взглянула на меня. Потом потупилась, молча повернулась и тихо пошла из комнаты, не удостоив меня ответом, совершенно как вчера. Я с изумлением провожал ее глазами. Но она остановилась на пороге.

— Отчего он умер? — отрывисто спросила она, чуть-чуть оборотясь ко мне, совершенно с тем же жестом и движением, как и вчера, когда, тоже выходя и стоя лицом к дверям, спросила об Азорке.

Я подошел к ней и начал ей наскоро рассказывать. Она молча и пытливо слушала, потупив голову и стоя ко мне спиной. Я рассказал ей тоже, как старик, умирая, говорил про Шестую линию. «Я и догадался, — прибавил я, — что там, верно, кто-нибудь живет из дорогих ему, оттого и ждал, что придут о нем наведаться. Верно, он тебя любил, когда в последнюю минуту о тебе поминал».

— Нет, — прошептала она как бы невольно, — не любил.

Она была сильно взволнована. Рассказывая, я нагибался к ней и заглядывал в ее лицо. Я заметил, что она употребляла ужасные усилия

подавить свое волнение, точно из гордости передо мной. Она всё больше и больше бледнела и крепко закусила свою нижнюю губу. Но особенно поразил меня странный стук ее сердца. Оно стучало всё сильнее и сильнее, так что, наконец, можно было слышать его за два, за три шага, как в аневризме. Я думал, что она вдруг разразится слезами, как и вчера; но она преодолела себя.

— А где забор?

— Какой забор?

— Под которым он умер.

— Я тебе покажу его… когда выйдем. Да, послушай, как тебя зовут?

— Не надо…

— Чего не надо?

— Не надо; ничего… никак не зовут, — отрывисто и как будто с досадой проговорила она и сделала движение уйти. Я остановил ее.

— Подожди, странная ты девочка! Ведь я тебе добра желаю; мне тебя жаль со вчерашнего дня, когда ты там в углу на лестнице плакала. Я вспомнить об этом не могу… К тому же твой дедушка у меня на руках умер, и, верно, он об тебе вспоминал, когда про Шестую линию говорил, значит, как будто тебя мне на руки оставлял. Он мне во сне снится… Вот и книжки я тебе сберег, а ты такая дикая, точно боишься меня. Ты, верно, очень бедна и сиротка, может быть, на чужих руках; так или нет?

Я убеждал ее горячо и сам не знаю, чем влекла она меня так к себе. В чувстве моем было еще что-то другое, кроме одной жалости. Таинственность ли всей обстановки, впечатление ли, произведенное Смитом, фантастичность ли моего собственного настроения, — не знаю, но что-то непреодолимо влекло меня к ней. Мои слова, казалось, ее тронули; она как-то странно поглядела на меня, но уж не сурово, а мягко и долго; потом опять потупилась как бы в раздумье.

— Елена, — вдруг прошептала она, неожиданно и чрезвычайно тихо.

— Это тебя зовут Елена?

— Да…

— Что же, ты будешь приходить ко мне?

— Нельзя… не знаю… приду, — прошептала она как бы в борьбе и раздумье. В эту минуту вдруг где-то ударили стенные часы. Она

вздрогнула и, с невыразимой болезненной тоскою смотря на меня, прошептала — Это который час?

— Должно быть, половина одиннадцатого. Она вскрикнула от испуга.

— Господи! — проговорила она и вдруг бросилась бежать. Но я остановил ее еще раз в сенях.

— Я тебя так не пущу, — сказал я. — Чего ты боишься? Ты опоздала?

— Да, да, я тихонько ушла! Пустите! Она будет бить меня! — закричала она, видимо проговорившись и вырываясь из моих рук.

— Слушай же и не рвись; тебе на Васильевский, и я туда же, в Тринадцатую линию. Я тоже опоздал и хочу взять извозчика. Хочешь со мной? Я довезу. Скорее, чем пешком-то…

— Ко мне нельзя, нельзя, — вскричала она еще в сильнейшем испуге. Даже черты ее исказились от какого-то ужаса при одной мысли, что я могу прийти туда, где она живет.

— Да говорю тебе, что я в Тринадцатую линию, по своему делу, а не к тебе! Не пойду я за тобою. На извозчике скоро доедем. Пойдем!

Мы поспешно сбежали вниз. Я взял первого попавшегося ваньку, на скверной гитаре*. Видно, Елена очень торопилась, коли согласилась сесть со мною. Всего загадочнее было то, что я даже и расспрашивать ее не смел. Она так и замахала руками и чуть не соскочила с дрожек, когда я спросил, кого она дома так боится? «Что за таинственность?» — подумал я.

На дрожках ей было очень неловко сидеть. При каждом толчке она, чтоб удержаться, схватывалась за мое пальто левой рукой, грязной, маленькой, в каких-то цыпках. В другой руке она крепко держала свои книги; видно было по всему, что книги эти ей очень дороги. Поправляясь, она вдруг обнажила свою ногу, и, к величайшему удивлению моему, я увидел, что она была в одних дырявых башмаках, без чулок. Хоть я и решился было ни о чем ее не расспрашивать, но тут опять не мог утерпеть.

— Неужели ж у тебя нет чулок? — спросил я. — Как можно ходить на босу ногу в такую сырость и в такой холод?

— Нет, — отвечала она отрывисто.

— Ах, боже мой, да ведь ты живешь же у кого-нибудь! Ты бы попросила у других чулки, коли надо было выйти.

— Я так сама хочу.

— Да ты заболеешь, умрешь.

— Пускай умру.

Она, видимо, не хотела отвечать и сердилась на мои вопросы.

— Вот здесь он и умер, — сказал я, указывая ей на дом, у которого умер старик.

Она пристально посмотрела и вдруг, с мольбою обратившись ко мне, сказала:

— Ради бога не ходите за мной. А я приду, приду! Как только можно будет, так и приду!

— Хорошо, я сказал уже, что не пойду к тебе. Но чего ты боишься! Ты, верно, какая-то несчастная. Мне больно смотреть на тебя…

— Я никого не боюсь, — отвечала она с каким-то раздражением в голосе.

— Но ты давеча сказала: «Она прибьет меня!»

— Пусть бьет! — отвечала она, и глаза ее засверкали. — Пусть бьет! Пусть бьет! — горько повторяла она, и верхняя губка ее как-то презрительно приподнялась и задрожала.

Наконец мы приехали на Васильевский. Она остановила извозчика в начале Шестой линии и спрыгнула с дрожек, с беспокойством озираясь кругом.

— Поезжайте прочь; я приду, приду! — повторяла она в страшном беспокойстве, умоляя меня не ходить за ней. — Ступайте же скорее, скорее!

Я поехал. Но, проехав по набережной несколько шагов, отпустил извозчика и, воротившись назад в Шестую линию, быстро перебежал на другую сторону улицы. Я увидел ее; она не успела еще много отойти, хотя шла очень скоро и всё оглядывалась; даже остановилась было на минутку, чтоб лучше высмотреть: иду ли я за ней или нет? Но я притаился в попавшихся мне воротах, и она меня не заметила. Она пошла далее, я за ней, всё по другой стороне улицы.

Любопытство мое было возбуждено в последней степени. Я хоть и решил не входить за ней, но непременно хотел узнать тот дом, в который она войдет, на всякий случай. Я был под влиянием тяжелого и странного впечатления, похожего на то, которое произвел во мне в кондитерской ее дедушка, когда умер Азорка…

Глава IV

Мы шли долго, до самого Малого проспекта. Она чуть не бежала; наконец вошла в лавочку. Я остановился подождать ее. «Ведь не живет же она в лавочке», — подумал я.

Действительно, через минуту она вышла, но уже книг с ней не было. Вместо книг в ее руках была какая-то глиняная чашка. Пройдя немного, она вошла в ворота одного невзрачного дома. Дом был небольшой, но каменный, старый, двухэтажный, окрашенный грязно-желтою краской. В одном из окон нижнего этажа, которых было всего три, торчал маленький красный гробик, — вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были чрезвычайно малые и совершенно квадратные, с тусклыми, зелеными и надтреснувшими стеклами, сквозь которые просвечивали розовые коленкоровые занавески. Я перешел через улицу, подошел к дому и прочел на железном листе, над воротами дома: дом мещанки Бубновой.

Но только что я успел разобрать надпись, как вдруг на дворе у Бубновой раздался пронзительный женский визг и затем ругательства. Я заглянул в калитку; на ступеньке деревянного крылечка стояла толстая баба, одетая как мещанка, в головке* и в зеленой шали. Лицо ее было отвратительно-багрового цвета; маленькие, заплывшие и налитые кровью глаза сверкали от злости. Видно было, что она нетрезвая, несмотря на дообеденное время. Она визжала на бедную Елену, стоявшую перед ней в каком-то оцепенении с чашкой в руках. С лестницы из-за спины багровой бабы выглядывало полурастрепанное, набеленное и нарумяненное женское существо. Немного погодя отворилась дверь с подвальной лестницы в нижний этаж, и на ступеньках ее показалась, вероятно привлеченная криком, бедно одетая средних лет женщина, благообразной и скромной наружности. Из полуотворенной же двери выглядывали и другие жильцы нижнего этажа, дряхлый старик и девушка. Рослый и дюжий мужик, вероятно дворник, стоял посреди двора, с метлой в руке, и лениво посматривал на всю сцену.

— Ах ты, проклятая, ах ты, кровопивица, гнида ты эдакая! — визжала баба, залпом выпуская из себя все накопившиеся ругательства, большею частию без запятых и без точек, но с каким-то

захлебыванием, — так-то ты за мое попеченье воздаешь, лохматая! За огурцами только послали ее, а она уж и улизнула! Сердце мое чувствовало, что улизнет, когда посылала. Ныло сердце мое, ныло! Вчера ввечеру все вихры ей за это же оттаскала, а она и сегодня бежать! Да куда тебе ходить, распутница, куда ходить! К кому ты ходишь, идол проклятый, лупоглазая гадина, яд, к кому! Говори, гниль болотная, или тут же тебя задушу!

И разъяренная баба бросилась на бедную девочку, но, увидав смотревшую с крыльца женщину, жилицу нижнего этажа, вдруг остановилась и, обращаясь к ней, завопила еще визгливее прежнего, размахивая руками, как будто беря ее в свидетельницы чудовищного преступления ее бедной жертвы.

— Мать издохла у ней! Сами знаете, добрые люди: одна ведь осталась как шиш на свете. Вижу у вас, бедных людей, на руках, самим есть нечего; дай, думаю, хоть для Николая-то Угодника* потружусь, приму сироту. Приняла. Что ж бы вы думали? Вот уж два месяца содержу, — кровь она у меня в эти два месяца выпила, белое тело мое поела! Пиявка! Змей гремучий! Упорная сатана! Молчит, хоть бей, хоть брось, всё молчит; словно себе воды в рот наберет, — всё молчит! Сердце мое надрывает — молчит! Да за кого ты себя почитаешь, фря ты эдакая, облизьяна зеленая? Да без меня ты бы на улице с голоду померла. Ноги мои должна мыть да воду эту пить, изверг, черная ты шпага французская. Околела бы без меня!

— Да что вы, Анна Трифоновна, так себя надсаждаете? Чем она вам опять досадила? — почтительно спросила женщина, к которой обращалась разъяренная мегера.

— Как чем, добрая ты женщина, как чем? Не хочу, чтоб против меня шли! Не делай своего хорошего, а делай мое дурное*, — вот я какова! Да она меня чуть в гроб сегодня не уходила! За огурцами в лавочку ее послала, а она через три часа воротилась! Сердце мое предчувствовало, когда посылала; ныло оно, ныло; ныло-ныло! Где была? Куда ходила? Каких себе покровителей нашла? Я ль ей не благодетельствовала! Да я ее поганке-матери четырнадцать целковых долгу простила, на свой счет похоронила, чертенка ее на воспитание взяла, милая ты женщина, знаешь, сама знаешь! Что ж, не вправе я над ней после этого? Она бы чувствовала, а вместо чувствия она супротив идет! Я ей счастья хотела. Я ее, поганку, в кисейных платьях водить

хотела, в Гостином ботинки купила, как паву нарядила, — душа у праздника! Что ж бы вы думали, добрые люди! В два дня всё платье изорвала, в кусочки изорвала да в клочочки, да так и ходит, так и ходит! Да ведь что вы думаете, нарочно изорвала, — не хочу лгать, сама подглядела; хочу, дескать, в затрапезном ходить, не хочу в кисейном! Ну, отвела тогда душу над ней, исколотила ее, так ведь я лекаря потом призывала, ему деньги платила. А ведь задавить тебя, гнида ты эдакая, так только неделю молока не пить, — всего-то наказанья за тебя только положено! За наказание полы мыть ее заставила; что ж бы вы думали: моет! Моет, стерьва, моет! Горячит мое сердце, — моет! Ну, думаю: бежит она от меня! Да только подумала, глядь — она и бежала вчера! Сами слышали, добрые люди, как я вчера ее за это била, руки обколотила все об нее, чулки, башмаки отняла — не уйдет на босу ногу, думаю; а она и сегодня туда же! Где была? Говори! Кому, семя крапивное, жаловалась, кому на меня доносила? Говори, цыганка, маска привозная, говори!

И в исступлении она бросилась на обезумевшую от страха девочку, вцепилась ей в волосы и грянула ее оземь. Чашка с огурцами полетела в сторону и разбилась; это еще более усилило бешенство пьяной мегеры. Она била свою жертву по лицу, по голове; но Елена упорно молчала, и ни одного звука, ни одного крика, ни одной жалобы не проронила она, даже и под побоями. Я бросился на двор, почти не помня себя от негодования, прямо к пьяной бабе.

— Что вы делаете? как смеете вы так обращаться с бедной сиротой! — вскричал я, хватая эту фурию за руку.

— Это что! Да ты кто такой? — завизжала она, бросив Елену и подпершись руками в боки. — Вам что в моем доме угодно?

— То угодно, что вы безжалостная! — кричал я. — Как вы смеете так тиранить бедного ребенка? Она не ваша; я сам слышал, что она только ваш приемыш, бедная сирота…

— Господи Иисусе! — завопила фурия, — да ты кто таков навязался! Ты с ней пришел, что ли? Да я сейчас к частному приставу[*]! Да меня сам Андрон Тимофеич как благородную почитает! Что она, к тебе, что ли, ходит? Кто такой? В чужой дом буянить пришел. Караул!

И она бросилась на меня с кулаками. Но в эту минуту вдруг раздался пронзительный, нечеловеческий крик. Я взглянул, — Елена, стоявшая как без чувств, вдруг с страшным, неестественным криком

ударилась оземь и билась в страшных судорогах. Лицо ее исказилось. С ней был припадок падучей болезни. Растрепанная девка и женщина снизу подбежали, подняли ее и поспешно понесли наверх.

— А хоть издохни, проклятая! — завизжала баба вслед за ней. — В месяц уж третий припадок… Вон, маклак*! — и она снова бросилась на меня.

— Чего, дворник, стоишь? За что жалованье получаешь?

— Пошел! Пошел! Хочешь, чтоб шею нагладили, — лениво пробасил дворник, как бы для одной только проформы. — Двоим любо, третий не суйся. Поклон, да и вон!

Нечего делать, я вышел за ворота, убедившись, что выходка моя была совершенно бесполезна. Но негодование кипело во мне. Я стал на тротуаре против ворот и глядел в калитку. Только что я вышел, баба бросилась наверх, а дворник, сделав свое дело, тоже куда-то скрылся. Через минуту женщина, помогавшая снести Елену, сошла с крыльца, спеша к себе вниз. Увидев меня, она остановилась и с любопытством на меня поглядела. Ее доброе и смирное лицо ободрило меня. Я снова ступил на двор и прямо подошел к ней.

— Позвольте спросить, — начал я, — что такое здесь эта девочка и что делает с ней эта гадкая баба? Не думайте, пожалуйста, что я из простого любопытства расспрашиваю. Эту девочку я встречал и по одному обстоятельству очень ею интересуюсь.

— А коль интересуетесь, так вы бы лучше ее к себе взяли али место какое ей нашли, чем ей тут пропадать, — проговорила как бы нехотя женщина, делая движение уйти от меня.

— Но если вы меня не научите, что ж я сделаю? Говорю вам, я ничего не знаю. Это, верно, сама Бубнова, хозяйка дома?

— Сама хозяйка.

— Так как же девочка-то к ней попала? У ней здесь мать умерла?

— А так и попала… Не наше дело. — И она опять хотела уйти.

— Да сделайте же одолжение; говорю вам, меня это очень интересует. Я, может быть, что-нибудь и в состоянии сделать. Кто ж эта девочка? Кто была ее мать, — вы знаете?

— А словно из иностранок каких-то, приезжая; у нас внизу и жила; да больная такая; в чахотке и померла.

— Стало быть, была очень бедная, коли в углу в подвале жила?

— Ух, бедная! Всё сердце на нее изныло. Мы уж на што

перебиваемся, а и нам шесть рублей в пять месяцев, что у нас прожила, задолжала. Мы и похоронили; муж и гроб делал.

— А как же Бубнова говорит, что она похоронила?

— Какое похоронила!

— А как была ее фамилия?

— А и не выговорю, батюшка; мудрено; немецкая, должно быть.

— Смит?

— Нет, что-то не так. А Анна Трифоновна сироту-то к себе и забрала; на воспитание, говорит. Да нехорошо оно вовсе…

— Верно, для целей каких-нибудь забрала?

— Нехорошие за ней дела, — отвечала женщина, как бы в раздумье и колеблясь: говорить или нет? — Нам что, мы посторонние…

— А ты бы лучше язык-то на привязи подержала! — раздался сзади нас мужской голос. Это был пожилых лет человек в халате и в кафтане сверх халата, с виду мещанин — мастеровой, муж моей собеседницы.

— Ей, батюшка, с вами нечего разговаривать; не наше это дело… — промолвил он, искоса оглядев меня. — А ты пошла! Прощайте, сударь; мы гробовщики. Коли что по мастерству надоть, с нашим полным удовольствием… А окромя того нечего нам с вами происходить…

Я вышел из этого дома в раздумье и в глубоком волнении. Сделать я ничего не мог, но чувствовал, что мне тяжело оставить всё это так. Некоторые слова гробовщицы особенно меня возмутили. Тут скрывалось какое-то нехорошее дело: я это предчувствовал.

Я шел, потупив голову и размышляя, как вдруг резкий голос окликнул меня по фамилии. Гляжу — передо мной стоит хмельной человек, чуть не покачиваясь, одетый довольно чисто, но в скверной шинели и в засаленном картузе. Лицо очень знакомое. Я стал всматриваться. Он подмигнул мне и иронически улыбнулся. — Не узнаешь?

Глава V

— А! Да это ты, Маслобоев! — вскричал я, вдруг узнав в нем прежнего школьного товарища, еще по губернской гимназии, — ну, встреча!

— Да, встреча! Лет шесть не встречались. То есть и встречались, да ваше превосходительство не удостоивали взглядом-с. Ведь вы генералы-с, литературные то есть-с!.. — Говоря это, он насмешливо улыбался.

— Ну, брат Маслобоев, это ты врешь, — прервал я его. — Во-первых, генералы, хоть бы и литературные, и с виду не такие бывают, как я, а второе, позволь тебе сказать, я действительно припоминаю, что раза два тебя на улице встретил, да ты сам видимо избегал меня, а мне что ж подходить, коли вижу, человек избегает. И знаешь, что я думаю? Не будь ты теперь хмелен, ты бы и теперь меня не окликнул. Не правда ли? Ну, здравствуй! Я, брат, очень, очень рад, что тебя встретил.

— Право! А не компрометирую я тебя моим… *не тем видом?* Ну, да нечего об этом расспрашивать; не суть важное; я, брат Ваня, всегда помню, какой ты был славный мальчуга. А помнишь, тебя за меня высекли? Ты смолчал, а меня не выдал, а я, вместо благодарности, над тобой же неделю трунил. Безгрешная ты душа! Здравствуй, душа моя, здравствуй! (Мы поцеловались). Ведь я уж сколько лет один маюсь, — день да ночь — сутки прочь, а старого не забыл. Не забывается! А ты-то, ты-то?

— Да что я-то, и я один маюсь…

Он долго глядел на меня с сильным чувством расслабленного от вина человека. Впрочем, он и без того был чрезвычайно добрый человек.

— Нет, Ваня, ты не то, что я! — проговорил он наконец трагическим тоном. — Я ведь читал; читал, Ваня, читал!.. Да послушай: поговорим по душе! Спешишь?

— Спешу; и, признаюсь тебе, ужасно расстроен одним делом. А вот что лучше: где ты живешь?

— Скажу. Но это не лучше; а сказать ли, что лучше?

— Ну, что?

— А вот что! Видишь? — И он указал мне на вывеску в десяти шагах от того места, где мы стояли, — видишь: кондитерская и ресторан, то есть попросту ресторация, но место хорошее. Предупрежу, помещение приличное, а водка, и не говори! Из Киева пешком пришла! Пил, многократно пил, знаю; а мне худого здесь и не смеют подать. Знают Филиппа Филиппыча. Я ведь Филипп Филиппыч. Что? Гримасничаешь? Нет, ты дай мне договорить. Теперь четверть

двенадцатого, сейчас смотрел; ну, так ровно в тридцать пять минут двенадцатого я тебя и отпущу. А тем временем муху задавим. Двадцать минут на старого друга, — идет?

— Если только двадцать минут, то идет; потому, душа моя, ей-богу, дело…

— А идет, так идет. Только вот что, два слова прежде всего: лицо у тебя нехорошее, точно сейчас тебе чем надосадили, правда?

— Правда.

— То-то я и угадал. Я, брат, теперь в физиономистику пустился, тоже занятие! Ну, так пойдем, поговорим. В двадцать минут, во-первых, успею вздушить адмирала Чаинского* и пропущу березовки, потом зорной, потом померанцевой, потом parfait amour,[7] а потом еще что-нибудь изобрету. Пью, брат! Только по праздникам перед обедней и хорош. А ты хоть и не пей. Мне просто тебя одного надо. А выпьешь, особенное благородство души докажешь. Пойдем! Сболтнем слова два, да и опять лет на десять врозь. Я, брат, тебе, Ваня, не пара!

— Ну, да ты не болтай, а поскорей пойдем. Двадцать минут твои, а там и пусти.

В ресторацию надо было попасть, поднявшись по деревянной двухколенчатой лестнице с крылечком во второй этаж. Но на лестнице мы вдруг столкнулись с двумя сильно выпившими господами. Увидя нас, они, покачиваясь, посторонились.

Один из них был очень молодой и моложавый парень, еще безбородый, с едва пробивающимися усиками и с усиленно глуповатым выражением лица. Одет он был франтом, но как-то смешно: точно он был в чужом платье, с дорогими перстнями на пальцах, с дорогой булавкой в галстухе и чрезвычайно глупо причесанный, с каким-то коком. Он всё улыбался и хихикал. Товарищ его был уже лет пятидесяти, толстый, пузатый, одетый довольно небрежно, тоже с большой булавкой в галстухе, лысый и плешивый, с обрюзглым, пьяным и рябым лицом и в очках на носу, похожем на пуговку. Выражение этого лица было злое и чувственное. Скверные, злые и подозрительные глаза заплыли жиром и глядели как из щелочек. По-видимому, они оба знали Маслобоева, но пузан при встрече с нами скорчил досадную, хоть и мгновенную гримасу, а молодой так и ушел в какую-то подобострастно-сладкую улыбку. Он даже снял картуз. Он был в картузе.

— Простите, Филипп Филиппыч, — пробормотал он, умильно смотря на него.

— А что?

— Виноват-с… того-с… (он щелкнул по воротнику). Там Митрошка сидит-с. Так он, выходит, Филипп Филиппыч-с, подлец-с.

— Да что такое?

— Да уж так-с… А ему вот (он кивнул на товарища) на прошлой неделе, через того самого Митрошку-с, в неприличном месте рожу в сметане вымазали-с… кхи!

Товарищ с досадой подтолкнул его локтем.

— А вы бы с нами, Филипп Филиппыч, полдюжинки распили-с, у Дюссо[*]-с, прикажете надеяться-с?

— Нет, батюшка, теперь нельзя, — отвечал Маслобоев. — Дело есть.

— Кхи! И у меня дельце есть, до вас-с… — Товарищ опять подтолкнул его локтем.

— После, после!

Маслобоев как-то видимо старался не смотреть на них. Но только что мы вошли в первую комнату, через которую, по всей длине ее, тянулся довольно опрятный прилавок, весь уставленный закусками, подовыми пирогами, расстегаями и графинами с настойками разных цветов, как Маслобоев быстро отвел меня в угол и сказал:

— Молодой — это купеческий сын Сизобрюхов, сын известного лабазника[*], получил полмиллиона после отца и теперь кутит. В Париж ездил, денег там видимо-невидимо убил, там бы, может, и всё просадил, да после дяди еще наследство получил и вернулся из Парижа; так здесь уж и добивает остальное. Через год-то он, разумеется, пойдет по миру. Глуп как гусь — и по первым ресторанам, и в подвалах и кабаках, и по актрисам, и в гусары просился — просьбу недавно подавал. Другой, пожилой, — Архипов, тоже что-то вроде купца или управляющего, шлялся и по откупам; бестия, шельма и теперешний товарищ Сизобрюхова, Иуда и Фальстаф, всё вместе[*], двукратный банкрот и отвратительно чувственная тварь, с разными вычурами. В этом роде я знаю за ним одно уголовное дело; вывернулся. По одному случаю я очень теперь рад, что его здесь встретил; я его ждал… Архипов, разумеется, обирает Сизобрюхова. Много разных закоулков знает, тем и драгоценен для этаких вьюношей. Я, брат, на него уже давно зубы точу.

Точит на него зубы и Митрошка, вот тот молодцеватый парень, в богатой поддевке, — там, у окна стоит, цыганское лицо. Он лошадьми барышничает и со всеми здешними гусарами знаком. Я тебе скажу, такой плут, что в I лапах у тебя будет фальшивую бумажку делать, а ты хоть и видел, а все-таки ему ее разменяешь. Он в поддевке, правда в бархатной, и похож на славянофила* (да это, по-моему, к нему и идет), а наряди его сейчас в великолепнейший фрак и тому подобное, отведи его в английский клуб* да скажи там: такой-то, дескать, владетельный граф Барабанов, так там его два часа за графа почитать будут, — и в вист* сыграет, и говорить по-графски будет, и не догадаются; надует. Он плохо кончит. Так вот этот Митрошка на пузана крепко зубы точит, потому у Митрошки теперь тонко, а пузан у него Сизобрюхова отбил, прежнего приятеля, с которого он не успел еще шерсточку обстричь. Если они сошлись теперь в ресторации, так тут, верно, какая-нибудь штука была, Я даже знаю какая и предугадываю, что Митрошка, а не кто другой, известил меня, что Архипов с Сизобрюховым будут здесь и шныряют по этим местам за каким-то скверным делом. Ненавистью Митрошки к Архипову я хочу воспользоваться, потому что имею свои причины; да и явился я здесь почти по этой причине. Виду же Митрошке не хочу показывать, да и ты на него не засматривался. Л когда будем выходить отсюда, то он, наверно, сам ко мне подойдет и скажет то, что мне надо… А теперь пойдем, Ваня, вон в ту комнату, видишь? Ну, Степан, — продолжал он, обращаясь к половому, — понимаешь, чего мне надо?

— Понимаю-с.

— И удовлетворишь?

— Удовлетворю-с.

— Удовлетвори. Садись, Ваня. Ну, что ты так на меня смотришь? Я вижу ведь, ты на меня смотришь. Удивляешься? Не удивляйся. Всё может с человеком случиться, что даже и не снилось ему никогда, и уж особенно тогда… ну, да хоть тогда, когда мы с тобой зубрили Корнелия Непота*! Вот что, Ваня, верь одному: Маслобоев хоть и сбился с дороги, но сердце в нем то же осталось, а обстоятельства только переменились. Я хоть и в саже, да никого не гаже. И в доктора поступал, и в учителя отечественной словесности готовился, и об Гоголе статью написал, и в золотопромышленники хотел, и жениться собирался— жива-душа калачика хочет, и *она* соглашалась, хотя в доме такая благодать, что

нечем кошки из избы было выманить. Я было уж к свадебной церемонии и сапоги крепкие занимать хотел, потому у самого были уж полтора года в дырьях… Да и не женился. Она за учителя вышла, а я стал в конторе служить, то есть не в коммерческой конторе, а так, просто в конторе. Ну, тут пошла музыка не та. Протекли годы, и я теперь хоть и не служу, но денежки наживаю удобно: взятки беру и за правду стою; молодец против овец, а против молодца и сам овца. Правила имею: знаю, например, что один в поле не воин, и — дело делаю. Дело же мое больше по подноготной части… понимаешь?. — Да ты уж не сыщик ли какой-нибудь?

— Нет, не то чтобы сыщик, а делами некоторыми занимаюсь, отчасти и официально, отчасти и по собственному призванию. Вот что, Ваня: водку пью. А так как ума я никогда не пропивал, то знаю и мою будущность. Время мое прошло, черного кобеля не отмоешь добела.* Одно скажу: если б во мне не откликался еще человек, не подошел бы я сегодня к тебе, Ваня. Правда твоя, встречал я тебя, видал и прежде, много раз хотел подойти, да всё не смел, всё откладывал. Не стою я тебя. И правду ты сказал, Ваня, что если и подошел, так только потому, что хмельной. И хоть всё это сильнейшая ерунда, но мы обо мне покончим. Давай лучше о тебе говорить. Ну, душа: читал! Читал, ведь и я прочел! Я, дружище, про твоего первенца говорю*. Как прочел — я, брат, чуть порядочным человеком не сделался! Чуть было; да только пораздумал и предпочел лучше остаться непорядочным человеком. Так-то…

И много еще он мне говорил. Он хмелел всё больше и больше и начал крепко умиляться, чуть не до слез. Маслобоев был всегда славный малый, но всегда себе на уме и развит как-то не по силам; хитрый, пронырливый, пролаз и крючок* еще с самой школы, но в сущности человек не без сердца; погибший человек. Таких людей между русскими людьми много. Бывают они часто с большими способностями; но всё это в них как-то перепутывается, да сверх того они в состоянии сознательно идти против своей совести из слабости на известных пунктах, и не только всегда погибают, но и сами заранее знают, что идут к погибели. Маслобоев, между прочим, потонул в вине.

— Теперь, друг, еще одно слово, — продолжал он. — Слышал я, как твоя слава сперва прогремела; читал потом на тебя разные критики (право, читал; ты думаешь, я уж ничего не читаю); встречал тебя потом

в худых сапогах, в грязи без калош, в обломанной шляпе и кой о чем догадался. По журналистам теперь промышляешь?

— Да, Маслобоев.

— Значит, в почтовые клячи записался?

— Похоже на то.

— Ну, так на это я, брат, вот что скажу: пить лучше! Я вот напьюсь, лягу себе на диван (а у меня диван славный, с пружинами) и думаю, что вот я, например, какой-нибудь Гомер или Дант, или какой-нибудь Фридрих Барбаруса[*], — ведь всё можно себе представить. Ну, а тебе нельзя представлять себе, что ты Дант или Фридрих Барбаруса, во-первых, потому что ты хочешь быть сам по себе, а во-вторых, потому что тебе всякое хотение запрещено, ибо ты почтовая кляча. У меня воображение, а у тебя действительность. Послушай же откровенно и прямо, по-братски (не то на десять лет обидишь и унизишь меня), — не надо ли денег? Есть. Да ты не гримасничай. Деньги возьми, расплатись с антрепренерами[*], скинь хомут, потом обеспечь себе целый год жизни и садись за любимую мысль, пиши великое произведение! А? Что скажешь?

— Слушай, Маслобоев! Братское твое предложение ценю, но ничего не могу теперь отвечать — а почему — долго рассказывать. Есть обстоятельства. Впрочем, обещаюсь: всё расскажу тебе потом, по-братски. За предложение благодарю: обещаюсь, что приду к тебе и приду много раз. Но вот в чем дело: ты со мной откровенен, а потому и я решаюсь спросить у тебя совета, тем более что ты в этих делах мастак.

И я рассказал ему всю историю Смита и его внучки, начиная с самой кондитерской. Странное дело: когда я рассказывал, мне по глазам его показалось, что он кой-что знает из этой истории. Я спросил его об этом.

— Нет, не то, — отвечал он. — Впрочем, так кой-что о Смите я слышал, что умер какой-то старик в кондитерской. А об мадам Бубновой я действительно кой-что знаю. С этой дамы я уж взял два месяца тому назад взятку. Je prends mon bien, où je le trouve *1* и только в этом смысле похож на Мольера[*]. Но хотя я и содрал с нее сто рублей, все-таки я тогда же дал себе слово скрутить ее уже не на сто, а на пятьсот рублей. Скверная баба! Непозволительными делами занимается. Оно бы ничего, да иногда уж слишком до худого доходит. Ты не считай меня, пожалуйста, Дон-Кихотом. Дело всё в том, что может крепко мне

перепасть, и когда я, полчаса тому назад, Сизобрюхова встретил, то очень обрадовался. Сизобрюхова, очевидно, сюда привели, и привел его пузан, а так как я знаю, по какого рода делам пузан особенно промышляет, то и заключаю… Ну, да уж я его накрою! Я очень рад, что от тебя про эту девочку услыхал; теперь я на другой след попал. Я ведь, брат, разными частными комиссиями занимаюсь, да еще с какими людьми знаком! Разыскивал я недавно одно дельце, для одного князя, так я тебе скажу — такое дельце, что от этого князя и ожидать нельзя было. А то, хочешь, другую историю про мужнюю жену расскажу? Ты, брат, ко мне ходи, я тебе таких сюжетов наготовил, что, опиши их, так не поверят тебе…

— А как фамилия того князя? — перебил я его, предчувствуя что-то.

— А тебе на что? Изволь: Валковский.

— Петр?

— Он. Ты знаком?

— Знаком, да не очень. Ну, Маслобоев, я об этом господине к тебе не раз понаведаюсь, — сказал я, вставая, — ты меня ужасно заинтересовал.

— Вот видишь, старый приятель, наведывайся сколько хочешь. Сказки я умею рассказывать, но ведь до известных пределов, — понимаешь? Не то кредит и честь потеряешь, деловую то есть, ну и так далее.

— Ну, насколько честь позволит.

Я был даже в волнении. Он это заметил.

— Ну, что ж теперь скажешь мне про ту историю, которую я сейчас тебе рассказал. Придумал ты что или нет?

— Про твою историю? А вот подожди меня две минутки; я расплачусь.

Он пошел к буфету и там, как бы нечаянно, вдруг очутился вместе с тем парнем в поддевке, которого так бесцеремонно звали Митрошкой. Мне показалось, что Маслобоев знал его несколько ближе, чем сам признавался мне. По крайней мере, видно было, что сошлись они теперь не в первый раз. Митрошка был с виду парень довольно оригинальный. В своей поддевке, в шелковой красной рубашке, с резкими, но благообразными чертами лица, еще довольно моложавый, смуглый, с смелым сверкающим взглядом, он производил и любопытное и не

отталкивающее впечатление. Жест его был как-то выделанно удалой, а вместе с тем в настоящую минуту он, видимо, сдерживал себя, всего более желая себе придать вид чрезвычайной деловитости и солидности.

— Вот что, Ваня, — сказал Маслобоев, воротясь ко мне, — наведайся-ка ты сегодня ко мне в семь часов, так я, может, кой-что и скажу тебе. Один-то я, видишь ли, ничего не значу; прежде значил, а теперь только пьяница и удалился от дел. Но у меня остались прежние сношения; могу кой о чем разведать, с разными тонкими людьми перенюхаться; этим и беру; правда, в свободное, то есть трезвое, время и сам кой-что делаю, тоже через знакомых… больше по разведкам… Ну, да что тут! Довольно… Вот и адрес мой: в Шестилавочной. А теперь, брат, я уж слишком прокис. Пропущу еще золотую, да и домой. Полежу. Придешь — с Александрой Семеновной познакомлю, а будет время, о поэзии поговорим.

— Ну, а о том-то?

— Ну, и о том, может быть.

— Пожалуй, приду, наверно приду…

Глава VI

Анна Андреевна уже давно дожидалась меня. То, что я вчера сказал ей о записке Наташи, сильно завлекло ее любопытство, и она ждала меня гораздо раньше утром, по крайней мере часов в десять. Когда же я явился к ней во втором часу пополудни, то муки ожидания достигли в бедной старушке последней степени своей силы. Кроме того, ей очень хотелось объявить мне о своих новых надеждах, возродившихся в ней со вчерашнего дня, и об Николае Сергеиче, который со вчерашнего дня прихворнул, стал угрюм, а между тем и как-то особенно с нею нежен. Когда я появился, она приняла было меня с недовольной и холодной складкой в лице, едва цедила сквозь зубы и не показывала ни малейшего любопытства, как будто чуть не проговорила: «Зачем пришел? Охота тебе, батюшка, каждый день шляться». Она сердилась за поздний приход. Но я спешил и потому без дальнейших проволочек рассказал ей всю вчерашнюю сцену у Наташи. Как только старушка услышала о посещении старшего князя и о торжественном его предложении, как тотчас же соскочила с нее вся напускная хандра. Недостает у меня слов

описать, как она обрадовалась, даже как-то потерялась, крестилась, плакала, клала перед образом земные поклоны, обнимала меня и хотела тотчас же бежать к Николаю Сергеичу и объявить ему свою радость.

— Помилуй, батюшка, ведь это он всё от разных унижений и оскорблений хандрит, а вот теперь узнает, что Наташе полное удовлетворение сделано, так мигом всё позабудет.

Насилу я отговорил ее. Добрая старушка, несмотря на то что двадцать пять лет прожила с мужем, еще плохо знала его. Ей ужасно тоже захотелось тотчас же поехать со мной к Наташе. Я представил ей, что Николай Сергеич не только, может быть, не одобрит ее поступка, но еще мы этим повредим всему делу. Насилу-то она одумалась, но продержала меня еще полчаса лишних и всё время говорила только сама. «С кем же я-то теперь останусь, — говорила она, — с такой радостью да сидя одна в четырех стенах?» Наконец я убедил ее отпустить меня, представив ей, что Наташа теперь ждет меня не дождется. Старушка перекрестила меня несколько раз на дорогу, послала особое благословение Наташе и чуть не заплакала, когда я решительно отказался прийти в тот же день еще раз, вечером, если с Наташей не случится чего особенного. Николая Сергеича в этот раз я не видал: он не спал всю ночь, жаловался на головную боль, на озноб и теперь спал в своем кабинете.

Тоже и Наташа прождала меня всё утро. Когда я вошел, она, по обыкновению своему, ходила по комнате, сложа руки и о чем-то раздумывая. Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней, я не иначе представляю ее, как всегда одну в бедной комнатке, задумчивую, оставленную, ожидающую, с сложенными руками, с опущенными вниз глазами, расхаживающую бесцельно взад и вперед.

Она тихо, всё еще продолжая ходить, спросила, почему я так поздно? Я рассказал ей вкратце все мои похождения, но она меня почти и не слушала. Заметно было, что она чем-то очень озабочена. «Что нового?» — спросил я. «Нового ничего», — отвечала она, но с таким видом, по которому я тотчас догадался, что новое у ней есть и что она для того и ждала меня, чтоб рассказать это новое, но, по обыкновению своему, расскажет не сейчас, а когда я буду уходить. Так всегда у нас было. Я уж применился к ней и ждал.

Мы, разумеется, начали разговор о вчерашнем. Меня особенно поразило то, что мы совершенно сходимся с ней в впечатлении нашем о

старом князе: ей он решительно не нравился, гораздо больше не нравился, чем вчера. И когда мы перебрали по черточкам весь его вчерашний визит, Наташа вдруг сказала:

— Послушай, Ваня, а ведь так всегда бывает, что вот если сначала человек не понравится, то уж это почти признак, что он непременно понравится потом. По крайней мере, так всегда бывало со мною.

— Дай бог так, Наташа. К тому же вот мое мнение, и окончательное: я всё перебрал и вывел, что хоть князь, может быть, и иезуитничает, но соглашается он на ваш брак вправду и серьезно.

Наташа остановилась среди комнаты и сурово взглянула на меня. Всё лицо ее изменилось; даже губы слегка вздрогнули.

— Да как же бы он мог в *таком* случае начать хитрить и… лгать? — спросила она с надменным недоумением.

— То-то, то-то! — поддакнул я скорее.

— Разумеется, не лгал. Мне кажется, и думать об этом нечего. Нельзя даже предлога приискать к какой-нибудь хитрости. И, наконец, что ж я такое в глазах его, чтоб до такой степени смеяться надо мной? Неужели человек может быть способен на такую обиду?

— Конечно, конечно! — подтверждал я, а про себя подумал: «Ты, верно, об этом только и думаешь теперь, ходя по комнате, моя бедняжка, и, может, еще больше сомневаешься, чем я».

— Ах, как бы я желала, чтоб он поскорее воротился! — сказала она. — Целый вечер хотел просидеть у меня, и тогда… Должно быть, важные дела, коль всё бросил да уехал. Не знаешь ли, какие, Ваня? Не слыхал ли чего-нибудь?

— А господь его знает. Ведь он всё деньги наживает. Я слышал, участок в каком-то подряде здесь в Петербурге берет. Мы, Наташа, в делах ничего не смыслим.

— Разумеется, не смыслим. Алеша говорил про какое-то письмо вчера.

— Известие какое-нибудь. А был Алеша?

— Был.

— Рано?

— В двенадцать часов: да ведь он долго спит. Посидел. Я прогнала его к Катерине Федоровне; нельзя же, Ваня.

— А разве сам он не собирался туда?

— Нет, и сам собирался…

Она хотела что-то еще прибавить и замолчала. Я глядел на нее и выжидал. Лицо у ней было грустное. Я бы и спросил ее, да она очень иногда не любила расспросов.

— Странный этот мальчик, — сказала она наконец, слегка искривив рот и как будто стараясь не глядеть на меня.

— А что! Верно, что-нибудь у вас было?

— Нет, ничего; так… Он был, впрочем, и милый… Только уж…

— Вот теперь все его горести и заботы кончились, — сказал я.

Наташа пристально и пытливо взглянула на меня. Ей, может быть, самой хотелось бы ответить мне: «Немного-то было у него горестей и забот и прежде»; но ей показалось, что в моих словах та же мысль, она и надулась.

Впрочем, тотчас же опять стала и приветлива, и любезна. В этот раз она была чрезвычайно кротка. Я просидел у ней более часу. Она очень беспокоилась. Князь пугал ее. Я заметил по некоторым ее вопросам, что ей очень бы хотелось узнать наверно, какое именно произвела она на него вчера впечатление? Так ли она себя держала? Не слишком ли она выразила перед ним свою радость? Не была ли слишком обидчива? Или, наоборот, уж слишком снисходительна? Не подумал бы он чего-нибудь? Не просмеял бы? Не почувствовал бы презрения к ней?.. От этой мысли щеки ее вспыхнули как огонь.

— Неужели можно так волноваться из-за того только, что дурной человек что-нибудь подумает? Да пусть его думает! — сказал я.

— Почему же он дурной? — спросила она.

Наташа была мнительна, но чиста сердцем и прямодушна. Мнительность ее происходила из чистого источника. Она была горда, и благородно горда, и не могла перенести, если то, что считала выше всего, предалось бы на посмеяние в ее же глазах. На презрение человека низкого она, конечно, отвечала бы только презрением, но все-таки болела бы сердцем за насмешку над тем, что считала святынею, кто бы ни смеялся. Не от недостатка твердости происходило это. Происходило отчасти и от слишком малого знания света, от непривычки к людям, от замкнутости в своем угле. Она всю жизнь прожила в своем угле, почти не выходя из него. И, наконец, свойство самых добродушных людей, может быть перешедшее к ней от отца, — захвалить человека, упорно считать его лучше, чем он в самом деле, сгоряча преувеличивать в нем все доброе — было в ней развито в сильной степени. Тяжело таким

людям потом разочаровываться; еще тяжеле, когда чувствуешь, что сам виноват. Зачем ожидал более, чем могут дать? А таких людей поминутно ждет такое разочарование. Всего лучше, если они спокойно сидят в своих углах и не выходят на свет; я даже заметил, что они действительно любят свои углы до того, что даже дичают в них. Впрочем, Наташа перенесла много несчастий, много оскорблений. Это было уже больное существо, и ее нельзя винить, если только в моих словах есть обвинение.

Но я спешил и встал уходить. Она изумилась и чуть не заплакала, что я ухожу, хотя всё время, как я сидел, не показывала мне никакой особенной нежности, напротив, даже была со мной как будто холоднее обыкновенного. Она горячо поцеловала меня и как-то долго посмотрела мне в глаза.

— Послушай, — сказала она, — Алеша был пресмешной сегодня и даже удивил меня. Он был очень мил, очень счастлив с виду, но влетел таким мотыльком, таким фатом, всё перед зеркалом вертелся. Уж он слишком как-то без церемонии теперь… да и сидел-то недолго. Представь: мне конфет привез.

— Конфет? Что ж, это очень мило и простодушно. Ах, какие вы оба! Вот уж и пошли теперь наблюдать друг за другом, шпионить, лица друг у друга изучать, тайные мысли на них читать (а ничего-то вы в них и не понимаете!). Еще он ничего. Он веселый и школьник по-прежнему. А ты-то, ты-то!

И всегда, когда Наташа переменяла тон и подходила, бывало, ко мне или с жалобой на Алешу, или для разрешения каких-нибудь щекотливых недоумений, или с каким-нибудь секретом и с желанием, чтоб я понял его с полслова, то, помню, она всегда смотрела на меня, оскаля зубки и как будто вымаливая, чтоб я непременно решил как-нибудь так, чтоб ей тотчас же стало легче на сердце. Но помню тоже, я в таких случаях всегда как-то принимал суровый и резкий тон, точно распекая кого-то, и делалось это у меня совершенно нечаянно, но всегда *удавалось*. Суровость и важность моя были кстати, казались авторитетнее, а ведь иногда человек чувствует непреодолимую потребность, чтоб его кто-нибудь пораспек. По крайней мере, Наташа уходила от меня иногда совершенно утешенная.

— Нет, видишь, Ваня, — продолжала она, держа одну свою ручку на моем плече, другою сжимая мне руку, а глазками заискивая в моих

глазах, — мне показалось, что он был как-то мало проникнут… он показался мне таким уж mari,[8] — знаешь, как будто десять лет женат, но всё еще любезный с женой человек. Не рано ли уж очень?.. Смеялся, вертелся, но как будто это всё ко мне только так, только уж отчасти относится, а не так, как прежде… Очень торопился к Катерине Федоровне… Я ему говорю, а он не слушает или об другом заговаривает, знаешь, эта скверная, великосветская привычка, от которой мы оба его так отучали. Одним словом, был такой… даже как будто равнодушный… Но что я! Вот и пошла, вот и начала! Ах, какие мы все требовательные, Ваня, какие капризные деспоты! Только теперь вижу! Пустой перемены в лице человеку не простим, а у него еще бог знает отчего переменилось лицо! Ты прав, Ваня, что сейчас укорял меня! Это я одна во всем виновата! Сами себе горести создаем, да еще жалуемся… Спасибо, Ваня, ты меня совершенно утешил. Ах, кабы он сегодня приехал! Да чего! Пожалуй, еще рассердится за давешнее.

— Да неужели вы уж поссорились! — вскричал я с удивлением.

— И виду не подала! Только я была немного грустна, а он из веселого стал вдруг задумчивым и, мне показалось, сухо со мной простился. Да я пошлю за ним… Приходи и ты, Ваня, сегодня.

— Непременно, если только не задержит одно дело.

— Ну вот, какое там дело?

— Да навязал себе! А впрочем, кажется, непременно приду.

Глава VII

Ровно в семь часов я был у Маслобоева. Он жил в Шестилавочиой, в небольшом доме, во флигеле, в довольно неопрятной квартире о трех комнатах, впрочем не бедно меблированных. Виден был даже некоторый достаток и в то же время чрезвычайная нехозяйственность. Мне отворила прехорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с предобрыми, веселыми глазками. Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться. Она спросила: кто я, и, услышав фамилию, сказала, что он ждет меня, но что теперь спит в своей комнате, куда меня и повела. Маслобоев спал на прекрасном, мягком диване, накрытый

своею грязною шинелью, с кожаной истертой подушкой и головах. Сон у него был очень чуткий; только что мы вошли, он тотчас же окликнул меня по имени.

— А! Это ты? Жду. Сейчас во сие видел, что ты пришел и меня будишь. Значит, пора. Едем.

— Куда едем?

— К даме.

— К какой? Зачем?

— К мадам Бубновой, затем чтобы ее раскассировать. А какая красотка-то! — протянул он, обращаясь к Александре Семеновне, и даже поцеловал кончики пальцев при воспоминании о мадам Бубновой.

— Ну уж пошел, выдумал! — проговорила Александра Семеновна, считая непременным долгом немного рассердиться.

— Незнаком? Познакомься, брат: вот, Александра Семеновна, рекомендую тебе, это литературный генерал; их только раз в год даром осматривают, а в прочее время за деньги.

— Ну, вот дуру нашел. Вы его, пожалуйста, не слушайте, всё смеется надо мной. Какие они генералы?

— Я про то вам и говорю, что особенные. А ты, ваше превосходительство, не думай, что мы глупы; мы гораздо умнее, чем с первого взгляда кажемся.

— Да не слушайте его! Вечно-то застыдит при хороших людях, бесстыдник. Хоть бы в театр когда свез.

— Любите, Александра Семеновна, домашние свои… А не забыли, что любить-то надо? Словечко-то не забыли? Вот которому я вас учил?

— Конечно, не забыла. Вздор какой-нибудь значит.

— Ну, да какое ж словечко-то?

— Вот стану я страмиться при госте. Оно, может быть, страм какой значит. Язык отсохни, коли скажу.

— Значит, забыли-с?

— А вот и не забыла; пенаты[*]! Любите свои пенаты… ведь вот что выдумает! Может, никаких пенатов и не было; и за что их любить-то? Всё врет!

— Зато у мадам Бубновой…

— Тьфу ты с своей Бубновой! — и Александра Семеновна выбежала в величайшем негодовании. — Пора! идем! Прощайте,

Александра Семеновна!

Мы вышли.

— Видишь, Ваня, во-первых, сядем на этого извозчика. Так. А во-вторых, я давеча, как с тобой простился, кой-что еще узнал и узнал уж не по догадкам, а в точности. Я еще на Васильевском целый час оставался. Этот пузан — страшная каналья, грязный, гадкий, с вычурами и с разными подлыми вкусами. Эта Бубнова давно уж известна кой-какими проделками в этом же роде. Она на днях с одной девочкой из честного дома чуть не попалась. Эти кисейные платья, в которые она рядила эту сиротку (вот ты давеча рассказывал), не давали мне покоя; потому что я кой-что уже до этого слышал. Давеча я кой-что еще разузнал, правда совершенно случайно, но, кажется, наверно. Сколько лет девочке?

— По лицу лет тринадцать.

— А по росту меньше. Ну, так она и сделает. Коли надо, скажет одиннадцать, а то пятнадцать. И так как у бедняжки ни защиты, ни семейства, то…

— Неужели?

— А ты что думал? Да уж мадам Бубнова из одного сострадания не взяла бы к себе сироту. А уж если пузан туда повадился, так уж так. Он с ней давеча утром виделся. А болвану Сизобрюхову обещана сегодня красавица, мужняя жена, чиновница и штаб-офицерка. Купецкие дети из кутящих до этого падки; всегда про чин спросят. Это как в латинской грамматике, помнишь: значение предпочитается окончанию. А впрочем, я еще, кажется, с давешнего пьян. Ну, а Бубнова такими делами заниматься не смей. Она и полицию надуть хочет; да врешь! А потому я и пугну, так как она знает, что я по старой памяти… ну и прочее — понимаешь?

Я был страшно поражен. Все эти известия взволновали мою душу. Я всё боялся, что мы опоздаем, и погонял извозчика.

— Не беспокойся; меры приняты, — говорил Маслобоев. — Там Митрошка. Сизобрюхов ему поплатится деньгами, а пузатый подлец — натурой. Это еще давеча решено было. Ну, а Бубнова на мой пай приходится… Потому она не смей…

Мы приехали и остановились у ресторации; но человека, называвшегося Митрошкой, там не было. Приказав извозчику нас дожидаться у крыльца ресторации, мы пошли к Бубновой. Митрошка

поджидал нас у ворот. В окнах разливался яркий свет, и слышался пьяный, раскатистый смех Сизобрюхова.

— Там они все, с четверть часа будет, — известил Митрошка. — Теперь самое время.

— Да как же мы войдем? — спросил я.

— Как гости, — возразил Маслобоев. — Она меня знает; да и Митрошку знает. Правда, всё на запоре, да только не для нас.

Он тихо постучал в ворота, и они тотчас же отворились. Отворил дворник и перемигнулся с Митрошкой. Мы вошли тихо; в доме нас не слыхали. Дворник провел нас по лесенке и постучался. Его окликнули; он отвечал, что один: «дескать, надоть». Отворили, и мы все вошли разом. Дворник скрылся.

— Ай, кто это? — закричала Бубнова, пьяная и растрепанная, стоявшая в крошечной передней со свечою в руках.

— Кто? — подхватил Маслобоев. — Как же вы это, Анна Трифоновна, дорогих гостей не узнаете? Кто же, как не мы?.. Филипп Филиппыч.

— Ах, Филипп Филиппыч! это вы-с… дорогие гости… Да как же вы-с… я-с… ничего-с… пожалуйте сюда-с.

И она совсем заметалась.

— Куда сюда? Да тут перегородка… Нет, вы нас принимайте получше. Мы у вас холодненького выпьем, да машерочек* нет ли?

Хозяйка мигом ободрилась.

— Да для таких дорогих гостей из-под земли найду; из китайского государства выпишу.

— Два слова, голубушка Анна Трифоновна: здесь Сизобрюхов?

— З… здесь.

— Так его-то мне и надобно. Как же он смел, подлец, без меня кутить!

— Да он вас, верно, не позабыл. Всё кого-то поджидал, верно, вас.

Маслобоев толкнул дверь, и мы очутились в небольшой комнате, в два окна, с геранями, плетеными стульями и с сквернейшими фортепианами; всё как следовало. Но еще прежде, чем мы вошли, еще когда мы разговаривали в передней, Митрошка стушевался. Я после узнал, что он и не входил, а пережидал за дверью. Ему было кому потом отворить. Растрепанная и нарумяненная женщина, выглядывавшая давеча утром из-за плеча Бубновой, приходилась ему кума.

Сизобрюхов сидел на тоненьком диванчике под красное дерево, перед круглым столом, покрытым скатертью. На столе стояли две бутылки теплого шампанского, бутылка скверного рому; стояли тарелки с кондитерскими конфетами, пряниками и орехами трех сортов. За столом, напротив Сизобрюхова, сидело отвратительное существо лет сорока и рябое, в черном тафтяном платье и с бронзовыми браслетами и брошками. Это была штаб-офицерка, очевидно поддельная. Сизобрюхов был пьян и очень доволен. Пузатого его спутника с ним не было.

— Так-то люди делают! — заревел во всё горло Маслобоев, — а еще к Дюссо приглашает!

— Филипп Филиппыч, осчастливили-с! — пробормотал Сизобрюхов, с блаженным видом подымаясь нам навстречу.

— Пьешь?

— Извините-с.

— Да ты не извиняйся, а приглашай гостей. С тобой погулять приехали. Вот привел еще гостя: приятель! — Маслобоев указал на меня.

— Рады-с, то есть осчастливили-с… Кхи! — Ишь, шампанское называется! На кислые щи похоже.

— Обижаете-с.

— Знать, ты к Дюссо-то и показываться не смеешь; а еще приглашает!

— Он сейчас рассказывал, что в Париже был, — подхватила штаб-офицерка, — вот врет-то, должно быть!

— Федосья Титишна, не обижайте-с. Были-с. Ездили-с.

— Ну, такому ли мужику в Париже быть?

— Были-с. Могли-с. Мы там с Карпом Васильичем отличались. Карпа Васильича изволите знать-с?

— А на что мне знать твоего Карпа Васильича?

— Да уж так-с… из политики дело-с. А мы с ним там, в местечке Париже-с, у мадам Жубер-с, англицкую трюму разбили-с.

— Что разбили?

— Трюму-с. Трюма такая была, во всю стену до потолка простиралась; а уж Карп Васильич так пьян, что уж с мадам Жубер-с по-русски заговорил. Он это у трюмы стал, да и облокотился. А Жуберта-то и кричит ему, по-свойски то есть: «Трюма семьсот франков стоит (по-нашему четвертаков), разобьешь!» Он ухмыляется да на меня

смотрит; а я супротив сижу на канапе[*], и красота со мной, да не такое рыло, как вот ефта-с, а с киксом, словом сказать-с. Он и кричит: «Степан Терентьич, а Степан Терентьич! Пополам идет, что ли?» Я говорю: «Идет!» — как он кулачищем-то по трюме-то стукнет — дзынь! Только осколки посыпались. Завизжала Жуберта, так в рожу ему прямо и лезет: «Что ты, разбойник, куда пришел?» (по-ихнему то есть). А он ей: «Ты, говорит, мадам Жубер-с, деньги бери, а ндраву моему не препятствуй[*]», да тут же ей шестьсот пятьдесят франков и отвалил. Полсотни выторговали-с.

В эту минуту страшный, пронзительный крик раздался где-то за несколькими дверями, за две или за три комнатки от той, в которой мы были. Я вздрогнул и тоже закричал. Я узнал этот крик: это был голос Елены. Тотчас же вслед за этим жалобным криком раздались другие крики, ругательства, возня и наконец ясные, звонкие, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это, вероятно, расправлялся Митрошка по своей части. Вдруг с силой отворилась дверь и Елена, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но разбившимися, как бы в борьбе, волосами, ворвалась в комнату. Я стоял против дверей, а она бросилась прямо ко мне и обхватила меня руками. Все вскочили, все переполошились. Визги и крики раздались при ее появлении. Вслед за ней показался в дверях Митрошка, волоча за волосы своего пузатого недруга в самом растерзанном виде. Он доволок его до порога и вбросил к нам в комнату.

— Вот он! Берите его! — произнес Митрошка с совершенно довольным видом.

— Слушай, — проговорил Маслобоев, спокойно подходя ко мне и стукнув меня по плечу, — бери нашего извозчика, бери девочку и поезжай к себе, а здесь тебе больше нечего делать. Завтра уладим и остальное.

Я не заставил себе повторять два раза. Схватив за руку Елену, я вывел ее из этого вертепа. Уж не знаю, как там у них кончилось. Нас не останавливали: хозяйка была поражена ужасом. Всё произошло так скоро, что она и помешать не могла. Извозчик нас дожидался, и через двадцать минут я был уже на своей квартире.

Елена была как полумертвая. Я расстегнул крючки у ее платья, спрыснул ее водой и положил на диван. С ней начался жар и бред. Я

глядел на ее бледное личико, на бесцветные ее губы, на ее черные, сбившиеся на сторону, но расчесанные волосок к волоску и напомаженные волосы, на весь ее туалет, на эти розовые бантики, еще уцелевшие кой-где на платье, — и понял окончательно всю эту отвратительную историю. Бедная! Ей становилось всё хуже и хуже. Я не отходил от нее и решился не ходить этот вечер к Наташе. Иногда Елена подымала свои длинные ресницы и взглядывала на меня, и долго и пристально глядела, как бы узнавая меня. Уже поздно, часу в первом ночи, она заснула. Я заснул подле нее на полу.

Глава VIII

Я встал очень рано. Всю ночь я просыпался почти каждые полчаса, подходил к моей бедной гостье и внимательно к ней присматривался. У нее был жар и легкий бред. Но к утру она заснула крепко. Добрый знак, подумал я, но, проснувшись утром, решился поскорей, покамест бедняжка еще спала, сбегать к доктору. Я знал одного доктора, холостого и добродушного старичка, с незапамятных времен жившего у Владимирской вдвоем с своей экономкой-немкой. К нему-то я и отправился. Он обещал быть у меня в десять часов. Было восемь, когда я приходил к нему. Мне ужасно хотелось зайти по дороге к Маслобоеву, но я раздумал: он, верно, еще спал со вчерашнего, да к тому же Елена могла проснуться и, пожалуй, без меня испугалась бы, увидя себя в моей квартире. В болезненном своем состоянии она могла забыть: как, когда и каким образом попала ко мне.

Она проснулась в ту самую минуту, когда я входил в комнату. Я подошел к ней и осторожно спросил: как она себя чувствует? Она не отвечала, но долго-долго и пристально на меня смотрела своими выразительными черными глазами. Мне показалось из ее взгляда, что она всё понимает и в полной памяти. Не отвечала же она мне, может быть, по своей всегдашней привычке. И вчера и третьего дня, как приходила ко мне, она на иные мои вопросы не приговаривала ни слова, а только начинала вдруг смотреть мне в глаза своим длинным, упорным взглядом, в котором вместе с недоумением и диким любопытством была еще какая-то странная гордость. Теперь же я заметил в ее взгляде суровость и даже как будто недоверчивость, Я было приложил руку к ее

лбу, чтоб пощупать, есть ли жар, но она молча и тихо своей маленькой ручкой отвела мою и отвернулась от меня лицом к стене. Я отошел, чтоб уж и не беспокоить ее.

У меня был большой медный чайник. Я уже давно употреблял его вместо самовара и кипятил в нем воду. Дрова у меня были, дворник разом носил мне их дней на пять. Я затопил печь, сходил за водой и наставил чайник. На столе же приготовил мой чайный прибор. Елена повернулась ко мне и смотрела на всё с любопытством. Я спросил ее, не хочет ли и она чего? Но она опять от меня отвернулась и ничего не ответила.

«На меня-то за что ж она сердится? — подумал я. — Странная девочка!»

Мой старичок доктор пришел, как сказал, в десять часов. Он осмотрел больную со всей немецкой внимательностью и сильно обнадежил меня, сказав, что хоть и есть лихорадочное состояние, но особенной опасности нет никакой. Он прибавил, что у ней должна быть другая, постоянная болезнь, что-нибудь вроде неправильного сердцебиения, «но что этот пункт будет требовать особенных наблюдений, теперь же она вне опасности». Он прописал ей микстуру и каких-то порошков, более для обычая, чем для надобности, и тотчас же начал меня расспрашивать: каким образом она у меня очутилась? В то же время он с удивлением рассматривал мою квартиру. Этот старичок был ужасный болтун.

Елена же его поразила; она вырвала у него свою руку, когда он щупал ее пульс, и не хотела показать ему язык. На все вопросы его не отвечала ни слова, но всё время только пристально смотрела на его огромный Станислав, качавшийся у него на шее.* «У нее, верно, голова очень болит, — заметил старичок, — но только как она глядит!» Я не почел за нужное ему рассказывать о Елене и отговорился тем, что это длинная история.

— Дайте мне знать, если надо будет, — сказал он, уходя. — А теперь нет опасности.

Я решился на весь день остаться с Еленой и, по возможности, до самого выздоровления оставлять ее как можно реже одну. Но зная, что Наташа и Анна Андреевна могут измучиться, ожидая меня понапрасну, решился хоть Наташу уведомить по городской почте письмом, что сегодня у ней не буду. Анне же Андреевне нельзя было писать. Она

сама просила меня, чтоб я, раз навсегда, не присылал ей писем, после того как я однажды послал было ей известие во время болезни Наташи. «И старик хмурится, как письмо твое увидит, — говорила она, — узнать-то ему очень хочется, сердечному, что в письме, да и спросить-то нельзя, не решается. Вот и расстроится на весь день. Да к тому же, батюшка, письмом-то ты меня только раздразнишь. Ну что десять строк! Захочется подробнее расспросить, а тебя-то и нет». И потому я написал одной Наташе и, когда относил в аптеку рецепт, отправил зараз и письмо.

Тем временем Елена опять заснула. Во сне она слегка стонала и вздрагивала. Доктор угадал: у ней сильно болела голова. Порой она слегка вскрикивала и просыпалась. На меня она взглядывала даже с досадою, как будто ей особенно тяжело было мое внимание. Признаюсь, мне было это очень больно.

В одиннадцать часов пришел Маслобоев. Он был озабочен и как будто рассеян; зашел он только на минутку и очень куда-то торопился.

— Ну, брат, я ожидал, что ты живешь неказисто, — заметил он, осматриваясь, — но, право, не думал, что найду тебя в таком сундуке. Ведь это сундук, а не квартира. Ну, да это-то, положим, ничего, а главная беда в том, что тебя все эти посторонние хлопоты только отвлекают от работы. Я об этом думал еще вчера, когда мы ехали к Бубновой. Я ведь, брат, по натуре моей и по социальному моему положению принадлежу к тем людям, которые сами путного ничего не делают, а другим наставления читают, чтоб делали. Теперь слушай: я, может быть, завтра или послезавтра зайду к тебе, а ты непременно побывай у меня в воскресенье утром. К тому времени дело этой девочки, надеюсь, совсем кончится; в тот же раз я с тобой серьезно переговорю, потому что за тебя надо серьезно приняться. Эдак жить нельзя. Я тебе вчера только намекнул, а теперь логически представлять буду. Да и, наконец, скажи: что ж ты за бесчестье, что ли, считаешь взять у меня денег на время?..

— Да не ссорься! — прервал я его. — Лучше скажи, чем у вас там вчера-то кончилось!

— Да что, кончилось благополучнейшим образом, и цель достигнута, понимаешь? Теперь же мне некогда. На минутку зашел только уведомить, что мне некогда и не до тебя; да, кстати, узнать: что, ты ее поместишь куда-нибудь или у себя держать хочешь? Потому это

надо обдумать и решить.

— Этого я еще наверно не знаю и, признаюсь, ждал тебя, чтоб с тобой посоветоваться. Ну на каком, например, основании я буду ее у себя держать?

— Э, чего тут, да хоть в виде служанки…

— Прошу тебя только, говори тише. Она хоть и больна, но совершенно в памяти, и как тебя увидела, я заметил, как будто вздрогнула. Значит, вчерашнее вспомнила…

Тут я ему рассказал об ее характере и всё, что я в ней заметил. Слова мои заинтересовали Маслобоева. Я прибавил, что, может быть, помещу ее в один дом, и слегка рассказал ему про моих стариков. К удивлению моему, он уже отчасти знал историю Наташи и на вопрос мой: откуда он знает?

— Так; давно, как-то мельком слышал, к одному делу приходилось. Ведь я уже говорил тебе, что знаю князя Валковского. Это ты хорошо делаешь, что хочешь отправить ее к тем старикам. А то стеснит она тебя только. Да вот еще что: ей нужен какой-нибудь вид. Об этом не беспокойся; на себя беру. Прощай, заходи чаще. Что она теперь, спит?

— Кажется, — отвечал я.

Но только что он ушел, Елена тотчас же меня окликнула.

— Кто это? — спросила она. Голос ее дрожал, но смотрела она на меня всё тем же пристальным и как будто надменным взглядом. Иначе я не умею выразиться.

Я назвал ей фамилию Маслобоева и прибавил, что через него-то я и вырвал ее от Бубновой и что Бубнова его очень боится. Щеки ее вдруг загорелись как будто заревом, вероятно от воспоминаний.

— И она теперь никогда не придет сюда? — спросила Елена, пытливо смотря на меня.

Я поспешил ее обнадежить. Она замолчала, взяла было своими горячими пальчиками мою руку, но тотчас же отбросила ее, как будто опомнившись. «Не может быть, чтоб она в самом деле чувствовала ко мне такое отвращение, — подумал я. — Это ее манера, или… или просто бедняжка видела столько горя, что уж не доверяет никому на свете».

В назначенное время я сходил за лекарством и вместе с тем в знакомый трактир, в котором я иногда обедал и где мне верили в долг. В этот раз, выходя из дому, я захватил с собой судки и взял в трактире

порцию супу из курицы для Елены. Но она не хотела есть, и суп до времени остался в печке.

Дав ей лекарство, я сел за свою работу. Я думал, что она спит, но, нечаянно взглянув на нее, вдруг увидел, что она приподняла голову и пристально следила, как я пишу. Я притворился, что не заметил ее.

Наконец она и в самом деле заснула и, к величайшему моему удовольствию, спокойно, без бреду и без стонов. На меня напало раздумье; Наташа не только могла, не зная, в чем дело, рассердиться на меня за то, что я не приходил к ней сегодня, но даже, думал я, наверно будет огорчена моим невниманием именно в такое время, когда, может быть, я ей наиболее нужен. У нее даже наверно могли случиться теперь какие-нибудь хлопоты, какое-нибудь дело препоручить мне, а меня, как нарочно, и нет.

Что же касается до Анны Андреевны, то я совершенно не знал, как завтра отговорюсь перед нею. Я думал-думал и вдруг решился сбегать и туда и сюда. Всё мое отсутствие могло продолжаться всего только два часа. Елена же спит и не услышит, как я схожу. Я вскочил, накинул пальто, взял фуражку, но только было хотел уйти, как вдруг Елена позвала меня. Я удивился: неужели ж она притворялась, что спит?

Замечу кстати: хоть Елена и показывала вид, что как будто не хочет говорить со мною, но эти оклики, довольно частые, эта потребность обращаться ко мне со всеми недоумениями, доказывали противное и, признаюсь, были мне даже приятны.

— Куда вы хотите отдать меня? — спросила она, когда я к ней подошел. Вообще она задавала свои вопросы как-то вдруг, совсем для меня неожиданно. В этот раз я даже не сейчас ее понял.

— Давеча вы говорили с вашим знакомым, что хотите отдать меня в какой-то дом. Я никуда не хочу.

Я нагнулся к ней: она была опять вся в жару; с ней был опять лихорадочный кризис. Я начал утешать ее и обнадеживать; уверял ее, что если она хочет остаться у меня, то я никуда ее не отдам. Говоря это, я снял пальто и фуражку. Оставить ее одну в таком состоянии я не решился.

— Нет, ступайте! — сказала она, тотчас догадавшись, что я хочу остаться. — Я спать хочу; я сейчас засну. — Да как же ты одна будешь?.. — говорил я в недоумении. — Я, впрочем, наверно через два часа назад буду…

— Ну, и ступайте. А то целый год больна буду, так вам целый год из дому не уходить, — и она попробовала улыбнуться и как-то странно взглянула на меня, как будто борясь с каким-то добрым чувством, отозвавшимся в ее сердце. Бедняжка! Добренькое, нежное ее сердце выглядывало наружу, несмотря на всю ее нелюдимость и видимое ожесточение.

Сначала я сбегал к Анне Андреевне. Она ждала меня с лихорадочным нетерпением и встретила упреками; сама же была в страшном беспокойстве: Николай Сергеич сейчас после обеда ушел со двора, а куда — неизвестно. Я предчувствовал, что старушка не утерпела и рассказала ему всё, по своему обыкновению, *намеками*. Она, впрочем, мне почти что призналась в этом сама, говоря, что не могла утерпеть, чтоб не поделиться с ним такою радостью, но что Николай Сергеич стал, по ее собственному выражению, чернее тучи, ничего не сказал, «всё молчал, даже на вопросы мои не отвечал», и вдруг после обеда собрался и был таков. Рассказывая это, Анна Андреевна чуть не дрожала от страху и умоляла меня подождать с ней вместе Николая Сергеича. Я отговорился и сказал ей почти наотрез, что, может быть, и завтра не приду и что я собственно потому и забежал теперь, чтобы об этом предуведомить. В этот раз мы чуть было не поссорились. Она заплакала; резко и горько упрекала меня, и только когда я уже выходил из двери, она вдруг бросилась ко мне на шею, крепко обняла меня обеими руками и сказала, чтоб я не сердился на нее, «сироту», и не принимал в обиду слов ее.

Наташу, против ожидания, я застал опять одну, и — странное дело, мне показалось, что она вовсе не так была мне в этот раз рада, как вчера и вообще в другие разы. Как будто я ей в чем-нибудь досадил или помешал. На мой вопрос: был ли сегодня Алеша? — она отвечала: разумеется, был, но недолго. Обещался сегодня вечером быть, — прибавила она, как бы в раздумье.

— А вчера вечером был?

— Н-нет. Его задержали, — прибавила она скороговоркой. — Ну, что, Ваня, как твой дела?

Я видел, что она хочет зачем-то замять наш разговор и свернуть на другое. Я оглядел ее пристальнее: она была видимо расстроена. Впрочем, заметив, что я пристально слежу за ней и в нее вглядываюсь, она вдруг быстро и как-то гневно взглянула на меня и с такою силою,

что как будто обожгла меня взглядом. «У нее опять горе, — подумал я, — только она говорить мне не хочет».

В ответ на ее вопрос о моих делах я рассказал ей всю историю Елены, со всеми подробностями. Ее чрезвычайно заинтересовал и даже поразил мой рассказ.

— Боже мой! И ты мог ее оставить одну, больную! — вскричала она.

Я объяснил, что хотел было совсем не приходить к ней сегодня, но думал, что она на меня рассердится и что во мне могла быть какая-нибудь нужда.

— Нужда, — проговорила она про себя, что-то обдумывая, — нужда-то, пожалуй, есть в тебе, Ваня, но лучше уж в другой раз. Был у наших?

Я рассказал ей.

— Да; бог знает, как отец примет теперь все эти известия. А впрочем, что и принимать-то…

— Как что принимать? — спросил я, — такой переворот!

— Да уж так… Куда ж это он опять пошел? В тот раз вы думали, что он ко мне ходил. Видишь, Ваня, если можешь, зайди ко мне завтра. Может быть, я кой-что и скажу тебе… Совестно мне только тебя беспокоить; а теперь шел бы ты домой к своей гостье. Небось часа два прошло, как ты вышел из дома?

— Прошло. Прощай, Наташа. Ну, а каков был сегодня с тобой Алеша?

— Да что Алеша, ничего… Удивляюсь даже твоему любопытству.

— До свидания, друг мой.

— Прощай. — Она подала мне руку как-то небрежно и отвернулась от моего последнего прощального взгляда. Я вышел от нее несколько удивленный. «А впрочем, — подумал я, — есть же ей об чем и задуматься. Дела не шуточные. А завтра всё первая же мне и расскажет».

Возвратился я домой грустный и был страшно поражен, только что вошел в дверь. Было уже темно. Я разглядел, что Елена сидела на диване, опустив на грудь голову, как будто в глубокой задумчивости. На меня она и не взглянула, точно была в забытьи. Я подошел к ней; она что-то шептала про себя. «Уж не в бреду ли?» — подумал я.

— Елена, друг мой, что с тобой? — спросил я, садясь подле нее и

охватив ее рукою.

— Я хочу отсюда… Я лучше хочу к ней, — проговорила она, не подымая ко мне головы.

— Куда? К кому? — спросил я в удивлении.

— К ней, к Бубновой. Она всё говорит, что я ей должна много денег, что она маменьку на свои деньги похоронила… Я не хочу, чтобы она бранила маменьку, я хочу у ней работать и всё ей заработаю… Тогда от нее сама и уйду. А теперь я опять к ней пойду.

— Успокойся, Елена, к ней нельзя, — говорил я. — Она тебя замучает; она тебя погубит…

— Пусть погубит, пусть мучает, — с жаром подхватила Елена, — не я первая; другие и лучше меня, да мучаются. Это мне нищая на улице говорила. Я бедная и хочу быть бедная. Всю жизнь буду бедная; так мне мать велела, когда умирала. Я работать буду… Я не хочу это платье носить…

— Я завтра же тебе куплю другое. Я и книжки твои тебе принесу. Ты будешь у меня жить. Я тебя никому не отдам, если сама не захочешь; успокойся…

— Я в работницы наймусь.

— Хорошо, хорошо! Только успокойся, ляг, засни!

Но бедная девочка залилась слезами. Мало-помалу слезы ее обратились в рыдания. Я не знал, что с ней делать; подносил ей воды, мочил ей виски, голову. Наконец она упала на диван в совершенном изнеможении, и с ней опять начался лихорадочный озноб. Я окутал ее, чем нашлось, и она заснула, но беспокойно, поминутно вздрагивая и просыпаясь. Хоть я и не много ходил в этот день, но устал ужасно и рассудил сам лечь как можно раньше. Мучительные заботы роились в моей голове. Я предчувствовал, что с этой девочкой мне будет много хлопот. Но более всего заботила меня Наташа и ее дела. Вообще, вспоминаю теперь, я редко был в таком тяжелом расположении духа, как засыпая в эту несчастную ночь.

Глава IX

Проснулся я больной, поздно, часов в десять утра. У меня кружилась и болела голова. Я взглянул на постель Елены: постель была

пуста. В то же время из правой моей комнатки долетали до меня какие-то звуки, как будто кто-то шуркал по полу веником. Я вышел посмотреть. Елена, держа в руке веник и придерживая другой рукой свое нарядное платьице, которое она еще и не снимала с того самого вечера, мела пол. Дрова, приготовленные в печку, были сложены в уголку; со стола стерто, чайник вычищен; одним словом, Елена хозяйничала.

— Послушай, Елена, — закричал я, — кто же тебя заставляет пол мести? Я этого не хочу, ты больна; разве ты в работницы пришла ко мне?

— Кто ж будет здесь пол мести? — отвечала она, выпрямляясь и прямо смотря на меня. — Теперь я не больна.

— Но я не для работы взял тебя, Елена. Ты как будто боишься, что я буду попрекать тебя, как Бубнова, что ты у меня даром живешь? И откуда ты взяла этот гадкий веник? У меня не было веника, — прибавил я, смотря на нее с удивлением.

— Это мой веник. Я его сама сюда принесла. Я и дедушке здесь пол мела. А веник вот тут, под печкой с того времени и лежал.

Я воротился в комнату в раздумье. Могло быть, что я грешил; но мне именно казалось, что ей как будто тяжело было мое гостеприимство и что она всячески хотела доказать мне, что живет у меня не даром. «В таком случае какой же это озлобленный характер?» — подумал я. Минуты две спустя вошла и она и молча села на свое вчерашнее место на диване, пытливо на меня поглядывая. Между тем я вскипятил чайник, заварил чай, налил ей чашку и подал с куском белого хлеба. Она взяла молча и беспрекословно. Целые сутки она почти ничего не ела.

— Вот и платьице хорошенькое запачкала веником, — сказал я, заметив большую грязную полосу на подоле ее юбки.

Она осмотрелась и вдруг, к величайшему моему удивлению, отставила чашку, ущипнула обеими руками, по-видимому хладнокровно и тихо, кисейное полотнище юбки и одним взмахом разорвала его сверху донизу. Сделав это, она молча подняла на меня свой упорный, сверкающий взгляд. Лицо ее было бледно.

— Что ты делаешь, Елена? — закричал я, уверенный, что вижу перед собою сумасшедшую.

— Это нехорошее платье, — проговорила она, почти задыхаясь от

волнения. — Зачем вы сказали, что это хорошее платье? Я не хочу его носить, — вскричала она вдруг, вскочив с места. — Я его изорву. Я не просила ее рядить меня. Она меня нарядила сама, насильно. Я уж разорвала одно платье, разорву и это, разорву! Разорву! Разорву!..

И она с яростию накинулась на свое несчастное платьице. В один миг она изорвала его чуть не в клочки. Когда она кончила, она была так бледна, что едва стояла на месте. Я с удивлением смотрел на такое ожесточение. Она же смотрела на меня каким-то вызывающим взглядом, как будто и я был тоже в чем-нибудь виноват перед нею. Но я уже знал, что мне делать.

Я положил, не откладывая, сегодня же утром купить ей новое платье. На это дикое, ожесточенное существо нужно было действовать добротой. Она смотрела так, как будто никогда и не видывала добрых людей. Если она уж раз, несмотря на жестокое наказание, изорвала в клочки свое первое, такое же платье, то с каким же ожесточением она должна была смотреть на него теперь, когда оно напоминало ей такую ужасную недавнюю минуту.

На Толкучем можно было очень дешево купить хорошенькое и простенькое платьице. Беда была в том, что у меня в ту минуту почти совсем не было денег. Но я еще накануне, ложась спать, решил отправиться сегодня в одно место, где была надежда достать их, и как раз приходилось идти в ту самую сторону, где Толкучий. Я взял шляпу. Елена пристально следила за мной, как будто чего-то ждала.

— Вы опять запрете меня? — спросила она, когда я взялся за ключ, чтоб запереть за собой квартиру, как вчера и третьего дня.

— Друг мой, — сказал я, подходя к ней, — не сердись за это. Я потому запираю, что может кто-нибудь прийти. Ты же больная, пожалуй испугаешься. Да и бог знает, кто еще придет; может быть, Бубнова вздумает прийти…

Я нарочно сказал ей это. Я запирал ее, потому что не доверял ей. Мне казалось, что она вдруг вздумает уйти от меня. До времени я решился быть осторожнее. Елена промолчала, и я-таки запер ее и в этот раз.

Я знал одного антрепренера, издававшего уже третий год одну многотомную книгу[*]. У него я часто доставал работу, когда нужно было поскорей заработать сколько-нибудь денег. Платил он исправно. Я отправился к нему, и мне удалось получить двадцать пять рублей

вперед, с обязательством доставить через неделю компилятивную статью. Но я надеялся выгадать время на моем романе. Это я часто делал, когда приходила крайняя нужда.

Добыв денег, я отправился на Толкучий. Там скоро я отыскал знакомую мне старушку торговку, продававшую всякое тряпье. Я ей рассказал примерно рост Елены, и она мигом выбрала мне светленькое ситцевое, совершенно крепкое и не более одного раза мытое платьице за чрезвычайно дешевую цену. Кстати уж я захватил и шейный платочек. Расплачиваясь, я подумал, что надо же Елене какую-нибудь шубейку, мантильку или что-нибудь в этом роде. Погода стояла холодная, а у ней ровно ничего не было. Но я отложил эту покупку до другого раза. Елена была такая обидчивая, гордая. Господь знает, как примет она и это платье, несмотря на то что я нарочно выбирал как можно проще и неказистее, самое буднишнее, какое только можно было выбрать. Впрочем, я все-таки купил две пары чулок нитяных и одни шерстяные. Это я мог отдать ей под предлогом того, что она больна, а в комнате холодно. Ей надо было тоже белья. Но всё это я оставил до тех пор, пока поближе с ней познакомлюсь. Зато я купил старые занавески к кровати — вещь необходимую и которая могла принесть Елене большое удовольствие.

Со всем этим я воротился домой уже в час пополудни. Замок мой отпирался почти неслышно, так что Елена не сейчас услыхала, что я воротился. Я заметил, что она стояла у стола и перебирала мои книги и бумаги. Услышав же меня, она быстро захлопнула книгу, которую читала, и отошла от стола, вся покраснев. Я взглянул на эту книгу: это был мой первый роман, изданный отдельной книжкой и на заглавном листе которого выставлено было мое имя.

— А сюда кто-то без вас стучался, — сказала она таким тоном, как будто поддразнивая меня: зачем, дескать, запирал?

— Уж не доктор ли, — сказал я, — ты не окликнула его, Елена?

— Нет.

Я не отвечал, взял узелок, развязал его и вынул купленное платье.

— Вот, друг мой Елена, — сказал я, подходя к ней, — в таких клочьях, как ты теперь, ходить нельзя. Я и купил тебе платье, буднишнее, самое дешевое, так что тебе нечего беспокоиться; оно всего рубль двадцать копеек стоит. Носи на здоровье.

Я положил платье подле нее. Она вспыхнула и смотрела на меня

некоторое время во все глаза.

Она была чрезвычайно удивлена, и вместе с тем мне показалось, ей было чего-то ужасно стыдно. Но что-то мягкое, нежное засветилось в глазах ее. Видя, что она молчит, я отвернулся к столу. Поступок мой, видимо, поразил ее. Но она с усилием превозмогала себя и сидела, опустив глаза в землю.

Голова моя болела и кружилась всё более и более. Свежий воздух не принес мне ни малейшей пользы. Между тем надо было идти к Наташе. Беспокойство мое об ней не уменьшалось со вчерашнего дня, напротив — возрастало всё более и более. Вдруг мне показалось, что Елена меня окликнула. Я оборотился к ней.

— Вы, когда уходите, не запирайте меня, — проговорила она, смотря в сторону и пальчиком теребя на диване покромку, как будто бы вся была погружена в это занятие. — Я от вас никуда не уйду.

— Хорошо, Елена, я согласен. Но если кто-нибудь придет чужой? Пожалуй, еще бог знает кто?

— Так оставьте ключ мне, я и запрусь изнутри; а будут стучать, я и скажу: нет дома. — И она с лукавством посмотрела на меня, как бы приговаривая: «Вот ведь как это просто делается!»

— Вам кто белье моет? — спросила она вдруг, прежде чем я успел ей отвечать что-нибудь.

— Здесь, в этом доме, есть женщина.

— Я умею мыть белье. А где вы кушанье вчера взяли?

— В трактире.

— Я и стряпать умею. Я вам кушанье буду готовить.

— Полно, Елена; ну что ты можешь уметь стряпать? Всё это ты не к делу говоришь…

Елена замолчала и потупилась. Ее, видимо, огорчило мое замечание. Прошло по крайней мере минут десять; мы оба молчали.

— Суп, — сказала она вдруг, не поднимая головы.

— Как суп? Какой суп? — спросил я, удивляясь.

— Суп умею готовить. Я для маменьки готовила, когда она была больна. Я и на рынок ходила.

— Вот видишь, Елена, вот видишь, какая ты гордая, — сказал я, подходя к ней и садясь с ней на диван рядом. — Я с тобой поступаю, как мне велит мое сердце. Ты теперь одна, без родных, несчастная. Я тебе помочь хочу. Так же бы и ты мне помогла, когда бы мне было худо.

Но ты не хочешь так рассудить, и вот тебе тяжело от меня самый простой подарок принять. Ты тотчас же хочешь за него заплатить, заработать, как будто я Бубнова и тебя попрекаю. Если так, то это стыдно, Елена.

Она не отвечала, губы ее вздрагивали. Кажется, ей хотелось что-то сказать мне; но она скрепилась и смолчала. Я встал, чтоб идти к Наташе. В этот раз я оставил Елене ключ, прося ее, если кто придет и будет стучаться, окликнуть и спросить: кто такой? Я совершенно был уверен, что с Наташей случилось что-нибудь очень нехорошее, а что она до времени таит от меня, как это и не раз бывало между нами. Во всяком случае, я решился зайти к ней только на одну минутку, иначе я мог раздражить ее моею назойливостью.

Так и случилось. Она опять встретила меня недовольным, жестким взглядом. Надо было тотчас же уйти; а у меня ноги подкашивались.

— Я к тебе на минутку, Наташа, — начал я, — посоветоваться: что мне делать с моей гостьей? — И я начал поскорей рассказывать всё про Елену. Наташа выслушала меня молча.

— Не знаю, что тебе посоветовать, Ваня, — отвечала она. — По всему видно, что это престранное существо. Может быть, она была очень обижена, очень напугана. Дай ей по крайней мере выздороветь. Ты ее хочешь к нашим?

— Она всё говорит, что никуда от меня не пойдет. Да и бог знает, как там ее примут, так что я и не знаю. Ну что, друг мой, как ты? Ты вчера была как будто нездорова! — спросил я ее робея.

— Да… у меня и сегодня что-то голова болит, — отвечала она рассеянно. — Не видал ли кого из наших? — Нет. Завтра схожу. Ведь вот завтра суббота…

— Так что же?

— Вечером будет князь…

— Так что же? Я не забыла.

— Нет, я ведь только так…

Она остановилась прямо передо мной и долго и пристально посмотрела мне в глаза. В ее взгляде была какая-то решимость, какое-то упорство; что-то лихорадочное, горячечное.

— Знаешь что, Ваня, — сказала она, — будь добр, уйди от меня, ты мне очень мешаешь…

Я встал с кресел и с невыразимым удивлением смотрел на нее.

— Друг мой, Наташа! Что с тобой? Что случилось? — вскричал я в испуге.

— Ничего не случилось! Всё, всё завтра узнаешь, а теперь я хочу быть одна. Слышишь, Ваня: уходи сейчас. Мне так тяжело, так тяжело смотреть на тебя!

— Но скажи мне по крайней мере…

— Всё, всё завтра узнаешь! О боже мой! Да уйдешь ли ты?

Я вышел. Я был так поражен, что едва помнил себя. Мавра выскочила за мной в сени.

— Что, сердится? — спросила она меня. — Я уж и подступиться к ней боюсь.

— Да что с ней такое?

— А то, что *наш* — то третий день носу к нам не показывал!

— Как третий день? — спросил я в изумлении, — да она сама вчера говорила, что он вчера утром был да еще вчера вечером хотел приехать…

— Какое вечером! Он и утром совсем не был! Говорю тебе, с третьего дня глаз не кажет. Неужто сама вчера сказывала, что утром был?

— Сама говорила.

— Ну, — сказала Мавра в раздумье, — значит, больно ее задело, когда уж перед тобой признаться не хочет, что не был. Ну, молодец!

— Да что ж это такое! — вскричал я.

— А то такое, что и не знаю, что с ней делать, — продолжала Мавра, разводя руками. — Вчера еще было меня к нему посылала, да два раза с дороги воротила. А сегодня так уж и со мной говорить не хочет. Хоть бы ты его повидал. Я уж и отойти от нее не смею.

Я бросился вне себя вниз по лестнице.

— К вечеру-то будешь у нас? — закричала мне вслед Мавра.

— Там увидим, — отвечал я с дороги. — Я, может, только к тебе забегу и спрошу: что и как? Если только сам жив буду.

Я действительно почувствовал, что меня как будто что ударило в самое сердце.

Глава X

Я отправился прямо к Алеше. Он жил у отца в Малой Морской. У князя была довольно большая квартира, несмотря на то что он жил один. Алеша занимал в этой квартире две прекрасные комнаты. Я очень редко бывал у него, до этого раза всего, кажется, однажды. Он же заходил ко мне чаще, особенно сначала, в первое время его связи с Наташей.

Его не было дома. Я прошел прямо в его половину и написал ему такую записку:

«Алеша, вы, кажется, сошли с ума. Так как вечером во вторник ваш отец сам просил Наташу сделать вам честь быть вашей женою, вы же этой просьбе были рады, чему я свидетелем, то, согласитесь сами, ваше поведение в настоящем случае несколько странно. Знаете ли, что вы делаете с Наташей? Во всяком случае, моя записка вам напомнит, что поведение ваше перед вашей будущей женою в высшей степени недостойно и легкомысленно. Я очень хорошо знаю, что не имею никакого права вам читать наставления, но не обращаю на это никакого внимания.

P. S. О письме этом она ничего не знает, и даже не она мне говорила про вас».

Я напечатал записку и оставил у него на столе. На вопрос мой слуга отвечал, что Алексей Петрович почти совсем не бывает дома и что и теперь воротится не раньше, как ночью, перед рассветом.

Я едва дошел домой. Голова моя кружилась, ноги слабели и дрожали. Дверь ко мне была отворена. У меня сидел Николай Сергеич Ихменев и дожидался меня. Он сидел у стола и молча, с удивлением смотрел на Елену, которая тоже с неменьшим удивлением его рассматривала, хотя упорно молчала. «То-то, — думал я, — она должна ему показаться странною».

— Вот, брат, целый час жду тебя и, признаюсь, никак не ожидал… тебя так найти, — продолжал он, осматриваясь в комнате и неприметно мигая мне на Елену. В глазах его изображалось изумление. Но, вглядевшись в него ближе, я заметил в нем тревогу и грусть. Лицо его было бледнее обыкновенного.

— Садись-ка, садись, — продолжал он с озабоченным и хлопотливым видом, — вот спешил к тебе, дело есть; да что с тобой? На тебе лица нет.

— Нездоровится. С самого утра кружится голова.

— Ну, смотри, этим нечего пренебрегать. Простудился, что ли?

— Нет, просто нервный припадок. У меня это иногда бывает. Да вы-то здоровы ли?

— Ничего, ничего! Это так, сгоряча. Есть дело. Садись. Я придвинул стул и уселся лицом к нему у стола. Старик слегка нагнулся ко мне и начал полушепотом:

— Смотри не гляди на нее и показывай вид, как будто мы говорим о постороннем. Это что у тебя за гостья такая сидит?

— После вам всё объясню, Николай Сергеич. Это бедная девочка, совершенная сирота, внучка того самого Смита, который здесь жил и умер в кондитерской.

— А, так у него была и внучка! Ну, братец, чудак же она! Как глядит, как глядит! Просто говорю: еще бы ты минут пять не пришел, я бы здесь не высидел. Насилу отперла и до сих пор ни слова; просто жутко с ней, на человеческое существо не похожа. Да как она здесь очутилась? А, понимаю, верно, к деду пришла, не зная, что он умер.

— Да. Она была очень несчастна. Старик, еще умирая, об ней вспоминал.

— Гм! каков дед, такова и внучка. После всё это мне расскажешь. Может быть, можно будет и помочь чем-нибудь, так чем-нибудь, коль уж она такая несчастная… Ну, а теперь нельзя ли, брат, ей сказать, чтоб она ушла, потому что поговорить с тобой надо серьезно.

— Да уйти-то ей некуда. Она здесь и живет. Я объяснил старику, что мог, в двух словах, прибавив, что можно говорить и при ней, потому что она дитя.

— Ну да… конечно, дитя. Только ты, брат, меня ошеломил. С тобой живет, господи боже мой!

И старик в изумлении посмотрел на нее еще раз. Елена, чувствуя, что про нее говорят, сидела молча, потупив голову и щипала пальчиками покромку дивана. Она уже успела надеть на себя новое платьице, которое вышло ей совершенно впору. Волосы ее были приглажены тщательнее обыкновенного, может быть, по поводу нового платья. Вообще если б не странная дикость ее взгляда, то она была бы премиловидная девочка.

— Коротко и ясно, вот в чем, брат, дело, — начал опять старик, — длинное дело, важное дело…

Он сидел потупившись, с важным и соображающим видом и,

несмотря на свою торопливость и на «коротко и ясно», не находил слов для начала речи. «Что-то будет?» — подумал я.

— Видишь, Ваня, пришел я к тебе с величайшей просьбой. Но прежде… так как я сам теперь соображаю, надо бы тебе объяснить некоторые обстоятельства… чрезвычайно щекотливые обстоятельства…

Он откашлянулся и мельком взглянул на меня; взглянул и покраснел; покраснел и рассердился на себя за свою ненаходчивость; рассердился и решился:

— Ну, да что тут еще объяснять! Сам понимаешь. Просто-запросто я вызываю князя на дуэль, а тебя прошу устроить это дело и быть моим секундантом.

Я отшатнулся на спинку стула и смотрел на него вне себя от изумления.

— Ну что смотришь! Я ведь не сошел с ума.

— Но, позвольте, Николай Сергеич! Какой же предлог, какая цель? И, наконец, как это можно…

— Предлог! цель! — вскричал старик, — вот прекрасно!..

— Хорошо, хорошо, знаю, что вы скажете; но чему же вы поможете вашей выходкой! Какой выход представляет дуэль? Признаюсь, ничего не понимаю.

— Я так и думал, что ты ничего не поймешь. Слушай: тяжба наша кончилась (то есть кончится на днях; остаются только одни пустые формальности); я осужден. Я должен заплатить до десяти тысяч; так присудили. За них отвечает Ихменевка. Следственно, теперь уж этот подлый человек обеспечен в своих деньгах, а я, предоставив Ихменевку, заплатил и делаюсь человеком посторонним. Тут-то я и поднимаю голову. Так и так, почтеннейший князь, вы меня оскорбляли два года; вы позорили мое имя, честь моего семейства, и я должен был всё это переносить! Я не мог тогда вас вызвать на поединок. Вы бы мне прямо сказали тогда: «А, хитрый человек, ты хочешь убить меня, чтоб не платить мне денег, которые, ты предчувствуешь, присудят тебя мне заплатить, рано ли, поздно ли! Нет, сначала посмотрим, как решится тяжба, а потом вызывай». Теперь, почтенный князь, процесс решен, вы обеспечены, следовательно, нет никаких затруднений, и потому не угодно ли сюда, к барьеру[*]. Вот в чем дело. Что ж, по-твоему, я не вправе, наконец, отметить за себя, за всё, за всё!

Глаза его сверкали. Я долго смотрел на него молча. Мне хотелось проникнуть в его тайную мысль.

— Послушайте, Николай Сергеич, — отвечал я наконец, решившись сказать главное слово, без которого мы бы не понимали друг друга. — Можете ли вы быть со мною совершенно откровенны?

— Могу, — отвечал он с твердостью.

— Скажите же прямо: одно ли чувство мщения побуждает вас к вызову или у вас в виду и другие цели?

— Ваня, — отвечал он, — ты знаешь, что я не позволяю никому в разговорах со мною касаться некоторых пунктов; но для теперешнего раза делаю исключение, потому что ты своим ясным умом тотчас же догадался, что обойти этот пункт невозможно. Да, у меня есть другая цель. Эта цель: спасти мою погибшую дочь и избавить ее от пагубного пути, на который ставят ее теперь последние обстоятельства.

— Но как же вы спасете ее этой дуэлью, вот вопрос?

— Помешав всему тому, что там теперь затевается. Слушай: не думай, что во мне говорит какая-нибудь там отцовская нежность и тому подобные слабости. Всё это вздор! Внутренность сердца моего я никому не показываю. Не знаешь его и ты. Дочь оставила меня, ушла из моего дома с любовником, и я вырвал ее из моего сердца, вырвал раз навсегда, в тот самый вечер — помнишь? Если ты видел меня рыдающим над ее портретом, то из этого еще не следует, что я желаю простить ее. Я не простил и тогда. Я плакал о потерянном счастии, о тщетной мечте, но не о *ней*, как она теперь. Я, может быть, и часто плачу; я не стыжусь в этом признаться, так же как и не стыжусь признаться, что любил прежде дитя мое больше всего на свете. Всё это, по-видимому, противоречит моей теперешней выходке. Ты можешь сказать мне: если так, если вы равнодушны к судьбе той, которую уже не считаете вашей дочерью, то для чего же вы вмешиваетесь в то, что там теперь затевается? Отвечаю: во-первых, для того, что не хочу дать восторжествовать низкому и коварному человеку, а во-вторых, из чувства самого обыкновенного человеколюбия. Если она мне уже не дочь, то она все-таки слабое, незащищенное и обманутое существо, которое обманывают еще больше, чтоб погубить окончательно. Ввязаться в дело прямо я не могу, а косвенно, дуэлью, могу. Если меня убьют или прольют мою кровь, неужели она перешагнет через наш барьер, а может быть, через мой труп и пойдет с сыном моего убийцы к венцу, как дочь того царя

(помнишь, у нас была книжка, по которой ты учился читать), которая переехала через труп своего отца в колеснице?[*] Да и, наконец, если пойдет на дуэль, так князья-то наши и сами свадьбы не захотят. Одним словом, я не хочу этого брака и употреблю все усилия, чтоб его не было. Понял меня теперь?

— Нет. Если вы желаете Наташе добра, то каким образом вы решаетесь помешать ее браку, то есть именно тому, что может восстановить ее доброе имя? Ведь ей еще долго жить на свете; ей нужно доброе имя.

— А плевать на все светские мнения, вот как она должна думать! Она должна сознать, что главнейший позор заключается для нее в этом браке, именно в связи с этими подлыми людьми, с этим жалким светом. Благородная гордость — вот ответ ее свету. Тогда, — может быть, и я соглашусь протянуть ей руку, и увидим, кто тогда осмелится опозорить дитя мое!

Такой отчаянный идеализм изумил меня. Но я тотчас догадался, что он был сам не в себе и говорил сгоряча.

— Это слишком идеально, — отвечал я ему, — следственно, жестоко. Вы требуете от нее силы, которой, может быть, вы не дали ей при рождении. И разве она соглашается на брак потому, что хочет быть княгиней? Ведь она любит; ведь это страсть, это фатум. И наконец: вы требуете от нес презрения к светскому мнению, а сами перед ним преклоняетесь. Князь вас обидел, публично заподозрил вас в низком побуждении обманом породниться с его княжеским домом, и вот вы теперь рассуждаете: если она сама откажет им теперь, после формального предложения с их стороны, то, разумеется, это будет самым полным и явным опровержением прежней клеветы. Вот вы чего добиваетесь, вы преклоняетесь перед мнением самого князя, вы добиваетесь, чтоб он сам сознался в своей ошибке. Вас тянет осмеять его, отметить ему, и для этого вы жертвуете счастьем дочери. Разве это не эгоизм?

Старик сидел мрачный и нахмуренный и долго не отвечал ни слова.

— Ты несправедлив ко мне, Ваня, — проговорил он наконец, и слеза заблистала на его ресницах, — клянусь тебе, несправедлив, но оставим это! Я не могу выворотить перед тобой мое сердце, — продолжал он, приподнимаясь и берясь за шляпу, — одно скажу: ты заговорил сейчас о счастье дочери. Я решительно и буквально не верю

этому счастью, кроме того, что этот брак и без моего вмешательства никогда не состоится.

— Как так! Почему вы думаете? Вы, может быть, знаете что-нибудь? — вскричал я с любопытством.

— Нет, особенного ничего не знаю. Но эта проклятая лисица не могла решиться на такое дело. Всё это вздор, одни козни. Я уверен в этом, и помяни мое слово, что так и сбудется. Во-вторых: если б этот брак и сбылся, то есть в таком только случае, если у того подлеца есть свой особый, таинственный, никому не известный расчет, по которому этот брак ему выгоден, — расчет, которого я решительно не понимаю, то реши сам, спроси свое собственное сердце: будет ли она счастлива в этом браке? Попреки, унижения, подруга мальчишки, который уж и теперь тяготится ее любовью, а как женится — тотчас же начнет ее не уважать, обижать, унижать; в то же время сила страсти с ее стороны, по мере охлаждения с другой; ревность, муки, ад, развод, может быть, само преступление… нет, Ваня! Если вы там это стряпаете, а ты еще помогаешь, то, предрекаю тебе, дашь ответ богу, но уж будет поздно! Прощай!

Я остановил его.

— Послушайте, Николай Сергеич, решим так: подождем. Будьте уверены, что не одни глаза смотрят за этим делом, и, может быть, оно разрешится самым лучшим образом, само собою, без насильственных и искусственных разрешений, как например эта дуэль. Время — самый лучший разрешитель! А наконец, позвольте вам сказать, что весь ваш проект совершенно невозможен. Неужели ж вы могли хоть одну минуту думать, что князь примет ваш вызов?

— Как не примет? Что ты, опомнись!

— Клянусь вам, не примет, и поверьте, что найдет отговорку совершенно достаточную; сделает всё это с педантскою важностью, а между тем вы будете совершенно осмеяны…

— Помилуй, братец, помилуй! Ты меня просто сразил после этого! Да как же это он не примет? Нет, Ваня, ты просто какой-то поэт; именно, настоящий поэт! Да что ж, по-твоему, неприлично, что ль, со мной драться? Я не хуже его. Я старик, оскорбленный отец; ты — русский литератор, и потому лицо тоже почетное, можешь быть секундантом и… и… Я уж и не понимаю, чего ж тебе еще надобно…

— Вот увидите. Он такие предлоги подведет, что вы сами, вы,

первый, найдете, что вам с ним драться — в высшей степени невозможно.

— Гм… хорошо, друг мой, пусть будет по-твоему! Я пережду, до известного времени, разумеется. Посмотрим, что сделает время. Но вот что, друг мой: дай мне честное слово, что ни там, ни Анне Андреевне ты не объявишь нашего разговора?

— Даю.

— Второе, Ваня, сделай милость, не начинай больше никогда со мной говорить об этом.

— Хорошо, даю слово.

— И, наконец, еще просьба: я знаю, мой милый, тебе у нас, может быть, и скучно, но ходи к нам почаще, если только можешь. Моя бедная Анна Андреевна так тебя любит и… и… так без тебя скучает… понимаешь, Ваня?

И он крепко сжал мою руку. Я от всего сердца дал ему обещание.

— А теперь, Ваня, последнее щекотливое дело: есть у тебя деньги?

— Деньги! — повторил я с удивлением.

— Да (и старик покраснел и опустил глаза); смотрю я, брат, на твою квартиру… на твои обстоятельства… и как подумаю, что у тебя могут быть другие экстренные траты (и именно теперь могут быть), то… вот, брат, сто пятьдесят рублей, на первый случай…

— Сто пятьдесят, да еще на *первый случай*, тогда как вы сами проиграли тяжбу!

— Ваня, ты, как я вижу, меня совсем не понимаешь! Могут быть *экстренные* надобности, пойми это. В иных случаях деньги способствуют независимости положения, независимости решения. Может быть, тебе теперь и не нужно, но не надо ль на что-нибудь в будущем? Во всяком случае, я у тебя их оставлю. Это всё, что я мог собрать. Не истратишь, так воротишь. А теперь прощай! Боже мой, какой ты бледный! Да ты весь больной…

Я не возражал и взял деньги. Слишком ясно было, на что он их оставлял у меня.

— Я едва стою на ногах, — отвечал я ему.

— Не пренебрегай этим, Ваня, голубчик, не пренебрегай! Сегодня никуда не ходи. Анне Андреевне так и скажу, в каком ты положении. Не надо ли доктора? Завтра навещу тебя; по крайней мере всеми силами постараюсь, если только сам буду ноги таскать. А теперь лег бы ты…

Ну, прощай. Прощай, девочка; отворотилась! Слушай, друг мой! Вот еще пять рублей; это девочке. Ты, впрочем, ей не говори, что я дал, а так, просто истрать на нее, ну там башмачонки какие-нибудь, белье… мало ль что понадобится! Прощай, друг мой…

Я проводил его до ворот. Мне нужно было попросить дворника сходить за кушаньем. Елена до сих пор не обедала…

Глава XI

Но только что я воротился к себе, голова моя закружилась, и я упал посреди комнаты. Помню только крик Елены: она всплеснула руками и бросилась ко мне поддержать меня. Это было последнее мгновение, уцелевшее в моей памяти…

Помню потом себя уже на постели. Елена рассказывала мне впоследствии, что она вместе с дворником, принесшим в это время нам кушанье, перенесла меня на диван. Несколько раз я просыпался и каждый раз видел склонившееся надо мной сострадательное, заботливое личико Елены. Но всё это я помню как сквозь сон, как в тумане, и милый образ бедной девочки мелькал передо мной среди забытья, как виденье, как картинка; она подносила мне пить, оправляла меня на постели или сидела передо мной, грустная, испуганная, и приглаживала своими пальчиками мои волосы. Один раз вспоминаю ее тихий поцелуй на моем лице. В другой раз, вдруг очнувшись ночью, при свете нагоревшей свечи, стоявшей передо мной на придвинутом к дивану столике, я увидел, что Елена прилегла лицом на мою подушку и пугливо спала, полураскрыв свои бледные губки и приложив ладонь к своей теплой щечке. Но очнулся я хорошо уже только рано утром. Свеча догорела вся; яркий, розовый луч начинавшейся зари уже играл на стене. Елена сидела на стуле перед столом и, склонив свою усталую головку на левую руку, улегшуюся на столе, крепко спала, и, помню, я загляделся на ее детское личико, полное и во сне как-то не детски грустного выражения и какой-то странной, болезненной красоты; бледное, с длинными ресницами на худеньких щеках, обрамленное черными как смоль волосами, густо и тяжело ниспадавшими небрежно завязанным узлом на сторону. Другая рука ее лежала на моей подушке. Я тихо-тихо поцеловал эту худенькую ручку, но бедное дитя не

проснулось, только как будто улыбка проскользнула на ее бледных губках. Я смотрел-смотрел на нее и тихо заснул покойным, целительным сном. В этот раз я проспал чуть не до полудня. Проснувшись, я почувствовал себя почти выздоровевшим. Только слабость и тягость во всех членах свидетельствовали о недавней болезни. Подобные нервные и быстрые припадки бывали со мною и прежде; я знал их хорошо. Болезнь обыкновенно почти совсем проходила в сутки, что, впрочем, не мешало ей действовать в эти сутки сурово и круто.

Был уже почти полдень. Первое, что я увидел, это протянутые в углу, на снурке, занавесы, купленные мною вчера. Распорядилась Елена и отмежевала себе в комнате особый уголок. Она сидела перед печкой и кипятила чайник. Заметив, что я проснулся, она весело улыбнулась и тотчас же подошла ко мне.

— Друг ты мой, — сказал я, взяв ее за руку, — ты целую ночь за мной смотрела. Я не знал, что ты такая добрая.

— А вы почему знаете, что я за вами смотрела; может быть, я всю ночь проспала? — спросила она, смотря на меня с добродушным и стыдливым лукавством и в то же время застенчиво краснея от своих слов.

— Я просыпался и видел всё. Ты заснула только перед рассветом…

— Хотите чаю? — перебила она, как бы затрудняясь продолжать этот разговор, что бывает со всеми целомудренными и сурово честными сердцами, когда об них им же заговорят с похвалою.

— Хочу, — отвечал я. — Но обедала ли ты вчера?

— Не обедала, а ужинала. Дворник принес. Вы, впрочем, не разговаривайте, а лежите покойно: вы еще не совсем здоровы, — прибавила она, поднося мне чаю и садясь на мою постель.

— Какое лежите! До сумерек, впрочем, буду лежать, а там пойду со двора. Непременно надо, Леночка.

— Ну, уж и надо! К кому вы пойдете? Уж не к вчерашнему ли гостю?

— Нет, не к нему.

— Вот и хорошо, что не к нему. Это он вас расстроил вчера. Так к его дочери?

— А ты почему знаешь про его дочь?

— Я всё вчера слышала, — отвечала она потупившись. Лицо ее

нахмурилось. Брови сдвинулись над глазами.

— Он дурной старик, — прибавила она потом.

— Разве ты знаешь его? Напротив, он очень добрый человек.

— Нет, нет; он злой; я слышала, — отвечала она с увлечением.

— Да что же ты слышала?

— Он свою дочь не хочет простить…

— Но он любит ее. Она перед ним виновата, а он об ней заботится, мучается.

— А зачем не прощает? Теперь, как простит, дочь и не шла бы к нему.

— Как так? Почему же?

— Потому что он не стоит, чтоб его дочь любила, — отвечала она с жаром. — Пусть она уйдет от него навсегда и лучше пусть милостыню просит, а он пусть видит, что дочь просит милостыню, да мучается.

Глаза ее сверкали, щечки загорелись. «Верно, она неспроста так говорит», — подумал я про себя.

— Это вы меня к нему-то в дом хотели отдать? — прибавила она, помолчав.

— Да, Елена.

— Нет, я лучше в служанки наймусь.

— Ах, как не хорошо это всё, что ты говоришь, Леночка. И какой вздор: ну к кому ты можешь наняться?

— Ко всякому мужику, — нетерпеливо отвечала она, всё более и более потупляясь. Она была приметно вспыльчива.

— Да мужику и не надо такой работницы, — сказал я усмехаясь.

— Ну к господам.

— С твоим ли характером жить у господ?

— С моим. — Чем более раздражалась она, тем отрывистее отвечала.

— Да ты не выдержишь.

— Выдержу. Меня будут бранить, а я буду нарочно молчать. Меня будут бить, а я буду всё молчать, всё молчать, пусть бьют, ни за что не заплачу. Им же хуже будет от злости, что я не плачу.

— Что ты; Елена! Сколько в тебе озлобления; и гордая ты какая! Много, знать, ты видала горя…

Я встал и подошел к моему большому столу. Елена осталась на диване, задумчиво смотря в землю, и пальчиками щипала покромку.

Она молчала. «Рассердилась, что ли, она на мои слова?» — думал я.

Стоя у стола, я машинально развернул вчерашние книги, взятые мною для компиляции, и мало-помалу завлекся чтением. Со мной это часто случается: подойду, разверну книгу на минутку справиться и зачитаюсь так, что забуду всё.

— Что вы тут всё пишете? — с робкой улыбкой спросила Елена, тихонько подойдя к столу.

— А так, Леночка, всякую всячину. За это мне деньги дают.

— Просьбы?

— Нет, не просьбы. — И я объяснил ей сколько мог, что описываю разные истории про разных людей: из этого выходят книги, которые называются повестями и романами. Она слушала с большим любопытством.

— Что же, вы тут всё правду описываете?

— Нет, выдумываю.

— Зачем же вы неправду пишете?

— А вот прочти, вот видишь, вот эту книжку; ты уж раз ее смотрела. Ты ведь умеешь читать?

— Умею.

— Ну вот и увидишь. Эту книжку я написал.

— Вы? прочту…

Ей что-то очень хотелось мне сказать, но она, очевидно, затруднялась и была в большом волнении. Под ее вопросами что-то крылось.

— А вам много за это платят? — спросила она наконец.

— Да как случится. Иногда много, а иногда и ничего нет, потому что работа не работается. Эта работа трудная, Леночка.

— Так вы не богатый?

— Нет, не богатый.

— Так я буду работать и вам помогать…

Она быстро взглянула на меня, вспыхнула, опустила глаза и, ступив ко мне два шага, вдруг обхватила меня обеими руками, а лицом крепко-крепко прижалась к моей груди. Я с изумлением смотрел на нее.

— Я вас люблю… я не гордая, — проговорила она. — Вы сказали вчера, что я гордая. Нет, нет… я не такая… я вас люблю. Вы только один меня любите…

Но уже слезы задушали ее. Минуту спустя они вырвались из ее

груди с такою силою, как вчера во время припадка. Она упала передо мной на колени, целовала мои руки, ноги…

— Вы любите меня!.. — повторяла она, — вы только один, один!..

Она судорожно сжимала мои колени своими руками. Всё чувство ее, сдерживаемое столько времени, вдруг разом вырвалось наружу в неудержимом порыве, и мне стало понятно это странное упорство сердца, целомудренно, таящего себя до времени и тем упорнее, тем суровее, чем сильнее потребность излить себя, высказаться, и всё это до того неизбежного порыва, когда всё существо вдруг до самозабвения отдается этой потребности любви, благодарности, ласкам, слезам…

Она рыдала до того, что с ней сделалась истерика. Насилу я развел ее руки, обхватившие меня. Я поднял ее и отнес на диван. Долго еще она рыдала, укрыв лицо в подушки, как будто стыдясь смотреть на меня, но крепко стиснув мою руку в своей маленькой ручке и не отнимая ее от своего сердца.

Мало-помалу она утихла, но всё еще не подымала ко мне своего лица. Раза два, мельком, ее глаза скользнули по моему лицу, и в них было столько мягкости и какого-то пугливого и снова прятавшегося чувства. Наконец она покраснела и улыбнулась.

— Легче ли тебе? — спросил я, — чувствительная ты моя Леночка, больное ты мое дитя?

— Не Леночка, нет… — прошептала она, всё еще пряча от меня свое личико.

— Не Леночка? Как же?

— Нелли.

— Нелли? Почему же непременно Нелли? Пожалуй, это очень хорошенькое имя. Так я тебя и буду звать, коли ты сама хочешь.

— Так меня мамаша звала… И никто так меня не звал, никогда, кроме нее… И я не хотела сама, чтоб меня кто звал так, кроме мамаши… А вы зовите; я хочу… Я вас буду всегда любить, всегда любить…

«Любящее и гордое сердечко, — подумал я, — а как долго надо мне было заслужить, чтоб ты для меня стала… Нелли». Но теперь я уже знал, что ее сердце предано мне навеки.

— Нелли, послушай, — спросил я, как только она успокоилась. — Ты вот говоришь, что тебя любила только одна мамаша и никто больше. А разве твой дедушка и вправду не любил тебя?

— Не любил…

— А ведь ты плакала здесь о нем, помнишь, на лестнице.

Она на минуту задумалась.

— Нет, не любил… Он был злой. — И какое-то больное чувство выдавилось на ее лице.

— Да ведь с него нельзя было и спрашивать, Нелли. Он, кажется, совсем уже выжил из ума. Он и умер как безумный. Ведь я тебе рассказывал, как он умер.

— Да; но он только в последний месяц стал совсем забываться. Сидит, бывало, здесь целый день, и, если б я не приходила к нему, он бы и другой, и третий день так сидел, не пивши, не евши. А прежде он был гораздо лучше.

— Когда же прежде?

— Когда еще мамаша не умирала.

— Стало быть, это ты ему приносила пить и есть, Нелли?

— Да, и я приносила.

— Где ж ты брала, у Бубновой?

— Нет, я никогда ничего не брала у Бубновой, — настойчиво проговорила она каким-то вздрогнувшим голосом.

— Где же ты брала, ведь у тебя ничего не было? Нелли помолчала и страшно побледнела; потом долгим-долгим взглядом посмотрела на меня.

— Я на улицу милостыню ходила просить… Напрошу пять копеек, и куплю ему хлеба и табаку нюхального…

— И он позволял! Нелли! Нелли!

— Я сначала сама пошла и ему не сказала. А он, как узнал, потом уж сам стал меня прогонять просить. Я стою на мосту, прошу у прохожих, а он ходит около моста, дожидается; и как увидит, что мне дали, так и бросится на меня и отнимет деньги, точно я утаить от него хочу, не для него собираю.

Говоря это, она улыбнулась какою-то едкою, горькою улыбкою.

— Это всё было, когда мамаша умерла, — прибавила она. — Тут он уж совсем стал как безумный.

— Стало быть, он очень любил твою мамашу? Как же он не жил с нею?

— Нет, не любил… Он был злой и ее не прощал… как вчерашний злой старик, — проговорила она тихо, совсем почти шепотом и бледнея

всё больше и больше.

Я вздрогнул. Завязка целого романа так и блеснула в моем воображении. Эта бедная женщина, умирающая в подвале у гробовщика, сиротка дочь ее, навещавшая изредка дедушку, проклявшего ее мать; обезумевший чудак старик, умирающий в кондитерской после смерти своей собаки!..

— А ведь Азорка-то был прежде маменькин, — сказала вдруг Нелли, улыбаясь какому-то воспоминанию. — Дедушка очень любил прежде маменьку, и когда мамаша ушла от него, у него и остался мамашин Азорка. Оттого-то он и любил так Азорку… Мамашу не простил, а когда собака умерла, так сам умер, — сурово прибавила Нелли, и улыбка исчезла с лица ее.

— Нелли, кто ж он был такой прежде? — спросил я, подождав немного.

— Он был прежде богатый… Я не знаю, кто он был, — отвечала она. — У него был какой-то завод… Так мамаша мне говорила. Она сначала думала, что я маленькая, и всего мне не говорила. Всё, бывало, целует меня, а сама говорит: всё узнаешь; придет время, узнаешь, бедная, несчастная! И всё меня бедной и несчастной звала. И когда ночью, бывало, думает, что я сплю (а я нарочно, не сплю, притворюсь, что сплю), она всё плачет надо мной, целует меня и говорит: бедная, несчастная!

— Отчего же умерла твоя мамаша?

— От чахотки; теперь шесть недель будет.

— А ты помнишь, когда дедушка был богат?

— Да ведь я еще тогда не родилась. Мамаша еще прежде, чем я родилась, ушла от дедушки.

— С кем же ушла?

— Не знаю, — отвечала Нелли, тихо и как бы задумываясь. — Она за границу ушла, а я там и родилась.

— За границей? Где же?

— В Швейцарии. Я везде была, и в Италии была, и в Париже была. Я удивился.

— И ты помнишь, Нелли?

— Многое помню.

— Как же ты так хорошо по-русски знаешь, Нелли?

— Мамаша меня еще и там учила по-русски. Она была русская,

потому что ее мать была русская, а дедушка был англичанин, но тоже как русский. А как мы сюда с мамашей воротились полтора года назад, я и научилась совсем. Мамаша была уже тогда больная. Тут мы стали всё беднее и беднее. Мамаша всё плакала. Она сначала долго отыскивала в Петербурге дедушку и всё говорила, что перед ним виновата, и всё плакала… Так плакала, так плакала! А как узнала, что дедушка бедный, то еще больше плакала. Она к нему и письма часто писала, он всё не отвечал.

— Зачем же мамаша воротилась сюда? Только к отцу?

— Не знаю. А там нам так хорошо было жить, — и глаза Нелли засверкали. — Мамаша жила одна, со мной. У ней был один друг, добрый, как вы… Он ее еще здесь знал. Но он там умер, мамаша и воротилась…

— Так с ним-то мамаша твоя и ушла от дедушки?

— Нет, не с ним. Мамаша ушла с другим от дедушки, а тот ее и оставил…

— С кем же, Нелли?

Нелли взглянула на меня и ничего не отвечала. Она, очевидно, знала, с кем ушла ее мамаша и кто, вероятно, был и ее отец. Ей было тяжело даже и мне назвать его имя…

Я не хотел ее мучать расспросами. Это был характер странный, неровный и пылкий, но подавлявший в себе свои порывы; симпатичный, но замыкавшийся в гордость и недоступность. Всё время, как я ее знал, она, несмотря на то что любила меня всем сердцем своим, самою светлою и ясною любовью, почти наравне с своею умершею матерью, о которой даже не могла вспоминать без боли, — несмотря на то, она редко была со мной наружу и, кроме этого дня, редко чувствовала потребность говорить со мной о своем прошедшем; даже, напротив, как-то сурово таилась от меня. Но в этот день, в продолжение нескольких часов, среди мук и судорожных рыданий, прерывавших рассказ ее, она передала мне всё, что наиболее волновало и мучило ее в ее воспоминаниях, и никогда не забуду я этого страшного рассказа. Но главная история ее еще впереди…

Это была страшная история; это история покинутой женщины, пережившей свое счастье; больной, измученной и оставленной всеми; отвергнутой последним существом, на которое она могла надеяться, — отцом своим, оскорбленным когда-то ею и в свою очередь выжившим

из ума от нестерпимых страданий и унижений. Это история женщины, доведенной до отчаяния; ходившей с своею девочкой, которую она считала еще ребенком, по холодным, грязным петербургским улицам и просившей милостыню; женщины, умиравшей потом целые месяцы в сыром подвале и которой отец отказывал в прощении до последней минуты ее жизни и только в последнюю минуту опомнившийся и прибежавший простить ее, но уже заставший один холодный труп вместо той, которую любил больше всего на свете. Это был странный рассказ о таинственных, даже едва понятных отношениях выжившего из ума старика с его маленькой внучкой, уже понимавшей его, уже понимавшей, несмотря на свое детство, многое из того, до чего не развивается иной в целые годы своей обеспеченной и гладкой жизни. Мрачная это была история, одна из тех мрачных и мучительных историй, которые так часто и неприметно, почти таинственно, сбываются под тяжелым петербургским небом, в темных, потаенных закоулках огромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступлений, среди всего этого кромешного ада бессмысленной и ненормальной жизни… Но эта история еще впереди…

Часть третья

Глава I

Давно уже наступили сумерки, настал вечер, и только тогда я очнулся от мрачного кошмара и вспомнил о настоящем.

— Нелли, — сказал я, — вот ты теперь больна, расстроена, а я должен тебя оставить одну, взволнованную и в слезах. Друг мой! Прости меня и узнай, что тут есть тоже одно любимое и непрощенное существо, несчастное, оскорбленное и покинутое. Она ждет меня. Да и меня самого влечет теперь после твоего рассказа так, что я, кажется, не перенесу, если не увижу ее сейчас, сию минуту….

Не знаю, поняла ли Нелли всё, что я ей говорил. Я был взволнован и от рассказа и от недавней болезни; но я бросился к Наташе. Было уже поздно, час девятый, когда я вошел к ней.

Еще на улице, у ворот дома, в котором жила Наташа, я заметил коляску, и мне показалось, что это коляска князя. Вход к Наташе был со двора. Только что я стал входить на лестницу, я заслышал перед собой, одним всходом выше, человека, взбиравшегося ощупью, осторожно, очевидно незнакомого с местностью. Мне вообразилось, что это должен быть князь; но вскоре я стал разуверяться. Незнакомец, взбираясь наверх, ворчал и проклинал дорогу и всё сильнее и энергичнее, чем выше он подымался. Конечно, лестница была узкая, грязная, крутая, никогда не освещенная; но таких ругательств, какие начались в третьем этаже, я бы никак не мог приписать князю: взбиравшийся господин ругался, как извозчик. Но с третьего этажа начался свет; у Наташиных дверей горел маленький фонарь. У самой двери я нагнал моего незнакомца, и каково же было мое изумление, когда я узнал в нем князя. Кажется, ему чрезвычайно было неприятно так нечаянно столкнуться со мною. Первое мгновение он не узнал меня; но вдруг всё лицо его преобразилось. Первый, злобный и ненавистный взгляд его на меня сделался вдруг приветливым и веселым, и он с какою-то необыкновенною радостью протянул мне обе руки.

— Ах, это вы! А я только что хотел было стать на колена и молить бога о спасении моей жизни. Слышали, как я ругался?

И он захохотал простодушнейшим образом. Но вдруг лицо его приняло серьезное и заботливое выражение.

— И Алеша мог поместить Наталью Николаевну в такой квартире! — сказал он, покачивая головою. — Вот эти-то так называемые *мелочи* и обозначают человека. Я боюсь за него. Он добр, у него благородное сердце, но вот вам пример: любит без памяти, а помещает ту, которую любит, в такой конуре. Я даже слышал, что иногда хлеба не было, — прибавил он шепотом, отыскивая ручку колокольчика. — У меня голова трещит, когда подумаю о его будущности, а главное, о будущности *Анны* Николаевны, когда она будет его женой…

Он ошибся именем и не заметил того, с явною досадою не находя колокольчика. Но колокольчика и не было. Я подергал ручку замка, и Мавра тотчас же нам отворила, суетливо встречая нас. В кухне, отделявшейся от крошечной передней деревянной перегородкой, сквозь отворенную дверь заметны были некоторые приготовления: всё было как-то не по-всегдашнему, вытерто и вычищено; в печи горел огонь; на столе стояла какая-то новая посуда. Видно было, что нас ждали. Мавра бросилась снимать наши пальто.

— Алеша здесь? — спросил я ее.

— Не бывал, — шепнула она мне как-то таинственно.

Мы вошли к Наташе. В ее комнате не было никаких особенных приготовлений; всё было по-старому. Впрочем, у нее всегда было всё так чисто и мило, что нечего было и прибирать. Наташа встретила нас, стоя перед дверью. Я поражен был болезненной худобой и чрезвычайной бледностью ее лица, хотя румянец и блеснул на одно мгновение на ее помертвевших щеках. Глаза были лихорадочные. Она молча и торопливо протянула князю руку, приметно суетясь и теряясь. На меня же она и не взглянула. Я стоял и ждал молча.

— Вот и я! — дружески и весело заговорил князь, — только несколько часов как воротился. Всё это время вы не выходили из моего ума (он нежно поцеловал ее руку), — и сколько, сколько я передумал о вас! Сколько выдумал вам сказать, передать… Ну, да мы наговоримся! Во-первых, мой ветрогон, которого, я вижу, еще здесь нет…

— Позвольте, князь, — перебила его Наташа, покраснев и смешавшись, — мне надо сказать два слова Ивану Петровичу. Ваня, пойдем… два слова…

Она схватила меня за руку и повела за ширмы.

— Ваня, — сказала она шепотом, заведя меня в самый темный угол, — простишь ты меня или нет?

— Наташа, полно, что ты!

— Нет, нет, Ваня, ты слишком часто и слишком много прощал мне, но ведь есть же конец всякому терпению. Ты меня никогда не разлюбишь, я знаю, но ты меня назовешь неблагодарною, а я вчера и третьего дня была пред тобой неблагодарная, эгоистка, жестокая…

Она вдруг залилась слезами и прижалась лицом к моему плечу.

— Полно, Наташа, — спешил я разуверить ее. — Ведь я был очень болен всю ночь: даже и теперь едва стою на ногах, оттого и не заходил ни вечером вчера, ни сегодня, а ты и думаешь, что я рассердился… Друг ты мой дорогой, да разве я не знаю, что теперь в твоей душе делается?

— Ну и хорошо… значит, простил, как всегда, — сказала она, улыбаясь сквозь слезы и сжимая до боли мою руку. — Остальное после. Много надо сказать тебе, Ваня. А теперь к нему…

— Поскорей, Наташа; мы так его вдруг оставили…

— Вот ты увидишь, увидишь, что будет, — наскоро шепнула она мне. — Я теперь знаю всё, всё угадала. Виноват всему *он.* Этот вечер много решит. Пойдем!

Я не понял, но спросить было некогда. Наташа вышла к князю с светлым лицом. Он всё еще стоял со шляпой в руках. Она весело перед ним извинилась, взяла у него шляпу, сама придвинула ему стул, и мы втроем уселись кругом ее столика.

— Я начал о моем ветренике, — продолжал князь, — я видел его только одну минуту и то на улице, когда он садился ехать к графине Зинаиде Федоровне. Он ужасно спешил и, представьте, даже не хотел встать, чтоб войти со мной в комнаты после четырех дней разлуки. И, кажется, я в том виноват, Наталья Николаевна, что он теперь не у вас и что мы пришли прежде него; я воспользовался случаем, и так как сам не мог быть сегодня у графини, то дал ему одно поручение. Но он явится сию минуту.

— Он вам наверно обещал приехать сегодня? — спросила Наташа с самым простодушным видом, смотря на князя.

— Ах, боже мой, еще бы он не приехал; как это вы спрашиваете! — воскликнул он с удивлением, всматриваясь в нее. — Впрочем, понимаю: вы на него сердитесь. Действительно, как будто дурно с его стороны

прийти всех позже. Но, повторяю, виноват в этом я. Не сердитесь и на него. Он легкомысленный, ветреник; я его не защищаю, но некоторые особенные обстоятельства требуют, чтоб он не только не оставлял теперь дома графини и некоторых других связей, но, напротив, как можно чаще являлся туда. Ну, а так как он, вероятно, не выходит теперь от вас и забыл всё на свете, то, пожалуйста, не сердитесь, если я буду иногда брать его часа на два, не больше, по моим поручениям. Я уверен, что он еще ни разу не был у княгини К. с того вечера, и так досадую, что не успел давеча расспросить его!..

Я взглянул на Наташу. Она слушала князя с легкой полунасмешливой улыбкой. Но он говорил так прямо, так натурально. Казалось, не было возможности в чем-нибудь подозревать его.

— И вы вправду не знали, что он у меня во все эти дни ни разу не был? — спросила Наташа тихим и спокойным голосом, как будто говоря о самом обыкновенном для нее происшествии.

— Как! Ни разу не был? Позвольте, что вы говорите! — сказал князь, по-видимому в чрезвычайном изумлении.

— Вы были у меня во вторник, поздно вечером; на другое утро он заезжал ко мне на полчаса, и с тех пор я его не видала ни разу.

— Но это невероятно! (Он изумлялся всё более и более). Я именно думал, что он не выходит от вас. Извините, это так странно… просто невероятно.

— Но, однако ж, верно, и как жаль: я нарочно ждала вас, думала от вас-то и узнать, где он находится?

— Ах, боже мой! Да ведь он сейчас же будет здесь! Но то, что вы мне сказали, меня до того поразило, что я… признаюсь, я всего ожидал от него, но этого… этого!

— Как вы изумляетесь! А я так думала, что вы не только не станете изумляться, но даже заранее знали, что так и будет.

— Знал! Я? Но уверяю же вас, Наталья Николаевна, что видел его только одну минуту сегодня и больше никого об нем не расспрашивал; и мне странно, что вы мне как будто не верите, — продолжал он, оглядывая нас обоих.

— Сохрани бог, — подхватила Наташа, — совершенно уверена, что вы сказали правду.

И она засмеялась снова, прямо в глаза князю, так, что его как будто передернуло.

— Объяснитесь, — сказал он в замешательстве.

— Да тут нечего и объяснять. Я говорю очень просто. Вы ведь знаете, какой он ветреный, забывчивый. Ну вот, как ему дана теперь полная свобода, он и увлекся.

— Но так увлекаться невозможно, тут что-нибудь да есть, и только что он приедет, я заставлю его объяснить это дело. Но более всего меня удивляет, что вы как будто и меня в чем-то обвиняете, тогда как меня даже здесь и не было. А впрочем, Наталья Николаевна, я вижу, вы на него очень сердитесь, — и это понятно! Вы имеете на то все права, и… и… разумеется, я первый виноват, ну хоть потому только, что я первый подвернулся; не правда ли? — продолжал он, обращаясь ко мне с раздражительною усмешкою.

Наташа вспыхнула.

— Позвольте, Наталья Николаевна, — продолжал он с достоинством, — соглашаюсь, что я виноват, но только в том, что уехал на другой день после нашего знакомства, так что вы, при некоторой мнительности, которую я замечаю в вашем характере, уже успели изменить обо мне ваше мнение, тем более что тому способствовали обстоятельства. Не уезжал бы я — вы бы меня узнали лучше, да и Алеша не ветреничал бы под моим надзором. Сегодня же вы услышите, что я наговорю ему.

— То есть сделаете, что он мною начнет тяготиться. Невозможно, чтоб, при вашем уме, вы вправду думали, что такое средство мне поможет.

— Так уж не хотите ли вы намекнуть, что я нарочно хочу так устроить, чтоб он вами тяготился? Вы обижаете меня, Наталья Николаевна.

— Я стараюсь как можно меньше употреблять намеков, с кем бы я ни говорила, — отвечала Наташа, — напротив, всегда стараюсь говорить как можно прямее, и вы, может быть, сегодня же убедитесь в этом. Обижать я вас не хочу, да и незачем, хоть уж потому только, что вы моими словами не обидитесь, что бы я вам ни сказала. В этом я совершенно уверена, потому что совершенно понимаю наши взаимные отношения: ведь вы на них не можете смотреть серьезно, не правда ли? Но если я в самом деле вас обидела, то готова просить прощения, чтоб исполнить перед вами все обязанности… гостеприимства.

Несмотря на легкий и даже шутливый тон, с которым Наташа

произнесла эту фразу, со смехом на губах, никогда еще я не видал ее до такой степени раздраженною. Теперь только я понял, до чего наболело у нее в сердце в эти три дня. Загадочные слова ее, что она уже всё знает и обо всем догадалась, испугали меня; они прямо относились к князю. Она изменила о нем свое мнение и смотрела на него как на своего врага, — это было очевидно. Она, видимо, приписывала его влиянию все свои неудачи с Алешей и, может быть, имела на это какие-нибудь данные. Я боялся между ними внезапной сцены. Шутливый тон ее был слишком обнаружен, слишком не закрыт. Последние же слова ее князю о том, что он не может смотреть на их отношения серьезно, фраза об извинении по обязанности гостеприимства, ее обещание, в виде угрозы, доказать ему в этот же вечер, что она умеет говорить прямо, — всё это было до такой степени язвительно и немаскировано, что не было возможности, чтоб князь не понял всего этого. Я видел, что он изменился в лице, но он умел владеть собою. Он тотчас же показал вид, что не заметил этих слов, не понял их настоящего смысла, и, разумеется, отделался шуткой.

— Боже меня сохрани требовать извинений! — подхватил он смеясь. — Я вовсе не того хотел, да и не в моих правилах требовать извинения от женщины. Еще в первое наше свидание я отчасти предупредил вас о моем характере, а потому вы, вероятно, не рассердитесь на меня за одно замечание, тем более что оно будет вообще о всех женщинах; вы тоже, вероятно, согласитесь с этим замечанием, — продолжал он, с любезностью обращаясь ко мне. — Именно, я заметил, в женском характере есть такая черта, что если, например, женщина в чем виновата, то скорей она согласится потом, впоследствии, загладить свою вину тысячью ласк, чем в настоящую минуту, во время самой очевидной улики в проступке, сознаться в нем и попросить прощения. Итак, если только предположить, что я вами обижен, то теперь, в настоящую минуту, я нарочно не хочу извинения; мне выгоднее будет впоследствии, когда вы сознаете вашу ошибку и захотите ее загладить перед мной… тысячью ласк. А вы так добры, так чисты, свежи, так наружу, что минута, когда вы будете раскаиваться, предчувствую это, будет очаровательна. Л лучше, вместо извинения, скажите мне теперь, не могу ли я сегодня же чем-нибудь доказать вам, что я гораздо искреннее и прямее поступаю с вами, чем вы обо мне думаете?

Наташа покраснела. Мне тоже показалось, что в ответе князя слышится какой-то уж слишком легкий, даже небрежный тон, какая-то нескромная шутливость.

— Вы хотите мне доказать, что вы со мной прямы и простодушны? — спросила Наташа, с вызывающим видом смотря на него.

— Да.

— Если так, исполните мою просьбу.

— Заранее даю слово.

— Вот она: ни одним словом, ни одним намеком обо мне не беспокоить Алешу ни сегодня, ни завтра. Ни одного упрека за то, что он забыл меня; ни одного наставления. Я именно хочу встретить его так, как будто ничего между нами не было, чтоб он и заметить ничего не мог. Мне это надо. Дадите вы мне такое слово?

— С величайшим удовольствием, — отвечал князь, — и позвольте мне прибавить от всей души, что я редко в ком встречал более благоразумного и ясного взгляда на такие дела… Но вот, кажется, и Алеша.

Действительно, в передней послышался шум. Наташа вздрогнула и как будто к чему-то приготовилась. Князь сидел с серьезною миною и ожидал, что-то будет; он пристально следил на Наташей. Но дверь отворилась, и к нам влетел Алеша.

Глава II

Он именно влетел с каким-то сияющим лицом, радостный, веселый. Видно было, что он весело и счастливо провел эти четыре дня. На нем как будто написано было, что он хотел нам что-то сообщить.

— Вот и я! — провозгласил он на всю комнату. — Тот, которому бы надо быть раньше всех. Но сейчас узнаете всё, всё всё! Давеча, папаша, мы с тобой двух слов не успели сказать, а мне много надо было сказать тебе. Это он мне только в добрые свои минуты позволяет говорить себе: *ты,* — прервал он, обращаясь ко мне, — ей-богу, в иное время запрещает! И какая у него является тактика: начинает сам говорить мне *вы.* Но с этого дня я хочу, чтоб у него всегда были добрые минуты, и сделаю так! Вообще я весь переменился в эти четыре дня,

совершенно, совершенно переменился и всё вам расскажу. Но это впереди. А главное теперь: вот она! вот она! опять! Наташа, голубчик, здравствуй, ангел ты мой! — говорил он, усаживаясь подле нее и жадно целуя ее руку, — тосковал-то я по тебе в эти дни! Но что хочешь — не мог! Управиться не мог. Милая ты моя! Как будто ты похудела немножко, бледненькая стала какая…

Он в восторге покрывал ее руки поцелуями, жадно смотрел на нее своими прекрасными глазами, как будто не мог наглядеться. Я взглянул на Наташу и по лицу ее угадал, что у нас были одни мысли: он был вполне невинен. Да и когда, как этот *невинный* мог бы сделаться виноватым? Яркий румянец прилил вдруг к бледным щекам Наташи, точно вся кровь, собравшаяся в ее сердце, отхлынула вдруг в голову. Глаза ее засверкали, и она гордо взглянула на князя.

— Но где же… ты был… столько дней? — проговорила она сдержанным и прерывающимся голосом. Она тяжело и неровно дышала. Боже мой, как она любила его!

— То-то и есть, что я в самом деле как будто виноват перед тобой; да что: *как будто!* разумеется, виноват, и сам это знаю, и приехал с тем, что знаю. Катя вчера и сегодня говорила мне, что не может женщина простить такую небрежность (ведь она всё знает, что было у нас здесь во вторник; я на другой же день рассказал). Я с ней спорил, доказывал ей, говорил, что эта женщина называется *Наташа* и что во всем свете, может быть, только одна есть равная ей: это Катя; и я приехал сюда, разумеется зная, что я выиграл в споре. Разве такой ангел, как ты, может не простить? «Не был, стало быть, непременно что-нибудь помешало, а не то что разлюбил», — вот как будет думать моя Наташа! Да и как тебя разлюбить? Разве возможно? Всё сердце наболело у меня по тебе. Но я все-таки виноват! А когда узнаешь всё, меня же первая оправдаешь! Сейчас всё расскажу, мне надобно излить душу пред всеми вами; с тем и приехал. Хотел было сегодня (было полминутки свободной) залететь к тебе, чтоб поцеловать тебя на лету, но и тут неудача: Катя немедленно потребовала к себе по важнейшим делам. Это еще до того времени, когда я на дрожках сидел, папа, и ты меня видел; это я другой раз, по другой записке к Кате тогда ехал. У нас ведь теперь целые дни скороходы с записками из дома в дом бегают. Иван Петрович, вашу записку я только вчера ночью успел прочесть, и вы совершенно правы во всем, что вы там написали. Но что же делать: физическая

невозможность! Так и подумал: завтра вечером во всем оправдаюсь; потому что уж сегодня вечером невозможно мне было не приехать к тебе, Наташа.

— Какая это записка? — спросила Наташа.

— Он у меня был, не застал, разумеется, и сильно разругал в письме, которое мне оставил, за то, что к тебе не хожу. И он совершенно прав. Это было вчера.

Наташа взглянула на меня.

— Но если у тебя доставало времени бывать с утра до вечера у Катерины Федоровны… — начал было князь.

— Знаю, знаю, что ты скажешь, — перебил Алеша: — «Если мог быть у Кати, то у тебя должно быть вдвое причин быть здесь». Совершенно с тобой согласен и даже прибавлю от себя: не вдвое причин, а в миллион больше причин! Но, во-первых, бывают же странные, неожиданные события в жизни, которые всё перемешивают и ставят вверх дном. Ну, вот и со мной случились такие события. Говорю же я, что в эти дни я совершенно изменился, весь до конца ногтей; стало быть, были же важные обстоятельства!

— Ах, боже мой, да что же с тобой было! Не томи, пожалуйста! — вскричала Наташа, улыбаясь на горячку Алеши.

В самом деле, он был немного смешон: он торопился; слова вылетали у него быстро, часто, без порядка, какой-то стукотней. Ему всё хотелось говорить, говорить, рассказать. Но, рассказывая, он все-таки не покидал руки Наташи и беспрерывно подносил ее к губам, как будто не мог нацеловаться.

— В том-то и дело, что со мной было, — продолжал Алеша. — Ах, друзья мои! Что я видел, что делал, каких людей узнал! Во-первых, Катя: это такое совершенство! Я ее совсем, совсем не знал до сих пор! И тогда, во вторник, когда я говорил тебе об ней, Наташа, — помнишь, я еще с таким восторгом говорил, ну, так и тогда даже я ее совсем почти не знал. Она сама таилась от меня до самого теперешнего времени. Но теперь мы совершенно узнали друг друга. Мы с ней уж теперь на *ты.* Но начну сначала: во-первых, Наташа, если б ты могла только слышать, что она говорила мне про тебя, когда я на другой день, в среду, рассказал ей, что здесь между нами было… А кстати: припоминаю, каким я был глупцом перед тобой, когда я приехал к тебе тогда утром, в среду! Ты встречаешь меня с восторгом, ты вся проникнута новым

положением нашим, ты хочешь говорить со мной обо всем этом; ты грустна и в то же время шалишь и играешь со мной, а я — такого солидного человека из себя корчу! О глупец! Глупец! Ведь, ей-богу же, мне хотелось порисоваться, похвастаться, что я скоро буду мужем, солидным человеком, и нашел же перед кем хвастаться, — перед тобой! Ах, как, должно быть, ты тогда надо мной смеялась и как я стоил твоей насмешки!

Князь сидел молча и с какой-то торжествующе иронической улыбкой смотрел на Алешу. Точно он рад был, что сын выказывает себя с такой легкомысленной и даже смешной точки зрения. Весь этот вечер я прилежно наблюдал его и совершенно убедился, что он вовсе не любит сына, хотя и говорили про слишком горячую отцовскую любовь его.

— После тебя я поехал к Кате, — сыпал свой рассказ Алеша. — Я уже сказал, что мы только в это утро совершенно узнали друг друга, и странно как-то это произошло… не помню даже… Несколько горячих слов, несколько ощущений, мыслей, прямо высказанных, и мы — сблизились навеки. Ты должна, должна узнать ее, Наташа! Как она рассказала, как она растолковала мне тебя! Как объяснила мне, какое ты сокровище для меня! Мало-помалу она объяснила мне все свои идеи и свой взгляд на жизнь; это такая серьезная, такая восторженная девушка! Она говорила о долге, о назначении нашем, о том, что мы все должны служить человечеству, и так как мы совершенно сошлись, в какие-нибудь пять-шесть часов разговора, то кончили тем, что поклялись друг другу в вечной дружбе и в том, что во всю жизнь нашу будем действовать вместе!

— В чем же действовать? — с удивлением спросил князь.

— Я так изменился, отец, что всё это, конечно, должно удивлять тебя; даже заранее предчувствую все твои возражения, — отвечал торжественно Алеша. — Все вы люди практические, у вас столько выжитых правил, серьезных, строгих; на всё новое, на всё молодое, свежее вы смотрите недоверчиво, враждебно, насмешливо. Но теперь уж я не тот, каким ты знал меня несколько дней тому назад. Я другой! Я смело смотрю в глаза всему и всем на свете. Если я знаю, что мое убеждение справедливо, я преследую его до последней крайности; и если я не собьюсь с дороги, то я честный человек. С меня довольно. Говорите после того, что хотите, я в себе уверен.

— Ого! — сказал князь насмешливо.

Наташа с беспокойством оглядела нас. Она боялась за Алешу. Ему часто случалось очень невыгодно для себя увлекаться в разговоре, и она знала это. Ей не хотелось, чтоб Алеша выказал себя с смешной стороны перед нами и особенно перед отцом.

— Что ты, Алеша! Ведь это уж философия какая-то, — сказала она, — тебя, верно, кто-нибудь научил… ты бы лучше рассказывал.

— Да я и рассказываю! — вскричал Алеша. — Вот видишь: у Кати есть два дальние родственника, какие-то кузены, Левенька и Боренька, один студент, а другой просто молодой человек. Она с ними имеет сношения, а те — просто необыкновенные люди! К графине они почти не ходят, по принципу. Когда мы говорили с Катей о назначении человека, о призвании и обо всем этом, она указала мне на них и немедленно дала мне к ним записку; я тотчас же полетел с ними знакомиться. В тот же вечер мы сошлись совершенно. Там было человек двенадцать разного народу — студентов, офицеров, художников; был один писатель… они все вас знают, Иван Петрович, то есть читали ваши сочинения и много ждут от вас в будущем. Так они мне сами сказали. Я говорил им, что с вами знаком, и обещал им вас познакомить с ними. Все они приняли меня по-братски, с распростертыми объятиями. Я с первого же разу сказал им, что буду скоро женатый человек; так они и принимали меня за женатого человека. Живут они в пятом этаже, под крышами; собираются как можно чаще, но преимущественно по средам, к Левеньке и Бореньке. Это всё молодежь свежая; все они с пламенной любовью ко всему человечеству; все мы говорили о нашем настоящем, будущем, о науках, о литературе и говорили так хорошо, так прямо и просто… Туда тоже ходит один гимназист. Как они обращаются между собой, как они благородны! Я не видал еще до сих пор таких! Где я бывал до сих пор? Что я видал? На чем я вырос? Одна ты только, Наташа, и говорила мне что-нибудь в этом роде. Ах, Наташа, ты непременно должна познакомиться с ними; Катя уже знакома. Они говорят об ней чуть не с благоговением, и Катя уже говорила Левеньке и Бореньке, что когда она войдет в права над своим состоянием, то непременно тотчас же пожертвует миллион на общественную пользу.

— И распорядителями этого миллиона, верно, будут Левенька и Боренька и их вся компания? — спросил князь.

— Неправда, неправда; стыдно, отец, так говорить! — с жаром

вскричал Алеша, — я подозреваю твою мысль! А об этом миллионе действительно был у нас разговор, и долго решали: как его употребить? Решили наконец, что прежде всего на общественное просвещение…

— Да, я действительно не совсем знал до сих пор Катерину Федоровну, — заметил князь как бы про себя, всё с той же насмешливой улыбкой. — Я, впрочем, многого от нее ожидал, но этого…

— Чего этого! — прервал Алеша, — что тебе так странно? Что это выходит несколько из вашего порядка? Что никто до сих пор не жертвовал миллиона, а она пожертвует? Это, что ли? Но, что ж, если она не хочет жить на чужой счет; потому что жить этими миллионами значит жить на чужой счет (я только теперь это узнал). Она хочет быть полезна отечеству и всем и принесть на общую пользу свою лепту. Про лепту-то еще мы в прописях читали, а как эта лепта запахла миллионом, так уж тут и не то? И на чем держится всё это хваленое благоразумие, в которое я так верил! Что ты так смотришь на меня, отец? Точно ты видишь перед собой шута, дурачка! Ну, что ж что дурачок! Послушала бы ты, Наташа, что говорила об этом Катя: «Не ум главное, а то, что направляет его, — натура, сердце, благородные свойства, развитие». Но главное, на этот счет есть гениальное выражение Безмыгина. Безмыгин — это знакомый Левеньки и Бореньки и, между нами, голова, и действительно гениальная голова! Не далее как вчера он сказал к разговору: дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак! Какова правда! Такие изречения у него поминутно. Он сыплет истинами.

— Действительно гениально! — заметил князь.

— Ты всё смеешься. Но ведь я от тебя ничего никогда не слыхал такого; и от всего вашего общества тоже никогда не слыхал. У вас, напротив, всё это как-то прячут, всё бы пониже к земле, чтоб все росты, все носы выходили непременно по каким-то меркам, по каким-то правилам — точно это возможно! Точно это не в тысячу раз невозможнее, чем то, об чем мы говорим и что думаем. А еще называют нас утопистами! Послушал бы ты, как они мне вчера говорили…

— Но что же, об чем вы говорите и думаете? Расскажи, Алеша, я до сих пор как-то не понимаю, — сказала Наташа.

— Вообще обо всем, что ведет к прогрессу, к гуманности, к любви; всё это говорится по поводу современных вопросов. Мы говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о современных деятелях; мы их разбираем, читаем. Но главное, мы дали

друг другу слово быть совершенно между собой откровенными и прямо говорить друг другу всё о самих себе, не стесняясь. Только откровенность, только прямота могут достигнуть цели. Об этом особенно старается Безмыгин. Я рассказал об этом Кате, и она совершенно сочувствует Безмыгину. И потому мы все, под руководством Безмыгина, дали себе слово действовать честно и прямо всю жизнь, и что бы ни говорили о нас, как бы ни судили о нас, — не смущаться ничем, не стыдиться нашей восторженности, наших увлечений, наших ошибок и идти напрямки. Коли ты хочешь, чтоб тебя уважали, во-первых и главное, уважай сам себя; только этим, только самоуважением ты заставишь и других уважать себя. Это говорит Безмыгин, и Катя совершенно с ним согласна. Вообще мы теперь уговариваемся в наших убеждениях и положили заниматься изучением самих себя порознь, а все вместе толковать друг другу друг друга…

— Что за галиматья! — вскричал князь с беспокойством, — и кто этот Безмыгин? Нет, это так оставить нельзя…

— Чего нельзя оставить? — подхватил Алеша, — слушай, отец, почему я говорю всё это теперь, при тебе? Потому что хочу и надеюсь ввести и тебя в наш круг. Я дал уже там и за тебя слово. Ты смеешься, ну, я так и знал, что ты будешь смеяться! Но выслушай! Ты добр, благороден; ты поймешь. Ведь ты не знаешь, ты не видал никогда этих людей, не слыхал их самих. Положим, что ты обо всем этом слышал, всё изучил, ты ужасно учен; но самих-то их ты не видал, у них не был, а потому как же ты можешь судить о них верно! Ты только воображаешь, что знаешь. Нет, ты побудь у них, послушай их и тогда, — и тогда я даю слово за тебя, что ты будешь наш! А главное, я хочу употребить все средства, чтоб спасти тебя от гибели в твоем обществе, к которому ты так прилепился, и от твоих убеждений.

Князь молча и с ядовитейшей насмешкой выслушал эту выходку; злость была в лице его. Наташа следила за ним с нескрываемым отвращением. Он видел это, но показывал, что не замечает. Но как только Алеша кончил, князь вдруг разразился смехом. Он даже упал на спинку стула, как будто был не в силах сдержать себя. Но смех этот был решительно выделанный. Слишком заметно было, что он смеялся единственно для того, чтоб как можно сильнее обидеть и унизить своего сына. Алеша действительно огорчился; всё лицо его изобразило чрезвычайную грусть. Но он терпеливо переждал, когда кончится

веселость отца.

— Отец, — начал он грустно, — для чего же ты смеешься надо мной? Я шел к тебе прямо и откровенно. Если, по твоему мнению, я говорю глупости, вразуми меня, а не смейся надо мною. Да и над чем смеяться? Над тем, что для меня теперь свято, благородно? Ну, пусть я заблуждаюсь, пусть это всё неверно, ошибочно, пусть я дурачок, как ты несколько раз называл меня; но если я и заблуждаюсь, то искренно, честно; я не потерял своего благородства. Я восторгаюсь высокими идеями. Пусть они ошибочны, но основание их свято. Я ведь сказал тебе, что ты и все ваши ничего еще не сказали мне такого же, что направило бы меня, увлекло бы за собой. Опровергни их, скажи мне что-нибудь лучше ихнего, и я пойду за тобой, но не смейся надо мной, потому что это очень огорчает меня.

Алеша произнес это чрезвычайно благородно и с каким-то строгим достоинством. Наташа с сочувствием следила за ним. Князь даже с удивлением выслушал сына и тотчас же переменил свой тон.

— Я вовсе не хотел оскорбить тебя, друг мой, — отвечал он, — напротив, я о тебе сожалею. Ты приготовляешься к такому шагу в жизни, при котором пора бы уже перестать быть таким легкомысленным мальчиком. Вот моя мысль. Я смеялся невольно и совсем не хотел оскорблять тебя.

— Почему же так показалось мне? — продолжал Алеша с горьким чувством. — Почему уже давно мне кажется, что ты смотришь на меня враждебно, с холодной насмешкой, а не как отец на сына? Почему мне кажется, что если б я был на твоем месте, я б не осмеял так оскорбительно своего сына, как ты теперь меня. Послушай: объяснимся откровенно, сейчас, навсегда, так, чтоб уж не оставалось больше никаких недоумений. И… я хочу говорить всю правду: когда я вошел сюда, мне показалось, что и здесь произошло какое-то недоумение; не так как-то ожидал я вас встретить здесь вместе. Так или нет? Если так, то не лучше ли каждому высказать свои чувства? Сколько зла можно устранить откровенностью!

— Говори, говори, Алеша! — сказал князь. — То, что ты предлагаешь нам, очень умно. Может быть, с этого и надо было начать, — прибавил он, взглянув на Наташу.

— Не рассердись же за полную мою откровенность, — начал Алеша, — ты сам ее хочешь, сам вызываешь. Слушай. Ты согласился на

мой брак с Наташей; ты дал нам это счастье и для этого победил себя самого. Ты был великодушен, и мы все оценили твой благородный поступок. Но почему же теперь ты с какой-то радостью беспрерывно намекаешь мне, что я еще смешной мальчик и вовсе не гожусь быть мужем; мало того, ты как будто хочешь осмеять, унизить, даже как будто очернить меня в глазах Наташи. Ты очень рад всегда, когда можешь хоть чем-нибудь меня выказать с смешной стороны; это я заметил не теперь, а уже давно. Как будто ты именно стараешься для чего-то доказать нам, что брак наш смешон, нелеп и что мы не пара. Право, как будто ты сам не веришь в то, что для нас предназначаешь; как будто смотришь на всё это как на шутку, на забавную выдумку, на какой-то смешной водевиль… Я ведь не из сегодняшних только слов твоих это вывожу. Я в тот же вечер, во вторник же, как воротился к тебе отсюда, слышал от тебя несколько странных выражений, изумивших, даже огорчивших меня. И в среду, уезжая, ты тоже сделал несколько каких-то намеков на наше теперешнее положение, сказал и о ней — не оскорбительно, напротив, но как-то не так, как бы я хотел слышать от тебя, как-то слишком легко, как-то без любви, без такого уважения к ней… Это трудно рассказать, но тон ясен; сердце слышит. Скажи же мне, что я ошибаюсь. Разуверь меня, ободри меня и… и ее, потому что ты и ее огорчил. Я это угадал с первого же взгляда, как вошел сюда…

Алеша высказал это с жаром и с твердостью. Наташа с какою-то торжественностью его слушала и вся в волнении, с пылающим лицом, раза два проговорила про себя в продолжение его речи: «Да, да, это так!» Князь смутился.

— Друг мой, — отвечал он, — я, конечно, не могу припомнить всего, что говорил тебе; но очень странно, если ты принял мои слова в такую сторону. Готов разуверить тебя всем, чем только могу. Если я теперь смеялся, то и это понятно. Скажу тебе, что моим смехом я даже хотел прикрыть мое горькое чувство. Когда соображу теперь, что ты скоро собираешься быть мужем, то это мне теперь кажется совершенно несбыточным, нелепым, извини меня, даже смешным. Ты меня укоряешь за этот смех, а я говорю, что всё это через тебя. Винюсь и я: может быть, я сам мало следил за тобой в последнее время и потому только теперь, в этот вечер, узнал, на что ты можешь быть способен. Теперь уже я трепещу, когда подумаю о твоей будущности с Натальей Николаевной: я поторопился; я вижу, что вы очень несходны между

собою. Всякая любовь проходит, а несходство навсегда остается. Я уж и не говорю о твоей судьбе, но подумай, если только в тебе честные намерения, вместе с собой ты губишь и Наталью Николаевну, решительно губишь! Вот ты говорил теперь целый час о любви к человечеству, о благородстве убеждений, о благородных людях, с которыми познакомился; а спроси Ивана Петровича, что говорил я ему давеча, когда мы поднялись в четвертый этаж, по здешней отвратительной лестнице, и оставались здесь у дверей, благодаря бога за спасение наших жизней и ног? Знаешь ли, какая мысль мне невольно тотчас же пришла в голову? Я удивился, как мог ты, при такой любви к Наталье Николаевне, терпеть, чтоб она жила в такой квартире? Как ты не догадался, что если не имеешь средств, если не имеешь способностей исполнять свои обязанности, то не имеешь права и быть мужем, не имеешь права брать на себя никаких обязательств. Одной любви мало; любовь оказывается делами; а ты как рассуждаешь: «Хоть и страдай со мной, но живи со мной», — ведь это не гуманно, это не благородно! Говорить о всеобщей любви, восторгаться общечеловеческими вопросами и в то же время делать преступления против любви и не замечать их — непонятно! Не перебивайте меня, Наталья Николаевна, дайте мне кончить; мне слишком горько, и я должен высказаться. Ты говорил, Алеша, что в эти дни увлекался всем, что благородно, прекрасно, честно, и укорял меня, что в нашем обществе нет таких увлечений, а только одно сухое благоразумие. Посмотри же: увлекаться высоким и прекрасным и после того, что было здесь во вторник, четыре дня пренебрегать тою, которая, кажется бы, должна быть для тебя дороже всего на свете! Ты даже признался о твоем споре с Катериной Федоровной, что Наталья Николаевна так любит тебя, так великодушна, что простит тебе твой проступок. Но какое право ты имеешь рассчитывать на такое прощение и предлагать об этом пари? И неужели ты ни разу не подумал, сколько горьких мыслей, сколько сомнений, подозрений послал ты в эти дни Наталье Николаевне? Неужели, потому что ты там увлекся какими-то новыми идеями, ты имел право пренебречь самою первейшею своею обязанностью? Простите меня, Наталья Николаевна, что я изменил моему слову. Но теперешнее дело серьезнее этого слова: вы сами поймете это… Знаешь ли ты, Алеша, что я застал Наталью Николаевну среди таких страданий, что понятно, в какой ад ты обратил для нее эти четыре дня, которые, напротив, должны

бы быть лучшими днями ее жизни. Такие поступки, с одной стороны, и — слова, слова и слова — с другой… неужели я не прав. И ты можешь после этого обвинять меня, когда сам кругом виноват?

Князь кончил. Он даже увлекся своим красноречием и не мог скрыть от нас своего торжества. Когда Алеша услышал о страданиях Наташи, то с болезненной тоской взглянул на нее, но Наташа уже решилась.

— Полно, Алеша, не тоскуй, — сказала она, — другие виноватее тебя. Садись и выслушай, что я скажу сейчас твоему отцу. Пора кончить!

— Объяснитесь, Наталья Николаевна, — подхватил князь, — убедительно прошу вас! Я уже два часа слышу об этом загадки. Это становится невыносимо, и, признаюсь, не такой ожидал я здесь встречи.

— Может быть; потому что думали очаровать нас словами, так что мы и не заметим ваших тайных намерений. Что вам объяснять! Вы сами всё знаете и всё понимаете. Алеша прав. Самое первое желание ваше— разлучить нас. Вы заранее почти наизусть знали всё, что здесь случится, после того вечера, во вторник, и рассчитали всё как по пальцам. Я уже сказала вам, что вы смотрите и на меня и на сватовство, вами затеянное, не серьезно. Вы шутите с нами; вы играете и имеете вам известную цель. Игра ваша верная. Алеша был прав, когда укорял вас, что вы смотрите на всё это как на водевиль. Вы бы, напротив, должны были радоваться, а не упрекать Алешу, потому что он, не зная ничего, исполнил всё, что вы от него ожидали; может быть, даже и больше.

Я остолбенел от изумления. Я и ожидал, что в этот вечер случится какая-нибудь катастрофа. Но слишком резкая откровенность Наташи и нескрываемый презрительный тон ее слов изумили меня до последней крайности. Стало быть, она действительно что-то знала, думал я, и безотлагательно решилась на разрыв. Может быть, даже с нетерпением ждала князя, чтобы разом всё прямо в глаза ему высказать. Князь слегка побледнел. Лицо Алеши изображало наивный страх и томительное ожидание.

— Вспомните, в чем вы меня сейчас обвинили! — вскричал князь, — и хоть немножко обдумайте ваши слова… я ничего не понимаю.

— А! Так вы не хотите понять с двух слов, — сказала Наташа, — даже он, даже вот Алеша вас понял так же, как и я, а мы с ним не

сговаривались, — даже не видались! И ему тоже показалось, что вы играете с нами недостойную, оскорбительную игру, а он любит вас и верит в вас, как в божество. Вы не считали за нужное быть с ним поосторожнее, похитрее; рассчитывали, что он не догадается. Но у него чуткое, нежное, впечатлительное сердце, и ваши слова, ваш *тон,* как он говорит, у него остались на сердце…

— Ничего, ничего не понимаю! — повторил князь, с видом величайшего изумления обращаясь ко мне, точно брал меня в свидетели. Он был раздражен и разгорячился. — Вы мнительны, вы в тревоге, — продолжал он, обращаясь к ней, — просто-запросто вы ревнуете к Катерине Федоровне и потому готовы обвинить весь свет и меня первого, и… и позвольте уж всё сказать: странное мнение можно получить о вашем характере… Я не привык к таким сценам; я бы ни минуты не остался здесь после этого, если б не интересы моего сына… Я всё еще жду, не благоволите ли вы объясниться?

— Так вы все-таки упрямитесь и не хотите понять с двух слов, несмотря на то что всё это наизусть знаете? Вы непременно хотите, чтоб я вам всё прямо высказала?

— Я только этого и добиваюсь.

— Хорошо же, слушайте же, — вскричала Наташа, сверкая глазами от гнева, — я выскажу всё, всё!

Глава III

Она встала и начала говорить стоя, не замечая того от волнения. Князь слушал, слушал и тоже встал с места. Вся сцена становилась слишком торжественною.

— Припомните сами свои слова во вторник, — начала Наташа. — Вы сказали: мне нужны деньги, торные дороги, значение в свете, — помните?

— Помню.

— Ну, так для того-то, чтобы добыть эти деньги, чтобы добиться всех этих успехов, которые у вас ускользали из рук, вы и приезжали сюда во вторник и выдумали это сватовство, считая, что эта шутка вам поможет поймать то, что от вас ускользало.

— Наташа, — вскричал я, — подумай, что ты говоришь!

— Шутка! Расчет! — повторял князь с видом крайне оскорбленного достоинства.

Алеша сидел убитый горем и смотрел, почти ничего не понимая.

— Да, да, не останавливайте меня, я поклялась всё высказать, — продолжала раздраженная Наташа. — Вы помните сами: Алеша не слушался вас. Целые полгода вы трудились над ним, чтоб отвлечь его от меня. Он не поддавался вам. И вдруг у вас настала минута, когда время уже не терпело. Упустить его, и невеста, деньги, главное — деньги, целых три миллиона приданого, ускользнут у вас из-под пальцев. Оставалось одно: чтоб Алеша полюбил ту, которую вы назначили ему в невесты; вы думали: если полюбит, то, может быть, и отстанет от меня…

— Наташа, Наташа! — с тоскою вскричал Алеша. — Что ты говоришь!

— Вы так и сделали, — продолжала она, не останавливаясь на крик Алеши, — но — и тут опять та же, прежняя история! Всё бы могло уладиться, да я-то опять мешаю! Одно только могло вам подать надежду: вы, как опытный и хитрый человек, может быть, уж и тогда заметили, что Алеша иногда как будто тяготится своей прежней привязанностью. Вы не могли не заметить, что он начинает мною пренебрегать, скучать, по пяти дней ко мне не ездит. Авось наскучит совсем и бросит, как вдруг, во вторник, решительный поступок Алеши поразил вас совершенно. Что вам делать!..

— Позвольте, — вскричал князь, — напротив, этот факт…

— Я говорю, — настойчиво перебила Наташа, — вы спросили себя в тот вечер: «Что теперь делать?» — и решили: позволить ему жениться на мне, не в самом деле, а только так, *на словах*, чтоб только его успокоить. Срок свадьбы, думали вы, можно отдалять сколько угодно; а между тем новая любовь началась; вы это заметили. И вот на этом-то начале новой любви вы всё и основали.

— Романы, романы, — произнес князь вполголоса, как будто про себя, — уединение, мечтательность и чтение романов!

— Да, на этой-то новой любви вы всё и основали, — повторила Наташа, не слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и всё более и более увлекаясь, — и какие шансы для этой новой любви! Ведь она началась еще тогда, когда он еще не узнал всех совершенств этой девушки! В ту самую минуту, когда он, в

тот вечер, открывается этой девушке, что не может ее любить, потому что долг и другая любовь запрещают ему, — эта девушка вдруг выказывает пред ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения, что он хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого мгновения, чтоб она была так прекрасна! Он и ко мне тогда приехал, — только и говорил, что о ней; она слишком поразила его. Да, он назавтра же непременно должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное существо, хоть из одной только благодарности. Да и почему ж к ней не ехать? Ведь та, прежняя, уже не страдает, судьба ее решена, ведь той целый век отдается, а тут одна какая-нибудь минутка… И что за неблагодарная была бы Наташа, если б она ревновала даже к этой минуте? И вот незаметно отнимается у этой Наташи, вместо минуты, день, другой, третий. А между тем в это время девушка выказывается перед ним в совершенно неожиданном, новом виде; она такая благородная, энтузиастка и в то же время такой наивный ребенок, и в этом так сходна с ним характером. Они клянутся друг другу в дружбе, в братстве, хотят не разлучаться всю жизнь. «*Вкакие-нибудь пять-шесть часов разговора*» вся душа его открывается для новых ощущений, и сердце его отдается всё… Придет наконец время, думаете вы, он сравнит свою прежнюю любовь с своими новыми, свежими ощущениями: там всё знакомое, всегдашнее; там так серьезны, требовательны; там его ревнуют, бранят; там слезы… А если и начинают с ним шалить, играть, то как будто не с ровней, а с ребенком… а главное: всё такое прежнее, известное…

Слезы и горькая спазма душили ее, но Наташа скрепилась еще на минуту.

— Что ж дальше? А дальше время; ведь не сейчас же назначена свадьба с Наташей; времени много, и всё изменится… А тут ваши слова, намеки, толкования, красноречие… Можно даже и поклеветать на эту досадную Наташу; можно выставить ее в таком невыгодном свете и… как это всё разрешится — неизвестно, но победа ваша! Алеша! Не вини меня, друг мой! Не говори, что я не понимаю твоей любви и мало ценю ее. Я ведь знаю, что ты и теперь любишь меня и что в эту минуту, может быть, и не понимаешь моих жалоб. Я знаю, что я очень-очень худо сделала, что теперь это всё высказала. Но что же мне делать, если я это всё понимаю и всё больше и больше люблю тебя… совсем… без

памяти!

Она закрыла лицо руками, упала в кресла и зарыдала как ребенок. Алеша с криком бросился к ней. Он никогда не мог видеть без слез ее слезы.

Ее рыдания, кажется, очень помогли князю: все увлечения Наташи в продолжение этого длинного объяснения, все резкости ее выходок против него, которыми уж из одного приличия надо было обидеться, всё это теперь, очевидно, можно было свести на безумный порыв ревности, на оскорбленную любовь, даже на болезнь. Даже следовало выказать сочувствие…

— Успокойтесь, утешьтесь, Наталья Николаевна, — утешал князь, — всё это исступление, мечты, уединение… Вы так были раздражены его легкомысленным поведением… Но ведь это только одно легкомыслие с его стороны. Самый главный факт, про который вы особенно упоминали, происшествие во вторник, скорей бы должно доказать вам всю безграничность его привязанности к вам, а вы, напротив, подумали…

— О, не говорите мне, не мучайте меня хоть теперь! — прервала Наташа, горько плача, — мне всё уже сказало сердце, и давно сказало! Неужели вы думаете, что я не понимаю, что прежняя любовь его вся прошла… Здесь, в этой комнате, одна… когда он оставлял, забывал меня… я всё это пережила… всё передумала… Что ж мне и делать было! Я тебя не виню, Алеша… Что вы меня обманываете? Неужели ж вы думаете, что я не пробовала сама себя обманывать!.. О, сколько раз, сколько раз! Разве я не вслушивалась в каждый звук его голоса? Разве я не научилась читать по его лицу, по его глазам?.. Всё, всё погибло, всё схоронено… О, я несчастная!

Алеша плакал перед ней на коленях.

— Да, да, это я виноват! Всё от меня!.. — повторял он среди рыданий.

— Нет, не вини себя, Алеша… тут есть другие… враги наши. Это они… они!

— Но позвольте же наконец, — начал князь с некоторым нетерпением, — на каком основании приписываете вы мне все эти… преступления? Ведь это одни только ваши догадки, ничем не доказанные…

— Доказательств! — вскричала Наташа, быстро приподымаясь с

кресел, — вам доказательств, коварный вы человек! Вы не могли, не могли действовать иначе, когда приходили сюда с вашим предложением! Вам надо было успокоить вашего сына, усыпить его угрызения, чтоб он свободнее и спокойнее отдался весь Кате; без этого он всё бы вспоминал обо мне, не поддавался бы вам, а вам наскучило дожидаться. Что, разве это неправда?

— Признаюсь, — отвечал князь с саркастической улыбкой, — если б я хотел вас обмануть, я бы действительно так рассчитал; вы очень… остроумны, но ведь это надобно доказать и тогда уже оскорблять людей такими упреками…

— Доказать! А ваше всё прежнее поведение, когда вы отбивали его от меня? Тот, который научает сына пренебрегать и играть такими обязанностями из-за светских выгод, из-за денег, — развращает его! Что вы говорили давеча о лестнице и о дурной квартире? Не вы ли отняли у него жалованье, которое прежде давали ему, чтоб принудить нас разойтись через нужду и голод? Через вас и эта квартира, и эта лестница, а вы же его теперь попрекаете, двуличный вы человек! И откуда у вас вдруг явился тогда, в тот вечер, такой жар, такие новые, вам не свойственные убеждения? И для чего я вам так понадобилась? Я ходила здесь эти четыре дня; я всё обдумала, всё взвесила, каждое слово ваше, выражение вашего лица и убедилась, что всё это было напускное, шутка, комедия, оскорбительная, низкая и недостойная… Я ведь знаю вас, давно знаю! Каждый раз, когда Алеша приезжал от вас, я по лицу его угадывала всё, что вы ему говорили, внушали; все влияния ваши на него изучила! Нет, вам не обмануть меня! Может быть, у вас есть и еще какие-нибудь расчеты, может быть, я и не самое главное теперь высказала; но всё равно! Вы меня обманывали — это главное! Это вам и надо было сказать прямо в лицо!..

— Только-то? Это все доказательства? Но подумайте, исступленная вы женщина: этой выходкой (как вы называете мое предложение во вторник) я слишком себя связывал. Это было бы слишком легкомысленно для меня.

— Чем, чем вы себя связывали? Что значит в ваших глазах обмануть меня? Да и что такое обида какой-то девушке! Ведь она несчастная беглянка, отверженная отцом, беззащитная, *замаравшая себя, безнравственная*! Стоит ли с ней церемониться, коли эта *шутка* может принесть хоть какую-нибудь, хоть самую маленькую выгоду!

— В какое же положение вы сами ставите себя, Наталья Николаевна, подумайте! Вы непременно настаиваете, что с моей стороны было вам оскорбление. Но ведь это оскорбление так важно, так унизительно, что я не понимаю, как можно даже предположить его, тем более настаивать на нем. Нужно быть уж слишком ко всему приученной, чтоб так легко допускать это, извините меня. Я вправе упрекать вас, потому что вы вооружаете против меня сына: если он не восстал теперь на меня за вас, то сердце его против меня…

— Нет, отец, нет, — вскричал Алеша, — если я не восстал на тебя, то верю, что ты не мог оскорбить, да и не могу я поверить, чтоб можно было так оскорблять!

— Слышите? — вскричал князь.

— Наташа, во всем виноват я, не обвиняй его. Это грешно и ужасно!

— Слышишь, Ваня? Он уж против меня! — вскричала Наташа.

— Довольно! — сказал князь, — надо кончить эту тяжелую сцену. Этот слепой и яростный порыв ревности вне всяких границ рисует ваш характер совершенно в новом для меня виде. Я предупрежден. Мы поторопились, действительно поторопились. Вы даже и не замечаете, как оскорбили меня; для вас это ничего. Поторопились… поторопились… конечно, слово мое должно быть свято, но… я отец и желаю счастья моему сыну…

— Вы отказываетесь от своего слова, — вскричала Наташа вне себя, — вы обрадовались случаю! Но знайте, что я сама, еще два дня тому, здесь, одна, решилась освободить его от его слова, а теперь подтверждаю при всех. Я отказываюсь!

— То есть, может быть, вы хотите воскресить в нем все прежние беспокойства, чувство долга, всю «тоску по своим обязанностям» (как вы сами давеча выразились), для того чтоб этим снова привязать его к себе по-старому. Ведь это выходит по вашей же теории; я потому так и говорю; но довольно; решит время. Я буду ждать минуты более спокойной, чтоб объясниться с вами. Надеюсь, мы не прерываем отношений наших окончательно. Надеюсь тоже, вы научитесь лучше ценить меня. Я еще сегодня хотел было вам сообщить мой проект насчет ваших родных, из которого бы вы увидали… но довольно! Иван Петрович! — прибавил он, подходя ко мне, — теперь более чем когда-нибудь мне будет драгоценно познакомиться с вами ближе, не говоря

уже о давнишнем желании моем. Надеюсь, вы поймете меня. На днях я буду у вас; вы позволите?

Я поклонился. Мне самому казалось, что теперь я уже не мог избежать его знакомства. Он пожал мне руку, молча поклонился Наташе и вышел с видом оскорбленного достоинства.

Глава IV

Несколько минут мы все не говорили ни слова. Наташа сидела задумавшись, грустная и убитая. Вся ее энергия вдруг ее оставила. Она смотрела прямо перед собой, ничего не видя, как бы забывшись и держа руку Алеши в своей руке. Тот тихо доплакивал свое горе, изредка взглядывая на нее с боязливым любопытством.

Наконец он робко начал утешать ее, умолял не сердиться, винил себя; видно было, что ему очень хотелось оправдать отца и что это особенно у него лежало на сердце; он несколько раз заговаривал об этом, но не смел ясно высказаться, боясь снова возбудить гнев Наташи. Он клялся ей во всегдашней, неизменной любви и с жаром оправдывался в своей привязанности к Кате; беспрерывно повторял, что он любит Катю только как сестру, как милую, добрую сестру, которую не может оставить совсем, что это было бы даже грубо и жестоко с его стороны, и всё уверял, что если Наташа узнает Катю, то они обе тотчас же подружатся, так что никогда не разойдутся, и тогда уже никаких не будет недоразумений. Эта мысль ему особенно нравилась. Бедняжка не лгал нисколько. Он не понимал опасений Наташи, да и вообще не понял хорошо, что она давеча говорила его отцу. Понял только, что они поссорились, и это-то особенно лежало камнем на его сердце.

— Ты меня винишь за отца? — спросила Наташа.

— Могу ль я винить, — отвечал он с горьким чувством, — когда сам всему причиной и во всем виноват? Это я довел тебя до такого гнева, а ты в гневе и его обвинила, потому что хотела меня оправдать; ты меня всегда оправдываешь, а я не стою того. Надо было сыскать виноватого, вот ты и подумала, что он. А он, право, право, не виноват! — воскликнул Алеша, одушевляясь. — И с тем ли он приезжал сюда! Того ли ожидал!

Но, видя, что Наташа смотрит на него с тоской и упреком, тотчас

оробел.

— Ну не буду, не буду, прости меня, — сказал он. — Я всему причиною!

— Да, Алеша, — продолжала она с тяжким чувством. — Теперь он прошел между нами и нарушил весь наш мир, на всю жизнь. Ты всегда в меня верил больше, чем во всех; теперь же он влил в твое сердце подозрение против меня, недоверие, ты винишь меня, он взял у меня половину твоего сердца. Черная *кошка* пробежала между нами.

— Не говори так, Наташа. Зачем ты говоришь: «черная кошка»? — Он огорчился выражением.

— Он фальшивою добротою, ложным великодушием привлек тебя к себе, — продолжала Наташа, — и теперь всё больше и больше будет восстановлять тебя против меня.

— Клянусь тебе, что нет! — вскричал Алеша еще с большим жаром. — Он был раздражен, когда сказал, что «поторопились», — ты увидишь сама, завтра же, на днях, он спохватится, и если он до того рассердился, что в самом деле не захочет нашего брака, то я, клянусь тебе, его не послушаюсь. У меня, может быть, достанет на это силы… И знаешь, кто нам поможет, — вскричал он вдруг с восторгом от своей идеи, — Катя нам поможет! И ты увидишь, ты увидишь, что за прекрасное это созданье! Ты увидишь, хочет ли она быть твоей соперницей и разлучить нас! И как ты несправедлива была давеча, когда говорила, что я из таких, которые могут разлюбить на другой день после свадьбы! Как это мне горько было слышать! Нет, я не такой, и если я часто ездил к Кате…

— Полно, Алеша, будь у ней, когда хочешь. Я не про то давеча говорила. Ты не понял всего. Будь счастлив с кем хочешь. Не могу же я требовать у твоего сердца больше, чем оно может мне дать…

Вошла Мавра.

— Что ж, подавать чай, что ли? Шутка ли, два часа самовар кипит; одиннадцать часов.

Она спросила грубо и сердито; видно было, что она очень не в духе и сердилась на Наташу. Дело в том, что она все эти дни, со вторника, была в таком восторге, что ее барышня (которую она очень любила) выходит замуж, что уже успела разгласить это по всему дому, в околодке, в лавочке, дворнику. Она хвалилась и с торжеством рассказывала, что князь важный человек, генерал и ужасно богатый, сам

приезжал просить согласия ее барышни, и она, Мавра, собственными ушами это слышала, и вдруг, теперь, всё пошло прахом. Князь уехал рассерженный, и чаю не подавали, и, уж разумеется, всему виновата барышня. Мавра слышала, как она говорила с ним непочтительно.

— Что ж… подай, — отвечала Наташа.

— Ну, а закуску-то подавать, что ли?

— Ну, и закуску, — Наташа смешалась.

— Готовили, готовили! — продолжала Мавра, — со вчерашнего дня без ног. За вином на Невский бегала, а тут… — И она вышла, сердито хлопнув дверью.

Наташа покраснела и как-то странно взглянула на меня. Между тем подали чай, тут же и закуску; была дичь, какая-то рыба, две бутылки превосходного вина от Елисеева. «К чему ж это все наготовили?» — подумал я.

— Это я, видишь, Ваня, вот какая, — сказала Наташа, подходя к столу и конфузясь даже передо мной. — Ведь предчувствовала, что всё это сегодня так выйдет, как вышло, а все-таки думала, что авось, может быть, и не так кончится. Алеша приедет, начнет мириться, мы помиримся; все мои подозрения окажутся несправедливыми, меня разуверят, и… на всякий случай я и приготовила закуску. Что ж, думала, мы заговоримся, засидимся…

Бедная Наташа! Она так покраснела, говоря это. Алеша пришел в восторг.

— Вот видишь, Наташа! — вскричал он. — Сама ты себе не верила; два часа тому назад еще не верила своим подозрениям! Нет, это надо всё поправить; я виноват, я всему причиной, я всё и поправлю. Наташа, позволь мне сейчас же к отцу! Мне надо его видеть; он обижен, он оскорблен; его надо утешить, я ему выскажу всё, всё от себя, только от одного себя; ты тут не будешь замешана. И я всё улажу… Не сердись на меня, что я так хочу к нему и что тебя хочу оставить. Совсем не то: мне жаль его; он оправдается перед тобой; увидишь… Завтра, чем свет, я у тебя, и весь день у тебя, к Кате не поеду…

Наташа его не останавливала, даже сама посоветовала ехать. Она ужасно боялась, что Алеша будет теперь нарочно, *через силу*, просиживать у нее целые дни и наскучит ею. Она просила только, чтоб он от ее имени ничего не говорил, и старалась повеселее улыбнуться ему на прощание. Он уже хотел было выйти, но вдруг подошел к ней,

взял ее за обе руки и сел подле нее. Он смотрел на нее с невыразимою нежностью.

— Наташа, друг мой, ангел мой, не сердись на меня, и не будем никогда ссориться. И дай мне слово, что будешь всегда во всем верить мне, а я тебе. Вот что, мой ангел, я тебе расскажу теперь: были мы раз с тобой в ссоре, не помню за что; я был виноват. Мы не говорили друг с другом. Мне не хотелось просить прощения первому, а было мне ужасно грустно. Я ходил по городу, слонялся везде, заходил к приятелям, а в сердце было так тяжело, так тяжело… И пришло мне тогда на ум: что если б ты, например, от чего-нибудь заболела и умерла. И когда я вообразил себе это, на меня вдруг нашло такое отчаяние, точно я в самом деле навеки потерял тебя. Мысли всё шли тяжелее, ужаснее. И вот мало-помалу я стал воображать себе, что пришел будто я к тебе на могилу, упал на нее без памяти, обнял ее и замер в тоске. Вообразил я себе, как бы я целовал эту могилу, звал бы тебя из нее, хоть на одну минуту, и молил бы у бога чуда, чтоб ты хоть на одно мгновение воскресла бы передо мною; представилось мне, как бы я бросился обнимать тебя, прижал бы к себе, целовал и, кажется, умер бы тут от блаженства, что хоть одно мгновение мог еще раз, как прежде, обнять тебя. И когда я воображал себе это, мне вдруг подумалось: вот я на одно мгновение буду просить тебя у бога, а между тем была же ты со мною шесть месяцев и в эти шесть месяцев сколько раз мы поссорились, сколько дней мы не говорили друг с другом! Целые дни мы были в ссоре и пренебрегали нашим счастьем, а тут только на одну минуту вызываю тебя из могилы и за эту минуту готов заплатить всею жизнью!.. Как вообразил я это всё, я не мог выдержать и бросился к тебе скорей, прибежал сюда, а ты уж ждала меня, и, когда мы обнялись после ссоры, помню, я так крепко прижал тебя к груди, как будто и в самом деле лишаюсь тебя. Наташа! не будем никогда ссориться! Это так мне всегда тяжело! И можно ли, господи! подумать, чтоб я мог оставить тебя!

Наташа плакала. Они крепко обнялись друг с другом, и Алеша еще раз поклялся ей, что никогда ее не оставит. Затем он полетел к отцу. Он был в твердой уверенности, что всё уладит, всё устроит.

— Всё кончено! Всё пропало! — сказала Наташа, судорожно сжав мою руку. — Он меня любит и никогда не разлюбит; но он и Катю любит и через несколько времени будет любить ее больше меня. А эта

ехидна князь не будет дремать, и тогда…

— Наташа! Я сам верю, что князь поступает не чисто, но…

— Ты не веришь всему, что я ему высказала! Я заметила это по твоему лицу. Но погоди, сам увидишь, права была я или нет? Я ведь еще только вообще говорила, а бог знает, что у него еще в мыслях! Это ужасный человек! Я ходила эти четыре дня здесь по комнате и догадалась обо всем. Ему именно надо было освободить, облегчить сердце Алеши от его грусти, мешавшей ему жить, от обязанностей любви ко мне. Он выдумал это сватовство и для того еще, чтоб втереться между нами своим влиянием и очаровать Алешу благородством и великодушием. Это правда, правда, Ваня! Алеша именно такого характера. Он бы успокоился на мой счет; тревога бы у него прошла за меня. Он бы думал: что ведь теперь уж она жена моя, навеки со мной, и невольно бы обратил больше внимания на Катю. Князь, видно, изучил эту Катю и угадал, что она пара ему, что она может его сильней увлечь, чем я. Ох, Ваня! На тебя вся моя надежда теперь: он для чего-то хочет с тобой сойтись, знакомиться. Не отвергай этого и старайся, голубчик, ради бога поскорее попасть к графине. Познакомься с этой Катей, разгляди ее лучше и скажи мне: что она такое? Мне надо, чтоб там был твой взгляд. Никто так меня не понимает, как ты, и ты поймешь, что мне надо. Разгляди еще, в какой степени они дружны, что между ними, об чем они говорят; Катю, Катю, главное рассмотри… Докажи мне еще это раз, милый, возлюбленный мой Ваня, докажи мне еще раз свою дружбу! На тебя, только на тебя теперь и надежда моя!..

……..

Когда я воротился домой, был уже первый час ночи. Нелли отворила мне с заспанным лицом. Она улыбнулась и светло посмотрела на меня. Бедняжка очень досадовала на себя, что заснула. Ей всё хотелось меня дождаться. Она сказала, что меня кто-то приходил спрашивать, сидел с ней и оставил на столе записку. Записка была от Маслобоева. Он звал меня к себе завтра, в первом часу. Мне хотелось расспросить Нелли, но я отложил до завтра, настаивая, чтоб она непременно шла спать; бедняжка и без того устала, ожидая меня, и заснула только за полчаса до моего прихода.

Глава V

Наутро Нелли рассказала мне про вчерашнее посещение довольно странные вещи. Впрочем, уж и то было странно, что Маслобоев вздумал в этот вечер прийти: он наверно знал, что я не буду дома; я сам предуведомил его об этом при последнем нашем свидании и очень хорошо это помнил. Нелли рассказывала, что сначала она было не хотела отпирать, потому что боялась: было уж восемь часов вечера. Но он упросил ее через запертую дверь, уверяя, что если он не оставит мне теперь записку, то завтра мне почему-то будет очень худо. Когда она его впустила, он тотчас же написал записку, подошел к ней и уселся подле нее на диване. «Я встала и не хотела с ним говорить, — рассказывала Нелли, — я его очень боялась; он начал говорить про Бубнову, как она теперь сердится, что она уж не смеет меня теперь взять, и начал вас хвалить; сказал, что он с вами большой друг и вас маленьким мальчиком знал. Тут я стала с ним говорить. Он вынул конфеты и просил, чтоб и я взяла; я не хотела; он стал меня уверять тогда, что он добрый человек, умеет петь песни и плясать; вскочил и начал плясать. Мне стало смешно. Потом сказал, что посидит еще немножко, — дождусь Ваню, авось воротится, — и очень просил меня, чтоб я не боялась и села подле него. Я села; но говорить с ним ничего не хотела. Тогда он сказал мне, что знал мамашу и дедушку и… тут я стала говорить. И он долго сидел».

— А об чем же вы говорили?

— О мамаше… о Бубновой… о дедушке. Он сидел часа два.

Нелли как будто не хотелось рассказывать, об чем они говорили. Я не расспрашивал, надеясь узнать всё от Маслобоева. Мне показалось только, что Маслобоев нарочно заходил без меня, чтоб застать Нелли одну. «Для чего ему это?» — подумал я.

Она показала мне три конфетки, которые он ей дал. Это были леденцы в зеленых и красных бумажках, прескверные и, вероятно, купленные в овощной лавочке. Нелли засмеялась, показывая мне их.

— Что ж ты их не ела? — спросил я.

— Не хочу, — отвечала она серьезно, нахмурив брови. — Я и не брала у него; он сам на диване оставил…

В этот день мне предстояло много ходьбы. Я стал прощаться с Нелли.

— Скучно тебе одной? — спросил я ее, уходя.

— И скучно и не скучно. Скучно потому, что вас долго нет.

И она с такою любовью взглянула на меня, сказав это. Всё это утро она смотрела на меня таким же нежным взглядом и казалась такою веселенькою, такою ласковою, и в то же время что-то стыдливое, даже робкое было в ней, как будто она боялась чем-нибудь досадить мне, потерять мою привязанность и… и слишком высказаться, точно стыдясь этого.

— А чем же не скучно-то? Ведь ты сказала, что тебе «и скучно и не скучно»? — спросил я, невольно улыбаясь ей, так становилась она мне мила и дорога.

— Уж я сама знаю чем, — отвечала она, усмехнувшись, и чего-то опять застыдилась. Мы говорили на пороге, у растворенной двери. Нелли стояла передо мной, потупив глазки, одной рукой схватившись за мое плечо, а другою пощипывая мне рукав сюртука.

— Что ж это, секрет? — спросил я.

— Нет… ничего… я — я вашу книжку без вас читать начала, — проговорила она вполголоса и, подняв на меня нежный, проницающий взгляд, вся закраснелась.

— А, вот как! Что ж, нравится тебе? — я был в замешательстве автора, которого похвалили в глаза, но я бы бог знает что дал, если б мог в эту минуту поцеловать ее. Но как-то нельзя было поцеловать. Нелли помолчала.

— Зачем, зачем он умер?* — спросила она с видом глубочайшей грусти, мельком взглянув на меня и вдруг опять опустив глаза,

— Кто это?

— Да вот этот, молодой, в чахотке… в книжке-то?

— Что ж делать, так надо было, Нелли.

— Совсем не надо, — отвечала она почти шепотом, но как-то вдруг, отрывисто, чуть не сердито, надув губки и еще упорнее уставившись глазами в пол.

Прошла еще минута.

— А она… ну, вот и они-то… девушка и старичок, — шептала она, продолжая как-то усиленнее пощипывать меня за рукав, — что ж, они будут жить вместе? И не будут бедные?*

— Нет, Нелли, она уедет далеко; выйдет замуж за помещика, а он один останется, — отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительнее.

— Ну, вот… Вот! Вот как это! У, какие!.. Я и читать теперь не

хочу!

И она сердито оттолкнула мою руку, быстро отвернулась от меня, ушла к столу и стала лицом к углу, глазами в землю. Она вся покраснела и неровно дышала, точно от какого-то ужасного огорчения.

— Полно, Нелли, ты рассердилась! — начал я, подходя к ней, — ведь это всё неправда, что написано, — выдумка; ну, чего ж тут сердиться! Чувствительная ты девочка!

— Я не сержусь, — проговорила она робко, подняв на меня такой светлый, такой любящий взгляд; потом вдруг схватила мою руку, прижала к моей груди лицо и отчего-то заплакала.

Но в ту же минуту и засмеялась, — и плакала и смеялась — всё вместе. Мне тоже было и смешно и как-то… сладко. Но она ни за что не хотела поднять ко мне голову, и когда я стал было отрывать ее личико от моего плеча, она всё крепче приникала к нему и всё сильнее и сильнее смеялась.

Наконец кончилась эта чувствительная сцена. Мы простились; я спешил. Нелли, вся разрумянившаяся и всё еще как будто пристыженная и с сияющими, как звездочки, глазками, выбежала за мной на самую лестницу и просила воротиться скорее. Я обещал, что непременно ворочусь к обеду и как можно пораньше.

Сначала я пошел к старикам. Оба они хворали. Анна Андреевна была совсем больная; Николай Сергеич сидел у себя в кабинете. Он слышал, что я пришел, но я знал, что по обыкновению своему он выйдет не раньше, как через четверть часа, чтоб дать нам наговориться. Я не хотел очень расстраивать Анну Андреевну и потому смягчал по возможности мой рассказ о вчерашнем вечере, но высказал правду; к удивлению моему, старушка хоть и огорчилась, но как-то без удивления приняла известие о возможности разрыва.

— Ну, батюшка, так я и думала, — сказала она. — Вы ушли тогда, а я долго продумала и надумалась, что не бывать этому. Не заслужили мы у господа бога, да и человек-то такой подлый; можно ль от него добра ожидать. Шутка ль, десять тысяч с нас задаром берет, знает ведь, что задаром, и все-таки берет. Последний кусок хлеба отнимает; продадут Ихменевку. А Наташечка справедлива и умна, что им не поверила. Да знаете ль вы еще, батюшка, — продолжала она, понизив голос, — мой-то, мой-то! Совсем напротив этой свадьбы идет. Проговариваться стал: не хочу, говорит! Я сначала думала, что он

блажит; нет, взаправду. Что ж тогда с ней-то будет, с голубушкой? Ведь он ее тогда совсем проклянет. Ну, а тот-то, Алеша-то, он-то что?

И долго еще она меня расспрашивала и по обыкновению своему охала и сетовала с каждым моим ответом.

Вообще я заметил, что она в последнее время как-то совсем потерялась. Всякое известие потрясало ее. Скорбь об Наташе убивала ее сердце и здоровье. Вошел старик, в халате, в туфлях; он жаловался на лихорадку, но с нежностью посмотрел на жену и всё время, как я у них был, ухаживал за ней, как нянька, смотрел ей в глаза, даже робел перед нею. Во взглядах его было столько нежности. Он был испуган ее болезнью; чувствовал, что лишится всего в жизни, если и ее потеряет.

Я просидел у них с час. Прощаясь, он вышел за мною до передней и заговорил о Нелли. У него была серьезная мысль принять ее к себе в дом вместо дочери. Он стал советоваться со мной, как склонить на то Анну Андреевну. С особенным любопытством расспрашивал меня о Нелли и не узнал ли я о ней еще чего нового? Я наскоро рассказал ему. Рассказ мой произвел на него впечатление.

— Мы еще поговорим об этом, — сказал он решительно, — а покамест… а впрочем, я сам к тебе приду, вот только немножко поправлюсь здоровьем. Тогда и решим.

Ровно в двенадцать часов я был у Маслобоева. К величайшему моему изумлению, первое лицо, которое я встретил, войдя к нему, был князь. Он в передней надевал свое пальто, а Маслобоев суетливо помогал ему и подавал ему его трость. Он уж говорил мне о своем знакомстве с князем, но все-таки эта встреча чрезвычайно изумила меня.

Князь как будто смешался, увидев меня.

— Ах, это вы! — вскрикнул он как-то уж слишком с жаром, — представьте, какая встреча! Впрочем, я сейчас узнал от господина Маслобоева, что вы с ним знакомы. Рад, рад, чрезвычайно рад, что вас встретил; я именно желал вас видеть и надеюсь как можно скорее заехать к вам, вы позволите? У меня просьба до вас: помогите мне, разъясните теперешнее положение наше. Вы, верно, поняли, что я говорю про вчерашнее… Вы там знакомы дружески, вы следили за всем ходом этого дела: вы имеете влияние… Ужасно жалею, что не могу с вами теперь же… Дела! Но на днях и даже, может быть, скорее я буду иметь удовольствие быть у вас. А теперь…

Он как-то уж слишком крепко пожал мне руку, перемигнулся с Маслобоевым и вышел.

— Скажи ты мне, ради бога… — начал было я, входя в комнату.

— Ровно-таки ничего тебе не скажу, — перебил Маслобоев; поспешно хватая фуражку и направляясь в переднюю, — дела! Я, брат, сам бегу, опоздал!..

— Да ведь ты сам написал, что в двенадцать часов.

— Что ж такое, что написал? Вчера тебе написал, а сегодня мне написали, да так, что лоб затрещал, — такие дела! Ждут меня. Прости, Ваня. Всё, что могу предоставить тебе в удовлетворение, это исколотить меня за то, что напрасно тебя потревожил. Если хочешь удовлетвориться, то колоти, но только ради Христа поскорее! Не задержи, дела, ждут…

— Да зачем мне тебя колотить? Дела, так спеши, у всякого бывает свое непредвиденное. А только…

— Нет, про *только-то* уж я скажу, — перебил он, выскакивая в переднюю и надевая шинель (за ним и я стал одеваться). — У меня и до тебя дело; очень важное дело, за ним-то я и звал тебя; прямо до тебя касается и до твоих интересов. А так как в одну минуту, теперь, рассказать нельзя, то дай ты, ради бога, слово, что придешь ко мне сегодня ровно в семь часов, ни раньше, ни позже. Буду дома.

— Сегодня, — сказал я в нерешимости, — ну, брат, я сегодня вечером хотел было зайти…

— Зайди, голубчик, сейчас туда, куда ты хотел вечером зайти, а вечером ко мне. Потому, Ваня, и вообразить не можешь, какие я вещи тебе сообщу.

— Да изволь, изволь; что бы такое? Признаюсь, ты завлек мое любопытство.

Между тем мы вышли из ворот дома и стояли на тротуаре.

— Так будешь? — спросил он настойчиво.

— Сказал, что буду.

— Нет, дай честное слово.

— Фу, какой! Ну, честное слово.

— Отлично и благородно. Тебе куда?

— Сюда, — отвечал я, показывая направо.

— Ну, а мне сюда, — сказал он, показывая налево. — Прощай, Ваня! Помни, семь часов. «Странно», — подумал я, смотря ему вслед.

Вечером я хотел быть у Наташи. Но так как теперь дал слово Маслобоеву, то и рассудил отправиться к ней сейчас. Я был уверен, что застану у ней Алешу. Действительно, он был там и ужасно обрадовался, когда я вошел.

Он был очень мил, чрезвычайно нежен с Наташей и даже развеселился с моим приходом. Наташа хоть и старалась казаться веселою, но видно было, что через силу. Лицо ее было больное и бледное; плохо спала ночью. К Алеше она была как-то усиленно ласкова.

Алеша хоть и много говорил, много рассказывал, по-видимому желая развеселить ее и сорвать улыбку с ее невольно складывавшихся не в улыбку губ, но заметно обходил в разговоре Катю и отца. Вероятно, вчерашняя его попытка примирения не удалась.

— Знаешь что? Ему ужасно хочется уйти от меня, — шепнула мне наскоро Наташа, когда он вышел на минуту что-то сказать Мавре, — да и боится. А я сама боюсь ему сказать, чтоб он уходил, потому что он тогда, пожалуй, нарочно не уйдет, а пуще всего боюсь, что он соскучится и за это совсем охладеет ко мне! Как сделать?

— Боже, в какое положение вы сами себя ставите! И какие вы мнительные, как вы следите друг за другом! Да просто объясниться, ну и кончено. Вот через это-то положение он, может быть, и действительно соскучится.

— Как же быть? — вскричала она, испуганная.

— Постой, я вам всё улажу… — и я вышел в кухню под предлогом попросить Мавру обтереть одну очень загрязнившуюся мою калошу.

— Осторожнее, Ваня! — закричала она мне вслед. Только что я вошел к Мавре, Алеша так и бросился ко мне, точно меня ждал:

— Иван Петрович, голубчик, что мне делать? Посоветуйте мне: я еще вчера дал слово быть сегодня, именно теперь, у Кати. Не могу же я манкировать! Я люблю Наташу как не знаю что, готов просто в огонь, но, согласитесь сами, там совсем бросить, ведь это нельзя…

— Ну что ж, поезжайте…

— Да как же Наташа-то? Ведь я огорчу ее, Иван Петрович, выручите как-нибудь…

— По-моему, лучше поезжайте. Вы знаете, как она вас любит; ей всё будет казаться, что вам с ней скучно и что вы с ней сидите насильно. Непринужденнее лучше. Впрочем, пойдемте, я вам помогу.

— Голубчик, Иван Петрович! Какой вы добрый! Мы вошли; через минуту я сказал ему:

— А я видел сейчас вашего отца.

— Где? — вскричал он, испуганный.

— На улице, случайно. Он остановился со мной на минуту, опять просил быть знакомым. Спрашивал об вас: не знаю ли я, где теперь вы? Ему очень надо было вас видеть, что-то сказать вам.

— Ах, Алеша, съезди, покажись ему, — подхватила Наташа, понявшая, к чему я клоню.

— Но… где ж я его теперь встречу? Он дома?

— Нет, помнится, он сказал, что он у графини будет.

— Ну, так как же… — наивно произнес Алеша, печально смотря на Наташу.

— Ах, Алеша, так что же! — сказала она. — Неужели ж ты вправду хочешь оставить это знакомство, чтоб меня успокоить. Ведь это по-детски. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, ты просто будешь неблагороден перед Катей. Вы друзья; разве можно так грубо разрывать связи. Наконец, ты меня просто обижаешь, коли думаешь, что я так тебя ревную. Поезжай, немедленно поезжай, я прошу тебя! Да и отец твой успокоится.

— Наташа, ты ангел, а я твоего пальчика не стою! — вскричал Алеша с восторгом и с раскаянием. — Ты так добра, а я… я… ну узнай же! Я сейчас же просил, там, в кухне, Ивана Петровича, чтоб он помог мне уехать от тебя. Он это и выдумал. Но не суди меня, ангел Наташа! Я не совсем виноват, потому что люблю тебя в тысячу раз больше всего на свете и потому выдумал новую мысль: открыться во всем Кате и немедленно рассказать ей всё наше теперешнее положение и всё, что вчера было. Она что-нибудь выдумает для нашего спасения, она нам всею душою предана…

— Ну и ступай, — отвечала Наташа, улыбаясь, — и вот что, друг мой, я сама хотела бы очень познакомиться с Катей. Как бы это устроить?

Восторгу Алеши не было пределов. Он тотчас же пустился в предположения, как познакомиться. По его выходило очень легко: Катя выдумает. Он развивал свою идею с жаром, горячо. Сегодня же обещался и ответ принести, через два же часа, и вечер просидеть у Наташи.

— Вправду приедешь? — спросила Наташа, отпуская его.

— Неужели ты сомневаешься? Прощай, Наташа, прощай, возлюбленная ты моя, — вечная моя возлюбленная! Прощай, Ваня! Ах, боже мой, я вас нечаянно назвал Ваней; послушайте, Иван Петрович, я вас люблю — зачем мы не на *ты.* Будем на *ты.*

— Будем на *ты.*

— Слава богу! Ведь мне это сто раз в голову приходило. Да я всё как-то не смел вам сказать. Вот и теперь *вы* говорю. А ведь это очень трудно *ты* говорить. Это, кажется,* где-то у Толстого хорошо выведено: двое дали друг другу слово говорить *ты,* да и никак не могут и всё избегают такие фразы, в которых местоимения.* Ах, Наташа! Перечтем когда-нибудь «Детство и отрочество»; ведь как хорошо!

— Да уж ступай, ступай, — прогоняла Наташа, смеясь, — заболтался от радости…

— Прощай! Через два часа у тебя!

Он поцеловал у ней руку и поспешно вышел.

— Видишь, видишь, Ваня! — проговорила она и залилась слезами.

Я просидел с ней часа два, утешал ее и успел убедить во всем. Разумеется, она была во всем права, во всех своих опасениях. У меня сердце ныло в тоске, когда я думал о теперешнем ее положении; боялся я за нее. Но что ж было делать?

Странен был для меня и Алеша: он любил ее не меньше, чем прежде, даже, может быть, и сильнее, мучительнее, от раскаяния и благодарности. Но в то же время новая любовь крепко вселялась в его сердце. Чем это кончится — невозможно было предвидеть. Мне самому ужасно любопытно было посмотреть на Катю. Я снова обещал Наташе познакомиться с нею.

Под конец она даже как будто развеселилась. Между прочим, я рассказал ей всё о Нелли, о Маслобоеве, о Бубновой, о сегодняшней встрече моей у Маслобоева с князем и о назначенном свидании в семь часов. Всё это ужасно ее заинтересовало. О стариках я говорил с ней немного, а о посещении Ихменева умолчал, до времени; предполагаемая дуэль Николая Сергеича с князем могла испугать ее. Ей тоже показались очень странными сношения князя с Маслобоевым и чрезвычайное его желание познакомиться со мною, хотя всё это и довольно объяснялось теперешним положением…

Часа в три я воротился домой. Нелли встретила меня с своим

светлым личиком…

Глава VI

Ровно в семь часов вечера я уже был у Маслобоева. Он встретил меня с громкими криками и с распростертыми объятиями. Само собою разумеется, он был вполпьяна. Но более всего меня удивили чрезвычайные приготовления к моей встрече. Видно было, что меня ожидали. Хорошенький томпаковый самовар* кипел на круглом столике, накрытом прекрасною и дорогою скатертью. Чайный прибор блистал хрусталем, серебром и фарфором. На другом столе, покрытом другого рода, но не менее богатой скатертью, стояли на тарелках конфеты, очень хорошие, варенья киевские, жидкие и сухие, мармелад, пастила, желе, французские варенья, апельсины, яблоки и трех или четырех сортов орехи, — одним словом, целая фруктовая лавка. На третьем столе, покрытом белоснежною скатертью, стояли разнообразнейшие закуски: икра, сыр, пастет, колбасы, копченый окорок, рыба и строй превосходных хрустальных графинов с водками многочисленных сортов и прелестнейших цветов — зеленых, рубиновых, коричневых, золотых. Наконец, на маленьком столике, в стороне, тоже накрытом белою скатертью, стояли две вазы с шампанским. На столе перед диваном красовались три бутылки: сотерн, лафит и коньяк*, — бутылки елисеевские и предорогие. За чайным столиком сидела Александра Семеновна хоть и в простом платье и уборе, но, видимо, изысканном и обдуманном, правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и, видимо, этим гордилась; встречая меня, она привстала с некоторою торжественностью. Удовольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике. Маслобоев сидел в прекрасных китайских туфлях, в дорогом халате и в свежем щегольском белье. На рубашке его были везде, где только можно было прицепить, модные запонки и пуговки. Волосы были расчесаны, напомажены и с косым пробором, по-модному.

Я так был озадачен, что остановился среди комнаты и смотрел, раскрыв рот, то на Маслобоева, то на Александру Семеновну, самодовольство которой доходило до блаженства.

— Что это, Маслобоев? Разве у тебя сегодня званый вечер? —

вскричал я наконец с беспокойством.

— Нет, ты один, — отвечал он торжественно.

— Да что же это (я указал на закуски), ведь тут можно накормить целый полк?

— И напоить — главное забыл: напоить! — прибавил Маслобоев.

— И это всё для одного меня?

— И для Александры Семеновны. Всё это ей угодно было так сочинить.

— Ну, вот уж! Я так и знала! — воскликнула, закрасневшись, Александра Семеновна, но нисколько не потеряв своего довольного вида. — Гостя прилично принять нельзя: тотчас я виновата!

— С самого утра, можешь себе представить, с самого утра, только что узнала, что ты придешь на вечер, захлопотала; в муках была…

— И тут солгал! Вовсе не с самого утра, а со вчерашнего вечера. Ты вчера вечером, как пришел, так и сказал мне, что они в гости на целый вечер придут…

— Это вы ослышались-с.

— Вовсе не ослышалась, а так было. Я никогда не лгу. А почему ж гостя не встретить? Живем-живем, никто-то к нам не ходит, а всё-то у нас есть. Пусть же хорошие люди видят, что и мы умеем, как люди, жить.

— И, главное, узнают, какая вы великолепная хозяйка и распорядительница, — прибавил Маслобоев. — Представь, дружище, я-то, я-то за что тут попался. Рубашку голландскую на меня напялили, запонки натыкали, туфли, халат китайский, волосы расчесала мне сама и распомадила: бергамот*-с; духами какими-то попрыскать хотела: крем-брюле, да уж тут я не вытерпел, восстал, супружескую власть показал…

— Вовсе не бергамот, а самая лучшая французская помада, из фарфоровой расписной баночки! — подхватила, вся вспыхнув, Александра Семеновна. — Посудите сами, Иван Петрович, ни в театр, ни танцевать никуда не пускает, только платья дарит, а что мне в платье-то? Наряжусь да и хожу одна по комнате. Намедни упросила, совсем уж было собрались в театр; только что отвернулась брошку прицепить, а он к шкапику: одну, другую, да и накатился. Так и остались. Никто-то, никто-то, никто-то не ходит к нам в гости; а только по утрам, по делам какие-то люди ходят; меня и прогонят. А между тем

и самовары, и сервиз есть, и чашки хорошие — всё это есть, всё дареное. И съестное-то нам носят, почти одно вино покупаем да какую-нибудь помаду, да вот там закуски, — пастет, окорока да конфеты для вас купили… Хоть бы посмотрел кто, как мы живем! Целый год думала: вот придет гость, настоящий гость, мы всё это и покажем, и угостим: и люди похвалят, и самим любо будет; а что его, дурака, напомадила, так он и не стоит того; ему бы всё в грязном ходить. Вон какой халат на нем: подарили, да стоит ли он такого халата? Ему бы только нализаться прежде всего. Вот увидите, что он вас будет прежде чаю водкой просить.

— А что! Ведь и вправду дело: выпьем-ка, Ваня, золотую и серебряную, а потом, с освеженной душой и к другим напиткам приступим.

— Ну, так я и знала!

— Не беспокойтесь, Сашенька, и чайку выпьем, с коньячком, за ваше здоровье-с.

— Ну, так и есть! — вскричала она, всплеснув руками. — Чай ханский, по шести целковых, третьего дня купец подарил, а он его с коньяком хочет пить. Не слушайте, Иван Петрович, вот я вам сейчас налью… увидите, сами увидите, какой чай!

И она захлопотала у самовара.

Было понятно, что рассчитывали меня продержать весь вечер. Александра Семеновна целый год ожидала гостя и теперь готовилась отвести на мне душу. Всё это было не в моих расчетах.

— Послушай, Маслобоев, — сказал я, усаживаясь, — ведь я к тебе вовсе не в гости; я по делам; ты сам меня звал что-то сообщить…

— Ну, так ведь дело делом, а приятельская беседа своим чередом.

— Нет, душа моя, не рассчитывай. В половину девятого — и прощай. Дело есть; я дал слово…

— Не думаю. Помилуй, что ж ты со мной делаешь? Что ж ты с Александрой-то Семеновной делаешь? Ты взгляни на нее: обомлела. За что ж меня напомадила-то: ведь на мне бергамот; подумай!

— Ты всё шутишь, Маслобоев. Я Александре Семеновне поклянусь, что на будущей неделе, ну хоть в пятницу, приду к вам обедать; а теперь, брат, я дал слово, или, лучше сказать, мне просто надобно быть в одном месте. Лучше объясни мне: что ты хотел сообщить?

— Так неужели ж вы только до половины девятого! — вскричала Александра Семеновна робким и жалобным голосом, чуть не плача и подавая мне чашку превосходного чаю.

— Не беспокойтесь, Сашенька; всё это вздор, — подхватил Маслобоев. — Он останется; это вздор. А вот что ты лучше скажи мне, Ваня, куда это ты всё уходишь? Какие у тебя дела? Можно узнать? Ведь ты каждый день куда-то бегаешь, не работаешь…

— А зачем тебе? Впрочем, может быть, скажу после. А вот объясни-ка ты лучше, зачем ты приходил ко мне вчера, когда я сам сказал тебе, помнишь, что меня не будет дома?

— Потом вспомнил, а вчера забыл. Об деле действительно хотел с тобою поговорить, но пуще всего надо было утешить Александру Семеновну. «Вот, говорит, есть человек, оказался приятель, зачем не позовешь?» И уж меня, брат, четверо суток за тебя продергивают. За бергамот мне, конечно, на том свете сорок грехов простят, но, думаю, отчего же не посидеть вечерок по-приятельски? Я и употребил стратагему[*]: написал, что, дескать, такое дело, что если не придешь, то все наши корабли потонут.

Я попросил его вперед так не делать, а лучше прямо предуведомить. Впрочем, это объяснение меня не совсем удовлетворило.

— Ну, а давеча-то зачем бежал от меня? — спросил я.

— А давеча действительно было дело, настолечко не солгу.

— Не с князем ли?

— А вам нравится наш чай? — спросила медовым голоском Александра Семеновна.

Вот уж пять минут она ждала, что я похвалю их чай, а я и не догадался.

— Превосходный, Александра Семеновна, великолепный! Я еще и не пивал такого.

Александра Семеновна так и зарделась от удовольствия и бросилась наливать мне еще.

— Князь! — вскричал Маслобоев, — этот князь, брат, такая шельма, такой плут… ну! Я, брат, вот что тебе скажу: я хоть и сам плут, но из одного целомудрия не захотел бы быть в его коже! Но довольно; молчок! Только это одно об нем и могу сказать.

— А я, как нарочно, пришел к тебе, чтобы и об нем расспросить

между прочим. Но это после. А зачем ты вчера без меня моей Елене леденцов давал да плясал перед ней? И об чем ты мог полтора часа с ней говорить!

— Елена, это маленькая девочка, лет двенадцати или одиннадцати, живет до времени у Ивана Петровича, — объяснил Маслобоев, вдруг обращаясь к Александре Семеновне. — Смотри, Ваня, смотри, — продолжал он, показывая на нее пальцем, — так вся и вспыхнула, как услышала, что я незнакомой девушке леденцов носил, так и зарделась, так и вздрогнула, точно мы вдруг из пистолета выстрелили… ишь глазенки-то, так и сверкают, как угольки. Да уж нечего, Александра Семеновна, нечего скрывать! Ревнивы-с. Не растолкуй я, что это одиннадцатилетняя девочка, так меня тотчас же за вихры оттаскала бы: и бергамот бы не спас!

— Он и теперь не спасет!

И с этими словами Александра Семеновна одним прыжком прыгнула к нам из-за чайного столика, и прежде чем Маслобоев успел заслонить свою голову, она схватила его за клочок волос и порядочно продернула.

— Вот тебе, вот тебе! Не смей говорить перед гостем, что я ревнива, не смей, не смей, не смей!

Она даже раскраснелась и хоть смеялась, но Маслобоеву досталось порядочно.

— Про всякий стыд рассказывает! — серьезно прибавила она, обратясь ко мне.

— Ну, Ваня, таково-то житье мое! По этой причине непременно водочки! — решил Маслобоев, оправляя волосы и чуть не бегом направляясь к графину. Но Александра Семеновна предупредила его: подскочила к столу, налила сама, подала и даже ласково потрепала его по щеке. Маслобоев с гордостью подмигнул мне глазом, щелкнул языком и торжественно выпил свою рюмку.

— Насчет леденцов трудно сообразить, — начал он, усаживаясь подле меня на диване. — Я их купил третьего дня, в пьяном виде, в овощной лавочке, — не знаю для чего. Впрочем, может быть, для того, чтоб поддержать отечественную торговлю и промышленность, — не знаю наверно; помню только, что я шел тогда по улице пьяный, упал в грязь, рвал на себе волосы и плакал о том, что ни к чему не способен. Я, разумеется, об леденцах забыл, так они и остались у меня в кармане до

вчерашнего дня, когда я сел на них, садясь на твой диван. Насчет танцев же опять тот же нетрезвый вид: вчера я был достаточно пьян, а в пьяном виде я, когда бываю доволен судьбою, иногда танцую. Вот и всё; кроме разве того, что эта сиротка возбудила во мне жалость; да, кроме того, она и говорить со мной не хотела, как будто сердилась. Я и ну танцевать, чтоб развеселить ее, и леденчиками попотчевал.

— А не подкупал ее, чтоб у ней кое-что выведать, и, признайся откровенно: нарочно ты зашел ко мне, зная, что меня дома не будет, чтоб поговорить с ней между четырех глаз и что-нибудь выведать, или нет? Ведь я знаю, ты с ней часа полтора просидел, уверил ее, что ее мать покойницу знаешь, и что-то выспрашивал.

Маслобоев прищурился и плутовски усмехнулся.

— А ведь идея-то была бы недурна, — сказал он. — Нет, Ваня, это не то. То есть, почему не расспросить при случае; но это не то. Слушай, старинный приятель, я хоть теперь и довольно пьян, по обыкновению, но знай, что с *злым умыслом* Филипп тебя никогда не обманет, с *злым то есть* умыслом.

— Ну, а без злого умысла?

— Ну… и без злого умысла. Но к черту это, выпьем, и об деле! Дело-то пустое, — продолжал он, выпив. — Эта Бубнова не имела никакого права держать эту девочку; я всё разузнал. Никакого тут усыновления или прочего не было. Мать должна была ей денег, та и забрала к себе девчонку. Бубнова хоть и плутовка, хоть и злодейка, но баба-дура, как и все бабы. У покойницы был хороший паспорт; следственно, всё чисто. Елена может жить у тебя, хотя бы очень хорошо было, если б какие-нибудь люди семейные и благодетельные взяли ее серьезно на воспитание. Но покамест пусть она у тебя. Это ничего; я тебе всё обделаю: Бубнова и пальцем пошевелить не смеет. О покойнице же матери я почти ничего не узнал точного. Она чья-то вдова, по фамилии Зальцман.

— Так, мне так и Нелли говорила.

— Ну, так и кончено. Теперь же, Ваня, — начал он с некоторою торжественностью, — я имею к тебе одну просьбицу. Ты же исполни. Расскажи мне по возможности подробнее, что у тебя за дела, куда ты ходишь, где бываешь по целым дням? Я хоть отчасти и слышал и знаю, но мне надобно знать гораздо подробнее.

Такая торжественность удивила меня и даже обеспокоила.

— Да что такое? Для чего тебе это знать? Ты так торжественно спрашиваешь…

— Вот что, Ваня, без лишних слов: я тебе хочу оказать услугу. Видишь, дружище, если б я с тобой хитрил, я бы у тебя и без торжественности умел выпытать. А ты подозреваешь, что я с тобой хитрю: давеча, леденцы-то; я ведь понял. Но так как я с торжественностью говорю, значит, не для себя интересуюсь, а для тебя. Так ты не сомневайся и говори напрямик, правду — истинную…

— Да какую услугу? Слушай, Маслобоев, для чего ты не хочешь мне рассказать что-нибудь о князе? Мне это нужно. Вот это будет услуга.

— О князе! гм… Ну, так и быть, прямо скажу: я и выспрашиваю теперь тебя по поводу князя.

— Как?

— А вот как: я, брат, заметил, что он как-то в твои дела замешался; между прочим, он расспрашивал меня об тебе. Уж как он узнал, что мы знакомы, — это не твое дело. А только главное в том: берегись ты этого князя. Это Иуда-предатель и даже хуже того. И потому, когда я увидал, что он отразился в твоих делах, то вострепетал за тебя. Впрочем, я ведь ничего не знаю; для того-то и прошу тебя рассказать, чтоб я мог судить… И даже для того тебя сегодня к себе призвал. Вот это-то и есть то важное дело; прямо объясняю.

— По крайней мере ты мне скажешь хоть что-нибудь, хоть то, почему именно я должен опасаться князя.

— Хорошо, так и быть; я, брат, вообще употребляюсь иногда по иным делам. Но рассуди: мне ведь иные и доверяются-то потому, что я не болтун. Как же я тебе буду рассказывать? Так и не взыщи, если расскажу вообще, слишком вообще, для того только, чтоб показать: какой, дескать, он выходит подлец. Ну, начинай же сначала ты, про свое.

Я рассудил, что в моих делах мне решительно нечего было скрывать от Маслобоева. Дело Наташи было не секретное; к тому же я мог ожидать для нее некоторой пользы от Маслобоева. Разумеется, в моем рассказе я, по возможности, обошел некоторые пункты. Маслобоев в особенности внимательно слушал всё, что касалось князя; во многих местах меня останавливал, многое вновь переспрашивал, так что я рассказал ему довольно подробно. Рассказ мой продолжался с

полчаса.

— Гм! умная голова у этой девицы, — решил Маслобоев. — Если, может быть, и не совсем верно догадалась она про князя, то уж то одно хорошо, что с первого шагу узнала, с кем имеет дело, и прервала все сношения. Молодец Наталья Николаевна! Пью за ее здоровье! (Он выпил.) Тут не только ум, тут сердца надо было, чтоб не дать себя обмануть. И сердце не выдало. Разумеется, ее дело проиграно: князь настоит на своем, и Алеша ее бросит. Жаль одного, Ихменева, — десять тысяч платить этому подлецу! Да кто у него по делу-то ходил, кто хлопотал? Небось сам! Э-эх! То-то все эти горячие и благородные! Никуда не годится народ! С князем не так надо было действовать. Я бы такого адвокатика достал Ихменеву — э-эх! — И он с досадой стукнул по столу.

— Ну, теперь что же князь-то?

— А ты всё о князе. Да что об нем говорить; и не рад, что вызвался. Я ведь, Ваня, только хотел тебя насчет этого мошенника предуведомить, чтобы, так сказать, оградить тебя от его влияния. Кто с ним связывается, тот не безопасен. Так ты держи ухо востро; вот и всё. А ты уж и подумал, что я тебе бог знает какие парижские тайны* хочу сообщить. И видно, что романист! Ну, что говорить о подлеце? Подлец так и есть подлец… Ну, вот, например, расскажу тебе одно его дельце, разумеется без мест, без городов, без лиц, то есть без календарской точности. Ты знаешь, что он еще в первой молодости, когда принужден был жить канцелярским жалованьем, женился на богатой купчихе. Ну, с этой купчихой он не совсем вежливо обошелся, и хоть не в ней теперь дело, но замечу, друг Ваня, что он всю жизнь наиболее по таким делам любил промышлять. Вот еще случай: поехал он за границу. Там…

— Постой, Маслобоев, про которую ты поездку говоришь? В котором году?

— Ровно девяносто девять лет тому назад и три месяца. Ну-с, там он и сманил одну дочь у одного отца да и увез с собой в Париж. Да ведь как сделал-то! Отец был вроде какого-то заводчика или участвовал в каком-то эдаком предприятии. Наверно не знаю. Я ведь если и рассказываю тебе, то по собственным умозаключениям и соображениям из других данных. Вот князь его и надул, тоже в предприятие с ним вместе залез. Надул вполне и деньги с него взял. Насчет взятых денег у старика были, разумеется, кой-какие документы. А князю хотелось так

взять, чтоб и не отдать, по-нашему — просто украсть. У старика была дочь, и дочь-то была красавица, а у этой красавицы был влюбленный в нее идеальный человек, братец Шиллеру[*], поэт, в то же время купец, молодой мечтатель, одним словом — вполне немец, Феферкухен какой-то.

— То есть это фамилия его Феферкухен?

— Ну, может, и не Феферкухен, черт его дери, не в нем дело. Только князь-то и подлез к дочери, да так подлез, что она влюбилась в него, как сумасшедшая. Князю и захотелось тогда двух вещей: во-первых, овладеть дочкой, а во-вторых, документами во взятой у старика сумме. Ключи от всех ящиков стариковых были у его дочери. Старик же любил дочь без памяти, до того, что замуж ее отдавать не хотел. Серьезно. Ко всякому жениху ревновал, не понимал, как можно расстаться с нею, и Феферкухена прогнал, чудак какой-то англичанин…

— Англичанин? Да где же всё это происходило?

— Я только так сказал: англичанин, для сравнения, а ты уж и подхватил. Было ж это в городе Санта-фе-де-Богота[*], а может, и в Кракове, но вернее всего, что в фюрстентум Нассау, вот что на зельтерской воде написано, именно в Нассау[*]; довольно с тебя? Ну-с, вот-с князь девицу-то сманил, да и увез от отца, да по настоянию князя девица захватила с собой и кой-какие документики. Ведь бывает же такая любовь, Ваня! Фу ты, боже мой, а ведь девушка была честная, благородная, возвышенная! Правда, может, толку-то большого в бумагах не знала. Ее заботило одно: отец проклянет. Князь и тут нашелся; дал ей форменное, законное обязательство, что на ней женится. Таким образом и уверил ее, что они так только поедут, на время, прогуляются, а когда гнев старика поутихнет, они и воротятся к нему обвенчанные и будут втроем век жить, добра наживать и так далее до бесконечности. Бежала она, старик-то ее проклял да и обанкрутился. За нею в Париж потащился и Фрауенмильх, всё бросил и торговлю бросил; влюблен был уж очень.

— Стой! Какой Фрауенмильх?

— Ну тот, как его! Фейербах-то… тьфу, проклятый: Феферкухен! Ну-с, князю разумеется, жениться нельзя было: что, дескать, графиня Хлестова скажет?[*] Как барон Помойкин об этом отзовется? Следовательно, надо было надуть. Ну, надул-то он слишком нагло. Во-первых, чуть ли не бил ее, во-вторых, нарочно пригласил к себе

Феферкухена, тот и ходил, другом ее сделался, ну, хныкали вместе, по целым вечерам одни сидели, несчастья свои оплакивали, тот утешал: известно, божьи души. Князь-то нарочно так подвел: раз застает их поздно да и выдумал, что они в связи, придрался к чему-то: своими глазами, говорит, видел. Ну и вытолкал их обоих за ворота, а сам на время в Лондон уехал. А та была уж на сносях; как выгнали ее, она и родила дочь… то есть не дочь, а сына, именно сынишку, Володькой и окрестили. Феферкухен восприемником был. Ну вот и поехала она с Феферкухеном. У того маленькие деньжонки были. Объехала она Швейцарию, Италию… во всех то есть поэтических землях была, как и следует. Та всё плакала, а Феферкухен хныкал, и много лет таким образом прошло, и девочка выросла. И для князя-то всё бы хорошо было, да одно нехорошо: обязательство жениться он у ней назад не выхлопотал. «Низкий ты человек, — сказала она ему при прощании, — ты меня обокрал, ты меня обесчестил и теперь оставляешь. Прощай! Но обязательства тебе не отдам. Не потому, что я когда-нибудь хотела за тебя выйти, а потому, что ты этого документа боишься. Так пусть он и будет у меня вечно в руках». Погорячилась, одним словом, но князь, впрочем, остался покоен. Вообще эдаким подлецам превосходно иметь дело с так называемыми возвышенными существами. Они так благородны, что их весьма легко обмануть, а во-вторых, они всегда отделываются возвышенным и благородным презрением вместо практического применения к делу закона, если только можно его применить. Ну, вот хоть бы эта мать: отделалась гордым презрением и хоть оставила у себя документ, но ведь князь знал, что она скорее повесится, чем употребит его в дело: ну, и был покоен до времени. А она хоть и плюнула ему в его подлое лицо, да ведь у ней Володька на руках оставался: умри она, что с ним будет? Но об этом не рассуждалось. Брудершафт тоже ободрял ее и не рассуждал; Шиллера читали. Наконец, Брудершафт отчего-то скиснул и умер…

— То есть Феферкухен?

— Ну да, черт его дери! А она…

— Постой! Сколько лет они странствовали?

— Ровнешенько двести. Ну-с, она и воротилась в Краков. Отец-то не принял, проклял, она умерла, а князь перекрестился от радости. Я там был, мед пил, по усам текло, а в рот не попало, дали мне шлык[*], а я в подворотню шмыг… выпьем, брат Ваня!

— Я подозреваю, что ты у него по этому делу хлопочешь, Маслобоев.

— Тебе непременно этого хочется?

— Но не понимаю только, что ты-то тут можешь сделать!

— А видишь, она как воротилась в Мадрид-то после десятилетнего отсутствия, под чужим именем, то надо было всё это разузнать и о Брудершафте, и о старике, и действительно ли она воротилась, и о птенце, и умерла ли она, и нет ли бумаг, и так далее до бесконечности. Да еще кой о чем. Сквернейший человек, берегись его, Ваня, а об Маслобоеве вот что думай: никогда, ни за что не называй его подлецом! Он хоть и подлец (по-моему, так нет человека не подлеца), но не против тебя. Я крепко пьян, но слушай: если когда-нибудь, близко ли, далеко ли, теперь ли, или на будущий год, тебе покажется, что Маслобоев против тебя в чем-нибудь схитрил (и, пожалуйста, не забудь этого слова *схитрил*), — то знай, что без злого умысла. Маслобоев над тобой наблюдает. И потому не верь подозрениям, а лучше приди и объяснись откровенно и по-братски с самим Маслобоевым. Ну, теперь хочешь пить?

— Нет.

— Закусить?

— Нет, брат, извини…

— Ну, так и убирайся, без четверти девять, а ты спесив. Теперь тебе уже пора.

— Как? Что? Напился пьян да и гостя гонит! Всегда-то он такой! Ах, бесстыдник! — вскричала чуть не плача Александра Семеновна.

— Пеший конному не товарищ! Александра Семеновна, мы остаемся вместе и будем обожать друг друга. А это генерал! Нет, Ваня, я соврал; ты не генерал, а я — подлец! Посмотри, на что я похож теперь? Что я перед тобой? Прости, Ваня, не осуди и дай излить…

Он обнял меня и залился слезами. Я стал уходить.

— Ах, боже мой! А у нас и ужинать приготовлено, — говорила Александра Семеновна в ужаснейшем горе. — А в пятницу-то придете к нам?

— Приду, Александра Семеновна, честное слово, приду.

— Да вы, может быть, побрезгаете, что он вот такой… пьяный. Не брезгайте, Иван Петрович, он добрый, очень добрый, а уж вас как любит! Он про вас мне и день и ночь теперь говорит, всё про вас.

Нарочно ваши книжки купил для меня; я еще не прочла; завтра начну. А уж мне-то как хорошо будет, когда вы придете! Никого-то не вижу, никто-то не ходит к нам посидеть. Всё у нас есть, а сидим одни. Теперь вот я сидела, всё слушала, всё слушала, как вы говорили, и как это хорошо… Так до пятницы…

Глава VII

Я шел и торопился домой: слова Маслобоева слишком меня поразили. Мне бог знает что приходило в голову… Как нарочно, дома меня ожидало одно происшествие, которое меня потрясло, как удар электрической машины.

Против самых ворот дома, в котором я квартировал, стоял фонарь. Только что я стал под ворота, вдруг от самого фонаря бросилась на меня какая-то странная фигура, так что я даже вскрикнул, какое-то живое существо, испуганное, дрожащее, полусумасшедшее, и с криком уцепилось за мои руки. Ужас охватил меня. Это была Нелли!

— Нелли! Что с тобой? — закричал я. — Что ты!

— Там, наверху… он сидит… у нас…

— Кто такой? Пойдем; пойдем вместе со мной.

— Не хочу, не хочу! Я подожду, пока он уйдет… в сенях… не хочу.

Я поднялся к себе с каким-то странным предчувствием, отворил дверь и — увидел князя. Он сидел у стола и читал роман. По крайней мере, книга была раскрыта.

— Иван Петрович! — вскричал он с радостью. — Я так рад, что вы наконец воротились. Только что хотел было уезжать. Более часу вас ждал. Я дал сегодня слово, по настоятельнейшей и убедительнейшей просьбе графини, приехать к ней сегодня вечером с вами. Она так просила, так хочет с вами познакомиться! Так как уж вы дали мне обещание, то я рассудил заехать к вам самому, пораньше, покамест вы еще не успели никуда отправиться, и пригласить вас с собою. Представьте же мою печаль; приезжаю: ваша служанка объявляет, что вас нет дома. Что делать! Я ведь дал честное слово явиться с вами; а потому сел вас подождать, решив, что прожду четверть часа. Но вот они, четверть часа: развернул ваш роман и зачитался. Иван Петрович! Ведь это совершенство! Ведь вас не понимают после этого! Ведь вы у

меня слезы исторгли. Ведь я плакал, а я не очень часто плачу…

— Так вы хотите, чтоб я ехал? Признаюсь вам, теперь… хоть я вовсе не прочь, но…

— Ради бога, поедемте! Что же со мной-то вы сделаете? Ведь я вас ждал полтора часа!.. Притом же мне с вами так надо, так надо поговорить — вы понимаете о чем? Вы всё это дело знаете лучше меня… Мы, может быть, решим что-нибудь, остановимся на чем-нибудь, подумайте! Ради бога, не отказывайте.

Я рассудил, что рано ли, поздно ли надо будет ехать. Положим, Наташа теперь одна, я ей нужен, но ведь она же сама поручила мне как можно скорей узнать Катю. К тому же, может быть, и Алеша там… Я знал, что Наташа не будет покойна, прежде чем я не принесу ей известий о Кате, и решился ехать. Но меня смущала Нелли.

— Погодите, — сказал я князю и вышел на лестницу. Нелли стояла тут, в темном углу.

— Почему ты не хочешь идти, Нелли? Что он тебе сделал? Что с тобой говорил?

— Ничего… Я не хочу, не хочу… — повторяла она, — я боюсь…

Как я ее ни упрашивал — ничто не помогало. Я уговорился с ней, чтоб как только я выйду с князем, она бы вошла в комнату и заперлась.

— И не пускай к себе никого, Нелли, как бы тебя ни упрашивали.

— А вы с ним едете?

— С ним.

Она вздрогнула и схватила меня за руки, точно хотела упросить, чтоб я не ехал, но не сказала ни слова. Я решил расспросить ее подробно завтра.

Попросив извинения у князя, я стал одеваться. Он наг чал уверять меня, что туда не надо никаких гардеробов, никаких туалетов. «Так, разве посвежее что-нибудь! — прибавил он, инквизиторски оглядев меня с головы до ног, — знаете, все-таки эти светские предрассудки… ведь нельзя же совершенно от них избавиться. Этого совершенства вы в нашем свете долго не найдете», — заключил он, с удовольствием увидав, что у меня есть фрак.

Мы вышли. Но я оставил его на лестнице, вошел в комнату, куда уже проскользнула Нелли, и еще раз простился с нею. Она была ужасно взволнована. Лицо ее посинело. Я боялся за нее; мне тяжко было ее оставить.

— Странная это у вас служанка, — говорил мне князь, сходя с лестницы. — Ведь эта маленькая девочка ваша служанка?

— Нет… она так… живет у меня покамест.

— Странная девочка. Я уверен, что она сумасшедшая. Представьте себе, сначала отвечала мне хорошо, но потом, когда разглядела меня, бросилась ко мне, вскрикнула, задрожала, вцепилась в меня… что-то хочет сказать — не может. Признаюсь, я струсил, хотел уж бежать от нее, но она, слава богу, сама от меня убежала. Я был в изумлении. Как это вы уживаетесь?

— У нее падучая болезнь, — отвечал я. — А, вот что! Ну, это не так удивительно… если она с припадками.

Мне тут же показалось одно: что вчерашний визит ко мне Маслобоева, тогда как он знал, что я не дома, что сегодняшний мой визит к Маслобоеву, что сегодняшний рассказ Маслобоева, который он рассказал в пьяном виде и нехотя, что приглашение быть у него сегодня в семь часов, что его убеждения не верить в его хитрость и, наконец, что князь, ожидающий меня полтора часа и, может быть, знавший, что я у Маслобоева, тогда как Нелли выскочила от него на улицу, — что всё это имело между собой некоторую связь. Было о чем задуматься.

У ворот дожидалась его коляска. Мы сели и поехали.

Глава VIII

Ехать было недолго, к Торговому мосту[*]. Первую минуту мы молчали. Я всё думал: как-то он со мной заговорит? Мне казалось, что он будет меня пробовать, ощупывать, выпытывать. Но он заговорил без всяких изворотов и прямо приступил к делу.

— Меня чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство, Иван Петрович, — начал он, — о котором я хочу прежде всего переговорить с вами и попросить у вас совета: я уж давно решил отказаться от выигранного мною процесса и уступить спорные десять тысяч Ихменеву. Как поступить?

«Не может быть, чтоб ты не знал, как поступить, — промелькнуло у меня в мыслях. — Уж не на смех ли ты меня подымаешь?»

— Не знаю, князь, — отвечал я как можно простодушнее, — в чем другом, то есть что касается Натальи Николаевны, я готов сообщить вам

необходимые для вас и для нас всех сведения, но в этом деле вы, конечно, знаете больше моего.

— Нет, нет, конечно, меньше. Вы с ними знакомы, и, может быть, даже сама Наталья Николаевна вам не раз передавала свои мысли на этот счет; а это для меня главное руководство. Вы можете мне много помочь; дело же крайне затруднительное. Я готов уступить и даже непременно положил уступить, как бы ни кончились все прочие дела; вы понимаете? Но как, в каком виде сделать эту уступку, вот в чем вопрос? Старик горд, упрям; пожалуй, меня же обидит за мое же добродушие и швырнет мне эти деньги назад.

— Но позвольте, вы как считаете эти деньги: своими или его?

— Процесс выигран мною, следственно, моими.

— Но по совести?

— Разумеется, считаю моими, — отвечал он, несколько пикированный моею бесцеремонностью, — впрочем, вы, кажется, не знаете всей сущности этого дела. Я не виню старика в умышленном обмане и, признаюсь вам, никогда не винил. Вольно ему было самому напустить на себя обиду. Он виноват в недосмотре, в нерачительности о вверенных ему делах, а, по бывшему уговору нашему, за некоторые из подобных дел он должен был отвечать. Но знаете ли вы, что даже и не в этом дело: дело в нашей ссоре, во взаимных тогдашних оскорблениях; одним словом, в обоюдно уязвленном самолюбии. Я, может быть, и внимания не обратил бы тогда на эти дрянные десять тысяч; но вам, разумеется, известно, из-за чего и как началось тогда всё это дело. Соглашаюсь, я был мнителен, я был, пожалуй, неправ (то есть тогда неправ), но я не замечал этого и, в досаде, оскорбленный его грубостями, не хотел упустить случая и начал дело. Вам всё это, пожалуй, покажется с моей стороны не совсем благородным. Я не оправдываюсь; замечу вам только, что гнев и, главное, раздраженное самолюбие — еще не есть отсутствие благородства, а есть дело естественное, человеческое, и, признаюсь, повторяю вам, я ведь почти вовсе не знал Ихменева и совершенно верил всем этим слухам насчет Алеши и его дочери, а следственно, мог поверить и умышленной краже денег… Но это в сторону. Главное в том: что мне теперь делать? Отказаться от денег; но если я тут же скажу, что считаю и теперь свой иск правым, то ведь это значит: я их дарю ему. А тут прибавьте еще щекотливое положение насчет Натальи Николаевны… Он непременно

швырнет мне эти деньги назад.

— Вот видите, сами же вы говорите: *швырнет*; следовательно, считаете его человеком честным, а поэтому и можете быть совершенно уверены, что он не крал ваших денег. А если так, почему бы вам не пойти к нему и не объявить прямо, что считаете свой иск незаконным? Это было бы благородно, и Ихменев, может быть, не затруднился бы тогда взять *свои* деньги.

— Гм… *свои* деньги; вот в том-то и дело; что же вы со мной-то делаете? Идти и объявить ему, что считаю свой иск незаконным. Да зачем же ты искал, коли знал, что ищешь незаконно? — так мне все в глаза скажут. А я этого не заслужил, потому что искал законно; я нигде не говорил и не писал, что он у меня крал; но в его неосмотрительности, в легкомыслии, в неуменье вести дела и теперь уверен. Эти деньги положительно мои, и потому больно взводить самому на себя поклеп, и, наконец, повторяю вам, старик сам взвел на себя обиду, а вы меня заставляете в этой обиде у него прощения просить, — это тяжело.

— Мне кажется, если два человека хотят помириться, то…

— То это легко, вы думаете?

— Да.

— Нет, иногда очень нелегко, тем более…

— Тем более если с этим связаны другие обстоятельства. Вот в этом я с вами согласен, князь. Дело Натальи Николаевны и вашего сына должно быть разрешено вами во всех тех пунктах, которые от вас зависят, и разрешено вполне удовлетворительно для Ихменевых. Только тогда вы можете объясниться с Ихменевым и о процессе совершенно искренно. Теперь же, когда еще ничего не решено, у вас один только путь: признаться в несправедливости вашего иска и признаться открыто, а если надо, так и публично, — вот мое мнение; говорю вам прямо, потому что вы же сами спрашивали моего мнения и, вероятно, не желали, чтоб я с вами хитрил. Это же дает мне смелость спросить вас: для чего вы беспокоитесь об отдаче этих денег Ихменеву? Если вы считаете себя в этом иске правым, то для чего отдавать? Простите мое любопытство, но это так связано с другими обстоятельствами…

— А как вы думаете? — спросил он вдруг, как будто совершенно не слыхал моего вопроса, — уверены ли вы, что старик Ихменев откажется от десяти тысяч, если б даже вручить ему деньги безо всяких оговорок и… и… и всяких этих смягчений?

— Разумеется, откажется!

Я весь так и вспыхнул и даже вздрогнул от негодования. Этот нагло скептический вопрос произвел на меня такое же впечатление, как будто князь мне плюнул прямо в глаза. К моему оскорблению присоединилось и другое: грубая, великосветская манера, с которою он, не отвечая на мой вопрос и как будто не заметив его, перебил его другим, вероятно давая мне заметить, что я слишком увлекся и зафамильярничал, осмелившись предлагать ему такие вопросы. Я до ненависти не любил этого великосветского маневра и всеми силами еще прежде отучал от него Алешу.

— Гм… вы слишком пылки, и на свете некоторые дела не так делаются, как вы воображаете, — спокойно заметил князь на мое восклицание. — Я, впрочем, думаю, что об этом могла бы отчасти решить Наталья Николаевна; вы ей передайте это. Она могла бы посоветовать.

— Ничуть, — отвечал я грубо. — Вы не изволили выслушать, что я начал вам говорить давеча, и перебили меня. Наталья Николаевна поймет, что если вы возвращаете деньги неискренно и без всяких этих, как вы говорите, *смягчений*, то, значит, вы платите отцу за дочь, а ей за Алешу, — одним словом, награждаете деньгами…

— Гм… вот вы как меня понимаете, добрейший мой Иван Петрович. — Князь засмеялся. Для чего он засмеялся? — А между тем, — продолжал он, — нам еще столько, столько надо вместе переговорить. Но теперь некогда. Прошу вас только, поймите *одно:* дело касается прямо Натальи Николаевны и всей ее будущности, и всё это зависит отчасти от того, как мы с вами это решим и на чем остановимся. Вы тут необходимы, — сами увидите. И потому, если вы продолжаете быть привязанным к Наталье Николаевне, то и не можете отказаться от объяснений со мною, как бы мало ни чувствовали ко мне симпатии. Но мы приехали… A bientôt.[9]

Глава IX

Графиня жила прекрасно. Комнаты были убраны комфортно и со вкусом, хотя вовсе не пышно. Всё, однако же, носило на себе характер временного пребывания; это была только приличная квартира на время,

а не постоянное, утвердившееся жилье богатой фамилии со всем размахом барства и со всеми его прихотями, принимаемыми за необходимость. Носился слух, что графиня на лето едет в свое имение (разоренное и перезаложенное), в Симбирскую губернию, и что князь сопровождает ее. Я уже слышал про это и с тоскою подумал: как поступит Алеша, когда Катя уедет с графиней? С Наташей я еще не заговаривал об этом, боялся; но по некоторым признакам успел заметить, что, кажется, и ей этот слух известен. Но она молчала и страдала про себя.

Графиня приняла меня прекрасно, приветливо протянула мне руку и подтвердила, что давно желала меня у себя видеть. Она сама разливала чай из прекрасного серебряного самовара, около которого мы и уселись: я, князь и еще какой-то очень великосветский господин пожилых лет и со звездой, несколько накрахмаленный, с дипломатическими приемами. Этого гостя, кажется, очень уважали. Графиня, воротясь из-за границы, не успела еще в эту зиму завести в Петербурге больших связей и основать свое положение, как хотела и рассчитывала. Кроме этого гостя, никого не было, и никто не являлся во весь вечер. Я искал глазами Катерину Федоровну; она была в другой комнате с Алешей, но, услышав о нашем приезде, тотчас же вышла к нам. Князь с любезностию поцеловал у ней руку, а графиня указала ей на меня. Князь тотчас же нас познакомил. Я с нетерпеливым вниманием в нее вглядывался: это была нежная блондиночка, одетая в белое платье, невысокого роста, с тихим и спокойным выражением лица, с совершенно голубыми глазами, как говорил Алеша, с красотой юности и только. Я ожидал встретить совершенство красоты, но красоты не было. Правильный, нежно очерченный овал лица, довольно правильные черты, густые и действительно прекрасные волосы, обыденная домашняя их прическа, тихий, пристальный взгляд; при встрече с ней где-нибудь я бы прошел мимо нее, не обратив на нее никакого особенного внимания; но это было только с первого взгляда, и я успел несколько лучше разглядеть ее потом, в этот вечер. Уж одно то, как она подала мне руку, с каким-то наивно усиленным вниманием продолжая смотреть мне в глаза и не говоря мне ни слова, поразило меня своею странностию, и я отчего-то невольно улыбнулся ей. Видно, я тотчас же почувствовал перед собой существо чистое сердцем. Графиня пристально следила за нею. Пожав мне руку, Катя с какою-то

поспешностью отошла от меня и села в другом конце комнаты, вместе с Алешей. Здороваясь со мной, Алеша шепнул мне: «Я здесь только на минутку, но сейчас *туда*».

«Дипломат» — не знаю его фамилии и называю его дипломатом, чтобы как-нибудь назвать, — говорил спокойно и величаво, развивая какую-то идею. Графиня внимательно его слушала. Князь одобрительно и льстиво улыбался; оратор часто обращался к нему, вероятно ценя в нем достойного слушателя. Мне дали чаю и оставили меня в покое, чему я был очень рад. Между тем я всматривался в графиню. По первому впечатлению она мне как-то нехотя понравилась. Может быть, она была уже не молода, но мне казалось, что ей не более двадцати восьми лет. Лицо ее было еще свежо и когда-то, в первой молодости, должно быть, было очень красиво. Темно-русые волосы были еще довольно густы; взгляд был чрезвычайно добрый, но какой-то ветреный и шаловливо насмешливый. Но теперь она для чего-то видимо себя сдерживала. В этом взгляде выражалось тоже много ума, но более всего доброты и веселости. Мне показалось, что преобладающее ее качество было некоторое легкомыслие, жажда наслаждений и какой-то добродушный эгоизм, может быть даже и большой. Она была под началом у князя, который имел на нее чрезвычайное влияние. Я знал, что они были в связи, слышал также, что он был уж слишком не ревнивый любовник во время их пребывания за границей; но мне всё казалось — кажется и теперь, — что их связывало, кроме бывших отношений, еще что-то другое, отчасти таинственное, что-нибудь вроде взаимного обязательства, основанного на каком-нибудь расчете… одним словом, что-то такое должно было быть. Знал я тоже, что князь в настоящее время тяготился ею, а между тем отношения их не прерывались. Может быть, их тогда особенно связывали виды на Катю, которые, разумеется, в инициативе своей должны были принадлежать князю. На этом основании князь и отделался от брака с графиней, которая этого действительно требовала, убедив ее содействовать браку Алеши с ее падчерицей. Так, по крайней мере, я заключал по прежним простодушным рассказам Алеши, который хоть что-нибудь да мог же заметить. Мне всё казалось тоже, отчасти из тех же рассказов, что князь, несмотря на то что графиня была в его полном повиновении, имел какую-то причину бояться ее. Даже Алеша это заметил. Я узнал потом, что князю очень хотелось выдать графиню за кого-нибудь замуж и что

отчасти с этою целью он и отсылал ее в Симбирскую губернию, надеясь приискать ей приличного мужа в провинции.

Я сидел и слушал, не зная, как бы мне поскорее поговорить глаз на глаз с Катериной Федоровной. Дипломат отвечал на какой-то вопрос графини о современном положении дел, о начинающихся реформах* и о том, следует ли их бояться или нет? Он говорил много и долго, спокойно и как власть имеющий. Он развивал свою идею тонко и умно, но идея была отвратительная. Он именно настаивал на том, что весь этот дух реформ и исправлений слишком скоро принесет известные плоды; что, увидя эти плоды, возьмутся за ум и что не только в обществе (разумеется, в известной его части) пройдет этот новый дух, но увидят по опыту ошибку и тогда с удвоенной энергией начнут поддерживать старое. Что опыт, хоть бы и печальный, будет очень выгоден, потому что научит, как поддерживать это спасительное старое, принесет для этого новые данные; а следственно, даже надо желать, чтоб теперь поскорее дошло до последней степени неосторожности. «Без *нас* нельзя, — заключил он, — без нас ни одно общество еще никогда не стояло. Мы не потеряем, а напротив, еще выиграем; мы всплывем, всплывем, и девиз наш в настоящую минуту должен быть: „Pire ça va, mieux ça est“».[10] нязь улыбнулся ему с отвратительным сочувствием. Оратор был совершенно доволен собою. Я был так глуп, что хотел было возражать; сердце кипело во мне. Но меня остановил ядовитый взгляд князя; он мельком скользнул в мою сторону, и мне показалось, что князь именно ожидает какой-нибудь странной и юношеской выходки с моей стороны; ему, может быть, даже хотелось этого, чтоб насладиться тем, как я себя скомпрометирую. Вместе с тем я был твердо уверен, что дипломат непременно не заметит моего возражения. а может быть, даже и самого меня. Мне скверно стало сидеть с ними; но выручил Алеша.

Он тихонько подошел ко мне, тронул меня за плечо и попросил на два слова. Я догадался, что он послом от Кати. Так и было. Через минуту я уже сидел рядом с нею. Сначала она всего меня пристально оглядела, как будто говоря про себя: «вот ты какой», и в первую минуту мы оба не находили слов для начала разговора. Я, однако ж, был уверен, что ей стоит только заговорить, чтоб уж и не останавливаться, хоть до утра. «Какие-нибудь пять-шесть часов разговора», о которых рассказывал Алеша, мелькнули у меня в уме. Алеша сидел тут же и с

нетерпением ждал, как-то мы начнем.

— Что ж вы ничего не говорите? — начал он, с улыбкою смотря на нас. — Сошлись и молчат.

— Ах, Алеша, какой ты… мы сейчас, — отвечала Катя. — Нам ведь так много надо переговорить вместе, Иван Петрович, что не знаю, с чего и начать. Мы очень поздно знакомимся; надо бы раньше, хоть я вас и давным-давно знаю. И так мне хотелось вас видеть. Я даже думала вам письмо написать…

— О чем? — спросил я, невольно улыбаясь.

— Мало ли о чем, — отвечала она серьезно. — Вот хоть бы о том, правду ли он рассказывает про Наталью Николаевну, что она не оскорбляется, когда он ее в такое время оставляет одну? Ну, можно ли так поступать, как он? Ну, зачем ты теперь здесь, скажи, пожалуйста?

— Ах, боже мой, да я сейчас и поеду. Я ведь сказал, что здесь только одну минутку пробуду, на вас обоих посмотрю, как вы вместе будете говорить, а там и туда.

— Да что мы вместе, ну вот и сидим, — видел? И всегда-то он такой, — прибавила она, слегка краснея и указывая мне на него пальчиком. — «Одну минутку, говорит, только одну минутку», а смотришь, и до полночи просидел, а там уж и поздно. «Она, говорит, не сердится, она добрая», — вот он как рассуждает! Ну, хорошо ли это, ну, благородно ли?

— Да я, пожалуй, поеду, — жалобно отвечал Алеша, — только мне бы очень хотелось побыть с вами…

— А что тебе с нами? Нам, напротив, надо о многом наедине переговорить. Да послушай, ты не сердись; это необходимость — пойми хорошенько.

— Если необходимость, то я сейчас же… чего же тут сердиться. Я только на минуточку к Левеньке, а там тотчас и к ней. Вот что, Иван Петрович, — продолжал *он*, взяв свою шляпу, — вы знаете, что отец хочет отказаться от денег, которые выиграл по процессу с Ихменева.

— Знаю, он мне говорил.

— Как благородно он это делает. Вот Катя не верит, что он делает благородно. Поговорите с ней об этом. Прощай, Катя, и, пожалуйста, не сомневайся, что я люблю Наташу. И зачем вы все навязываете мне эти условия, упрекаете меня, следите за мной, — точно я у вас под надзором! Она знает, как я ее люблю, и уверена во мне, и я уверен, что

она во мне уверена. Я люблю ее безо всего, безо всяких обязательств. Я не знаю, как я ее люблю. Просто люблю. И потому нечего меня допрашивать, как виноватого. Вот спроси Ивана Петровича, теперь уж он здесь и подтвердит тебе, что Наташа ревнива и хоть очень любит меня, но в любви ее много эгоизма, потому что она ничем не хочет для меня пожертвовать.

— Как это? — спросил я в удивлении, не веря ушам своим.

— Что ты это, Алеша? — чуть не вскрикнула Катя, всплеснув своими руками.

— Ну да; что ж тут удивительного? Иван Петрович знает. Она всё требует, чтоб я с ней был. Она хоть и не требует этого, но видно, что ей этого хочется.

— И не стыдно, не стыдно это тебе! — сказала Катя, вся загоревшись от гнева.

— Да что же стыдно-то? Какая ты, право, Катя! Я ведь люблю ее больше, чем она думает, а если б она любила меня настоящим образом, так, как я ее люблю, то, наверно, пожертвовала бы мне своим удовольствием. Она, правда, и сама отпускает меня, да ведь я вижу по лицу, что это ей тяжело, стало быть, для меня всё равно что и не отпускает.

— Нет, это неспроста! — вскричала Катя, снова обращаясь ко мне с сверкающим гневным взглядом. — Признавайся, Алеша, признавайся сейчас, это всё наговорил тебе отец? Сегодня наговорил? И, пожалуйста, не хитри со мной: я тотчас узнаю! Так или нет?

— Да, говорил, — отвечал смущенный Алеша, — что ж тут такого? Он говорил со мной сегодня так ласково, так по-дружески, а ее всё мне хвалил, так что я даже удивился: она его так оскорбила, а он ее же так хвалит.

— А вы, вы и поверили, — сказал я, — вы, которому она отдала всё, что могла отдать, и даже теперь, сегодня же всё ее беспокойство было об вас, чтоб вам не было как-нибудь скучно, чтоб как-нибудь не лишить вас возможности видеться с Катериной Федоровной! Она сама мне это говорила сегодня. И вдруг вы поверили фальшивым наговорам! Не стыдно ли вам?

— Неблагодарный! Да что, ему никогда ничего не стыдно! — проговорила Катя, махнув на него рукой, как будто на совершенно потерянного человека.

— Да что вы в самом деле! — продолжал Алеша жалобным голосом. — И всегда-то ты такая, Катя! Всегда ты во мне одно худое подозреваешь… Уж не говорю про Ивана Петровича! Вы думаете, я не люблю Наташу. Я не к тому сказал, что она эгоистка. Я хотел только сказать, что она меня уж слишком любит, так что уж из меры выходит, а от этого и мне и ей тяжело. А отец меня никогда не проведет, хоть бы и хотел. Не дамся. Он вовсе не говорил, что она эгоистка, в дурном смысле слова; я ведь понял. Он именно сказал точь-в-точь так же, как я теперь передал: что она до того уж слишком меня любит, до того сильно, что уж это выходит просто эгоизм, так что и мне и ей тяжело, а впоследствии и еще тяжелее мне будет. Что ж, ведь это он правду сказал, меня любя, и это вовсе не значит, что он обижал Наташу; напротив, он видел в ней самую сильную любовь, любовь без меры, до невозможности…

Но Катя прервала его и не дала ему кончить. Она с жаром начала укорять его, доказывать, что отец для того и начал хвалить Наташу, чтоб обмануть его видимою добротою, и всё это с намерением расторгнуть их связь, чтоб невидимо и неприметно вооружить против нее самого Алешу. Она горячо и умно вывела, как Наташа любила его, как никакая любовь не простит того, что он с ней делает, — и что настоящий-то эгоист и есть он сам, Алеша. Мало-помалу Катя довела его до ужасной печали и до полного раскаяния; он сидел подле нас, смотря в землю, уже ничего не отвечая, совершенно уничтоженный и с страдальческим выражением в лице. Но Катя была неумолима. Я с крайним любопытством всматривался в нее. Мне хотелось поскорее узнать эту странную девушку. Она была совершенный ребенок, но какой-то странный, *убежденный* ребенок, с твердыми правилами и с страстной, врожденной любовью к добру и к справедливости. Если ее действительно можно было назвать еще ребенком, то она принадлежала к разряду *задумывающихся* детей, довольно многочисленному в наших семействах. Видно было, что она уже много рассуждала. Любопытно было бы заглянуть в эту рассуждающую головку и подсмотреть, как смешивались там совершенно детские идеи и представления с серьезно выжитыми впечатлениями и наблюдениями жизни (потому что Катя уже жила), а вместе с тем и с идеями, еще ей не знакомыми, не выжитыми ею, но поразившими ее отвлеченно, книжно, которых уже должно было быть очень много и которые она, вероятно, принимала за

выжитые ею самою. Во весь этот вечер и впоследствии, мне кажется, я довольно хорошо изучил ее. Сердце в ней было пылкое и восприимчивое. Она в иных случаях как будто пренебрегала уменьем владеть собою, ставя прежде всего истину, а всякую жизненную выдержку считала за условный предрассудок и, кажется, тщеславилась таким убеждением, что случается со многими пылкими людьми, даже и не в очень молодых годах. Но это-то и придавало ей какую-то особенную прелесть. Она очень любила мыслить и добиваться истины, но была до того не педант, до того с ребяческими, детскими выходками, что вы с первого взгляда начинали любить в ней все ее оригинальности и мириться с ними. Я вспомнил Левеньку и Бореньку, и мне показалось, что всё это совершенно в порядке вещей. И странно: лицо ее, в котором я не заметил ничего особенно прекрасного с первого взгляда, в этот же вечер поминутно становилось для меня всё прекраснее и привлекательнее. Это наивное раздвоение ребенка и размышляющей женщины, эта детская и в высшей степени правдивая жажда истины и справедливости и непоколебимая вера в свои стремления — всё это освещало ее лицо каким-то прекрасным светом искренности, придавало ему какую-то высшую, духовную красоту, и вы начинали понимать, что не так скоро можно исчерпать всё значение этой красоты, которая не поддается вся сразу каждому обыкновенному, безучастному взгляду. И я понял, что Алеша должен был страстно привязаться к ней. Если он не мог сам мыслить и рассуждать, то любил именно тех, которые за него мыслили и даже желали, — а Катя уже взяла его под опеку. Сердце его было благородно и неотразимо, разом покорялось всему, что было честно и прекрасно, а Катя уже много и со всею искренностью детства и симпатии перед ним высказалась. У него не было ни капли собственной воли; у ней было очень много настойчивой, сильно и пламенно настроенной воли, а Алеша мог привязаться только к тому, кто мог им властвовать и даже повелевать. Этим отчасти привязала его к себе Наташа, в начале их связи, но в Кате было большое преимущество перед Наташей — то, что она сама была еще дитя и, кажется, еще долго должна была оставаться ребенком. Эта детскость ее, ее яркий ум и в то же время некоторый недостаток рассудка — всё это было как-то более сродни для Алеши. Он чувствовал это, и потому Катя влекла его к себе всё сильней и сильней. Я уверен, что когда они говорили между собой наедине, то рядом с серьезными «пропагандными» разговорами Кати

дело, может быть, доходило у них и до игрушек. И хоть Катя, вероятно, очень часто журила Алешу и уже держала его в руках, но ему, очевидно, было с ней легче, чем с Наташей. Они были более *пара* друг другу, а это было главное.

— Полно, Катя, полно, довольно; ты всегда права выходишь, а я нет. Это потому, что в тебе душа чище моей, — сказал Алеша, вставая и подавая ей на прощанье руку. — Сейчас же и к ней, и к Левеньке не заеду…

— И нечего тебе у Левеньки делать; а что теперь слушаешься и едешь, то в этом ты очень мил.

— А ты в тысячу раз всех милее, — отвечал грустный Алеша. — Иван Петрович, мне нужно вам два слова сказать.

Мы отошли на два шага.

— Он добрый, он благородный, — поспешно начала Катя, когда я уселся опять подле нее, — но мы об нем потом будем много говорить; а теперь нам прежде всего нужно условиться: вы как считаете князя?

— Очень нехорошим человеком.

— И я тоже. Следственно, мы в этом согласны, а потому нам легче будет судить. Теперь о Наталье Николаевне… Знаете, Иван Петрович, я теперь как впотьмах, я вас ждала, как света. Вы мне всё это разъясните, потому что в самом-то главном пункте я сужу по догадкам, из того, что мне рассказывал Алеша. А больше не от кого было узнать. Скажите же, во-первых (это главое), как по вашему мнению: будут Алеша и Наташа вместе счастливы или нет? Это мне прежде всего нужно знать для окончательного моего решения, чтоб уж самой знать, как поступать.

— Как же можно об этом сказать наверно?..

— Да, разумеется, не наверно, — перебила она, — а как вам кажется? — потому что вы очень умный человек.

— По-моему, они не могут быть счастливы.

— Почему же?

— Они не пара.

— Я так и думала! — И она сложила ручки, как бы в глубокой тоске.

— Расскажите подробнее. Слушайте: я ужасно желаю видеть Наташу, потому что мне много надо с ней переговорить, и мне кажется, что мы с ней всё решим. А теперь я всё ее представляю себе в уме: она должна быть ужасно умна, серьезная, правдивая и прекрасная собой.

Ведь так?

— Так.

— Так и я была уверена. Ну, так если она такая, как же она могла полюбить Алешу, такого мальчика? Объясните мне это; я часто об этом думаю.

— Этого нельзя объяснить, Катерина Федоровна; трудно представить, за что и как можно полюбить. Да, он ребенок. Но знаете ли, как можно полюбить ребенка? (Сердце мое размягчилось, глядя на нее и на ее глазки, пристально, с глубоким, серьезным и нетерпеливым вниманием устремленные на меня). И чем больше Наташа сама не похожа на ребенка, — продолжал я, — чем серьезнее она, тем скорее она могла полюбить его. Он правдив, искренен, наивен ужасно, а иногда грациозно наивен. Она, может быть, полюбила его — как бы это сказать?.. Как будто из какой-то жалости. Великодушное сердце может полюбить из жалости… Впрочем, я чувствую, что я вам ничего не могу объяснить, но зато спрошу вас самих: ведь вы его любите?

Я смело задал ей этот вопрос и чувствовал, что поспешностью такого вопроса я не могу смутить беспредельной, младенческой чистоты этой ясной души.

— Ей-богу, еще не знаю, — тихо отвечала она мне, светло смотря мне в глаза, — но, кажется, очень люблю…

— Ну, вот видите. А можете ли изъяснить, за что его любите?

— В нем лжи нет, — отвечала она, подумав, — и когда он посмотрит прямо в глаза и что-нибудь говорит мне при этом, то мне это очень нравится… Послушайте, Иван Петрович, вот я с вами говорю об этом, я девушка, а вы мужчина; хорошо ли я это делаю или нет?

— Да что же тут такого?

— То-то. Разумеется, что же тут такого? А вот они (она указала глазами на группу, сидевшую за самоваром), они, наверно, сказали бы, что это нехорошо. Правы они или нет?

— Нет! Ведь вы не чувствуете в сердце, что поступаете дурно, стало быть…

— Так я и всегда делаю, — перебила она, очевидно спеша как можно больше наговориться со мною, — как только я в чем смущаюсь, сейчас спрошу свое сердце, и коль оно спокойно, то и я спокойна. Так и всегда надо поступать. И я потому с вами говорю так совершенно откровенно, как будто сама с собою, что, во-первых, вы прекрасный

человек, и я знаю вашу прежнюю историю с Наташей до Алеши, и я плакала, когда слушала.

— А вам кто рассказывал?

— Разумеется, Алеша, и сам со слезами рассказывал: это было очень хорошо с его стороны, и мне очень понравилось. Мне кажется, он вас больше любит, чем вы его, Иван Петрович. Вот эдакими-то вещами он мне и нравится. Ну, а во-вторых, я потому с вами так прямо говорю, как сама с собою, что вы очень умный человек и много можете мне дать советов и научить меня.

— Почему же вы знаете, что я до того умен, что могу вас учить?

— Ну вот; что это вы! — Она задумалась.

— Я ведь только так об этом заговорила; будемте говорить о самом главном. Научите меня, Иван Петрович: вот я чувствую теперь, что я Наташина соперница, я ведь это знаю, как же мне поступать? Я потому и спросила вас: будут ли они счастливы. Я об этом день и ночь думаю. Положение Наташи ужасно, ужасно! Ведь он совсем ее перестал любить, а меня всё больше и больше любит. Ведь так?

— Кажется, так.

— И ведь он ее не обманывает. Он сам не знает, что перестает любить, а она наверно это знает. Каково же она мучается!

— Что же вы хотите делать, Катерина Федоровна?

— Много у меня проектов, — отвечала она серьезно, — а между тем я всё путаюсь. Потому-то и ждала вас с таким нетерпением, чтоб вы мне всё это разрешили. Вы всё это гораздо лучше меня знаете. Ведь вы для меня теперь как будто какой-то бог. Слушайте, я сначала так рассуждала: если они любят друг друга, то надобно, чтоб они были счастливы, и потому я должна собой пожертвовать и им помогать. Ведь так!

— Я знаю, что вы и пожертвовали собой.

— Да, пожертвовала, а потом как он начал приезжать ко мне и всё больше и больше меня любить, так я стала задумываться про себя и всё думаю: пожертвовать или нет? Ведь это очень худо, не правда ли?

— Это естественно, — отвечал я, — так должно быть… и вы не виноваты.

— Не думаю; это вы потому говорите, что очень добры. А я так думаю, что у меня сердце не совсем чистое. Если б было чистое сердце, я бы знала, как решить. Но оставим это! Потом я узнала побольше об их

отношениях от князя, от maman, от самого Алеши и догадалась, что они не ровня; вы вот теперь подтвердили. Я и задумалась еще больше: как же теперь? Ведь если они будут несчастливы, так ведь им лучше разойтись; а потом и положила: расспросить вас подробнее обо всем и поехать самой к Наташе, а уж с ней и решить всё дело.

— Но как же решить-то, вот вопрос?

— Я так и скажу ей: «Ведь вы его любите больше всего, а потому и счастье его должны любить больше своего; следственно, должны с ним расстаться».

— Да, но каково же ей будет это слышать? А если она согласится с вами, то в силах ли она будет это сделать?

— Вот об этом-то я и думаю день и ночь и… и…

И она вдруг заплакала.

— Вы не поверите, как мне жалко Наташу, — прошептала она дрожавшими от слез губками.

Нечего было тут прибавлять. Я молчал, и мне самому хотелось заплакать, смотря на нее, так, от любви какой-то. Что за милый был это ребенок! Я уж не спрашивал ее, почему она считает себя способною сделать счастье Алеши.

— Вы ведь любите музыку? — спросила она, несколько успокоившись, еще задумчивая от недавних слез.

— Люблю, — отвечал я с некоторым удивлением.

— Если б было время, я бы вам сыграла Третий концерт Бетховена. Я его теперь играю. Там все эти чувства… точно так же, как я теперь чувствую. Так мне кажется. Но это в другой раз; а теперь надо говорить.

Начались у нас переговоры о том, как ей видеться с Наташей и как это всё устроить. Она объявила мне, что за ней присматривают, хотя мачеха ее добрая и любит ее, но ни за что не позволит ей познакомиться с Натальей Николаевной; а потому она и решилась на хитрость. Поутру она иногда ездит гулять, почти всегда с графиней. Иногда же графиня не ездит с нею, а отпускает ее одну с француженкой, которая теперь больна. Бывает же это, когда у графини болит голова; а потому и ждать надо, когда у ней заболит голова. А до этого она уговорит свою француженку (что-то вроде компаньонки, старушка), потому что француженка очень добра. В результате выходило, что никак нельзя было определить заранее дня, назначенного для визита к Наташе.

— С Наташей вы познакомитесь и не будете раскаиваться, —

сказал я. — Она вас сама очень хочет узнать, и это нужно хоть для того только, чтоб ей знать, кому она передает Алешу. О деле же этом не тоскуйте очень. Время и без ваших забот решит. Ведь вы едете в деревню?

— Да, скоро, может быть через месяц, — отвечала она, — и я знаю, что на этом настаивает князь.

— Как вы думаете, поедет с вами Алеша?

— Вот и я об этом думала! — проговорила она, пристально смотря на меня. — Ведь он поедет.

— Поедет.

— Боже мой, что из этого всего выйдет — не знаю. Послушайте, Иван Петрович. Я вам обо всем буду писать, буду часто писать и много. Уж я теперь пошла вас мучить. Вы часто будете к нам приходить?

— Не знаю, Катерина Федоровна: это зависит от обстоятельств. Может быть, и совсем не буду ходить.

— Почему же?

— Это будет зависеть от разных причин, а главное, от отношений моих с князем.

— Это нечестный человек, — сказала решительно Катя. — А знаете, Иван Петрович, что если б я к Вам приехала! Это хорошо бы было или не хорошо?

— Как вы сами думаете?

— Я думаю, что хорошо. Так, навестила бы вас… — прибавила она, улыбнувшись. — Я ведь к тому говорю, что я, кроме того, что вас уважаю, — я вас очень люблю… И у вас научиться многому можно. А я вас люблю… И ведь это не стыдно, что я вам про всё это говорю?

— Чего же стыдно? Вы сами мне уже дороги, как родная.

— Ведь вы хотите быть моим другом?

— О да, да! — отвечал я.

— Ну, а они непременно бы сказали, что стыдно и не следует так поступать молодой девушке, — заметила она, снова указав мне на собеседников у чайного стола. Замечу здесь, что князь, кажется, нарочно оставил нас одних вдоволь наговориться.

— Я ведь знаю очень хорошо, — прибавила она, — князю хочется моих денег. Про меня они думают, что я совершенный ребенок, и даже мне прямо это говорят. Я же не думаю этого. Я уж не ребенок. Странные они люди: сами ведь они точно дети; ну, из чего хлопочут?

— Катерина Федоровна, я забыл спросить: кто эти Левенька и Боренька, к которым так часто ездит Алеша?

— Это мне дальняя родня. Они очень умные и очень честные, но уж много говорят… Я их знаю… И она улыбнулась.

— Правда ли, что вы хотите им подарить со временем миллион?

— Ну, вот видите, ну хоть бы этот миллион, уж они так болтают о нем, что уж и несносно становится. Я, конечно, с радостию пожертвую на всё полезное, к чему ведь такие огромные деньги, не правда ли? Но ведь когда еще я его пожертвую; а они уж там теперь делят, рассуждают, кричат, спорят: куда лучше употребить его, даже ссорятся из-за этого, — так что уж это и странно. Слишком торопятся. Но все-таки они такие искренние и… умные. Учатся. Это всё же лучше, чем как другие живут. Ведь так?

И много еще мы говорили с ней. Она мне рассказала чуть не всю свою жизнь и с жадностью слушала мои рассказы. Всё требовала, чтоб я всего более рассказывал ей про Наташу и про Алешу. Было уже двенадцать часов, когда князь подошел ко мне и дал знать, что пора откланиваться. Я простился. Катя горячо пожала мне руку и выразительно на меня взглянула. Графиня просила меня бывать; мы вышли вместе с князем.

Не могу удержаться от странного и, может быть, совершенно не идущего к делу замечания. Из трехчасового моего разговора с Катей я вынес, между прочим, какое-то странное, но вместе с тем глубокое убеждение, что она до того еще вполне ребенок, что совершенно не знает всей тайны отношений мужчины и женщины. Это придавало необыкновенную комичность некоторым ее рассуждениям и вообще серьезному тону, с которым она говорила о многих очень важных вещах…

Глава X

— А знаете ли что, — сказал мне князь, садясь вместе со мною в коляску, — что если б нам теперь поужинать, а? Как вы думаете?

— Право, не знаю, князь, — отвечал я, колеблясь, — я никогда не ужинаю…

— Ну, разумеется, и *поговорим* за ужином, — прибавил он,

пристально и хитро смотря мне прямо в глаза.

Как было не понять! «Он хочет высказаться, — подумал я, — а мне ведь того и надо». Я согласился.

— Дело в шляпе. В Большую Морскую, к Б.*

— В ресторан? — спросил я с некоторым замешательством.

— Да. А что ж? Я ведь редко ужинаю дома. Неужели ж вы мне не позволите пригласить вас?

— Но я вам сказал уже, что я никогда не ужинаю.

— Что за дело один раз. К тому же ведь это я вас приглашаю…

То есть заплачу за тебя; я уверен, что он прибавил это нарочно. Я позволил везти себя, но в ресторане решился платить за себя сам. Мы приехали. Князь взял особую комнату и со вкусом и знанием дела выбрал два-три блюда. Блюда были дорогие, равно как и бутылка тонкого столового вина, которую он велел принести. Всё это было не по моему карману. Я посмотрел на карту и велел принести себе полрябчика и рюмку лафиту. Князь взбунтовался.

— Вы не хотите со мной ужинать! Ведь это даже смешно. Pardon, mon ami,[11] но ведь это… возмутительная щепетильность. Это уж самое мелкое самолюбие. Тут замешались чуть ли не сословные интересы, и бьюсь об заклад, что это так. Уверяю вас, что вы меня обижаете.

Но я настоял на своем.

— Впрочем, как хотите, — прибавил он. — Я вас не принуждаю… скажите, Иван Петрович, можно мне с вами говорить вполне дружелюбно?

— Я вас прошу об этом.

— Ну так, по-моему, такая щепетильность вам же вредит. Так же точно вредят себе и все ваши этим же самым. Вы литератор, вам нужно знать свет, а вы всего чуждаетесь. Я не про рябчиков теперь говорю, но ведь вы готовы отказываться совершенно от всякого сообщения с нашим кругом, а это положительно вредно. Кроме того, что вы много теряете, — ну, одним словом, карьеру, — кроме того, хоть одно то, что надобно самому узнать, что вы описываете, а у вас там, в повестях, и графы, и князья, и будуары… впрочем, что ж я? У вас там теперь всё нищета, потерянные шинели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые годы и раскольничий* быт, знаю, знаю.

— Но вы ошибаетесь, князь; если я не хожу в так называемый вами «высший круг», то это потому, что там, во-первых, скучно, а во-вторых,

нечего делать! Но и, наконец, я все-таки бываю…

— Знаю, у князя Р., раз в год; я там вас и встретил. А остальное время года вы коснеете в демократической гордости и чахнете на ваших чердаках, хотя и не все так поступают из ваших. Есть такие искатели приключений, что даже меня тошнит[*]…

— Я просил бы вас, князь, переменить этот разговор и не возвращаться к нам на чердаки.

— Ах, боже мой, вот вы и обиделись. Впрочем, сами же вы позволили мне говорить с вами дружелюбно. Но, виноват, я ничем еще не заслужил вашей дружбы. Вино порядочное. Попробуйте.

Он налил мне полстакана из своей бутылки.

— Вот видите, мой милый Иван Петрович, я ведь очень хорошо понимаю, что навязываться на дружбу неприлично. Ведь не все же мы грубы и наглы с вами, как вы о нас воображаете; ну, я тоже очень хорошо понимаю, что вы сидите здесь со мной не из расположения ко мне, а оттого, что я обещался с вами *поговорить*. Не правда ли? Он засмеялся.

— А так как вы наблюдаете интересы известной особы, то вам и хочется послушать, что я буду говорить. Так ли? — прибавил он с злою улыбкою.

— Вы не ошиблись, — прервал я с нетерпением (я видел, что он был из тех, которые, видя человека хоть капельку в своей власти, сейчас же дают ему это почувствовать. Я же был в его власти; я не мог уйти, не выслушав всего, что он намерен был сказать, и он знал это очень хорошо. Его тон вдруг изменился и всё больше и больше переходил в нагло фамильярный и насмешливый). — Вы не ошиблись, князь; я именно за этим и приехал, иначе, право, не стал бы сидеть… так поздно.

Мне хотелось сказать: иначе ни за что бы не остался с вами, но я не сказал и перевернул по-другому, не из боязни, а из проклятой моей слабости и деликатности. Ну как в самом деле сказать человеку грубость прямо в глаза, хотя он и стоил того и хотя я именно и хотел сказать ему грубость? Мне кажется, князь это приметил по моим глазам и с насмешкою смотрел на меня во всё продолжение моей фразы, как бы наслаждаясь моим малодушием и точно подзадоривая меня своим взглядом: «А что, не посмел, сбрендил, то-то, брат!» Это наверно так было, потому что он, когда я кончил, расхохотался и с какой-то протежирующей лаской потрепал меня по колену.

«Смешишь же ты, братец», — прочитал я в его взгляде. «Постой же!» — подумал я про себя.

— Мне сегодня очень весело! — вскричал он, — и, право, не знаю почему. Да, да, мой друг, да! Я именно об этой особе и хотел говорить. Надо же окончательно высказаться, *договориться* до чего-нибудь, и надеюсь, что в этот раз вы меня совершенно поймете. Давеча я с вами заговорил об этих деньгах и об этом колпаке-отце, шестидесятилетнем младенце… Ну! Не стоит теперь и поминать. Я ведь это *так* говорил! Ха-ха-ха, ведь вы литератор, должны же были догадаться…

Я с изумлением смотрел на него. Кажется, он был еще не пьян.

— Ну, а что касается до этой девушки, то, право, я ее уважаю, даже люблю, уверяю вас; капризна она немножко, но ведь «нет розы без шипов», как говорили пятьдесят лет назад, и хорошо говорили: шипы колются, но ведь это-то и заманчиво, и хоть мой Алексей дурак, но я ему отчасти уже простил — за хороший вкус. Короче, мне эти девицы нравятся, и у меня — он многознаменательно сжал губы — даже виды особенные… Ну, да это после…

— Князь! Послушайте, князь! — вскричал я, — я не понимаю в вас этой быстрой перемены, но… перемените разговор, прошу вас!

— Вы опять горячитесь! Ну, хорошо… переменю, переменю! Только вот что хочу спросить у вас, мой добрый друг: очень вы ее уважаете?

— Разумеется, — отвечал я с грубым нетерпением.

— Ну, ну и любите? — продолжал он, отвратительно скаля зубы и прищурив глаза.

— Вы забываетесь! — вскричал я.

— Ну, не буду, не буду! Успокойтесь! В удивительнейшем расположении духа я сегодня. Мне так весело, как давно не бывало. Не выпить ли нам шампанского! Как думаете, мой поэт?

— Я не буду пить, не хочу!

— И не говорите! Вы непременно должны мне составить сегодня компанию. Я чувствую себя прекрасно, и так как я добр до сентиментальности, то и не могу быть счастливым один. Кто знает, мы, может быть, еще дойдем до того, что выпьем на ты, ха-ха-ха! Нет, молодой мой друг, вы меня еще не знаете! Я уверен, что вы меня полюбите. Я хочу, чтоб вы разделили сегодня со мною и горе и радость, и веселье и слезы, хотя, надеюсь, что я-то, по крайней мере, не заплачу.

Ну как же, Иван Петрович? Ведь вы сообразите только, что если не будет того, что мне хочется, то всё мое вдохновение пройдет, пропадет, улетучится, и вы ничего не услышите; ну, а ведь вы здесь единственно для того, чтоб что-нибудь услышать. Не правда ли? — прибавил он, опять нагло мне подмигивая, — ну так и выбирайте.

Угроза была важная. Я согласился. «Уж не хочет ли он меня напоить пьяным?» — подумал я. Кстати, здесь место упомянуть об одном слухе про князя, слухе, который уже давно дошел до меня. Говорили про него, что он — всегда такой приличный и изящный в обществе — любит иногда по ночам пьянствовать, напиваться как стелька и потаенно развратничать, гадко и таинственно развратничать… Я слыхал о нем ужасные слухи… Говорят, Алеша знал о том, что отец иногда пьет, и старался скрывать это перед всеми и особенно перед Наташей. Однажды было он мне проговорился, но тотчас же замял разговор и не отвечал на мои расспросы. Впрочем, я не от него и слышал и, признаюсь, прежде не верил; теперь же ждал, что будет.

Подали вино; князь налил два бокала, себе и мне.

— Милая, милая девочка, хоть и побранила меня! — продолжал он, с наслаждением смакуя вино, — но эти милые существа именно тут-то и милы, в такие именно моменты… А ведь она, наверно, думала, что меня пристыдила, помните в тот вечер, разбила в прах! Ха-ха-ха! И как к ней идет румянец! Знаток вы в женщинах? Иногда внезапный румянец ужасно идет к бледным щекам, заметили вы это? Ах, боже мой! Да вы, кажется, опять сердитесь?

— Да, сержусь! — вскричал я, уже не сдерживая себя, — и не хочу, чтоб вы говорили теперь о Наталье Николаевне… то есть говорили в таком тоне. Я… я не позволю вам этого!

— Ого! Ну, извольте, сделаю вам удовольствие, переменю тему. Я ведь уступчив и мягок, как тесто. Будем говорить об вас. Я вас люблю, Иван Петрович, если б вы знали, какое дружеское, какое искреннее я беру в вас участие…

— Князь, не лучше ли говорить о деле, — прервал я его.

— То есть о *нашем деле,* хотите вы сказать. Я вас понимаю с полуслова, mon ami, но вы и не подозреваете, как близко мы коснемся к делу, если заговорим теперь об вас и если, разумеется, вы меня не прервете. Итак, продолжаю: я хотел вам сказать, мой бесценный Иван Петрович, что жить так, как вы живете, значит просто губить себя. Уж

вы позвольте мне коснуться этой деликатной материи; я из дружбы. Вы бедны, вы берете у вашего антрепренера вперед, платите свои должишки, на остальное питаетесь полгода одним чаем и дрожите на своем чердаке в ожидании, когда напишется ваш роман в журнал вашего антрепренера; ведь так?

— Хоть и так, но всё же это…

— Почетнее, чем воровать, низкопоклонничать, брать взятки, интриговать, ну и прочее и прочее. Знаю, знаю, что вы хотите сказать; всё это давно напечатано.

— А следственно, вам нечего и говорить о моих делах. Неужели я вас должен, князь, учить деликатности.

— Ну, уж конечно, не вы. Только что же делать, если мы именно касаемся этой деликатной струны. Ведь не обходить же ее. Ну, да впрочем, оставим чердаки в покое. Я и сам до них не охотник, разве в известных случаях (и он отвратительно захохотал). А вот что меня удивляет: что за охота вам играть роль второго лица? Конечно, один ваш писатель даже, помнится, сказал где-то: что, может быть, самый великий подвиг человека в том, если он сумеет ограничиться в жизни ролью второго лица…[*] Кажется, что-то эдакое! Об этом я еще где-то разговор слышал, но ведь Алеша отбил у вас невесту, я ведь это знаю, а вы, как какой-нибудь Шиллер, за них же распинаетесь, им же прислуживаете и чуть ли у них не на побегушках… Вы уж извините меня, мой милый, но ведь это какая-то гаденькая игра в великодушные чувства… Как это вам не надоест, в самом деле! Даже стыдно. Я бы, кажется, на вашем месте умер с досады; а главное: стыдно, стыдно!

— Князь! Вы, кажется, нарочно привезли меня сюда, чтоб оскорбить! — вскричал я вне себя от злости.

— О нет, мой друг, нет, я в эту минуту просто-запросто деловой человек и хочу вашего счастья. Одним словом, я хочу уладить всё дело. Но оставим на время *всё дело,* а вы меня дослушайте до конца, постарайтесь не горячиться, хоть две какие-нибудь минутки. Ну, как вы думаете, что если б вам жениться? Видите, я ведь теперь совершенно говорю о *постороннем;* что ж вы на меня с таким удивлением смотрите?

— Жду, когда вы всё кончите, — отвечал я, действительно смотря на него с удивлением.

— Да высказывать-то нечего. Мне именно хотелось знать, что бы

вы сказали, если б вам кто-нибудь из друзей ваших, желающий вам основательного, истинного счастья, не эфемерного какого-нибудь, предложил девушку, молоденькую, хорошенькую, но… уже кое-что испытавшую; я говорю аллегорически, но вы меня понимаете, ну, вроде Натальи Николаевны, разумеется с приличным вознаграждением… (Заметьте, я говорю о постороннем, а не о *нашем* деле); ну, что бы вы сказали?

— Я скажу вам, что вы… сошли с ума.

— Ха-ха-ха! Ба! Да вы чуть ли не бить меня собираетесь?

Я действительно готов был на него броситься. Дальше я не мог выдержать. Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить. Он наслаждался своими насмешками надо мною; он играл со мной, как кошка с мышью, предполагая, что я весь в его власти. Мне казалось (и я понимал это), что он находил какое-то удовольствие, какое-то, может быть, даже сладострастие в своей низости и в этом нахальстве, в этом цинизме, с которым он срывал, наконец, передо мной свою маску. Он хотел насладиться моим удивлением, моим ужасом. Он меня искренно презирал и смеялся надо мною.

Я предчувствовал еще с самого начала, что всё это преднамеренно и к чему-нибудь клонится; но я был в таком положении, что во что бы то ни стало должен был его дослушать. Это было в интересах Наташи, и я должен был решиться на всё и всё перенести, потому что в эту минуту, может быть, решалось всё дело. Но как можно было слушать эти цинические, подлые выходки на ее счет, как можно было это переносить хладнокровно? А он, вдобавок к тому, сам очень хорошо понимал, что я не могу его не выслушать, и это еще усугубляло обиду. «Впрочем, он ведь сам нуждается во мне», — подумал я и стал отвечать ему резко и бранчиво. Он понял это.

— Вот что, молодой мой друг, — начал он, серьезно смотря на меня, — нам с вами эдак продолжать нельзя, а потому лучше уговоримся. Я, видите ли, намерен был вам кое-что высказать, ну, а вы уж должны быть так любезны, чтобы согласиться выслушать, что бы я ни сказал. Я желаю говорить, как хочу и как мне нравится, да по-настоящему так и надо. Ну, так как же, молодой мой друг, будете вы терпеливы?

Я скрепился и смолчал, несмотря на то что он смотрел на меня с

такою едкою насмешкою, как будто сам вызывал меня на самый резкий протест. Но он понял, что я уже согласился не уходить, и продолжал:

— Не сердитесь на меня, друг мой. Вы ведь на что рассердились? На одну наружность, не правда ли? Ведь вы от меня, в самой сущности дела, ничего другого и не ожидали, как бы я ни говорил с вами: с раздушенною ли вежливостью, или как теперь; следовательно, смысл все-таки был бы тот же, как и теперь. Вы меня презираете, не правда ли? Видите ли, сколько во мне этой милой простоты, откровенности, этой bonhomie.[12] Я вам во всем признаюсь, даже в моих детских капризах. Да, mon cher,[13] а, побольше bonhomie и с вашей стороны, и мы сладимся, сговоримся совершенно и наконец поймем друг друга окончательно. А на меня не дивитесь: мне до того, наконец, надоели все эти невинности, все эти Алешины пасторали, вся эта шиллеровщина, все эти возвышенности в этой проклятой связи с этой Наташей (впрочем, очень миленькой девочкой), что я, так сказать, поневоле рад случаю над всем этим погримасничать. Ну, случай и вышел. К тому же я и хотел перед вами излить мою душу. Ха-ха-ха!

— Вы меня удивляете, князь, и я вас не узнаю. Вы впадаете в тон полишинеля[*]; эти неожиданные откровенности…

— Ха-ха-ха, а ведь это верно отчасти! Премиленькое сравнение! ха-ха-ха! Я *кучу*, мой друг, я *кучу*, я рад и доволен, ну, а вы, мой поэт, должны уж оказать мне всевозможное снисхождение. Но давайте-ка лучше пить, — решил он, совершенно довольный собою и подливая в бокал. — Вот что, друг мой, уж один тот глупый вечер, помните, у Наташи, доконал меня окончательно. Правда, сама она была очень мила, но я вышел оттуда с ужасной злобой и не хочу этого забыть. Ни забыть, ни скрывать. Конечно, будет и наше время и даже быстро приближается, но теперь мы это оставим. А между прочим, я хотел объяснить вам, что у меня именно есть черта в характере, которую вы еще не знали, — это ненависть ко всем этим пошлым, ничего не стоящим наивностям и пасторалям, и одно из самых пикантных для меня наслаждений всегда было прикинуться сначала самому на этот лад, войти в этот тон, обласкать, ободрить какого-нибудь вечно юного Шиллера и потом вдруг, сразу огорошить его; вдруг поднять перед ним маску и из восторженного лица сделать ему гримасу, показать ему язык именно в ту минуту, когда он менее всего ожидает этого сюрприза. Что? Вы этого не понимаете, вам это кажется гадким, нелепым,

неблагородным, может быть, так ли?

— Разумеется, так.

— Вы откровенны. Ну, да что же делать, если самого меня мучат! Глупо и я откровенен, но уж таков мой характер. Впрочем, мне хочется рассказать кой-какие черты из моей жизни. Вы меня поймете лучше, и это будет очень любопытно. Да, я действительно, может быть, сегодня похож на полишинеля; а ведь полишинель откровенен, не правда ли?

— Послушайте, князь, теперь поздно, и, право…

— Что? Боже, какая нетерпимость! Да и куда спешить? Ну, посидим, поговорим по-дружески, искренно, знаете, эдак за бокалом вина, как добрые приятели. Вы думаете, я пьян: ничего, это лучше. Ха-ха-ха! Право, эти дружеские сходки всегда так долго потом памятны, с таким наслаждением об них вспоминается. Вы недобрый человек, Иван Петрович. Сентиментальности в вас нет, чувствительности. Ну, что вам часик для такого друга, как я? К тому же ведь это тоже касается к делу… Ну, как этого не понять? А еще литератор; да вы бы должны были случай благословлять. Ведь вы можете с меня тип писать, ха-ха-ха! Боже, как я мило откровенен сегодня!

Он видимо хмелел. Лицо его изменилось и приняло какое-то злобное выражение. Ему, очевидно, хотелось язвить, колоть, кусать, насмехаться. «Это отчасти и лучше, что он пьян, — подумал я, — пьяный всегда разболтает». Но он был себе на уме.

— Друг мой, — начал он, видимо наслаждаясь собою, — я сделал вам сейчас одно признание, может быть даже и неуместное, о том, что у меня иногда является непреодолимое желание показать кому-нибудь в известном случае язык. За эту наивную и простодушную откровенность мою вы сравнили меня с полишинелем, что меня искренно рассмешило. Но если вы упрекаете меня или дивитесь на меня, что я с вами теперь груб и, пожалуй, еще неблагопристоен, как мужик, — одним словом, вдруг переменил с вами тон, то вы в этом случае совершенно несправедливы. Во-первых, мне так угодно, во-вторых, я не у себя, а *с вами*… то есть я хочу сказать, что мы теперь *кутим*, как добрые приятели, а в-третьих, я ужасно люблю капризы. Знаете ли, что когда-то я из каприза даже был метафизиком и филантропом и вращался чуть ли не в таких же идеях, как вы? Это, впрочем, было ужасно давно, в златые дни моей юности. Помню, я еще тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями и, разумеется, скучал на чем свет стоит; и вы не

поверите, что тогда случилось со мною? От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками… Да уж вы не гримасничаете ли? О молодой мой друг! Да ведь мы теперь в дружеской сходке. Когда ж и покутить, когда ж и распахнуться! Я ведь русская натура, неподдельная русская натура, патриот, люблю распахнуться, да и к тому же надо ловить минуту и насладиться жизнью. Умрем и — что там! Ну, так вот-с я и волочился. Помню, еще у одной пастушки был муж, красивый молодой мужичок. Я его больно наказал и в солдаты хотел отдать (прошлые проказы, мой поэт!), да и не отдал в солдаты. Умер он у меня в больнице… У меня ведь в селе больница была, на двенадцать кроватей, — великолепно устроенная; чистота, полы паркетные. Я, впрочем, ее давно уж уничтожил, а тогда гордился ею: филантропом был; ну, а мужичка чуть не засек за жену… Ну, что вы опять гримасу состроили? Вам отвратительно слушать? Возмущает ваши благородные чувства? Ну, ну, успокойтесь! Всё это прошло. Это я сделал, когда романтизировал, хотел быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать… в такую тогда колею попал. Тогда и сек. Теперь не высеку; теперь надо гримасничать; теперь мы все гримасничаем — такое время пришло… Но более всего меня смешит теперь дурак Ихменев. Я уверен, что он знал весь этот пассаж с мужичком… и что ж? Он из доброты своей души, созданной, кажется, из патоки, и оттого, что влюбился тогда в меня и сам же захвалил меня самому себе, — решился ничему не верить и не поверил; то есть факту не поверил и двенадцать лет стоял за меня горой до тех пор, пока до самого не коснулось. Ха-ха-ха! Ну, да всё это вздор! Выпьем, мой юный друг. Послушайте: любите вы женщин?

Я ничего не отвечал. Я только слушал его. Он уж начал вторую бутылку.

— А я люблю о них говорить за ужином. Познакомил бы я вас после ужина с одной mademoiselle Phileberte — а? Как вы думаете? Да что с вами? Вы и смотреть на меня не хотите… гм!

Он было задумался. Но вдруг поднял голову, как-то значительно взглянул на меня и продолжал.

— Вот что, мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу! Если б только

могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, — то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться[*]. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль — не скажу, нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, то есть изобретена единственно для комфорта. Но о приличиях после, я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом. Заключу же так: вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что *откровеннее* других и больше ничего; что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде… Это я скверно делаю, но я теперь так хочу. Впрочем, не беспокойтесь, — прибавил он с насмешливою улыбкой, — я сказал «виноват», но ведь я вовсе не прошу прощения. Заметьте себе еще: я не конфужу вас, не спрашиваю о том: нет ли у вас у самого каких-нибудь таких же тайн, чтоб вашими тайнами оправдать и себя… Я поступаю прилично и благородно. Вообще я всегда поступаю благородно…

— Вы просто заговариваетесь, — сказал я, с презрением смотря на него.

— Заговариваетесь, ха-ха-ха! А сказать, об чем вы теперь думаете? Вы думаете: зачем это я завез вас сюда и вдруг, ни с того ни с сего, так перед вами разоткровенничался? Так или нет?

— Так.

— Ну, это вы после узнаете.

— А проще всего, выпили чуть не две бутылки и… охмелели.

— То есть просто пьян. И это может быть. «Охмелели!» — то есть это понежнее, чем пьян. О преисполненный деликатностей человек! Но… мы, кажется, опять начали браниться, а заговорили было о таком интересном предмете. Да, мой поэт, если еще есть на свете что-нибудь хорошенькое и сладенькое, так это женщины.

— Знаете ли, князь, я все-таки не понимаю, почему вам вздумалось выбрать именно меня конфидентом ваших тайн[*] и любовных…

стремлений.

— Гм… да ведь я вам сказал, что узнаете после. Не беспокойтесь; а впрочем, хоть бы и так, безо всяких причин; вы поэт, вы меня поймете, да я уж и говорил вам об этом. Есть особое сладострастие в этом внезапном срыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг выказывается перед другим в таком виде, что даже не удостоивает и постыдиться перед ним[*]. Я вам расскажу анекдот: был в Париже один сумасшедший чиновник; его потом посадили в сумасшедший дом, когда вполне убедились, что он сумасшедший. Ну так когда он сходил с ума, то вот что выдумал для своего удовольствия: он раздевался у себя дома, совершенно, как Адам, оставлял на себе одну обувь, накидывал на себя широкий плащ до пят, закутывался в него и с важной, величественной миной выходил на улицу. Ну, сбоку посмотреть — человек, как и все, прогуливается себе в широком плаще для своего удовольствия. Но лишь только случалось ему встретить какого-нибудь прохожего, где-нибудь наедине, так чтоб кругом никого не было, он молча шел на него, с самым серьезным и глубокомысленным видом, вдруг останавливался перед ним, развертывал свой плащ и показывал себя во всем… чистосердечии. Это продолжалось одну минуту, потом он завертывался опять и молча, не пошевелив ни одним мускулом лица, проходил мимо остолбеневшего от изумления зрителя[*] важно, плавно, как тень в Гамлете[*]. Так он поступал со всеми, с мужчинами, женщинами и детьми, и в этом состояло всё его удовольствие. Вот часть-то этого самого удовольствия и можно находить, внезапно огорошив какого-нибудь Шиллера и высунув ему язык, когда он всего менее ожидает этого. «Огорошив» — каково словечко? Я его вычитал где-то в вашей же современной литературе.

— Ну, так то был сумасшедший, а вы…

— Себе на уме?

— Да.

Князь захохотал.

— Вы справедливо судите, мой милый, — прибавил он с самым наглым выражением лица.

— Князь, — сказал я, разгорячившись от его нахальства, — вы нас ненавидите, в том числе и меня, и мстите мне теперь за всё и за всех. Всё это в вас из самого мелкого самолюбия. Вы злы и мелочно злы. Мы вас разозлили, и, может быть, больше всего вы сердитесь за тот вечер.

Разумеется, вы ничем так сильно не могли отплатить мне, как этим окончательным презрением ко мне; вы избавляете себя даже от обыденной и всем обязательной вежливости, которою мы все друг другу обязаны. Вы ясно хотите показать мне, что даже не удостоиваете постыдиться меня, срывая передо мной так откровенно и так неожиданно вашу гадкую маску и выставляясь в таком нравственном цинизме…

— Для чего ж вы это мне всё говорите? — спросил он, грубо и злобно смотря на меня. — Чтоб показать свою проницательность?

— Чтоб показать, что я вас понимаю, и заявить это перед вами.

— Quelle idée, mon cher,[14] — продолжал он, вдруг переменив свой тон на прежний веселый и болтливо-добродушный. — Вы только отбили меня от предмета. Buvons, mon ami,[15] позвольте мне налить. А я только что было хотел рассказать одно прелестнейшее и чрезвычайно любопытное приключение. Расскажу его вам в общих чертах. Был я знаком когда-то с одной барыней; была она не первой молодости, а так лет двадцати семи-восьми; красавица первостепенная, что за бюст, что за осанка, что за походка! Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго; держала себя величаво и недоступно. Она слыла холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своею недосягаемою, своею грозною добродетелью. Именно грозною. Не было во всем ее круге такого нетерпимого судьи, как она. Она карала не только порок, но даже малейшую слабость в других женщинах, и карала безвозвратно, без апелляции. В своем кругу она имела огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели старухи почитали ее, даже заискивали в ней. Она смотрела на всех бесстрастно-жестоко, как абесса[*] средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали ее взгляда и суждения. Одно ее замечание, один намек ее уже могли погубить репутацию, — уж так она себя поставила в обществе; боялись ее даже мужчины. Наконец она бросилась в какой-то созерцательный мистицизм, впрочем тоже спокойный и величавый… И что ж? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастье заслужить вполне ее доверенность. Одним словом — я был ее тайным и таинственным любовником. Сношения были устроены до того ловко, до того мастерски, что даже никто из ее домашних не мог иметь ни малейшего подозрения; только одна ее прехорошенькая камеристка, француженка, была посвящена во все ее тайны, но на эту камеристку

можно было вполне положиться; она тоже брала участие в деле, — каким образом? Я это теперь опущу. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться*. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении — была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе как о высоком, недоступном и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать, — и всё это без пределов, доведенное до самой последней степени, до такой степени, о которой самое горячечное воображение не смело бы и помыслить, — вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен. Я и теперь не могу припомнить о ней без восторга. В пылу самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как исступленная, и я понимал, вполне понимал этот хохот и сам хохотал… Я еще и теперь задыхаюсь при одном воспоминании, хотя тому уже много лет. Через год она переменила меня. Если б я и хотел, я бы не мог повредить ей. Ну, кто бы мог мне поверить? Каков характер? Что скажете, молодой мой друг?

— Фу, какая низость! — отвечал я, с отвращением выслушав это признание.

— Вы бы не были молодым моим другом, если б отвечали иначе! Я так и знал, что вы это скажете. Ха-ха-ха! Подождите, mon ami, поживете и поймете, а теперь вам еще нужно пряничка. Нет, вы не поэт после этого: эта женщина понимала жизнь и умела ею воспользоваться.

— Да зачем же доходить до такого зверства?

— До какого зверства?

— До которого дошла эта женщина и вы с нею.

— А, вы называете это зверством, — признак, что вы всё еще на помочах и на веревочке. Конечно, я признаю, что самостоятельность может явиться и совершенно в противоположном, но… будем говорить попроще, mon ami… согласитесь сами, ведь всё это вздор.

— Что же не вздор?

— Не вздор — это личность, это я сам. Всё для меня, и весь мир для меня создан. Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться. Говорят, так и

сделал какой-то дурак. Он зафилософствовался до того, что разрушил всё, всё, даже законность всех нормальных и естественных обязанностей человеческих, и дошел до того, что ничего у него не осталось; остался в итоге нуль, вот он и провозгласил, что в жизни самое лучшее — синильная кислота. Вы скажете: это Гамлет, это грозное отчаяние, — одним словом, что-нибудь такое величавое, что нам и не приснится никогда. Но вы поэт, а я простой человек и потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на вещи; у вас ноги спутаны и вкус больной. Вы тоскуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать всё, что прикажете; но что же мне делать, если я наверно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело — тем более тут эгоизма. Люби самого себя — вот одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сделка; даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему, — вот моя нравственность, если уж вам ее непременно нужно, хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по них никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов… и en somme,[16] я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно *добродетельнее*, я бы, может быть, без нее и не обошелся, как тот дурак философ (без сомнения, немец). Нет! В жизни так много еще хорошего. Я люблю значение, чин, отель, огромную ставку в карты (ужасно люблю карты). Но главное, главное — женщины… и женщины во всех видах; я даже люблю потаенный, темный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для разнообразия… Ха-ха-ха! Смотрю я на ваше лицо: с каким презрением смотрите вы на меня теперь!

— Вы правы, — отвечал я.

— Ну, положим, что и вы правы, но ведь во всяком случае лучше грязнотца, чем синильная кислота. Не правда ли?

— Нет, уж синильная кислота лучше.

— Я нарочно спросил вас: «не правда ли?», чтоб насладиться

вашим ответом; я его знал заранее. Нет, мой друг: если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже и с грязнотцой, иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете и останутся одни только дураки. То-то им счастье будет! Да ведь и теперь есть пословица: дуракам счастье, и, знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им: выгодно! Вы не смотрите на меня, что я дорожу предрассудками, держусь известных условий, добиваюсь значения; ведь я вижу, что я живу в обществе пустом; но в нем покамест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставлю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, хотя и никогда не страдал от них, да и не от чего. Угрызений совести у меня не было ни о чем. Я на всё согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо. Всё на свете может погибнуть, одни мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мир существует. Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы всплывем наверх. Кстати: посмотрите хоть уж на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы примерно, феноменально живучи; поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам покровительствует, хе-хе-хе! Я хочу непременно жить до девяноста лет. Я смерти не люблю и боюсь ее. Ведь черт знает еще как придется умереть! Но к чему говорить об этом! Это меня отравившийся философ раззадорил. К черту философию! Buvons, mon cher! Ведь мы начали было говорить о хорошеньких девушках… Куда это вы!

— Я иду, да и вам пора…

— Полноте, полноте! Я, так сказать, открыл перед вами всё мое сердце, а вы даже и не чувствуете такого яркого доказательства дружбы. Хе-хе-хе! В вас мало любви, мой поэт. Но постойте, я хочу еще бутылку.

— Третью?

— Третью. Про добродетель, мой юный питомец (вы мне позволите назвать вас этим сладким именем: кто знает, может быть, мои поучения пойдут и впрок)… Итак, мой питомец, про добродетель я уж сказал вам: «чем добродетель добродетельнее, тем больше в ней эгоизма[*]». Хочу вам рассказать на эту тему один премиленький анекдот: я любил однажды девушку и любил почти искренно. Она даже многим для меня пожертвовала…

— Это та, которую вы обокрали? — грубо спросил я, не желая

более сдерживаться.

Князь вздрогнул, переменился в лице и уставился на меня своими воспаленными глазами; в его взгляде было недоумение и бешенство.

— Постойте, — проговорил он как бы про себя, — постойте, дайте мне сообразить. Я действительно пьян, и мне трудно сообразить…

Он замолчал и пытливо, с той же злобой смотрел на меня, придерживая мою руку своей рукой, как бы боясь, чтоб я не ушел. Я уверен, что в эту минуту он соображал и доискивался, откуда я могу знать это дело, почти никому не известное, и нет ли во всём этом какой-нибудь опасности? Так продолжалось с минуту; но вдруг лицо его быстро изменилось; прежнее насмешливое, пьяно-веселое выражение появилось снова в его глазах. Он захохотал.

— Ха-ха-ха! Талейран[*], да и только! Ну что ж, я действительно стоял перед ней как оплеванный, когда она брякнула мне в глаза, что я обокрал ее! Как она визжала тогда, как ругалась! Бешеная была женщина и… без всякой выдержки. Но, посудите сами: во-первых, я вовсе не обокрал ее, как вы сейчас выразились. Она подарила мне свои деньги сама, и они уже были мои. Ну, положим, вы мне дарите ваш лучший фрак (говоря это, он взглянул на мой единственный и довольно безобразный фрак, шитый года три назад портным Иваном Скорнягиным), я вам благодарен, ношу его, вдруг через год вы поссорились со мной и требуете его назад, а я его уж износил. Это неблагородно; зачем же дарить? Во-вторых, я, несмотря на то что деньги были мои, непременно бы возвратил их назад, но согласитесь сами: где же я вдруг мог собрать такую сумму? А главное, я терпеть не могу пасторалей и шиллеровщины, я уж вам говорил, — ну, это-то и было всему причиною. Вы не поверите, как она рисовалась передо мною, крича, что дарит мне (впрочем, мои же) деньги. Злость взяла меня, и я вдруг сумел рассудить совершенно правильно, потому что присутствие духа никогда не оставляет меня: я рассудил, что, отдав ей деньги, сделаю ее, может быть, даже несчастною. Я бы отнял у ней наслаждение быть несчастной вполне *из-за меня* и проклинать меня за это всю свою жизнь. Поверьте, мой друг, в несчастии такого рода есть даже какое-то высшее упоение сознавать себя вполне правым и великодушным и иметь полное право назвать своего обидчика подлецом. Это упоение злобы встречается у шиллеровских натур, разумеется; может быть, потом ей было нечего есть, но я уверен, что она

была счастлива. Я и не хотел лишить ее этого счастья и не отослал ей денег. Таким образом и оправдано вполне мое правило, что чем громче и крупней человеческое великодушие, тем больше в нем самого отвратительного эгоизма… Неужели вам это неясно? Но… вы хотели поддеть меня, ха-ха-ха!.. ну, признайтесь, хотели поддеть?.. О Талейран!

— Прощайте! — сказал я, вставая.

— Минутку! Два заключительных слова, — вскричал он, изменяя вдруг свой гадкий тон на серьезный. — Выслушайте мое последнее: из всего, что я сказал вам, следует ясно и ярко (думаю, что и вы сами это заметили), что я никогда и ни для кого не хочу упускать мою выгоду. Я люблю деньги, и мне они надобны. У Катерины Федоровны их много; ее отец десять лет содержал винный откуп. У ней три миллиона, и эти три миллиона мне очень пригодятся. Алеша и Катя — совершенная пара: оба дураки в последней степени; мне того и надо. И потому я непременно желаю и хочу, чтоб их брак устроился, и как можно скорее. Недели через две, через три графиня и Катя едут в деревню. Алеша должен сопровождать их. Предуведомьте Наталью Николаевну, чтоб не было пасторалей, чтоб не было шиллеровщины, чтоб против меня не восставали. Я мстителен и зол, я за свое постою. Ее я не боюсь: всё, без сомнения, будет по-моему, и потому если предупреждаю теперь, то почти для нее же самой. Смотрите же, чтоб не было глупостей и чтоб вела она себя благоразумно. Не то ей будет плохо, очень плохо. Уж она за то только должна быть мне благодарна, что я не поступил с нею как следует, по законам. Знайте, мой поэт, что законы ограждают семейное спокойствие, они гарантируют отца в повиновении сына и что те, которые отвлекают детей от священных обязанностей к их родителям, законами не поощряются. Сообразите, наконец, что у меня есть связи, что у ней никаких и… неужели вы не понимаете, что я бы мог с ней сделать?.. Но я не сделал, потому что до сих пор она вела себя благоразумно. Не беспокойтесь: каждую минуту, за каждым движением их присматривали зоркие глаза все эти полгода, и я знал всё до последней мелочи. И потому я спокойно ждал, пока Алеша сам ее бросит, что уж и начинается; а покамест ему милое развлечение. Я же остался в его понятиях гуманным отцом, а мне надо, чтоб он так обо мне думал. Ха-ха-ха! Как вспомню я, что чуть не комплименты ей делал, тогда вечером, что она была так великодушна и бескорыстна, что не вышла за него замуж; желал бы я знать, как бы она вышла! Что же

касается до моего тогдашнего к ней приезда, то всё это было единственно для того, что уж пора было кончить их связь. Но мне надобно было увериться во всём своими глазами, своим собственным опытом… Ну, довольно ли с вас? Или вы, может быть, хотите узнать еще: для чего я завез вас сюда, для чего я перед вами так ломался и так спроста откровенничал, тогда как всё это можно было высказать без всяких откровенностей, — да?

— Да. — Я скрепился и жадно слушал. Мне нечего было отвечать ему более.

— Единственно потому, мой друг, что в вас я заметил несколько более благоразумия и ясного взгляда на вещи, чем в обоих наших дурачках. Вы могли и раньше знать, кто я, предугадывать, составлять предположения обо мне, но я хотел вас избавить от всего этого труда и решился вам наглядно показать, *с кем* вы имеете дело. Действительное впечатление великая вещь. Поймите же меня, mon ami. Вы знаете, с кем имеете дело, ее вы любите, и потому я надеюсь теперь, что вы употребите всё свое влияние (а вы-таки имеете на нее влияние), чтоб избавить ее от *некоторых* хлопот. Иначе будут хлопоты, и уверяю, уверяю вас, что не шуточные. Ну-с, наконец, третья причина моих с вами откровенностей это… (да ведь вы угадали же, мой милый), да, мне действительно хотелось поплевать немножко на всё это дело, и поплевать именно в ваших глазах…

— И вы достигли вашей цели, — сказал я, дрожа от волнения. — Я согласен, что ничем вы не могли так выразить передо мной всей вашей злобы и всего презрения вашего ко мне и ко всем нам, как этими откровенностями. Вы не только не опасались, что ваши откровенности могут вас передо *мной* компрометировать, но даже и не стыдились меня… Вы действительно походили на того сумасшедшего в плаще. Вы меня за человека не считали.

— Вы угадали, мой юный друг, — сказал он, вставая, — вы всё угадали: недаром же вы литератор. Надеюсь, что мы расстаемся дружелюбно. Брудершафт ведь не будем пить?

— Вы пьяны, и единственно потому я не отвечаю вам, как бы следовало…

— Опять фигура умолчания[*], — не договорили, как следовало бы отвечать, ха-ха-ха! Заплатить за вас вы мне не позволяете.

— Не беспокойтесь, я сам заплачу.

— Ну, уж без сомнения. Ведь нам не по дороге?

— Я с вами не поеду.

— Прощайте, мой поэт. Надеюсь, вы меня поняли…

Он вышел, шагая несколько нетвердо и не оборачиваясь ко мне. Лакей усадил его в коляску. Я пошел своею дорогою. Был третий час утра. Шел дождь, ночь была темная…

Часть четвертая

Глава I

Не стану описывать моего озлобления. Несмотря на то что можно было всего ожидать, я был поражен; точно он предстал передо мной во всем своем безобразии совсем неожиданно. Впрочем, помню, ощущения мои были смутны: как будто я был чем-то придавлен, ушиблен, и черная тоска всё больше и больше сосала мне сердце; я боялся за Наташу. Я предчувствовал ей много мук впереди и смутно заботился, как бы их обойти, как бы облегчить эти последние минуты перед окончательной развязкой всего дела. В развязке же сомнения не было никакого. Она приближалась, и как было не угадать, какова она будет!

Я и не заметил, как дошел домой, хотя дождь мочил меня всю дорогу. Было уже часа три утра. Не успел я стукнуть в дверь моей квартиры, как послышался стон, и дверь торопливо начала отпираться, как будто Нелли и не ложилась спать, а всё время сторожила меня у самого порога. Свечка горела. Я взглянул в лицо Нелли и испугался: оно всё изменилось; глаза горели, как в горячке, и смотрели как-то дико, точно она не узнавала меня. С ней был сильный жар.

— Нелли, что с тобой, ты больна? — спросил я, наклоняясь к ней и обняв ее рукой.

Она трепетно прижалась ко мне, как будто боялась чего-то, что-то заговорила, скоро, порывисто, как будто только и ждала меня, чтоб поскорей мне это рассказать. Но слова ее были бессвязны и странны; я ничего не понял, она была в бреду.

Я повел ее поскорей на постель. Но она всё бросалась ко мне и прижималась крепко, как будто в испуге, как будто прося защитить себя от кого-то, и когда уже легла в постель, всё еще хваталась за мою руку и крепко держала ее, боясь, чтоб я опять не ушел. Я был до того потрясен и расстроен нервами, что, глядя на нее, даже заплакал. Я сам был болен. Увидя мои слезы, она долго и неподвижно вглядывалась в меня с усиленным, напряженным вниманием, как будто стараясь что-то осмыслить и сообразить. Видно было, что ей стоило это больших усилий. Наконец что-то похожее на мысль прояснилось в лице ее; после

сильного припадка падучей болезни она обыкновенно некоторое время не могла соображать свои мысли и внятно произносить слова. Так было и теперь: сделав над собой чрезвычайное усилие, чтоб выговорить мне что-то, и догадавшись, что я не понимаю, она протянула свою ручонку и начала отирать мои слезы, потом обхватила мою шею, нагнула меня к себе и поцеловала.

Было ясно: с ней без меня был припадок, и случился он именно в то мгновение, когда она стояла у самой двери. Очнувшись от припадка, она, вероятно, долго не могла прийти в себя. В это время действительность смешивается с бредом, и ей, верно, вообразилось что-нибудь ужасное, какие-нибудь страхи. В то же время она смутно сознавала, что я должен воротиться и буду стучаться у дверей, а потому, лежа у самого порога на полу, чутко ждала моего возвращения и приподнялась на мой первый стук.

«Но для чего ж она как раз очутилась у дверей?» — подумал я и вдруг с удивлением заметил, что она была в шубейке (я только что купил ей у знакомой старухи торговки, зашедшей ко мне на квартиру и уступавшей мне иногда свой товар в долг); следовательно, она собиралась куда-то идти со двора и, вероятно, уже отпирала дверь, как вдруг эпилепсия поразила ее. Куда ж она хотела идти? Уж не была ли она и тогда в бреду?

Между тем жар не проходил, и она скоро опять впала в бред и беспамятство. С ней был уже два раза припадок на моей квартире, но всегда оканчивался благополучно, а теперь она была точно в горячке. Посидев над ней с полчаса, я примостил к дивану стулья и лег, как был, одетый, близ нее, чтобы скорей проснуться, если б она меня позвала. Свечки я не тушил. Много раз еще я взглядывал на нее прежде, чем сам заснул. Она была бледна; губы — запекшиеся от жару и окровавленные, вероятно, от падения; с лица не сходило выражение страха и какой-то мучительной тоски, которая, казалось, не покидала ее даже во сне. Я решился назавтра как можно раньше сходить к доктору, если б ей стало хуже. Боялся я, чтоб не приключилось настоящей горячки.

«Это ее князь напугал!» — подумал я с содроганием и вспомнил рассказ его о женщине, бросившей ему в лицо свои деньги.

Глава II

…Прошло две недели; Нелли выздоравливала. Горячки с ней не было, но была она сильно больна. Она встала, с постели уже в конце апреля, в светлый, ясный день. Была страстная неделя[*].

Бедное создание! Я не могу продолжать рассказа в прежнем порядке. Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю всё это прошлое, но до сих пор с такой тяжелой, пронзительной тоской вспоминается мне это бледное, худенькое личико, эти пронзительные долгие взгляды ее черных глаз, когда, бывало, мы оставались вдвоем, и она смотрит на меня с своей постели, смотрит, долго смотрит, как бы вызывая меня угадать, что у ней на уме; но видя, что я не угадываю и всё в прежнем недоумении, тихо и как будто про себя улыбнется и вдруг ласково протянет мне свою горячую ручку с худенькими, высохшими пальчиками. Теперь всё прошло, уж всё известно, а до сих пор я не знаю всей тайны этого больного, измученного и оскорбленного маленького сердца.

Я чувствую, что я отвлекусь от рассказа, но в эту минуту мне хочется думать об одной только Нелли. Странно: теперь, когда я лежу на больничной койке один, оставленный всеми, кого я так много и сильно любил, — теперь иногда одна какая-нибудь мелкая черта из того времени, тогда часто для меня не приметная и скоро забываемая, вдруг приходя на память, внезапно получает в моем уме совершенно другое значение, цельное и объясняющее мне теперь то, чего я даже до сих пор не умел понять.

Первые четыре дня ее болезни мы, я и доктор, ужасно за нее боялись, но на пятый день доктор отвел меня в сторону и сказал мне, что бояться нечего и она непременно выздоровеет. Это был тот самый доктор, давно знакомый мне старый холостяк, добряк и чудак, которого я призывал еще в первую болезнь Нелли и который так поразил ее своим Станиславом на шее, чрезвычайных размеров.

— Стало быть, совсем нечего бояться! — сказал я, обрадовавшись.

— Да, она теперь выздоровеет, но потом она весьма скоро умрет.

— Как умрет! Да почему же! — вскричал я, ошеломленный таким приговором.

— Да, она непременно весьма скоро умрет. У пациентки органический порок в сердце, и при малейших неблагоприятных обстоятельствах она сляжет снова. Может быть, снова выздоровеет, но потом опять сляжет снова и наконец умрет.

— И неужели ж нельзя никак спасти ее? Нет, этого быть не может!

— Но это должно быть. И однако, при удалении неблагоприятных обстоятельств, при спокойной и тихой жизни, когда будет более удовольствий, пациентка еще может быть отдалена от смерти, и даже бывают случаи… неожиданные… ненормальные и странные… одним словом, пациентка даже может быть спасена, при совокуплении многих благоприятных обстоятельств, но радикально спасена — никогда.

— Но боже мой, что же теперь делать?

— Следовать советам, вести покойную жизнь и исправно принимать порошки. Я заметил, что эта девица капризна, неровного характера и даже насмешлива; она очень не любит исправно принимать порошки и вот сейчас решительно отказалась.

— Да, доктор. Она действительно странная, но я всё приписываю болезненному раздражению. Вчера она была очень послушна; сегодня же, когда я ей подносил лекарство, она пихнула ложку как будто нечаянно, и всё пролилось. Когда же я хотел развести новый порошок, она вырвала у меня всю коробку и ударила ее об пол, а потом залилась слезами… Только, кажется, не оттого, что ее заставляли принимать порошки, — прибавил я, подумав.

— Гм! ирритация[*]. Прежние большие несчастия (я подробно и откровенно рассказал доктору многое из истории Нелли, и рассказ мой очень поразил его), всё это в связи, и вот от этого и болезнь. Покамест единственное средство — принимать порошки, и она должна принять порошок. Я пойду и еще раз постараюсь внушить ей ее обязанность слушаться медицинских советов и… то есть говоря вообще… принимать порошки.

Мы оба вышли из кухни (в которой и происходило наше свидание), и доктор снова приблизился к постели больной. Но Нелли, кажется, нас слышала: по крайней мере, она приподняла голову с подушек и, обратив в нашу сторону ухо, всё время чутко прислушивалась. Я заметил это в щель полуотворенной двери; когда же мы пошли к ней, плутовка юркнула вновь под одеяло и поглядывала на нас с насмешливой улыбкой. Бедняжка очень похудела в эти четыре дня болезни: глаза ввалились, жар всё еще не проходил. Тем страннее шел к ее лицу шаловливый вид и задорные блестящие взгляды, очень удивлявшие доктора, самого добрейшего из всех немецких людей в Петербурге. Он серьезно, но стараясь как можно смягчить свой голос, ласковым и

нежнейшим тоном изложил необходимость и спасительность порошков, а следственно, и обязанность каждого больного принимать их. Нелли приподняла было голову, но вдруг, по-видимому совершенно нечаянным движением руки, задела ложку, и всё лекарство пролилось опять на пол. Я уверен, она это сделала нарочно.

— Это очень неприятная неосторожность, — спокойно сказал старичок, — и я подозреваю, что вы сделали это нарочно, что очень непохвально. Но… можно всё исправить и еще развести порошок.

Нелли засмеялась ему прямо в глаза.

Доктор методически покачал головою.

— Это очень нехорошо, — сказал он, разводя новый порошок, — очень, очень непохвально.

— Не сердитесь на меня, — отвечала Нелли, тщетно стараясь не засмеяться снова, — я непременно приму… А любите вы меня?

— Если вы будете вести себя похвально, то очень буду любить.

— Очень?

— Очень.

— А теперь не любите?

— И теперь люблю.

— А поцелуете меня, если я захочу вас поцеловать? — Да, если вы будете того заслуживать.

Тут Нелли опять не могла вытерпеть и снова засмеялась.

— У пациентки веселый характер, но теперь — это нервы и каприз, — прошептал мне доктор с самым серьезным видом.

— Ну, хорошо, я выпью порошок, — вскрикнула вдруг своим слабым голоском Нелли, — но когда я вырасту и буду большая, вы возьмете меня за себя замуж?

Вероятно, выдумка этой новой шалости очень ей нравилась; глаза ее так и горели, а губки так и подергивало смехом в ожидании ответа несколько изумленного доктора.

— Ну да, — отвечал он, улыбаясь невольно этому новому капризу, — ну да, если вы будете добрая и благовоспитанная девица, будете послушны и будете…

— Принимать порошки? — подхватила Нелли.

— Ого! ну да, принимать порошки. Добрая девица, — шепнул он мне снова, — в ней много, много… доброго и умного, но, однако ж… замуж… какой странный каприз…

И он снова поднес ей лекарство. Но в этот раз она даже и не схитрила, а просто снизу вверх подтолкнула рукой ложку, и всё лекарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бедному старичку. Нелли громко засмеялась, но не прежним простодушным и веселым смехом. В лице ее промелькнуло что-то жестокое, злое. Во всё это время она как будто избегала моего взгляда, смотрела на одного доктора и с насмешкою, сквозь которую проглядывало, однако же, беспокойство, ждала, что-то будет теперь делать «смешной» старичок.

— О! вы опять… Какое несчастие! Но… можно еще развести порошок, — проговорил старик, отирая платком лицо и манишку.

Это ужасно поразило Нелли. Она ждала нашего гнева, думала, что ее начнут бранить, упрекать, и, может быть, ей, бессознательно, того только и хотелось в *эту* минуту, — чтоб иметь предлог тотчас же заплакать, зарыдать, как в истерике, разбросать опять порошки, как давеча, и даже разбить что-нибудь с досады, и всем этим утолить свое капризное, наболевшее сердечко. Такие капризы бывают и не у одних больных, и не у одной Нелли. Как часто, бывало, я ходил взад и вперед по комнате с бессознательным желанием, чтоб поскорей меня кто-нибудь обидел или сказал слово, которое бы можно было принять за обиду, и поскорей сорвать на чем-нибудь сердце. Женщины же, «срывая» таким образом сердце, начинают плакать самыми искренними слезами, а самые чувствительные из них даже доходят до истерики. Дело очень простое и самое житейское и бывающее чаще всего, когда есть другая, часто никому не известная печаль в сердце и которую хотелось бы, да нельзя никому высказать.

Но вдруг пораженная ангельской добротою обиженного ею старичка и терпением, с которым он снова разводил ей третий порошок, не сказав ей ни одного слова упрека, Нелли вдруг притихла. Насмешка слетела с ее губок, краска ударила ей в лицо, глаза повлажнели; она мельком взглянула на меня и тотчас же отворотилась. Доктор поднес ей лекарство. Она смирно и робко выпила его, схватив красную пухлую руку старика, и медленно поглядела ему в глаза.

— Вы… сердитесь… что я злая, — сказала было она, но не докончила, юркнула под одеяло, накрылась с головой и громко, истерически зарыдала.

— О дитя мое, не плачьте… Это ничего… Это нервы; выпейте воды.

Но Нелли не слушала.

— Утешьтесь… не расстраивайте себя, — продолжал он, чуть сам не хныча над нею, потому что был очень чувствительный человек, — я вас прощаю и замуж возьму, если вы, при хорошем поведении честной девицы, будете…

— Принимать порошки! — послышалось из-под одеяла с тоненьким, как колокольчик, нервическим смехом, прерываемым рыданиями, — очень мне знакомым смехом.

— Доброе, признательное дитя, — сказал доктор торжественно и чуть не со слезами на глазах. — Бедная девица!

И с этих пор между ним и Нелли началась какая-то странная, удивительная симпатия. Со мной же, напротив, Нелли становилась всё угрюмее, нервичнее и раздражительнее. Я не знал, чему это приписать, и дивился на нее, тем более что эта перемена произошла в ней как-то вдруг. В первые дни болезни она была со мной чрезвычайно нежна и ласкова; казалось, не могла наглядеться на меня, не отпускала от себя, схватывала мою руку своею горячею рукой и садила меня возле себя, и если замечала, что я угрюм и встревожен, старалась развеселить меня, шутила, играла со мной и улыбалась мне, видимо подавляя свои собственные страдания. Она не хотела, чтоб я работал по ночам или сидел, сторожил ее, и печалилась, видя, что я ее не слушаюсь. Иногда я замечал в ней озабоченный вид; она начинала расспрашивать и выпытывать от меня, почему я печалюсь, что у меня на уме; но странно, когда доходило до Наташи, она тотчас же умолкала или начинала заговаривать о другом. Она как будто избегала говорить о Наташе, и это поразило меня. Когда я приходил, она радовалась. Когда же я брался за шляпу, она смотрела уныло и как-то странно, как будто с упреком, провожала меня глазами.

На четвертый день ее болезни я весь вечер и даже далеко за полночь просидел у Наташи. Нам было тогда о чем говорить. Уходя же из дому, я сказал моей больной, что ворочусь очень скоро, на что и сам рассчитывал. Оставшись у Наташи почти нечаянно, я был спокоен насчет Нелли: она оставалась не одна. С ней сидела Александра Семеновна, узнавшая от Маслобоева, зашедшего ко мне на минуту, что Нелли больна и я в больших хлопотах и один-одинехонек. Боже мой, как захлопотала добренькая Александра Семеновна:

— Так, стало быть, он и обедать к нам теперь не придет!.. Ах, боже

мой! И один-то он, бедный, один. Ну, так покажем же мы теперь ему наше радушие. Вот случай выдался, так и не надо его упускать.

Тотчас же она явилась у нас, привезя с собой на извозчике целый узел. Объявив с первого слова, что теперь и не уйдет от меня, и приехала, чтоб помогать мне в хлопотах, она развязала узел. В нем были сиропы, варенья для больной, цыплята и курица, в случае если больная начнет выздоравливать, яблоки для печенья, апельсины, киевские сухие варенья (на случай если доктор позволит), наконец, белье, простыни, салфетки, женские рубашки, бинты, компрессы — точно на целый лазарет.

— Всё-то у нас есть, — говорила она мне, скоро и хлопотливо выговаривая каждое слово, как будто куда-то торопясь, — ну, а вот вы живете по-холостому. У вас ведь этого всего мало. Так уж позвольте мне… и Филипп Филиппыч так приказал. Ну, что же теперь… поскорей, поскорей! Что же теперь надо делать? Что она? В памяти? Ах, так ей нехорошо лежать, надо поправить подушку, чтоб ниже лежала голова, да знаете ли… не лучше ли кожаную подушку? От кожаной-то холодит. Ах, какая я дура! И на ум не пришло привезть. Я поеду за ней… Не нужно ли огонь развести? Я свою старуху вам пришлю. У меня есть знакомая старуха. У вас ведь никого нет из женской прислуги… Ну, что же теперь делать? Это что? Трава… доктор прописал? Верно, для грудного чаю? Сейчас пойду разведу огонь.

Но я ее успокоил, и она очень удивилась и даже опечалилась, что дела-то оказывается вовсе не так много. Это, впрочем, не обескуражило ее совершенно. Она тотчас же подружилась с Нелли и много помогала мне во всё время ее болезни, навещала нас почти каждый день и всегда, бывало, приедет с таким видом, как будто что-нибудь пропало или куда-то уехало и надо поскорее ловить. Она всегда прибавляла, что так и Филипп Филиппыч приказал. Нелли она очень понравилась. Они полюбили одна другую, как две сестры, и я думаю, что Александра Семеновна во многом была такой же точно ребенок, как и Нелли. Она рассказывала ей разные истории, смешила ее, и Нелли потом часто скучала, когда Александра Семеновна уезжала домой. Первое же ее появление у нас удивило мою больную, но она тотчас же догадалась, зачем приехала незваная гостья, и, по обыкновению своему, даже нахмурилась, сделалась молчалива и нелюбезна.

— Она зачем к нам приезжала? — спросила Нелли как будто с

недовольным видом, когда Александра Семеновна уехала.

— Помочь тебе, Нелли, и ходить за тобой.

— Да что ж?.. За что же? Ведь я ей ничего такого не сделала.

— Добрые люди и не ждут, чтоб им прежде делали, Нелли. Они и без этого любят помогать тем, кто нуждается. Полно, Нелли; на свете очень много добрых людей. Только твоя-то беда, что ты их не встречала и не встретила, когда было надо.

Нелли замолчала; я отошел от нее. Но четверть часа спустя она сама подозвала меня к себе слабым голосом, попросила было пить и вдруг крепко обняла меня, припала к моей груди и долго не выпускала меня из своих рук. На другой день, когда приехала Александра Семеновна, она встретила ее с радостной улыбкой, но как будто всё еще стыдясь ее отчего-то.

Глава III

Вот в этот-то день я и был у Натащи весь вечер. Я пришел уже поздно. Нелли спала. Александре Семеновне тоже хотелось спать, но она всё сидела над больною и ждала меня. Тотчас же торопливым шепотом начала она мне рассказывать, что Нелли сначала была очень весела, даже много смеялась, но потом стала скучна и, видя, что я не прихожу, замолчала и задумалась. «Потом стала жаловаться, что у ней голова болит, заплакала и так разрыдалась, что уж я и не знала, что с нею делать, — прибавила Александра Семеновна. — Заговорила было со мной о Наталье Николаевне, но я ей ничего не могла сказать; она и перестала расспрашивать и всё потом плакала, так и уснула в слезах. Ну, прощайте же, Иван Петрович; ей все-таки легче, как я заметила, а мне надо домой, так и Филипп Филиппыч приказал. Уж я признаюсь вам, ведь он меня этот раз только на два часа отпустил, а я уж сама осталась. Да что, ничего, не беспокойтесь обо мне; не смеет он сердиться… Только вот разве… Ах, боже мой, голубчик Иван Петрович, что мне делать: всё-то он теперь домой хмельной приходит! Занят он чем-то очень, со мной не говорит, тоскует, дело у него важное на уме; я уж это вижу, а вечером все-таки пьян… Подумаю только: воротился он теперь домой, кто-то его там уложит? Ну, еду, еду, прощайте. Прощайте, Иван Петрович. Книги я у вас тут смотрела: сколько книг-то у вас, и всё,

должно быть, умные; а я-то дура, ничего-то я никогда не читала… Ну, до завтра…»

Но назавтра же Нелли проснулась грустная и угрюмая, нехотя отвечала мне. Сама же ничего со мной не заговаривала, точно сердилась на меня. Я заметил только несколько взглядов ее, брошенных на меня вскользь, как бы украдкой; в этих взглядах было много какой-то затаенной сердечной боли, но все-таки в них проглядывала нежность, которой не было, когда она прямо глядела на меня. В этот-то день и происходила сцена при приеме лекарства с доктором; я не знал, что подумать.

Но Нелли переменилась ко мне окончательно. Ее странности, капризы, иногда чуть не ненависть ко мне — всё это продолжалось вплоть до самого того дня, когда она перестала жить со мной, вплоть до самой той катастрофы, которая развязала весь наш роман. Но об этом после.

Случалось иногда, впрочем, что она вдруг становилась на какой-нибудь час ко мне по-прежнему ласкова. Ласки ее, казалось, удвоивались в эти мгновения; чаще всего в эти же минуты она горько плакала. Но часы эти проходили скоро, и она впадала опять в прежнюю тоску и опять враждебно смотрела на меня, или капризилась, как при докторе, или вдруг, заметив, что мне неприятна какая-нибудь ее новая шалость, начинала хохотать и всегда почти кончала слезами.

Она поссорилась даже раз с Александрой Семеновной, сказала ей, что ничего не хочет от нее. Когда же я стал пенять ей, при Александре же Семеновне, она разгорячилась, отвечала с какой-то порывчатой, накопившейся злобой, но вдруг замолчала и ровно два дня ни одного слова не говорила со мной, не хотела принять ни одного лекарства, даже не хотела пить и есть, и только старичок доктор сумел уговорить и усовестить ее.

Я сказал уже, что между доктором и ею, с самого дня приема лекарства, началась какая-то удивительная симпатия. Нелли очень полюбила его и всегда встречала его с веселой улыбкой, как бы ни была грустна перед его приходом. С своей стороны, старичок начал ездить к нам каждый день, а иногда и по два раза в день, даже и тогда, когда Нелли стала ходить и уже совсем выздоравливала, и казалось, она заворожила его так, что он не мог прожить дня, не слыхав ее смеху и шуток над ним, нередко очень забавных. Он стал возить ей книжки с

картинками, всё назидательного свойства. Одну он нарочно купил для нее. Потом стал возить ей сласти, конфет в хорошеньких коробочках. В такие разы он входил обыкновенно с торжественным видом, как будто был именинник, и Нелли тотчас же догадывалась, что он приехал с подарком. Но подарка он не показывал, а только хитро смеялся, усаживался подле Нелли, намекал, что если одна молодая девица умела вести себя хорошо и заслужить в его отсутствие уважение, то такая молодая девица достойна хорошей награды. При этом он так простодушно и добродушно на нее поглядывал, что Нелли хоть и смеялась над ним самым откровенным смехом, но вместе с тем искренняя, ласкающая привязанность просвечивалась в эту минуту в ее проясневших глазках. Наконец старик торжественно подымался со стула, вынимал коробочку с конфетами и, вручая ее Нелли, непременно прибавлял: «Моей будущей и любезной супруге». В эту минуту он сам был, наверно, счастливее Нелли.

После этого начинались разговоры, и каждый раз он серьезно и убедительно уговаривал ее беречь здоровье и давал ей убедительные медицинские советы.

— Более всего надо беречь свое здоровье, — говорил он догматическим тоном, — и во-первых, и главное, для того чтоб остаться в живых, а во-вторых, чтобы всегда быть здоровым и, таким образом, достигнуть счастия в жизни. Если вы имеете, мое милое дитя, какие-нибудь горести, то забывайте их или лучше всего старайтесь о них не думать. Если же не имеете никаких горестей, то… также о них не думайте, а старайтесь думать об удовольствиях… о чем-нибудь веселом, игривом…

— А об чем же это веселом, игривом думать? — спрашивала Нелли.

Доктор немедленно становился в тупик.

— Ну, там… об какой-нибудь невинной игре, приличной вашему возрасту; или там… ну, что-нибудь эдакое…

— Я не хочу играть; я не люблю играть, — говорила Нелли. — А вот я люблю лучше новые платья.

— Новые платья! Гм. Ну, это уже не так хорошо. Надо во всём удовольствоваться скромною долей в жизни. А впрочем… пожалуй… можно любить и новые платья.

— А вы много мне сошьете платьев, когда я за вас замуж выйду?

— Какая идея! — говорил доктор и уж невольно хмурился. Нелли плутовски улыбалась и даже раз, забывшись, с улыбкою взглянула и на меня. — А впрочем… я вам сошью платье, если вы его заслужите своим поведением, — продолжал доктор.

— А порошки нужно будет каждый день принимать, когда я за вас замуж выйду?

— Ну, тогда можно будет и не всегда принимать порошки, — и доктор начинал улыбаться.

Нелли прерывала разговор смехом. Старичок смеялся вслед за ней и с любовью следил за ее веселостью.

— Игривый ум! — говорил он, обращаясь ко мне. — Но всё еще виден каприз и некоторая прихотливость и раздражительность.

Он был прав. Я решительно не знал, что делалось с нею. Она как будто совсем не хотела говорить со мной, точно я перед ней в чем-нибудь провинился. Мне это было очень горько. Я даже сам нахмурился и однажды целый день не заговаривал с нею, но на другой день мне стало стыдно. Часто она плакала, и я решительно не знал, чем ее утешить. Впрочем, она однажды прервала со мной свое молчание.

Раз я воротился домой перед сумерками и увидел, что Нелли быстро спрятала под подушку книгу. Это был мой роман, который она взяла со стола и читала в мое отсутствие. К чему же было его прятать от меня? Точно она стыдится, — подумал я, но не показал виду, что заметил что-нибудь. Четверть часа спустя, когда я вышел на минутку в кухню, она быстро вскочила с постели и положила роман на прежнее место: воротясь, я увидал уже его на столе. Через минуту она позвала меня к себе; в голосе ее отзывалось какое-то волнение. Уже четыре дня как она почти не говорила со мной.

— Вы… сегодня… пойдете к Наташе? — спросила она меня прерывающимся голосом.

— Да, Нелли; мне очень нужно ее видеть сегодня. Нелли замолчала.

— Вы… очень ее любите? — спросила она опять слабым голосом.

— Да, Нелли, очень люблю.

— И я ее люблю, — прибавила она тихо. Затем опять наступило молчание.

— Я хочу к ней и с ней буду жить, — начала опять Нелли, робко взглянув на меня.

— Это нельзя, Нелли, — отвечал я, несколько удивленный. — Разве тебе дурно у меня?

— Почему ж нельзя? — и она вспыхнула. — Ведь уговариваете же вы меня, чтоб я пошла жить к ее отцу; а я не хочу идти. У ней есть служанка?

— Есть.

— Ну, так пусть она отошлет свою служанку, а я ей буду служить. Всё буду ей делать и ничего с нее не возьму; я любить се буду и кушанье буду варить. Вы так и скажите ей сегодня.

— Но к чему же, что за фантазия, Нелли? И как же ты о ней судишь: неужели ты думаешь, что она согласится взять тебя вместо кухарки? Уж если возьмет она тебя, то как свою ровную, как младшую сестру свою.

— Нет, я не хочу как ровная. Так я не хочу…

— Почему же?

Нелли молчала. Губки ее подергивало: ей хотелось плакать.

— Ведь тот, которого она теперь любит, уедет от нее и ее одну бросит? — спросила она наконец. Я удивился.

— Да почему ты это знаешь, Нелли?

— Вы и сами говорили мне всё, и третьего дня, когда муж Александры Семеновны приходил утром, я его спрашивала: он мне всё и сказал.

— Да разве Маслобоев приходил утром?

— Приходил, — отвечала она, потупив глазки.

— А зачем же ты мне не сказала, что он приходил?

— Так…

Я подумал с минуту. Бог знает, зачем этот Маслобоев шляется, с своею таинственностью. Что за сношения завел? Надо бы его увидать.

— Ну, так что ж тебе, Нелли, если он ее бросит?

— Ведь вы ее любите же очень, — отвечала Нелли, не подымая на меня глаз. — А коли любите, стало быть, замуж ее возьмете, когда тот уедет.

— Нет, Нелли, она меня не любит так, как я ее люблю, да и я… Нет, не будет этого, Нелли.

— А я бы вам обоим служила, как служанка ваша, а вы бы жили и радовались, — проговорила она чуть не шепотом, не смотря на меня.

«Что с ней, что с ней!» — подумал я, и вся душа перевернулась во

мне. Нелли замолчала и более во весь вечер не сказала ни слова. Когда же я ушел, она заплакала, плакала весь вечер, как донесла мне Александра Семеновна, и так и уснула в слезах. Даже ночью, во сне, она плакала и что-то ночью говорила в бреду.

Но с этого дня она сделалась еще угрюмее и молчаливее и совсем уж не говорила со мной. Правда, я заметил два-три взгляда ее, брошенные на меня украдкой, и в этих взглядах было столько нежности! Но это проходило вместе с мгновением, вызвавшим эту внезапную нежность, и, как бы в отпор этому вызову, Нелли чуть не с каждым часом делалась всё мрачнее, даже с доктором, удивлявшимся перемене ее характера. Между тем она уже совсем почти выздоровела, и доктор позволил ей наконец погулять на свежем воздухе, но только очень немного. Погода стояла светлая, теплая. Была страстная неделя, приходившаяся в этот раз очень поздно; я вышел поутру; мне надо было непременно быть у Наташи, но я положил раньше воротиться домой, чтоб взять Нелли и идти с нею гулять; дома же покамест оставил ее одну.

Но не могу выразить, какой удар ожидал меня дома. Я спешил домой. Прихожу и вижу, что ключ торчит снаружи у двери. Вхожу: никого нет. Я обмер. Смотрю: на столе бумажка, и на ней написано карандашом крупным, неровным почерком:

«Я ушла от вас и больше к вам никогда не приду. Но я вас очень люблю.

Ваша верная *Нелли*».

Я вскрикнул от ужаса и бросился вон из квартиры.

Глава IV

Я еще не успел выбежать на улицу, не успел сообразить, что и как теперь делать, как вдруг увидел, что у наших ворот останавливаются дрожки и с дрожек сходит Александра Семеновна, ведя за руку Нелли. Она крепко держала ее, точно боялась, чтоб она не убежала другой раз. Я так и бросился к ним.

— Нелли, что с тобой! — закричал я, — куда ты уходила, зачем?

— Постойте, не торопитесь; пойдемте-ка поскорее к вам, там всё и узнаете, — защебетала Александра Семеновна, — какие вещи-то я вам

расскажу, Иван Петрович, — шептала она наскоро дорогою. — Дивиться только надо… Вот пойдемте, сейчас узнаете.

На лице ее было написано, что у ней были чрезвычайно важные новости.

— Ступай, Нелли, ступай, приляг немножко, — сказала она, когда мы вошли в комнаты, — ведь ты устала; шутка ли, сколько обегала; а после болезни-то тяжело; приляг, голубчик, приляг. А мы с вами уйдемте-ка пока отсюда, не будем ей мешать, пусть уснет. — И она мигнула мне, чтоб я вышел с ней в кухню.

Но Нелли не прилегла, она села на диван и закрыла обеими руками лицо.

Мы вышли, и Александра Семеновна наскоро рассказала мне, в чем дело. Потом я узнал еще более подробностей. Вот как это всё было.

Уйдя от меня часа за два до моего возвращения и оставив мне записку, Нелли побежала сперва к старичку доктору. Адрес его она успела выведать еще прежде. Доктор рассказывал мне, что он так и обмер, когда увидел у себя Нелли, и всё время, пока она была у него, «не верил глазам своим». «Я и теперь не верю, — прибавил он в заключение своего рассказа, — и никогда этому не поверю». И однако ж, Нелли действительно была у него. Он сидел спокойно в своем кабинете, в креслах, в шлафроке* и за кофеем, когда она вбежала и бросилась к нему на шею, прежде чем он успел опомниться. Она плакала, обнимала и целовала его, целовала ему руки и убедительно, хотя и бессвязно, просила его, чтоб он взял ее жить к себе; говорила, что не хочет и не может более жить со мной, потому и ушла от меня; что ей тяжело; что она уже не будет более смеяться над ним и говорить об новых платьях и будет вести себя хорошо, будет учиться, выучится «манишки ему стирать и гладить» (вероятно, она сообразила всю свою речь дорогою, а может быть, и раньше) и что, наконец, будет послушна и хоть каждый день будет принимать какие угодно порошки. А что если она говорила тогда, что замуж хотела за него выйти, так ведь это она шутила, что она и не думает об этом. Старый немец был так ошеломлен, что сидел всё время, разинув рот, подняв свою руку, в которой держал сигару, и забыв о сигаре, так что она и потухла.

— Мадмуазель, — проговорил он наконец, получив кое-как употребление языка, — мадмуазель, сколько я вас понял, вы просите, чтоб я вам дал место у себя. Но это — невозможно! Вы видите, я очень

стеснен и не имею значительного дохода… И, наконец, так прямо, не подумав… Это ужасно! И, наконец, вы, сколько я вижу, бежали из своего дома. Это очень непохвально и невозможно… И, наконец, я вам позволил только немного гулять, в ясный день, под надзором вашего благодетеля, а вы бросаете своего благодетеля и бежите ко мне, тогда как вы должны беречь себя и… и… принимать лекарство. И, наконец… наконец, я ничего не понимаю…

Нелли не дала ему договорить. Она снова начала плакать, снова упрашивать его, но ничего не помогло. Старичок всё более и более впадал в изумление и всё более и более ничего не понимал. Наконец Нелли бросила его, вскрикнула: «Ах, боже мой!» — и выбежала из комнаты. «Я был болен весь этот день, — прибавил доктор, заключая свой рассказ, — и на ночь принял декокт[*]…»

А Нелли бросилась к Маслобоевым. Она запаслась и их адресом и отыскала их, хотя и не без труда. Маслобоев был дома. Александра Семеновна так и всплеснула руками, когда услышала просьбу Нелли взять ее к ним. На ее же расспросы: почему ей так хочется, что ей тяжело, что ли, у меня? — Нелли ничего не отвечала и бросилась, рыдая, на стул. «Она так рыдала, так рыдала, — рассказывала мне Александра Семеновна, — что я думала, она умрет от этого». Нелли просилась хоть в горничные, хоть в кухарки, говорила, что будет пол мести и научится белье стирать. (На этом мытье белья она основывала какие-то особенные надежды и почему-то считала это самым сильным прельщением, чтоб ее взяли). Мнение Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъяснения дела, а мне дать знать. Но Филипп Филиппыч решительно этому воспротивился и тотчас же приказал отвезти беглянку ко мне. Дорогою Александра Семеновна обнимала и целовала ее, отчего Нелли еще больше начинала плакать. Смотря на нее, расплакалась и Александра Семеновна. Так обе всю дорогу и плакали.

— Да почему же, почему же, Нелли, ты не хочешь у него жить; что он, обижает тебя, что ли? — спрашивала, заливаясь слезами, Александра Семеновна.

— Нет, не обижает.

— Ну, так отчего же?

— Так, не хочу у него жить… не могу… я такая с ним всё злая… а он добрый… а у вас я не буду злая, я буду работать, — проговорила она, рыдая как в истерике.

— Отчего же ты с ним такая злая, Нелли?..

— Так…

— И только я от нее это «так» и выпытала, — заключила Александра Семеновна, отирая свои слезы, — что это она за горемычная такая? Родимец, что ли, это? Как вы думаете, Иван Петрович?

Мы вошли к Нелли; она лежала, скрыв лицо в подушках, и плакала. Я стал перед ней на колени, взял ее руки и начал целовать их. Она вырвала у меня руки и зарыдала еще сильнее. Я не знал, что и говорить. В эту минуту вошел старик Ихменев.

— А я к тебе по делу, Иван, здравствуй! — сказал он, оглядывая нас всех и с удивлением видя меня на коленях. Старик был болен всё последнее время. Он был бледен и худ, но, как будто храбрясь перед кем-то, презирал свою болезнь, не слушал увещаний Анны Андреевны, не ложился, а продолжал ходить по своим делам.

— Прощайте покамест, — сказала Александра Семеновна, пристально посмотрев на старика. — Мне Филипп Филиппыч приказал как можно скорее воротиться. Дело у нас есть. А вечером, в сумерки, приеду к вам, часика два посижу.

— Кто такая? — шепнул мне старик, по-видимому думая о другом. Я объяснил.

— Гм. А вот я по делу, Иван…

Я знал, по какому он делу, и ждал его посещения. Он пришел переговорить со мной и с Нелли и перепросить ее у меня. Анна Андреевна соглашалась наконец взять в дом сиротку. Случилось это вследствие наших тайных разговоров: я убедил Анну Андреевну и сказал ей, что вид сиротки, которой мать была тоже проклята своим отцом, может быть, повернет сердце нашего старика на другие мысли. Я так ярко разъяснил ей свой план, что она теперь сама уже стала приставать к мужу, чтоб взять сиротку. Старик с готовностью принялся за дело: ему хотелось, во-первых, угодить своей Анне Андреевне, а во-вторых, у него были свои особые соображения… Но всё это я объясню потом подробнее…

Я сказал уже, что Нелли не любила старика еще с первого его посещения. Потом я заметил, что даже какая-то ненависть проглядывала в лице ее, когда произносили при ней имя Ихменева. Старик начал дело тотчас же, без околичностей. Он прямо подошел к Нелли, которая всё еще лежала, скрыв лицо свое в подушках, и, взяв ее за руку, спросил:

хочет ли она перейти к нему жить вместо дочери?

— У меня была дочь, я ее любил больше самого себя, — заключил старик, — но теперь ее нет со мной. Она умерла. Хочешь ли ты заступить ее место в моем доме и… в моем сердце?

И в его глазах, сухих и воспаленных от лихорадочного жара, накипела слеза.

— Нет, не хочу, — отвечала Нелли, не подымая головы.

— Почему же, дитя мое? У тебя нет никого. Иван не может держать тебя вечно при себе, а у меня ты будешь как в родном доме.

— Не хочу, потому что вы злой. Да, злой, злой, — прибавила она, подымая голову и садясь на постели против старика. — Я сама злая, и злее всех, но вы еще злее меня!.. — Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее засверкали; даже дрожавшие губы ее побледнели и искривились от прилива какого-то сильного ощущения. Старик в недоумении смотрел на нее.

— Да, злее меня, потому что вы не хотите простить свою дочь; вы хотите забыть ее совсем и берете к себе другое дитя, а разве можно забыть свое родное дитя? Разве вы будете любить меня? Ведь как только вы на меня взглянете, так и вспомните, что я вам чужая и что у вас была своя дочь, которую вы сами забыли, потому что вы жестокий человек. А я не хочу жить у жестоких людей, не хочу, не хочу!.. — Нелли всхлипнула и мельком взглянула на меня.

— Послезавтра Христос воскрес[*], все целуются и обнимаются, все мирятся, все вины прощаются… Я ведь знаю… Только вы один, вы… у! жестокий! Подите прочь!

Она залилась слезами. Эту речь она, кажется, давно уже сообразила и вытвердила, на случай если старик еще раз будет ее приглашать к себе. Старик был поражен и побледнел. Болезненное ощущение выразилось в лице его.

— И к чему, к чему, зачем обо мне все так беспокоятся? Я не хочу, не хочу! — вскрикнула вдруг Нелли в каком-то исступлении, — я милостыню пойду просить!

— Нелли, что с тобой? Нелли, друг мой! — вскрикнул я невольно, но восклицанием моим только подлил к огню масла.

— Да, я буду лучше ходить по улицам и милостыню просить, а здесь не останусь, — кричала она, рыдая. — И мать моя милостыню просила, а когда умирала, сама сказала мне: будь бедная и лучше

милостыню проси, чем… Милостыню не стыдно просить: я не у одного человека прошу, я у всех прошу, а все не один человек; у одного стыдно, а у всех не стыдно; так мне одна нищенка говорила; ведь я маленькая, мне негде взять. Я у всех и прошу. А здесь я не хочу, не хочу, не хочу, я злая; я злее всех; вот какая я злая!

И Нелли вдруг совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила ее об пол.

— Вот теперь и разбилась, — прибавила она, с каким-то вызывающим торжеством смотря на меня. — Чашек-то всего две, — прибавила она, — я и другую разобью… Тогда из чего будете чай-то пить?

Она была как взбешенная и как будто сама ощущала наслаждение в этом бешенстве, как будто сама сознавала, что это и стыдно и нехорошо, и в то же время как будто поджигала себя на дальнейшие выходки.

— Она больна у тебя, Ваня, вот что, — сказал старик, — или… я уж и не понимаю, что это за ребенок. Прощай!

Он взял свою фуражку и пожал мне руку. Он был как убитый; Нелли страшно оскорбила его; всё поднялось во мне:

— И не пожалела ты его, Нелли! — вскричал я, когда мы остались одни, — и не стыдно, не стыдно тебе! Нет, ты не добрая, ты и вправду злая! — и как был без шляпы, так и побежал я вслед за стариком. Мне хотелось проводить его до ворот и хоть два слова сказать ему в утешение. Сбегая с лестницы, я как будто еще видел перед собой лицо Нелли, страшно побледневшее от моих упреков.

Я скоро догнал моего старика.

— Бедная девочка оскорблена, и у ней свое горе, верь мне, Иван; а я ей о своем стал расписывать, — сказал он, горько улыбаясь. — Я растравил ее рану. Говорят, сытый голодного не разумеет; а я, Ваня, прибавлю, что и голодный голодного не всегда поймет. Ну, прощай!

Я было заговорил о чем-то постороннем, но старик только рукой махнул.

— Полно меня-то утешать; лучше смотри, чтоб твоя-то не убежала от тебя; она так и смотрит, — прибавил он с каким-то озлоблением и пошел от меня скорыми шагами, помахивая и постукивая своей палкой по тротуару.

Он и не ожидал, что будет пророком.

Что сделалось со мной, когда, воротясь к себе, я, к ужасу моему, опять не нашел дома Нелли! Я бросился в сени, искал ее на лестнице, кликал, стучался даже у соседей и спрашивал о ней; поверить я не мог и не хотел, что она опять бежала. И как она могла убежать? Ворота в доме одни; она должна была пройти мимо нас, когда я разговаривал с стариком. Но скоро, к большому моему унынию, я сообразил, что она могла прежде спрятаться где-нибудь на лестнице и выждать, пока я пройду обратно домой, а потом бежать, так что я никак не мог ее встретить. Во всяком случае, она не могла далеко уйти.

В сильном беспокойстве выбежал я опять на поиски, оставив на всякий случай квартиру отпертою.

Прежде всего я отправился к Маслобоевым. Маслобоевых я не застал дома, ни его, ни Александры Семеновны. Оставив у них записку, в которой извещал их о новой беде, и прося, если к ним придет Нелли, немедленно дать мне знать, я пошел к доктору; того тоже не было дома, служанка объявила мне, что, кроме давешнего посещения, другого не было. Что было делать? Я отправился к Бубновой и узнал от знакомой мне гробовщицы, что хозяйка со вчерашнего дня сидит за что-то в полиции, а Нелли там *с тех пор* и не видали. Усталый, измученный, я побежал опять к Маслобоевым; тот же ответ: никого не было, да и они сами еще не возвращались. Записка моя лежала на столе. Что было мне делать?

В смертельной тоске возвращался я к себе домой поздно вечером. Мне надо было в этот вечер быть у Наташи; она сама звала меня еще утром. Но я даже и не ел ничего в этот день; мысль о Нелли возмущала всю мою душу. «Что же это такое? — думал я. — Неужели ж это такое мудреное следствие болезни? Уж не сумасшедшая ли она или сходит с ума? Но, боже мой, где она теперь, где я сыщу ее!»

Только что я это воскликнул, как вдруг увидел Нелли, в нескольких шагах от меня, на В-м мосту[*]. Она стояла у фонаря и меня не видела. Я хотел бежать к ней, но остановился. «Что ж это она здесь делает?» — подумал я в недоумении и, уверенный, что теперь уж не потеряю ее, решился ждать и наблюдать за ней. Прошло минут десять, она всё стояла, посматривая на прохожих. Наконец прошел один старичок, хорошо одетый, и Нелли подошла к нему: тот, не останавливаясь, вынул что-то из кармана и подал ей. Она ему поклонилась. Не могу выразить, что почувствовал я в это мгновение. Мучительно сжалось мое сердце;

как будто что-то дорогое, что я любил, лелеял и миловал, было опозорено и оплевано передо мной в эту минуту, но вместе с тем и слезы потекли из глаз моих.

Да, слезы о бедной Нелли, хотя я в то же время чувствовал непримиримое негодование: она не от нужды просила; она была не брошенная, не оставленная кем-нибудь на произвол судьбы; бежала не от жестоких притеснителей, а от друзей своих, которые ее любили и лелеяли. Она как будто хотела кого-то изумить или испугать своими подвигами; точно она хвасталась перед кем-то? Но что-то тайное зрело в ее душе… Да, старик был прав; она оскорблена, рана ее не могла зажить, и она как бы нарочно старалась растравлять свою рану этой таинственностью, этой недоверчивостью ко всем нам; точно она наслаждалась сама своей болью, этим *эгоизмом страдания*, если так можно выразиться. Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно: это наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбою и сознающих в себе ее несправедливость. Но на какую же несправедливость нашу могла пожаловаться Нелли? Она как будто хотела нас удивить и испугать своими капризами и дикими выходками, точно она в самом деле перед нами хвалилась… Но нет! Она теперь одна, никто не видит из нас, что она просила милостыню. Неужели ж она сама про себя находила в этом наслаждение? Для чего ей милостыня, для чего ей деньги?

Получив подаяние, она сошла с моста и подошла к ярко освещенным окнам одного магазина. Тут она принялась считать свою добычу; я стоял в десяти шагах. Денег в руке ее было уже довольно; видно, что она с самого утра просила. Зажав их в руке, она перешла через улицу и вошла в мелочную лавочку. Я тотчас же подошел к дверям лавочки, отворенным настежь, и смотрел: что она там будет делать?

Я видел, что она положила на прилавок деньги и ей подали чашку, простую чайную чашку, очень похожую на ту, которую она давеча разбила, чтоб показать мне и Ихменеву, какая она злая. Чашка эта стоила, может быть, копеек пятнадцать, может быть, даже и меньше. Купец завернул ее в бумагу, завязал и отдал Нелли, которая торопливо с довольным видом вышла из лавочки.

— Нелли! — вскрикнул я, когда она поравнялась со мною, — Нелли!

Она вздрогнула, взглянула на меня, чашка выскользнула из ее рук, упала на мостовую и разбилась. Нелли была бледна; но, взглянув на меня и уверившись, что я всё видел и знаю, вдруг покраснела; этой краской сказывался нестерпимый, мучительный стыд. Я взял ее за руку и повел домой; идти было недалеко. Мы ни слова не промолвили дорогою. Придя домой, я сел; Нелли стояла передо мной, задумчивая и смущенная, бледная по-прежнему, опустив в землю глаза. Она не могла смотреть на меня.

— Нелли, ты просила милостыню?

— Да! — прошептала она и еще больше потупилась.

— Ты хотела набрать денег, чтоб купить разбитую давеча чашку?

— Да…

— Но разве я попрекал тебя, разве я бранил тебя за эту чашку? Неужели ж ты не видишь, Нелли, сколько злого, самодовольно злого в твоем поступке? Хорошо ли это? Неужели тебе не стыдно? Неужели…

— Стыдно… — прошептала она чуть слышным голосом, и слезинка покатилась по ее щеке.

— Стыдно… — повторил я за ней. — Нелли, милая, если я виноват перед тобой, прости меня и помиримся.

Она взглянула на меня, слезы брызнули из ее глаз, и она бросилась ко мне на грудь.

В эту минуту влетела Александра Семеновна.

— Что! Она дома? Опять? Ах, Нелли, Нелли, что это с тобой делается? Ну да хорошо, что по крайней мере дома… где вы отыскали ее, Иван Петрович?

Я мигнул Александре Семеновне, чтоб она не расспрашивала, и она поняла меня. Я нежно простился с Нелли, которая всё еще горько плакала, и упросил добренькую Александру Семеновну посидеть с ней до моего возвращения, а сам побежал к Наташе. Я опоздал и торопился.

В этот вечер решалась наша судьба: нам было много о чем говорить с Наташей, но я все-таки ввернул словечко о Нелли и рассказал всё, что случилось, со всеми подробностями. Рассказ мой очень заинтересовал и даже поразил Наташу.

— Знаешь что, Ваня, — сказала она, подумав, — мне кажется, она тебя любит.

— Что… как это? — спросил я в удивлении.

— Да, это начало любви, женской любви…

— Что ты, Наташа, полно! Ведь она ребенок!

— Которому скоро четырнадцать лет. Это ожесточение оттого, что ты не понимаешь ее любви, да и она-то, может быть, сама не понимает себя; ожесточение, в котором много детского, но серьезное, мучительное. Главное — она ревнует тебя ко мне. Ты так меня любишь, что, верно, и дома только обо мне одной заботишься, говоришь и думаешь, а потому на нее обращаешь мало внимания. Она заметила это, и ее это уязвило. Она, может быть, хочет говорить с тобой, чувствует потребность раскрыть перед тобой свое сердце, не умеет, стыдится, сама не понимает себя, ждет случая, а ты, вместо того чтоб ускорить этот случай, отдаляешься от нее, убегаешь от нее ко мне и даже, когда она была больна, по целым дням оставлял ее одну. Она и плачет об этом: ей тебя недостает, и пуще всего ей больно, что ты этого не замечаешь. Ты вот и теперь, в такую минуту, оставил ее одну для меня. Да она больна будет завтра от этого. И как ты мог оставить ее? Ступай к ней скорее…

— Я и не оставил бы ее, но…

— Ну да, я сама тебя просила прийти. А теперь ступай.

— Пойду, но только, разумеется, я ничему этому не верю.

— Оттого что всё это на других не похоже. Вспомни ее историю, сообрази всё и поверишь. Она росла не так, как мы с тобой…

Воротился я все-таки поздно. Александра Семеновна рассказала мне, что Нелли опять, как в тот вечер, очень много плакала «и так и уснула в слезах», как тогда. «А уж теперь я уйду, Иван Петрович, так и Филипп Филиппыч приказал. Ждет он меня, бедный».

Я поблагодарил ее и сел у изголовья Нелли. Мне самому было тяжело, что я мог оставить ее в такую минуту. Долго, до глубокой ночи сидел я над нею, задумавшись… Роковое это было время.

Но надо рассказать, что случилось в эти две недели…

Глава V

После достопамятного для меня вечера, проведенного мною с князем в ресторане у Б., я несколько дней сряду был в постоянном страхе за Наташу. «Чем грозил ей этот проклятый князь и чем именно хотел отметить ей?» — спрашивал я сам себя поминутно и терялся в

разных предположениях. Я пришел наконец к заключению, что угрозы его были не вздор, не фанфаронство и что, покамест она живет с Алешей, князь действительно мог наделать ей много неприятностей. Он мелочен, мстителен, зол и расчетлив, думал я. Трудно, чтоб он мог забыть оскорбление и не воспользоваться каким-нибудь случаем к отмщению. Во всяком случае, он указал мне на один пункт во всем этом деле и высказался насчет этого пункта довольно ясно: он настоятельно требовал разрыва Алеши с Наташей и ожидал от меня, чтоб я приготовил ее к близкой разлуке и так приготовил, чтоб не было «сцен, пасторалей и шиллеровщины». Разумеется, он хлопотал всего более о том, чтоб Алеша остался им доволен и продолжал его считать нежным отцом; а это ему было очень нужно для удобнейшего овладения впоследствии Катиными деньгами. Итак, мне предстояло приготовить Наташу к близкой разлуке. Но в Наташе я заметил сильную перемену: прежней откровенности ее со мною и помину не было; мало того, она как будто стала со мной недоверчива. Утешения мои ее только мучили; мои расспросы всё более и более досаждали ей, даже сердили ее. Сижу, бывало, у ней, гляжу на нее! Она ходит, скрестив руки, по комнате из угла в угол, мрачная, бледная, как будто в забытьи, забыв даже, что и я тут, подле нее. Когда же ей случалось взглянуть на меня (а она даже и взглядов моих избегала), то нетерпеливая досада вдруг проглядывала в ее лице и она быстро отворачивалась. Я понимал, что она сама обдумывала, может быть, какой-нибудь свой собственный план о близком, предстоящем разрыве, и могла ли она его без боли, без горечи обдумывать? А я был убежден, что она уже решилась на разрыв. Но все-таки меня мучило и пугало ее мрачное отчаяние. К тому же говорить с ней, утешать ее я иногда и не смел, а потому со страхом ожидал, чем это всё разрешится.

Что же касается до ее сурового и неприступного вида со мной, то это меня хоть и беспокоило, хоть и мучило, но я был уверен в сердце моей Наташи: я видел, что ей очень тяжело и что она была слишком расстроена. Всякое постороннее вмешательство возбуждало в ней только досаду, злобу. В таком случае особенно вмешательство близких друзей, знающих наши тайны, становится нам всего досаднее. Но я знал тоже очень хорошо, что в последнюю минуту Наташа придет же ко мне снова и в моем же сердце будет искать себе облегчения.

О моем разговоре с князем я, разумеется, ей умолчал: рассказ мой

только бы взволновал и расстроил ее еще более. Я сказал ей только так, мимоходом, что был с князем у графини и убедился, что он ужасный подлец. Но она и не расспрашивала про него, чему я был очень рад; зато жадно выслушала всё, что я рассказал ей о моем свидании с Катей. Выслушав, она тоже ничего не сказала и о ней, но краска покрыла ее бледное лицо, и весь почти этот день она была в особенном волнении. Я не скрыл ничего о Кате и прямо признался, что даже и на меня Катя произвела прекрасное впечатление. Да и к чему было скрывать? Ведь Наташа угадала бы, что я скрываю, и только рассердилась бы на меня за это. А потому я нарочно рассказывал как можно подробнее, стараясь предупредить все ее вопросы, тем более что ей самой в ее положении трудно было меня расспрашивать: легко ли в самом деле, под видом равнодушия, выпытывать о совершенствах своей соперницы?

Я думал, что она еще не знает, что Алеша, по непременному распоряжению князя, должен был сопровождать графиню и Катю в деревню, и затруднялся, как открыть ей это, чтоб по возможности смягчить удар. Но каково же было мое изумление, когда Наташа с первых же слов остановила меня и сказала, что нечего ее *утешать,* что она уже пять дней, как знает про это.

— Боже мой! — вскричал я, — да кто же тебе сказал?

— Алеша.

— Как? Он уже сказал?

— Да, и я на всё решилась, Ваня, — прибавила она с таким видом, который ясно и как-то нетерпеливо предупреждал меня, чтоб я и не продолжал этого разговора.

Алеша довольно часто бывал у Наташи, но всё на минутку; один раз только просидел у ней несколько часов сряду; но это было без меня. Входил он обыкновенно грустный, смотрел на нее робко и нежно; но Наташа так нежно, так ласково встречала его, что он тотчас же всё забывал и развеселялся. Ко мне он тоже начал ходить очень часто, почти каждый день. Правда, он очень мучился, но не мог и минуты пробыть один с своей тоской и поминутно прибегал ко мне за утешением.

Что мог я сказать ему? Он упрекал меня в холодности, в равнодушии, даже в злобе к нему; тосковал, плакал, уходил к Кате и уж там утешался.

В тот день, когда Наташа объявила мне, что знает про отъезд (это

было с неделю после разговора моего с князем), он вбежал ко мне в отчаянии, обнял меня, упал ко мне на грудь и зарыдал как ребенок. Я молчал и ждал, что он скажет.

— Я низкий, я подлый человек, Ваня, — начал он мне, — спаси меня от меня самого. Я не оттого плачу, что я низок и подл, но оттого, что через меня Наташа будет несчастна. Ведь я оставляю ее на несчастье… Ваня, друг мой, скажи мне, реши за меня, кого я больше люблю из них: Катю или Наташу?

— Этого я не могу решить, Алеша, — отвечал я, — тебе лучше знать, чем мне…

— Нет, Ваня, не то; ведь я не так глуп, чтоб задавать такие вопросы; но в том-то и дело, что я тут сам ничего не знаю. Я спрашиваю себя и не могу ответить. А ты смотришь со стороны и, может, больше моего знаешь… Ну, хоть и не знаешь, то скажи, как тебе кажется?

— Мне кажется, что Катю ты больше любишь.

— Тебе так кажется! Нет, нет, совсем нет! Ты совсем не угадал. Я беспредельно люблю Наташу. Я ни за что, никогда не могу ее оставить; я это и Кате сказал, и Катя совершенно со мною согласна. Что ж ты молчишь? Вот, я видел, ты сейчас улыбнулся. Эх, Ваня, ты никогда не утешал меня, когда мне было слишком тяжело, как теперь… Прощай!

Он выбежал из комнаты, оставив чрезвычайное впечатление в удивленной Нелли, молча выслушавшей наш разговор. Она тогда была еще больна, лежала в постели и принимала лекарство. Алеша никогда не заговаривал с нею и при посещениях своих почти не обращал на нее никакого внимания.

Через два часа он явился снова, и я удивился его радостному лицу. Он опять бросился ко мне на шею и обнял меня.

— Кончено дело! — вскричал он, — все недоумения разрешены. От вас я прямо пошел к Наташе: я был расстроен, я не мог быть без нее. Войдя, я упал перед ней на колени и целовал ее ноги: мне это нужно было, мне хотелось этого; без этого я бы умер с тоски. Она молча обняла меня и заплакала. Тут я прямо ей сказал, что Катю люблю больше ее…

— Что ж она?

— Она ничего не отвечала, а только ласкала и утешала меня, — меня, который ей это сказал! Она умеет утешать, Иван Петрович! О, я выплакал перед ней всё горе, всё ей высказал. Я прямо сказал, что

люблю очень Катю, но что как бы я ее ни любил и кого бы я ни любил, я все-таки без нее, без Наташи, обойтись не могу и умру. Да, Ваня, дня не проживу без нее, я это чувствую, да! и потому мы решили немедленно с ней обвенчаться; а так как до отъезда нельзя этого сделать, потому что теперь Великий пост[*] и венчать не станут, то уж по приезде моем, а это будет к первому июня. Отец позволит, в этом нет и сомнения. Что же касается до Кати, то что ж такое! Я ведь не могу жить без Наташи… Обвенчаемся и тоже туда с ней поедем, где Катя…

Бедная Наташа! Каково было ей утешать этого мальчика, сидеть над ним, выслушать его признание и выдумать ему, наивному эгоисту, для спокойствия его, сказку о скором браке. Алеша действительно на несколько дней успокоился. Он и бегал к Наташе, собственно, из того, что слабое сердце его не в силах было одно перенесть печали. Но все-таки, когда время начало приближаться к разлуке, он опять впал в беспокойство, в слезы и опять прибегал ко мне и выплакивал свое горе. В последнее время он так привязался к Наташе, что не мог ее оставить и на день, не только на полтора месяца. Он вполне был, однако ж, уверен до самой последней минуты, что оставляет ее только на полтора месяца и что по возвращении его будет их свадьба. Что же касается до Наташи, то она в свою очередь вполне понимала, что вся судьба ее меняется, что Алеша уж никогда теперь к ней не воротится и что так тому и следует быть.

День разлуки их наступил. Наташа была больна, — бледная, с воспаленным взглядом, с запекшимися тубами, изредка разговаривала сама с собою, изредка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвечала на мои вопросы и вздрагивала, как листок на дереве, когда раздавался звонкий голос входившего Алеши. Она вспыхивала, как зарево, и спешила к нему; судорожно обнимала его, целовала его, смеялась… Алеша вглядывался в нее, иногда с беспокойством расспрашивал, здорова ли она, утешал, что уезжает ненадолго, что потом их свадьба. Наташа делала видимые усилия, перемогала себя и давила свои слезы. Она не плакала перед ним.

Один раз он заговорил, что надо оставить ей денег на всё время его отъезда и чтоб она не беспокоилась, потому что отец обещал ему дать много на дорогу. Наташа нахмурилась. Когда же мы остались вдвоем, я объявил, что у меня есть для нее *сто пятьдесят рублей,* на всякий случай. Она не расспрашивала, откуда эти деньги. Это было за два дня

до отъезда Алеши и накануне первого и последнего свидания Наташи с Катей. Катя прислала с Алешей записку, в которой просила Наташу позволить посетить себя завтра; причем писала и ко мне: она просила и меня присутствовать при их свидании.

Я непременно решился быть в двенадцать часов (назначенный Катей час) у Наташи, несмотря ни на какие задержки; а хлопот и задержек было много. Не говоря уже о Нелли, в последнее время мне было много хлопот у Ихменевых.

Эти хлопоты начались еще неделю назад. Анна Андреевна прислала в одно утро за мною с просьбой бросить всё и немедленно спешить к ней по очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Придя к ней, я застал ее одну: она ходила по комнате вся в лихорадке от волнения и испуга, с трепетом ожидая возвращения Николая Сергеича. По обыкновению, я долго не мог добиться от нее, в чем дело и чего она так испугалась, а между тем, очевидно, каждая минута была дорога. Наконец, после горячих и ненужных делу попреков: «зачем я не хожу и оставляю их, как сирот, одних в горе», так что уж «бог знает что без меня происходит», — она объявила мне, что Николай Сергеич в последние три дня был в таком волнении, «что и описать невозможно».

— Просто на себя не похож, — говорила она, — в лихорадке, по ночам, тихонько от меня, на коленках перед образом молится, во сне бредит, а наяву как полуумный: стали вчера есть щи, а он ложку подле себя отыскать не может, спросишь его про одно, а он отвечает про другое. Из дому стал поминутно уходить: «всё по делам, говорит, ухожу, адвоката видеть надо»; наконец, сегодня утром заперся у себя в кабинете: «мне, говорит, нужную бумагу по тяжебному делу надо писать». Ну, какую, думаю про себя, тебе бумагу писать, когда ложку подле прибора не мог отыскать? Однако в замочную щелку я подсмотрела: сидит, пишет, а сам так и заливается-плачет. Какую же такую, думаю, деловую бумагу так пишут? Али, может, ему уж так Ихменевку нашу жалко; стало быть, уж совсем пропала наша Ихменевка! Вот думаю я это, а он вдруг вскочил из-за стола да как ударит пером по столу, раскраснелся, глаза сверкают, схватился за фуражку и выходит ко мне. «Я, говорит, Анна Андреевна, скоро приду». Ушел он, а я тотчас же к его столику письменному; бумаг у него по нашей тяжбе там пропасть такая лежит, что уж он мне и прикасаться к

ним не позволяет. Сколько раз, бывало, прошу: «Дай ты мне хоть раз бумаги поднять, я бы пыль со столика стерла». Куды, закричит, замашет руками: нетерпеливый он такой стал здесь в Петербурге, крикун. Так вот я к столику-то подошла и ищу: которая это бумага, что он сейчас-то писал? Потому доподлинно знаю, что он ее с собой не взял, а когда вставал из-за стола, то под другие бумаги сунул. Ну вот, батюшка, Иван Петрович, что я нашла, посмотри-ка.

И она подала мне лист почтовой бумаги, вполовину исписанный, но с такими помарками, что в иных местах разобрать было невозможно.

Бедный старик! С первых строк можно было догадаться, что и к кому он писал. Это было письмо к Наташе, к возлюбленной его Наташе. Он начинал горячо и нежно: он обращался к ней с прощением и звал ее к себе. Трудно было разобрать всё письмо, написанное нескладно и порывисто, с бесчисленными помарками. Видно только было, что горячее чувство, заставившее его схватить перо и написать первые, задушевные строки, быстро, после этих первых строк, переродилось в другое: старик начинал укорять дочь, яркими красками описывал ей ее преступление, с негодованием напоминал ей о ее упорстве, упрекал в бесчувственности, в том, что она ни разу, может быть, и не подумала, что сделала с отцом и матерью. За ее гордость он грозил ей наказанием и проклятием и кончал требованием, чтоб она немедленно и покорно возвратилась домой, и тогда, только тогда, может быть, после покорной и примерной новой жизни «в недрах семейства», мы решимся простить тебя, писал он. Видно было, что первоначальное, великодушное чувство свое он, после нескольких строк, принял за слабость, стал стыдиться ее и, наконец, почувствовав муки оскорбленной гордости, кончал гневом и угрозами. Старушка стояла передо мной, сложа руки и в страхе ожидая, что я скажу по прочтении письма.

Я высказал ей всё прямо, как мне казалось. Именно: что старик не в силах более жить без Наташи и что положительно можно сказать о необходимости скорого их примирения; но что, однако же, всё зависит от обстоятельств. Я объяснил при этом мою догадку, что, во-первых, вероятно, дурной исход процесса сильно расстроил и потряс его, не говоря уже о том, насколько было уязвлено его самолюбие торжеством над ним князя и сколько негодования возродилось в нем при таком решении дела. В такие минуты душа не может не искать себе сочувствия, и он еще сильнее вспомнил о той, которую всегда любил

больше всего на свете. Наконец, может быть и то: он, наверно, слышал (потому что он следит и всё знает про Наташу), что Алеша скоро оставляет ее. Он мог понять, каково было ей теперь, и по себе почувствовал, как необходимо было ей утешение. Но все-таки он не мог преодолеть себя, считая себя оскорбленным и униженным дочерью. Ему, верно, приходило на мысль, что все-таки не она идет к нему первая; что, может быть, даже она и не думает об них и потребности не чувствует к примирению. Так он должен был думать, заключил я мое мнение, и вот почему не докончил письма, и, может быть, из всего этого произойдут еще новые оскорбления, которые еще сильнее почувствуются, чем первые, и, кто знает, примирение, может быть, еще надолго отложится…

Старушка плакала, меня слушая. Наконец, когда я сказал, что мне необходимо сейчас же к Наташе и что я опоздал к ней, она встрепенулась и объявила, что и забыла о *главном.* Вынимая письмо из-под бумаг, она нечаянно опрокинула на него чернильницу. Действительно, целый угол был залит чернилами, и старушка ужасно боялась, что старик по этому пятну узнает, что без него перерыли бумаги и что Анна Андреевна прочла письмо к Наташе. Ее страх был очень основателен: уж из одного того, что мы знаем его тайну, он со стыда и досады мог продлить свою злобу и из гордости упорствовать в прощении.

Но, рассмотрев дело, я уговорил старушку не беспокоиться. Он встал из-за письма в таком волнении, что мог и не помнить всех мелочей, и теперь, вероятно, подумает, что сам запачкал письмо и забыл об этом. Утешив таким образом Анну Андреевну, мы осторожно положили письмо на прежнее место, а я вздумал, уходя, переговорить с нею серьезно о Нелли. Мне казалось, что бедная брошенная сиротка, у которой мать была тоже проклята своим отцом, могла бы грустным, трагическим рассказом о прежней своей жизни и о смерти своей матери тронуть старика и подвигнуть его на великодушные чувства. Всё готово, всё созрело в его сердце; тоска по дочери стала уже пересиливать его гордость и оскорбленное самолюбие. Недоставало только толчка, последнего удобного случая, и этот удобный случай могла бы заменить Нелли. Старушка слушала меня с чрезвычайным вниманием: всё лицо ее оживилось надеждой и восторгом. Она тотчас же стала меня упрекать: зачем я давно ей этого не сказал? нетерпеливо начала меня

расспрашивать о Нелли и кончила торжественным обещанием, что сама теперь будет просить старика, чтоб взял в дом сиротку. Она уже начала искренно любить Нелли, жалела о том, что она больна, расспрашивала о ней, принудила меня взять для Нелли банку варенья, за которым сама побежала в чулан; принесла мне пять целковых, предполагая, что у меня нет денег для доктора, и, когда я их не взял, едва успокоилась и утешилась тем, что Нелли нуждается в платье и белье и что, стало быть, можно еще ей быть полезною, вследствие чего стала тотчас же перерывать свой сундук и раскладывать все свои платья, выбирая из них те, которые можно было подарить «сиротке».

А я пошел к Наташе. Подымаясь на последнюю лестницу, которая, как я уже сказал прежде, шла винтом, я заметил у ее дверей человека, который хотел уже было постучаться, но, заслышав мои шаги, приостановился. Наконец, вероятно после некоторого колебания, вдруг оставил свое намерение и пустился вниз. Я столкнулся с ним на последней забежной ступеньке*, и каково было мое изумление, когда я узнал Ихменева. На лестнице и днем было очень темно. Он прислонился к стене, чтобы дать мне пройти, и помню странный блеск его глаз, пристально меня рассматривавших. Мне казалось, что он ужасно покраснел; по крайней мере он ужасно смешался и даже потерялся.

— Эх, Ваня, да это ты! — проговорил он неровным голосом, — а я здесь к одному человеку… к писарю… всё по делу… недавно переехал… куда-то сюда… да не здесь, кажется, живет. Я ошибся. Прощай.

И он быстро пустился вниз по лестнице.

Я решился до времени не говорить Наташе об этой встрече, но непременно сказать ей тотчас же, когда она останется одна, по отъезде Алеши. В настоящее же время она была так расстроена, что хотя бы и поняла и осмыслила вполне всю силу этого факта, но не могла бы его так принять и прочувствовать, как впоследствии, в минуту подавляющей последней тоски и отчаяния. Теперь же минута была не та.

В тот день я бы мог сходить к Ихменевым, и подмывало меня на это, но я не пошел. Мне казалось, что старику будет тяжело смотреть на меня; он даже мог подумать, что я нарочно прибежал вследствие встречи. Пошел я к ним уже на третий день; старик был грустен, но встретил меня довольно развязно и всё говорил о делах.

— А что, к кому это ты тогда ходил, так высоко, вот помнишь, мы встретились, когда бишь это? — третьего дня, кажется, — спросил он вдруг довольно небрежно, но все-таки как-то отводя от меня свои глаза в сторону.

— Приятель один живет, — отвечал я, тоже отводя глаза в сторону.

— А! А я писаря моего искал, Астафьева; на тот дом указали… да ошибся… Ну, так вот я тебе про дело-то говорил: в сенате решили… — и т. д., и т. д.

Он даже покраснел, когда начал говорить о *деле.*

Я рассказал всё в тот же день Анне Андреевне, чтоб обрадовать старушку, умоляя ее, между прочим, не заглядывать ему теперь в лицо с особенным видом, не вздыхать, не делать намеков и, одним словом, ни под каким видом не показывать, что ей известна эта последняя его выходка. Старушка до того удивилась и обрадовалась, что даже сначала мне не поверила. С своей стороны, она рассказала мне, что уже намекала Николаю Сергеичу о сиротке, но что он промолчал, тогда как прежде сам всё упрашивал взять в дом девочку. Мы решили, что завтра она попросит его об этом прямо, без всяких предисловий и намеков. Но назавтра оба мы были в ужасном испуге и беспокойстве.

Дело в том, что Ихменев виделся утром с чиновником, хлопотавшим по его делу. Чиновник объявил ему, что видел князя и что князь хоть и оставляет Ихменевку за собой, но «*вследствие некоторых семейных обстоятельств*» решается вознаградить старика и выдать ему десять тысяч. От чиновника старик прямо прибежал ко мне, ужасно расстроенный; глаза его сверкали бешенством. Он вызвал меня, неизвестно зачем, из квартиры на лестницу и настоятельно стал требовать, чтоб я немедленно шел к князю и передал ему вызов на дуэль. Я был так поражен, что долго не мог ничего сообразить. Начал было его уговаривать. Но старик пришел в такое бешенство, что с ним сделалось дурно. Я бросился к себе за стаканом воды; но, воротясь, уже не застал Ихменева на лестнице.

На другой день я отправился к нему, но его уже не было дома; он исчез на целых три дня.

На третий день мы узнали всё. От меня он кинулся прямо к князю, не застал его дома и оставил ему записку; в записке он писал, что знает о словах его, сказанных чиновнику, что считает их себе смертельным оскорблением, а князя низким человеком и вследствие всего этого

вызывает его на дуэль, предупреждая при этом, чтоб князь не смел уклоняться от вызова, иначе будет обесчещен публично.

Анна Андреевна рассказывала мне, что он воротился домой в таком волнении и расстройстве, что даже слег. С ней был очень нежен, но на расспросы ее отвечал мало, и видно было, что он чего-то ждал с лихорадочным нетерпением. На другое утро пришло по городской почте письмо; прочтя его, он вскрикнул и схватил себя за голову. Анна Андреевна обмерла от страха. Но он тотчас же схватил шляпу, палку и выбежал вон.

Письмо было от князя. Сухо, коротко и вежливо он извещал Ихменева, что в словах своих, сказанных чиновнику, он никому не обязан никаким отчетом. Что хотя он очень сожалеет Ихменева за проигранный процесс, но при всем своем сожалении никак не может найти справедливым, чтоб проигравший в тяжбе имел право, из мщения, вызывать своего соперника на дуэль. Что же касается до «публичного бесчестия», которым ему грозили, то князь просил Ихменева не беспокоиться об этом, потому что никакого публичного бесчестия не будет, да и быть не может; что письмо его немедленно будет передано куда следует и что предупрежденная полиция, наверно, в состоянии принять надлежащие меры к обеспечению порядка и спокойствия.

Ихменев с письмом в руке тотчас же бросился к князю. Князя опять не было дома; но старик успел узнать от лакея, что князь теперь, верно, у графа N. Долго не думая, он побежал к графу. Графский швейцар остановил его, когда уже он подымался на лестницу. Взбешенный до последней степени старик ударил его палкой. Тотчас же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейским, которые препроводили его в часть. Доложили графу. Когда же случившийся тут князь объяснил сластолюбивому старичку, что этот самый Ихменев — отец той самой Натальи Николаевны (а князь не раз прислуживал графу по *этим делам*), то вельможный старичок только засмеялся и переменил гнев на милость: сделано было распоряжение отпустить Ихменева на все четыре стороны; но выпустили его только на третий день, причем (наверно, по распоряжению князя) объявили старику, что сам князь упросил графа его помиловать.

Старик воротился домой как безумный, бросился на постель и целый час лежал без движения; наконец приподнялся и, к ужасу Анны

Андреевны, объявил торжественно, что *навеки* проклинает свою дочь и лишает ее своего родительского благословения.

Анна Андреевна пришла в ужас, но надо было помогать старику, и она, сама чуть не без памяти, весь этот день и почти всю ночь ухаживала за ним, примачивала ему голову уксусом, обкладывала льдом. С ним был жар и бред. Я оставил их уже в третьем часу ночи. Но наутро Ихменев встал и в тот же день пришел ко мне, чтоб окончательно взять к себе Нелли. Но о сцене его с Нелли я уже рассказывал; эта сцена потрясла его окончательно. Воротясь домой, он слег в постель. Всё это происходило в страстную пятницу[*], когда было назначено свидание Кати и Наташи, накануне отъезда Алеши и Кати из Петербурга. На этом свидании я был: оно происходило рано утром, еще до прихода ко мне старика и до первого побега Нелли.

Глава VI

Алеша приехал еще за час до свидания предупредить Наташу. Я же пришел именно в то мгновение, когда коляска Кати остановилась у наших ворот. С Катей была старушка француженка, которая, после долгих упрашиваний и колебаний, согласилась наконец сопровождать ее и даже отпустить ее наверх к Наташе одну, но не иначе, как с Алешей; сама же осталась дожидаться в коляске. Катя подозвала меня и, не выходя из коляски, просила вызвать к ней Алешу. Наташу я застал в слезах; и Алеша и она — оба плакали. Услышав, что Катя уже здесь, она встала со стула, отерла слезы и с волнением стала против дверей. Одета она была в это утро вся в белом. Темно-русые волосы ее были зачесаны гладко и назади связывались густым узлом. Эту прическу я очень любил. Увидав, что я остался с нею, Наташа попросила и меня пойти тоже навстречу гостям.

— До сих пор я не могла быть у Наташи, — говорила мне Катя, подымаясь на лестницу. — Меня так шпионили, что ужас. Madame Albert я уговаривала целых две недели, наконец-то согласилась. А вы, а вы, Иван Петрович, ни разу ко мне не зашли! Писать я вам тоже не могла, да и охоты не было, потому что письмом ничего не разъяснишь. А как мне надо было вас видеть… Боже мой, как у меня теперь сердце бьется…

— Лестница крутая, — отвечал я.

— Ну да… и лестница… а что, как вы думаете: не будет сердиться на меня Наташа?

— Нет, за что же?

— Ну да… конечно, за что же; сейчас сама увижу; к чему же и спрашивать?..

Я вел ее под руку. Она даже побледнела и, кажется, очень боялась. На последнем повороте она остановилась перевести дух, но взглянула на меня и решительно поднялась наверх.

Еще раз она остановилась в дверях и шепнула мне: «Я просто войду и скажу ей, что я так в нее верила, что приехала не опасаясь… впрочем, что ж я разговариваю; ведь я уверена, что Наташа благороднейшее существо. Не правда ли?»

Она вошла робко, как виноватая, и пристально взглянула на Наташу, которая тотчас же улыбнулась ей. Тогда Катя быстро подошла к ней, схватила ее за руки и прижалась к ее губам своими пухленькими губками. Затем, еще ни слова не сказав Наташе, серьезно и даже строго обратилась к Алеше и попросила его оставить нас на полчаса одних.

— Ты не сердись, Алеша, — прибавила она, — это я потому, что мне много надо переговорить с Наташей, об очень важном и о серьезном, чего ты не должен слышать. Будь же умен, поди. А вы, Иван Петрович, останьтесь. Вы должны выслушать весь наш разговор.

— Сядем, — сказала она Наташе по уходе Алеши, — я так, против вас сяду. Мне хочется сначала на вас посмотреть.

Она села почти прямо против Наташи и несколько мгновений пристально на нее смотрела. Наташа отвечала ей невольной улыбкой.

— Я уже видела вашу фотографию, — сказала Катя, — мне показывал Алеша.

— Что ж, похожа я на портрете?

— Вы лучше, — ответила Катя решительно и серьезно. — Да я так и думала, что вы лучше.

— Право? А я вот засматриваюсь на вас. Какая вы хорошенькая!

— Что вы! Куды мне!.. голубчик вы мой! — прибавила она, дрожавшей рукой взяв руку Наташи, и обе опять примолкли, всматриваясь друг в друга. — Вот что, мой ангел, — прервала Катя, — нам всего полчаса быть вместе; madame Albert и на это едва согласилась, а нам много надо переговорить… Я хочу… я должна… ну

я вас просто спрошу: очень вы любите Алешу?

— Да, очень.

— А если так… если вы очень любите Алешу… то… вы должны любить и его счастье… — прибавила она робко и шепотом.

— Да, я хочу, чтоб он был счастлив…

— Это так… но вот, в чем вопрос: составлю ли я его счастье? Имею ли я право так говорить, потому что я его у вас отнимаю. Если вам кажется и мы решим теперь, что с вами он будет счастливее, то… то…

— Это уже решено, милая Катя, ведь вы же сами видите, что всё решено, — отвечала тихо Наташа и склонила голову. Ей было, видимо, тяжело продолжать разговор.

Катя приготовилась, кажется, на длинное объяснение на тему: кто лучше составит счастье Алеши и кому из них придется уступить? Но после ответа Наташи тотчас же поняла, что всё уже давно решено и говорить больше не об чем. Полураскрыв свои хорошенькие губки, она с недоумением и с печалью смотрела на Наташу, всё еще держа ее руку в своей.

— А вы его очень любите? — спросила вдруг Наташа.

— Да; и вот я тоже хотела вас спросить и ехала с тем: скажите мне, за что именно вы его любите?

— Не знаю, — отвечала Наташа, и как будто горькое нетерпение послышалось в ее ответе.

— Умен он, как вы думаете? — спросила Катя.

— Нет, я так его, просто люблю.

— И я тоже. Мне его всё как будто жалко.

— И мне тоже, — отвечала Наташа.

— Что с ним делать теперь! И как он мог оставить вас для меня, не понимаю! — воскликнула Катя. — Вот как теперь увидала вас и не понимаю! — Наташа не отвечала и смотрела в землю. Катя помолчала немного и вдруг, поднявшись со стула, тихо обняла ее. Обе, обняв одна другую, заплакали. Катя села на ручку кресел Наташи, не выпуская ее из своих объятий, и начала целовать ее руки.

— Если б вы знали, как я вас люблю! — проговорила она плача. — Будем сестрами, будем всегда писать друг другу… а я вас буду вечно любить… я вас буду так любить, так любить…

— Он вам о нашей свадьбе, в июне месяце, говорил? — спросила Наташа.

— Говорил. Он говорил, что и вы согласны. Ведь это всё только *так*, чтоб его утешить, не правда ли?

— Конечно.

— Я так и поняла. Я буду его очень любить, Наташа, и вам обо всем писать. Кажется, он будет теперь скоро моим мужем; на то идет. И они все так говорят. Милая Наташечка, ведь вы пойдете теперь… в ваш дом?

Наташа не отвечала ей, но молча и крепко поцеловала ее.

— Будьте счастливы! — сказала она.

— И… и вы… и вы тоже, — проговорила Катя. В это мгновение отворилась дверь, и вошел Алеша. Он не мог, он не в силах был переждать эти полчаса и, увидя их обеих в объятиях друг у друга и плакавших, весь изнеможенный, страдающий, упал на колена перед Наташей и Катей.

— Чего же ты-то плачешь? — сказала ему Наташа, — что разлучаешься со мной? Да надолго ли? В июне приедешь?

— И свадьба ваша будет тогда, — поспешила сквозь слезы проговорить Катя, тоже в утешение Алеше.

— Но я не могу, я не могу тебя и на день оставить, Наташа. Я умру без тебя… ты не знаешь, как ты мне теперь дорога! Именно теперь!..

— Ну, так вот как ты сделай, — сказала, вдруг оживляясь, Наташа, — ведь графиня останется хоть сколько-нибудь в Москве?

— Да, почти неделю, — подхватила Катя.

— Неделю! Так чего ж лучше: ты завтра проводишь их до Москвы, это всего один день, и тотчас же приезжай сюда. Как им надо будет выезжать из Москвы, мы уж тогда совсем, на месяц, простимся, и ты воротишься в Москву их провожать.

— Ну, так, так… А вы все-таки лишних четыре дня пробудете вместе, — вскрикнула восхищенная Катя, обменявшись многозначительным взглядом с Наташей.

Не могу выразить восторга Алеши от этого нового проекта. Он вдруг совершенно утешился; его лицо засияло радостию, он обнимал Наташу, целовал руки Кати, обнимал меня. Наташа с грустною улыбкою смотрела на него, но Катя не могла вынести. Она переглянулась со мной горячим, сверкающим взглядом, обняла Наташу и встала со стула, чтоб ехать. Как нарочно, в эту минуту француженка прислала человека с просьбою окончить свидание поскорее и что

условленные полчаса уже прошли.

Наташа встала. Обе стояли одна против другой, держась за руки и как будто силясь передать взглядом всё, что скопилось в душе.

— Ведь мы уж больше никогда не увидимся, — сказала Катя.

— Никогда, Катя, — отвечала Наташа.

— Ну, так простимся. — Обе обнялись.

— Не проклинайте меня, — прошептала наскоро Катя, — а я… всегда… будьте уверены… он будет счастлив… Пойдем, Алеша, проводи меня! — быстро произнесла она, схватывая его руку.

— Ваня! — сказала мне Наташа, взволнованная и измученная, когда они вышли, — ступай за ними и ты и… не приходи назад: у меня будет Алеша до вечера, до восьми часов; а вечером ему нельзя, он уйдет. Я останусь одна… Приходи часов в девять. Пожалуйста!

Когда в девять часов, оставив Нелли (после разбитой чашки) с Александрой Семеновной, я пришел к Наташе, она уже была одна и с нетерпением ждала меня. Мавра подала нам самовар; Наташа налила мне чаю, села на диван и подозвала меня поближе к себе.

— Вот и кончилось всё, — сказала она, пристально взглянув на меня. Никогда не забуду я этого взгляда.

— Вот и кончилась наша любовь. Полгода жизни! И на всю жизнь, — прибавила она, сжимая мне руку. Ее рука горела. Я стал уговаривать ее одеться потеплее и лечь в постель.

— Сейчас, Ваня, сейчас, мой добрый друг. Дай мне поговорить и припомнить немного… Я теперь как разбитая… Завтра в последний раз его увижу, в десять часов… *в последний*!

— Наташа, у тебя лихорадка, сейчас будет озноб; пожалей себя…

— Что же? Ждала я тебя теперь, Ваня, эти полчаса, как он ушел, и как ты думаешь, о чем думала, о чем себя спрашивала? Спрашивала: любила я его иль не любила и что это такое была наша любовь? Что, тебе смешно, Ваня, что я об этом только теперь себя спрашиваю?

— Не тревожь себя, Наташа…

— Видишь, Ваня: ведь я решила, что я его не любила как ровню, так, как обыкновенно женщина любит мужчину. Я любила его как… почти как мать. Мне даже кажется, что совсем и не бывает на свете такой любви, чтоб оба друг друга любили как ровные, а? Как ты думаешь?

Я с беспокойством смотрел на нее и боялся, не начинается ли с ней

горячка. Как будто что-то увлекало ее; она чувствовала какую-то особенную потребность говорить; иные слова ее были как будто без связи, и даже иногда она плохо выговаривала их. Я очень боялся.

— Он был мой, — продолжала она. — Почти с первой встречи с ним у меня явилось тогда непреодолимое желание, чтоб он был *мой*, поскорей *мой*, и чтоб он ни на кого не глядел, никого не знал, кроме меня, одной меня… Катя давеча хорошо сказала: я именно любила его так, как будто мне всё время было отчего-то его жалко… Было у меня всегда непреодолимое желание, даже мучение, когда я оставалась одна, о том, чтоб он был ужасно и вечно счастлив. На его лицо (ты ведь знаешь выражение его лица, Ваня) я спокойно смотреть не могла: такого выражения ни *у кого не бывает,* а засмеется он, так у меня холод и дрожь была… Право!..

— Наташа, послушай…

— Вот говорили, — перебила она, — да и ты, впрочем, говорил, что он без характера и… и умом недалек, как ребенок. Ну, а я это-то в нем и любила больше всего… веришь ли этому? Не знаю, впрочем, любила ли именно одно это: так, просто, всего его любила, и будь он хоть чем-нибудь другой, с характером иль умнее, я бы, может, и не любила его так. Знаешь, Ваня, я тебе признаюсь в одном: помнишь, у нас была ссора, три месяца назад, когда он был у той, как ее, у этой Минны… я узнала, выследила, и веришь ли: мне ужасно было больно, а в то же время как будто и приятно… но знаю, почему… одна уж мысль, что он тоже, как *большой* какой-нибудь, вместе с другими *большими* по красавицам разъезжает, тоже к Минне поехал! Я… Какое наслаждение было мне тогда в этой ссоре; а потом простить его… о милый!

Она взглянула мне в лицо и как-то странно рассмеялась. Потом как будто задумалась, как будто всё еще припоминала. И долго сидела она так, с улыбкой на губах, вдумываясь в прошедшее.

— Я ужасно любила его прощать, Ваня, — продолжала она, — знаешь что, когда он оставлял меня одну, я хожу, бывало, по комнате, мучаюсь, плачу, а сама иногда подумаю: чем виноватее он передо мной, тем ведь лучше… да! И знаешь: мне всегда представлялось, что он как будто такой маленький мальчик: я сижу, а он положил ко мне на колени голову, заснул, а я его тихонько по голове глажу, ласкаю… Всегда так воображала о нем, когда его со мной не было… Послушай, Ваня, — прибавила она вдруг, — какая это прелесть Катя!

Мне показалось, что она сама нарочно растравляет свою рану, чувствуя в этом какую-то потребность, — потребность отчаяния, страданий… И так часто бывает это с сердцем, много потерявшим!

— Катя, мне кажется, может его сделать счастливым, — продолжала она. — Она с характером и говорит, как будто такая убежденная, и с ним она такая серьезная, важная, — всё об умных вещах говорит, точно большая. А сама-то, сама-то — настоящий ребенок! Милочка, милочка! О! пусть они будут счастливы! Пусть, пусть, пусть!..

И слезы, рыдания вдруг разом так и хлынули из ее сердца. Целых полчаса она не могла прийти в себя и хоть сколько-нибудь успокоиться.

Милый ангел Наташа! Еще в этот же вечер, несмотря на свое горе, она смогла-таки принять участие и в моих заботах, когда я, видя, что она немножко успокоилась, или, лучше сказать, устала, и думая развлечь ее, рассказал ей о Нелли… Мы расстались в этот вечер поздно; я дождался, пока она заснула, и, уходя, просил Мавру не отходить от своей больной госпожи всю ночь.

— О, поскорее, поскорее! — восклицал я, возвращаясь домой, — поскорее конец этим мукам! Хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, но только скорее, скорее!

Наутро, ровно в десять часов, я уже был у нее. В одно время со мной приехал и Алеша… прощаться. Не буду говорить, не хочу вспоминать об этой сцене. Наташа как будто дала себе слово скрепить себя, казаться веселее, равнодушнее, но не могла. Она обняла Алешу судорожно, крепко. Мало говорила с ним, но глядела на него долго, пристально, мученическим и словно безумным взглядом. Жадно вслушивалась в каждое слово его и, кажется, ничего не понимала из того, что он ей говорил. Помню, он просил простить ему, простить ему и любовь эту и всё, чем он оскорблял ее в это время, свои измены, свою любовь к Кате, отъезд… Он говорил бессвязно, слезы душили его. Иногда он вдруг принимался утешать ее, говорил, что едет только на месяц или много что на пять недель, что приедет летом, тогда будет их свадьба, и отец согласится, и, наконец, главное, что ведь он послезавтра приедет из Москвы, и тогда целых четыре дня они еще пробудут вместе и что, стало быть, теперь расстаются на один только день…

Странное дело: сам он был вполне уверен, что говорит правду и что непременно послезавтра воротится из Москвы… Чего же сам он так

плакал и мучился?

Наконец часы пробили одиннадцать. Я насилу мог уговорить его ехать. Московский поезд отправлялся ровно в двенадцать. Оставался один час. Наташа мне сама потом говорила, что не помнит, как последний раз взглянула на него. Помню, что она перекрестила его, поцеловала и, закрыв руками лицо, бросилась назад в комнату. Мне же надо было проводить Алешу до самого экипажа, иначе он непременно бы воротился и никогда бы не сошел с лестницы.

— Вся надежда на вас, — говорил он мне, сходя вниз. — Друг мой, Ваня! Я перед тобой виноват и никогда не мог заслужить твоей любви, но будь мне до конца братом: люби ее, не оставляй ее, пиши мне обо всем как можно подробнее и мельче, как можно мельче пиши, чтоб больше уписалось. Послезавтра я здесь опять, непременно, непременно! Но потом, когда я уеду, пиши!

Я посадил его на дрожки.

— До послезавтра! — закричал он мне с дороги. — Непременно!

С замиравшим сердцем воротился я наверх к Наташе. Она стояла посреди комнаты, скрестив руки, и в недоумении на меня посмотрела, точно не узнавала меня. Волосы ее сбились как-то на сторону; взгляд был мутный и блуждающий. Мавра, как потерянная, стояла в дверях, со страхом смотря на нее.

Вдруг глаза Наташи засверкали:

— А! Это ты! Ты! — вскричала она на меня. — Только ты один теперь остался. Ты его ненавидел! Ты никогда ему не мог простить, что я его полюбила… Теперь ты опять при мне! Что ж? Опять *утешать* пришел меня, уговаривать, чтоб я шла к отцу, который меня бросил и проклял. Я так и знала еще вчера, еще за два месяца!.. Не хочу, не хочу! Я сама проклинаю их!.. Поди прочь, я не могу тебя видеть! Прочь, прочь!

Я понял, что она в исступлении и что мой вид возбуждает в ней гнев до безумия, понял, что так и должно было быть, и рассудил лучше выйти. Я сел на лестнице, на первую ступеньку и — ждал. Иногда я подымался, отворял дверь, подзывал к себе Мавру и расспрашивал ее; Мавра плакала.

Так прошло часа полтора. Не могу изобразить, что я вынес в это время. Сердце замирало во мне и мучилось от беспредельной боли. Вдруг дверь отворилась, и Наташа выбежала на лестницу, в шляпке и

бурнусе. Она была как в беспамятстве и сама потом говорила мне, что едва помнит это и не знает, куда и с каким намерением она хотела бежать.

Я не успел еще вскочить с своего места и куда-нибудь от нее спрятаться, как вдруг она меня увидала и, как пораженная, остановилась передо мной без движения. «Мне вдруг припомнилось, — говорила она мне потом, — что я, безумная, жестокая, могла выгнать тебя, тебя, моего друга, моего брата, моего спасителя! И как увидела, что ты, бедный, обиженный мною, сидишь у меня на лестнице, не уходишь и ждешь, пока я тебя опять позову, — боже! — если б ты знал, Ваня, что тогда со мной сталось! Как будто в сердце мне что-то вонзили…»

— Ваня! Ваня! — закричала она, протягивая мне руки, — ты здесь!.. — и упала в мои объятия.

Я подхватил ее и понес в комнату. Она была в обмороке! «Что делать? — думал я. — С ней будет горячка, это наверно!»

Я решился бежать к доктору; надо было захватить болезнь. Съездить же можно было скоро; до двух часов мой старик немец обыкновенно сидел дома. Я побежал к нему, умоляя Мавру ни на минуту, ни на секунду не уходить от Наташи и не пускать ее никуда. Бог мне помог: еще бы немного, и я бы не застал моего старика дома. Он встретился уже мне на улице, когда выходил из квартиры. Мигом я посадил его на моего извозчика, так что он еще не успел удивиться, и мы пустились обратно к Наташе.

Да, бог мне помог! В полчаса моего отсутствия случилось у Наташи такое происшествие, которое бы могло совсем убить ее, если б мы с доктором не подоспели вовремя. Не прошло и четверти часа после моего отъезда, как вошел князь. Он только что проводил своих и явился к Наташе прямо с железной дороги. Этот визит, вероятно, уже давно был решен и обдуман им. Наташа сама рассказывала мне потом, что в первое мгновение она даже и не удивилась князю. «Мой ум помешался», — говорила она.

Он сел против нее, глядя на нее ласковым, соболезнующим взглядом.

— Милая моя, — сказал он, вздохнув, — я понимаю ваше горе; я знал, как будет тяжела вам эта минута, и положил себе за долг посетить вас. Утешьтесь, если можете, хоть тем, что, отказавшись от Алеши, вы составили его счастье. Но вы лучше меня это понимаете, потому что

решились на великодушный подвиг…

«Я сидела и слушала, — рассказывала мне Наташа, — но я сначала, право, как будто не понимала его. Помню только, что пристально, пристально глядела на него. Он взял мою руку и начал пожимать ее в своей. Это ему, кажется, было очень приятно. Я же до того была не в себе, что и не подумала вырвать у него руку».

— Вы поняли, — продолжал он, — что, став женою Алеши, могли возбудить в нем впоследствии к себе ненависть, и у вас достало благородной гордости, чтоб сознать это и решиться… но — ведь не хвалить же я вас приехал. Я хотел только заявить перед вами, что никогда и нигде не найдете вы лучшего друга, как я. Я вам сочувствую и жалею вас. Во всем этом деле я принимал невольное участие, но — я исполнял свой долг. Ваше прекрасное сердце поймет это и примирится с моим… А мне было тяжелее вашего, поверьте!

— Довольно, князь, — сказала Наташа. — Оставьте меня в покое.

— Непременно, я уйду скоро, — отвечал он, — но я люблю вас, как дочь свою, и вы позволите мне посещать себя. Смотрите на меня теперь как на вашего отца и позвольте мне быть вам полезным.

— Мне ничего не надо, оставьте меня, — прервала опять Наташа.

— Знаю, вы горды… Но я говорю искренно, от сердца. Что намерены вы теперь делать? Помириться с родителями? Доброе бы оно дело, но ваш отец несправедлив, горд и деспот; простите меня, но это так. В вашем доме вы встретите теперь одни попреки и новые мучения… Но, однако же, надо, чтоб вы были независимы, а моя обязанность, мой священный долг — заботиться теперь о вас и помогать вам. Алеша умолял меня не оставлять вас и быть вашим другом. Но и кроме меня есть люди, вам глубоко преданные. Вы мне, вероятно, позволите представить вам графа N. Он с превосходным сердцем, родственник наш и даже, можно сказать, благодетель всего нашего семейства; он многое делал для Алеши. Алеша очень уважал и любил его. Он очень сильный человек, с большим влиянием, уже старичок, и принимать его вам, девице, можно. Я уж говорил ему про вас. Он может пристроить вас и, если захотите, доставит вам превосходное место… у одной из своих родственниц. Я давно уже, прямо и откровенно, объяснил ему всё *наше* дело, и он до того увлекся своим добрым и благороднейшим чувством, что даже сам упрашивает меня теперь как можно скорее представиться вам… Это человек, сочувствующий всему

прекрасному, поверьте мне, — щедрый, почтенный старичок, способный ценить достоинство и еще даже недавно благороднейшим образом обошелся с вашим отцом в одной истории.

Наташа приподнялась, как уязвленная. Теперь она уж понимала его.

— Оставьте меня, оставьте сейчас же! — закричала она.

— Но, мой друг, вы забываете: граф может быть полезен и вашему отцу…

— Мой отец ничего не возьмет от вас. Оставите ли вы меня! — закричала еще раз Наташа.

— О боже, как вы нетерпеливы и недоверчивы! Чем заслужил я это, — произнес князь, с некоторым беспокойством осматриваясь кругом, — во всяком случае вы позволите мне, — продолжал он, вынимая большую пачку из кармана, — вы позволите мне оставить у вас это доказательство моего к вам участия и в особенности участия графа N, побудившего меня своим советом. Здесь, в этом пакете, десять тысяч рублей. Подождите, мой друг, — подхватил он, видя, что Наташа с гневом поднялась с своего места, — выслушайте терпеливо всё: вы знаете, отец ваш проиграл мне тяжбу, и эти десять тысяч послужат вознаграждением, которое…

— Прочь, — закричала Наташа, — прочь с этими деньгами! Я вас вижу насквозь… о низкий, низкий, низкий человек!

Князь поднялся со стула, бледный от злости.

Вероятно, он приехал с тем, чтоб оглядеть местность, разузнать положение и, вероятно, крепко рассчитывал на действие этих десяти тысяч рублей перед нищею и оставленною всеми Наташей… Низкий и грубый, он не раз подслуживался графу N, сластолюбивому старику, в такого рода делах. Но он ненавидел Наташу и, догадавшись, что дело не пошло на лад, тотчас же переменил тон и с злою радостию поспешил оскорбить ее, чтоб *не уходить по крайней мере даром.*

— Вот уж это и нехорошо, моя милая, что вы так горячитесь, — произнес он несколько дрожащим голосом от нетерпеливого наслаждения видеть поскорее эффект своей обиды, — вот уж это и нехорошо. Вам предлагают покровительство, а вы поднимаете носик… А того и не знаете, что должны быть мне благодарны; уже давно мог бы я посадить вас в смирительный дом,* как отец развращаемого вами молодого человека, которого вы обирали, да ведь не сделал же этого…

хе-хе-хе-хе!

Но мы уже входили. Услышав еще из кухни голоса, я остановил на одну секунду доктора и вслушался в последнюю фразу князя. Затем раздался отвратительный хохот его и отчаянное восклицание Наташи: «О боже мой!» В эту минуту я отворил дверь и бросился на князя.

Я плюнул ему в лицо и изо всей силы ударил его по щеке. Он хотел было броситься на меня, но, увидав, что нас двое, пустился бежать, схватив сначала со стола свою пачку с деньгами. Да, он сделал это; я сам видел. Я бросил ему вдогонку скалкой, которую схватил в кухне, на столе… Вбежав опять в комнату, я увидел, что доктор удерживал Наташу, которая билась и рвалась у него из рук, как в припадке. Долго мы не могли успокоить ее; наконец нам удалось уложить ее в постель; она была как в горячечном бреду.

— Доктор! Что с ней? — спросил я, замирая от страха.

— Подождите, — отвечал он, — надо еще приглядеться к болезни и потом уже сообразить… но, вообще говоря, дело очень нехорошо. Может кончиться даже горячкой… Впрочем, мы примем меры…

Но меня уже осенила другая мысль. Я умолил доктора остаться с Наташей еще на два или на три часа и взял с него слово не уходить от нее ни на одну минуту. Он дал мне слово, и я побежал домой.

Нелли сидела в углу, угрюмая и встревоженная, и странно поглядывала на меня. Должно быть, я и сам был странен.

Я схватил ее на руки, сел на диван, посадил к себе на колени и горячо поцеловал ее. Она вспыхнула.

— Нелли, ангел! — сказал я, — хочешь ли ты быть нашим спасением? Хочешь ли спасти всех нас? Она с недоумением посмотрела на меня.

— Нелли! Вся надежда теперь на тебя! Есть один отец: ты его видела и знаешь; он проклял свою дочь и вчера приходил просить тебя к себе вместо дочери. Теперь ее, Наташу (а ты говорила, что любишь ее!), оставил тот, которого она любила и для которого ушла от отца. Он сын того князя, который приезжал, помнишь, вечером ко мне и застал еще тебя одну, а ты убежала от него и потом была больна… Ты ведь знаешь его? Он злой человек!

— Знаю, — отвечала Нелли, вздрогнула и побледнела.

— Да, он злой человек. Он ненавидел Наташу за то, что его сын, Алеша, хотел на ней жениться. Сегодня уехал Алеша, а через час его

отец уже был у ней и оскорбил ее, и грозил ее посадить в смирительный дом, и смеялся над ней. Понимаешь меня, Нелли?

Черные глаза ее сверкнули, но она тотчас же их опустила,

— Понимаю, — прошептала она чуть слышно.

— Теперь Наташа одна, больная; я оставил ее с нашим доктором, а сам прибежал к тебе. Слушай, Нелли: пойдем к отцу Наташи; ты его не любишь, ты к нему не хотела идти, но теперь пойдем к нему вместе. Мы войдем, и я скажу, что ты теперь хочешь быть у них вместо дочери, вместо Наташи. Старик теперь болен, потому что проклял Наташу и потому что отец Алеши еще на днях смертельно оскорбил его. Он не хочет и слышать теперь про дочь, но он ее любит, любит, Нелли, и хочет с ней примириться; я знаю это, я всё знаю! Это так!.. Слышишь ли, Нелли?

— Слышу, — произнесла она тем же шепотом. Я говорил ей, обливаясь слезами. Она робко взглядывала на меня.

— Веришь ли этому?

— Верю.

— Ну так я войду с тобой, посажу тебя, и тебя примут, обласкают и начнут расспрашивать. Тогда я сам так подведу разговор, что тебя начнут расспрашивать о том, как ты жила прежде: о твоей матери и о твоем дедушке. Расскажи им, Нелли, всё так, как ты мне рассказывала. Всё, всё расскажи, просто и ничего не утаивая. Расскажи им, как твою мать оставил злой человек, как она умирала в подвале у Бубновой, как вы с матерью вместе ходили по улицам и просили милостыню; что говорила она тебе и о чем просила тебя, умирая… Расскажи тут же и про дедушку. Расскажи, как он не хотел прощать твою мать, и как она посылала тебя к нему в свой предсмертный час, чтоб он пришел к ней простить ее, и как он не хотел… и как она умерла. Всё, всё расскажи! И как расскажешь всё это, то старик почувствует всё это и в своем сердце. Он ведь знает, что сегодня бросил ее Алеша и она осталась, униженная и поруганная, одна, без помощи и без защиты, на поругание своему врагу. Он всё это знает… Нелли! спаси Наташу! Хочешь ли ехать?

— Да, — отвечала она, тяжело переводя дух и каким-то странным взглядом, пристально и долго, посмотрев на меня; что-то похожее на укор было в этом взгляде, и я почувствовал это в моем сердце.

Но я не мог оставить мою мысль. Я слишком верил в нее. Я схватил за руку Нелли, и мы вышли. Был уже третий час пополудни. Находила

туча. Всё последнее время погода стояла жаркая и удушливая, но теперь послышался где-то далеко первый, ранний весенний гром. Ветер пронесся по пыльным улицам.

Мы сели на извозчика. Всю дорогу Нелли молчала, изредка только взглядывала на меня всё тем же странным и загадочным взглядом. Грудь ее волновалась, и, придерживая ее на дрожках, я слышал, как в моей ладони колотилось ее маленькое сердечко, как будто хотело выскочить вон.

Глава VII

Дорога мне казалась бесконечною. Наконец мы приехали, и я вошел к моим старикам с замиранием сердца. Я не знал, как выйду из их дома, но знал, что мне во что бы то ни стало надо выйти с прощением и примирением.

Был уже четвертый час. Старики сидели одни, по обыкновению. Николай Сергеич был очень расстроен и болен и полулежал, протянувшись в своем покойном кресле, бледный и изнеможенный, с головой, обвязанной платком. Анна Андреевна сидела возле него, изредка примачивала ему виски уксусом и беспрестанно, с пытливым и страдальческим видом, заглядывала ему в лицо, что, кажется, очень беспокоило старика и даже досаждало ему. Он упорно молчал, она не смела говорить. Наш внезапный приезд поразил их обоих. Анна Андреевна чего-то вдруг испугалась, увидя меня с Нелли, и в первые минуты смотрела на нас так, как будто в чем-нибудь вдруг почувствовала себя виноватою.

— Вот я привез к вам мою Нелли, — сказал я, входя. — Она надумалась и теперь сама захотела к вам. Примите и полюбите…

Старик подозрительно взглянул на меня, и уже по одному взгляду можно было угадать, что ему всё известно, то есть что Наташа теперь уже одна, оставлена, брошена и, может быть, уже оскорблена. Ему очень хотелось проникнуть в тайну нашего прибытия, и он вопросительно смотрел на меня и на Нелли. Нелли дрожала, крепко сжимая своей рукой мою, смотрела в землю и изредка только бросала кругом себя пугливый взгляд, как пойманный зверок. Но скоро Анна Андреевна опомнилась и догадалась: она так и кинулась к Нелли,

поцеловала ее, приласкала, даже заплакала и с нежностью усадила ее возле себя, не выпуская из своей руки ее руку. Нелли с любопытством и с каким-то удивлением оглядела ее искоса.

Но, обласкав и усадив Нелли подле себя, старушка уже и не знала больше, что делать, и с наивным ожиданием стала смотреть на меня. Старик поморщился, чуть ли не догадавшись, для чего я привел Нелли. Увидев, что я замечаю его недовольную мину и нахмуренный лоб, он поднес к голове свою руку и сказал мне отрывисто:

— Голова болит, Ваня.

Мы всё еще сидели и молчали; я обдумывал, что начать. В комнате было сумрачно; надвигалась черная туча, и вновь послышался отдаленный раскат грома.

— Гром-то как рано в эту весну, — сказал старик. — А вот в тридцать седьмом году, помню, в наших местах был еще раньше.

Анна Андреевна вздохнула.

— Не поставить ли самоварчик? — робко спросила она; но никто ей не ответил, и она опять обратилась к Нелли.

— Как тебя, моя голубушка, звать? — спросила она ее. Нелли слабым голосом назвала себя и еще больше потупилась. Старик пристально поглядел на нее.

— Это Елена, что ли? — продолжала, оживляясь, старушка.

— Да, — отвечала Нелли, и опять последовало минутное молчание.

— У сестрицы Прасковьи Андреевны была племянница Елена, — проговорил Николай Сергеич, — тоже Нелли звали. Я помню.

— Что ж у тебя, голубушка, ни родных, ни отца, ни матери нету? — спросила опять Анна Андреевна.

— Нет, — отрывисто и пугливо прошептала Нелли.

— Слышала я это, слышала. А давно ли матушка твоя померла?

— Недавно.

— Голубчик ты мой, сироточка, — продолжала старушка, жалостливо на нее поглядывая. Николай Сергеич в нетерпении барабанил по столу пальцами.

— Матушка-то твоя из иностранок, что ли, была? Так, что ли, вы рассказывали, Иван Петрович? — продолжались робкие расспросы старушки.

Нелли бегло взглянула на меня своими черными глазами, как будто призывая меня на помощь. Она как-то неровно и тяжело дышала.

— У ней, Анна Андреевна, — начал я, — мать была дочь англичанина и русской, так что скорее была русская; Нелли же родилась за границей.

— Как же ее матушка-то с супругом своим за границу поехала?

Нелли вдруг вся вспыхнула. Старушка мигом догадалась, что обмолвилась, и вздрогнула под гневным взглядом старика. Он строго посмотрел на нее и отворотился было к окну.

— Ее мать была дурным и подлым человеком обманута, — произнес он, вдруг обращаясь к Анне Андреевне. — Она уехала с ним от отца и передала отцовские деньги любовнику; а тот выманил их у нее обманом, завез за границу, обокрал и бросил. Один добрый человек ее не оставил и помогал ей до самой своей смерти. А когда он умер, она, два года тому назад, воротилась назад к отцу. Так, что ли, ты рассказывал, Ваня? — спросил он отрывисто.

Нелли в величайшем волнении встала с места и хотела было идти к дверям.

— Поди сюда, Нелли, — сказал старик, протягивая наконец ей руку. — Сядь здесь, сядь возле меня, вот тут, — сядь! — Он нагнулся, поцеловал ее в лоб и тихо начал гладить ее по головке. Нелли так вся и затрепетала… но сдержала себя. Анна Андреевна в умилении, с радостною надеждою смотрела, как ее Николай Сергеич приголубил наконец сиротку.

— Я знаю, Нелли, что твою мать погубил злой человек, злой и безнравственный, но знаю тоже, что она отца своего любила и почитала, — с волнением произнес старик, продолжая гладить Нелли по головке и не стерпев, чтоб не бросить нам в эту минуту этот вызов. Легкая краска покрыла его бледные щеки; он старался не взглядывать на нас.

— Мамаша любила дедушку больше, чем ее дедушка любил, — робко, но твердо проговорила Нелли, тоже стараясь ни на кого не взглянуть.

— А ты почему знаешь? — резко спросил старик, не выдержав, как ребенок, и как будто сам стыдясь своего нетерпения.

— Знаю, — отрывисто отвечала Нелли. — Он не принял матушку и… прогнал ее…

Я видел, что Николаю Сергеичу хотелось было что-то сказать, возразить, сказать, например, что старик за дело не принял дочь, но он

поглядел на нас и смолчал.

— Как же, где же вы жили-то, когда дедушка вас не принял? — спросила Анна Андреевна, в которой вдруг родилось упорство и желание продолжать именно на эту тему.

— Когда мы приехали, то долго отыскивали дедушку, — отвечала Нелли, — но никак не могли отыскать. Мамаша мне и сказала тогда, что дедушка был прежде очень богатый и фабрику хотел строить, а что теперь он очень бедный, потому что тот, с кем мамаша уехала, взял у ней все дедушкины деньги и не отдал ей. Она мне это сама сказала.

— Гм… — отозвался старик.

— И она говорила мне еще, — продолжала Нелли, всё более и более оживляясь и как будто желая возразить Николаю Сергеичу, но обращаясь к Анне Андреевне, — она мне говорила, что дедушка на нее очень сердит, и что она сама во всем перед ним виновата, и что нет у ней теперь на всей земле никого, кроме дедушки. И когда говорила мне, то плакала… «Он меня не простит, — говорила она, еще когда мы сюда ехали, — но, может быть, тебя увидит и тебя полюбит, а за тебя и меня простит». Мамаша очень любила меня, и когда это говорила, то всегда меня целовала, а к дедушке идти очень боялась. Меня же учила молиться за дедушку, и сама молилась и много мне еще рассказывала, как она прежде жила с дедушкой и как дедушка ее очень любил, больше всех. Она ему на фортепьяно играла и книги читала по вечерам, а дедушка ее целовал и много ей дарил… всё дарил, так что один раз они и поссорились, в мамашины именины; потому что дедушка думал, что мамаша еще не знает, какой будет подарок, а мамаша уже давно узнала какой. Мамаше хотелось серьги, а дедушка всё нарочно обманывал ее и говорил, что подарит не серьги, а брошку; и когда он принес серьги и как увидел, что мамаша уж знает, что будут серьги, а не брошка, то рассердился за то, что мамаша узнала, и половину дня не говорил с ней, а потом сам пришел ее целовать и прощенья просить…

Нелли рассказывала с увлечением, и даже краска заиграла на ее бледных больных щечках.

Видно было, что ее *мамаша* не раз говорила с своей маленькой Нелли о своих прежних счастливых днях, сидя в своем угле, в подвале, обнимая и целуя свою девочку (всё, что у ней осталось отрадного в жизни) и плача над ней, а в то же время и не подозревая, с какою силою отзовутся эти рассказы ее в болезненно впечатлительном и рано

развившемся сердце больного ребенка.

Но увлекшаяся Нелли как будто вдруг опомнилась, недоверчиво осмотрелась кругом и притихла. Старик наморщил лоб и снова забарабанил по столу; у Анны Андреевны показалась на глазах слезинка, и она молча отерла ее платком.

— Мамаша приехала сюда очень больная, — прибавила Нелли тихим голосом, — у ней грудь очень болела. Мы долго искали дедушку и не могли найти, а сами нанимали в подвале, в углу.

— В углу, больная-то! — вскричала Анна Андреевна.

— Да… в углу… — отвечала Нелли. Мамаша была бедная. Мамаша мне говорила, — прибавила она, оживляясь, — что не грех быть бедной, а что грех быть богатым и обижать… и что ее бог наказывает.

— Что же вы на Васильевском нанимали? Это там у Бубновой, что ли? — спросил старик, обращаясь ко мне и стараясь выказать некоторую небрежность в своем вопросе. Спросил же, как будто ему неловко было сидеть молча.

— Нет, не там… а сперва в Мещанской, — отвечала Нелли. — Там было очень темно и сыро, — продолжала она, помолчав, — и матушка очень заболела, но еще тогда ходила. Я ей белье мыла, а она плакала. Там тоже жила одна старушка, капитанша, и жил отставной чиновник, и всё приходил пьяный, и всякую ночь кричал и шумел. Я очень боялась его. Матушка брала меня к себе на постель и обнимала меня, а сама вся, бывало, дрожит, а чиновник кричит и бранится. Он хотел один раз прибить капитаншу, а та была старая старушка и ходила с палочкой. Мамаше стало жаль ее, и она за нее заступилась; чиновник и ударил мамашу, а я чиновника…

Нелли остановилась. Воспоминание взволновало ее; глазки ее засверкали.

— Господи боже мой! — вскричала Анна Андреевна, до последней степени заинтересованная рассказом и не спускавшая глаз с Нелли, которая преимущественно обращалась к ней.

— Тогда мамаша вышла, — продолжала Нелли, — и меня увела с собой. Это было днем. Мы всё ходили по улицам, до самого вечера, и мамаша всё плакала и всё ходила, а меня вела за руку. Я очень устала; мы и не ели этот день. А мамаша всё сама с собой говорила и мне всё говорила: «Будь бедная, Нелли, и когда я умру, не слушай никого и

ничего. Ни к кому не ходи; будь одна, бедная, и работай, а нет работы, так милостыню проси, а *к ним* не ходи». Только в сумерки мы переходили через одну большую улицу; вдруг мамаша закричала: «Азорка! Азорка!» — и вдруг большая собака, без шерсти, подбежала к мамаше, завизжала и бросилась к ней, а мамаша испугалась, стала бледная, закричала и бросилась на колени перед высоким стариком, который шел с палкой и смотрел в землю. А этот высокий старик и был дедушка, и такой сухощавый, в дурном платье. Тут-то я в первый раз и увидала дедушку. Дедушка тоже очень испугался и весь побледнел, и как увидал, что мамаша лежит подле него и обхватила его ноги, — он вырвался, толкнул мамашу, ударил по камню палкой и пошел скоро от нас. Азорка еще остался и всё выл и лизал мамашу, потом побежал к дедушке, схватил его за полу и потащил назад, а дедушка его ударил палкой. Азорка опять к нам было побежал, да дедушка кликнул его, он и побежал за дедушкой и всё выл. А мамаша лежала как мертвая, кругом народ собрался, полицейские пришли. Я всё кричала и подымала мамашу. Она и встала, огляделась кругом и пошла за мной. Я ее повела домой. Люди на нас долго смотрели и всё головой качали…

Нелли приостановилась перевести дух и скрепить себя. Она была очень бледна, но решительность сверкала в ее взгляде. Видно было, что она решилась наконец *всё* говорить. В ней было даже что-то вызывающее в эту минуту.

— Что ж, — заметил Николай Сергеич неровным голосом, с какою-то раздражительною резкостью, — что ж, твоя мать оскорбила своего отца, и он за дело отверг ее…

— Матушка мне то же говорила, — резко подхватила Нелли, — и, как мы шли домой, всё говорила: это твой дедушка, Нелли, а я виновата перед ним, вот он и проклял меня, за это меня теперь бог и наказывает, и весь вечер этот и все следующие дни всё это же говорила. А говорила, как будто себя не помнила…

Старик смолчал.

— А потом как же вы на другую-то квартиру перебрались? — спросила Анна Андреевна, продолжавшая тихо плакать.

— Мамаша в ту же ночь заболела, а капитанша отыскала квартиру у Бубновой, а на третий день мы и переехали, и капитанша с нами; и как переехали, мамаша совсем слегла и три недели лежала больная, а я ходила за ней. Деньги у нас совсем все вышли, и нам помогла

капитанша и Иван Александрыч.

— Гробовщик, хозяин, — сказал я в пояснение.

— А когда мамаша встала с постели и стала ходить, тогда мне про Азорку и рассказала.

Нелли приостановилась. Старик как будто обрадовался, что разговор перешел на Азорку.

— Что ж она про Азорку тебе рассказывала? — спросил он, еще более нагнувшись в своих креслах, точно чтоб еще больше скрыть свое лицо и смотреть вниз.

— Она всё мне говорила про дедушку, — отвечала Нелли, — и больная всё про него говорила, и когда в бреду была, тоже говорила. Вот она как стала выздоравливать, то и начала мне опять рассказывать, как она прежде жила… тут и про Азорку рассказала, потому что раз где-то на реке, за городом, мальчишки тащили Азорку на веревке топить, а мамаша дала им денег и купила у них Азорку. Дедушка, как увидел Азорку, стал над ним очень смеяться. Только Азорка и убежал. Мамаша стала плакать; дедушка испугался и сказал, что даст сто рублей тому, кто приведет Азорку. На третий день его и привели; дедушка сто рублей отдал и с этих пор стал любить Азорку. А мамаша так его стала любить, что даже на постель с собой брала. Она мне рассказывала, что Азорка прежде с комедиантами по улицам ходил, и служить умел, и обезьяну на себе возил, и ружьем умел делать, и много еще умел… А когда мамаша уехала от дедушки, то дедушка и оставил Азорку у себя и всё с ним ходил, так что на улице, как только мамаша увидала Азорку, тотчас же и догадалась, что тут же и дедушка…

Старик, видимо, ожидал не того об Азорке и всё больше и больше хмурился. Он уж не расспрашивал более ничего.

— Так как же, вы так больше и не видали дедушку? — спросила Анна Андреевна.

— Нет, когда мамаша стала выздоравливать, тогда я встретила опять дедушку. Я ходила в лавочку за хлебом: вдруг увидела человека с Азоркой, посмотрела и узнала дедушку. Я посторонилась и прижалась к стене. Дедушка посмотрел на меня, долго смотрел и такой был страшный, что я его очень испугалась, и прошел мимо; Азорка же меня припомнил и начал скакать подле меня и мне руки лизать. Я поскорей пошла домой, посмотрела назад, а дедушка зашел в лавочку. Тут я подумала: верно, расспрашивает, и испугалась еще больше, и когда

пришла домой, то мамаше ничего не сказала, чтоб мамаша опять не сделалась больна. Сама же в лавочку на другой день не ходила; сказала, что у меня голова болит; а когда пошла на третий день, то никого не встретила и ужасно боялась, так что бегом бежала. А еще через день вдруг я иду, только что за угол зашла, а дедушка передо мной и Азорка. Я побежала и поворотила в другую улицу и с другой стороны в лавочку зашла; только вдруг прямо на него опять и наткнулась и так испугалась, что тут же и остановилась и не могу идти. Дедушка стал передо мною и опять долго смотрел на меня, а потом погладил меня по головке, взял за руку и повел меня, а Азорка за нами и хвостом махает. Тут я и увидала, что дедушка и ходить прямо уж не может и всё на палку упирается, а руки у него совсем дрожат. Он меня привел к разносчику, который на углу сидел и продавал пряники и яблоки. Дедушка купил пряничного петушка и рыбку, и одну конфетку, и яблоко, и когда вынимал деньги из кожаного кошелька, то руки у него очень тряслись, и он уронил пятак, а я подняла ему. Он мне этот пятак подарил, и пряники отдал, и погладил меня по голове, но опять ничего не сказал, а пошел от меня домой.

Тогда я пришла к мамаше и рассказала ей всё про дедушку, и как я сначала его боялась и пряталась от него. Мамаша мне сперва не поверила, а потом так обрадовалась, что весь вечер меня расспрашивала, целовала и плакала, и когда я уж ей всё рассказала, то она мне вперед приказала: чтоб я никогда не боялась дедушку и что, стало быть, дедушка любит меня, коль нарочно приходил ко мне. И велела, чтоб я ласкалась к дедушке и говорила с ним. А на другой день всё меня высылала несколько раз поутру, хотя я и сказала ей, что дедушка приходил всегда только перед вечером. Сама же она за мной издали шла и за углом пряталась и на другой день также, но дедушка не пришел, а в эти дни шел дождь, и матушка очень простудилась, потому что всё со мной выходила за ворота, и опять слегла.

Дедушка же пришел через неделю и опять мне купил одну рыбку и яблоко и опять ничего не сказал. А когда уж он пошел от меня, я тихонько пошла за ним, потому что заранее так вздумала, чтоб узнать, где живет дедушка, и сказать мамаше. Я шла издали по другой стороне улицы, так чтоб дедушка меня не видал. А жил он очень далеко, не там, где после жил и умер, а в Гороховой, тоже в большом. доме, в четвертом этаже. Я всё это узнала и поздно воротилась домой. Мамаша очень испугалась, потому что не знала, где я была. Когда же я

рассказала, то мамаша опять очень обрадовалась и тотчас же хотела идти к дедушке, на другой же день; но на другой день стала думать и бояться и всё боялась, целых три дня; так и не ходила. А потом позвала меня и сказала: вот что, Нелли, я теперь больна и не могу идти, а я написала письмо твоему дедушке, поди к нему и отдай письмо. И смотри, Нелли, как он его прочтет, что скажет и что будет делать; а ты стань на колени, целуй его и проси его, чтоб он простил твою мамашу… И мамаша очень плакала, и всё меня целовала, и крестила в дорогу, и богу молилась, и меня с собой на колени перед образом поставила и хоть очень была больна, но вышла меня провожать к воротам, и когда я оглядывалась, она всё стояла и глядела на меня, как я иду…

Я пришла к дедушке и отворила дверь, а дверь была без крючка. Дедушка сидел за столом и кушал хлеб с картофелем, а Азорка стоял перед ним, смотрел, как он ест, и хвостом махал. У дедушки тоже и в той квартире были окна низкие, темные и тоже только один стол и стул. А жил он один. Я вошла, и он так испугался, что весь побледнел и затрясся. Я тоже испугалась и ничего не сказала, а только подошла к столу и положила письмо. Дедушка как увидал письмо, то так рассердился, что вскочил, схватил палку и замахнулся на меня, но не ударил, а только вывел меня в сени и толкнул меня. Я еще не успела и с первой лестницы сойти, как он отворил опять дверь и выбросил мне назад письмо нераспечатанное. Я пришла домой и всё рассказала. Тут матушка слегла опять…

Глава VIII

В эту минуту раздался довольно сильный удар грома, и дождь крупным ливнем застучал в стекла; в комнате стемнело. Старушка словно испугалась и перекрестилась. Мы все вдруг остановились.

— Сейчас пройдет, — сказал старик, поглядывая на окна; затем встал и прошелся взад и вперед по комнате. Нелли искоса следила за ним взглядом. Она была в чрезвычайном, болезненном волнении. Я видел это; но на меня она как-то избегала глядеть.

— Ну, что ж дальше? — спросил старик, снова усевшись в свои кресла.

Нелли пугливо огляделась кругом.

— Так ты уж больше и не видала своего дедушку?

— Нет, видела…

— Да, да! Рассказывай, голубчик мой, рассказывай, — подхватила Анна Андреевна.

— Я его три недели не видела, — начала Нелли, — до самой зимы. Тут зима стала, и снег выпал. Когда же я встретила дедушку опять, на прежнем месте, то очень обрадовалась… потому что мамаша тосковала, что он не ходит. Я, как увидела его, нарочно побежала на другую сторону улицы, чтоб он видел, что я бегу от него. Только я оглянулась и вижу, что дедушка сначала скоро пошел за мной, а потом и побежал, чтоб меня догнать, и стал кричать мне: «Нелли, Нелли!» И Азорка бежал за ним. Мне жалко стало, я и остановилась. Дедушка подошел, и взял меня за руку, и повел, а когда увидел, что я плачу, остановился, посмотрел на меня, нагнулся и поцеловал. Тут он увидал, что у меня башмаки худые, и спросил: разве у меня нет других. Я тотчас же сказала ему поскорей, что у мамаши совсем нет денег и что нам хозяева из одной жалости есть дают. Дедушка ничего не сказал, но повел меня на рынок и купил мне башмаки и велел тут же их надеть, а потом повел меня к себе, в Гороховую, а прежде зашел в лавочку и купил пирог и две конфетки, и когда мы пришли, сказал, чтоб я ела пирог, и смотрел на меня, когда я ела, а потом дал мне конфетки. А Азорка положил лапы на стол и тоже просил пирога, я ему и дала, и дедушка засмеялся. Потом взял меня, поставил подле себя, начал по голове гладить и спрашивать: училась ли я чему-нибудь и что я знаю? Я ему сказала, а он велел мне, как только мне можно будет, каждый день, в три часа, ходить к нему, и что он сам будет учить меня. Потом сказал мне, чтоб я отвернулась и смотрела в окно, покамест он скажет, чтоб я опять повернулась к нему. Я так и стояла, но тихонько обернулась назад и увидела, что он распорол свою подушку, с нижнего уголка, и вынул четыре целковых. Когда вынул, принес их мне и сказал: «Это тебе одной». Я было взяла, но потом подумала и сказала: «Коли мне одной, так не возьму». Дедушка вдруг рассердился и сказал мне: «Ну, бери как знаешь, ступай». Я вышла, а он и не поцеловал меня.

Как я пришла домой, всё мамаше и рассказала. А мамаше всё становилось хуже и хуже. К гробовщику ходил один студент; он лечил мамашу и велел ей лекарства принимать.

А я ходила к дедушке часто; мамаша так приказывала. Дедушка

купил Новый завет и географию и стал меня учить; а иногда рассказывал/какие на свете есть земли, и какие люди живут, и какие моря, и что было прежде, и как Христос нас всех простил. Когда я его сама спрашивала, то он был очень рад; потому я и стала часто его спрашивать, и он всё рассказывал и про бога много говорил. А иногда мы не учились и с Азоркой играли: Азорка меня очень стал любить, и я его выучила через палку скакать, и дедушка смеялся и всё меня по головке гладил. Только дедушка редко смеялся. Один раз много говорит, а то вдруг замолчит и сидит, как будто заснул, а глаза открыты. Так и досидит до сумерек, а в сумерки он такой становится страшный, старый такой… А то, бывало, приду к нему, а он сидит на своем стуле, думает и ничего не слышит, и Азорка подле него лежит. Я жду, жду и кашляю; дедушка всё не оглядывается. Я так и уйду. А дома мамаша так уж и ждет меня: она лежит, а я ей рассказываю всё, всё, так и ночь придет, а я всё говорю, и она всё слушает про дедушку: что он делал сегодня и что мне рассказывал, какие истории, и что на урок мне задал. А как начну про Азорку, что я его через палку заставляла скакать и что дедушка смеялся, то и она вдруг начнет смеяться и долго, бывало, смеется и радуется и опять заставляет повторить, а потом молиться начнет. А я всё думала: что ж мамаша так любит дедушку, а он ее не любит, и когда пришла к дедушке, то нарочно стала ему рассказывать, как мамаша его любит. Он всё слушал, такой сердитый, а всё слушал и ни слова не говорил; тогда я и спросила, отчего мамаша его так любит, что всё об нем спрашивает, а он никогда про мамашу не спрашивает. Дедушка рассердился и выгнал меня за дверь; я немножко постояла за дверью, а он вдруг опять отворил и позвал меня назад, и всё сердился и молчал. А когда потом мы начали Закон божий читать, я опять спросила: отчего же Иисус Христос сказал: любите друг друга и прощайте обиды, а он не хочет простить мамашу? Тогда он вскочил и закричал, что это мамаша меня научила, вытолкнул меня в другой раз вон и сказал, чтоб я никогда не смела теперь к нему приходить. А я сказала, что я и сама теперь к нему не приду, и ушла от него… А дедушка на другой день из квартиры переехал…

— Я сказал, что дождь скоро пройдет, вот и прошел, вот и солнышко… смотри, Ваня, — сказал Николай Сергеевич, оборотясь к окну.

Анна Андреевна поглядела на него в чрезвычайном недоумении, и

вдруг негодование засверкало в глазах доселе смирной и напуганной старушки. Молча взяла она Нелли за руку и посадила к себе на колени.

— Рассказывай мне, ангел мой, — сказала она, — я буду тебя слушать. Пусть те, у кого жестокие сердца…

Она не договорила и заплакала. Нелли вопросительно взглянула на меня как бы в недоумении и в испуге. Старик посмотрел на меня, пожал плечами было, но тотчас же отвернулся.

— Продолжай, Нелли, — сказал я.

— Я три дня не ходила к дедушке, — начала опять Нелли, — а в это время мамаше стало худо. Деньги у нас все вышли, а лекарства не на что было купить, да и не ели мы ничего, потому что у хозяев тоже ничего не было, и они стали нас попрекать, что мы на их счет живем. Тогда я на третий день утром встала и начала одеваться. Мамаша спросила: куда я иду? Я и сказала: к дедушке, просить денег, и она обрадовалась, потому что я уже рассказала мамаше всё, как он прогнал меня от себя, и сказала ей, что не хочу больше ходить к дедушке, хоть она и плакала и уговаривала меня идти. Я пришла и узнала, что дедушка переехал, и пошла искать его в новый дом. Как только я пришла к нему в новую квартиру, он вскочил, бросился на меня и затопал ногами, и я ему тотчас сказала, что мамаша очень больна, что на лекарство надо денег, пятьдесят копеек, а нам есть нечего. Дедушка закричал и вытолкал меня на лестницу и запер за мной дверь на крючок. Но когда он толкал меня, я ему сказала, что я на лестнице буду сидеть и до тех пор не уйду, покамест он денег не даст. Я и сидела на лестнице. Немного спустя он отворил дверь и увидел, что я сижу, и опять затворил. Потом долго прошло, он опять отворил, опять увидал меня и опять затворил. И потом много раз отворял и смотрел. Наконец вышел с Азоркой, запер дверь и прошел мимо меня со двора и ни слова мне не сказал. И я ни слова не сказала, и так и осталась сидеть, и сидела до сумерек.

— Голубушка моя, — вскричала Анна Андреевна, — да ведь холодно, знать, на лестнице-то было!

— Я была в шубке, — отвечала Нелли.

— Да что ж в шубке… голубчик ты мой, сколько ты натерпелась! Что ж он, дедушка-то твой?

Губки у Нелли начало было потрогивать, но она сделала чрезвычайное усилие и скрепила себя.

— Он пришел, когда уже стало совсем темно, и, входя, наткнулся на меня и закричал: кто тут? Я сказала, что это я. А он, верно, думал, что я давно ушла, и как увидал, что я всё еще тут, то очень удивился и долго стоял передо мной. Вдруг ударил по ступенькам палкой, побежал, отпер свою дверь и через минуту вынес мне медных денег, всё пятаки, и бросил их в меня на лестницу. «Вот тебе, закричал, возьми, это у меня всё, что было, и скажи твоей матери, что я ее проклинаю», — а сам захлопнул дверь. А пятаки покатились по лестнице. Я начала подбирать их в темноте, и дедушка, видно, догадался, что он разбросал пятаки и что в темноте мне их трудно собрать, отворил дверь и вынес свечу, и при свечке я скоро их собрала. И дедушка сам сбирал вместе со мной, и сказал мне, что тут всего должно быть семь гривен, и сам ушел. Когда я пришла домой, я отдала деньги и всё рассказала мамаше, и мамаше сделалось хуже, а сама я всю ночь была больна и на другой день тоже вся в жару была, но я только об одном думала, потому что сердилась на дедушку, и когда мамаша заснула, пошла на улицу, к дедушкиной квартире, и, не доходя, стала на мосту. Тут и прошел *тот* …

— Это Архипов, — сказал я, — тот, об котором я говорил, Николай Сергеич, вот что с купцом у Бубновой был и которого там отколотили. Это в первый раз Нелли его тогда увидала… Продолжай, Нелли.

— Я остановила его и попросила денег, рубль серебром. Он посмотрел на меня и спросил: «Рубль серебром?» Я сказала: «Да». Тогда он засмеялся и сказал мне: «Пойдем со мной». Я не знала, идти ли, вдруг подошел один старичок, в золотых очках, — а он слышал, как я спрашивала рубль серебром, — нагнулся ко мне и спросил, для чего я непременно столько хочу. Я сказала ему, что мамаша больна и что нужно столько на лекарство. Он спросил, где мы живем, и записал, и дал мне бумажку, рубль серебром. А *тот,* как увидал старика в очках, ушел и не звал меня больше с собой. Я пошла в лавочку и разменяла рубль на медные; тридцать копеек завернула в бумажку и отложила мамаше, а семь гривен не завернула в бумажку, а нарочно зажала в руках и пошла к дедушке. Как пришла к нему, то отворила дверь, стала на пороге, размахнулась и бросила ему с размаху все деньги, так они и покатились по полу.

— Вот, возьмите ваши деньги! — сказала я ему. — Не надо их от вас мамаше, потому что вы ее проклинаете, — хлопнула дверью и тотчас же убежала прочь.

Ее глаза засверкали, и она с наивно вызывающим видом взглянула на старика.

— Так и надо, — сказала Анна Андреевна, не смотря на Николая Сергеича и крепко прижимая к себе Нелли, — так и надо с ним; твой дедушка был злой и жестокосердый…

— Гм! — отозвался Николай Сергеич.

— Ну, так как же, как же? — с нетерпением спрашивала Анна Андреевна.

— Я перестала ходить больше к дедушке, и он перестал ходить ко мне, — отвечала Нелли.

— Что ж, как же вы остались с мамашей-то? Ох, бедные вы, бедные!

— А мамаше стало еще хуже, и она уже редко вставала с постели, — продолжала Нелли, и голос ее задрожал и прервался. — Денег у нас уж ничего больше не было, я и стала ходить с капитаншей. А капитанша по домам ходила, тоже и на улице людей хороших останавливала и просила, тем и жила. Она говорила мне, что она не нищая, а что у ней бумаги есть, где ее чин написан и написано тоже, что она бедная. Эти бумаги она и показывала, и ей за это деньги давали. Она и говорила мне, что у всех просить не стыдно. Я и ходила с ней, и нам подавали, тем мы и жили. Мамаша узнала про это, потому что жильцы стали попрекать, что она нищая, а Бубнова сама приходила к мамаше и говорила, что лучше б она меня к ней отпустила, а не просить милостыню. Она и прежде к мамаше приходила и ей денег носила; а когда мамаша не брала от нее, то Бубнова говорила: зачем вы такие гордые, и кушанье присылала. А как сказала она это теперь про меня, то мамаша заплакала, испугалась, а Бубнова начала ее бранить, потому что была пьяна, и сказала, что я и без того нищая и с капитаншей хожу, и в тот же вечер выгнала капитаншу из дому. Мамаша как узнала про всё, то стала плакать, потом вдруг встала с постели, оделась, схватила меня за руку и повела за собой. Иван Александрыч стал ее останавливать, но она не слушала, и мы вышли. Мамаша едва могла ходить и каждую минуту садилась на улице, а я ее придерживала. Мамаша всё говорила, что идет к дедушке и чтоб я вела ее, а уж давно стала ночь. Вдруг мы пришли в большую улицу; тут перед одним домом останавливались кареты и много выходило народу, а в окнах везде был свет, и слышна была музыка. Мамаша остановилась, схватила меня и сказала мне тогда:

«Нелли, будь бедная, будь всю жизнь бедная, не ходи к ним, кто бы тебя ни позвал, кто бы ни пришел. И ты бы могла там быть, богатая и в хорошем платье, да я этого не хочу. Они злые и жестокие, и вот тебе мое приказание: оставайся бедная, работай и милостыню проси, а если кто придет за тобой, скажи: не хочу к вам!..» Это мне говорила мамаша, когда больна была, и я всю жизнь хочу ее слушаться, — прибавила Нелли, дрожа от волнения, с разгоревшимся личиком, — и всю жизнь буду служить и работать, и к вам пришла тоже служить и работать, а не хочу быть как дочь…

— Полно, полно, голубка моя, полно! — вскрикнула старушка, крепко обнимая Нелли. — Ведь матушка твоя была в это время больна, когда говорила.

— Безумная была, — резко заметил старик.

— Пусть безумная! — подхватила Нелли, резко обращаясь к нему, — пусть безумная, но она мне так приказала, так я и буду всю жизнь. И когда она мне это сказала, то даже в обморок упала.

— Господи боже! — вскрикнула Анна Андреевна, — больная-то, на улице, зимой?..

— Нас хотели взять в полицию, но один господин вступился, расспросил у меня квартиру, дал мне десять рублей и велел отвезти мамашу к нам домой на своих лошадях. После этого мамаша уж и не вставала, а через три недели умерла…

— А отец-то что ж? Так и не простил? — вскрикнула Анна Андреевна.

— Не простил! — отвечала Нелли, с мучением пересиливая себя. — За неделю до смерти мамаша подозвала меня и сказала: «Нелли, сходи еще раз к дедушке, в последний раз, и попроси, чтоб он пришел ко мне и простил меня; скажи ему, что я через несколько дней умру и тебя одну на свете оставляю. И скажи ему еще, что мне тяжело умирать…» Я и пошла, постучалась к дедушке, он отворил и, как увидел меня, тотчас хотел было передо мной дверь затворитъ, но я ухватилась за дверь обеими руками и закричала ему: «Мамаша умирает, вас зовет, идите!..» Но он оттолкнул меня и захлопнул дверь. Я воротилась к мамаше, легла подле нее, обняла ее и ничего не сказала… Мамаша тоже обняла меня и ничего не расспрашивала…

Тут Николай Сергеич тяжело оперся рукой на стол и встал, но, обведя нас всех каким-то странным, мутным взглядом, как бы в

бессилии опустился в кресла. Анна Андреевна уже не глядела на него, но, рыдая, обнимала Нелли…

— Вот в последний день, перед тем как ей умереть, перед вечером, мамаша подозвала меня к себе, взяла меня за руку и сказала: «Я сегодня умру, Нелли», хотела было еще говорить, но уж не могла. Я смотрю на нее, а она уж как будто меня и не видит, только в руках мою руку крепко держит. Я тихонько вынула руку и побежала из дому, и всю дорогу бежала бегом и прибежала к дедушке. Как он увидел меня, то вскочил со стула и смотрит, и так испугался, что совсем стал такой бледный и весь задрожал. Я схватила его за руку и только одно выговорила: «Сейчас умрет». Тут он вдруг так и заметался; схватил свою палку и побежал за мной; даже и шляпу забыл, а было холодно. Я схватила шляпу и надела ее ему, и мы вместе выбежали. Я торопила его и говорила, чтоб он нанял извозчика, потому что мамаша сейчас умрет; но у дедушки было только семь копеек всех денег. Он останавливал извозчиков, торговался, но они только смеялись, и над Азоркой смеялись, а Азорка с нами бежал, и мы всё дальше и дальше бежали. Дедушка устал и дышал трудно, но всё торопился и бежал. Вдруг он упал, и шляпа с него соскочила. Я подняла его, надела ему опять шляпу и стала его рукой вести, и только перед самой ночью мы пришли домой… Но матушка уже лежала мертвая. Как увидел ее дедушка, всплеснул руками, задрожал и стал над ней, а сам ничего не говорит. Тогда я подошла к мертвой мамаше, схватила дедушку за руку и закричала ему: «Вот, жестокий и злой человек, вот, смотри!.. смотри!» — тут дедушка закричал и упал на пол как мертвый…

Нелли вскочила, высвободилась из объятий Анны Андреевны и стала посреди нас, бледная, измученная и испуганная. Но Анна Андреевна бросилась к ней и, снова обняв ее, закричала как будто в каком-то вдохновении:

— Я, я буду тебе мать теперь, Нелли, а ты мое дитя! Да, Нелли, уйдем, бросим их всех, жестоких и злых! Пусть потешаются над людьми, бог, бог зачтет им… Пойдем, Нелли, пойдем отсюда, пойдем!..

Я никогда, ни прежде, ни после, не видал ее в таком состоянии, да и не думал, чтоб она могла быть когда-нибудь так взволнована. Николай Сергеич выпрямился в креслах, приподнялся и прерывающимся голосом спросил:

— Куда ты, Анна Андреевна?

— К ней, к дочери, к Наташе! — закричала она и потащила Нелли за собой к дверям.

— Постой, постой, подожди!..

— Нечего ждать, жестокосердый и злой человек! Я долго ждала, и она долго ждала, а теперь прощай!..

Ответив это, старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбенела: Николай Сергеич стоял перед ней, захватив свою шляпу, и дрожавшими бессильными руками торопливо натягивал на себя свое пальто.

— И ты… и ты со мной! — вскрикнула она, с мольбою сложив руки и недоверчиво смотря на него, как будто не смея и поверить такому счастью.

— Наташа, где моя Наташа! Где она! Где дочь моя! — вырвалось наконец из груди старика. — Отдайте мне мою Наташу! Где, где она! — и, схватив костыль, который я ему подал, он бросился к дверям.

— Простил! Простил! — вскричала Анна Андреевна.

Но старик не дошел до порога. Дверь быстро отворилась, и в комнату вбежала Наташа, бледная, с сверкающими глазами, как будто в горячке. Платье ее было измято и смочено дождем. Платочек, которым она накрыла голову, сбился у ней на затылок, и на разбившихся густых прядях ее волос сверкали крупные капли дождя. Она вбежала, увидала отца и с криком бросилась перед ним на колена, простирая к нему руки.

Глава IX

Но он уже держал ее в своих объятиях!..

Он схватил ее и, подняв как ребенка, отнес в свои кресла, посадил ее, а сам упал перед ней на колена. Он целовал ее руки, ноги; он торопился целовать ее, торопился наглядеться на нее, как будто еще не веря, что она опять вместе с ним, что он опять ее видит и слышит, — ее, свою дочь, свою Наташу! Анна Андреевна, рыдая, охватила ее, прижала голову ее к своей груди и так и замерла в этом объятии, не в силах произнесть слова.

— Друг мой!.. жизнь моя!.. радость моя!.. — бессвязно восклицал старик, схватив руки Наташи и, как влюбленный, смотря в бледное, худенькое, но прекрасное личико ее, в глаза ее, в которых блистали

слезы. — Радость моя, дитя мое! — повторял он и опять смолкал и с благоговейным упоением глядел на нее. — Что же, что же мне сказали, что она похудела! — проговорил он с торопливою, как будто детскою улыбкою, обращаясь к нам и всё еще стоя перед ней на коленах. — Худенькая, правда, бледненькая, но посмотри на нее, какая хорошенькая! Еще лучше, чем прежде была, да, лучше! — прибавил он, невольно умолкая под душевной болью, радостною болью, от которой как будто душу ломит надвое.

— Встаньте, папаша! Да встаньте же, — говорила Наташа, — ведь мне тоже хочется вас целовать…

— О милая! Слышишь, слышишь, Аннушка, как она это хорошо сказала, — и он судорожно обнял ее.

— Нет, Наташа, мне, мне надо у твоих ног лежать до тех пор, пока сердце мое услышит, что ты простила меня, потому что никогда, никогда не могу заслужить я теперь от тебя прощения! Я отверг тебя, я проклинал тебя, слышишь, Наташа, я проклинал тебя, — и я мог это сделать!.. А ты, а ты, Наташа: и могла ты поверить, что я тебя проклял! И поверила — ведь поверила! Не надо было верить! Не верила бы, — просто бы не верила! Жестокое сердечко! Что же ты не шла ко мне? Ведь ты знала, как я приму тебя!.. О Наташа, ведь ты помнишь, как я прежде тебя любил: ну, а теперь и во всё это время я тебя вдвое, в тысячу раз больше любил, чем прежде! Я тебя с кровью любил! Душу бы из себя с кровью вынул, сердце свое располосовал да к ногам твоим положил бы!.. О радость моя!

— Да поцелуйте же меня, жестокий вы человек, в губы, в лицо поцелуйте, как мамаша целует! — воскликнула Наташа больным, расслабленным, полным слезами радости голосом.

— И в глазки тоже! И в глазки тоже! Помнишь, как прежде, — повторял старик после долгого, сладкого объятия с дочерью. — О Наташа! Снилось ли тебе когда про нас? А мне ты снилась чуть не каждую ночь, и каждую ночь ты ко мне приходила, и я над тобой плакал, а один раз ты, как маленькая, пришла, помнишь, когда еще тебе только десять лет было и ты на фортепьяно только что начинала учиться, — пришла в коротеньком платьице, в хорошеньких башмачках и с ручками красненькими… ведь у ней красненькие такие ручки были тогда, помнишь, Аннушка? — пришла ко мне, на колени села и обняла меня… И ты, и ты, девочка ты злая! И ты могла думать, что я проклял

тебя, что я не приму тебя, если б ты пришла!.. Да ведь я… слушай, Наташа: да ведь я часто к тебе ходил, и мать не знала, и никто не знал; то под окнами у тебя стою, то жду: полсутки иной раз жду где-нибудь на тротуаре у твоих ворот! Не выйдешь ли ты, чтоб издали только посмотреть на тебя! А то у тебя по вечерам свеча на окошке часто горела; так сколько раз я, Наташа, по вечерам к тебе ходил, хоть на свечку твою посмотреть, хоть тень твою в окне увидать, благословить тебя на ночь. А ты благословляла ли меня на ночь? Думала ли обо мне? Слышало ли твое сердечко, что я тут под окном? А сколько раз зимой я поздно ночью на твою лестницу подымусь и в темных сенях стою, сквозь дверь прислушиваюсь: не услышу ли твоего голоска? Не засмеешься ли ты? Проклял? Да ведь я в этот вечер к тебе приходил, простить тебя хотел и только от дверей воротился… О Наташа!

Он встал, он приподнял ее из кресел и крепко-крепко прижал ее к сердцу.

— Она здесь опять, у моего сердца! — вскричал он, — о, благодарю тебя, боже, за всё, за всё, и за гнев твой и за милость твою!.. И за солнце твое, которое просияло теперь, после грозы, на нас! За всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе, и пусть, пусть теперь торжествуют эти гордые и надменные, унизившие и оскорбившие нас! Пусть они бросят в нас камень! Не бойся, Наташа… Мы пойдем рука в руку, и я скажу им: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрешная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я, я люблю и которую благословляю во веки веков!..

— Ваня! Ваня!.. — слабым голосом проговорила Наташа, протягивая мне из объятий отца свою руку.

О! никогда я не забуду, что в эту минуту она вспомнила обо мне и позвала меня!

— Где же Нелли? — спросил старик, озираясь.

— Ах, где же она? — вскрикнула старушка, — голубчик мой! Ведь мы так ее и оставили!

Но ее не было в комнате; она незаметно проскользнула в спальню. Все пошли туда. Нелли стояла в углу, за дверью, и пугливо пряталась от нас.

— Нелли, что с тобой, дитя мое! — воскликнул старик, желая обнять ее. Но она как-то долго на него посмотрела…

— Мамаша, где мамаша? — проговорила она, как в беспамятстве, — где, где моя мамаша? — вскрикнула она еще раз, протягивая свои дрожащие руки к нам, и вдруг страшный, ужасный крик вырвался из ее груди; судороги пробежали по лицу ее, и она в страшном припадке упала на пол…

Эпилог

Последние воспоминания

Половина июня. День жаркий и удушливый; в городе невозможно оставаться: пыль, известь, перестройки, раскаленные камни, отравленный испарениями воздух… Но вот, о радость! загремел где-то гром: мало-помалу небо нахмурилось; повеял ветер, гоня перед собою клубы городской пыли. Несколько крупных капель тяжело упало на землю, а за ними вдруг как будто разверзлось всё небо, и целая река воды пролилась над городом. Когда чрез полчаса снова просияло солнце, я отворил окно моей каморки и жадно, всею усталою грудью, дохнул свежим воздухом. В упоении я было хотел уже бросить перо, и все дела мои, и самого антрепренера, и бежать к *нашим* на Васильевский. Но хоть и велик был соблазн, я-таки успел побороть себя и с какою-то яростию снова напал на бумагу: во что бы то ни стало нужно было кончить! Антрепренер велит и иначе не даст денег. Меня *там* ждут, но зато я вечером буду свободен, совершенно свободен, как ветер, и сегодняшний вечер вознаградит меня за эти последние два дня и две ночи, в которые я написал три печатных листа с половиною.

И вот наконец кончена и работа; бросаю перо и подымаюсь, ощущаю боль в спине и в груди и дурман в голове. Знаю, что в эту минуту нервы мои расстроены в сильной степени, и как будто слышу последние слова, сказанные мне моим старичком доктором: «Нет, никакое здоровье не выдержит подобных напряжений, потому что это невозможно!» Однако ж покамест это возможно! Голова моя кружится; я едва стою на ногах, но радость, беспредельная радость наполняет мое сердце. Повесть моя совершенно кончена, и антрепренер, хотя я ему и много теперь должен, все-таки даст мне хоть сколько-нибудь, увидя в своих руках добычу, — хоть пятьдесят рублей, а я давным-давно не видал у себя в руках таких денег. Свобода и деньги!.. В восторге я схватил шляпу, рукопись под мышку и бегу стремглав, чтоб застать дома нашего драгоценнейшего Александра Петровича.

Я застаю его, но уже на выходе. Он, в свою очередь, только что кончил одну не литературную, но зато очень выгодную спекуляцию и,

выпроводив наконец какого-то черномазенького жидка, с которым просидел два часа сряду в своем кабинете, приветливо подает мне руку и своим мягким, милым баском спрашивает о моем здоровье. Это добрейший человек, и я, без шуток, многим ему обязан. Чем же он виноват, что в литературе он всю жизнь был *только* антрепренером? Он смекнул, что литературе надо антрепренера, и смекнул очень вовремя, честь ему и слава за это — антрепренерская, разумеется.*

Он с приятной улыбкой узнаёт, что повесть кончена и что следующий номер книжки, таким образом, обеспечен в главном отделе, и удивляется, как это я мог хоть что-нибудь *кончить*, и при этом премило острит. Затем идет к своему железному сундуку, чтоб выдать мне обещанные пятьдесят рублей, а мне между тем протягивает другой, враждебный, толстый журнал и указывает на несколько строк в отделе критики, где говорится два слова и о последней моей повести.

Смотрю: это статья «переписчика». Меня не то чтоб ругают, но и не то чтоб хвалят, и я очень доволен. Но «переписчик» говорит, между прочим, что от сочинений моих вообще «пахнет потом», то есть я до того над ними потею, тружусь, до того их обделываю и отделываю, что становится приторно.*

Мы с антрепренером хохочем. Я докладываю ему, что прошлая повесть моя была написана в две ночи, а теперь в два дня и две ночи написано мною три с половиной печатных листа, — и если б знал это «переписчик», упрекающий меня в излишней копотливости и в тугой медленности моей работы!

— Однако ж вы сами виноваты, Иван Петрович. Зачем же вы так запаздываете, что приходится вот работать по ночам?

Александр Петрович, конечно, милейший человек, хотя у него есть особенная слабость — похвастаться своим литературным суждением именно перед теми, которые, как и сам он подозревает, понимают его насквозь. Но мне не хочется рассуждать с ним об литературе, я получаю деньги и берусь за шляпу. Александр Петрович едет на Острова на свою дачу и, услышав, что я на Васильевский, благодушно предлагает довезти меня в своей карете.

— У меня ведь новая каретка; вы не видали? Премиленькая.

Мы сходим к подъезду. Карета действительно премиленькая, и Александр Петрович на первых порах своего владения ею ощущает чрезвычайное удовольствие и даже некоторую душевную потребность

подвозить в ней своих знакомых.

В карете Александр Петрович опять несколько раз пускается в рассуждения о современной литературе. При мне он не конфузится и преспокойно повторяет разные чужие мысли, слышанные им на днях от кого-нибудь из литераторов, которым он верит и чье суждение уважает. При этом ему случается иногда уважать удивительные вещи. Случается ему тоже перевирать чужое мнение или вставлять его не туда, куда следует, так что выходит бурда. Я сижу, молча слушаю и дивлюсь разнообразию и прихотливости страстей человеческих. «Ну, вот человек, — думаю я про себя, — сколачивал бы себе деньги да сколачивал; нет, ему еще нужно славы, литературной славы, славы хорошего издателя, критика!»

В настоящую минуту он силится подробно изложить мне одну литературную мысль, слышанную им дня три тому назад от меня же, и против которой он, три дня тому назад, со мной же спорил, а теперь выдает ее за свою. Но с Александром Петровичем такая забывчивость поминутно случается, и он известен этой невинной слабостью между всеми своими знакомыми. Как он рад теперь, ораторствуя в *своей* карете, как доволен судьбой, как благодушен! Он ведет учено-литературный разговор, и даже мягкий, приличный его басок отзывается ученостью. Мало-помалу он *залиберальничался* и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще ни в какой и никогда, не может быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно «взаимное битье друг друга по мордасам» — особенно при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович наклонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искренность считать если не дураком, то по крайней мере простофилей. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича.

Но я уже его не слушаю. На Васильевском острове он выпускает меня из кареты, и я бегу к нашим. Вот и Тринадцатая линия, вот и их домик. Анна Андреевна, увидя меня, грозит мне пальцем, махает на меня руками и*шикает* на меня, чтоб я не шумел.

— Нелли только что заснула, бедняжка! — шепчет она мне поскорее, — ради бога, не разбудите! Только уж очень она, голубушка, слаба. Боимся мы за нее. Доктор говорит, что это покамест ничего. Да что от него путного-то добьешься, от *вашего* доктора! И не грех вам это,

Иван Петрович? Ждали вас, ждали к обеду-то… ведь двое суток не были!..

— Но ведь я объявил еще третьего дня, что не буду двое суток, — шепчу я Анне Андреевне. — Надо было работу кончать…

— Да ведь к обеду сегодня обещался же прийти! Что ж не приходил? Нелли нарочно с постельки встала, ангельчик мой, в кресло покойное ее усадили, да и вывезли к обеду: «Хочу, дескать, с вами вместе Ваню ждать», а наш Ваня и не бывал. Ведь шесть часов скоро! Где протаскался-то? Греховодники вы эдакие! Ведь ее вы так расстроили, что уж я не знала, как и уговорить… благо заснула, голубушка. А Николай Сергеич к тому же в город ушел (к чаю-то будет!); одна и бьюсь… Место-то ему, Иван Петрович, выходит; только как подумаю, что в Перми, так и захолонет у меня на душе…

— А где Наташа?

— В садике, голубка, в садике! Сходите к ней… Что-то она тоже у меня такая… Как-то и не соображу… Ох, Иван Петрович, тяжело мне душой! Уверяет, что весела и довольна, да не верю я ей… Сходи-ка к ней, Ваня, да мне и расскажи ужо потихоньку, что с ней… Слышишь?

Но я уже не слушаю Анну Андреевну, а бегу в садик. Этот садик принадлежит к дому; он шагов в двадцать пять длиною и столько же в ширину и весь зарос зеленью. В нем три высоких старых, раскидистых дерева, несколько молодых березок, несколько кустов сирени, жимолости, есть уголок малинника, две грядки с клубникой и две узеньких извилистых дорожки, вдоль и поперек садика. Старик от него в восторге и уверяет, что в нем скоро будут расти грибы. Главное же в том, что Нелли полюбила этот садик, и ее часто вывозят в креслах на садовую дорожку, а Нелли теперь идол всего дома. Но вот и Наташа; она с радостью встречает меня и протягивает мне руку. Как она худа, как бледна! Она тоже едва оправилась от болезни.

— Совсем ли кончил, Ваня? — спрашивает она меня.

— Совсем, совсем! И на весь вечер совершенно свободен.

— Ну, слава богу! Торопился? Портил?

— Что ж делать! Впрочем, это ничего. У меня выработывается, в такую напряженную работу, какое-то особенное раздражение нервов; я яснее соображаю, живее и глубже чувствую, и даже слог мне вполне подчиняется, так что в напряженной-то работе и лучше выходит. Всё хорошо…

— Эх, Ваня, Ваня!

Я замечаю, что Наташа в последнее время стала страшно ревнива к моим литературным успехам, к моей славе. Она перечитывает всё, что я в последний год напечатал, поминутно расспрашивает о дальнейших планах моих, интересуется каждой критикой, на меня написанной, сердится на иные и непременно хочет, чтоб я высоко поставил себя в литературе. Желания ее выражаются до того сильно и настойчиво, что я даже удивляюсь теперешнему ее направлению.

— Ты только испишешься, Ваня, — говорит она мне, — изнасилуешь себя и испишешься; а кроме того, и здоровье погубишь. Вон С ***, тот в два года по одной повести пишет, а N * в десять лет всего только один роман написал.[*] Зато как у них отчеканено, отделано! Ни одной небрежности не найдешь.

— Да, они обеспечены и пишут не на срок; а я — почтовая кляча! Ну, да это всё вздор! Оставим это, друг мой. Что, нет ли нового?

— Много. Во-первых, от *него* письмо.

— Еще?

— Еще. — И она подала мне письмо от Алеши. Это уже третье после разлуки. Первое он написал еще из Москвы и написал точно в каком-то припадке. Он уведомлял, что обстоятельства так сошлись, что ему никак нельзя воротиться из Москвы в Петербург, как было проектировано при разлуке. Во втором письме он спешил известить, что приезжает к нам на днях, чтоб поскорей обвенчаться с Наташей, что это решено и никакими силами не может быть остановлено. А между тем по тону всего письма было ясно, что он в отчаянии, что посторонние влияния уже вполне отяготели над ним и что он уже сам себе не верил. Он упоминал, между прочим, что Катя — его провидение и что она одна утешает и поддерживает его. Я с жадностью раскрыл его теперешнее, *третье* письмо.

Оно было на двух листах, написано отрывочно, беспорядочно, наскоро и неразборчиво, закапано чернилами и слезами. Начиналось тем, что Алеша отрекался от Наташи и уговаривал ее забыть его. Он силился доказать, что союз их невозможен, что посторонние, враждебные влияния сильнее всего и что, наконец, так и должно быть: и он и Наташа вместе будут несчастны, потому что они неровня. Но он не выдержал и вдруг, бросив свои рассуждения и доказательства, тут же, прямо, не разорвав и не отбросив первой половины письма,

признавался, что он преступник перед Наташей, что он погибший человек и не в силах восстать против желаний отца, приехавшего в деревню. Писал он, что не в силах выразить своих мучений; признавался, между прочим, что вполне сознает в себе возможность составить счастье Наташи, начинал вдруг доказывать, что они вполне ровня; с упорством, со злобою опровергал доводы отца; в отчаянии рисовал картину блаженства всей жизни, которое готовилось бы им обоим, ему и Наташе, в случае их брака, проклинал себя за свое малодушие и — прощался навеки! Письмо было написано с мучением; он, видимо, писал вне себя; у меня навернулись слезы… Наташа подала мне другое письмо, от Кати. Это письмо пришло в одном конверте с Алешиным, но особо запечатанное. Катя довольно кратко, в нескольких строках, уведомляла, что Алеша действительно очень грустит, много плачет и как будто в отчаянии, даже болен немного, но что *она* с ним и что он будет счастлив. Между прочим, Катя силилась растолковать Наташе, чтоб она не подумала, что Алеша так скоро мог утешиться и что будто грусть его не серьезна. «Он вас не забудет никогда, — прибавляла Катя, — да и не может забыть никогда, потому что у него не такое сердце; любит он вас беспредельно, будет всегда любить, так что если разлюбит вас хоть когда-нибудь, если хоть когда-нибудь перестанет тосковать при воспоминании о вас, то я сама разлюблю его за это тотчас же…»

Я возвратил Наташе оба письма; мы переглянулись с ней и не сказали ни слова. Так было и при первых двух письмах, да и вообще о прошлом мы теперь избегали говорить, как будто между нами это было условлено. Она страдала невыносимо, я это видел, но не хотела высказываться даже и передо мной. После возвращения в родительский дом она три недели вылежала в горячке и теперь едва оправилась. Мы даже мало говорили и о близкой перемене нашей, хотя она и знала, что старик получает место и что нам придется скоро расстаться. Несмотря на то, она до того была ко мне нежна, внимательна, до того занималась всем, что касалось до меня, во всё это время; с таким настойчивым, упорным вниманием выслушивала всё, что я должен был ей рассказывать о себе, что сначала мне это было даже тяжело: мне казалось, что она хотела меня вознаградить за прошлое. Но эта тягость быстро исчезла: я понял, что в ней совсем другое желание, что она *просто* любит меня, любит бесконечно, не может жить без меня и не

заботиться о всем, что до меня касается, и я думаю, никогда сестра не любила до такой степени своего брата, как Наташа любила меня. Я очень хорошо знал, что предстоявшая нам разлука давила ее сердце, что Наташа мучилась; она знала тоже, что и я не могу без нее жить; но мы об этом не говорили, хотя и подробно разговаривали о предстоящих событиях…

Я спросил о Николае Сергеиче.

— Он скоро, я думаю, воротится, — отвечала Наташа, — обещал к чаю.

— Это он всё о месте хлопочет?

— Да; впрочем, место уж теперь без сомнения будет; да и уходить ему было сегодня, кажется, незачем, — прибавила она в раздумье, — мог бы и завтра.

— Зачем же он ушел?

— А потому что я письмо получила… Он до того *болен* мной, — прибавила Наташа, помолчав, — что мне это даже тяжело, Ваня. Он, кажется, и во сне только одну меня видит. Я уверена, что он, кроме того: что со мной, как живу я, о чем теперь думаю? — ни о чем более и не помышляет. Всякая тоска моя отзывается в нем. Я ведь вижу, как он неловко иногда старается пересилить себя и показать вид, что обо мне не тоскует, напускает на себя веселость, старается смеяться и нас смешить. Маменька тоже в эти минуты сама не своя, и тоже не верит его смеху, и вздыхает… Такая она неловкая… Прямая душа! — прибавила она со смехом. — Вот как я получила сегодня письма, ему и понадобилось сейчас убежать, чтоб не встречаться со мной глазами… Я его больше себя, больше всех на свете люблю, Ваня, — прибавила она, потупив голову и сжав мою руку, — даже больше тебя…

Мы прошли два раза по саду, прежде чем она начала говорить.

— У нас сегодня Маслобоев был и вчера тоже был, — сказала она.

— Да, он в последнее время очень часто повадился к вам.

— И знаешь ли, зачем он здесь? Маменька в него верует, как не знаю во что. Она думает, что он до того всё это знает (ну там законы и всё это), что всякое дело может обделать. Как ты думаешь, какая у ней теперь мысль бродит? Ей, про себя, очень больно и жаль, что я не сделалась княгиней. Эта мысль ей жить не дает, и, кажется, она вполне открылась Маслобоеву. С отцом она боится говорить об этом и думает: не поможет ли ей в чем-нибудь Маслобоев, нельзя ли как хоть по

законам? Маслобоев, кажется, ей не противоречит, а она его вином потчует, — прибавила с усмешкой Наташа.

— От этого проказника станется. Да почему же ты знаешь?

— Да ведь маменька мне сама проговорилась… намеками…

— Что Нелли? Как она? — спросил я.

— Я даже удивляюсь тебе, Ваня: до сих пор ты об ней не спросил! — с упреком сказала Наташа. Нелли была идолом у всех в этом доме. Наташа ужасно полюбила ее, и Нелли отдалась ей наконец всем своим сердцем. Бедное дитя! Она и не ждала, что сыщет когда-нибудь таких людей, что найдет столько любви к себе, и я с радостию видел, что озлобленное сердце размягчилось и душа отворилась для нас всех. Она с каким-то болезненным жаром откликнулась на всеобщую любовь, которою была окружена, в противоположность всему своему прежнему, развившему в ней недоверие, злобу и упорство. Впрочем, и теперь Нелли долго упорствовала, долго намеренно таила от нас слезы примирения, накипавшие в ней, и наконец отдалась нам совсем. Она сильно полюбила Наташу, затем старика. Я же сделался ей чем-то до того необходимым, что болезнь ее усиливалась, если я долго не приходил. В последний раз, расставаясь на два дня, чтоб кончить наконец запущенную мною работу, я должен был много уговаривать ее… конечно, обиняками. Нелли всё еще стыдилась слишком прямого, слишком беззаветного проявления своего чувства…

Она всех нас очень беспокоила. Молча и безо всяких разговоров решено было, что она останется навеки в доме Николая Сергеича, а между тем отъезд приближался, а ей становилось всё хуже и хуже. Она заболела с того самого дня, как мы пришли с ней тогда к старикам, в день примирения их с Наташей. Впрочем, что ж я? Она и всегда была больна. Болезнь постепенно росла в ней и прежде, но теперь начала усиливаться с чрезвычайною быстротою. Я не знаю и не могу определить в точности ее болезни. Припадки, правда, повторялись с ней несколько чаще прежнего; но, главное, какое-то изнурение и упадок всех сил, беспрерывное лихорадочное и напряженное состояние — всё это довело ее в последние дни до того, что она уже не вставала с постели. И странно: чем более одолевала ее болезнь, тем мягче, тем ласковее, тем открытее к нам становилась Нелли. Три дня тому назад она поймала меня за руку, когда я проходил мимо ее кроватки, и потянула меня к себе. В комнате никого не было. Лицо ее было в жару

(она ужасно похудела), глаза сверкали огнем. Она судорожно-страстно потянулась ко мне, и когда я наклонился к ней, она крепко обхватила мою шею своими смуглыми худенькими ручками и крепко поцеловала меня, а потом тотчас же потребовала к себе Наташу; я позвал ее; Нелли непременно хотелось, чтоб Наташа присела к ней на кровать и смотрела на нее…

— Мне самой на вас смотреть хочется, — сказала она. — Я вас вчера во сне видела и сегодня ночью увижу… вы мне часто снитесь… всякую ночь…

Ей, очевидно, хотелось что-то высказать, чувство давило ее; но она и сама не понимала своих чувств и не знала, как их выразить…

Николая Сергеича она любила почти более всех, кроме меня. Надо сказать, что и Николай Сергеич чуть ли не так же любил ее, как и Наташу. Он имел удивительное свойство развеселять и смешить Нелли. Только что он, бывало, придет к ней, тотчас же и начинается смех и даже шалости. Больная девочка развеселялась как ребенок, кокетничала с стариком, подсмеивалась над ним, рассказывала ему свои сны и всегда что-нибудь выдумывала, заставляла рассказывать и его, и старик до того был рад, до того был доволен, смотря на свою «маленькую дочку Нелли», что каждый день всё более и более приходил от нее в восторг.

— Ее нам всем бог послал в награду за наши страдания, — сказал он мне раз, уходя от Нелли и перекрестив ее по обыкновению на ночь.

Каждый день, по вечерам, когда мы все собирались вместе (Маслобоев тоже приходил почти каждый вечер), приезжал иногда и старик доктор, привязавшийся всею душою к Ихменевым; вывозили и Нелли в ее кресле к нам за круглый стол. Дверь на балкон отворялась. Зеленый садик, освещенный заходящим солнцем, был весь на виду. Из него пахло свежей зеленью и только что распустившеюся сиренью. Нелли сидела в своем кресле, ласково на всех нас посматривала и прислушивалась к нашему разговору. Иногда же оживлялась и сама и неприметно начинала тоже что-нибудь говорить… Но в такие минуты мы все слушали ее обыкновенно даже с беспокойством, потому что в ее воспоминаниях были темы, которых нельзя было касаться. И я, и Наташа, и Ихменевы чувствовали и сознавали всю нашу вину перед ней, в тот день, когда она, трепещущая и измученная, *должна* была рассказать нам свою историю. Доктор особенно был против этих воспоминаний, и разговор обыкновенно старались переменить. В таких

случаях Нелли старалась не показать нам, что понимает наши усилия, и начинала смеяться с доктором или с Николаем Сергеичем…

И однако ж, ей делалось всё хуже и хуже. Она стала чрезвычайно впечатлительна. Сердце ее билось неправильно. Доктор сказал мне даже, что она может умереть очень скоро.

Я не говорил этого Ихменевым, чтоб не растревожить их. Николай Сергеич был вполне уверен, что она выздоровеет к дороге.

— Вот и папенька воротился, — сказала Наташа, заслышав его голос. — Пойдем, Ваня.

Николай Сергеич, едва переступив за порог, по обыкновению своему, громко заговорил. Анна Андреевна так и замахала на него руками. Старик тотчас же присмирел и, увидя меня и Наташу, шепотом и с утороплeнным видом стал нам рассказывать о результате своих похождений: место, о котором он хлопотал, было за ним, и он очень был рад.

— Через две недели можно и ехать, — сказал он, потирая руки, и заботливо, искоса взглянул на Наташу. Но та ответила ему улыбкой и обняла его, так что сомнения его мигом рассеялись.

— Поедем, поедем, друзья мои, поедем! — заговорил он, обрадовавшись. — Вот только ты, Ваня, только с тобой расставаться больно… (Замечу, что он ни разу не предложил мне ехать с ними вместе, что, судя по его характеру, непременно бы сделал… при других обстоятельствах, то есть если б не знал моей любви к Наташе).

— Ну, что ж делать, друзья, что ж делать! Больно мне, Ваня; но перемена места нас всех оживит… Перемена места — значит перемена *всего!* — прибавил он, еще раз взглянув на дочь.

Он верил в это и был рад своей вере.

— А Нелли? — сказала Анна Андреевна.

— Нелли? Что ж… она, голубчик мой, больна немножко, но к тому-то времени уж наверно выздоровеет. Ей и теперь лучше: как ты думаешь, Ваня? — проговорил он, как бы испугавшись, и с беспокойством смотрел на меня, точно я-то и должен был разрешить его недоумения.

— Что она? Как спала? Не было ли с ней чего? Не проснулась ли она теперь? Знаешь что, Анна Андреевна: мы столик-то придвинем поскорей на террасу, принесут самовар, придут наши, мы все усядемся, и Нелли к нам выйдет… Вот и прекрасно. Да уж не проснулась ли она?

Пойду я к ней. Только посмотрю на нее… не разбужу, не беспокойся! — прибавил он, видя, что Анна Андреевна снова замахала на него руками.

Но Нелли уж проснулась. Через четверть часа мы все, по обыкновению, сидели вокруг стола за вечерним самоваром.

Нелли вывезли в креслах. Явился доктор, явился и Маслобоев. Он принес для Нелли большой букет сирени; но сам был чем-то озабочен и как будто раздосадован.

Кстати: Маслобоев ходил чуть не каждый день. Я уже говорил, что все, и особенно Анна Андреевна, чрезвычайно его полюбили, но никогда ни слова не упоминалось у нас вслух об Александре Семеновне; не упоминал о ней и сам Маслобоев. Анна Андреевна, узнав от меня, что Александра Семеновна еще не успела сделаться его *законной* супругой, решила про себя, что и принимать ее и говорить об ней в доме нельзя. Так и наблюдалось, и этим очень обрисовывалась и сама Анна Андреевна. Впрочем, не будь у ней Наташи и, главное, не случись того, что случилось, она бы; может быть, и не была так разборчива.

Нелли в этот вечер была как-то особенно грустна и даже чем-то озабочена. Как будто она видела дурной сон и задумалась о нем. Но подарку Маслобоева она очень обрадовалась и с наслаждением поглядывала на цветы, которые поставили перед ней в стакане.

— Так ты очень любишь цветочки, Нелли? — сказал старик. — Постой же! — прибавил он с одушевлением, — завтра же… ну, да вот увидишь сама!..

— Люблю, — отвечала Нелли, — и помню, как мы мамашу с цветами встречали. Мамаша, еще когда мы были *там* (*там* значило теперь за границей), была один раз целый месяц очень больна. Я и Генрих сговорились, что когда она встанет и первый раз выйдет из своей спальни, откуда она целый месяц не выходила, то мы и уберем все комнаты цветами. Вот мы так и сделали. Мамаша сказала с вечера, что завтра утром она непременно выйдет вместе с нами завтракать. Мы встали рано-рано. Генрих принес много цветов, и мы всю комнату убрали зелеными листьями и гирляндами. И плющ был. и еще такие широкие листья, — уж не знаю, как они называются, — и еще другие листья, которые за всё цепляются, и белые цветы большие были, и нарциссы были, а я их больше всех цветов люблю, и розаны были, такие славные розаны, и много-много было цветов. Мы их все развесили в

гирляндах и в горшках расставили, и такие цветы тут были, что как целые деревья, в больших кадках; их мы по углам расставили и у кресел мамаши, и как мамаша вышла, то удивилась и очень обрадовалась, а Генрих был рад… Я это теперь помню…

В этот вечер Нелли была как-то особенно слаба и слабонервна. Доктор с беспокойством взглядывал на нее. Но ей хотелось говорить. И долго, до самых сумерек, рассказывала она о своей прежней жизни *там;* мы ее не прерывали. *Там* с мамашей и с Генрихом они много ездили, и прежние воспоминания ярко восставали в ее памяти. Она с волнением рассказывала о голубых небесах, о высоких горах, со снегом и льдами, которые она видела и проезжала, о горных водопадах; потом об озерах и долинах Италии, о цветах и деревьях, об сельских жителях, об их одежде и об их смуглых лицах и черных глазах; рассказывала про разные встречи и случаи, бывшие с ними. Потом о больших городах и дворцах, о высокой церкви с куполом, который весь вдруг иллюминовался разноцветными огнями; потом об жарком, южном городе с голубыми небесами и с голубым морем… Никогда еще Нелли не рассказывала нам так подробно воспоминаний своих. Мы слушали ее с напряженным вниманием. Мы все знали только до сих пор другие ее воспоминания — в мрачном, угрюмом городе, с давящей, одуряющей атмосферой, с зараженным воздухом, с драгоценными палатами, всегда запачканными грязью; с тусклым, бедным солнцем и с злыми, полусумасшедшими людьми, от которых так много и она, и мамаша ее вытерпели. И мне представилось, как они обе в грязном подвале, в сырой сумрачный вечер, обнявшись на бедной постели своей, вспоминали о своем прошедшем, о покойном Генрихе и о чудесах других земель… Представилась мне и Нелли, вспоминавшая всё это уже одна, без мамаши своей, когда Бубнова побоями и зверскою жестокостью хотела сломить ее и принудить на недоброе дело…

Но наконец с Нелли сделалось дурно, и ее отнесли назад. Старик очень испугался и досадовал, что ей дали так много говорить. С ней был какой-то припадок, вроде обмирания. Этот припадок повторялся с ней уже несколько раз. Когда он кончился, Нелли настоятельно потребовала меня видеть. Ей надо было что-то сказать мне одному. Она так упрашивала об этом, что в этот раз доктор сам настоял, чтоб исполнили ее желание, и все вышли из комнаты.

— Вот что, Ваня, — сказала Нелли, когда мы остались вдвоем, — я

знаю, они думают, что я с ними поеду; но я не поеду, потому что не могу, и останусь пока у тебя, и мне это надо было сказать тебе.

Я стал было ее уговаривать; сказал, что у Ихменевых ее все так любят, что ее за родную дочь почитают. Что все будут очень жалеть о ней. Что у меня, напротив, ей тяжело будет жить и что хоть я и очень ее люблю, но что, нечего делать, расстаться надо.

— Нет, нельзя! — настойчиво ответила Нелли, — потому что я вижу часто мамашу во сне, и она говорит мне, чтоб я не ездила с ними и осталась здесь; она говорит, что я очень много согрешила, что дедушку одного оставила, и всё плачет, когда это говорит. Я хочу остаться здесь и ходить за дедушкой, Ваня.

— Но ведь твой дедушка уж умер, Нелли, — сказал я, выслушав ее с удивлением.

Она подумала и пристально посмотрела на меня.

— Расскажи мне, Ваня, еще раз, — сказала она, — как дедушка умер. Всё расскажи и ничего не пропускай.

Я был изумлен ее требованием, но, однако ж, принялся рассказывать во всей подробности. Я подозревал, что с нею бред или, по крайней мере, что после припадка голова ее еще не совсем свежа.

Она внимательно выслушала мой рассказ, и помню, как ее черные, сверкающие больным, лихорадочным блеском глаза пристально и неотступно следили за мной во всё продолжение рассказа. В комнате было уже темно.

— Нет, Ваня, он не умер! — сказала она решительно, всё выслушав и еще раз подумав. — Мамаша мне часто говорит о дедушке, и когда я вчера сказала ей: «Да ведь дедушка умер», она очень огорчилась, заплакала и сказала мне, что нет, что мне нарочно так сказали, а что он ходит теперь и милостыню просит, «так же как мы с тобой прежде просили, — говорила мамаша, — и всё ходит по тому месту, где мы с тобой его в первый раз встретили, когда я упала перед ним и Азорка узнал меня…»

— Это сон, Нелли, сон больной, потому что ты теперь сама больна, — сказал я ей.

— Я и сама всё думала, что это только сон, — сказала Нелли, — и не говорила никому. Только тебе одному всё рассказать хотела. Но сегодня, когда я заснула после того, как ты не пришел, то увидела во сне и самого дедушку. Он сидел у себя дома и ждал меня, и был такой

страшный, худой, и сказал, что он два дня ничего не ел и Азорка тоже, и очень на меня сердился и упрекал меня. Он мне тоже сказал, что у него совсем нет нюхательного табаку, а что без этого табаку он и жить не может. Он и в самом деле, Ваня, мне прежде это один раз говорил, уж после того как мамаша умерла, когда я приходила к нему. Тогда он был совсем больной и почти ничего уж не понимал. Вот как я услышала это от него сегодня, и думаю: пойду я, стану на мосту и буду милостыню просить, напрошу и куплю ему и хлеба, и вареного картофелю, и табаку. Вот будто я стою прошу и вижу, что дедушка около ходит, помедлит немного и подойдет ко мне, и смотрит, сколько я набрала, и возьмет себе. Это, говорит, на хлеб, теперь на табак сбирай. Я сбираю, а он подойдет и отнимет у меня. Я ему и говорю, что и без того всё отдам ему и ничего себе не спрячу. «Нет, говорит, ты у меня воруешь; мне и Бубнова говорила, что ты воровка, оттого-то я тебя к себе никогда не возьму. Куды ты еще пятак дела?» Я заплакала тому, что он мне не верит, а он меня не слушает и всё кричит: «Ты украла один пятак!» — и стал бить меня, тут же на мосту, и больно бил. И я очень плакала… Вот я и подумала теперь, Ваня, что он непременно жив и где-нибудь один ходит и ждет, чтоб я к нему пришла…

Я снова начал ее уговаривать и разуверять и наконец, кажется, разуверил. Она отвечала, что боится теперь заснуть, потому что дедушку увидит. Наконец крепко обняла меня…

— А все-таки я не могу тебя покинуть, Ваня! — сказала она мне, прижимаясь к моему лицу своим личиком. — Если б и дедушки не было, я всё с тобой не расстанусь.

В доме все были испуганы припадком Нелли. Я потихоньку пересказал доктору все ее грезы и спросил у него окончательно, как он думает о ее болезни?

— Ничего еще неизвестно, — отвечал он, соображая, — я покамест догадываюсь, размышляю, наблюдаю, но… ничего неизвестно. Вообще выздоровление невозможно. Она умрет. Я им не говорю, потому что вы так просили, но мне жаль, и я предложу завтра же консилиум. Может быть, болезнь примет после консилиума другой оборот. Но мне очень жаль эту девочку, как дочь мою… Милая, милая девочка! И с таким игривым умом!

Николай Сергеич был в особенном волнении.

— Вот что, Ваня, я придумал, — сказал он, — она очень любит

цветы. Знаешь что? Устроим-ка ей завтра, как она проснется, такой же прием, с цветами, как она с этим Генрихом для своей мамаши устроила, вот что сегодня рассказывала… Она это с таким волнением рассказывала…

— То-то с волнением, — отвечал я. — Волнения-то ей теперь вредны…

— Да, но приятные волнения другое дело! Уж поверь, голубчик, опытности моей поверь, приятные волнения ничего; приятные волнения даже излечить могут, на здоровье подействовать…

Одним словом, выдумка старика до того прельщала его самого, что он уже пришел от нее в восторг. Невозможно было и возражать ему. Я спросил совета у доктора, но прежде чем тот собрался сообразить, старик уже схватил свой картуз и побежал обделывать дело.

— Вот что, — сказал он мне, уходя, — тут неподалеку есть одна оранжерея; богатая оранжерея. Садовники распродают цветы, можно достать, и предешево!.. Удивительно даже, как дешево! Ты внуши это Анне Андреевне, а то она сейчас рассердится за расходы… Ну, так вот… Да! вот что еще, дружище: куда ты теперь? Ведь отделался, кончил работу, так чего ж тебе домой-то спешить? Ночуй у нас, наверху, в светелке: помнишь, как прежде бывало. И тюфяк твой и кровать — всё там на прежнем месте стоит и не тронуто. Заснешь, как французский король. А? останься-ка. Завтра проснемся пораньше, принесут цветы, и к восьми часам мы вместе всю комнату уберем. И Наташа поможет: у ней вкусу-то ведь больше, чем у нас с тобой… Ну, соглашаешься? Ночуешь?

Решили, что я останусь ночевать. Старик обделал дело. Доктор и Маслобоев простились и ушли. У Ихменевых ложились спать рано, в одиннадцать часов. Уходя, Маслобоев был в задумчивости и хотел мне что-то сказать, но отложил до другого раза. Когда же я, простясь с стариками, поднялся в свою светелку, то, к удивлению моему, увидел его опять. Он сидел в ожидании меня за столиком и перелистывал какую-то книгу.

— Воротился с дороги, Ваня, потому лучше уж теперь рассказать. Садись-ка, Видишь, дело-то всё такое глупое, досадно даже…

— Да что такое?

— Да подлец твой князь разозлил еще две недели тому назад; да так разозлил, что я до сих пор злюсь.

— Что, что такое? Разве ты всё еще с князем в сношениях?

— Ну, вот уж ты сейчас: «что, что такое?», точно и бог знает что случилось. Ты, брат Ваня, ни дать ни взять, моя Александра Семеновна, и вообще всё это несносное бабье… Терпеть не могу бабья!.. Ворона каркнет — сейчас и «что, что такое?»

— Да ты не сердись.

— Да я вовсе не сержусь, а на всякое дело надо смотреть обыкновенными глазами, не преувеличивая… вот что.

Он немного помолчал, как будто всё еще сердясь на меня. Я не прерывал его.

— Видишь, брат, — начал он опять, — напал я на один след… то есть в сущности вовсе не напал и не было никакого следа, а так мне показалось… то есть из некоторых соображений я было вывел, что Нелли… может быть… Ну, одним словом, Князева законная дочь.

— Что ты!

— Ну, и заревел сейчас: «что ты!» То есть ровно ничего говорить нельзя с этими людьми! — вскричал он, неистово махнув рукой. — Я разве говорил тебе что-нибудь положительно, легкомысленная ты голова? Говорил я тебе, что она *доказанная законная* Князева дочь? Говорил или нет?..

— Послушай, душа моя, — прервал я его в сильном волнении, — ради бога, не кричи и объясняйся точно и ясно. Ей-богу, пойму тебя. Пойми, до какой степени это важное дело и какие последствия…

— То-то последствия, а из чего? Где доказательства? Дела не так делаются, и я тебе под секретом теперь говорю. А зачем я об этом с тобой заговорил — потом объясню. Значит, так надо было. Молчи и слушай и знай, что всё это секрет…

Видишь, как было дело. Еще зимой, еще прежде, чем Смит умер, только что князь воротился из Варшавы, и начал он это дело. То есть начато оно было и гораздо раньше, еще в прошлом году. Но тогда он одно разыскивал, а теперь начал разыскивать другое. Главное дело в том, что он нитку потерял. Тринадцать лет, как он расстался в Париже с Смитихой и бросил ее, но все эти тринадцать лет он неуклонно следил за нею, знал, что она живет с Генрихом, про которого сегодня рассказывали, знал, что у ней Нелли, знал, что сама она больна; ну, одним словом, всё знал, только вдруг и потерял нитку. А случилось это, кажется, вскоре по смерти Генриха, когда Смитиха собралась в

Петербург. В Петербурге он, разумеется, скоро бы ее отыскал, под каким бы именем она ни воротилась в Россию; да дело в том, что заграничные его агенты его ложным свидетельством обманули: уверили его, что она живет в одном каком-то заброшенном городишке в южной Германии; сами они обманулись по небрежности: одну приняли за другую. Так и продолжалось год или больше. По прошествии года князь начал сомневаться: по некоторым фактам ему еще прежде стало казаться, что это не та. Теперь вопрос: куда делась настоящая Смитиха? И пришло ему в голову (так, даже безо всяких данных): не в Петербурге ли она? Покамест за границей шла одна справка, он уже здесь затеял другую, но, видно, не хотел употреблять слишком официального пути и познакомился со мной. Ему меня рекомендовали: так и так, дескать, занимается делами, любитель, — ну и так далее, и так далее…

Ну, так вот и разъяснил он мне дело; только темно, чертов сын, разъяснил, темно и двусмысленно. Ошибок было много, повторялся несколько раз, факты в различных видах в одно и то же время передавал… Ну, известно, как ни хитри, всех ниток не спрячешь. Я, разумеется, начал с подобострастия и простоты душевной, — словом, рабски предан; а по правилу, раз навсегда мною принятому, а вместе с тем и по закону природы (потому что это закон природы) сообразил, во-первых: ту ли надобность мне высказали? Во-вторых: не скрывается ли под высказанной надобностью какой-нибудь другой, недосказанной? Ибо в последнем случае, как, вероятно, и ты, милый сын, можешь понять поэтической своей головой, — он меня обкрадывал: ибо одна надобность, положим, рубль стоит, а другая вчетверо стоит; так дурак же я буду, если за рубль передам ему то, что четырех стоит. Начал я вникать и догадываться и мало-помалу стал нападать на следы; одно у него самого выпытал, другое — кой от кого из посторонних, насчет третьего своим умом дошел. Спросишь ты неравно: почему именно я так вздумал действовать? Отвечу: хоть бы по тому одному, что князь слишком уж что-то захлопотал, чего-то уж очень испугался. Потому в сущности — чего бы, кажется, пугаться? Увез от отца любовницу, она забеременела, а он ее бросил. Ну, что тут удивительного? Милая, приятная шалость и больше ничего. Не такому человеку, как князь, этого бояться! Ну, а он боялся… Вот мне и сомнительно стало. Я, брат, на некоторые прелюбопытные следы напал, между прочим через Генриха. Он, конечно, умер; но от одной из кузин его (теперь за одним

булочником здесь, в Петербурге), страстно влюбленной в него прежде и продолжавшей любить его лет пятнадцать сряду, несмотря на толстого фатера-булочника, с которым невзначай прижила восьмерых детей, — от этой-то кузины, говорю, я и успел, через посредство разных многосложных маневров, узнать важную вещь: Генрих писал ей по немецкому обыкновению письма и дневники, а перед смертью прислал ей кой-какие свои бумаги. Она, дура, важного-то в этих письмах не понимала, а понимала в них только те места, где говорится о луне, о мейн либер Августине и о Виланде[*] еще, кажется. Но я-то сведения нужные получил и через эти письма на новый след напал. Узнал я, например, о господине Смите, о капитале, у него похищенном дочкой, о князе, забравшем в свои руки капитал; наконец, среди разных восклицаний, обиняков и аллегорий проглянула мне в письмах и настоящая суть: то есть, Ваня, понимаешь! Ничего положительного. Дурачина Генрих нарочно об этом скрывал и только намекал, ну, а из этих намеков, из всего-то вместе взятого, стала выходить для меня небесная гармония: князь ведь был на Смитихе-то женат! Где женился, как, когда именно, за границей или здесь, где документы? — ничего неизвестно. То есть, брат Ваня, я волосы рвал с досады и отыскивал-отыскивал, то есть дни и ночи разыскивал!

Разыскал я наконец и Смита, а он вдруг и умри. Я даже на него живого-то и не успел посмотреть. Тут, по одному случаю, узнаю я вдруг, что умерла одна подозрительная для меня женщина на Васильевском острове, справляюсь — и нападаю на след. Стремлюсь на Васильевский, и, помнишь, мы тогда встретились. Много я тогда почерпнул. Одним словом, помогла мне тут во многом и Нелли…

— Послушай, — прервал я его, — неужели ты думаешь, что Нелли знает…

— Что?

— Что она дочь князя?

— Да ведь ты сам знаешь, что она дочь князя, — отвечал он, глядя на меня с какою-то злобною укоризною, — ну, к чему такие праздные вопросы делать, пустой ты человек? Главное не в этом, а в том, что она знает, что она не просто дочь князя, а *законная* дочь князя, — понимаешь ты это?

— Быть не может! — вскричал я.

— Я и сам говорил себе «быть не может» сначала, даже и теперь

иногда говорю себе «быть не может»! Но в том-то и дело, что это *быть может* и, по всей вероятности, *есть.*

— Нет, Маслобоев, это не так, ты увлекся, — вскричал я. — Она не только не знает этого, но она и в самом деле незаконная дочь. Неужели мать, имея хоть какие-нибудь документы в руках, могла выносить такую злую долю, как здесь в Петербурге, и, кроме того, оставить свое дитя на такое сиротство? Полно! Этого быть не может.

— Я и сам это думал, то есть это даже до сих пор стоит передо мной недоумением. Но опять-таки дело в том, что ведь Смитиха была сама по себе безумнейшая и сумасброднейшая женщина в мире. Необыкновенная она женщина была; ты сообрази только все обстоятельства: ведь это романтизм, — всё это надзвездные глупости в самом диком и сумасшедшем размере. Возьми одно: с самого начала она мечтала только о чем-то вроде неба на земле и об ангелах, влюбилась беззаветно, поверила безгранично и, я уверен, с ума сошла потом не оттого, что он ее разлюбил и бросил, а оттого, что в нем она обманулась, что он *способен был* ее обмануть и бросить; оттого, что ее ангел превратился в грязь, оплевал и унизил ее. Ее романтическая и безумная душа не вынесла этого превращения. А сверх того и обида: понимаешь, какая обида! В ужасе и, главное, в гордости она отшатнулась от него с безграничным презрением. Она разорвала все связи, все документы; плюнула на деньги, даже забыла, что они не ее, а отцовы, и отказалась от них, как от грязи, как от пыли, чтоб подавить своего обманщика душевным величием, чтоб считать его своим вором и иметь право всю жизнь презирать его, и тут же, вероятно, сказала, что бесчестием себе почитает называться и женой его. У нас развода нет, но de facto[17] они развелись, и ей ли было после умолять его о помощи! Вспомни, что она, сумасшедшая, говорила Нелли уже на смертном одре: не ходи к ним, работай, погибни, но не ходи к ним, кто бы *ни звал тебя* (то есть она и тут мечтала еще, что ее *позовут*, а следственно, будет случай отметить еще раз, подавить презрением *зовущего*, — одним словом, кормила себя вместо хлеба злобной мечтой). Много, брат, я выпытал и у Нелли; даже и теперь иногда выпытываю. Конечно, мать ее была больна, в чахотке; эта болезнь особенно развивает озлобление и всякого рода раздражения; но, однако ж, я наверно знаю, через одну куму у Бубновой, что она писала к князю, да, к князю, к самому князю…

— Писала! И дошло письмо? — вскричал я с нетерпением.

— Вот то-то и есть, не знаю, дошло ли оно. Раз Смитиха сошлась с этой кумой (помнишь, у Бубновой девка-то набеленная? — теперь она в смирительном доме), ну и посылала с ней это письмо и написала уж его, да и не отдала, назад взяла; это было за три недели до ее смерти… Факт значительный: если раз уж решалась послать, так всё равно, хоть и взяла обратно: могла другой раз послать. Итак, посылала ли она письмо или не посылала — не знаю; но есть одно основание предположить, что не посылала, потому что князь узнал *наверно,* что она в Петербурге и где именно, кажется, уже после смерти ее. То-то, должно быть, обрадовался!

— Да, я помню, Алеша говорил о каком-то письме, которое его очень обрадовало, но это было очень недавно, всего каких-нибудь два месяца. Ну, что ж дальше, дальше, как же ты-то с князем?

— Да что я-то с князем? Пойми: полнейшая нравственная уверенность и ни одного положительного доказательства, — *ни одного,* как я ни бился. Положение критическое! Надо было за границей справки делать, а где за границей? — неизвестно. Я, разумеется, понял, что предстоит мне бой, что я только могу его испугать намеками, прикинуться, что знаю больше, чем в самом деле знаю…

— Ну, и что ж?

— Не дался в обман, а, впрочем, струсил, до того струсил, что трусит и теперь. У нас было несколько сходок; каким он Лазарем было прикинулся[*]! Раз, по дружбе, сам мне всё принялся рассказывать. Это когда думал, что я *всё* знаю. Хорошо рассказывал, с чувством, откровенно — разумеется, бессовестно лгал. Вот тут я и измерил, до какой степени он меня боялся. Прикидывался я перед ним одно время ужаснейшим простофилей, а наружу показывал, что хитрю. Неловко его запугивал, то есть нарочно неловко; грубостей ему нарочно наделал, грозить ему было начал, — ну, всё для того, чтоб он меня за простофилю принял и как-нибудь да проговорился. Догадался, подлец! Другой раз я пьяным прикинулся, тоже толку не вышло: хитер! Ты, брат, можешь ли это понять, Ваня, мне всё надо было узнать, в какой степени он меня опасается, и второе: представить ему, что я больше знаю, чем знаю в самом деле…

— Ну, что ж наконец-то?

— Да ничего не вышло. Надо было доказательств, фактов, а их у

меня не было. Одно только он понял, что я все-таки могу сделать скандал. Конечно, он только скандала одного и боялся, тем более что здесь связи начал заводить. Ведь ты знаешь, что он женится?

— Нет…

— В будущем году! Невесту он себе еще в прошлом году приглядел; ей было тогда всего четырнадцать лет, теперь ей уж пятнадцать, кажется, еще в фартучке ходит, бедняжка. Родители рады! Понимаешь, как ему надо было, чтоб жена умерла? Генеральская дочка, денежная девочка — много денег! Мы, брат Ваня, с тобой никогда так не женимся… Только чего я себе во всю жизнь не прощу, — вскричал Маслобоев, крепко стукнув кулаком по столу, — это — что он оплел меня, две недели назад… подлец!

— Как так?

— Да так. Я вижу, он понял, что у меня нет ничего *положительного,* и, наконец, чувствую про себя, что чем больше дело тянуть, тем скорее, значит, поймет он мое бессилие. Ну, и согласился принять от него две тысячи.

— Ты взял две тысячи!..

— Серебром, Ваня; скрепя сердце взял. Ну, двух ли тысяч такое дело могло стоить! С унижением взял. Стою перед ним, как оплеванный; он говорит: я вам, Маслобоев, за ваши прежние труды еще не заплатил (а за прежние он давно заплатил сто пятьдесят рублей, по условию), ну, так вот я еду; тут две тысячи, и потому, надеюсь, *всёнаше* дело совершенно теперь кончено. Ну, я и отвечал ему: «Совершенно кончено, князь», а сам и взглянуть в его рожу не смею; думаю: так и написано теперь на ней: «Что, много взял? Так только, из благодушия одного дураку даю!» Не помню, как от него и вышел!

— Да ведь это подло, Маслобоев! — вскричал я, — что ж ты сделал с Нелли?

— Это не просто подло, это каторжно, это пакостно… Это… это… да тут и слов нет, чтобы выразить!

— Боже мой! Да ведь он по крайней мере должен бы хоть обеспечить Нелли!

— То-то должен. А чем принудить? Запугать? Небось не испугается: ведь я деньги взял. Сам, сам перед ним признался, что всего страху-то у меня на две тысячи рублей серебром, сам себя оценил в эту сумму! Чем его теперь напугаешь?

— И неужели, неужели дело Нелли так и пропало? — вскричал я почти в отчаянии.

— Ни за что! — вскричал с жаром Маслобоев и даже как-то весь встрепенулся. — Нет, я ему этого не спущу! Я опять начну новое дело, Ваня: я уж решился! Что ж, что я взял две тысячи? Наплевать. Я, выходит, за обиду взял, потому что он, бездельник, меня надул, стало быть, насмеялся надо мною. Надул, да еще насмеялся! Нет, я не позволю над собой смеяться… Теперь я, Ваня, уж с самой Нелли начну. По некоторым наблюдениям, я вполне уверен, что в ней заключается вся развязка этого дела. Она *всё* знает, *всё*… Ей сама мать рассказала. В горячке, в тоске могла рассказать. Некому было жаловаться, подвернулась Нелли, она ей и рассказала. А может быть, и на документики какие-нибудь нападем, — прибавил он в сладком восторге, потирая руки. — Понимаешь теперь, Ваня, зачем я сюда шляюсь? Во-первых, из дружбы к тебе, это само собою; но главное — наблюдаю Нелли, а в-третьих, друг Ваня, хочешь не хочешь, а ты должен мне помогать, потому что ты имеешь влияние на Нелли!..

— Непременно, клянусь тебе, — вскричал я, — и надеюсь, Маслобоев, что ты, главное, для Нелли будешь стараться — для бедной, обиженной сироты, а не для одной только собственной выгоды…

— Да тебе-то какое дело, для чьей выгоды я буду стараться, блаженный ты человек? Только бы сделать — вот что главное! Конечно, главное для сиротки, это и человеколюбие велит. Но ты, Ванюша, не осуждай меня безвозвратно, если я и об себе позабочусь. Я человек бедный, а он бедных людей не смей обижать. Он у меня мое отнимает, да еще и надул, подлец, вдобавок. Так я, по-твоему, такому мошеннику должен в зубы смотреть? Морген-фри![*]

Но цветочный праздник наш на другой день не удался. Нелли сделалось хуже, и она уже не могла выйти из комнаты.

И уж никогда больше она не выходила из этой комнаты.

Она умерла две недели спустя. В эти две недели своей агонии она уже ни разу не могла совершенно прийти в себя и избавиться от своих странных фантазий. Рассудок ее как будто помутился. Она твердо была уверена, до самой смерти своей, что дедушка зовет ее к себе и сердится на нее, что она не приходит, стучит на нее палкою и велит ей идти просить у добрых людей на хлеб и на табак. Часто она начинала плакать во сне и, просыпаясь, рассказывала, что видела мамашу.

Иногда только рассудок как будто возвращался к ней вполне. Однажды мы оставались одни: она потянулась ко мне и схватила мою руку своей худенькой, воспаленной от горячечного жару ручкой.

— Ваня, — сказала она мне, — когда я умру, женись на Наташе!

Это, кажется, была постоянная и давнишняя ее идея. Я молча улыбнулся ей. Увидя мою улыбку, она улыбнулась сама, с шаловливым видом погрозила мне своим худеньким пальчиком и тотчас же начала меня целовать.

За три дня до своей смерти, в прелестный летний вечер, она попросила, чтоб подняли штору и отворили окно в ее спальне. Окно выходило в садик; она долго смотрела на густую зелень, на заходящее солнце и вдруг попросила, чтоб нас оставили одних.

— Ваня, — сказала она едва слышным голосом, потому что была уже очень слаба, — я скоро умру. Очень скоро, и хочу тебе сказать, чтоб ты меня помнил. На память я тебе оставлю вот это (и она показала мне большую ладонку, которая висела у ней на груди вместе с крестом). Это мне мамаша оставила, умирая. Так вот, когда я умру, ты и сними эту ладонку, возьми себе и прочти, что в ней есть. Я и всем им сегодня скажу, чтоб они одному тебе отдали эту ладонку. И когда ты прочтешь, что в ней написано, то поди к *нему* и скажи, что я умерла, а *его* не простила. Скажи ему тоже, что я Евангелие недавно читала. Там сказано: прощайте всем врагам своим. Ну, так я это читала, а *его* все-таки не простила, потому что когда мамаша умирала и еще могла говорить, то последнее, что она сказала, было: *«Проклинаю его»*, ну так и я *его* проклинаю, не за себя, а. за мамашу проклинаю… Расскажи же ему, как умирала мамаша, как я осталась одна у Бубновой; расскажи, как ты видел меня у Бубновой, всё, всё расскажи и скажи тут же, что я лучше хотела быть у Бубновой, а к нему не пошла…

Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее сверкали и сердце начало стучать так сильно, что она опустилась на подушки и минуты две не могла проговорить слова.

— Позови их, Ваня, — сказала она наконец слабым голосом, — я хочу с ними со всеми проститься. Прощай, Ваня!..

Она крепко-крепко обняла меня в последний раз. Вошли все наши. Старик не мог понять, что она умирает; допустить этой мысли не мог. Он до последнего времени спорил со всеми нами и уверял, что она выздоровеет непременно. Он весь высох от заботы, он просиживал у

кровати Нелли по целым дням и даже ночам… Последние ночи он буквально не спал. Он старался предупредить малейшую прихоть, малейшее желание Нелли и, выходя от нее к нам, горько плакал, но через минуту опять начинал надеяться и уверять нас, что она выздоровеет. Он заставил цветами всю ее комнату. Один раз купил он целый букет прелестнейших роз, белых и красных, куда-то далеко ходил за ними и принес своей Нелличке… Всем этим он очень волновал ее. Она не могла не отзываться всем сердцем своим на такую всеобщую любовь. В этот вечер, в вечер прощанья ее с нами, старик никак не хотел прощаться с ней навсегда. Нелли улыбнулась ему и весь вечер старалась казаться веселою, шутила с ним, даже смеялась… Мы все вышли от нее почти в надежде, но на другой день она уже не могла говорить. Через два дня она умерла.

Помню, как старик убирал ее гробик цветами и с отчаянием смотрел на ее исхудалое мертвое личико, на ее мертвую улыбку, на руки ее, сложенные крестом на груди. Он плакал над ней, как над своим родным ребенком. Наташа, я, мы все утешали его, но он был неутешен и серьезно заболел после похорон Нелли.

Анна Андреевна сама отдала мне ладонку, которую сняла с ее груди. В этой ладонке было письмо матери Нелли к князю. Я прочитал его в день смерти Нелли. Она обращалась к князю с проклятием, говорила, что не может простить ему, описывала всю последнюю жизнь свою, все ужасы, на которые оставляет Нелли, и умоляла его сделать хоть что-нибудь для ребенка. «Он ваш, — писала она, — это дочь *ваша*, и *вы сами знаете*, что она *ваша, настоящая дочь*. Я велела ей идти к вам, когда я умру, и отдать вам в руки это письмо. Если вы не отвергнете Нелли, то, может быть, *там* я прощу вас, и в день суда сама стану перед престолом божиим и буду умолять Судию простить вам грехи ваши. Нелли знает содержание письма моего; я читала его ей; я разъяснила ей *всё*, она знает *всё, всё*…»

Но Нелли не исполнила завещания: она знала всё, но не пошла к князю и умерла непримиренная.

Когда мы воротились с похорон Нелли, мы с Наташей пошли в сад. День был жаркий, сияющий светом. Через неделю они уезжали. Наташа взглянула на меня долгим, странным взглядом.

— Ваня, — сказала она. — Ваня, ведь это был сон!

— Что было сон? — спросил я.

— Всё, всё, — отвечала она, — всё, за весь этот год. Ваня, зачем я разрушила твое счастье? И в глазах ее я прочел: «Мы бы могли быть навеки счастливы вместе!»

Скверный анекдот

рассказ

Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам. Тогда, однажды зимой, в ясный и морозный вечер, впрочем часу уже в двенадцатом, три чрезвычайно почтенные мужа сидели в комфортной и даже роскошно убранной комнате, в одном прекрасном двухэтажном доме на Петербургской стороне и занимались солидным и превосходным разговором на весьма любопытную тему. Эти три мужа были все трое в генеральских чинах. Сидели они вокруг маленького столика, каждый в прекрасном, мягком кресле, и между разговором тихо и комфортно потягивали шампанское. Бутылка стояла тут же на столике в серебряной вазе со льдом. Дело в том, что хозяин, тайный советник Степан Никифорович Никифоров, старый холостяк лет шестидесяти пяти, праздновал свое новоселье в только что купленном доме, а кстати уж и день своего рождения, который тут же пришелся и который он никогда до сих пор не праздновал. Впрочем, празднование было не бог знает какое; как мы уже видели, было только двое гостей, оба прежние сослуживцы г-на Никифорова и прежние его подчиненные, а именно: действительный статский советник Семен Иванович Шипуленко и другой, тоже действительный статский советник, Иван Ильич Пралинский. Они пришли часов в девять, кушали чай, потом принялись за вино и знали, что ровно в половине двенадцатого им надо отправляться домой. Хозяин всю жизнь любил регулярность. Два слова о нем: начал он свою карьеру мелким необеспеченным чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок пять сряду, очень хорошо

знал, до чего дослужится, терпеть не мог хватать с неба звезды, хотя имел их уже две, и особенно не любил высказывать по какому бы то ни было поводу свое собственное личное мнение. Был он и честен, то есть ему не пришлось сделать чего-нибудь особенно бесчестного; был

холост, потому что был эгоист; был очень не глуп, но терпеть не мог выказывать свой ум; особенно не любил неряшества и восторженности, считая ее неряшеством нравственным, и под конец жизни совершенно погрузился в какой-то сладкий, ленивый комфорт и систематическое одиночество. Хотя сам он и бывает иногда в гостях у людей получше, но еще смолоду терпеть не мог гостей у себя, а в последнее время, если не раскладывал гранпасьянс, довольствовался обществом своих столовых часов и по целым вечерам невозмутимо выслушивал, дремля в креслах, их тиканье под стеклянным колпаком на камине. Наружности был он чрезвычайно приличной и выбритой, казался моложе своих лет, хорошо сохранился, обещал прожить еще долго и держался самого строгого джентльменства. Место у него было довольно комфортное: он где-то заседал и что-то подписывал. Одним словом, его считали превосходнейшим человеком. Была у него одна только страсть или, лучше сказать, одно горячее желанье: это — иметь свой собственный дом, и именно дом, выстроенный на барскую, а не на капитальную ногу. Желанье его наконец осуществилось: он приглядел и купил дом на Петербургской стороне, правда далеко, но дом с садом, и притом дом изящный. Новый хозяин рассуждал, что оно и лучше, если подальше: у себя принимать он не любил, а ездить к кому-нибудь или в должность — на то была у него прекрасная двуместная карета шоколадного цвету, кучер Михей и две маленькие, но крепкие и красивые лошадки. Всё это было благоприобретенное сорокалетней, копотливой экономией, так что сердце на всё это радовалось. Вот почему, приобретя дом и переехав в него, Степан Никифорович ощутил в своем спокойном сердце такое довольство, что пригласил даже гостей на свое рожденье, которое прежде тщательно утаивал от самых близких знакомых. На одного из приглашенных он имел даже особые виды. Сам он в доме занял верхний этаж, а в нижний, точно так же выстроенный и расположенный, понадобилось жильца. Степан Никифорович и рассчитывал на Семена Ивановича Шипуленко и в этот вечер даже два раза сводил разговор на эту тему. Но Семен Иванович на этот счет отмалчивался. Это был человек тоже туго и долговременно пробивавший себе дорогу, с черными волосами и бакенбардами и с оттенком постоянного разлития желчи в физиономии. Был он женат, был угрюмый домосед, свой дом держал в страхе, служил с самоуверенностию, тоже прекрасно знал, до чего он дойдет, и еще лучше — до чего никогда не дойдет, сидел на

хорошем месте и сидел очень крепко. На начинавшиеся новые порядки он смотрел хоть и не без желчи, но особенно не тревожился: он был очень уверен в себе и не без насмешливой злобы выслушивал разглагольствия Ивана Ильича Пралинского на новые темы. Впрочем, все они отчасти подвыпили, так что даже сам Степан Никифорович снизошел до господина Пралинского и вступил с ним в легкий спор о новых порядках. Но несколько слов о его превосходительстве господине Пралинском, тем более что он-то и есть главный герой предстоящего рассказа.

Действительный статский советник Иван Ильич Пралинский всего только четыре месяца как назывался вашим превосходительством, одним словом, был генерал молодой. Он и по летам был еще молод, лет сорока трех и никак не более, на вид же казался и любил казаться моложе. Это был мужчина красивый, высокого роста, щеголял костюмом и изысканной солидностью в костюме, с большим уменьем носил значительный орден на шее, умел еще с детства усвоить несколько великосветских замашек и, будучи холостой, мечтал о богатой и даже великосветской невесте. Он о многом еще мечтал, хотя был далеко не глуп. Подчас он был большой говорун и даже любил принимать парламентские позы. Происходил он из хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, воспитывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него не много познаний, нона службе успел и дотянул до генеральства. Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды. Степан Никифорович, под началом которого он и начал и продолжал свою службу почти до самого генеральства, никогда не считал его за человека весьма делового ц надежд на него не возлагал никаких. Но ему нравилось, что он из хорошего дома, имеет состояние, то есть большой капитальный дом с управителем, сродни не последним людям и, сверх того, обладает осанкой. Степан Никифорович хулил его про себя за избыток воображения и легкомыслие. Сам Иван Ильич чувствовал иногда, что он слишком самолюбив и даже щекотлив. Странное дело: подчас на него находили припадки какой-то болезненной совестливости и даже легкого в чем-то раскаянья. С горечью и с тайной занозой в душе сознавался он иногда, что вовсе не так высоко летает, как ему думается. В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние, особенно когда разыгрывался его геморрой, называл

свою жизнь une existence manquée,[18] переставал верить, разумеется про себя, даже в свои парламентские способности, называя себя парлером*, фразером, и хотя всё это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять подымать свою голову и тем упорнее, тем заносчивее ободряться и уверять себя, что он еще успеет проявиться и будет не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия. Даже мерещились ему подчас монументы. Из этого видно, что Иван Ильич хватал высоко, хотя и глубоко, даже с некоторым страхом, таил про себя свои неопределенные мечты и надежды. Одним словом, человек он был добрый и даже поэт в душе. В последние годы болезненные минуты разочарованья стали было чаще посещать его. Он сделался как-то особенно раздражителен, мнителен и всякое возражение готов был считать за обиду. Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Генеральство их довершило. Он воспрянул; он поднял голову. Он вдруг начал говорить красноречиво и много, говорить на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе до ярости. Он искал случая говорить, ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что очень ему льстило. В этот же вечер, выпив бокала четыре, он особенно разгулялся. Ему захотелось переубедить во всем Степана Никифоровича, которого он перед этим давно не видал и которого до сих пор всегда уважал и даже слушался. Он почему-то считал его ретроградом и напал на него с необыкновенным жаром. Степан Никифорович почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его. Иван Ильич горячился и в жару воображаемого спора чаще, чем бы следовало, пробовал из своего бокала. Тогда Степан Никифорович брал бутылку и тотчас же добавлял его бокал, что, неизвестно почему, начало вдруг обижать Иван Ильича, тем более что Семен Иваныч Шипуленко, которого он особенно презирал и, сверх того, даже боялся за цинизм и за злость его, тут же сбоку прековарно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался. «Они, кажется, принимают меня за мальчишку», — мелькнуло в голове Ивана Ильича.

— Нет-с, пора, давно уж пора было, — продолжал он с азартом. — Слишком опоздали-с, и, на мой взгляд, гуманность первое дело, гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки. Гуманность всё спасет и всё вывезет…

— Хи-хи-хи-хи! — послышалось со стороны Семена Ивановича.

— Да что же, однако ж, вы нас так распекаете, — возразил наконец Степан Никифорович, любезно улыбаясь. — Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не могу взять в толк, что вы изволили объяснять. Вы выставляете гуманность. Это значит человеколюбие, что ли?

— Да, пожалуй, хоть и человеколюбие. Я…

— Позвольте-с. Сколько могу судить, дело не в одном этом. Человеколюбие всегда следовало. Реформа же этим не ограничивается. Поднялись вопросы крестьянские, судебные, хозяйственные, откупные, нравственные и… и… и без конца их, этих вопросов, и всё вместе, всё разом может породить большие, так сказать, колебанья. Вот мы про что опасались, а не об одной гуманности…

— Да-с, дело поглубже-с, — заметил Семен Иванович.

— Очень понимаю-с, и позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей, — язвительно и чересчур резко заметил Иван Ильич, — но, однако ж, все-таки возьму на себя смелость заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже меня вовсе не поняли…

— Не понял.

— А между тем я именно держусь и везде провожу идею, что гуманность, и именно гуманность с подчиненными, от чиновника до писаря, от писаря до дворового слуги, от слуги до мужика, — гуманность, говорю я, может послужить, так сказать, краеугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей. Почему? Потому. Возьмите силлогизм: я гуманен, следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чувствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть, веруют; веруют, стало быть, любят… то есть нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу, поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат всё дело дружески, основательно. Чего вы смеетесь, Семен Иванович? Непонятно?

Степан Никифорович молча поднял брови; он удивлялся.

— Мне кажется, я немного лишнее выпил, — заметил ядовито Семен Иваныч, — а потому и туг на соображение. Некоторое затмение в уме-с.

Ивана Ильича передернуло.

— Не выдержим, — произнес вдруг Степан Никифорыч после

легкого раздумья.

— То есть как это не выдержим? — спросил Иван Ильич, удивляясь внезапному и отрывочному замечанию Степана Никифоровича.

— Так, не выдержим. — Степан Никифорович, очевидно, не хотел распространяться далее.

— Это вы уж не насчет ли нового вина и новых мехов[*]? — не без иронии возразил Иван Ильич. — Ну, нет-с; за себя-то уж я отвечаю.

В эту минуту часы пробили половину двенадцатого.

— Сидят-сидят да и едут, — сказал Семен Иваныч, приготовляясь встать с места. Но Иван Ильич предупредил его, тотчас встал из-за стола и взял с камина свою соболью шапку. Он смотрел как обиженный.

— Так как же, Семен Иваныч, подумаете? — сказал Степан Никифорович, провожая гостей.

— Насчет квартирки-то-с? Подумаю, подумаю-с.

— А что надумаете, так уведомьте поскорее.

— Всё о делах? — любезно заметил господин Пралинский с некоторым заискиванием и поигрывая своей шапкой. Ему показалось, что его как будто забывают.

Степан Никифорович поднял брови и молчал в знак того, что не задерживает гостей. Семен Иваныч торопливо откланялся.

«А… ну… после этого как хотите… коли не понимаете простой любезности», — решил про себя господин Пралинский и как-то особенно независимо протянул руку Степану Никифоровичу.

В передней Иван Ильич закутался в свою легкую дорогую шубу, стараясь для чего-то не замечать истасканного енота Семена Иваныча, и оба стали сходить с лестницы.

— Наш старик как будто обиделся, — сказал Иван Ильич молчавшему Семену Иванычу.

— Нет, отчего же? — отвечал тот спокойно и холодно.

«Холоп!» — подумал про себя Иван Ильич.

Сошли на крыльцо, Семену Иванычу подали его сани с серым неказистым жеребчиком.

— Кой черт! Куда же Трифон девал мою карету! — вскричал Иван Ильич, не видя своего экипажа.

Туда-сюда — кареты не было. Человек Степана Никифоровича не имел об ней понятия. Обратились к Варламу, кучеру Семена Иваныча, и

получили в ответ, что всё стоял тут, и карета тут же была, а теперь вот и нет.

— Скверный анекдот! — произнес господин Шипуленко, — хотите, довезу?

— Подлец народ! — с бешенством закричал господин Пралинский. — Просился у меня, каналья, на свадьбу, тут же на Петербургской, какая-то кума замуж идет, черт ее дери. Я настрого запретил ему отлучаться. И вот бьюсь об заклад, что он туда уехал!

— Он действительно, — заметил Варлам, — поехал туда-с; да обещал в одну минуту обернуться, к самому то есть времени быть.

— Ну так! Я как будто предчувствовал! Уж я ж его!

— А вы лучше посеките его хорошенько раза два в части, вот он и будет исполнять приказанья, — сказал Семен Иваныч, уже закрываясь полостью.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, Семен Иваныч!

— Так не хотите, довезу.

— Счастливый путь, merci.[19]

Семен Иваныч уехал, а Иван Ильич пошел пешком по деревянным мосткам, чувствуя себя в довольно сильном раздражении.

«Нет уж, я ж тебя теперь, мошенник! Нарочно пешком пойду, чтоб ты чувствовал, чтоб ты испугался! Воротится и узнает, что барин пешком пошел… мерзавец!»

Иван Ильич никогда еще так не ругался, но уж очень он был разбешен, и вдобавок в голове шумело. Он был человек непьющий, и потому какие-нибудь пять-шесть бокалов скоро подействовали. Но ночь была восхитительная. Было морозно, но необыкновенно тихо и безветренно. Небо было ясное, звездное. Полный месяц обливал землю матовым серебряным блеском. Было так хорошо, что Иван Ильич, пройдя шагов пятьдесят, почти забыл о беде своей. Ему становилось как-то особенно приятно. К тому же люди под хмельком быстро меняют впечатления. Ему даже начали нравиться невзрачные деревянные домики пустынной улицы.

«А ведь и славно, что я пешком пошел, — думал он про себя, — и Трифону урок, да и мне удовольствие. Право, надо чаще ходить пешком. Что ж? На Большом проспекте я тотчас найду извозчика. Славная ночь! Какие тут всё домишки. Должно быть, мелкота живет, чиновники… купцы, может быть… этот Степан Никифорович! и какие

все они ретрограды, старые колпаки! Именно колпаки, c'est le mot.[20] Впрочем, он умный человек; есть этот bon sens,[21] трезвое, практическое понимание вещей. Но зато старики, старики! Нет этого… как бишь его! Ну да чего-то нет… Не выдержим! Что он этим хотел сказать? Даже задумался, когда говорил. Он, впрочем, меня совсем не понял. А и как бы не понять? Труднее не понять, чем понять. Главное то, что я убежден, душою убежден. Гуманность… человеколюбие. Возвратить человека самому себе… возродить его собственное достоинство и тогда… с готовым матерьялом приступайте к делу. Кажется, ясно! Да-с! Уж это позвольте, ваше превосходительство, возьмите силлогизм: мы встречаем, например, чиновника, чиновника бедного, забитого. „Ну… кто ты?“ Ответ: „Чиновник“. Хорошо, чиновник; далее: „Какой ты чиновник?“ Ответ: такой-то, дескать, и такой-то чиновник. „Служишь?“ — „Служу!“ — „Хочешь быть счастлив?“ — „Хочу“. — „Что надобно для счастья?“ То-то и то-то. „Почему?“ Потому… И вот человек меня понимает с двух слов: человек мой, человек уловлен, так сказать, сетями, и я делаю с ним всё, что хочу, то есть для его же блага. Скверный человек этот Семен Иваныч! И какая у него скверная рожа… Высеки в части, — это он нарочно сказал. — Нет, врешь, сам секи, а я сечь не буду; я Трифона словом дойму, попреком дойму, вот он и будет чувствовать. Насчет розог, гм… вопрос нерешенный[*], гм… А не заехать ли к Эмеранс? Фу ты, черт, проклятые мостки! — вскрикнул он, вдруг оступившись. — И это столица! Просвещение! Можно ногу сломать. Гм. Ненавижу я этого Семена Иваныча; препротивная рожа. Это он надо мной давеча хихикал, когда я сказал: обнимутся нравственно. Ну и обнимутся, а тебе что за дело? Уж тебя-то не обниму; скорей мужика… Мужик встретится, и с мужиком поговорю. Впрочем, я был пьян и, может быть, не так выражался. Я и теперь, может быть, не так выражаюсь… Гм. Никогда не буду пить. С вечеру наболтаешь, а назавтра раскаиваешься. Что ж, я ведь, не шатаясь, иду… А впрочем, все они мошенники!»

Так рассуждал Иван Ильич, отрывочно и бессвязно, продолжая шагать по тротуару. На него подействовал свежий воздух и, так сказать, раскачал его. Минут через пять он бы успокоился и захотел спать. Но вдруг, почти в двух шагах от Большого проспекта, ему послышалась музыка. Он огляделся. На другой стороне улицы в очень ветхом одноэтажном, но длинном деревянном доме задавался пир горой, гудели

скрипки, скрипел контрбас и визгливо заливалась флейта на очень веселый кадрильный мотив. Под окнами стояла публика, больше женщины в ватных салопах и в платках на голове; они напрягали все усилия, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь щели ставен. Видно, весело было. Гул от топота танцующих достигал другой стороны улицы. Иван Ильич невдалеке от себя заметил городового и подошел к нему.

— Чей это, братец, дом? — спросил он, немного распахивая свою дорогую шубу, ровно настолько, чтобы городовой мог заметить значительный орден на шее.

— Чиновника Пселдонимова, легистратора, — отвечал, выпрямившись, городовой, мигом успевший разглядеть отличие.

— Пселдонимова? Ба! Пселдонимова!.. Что ж он? женится?

— Женится, ваше высокородие, на титулярного советника дочери. Млекопитаев, титулярный советник… в управе служил. Этот дом за невестой ихней идет-с.

— Так что теперь уж это Пселдонимова, а не Млекопитаева дом?

— Пселдонимова, ваше высокородие. Млекопитаева был, а теперь Пселдонимова.

— Гм. Я потому тебя, братец, спрашиваю, что я начальник его. Я генерал над тем самым местом, где Пселдонимов служит.

— Точно так, ваше превосходительство. — Городовой вытянулся окончательно, а Иван Ильич как будто задумался. Он стоял и соображал…

Да, действительно Пселдонимов был из его ведомства, из самой его канцелярии; он припоминал это. Это был маленький чиновник, рублях на десяти в месяц жалованья. Так как господин Пралинский принял свою канцелярию еще очень недавно, то мог и не помнить слишком подробно всех своих подчиненных, но Пселдонимова он помнил, именно по случаю его фамилии. Она бросилась ему в глаза с первого разу, так что он тогда же полюбопытствовал взглянуть на обладателя такой фамилии повнимательнее. Он припомнил теперь еще очень молодого человека, с длинным горбатым носом, с белобрысыми и клочковатыми волосами, худосочного и худо выкормленного, в невозможном вицмундире и в невозможных даже до неприличия невыразимых[*]. Он помнил, как у него тогда же мелькнула мысль: не определить ли бедняку рублей десяток к празднику для поправки? Но так как лицо этого бедняка было слишком постное, а взгляд крайне

несимпатичный, даже возбуждающий отвращение, то добрая мысль сама собой как-то испарилась, так что Пселдонимов и остался без награды. Тем сильнее изумил его этот же самый Пселдонимов не более как неделю назад своей просьбой жениться. Иван Ильич помнил, что ему как-то не было времени заняться этим делом подробнее, так что дело о свадьбе решено было слегка, наскоро. Но все-таки он с точностию припоминал, что за невестой своей Пселдонимов берет деревянный дом и четыреста рублей чистыми деньгами; это обстоятельство тогда же его удивило; он помнил, что даже слегка сострил над столкновением фамилий Пселдонимова и Млекопитаевой. Он ясно припоминал всё это.

Припоминал он и всё более и более раздумывался. Известно, что целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный. Но мы постараемся перевесть все эти ощущения героя нашего и представить читателю хотя бы только сущность этих ощущений, так сказать, то, что было в них самое необходимое и правдоподобное. Потому что ведь многие из ощущений наших, в переводе на обыкновенный язык, покажутся совершенно неправдоподобными. Вот почему они никогда и на свет не являются, а у всякого есть. Разумеется, ощущения и мысли Ивана Ильича были немного бессвязны. Но ведь вы знаете причину.

«Что же! — мелькало в его голове, — вот мы все говорим, говорим, а коснется до дела, и только шиш выходит. Вот пример, хоть бы этот самый Пселдонимов: он приехал давеча от венца в волнении, в надежде, ожидая вкусить… Это один из блаженнейших дней его жизни… Теперь он возится с гостями, задает пир — скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний… Что ж, если б он узнал, что в эту самую минуту я, я, его начальник, его главный начальник, тут же стою у его дома и слушаю его музыку! А и в самом деле, что бы с ним было? Нет, что бы с ним было, если б я теперь же вдруг взял и вошел? гм… Разумеется, сначала он испугался бы, онемел бы от замешательства. Я помешал бы ему, я расстроил бы, может быть, всё… Да, так и было бы, если б вошел всякий другой генерал, но не я… В том-то и дело, что всякий, да только не я…

Да, Степан Никифорович! Вот вы не понимали меня давеча, а вот вам и готовый пример.

Да-с. Мы все кричим о гуманности, но героизма, подвига мы сделать не в состоянии.

Какого героизма? Такого. Рассудите-ка: при теперешних отношениях всех членов общества мне, мне войти в первом часу ночи на свадьбу своего подчиненного, регистратора, на десяти рублях, да ведь это замешательство, это — коловращенье идей, последний день Помпеи[*], сумбур! Этого никто не поймет. Степан Никифорович умрет — не поймет. Ведь сказал же он: не выдержим. Да, но это вы, люди старые, люди паралича и косности, а я вы-дер-жу! Я обращу последний день Помпеи в сладчайший день для моего подчиненного, и поступок дикий — в нормальный, патриархальный, высокий и нравственный. Как? Так. Извольте прислушать…

Ну… вот я, положим, вхожу: — они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пятятся. Так-с, но тут-то я и выказываюсь: я прямо иду к испуганному Пселдонимову и с самой ласковой улыбкой, так-таки в самых простых словах говорю: „Так и так, дескать, был у его превосходительства Степана Никифоровича. Полагаю, знаешь, здесь, по соседству… “ Ну, тут слегка, в смешном этак виде, рассказываю приключение с Трифоном. От Трифона перехожу к тому, как пошел пешком… „Ну — слышу музыку, любопытствую у городового и узнаю, брат, что ты женишься. Дай, думаю, зайду к подчиненному, посмотрю, как мои чиновники веселятся и… женятся. Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю!“ Прогонишь! Каково словечко для подчиненного. Какой уж тут черт прогонишь! Я думаю, он с ума сойдет, со всех ног кинется меня в кресло сажать, задрожит от восхищенья, не сообразится даже на первый раз!..

Ну, что может быть проще, изящнее такого поступка! Зачем я вошел? Это другой вопрос! Это уже, так сказать, нравственная сторона дела. Вот тут-то и сок!

Гм… Об чем, бишь, я думал? Да!

Ну уж, конечно, они меня посадят с самым важным гостем, какой-нибудь там титулярный али родственник, отставной штабс-капитан с красным носом… Славно этих оригиналов Гоголь описывал. Ну знакомлюсь, разумеется, с молодой, хвалю ее, ободряю гостей. Прошу их не стесняться, веселиться, продолжать танцы, острю, смеюсь, одним словом — я любезен и мил. Я всегда любезен и мил, когда доволен собой… Гм… то-то и есть, что я всё еще, кажется, немного того… то

есть не пьян, а так…

…Разумеется, я, как джентльмен, на равной с ними ноге и отнюдь не требую каких-нибудь особенных знаков… Но нравственно, нравственно дело другое: они поймут и оценят… Мой поступок воскресит в них всё благородство… Ну и сижу полчаса… Даже час. Уйду, разумеется, перед самым ужином, а уж они-то захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут, но я только выпью бокал, поздравлю, а от ужина откажусь. Скажу: дела. И уж только что я произнесу „дела“, у всех тотчас же станут почтительно строгие лица. Этим я деликатно напомню, что они и я — это разница-с. Земля и небо. Я не то чтобы хотел это внушать, но надо же… даже в нравственном смысле необходимо, что уж там ни говори. Впрочем, я тотчас же улыбнусь, даже посмеюсь, пожалуй, и мигом все ободрятся… Пошучу еще раз с молодой; гм… даже вот что: намекну, что приду опять ровнешенько через девять месяцев в качестве кума, хе-хе! А она, верно, родит к тому времени. Ведь они плодятся, как кролики. Ну и все захохочут, молодая покраснеет; я с чувством поцелую ее в лоб, даже благословлю ее и… и назавтра в канцелярии мой подвиг уже известен. Назавтра я опять строг, назавтра я опять взыскателен, даже неумолим, но все они уже знают, кто я такой. Душу мою знают, суть мою знают: „Он строг как начальник, но как человек — он ангел!“ И вот я победил; я уловил каким-нибудь одним маленьким поступком, которого вам и в голову не придет; они уж мои; я отец, они дети… Ну-тка, ваше превосходительство, Степан Никифорович, подите-ка сделайте эдак…

…Да знаете ли вы, понимаете ли, что Пселдонимов будет детям своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе! Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священнейший анекдот, что сановник, государственный муж (а я всем этим к тому времени буду) удостоил их… и т. д. и т. д. Да ведь я униженного нравственно подыму, я самому себе его возвращу… Ведь он десять рублей в месяц жалованья получает!.. Да ведь повтори я это раз пять, али десять, али что-нибудь в этом же роде, так повсеместную популярность приобрету… У всех в сердцах буду напечатлен, и ведь черт один знает, что из этого потом может выйти, из популярности-то!..»

Так или почти так рассуждал Иван Ильич (господа, мало ли что человек говорит иногда про себя, да еще несколько в эксцентрическом

состоянии). Все эти рассуждения промелькнули в его голове в какие-нибудь полминуты, и, конечно, он, может, и ограничился бы этими мечтаньицами и, мысленно пристыдив Степана Никифоровича, преспокойно отправился бы домой и лег спать. И славно бы сделал! Но вся беда в том, что минута была эксцентрическая.

Как нарочно, вдруг, в это самое мгновение в настроенном воображении его нарисовались самодовольные лица Степана Никифоровича и Семена Ивановича.

— Не выдержим! — повторил Степан Никифорович, свысока улыбаясь.

— Хи-хи-хи! — вторил ему Семен Иванович своей самой прескверной улыбкой.

— А вот и посмотрим, как не выдержим! — решительно сказал Иван Ильич, и даже жар бросился ему в лицо. Он сошел с мостков и твердыми шагами прямо направился через улицу в дом своего подчиненного, регистратора Пселдонимова.

Звезда увлекала его. Он бодро вошел в отпертую калитку и с презрением оттолкнул ногой маленькую, лохматую и осипшую шавку, которая, более для приличия, чем для дела, бросилась к нему с хриплым лаем под ноги. По деревянной настилке дошел он до крытого крылечка, будочкой выходившего на двор, и по трем ветхим деревянным ступенькам поднялся в крошечные сени. Тут хоть и горел где-то в углу сальный огарок или что-то вроде плошки, но это не помешало Ивану Ильичу, так, как есть, в калошах, попасть левой ногой в галантир*, выставленный для остужения. Иван Ильич нагнулся и, посмотрев с любопытством, увидел, что тут стоят еще два блюда с каким-то заливным, да еще две формы, очевидно, с бламанже*. Раздавленный галантир его было сконфузил, и на одно самое маленькое мгновение у него промелькнула мысль: не улизнуть ли сейчас же? Но он почел это слишком низким. Рассудив, что никто не видал и на него уж никак не подумают, он поскорее обтер калошу, чтобы скрыть все следы, нащупал обитую войлоком дверь, растворил ее и очутился в премаленькой передней. Одна половина ее была буквально завалена шинелями, бекешами, салопами, капорами, шарфами и калошами. В другой расположились музыканты: две скрипки, флейта и контрбас, всего четыре человека, взятые, разумеется, с улицы. Они сидели за некрашеным деревянным столиком, при одной сальной свечке, и во всю

ивановскую допиливали последнюю фигуру кадрили. Из отпертой двери в залу можно было разглядеть танцующих, в пыли, в табаке и в чаду. Было как-то бешено весело. Слышался хохот, крики и дамские взвизги. Кавалеры топали, как эскадрон лошадей. Над всем содомом звучала команда распорядителя танцев, вероятно, чрезвычайно развязного и даже расстегнувшегося человека: «Кавалеры вперед, шен де дам, балансе![*]» и проч., и проч. Иван Ильич в некотором волнении сбросил с себя шубу и калоши и с шапкой в руке вошел в комнату. Впрочем, он уж и не рассуждал…

В первую минуту его никто не заметил: все доплясывали кончавшийся танец. Иван Ильич стоял как оглушенный и ничего подробно не мог разглядеть в этой каше. Мелькали дамские платья, кавалеры с папиросами в зубах… Мелькнул светло-голубой шарф какой-то дамы, задевший его по носу. За ней в бешеном восторге промчался медицинский студент с разметанными вихрем волосами и сильно толкнул его по дороге. Мелькнул еще перед ним, длинный как верста, офицер какой-то команды. Кто-то неестественно визгливым голосом прокричал, пролетая и притопывая вместе с другими: «Э-э-эх, Пселдонимушка!» Под ногами Ивана Ильича было что-то липкое: очевидно, пол навощили воском. В комнате, впрочем не очень малой, было человек до тридцати гостей.

Но через минуту кадриль кончилась, и почти тотчас же произошло то же самое, что представлялось Ивану Ильичу, когда он еще мечтал на мостках. По гостям и танцующим, еще не успевшим отдышаться и обтереть с лица пот, прошел какой-то гул, какой-то необыкновенный шепот. Все глаза, все лица начали быстро оборачиваться к вошедшему гостю. Затем все тотчас же стали понемногу отступать и пятиться. Незамечавших дергали за платье и образумливали. Они оглядывались и тотчас же пятились вместе с прочими. Иван Ильич всё еще стоял в дверях, не двигаясь ни шагу вперед, а между ним и гостями всё более и более очищалось открытое пространство, усеянное на полу бесчисленными конфетными бумажками, билетиками и окурками папирос. Вдруг в это пространство робко выступил молодой человек, в вицмундире, с вихроватыми, белокурыми волосами и с горбатым носом. Он подвигался вперед, согнувшись и смотря на неожиданного гостя совершенно с таким же точно видом, с каким собака смотрит на своего хозяина, зовущего ее, чтоб дать ей пинка.

— Здравствуй, Пселдонимов, узнаешь?.. — сказал Иван Ильич и в то же мгновение почувствовал, что он это ужасно неловко сказал; он почувствовал тоже, что, может быть, делает в эту минуту страшнейшую глупость.

— В-в-ваше прево-сходительство!.. — пробормотал Пселдонимов.

— Ну, то-то. Я, брат, к тебе совершенно случайно зашел, как, вероятно, ты и сам можешь это себе представить…

Но Пселдонимов, очевидно, ничего не мог представить. Он стоял, выпучив глаза, в ужасающем недоумении.

— Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю… Рад не рад, а гостя принимай!.. — продолжал Иван Ильич, чувствуя, что конфузится до неприличной слабости, желает улыбнуться, но уже не может; что юмористический рассказ о Степане Никифоровиче и Трифоне становится всё более и более невозможным. Но Пселдонимов, как нарочно, не выходил из столбняка и продолжал смотреть с совершен но дурацким видом. Ивана Ильича передернуло, он чувствовал, что еще одна такая минута, и произойдет невероятный сумбур.

— Я уж не помешал ли чему… я уйду! — едва выговорил он, и какая-то жилка затрепетала у правого края его губ…

Но Пселдонимов уже опомнился…

— Ваше превосходительство, помилуйте-с… Честь. — бормотал он, уторопленно кланяясь, — удостойте присесть-с… — И еще более очнувшись, он обеими руками указывал ему на диван, от которого для танцев отодвинули стол…

Иван Ильич отдохнул душою и опустился на диван; тотчас же кто-то кинулся придвигать стол. Он бегло осмотрелся и заметил, что он один сидит, а все другие стоят, даже дамы. Признак дурной. Но напоминать и ободрять было еще не время. Гости всё еще пятились, а перед ним, скрючившись, стоял всё еще один только Пселдонимов, всё еще ничего не понимающий и далеко не улыбающийся. Было скверно, короче: в эту минуту наш герой вынес столько тоски, что действительно его гарун-аль-рашидское нашествие*, ради принципа, к подчиненному могло бы почесться подвигом. Но вдруг какая-то фигурка очутилась подле Пселдонимова и начала кланяться. К невыразимому своему удовольствию и даже счастью, Иван Ильич тотчас же распознал столоначальника из своей канцелярии, Акима Петровича Зубикова, с которым он хоть, конечно, и не был знаком, но знал его за дельного и

бессловесного чиновника. Он немедленно встал и протянул Акиму Петровичу руку, всю руку, а не два пальца. Тот принял ее обеими ладонями в глубочайшем почтении. Генерал торжествовал; всё было спасено.

И действительно, теперь уже Пселдонимов был, так сказать, не второе, а уже третье лицо. С рассказом можно было обратиться прямо к столоначальнику, за нужду приняв его за знакомого и даже короткого, а Пселдонимов тем временем мог только молчать и трепетать от благоговения. Следственно, приличия были соблюдены. А рассказ был необходим; Иван Ильич это чувствовал; он видел, что все гости ожидают чего-то, что в обеих дверях столпились даже все домочадцы и чуть не взлезают друг на друга, чтоб его поглядеть и послушать. Скверно было то, что столоначальник, по глупости своей, всё еще не садился.

— Что же вы! — проговорил Иван Ильич, неловко указывая ему подле себя на диване.

— Помилуйте-с… я и здесь-с… — и Аким Петрович быстро сел на стул, подставленный ему почти на лету упорно остававшимся на ногах Пселдонимовым.

— Можете себе представить случай, — начал Иван Ильич, обращаясь исключительно к Акиму Петровичу несколько дрожащим, но уже развязным голосом. Он даже растягивал и разделял слова, ударял на слоги, букву *а* стал выговаривать как-то на *э*, одним словом, сам чувствовал и сознавал, что кривляется, но уже совладать с собою не мог; действовала какая-то внешняя сила. Он ужасно много и мучительно сознавал в эту минуту.

— Можете себе представить, я только что от Степана Никифоровича Никифорова, слышали, может быть, тайный советник. Ну… в этой комиссии…

Аким Петрович почтительно нагнулся всем корпусом вперед: «Дескать, как не слыхать-с».

— Он теперь твой сосед, — продолжал Иван Ильич, на один миг, для приличия и для непринужденности, обращаясь к Пселдонимову, но быстро отворотился, увидав тотчас же по глазам Пселдонимова, что тому это решительно всё равно.

— Старик, как вы знаете, бредил всю жизнь купить себе дом… Ну и купил. И прехорошенький дом. Да… А тут и его рождение сегодня

подошло, и ведь никогда прежде не праздновал, даже таил от нас, отнекивался по скупости, хе-хе! а теперь так обрадовался новому дому, что пригласил меня и Семена Ивановича. Знаете: Шипуленко.

Аким Петрович опять нагнулся. С усердием нагнулся! Иван Ильич несколько утешился. А то уж ему приходило в голову, что столоначальник, пожалуй, догадывается, что он в эту минуту необходимая точка опоры для его превосходительства. Это было бы всего сквернее.

— Ну, посидели втроем, шампанского нам поставил, поговорили о делах… Ну о том о сем… о во-про-сах… Даже пос-по-рили… Хе-хе!

Аким Петрович почтительно поднял брови.

— Только дело не в этом. Прощаюсь с ним наконец, старик аккуратный, ложится рано, знаете, к старости. Выхожу… нет моего Трифона! Тревожусь, расспрашиваю: «Куда девал Трифон карету?» Открывается, что он, понадеясь, что я засижусь, отправился на свадьбу к какой-то своей куме или к сестре… уж бог его знает. Здесь же где-то на Петербургской. Да и карету уж кстати с собою захватил. — Генерал опять для приличия взглянул на Пселдонимова. Того немедленно скрючило, но вовсе не так, как надобно было генералу. «Сочувствия, сердца нет», — промелькнуло в его голове.

— Скажите! — проговорил глубоко пораженный Аким Петрович. Маленький гул удивления прошел по всей толпе.

— Можете себе представить мое положение… (Иван Ильич взглянул на всех). Нечего делать, иду пешком. Думаю, добреду до Большого проспекта, да и найду какого-нибудь ваньку… хе-хе!

— Хи-хи-хи! — почтительно отозвался Аким Петрович. Опять гул, но уже на веселый лад, прошел по толпе. В это время с треском лопнуло стекло на стенной лампе. Кто-то с жаром бросился поправлять ее. Пселдонимов встрепенулся и строго посмотрел на лампу, но генерал даже не обратил внимания, и всё успокоилось.

— Иду… а ночь такая прекрасная, тихая. Вдруг слышу музыку, топот, танцуют. Любопытствую у городового: Пселдонимов женится. Да ты, брат, на всю Петербургскую сторону балы задаешь? ха-ха, — вдруг обратился он опять к Пселдонимову.

— Хи-хи-хи! да-с… — отозвался Аким Петрович; гости опять пошевелились, но всего глупее было то, что Пселдонимов хоть и поклонился опять, но даже и теперь не улыбнулся, точно он был

деревянный. «Да он дурак, что ли! — подумал Иван Ильич, — тут-то бы и улыбаться ослу, и всё бы пошло как по маслу». Нетерпение бушевало в его сердце. — Думаю, дай войду к подчиненному. Ведь не прогонит же он меня… рад не рад, а принимай гостя. Ты, брат, пожалуйста, извини. Если я чем помешал, я уйду… Я ведь только зашел посмотреть…

Но мало-помалу уже начиналось всеобщее движение. Аким Петрович смотрел с услащенным видом: «Дескать, можете ли, ваше превосходительство, помешать?». Все гости пошевеливались и стали обнаруживать первые признаки развязности. Дамы почти все уже сидели. Знак добрый и положительный. Посмелее из них обмахивались платочками. Одна из них, в истертом бархатном платье, что-то нарочно громко проговорила. Офицер, к которому она обратилась, хотел было ей ответить тоже погромче, но так как они были только двое из громких, то спасовал. Мужчины, всё более канцеляристы и два-три студента, переглядывались, как бы подталкивая друг друга развернуться, откашливались и даже начали ступать по два шага в разные стороны. Впрочем, никто особенно не робел, а только все были дики и почти все про себя враждебно смотрели на персону, ввалившуюся к ним, чтоб нарушить их веселье. Офицер, устыдясь своего малодушия, начал понемногу приближаться к столу.

— Да послушай, брат, позволь спросить, как твое имя и отчество? — спросил Иван Ильич Пселдонимова.

— Порфирий Петров, ваше превосходительство, — отвечал тот, выпуча глаза, точно на смотру.

— Познакомь же меня, Порфирий Петрович, с твоей молодой женой… Поведи меня… я…

И он обнаружил было желание привстать. Но Пселдонимов кинулся со всех ног в гостиную. Впрочем, молодая стояла тут же в дверях, но, только что услыхала, что о ней идет речь, тотчас спряталась. Через минуту Пселдонимов вывел ее за руку. Все расступались, давая им ход. Иван Ильич торжественно привстал и обратился к ней с самой любезной улыбкой.

— Очень, очень рад познакомиться, — произнес он с самым великосветским полупоклоном, — и тем более в такой день…

Он прековарно улыбнулся. Дамы приятно заволновались.

— Шарме[*], — произнесла дама в бархатном платье почти вслух.

Молодая стоила Пселдонимова. Это была худенькая дамочка, всего еще лет семнадцати, бледная, с очень маленьким лицом и с востреньким носиком. Маленькие глазки ее, быстрые и беглые, вовсе не конфузились, напротив, смотрели пристально и даже с оттенком какой-то злости. Очевидно, Пселдонимов брал ее не за красоту. Одета она была в белое кисейное платье на розовом чехле. Шея у нее была худенькая, тело цыплячье, выставлялись кости. На привет генерала она ровно ничего не сумела сказать.

— Да она у тебя прехорошенькая, — продолжал он вполголоса, как будто обращаясь к одному Пселдонимову, но нарочно так, чтоб и молодая слышала. Но Пселдонимов ровно ничего и тут не ответил, даже и не покачнулся на этот раз. Ивану Ильичу показалось даже, что в глазах его есть что-то холодное, затаенное, даже что-то себе на уме, особенное, злокачественное. И, однако ж, во что бы ни стало надо было добиться чувствительности. Ведь для нее-то он и пришел.

«Однако парочка! — подумал он. — Впрочем…»

И он снова обратился к молодой, поместившейся возле него на диване, но на два или на три вопроса свои получил опять только «да» и «нет», да и тех, правда, вполне не получил.

«Хоть бы она поконфузилась, — продолжал он про себя. — Я бы тогда шутить начал. А то ведь мое-то положение безвыходное». И Аким Петрович, как нарочно, тоже молчал, хоть и по глупости, но всё же было неизвинительно.

— Господа! уж я не помешал ли вашим удовольствиям? — обратился было он ко всем вообще. Он чувствовал, что у него даже ладони потеют.

— Нет-с… Не беспокойтесь, ваше превосходительство, сейчас начнем, а теперь… прохлаждаемся-с, — отвечал офицер. Молодая с удовольствием на него поглядела: офицер был еще не стар и носил мундир какой-то команды. Пселдонимов стоял тут же, подавшись вперед, и, казалось, еще более, чем прежде, выставлял свой горбатый нос. Он слушал и смотрел, как лакей, стоящий с шубой в руках и ожидающий окончания прощального разговора своих господ. Это сравнение сделал сам Иван Ильич; он терялся, он чувствовал, что ему неловко, ужасно неловко, что почва ускользает из-под его ног, что он куда-то зашел и не может выйти, точно в потемках.

Вдруг все расступились, и появилась невысокая и плотная

женщина, уже пожилая, одетая просто, хотя и принарядившаяся, в большом платке на плечах, зашпиленном у горла, и в чепчике, к которому она, видимо, не привыкла. В руках ее был небольшой круглый поднос, на котором стояла непочатая, но уже раскупоренная бутылка шампанского и два бокала, ни больше, ни меньше. Бутылка, очевидно, назначалась только для двух гостей.

Пожилая женщина прямо приблизилась к генералу.

— Уж не взыщите, ваше превосходительство, — сказала она, кланяясь, — а уж коль не погнушались нами, оказали честь к сыночку на свадьбу пожаловать, так уж просим милости, поздравьте вином молодых. Не погнушайтесь, окажите честь.

Иван Ильич схватился за нее, как за спасение. Она была еще вовсе нестарая женщина, лет сорока пяти или шести, не больше. Но у ней было такое доброе, румяное, такое открытое, круглое русское лицо, она так добродушно улыбалась, так просто кланялась, что Иван Ильич почти утешился и начал было надеяться.

— Так вы-ы-ы ро-ди-тель-ница вашего сы-на? — сказал он, привстав с дивана.

— Родительница, ваше превосходительство, — промямлил Пселдонимов, вытягивая свою длинную шею и снова выставляя свой нос.

— А! Очень рад, о-чень рад познакомиться.

— Так не побрезгайте, ваше превосходительство.

— С превеликим даже удовольствием. Поднос поставили, вино налил подскочивший Пселдонимов. Иван Ильич, всё еще стоя, взял бокал.

— Я особенно, особенно рад этому случаю, что могу… — начал он, — что могу… при сем засвидетельствовать… Одним словом, как начальник… желаю вам, сударыня (он обратился к новобрачной), и тебе, мой друг Порфирий, — желаю полного, благополучного и долгого счастья.

И он даже с чувством выпил бокал, счетом седьмой в этот вечер. Пселдонимов смотрел серьезно и даже угрюмо. Генерал начинал мучительно его ненавидеть.

«Да и этот верзила (он взглянул на офицера) тут же торчит. Ну что бы хоть ему прокричать: ура! И пошло бы, и пошло бы…»

— Да и вы, Аким Петрович, выпейте и поздравьте, — прибавила

старуха, обращаясь к столоначальнику. — Вы начальник, он вам подчиненный. Наблюдайте сыночка-то, как мать прошу. Да и впредь нас не забывайте, голубчик наш, Аким Петрович, добрый вы человек.

«А ведь какие славные эти русские старухи! — подумал Иван Ильич. — Всех оживила. Я всегда любил народность…»

В эту минуту к столу поднесли еще поднос. Несла девка, в шумящем, еще не мытом ситцевом платье и в кринолине. Она едва обхватывала поднос руками, так он был велик. На нем стояло бесчисленное множество тарелочек с яблоками, с конфетами, с пастилой, с мармеладом, с грецкими орехами и проч. и проч. Поднос стоял до сих пор в гостиной, для угощения всех гостей, и преимущественно дам. Но теперь его перенесли к одному генералу.

— Не побрезгайте, ваше превосходительство, нашим яством. Чем богаты, тем и рады, — повторяла, кланяясь, старуха.

— Помилуйте… — сказал Иван Ильич и даже с удовольствием взял и раздавил между пальцами один грецкий орех. Он уже решился быть до конца популярным.

Между тем молодая вдруг захихикала.

— Что-с? — спросил Иван Ильич с улыбкой, обрадовавшись признакам жизни.

— Да вот-с, Иван Костенькиныч смешит, — отвечала она потупившись.

Генерал действительно рассмотрел одного белокурого юношу, очень недурного собой, спрятавшегося на стуле с другой стороны дивана и что-то нашептывавшего madame Пселдонимовой. Юноша привстал. Он, по-видимому, был очень застенчив и очень молод.

— Я про «сонник» им говорил, ваше превосходительство, — пробормотал он, как будто извиняясь.

— Про какой же это сонник? — спросил Иван Ильич снисходительно.

— Новый сонник-с есть-с, литературный-с.* Я им говорил-с, если господина Панаева во сне увидеть-с, то это значит кофеем манишку залить-с.

«Экая невинность», — подумал даже со злобою Иван Ильич. Молодой человек хоть и очень разрумянился, говоря это, но до невероятности был рад, что рассказал про господина Панаева.

— Ну да, да, я слышал… — отозвался его превосходительство.

— Нет, вот еще лучше есть, — проговорил другой голос подле самого Ивана Ильича, — новый лексикон издается, так, говорят, господин Краевский будет писать статьи[*], Алфераки… и *а* бличительная литература…

Проговорил это молодой человек, но уже не конфузливый, а довольно развязный. Он был в перчатках, белом жилете и держал шляпу в руках. Он не танцевал, смотрел высокомерно, потому что был один из сотрудников сатирического журнала «Головешка»[*], задавал тону и попал на свадьбу случайно, приглашенный как почетный гость Пселдонимовым, с которым был на *ты* и с которым, еще прошлого года, вместе бедствовал у одной немки «в углах». Водку он, однако ж, пил и уже неоднократно для этого отлучался в одну укромную заднюю комнатку, куда все знали дорогу. Генералу он ужасно не понравился.

— И это потому смешно-с, — с радостью перебил вдруг белокурый юноша, рассказавший про манишку и на которого сотрудник в белом жилете посмотрел за это с ненавистью, — потому смешно, ваше превосходительство, что сочинителем полагается, будто бы господин Краевский правописания не знает и думает, что «обличительную литературу» надобно писать *а* бличительная литература…

Но бедный юноша едва докончил. Он по глазам увидал, что генерал давно уже это знает, потому что сам генерал тоже как будто сконфузился и, очевидно, оттого, что знал это. Молодому человеку стало до невероятности совестно. Он успел куда-то поскорее стушеваться и потом всё остальное время был очень грустен. Взамен того развязный сотрудник «Головешки» подошел еще ближе и, казалось, намеревался где-нибудь поблизости сесть. Такая развязность показалась Ивану Ильичу несколько щекотливой. — Да! скажи, пожалуйста, Порфирий, — начал он, чтобы что-нибудь говорить, — почему — я всё тебя хотел спросить об этом лично — почему тебя зовут Пселдонимов, а не Псевдонимов? Ведь ты, наверное, Псевдонимов?

— Не могу в точности доложить, ваше превосходительство, — отвечал Пселдонимов.

— Это, верно, еще его отцу-с при поступлении на службу в бумагах перемешали-с, так что он и остался теперь Пселдонимов, — отозвался Аким Петрович. — Это бывает-с.

— Неп-ре-менно, — с жаром подхватил генерал, — неп-ре-мен-но, потому, сами посудите: Псевдонимов — ведь это происходит от

литературного слова «псевдоним». Ну, а Пселдонимов ничего не означает.

— По глупости-с, — прибавил Аким Петрович.

— То есть собственно что по глупости?

— Русский народ-с; по глупости изменяет иногда литеры-с и выговаривает иногда по-своему-с. Например, говорят невалид, а надо бы сказать инвалид-с.

— Ну, да… невалид, хе-хе-хе…

— Мумер тоже говорят, ваше превосходительство, — брякнул высокий офицер, у которого давно уже зудело, чтоб как-нибудь отличиться.

— То есть как это мумер?

— Мумер вместо нумер, ваше превосходительство.

— Ах да, мумер… вместо нумер… Ну да, да… хе-хе, хе!.. — Иван Ильич принужден был похихикать и для офицера.

Офицер поправил галстук.

— А вот еще говорят: нимо, — ввязался было сотрудник «Головешки». Но его превосходительство постарался этого уж не расслышать. Не для всех же было хихикать.

— *Нимо* вместо *мимо,* — приставал «сотрудник» с видимым раздражением.

Иван Ильич строго посмотрел на него.

— Ну, что пристал? — шепнул Пселдонимов сотруднику.

— Да что ж это, я разговариваю. Нельзя, что ль, и говорить, — заспорил было тот шепотом, но, однако ж, замолчал и с тайною яростью вышел из комнаты.

Он прямо пробрался в привлекательную заднюю комнатку, где для танцующих кавалеров, еще с начала вечера, поставлена была на маленьком столике, накрытом ярославскою скатертью, водка двух сортов, селедка, икра ломтиками и бутылка крепчайшего хереса из национального погребка. Со злостью в сердце он налил было себе водки, как вдруг вбежал медицинский студент, с растрепанными волосами, первый танцор и канканер на бале Пселдонимова. Он с торопливою жадностью бросился к графину.

— Сейчас начнут! — проговорил он, наскоро распоряжаясь. — Приходи смотреть: соло сделаю вверх ногами, а после ужина рискну *рыбку*[*]. Это будет даже идти к свадьбе-то. Так сказать, дружеский намек

Пселдонимову… Славная эта Клеопатра Семеновна, с ней всё что угодно можно рискнуть.

— Это ретроград, — мрачно отвечал сотрудник, выпивая рюмку.

— Кто ретроград?

— Да вот, особа-то, перед которой пастилу поставили. Ретроград! я тебе говорю.

— Ну уж ты! — пробормотал студент и бросился вон из комнаты, услышав ритурнель[*] кадрили.

Сотрудник, оставшись один, налил себе еще для большего куража и независимости, выпил, закусил, и никогда еще действительный статский советник Иван Ильич не приобретал себе более яростного врага и более неумолимого мстителя, как пренебреженный им сотрудник «Головешки», особенно после двух рюмок водки. Увы! Иван Ильич ничего не подозревал в этом роде. Не подозревал он и еще одного капитальнейшего обстоятельства, имевшего влияние на все дальнейшие взаимные отношения гостей к его превосходительству. Дело в том, что он хоть и дал с своей стороны приличное и даже подробное объяснение своего присутствия на свадьбе у своего подчиненного, но это объяснение в сущности никого не удовлетворило, и гости продолжали конфузиться. Но вдруг всё переменилось, как волшебством; все успокоились и готовы были веселиться, хохотать, визжать и плясать, точно так же, как если бы неожиданного гостя совсем не было в комнате. Причиной тому был неизвестно каким образом вдруг разошедшийся слух, шепот, известие, что гость-то, кажется, того… под шефе. И хоть дело носило с первого взгляда вид ужаснейшей клеветы, но мало-помалу стало как будто оправдываться, так что вдруг всё стало ясно. Мало того, стало вдруг необыкновенно свободно. И вот в это-то самое мгновение и началась кадриль, последняя перед ужином, на которую так торопился медицинский студент.

И только что было Иван Ильич хотел снова обратиться к новобрачной, пытаясь в этот раз донять ее каким-то каламбуром, как вдруг к ней подскочил высокий офицер и с размаху стал на одно колено. Она тотчас же вскочила с дивана и упорхнула с ним, чтоб встать в ряды кадрили. Офицер даже не извинился, а она даже не взглянула, уходя, на генерала, даже как будто рада была, что избавилась.

«Впрочем, в сущности, она в своем праве, — подумал Иван Ильич, — да и приличий они не знают».

— Гм… ты бы, брат Порфирий, не церемонился, — обратился он к Пселдонимову. — Может, у тебя там есть что-нибудь… насчет распоряжений… или там что-нибудь… пожалуйста, не стесняйся. «Что он сторожит, что ли, меня?»-прибавил он про себя.

Ему становился невыносим Пселдонимов с своей длинной шеей и глазами, пристально на него устремленными. Одним словом, всё это было не то, совсем не то, но Иван Ильич далеко еще не хотел в этом сознаться.

Кадриль началась.

— Прикажете, ваше превосходительство? — спросил Аким Петрович, почтительно держа в руках бутылку и готовясь налить в бокал его превосходительства.

— Я… я, право, не знаю, если…

Но уж Аким Петрович с благоговейно сияющим лицом наливал шампанское. Налив бокал, он как будто украдкой, как будто воровским образом, ежась и корчась, налил и себе с тою разницею, что себе на целый палец не долил, что было как-то почтительнее. Он был как женщина в родах, сидя подле ближайшего своего начальника. Об чем в самом деле заговорить? А развлечь его превосходительство следовало даже по обязанности, так как уж он имел честь составить ему компанию. Шампанское послужило выходом, да и его превосходительству даже приятно было, что тот налил, — не для шампанского, потому что оно было теплое и гадость естественнейшая, а так, нравственно приятно.

«Старику самому хочется выпить, — подумал Иван Ильич, — а без меня не смеет. Не задерживать же… Да и смешно, если бутылка так простоит между нами».

Он прихлебнул, и все-таки оно показалось лучше, чем так-то сидеть.

— Я ведь здесь, — начал он с расстановками и ударениями, — я ведь здесь, так сказать, случайно и, конечно, может быть, иные найдут… что мне… так сказать, не-при-лично быть на таком… собрании.

Аким Петрович молчал и вслушивался с робким любопытством.

— Но я надеюсь, вы поймете, зачем я здесь… Ведь не вино же в самом деле я пить пришел. Хе-хе!

Аким Петрович хотел было похихикать вслед за его

превосходительством, но как-то осекся и опять не ответил ровно ничего утешительного.

— Я здесь… чтобы, так сказать, ободрить… показать, так сказать, нравственную, так сказать, цель, — продолжал Иван Ильич, досадуя на тупость Акима Петровича, но вдруг и сам замолчал. Он увидел, что бедный Аким Петрович даже глаза опустил, точно в чем-то виноватый. Генерал в некотором замешательстве поспешил еще раз отхлебнуть из бокала, а Аким Петрович, как будто всё спасение его было в этом, схватил бутылку и подлил снова.

«А немного ж у тебя ресурсов», — подумал Иван Ильич, строго смотря на бедного Акима Петровича. Тот же, предчувствуя на себе этот строгий генеральский взгляд, решился уж молчать окончательно и глаз не подымать. Так они просидели друг перед другом минуты две, две болезненные минуты для Акима Петровича.

Два слова об Акиме Петровиче. Это был человек смирный, как курица, самого старого закала, взлелеянный на подобострастии и между тем человек добрый и даже благородный. Он был из петербургских русских, то есть и отец и отец отца его родились, выросли и служили в Петербурге и ни разу не выезжали из Петербурга. Это совершенно особенный тип русских людей. Об России они почти не имеют ни малейшего понятий, о чем вовсе и не тревожатся. Весь интерес их сужен Петербургом и, главное, местом их службы. Все заботы их сосредоточены около копеечного преферанса, лавочки и месячного жалованья. Они не знают ни одного русского обычая, ни одной русской песни, кроме «Лучинушки», да и то потому только, что ее играют шарманки. Впрочем, есть два существенные и незыблемые признака, по которым вы тотчас же отличите настоящего русского от петербургского русского. Первый признак состоит в том, что все петербургские русские, все без исключения, никогда не говорят: «Петербургские ведомости», а всегда говорят: «Академические ведомости»[*]. Второй, одинаково существенный, признак состоит в том, что петербургский русский никогда не употребляет слово «завтрак», а всегда говорит: «фрыштик[*]», особенно напирая на звук *фры*. По этим двум коренным и отличительным признакам вы их всегда различите; одним словом, это тип смиренный и окончательно выработавшийся в последние тридцать пять лет. Впрочем, Аким Петрович был вовсе не дурак. Спроси его генерал о чем-нибудь подходящем к нему, он бы и ответил и поддержал

разговор, а то ведь неприлично подчиненному и отвечать-то на такие вопросы, хотя Аким Петрович умирал от любопытства узнать что-нибудь подробнее о настоящих намерениях его превосходительства…

А между тем Иван Ильич всё более и более впадал в раздумье и в какое-то коловращение идей; в рассеянности он неприметно, но поминутно прихлебывал из бокала. Аким Петрович тотчас же и усерднейше ему подливал. Оба молчали. Иван Ильич начал было смотреть на танцы, и вскоре они несколько привлекли его внимание. Вдруг одно обстоятельство даже удивило его…

Танцы действительно были веселы. Тут именно танцевалось в простоте сердец, чтоб веселиться и даже беситься. Из танцоров ловких было очень немного; но неловкие так сильно притопывали, что их можно было принять и за ловких. Отличался, во-первых, офицер: он особенно любил фигуры, где оставался один, вроде соло. Тут он удивительно изгибался, а именно: весь, прямой как верста, он вдруг склонялся набок, так что вот, думаешь, упадет, но с следующим шагом он вдруг склонялся в противоположную сторону, под тем же косым углом к полу. Выражение лица он наблюдал серьезнейшее и танцевал в полном убеждении, что ему все удивляются. Другой кавалер со второй фигуры заснул подле своей дамы, нагрузившись предварительно еще до кадриля, так что дама его должна была танцевать одна. Молодой регистратор, отплясывавший с дамой в голубом шарфе, во всех фигурах и во всех пяти кадрилях, которые протанцованы были в этот вечер, выкидывал всё одну и ту же штуку, а именно: он несколько отставал от своей дамы, подхватывал кончик ее шарфа и на лету, при переходе визави, успевал влеплять в этот кончик десятка два поцелуев. Дама же, впереди его, плыла, как будто ничего не замечая. Медицинский студент действительно сделал соло вверх ногами и произвел неистовый восторг, топот и взвизги удовольствия. Одним словом, непринужденность была чрезвычайная. Иван Ильич, на которого и вино подействовало, начал было улыбаться, но мало-помалу какое-то горькое сомнение начало закрадываться в его душу: конечно, он очень любил развязность и непринужденность; он желал, он даже душевно звал ее, эту развязность, когда они все пятились, и вот теперь эта развязность уже стала выходить из границ. Одна дама, например, в истертом синем бархатном платье, перекупленном из четвертых рук, в шестой фигуре зашпилила свое платье булавками, так что выходило, как будто она в панталонах.

Это была та самая Клеопатра Семеновна, с которой можно было всё рискнуть, по выражению ее кавалера, медицинского студента. Об медицинском студенте и говорить было нечего: просто Фокин[*]. Как же это? То пятились, а тут вдруг так скоро эманципировались! Кажись бы, и ничего, но как-то странен был этот переход: он что-то предвещал. Точно совсем они и забыли, что есть на свете Иван Ильич. Разумеется, он хохотал первый и даже рискнул аплодировать. Аким Петрович почтительно хихикал ему в унисон, хотя, впрочем, с видимым удовольствием и не подозревая, что его превосходительство начинал уже откармливать в сердце своем нового червяка.

— Славно, молодой человек, танцуете, — принужден был Иван Ильич сказать студенту, проходившему мимо: только что кончилась кадриль.

Студент круто повернулся к нему, скорчил какую-то гримасу и, приблизив свое лицо к его превосходительству на близкое до неприличия расстояние, во всё горло прокричал петухом. Это уже было слишком. Иван Ильич встал из-за стола. Несмотря на то, последовал залп неудержимого хохоту, потому что крик петуха был удивительно натурален, а вся гримаса совершенно неожиданна. Иван Ильич еще стоял в недоумении, как вдруг явился сам Пселдонимов и, кланяясь, стал просить к ужину. Вслед за ним явилась и мать его.

— Батюшка, ваше превосходительство, — говорила она, кланяясь, — окажите честь, не погнушайтесь нашей бедностью…

— Я… я, право, не знаю… — начал было Иван Ильич, — я ведь не для того… я… хотел было уж идти…

Действительно, он держал в руках шапку. Мало того: тут же, в это самое мгновение, он дал себе честное слово непременно, сейчас же, во что бы то ни стало уйти и ни за что не оставаться и… и остался. Через минуту он открыл шествие к столу. Пселдонимов и мать его шли перед ним и раздвигали ему дорогу. Посадили его на самое почетное место, и опять непочатая бутылка шампанского очутилась перед его прибором. Стояла закуска: селедка и водка. Он протянул руку, сам налил огромную рюмку водки и выпил. Он никогда прежде не пил водки. Он чувствовал, что как будто катится с горы, летит, летит, летит, что надо бы удержаться, уцепиться за что-нибудь, но нет к тому никакой возможности.

Действительно, положение его становилось всё более и более

эксцентричным. Мало того: это была какая-то насмешка судьбы. С ним бог знает что произошло в какой-нибудь час. Когда он входил, он, так сказать, простирал объятия всему человечеству и всем своим подчиненным; и вот не прошло какого-нибудь часу, и он, всеми болями своего сердца, слышал и знал, что он ненавидит Пселдонимова, проклинает его, жену его и свадьбу его. Мало того: он по лицу, по глазам одним видел, что и сам Пселдонимов его ненавидит, что он смотрит, чуть-чуть не говоря: «А чтоб ты провалился, проклятый! Навязался на шею!..» Всё это он уже давно прочел в его взгляде.

Конечно, Иван Ильич даже и теперь, садясь за стол, дал бы себе скорее руку отсечь, чем признался бы искренно, не только вслух, но даже себе самому, что всё это действительно точно так было. Минута еще вполне не пришла, а теперь еще было какое-то нравственное балансе. Но сердце, сердце… оно ныло! оно просилось на волю, на воздух, на отдых. Ведь слишком уж добрый человек был Иван Ильич.

Он ведь знал, очень хорошо знал, что еще давно бы надо было уйти, и не только уйти, но даже спасаться. Что всё это вдруг стало не тем, ну совершенно не так обернулось, как мечталось давеча на мостках.

«Я ведь зачем пришел? Я разве затем пришел, чтоб здесь есть и пить?» — спрашивал он себя, закусывая селедку. Он даже приходил в отрицание. В душе его шевелилась мгновениями ирония на собственный подвиг. Он начинал даже сам не понимать, зачем, в самом деле, он вошел?

Но как было уйти? Так уйти, не докончив, было невозможно. «Что скажут? Скажут, что я по неприличным местам таскаюсь. Оно даже и в самом деле выйдет так, если не докончить. Что скажет, например, завтра же (потому что ведь везде разнесется) Степан Никифорыч, Семен Иваныч, в канцеляриях, у Шембелей, у Шубиных? Нет, надо так уйти, чтоб они все поняли, зачем я приходил, надо нравственную цель обнаружить… — А между тем патетический момент никак не давался. — Они даже не уважают меня, — продолжал он. — Чему они смеются? Они так развязны, как будто бесчувственные… Да, я давно подозревал всё молодое поколение в бесчувственности! Надо остаться во что бы то ни стало!.. Теперь они танцевали, а вот за столом будут в сборе… Заговорю о вопросах, о реформах, о величии России… я их еще увлеку! Да! Может быть, еще совершенно ничего не потеряно… Может быть, так и всегда бывает в действительности. С чего бы только с ними

начать, чтоб их привлечь? Какой бы это такой прием изобресть? Теряюсь, просто теряюсь… И чего им надо, чего они требуют?.. Я вижу, они там пересмеиваются… Уж не надо мной ли, господи боже! Да чего мне-то надо… я-то чего здесь, чего я-то не ухожу, чего добиваюсь?..» Он думал это, и какой-то стыд, какой-то глубокий, невыносимый стыд всё более и более надрывал его сердце.

Но всё уж так и шло, одно к другому.

Ровно две минуты спустя, как он сел за стол, одна страшная мысль овладела всем существом его. Он вдруг почувствовал, что ужасно пьян, то есть не так, как прежде, а пьян окончательно. Причиною тому была рюмка водки, выпитая вслед за шампанским и оказавшая немедленно действие. Он чувствовал, слышал всем существом своим, что слабеет окончательно. Конечно, куражу прибавилось много, но сознание не оставляло его и кричало ему: «Нехорошо, очень нехорошо, и даже совсем неприлично!» Конечно, неустойчивые пьяные думы не могли остановиться на одной точке: в нем вдруг явились, даже осязательно для него же самого, какие-то две стороны. В одной был кураж, желание победы, ниспровержение препятствий и отчаянная уверенность в том, что он еще достигнет цели. Другая сторона давала себя знать мучительным нытьем в душе и каким-то засосом на сердце. «Что скажут? чем это кончится? что завтра-то будет, завтра, завтра!..»

Прежде он как-то глухо предчувствовал, что между гостями у него уже есть враги. «Это оттого, что я, верно, и давеча был пьян», — подумал он с мучительным сомнением. Каков же был его ужас, когда он действительно, по несомненнейшим признакам, уверился теперь, что за столом действительно были враги его и что в этом уже нельзя сомневаться.

«И за что! за что!» — думал он.

За этим столом поместились все человек тридцать гостей, из которых уже некоторые были окончательно готовы. Другие вели себя с какою-то небрежною, злокачественною независимостью, кричали, говорили все вслух, провозглашали преждевременно тосты, перестреливались с дамами хлебными шариками. Один, какая-то невзрачная личность в засаленном сюртуке, упал со стула, как только сел за стол, и так и оставался до самого окончания ужина. Другой хотел непременно влезть на стол и провозгласить тост, и только офицер, схватив его за фалды, умерил преждевременный восторг его. Ужин был

совершенно разночинный, хотя и нанимался для него повар, крепостной человек какого-то генерала: был галантир, был язык под картофелем, были котлетки с зеленым горошком, был, наконец, гусь, и под конец всего бламанже. Из вин было: пиво, водка и херес. Бутылка шампанского стояла перед одним генералом, что принудило его самого налить и Акиму Петровичу, который собственной своей инициативой за ужином уже не смел распорядиться. Для тостов же прочим гостям предназначалось горское или что попало. Самый стол состоял из многих столов, составленных вместе, в число которых пошел даже ломберный. Накрыт он был многими скатертями, в числе которых была одна ярославская цветная. Гости сидели вперемежку с дамами. Родительница Пселдонимова сидеть за столом не захотела; она хлопотала и распоряжалась. Зато явилась одна злокачественная женская фигура, не показывавшаяся прежде, в каком-то красноватом шелковом платье, с подвязанными зубами и в высочайшем чепчике. Оказалось, что это была мать невесты, согласившаяся выйти наконец из задней комнаты к ужину. До сих пор она не выходила по причине непримиримой своей вражды к матери Пселдонимова; но об этом упомянем после. На генерала эта дама смотрела злобно, даже насмешливо и, очевидно, не хотела быть ему представленной. Ивану Ильичу эта фигура показалась до крайности подозрительною. Но кроме нее и некоторые другие лица были подозрительны и вселяли невольное опасение и беспокойство. Казалось даже, что они в каком-то заговоре между собою, и именно против Ивана Ильича. По крайней мере ему самому так казалось, и в продолжение всего ужина он всё более и более в том убеждался. А именно: злокачествен был один господин с бородкой, какой-то вольный художник; он даже несколько раз посмотрел на Ивана Ильича и потом, повернувшись к соседу, что-то ему нашептывал. Другой, из учащихся, был, правда, совершенно уж пьян, но все-таки по некоторым признакам подозрителен. Худые надежды подавал тоже и медицинский студент. Даже сам офицер был не совсем благонадежен. Но особенною и видимою ненавистью сиял сотрудник «Головешки»: он так развалился на стуле, он так гордо и заносчиво смотрел, так независимо фыркал! И хоть прочие гости и не обращали никакого особенного внимания на сотрудника, написавшего в «Головешке» только четыре стишка и сделавшегося оттого либералом, даже, видимо, не любили его, но когда возле Ивана Ильича упал вдруг хлебный шарик, очевидно

назначавшийся в его сторону, то он готов был дать голову на отсечение, что виновник этого шарика был не кто другой, как сотрудник «Головешки».

Всё это, конечно, действовало на него плачевным образом.

Особенно неприятно было и еще одно наблюдение: Иван Ильич совершенно убедился, что он начинает как-то неясно и затруднительно выговаривать слова, что сказать хочется очень много, но язык не двигается. Потом, что вдруг он как будто стал забываться и, главное, ни с того ни с сего вдруг фыркнет и засмеется, тогда как вовсе нечему было смеяться. Это расположение скоро прошло после стакана шампанского, который Иван Ильич хоть и налил было себе, но не хотел пить, и вдруг выпил как-то совершенно нечаянно. Ему вдруг после этого стакана захотелось чуть не плакать. Он чувствовал, что впадает в самую эксцентрическую чувствительность; он снова начинал любить, любить всех, даже Пселдонимова, даже сотрудника «Головешки». Ему захотелось вдруг обняться с ними со всеми, забыть всё и помириться. Мало того: рассказать им всё откровенно, всё, всё, то есть какой он добрый и славный человек, с какими великолепными способностями. Как будет он полезен отечеству, как умеет смешить дамский пол и, главное, какой он прогрессист, как гуманно он готов снизойти до всех, до самых низших, и, наконец, в заключение, откровенно рассказать все мотивы, побудившие его, незваного, явиться к Пселдонимову, выпить у него две бутылки шампанского и осчастливить его своим присутствием.

«Правда, святая правда прежде всего и откровенность! Я откровенностью их дойму. Они мне поверят, я вижу ясно; они даже смотрят враждебно, но когда я открою им всё, я их покорю неотразимо. Они наполнят рюмки и с криком выпьют за мое здоровье. Офицер, я уверен в этом, разобьет свою рюмку о шпору. Даже можно бы прокричать „ура!“. Даже если б покачать вздумали по-гусарски, я бы и этому не противился, даже и весьма бы хорошо было. Новобрачную я поцелую в лоб; она миленькая. Аким Петрович тоже очень хороший человек. Пселдонимов, конечно, впоследствии исправится. Ему недостает, так сказать, этого светского лоску… И хотя, конечно, нет этой сердечной деликатности у всего этого нового поколения, но… но я скажу им о современном назначении России в числе прочих европейских держав. Упомяну и о крестьянском вопросе, да и… и все они будут любить меня, и я выйду со славою!..»

Эти мечты, конечно, были очень приятны, но неприятно было то, что среди всех этих розовых надежд Иван Ильич вдруг открыл в себе еще одну неожиданную способность: именно плеваться. По крайней мере слюна вдруг начала выскакивать из его рта совершенно помимо его воли. Заметил он это на Акиме Петровиче, которому забрызгал щеку и который сидел, на смея сейчас же утереться из почтительности. Иван Ильич взял салфетку и вдруг сам утер его. Но это тотчас же показалось ему самому до того нелепым, до того вне всего здравого, что он замолчал и начал удивляться. Аким Петрович хоть и выпил, но все-таки сидел как обваренный. Иван Ильич сообразил теперь, что он уже чуть не четверть часа говорит ему о какой-то самой интереснейшей теме, но что Аким Петрович, слушая его, не только как будто конфузился, но даже чего-то боялся. Пселдонимов, сидевший через стул от него, тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив набок голову, с самым неприятным видом прислушивался. Он действительно как будто сторожил его. Окинув глазами гостей, он увидал, что многие смотрят прямо на него и хохочут. Но страннее всего было то, что при этом он вовсе не сконфузился, напротив того, он хлебнул еще раз из бокала и вдруг во всеуслышание начал говорить.

— Я сказал уже! — начал он как можно громче, — я сказал уже, господа, сейчас Акиму Петровичу, что Россия… да, именно Россия… одним словом, вы понимаете, что я хочу ска-ка-зать… Россия переживает, по моему глубочайшему убеждению, гу-гу-манность…

— Гу-гуманность! — раздалось на другом конце стола.

— Гу-гу!

— Тю-тю!

Иван Ильич было остановился. Пселдонимов встал со стула и начал разглядывать: кто крикнул? Аким Петрович украдкой покачивал головою, как бы усовещивая гостей. Иван Ильич это очень хорошо заметил, но с мучением смолчал.

— Гуманность! — упорно продолжал он, — и давеча… и именно давеча я говорил Степану Ники-ки-форовичу… да… что… что обновление, так сказать, вещей…

— Ваше превосходительство! — громко раздалось на другом конце стола.

— Что прикажете? — отвечал прерванный Иван Ильич, стараясь разглядеть, кто ему крикнул.

— Ровно ничего, ваше превосходительство, я увлекся, продолжайте! пра-дал-жайте! — послышался опять голос. Ивана Ильича передернуло.

— Обновление, так сказать, этих самых вещей…

— Ваше превосходительство! — крикнул опять голос.

— Что вам угодно?

— Здравствуйте!

На этот раз Иван Ильич не выдержал. Он прервал речь и оборотился к нарушителю порядка и обидчику. Это был один еще очень молодой учащийся, сильно наклюкавшийся и возбуждавший огромные подозрения. Он уже давно орал и даже разбил стакан и две тарелки, утверждая, что на свадьбе будто бы так и следует. В ту минуту, когда Иван Ильич оборотился к нему, офицер строго начал распекать крикуна.

— Что ты, чего орешь? Вывести тебя, вот что!

— Не про вас, ваше превосходительство, не про вас! продолжайте! — кричал развеселившийся школьник, развалясь на стуле, — продолжайте, я слушаю и очень, о-чень, о-чень вами доволен! Па-хвально, па-хвально!

— Пьяный мальчишка! — шепотом подсказал Пселдонимов.

— Вижу, что пьяный, но…

— Это я рассказал сейчас один забавный анекдот-с, ваше превосходительство! — начал офицер, — про одного поручика нашей команды, который точно так же разговаривал с начальством; так вот он теперь и подражает ему. К каждому слову начальника он всё говорил: па-хвально, па-хвально! Его еще десять лет назад за это из службы выключили.

— Ка-кой же это поручик?

— Нашей команды, ваше превосходительство, сошел с ума на похвальном. Сначала увещевали мерами кротости, потом под арест… Начальник родительским образом усовещивал; а тот ему: па-хвально, па-хвально! И странно: мужественный был офицер, девяти вершков росту. Хотели под суд отдать, но заметили, что помешанный.

— Значит… школьник. За школьничество можно бы и не так строго… Я, с своей стороны, готов простить…

— Медициной свидетельствовали, ваше превосходительство.

— Как! ана-то-мировали?

— Помилуйте, да ведь он был совершенно живой-с.

Громкий и почти всеобщий залп хохоту раздался между гостями, сначала было державшими себя чинно. Иван Ильич рассвирепел.

— Господа, господа! — закричал он, на первое время даже почти не заикаясь, — я очень хорошо в состоянии различить, что живого не анатомируют. Я полагал, что он в помешательстве был уже не живой… то есть умер… то есть я хочу сказать… что вы меня не любите… А между тем я люблю вас всех… да, и люблю Пор… Порфирия… Я унижаю себя, что так говорю…

В эту минуту преогромная салива* вылетела из уст Ивана Ильича и брызнула на скатерть, на самое видное место. Пселдонимов бросился обтирать ее салфеткой. Это последнее несчастье окончательно подавило его.

— Господа, это уж слишком! — прокричал он в отчаянии.

— Пьяный человек, ваше превосходительство, — снова было подсказал Пселдонимов.

— Порфирий! Я вижу, что вы… все… да! Я говорю, что я надеюсь… да, я вызываю всех сказать: чем я унизил себя?

Иван Ильич чуть не плакал.

— Ваше превосходительство, помилуйте-с!

— Порфирий, обращаюсь к тебе… Скажи, если я пришел… да… да, на свадьбу, я имел цель. Я хотел нравственно поднять… я хотел, чтоб чувствовали. Я обращаюсь ко всем: очень я унижен в ваших глазах или нет?

Гробовое молчание. В том-то и дело, что гробовое молчанье, да еще на такой категорический вопрос. «Ну, что бы им, что бы им хоть в эту минуту прокричать!» — мелькнуло в голове его превосходительства. Но гости только переглядывались. Аким Петрович сидел ни жив ни мертв, а Пселдонимов, немея от страха, повторял про себя ужасный вопрос, который давно уже ему представлялся: «А что-то мне за всё это завтра будет?» Вдруг сотрудник «Головешки», уже сильно пьяный, но сидевший до сих пор в угрюмом молчании, обратился прямо к Ивану Ильичу и с сверкающими глазами стал отвечать от лица всего общества.

— Да-с! — закричал он громовым голосом, — да-с, вы унизили себя, да-с, вы ретроград… Рет-ро-град!

— Молодой человек, опомнитесь! с кем вы, так сказать, говорите! — яростно закричал Иван Ильич, снова вскочив с своего

места.

— С вами, и, во-вторых, я не молодой человек… Вы пришли ломаться и искать популярности.

— Пселдонимов, что это! — вскричал Иван Ильич.

Но Пселдонимов вскочил в таком ужасе, что остановился как столб и совершенно не знал, что предпринять. Гости тоже онемели на своих местах. Художник и учащийся аплодировали, кричали «браво, браво!».

Сотрудник продолжал кричать с неудержимою яростью:

— Да, вы пришли, чтоб похвалиться гуманностью! Вы помешали всеобщему веселью. Вы пили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с десятью рублями в месяц жалованья, и я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы до молоденьких жен своих подчиненных! Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа[*]…Да, да, да!

— Пселдонимов, Пселдонимов! — кричал Иван Ильич, простирая к нему руки. Он чувствовал, что каждое слово сотрудника было новым кинжалом для его сердца. »

— Сейчас, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться! — энергически вскрикнул Пселдонимов, подскочил к сотруднику, схватил его за шиворот и вытащил вон из-за стола. Даже и нельзя было ожидать от тщедушного Пселдонимова такой физической силы. Но сотрудник был очень пьян, а Пселдонимов совершенно трезв. Затем он задал ему несколько тумаков в спину и вытолкал его в двери.

— Все вы подлецы! — кричал сотрудник, — я вас всех завтра же в «Головешке» окарикатурю!.. Все повскакали с мест.

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство! — кричали Пселдонимов, его мать и некоторые из гостей, толпясь около генерала, — ваше превосходительство, успокойтесь!

— Нет, нет! — кричал генерал, — я уничтожен… я пришел… я хотел, так сказать, крестить. И вот за всё, за всё!

Он опустился на стул, как без памяти, положил обе руки на стол и склонил на них свою голову, прямо в тарелку с бламанже. Нечего и описывать всеобщий ужас. Через минуту он встал, очевидно желая уйти, покачнулся, запнулся за ножку стула, упал со всего размаха на пол и захрапел…

Это бывает с непьющими, когда они случайно напьются. До последней черты, до последнего мгновенья сохраняют они сознание и

потом вдруг падают как подкошенные. Иван Ильич лежал на полу, потеряв всякое сознание. Пселдонимов схватил себя за волосы и замер в этом положении. Гости стали поспешно расходиться, каждый по-своему толкуя о происшедшем. Было уже около трех часов утра.

Главное дело в том, что обстоятельства Пселдонимова были гораздо хуже того, чем можно было их представить, несмотря на всю непривлекательность и одной теперешней обстановки. И покамест Иван Ильич лежит на полу, а Пселдонимов стоит над ним, в отчаянии теребя свои волосы, прервем избранное нами течение рассказа и скажем несколько пояснительных слов собственно о Порфирии Петровиче Пселдонимове.

Еще не далее как за месяц до своего брака он погибал совершенно безвозвратно. Происходил он из губернии, где отец его чем-то когда-то служил и где умер под судом. Когда, месяцев пять до женитьбы, Пселдонимов, целый уже год погибавший в Петербурге, получил свое десятирублевое место, он было воскрес и телом и духом, но вскоре опять принизился обстоятельствами. На всем свете Пселдонимовых осталось только двое, он и мать его, бросившая губернию после смерти мужа. Мать и сын погибали вдвоем на морозе и питались сомнительными материалами. Бывали дни, что Пселдонимов с кружкой сам ходил на Фонтанку за водой, чтоб там и напиться. Получив место, он кое-как устроился вместе с матерью где-то в углах. Она принялась стирать на людей белье, а он месяца четыре сколачивал экономию, чтоб как-нибудь завести себе сапоги и шинелишку. И сколько бедствий он вынес в своей канцелярии: к нему подходило начальство с вопросом, давно ли он был в бане? Про него ходила молва, что у него под воротником вицмундира гнездами заводятся клопы. Но Пселдонимов был характера твердого. G виду он был и смирен и тих; образование имел самое маленькое, разговору от него почти не было слышно никогда. Не знаю положительно: мыслил ли он, созидал ли планы и системы, мечтал ли об чем-нибудь? Но взамен того в нем выработывалась какая-то инстинктивная, кряжевая, бессознательная решимость выбиться на дорогу из скверного положения. В нем было упорство муравьиное: у муравьев разорите гнездо, и они тотчас же вновь начнут созидать его, разорите другой раз — и другой раз начнут, и так далее без устали. Это было существо устроительное и домовитое. На лбу его было видно, что он добьется дороги, устроит гнездо и, может

быть, даже скопит и про запас. Одна только мать и любила его в целом свете и любила без памяти. Женщина она была твердая, неустанная, работящая, а вместе с тем и добрая. Так бы и жили они в своих углах, может быть, еще лет пять или шесть, до перемены обстоятельств, если б не столкнулись они с отставным титулярным советником Млекопитаевым, бывшим казначеем и служившим когда-то в губернии, в последнее же время основавшимся и устроившим себя в Петербурге с своим семейством. Пселдонимова он знал и отцу его был чем-то когда-то обязан. Деньжонки у него водились, конечно небольшие, но они были; сколько их действительно было, — про это никто не знал, ни жена его, ни старшая дочь, ни родственники. Было у него две дочери, а так как он был страшный самодур, пьяница, домашний тиран и, сверх того, больной человек, то и вздумалось ему вдруг выдать одну дочь за Пселдонимова: «Я, дескать, знаю его, отец его был хороший человек, и сын будет хороший человек». Млекопитаев что хотел, то и делал; сказано — сделано. Это был очень странный самодур. Большею частию он проводил время, сидя на креслах, лишившись употребления ног от какой-то болезни, что не мешало ему, однако ж, пить водку. По целым дням он пил и ругался. Человек он был злой; ему надобно было непременно кого-нибудь и беспрерывно мучить. Для этого он держал при себе несколько дальних родственниц: свою сестру, больную и сварливую; двух сестер жены своей, тоже злых и многоязычных; потом свою старую тетку, у которой по какому-то случаю было сломано одно ребро. Держал еще одну приживалку, обрусевшую немку, за талант ее рассказывать ему сказки из «Тысячи одной ночи». Всё удовольствие его состояло шпынять над всеми этими несчастными нахлебницами, ругать их поминутно и на чем свет стоит, хотя те, не исключая и жены его, родившейся с зубною болью, не смели пред ним пикнуть слова. Он ссорил их между собою, изобретал и заводил между ними сплетни и раздоры и потом хохотал и радовался, видя, как все они чуть не дерутся между собою. Он очень обрадовался, когда старшая дочь его, бедствовавшая лет десять с каким-то офицером, своим мужем, и наконец овдовевшая, переселилась к нему с тремя маленькими больными детьми. Детей ее он терпеть не мог, но так как с появлением их увеличился матерьял, над которым можно было производить ежедневные эксперименты, то старик был очень доволен. Вся эта куча злых женщин и больных детей вместе с их мучителем теснилась в

деревянном доме на Петербургской, недоедала, потому что старик был скуп и деньги выдавал копейками, хотя и не жалел себе на водку; недосыпала, потому что старик страдал бессонницею и требовал развлечений. Одним словом, всё это бедствовало и проклинало судьбу свою. В это-то время Млекопитаев и наглядел Пселдонимова. Он был поражен его длинным носом и смиренным видом. Тщедушной и невзрачной младшей дочке его минуло тогда семнадцать лет. Она хотя и ходила когда-то в какую-то немецкую шуле*, но из нее почти ничего, кроме азов, не вынесла. Затем росла, золотушная и худосочная, под костылем безногого и пьяного родителя, в содоме домашних сплетней, шпионств и наговоров. Подруг у ней никогда не бывало, ума тоже. Замуж ей давно уже хотелось. При людях была она бессловесна, а дома, возле маиньки и приживалок, зла и сверлива, как буравчик. Она особенно любила щипаться и раздавать колотушки детям сестры своей, фискалить на них за утащенный сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой ее существовала бесконечная и неутолимая ссора. Старик сам предложил ее Пселдонимову. Как ни бедствовал тот, но, однако, попросил несколько времени на размышленье. Долго они вместе с матерью раздумывали. Но на невестино имя записывали дом, хоть и деревянный, хоть и одноэтажный и гаденький, но все-таки чего-нибудь стоивший. Сверх того, давали четыреста рублей, — когда-то их сам-то накопишь! «Я ведь к чему беру в дом человека? — кричал пьяный самодур. — Во-первых, для того, что все вы бабье, а мне надоело одно бабье. Я хочу, чтоб и Пселдонимов по моей дудке плясал, потому я ему благодетель. Во-вторых, потому беру, что вы все того не хотите и злитесь. Ну так вот назло вам и сделаю. Что сказал, то и сделаю! А ты, Порфирка, ее бей, когда женой тебе будет; в ней семь бесов от рождения сидит. Всех изгони, и клюку изготовлю…»

Пселдонимов молчал, но он уж решился. Их с матерью приняли в дом еще до свадьбы, обмыли, одели, обули, дали денег на свадьбу. Старик их покровительствовал, может быть, именно потому, что всё семейство на них злобствовало. Старуха Пселдонимова ему даже понравилась, так что он удерживался и над ней не шпынял. Впрочем, самого Пселдонимова заставил еще за неделю до свадьбы проплясать перед собой казачка. «Ну довольно, я хотел только видеть, не забываешься ли ты передо мной», — сказал он по окончании танца. Денег он дал на свадьбу в обрез и созвал всех родственников и

знакомых своих. Со стороны Пселдонимова был только сотрудник «Головешки» и Аким Петрович, почетный гость. Пселдонимов очень хорошо знал, что невеста к нему питает отвращение и что ей очень бы хотелось за офицера, а не за него. Но он всё переносил, уж такой у них уговор был с матерью. Весь свадебный день и весь вечер старик ругался скверными словами и пьянствовал. Вся семья по случаю свадьбы приютилась в задних комнатах и стеснилась там до смрада. Передние же комнаты предназначались для бала и ужина. Наконец, когда старик заснул, совершенно пьяный, часов в одиннадцать вечера, мать невесты, особенно злившаяся в этот день на мать Пселдонимова, решилась переменить гнев на милость и выйти к балу и к ужину. Появление Ивана Ильича всё перевернуло. Млекопитаева сконфузилась, обиделась и начала ругаться, зачем ее не предуведомили, что звали самого генерала. Ее уверяли, что он пришел сам, незваный, — она была так глупа, что не хотела верить. Потребовалось шампанское. У матери Пселдонимова нашелся один только целковый, у самого Пселдонимова ни копейки. Надо было кланяться злой старухе Млекопитаевой, просить денег на одну бутылку, потом на другую. Ей представляли будущность служебных отношений, карьеру, усовещивали. Она дала наконец собственные деньги, но заставила Пселдонимова выпить такую чашу желчи и оцта*, что он, уже неоднократно вбегая в комнатку, где приготовлено было брачное ложе, схватывал себя молча за волосы и бросался головой на постель, предназначенную для райских наслаждений, весь дрожа от бессильной злости. Да! Иван Ильич не знал, чего стоили две бутылки джаксона, выпитые им в этот вечер. Каковы же были ужас Пселдонимова, тоска и даже отчаяние, когда дело с Иваном Ильичом окончилось таким неожиданным образом. Опять представлялись хлопоты и, может быть, на целую ночь взвизги и слезы капризной новобрачной, укоры бестолковой невестиной родни. У него и без того уже голова болела, и без того уже чад и мрак застилали ему глаза. А тут Ивану Ильичу потребовалась помощь, надо было искать в три часа утра доктора или карету, чтобы свезти его домой, и непременно карету, потому что на ваньке в таком виде и такую особу нельзя было отправить домой. А где взять денег хотя бы для кареты? Млекопитаева, взбешенная тем, что генерал не сказал с ней двух слов и даже не посмотрел на нее за ужином, объявила, что у ней нет ни копейки. Может быть, и в самом деле не было ни копейки. Где взять?

Что делать? Да, было отчего теребить себе волосы.

Между тем Ивана Ильича покамест перенесли на маленький кожаный диван, стоявший тут же в столовой. Покамест убирали со столов и разбирали их, Пселдонимов бросался во все углы занять денег, пробовал даже занять у прислуги, но ни у кого ничего не оказалось. Он даже рискнул было побеспокоить Акима Петровича, остававшегося дольше других. Но тот, хоть и добрый человек, услышав о деньгах, пришел в такое недоуменье и в такой даже испуг, что наговорил самой неожиданной дряни.

— В другое время я с удовольствием, — бормотал он, — а теперь… право, меня извините…

И, взяв шапку, поскорей бежал из дому. Один только добросердечный юноша, рассказывавший про сонник, еще пригодился на что-нибудь, да и то некстати. Он тоже оставался дольше всех, принимая сердечное участие в бедствиях Пселдонимова. Наконец, Пселдонимов, мать его и юноша решили на общем совете не посылать за доктором, а лучше послать за каретой и свезти больного домой, а покамест, до кареты, испробовать над ним некоторые домашние средства, как-то: смачивать виски и голову холодной водой, прикладывать к темени льду и проч. За это уж взялась мать Пселдонимова, Юноша полетел отыскивать карету. Так как на Петербургской даже и ванек в этот час уже не было, то он отправился к извозчикам куда-то далеко на подворье, разбудил кучеров. Стали торговаться, говорили, что в такой час за карету и пяти рублей взять мало. Согласились, однако ж, на трех. Но когда, уже в исходе четвертого часа, юноша прибыл в нанятой карете к Пселдонимовым, у них уже давно переменилось решенье. Оказалось, что Иван Ильич, который был всё еще не в памяти, до того разболелся, до того стонал и метался, что переносить его и везти в таком состоянии домой стало совершенно невозможным и даже рискованным. «Еще что из этого выйдет?» — говорил совершенно обескураженный Пселдонимов. Что было делать? Возник новый вопрос. Если уж оставить больного дома, то куда же перенести его и где положить? Во всем доме было только две кровати: одна огромная, двуспальная, на которой спали старик Млекопитаев с супругою, и другая новокупленная, под орех, тоже двуспальная и назначенная для новобрачных. Все прочие обитатели, или, лучше сказать, обитательницы дома, спали на полу, вповалку,

более на перинах, отчасти уже попортившихся и продушенных, то есть вовсе неприличных, да и тех было ровно в обрез; даже и того не было. Куда же положить больного? Перина-то бы еще, пожалуй, и нашлась — можно было вытащить из-под кого-нибудь в крайнем случае, но где и на чем постлать? Оказалось, что постлать надо в зале, так как комната эта была отдаленнейшею от недр семейства и имела свой особый выход. Но на чем постлать? неужели на стульях? Известно, что на стульях стелют только одним гимназистам, когда они приходят с субботы на воскресенье домой, а для особы, как Иван Ильич, это было бы очень неуважительно. Что сказал бы он назавтра, увидя себя на стульях? Пселдонимов и слышать не хотел об этом. Оставалось одно: перенести его на брачное ложе. Это брачное ложе, как мы уже сказали, было устроено в маленькой комнатке, тотчас же подле столовой. На кровати был двуспальный, еще не обновленный, новокупленный матрас, чистое белье, четыре подушки в розовом коленкоре, а сверху в кисейных чехлах, обшитых рюшем. Одеяло было атласное, розовое, выстеганное узорами. Из золотого кольца сверху опускались кисейные занавески. Одним словом, всё было как следует, и гости, почти все перебывавшие в спальне, похвалили убранство. Новобрачная хоть и терпеть не могла Пселдонимова, но в продолжение вечера несколько раз, и особенно украдкой, забегала сюда посмотреть. Каково же было ее негодование, ее злость, когда она узнала, что на ее брачное ложе хотят перенести больного, заболевшего чем-то вроде холерины! Маменька новобрачной вступилась было за нее, бранилась, обещалась назавтра же жаловаться мужу; но Пселдонимов показал себя и настоял: Ивана Ильича перенесли, а новобрачным постлали в зале на стульях. Молодая хныкала, готова была щипаться, но ослушаться не посмела: у папаши был костыль, ей очень знакомый, и она знала, что папаша непременно завтра потребует кой в чем подробного отчета. В утешение ее перенесли в залу розовое одеяло и подушки в кисейных чехлах. В эту-то минуту и прибыл юноша с каретой; узнав, что карета уже не нужна, он ужасно испугался. Приходилось платить ему самому, а у него а гривенника еще никогда не было. Пселдонимов объявил свое полное банкротство. Пробовали уговорить извозчика. Но он начал шуметь и даже стучать в ставни. Чем это кончилось, подробно не знаю. Кажется, юноша отправился в этой карете пленником на Пески, в четвертую Рождественскую улицу, где он надеялся разбудить одного студента,

заночевавшего у своих знакомых, и попытаться: нет ли у него денег? Был уже пятый час утра, когда молодых оставили и заперли в зале. У постели страждущего осталась на всю ночь мать Пселдонимова. Она приютилась на полу, на коврике, и накрылась шубенкой, но спать не могла, потому что принуждена была вставать поминутно: с Иваном Ильичам сделалось ужасное расстройство желудка. Пселдонимова, женщина мужественная и великодушная, раздела его сама, сняла с него всё платье, ухаживала за ним, как за родным сыном, и всю ночь выносила через коридор из спальни необходимую посуду и вносила ее опять. И, однако ж, несчастия этой ночи еще далеко не кончились.

Не прошло десяти минут, после того мак молодых заперли одних в зале, как вдруг послышался раздирающий крик, не отрадный крик, а самого злокачественного свойства. Вслед за криками послышался шум, треск, как будто падение стульев, и вмиг в комнату, еще темную, неожиданно ворвалась целая толпа ахающих и испуганных женщин во всевозможных дезабилье. Эти женщины были: мать новобрачной, старшая сестра ее, бросившая на это время своих больных детей, три ее тетки, приплелась даже и та, у которой было сломанное ребро. Даже кухарка была тут же, даже приживалка-немка, рассказывавшая сказки, из-под которой вытащили силой для новобрачных ее собственную перину, лучшую в доме и составлявшую всё ее имение, приплелась вместе с прочими. Все эти почтенные и прозорливые женщины уже с четверть часа как пробрались из кухни через коридор на цыпочках и подслушивали в передней, пожираемые самым необъяснимым любопытством. Между тем кто-то наскоро зажег свечку, и всем представилось неожиданное зрелище. Стулья, не выдержавшие двойной тяжести и подпиравшие широкую перину только с краев, разъехались, и перина провалилась между ними на пол. Молодая хныкала от злости; в этот раз она была до сердца обижена. Нравственно убитый Пселдонимов стоял как преступник, уличенный в злодействе. Он даже не пробовал оправдываться. Со всех сторон раздавались ахи и взвизги. На шум прибежала и мать Пселдонимова, но маинька новобрачной на этот раз одержала полный верх. Она сначала осыпала Пселдонимова странными и по большей части несправедливыми упреками на тему: «Какой ты, батюшка, муж после этого? Куда ты, батюшка, годен, после такого сраму?» — и прочее и, наконец, взяв дочку за руку, увела ее от мужа к себе, взяв лично на себя ответственность назавтра перед

грозным отцом, потребующим отчета. За нею убрались и все, ахая и покивая головами своими. С Пселдонимовым осталась только мать его и попробовала его утешить. Но он немедленно прогнал ее от себя.

Ему было не до утешений. Он добрался до дивана и сел в угрюмейшем раздумье, так как был босой и в необходимейшем белье. Мысли перекрещивались и путались в его голове. Порой, как бы машинально, он оглядывал кругом эту комнату, где еще так недавно бесились танцующие и где еще ходил по воздуху папиросный дым. Окурки папирос и конфетные бумажки всё еще валялись на залитом и изгаженном полу. Развалина брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний. Таким образом он просидел почти час. Ему приходили в голову всё тяжелые мысли, как например: что-то теперь ожидает его на службе? он мучительно сознавал, что надо переменить место службы во что бы ни стало, а оставаться на прежнем невозможно, именно вследствие всего, что случилось в сей вечер. Приходил ему в голову и Млекопитаев, который, пожалуй, завтра же заставит его опять плясать казачка, чтоб испытать его кротость. Сообразил он тоже, что Млекопитаев хоть и дал пятьдесят рублей на свадебный день, которые ушли до копейки, но четыреста рублей приданых и не думал еще отдавать, даже помину о том еще не было. Да и на самый дом еще не было полной формальной записи. Задумывался он еще о жене своей, покинувшей его в самую критическую минуту его жизни, о высоком офицере, становившемся на одно колено перед его женой. Он это уже успел заметить; думал он о семи бесах, сидевших в жене его, по собственному свидетельству ее родителя, и о клюке, приготовленной для изгнания их… Конечно, он чувствовал себя в силах многое перенести, но судьба подпускала, наконец, такие сюрпризы, что можно было, наконец, и усомниться в силах своих.

Так горевал Пселдонимов. Между тем огарок погасал. Мерцающий свет его, падавший прямо на профиль Пселдонимова, отражал его в колоссальном виде на стене, с вытянутой шеей, с горбатым носом и с двумя вихрами волос, торчавшими на лбу и на затылке. Наконец, когда уже повеяло утренней свежестью, он встал, издрогший и онемевший душевно, добрался до перины, лежавшей между стульями, и, не поправляя ничего, не потушив огарка, даже не подложив под голову подушки, всполз на четвереньках на постель и заснул тем свинцовым,

мертвенным сном, каким, должно быть, спят приговоренные назавтра к торговой казни[*].

С другой стороны, что могло сравниться и с той мучительной ночью, которую провел Иван Ильич Пралинский на брачном ложе несчастного Пселдонимова! Некоторое время головная боль, рвота и прочие неприятнейшие припадки не оставляли его ни на минуту. Это были адские муки. Сознание, хотя и едва мелькавшее в его голове, озаряло такие бездны ужаса, такие мрачные и отвратительные картины, что лучше, если бы он и не приходил в сознание. Впрочем, всё еще мешалось в его голове. Он узнавал, например, мать Пселдонимова — слышал ее незлобивые увещания вроде: «Потерпи, мой голубчик, потерпи, батюшка, стерпится — слюбится», узнавал и не мог, однако, дать себе никакого логического отчета в ее присутствии подле себя. Отвратительные привидения представлялись ему: чаще всех представлялся ему Семен Иваныч, но, вглядываясь пристальнее, он замечал, что это вовсе не Семен Иваныч, а нос Пселдонимова. Мелькали перед ним и вольный художник, и офицер, и старуха с подвязанной щекой. Более всего занимало его золотое кольцо, висевшее над его головою, в которое продеты были занавески. Он различал его ясно при свете тусклого огарка, освещавшего комнату, и всё добивался мысленно: к чему служит это кольцо, зачем оно здесь, что означает? Он несколько раз спрашивал об этом старуху, но говорил, очевидно, не то, что хотел выговорить, да и та, видимо, его не понимала, как он ни добивался объяснить. Наконец, уже под утро, припадки прекратились, и он заснул, заснул крепко, без снов. Он проспал около часу, и когда проснулся, то был уже почти в полном сознании, чувствуя нестерпимую головную боль, а во рту, на языке, обратившемся в какой-то кусок сукна, сквернейший вкус. Он привстал на кровати, огляделся и задумался. Бледный свет начинавшегося дня, пробравшись сквозь щели ставен узкою полоскою, дрожал на стене. Было около семи часов утра. Но когда Иван Ильич вдруг сообразил и припомнил всё, что с ним случилось с вечера; когда припомнил все приключения за ужином, свой манкированный[*] подвиг, свою речь за столом; когда представилось ему разом, с ужасающей ясностью всё, что может теперь из этого выйти, всё, что скажут теперь про него и подумают; когда он огляделся и увидал, наконец, до какого грустного и безобразного состояния довел он мирное брачное ложе своего подчиненного, — о, тогда такой

смертельный стыд, такие мучения сошли вдруг в его сердце, что он вскрикнул, закрыл лицо руками и в отчаянии бросился на подушку. Через минуту он вскочил с постели, увидал тут же на стуле свое платье, в порядке сложенное и уже вычищенное, схватил его и поскорее, торопясь, оглядываясь и чего-то ужасно боясь, начал его напяливать. Тут же на другом стуле лежала и шуба его, и шапка, и желтые перчатки в шапке. Он хотел было улизнуть тихонько. Но вдруг отворилась дверь, и вошла старуха Пселдонимова, с глиняным тазом и рукомойником. На плече ее висело полотенце. Она поставила рукомойник и без дальних разговоров объявила, что умыться надобно непременно.

— Как же, батюшка, умойся, нельзя же не умывшись-то…

И в это мгновение Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете хоть одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться и не бояться, так это именно эта старуха. Он умылся. И долго потом в тяжелые минуты его жизни припоминалась ему, в числе прочих угрызений совести, и вся обстановка этого пробуждения, и этот глиняный таз с фаянсовым рукомойником, наполненным холодной водой в которой еще плавали льдинки, и мыло, в розовой бумажке, овальной формы, с какими-то вытравленными на нем буквами, копеек в пятнадцать ценою, очевидно, купленное для новобрачных, но которое пришлось почать Ивану Ильичу; и старуха с камчатным полотенцем на левом плече Холодная вода освежила его, он утерся и, не сказав ни слова, не поблагодарив даже свою сестру милосердия, схватил шапку, подхватил на плеча шубу, поданную ему Пселдонимовой, и через коридор, через кухню, в которой уже мяукала кошка и где кухарка, приподнявшись на своей подстилке, с жадным любопытством посмотрела ему вслед, выбежал на двор, на улицу и бросился к проезжавшему извозчику. Утро было морозное, мерзлый желтоватый туман застилал еще дома и все предметы. Иван Ильич поднял воротник. Он думал, что на него все смотрят, что его все знают, все узнают…

Восемь дней он не выходил из дому и не являлся в должность. Он был болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически. В эти восемь дней он выжил целый ад, и, должно быть, они зачлись ему на том свете Были минуты, когда он было думал постричься в монахи Право, были. Даже воображение его начинало особенно гулять в этом случае. Ему представлялось тихое, подземное пенье, отверзтый гроб, житье в уединенной келье, леса и пещеры; но, очнувшись, он почти

тотчас же сознавался, что всё это ужаснейший вздор и преувеличения, и стыдился этого вздора. Потом начинались нравственные припадки, имевшие в виду его existence manquée Потом стыд снова вспыхивал в душе его, разом овладевал ею и всё выжигал и растравливал. Он содрогался, представляя себе разные картины. Что скажут о нем, что подумают, как он войдет в канцелярию, какой шепот его будет преследовать целый год, десять лет, всю жизнь. Анекдот его пройдет в потомство. Он впадал даже иногда в такое малодушие, что готов был сейчас же ехать к Семену Ивановичу и просить у него прощения и дружбы. Сам себя он даже и не оправдывал, он порицал себя окончательно: он не находил себе оправданий и стыдился их.

Думал он тоже подать немедленно в отставку и так, просто, в уединении посвятить себя счастью человечества. Во всяком случае, надо было непременно переменить всех знакомых и даже так, чтоб искоренить всякое о себе воспоминание. Потом ему приходили мысли, что и это вздор и что при усиленной строгости с подчиненными всё дело еще можно поправить. Тогда он начинал надеяться и ободряться. Наконец, по прошествии целых восьми дней сомнений и муки, он почувствовал, что не может более выносить неизвестности, и un beau matin[22] решился отправиться в канцелярию.

Прежде, когда еще он сидел дома, в тоске, он тысячу раз представлял себе, как он войдет в свою канцелярию. С ужасом убеждался он, что непременно услышит за собою двусмысленный шепот, увидит двусмысленные лица, пожнет злокачественнейшие улыбки. Каково же было его изумление, когда на деле ничего этого не случилось. Его встретили почтительно; ему кланялись; все были серьезны; все были заняты. Радость наполнила его сердце, когда он. пробрался к себе в кабинет.

Он тотчас же и пресерьезно занялся делом, выслушал некоторые доклады и объясненья, положил решения. Он чувствовал, что никогда еще он не рассуждал и не решал так умно, так дельно, как в это утро. Он видел, что им довольны, что его почитают, что относятся к нему с уважением. Самая щекотливая мнительность не могла бы ничего заметить. Дело шло великолепно.

Наконец явился и Аким Петрович с какими-то бумагами. При появлении его что-то как будто кольнуло Ивана Ильича в самое сердце, но только на один миг. Он занялся с Аким Петровичем, толковал важно,

указывал ему, как надо сделать, и разъяснял. Он заметил только, что он как будто избегает слишком долго глядеть на Акима Петровича или, лучше сказать, что Аким Петрович боялся глядеть на него. Но вот Аким Петрович кончил и стал собирать бумаги.

— А вот еще просьба есть, — начал он как можно суше, — чиновника Пселдонимова о переводе его в департамент… Его превосходительство Семен Иванович Шипуленко обещали ему место. Просит вашего милостивого содействия, ваше превосходительство.

— А, так он переходит, — сказал Иван Ильич и почувствовал, что огромная тяжесть отошла от его сердца. Он взглянул на Акима Петровича, и в это мгновение взгляды их встретились.

— Что ж, я с моей стороны… я употреблю, — отвечал Иван Ильич, — я готов.

Аким Петрович, видимо, хотел поскорей улизнуть. Но Иван Ильич вдруг, в порыве благородства, решился высказаться окончательно. На него, очевидно, опять нашло вдохновение.

— Передайте ему, — начал он, устремляя ясный и полный глубокого значения взгляд на Акима Петровича, — передайте Пселдонимову, что я ему не желаю зла; да, не желаю!.. Что, напротив, я готов даже забыть всё прошедшее, забыть всё, всё…

Но вдруг Иван Ильич осекся, смотря в изумлении на странное поведение Акима Петровича, который из рассудительного человека, неизвестно почему, оказался вдруг ужаснейшим дураком. Вместо того чтоб слушать и дослушать, он вдруг покраснел до последней глупости, начал как-то утороплено и даже неприлично кланяться какими-то маленькими поклонами и вместе с тем пятиться к дверям. Весь вид его выражал желание провалиться сквозь землю или, лучше сказать, добраться поскорее до своего стола. Иван Ильич, оставшись один, встал в замешательстве со стула. Он смотрел в зеркало и не замечал лица своего.

— Нет, строгость, одна строгость и строгость! — шептал он почти бессознательно про себя, и вдруг яркая краска облила всё его лицо. Ему стало вдруг до того стыдно, до того тяжело, как не бывало в самые невыносимые минуты его восьмидневной болезни. «Не выдержал!» — сказал он про себя и в бессилии опустился на стул.

Зимние заметки о летних впечатлениях

Глава I
Вместо предисловия

Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас русских (то есть читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное в десять раз. К тому же, кроме сих общих соображений, вы специально знаете, что мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке записывать, потому что я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и всё это, всё это я объехал ровно в два с половиною месяца[*]! Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиною месяца? Вы помните, маршрут мой я составил себе заранее еще в Петербурге. За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф[*], от которых я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже всё осмотреть, непременно всё, несмотря на срок. К тому же хладнокровно выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! «Пусть не разгляжу ничего подробно, — думал я, — зато я всё видел, везде побывал; зато из всего виденного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Вся „страна святых чудес“[*] представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе. Одним словом, получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление. Ведь я теперь, сидя дома, об чем тоскую наиболее, вспоминая о моих летних странствованиях? Не о том, что я ничего не

разглядел в подробности, а о том, что вот почти ведь везде побывал, а в Риме, например, так и не был. А в Риме я бы, может быть, пропустил папу…» Одним словом, на меня напала какая-то неутолимая жажда нового, перемены мест, общих, синтетических, панорамных, перспективных впечатлений. Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? что изображу? Панораму, перспективу? Что-нибудь с птичьего полета? Но, пожалуй, вы же первые скажете мне, что я высоко залетел. Кроме того, я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу и даже вовсе не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать. Рассудите сами: Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки. И я знаю теперь, что я виноват перед Берлином, что я не смею положительно утверждать, будто он производит кислое впечатление. Уж по крайней мере хоть кисло-сладкое, а не просто кислое. А отчего произошла пагубная ошибка моя? Решительно от того, что я, больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина и, приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные[*] улицы, те же запахи, те же… (а впрочем, не пересчитывать же всего того же!). Фу ты, бог мой, думал я про себя: стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидать то же самое, от чего ускакал? Даже липы мне не понравились[*], а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией[*]; а уж чего дороже берлинцу его конституции? К тому же сами берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже и на фрески Каульбаха[*] (о ужас!), поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать и что с непривычки его весьма трудно выносить в больших массах. А в Дрездене я даже и перед немками провинился: мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин и что сам певец любви, Всеволод Крестовский[*], самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, совершенно бы здесь потерялся и даже, может быть, усомнился

бы в своем призвании. Я, конечно, в ту же минуту почувствовал, что говорю вздор и что усомниться в своем призвании он не мог бы даже ни при каких обстоятельствах. Через два часа мне всё объяснилось: воротясь в свой номер в гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое суждение о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык мой был желтый, злокачественный… «И неужели, неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь зависит от собственной своей печенки, — подумал я, — что за низость!» С этими утешительными мыслями я отправился в Кельн. Признаюсь, я много ожидал от собора*; я с благоговением чертил его еще в юности, когда учился архитектуре*. В обратный проезд мой через Кельн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидал собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом*. Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высотою. «Величественного мало», — решил я, точно так, как в старину наши деды решали про Пушкина: «Легко, дескать, слишком сочиняет, мало высокого». Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства, и первое: одеколонь. Жан-Мария Фарина* находится тут же подле собора, и в каком бы вы ни остановились отеле, в каком бы вы ни были настроении духа, как бы вы ни прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарины в особенности, его клиенты вас найдут непременно и уж тут: «Одеколонь ou la vie[23]», одно из двух, выбора не представляется. Не могу утверждать слишком наверное, что так и кричат именно этими словами: «Одеколонь ou la vie!», но кто знает — может быть и так. Помню, мне тогда всё что-то казалось и слышалось. Второе обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост*. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. Притом же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится.

«Верно, догадался, что я иностранец и именно русский», — подумал я. По крайней мере его глаза чуть не проговаривали: «Ты видишь наш мост, жалкий русский, — ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет такого моста». Согласитесь сами, что это обидно. Немец, конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было, но ведь это всё равно; я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что вскипел окончательно. «Черт возьми, — думал я, — мы тоже изобрели самовар*…у нас есть журналы… у нас делают офицерские вещи… у нас…» — одним словом, я рассердился и, купив склянку одеколону (от которой уж никак не мог отвертеться), немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и занимательнее. Теперь рассудите сами: преодолей я себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть два, и я наверно в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца тут много значил: сияй он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кельн, и зданье наверно бы мне показалось в настоящем своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного патриотизма. Хотя из этого, впрочем, вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде. Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть, и я не могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому…

Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений, что занужду вы найдете их в гиде Рейхарда*, а что, напротив, было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы. Одним словом, что вам надобны только собственные, но искренние мои наблюдения.

— А! — восклицаю я, — так вам надобно простой болтовни, легких

очерков, личных впечатлений, схваченных на лету. На это согласен и тотчас же справлюсь с записной моей книжкой. И простодушным быть постараюсь, насколько могу. Прошу только помнить, что, может быть, очень многое, что я вам напишу теперь, будет с ошибками. Разумеется, не всё же с ошибками. Невозможно ведь ошибиться, например, в таких фактах, что в Париже есть Нотр-Дам[*] и Баль-Мабиль. Особенно последний факт до того засвидетельствован всеми русскими, писавшими о Париже[*], что в нем уже почти нельзя сомневаться. В этом-то, может, и я не ошибусь, а, впрочем, в строгом смысле и за это не ручаюсь. Ведь говорят же вот, что быть в Риме и не видать собора Петра[*] невозможно. Ну так посудите же: я был в Лондоне, а ведь не видал же Павла. Право, не видал. Собора св. Павла[*] не видал. Оно конечно, между Петром и Павлом есть разница, но все-таки как-то неприлично для путешественника. Вот вам и первое приключение мое, не доставляющее мне большой славы (то есть я, пожалуй, и видел издали, сажен за двести, да торопился в Пентонвиль, махнул рукой и проехал мимо). Но к делу, к делу! И знаете ли: ведь я не всё только ездил и смотрел с птичьего полета (с птичьего полета не значит *свысока*. Это архитектурный термин, вы знаете). Я целый месяц без восьми дней, употребленных в Лондоне, в Париже прожил. Ну вот я вам и напишу что-нибудь по поводу Парижа, потому что его все-таки лучше разглядел, чем собор св. Павла или дрезденских дам. Ну, начинаю.

Глава II
В вагоне

«Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье»[*]. Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фонвизин, и, боже мой, как, должно быть, весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы после Фонвизина, три-четыре поколенья сряду, читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные, отделывающие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное. Разумеется, только в глубокой тайне, даже подчас от самих себя в тайне. Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас. Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся, а между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил[*]. Помню я тогда, лет пятнадцать назад, когда я знал Белинского, помню, с каким благоговением, доходившим даже до странности, весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде была Франция — это было в сорок шестом году[*]. И не то что, например, обожались такие имена, как Жорж Занд, Прудон и проч., или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю-Роллен и т. д.[*] Нет, а так просто, сморчки какие-нибудь, самые мизерные фамильишки, которые тотчас же и сбрендили, когда до них дошло потом дело, и те были на высоком счету. И от тех ожидалось что-то великое в предстоящем служении человечеству. О некоторых из них говорилось, с особенным шепотом благоговения… И что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал всё русское[*]. Я по некоторым данным это всё теперь соображаю и припоминаю. Так вот, кто знает, может быть, это словцо Фонвизина даже и Белинскому подчас казалось не очень скандальным. Бывают же минуты, когда даже самая благообразная и даже законная

опека не очень-то нравится. О, ради бога, не считайте, что любить родину — значит ругать иностранцев и что я так именно думаю. Совсем я так не думаю и не намерен думать, и даже напротив… Жаль только, что объясниться-то яснее мне теперь некогда.

А кстати: уж не думаете ли вы, что я вместо Парижа в русскую литературу пустился? Критическую статью пишу? Нет, это я только так, от нечего делать.

По записной моей книжке приходится, что я теперь сижу в вагоне и приготовляюсь на завтра к Эйдткунену[*], то есть к первому заграничному впечатлению, и у меня подчас даже сердце вздрагивает. Как это вот я увижу наконец Европу, я, который бесплодно мечтал о ней почти сорок лет, я, который еще с шестнадцати лет, и пресерьезно, как Белопяткин у Некрасова,

Бежать хотел в Швейцарию[*], —

но не бежал, и вот теперь и я въезжаю наконец в «страну святых чудес», в страну таких долгих томлений и ожиданий моих, таких упорных моих верований. «Господи, да какие же мы русские? — мелькало у меня подчас в голове в эту минуту, всё в том же вагоне. — Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь всё, решительно почти всё, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, всё, всё ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились — с этим, я думаю, все согласятся, одни с радостию, другие, разумеется, со злобою за то, что мы *не доросли* до перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что мы не переродились даже при

таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек! Он, барич, Пугачева угадал и в пугачевскую душу проник, да еще тогда, когда никто ни во что не проникал. Он, аристократ, Белкина в своей душе заключал. Он художнической силой от своей среды отрешился и с точки народного духа ее в Онегине великим судом судил. Ведь это пророк и провозвестник.* Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься. Ведь не с неба же, в самом деле, свалилось к нам славянофильство, и хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы* и, может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого взгляда. Да и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая, сильная мысль в три поколения не выяснится, так что финал выходит иногда совсем не похож на начало…» И вот все-то эти праздные мысли поневоле осаждали меня перед Европой в вагоне, отчасти, впрочем, от скуки и от нечего делать. Ведь надо же быть откровенным! До сих пор у нас о таких предметах только те, которым нечего делать, задумываются. Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще довезут. Право, иной раз так бы и выскочил из вагона да сбоку подле машины на своих ногах побежал. Пусть выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь, нужды нет! Зато сам, своими ногами иду, зато себе дело нашел и сам его делаю, зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду сложа

руки запертый сидеть, своими боками за чужую вину отвечать…

Бог знает что иногда на безделье вздумается!

А между тем уж смеркалось. В вагонах стали зажигать огни. Напротив меня помещались муж и жена, уже пожилые, помещики, и, кажется, хорошие люди. Они спешили на выставку в Лондон* и всего-то на несколько дней, а дома оставили семейство. Справа подле меня находился один русский, проживавший сряду десять лет в Лондоне по коммерческим делам в конторе, только на две недели приезжавший теперь по делам в Петербург и, кажется, совершенно потерявший понятие о тоске по родине. Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка ни на каком языке, днем читал, не отрываясь, какую-то книжку той мельчайшей английской печати, которую только могут переносить англичане да еще похваливать за удобство, и, как только стало десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и менять своих привычек он не хотел и в вагоне. Скоро все задремали; свист и постукиванье машины нагоняли какую-то неотразимую дремоту. Я сидел, думал-думал и, уж не знаю как, додумался до того, что «рассудка француз не имеет», чем и начал эту главу. А знаете ли что: меня что-то подмывает, покамест доберемся мы до Парижа, сообщить вам мои вагонные размышления, так, во имя гуманности: ведь было же мне скучно в вагоне, ну так пусть теперь будет скучно и вам. Впрочем, других читателей надобно выгородить, а для этого включу-ка я все эти размышления нарочно в особую главу и назову ее *лишней*. Вы-то над ней поскучайте, а другие, как лишнюю, могут и выкинуть. С читателем нужно обращаться осторожно и совестливо, ну а с друзьями можно и покороче. Итак:

Глава III
И совершенно лишняя

Это, впрочем, были не размышления, а так, какие-то созерцания, произвольные представления, даже мечтания «о том, о сем, а больше ни о чем»[*]. Во-первых, я заехал в старину и раздумался прежде всего о человеке, сотворившем вышеприведенный афоризм о французском рассудке, так, ни с того ни с сего раздумался, именно по поводу афоризма. Этот человек по своему времени был большой либерал. Но хоть и таскал он всю жизнь на себе неизвестно зачем французский кафтан, пудру и шпажонку сзади, для означения рыцарского своего происхождения (которого у нас совсем не было) и для защиты своей личной чести в передней у Потемкина, но только что высунул свой нос за границу, как и пошел отмаливаться от Парижа всеми библейскими текстами[*] и решил, что «рассудка француз не имеет», да еще и иметь-то его почел бы за величайшее для себя несчастие. Кстати, уж не думаете ли вы, что я заговорил о шпажонке и бархатном кафтане в укор Фонвизину? Ничуть не бывало! Не зипун же было ему надевать на себя, да еще в то время, когда и теперь иные господа, чтобы *быть русскими* и слиться с народом, не надели-таки зипуна, а изобрели себе балетный костюм[*], немного не тот самый, в котором обыкновенно выходят на сцену в русских народных операх Услады, влюбленные в своих Людмил, носящих кокошники. Нет уж, по крайней мере французский кафтан был тогда народу понятнее: «Барина, дескать, видно, не в зипуне ж ходить барину». Слышал я недавно, что какой-то современный помещик, чтоб слиться с народом, тоже стал носить *русский костюм* и повадился было в нем на сходки ходить; так крестьяне, как завидят его, так и говорят промеж себя: «Чего к нам этот ряженый таскается?» Да так ведь и не слился с народом помещик-то.

— Нет, уж я, — сказал мне другой господин, — нет, уж я ничего не уступлю. Нарочно буду бороду брить, а коли надо, так и во фраке ходить. Дело-то я буду делать, а и виду не покажу, что сходиться хочу. Буду хозяином, буду скупым и расчетливым, даже прижималой или вымогалой буду, если понадобится. Больше уважать будут. А ведь всё главное в том и состоит, чтоб сначала настоящего уважения добиться.

«Фу ты черт! — подумал я, — точно на иноплеменников каких собираются. Военный совет — да и только».

— Да, — сказал мне третий, впрочем премилейший господин, — я вот куда-нибудь припишусь, а меня вдруг на сходке мирским приговором за что-нибудь высечь приговорят. Ну что тогда будет?

«А хошь бы и так, — захотелось мне вдруг сказать, да и не сказал я, потому что струсил. (Что это, отчего это мы подчас до сих пор трусим иные наши мысли высказывать?) Хошь бы и так, — думалось мне про себя, — хошь и высекли бы, что ж? Такие обороты дела называются у профессоров эстетики трагическим в жизни, и больше ничего. Неужели ж из-за этого только особняком от всех жить? Нет, уж коль все, так уж и совсем со всеми, а особняком, так уж и совсем особняком. В других местах и не то выносили, да еще слабые жены и дети».

— Да помилуйте, какие тут жены и дети! — закричал бы мне мой противник, — выдрал бы мир ни с того ни с сего, за корову какую-нибудь, что в огород чужой затесалась, а у вас уж это и общее дело.

— Ну да, оно, конечно, смешно, да и дело-то само смешное, грязное такое, рук марать не хочется. Даже и говорить-то об нем неприлично. Провались они все: пусть их всех стегают, ведь не меня же. А я вот, с своей стороны, чем хотите готов отвечать за мирской приговор: ни одной-таки розочки не досталось бы моему милейшему спорщику, если б даже и возможно было с ним распорядиться по мирскому приговору: «С него деньгами штраф возьмем, братцы, потому и дело это у него благородное. Не привычен. Вот, у нашего брата так на то и сиденье, чтоб его стегать», — порешил бы мир словами старосты в одном из губернских очерков Щедрина…[*]

— Ретроградство! — закричит кто-нибудь, прочтя это. — За розги стоять! (Ей-богу, кто-нибудь из этого выведет, что я за розги стою).

— Да помилуйте, про что вы говорите, — скажет другой. — Вы про Париж хотели, да на розги съехали. Где же тут Париж?

— Да что же это, — прибавит третий, — обо всем этом вы сами пишете, что слышали недавно, а путешествовали летом. Как же вы могли обо всем этом в вагоне тогда еще думать?

— Вот это так действительно задача, — отвечаю я, — но позвольте: ведь это зимние воспоминания о летних впечатлениях. Так уж к зимним и примешалось зимнее. Притом же, подъезжая к Эйдткунену, я помню, особенно раздумался я про всё наше отечественное, которое покидал

для Европы, и помню, что иные мечтания мои были в этом же духе. Я именно размышлял на тему о том: каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались, и сколько именно нас счетом до сих пор отцивилизовалось? Теперь я сам вижу, что всё это тут как бы лишнее. Да я же вас и предуведомил, что вся глава лишняя. А впрочем, на чем я остановился? Да! на французском кафтане. С него и началось!

Ну так вот, один из этих французских кафтанов и написал тогда «Бригадира».* «Бригадир» был по-тогдашнему вещь удивительная и произвел чрезвычайный эффект. «Умри, Денис, лучше ничего не напишешь», — говорил сам Потемкин*. Все как бы спросонья зашевелились. Что ж, неужели ж и тогда, — продолжал я свои произвольные созерцания, — уж наскучило людям ничего не делать и ходить на чужих помочах? Я не об одних тогдашних французских помочах говорю и хочу кстати прибавить, что мы чрезвычайно легковерная нация и что всё это у нас от нашего добродушия. Сидим мы, например, все без дела, и вдруг нам покажется, что кто-то что-то сказал, что-то сделал, что у нас собственным духом запахло, что дело нашлось, вот мы так все и накинемся и непременно уверены, что сейчас начинается. Муха пролетит, а мы уж думаем, что самого слона провели. Неопытность юности, ну и голодуха к тому же. Это у нас чуть не раньше «Бригадира» еще началось, конечно, тогда еще в микроскопическом размере, и неизменно до сих пор продолжается: нашли дело и визжим от восторга. Увизжаться и провраться от восторга — это у нас самое первое дело; смотришь, года через два и расходимся врозь, повесив носы. И ведь не устаем, хоть еще сто раз начинай. Что же касается до других помочей, то в фонвизинское время в массе-то почти ведь никто не сомневался, что это были самые святые, самые европейские помочи и самая милая опека. Конечно, и теперь мало сомневающихся. Вся наша крайне прогрессивная партия до ярости стоит за чужие помочи. Но тогда, о, тогда было время такой веры во всякие помочи, что удивительно, как это мы горы тогда не сдвигали с места и как это все эти наши алаунские плоские возвышенности, парголовские вершины, валдайские пики стоят еще на своих местах. Правда, упоминал один тогдашний поэт про одного героя, что

Ляжет на горы, горы трещат*

и что

Башни рукою за облак бросает.[*]

Но, кажется, это была только метафора. Кстати, господа: я ведь только об одной литературе теперь говорю, и именно об изящной литературе. По ней я проследить хочу постепенное и благотворное влияние Европы на наше отечество. То есть какие тогда (до «Бригадира» и в его время) издавались и читались книжки, так это представить себе нельзя без некоторого радостного высокомерия с нашей стороны! Есть у нас теперь один замечательнейший писатель, краса нашего времени, некто Кузьма Прутков. Весь недостаток его состоит в непостижимой скромности: до сих пор не издал еще полного собрания своих сочинений. Ну так вот, раз напечатал он в смеси в «Современнике» очень давно уже «Записки моего деда».[*] Вообразите, что мог записать тогда этот дебелый, семидесятилетний, екатерининский дед, видавший виды, бывавший на куртагах и под Очаковом, воротившись в свою вотчину и принявшись за свои воспоминания. То-то, должно быть, интересно было записать. Чего-чего не перевидал человек! Ну так вот у него всё состоит из следующих анекдотов:

> *«Остроумный ответ кавалера де Монбазона.*[*] Некогда одна молодая и весьма пригожая девица кавалера де Монбазона в присутствии короля хладнокровно спрашивала: „Государь мой, что к чему привешено, собака к хвосту или хвост к собаке?“ На что сей кавалер, будучи в отповедях весьма искусен, нисколько не смятенным, но, напротив, постоянным голосом ответствовал: „Никому, сударыня, собаку за хвост, как и за голову, взять невозбранно“. Сей ответ оному королю большое удовольствие причинивши, и кавалер тот не без награды за него остался».

Вы думаете, что это надуванье, вздор, что никогда такого деда и на свете не было. Но клянусь вам, что я сам лично в детстве моем, когда мне было десять лет от роду, читал одну книжку екатерининского времени, в которой и прочел следующий анекдот. Я тогда же его

затвердил наизусть — так он приманил меня — и с тех пор не забыл:

> *«Остроумный ответ кавалера де Рогана.*[*] Известно, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло. Однажды, присутствуя при пробуждении принца де Конде, сей последний сказал ему: „Отстранитесь, кавалер де Роган, ибо от вас весьма дурно пахнет“. На что сей кавалер немедленно ответствовал: „Это не от меня, всемилостивейший принц, а от вас, ибо вы только что встаете с постели“».

То есть вообразите только себе этого помещика, старого воина, пожалуй еще без руки, со старухой помещицей, с сотней дворни, с детьми Митрофанушками, ходящего по субботам в баню и парящегося до самозабвения; и вот он, в очках на носу, важно и торжественно читает по складам подобные анекдоты, да еще принимает всё за самую настоящую суть, чуть-чуть не за обязанность по службе. И что за наивная тогдашняя вера в дельность и необходимость подобных европейских известий. «Известно, дескать, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло»… Кому известно, зачем известно, каким медведям в Тамбовской губернии это известно? Да кто еще и знать-то про это захочет? Но подобные вольнодумные вопросы деда не смущают. С самой детской верой соображает он, что сие «собранье острых слов» при дворе известно, и довольно с него. Да, конечно, тогда нам легко давалась Европа, физически, разумеется. Нравственно-то, конечно, обходилось не без плетей. Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпажонки — вот и европеец. И не только не мешало всё это, но даже нравилось. На деле же всё оставалось по-прежнему: так же отложив де Рогана (о котором, впрочем, только всего и знали, что у него весьма дурно изо рту пахло) в сторону и сняв очки, расправлялись с своей дворней, так же патриархально обходились с семейством, так же драли на конюшне мелкопоместного соседа, если сгрубит, так же подличали перед высшим лицом. Даже мужику были понятнее: меньше его презирали, меньше его обычаем брезгали, больше знали о нем, меньше чужими были ему, меньше немцами: А что важничали перед ним, так как же барину не поважничать, — на то барин. Хоть и до смерти засекали, а все-таки были народу как-то милее теперешних, потому что были больше свои. Одним словом, все эти

господа были народ простой, кряжевой; до корней не доискивались, брали, драли, крали, спины гнули с умилением, и мирно и жирно проживали свой век «в добросовестном ребяческом разврате»[*]. Мне даже сдается, что все эти деды были вовсе не так и наивны, даже в отношении де Роганов и Монбазонов.

Даже, может, и пребольшие подчас были плуты и себе на уме в отношении ко всем тогдашним европейским влияниям сверху. Вся эта фантасмагория, весь этот маскарад, все эти французские кафтаны, манжеты, парики, шпажонки, все эти дебелые, неуклюжие ноги, влезавшие в шелковые чулки; эти тогдашние солдатики в немецких париках и штиблетах — всё это, мне кажется, были ужасные плутни, подобострастно-лакейское надувание снизу, так что даже сам народ иной раз это замечал и понимал. Конечно, можно быть и подьячим, и плутом, и бригадиром и в то же время пренаивно и трогательно быть уверену, что кавалер де Роган и есть самый «субдительный суперфлю»[*];. Но ведь это ничему не мешало: Гвоздиловы гвоздили по-прежнему, наших де Роганов наш Потемкин и всякий подобный ему чуть не секли у себя на конюшне, Монбазоны драли с живого и с мертвого, кулаками в манжетах и ногами в шелковых чулках давались подзатыльники и подспинники, а маркизы валялись на куртагах[*],

Отважно жертвуя затылком[*].

Одним словом, вся эта заказная и приказанная Европа удивительно как удобно уживалась у нас тогда, начиная с Петербурга — самого фантастического города, с самой фантастической историей из всех городов земного шара.

Ну теперь уж не то, и Петербург взял свое. Теперь уж мы вполне европейцы и доросли. Теперь уж сам Гвоздилов сноровку держит, когда гвоздить приходится, приличие наблюдает, французским буржуа делается, а еще немного пройдет, и, как североамериканец Южных штатов, текстами начнет защищать необходимость торговли неграми.[*] Впрочем, защита текстами из американских штатов сильно и в Европу теперь переходит. Вот приеду туда — сам своими глазами увижу, — думал я. Никогда из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь. А кстати, по поводу Гвоздилова: почему именно не Софье, представительнице благородного и гуманно-европейского развития в

комедии, вложил Фонвизин одну из замечательнейших фраз в своем «Бригадире», а дуре бригадирше, которую уж он до того подделывал дурой, да еще не простой, а ретроградной дурой, что все нитки наружу вышли и все глупости, которые она говорит, точно не она говорит, а кто-то другой, спрятавшийся сзади? А когда надо было правду сказать, ее все-таки сказала не Софья, а бригадирша. Ведь он ее не только круглой дурой, даже и дурной женщиной сделал; а все-таки как будто побоялся и даже художественно-невозможным почел, чтоб такая фраза из уст благовоспитанной по-оранжерейному Софьи выскочила, и почел как бы натуральнее, чтоб ее изрекла простая, глупая баба. Вот это место, его стоит вспомнить. Это чрезвычайно любопытно и именно тем, что написано безо всякого намерения и заднего слова, наивно и даже, может быть, нечаянно. Бригадирша говорит Софье:

> «…У нас был нашего полку первой роты капитан, по прозванию Гвоздилов; жена у него была такая изрядная-изрядная молодка. Так, бывало, он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной; так веришь ли богу, мать моя, что гвоздит он, гвоздит ее, бывало, в чем душа останется, а ни дай, ни вынеси за што. Ну мы, наша сторона дело, а ино наплачешься, на нее глядя.
>
> Софья. Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество.
>
> Бригадирша. Вот, матушка, ты *и слушать* об этом не хочешь, каково ж было *терпеть* капитанше?»[*]

Таким-то образом и сбрендила благовоспитанная Софья с своей оранжерейной чувствительностью перед простой бабой. Это удивительное репарти (сиречь отповедь) у Фонвизина, и нет ничего у него метче, гуманнее и… нечаяннее. И сколько у нас до сих пор таких оранжерейных прогрессистов из самых передовых наших деятелей, которые чрезвычайно довольны своей оранжерейностью и ничего не требуют большего. Но замечательнее всего, что Гвоздилов до сих пор еще гвоздит свою капитаншу, и чуть ли еще не с большим комфортом, чем прежде. Право, так. Говорят, прежде это более по душе, по сердцу делалось! Кого люблю, того, дескать, и бью. Даже жены, говорят, беспокоились, если их не били: не бьет, значит, не любит[*]. Но это всё

первобытное, стихийное, родовое. Теперь уж и это подверглось развитию. Теперь уж Гвоздилов гвоздит чуть не из принципа, да и то потому, что всё еще дурак, то есть человек старого времени, новых порядков не знает. По новым порядкам и без кулачной расправы можно еще лучше распорядиться. Я потому распространяюсь теперь о Гвоздилове, что о нем до сих пор у нас пишут преглубокие и прегуманные фразы. И столько пишут, что даже публике надоели. Гвоздилов у нас до того живуч, несмотря на все статьи, что чуть не бессмертен. Да-с, он жив и здоров, сыт и пьян. Теперь он без руки и без ноги и, как капитан Копейкин, «в некотором смысле кровь проливал»[*]. Жена его уж давно не «изрядная-изрядная молодка», как прежде была. Она постарела, лицо ее осунулось и побледнело, морщины и страдания избороздили его. Но когда ее муж и капитан лежал больной, без руки, она от постели его не отходила, бессонные ночи над ним просиживала, утешала его, горючими слезами по нем обливалась, своим милым, своим добрым молодцем, своим ясным соколом его называла, удалой солдатской головушкой величала. Пусть это возмущает душу, с одной стороны, пусть! пусть! Но, с другой стороны: да здравствует русская женщина, и нет ничего лучше ее безгранично прощающей любви на нашем русском свете. Ведь так, не правда ли? Тем более что и Гвоздилов-то теперь, в трезвом виде, иногда и не бьет жену, то есть пореже, приличие наблюдает, даже ласковое слово ей подчас скажет. Он ведь почувствовал в старости, что без нее обойтиться не может; он расчетлив, он буржуа, а если бьет и теперь когда, так разве только под пьяную руку да по старой привычке, когда уж очень стоскуется. Ну, а ведь как хотите, это прогресс, все-таки утешение. Мы же такие охотники до утешений…

Да-с, мы теперь совершенно утешились, сами собою утешились. Пусть всё вокруг нас и теперь еще не очень красиво; зато сами мы до того прекрасны, до того цивилизованы, до того европейцы, что даже народу стошнило, на нас глядя. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает, ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает, — а ведь это, как хотите, прогресс. Теперь уж мы до того глубоко презираем народ и начала народные, что даже относимся к нему с какою-то новою, небывалою брезгливостью, которой не было даже во времена наших Монбазонов и де Роганов, а ведь это, как хотите, прогресс. Зато как же мы теперь самоуверенны в

своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность — это только известная система податей, душа — tabula rasa*,[24] вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула* — стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки. Зато как мы спокойны, величаво спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся и всё разрешили и подписали. С каким спокойным самодовольствием мы отхлестали, например, Тургенева за то, что он осмелился не успокоиться с нами и не удовлетвориться нашими величавыми личностями и отказался принять их за свой идеал, а искал чего-то получше, чем мы. Лучше, чем мы, господи помилуй! Да что же нас краше и безошибочнее в подсолнечной? Ну и досталось же ему за Базарова*, беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм. Даже отхлестали мы его и за Кукшину*, за эту прогрессивную вошь, которую вычесал Тургенев из русской действительности нам на показ, да еще прибавили, что он идет против эманципации женщины. А ведь это всё прогресс, как хотите! Теперь мы с такою капральскою самоуверенностью, такими фельдфебелями цивилизации* стоим над народом, что любо-дорого посмотреть: руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом, — смотрим да только поплевываем: «Чему у тебя, сипа-мужик*, нам учиться, когда вся национальность-то, вся народность-то, в сущности, одно ретроградство да раскладка податей, и ничего больше!» Не спускать же предрассудкам, помилуйте! Ах боже мой, кстати теперь… Господа, положим на минутку, что я уж кончил мое путешествие и воротился в Россию. Позвольте рассказать анекдот. Раз, нынешней осенью, беру я одну газету из прогрессивнейших. Смотрю: известие из Москвы. Рубрика: «Еще остатки варварства»* (или что-то в этом роде, только очень сильное. Жаль только, что теперь газеты перед глазами нет). И вот рассказывается анекдот, как однажды, нынешней же осенью, в Москве, поутру, усмотрены были дрожки; на дрожках сидела пьяная сваха, разодетая в лентах, и пела песню. Кучер тоже был в каких-то бантах и тоже пьян, тоже мурлыкал какую-то песню! Даже лошадь была в бантах. Не знаю только, пьяна или нет? верно, пьяна. В руках у свахи был узелок, который она везла напоказ от некоторых новобрачных,

очевидно, проведших счастливую ночь. В узелке, разумеется, заключалась некоторая легкая одежда, которую в простонародье обыкновенно на другой же день показывают родителям невесты. Народ смеялся, смотря на сваху: предмет игривый. Газета с негодованием, с форсом, поплевывая, передавала об этом неслыханном варварстве, «даже до сих пор сохранившемся, при всех успехах цивилизации!» Господа, признаюсь вам, я расхохотался ужасно. О, пожалуйста, не думайте, что я защищаю первобытное каннибальство, легкие одежды, покровы и проч. Это скверно, это нецеломудренно, это дико, это по-славянски, знаю, согласен, хотя всё это сделалось, конечно, без худого намерения, а напротив, с целью торжества новобрачной, в простоте души, от незнания лучшего, высшего, европейского. Нет, я другому засмеялся. А именно: вспомнились мне вдруг наши барыни и модные магазины наши. Конечно, цивилизованные дамы уже не отсылают теперь легких покровов к родителям, но когда, например, придется заказывать модистке платье, с каким тактом, с каким тонким расчетом и знанием дела они умеют подложить вату в известные места своей очаровательной европейской одежды! Для чего вату? Разумеется, для изящества, для эстетики, pour paraître…[25] Мало того: их дочери, эти невинные, семнадцатилетние создания, едва покинувшие пансион, и те знают про вату, всё знают: и к чему служит вата, и где именно, в каких частях нужно употребить эту вату, и зачем, с какой то есть именно целью всё это употребляется… Ну что ж, подумал я со смехом, эти хлопоты, эти заботы, *сознательные* заботы о ватных приумножениях, — что же, чище, нравственнее, целомудреннее, что ли, они несчастной легкой одежды, везомой с простодушной уверенностью к родителям, с уверенностью, что так именно надобно, так именно нравственно!..

Ради бога, не думайте, друзья мои, что я теперь вдруг хочу пуститься в рацею о том, что цивилизация — не развитие, а, напротив, в последнее время в Европе всегда стояла с кнутом и тюрьмой над всяким развитием! Не думайте, что я стану доказывать, что у нас варварски смешивают цивилизацию и законы нормального, истинного развития, доказывать, что цивилизация уже осуждена давно на самом Западе и что за нее стоит только там один собственник (хотя там все собственники или хотят быть собственниками), чтоб спасти свои деньги. Не думайте, что я стану доказывать, что душа человеческая не tabula rasa, не вощичек, из которого можно слепить общечеловечка; что прежде всего

нужна натура, потом наука, потом жизнь самостоятельная, почвенная, нестесненная, и вера в свои собственные, национальные силы. Не думайте, что я скажу вам, будто не знаю, что наши прогрессисты (хотя и далеко не все) вовсе не стоят за вату и так же точно клеймят ее, как и легкие покровы. Нет, я только одно хочу теперь сказать: в статье ведь неспроста охуждали и проклинали покровы, не просто говорили, что это варварство, а очевидно изобличали простонародное, национальное, стихийное варварство, в противоположность европейской цивилизации нашего высшего благородного общества. Статья куражилась, статья как бы знать не хотела, что у самих обличителей-то, может быть, в тысячу раз гаже и хуже, что мы только променяли одни предрассудки и мерзости на другие, еще большие предрассудки и мерзости. Статья как будто не замечала этих наших-то, собственных-то предрассудков и мерзостей. К чему же, к чему же таким фертом стоять над народом, руки в боки да поплевывая!.. Ведь смешна, смешна уморительно эта вера в непогрешимость и в право такого обличения. Вера это или просто кураж над народом, или, наконец, нерассуждающее, рабское преклонение именно перед европейскими формами цивилизации; так ведь это еще смешнее.

Да что! ведь таких фактов тысяча каждодневно найдется. Простите за анекдот.

А, впрочем, что же я грешу. Ведь я грешу! Это оттого, что я слишком скоро от дедов к внукам перепрыгнул. Были и промежутки. Вспомните Чацкого. Это и не наивно-плутоватый дед, это и не самодовольный потомок, фертом стоящий и всё порешивший. Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской Европы, это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать,

Где оскорбленному есть чувству уголок… —

одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то. Это фразер, говорун, но сердечный фразер и совестливо тоскующий о своей бесполезности. Он теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные силы, мы верим, что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Он сознает, кроме

того, к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а, может быть, под носом, и найдет, что делать, и станет делать. И знаете ли что: я вот уверен, что не всё и теперь у нас одни только фельдфебеля цивилизации и европейские самодуры; я уверен, я стою за то, что юный человек уже народился… но об этом после. А мне хочется сказать еще два слова о Чацком. Не понимаю я только одного: ведь Чацкий был человек очень умный. Как это умный человек не нашел себе дела? Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду. Это факт, против факта и говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. Так вот не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела. Этот пункт, говорят, спорный*, но в глубине моего сердца я ему вовсе не верю. На то и ум, чтоб достичь того, чего хочешь. Нельзя версты пройти, так пройди только сто шагов, всё же лучше, всё ближе к цели, если к цели идешь. И если хочешь непременно одним шагом до цели дойти, так ведь это, по-моему, вовсе не ум. Это даже называется белоручничеством. Трудов мы не любим, по одному шагу шагать не привычны, а лучше прямо одним шагом перелететь до цели или попасть в Регулы*. Ну вот это-то и есть белоручничанье. Однако ж Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу: промешкал бы маленько — и отправился бы на восток, а не на запад*. Любят у нас Запад, любят, и в крайнем случае, как дойдет до точки, все туда едут. Ну вот и я туда еду. «Mais moi c'est autre chose».[26] Я видел их там всех, то есть очень многих, а всех и не пересчитаешь, и все-то они, кажется, ищут уголка для оскорбленного чувства. По крайней мере, чего-то ищут. Поколение Чацких обоего пола после бала у Фамусова, и вообще когда был кончен бал, размножилось там, подобно песку морскому, и даже не одних Чацких: ведь из Москвы туда они все поехали. Сколько там теперь Репетиловых, сколько Скалозубов, уже выслужившихся и отправленных к водам за негодностью. Наталья Дмитриевна с мужем там непременный член. Даже графиню Хлестову каждый год туда возят. Даже и Москва всем этим господам надоела. Одного Молчалина нет: он распорядился иначе и остался дома, он один только и остался дома. Он посвятил себя отечеству*, так сказать, родине… Теперь до него и рукой не достанешь; Фамусова он и в переднюю теперь к себе не пустит: «Деревенские, дескать, соседи: в городе с ними не кланяются». Он при делах и нашел себе дело. Он в

Петербурге и… и успел. «Он знает Русь, и Русь его знает»[*]. Да, уж его-то крепко знает и долго не забудет. Он даже и не молчит теперь, напротив, только он и говорит. Ему и книги в руки… Но что об нем. Я заговорил об них об всех, что ищут отрадного уголка в Европе, и, право, я думал, что им там лучше. А между тем на их лицах такая тоска… Бедненькие! И что за всегдашнее в них беспокойство, что за болезненная, тоскливая подвижность! Все они ходят с гидами и жадно бросаются в каждом городе смотреть редкости и, право, точно по обязанности, точно службу продолжают отечественную: не пропустят ни одного дворца о трех окнах, если только он означен в гиде, ни одного бургомистерского дома, чрезвычайно похожего на самый обыкновенный московский или петербургский дом; глазеют на говядину Рубенса и верят, что это три грации[*], потому что так велено верить по гиду; бросаются на Сикстинскую мадонну[*] и стоят перед ней с тупым ожиданием: вот-вот случится что-то, кто-нибудь вылезет из-под пола и рассеет их беспредметную тоску и усталость. И отходят удивленные, что ничего не случилось. Это не самодовольное и совершенно машинальное любопытство английских туристов и туристок, смотрящих более в свой гид, чем на редкости, ничего не ожидающих, ни нового, ни удивительного, и проверяющих только: так ли в гиде означено и сколько именно футов или фунтов в предмете? Нет, наше любопытство какое-то дикое, нервное, крепко-жаждущее, а про себя заранее убежденное, что ничего никогда не случится, разумеется до первой мухи; пролетела муха — значит, опять сейчас начинается… Я ведь только про умных людей теперь говорю. Про других же заботиться нечего: их всегда бог хранит. И не про тех тоже, которые окончательно там поселились, забывают свой язык и начинают слушать католических патеров. Впрочем, про всю массу можно только вот что сказать: как только все мы переваливаем за Эйдткунен, тотчас же становимся разительно похожи на тех маленьких несчастных собачек, которые бегают, потерявши своего хозяина. Да вы что думаете, что я с насмешкой пишу, виню кого-нибудь, что вот-де «в настоящее время, когда и т. д., а вы за границей! крестьянский вопрос идет, а вы за границей!» и т. д. и т. д. О, ничуть и нисколько. Да я-то кто такой, чтоб винить? За что винить, кого винить? «И рады делу, да дела нет, а что есть, так и без нас делается. Места заняты, вакансии не предвидится. Охота совать свой нос, где его не спрашивают». Вот и отговорка, и вся

недолга. Отговорку-то мы наизусть знаем. Но что это? Куда я заехал? Где ж это я успел перевидать за границею русских? Ведь мы только к Эйдткунену подъезжаем… Аль уж проехали? И вправду, и Берлин, и Дрезден, и Кельн — всё проехали. Я, правда, всё еще в вагоне, но уж перед нами не Эйдткунен, а Аркелин, и мы въезжаем во Францию. Париж-то, Париж-то, ведь я о нем хотел говорить, да и забыл! Уж очень про нашу русскую Европу раздумался; простительное дело, когда сам в европейскую Европу в гости едешь. А впрочем, что ж уж очень-то прощения просить. Ведь моя глава лишняя.

Глава IV
И не лишняя для путешественников

Окончательное решение о том: действительно ли «рассудка француз не имеет»?

Но нет, однако, почему же рассудка француз не имеет, спрашивал я себя, рассматривая четырех новых пассажиров, французов, только что вошедших в наш вагон. Это были первые французы, которых я встретил на их родной почве, если не считать таможенных в Аркелине, откуда мы только что тронулись. Таможенные были чрезвычайно вежливы, свое дело сделали скоро, и я вошел в вагон, очень довольный первым шагом моим во Франции. До Аркелина, в восьмиместном отделении нашем, нас помещалось всего только двое, я и один швейцарец, простой и скромный человек, средних лет, чрезвычайно приятный собеседник, с которым мы часа два проболтали без умолку. Теперь же нас было шестеро, и, к удивлению моему, мой швейцарец, при новых четырех спутниках наших, вдруг сделался чрезвычайно несловоохотлив. Я было обратился к нему с продолжением прежнего разговора, но он видимо поспешил замять его, отвечал что-то уклончиво, сухо, чуть не с досадой, отворотился к окну и начал рассматривать виды, а через минуту вытащил свой немецкий гид и совершенно углубился в него. Я тотчас же его и оставил и молча занялся нашими новыми спутниками. Это был какой-то странный народ. Ехали они налегке и вовсе не походили на путешественников. Ни узелка, ни даже платья, которое бы сколько-нибудь напоминало человека дорожного. Все они были в каких-то легоньких сюртучках, страшно потертых и изношенных, немного лучше тех, какие носят у нас офицерские денщики или дворовые люди в деревнях у среднего рода помещиков. Белье было на всех грязное, галстуки очень ярких цветов и тоже очень грязные; на одном из них был намотан остаток шелкового платка из таких, которые вечно носятся и пропитываются целым фунтом жира после пятнадцатилетнего соприкосновения с шеей носителя. У этого же носителя были еще какие-то запонки с фальшивыми брильянтами в орех величиною.

Впрочем, держали они себя с каким-то шиком, даже молодцевато. Все четверо казались одних и тех же лет, тридцати пяти или около, и, не будучи сходны лицом, были чрезвычайно похожи один на другого. Лица их были помятые, с казенными французскими бородками, тоже очень похожими одна на другую. Видно было, что это народ, прошедший сквозь разные трубы и усвоивший себе навеки хоть и кислое, но чрезвычайно деловое выражение лица. Показалось мне тоже, что они были знакомы друг с другом, но не помню, сказали ль хоть одно слово между собою. На нас, то есть на меня и на швейцарца, они как-то, видимо, не хотели смотреть и, небрежно посвистывая, небрежно рассевшись на местах, равнодушно, но упорно поглядывали в окна кареты. Я закурил папиросу и от нечего делать их разглядывал. У меня, правда, мелькал вопрос: что ж это в самом деле за народ? Работники не работники, буржуа не буржуа. Неужели ж отставные военные, что-нибудь à la demi-solde[27] или в этом роде? Впрочем, я как-то не очень ими заботился. Через десять минут, только что мы подъехали к следующей станции, они все четверо один за другим тотчас же выскочили из вагона, дверца захлопнулась, и мы полетели. На этой дороге почти не ждут на станциях: минуты две, много три — и уже летят далее. Везут прекрасно, то есть чрезвычайно быстро.

Только что мы остались одни, швейцарец мигом захлопнул свой гид, отложил его в сторону и с довольным видом посмотрел на меня, с видимым желанием продолжать разговор.

— Эти господа недолго посидели, — начал я, с любопытством смотря на него.

— Да ведь они только на одну станцию и садились.

— Вы их знаете?

— Их?.. но ведь это полицейские…

— Как? какие полицейские? — спросил я с удивлением.

— То-то… я ведь тотчас же заметил давеча, что вы не догадываетесь.

— И… неужель шпионы? (я всё еще не хотел верить).

— Ну да; для нас и садились.

— Вы наверно это знаете?

— О, это без сомнения! Я уж несколько раз здесь проезжал. Нас указали им еще в таможне, когда читали наши паспорты, сообщили им наши имена и проч. Ну вот они и сели, чтобы нас проводить.

— Да зачем же, однако ж, провожать, коль они нас уж видели? Ведь вы говорите, им нас еще на той станции указали?

— Ну да, и сообщили им наши имена. Но этого мало. Теперь же они нас изучили в подробности: лицо, костюм, саквояж, одним словом, всё, чем вы смотрите. Запонки ваши приметили. Вот вы сигарочницу вынимали, ну и сигарочницу заметили, знаете, всякие мелочи, особенности, то есть как можно больше особенностей. Вы в Париже могли бы потеряться, имя переменить (то есть если вы подозрительный). Ну, так эти мелочи могут способствовать розыску. Всё это с той же станции сейчас же и телеграфируется в Париж. Там и сохраняется на всякий случай, где следует. К тому же содержатели отелей должны сообщать все подробности об иностранцах, тоже до мелочи.

— Но зачем же их столько было, ведь их было четверо, — продолжал я спрашивать, всё еще немного озадаченный.

— О, их здесь очень много. Вероятно, на этот раз мало иностранцев, а если б больше было, они бы разбились по вагонам.

— Да помилуйте, они на нас совсем и не смотрели. Они в окошки смотрели.

— О, не беспокойтесь, всё рассмотрели… Для нас и садились.

«Ну-ну, — подумал я, — вот те и „рассудка француз не имеет“», — и (признаюсь со стыдом) как-то недоверчиво накосился на швейцарца: «Да уж и ты, брат, не того ли, а только так прикидываешься», — мелькнуло у меня в голове, но только на миг, уверяю вас. Нелепо, но что ж будешь делать; невольно подумается…

Швейцарец не обманул меня. В отеле, в котором я остановился, немедленно описали все малейшие приметы мои и сообщили их, куда следует. По точности и мелочности, с которой рассматривают вас при описании примет, можно заключить, что и вся дальнейшая ваша жизнь в отеле, так сказать, все ваши шаги скрупулезно наблюдаются и сосчитываются. Впрочем, на первый раз в отеле меня лично не много беспокоили и описали меня втихомолку, кроме, разумеется, тех вопросов, какие задаются вам по книге, и в нее же вы вписываете показания ваши: кто, как, откуда, с какими помыслами? и проч. Но во втором отеле, в котором я остановился, не найдя места в прежнем Hôtel Coquillière после восьмидневной моей отлучки в Лондон, со мной обошлись гораздо откровеннее. Этот второй Hôtel des Empereurs

смотрел вообще как-то патриархальнее во всех отношениях. Хозяин и хозяйка действительно были очень хорошие люди и чрезвычайно деликатны, уже пожилые супруги, необыкновенно внимательные к своим постояльцам. В тот же день, как я у них стал, хозяйка вечером, поймав меня в сенях, пригласила в комнату, где была контора. Тут же находился и муж, но хозяйка, очевидно, заправляла всем по хозяйству.

— Извините, — начала она очень вежливо, — нам надо ваши приметы.

— Но ведь я сообщил… паспорт мой у вас.

— Так, но… votre état?[28]

Это: «Votre état?» — чрезвычайно сбивчивая вещь и нигде мне не нравилось. Ну что тут написать? Путешественник — слишком отвлеченно. Homme de lettres?[29] — никакого уважения не будут иметь.

— Напишемте лучше propriétaire,[30] как вы думаете? — спросила меня хозяйка. — Это будет лучше всего.

— О да, это будет лучше всего, — поддакнул супруг.

— Написали. Ну теперь: причина вашего приезда в Париж?

— Как путешественник, проездом.

— Гм, да, pour voir Paris.[31] Позвольте, мсье: ваш рост?

— То есть как это рост?

— Какого вы именно росту?

— Вы видите, среднего.

— Это так, мсье… Но желалось бы знать подробнее… Я думаю, я думаю… — продолжала она в некотором затруднении, советуясь глазами с мужем.

— Я думаю, *столько-то,* — решил муж, определяя мой рост на глазомер в метрах.

— Да зачем вам это нужно? — спросил я.

— Ох, это необ-хо-димо, — отвечала хозяйка, любезно протянув на слове «необходимо» и все-таки записывая в книгу мой рост. — Теперь, мсье, ваши волосы? Блондин, гм… довольно светлого оттенка… прямые…

Она записала и волосы.

— Позвольте, мсье, — продолжала она, кладя перо, вставая со стула и подходя ко мне с самым любезным видом, — вот сюда, два шага, к окну. Надо разглядеть цвет ваших глаз. Гм, светлые…

И она опять посоветовалась глазами с мужем. Они, видимо,

чрезвычайно любили друг друга.

— Более серого оттенка, — заметил муж с особенно деловым, даже озабоченным видом. — Voilà,[32] — мигнул он жене, указывая что-то над своею бровью, но я очень хорошо понял, на что он указывал. У меня маленький шрам на лбу, и ему хотелось, чтобы жена заметила и эту особую примету.

— Позвольте ж теперь спросить, — сказал я хозяйке, когда кончился весь экзамен, — неужели с вас требуют такой отчетности?

— О мсье, это необ-хо-димо!..

— Мсье! — поддакнул муж с каким-то особенно внушительным видом.

— Но в Hôtel Coquilliere меня не спрашивали.

— Не может быть, — живо подхватила хозяйка. — Они за это могли очень ответить. Вероятно, они оглядели вас молча, но только непременно, непременно оглядели. Мы же проще и откровеннее с нашими постояльцами, мы живем с ними как с родными. Вы останетесь довольны нами. Вы увидите…

— О мсье!.. — скрепил муж с торжественностью, и даже умиление изобразилось на лице его.

И это были пречестные, прелюбезные супруги, насколько, по крайней мере, я их узнал потом. Но слово «необ-хо-димо» произносилось вовсе не в каком-нибудь извинительном или уменьшительном тоне, а именно в смысле полнейшей необходимости и чуть ли не совпадающей с собственными личными их убеждениями.

Итак, я в Париже…

Глава V
Ваал

Итак, я в Париже… Но не думайте, однако, что я вам много расскажу собственно о городе Париже. Я думаю, вы столько уже перечитали о нем по-русски, что, наконец, уж и надоело читать. К тому же вы сами в нем были и, наверное, всё лучше меня заметили. Да и терпеть я не мог, за границей, осматривать по гиду, по заказу, по обязанности путешественника, а потому и просмотрел в иных местах такие вещи, что даже стыдно сказать. И в Париже просмотрел. Так и не скажу, что именно просмотрел, но зато вот что скажу: я сделал определение Парижу, прибрал к нему эпитет и стою за этот эпитет. Именно: это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре. Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно установившиеся отношения; как всё обеспечено и разлиновано; как все довольны, как все стараются уверить себя, что довольны и совершенно счастливы, и как все, наконец, до того достарались, что и действительно уверили себя, что довольны и совершенно счастливы, и… и… остановились на этом. Далее и дороги нет. Вы не поверите тому, что остановились на этом; вы закричите, что я преувеличиваю, что это всё желчная патриотическая клевета, что не могло же всё это остановиться совсем, в самом деле. Но, друзья мои, ведь предуведомил же я вас еще в первой главе этих заметок, что, может быть, ужасно навру. Ну и не мешайте мне. Вы знаете тоже наверно, что если я и навру, то навру, будучи убежден, что не вру. А, по-моему, этого уже слишком довольно. Ну так и дайте мне свободу.

Да, Париж удивительный город. И что за комфорт, что за всевозможные удобства для тех, которые имеют право на удобства, и опять-таки какой порядок, какое, так сказать, *затишье порядка*. Я всё возвращаюсь к порядку. Право, еще немного, и полуторамиллионный Париж обратится в какой-нибудь окаменелый в затишье и порядке профессорский немецкий городок, вроде, например, какого-нибудь Гейдельберга. Как-то тянет к тому. И будто не может быть Гейдельберга в колоссальном размере? И какая регламентация! Поймите меня: не столько внешняя регламентация, которая ничтожна

(сравнительно, разумеется), а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая. Париж суживается, как-то охотно, с любовью умаляется, с умилением ежится. Куды в этом отношении, например, Лондон! Я был в Лондоне всего восемь дней, и, по крайней мере наружно, — какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными, нерегулированными под одну мерку планами оттушевался он в моих воспоминаниях. Всё так громадно и резко в своей своеобразности. Даже обмануться можно этой своеобразностью. Каждая резкость, каждое противоречие уживаются рядом с своим антитезом и упрямо идут рука об руку, противореча друг другу и, по-видимому, никак не исключая друг друга. Всё это, кажется, упорно стоит за себя и живет по-своему и, по-видимому, не мешает друг другу. А между тем и тут та же упорная, глухая и уже застарелая борьба, борьба на смерть всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться в одном муравейнике; хоть в муравейник обратиться, да только устроиться, не поедая друг друга — не то обращение в антропофаги[*]! В этом отношении, с другой стороны, замечается то же, что и в Париже: такое же отчаянное стремление с отчаяния остановиться на statu quo,[33] вырвать с мясом из себя все желания и надежды, проклясть свое будущее, в которое не хватает веры, может быть, у самих предводителей прогресса, и поклониться Ваалу[*]. Пожалуйста, однако ж, не увлекайтесь высоким слогом: всё это замечается сознательно только в душе передовых сознающих да бессознательно инстинктивно — в жизненных отправлениях всей массы. Но буржуа, например в Париже, сознательно почти очень доволен и уверен, что всё так и следует, и прибьет даже вас, если вы усомнитесь в том, что так и следует быть, прибьет, потому что до сих пор всё что-то побаивается, несмотря на всю самоуверенность. В Лондоне хоть и так же, но зато какие широкие, подавляющие картины! Даже наружно какая разница с Парижем. Этот день и ночь суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами)[*], эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель[*], с его

полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец[*], всемирная выставка… Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо[*]; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы; — не конец ли тут? не это ли уж, и в самом деле, «едино стадо». Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Всё это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, — людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса[*], в очию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал…

— Ну, это вздор, — скажете вы, — болезненный вздор, нервы, преувеличение. Не остановится на этом никто, и никто не примет этого за свой идеал. К тому же голод и рабство не свой брат и лучше всего подскажут отрицание и зародят скептицизм. А сытые дилетанты, прогуливающиеся для своего удовольствия, конечно, могут создавать картины из Апокалипсиса и тешить свои нервы, преувеличивая и вымогая из всякого явления для возбуждения себя сильные ощущения…

— Так, — отвечаю я, — положим, что я был увлечен декорацией, это всё так. Но если бы вы видели, как горд тот могучий дух, который создал эту колоссальную декорацию, и как гордо убежден этот дух в своей победе и в своем торжестве, то вы бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, содрогнулись бы и за тех, над кем носится и царит этот гордый дух. При такой колоссальности, при такой исполинской гордости владычествующего духа, при такой торжественной оконченности созданий этого духа, замирает нередко и голодная душа, смиряется, подчиняется, ищет спасения в джине и в

разврате и начинает веровать, что так всему тому и следует быть. Факт давит, масса деревенеет и прихватывает китайщины[*], или если и рождается скептицизм, то мрачно и с проклятием ищет спасения в чем-нибудь вроде мормоновщины[*]. А в Лондоне можно увидеть массу в таком размере и при такой обстановке, в какой вы нигде в свете ее наяву не увидите. Говорили мне, например, что ночью по субботам полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются как море по всему городу, наиболее группируясь в иных кварталах, и всю ночь до пяти часов празднуют шабаш, то есть наедаются и напиваются, как скоты, за всю неделю. Всё это несет свои еженедельные экономии, всё наработанное тяжким трудом и проклятием. В мясных и съестных лавках толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. Точно бал устраивается для этих белых негров. Народ толпится в отворенных тавернах и в улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы. Всё пьяно, но без веселья, а мрачно, тяжело, и всё как-то странно молчаливо. Только иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают эту подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость. Всё это поскорей торопится напиться до потери сознания… Жены не отстают от мужей и напиваются вместе с мужьями; дети бегают и ползают между ними. В такую ночь, во втором часу, я заблудился однажды и долго таскался по улицам среди неисчислимой толпы этого мрачного народа, расспрашивая почти знаками дорогу, потому что по-английски я не знаю ни слова. Я добился дороги, но впечатление того, что я видел, мучило меня дня три после этого. Народ везде народ, но тут всё было так колоссально, так ярко, что вы как бы ощупали то, что до сих пор только воображали. Тут уж вы видите даже и не народ, а потерю сознания, систематическую, покорную, поощряемую. И вы чувствуете, глядя на всех этих париев общества, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд и что долго еще будут они взывать к престолу всевышнего: «доколе, господи»[*]. И они сами знают это и покамест отмщают за себя обществу какими-то подземными мормонами, трясучками, странниками… Мы удивляемся глупости идти в какие-то трясучки и странники и не догадываемся, что тут — отделение от нашей общественной формулы, отделение упорное, бессознательное; инстинктивное отделение во что бы то ни стало для ради спасения, отделение с отвращением от нас и ужасом. Эти

миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтоб не задохнуться в темном подвале. Тут последняя, отчаянная попытка сбиться в свою кучу, в свою массу и отделиться от всего, хотя бы даже от образа человеческого, только бы быть по-своему, только бы не быть вместе с нами…

Я видел в Лондоне еще одну подобную же этой массу, которую тоже нигде не увидите в таком размере, как в Лондоне. Тоже декорация в своем роде. Кто бывал в Лондоне, тот, наверно, хоть раз сходил ночью в Гай-Маркет. Это квартал, в котором по ночам, в некоторых улицах, тысячами толпятся публичные женщины. Улицы освещены пучками газа, о которых у нас не имеют понятия. Великолепные кофейни, разубранные зеркалами и золотом, на каждом шагу. Тут и сборища, тут и приюты. Даже жутко входить в эту толпу. И так странно она составлена. Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки. Всё это с трудом толпится в улицах, тесно, густо. Толпа не умещается на тротуарах и заливает всю улицу. Всё это жаждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первого встречного. Тут и блестящие дорогие одежды и почти лохмотья, и резкое различие лет, всё вместе. В этой ужасной толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный богач. Слышны ругательства, ссоры, зазыванье и тихий, призывный шепот еще робкой красавицы. И какая иногда красота! Лица точно из кипсеков[*]. Помню, раз я зашел в одно «Casino». Там гремела музыка, шли танцы, толпилась бездна народу. Убранство было великолепное. Но мрачный характер не оставляет англичан и среди веселья: они и танцуют серьезно, даже угрюмо, чуть не выделывая па и как будто по обязанности. Наверху, в галерее, я увидел одну девушку и остановился просто изумленный: ничего подобного такой идеальной красоте я еще не встречал никогда. Она сидела за столиком вместе с молодым человеком, кажется богатым джентльменом и, по всему видно, непривычным посетителем казино. Он, может быть, отыскивал ее, и наконец они свиделись или условились видеться здесь. Он мало говорил с нею и всё как-то отрывисто, как будто не о том, о чем они хотели бы говорить. Разговор часто прерывался долгим молчанием. Она тоже была очень грустна. Черты

лица ее были нежны, тонки, что-то затаенное и грустное было в ее прекрасном и немного гордом взгляде, что-то мыслящее и тоскующее. Мне кажется, у ней была чахотка. Она была, она не могла не быть выше всей этой толпы несчастных женщин своим развитием: иначе что же значит лицо человеческое? А между тем она тут же пила джин, за который заплатил молодой человек. Наконец он встал, пожал ей руку, и они расстались. Он ушел из казино, а она с румянцем, разгоревшимся от водки густыми пятнами на ее бледных щеках, пошла и затерялась в толпе промышляющих женщин. В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки лет по двенадцати хватают вас за руку и просят, чтоб вы шли с ними. Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидал одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, бог знает зачем шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило — она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она всё качала своей всклоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги. Вообще предметы игривые…

И вот, раз ночью, в толпе этих потерянных женщин и развратников остановила меня женщина, торопливо пробиравшаяся сквозь толпу. Она была одета вся в черном, в шляпке, почти закрывавшей ее лицо; я почти и не успел разглядеть его; помню только пристальный ее взгляд. Она сказала что-то, что я не мог разобрать, ломаным французским языком, сунула мне в руку какую-то маленькую бумажку и быстро прошла далее. У освещенного окна кофейной я рассмотрел бумажку: это был маленький квадратный лоскуток; на одной стороне его было напечатано: «Crois-tu cela?».[34] На другой стороне, по-французски же: «Аз есмь воскресение и живот…»* и т. д. — несколько известных строк.

Согласитесь, что это тоже довольно оригинально. Мне растолковали потом, что это католическая пропаганда, шныряющая всюду, упорная, неустанная. То раздаются эти бумажки на улицах, то книжки, состоящие из разных отдельных выдержек из Евангелия и Библии. Раздают их даром, навязывают, суют в руки. Пропагаторов бездна, и мужчин и женщин. Это пропаганда тонкая и расчетливая. Католический священник сам выследит и вотрется в бедное семейство какого-нибудь работника. Найдет он, например, больного, лежащего в отребьи на сыром полу, окруженного одичавшими с голоду и с холоду детьми, с голодной, а зачастую и пьяной женой. Он всех накормит, оденет, обогреет, начнет лечить больного, покупает лекарство, делается другом дома и под конец обращает всех в католичество. Иногда, впрочем, уже после излечения, его прогоняют с ругательствами и побоями. Он не устает и идет к другим. Его оттуда вытолкают; он всё снесет, но уж кого-нибудь да уловит. Англиканский же священник не пойдет к бедному. Бедных и в церковь не пускают, потому что им нечем заплатить за место на скамье. Браки между работниками и вообще между бедными почти зачастую незаконные, потому что дорого стоит венчаться. Кстати, многие из этих мужей ужасно бьют своих жен, уродуют их насмерть и больше всё кочергами, которыми разворачиваются в камине уголья. Это у них какой-то уже определенный к битью инструмент. По крайней мере в газетах, при описании семейных ссор, увечий и убийств, всегда упоминается кочерга. Дети у них, чуть-чуть подросши, зачастую идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям. Англиканские священники и епископы горды и богаты, живут в богатых приходах и жиреют в совершенном спокойствии совести. Они большие педанты, очень образованны и сами важно и серьезно верят в свое тупонравственное достоинство, в свое право читать спокойную и самоуверенную мораль, жиреть и жить тут для богатых. Это религия богатых и уж без маски. По крайней мере рационально и без обмана. У этих убежденных до отупения профессоров религии есть одна своего рода забава: это миссионерство. Исходят всю землю, зайдут в глубь Африки, чтоб обратить одного дикого, и забывают миллион диких в Лондоне за то, что у тех нечем платить им. Но богатые англичане и вообще все тамошние золотые тельцы чрезвычайно религиозны, мрачно, угрюмо и своеобразно. Английские поэты испокон веку любят

воспевать красоту пасторских жилищ* в провинции, осененных столетними дубами и вязами, их добродетельных жен и идеально прекрасных белокурых дочерей с голубыми глазами.

Но когда проходит ночь и начинается день, тот же гордый и мрачный дух снова царственно проносится над исполинским городом. Он не тревожится тем, что было ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Вера его в себя безгранична; он презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подает организованную милостыню, и затем поколебать его самоуверенность невозможно. Ваал не прячет от себя, как делают, например, в Париже, иных диких, подозрительных и тревожных явлений жизни. Бедность, страдание, ропот и отупение массы его не тревожат нисколько. Он презрительно позволяет всем этим подозрительным и зловещим явлениям жить рядом с его жизнью, подле, наяву. Он не старается трусливо, как парижанин, усиленно разуверять себя, ободрять и доносить самому себе, что всё спокойно и благополучно. Он не прячет, как в Париже, куда-то бедных, чтоб те не тревожили и не пугали напрасно его сна. Парижанин, как птица страус, любит затыкать свою голову в песок, чтоб так уж и не видать настигающих его охотников. В Париже… Но, однако, что ж это я! Я опять не в Париже… Да когда ж это, господи, я приучусь к порядку…

Глава VI
Опыт о буржуа

Отчего же здесь всё это ежится, отчего всё это хочет разменяться на мелкую монету, стесниться, стушеваться; «нет меня, нет совсем на свете; я спрятался, проходите, пожалуйста, мимо и не замечайте меня, сделайте вид, как будто вы меня не видите, проходите, проходите!»

— Да о ком вы говорите? Кто ежится?

— Да буржуа.

— Помилуйте, он король, он всё, le tiers état c'est tout*,[35] а вы — ежится!

— Да-с, а отчего он так спрятался под императора Наполеона? Отчего он забыл высокий слог в палате депутатов, который он так любил прежде? Отчего он не хочет ничего вспоминать и руками машет, когда ему напомнят о чем-нибудь, что было в старину? Отчего у него тотчас же на уме, и в глазах, и на языке тревога, когда другие чего-нибудь осмелятся пожелать в его присутствии? Отчего, когда он сам сдуру разблажится и чего-нибудь вдруг пожелает, то тотчас же вздрогнет и начнет открещиваться: «Господи! да что это я, наконец!» — и долго еще после того совестливо старается загладить свое поведение старанием и послушанием? Отчего он смотрит и чуть не говорит: «Вот, поторгую сегодня маленько в лавочке, да бог даст завтра опять поторгую, может, и послезавтра, если будет великая милость господня… Ну, а там, а там, только бы вот поскорее накопить хоть крошечку, и — après moi le déluge*!».[36] Отчего он куда-то прибрал всех бедных и уверяет, что их совсем нет? Отчего он довольствуется казенной литературой? Отчего ему ужасно хочется уверить себя, что его журналы неподкупны? Отчего он соглашается давать столько денег на шпионов? Отчего он не смеет пикнуть слова о мексиканской экспедиции?* Отчего в театре мужья выставляются в таком благороднейшем и денежном виде, а любовники всё такие оборванные, без места и без протекции, приказчики какие-то или художники, дрянцо в высочайшей степени? Отчего ему мерещится, что эпузы* все до единой верны до последней крайности, что фойе благоденствует*, pot-au-feu[37] варится на добродетельнейшем огне, а головная прическа в

самом лучшем виде, в каком только можно себе представить? Насчет прически уж это так непременно решено, так уж условлено, безо всяких разговоров, так, само собою условилось, и хотя поминутно проезжают по бульварам фиакры с опущенными сторами, хотя везде есть приюты для всех интересных надобностей, хотя туалеты эпуз даже и весьма часто дороже, чем можно было бы предположить, судя по карману супруга, но так решено, так подписано, и чего же вам более? А почему так решено и подписано? Как же-с: если не так, так ведь, пожалуй, подумают, что идеал не достигнут, что в Париже еще не совершенный рай земной, что можно, пожалуй, чего-нибудь еще пожелать, что, стало быть, буржуа и сам не совершенно доволен тем порядком, за который стоит и который всем навязывает; что в обществе есть прорехи, которые надо чинить. Вот почему буржуа и замазывает дырочки на сапогах чернилами, только бы, боже сохрани, чего не заметили! А эпузы кушают конфетки, гантируются*, так что русские барыни в отдаленном Петербурге им завидуют до истерики, показывают свои ножки и преграциозно приподымают свои платья на бульварах. Чего же более для совершенного счастья? Вот почему заглавия романов, как например «Жена, муж и любовник»*, уже невозможны при теперешних обстоятельствах, потому что любовников нет и не может быть. И будь их в Париже так же много, как песку морского (а их там, может, и больше), все-таки их там нет и не может быть, потому что так решено и подписано, потому что всё блестит добродетелями. Так надо чтоб всё блестело добродетелями. Если посмотреть на большой двор в Палерояле вечером, до одиннадцати часов ночи, то придется непременно пролить слезу умиления. Бесчисленные мужья прогуливаются с своими бесчисленными эпузами под руку, кругом резвятся их милые и благонравные детки, фонтанчик шумит и однообразным плеском струй напоминает вам о чем-то покойном, тихом, всегдашнем, постоянном, гейдельбергском. И ведь не один фонтанчик в Париже шумит таким образом: фонтанчиков много, и везде то же самое, так что сердце радуется.

Потребность добродетели в Париже неугасима. Теперь француз серьезен, солиден и даже часто умиляется сердцем, так что я не понимаю, почему даже до сих пор он так ужасно чего-то трусит, трусит, несмотря даже на всю gloire militaire,[38] процветающую во Франции, и за которую Jacques Bonhomme*[39] так дорого платит. Парижанин

ужасно любит торговать, но, кажется, и торгуя и облупливая вас, как липку, в своем магазине, он облупливает не просто для барышей, как бывало прежде, а из добродетели, из какой-то священнейшей необходимости. Накопить фортуну и иметь как можно больше вещей — это обратилось в самый главный кодекс нравственности, в катехизм парижанина. Это и прежде было, но теперь, теперь это имеет какой-то, так сказать, священнейший вид. Прежде хоть что-нибудь признавалось, кроме денег, так что человек и без денег, но с другими качествами мог рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение; ну, а теперь ни-ни. Теперь надо накопить денежки и завести как можно больше вещей, тогда и можно рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение. И не только на уважение других, но даже на самоуважение нельзя иначе рассчитывать. Парижанин себя в грош не ставит, если чувствует, что у него карманы пусты, и это сознательно, совестливо, с великим убеждением. Вам позволяются удивительные вещи, если у вас только есть деньги. Бедный Сократ[*] есть только глупый и вредный фразёр и уважается только разве на театре, потому что буржуа всё еще любит уважать добродетель на театре. Странный человек этот буржуа: провозглашает прямо, что деньги есть высочайшая добродетель и обязанность человеческая, а между тем ужасно любит поиграть и в высшее благородство. Все французы имеют удивительно благородный вид. У самого подлого французика, который за четвертак продаст вам родного отца, да еще сам, без спросу, прибавит вам что-нибудь в придачу, в то же время, даже в ту самую минуту, как он вам продает своего отца, такая внушительная осанка, что на вас даже нападает недоумение. Войдите в магазин купить что-нибудь, и последний приказчик раздавит, просто раздавит вас своим неизъяснимым благородством. Это то самые приказчики, которые служат моделью самого субдительного суперфлю для нашего Михайловского театра[*]. Вы подавлены, вы просто чувствуете себя в чем-то виноватым перед этим приказчиком. Вы пришли, например, чтоб издержать десять франков, а между тем вас встречают как лорда Девоншира[*]. Вам тотчас же делается отчего-то ужасно совестно, вам хочется поскорей уверить, что вы вовсе не лорд Девоншир, а только так себе, скромный путешественник, и вошли, чтоб купить только на десять франков. Но молодой человек самой счастливой наружности и с неизъяснимейшим благородством в душе, при виде которого вы готовы себя признать даже

подлецом (потому что уж до такой степени он благороден!), начинает вам развертывать товару на десятки тысяч франков. Он в одну минуту забросал для вас весь прилавок, и как подумаешь тут же, сколько ему, бедненькому, придется после вас опять завертывать, ему, Грандисону, Алкивиаду, Моиморанси[*], да еще после кого? после вас, имевшего дерзость с вашей незавидной наружностью, с вашими пороками и недостатками, с вашими отвратительными десятью франками прийти беспокоить такого маркиза, — как подумаешь всё это, то поневоле мигом, тут же за прилавком, начинаешь в высочайшей степени презирать себя. Вы раскаиваетесь и проклинаете судьбу, зачем у вас в кармане теперь только сто франков; вы бросаете их, прося взглядом прощения. Но вам великодушно завертывают товар на ваши мизерные сто франков, прощают вам всю тревогу, всё беспокойство, которое вы произвели в магазине, и вы спешите как-нибудь поскорее стушеваться. Придя домой, вы ужасно удивляетесь, что хотели истратить только десять франков, а истратили сто. Сколько раз, проходя бульвары или Rue Vivienne, где столько громадных магазинов с галантерейностями, я мечтал про себя: вот бы напустить сюда русских барынь и… но о том, что следует дальше, лучше всего знают приказчики и старосты в орловских, тамбовских и разных прочих губерниях. Русским вообще ужасно хочется показать в магазинах, что у них необъятно много денег. Зато находится же на свете такое бесстыдство, как например в англичанках, которые не только не смущаются, что какой-нибудь Адонис, Вильгельм Телль[*] забросал для них весь прилавок товарами и переворотил весь магазин, но даже начинают — о ужас! — торговаться из-за каких-нибудь десяти франков. Но и Вильгельм Телль не промах: уж он отметит за себя и за какую-нибудь шаль в тысячу пятьсот франков слупит с миледи двенадцать тысяч, да еще так, что та остается совершенно довольна. Но, несмотря на то, буржуа до страсти любит неизъяснимое благородство. На театре подавай ему непременно бессребренников. Гюстав должен сиять только одним благородством, и буржуа плачет от умиления. Без неизъяснимого благородства он и спать не может спокойно. А что он взял двенадцать тысяч вместо тысячи пятисот франков, то это даже обязанность: он взял из добродетели. Воровать гадко, подло, — за это на галеры[*]; буржуа многое готов простить, но не простит воровства, хотя бы вы или дети ваши умирали с голоду. Но если вы украдете из добродетели, о, вам тогда совершенно

всё прощается. Вы, стало быть, хотите faire fortune[40] и накопить много вещей, то есть исполнить долг природы и человечества. Вот почему в кодексе совершенно ясно обозначены пункты воровства из низкой цели, то есть из-за какого-нибудь куска хлеба*, и воровство из высокой добродетели. Последнее в высочайшей степени обеспечено, поощряется и необыкновенно прочно организовано.

Почему же, наконец, — опять-таки я всё на прежнее, — почему же, наконец, буржуа до сих пор как будто чего-то трусит, как будто не в своей тарелке сидит? Чего ему беспокоиться? Парлеров, фразеров? Да ведь он их одним толчком ноги пошлет теперь к черту. Доводов чистого разума? Да ведь разум оказался несостоятельным перед действительностью, да, сверх того, сами-то разумные, сами-то ученые начинают учить теперь, что нет доводов чистого разума*, что чистого разума и не существует на свете, что отвлеченная логика неприложима к человечеству, что есть разум Иванов, Петров, Гюставов, а чистого разума совсем не бывало; что это только неосновательная выдумка восемнадцатого столетия. Кого же бояться? Работников? Да ведь работники тоже все в душе собственники: весь идеал их в том, чтоб быть собственниками и накопить как можно больше вещей; такая уж натура. Натура даром не дается. Всё это веками взращено и веками воспитано. Национальность не легко переделывается, не легко отстать от вековых привычек, вошедших в плоть и кровь. Земледельцев? Да ведь французские земледельцы архисобственники, самые тупые собственники, то есть самый лучший и самый полный идеал собственника, какой только можно себе представить. Коммунистов? Социалистов, наконец? Но ведь этот народ сильно в свое время профершпилился*, и буржуа в душе глубоко его презирает; презирает, а между тем все-таки боится. Да; вот этого-то народа он до сих пор и боится. А чего бы, кажется, бояться? Ведь предрек же аббат Сийес в своем знаменитом памфлете, что буржуа — это *всё**. *«Что такое tiers état? Ничего. Чем должно оно быть? Всем»*. Ну так и случилось, как он сказал. Одни только эти слова и осуществились из всех слов, сказанных в то время; они одни и остались. А буржуа всё еще как-то не верит, несмотря на то, что всё, что было сказано после слов Сийеса, сбрендило и лопнуло, как мыльный пузырь. В самом деле: провозгласили вскоре после него: Liberté, égalité, fraternité*.[41] Очень хорошо-с. Что такое liberté? Свобода. Какай свобода? Одинаковая свобода всем делать всё

что угодно в пределах закона. Когда можно делать всё что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает всё что угодно, а тот, с которым делают всё что угодно. Что ж из этого следует? А следует то, что кроме свободы, есть еще равенство, и именно равенство перед законом. Про это равенство перед законом можно только сказать, что в том виде, в каком оно теперь прилагается, каждый француз может и должен принять его за личную для себя обиду. Что ж остается из формулы? Братство. Ну эта статья самая курьезная и, надо признаться, до сих пор составляет главный камень преткновения на Западе. Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы ни стало. Но оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном Я, сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну, а из такого самопоставления не могло произойти братства. Почему? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не Я должна хлопотать о праве своей равноценности и равновесности со всем *остальным,* а все-то это *остальное* должно бы было *само* прийти к этой требующей права личности, к этому отдельному Я, и само, без его просьбы должно бы было признать его равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была всё свое *Я,* всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу дела: она требует с бою, она требует права, она хочет *делиться* — ну и не выходит братства. Конечно, можно переродиться? Но перерождение это совершается тысячелетиями, ибо подобные идеи должны сначала в кровь и плоть войти, чтобы стать действительностью. Что ж, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтоб быть счастливым? Разве в безличности

спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека. Но тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который если попадется под машину, то всё разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Например: я приношу и жертвую всего себя для всех; ну, вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать всё и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как же это сделать? Ведь это всё равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться. Как же сделать? Сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно *само собой сделалось, чтоб оно было в натуре,* бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом: чтоб было братское, любящее начало — надо любить. Надо, чтоб самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласие, и тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившиеся в нации, несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплеменников, — одним словом, чтоб потребность братской общины была в натуре человека, чтоб он с тем и родился или усвоил себе такую привычку искони веков. В чем состояло

бы это братство, если б переложить его на разумный, сознательный язык? В том, чтоб каждая отдельная личность сама, безо всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу: «Мы крепки только все вместе, возьмите же меня всего, если вам во мне надобность, не думайте обо мне, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько, я все свои права вам отдаю, и, пожалуйста, располагайте мною. Это высшее счастье мое — вам всем пожертвовать и чтоб вам за это не было никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием, только бы ваше-то братство процветало и осталось». А братство, напротив, должно сказать: «Ты слишком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом всё твое счастье; но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце и за твое счастие. Возьми же всё и от нас. Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни природы теперь не бойся. Мы все за тебя, мы все гарантируем тебе безопасность, мы неусыпно о тебе стараемся, потому что мы братья, мы все твои братья, а нас много и мы сильны; будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас».

После этого, разумеется, уж нечего делиться, тут уж всё само собою разделится. Любите друг друга, и всё сие вам приложится.[*]

Эка ведь в самом деле утопия, господа! Всё основано на чувстве, на натуре, а не на разуме. Ведь это даже как будто унижение для разума. Как вы думаете? Утопия это или нет?

Но опять-таки что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала, а, напротив, начало единичное, личное, беспрерывно ослабляющееся, требующее с мечом в руке своих прав. Социалист, видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство. За неимением братства он хочет сделать, составить братство. Чтоб сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не имеется, то есть не имеется натуры, способной к братству, натуры, верующей в братство, которую само собою тянет на братство. В отчаянии социалист начинает делать, определять будущее братство, рассчитывает на вес и на меру, соблазняет выгодой, толкует, учит, рассказывает, сколько кому от этого братства выгоды придется, кто сколько выиграет, определяет, чем каждая личность смотрит, насколько тяготеет и определяет заранее расчет благ земных; насколько кто их заслужит и сколько каждый за

них должен добровольно внести в ущерб своей личности в общину. А уж какое тут братство, когда заране делятся и определяют, кто сколько заслужил и что каждому надо делать? Впрочем, провозглашена была формула: «Каждый для всех и все для каждого». Уж лучше этого, разумеется, ничего нельзя было выдумать, тем более что вся формула целиком взята из одной всем известной книжки*. Но вот начали прикладывать эту формулу к делу, и через шесть месяцев братья потянули основателя братства Кабета к суду.* Фурьеристы, говорят, взяли свои последние девятьсот тысяч франков из своего капитала*, а всё еще пробуют, как бы устроить братство. Ничего не выходит. Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему всё кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля. И ведь на поле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду и воли у него нет никакой, так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше. Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды; что муравей, какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей, его умнее, потому что в муравейнике всё так хорошо, всё так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело, одним словом: далеко еще человеку до муравейника!*

Другими словами: хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции.

И вот в самом последнем отчаянии социалист провозглашает наконец: Liberté, égalité, fraternité *où la mort*.[42] Ну, уж тут нечего говорить, и буржуа окончательно торжествует.

А если буржуа торжествует, так, стало быть, и сбылась формула Сийеса, буквально и в последней точности. Итак, буржуа всё, отчего же он конфузится, отчего ежится, чего боится? Все сбрендили, все перед ним оказались несостоятельными. Прежде, при* Луи-Филиппе* например, буржуа вовсе не так конфузился и боялся, а ведь он и тогда

царил. Да, но он тогда еще боролся, предчувствовал, что ему есть враги, и последний раз разделался с ними на июньских баррикадах ружьем и штыком[*]. Но бой кончился, и вдруг буржуа увидел, что он один на земле, что лучше его и нет ничего, что он идеал и что ему осталось теперь не то чтоб, как прежде, уверять весь свет, что он идеал, а просто спокойно и величаво позировать всему свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих. Положение, как хотите, конфузное. Выручил Наполеон III[*]. Он как с неба им упал, как единственный выход из затруднения, как единственная тогдашняя возможность. С тех самых пор буржуа благоденствует, за благоденствие свое платит ужасно и всего боится, именно потому, что всего достиг. Когда всего достигаешь, тяжело становится *всё* потерять. Из этого прямо выходит, друзья мои, что кто наиболее боится, значит тот наиболее благоденствует. Не смейтесь, пожалуйста. Ведь что же такое теперь буржуа?

Глава VII
Продолжение предыдущего

И почему *между буржуа столько лакеев,* да еще при такой благородной наружности? Пожалуйста, не обвиняйте меня, не кричите, что я преувеличиваю, клевещу, что во мне говорит ненависть. К чему? к кому? зачем ненависть? Просто много лакеев, и это так. Лакейство въедается в натуру буржуа всё более и более и всё более и более считается добродетелью. Так и должно быть при теперешнем порядке вещей. Естественное следствие. А главное, главное — натура помогает. Я уж не говорю, например, что в буржуа много прирожденного шпионства. Мое мнение именно в том состоит, что необычайное развитие шпионства во Франции, и не простого, а мастерского шпионства, шпионства по призванию, дошедшего до искусства, имеющего свои научные приемы, происходит у них от врожденного лакейства. Какой идеально благородный Гюстав, если только он не имеет еще вещей, не предоставит сейчас же за десять тысяч франков письма своей возлюбленной и не выдаст свою любовницу ее мужу? Может, я и преувеличиваю это, но, может быть, я говорю, основываясь на каких-нибудь фактах. Француз любит ужасно забежать вперед, как-нибудь на глаза к власти и слакейничать перед ней что-нибудь даже совершенно бескорыстно, даже и не ожидая сейчашней награды, в долг, на книжку. Вспомните всех этих искателей мест, например, при частой перемене правительств, бывших во Франции. Вспомните, какие штучки и коленца они выделывали и в чем сами признавались. Вспомните один из ямбов Барбие[*] по этому поводу. Взял я раз в кафе одну газету от 3 июля. Смотрю: письма из Виши. В Виши гостил тогда император, ну и двор, разумеется; были кавалькады, гулянья. Корреспондент всё это описывает. Он начинает:

«У нас много превосходных наездников. Разумеется, вы тотчас же угадали самого блестящего из всех. Его величество прогуливается каждый день в сопровождении своей свиты и т. д.».

Оно понятно, пусть увлекается блестящими качествами своего императора. Можно благоговеть перед его умом, расчетливостью, совершенствами и т. д. Такому увлекающемуся господину и нельзя

сказать в глаза, что он притворяется. «Мое убеждение — и кончено», — ответит он вам, ни дать ни взять как ответят вам некоторые из наших современных журналистов. Понимаете: он гарантирован; ему есть, что вам отвечать, чтоб зажать вам рот. Свобода совести и убеждений есть первая и главная свобода в мире. Но тут, в этом случае, что может он вам ответить? Тут ведь уж он не смотрит на законы действительности, попирает всякое правдоподобие и делает это намеренно. А для чего бы, кажется, это делать намеренно? Ведь ему никто не поверит. Сам наездник, наверно, этого не прочтет, а если и прочтет, то неужели французик, писавший «correspondence»,[43] газета, ее поместившая у себя, и редакция газеты, неужели ж все они до того глупы, чтоб не разобрать, что владыке вовсе не нужна слава первого наездника во Франции, что он под старость вовсе и не рассчитывает на эту славу и, конечно, не поверит, если его будут уверять, что он самый ловкий наездник из всей Франции; говорят, он человек чрезвычайно умный. Нет-с, тут другой расчет: пусть неправдоподобно, смешно, пусть сам владыка посмотрит на это с отвращением и презрительным смехом, пусть, пусть, но зато увидит слепую покорность, увидит безграничное падам до ног*, рабское, глупое, неправдоподобное, но зато *падам до ног,* а это главное. Теперь рассудите: если б это было не в духе нации, если б такая пошлая лесть не считалась совершенно возможной, обыкновенной, совершенно в порядке вещей, и даже приличной — возможно ли было бы поместить в парижской газете такую корреспонденцию? Где вы встретите в печати подобную лесть, кроме Франции? Я именно потому и говорю о духе нации, что не одна газета так толкует, а почти все такие же в таком же точно роде, кроме двух-трех не совсем зависимых.

Сидел я раз за одним табльдотом — это уж было не во Франции, а в Италии, но за табльдотом было много французов. Толковали о Гарибальди. Тогда везде толковали о Гарибальди. Это было недели за две до Аспромонте.* Разумеется, говорили загадочно; иные молчали и не хотели совсем высказываться; другие качали головами. Общий смысл разговора был тот, что Гарибальди затеял дело рискованное, даже неблагоразумное; но, конечно, высказывали это мнение с недоговорками, потому что Гарибальди — человек до того всем не в уровень, что у него, пожалуй, и выйдет благоразумно даже и то, что по обыкновенным соображениям выходит слишком рискованным. Мало-

помалу перешли собственно к личности Гарибальди. Стали перечислять его качества — приговор был довольно благоприятный для итальянского героя.

— Нет, я одному только в нем удивляюсь, — громко проговорил один француз, приятной и внушительной наружности, лет тридцати и с отпечатком на лице того необыкновенного благородства, которое до нахальства бросается вам в глаза во всех французах. — Одно только обстоятельство меня в нем наиболее удивляет!

Разумеется, все с любопытством обратились к оратору.

Новое качество, открытое в Гарибальди, долженствовало быть для всех интересным.

— В шестидесятом году, некоторое время, в Неаполе, он пользовался неограниченною и самою бесконтрольною властью.* В руках у него была сумма в двадцать миллионов казенных денег! В этой сумме он никому не давал отчета! Он мог взять и утаить сколько угодно из этой суммы, и никто бы с него не спросил! Он не утаил ничего и сдал правительству всё счетом до последнего су. Это почти невероятно!!

Даже глаза его разгорелись, когда он говорил о двадцати миллионах франков.*

Про Гарибальди, конечно, можно рассказывать всё что угодно. Но сопоставить имя Гарибальди с хаптурками* из казенного мешка — это, разумеется, мог сделать только один француз.

И как наивно, как чистосердечно он это проговорил. За чистосердечие, разумеется, всё прощается, даже утраченная способность пониманья и чутья настоящей чести; но, заглянув в лицо, так и заигравшее при воспоминании о двадцати миллионах, я совершенно нечаянно подумал:

«А что, брат, если б ты вместо Гарибальди находился тогда при казенном мешке!»

Вы скажете мне, что это опять неправда, что всё это только частные случаи, что и у нас точно так же происходит и что не могу же я ручаться за всех французов. Конечно, так, я и не говорю про всех. Везде есть неизъяснимое благородство, а у нас, может быть, даже и гораздо хуже бывало. Но в добродетель-то, в добродетель-то зачем возводить? Знаете что? Можно быть даже и подлецом, да чутья о чести не потерять; а тут ведь очень много честных людей, но зато чутье чести совершенно потеряли и потому подличают, не ведая, что творят, из добродетели.

Первое, разумеется, порочнее, но последнее, как хотите, презрительнее. Такой катехизис о добродетелях составляет худой симптом в жизни нации. Ну, а насчет частных случаев я не хочу с вами спорить. Даже вся нация-то состоит ведь из одних только частных случаев, не правда ли?

Даже я вот что думаю. Я, может быть, ошибся и в том, что буржуа ежится, что он всё еще чего-то боится. Ежится-то он действительно ежится, и побаивается, но если подвести итог, то буржуа совершенно благоденствует. Хоть он и сам обманывает себя, хоть и докладывает себе поминутно, что всё обстоит благополучно, но, однако ж, это нисколько не мешает наружной его самоуверенности. Мало того: даже и внутри он ужасно самоуверен, когда разыграется. Как всё это в нем уживается вместе — действительно задача, но это так. Вообще буржуа очень не глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий, точно дров на зиму, и он серьезно намеревается прожить с ними хоть тысячу лет. Впрочем, что же тысячу лет: про тысячу лет буржуа заговаривает редко, только разве когда впадает в красноречие. «Après moi le déluge» гораздо употребительнее и чаще прилагается к делу. И какое ко всему равнодушие, какие мимолетные, пустые интересы. Мне случалось в Париже бывать в обществе, в доме, где в мое время перебывало множество людей. Точно все они как будто боятся и заговорить о чем-нибудь необыденном, о чем-нибудь не так мелочном, о каких-нибудь всеобщих интересах, ну там о каких бы то ни было общественных интересах. Тут не мог, мне кажется, быть страх шпионов, тут просто все разучились о чем-нибудь мыслить и говорить посерьезнее. Впрочем, встречались тут люди, которые ужасно интересовались, какое впечатление на меня произвел Париж, насколько я благоговею, насколько я удивлен, раздавлен, уничтожен. Француз до сих пор думает, что он способен нравственно давить и уничтожать. Это тоже довольно забавный признак. Особенно я помню одного премилого, прелюбезного, предобрейшего старичка, которого я искренно полюбил. Он так и заглядывал мне в глаза, выспрашивая мое мнение о Париже, и ужасно огорчался, когда я не изъявлял особенного восторга. Даже страдание изображалось на добром лице его, — буквально страдание, я не преувеличиваю. О милый m-r Le M-ге! Француза, то есть парижанина (потому что ведь, в сущности, все французы парижане), никогда не разуверишь в том, что он не первый человек на всем земном шаре.

Впрочем, о всем земном шаре, кроме Парижа, он весьма мало знает. Да и знать-то очень не хочет. Это уж национальное свойство и даже самое характеристичное. Но самое характеристичное свойство француза — это красноречие. Любовь к красноречию в нем неугасима и с годами разгорается всё больше и больше. Мне бы ужасно хотелось узнать, когда именно началась во Франции эта любовь к красноречию. Разумеется, главное началось с Людовика XIV*. Замечательно, что во Франции всё началось с Людовика XIV, право так. Но всего замечательнее, что и во всей Европе всё началось с Людовика XIV. И чем взял этот король, — понять не могу! Ведь не особенно же он выше всех прежних других королей. Разве тем, что первый сказал: «l'Etat c'est moi».[44] Это ужасно понравилось, это всю Европу тогда облетело. Я думаю, одним этим-то словцом он и прославился. Даже у нас оно удивительно скоро стало известно. Национальнейший государь был этот Людовик XIV, вполне во французском духе, так что я даже и не понимаю, как это во Франции могли случиться все эти маленькие шалости*…ну вот в конце прошлого столетия. Пошалили и воротились к прежнему духу; на то идет; но красноречие, красноречие, о — это камень преткновения для парижанина. Он всё готов забыть из прежнего, всё, всё, готов вести самые благоразумные разговоры и быть самым послушным и прилежным мальчиком, но красноречия, одного только красноречия он до сих пор никак не может забыть. Он тоскует и вздыхает по красноречию; припоминает Тьера, Гизо, Одилона Барро.*То-то красноречия-то было тогда, говорит он иногда про себя и начинает задумываться. Наполеон III это понял, тотчас же порешил, что Jacques Bonhomme не должен задумываться, и мало-помалу завел красноречие. Для сей цели в законодательном корпусе содержится шесть либеральных депутатов*, шесть постоянных, неизменных настоящих либеральных депутатов, то есть таких, что, может быть, их и не подкупишь, если начать подкупать, и, однако ж, их все-таки шесть, — шесть было, шесть есть и шесть только и останется. Больше не прибудет, будьте покойны, да и Не убудет тоже. И это прехитрая штука на первый взгляд. Дело-то, однако ж, гораздо проще в действительности и обходится при помощи suffrage universel.[45] Разумеется, чтоб они очень-то не заговаривались, приняты все надлежащие меры. Но поболтать позволяется. Ежегодно в нужное время обсуживаются важнейшие государственные вопросы, и парижанин

сладко волнуется. Он знает, что будет красноречие, и рад. Разумеется, он очень хорошо знает, что будет только одно красноречие и больше ничего, что будут слова, слова и слова и что из слов этих решительно ничего не выйдет. Но он и этим очень, очень доволен. И сам, первый, находит всё это чрезвычайно благоразумным. Речи некоторых из этих шести представителей пользуются особенною популярностью. И представитель всегда готов говорить речи для увеселения публики. Странное дело: ведь и сам он совершенно уверен, что из речей его ничего не выйдет, что всё это только одна шутка, шутка и больше ничего, невинная игра, маскарад, а между тем говорит, несколько лет сряду говорит, и прекрасно говорит, даже с большим удовольствием. И у всех членов, которые слушают его, даже слюнки текут от удовольствия. «Хорошо говорит человек!» — и у президента и у всей Франции слюнки текут. Но вот представитель кончил, а затем встает и гувернер сих милых и благонравных детей. Он торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему «Восход солнца» было отлично развито и обработано почтенным представителем. Мы удивлялись таланту почтенного оратора, говорит он, его мыслям и благонравному поведению, выраженному в этих мыслях, мы наслаждались все, все… Но хотя почтенный член и вполне заслужил в награду книжку с надписью: «За благонравие и успехи в науках», несмотря на то, господа, речь почтенного представителя по некоторым высшим соображениям никуда не годится. Надеюсь, господа, что вы совершенно со мною согласны. Тут он обращается ко всем представителям, и взгляд его начинает сверкать строгостью. Представители, у которых текли слюнки, немедленно с неистовым восторгом рукоплещут гувернеру, а между тем тут же благодарят и трогательно жмут руки и либеральному представителю за доставленное удовольствие, просят доставить им это либеральное удовольствие с позволения гувернера и к следующему разу. Гувернер благосклонно позволяет; сочинитель описания на «Восход солнца» удаляется, гордый своим успехом, представители удаляются, облизываясь, в недра своих семейств и вечером от радости гуляют под ручку с эпузами в Палерояле, прислушиваясь к плеску струй благодетельных фонтанчиков, а гувернер, отрапортовав кому следует обо всем, объявляет всей Франции, что всё обстоит благополучно.

Иногда впрочем, когда начинаются дела поважнее, заводят и игру поважнее. В одно из собраний приводят самого принца Наполеона[*].

Принц Наполеон вдруг начинает делать оппозицию, к совершенному испугу всех этих учащихся юношей. В классе торжественная тишина. Принц Наполеон либеральничает, принц не согласен с правительством, по его мнению, надо то-то и то-то. Принц осуждает правительство, одним словом, говорится то самое, что (предполагается) могли бы высказать эти же самые милые дети, если б гувернер хоть на минутку вышел из класса. Разумеется, и тут в меру; да и предположение нелепое, потому что все эти милые дети до того мило воспитаны, что даже и не пошевелятся, если б гувернер даже на целую неделю от них отлучился. И вот, когда принц Наполеон кончает, встает гувернер и торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему «Восход солнца» было отлично развито и обработано почтенным оратором. Мы удивлялись таланту, красноречивым мыслям и благонравию всемилостивейшего принца… Мы готовы выдать книжку за прилежание и успехи в науках, но… и т. д., то есть всё, что было сказано прежде; разумеется, весь класс аплодирует с восторгом, доходящим до неистовства, принца уводят домой, благонравные ученики расходятся из класса, как настоящие благонравные паиньки, а вечером гуляют с эпузами в Палерояле, прислушиваясь к плеску струй благодетельных фонтанчиков и т. д., и т. д., и т. д., одним словом, порядок заведен удивительный.

Однажды мы заблудились в la salle de pas perdus[46] и вместо отделения, где судятся уголовные процессы, попали в отделение гражданских процессов. Курчавый адвокат в мантии и в шапке говорил речь и сыпал перлами красноречия. Президент, судьи, адвокаты, слушатели плавали в восторге. Была благоговейная тишина; мы вошли на цыпочках. Дело шло об одном наследстве; в дело замешаны были отцы-пустынники. Отцы-пустынники поминутно замешиваются теперь в процессы, преимущественно по наследствам. Самые скандальные, самые гадкие происшествия выводятся наружу; но публика молчит и очень мало скандализируется, потому что отцы-пустынники имеют теперь значительную власть, а буржуа чрезвычайно благонравен. Отцы всё более и более останавливаются на том мнении, что капитальчик лучше всего, всех этих мечтаний и прочего, и что как поприкопишь деньжонок, так и силу можно иметь, а то что красноречие-то! Красноречием одним теперь не возьмешь. Но они в последнем случае, на мой взгляд, немного ошибаются. Конечно, капитальчик — всеблагое дело, но и красноречием много можно сделать с французом. Эпузы по

преимуществу поддаются отцам-пустынникам, даже теперь гораздо более, чем замечалось прежде. Есть надежда, что и буржуа на это поворотит. В процессе изъяснялось, как пустынники долголетним, хитрым, даже ученым (у них есть для этого наука) тяготеньем отяготели над душой одной прекрасной и весьма денежной дамы, как они соблазнили ее идти жить к себе в монастырь, как там пугали ее до болезни, до истерики разными страхами и всё с расчетом, с ученою постепенностью. Как, наконец, довели ее до болезни, до идиотства, представили ей, наконец, что видеться с родственниками великий грех перед господом богом, и мало-помалу удалили совершенно родственников. «Даже ее племянница, эта девственная, младенческая душа, пятнадцатилетний ангел чистоты и невинности, даже и она не смела войти в келью своей обожаемой тетки, которая ее любила более всего на свете и которая уже не могла вследствие коварных ухищрений обнять ее и облобызать ее front virginal,[47] где восседал белый ангел невинности…» Одним словом, всё в этом роде; было удивительно хорошо. Говоривший адвокат сам, видимо, таял от радости, что он умеет так хорошо говорить, таял президент, таяла публика. Отцы-пустынники проиграли сражение единственно вследствие красноречия. Они, конечно, не унывают. Проиграли одно, выиграют пятнадцать.

— Кто адвокат? — спросил я одного молодого студента, бывшего в числе благоговевших слушателей. Студентов тут было множество, и всё такие благонравные. Он посмотрел на меня с изумлением.

— Jules Favre*![48] — ответил он наконец с таким презрительным сожалением, что я, конечно, сконфузился. Таким образом, я имел случай познакомиться с цветами французского красноречия, так сказать, в самом главном его источнике.

Но источников этих бездна. Буржуа проеден до конца ногтей красноречием. Однажды мы вошли в Пантеон поглядеть на великих людей. Время было неурочное, и с нас спросили два франка. Затем дряхлый и почтенный инвалид взял ключи и повел нас в церковные склепы. Дорогой он говорил всё еще как человек, немного только шамкая за недостатком зубов. Но, сойдя в склепы, немедленно запел, только что подвел нас к первой гробнице:

— Ci-gît Voltaire,[49] — Вольтер, сей великий гений прекрасной Франции. Он искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с ангелом тьмы и держал светильник просвещения. В своих трагедиях

он достигнул великого, хотя Франция уже имела Корнеля.*

Он говорил, очевидно, по заученному. Кто-нибудь когда-нибудь написал ему на бумажке рацею, и он ее вытвердил на всю жизнь; даже удовольствие засияло на его старом добродушном лице, когда он начал перед нами выкладывать свой высокий слог.

— Ci-gît Jean Jacques Rousseau, — продолжал он, подходя к другой гробнице, — Jean Jacques, l'homme de la nature et de la vérité!*[50]

Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом всё можно опошлить. Да и видно было, что бедный старик, говоря об nature и vérité, решительно не понимал, о чем идет речь.

— Странно! — сказал я ему. — Из этих двух великих людей один всю жизнь называл другого лгуном и дурным человеком, а другой называл первого просто дураком.* И вот они сошлись здесь почти рядом.

— Мсье, мсье! — заметил было инвалид, желая что-то возразить, но, однако ж, не возразил и поскорей повел нас еще к гробнице.

— Ci-gît Lannes,[51] маршал Ланн*, — запел он еще раз, — один из величайших героев, которыми обладала Франция, столь обильно наделенная героями. Это был не только великий маршал, искуснейший предводитель войск, исключая великого императора, но он пользовался еще высшим благополучием. Он был другом…

— Ну да, это был друг Наполеона, — сказал я, желая сократить речь.

— Мсье! Позвольте говорить мне, — прервал инвалид как будто несколько обиженным голосом.

— Говорите, говорите, я слушаю.

— Но он пользовался еще высшим благополучием. Он был другом великого императора. Никто другой из всех его маршалов не имел счастья сделаться другом великого человека. Один маршал Ланн удостоился сей великой чести. Когда он умирал на поле сражения за свое отечество…

— Ну да, ему оторвало ядром обе ноги.

— Мсье, мсье! позвольте же мне самому говорить, — вскричал инвалид почти жалобным голосом. — Вы, может быть, и знаете это всё… Но позвольте и мне рассказать!

Чудаку ужасно хотелось самому рассказать, хотя бы мы всё это и прежде знали.

— Когда он умирал, — подхватил он снова, — на поле сражения за свое отечество, тогда император, пораженный в самое сердце и оплакивая великую потерю…

— Пришел к нему проститься, — дернуло меня прервать его снова, и я тотчас почувствовал, что я дурно сделал; мне даже сделалось стыдно.

— Мсье, мсье! — сказал старик, с жалобным укором смотря мне в глаза и качая седой головой, — мсье! я знаю, я уверен, что вы всё это знаете, может быть, лучше меня. Но ведь вы сами взяли меня вам показывать: позвольте ж мне говорить самому. Теперь уж немного осталось…

— Тогда император, пораженный в самое сердце и оплакивая (увы, бесполезно) великую потерю, которую понесли он, армия и вся Франция, приблизился к его смертной постели и последним прощанием своим смягчил жестокие страдания умершего почти на глазах его полководца. C'est fini, monsieur,[52] — прибавил он, с упреком посмотрев на меня, и пошел далее.

— А вот здесь тоже гробница; ну это… quelques sénateurs,[53] — прибавил он равнодушно и небрежно кивнул головою еще на несколько гробниц, стоявших неподалеку. Всё его красноречие истратилось на Вольтера, Жан-Жака и маршала Ланна. Это уже был непосредственный, так сказать, народный пример любви к красноречию. Неужели ж все эти речи ораторов национального собрания, конвента и клубов, в которых народ принимал почти непосредственное участие и на которых он перевоспитался, оставили в нем только один след — любовь к красноречию для красноречия?

Глава VIII
Брибри и Мабишь

А что ж эпузы? Эпузы благоденствуют, уже сказано. Кстати: почему, спросите вы, пишу я эпузы вместо жены? Высокий слог, господа, вот почему. Буржуа, если заговорит высоким слогом, говорит всегда: mon épouse.[54] И хоть в других слоях общества и говорят просто, как и везде: та femme — моя жена,[*] но уж лучше последовать национальному духу большинства и высокого изложения. Оно характернее. К тому же есть и другие наименования. Когда буржуа расчувствуется или захочет обмануть жену, он всегда называет ее: ma biche.[55] И обратно, любящая жена в припадке грациозной игривости называет своего милого буржуа: bribri,[56] чем буржуа, с своей стороны, очень доволен. Брибри и мабишь постоянно процветают, а теперь более, чем когда-нибудь. Кроме того, что так уж условлено (и почти без всякого разговору), что мабишь и брибри должны в наше хлопотливое время служить моделью добродетели, согласия и райского состояния общества в упрек гнусным бредням нелепых бродяг-коммунистов, кроме того, брибри с каждым годом становится всё сговорчивее и сговорчивее в супружеском отношении. Он понимает, что как ни говори, как ни устроивай, а мабишь нельзя удержать, что парижанка создана для любовника, что мужу почти невозможно обойтись без прически, он и молчит, разумеется, покамест у него еще мало прикоплено денег и не заведено еще много вещей. Когда же то и другое выполнится, брибри становится вообще требовательнее, потому что начинает ужасно уважать себя. Ну тут уже и на Гюстава он начинает смотреть иначе, особенно если тот вдобавок и оборванец и не имеет много вещей. Вообще парижанин, чуть-чуть с деньжонками, желая жениться, и выбирает невесту с деньжонками. Мало того: предварительно сосчитываются, и если окажется, что франки и вещи с той и другой стороны одинаковы, то и совокупляются. Это и везде так происходит, но тут уж в особенный обычай вошел закон равенства карманов. Если, например, у невесты хоть копейкой больше денег, то ее уж и не отдадут такому искателю, у которого меньше, а ищут брибри получше. Кроме того, браки по любви становятся всё более и более

невозможными и считаются почти неприличными. Благоразумный этот обычай непременного равенства карманов и бракосочетания капиталов нарушается весьма редко, и я думаю, гораздо реже, чем везде в другом месте. Обладание жениными денежками буржуа очень хорошо устроил в свою пользу. Вот почему он и готов во многих случаях смотреть сквозь пальцы на похождения своей мабишь и не замечать иных досадных вещей, потому что тогда, то есть при размолвке, может неприятно подняться вопрос о приданом. К тому же, если мабишь и защеголяет не по состоянию, то брибри, хоть и всё заметивший, про себя примиряется: меньше с него спросит жена на наряды. Мабишь тогда гораздо сговорчивее. Наконец, так как брак большею частью есть бракосочетание капиталов и о взаимной склонности заботятся очень немного, то и брибри не прочь заглянуть куда-нибудь от своей мабишь на сторону. А потому всего лучше не мешать друг другу. Да и согласия в доме больше и милый лепет милых имен: брибри и мабишь — раздается между супругами всего чаще и чаще. А наконец, если всё сказать, так ведь брибри и на этот случай удивительно хорошо успел себя обеспечить. Полицейский комиссар во всякую минуту к его услугам. Уж так по законам, которые устроил он себе сам. В крайнем случае, застав любовников en flagrant délit,[57] он ведь убить их может обоих и за это ничем не отвечает. Мабишь это знает и сама это похваливает. Долгой опекой довели до того мабишь, что она не ропщет и не мечтает, как в иных варварских и смешных землях, учиться, например, в университетах и заседать в клубах и депутатах. Она лучше хочет оставаться в теперешнем воздушном и, так сказать, канареечном состоянии. Ее рядят, ее гантируют, ее возят на гулянья, она танцует, она кушает конфетки, наружно принимают ее как царицу, и мужчина перед ней наружно во прахе. Эта форма отношений удивительно удачно и прилично выработана. Одним словом, рыцарские отношения соблюдены, и чего же более? Ведь Постава у ней не отымут. Каких-нибудь там добродетельных, высоких целей в жизни и т. д., и т. д. ей тоже не надо: она, в сущности, такая же капиталистка и копеечница, как и супруг. Когда проходят канареечные годы, то есть дойдет до того, что уж никаким образом нельзя более себя обманывать и считать канарейкой; когда возможность нового Гюстава становится уже решительною нелепостью, даже при самом пылком и самолюбивом воображении, тогда мабишь вдруг быстро и скверно перерождается.

Куды девается кокетство, наряды, игривость. Она делается большею частью такой злой, такой хозяйкой. Ходит по церквам, копит с мужем деньги, и какой-то цинизм проглянет вдруг со всех сторон: являются вдруг какая-то усталость, досада, грубые инстинкты, бесцельность существования, циничеcкий разговор. Даже неряхами какими-то становятся иные из них. Разумеется, не всё так; разумеется, бывают и другие, более светлые явления; разумеется, и везде есть такие же социальные отношения, но… тут всё это более на своей почве, оригинальнее, самобытнее, полнее, тут всё это национальнее. Тут родник и зародыш той буржуазной общественной формы, которая царит теперь по всему свету в виде вечного подражания великой нации.

Да, наружно мабишь — царица. Трудно и вообразить, какая утонченная вежливость, какое навязчивое внимание окружает ее всюду в обществе и на улице. Субдительность удивительная; доходит подчас до такой маниловщины, что иная честная душа и не стерпела бы. Явная плутня подделки оскорбила бы ее до глубины сердца. Но мабишь сама большая плутовка, и… ей только того и надобно… Свое-то она всегда возьмет и всегда предпочтет сплутовать, чем идти честно напрямик: и вернее, по ее мнению, да и игры больше. А ведь игра, интрига — в этом всё для мабиши; в этом самое главное дело. Зато как они одеваются, как ходят по улице. Мабишь манерна, выломана, вся неестественна, но это-то и пленяет, особенно блазированных* и отчасти развращенных людей, потерявших вкус к свежей, непосредственной красоте. Мабишь развита весьма плохо; умишки и сердчишки у них птичьи, но зато она грациозна, зато она обладает бесчисленными секретами таких штучек и вывертов, что вы покоряетесь и идете за нею, как за пикантной новинкой. Она даже редко и хороша собой. Что-то даже злое в лице. Но это ничего: это лицо подвижно, игриво и обладает тайною подделки под чувство, под натуру в высочайшей степени. Вам, может быть, нравится-то в ней не то именно, что она этой подделкой достигает натуры но самый этот процесс достижения подделкой вас очаровывает, искусство очаровывает. Для парижанина большею частью всё равно, что настоящая любовь, что хорошая подделка под любовь. Даже подделка, может быть, больше нравится. Какой-то восточный взгляд на женщину проявляется в Париже всё более и более. Камелия всё более и более в моде. «Возьми деньги, да обмани хорошенько, то есть подделай любовь», — вот что требуют от камелии. Почти не более требуют и от

эпузы, по крайней мере довольны и этим, а потому Гюстав молча и снисходительно позволяется. К тому же буржуа знает, что мабишь к старости войдет вся в его интересы и будет усерднейшая ему помощница копить деньги. Даже и в молодости помогает чрезвычайно. Она иногда ведет всю торговлю, заманивает покупателей, одним словом, правая рука, старший приказчик. Как не простить тут какого-нибудь Гюстава. На улице женщина неприкосновенна. Никто не оскорбит ее, все перед ней расступаются, не так, как у нас, где женщина мало-мальски нестарая двух шагов пройти не может по улице без того, чтоб какая-нибудь воинственная или потаскливая физиономия не заглянула ей под шляпку и не предложила познакомиться.

Впрочем, несмотря на возможность Гюстава, обыденная, обрядная форма отношений между брибри и мабишью довольно мила и даже часто наивна. Вообще, заграничные люди — это мне в глаза бросилось — почти все несравненно наивнее русских. Трудно объяснить это подробнее; нужно самому заметить. Le Russe est sceptique et moqueur,[58] говорят про нас французы, и это так. Мы больше циники, меньше дорожим своим, даже не любим свое, по крайней мере не уважаем его в высшей степени, не понимая, в чем дело; лезем в европейские, общечеловеческие интересы, не принадлежа ни к какой нации,* а потому, естественно, относимся ко всему холоднее, как бы по обязанности, и во всяком случае отвлеченнее. Впрочем, и я отвлекся от предмета. Брибри подчас чрезвычайно наивен. Гуляя, например, вокруг фонтанчиков, он пустится объяснять своей мабишь, отчего бьют фонтаны кверху, объясняет ей законы природы, национально гордится перед ней красотою Булонского леса, иллюминацией, игрою версальских les grandes eaux,[59] успехами императора Наполеона и gloire militaire, наслаждается ее любопытством и удовольствием и много доволен этим. Самая плутоватая мабишь тоже довольно нежно относится к супругу, то есть не то что подделкой какой-нибудь, а бескорыстно нежно, несмотря даже на прическу супруга. Разумеется, я не претендую, как Лесажев бес, снимать крыши с домов.* Я рассказываю только, что мне в глаза бросилось, что мне показалось. «Mon mari n'a pas encore vu la mer»,[60] — говорит вам иная мабишь, и голос ее изображает искреннее, наивное соболезнование. Это означает, что муж еще не ездил куда-нибудь в Брест или в Булонь посмотреть на море. Нужно знать, что у буржуа есть некоторые пренаивные и

пресерьезные потребности, почти обратившиеся в общую буржуазную привычку. Буржуа, например, кроме потребности накопить и потребности красноречия, имеет еще две потребности, две законнейшие потребности, освященные всеобщей привычкой и к которым он относится чрезвычайно серьезно, чуть не патетически. Первая потребность это — voir la mer, видеть море. Парижанин проживает и торгует иногда в Париже всю жизнь и не видит моря. Для чего ему видеть море? он и сам не знает, но он желает усиленно, чувствительно, откладывает поездку с году на год, потому что обыкновенно задерживают дела, тоскует, и жена искренно разделяет тоску его. Вообще тут даже много чувствительного, и я уважаю это. Наконец ему удается улучить время и средства; он собирается и на несколько дней едет «видеть море». Возвратясь, он рассказывает напыщенно и с восторгом о своих впечатлениях жене, родне, приятелям и сладко вспоминает всю жизнь о том, что он видел море. Другая законная и не менее сильная потребность буржуа, а особенно парижского буржуа, — это se rouler dans l'herbe.[61] Дело в том, что парижанин, выехав за город, чрезвычайно любит и даже за долг почитает поваляться в траве, исполняет это даже с достоинством, чувствуя, что соединяется при этом avec la nature,[62] и особенно любит, если на него кто-нибудь в это время смотрит. Вообще парижанин за городом считает немедленною своею обязанностью стать тотчас же развязнее, игривее, даже молодцеватее, одним словом, смотреть более естественным, более близким к la nature человеком. L'homme de la nature et de la vérité! Уж не с Жан-Жака ли и проявилось в буржуа это усиленное почтение к la nature? Впрочем, обе эти потребности: voir la mer и se rouler dans l'herbe — парижанин позволяет себе большею частью только тогда, когда уже накопит себе состояние, одним словом, когда сам начинает уважать себя, гордиться собою и смотреть на себя как на человека. Se rouler dans l'herbe бывает даже вдвое, вдесятеро слаще, когда происходит на собственной, купленной на трудовые деньги земле. Вообще буржуа, удаляясь от дел, любит купить где-нибудь землю, завести свой дом, сад, свой забор, своих кур, свою корову. И будь всё это даже в самом микроскопическом размере, всё равно — буржуа в самом детском, в самом трогательном восторге: «Mon arbre, mon mur»,[63] — твердит он себе и всем, кого зазовет к себе, поминутно и затем не перестает уже повторять себе это всю свою жизнь. Вот тут и слаще всего se rouler dans l'herbe. Чтоб

исполнить эту обязанность, он заводит себе непременно лужок перед домом. Кто-то рассказывал, что у одного буржуа никак не вырастала трава на месте, определенном для лужайки. Он растил, поливал, накладывал срезанный в другом месте газон — ничего на песке не выходило и не принималось. Такое уж место случилось перед домом. Тогда он будто бы купил себе деланый газон; нарочно ездил за этим в Париж, заказал себе там кружок травки величиною в сажень в диаметре и расстилал этот коверчик с длинной травой каждые послеобеда, чтоб хоть обмануть себя, да утолить свою законную потребность и поваляться в траве. От буржуа в первые минуты упоения своей благоприобретенной собственностью, пожалуй, это и станется, так что нравственно тут ничего нет невероятного.

Но два слова и о Гюставе. Гюстав, конечно, то же самое, что и буржуа, то есть приказчик, купец, чиновник, homme de lettres, офицер. Гюстав — это неженатый, но тот же самый брибри. Но не в том дело, а в том, во что рядится и драпируется теперь Гюстав, чем он теперь смотрит, какие на нем теперь перья. Идеал Гюстава изменяется сообразно эпохам и всегда отражается на театре в том виде, в котором носится в обществе. Буржуа особенно любит водевиль, но еще более любит мелодраму. Скромный и веселый водевиль — единственное произведение искусства, которое почти не пересадимо ни на какую другую почву, а может жить только в месте своего зарождения, в Париже, — водевиль, хоть и прельщает буржуа, но не удовлетворяет его вполне. Буржуа все-таки считает его за пустяки. Ему надо высокого, надо неизъяснимого благородства, надо чувствительности, а мелодрама всё это в себе заключает. Без мелодрамы парижанин прожить не может. Мелодрама не умрет, покамест жив буржуа.[*] Любопытно, что даже самый водевиль теперь перерождается. Он хоть и всё еще весел и уморительно смешон по-прежнему, но теперь уже сильно начинает примешиваться к нему другой элемент — нравоучение. Буржуа чрезвычайно любит и считает теперь священнейшим и необходимейшим делом читать при всяком удобном случае себе и своей мабишь наставления. К тому же буржуа теперь властвует неограниченно; он сила; а сочинителишки водевилей и мелодрам всегда лакеи и всегда льстят силе. Вот почему буржуа теперь торжествует, даже выставленный в смешном виде, и под конец ему всегда докладывают, что всё обстоит благополучно. Надо думать, что

подобные доклады серьезно успокоивают буржуа. У всякого малодушного человека, не совсем уверенного в успехе своего дела, является мучительная потребность разуверять себя, ободрять себя, успокоивать. Он даже начинает верить в благоприятные приметы. Так точно и тут. В мелодраме же предлагаются высокие черты и высокие уроки. Тут уж не юмор; тут уже патетическое торжество всего того, что так любит брибри и что ему нравится. Нравится ему более всего политическое спокойствие и право копить себе деньги с целью устроить поспокойнее недра. В этом характере пишутся теперь и мелодрамы. В этом же характере является теперь и Гюстав. По Гюставу всегда можно проверить всё то, что в данную минуту брибри считает идеалом неизъяснимого благородства. Прежде, давно уже, Гюстав являлся каким-то поэтом, художником, непризнанным гением, загнанным, замученным гонениями и несправедливостями. Он боролся похвально, и кончалось всегда так, что виконтесса, втайне по нем страдающая, но к которой он презрительно равнодушен, соединяла его с своей воспитанницей Сесиль, не имевшей ни копейки, но у которой вдруг оказывались бесчисленные деньги. Гюстав обыкновенно бунтовался и отказывался от денег. Но вот на выставке произведение его увенчалось успехом. В квартиру его тотчас же врываются три смешные милорда и предлагают ему по сту тысяч франков за будущую картину. Гюстав презрительно смеется над ними и в горьком отчаянии объявляет, что все люди подлецы, недостойные его кисти, что он не понесет искусства, святого искусства, на профанацию пигмеям, до сих пор не заметившим, как он велик. Но врывается виконтесса и объявляет, что Сесиль умирает от любви к нему и что поэтому следует писать картины. Тут-то Гюстав догадывается, что виконтесса, прежний враг его, через которую ни одно из произведений его до сих пор не попадало на выставку, втайне его любит; что она мстила ему из ревности. Разумеется, Гюстав немедленно берет от трех милордов деньги, обругав их в другой раз, чем они остаются очень довольны, потом бежит к Сесиль, соглашается взять ее миллион, прощает виконтессу, которая уезжает в свое поместье, и, совокупившись законным браком, начинает заводить детей, фланелевую фуфайку, bonnet de coton[64] и прогуливается с мабишью по вечерам возле благодетельных фонтанчиков, которые тихим плеском своих струй, разумеется, напоминают ему о постоянстве, прочности и тишине его земного счастья.

Иногда случается, что Гюстав не приказчик, а какой-нибудь загнанный, забитый сирота, но в душе полный самого неизъяснимого благородства. Вдруг оказывается, что он вовсе не сирота, а законный сын Ротшильда. Получаются миллионы. Но Гюстав гордо и презрительно отвергает миллионы. Зачем? Уж так нужно для красноречия. Но вот врывается мадам Бопре, банкирша, влюбленная в него и у мужа которой он находится в услужении. Она объявляет, что Сесиль сейчас умрет от любви к нему и чтоб он шел ее спасать. Гюстав догадывается, что мадам Бопре в него влюблена, подбирает миллионы и, обругав всех самыми скверными словами за то, что во всем роде человеческом нет такого же неизъяснимого благородства, как в нем, идет к Сесиль и совокупляется с нею. Банкирша едет в свое поместье. Бопре торжествует, ибо жена, бывшая на краю гибели, всё еще остается чистою и непорочною, а Гюстав заводит детей и по вечерам ходит гулять около благодетельных фонтанчиков, которые плесками струй напоминают ему и т. д., и т. д.

Теперь неизъяснимое благородство чаще всего изображается или в военном офицере, или в военном инженере, или что-нибудь в этом роде, только чаще всего в военном и непременно с ленточкой Почетного легиона, «купленной своею кровью». Кстати, эта ленточка ужасна. Носитель до того ею чванится, что с ним нельзя почти встретиться, нельзя с ним ни ехать в вагоне, ни сидеть в театре, ни встречаться в ресторане. Он только что не плюет на вас, он куражится над вами бесстыдно, он пыхтит, задыхается от куражу, так что вас наконец начинает тошнить, у вас разливается желчь и ни принуждены посылать за доктором. Но французы это очень любят. Замечательно еще, что в театре слишком особенное внимание обращается теперь и на мосье Бопре, по крайней мере более гораздо, чем прежде. Бопре, разумеется, накопил много денег и завел очень много вещей. Он прям, прост, немного смешон своими буржуазными привычками и тем, что он муж; но он добр, честен, великодушен и неизъяснимо благороден в том акте, в котором он должен страдать от подозрения, что мабишь ему неверна. Но все-таки он великодушно решается простить ее. Оказывается, разумеется, что она чиста, как голубь, что она только пошалила, увлеклась Гюставом, и что бри-бри, раздавливающий ее своим великодушием, ей дороже всего. Сесиль, разумеется, по-прежнему без гроша, но только в первом акте; впоследствии же у ней оказывается

миллион. Гюстав горд и презрительно благороден, как и всегда, только куражу больше, потому что военная косточка. У него всего дороже на свете его крест, купленный кровью, и «l'épée de mon père».[65] Об этой шпаге своего отца он говорит поминутно, некстати, всюду; вы даже не понимаете, в чем дело; он ругается, плюется, но все ему кланяются, а зрители плачут и аплодируют (плачут, буквально). Разумеется, у него ни гроша, это sine que non.[66] Мадам Бопре, разумеется, влюблена в него, Сесиль тоже, но он не подозревает любви Сесили. Сесиль кряхтит от любви в продолжение пяти актов. Идет, наконец, снег или что-нибудь в этом роде. Сесиль хочет броситься в окно. Но под окошком раздаются два выстрела, все сбегаются; Гюстав, бледный, с подвязанной рукой, медленно входит на сцену. Ленточка, купленная кровью, сверкает на его сюртуке. Клеветник и обольститель Сесили наказан. Гюстав забывает наконец, что Сесиль его любит и что всё это штуки мадам Бопре. Но мадам Бопре бледная, испуганная, и Гюстав догадывается, что она его любит. Но раздается опять выстрел. Это Бопре, убивающий себя от отчаяния. Мадам Бопре вскрикивает, бросается к дверям, но является сам Бопре и несет убитую лисицу или что-нибудь в этом роде. Урок дан; мабишь его никогда не забудет. Она льнет к брибри, который всё прощает. Но вдруг является у Сесиль миллион, и Гюстав опять бунтуется. Он не хочет жениться, Гюстав ломается, Гюстав ругается скверными словами. Надо непременно, чтоб Гюстав ругался скверными словами и плевал на миллион, иначе буржуа не простит ему; неизъяснимого благородства будет мало; пожалуйста, не думайте, чтоб буржуа противоречил себе. Не беспокойтесь: миллион не минует счастливую чету, он неизбежен и под конец всегда является в виде награды за добродетель. Буржуа себе не изменит. Гюстав берет под конец миллион Сесиль, и затем начинаются неизбежные фонтанчики, котоновые колпаки, плеск струй и проч., и проч. Таким образом, и чувствительности выходит много, и неизъяснимого благородства с три короба, и Бопре, торжествующий и раздавивший всех своими семейными добродетелями, и, главное, главное миллион, в виде фатума, в виде закона природы, которому вся честь, слава и поклонение, и т. д., и т. д. Брибри и мабишь выходят из театра совершенно довольные, успокоенные и утешенные. Гюстав их сопровождает и, подсаживая чужую мабишь в фиакр, потихоньку целует у нее ручку… Всё идет как следует.

Записки из подполья

I

Подполье[67]

I

Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю наверно, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности; ну, хоть настолько, чтоб уважать медицину. (Я достаточно образован, чтоб не быть суеверным, но я суеверен). Нет-с, я не хочу лечиться со злости. Вот вы этого, наверно, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью; я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу «нагадить» тем, что у них не лечусь; я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе повредю и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит!

Я уже давно так живу — лет двадцать. Теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал, стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. (Плохая острота; но я ее не вычеркну. Я ее написал, думая, что выйдет очень остро; а теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, — нарочно не вычеркну!) Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, — я зубами на них скрежетал и чувствовал неутолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большею частию всё был народ робкий: известно — просители. Но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я наконец одолел. Он перестал греметь. Впрочем, это случилось еще в моей молодости. Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и

состояла вся штука, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, и успокоюсь. Даже душой умилюсь, хоть уж, наверно, потом буду сам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай.

Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался и с просителями и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я знал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон наружу просились, но я их не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу. Они мучили меня до стыда; до конвульсий меня доводили и — надоели мне наконец, как надоели! Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь, что я в чем-то у вас прощенья прошу?.. Я уверен, что вам это кажется… А впрочем, уверяю вас, что мне всё равно, если и кажется…

Я не только злым, но далее и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, — существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет — это вся жизнь; ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно! Кто живет дольше сорока лет, — отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живет: дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу, всем этим почтенным старцам, всем этим сребровласым и благоухающим старцам! Всему свету в глаза скажу! Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет доживу. До семидесяти лет проживу! До восьмидесяти лет проживу!.. Постойте! Дайте дух перевести…

Наверно, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу? Ошиблись и в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется или как вам, может быть, кажется; впрочем, если вы, раздраженные всей этой болтовней (а я уже чувствую, что вы раздражены), вздумаете спросить меня: кто ж я таков именно? — то я вам отвечу: я один коллежский асессор. Я служил, чтоб было что-нибудь есть (но единственно для этого), и когда прошлого года один из отдаленных моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тотчас же вышел в отставку и поселился у себя в углу, Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города. Служанка моя — деревенская баба, старая, злая от глупости, и от нее к тому же всегда скверно пахнет. Мне говорят, что климат петербургский мне становится вреден и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить. Я всё это знаю, лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей[*] знаю. Но я остаюсь в Петербурге; я не выеду из Петербурга! Я потому не выеду… Эх! да ведь это совершенно всё равно — выеду я иль не выеду.

А впрочем: о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием?

Ответ: о себе. Ну так и я буду говорить о себе.

II

Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается иль не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные). Совершенно было бы довольно, например, такого

сознания, которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели. Бьюсь об заклад, вы думаете, что я пишу всё это из форсу, чтоб поострить насчет деятелей, да еще из форсу дурного тона гремлю саблей, как мой офицер. Но, господа, кто же может своими же болезнями тщеславиться, да еще ими форсить?

Впрочем, что ж я? — все это делают; болезнями-то и тщеславятся, а я, пожалуй, и больше всех. Не будем спорить; мое возражение нелепо. Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости «всего прекрасного и высокого»[*], как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деянья, такие, которые… ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые, как нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать? Чем больше я сознавал о добре и о всем этом «прекрасном и высоком», тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что всё это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало так быть. Как будто это было мое самое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не порча, так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не поверил (а может, и в самом деле поверил), что это, пожалуй, и есть нормальное мое состояние. А сперва-то, вначале-то, сколько я муки вытерпел в этой борьбе! Я не верил, чтоб так бывало с другими, и потому всю жизнь таил это про себя как секрет. Я стыдился (даже, может быть, и теперь стыжусь); до того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь, и внутренно, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась наконец в какую-то позорную, проклятую сладость и наконец — в решительное, серьезное наслаждение! Да, в наслаждение, в наслаждение! Я стою на том. Я потому и заговорил, что мне всё хочется наверно узнать: бывают ли у других такие наслаждения? Я вам объясню: наслаждение было тут

именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уж сам чувствуешь, что до последней стены дошел; что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть; что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если б даже и оставалось еще время и вера, чтоб переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам бы не захотел переделываться; а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и переделываться-то, может быть, не во что. А главное и конец концов, что всё это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов, а следственно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например, вследствие усиленного сознания: прав, что подлец, как будто это подлецу утешение, коль он уже сам ощущает, что он действительно подлец. Но довольно… Эх, нагородил-то, а что объяснил?.. Чем объясняется тут наслаждение? Но я объяснюсь! Я-таки доведу до конца! Я и перо затем в руки взял…

Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик, но, право, бывали со мною такие минуты, что если б случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже и этому рад. Говорю серьезно: наверно, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение, разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения. А тут при пощечине-то — да тут так и придавит сознание о том, в какую мазь тебя растерли. Главное же, как ни раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу и, что всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. (Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают, и иногда, поверите ли, даже этого совестился. По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не мог смотреть людям прямо в глаза). Потому, наконец, виноват, что если б и было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверно, ничего бы не сумел сделать из моего великодушия: ни простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать; ни забыть, потому что хоть и законы природы, а все-таки обидно. Наконец, если б даже я захотел быть вовсе невеликодушным, а

напротив, пожелал бы отмстить обидчику, то я и отмстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверно, не решился бы что-нибудь сделать, если б даже и мог. Отчего не решился бы? Об этом мне хочется сказать два слова особо.

III

Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять, — как это, например, делается? Ведь их как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. (Кстати: перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренно пасуют. Для них стена — не отвод, как например для нас, людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всею искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое… Но об стене после). Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать — природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в этом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезой, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь, а тут человек, а следственно…, и проч. И, главное, он сам, сам ведь считает себя за мышь; его об этом никто не просит; а это важный пункт. Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена

(а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. Злости-то в ней, может, еще и больше накопится, чем в l'homme de 1a nature et de la vérité[*]. Гадкое, низкое желаньице воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в l'homme de 1a nature et de la vérité, їотому что l'homme de 1a nature et de la vérité, по своей врожденной глупости, считает свое мщенье просто-запросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость. Доходит наконец до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастная мышь кроме одной первоначальной гадости успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из её сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на всё своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки всё припомнит, всё переберет, навыдумает на себя небывальщины, под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. На смертном одре опять-таки всё припомнит, с накопившимися за всё время процентами и… Но именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя, в подполье на сорок лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний,

вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний — и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил. Оно до того тонкое, до того иногда не поддающееся сознанью, что чуть-чуть ограниченные люди или даже просто люди с крепкими нервами не поймут в нем ни единой черты. «Может, еще и те не поймут, — прибавите вы от себя, осклабляясь, — которые никогда не получали пощечин», — и таким образом вежливо намекнете мне, что я в мою жизнь, может быть, тоже испытал пощечину, а потому и говорю как знаток. Бьюсь об заклад, что вы это думаете. Но успокойтесь, господа, я не получал пощечин, хотя мне совершенно всё равно, как бы вы об этом ни думали. Я, может быть, еще сам-то жалею, что в мою жизнь мало роздал пощечин. Но довольно, ни слова больше об этой чрезвычайно для вас интересной теме.

Продолжаю спокойно о людях с крепкими нервами, не понимающих известной утонченности наслаждений. Эти господа при иных казусах, например, хотя ревут, как быки, во всё горло, хоть это, положим, и приносит им величайшую честь, но, как уже сказал я, перед невозможностью они тотчас смиряются. Невозможность — значит каменная стена? Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел[*], так уж и нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных и что в этом результате разрешатся под конец все так называемые добродетели и обязанности и прочие бредни и предрассудки, так уж так и принимай, нечего делать-то, потому дважды два — математика. Попробуйте возразить.

«Помилуйте, — закричат вам, — восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена… и т. д., и т. д.». Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил

не хватило.

Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей! То ли дело всё понимать, всё сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не находится, а может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, — неизвестно что и неизвестно кто, но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит!

IV

— Ха-ха-ха! да вы после этого и в зубной боли отыщете наслаждение! — вскрикнете вы со смехом.

— А что ж? и в зубной боли есть наслаждение, — отвечу я. — У меня целый месяц болели зубы; я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут; но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение страдающего; не ощущал бы он в них наслаждения — он бы и стонать не стал. Это хороший пример, господа, и я его разовью. В этих стонах выражается, во-первых, вся для нашего сознания унизительная бесцельность вашей боли; вся законность природы, на которую вам, разумеется, наплевать, но от которой вы все-таки страдаете, а она-то нет. Выражается сознание, что врага у вас не находится, а что боль есть; сознание, что вы, со всевозможными Вагенгеймами, вполне в рабстве у ваших зубов; что захочет кто-то, и перестанут болеть ваши зубы[*], а не захочет, так и еще три месяца проболят; и что, наконец, если вы всё еще не согласны и все-таки протестуете, то вам остается для собственного

утешения только самого себя высечь или прибить побольнее кулаком вашу стену, а более решительно ничего. Ну-с, вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается наконец наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия. Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами, этак на второй или на третий день болезни, когда он начинает уже не так стонать, как в первый день стонал, то есть не просто оттого, что зубы болят; не так, как какой-нибудь грубый мужик, а так, как человек тронутый развитием и европейской цивилизацией стонет, как человек, «отрешившийся от почвы и народных начал», как теперь выражаются*. Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами; лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает; знает, что даже и публика, перед которой он старается, и всё семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он только так со злости, с ехидства балуется. Ну так вот в этих-то всех сознаниях и позорах и заключается сладострастие. «Дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же, чувствуйте же и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан*. Ну так пусть же! Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну так пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю…» Не понимаете и теперь, господа? Нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтоб понять все изгибы этого сладострастия! Вы смеетесь? Очень рад-с. Мои шутки, господа, конечно, дурного тона, неровны, сбивчивы, с самонедоверчивостью. Но ведь это оттого, что я сам себя не уважаю. Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать?

V

Ну разве можно, разве можно хоть сколько-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения

посягнул отыскать наслаждение? Я не от приторного какого-нибудь раскаянья так теперь говорю. Да и вообще терпеть я не мог говорить: «Простите, папаша, вперед не буду», — не потому, чтоб я не способен был это сказать, а напротив, может быть, именно потому, что уж слишком способен на это бывал, да еще как? Как нарочно и влопаюсь, бывало, в таком случае, когда сам ни сном, ни духом не виноват. Это уже было всего гаже. При этом я опять-таки душою умилялся, раскаивался, слезы проливал и, конечно, самого себя надувал, хоть и вовсе не притворялся. Сердце уж тут как-то гадило… Тут уж даже и законов природы нельзя было обвинить, хотя все-таки законы природы постоянно и более всего всю жизнь меня обижали. Гадко это всё вспоминать, да и тогда гадко было. Ведь через минуту какую-нибудь я уже с злобою соображаю, бывало, что всё это ложь, ложь, отвратительная напускная ложь, то есть все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения. А спросите, для чего я так сам себя коверкал и мучил? Ответ: затем, что скучно уж очень было сложа руки сидеть; вот и пускался на выверты. Право, так. Замечайте получше сами за собой, господа, тогда и поймете, что это так. Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтоб хоть как-нибудь да пожить. Сколько раз мне случалось — ну, хоть, например, обижаться, так, не из-за чего, нарочно; и ведь сам знаешь, бывало, что не из-за чего обиделся, напустил на себя, но до того себя доведешь, что под конец, право, и в самом деле обидишься. Меня как-то всю жизнь тянуло такие штуки выкидывать, так что уж я стал под конец и в себе не властен. Другой раз влюбиться насильно захотел, даже два раза. Страдал ведь, господа, уверяю вас. В глубине-то души не верится, что страдаешь, насмешка шевелится, а все-таки страдаю, да еще настоящим, заправским образом; ревную, из себя выхожу… И всё от скуки, господа, всё от скуки; инерция задавила. Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания — это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сиденье. Я уж об этом упоминал выше. Повторяю, усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот как: они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокоиваются; а ведь это главное. Ведь чтоб начать действовать,

нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы. Что же наконец в результате? Да то же самое. Вспомните: давеча вот я говорил о мщении. (Вы, верно, не вникли). Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Значит, он первоначальную причину нашел, основание нашел, а именно: справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следственно, и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу, а следственно, если стану мстить, то разве только из злости. Злость, конечно, могла бы всё пересилить, все мои сомнения, и, стало быть, могла бы совершенно успешно послужить вместо первоначальной причины именно потому, что она не причина. Но что же делать, если у меня и злости нет (я давеча ведь с этого и начал). Злоба у меня опять-таки вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению подвергается. Смотришь — предмет улетучивается, резоны испаряются, виновник не отыскивается, обида становится не обидой, а фатумом, чем-то вроде зубной боли, в которой никто не виноват, а следовательно, остается опять-таки тот же самый выход — то есть стену побольнее прибить. Ну и рукой махнешь, потому что не нашел первоначальной причины. А попробуй увлекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый поздний срок, самого себя презирать начнешь за то, что самого себя зазнамо надул. В результате: мыльный пузырь и инерция. О господа, ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить. Пусть, пусть я болтун, безвредный, досадный болтун, как и все мы. Но что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпанье из пустого в порожнее.

VI

О если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе; хоть одно свойство было во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такой? Ответ: лентяй; да ведь это преприятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен, значит, есть что сказать обо мне. «Лентяй!» — да ведь это званье и назначенье, это карьера-с. Не шутите, это так. Я тогда член самого первейшего клуба по праву и занимаюсь только тем, что беспрерывно себя уважаю. Я знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то что с покойной, а с торжествующей совестью, и был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру: я был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам это нравится? Мне это давно мерещилось. Это «прекрасное и высокое» сильно-таки надавило мне затылок в мои сорок лет; но это в мои сорок лет, а тогда — о, тогда было бы иначе! Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность, — а именно: пить за здоровье всего прекрасного и высокого. Я бы придирался ко всякому случаю, чтоб сначала пролить в свой бокал слезу, а потом выпить его за всё прекрасное и высокое. Я бы всё на свете обратил тогда в прекрасное и высокое; в гадчайшей, бесспорной дряни отыскал бы прекрасное и высокое. Я сделался бы слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину Ге. Тотчас же пью за здоровье художника, написавшего картину Ге, потому что люблю всё прекрасное и высокое. Автор написал *«как кому угодно»*[*]; тотчас же пью за здоровье «кого угодно», потому что люблю всё «прекрасное и высокое». Уважения к себе за это потребую, преследовать буду того, кто не будет мне оказывать уважения. Живу спокойно, умираю торжественно, — да ведь это прелесть, целая прелесть! И такое себе отрастил бы я тогда брюхо, такой тройной подбородок соорудил, такой бы сандальный нос[*] себе выработал, что всякий встречный сказал бы, смотря на меня: «Вот так плюс! вот так уж настоящее положительное!» А ведь как хотите, такие отзывы преприятно слышать в наш отрицательный век, господа.

VII

Но всё это золотые мечты. О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О младенец! о чистое, невинное дитя! да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди *зазнамо*, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды… Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что если так случится, что человеческая выгода *иной раз* не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? А если так, если только может быть этот случай, то всё правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь; смейтесь, господа, но только отвечайте: совершенно ли верно сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды — это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее; так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти

статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и весь расчет зависит. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и занесть в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает, ни в один список не умещается. У меня, например, есть приятель… Эх, господа! да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того: с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели; и — ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, — выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего… Предупрежду, что мой приятель — лицо собирательное, и потому только его одного винить как-то трудно. То-то и есть, господа, не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или (чтоб уж логики не нарушать) есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас говорили), которая главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, — одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего.

— Ну, так все-таки выгоды же, — перебиваете вы меня. — Позвольте-с, мы еще объяснимся, да и не в каламбуре дело, а в том, что эта выгода именно тем и замечательна, что все наши классификации разрушает и все системы, составленные любителями рода человеческого для счастья рода человеческого, постоянно разбивает. Одним словом, всему мешает. Но прежде чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично и потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы, все эти теории разъяснения человечеству настоящих, нормальных его интересов с тем, чтоб оно, необходимо

стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и благородным, — покамест, по моему мненью, одна логистика! Да-с, логистика! Ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то же… ну хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается*, следственно, становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то, кажется, у него и так выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам всё наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон — и великий, и теперешний.* Вот вам Северная Америка* — вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн…* И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и… решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случалось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины* иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже, наверно, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже? — сами решите. Говорят, Клеопатра* (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена варварские, потому что (тоже говоря относительно) и теперь булавки втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть

яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не *приучился* поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет *добровольно* ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет рознить свою волю с нормальными своими интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши[*] или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть еще законы природы; так что всё, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых всё будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений.

Тогда-то, — это всё вы говорите, — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностию, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получаются всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец.[*] Тогда… Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган[*]. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда всё будет расчислено по табличке), зато всё будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы всё ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего

будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам всё это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И всё это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и *положительно должно* (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то всё и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо — одного только *самостоятельного* хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь черт знает…

VIII

— Ха-ха-ха! да ведь хотенья-то, в сущности, если хотите, и нет! — прерываете вы с хохотом. — Наука даже о сю пору до того успела разанатомировать человека, что уж и теперь нам известно, что хотенье и так называемая свободная воля есть не что иное, как…

— Постойте, господа, я и сам так начать хотел. Я, признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что хотенье ведь черт знает от чего зависит и что это, пожалуй, и слава богу, да вспомнил про науку-то и… оселся. А вы тут и заговорили. Ведь в самом деле, ну, если вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов, то есть от чего они зависят, по каким именно законам происходят, как

именно распространяются, куда стремятся в таком-то и в таком-то случае и проч., и проч., то есть настоящую математическую формулу, — так ведь тогда человек тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть, да еще, пожалуй, и наверно перестанет. Ну что за охота хотеть по табличке? Мало того: тотчас же обратится он из человека в органный штифтик или вроде того: потому, что же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале? Как вы думаете? Сосчитаем вероятности, — может это случиться или нет?

— Гм… — решаете вы, — наши хотенья большею частию бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим, по глупости нашей, легчайшую дорогу к достижению какой-нибудь заранее предположенной выгоды. Ну, а когда всё это будет растолковано, расчислено на бумажке (что очень возможно, потому что гнусно же и бессмысленно заранее верить, что иных законов природы человек никогда не узнает), то тогда, разумеется, не будет так называемых желаний. Ведь если хотенье стакнется когда-нибудь совершенно с рассудком, так ведь уж мы будем тогда рассуждать, а не хотеть собственно потому, что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, *хотеть* бессмыслицы и таким образом зазнамо идти против рассудка и желать себе вредного… А так как все хотенья и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей свободной воли, то, стало быть, и, кроме шуток, может устроиться что-нибудь вроде таблички, так что мы и действительно хотеть будем по этой табличке. Ведь если мне, например, когда-нибудь расчислят и докажут, что если я показал такому-то кукиш, так именно потому, что не мог не показать и что непременно таким-то пальцем должен был его показать, так что же тогда во мне *свободного-то* останется, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил? Ведь я тогда вперед всю мою жизнь на тридцать лет рассчитать могу; одним словом, если и устроится это, так ведь нам уж нечего будет делать; всё равно надо будет принять. Да и вообще мы должны, не уставая, повторять себе, что непременно в такую-то минуту и в таких-то обстоятельствах природа нас не спрашивается; что нужно принимать ее так, как она есть, а не так, как мы фантазируем, и если мы действительно стремимся к табличке и к календарю, ну, и… ну хоть бы даже и к реторте, то что же делать, надо принять и реторту! не то она

сама, без вас примется…

— Да-с, но вот тут-то для меня и запятая! Господа, вы меня извините, что я зафилософствовался; тут сорок лет подполья! позвольте пофантазировать. Видите ли-с: рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтоб удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает; это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет. Я подозреваю, господа, что вы смотрите на меня с сожалением; вы повторяете мне, что не может просвещенный и развитой человек, одним словом, такой, каким будет будущий человек, зазнамо захотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это математика. Совершенно согласен, действительно математика. Но повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтоб *иметь право* пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь это свой каприз, и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности, может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, — потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность. Иные вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже; хотенье, конечно, может, если хочет, и сходиться с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно; это и полезно и даже иногда похвально. Но хотенье очень

часто и даже большею частию совершенно и упрямо разногласит с рассудком и… и… и знаете ли, что и это полезно и даже иногда очень похвально? Господа, положим, что человек не глуп. (Действительно, ведь никак нельзя этого сказать про него, хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто же тогда будет умен?) Но если и не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен! Неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — это: существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не всё; это еще не главный недостаток его; главнейший недостаток его — это постоянное неблагонравие, постоянное, начиная от Всемирного потопа до Шлезвиг-Гольштейнского периода судеб человеческих. Неблагонравие, а следственно, и неблагоразумие; ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе происходит, как от неблагонравия. Попробуйте же бросьте взгляд на историю человечества; ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например, чего стоит! Недаром же г-н Анаевский свидетельствует о нем*, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих; другие же утверждают, что он создан самою природою. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских — уж одно это чего стоит, а с вицмундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались, — согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, всё можно сказать о всемирной истории, всё, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, — что благоразумно. На первом слове поперхнетесь. И даже вот какая тут штука поминутно встречается: постоянно ведь являются в жизни такие благонравные и благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благонравнее и благоразумнее, так сказать, светить собой ближним, собственно для того, чтоб доказать им, что действительно можно на свете прожить и благонравно, и благоразумно. И что ж? Известно, многие из этих любителей, рано ли, поздно ли, под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас спрошу: чего же можно ожидать от

человека как от существа, одаренного такими странными качествами? Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, — так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди всё еще люди, а не фортепьянные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепьянной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно напротив что-нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности; собственно чтоб настоять на своем. А в том случае, если средств у него не окажется, — выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепьянная клавиша! Если вы скажете, что и это всё можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так уж одна возможность предварительного расчета всё остановит и рассудок возьмет свое, — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем! Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь всё дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет и что

хотенье покамест еще черт знает от чего зависит…

Вы кричите мне (если только еще удостоите меня вашим криком), что ведь тут никто с меня воли не снимает; что тут только и хлопочут как-нибудь так устроить, чтоб воля моя сама, своей собственной волей, совпадала с моими нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой.

— Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!

IX

Господа, я, конечно, шучу, и сам знаю, что неудачно шучу, но ведь и нельзя же всё принимать за шутку. Я, может быть, скрыпя зубами шучу. Господа, меня мучат вопросы; разрешите их мне. Вот вы, например, человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить, сообразно с требованиями науки и здравого смысла. Но почему вы знаете, что человека не только можно, но и *нужно* так переделывать? из чего вы заключаете, что хотенью человеческому так необходимо *надо* исправиться? Одним словом, почему вы знаете, что такое исправление действительно принесет человеку выгоду? И, если уж всё говорить, почему вы так *наверно* убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества? Ведь это покамест еще только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечества. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен: человек есть животное, по преимуществу созидающее, присужденное стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать хотя *куда бы то ни было.* Но вот именно потому-то, может быть, ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он *присужден* пробивать эту дорогу, да еще, пожалуй, потому, что как ни глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что дорога-то, оказывается, почти

всегда идет *куда бы то ни было* и что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтоб она только шла и чтоб благонравное дитя, пренебрегая инженерным искусством, не предавалось губительной праздности, которая, как известно, есть мать всех пороков. Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос? Вот это скажите-ка! Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание? Почем вы знаете, может быть, он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux domestiques,[68] как-то муравьям, баранам и проч., и проч. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое, — муравейник.

С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверно, и кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности. Но человек существо легкомысленное и неблаговидное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И, кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать — в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, — ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере деньги получат, в кабачок пойдут, потом в часть попадут, — ну вот и занятия на неделю. А человек куда пойдет? По крайней мере каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. Достижение он любит, а достигнуть уж и не совсем, и это, конечно, ужасно смешно.

Одним словом, человек устроен комически; во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Но дважды два четыре — все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре — ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уже всё хвалить, то и дважды два пять — премилая иногда вещица.

И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, — одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего; спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я… за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание — да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать. Всё, что тогда можно будет, это — заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну, а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но по крайней мере самого себя иногда можно посечь, а это все-таки подживляет. Хоть и ретроградно, а всё же лучше, чем ничего.

X

Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить.

Вот видите ли: если вместо дворца будет курятник и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замочиться, но все-таки курятника не приму за дворец из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы — всё равно. Да, — отвечаю я, — если б надо было жить только для того, чтоб не замочиться.

Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого и что если уж жить, так уж жить в хоромах. Это мое хотение, это желание мое. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желания мои. Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал. А покамест я уж не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколения. Но какое мне дело, что его не полагается. Не всё ли равно, если он существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Может быть, вы опять смеетесь? Извольте смеяться; я все насмешки приму и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу; все-таки знаю, что я не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле, потому только, что он существует по законам природы и существует *действительно*. Я не приму за венец желаний моих — капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться; но в таком случае ведь и я вам могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно; а не хотите меня удостоить вашим вниманием, так ведь кланяться не буду. У меня есть подполье.

А покамест я еще живу и желаю, — да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу![*] Не смотрите

на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг, единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было и не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык, из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его высовывать. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить и что надо довольствоваться квартирами. Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели ж я для того только и устроен, чтоб дойти до заключения, что всё мое устройство одно надувание? Неужели в этом вся цель? Не верю.

А, впрочем, знаете что: я убежден, что нашего брата подпольного нужно в узде держать. Он хоть и способен молча в подполье сорок лет просидеть, но уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит…

XI

Конец концов, господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть (хотя все-таки не перестану ему завидовать. Нет, нет, подполье во всяком случае выгоднее!) Там по крайней мере можно… Эх! да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!

Даже вот что тут было бы лучше: это — если б я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настрочил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник.

— Так для чего же писали всё это? — говорите вы мне.

— А вот посадил бы я вас лет на сорок безо всякого занятия, да и пришел бы к вам через сорок лет, в подполье, наведаться, до чего вы

дошли? Разве можно человека без дела на сорок лет одного оставлять?

— И это не стыдно, и это не унизительно! — может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами. — Вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время как вы боитесь! Вы говорите вздор и довольны им; вы говорите дерзости, а сами беспрерывно боитесь за них и просите извинения. Вы уверяете, что ничего не боитесь, и в то же время в нашем мнении заискиваете. Вы уверяете, что скрежещете зубами, и в то же время острите, чтоб нас рассмешить. Вы знаете, что остроты ваши неостроумны, но вы, очевидно, очень довольны их литературным достоинством. Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия; вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок… Вы действительно хотите что-то сказать, но из боязни прячете ваше последнее слово, потому что у вас нет решимости его высказать, а только трусливое нахальство. Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца — полного, правильного сознания не будет. И сколько в вас назойливости, как вы напрашиваетесь, как вы кривляетесь! Ложь, ложь и ложь!

Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья. Я там сорок лет сряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам выдумал, ведь только это и выдумывалось. Не мудрено, что наизусть заучилось и литературную форму приняло…

Но неужели, неужели вы и в самом деле до того легковерны, что воображаете, будто я это всё напечатаю да еще вам дам читать? И вот еще для меня задача: для чего, в самом деле, называю я вас «господами», для чего обращаюсь к вам, как будто и вправду к читателям? Таких признаний, какие я намерен начать излагать, не печатают и другим читать не дают. По крайней мере, я настолько твердости в себе не имею да и нужным не считаю иметь. Но видите ли: мне в голову пришла одна фантазия, и я во что бы ни стало ее хочу осуществить. Вот в чем дело.

Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом.

Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится. То есть даже так: чем более он порядочный человек, тем более у него их и есть. По крайней мере, я сам только недавно решился припомнить иные мои прежние приключения, а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то беспокойством. Теперь же, когда я не только припоминаю, но даже решился записывать, теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды? Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны[*], и человек сам об себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие. Но Гейне судил о человеке, исповедовавшемся перед публикой. Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет. Я уже объявил это…

Я ничем не хочу стесняться в редакции моих записок. Порядка и системы заводить не буду. Что припомнится, то и запишу.

Ну вот, например: могли бы придраться к слову и спросить меня: если вы действительно не рассчитываете на читателей, то для чего же вы теперь делаете с самим собой, да еще на бумаге, такие уговоры, то есть что порядка и системы заводить не будете, что запишете то, что припомнится, и т. д., и т. д.? К чему вы объясняетесь? К чему извиняетесь?

— А вот поди же, — отвечаю я.

Тут, впрочем, целая психология. Может быть, и то, что я просто трус. А может быть, и то, что я нарочно воображаю перед собой публику, чтоб вести себя приличнее, в то время когда буду записывать. Причин может быть тысяча.

Но вот что еще: для чего, зачем собственно я хочу писать? Если не для публики, так ведь можно бы и так, мысленно всё припомнить, не переводя на бумагу?

Так-с; но на бумаге оно выйдет как-то торжественнее. В этом есть

что-то внушающее, суда больше над собой будет, слогу прибавится. Кроме того: может быть, я от записывания действительно получу облегчение. Вот нынче, например, меня особенно давит одно давнишнее воспоминание. Припомнилось оно мне ясно еще на днях и с тех пор осталось со мною, как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться. А между тем надобно от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотни; но по временам из сотни выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется. Отчего ж не испробовать?

Наконец: мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. Записыванье же действительно как будто работа. Говорят, от работы человек добрым и честным делается. Ну вот шанс по крайней мере.

Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега.

II
По поводу мокрого снега*

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок;
Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня,
И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена…
И т. д., и т. д., и т. д.

Из поэзии Н. А. Некрасова

I

В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уж и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить и всё более и более забивался в свой угол. В должности, в канцелярии, я даже старался не глядеть ни на кого, и я очень хорошо замечал, что сослуживцы мои не только считали меня чудаком, но — всё казалось мне и это — будто бы смотрели на меня с каким-то омерзением. Мне приходило в голову: отчего это никому, кроме меня, не кажется, что смотрят на него с омерзением? У одного из наших канцелярских было отвратительное и прерябое лицо, и даже как будто разбойничье. Я бы, кажется, и взглянуть ни на кого не посмел с таким неприличным лицом. У другого вицмундир был до того

заношенный, что близ него уже дурно пахло. А между тем ни один из этих господ не конфузился — ни по поводу платья, ни по поводу лица, ни как-нибудь там нравственно. Ни тот, ни другой не воображали, что смотрят на них с омерзением; да если б и воображали, так им было бы всё равно, только бы не начальство взирать изволило. Теперь мне совершенно ясно, что я сам вследствие неограниченного моего тщеславия, а стало быть, и требовательности к самому себе, глядел на себя весьма часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, а оттого, мысленно, и приписывал мой взгляд каждому. Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно, и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение, и потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтоб не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородства. «Пусть уж будет и некрасивое лицо, — думал я, — но зато пусть будет оно благородное, выразительное и, главное, *чрезвычайно* умное» Но я наверно и страдальчески знал, что всех этих совершенств мне никогда моим лицом не выразить. Но что всего ужаснее, я находил его положительно глупым. А я бы вполне помирился на уме. Даже так, что согласился бы даже и на подлое выражение, с тем только, чтоб лицо мое находили в то же время ужасно умным.

Всех наших канцелярских я, разумеется, ненавидел, с первого до последнего, и всех презирал, а вместе с тем как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось: то презираю, то ставлю выше себя. Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. Но, презирая ли, ставя ли выше, я чуть не перед каждым встречным опускал глаза. Я даже опыты делал: стерплю ли я взгляд вот хоть такого-то на себе, и всегда опускал я первый. Это меня мучило до бешенства. До болезни тоже боялся я быть смешным и потому рабски обожал рутину во всём, что касалось наружного; с любовию вдавался в общую колею и всей душою пугался в себе всякой эксцентричности. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеку нашего времени. Они же все были тупы и один на другого похожи, как бараны в стаде. Может быть, только мне одному во всей канцелярии постоянно казалось, что я был трус и раб; именно

потому и казалось, что я был развит. Но оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле: я был трус и раб. Говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это — нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен. И не в настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле. Если и случится кому из них похрабриться над чем-нибудь, то пусть этим не утешается и не увлекается: всё равно перед другим сбрендит. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки, но ведь и те до известной стены. На них и внимания обращать не стоит, потому что они ровно ничего не означают.

Мучило меня тогда еще одно обстоятельство: именно то, что на меня никто не похож и я ни на кого не похож. «Я-то один, а они-то *все»*, — думал я и — задумывался.

Из этого видно, что я был еще совсем мальчишка.

Случались и противоположности. Ведь уж как иногда гадко становилось ходить в канцелярию: доходило до того, что я много раз со службы возвращался больной. Но вдруг ни с того ни с сего наступает полоса скептицизма и равнодушия (у меня всё было полосами), и вот я же сам смеюсь над моею нетерпимостью и брезгливостью, сам себя в *романтизме* упрекаю. То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговорюсь, но еще вздумаю с ними сойтись по-приятельски. Вся брезгливость вдруг разом ни с того ни с сего исчезала. Кто знает, может быть, ее у меня никогда и не было, а была она напускная, из книжек? Я до сих пор этого вопроса еще не разрешил. Раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать, в преферанс играть, водку пить, о производстве толковать… Но здесь позвольте мне сделать одно отступление.

У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах, — они всё те же, даже для приличия не изменятся, и всё будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же, в русской земле, нет дураков; это известно; тем-то мы и отличаемся от прочих немецких

земель. Следственно, и надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии. Это всё наши «положительные» тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами[*] и сдуру приняв их за наш идеал, навыдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездно-европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит. (Уж позвольте мне употреблять это слово: «романтик» — словечко старинное, почтенное, заслуженное и всем знакомое). Свойства нашего романтика — это всё понимать, *всё видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы;* ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать; всё обойти, всему уступить, со всеми поступить политично; постоянно не терять из виду полезную, практическую цель (какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки) — усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков и в то же время «и прекрасное и высокое» по гроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уже кстати вполне сохранить так-таки в хлопочках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь, хотя бы, например, для пользы того же «прекрасного и высокого». Широкий человек наш романтик и первейший плут из всех наших плутов, уверяю вас в том… даже по опыту. Разумеется, всё это, если романтик умен. То есть что ж это я! романтик и всегда умен, я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки-романтики, но это не в счет и единственно потому, что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались и, чтоб удобнее сохранить свою ювелирскую вещицу, поселялись там где-нибудь, больше в Веймаре или в Шварцвальде. Я, например, искренно презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги за то получал. В результате же, — заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорей сойдет с ума (что, впрочем, очень редко бывает), а плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется, и в толчки его никогда не выгонят, а разве свезут в сумасшедший дом в виде «испанского короля»[*], да и то если уж он очень с ума сойдет. Но ведь сходят у нас с ума только жиденькие и белокуренькие. Неисчетное же число романтиков — значительные чины впоследствии происходят. Многосторонность

необыкновенная! И какая способность к самым противоречивейшим ощущениям! Я и тогда был этим утешен, да и теперь тех же мыслей. Оттого-то у нас так и много «широких натур», которые даже при самом последнем паденьи никогда не теряют своего идеала; и хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Да-с, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы (слово «шельмы» я употребляю любя), такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают.

Многосторонность поистине изумительная, и бог знает во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах и что сулит нам в нашем дальнейшем? А недурен матерьял-с! Не из патриотизма какого-нибудь, смешного или квасного, я так говорю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеюсь. А кто знает, может быть, и обратно, то есть уверены, что я и в самом деле так думаю. Во всяком случае, господа, оба мнения ваши я буду считать себе за честь и особенное удовольствие. А отступление мое мне простите.

С товарищами моими я, разумеется, дружества не выдерживал и очень скоро расплевывался и вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал, точно отрезывал. Это, впрочем, со мной всего один раз и случилось. Вообще же я всегда был один.

Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями всё беспрерывно внутри меня накипавшее. А из внешних ощущений было для меня в возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало, — волновало, услаждало и мучило. Но по временам наскучало ужасно. Все-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий — не разврат, а развратишко. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями. Кроме чтения, идти было некуда, — то есть не было ничего, чтобы мог я тогда уважать в моем окружающем и к чему бы потянуло меня. Накипала, сверх того, тоска; являлась

истерическая жажда противоречий, контрастов, и вот я и пускался развратничать. Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас столько наговорил… А впрочем, нет! соврал! Я именно себя оправдать хотел. Это я для себя, господа, заметочку делаю. Не хочу лгать. Слово дал.

Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уж и тогда носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. Ходил же я по разным весьма темным местам.

Раз, проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа киями подрались у биллиарда и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало; но тогда такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал, и до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в биллиардную: «Авось, дескать, и я подерусь, и меня тоже из окна спустят».

Я не был пьян, но что прикажете делать, — до такой ведь истерики может тоска заесть! Но ничем обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен, и я ушел не подравшись.

Осадил меня там с первого же шагу один офицер.

Я стоял у биллиарда и по неведению заслонял дорогу, а тому надо было пройти; он взял меня за плечи и молча, — не предуведомив и не объяснившись, — переставил меня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел как будто и не заметив. Я бы даже побои простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не заметил.

Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, *литературную*! Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер вершков десяти росту[*]; я же человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках: стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и предпочел… озлобленно стушеваться.

Вышел я из трактира смущенный и взволнованный, прямо домой, а на другой день продолжал мой развратик еще робче, забитее и грустнее, чем прежде, как будто со слезой на глазах, — а все-таки продолжал. Не думайте, впрочем, что я струсил офицера от трусости: я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на деле, но — подождите

смеяться, на это есть объяснение; у меня на всё есть объяснение, будьте уверены.

О, если б этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль! Но нет, это был именно из тех господ (увы! давно исчезнувших), которые предпочитали действовать киями или, как поручик Пирогов у Гоголя, — по начальству.* На дуэль же не выходили, а с нашим братом, с штафиркой*, считали бы дуэль во всяком случае неприличною, — да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае десяти вершков росту.

Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят; физической храбрости, право, хватило бы; но нравственной храбрости недостало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивавшегося, с воротником из сала, — не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (point d'honneur), у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о «пункте чести» не упоминается. Я вполне был уверен (чутье-то действительности, несмотря на весь романтизм!), что все они просто лопнут со смеха, а офицер не просто, то есть не безобидно, прибьет меня, а непременно коленном меня напинает, обведя таким манером вокруг биллиарда, и потом уж разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история только этим одним со мной не могла окончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю только, узнавал ли он меня. Должно быть, нет; заключаю по некоторым признакам. Но я-то, я, — смотрел на него со злобою и ненавистью, и так продолжалось… несколько лет-с! Злоба моя даже укреплялась и разрасталась с годами. Сначала я, потихоньку, начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице, когда я издали шел за ним, точно привязанный к нему, и вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры и за гривенник узнал у дворника, где он живет, в каком этаже, один или с кем-нибудь и т. д. — одним словом, всё, что можно узнать от дворника.

Раз поутру, хоть я и никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в абличительном виде[*], в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я абличил, даже поклеветал; фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать, но потом, по зрелом рассуждении, изменил и отослал в «Отечественные записки». Но тогда еще не было абличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно. Иногда злоба меня просто душила. Наконец я решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное, привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться; в случае же отказа довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено, что если б офицер чуть-чуть понимал «прекрасное и высокое», то непременно бы прибежал ко мне, чтоб броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как бы это было хорошо! Мы бы так зажили! так зажили! Он бы защищал меня своей сановитостью; я бы облагораживал его своей развитостью, ну и… идеями, и много кой-чего бы могло быть! Вообразите, что тогда прошло уже два года, как он меня обидел, и вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, несмотря на всю ловкость письма моего, объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но, слава богу (до сих пор благодарю всевышнего со слезами), я письма моего не послал. Мороз по коже пробирает, как вспомню, что бы могло выйти, если б я послал. И вдруг… и вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом! Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в четвертом часу на Невский и гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, а испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлития желчи; но того-то мне, верно, и надобно было. Я шмыгал, как вьюн, самым некрасивым образом, между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офицерам, то барыням; я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере[*] моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука-мученская, беспрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха, перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха, — всех умнее, всех развитее, всех благороднее, — это уж само собою, — но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. Для чего я набирал на себя эту муку,

для чего я ходил на Невский — не знаю? но меня просто *тянуло* туда при каждой возможности.

Тогда уже я начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я уже говорил в первой главе. После же истории с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть: на Невском-то я его и встречал наиболее, там-то я и любовался им. Он тоже ходил туда более в праздники. Он хоть тоже сворачивал с дороги перед генералами и перед особами сановитыми и тоже вилял, как вьюн, между ними, но таких, как наш брат, или даже почище нашего брата, он просто давил; шел прямо на них, как будто перед ним было пустое пространство, и ни в каком случае дороги не уступал. Я упивался моей злобой, на него глядя, и… озлобленно перед ним каждый раз сворачивал. Меня мучило, что я даже и на улице никак не могу быть с ним на равной ноге. «Отчего ты непременно первый сворачиваешь? — приставал я сам к себе, в бешеной истерике, проснувшись иногда часу в третьем ночи. — Отчего именно ты, а не он? Ведь для этого закона нет, ведь это нигде не написано? Ну пусть будет поровну, как обыкновенно бывает, когда деликатные люди встречаются: он уступит половину, и ты половину, вы и пройдете, взаимно уважая друг друга». Но так не было, и все-таки сворачивал я, а он даже и не замечал, что я ему уступаю. И вот удивительнейшая мысль вдруг осенила меня. «А что, — вздумал я, — что, если встретиться с ним и… не посторониться? Нарочно не посторониться, хоть бы даже пришлось толкнуть его: а, каково это будет?» Дерзкая мысль эта мало-помалу до того овладела мною, что не давала мне покоя. Мечтал я об этом беспрерывно, ужасно и нарочно чаще ходил на Невский, чтоб еще яснее себе представить, как я это сделаю, когда буду делать. Я был в восторге. Всё более и более мне казалось это намерение и вероятным и возможным. «Разумеется, не совсем толкнуть, — думал я, уже заранее добрея от радости, — а так, просто не посторониться, состукнуться с ним, не так, чтобы очень больно, а так, плечо о плечо, ровно на столько, сколько определено приличием; так что на сколько он меня стукнет, на столько и я его стукну». Я решился наконец совершенно. Но приготовления взяли очень много времени. Первое то, что во время исполнения нужно было быть в более приличнейшем виде и позаботиться о костюме. «На всякий случай, если, например, завяжется публичная история (а публика-то тут суперфлю[*]: графиня ходит, князь Д. ходит, вся литература ходит),

нужно быть хорошо одетым; это внушает и прямо поставит нас некоторым образом на равную ногу в глазах высшего общества». С этою целью я выпросил вперед жалованья и купил черные перчатки и порядочную шляпу у Чуркина. Черные перчатки казались мне и солиднее, и бонтоннее*, чем лимонные, на которые я посягал сначала. «Цвет слишком резкий, слишком как будто хочет выставиться человек», и я не взял лимонных. Хорошую рубашку, с белыми костяными запонками, я уж давно приготовил; но задержала очень шинель. Сама-то по себе шинель моя очень была недурна, грела; но она была на вате, а воротник был енотовый, что составляло уже верх лакейства. Надо было переменить воротник во что бы ни стало и завести бобрик, вроде как у офицеров. Для этого я стал ходить по Гостиному двору и после нескольких попыток нацелился на один дешевый немецкий бобрик. Эти немецкие бобрики хоть и очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид, но сначала, с обновки, смотрят даже и очень прилично; а ведь мне только для одного разу и надо было. Спросил я цену: все-таки было дорого. По основательном рассуждении я решился продать мой енотовый воротник. Недостающую же и весьма для меня значительную сумму решился выпросить взаймы у Антона Антоныча Сеточкина, моего столоначальника, человека смиренного, но серьезного и положительного, никому не дававшего взаймы денег, но которому я был когда-то, при вступлении в должность, особенно рекомендован определившим меня на службу значительным лицом. Мучился я ужасно. Попросить денег у Антона Антоныча мне казалось чудовищным и постыдным. Я даже две-три ночи не спал, да и вообще я тогда мало спал, был в лихорадке; сердце у меня как-то смутно замирало или вдруг начинало прыгать, прыгать, прыгать!.. Антон Антонович сначала удивился, потом поморщился, потом рассудил и все-таки дал взаймы, взяв с меня расписку на право получения данных заимообразно денег через две недели из жалованья. Таким образом, всё было наконец готово; красивый бобрик воцарился на месте паскудного енота, и я начал помаленьку приступать к делу. Нельзя же было решиться с первого разу, зря; надо было это дело обделать умеючи, именно помаленьку. Но признаюсь, что после многократных попыток я даже было начал отчаиваться: не состукиваемся никак — да и только! Уж я ль не приготовлялся, я ль не намеревался, — кажется, вот-вот сейчас состукнемся, смотрю — и опять я уступил дорогу, а он и прошел,

не заметив меня. Я даже молитвы читал, подходя к нему, чтоб бог вселил в меня решимость. Один раз я было и совсем уже решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что в самое последнее мгновение, на двухвершковом каком-нибудь расстоянии, не хватило духу. Он преспокойно прошел по мне, и я, как мячик, отлетел в сторону. В эту ночь я был опять болен в лихорадке и бредил. И вдруг всё закончилось как нельзя лучше. Накануне ночью я окончательно положил не исполнять моего пагубного намерения и всё оставить втуне и с этою целью в последний раз вышел на Невский, чтобы только так посмотреть, — как это я оставлю всё это втуне? Вдруг, в трех шагах от врага моего, я неожиданно решился, зажмурил глаза и — мы плотно стукнулись плечо о плечо! Я не уступил ни вершка и прошёл мимо совершенно на равной ноге! Он даже и не оглянулся и сделал вид, что не заметил; но он только вид сделал, я уверен в этом. Я до сих пор в этом уверен! Разумеется, мне досталось больше; он был сильнее, но не в том было дело. Дело было в том, что я достиг цели, поддержал достоинство, не уступил ни на шаг и публично поставил себя с ним на равной социальной ноге. Воротился я домой совершенно отмщенный за всё. Я был в восторге. Я торжествовал и пел итальянские арии. Разумеется, я вам не буду описывать того, что произошло со мной через три дня; если читали мою первую главу «Подполье», то можете сами догадаться. Офицера потом куда-то перевели; лет уже четырнадцать я его теперь не видал. Что-то он теперь, мой голубчик? Кого давит?

II

Но кончалась полоса моего развратика, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние, я его гнал: слишком уж тошнило. Мало-помалу я, однако же, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал, то есть не то что привыкал, а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход, всё примирявший, это — спасаться во «всё прекрасное и высокое», конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол, и уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который, в смятении куриного сердца, пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался вдруг героем. Моего десятивершкового поручика я бы даже и с визитом к себе

тогда не пустил. Я даже и представить его себе не мог тогда. Что такое были мои мечты и как мог я ими довольствоваться — об этом трудно сказать теперь, но тогда я этим довольствовался. Впрочем, я ведь и теперь этим отчасти довольствуюсь. Мечты особенно слаще и сильнее приходили ко мне после развратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось, ей-богу. Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством всё это вдруг раздвинется, расширится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, *совсем готовой* (какой именно — я никогда не знал, но, главное, — совсем готовой), и вот я выступлю вдруг на свет божий, чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке. Второстепенной роли я и понять не мог и вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь, средины не было. Это-то меня и сгубило, потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собой грязь: обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтоб совсем загрязниться, следственно, можно грязниться. Замечательно, что эти приливы «всего прекрасного и высокого» приходили ко мне и во время развратика, и именно тогда, когда я уже на самом дне находился, приходили так, отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляли, однако ж, развратика своим появлением; напротив, как будто подживляли его контрастом и приходили ровно на столько, сколько было нужно для хорошего соуса. Соус тут состоял из противоречия и страдания, из мучительного внутреннего анализа, и все эти мученья и мученьица и придавали какую-то пикантность, даже смысл моему развратику, — одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Всё это даже было не без некоторой глубины. Да и мог ли бы я согласиться на простой, пошлый, непосредственный, писарский развратишко и вынести на себе всю эту грязь! Что ж бы могло тогда в ней прельстить меня и выманить ночью на улицу? Нет-с, у меня была благородная лазейка на всё…

Но сколько любви, господи, сколько любви переживал я, бывало, в этих мечтах моих, в этих «спасеньях во всё прекрасное и высокое»: хоть и фантастической любви, хоть и никогда ни к чему человеческому на

деле не прилагавшейся, но до того было ее много, этой любви, что потом, на деле, уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать: излишняя б уж это роскошь была. Всё, впрочем, преблагополучно всегда оканчивалось ленивым и упоительным переходом к искусству, то есть к прекрасным формам бытия, совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям. Я, например, над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я всех их прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером; получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий* и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много «прекрасного и высокого», чего-то манфредовског*о. Все плачут и целуют меня (иначе что же бы они были за болваны), а я иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем*. Затем играется марш, выдается амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию*; затем бал для всей Италии на вилле Боргезе, что на берегу озера Комо*, так как озеро Комо нарочно переносится для этого случая в Рим; затем сцена в кустах и т. д., и т. д. — будто не знаете? Вы скажете, что пошло и подло выводить всё это теперь на рынок, после стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего же подло-с? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого и что всё это было глупее хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни? И к тому же поверьте, что у меня кой-что было вовсе недурно составлено… Не всё же происходило на озере Комо. А впрочем, вы правы; действительно, и пошло и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться. А еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да довольно, впрочем, а то ведь никогда и не кончишь: всё будет одно другого подлее…

Больше трех месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество означало у меня сходить в гости к моему столоначальнику, Антону Антонычу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь, и я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству. Но и к нему я ходил разве только тогда, когда уж наступала такая полоса, а мечты мои доходили до такого счастия, что надо было непременно и немедленно обняться с людьми и

со всем человечеством; а для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности, действительно существующего. К Антону Антонычу надо было, впрочем, являться по вторникам (его день), следственно, и подгонять потребность обняться со всем человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антоныч у Пяти углов,* в четвертом этаже и в четырех комнатках, низеньких и мал мала меньше, имевших самый экономический и желтенький вид. Были у него две дочери и их тетка, разливавшая чай. Дочкам — одной было тринадцать, а другой четырнадцать лет, обе были курносенькие, и я их ужасно конфузился, потому что они всё шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел обыкновенно в кабинете, на кожаном диване, перед столом, вместе с каким-нибудь седым гостем, чиновником из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше двух-трех гостей, и все тех же самых, я никогда там не видывал. Толковали про акциз*, про торги в Сенате, о жалованье, о производстве, о его превосходительстве, о средстве нравиться и проч., и проч. Я имел терпение высиживать подле этих людей дураком часа по четыре и их слушать, сам не смея и не умея ни об чем с ними заговорить. Я тупел, по нескольку раз принимался потеть, надо мной носился паралич; но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал мое желание обняться со всем человечеством.

Был, впрочем, у меня и еще как будто один знакомый, Симонов, бывший мой школьный товарищ. Школьных товарищей у меня было, пожалуй, и много в Петербурге, но я с ними не водился и даже перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в другое ведомство перешел для того, чтоб не быть вместе с ними и разом отрезать со всем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные годы! Одним словом, с товарищами я тотчас же разошелся, как вышел на волю. Оставались два-три человека, с которыми я еще кланялся, встречаясь. В том числе был и Симонов, который в школе у нас ничем не отличался, был ровен и тих, но в нем я отличил некоторую независимость характера и даже честность. Даже не думаю, что он был очень уж ограничен. У меня с ним бывали когда-то довольно светлые минуты, но недолго продолжались и как-то вдруг задернулись туманом. Он, видимо, тяготился этими воспоминаниями и, кажется, всё боялся, что я впаду в прежний тон. Я подозревал, что я был ему очень противен, но все-таки ходил к нему, не уверенный в том наверно.

Вот однажды, в четверг, не выдержав моего одиночества и зная, что в четверг у Антона Антоныча дверь заперта, я вспомнил о Симонове. Подымаясь к нему в четвертый этаж, я именно думал о том, что этот господин тяготится мною и что напрасно я это иду. Но так как кончалось всегда тем, что подобные соображения, как нарочно, еще более подбивали меня лезть в двусмысленное положение, то я и вошел. Был почти год, как я последний раз перед тем видел Симонова.

III

Я застал у него еще двух моих школьных товарищей. Они толковали, по-видимому, об одном важном деле. На приход мой ни один из них не обратил почти никакого внимания, что было даже странно, потому что я не видался с ними уж годы. Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня даже в школе, хотя все меня там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уж очень опустился, ходил в дурном платье и проч., что в их глазах составляло вывеску моей неспособности и мелкого значения. Но я все-таки не ожидал до такой степени презрения. Симонов даже удивился моему приходу. Он и прежде всегда как будто удивлялся моему приходу. Всё это меня озадачило; я сел в некоторой тоске и начал слушать, о чем они толковали.

Шла речь серьезная и даже горячая о прощальном обеде, который хотели устроить эти господа завтра же, сообща, отъезжавшему далеко в губернию их товарищу Зверкову, служившему офицером. Мосье Зверков был всё время и моим школьным товарищем. Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький, резвый мальчик, которого все любили. Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик. Учился он всегда постоянно плохо и чем дальше, тем хуже; однако ж вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе ему досталось наследство, двести душ, а так как у нас все почти были бедные, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк в высшей степени, но, однако ж, добрый малый, даже и тогда, когда

фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные, фантастические и фразерские формы чести и гонора, все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил. И не из выгоды какой-нибудь увивались, а так, из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. Притом же как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по части ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, несомневающийся в себе звук его голоса, обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык; я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо (на которое я бы, впрочем, променял с охотою свое *умное)* и развязно-офицерские приемы сороковых годов. Я ненавидел то, что он рассказывал о своих будущих успехах с женщинами (он не решался начинать с женщинами, не имея еще офицерских эполет, и ждал их с нетерпением) и о том, как он поминутно будет выходить на дуэли. Помню, как я, всегда молчаливый, вдруг сцепился с Зверковым, когда он, толкуя раз в свободное время с товарищами о будущей клубничке и разыгравшись наконец как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставит без внимания, что это — droit de seigneur[*],[69] а мужиков, если осмелятся протестовать, всех пересечет и всем им, бородатым канальям, вдвое наложит оброку. Наши хамы аплодировали, я же сцепился и вовсе не из жалости к девам и их отцам, а просто за то, что такой козявке так аплодировали. Я тогда одолел, но Зверков, хоть и глуп был, но был весел и дерзок, а потому отсмеялся и даже так, что я, по правде, не совсем и одолел: смех остался на его стороне. Он потом еще несколько раз одолевал меня, но без злобы, а как-то так, шутя, мимоходом, смеясь. Я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он было сделал ко мне шаг; я не очень противился, потому что мне это польстило; но мы скоро и естественно разошлись. Потом я слыхал об его казарменно-поручичьих успехах, о том, как он *кутит.* Потом пошли другие слухи — о том, как он *успевает* по службе. На улице он мне уже не кланялся, и я подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь с такой незначительной, как я, личностью. Видел я его тоже один раз в театре, в третьем ярусе, уже в аксельбантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опустился, хотя был по-прежнему довольно красив и ловок; как-то отек, стал жиреть; видно было, что к

тридцати годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то уезжавшему наконец Зверкову и хотели дать обед наши товарищи. Они постоянно все три года водились с ним, хотя сами, внутренне, не считали себя с ним на равной ноге, я уверен в этом.

Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин, из русских немцев, — маленький ростом, с обезьяньим лицом, всех пересмеивающий глупец, злейший враг мой еще с низших классов, — подлый, дерзкий, фанфаронишка и игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги. Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста, с холодною физиономией, довольно честный, но преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился каким-то дальним родственником, и это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторое значение. Меня он постоянно считал ни во что; обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно.

— Что ж, коль по семи рублей, — заговорил Трудолюбов, — нас трое, двадцать один *рупь*, — можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит.

— Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, — решил Симонов.

— Неужели ж вы думаете, — заносчиво и с пылкостию ввязался Ферфичкин, точно нахал лакей, хвастающий звездами своего генерала барина, — неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить? Из деликатности примет, но зато от себя *полдюжины* выставит.

— Ну, куда нам четверым полдюжины, — заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину.

— Так, трое, с Зверковым четверо, двадцать один рубль в Hôtel de Paris, завтра в пять часов, — окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем.

— Как же двадцать один? — сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись, — если считать со мной, так будет не двадцать один, а двадцать восемь рублей.

Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением.

— Разве вы тоже хотите? — с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть.

Меня взбесило, что он знает меня наизусть.

— Почему же-с? Я ведь, кажется, тоже товарищ, и, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли, — заклокотал было я опять.

— А где вас было искать? — грубо ввязался Ферфичкин.

— Вы всегда были не в ладах с Зверковым, — прибавил Трудолюбов нахмурившись. Но я уж ухватился и не выпускал.

— Мне кажется, об этом никто не вправе судить, — возразил я с дрожью в голосе, точно и бог знает что случилось. — Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах.

— Ну, кто вас поймет… возвышенности-то эти… — усмехнулся Трудолюбов.

— Вас запишут, — решил, обращаясь ко мне, Симонов, — завтра в пять часов, в Hôtel de Paris; не ошибитесь.

— Деньги-то! — начал было Ферфичкин вполголоса, кивая на меня Симонову, но осекся, потому что даже Симонов сконфузился.

— Довольно, — сказал Трудолюбов, вставая. — Если ему так уж очень захотелось, пусть придет.

— Да ведь у нас кружок свой, приятельский, — злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. — Это не официальное собрание. Мы вас, может быть, и совсем не хотим…

Они ушли; Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился, Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал.

— Гм… да… так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь? Я это, чтоб верно знать, — пробормотал он сконфузившись.

Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Симонову пятнадцать рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда.

— Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда… и мне очень досадно, что я забыл…

— Хорошо, хорошо, всё равно. Расплатитесь завтра за обедом. Я ведь только, чтоб знать… Вы, пожалуйста…

Он осекся и стал ходить по комнате с еще большей досадой. Шагая, он начал становиться на каблуки и при этом сильнее топать.

— Я вас не задерживаю ли? — спросил я после двух минутного молчанья.

— О нет! — встрепенулся он вдруг, — то есть, по правде, — да. Видите ли, мне еще бы надо зайти… Тут недалеко… — прибавил он каким-то извиняющимся голосом и от части стыдясь.

— Ах, боже мой! Что же вы не ска-же-те! — вскрикнул я, схватив фуражку, с удивительно, впрочем, развязным видом, бог знает откуда налетевшим.

— Это ведь недалеко… Тут два шага… — повторял Симонов, провожая меня до передней с суетливым видом, который ему вовсе не шел. — Так завтра в пять часов ровно! — крикнул он мне на лестницу: очень уж он был доволен, что я ухожу. Я же был в бешенстве.

— Ведь дернуло же, дернуло же выскочить! — скрежетал я зубами, шагая по улице, — и этакому подлецу, поросенку, Зверкову! Разумеется, не надо ехать; разумеется, наплевать: что я, связан, что ли? Завтра же уведомлю Симонова по городской почте…

Но потому-то я и бесился, что наверно знал, что поеду; что нарочно поеду; и чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее и поеду.

И даже препятствие положительное было не ехать: денег не было. Всего-навсего лежало у меня девять рублей. Но из них семь надо было отдать завтра же месячного жалованья Аполлону, моему слуге, который жил у меня за семь рублей на своих харчах.

Не выдать же было невозможно, судя по характеру Аполлона. Но об этой каналье, об этой язве моей, я когда-нибудь после поговорю.

Впрочем, я ведь знал, что все-таки не выдам, а непременно поеду.

В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Не мудрено: весь вечер давили меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни, и я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и о которых с тех пор не имел никакого понятия, — сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на всё озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить; я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня

возмущала. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой; а между тем какие глупые у них самих были лица! В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Чрез несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими, поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Не оскорбленное тщеславие подбивало меня к тому, и, ради бога, не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казенными возражениями: «что я только мечтал, а они уж и тогда действительную жизнь понимали». Ничего они не понимали, никакой действительной жизни, и, клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Всё, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратны они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности; разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них даже из-за разврата; но непривлекательна была в них даже и свежесть и проявлялась в каком-то ёрничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения. Но я уже не желал их любви; напротив, я постоянно жаждал их унижения. Чтоб избавить себя от их насмешек, я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которых они не могли читать, и понимал такие вещи (не входившие в состав нашего специального курса), о которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись, тем более что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные, натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал: с летами развивалась потребность в людях, в друзьях. Я

попробовал было начать сближаться с иными; но всегда это сближение выходило неестественно и так само собой и оканчивалось. Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его душой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, — точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить; мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, к которой я предназначался, чтобы все нити порвать, проклясть прошлое и прахом его посыпать… И черт знает зачем после того я потащился к этому Симонову!..

Утром я рано схватился с постели, вскочил с волнением, точно всё это сейчас же и начнет совершаться. Но я верил, что наступает и непременно наступит сегодня же какой-то радикальный перелом в моей жизни. С непривычки, что ли, но мне всю жизнь, при всяком внешнем, хотя бы мельчайшем событии, всё казалось, что вот сейчас и наступит какой-нибудь радикальный перелом в моей жизни. Я, впрочем, отправился в должность по-обыкновенному, но улизнул домой двумя часами раньше, чтоб приготовиться. Главное, думал я, надо приехать не первым, а то подумают, что я уж очень обрадовался. Но таких главных вещей были тысячи, и все они волновали меня до бессилия. Я собственноручно еще раз вычистил мои сапоги; Аполлон ни за что на свете не стал бы чистить их два раза в день, находя, что это не порядок. Чистил же я, украв щетки из передней, чтоб он как-нибудь не заметил и не стал потом презирать меня. Затем я подробно осмотрел мое платье и нашел, что всё старо, потерто, заношено. Слишком я уж обнеряшился. Вицмундир, пожалуй, был исправен, но не в вицмундире же было ехать обедать. А главное, на панталонах, на самой коленке было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня девять десятых собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать. «Но теперь не до думанья; теперь наступает действительность», — думал я и падал духом. Знал я тоже отлично,

тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличиваю; но что же было делать: совладать я с собой уж не мог, и меня трясла лихорадка. С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот «подлец» Зверков; с каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица Трудолюбов; как скверно и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявка Ферфичкин, чтоб подслужиться Зверкову; как отлично поймет про себя всё это Симонов и как будет презирать меня за низость моего тщеславия и малодушия, и, главное, — как всё это будет мизерно, не *литературно,* обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать. Но это-то уж было больше всего невозможно: уж когда меня начинало тянуть, так уж я так и втягивался весь, с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом: «А что, струсил, струсил *действительности,* струсил!» Напротив, мне страстно хотелось доказать всей «шушере», что я вовсе не такой трус, как я сам себе представляю. Мало того: в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось одержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя — ну хоть «за возвышенность мыслей и несомненное остроумие». Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова. Потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на *ты,* но что всего было злее и обиднее для меня, это, что я тогда же знал, знал вполне и наверно, что ничего мне этого, в сущности, не надо, что, в сущности, я вовсе не желаю их раздавливать, покорять, привлекать и что за весь-то результат, если б только я и достиг его, я сам, первый, гроша бы не дал. О, как я молил бога, чтоб уж прошел поскорее этот день! В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега…

Наконец на моих дрянных стенных часишках прошипело пять. Я схватил шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона, — который еще с утра всё ждал от меня выдачи жалованья, но по гордости своей не хотел заговорить первый, — скользнул мимо него из дверей и на лихаче, которого нарочно нанял за последний полтинник, подкатил барином к Hôte1 de Paris.

IV

Я еще накануне знал, что приеду первый. Но уж дело было не в первенстве.

Их не только никого не было, но я даже едва отыскал нашу комнату. На столе было еще не совсем накрыто. Что же это значило? После многих расспросов я добился наконец от слуг, что обед заказан к шести часам, а не к пяти. Это подтвердили и в буфете. Даже стыдно стало расспрашивать. Было еще только двадцать пять минут шестого. Если они переменили час, то во всяком случае должны же были известить; на то городская почта, а не подвергать меня «позору» и перед собой и… и хоть перед слугами. Я сел; слуга стал накрывать; при нем стало как-то еще обиднее. К шести часам, кроме горевших ламп, в комнату внесены были свечи. Слуга не подумал, однако ж, внести их тотчас же, как я приехал. В соседней комнате обедали, на разных столах, два каких-то мрачных посетителя, сердитые с виду и молчавшие. В одной из дальних комнат было очень шумно; даже кричали; слышен был хохот целой ватаги людей; слышались какие-то скверные французские взвизги: обед был с дамами. Одним словом, было очень тошно. Редко я проводил более скверную минуту, так что когда они, ровно в шесть часов, явились все разом, я, на первый миг, обрадовался им как каким-то освободителям и чуть не забыл, что обязан смотреть обиженным.

Зверков вошел впереди всех, видимо предводительствуя. И он и все они смеялись; но, увидя меня, Зверков приосанился, подошел неторопливо, несколько перегибаясь в талье, точно кокетничая, и подал мне руку, ласково, но не очень, с какой-то осторожной, чуть не генеральской вежливостию, точно, подавая руку, оберегал себя от чего-то. Я воображал, напротив, что он, тотчас же как войдет, захохочет своим прежним хохотом, тоненьким и со взвизгами, и с первых же слов пойдут плоские его шутки и остроты. К ним-то я и готовился еще с вечера, но никак уж не ожидал я такого свысока, такой превосходительной ласки. Стало быть, он уж вполне считал себя теперь неизмеримо выше меня во всех отношениях? Если б он только обидеть меня хотел этим генеральством, то ничего еще, думал я; я бы как-нибудь там отплевался. Но что, если и в самом деле, без всякого желанья обидеть, в его баранью башку серьезно заползла идейка, что он неизмеримо выше меня и может на меня смотреть не иначе, как только с покровительством? От одного этого предположения я уже стал

задыхаться.

— Я с удивлением узнал о вашем желании участвовать с нами, — начал он, сюсюкивая и пришепетывая, и растягивая слова, чего прежде с ним не бывало. — Мы с вами как-то всё не встречались. Вы нас дичитесь. Напрасно. Мы не так страшны, как вам кажется. Ну-с, во всяком случае рад во-зоб-но-вить…

И он небрежно повернулся положить на окно шляпу.

— Давно ждете? — спросил Трудолюбов.

— Я приехал ровно в пять часов, как мне вчера назначили, — отвечал я громко и с раздражением, обещавшим близкий взрыв.

— Разве ты не дал ему знать, что переменили часы? — оборотился Трудолюбов к Симонову.

— Не дал. Забыл, — отвечал тот, но без всякого раскаяния и, даже не извинившись передо мной, пошел распоряжаться закуской.

— Так вы здесь уж час, ах, бедный! — вскрикнул на смешливо Зверков, потому что, по его понятиям, это действительно должно было быть ужасно смешно. За ним, подленьким, звонким, как у собачонки, голоском закатился подлец Ферфичкин. Очень уж и ему показалось смешно и конфузно мое положение.

— Это вовсе не смешно! — закричал я Ферфичкину, раздражаясь всё более и более, — виноваты другие, а не я. Мне пренебрегли дать знать. Это-это-это… просто нелепо.

— Не только нелепо, а и еще что-нибудь, — проворчал Трудолюбов, наивно за меня заступаясь. — Вы уж слишком мягки. Просто невежливость. Конечно, не умышленная. И как это Симонов… гм!

— Если б со мной этак сыграли, — заметил Ферфичкин, — я бы…

— Да вы бы велели себе что-нибудь подать, — перебил Зверков, — или просто спросили бы обедать не дожидаясь.

— Согласитесь, что я бы мог это сделать без всякого позволения, — отрезал я. — Если я ждал, то…

— Садимся, господа, — закричал вошедший Симонов, — все готово; за шампанское отвечаю, отлично заморожено… Ведь я вашей квартиры не знал, где ж вас отыскивать? — оборотился он вдруг ко мне, но опять как-то не глядя на меня. Очевидно, он имел что-то против. Знать, после вчерашнего надумался.

Все сели; сел и я. Стол был круглый. По левую руку от меня

пришелся Трудолюбов, по правую Симонов. Зверков сел напротив; Ферфичкин подле него, между ним и Трудолюбовым.

— Ска-а-жите, вы… в департаменте? — продолжал заниматься мною Зверков. Видя, что я сконфужен, он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить. «Что ж он, хочет, что ли, чтоб я в него бутылкой пустил», — подумал я в бешенстве. Раздражался я, с непривычки, как-то неестественно скоро.

— В …и канцелярии, — ответил я отрывисто, глядя в тарелку.

— И… ввам ввыгодно? Ска-ажите, что вас паанудило оставить прежнюю службу?

— То и па-а-анудило, что захотелось оставить прежнюю службу, — протянул я втрое больше, уже почти не владея собою. Ферфичкин фыркнул. Симонов иронически посмотрел на меня; Трудолюбов остановился есть и стал меня рассматривать с любопытством.

Зверкова покоробило, но он не хотел заметить.

— Ну-у-у, а как ваше содержание?

— Какое это содержание?

— То есть ж-жалованье?

— Да что вы меня экзаменуете!

Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалованья. Я ужасно краснел.

— Небогато, — важно заметил Зверков.

— Да-с, нельзя в кафе-ресторанах обедать! — нагло прибавил Ферфичкин.

— По-моему, так даже просто бедно, — серьезно за метил Трудолюбов.

— И как вы похудели, как переменились… с тех пор… — прибавил Зверков, уже не без яду, с каким-то нахальным сожалением, рассматривая меня и мой костюм.

— Да полно конфузить-то, — хихикая, вскрикнул Ферфичкин.

— Милостивый государь, знайте, что я не конфужусь, — прорвался я наконец, — слышите-с! Я обедаю здесь, «в кафе-ресторане», на свои деньги, на свои, а не на чужие, заметьте это, monsieur Ферфичкин.

— Ка-ак! кто ж это здесь не на свои обедает? Вы как будто… — вцепился Ферфичкин, покраснев, как рак, и с остервенением смотря мне в глаза.

— Та-ак, — отвечал я, чувствуя, что далеко зашел, — и полагаю,

что лучше бы нам заняться разговором поумней.

— Вы, кажется, намереваетесь ваш ум показывать?

— Не беспокойтесь, это было бы совершенно здесь лишнее.

— Да вы это что, сударь вы мой, раскудахтались — а? вы не с ума ли уж спятили, в вашем лепартаменте?

— Довольно, господа, довольно! — закричал всевластно Зверков.

— Как это глупо! — проворчал Симонов.

— Действительно, глупо, мы собрались в дружеской компании, чтоб проводить в вояж доброго приятеля, а вы считаетесь, — заговорил Трудолюбов, грубо обращаясь ко мне одному. — Вы к нам сами вчера напросились, не расстраивайте же общей гармонии…

— Довольно, довольно, — кричал Зверков. — Перестаньте, господа, это нейдет. А вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня чуть не женился…

И вот начался какой-то пашквиль о том, как этот господин третьего дня чуть не женился. О женитьбе, впрочем, не было ни слова, но в рассказе всё мелькали генералы, полковники и даже камер-юнкеры, а Зверков между ними чуть не в главе. Начался одобрительный смех; Ферфичкин даже взвизгивал.

Все меня бросили, и я сидел раздавленный и уничтоженный.

«Господи, мое ли это общество! — думал я. — И каким дураком я выставил себя сам перед ними! Я, однако ж, много позволил Ферфичкину. Думают балбесы, что честь мне сделали, дав место за своим столом, тогда как не понимают, что это я, я им делаю честь, а не мне они! „Похудел! Костюм!“ О проклятые панталоны! Зверков еще давеча заметил желтое пятно на коленке… Да чего тут! Сейчас же, сию минуту встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова… Из презренья! А завтра хоть на дуэль. Подлецы. Ведь не семи же рублей мне жалеть. Пожалуй, подумают… Черт возьми! Не жаль мне семи рублей! Сию минуту ухожу!..»

Разумеется, я остался.

Я пил с горя лафит и херес стаканами. С непривычки быстро хмелел, а с хмелем росла и досада. Мне вдруг захотелось оскорбить их всех самым дерзким образом и потом уж уйти. Улучить минуту и показать себя — пусть же скажут: хоть и смешон, да умен… и… и… одним словом, черт с ними!

Я нагло обвел их всех осоловелыми глазами. Но они точно уж меня

позабыли совсем. У *них* было шумно, крикливо, весело. Говорил всё Зверков. Я начал прислушиваться. Зверков рассказывал о какой-то пышной даме, которую он довел-таки наконец до признанья (разумеется, лгал, как лошадь), и что в этом деле особенно помогал ему его интимный друг, какой-то князек, гусар Коля, у которого три тысячи душ.

— А между тем этого Коли, у которого три тысячи душ, здесь нет как нет проводить-то вас, — ввязался я вдруг в разговор. На минуту все замолчали.

— Вы уж о сю пору пьяны, — согласился наконец заметить меня Трудолюбов, презрительно накосясь в мою сторону. Зверков молча рассматривал меня, как букашку. Я опустил глаза. Симонов поскорей начал разливать шампанское.

Трудолюбов поднял бокал, за ним все, кроме меня.

— Твое здоровье и счастливого пути! — крикнул он Зверкову; — за старые годы, господа, за наше будущее, ура!

Все выпили и полезли целоваться с Зверковым. Я не трогался; полный бокал стоял передо мной непочатый.

— А вы разве не станете пить? — заревел потерявший терпение Трудолюбов, грозно обращаясь ко мне.

— Я хочу сказать спич с своей стороны, особо… и тогда выпью, господин Трудолюбов.

— Противная злючка! — проворчал Симонов.

Я выпрямился на стуле и взял бокал в лихорадке, готовясь к чему-то необыкновенному и сам еще не зная, что именно я скажу.

— Silence![70] —крикнул Ферфичкин. — То-то ума-то будет! — Зверков ждал очень серьезно, понимая, в чем дело.

— Господин поручик Зверков, — начал я, — знайте, что я ненавижу фразу, фразеров и тальи с перехватами… Это первый пункт, а за сим последует второй.

Все сильно пошевелились.

— Второй пункт: ненавижу клубничку и клубничников[*]. И особенно клубничников!

— Третий пункт: люблю правду, искренность и честность, — продолжал я почти машинально, потому что сам начинал уж леденеть от ужаса, не понимая, как это я так говорю… — Я люблю мысль, мсье Зверков; я люблю настоящее товарищество, на равной ноге, а не… гм…

Я люблю… А впрочем, отчего ж? И я выпью за ваше здоровье, мсье Зверков. Прельщайте черкешенок, стреляйте врагов отечества и… и… За ваше здоровье, мсье Зверков!

Зверков встал со стула, поклонился мне и сказал:

— Очень вам благодарен.

Он был ужасно обижен и даже побледнел.

— Черт возьми, — заревел Трудолюбов, ударив по столу кулаком.

— Нет-с, за это по роже бьют! — взвизгнул Ферфичкин.

— Выгнать его надо! — проворчал Симонов.

— Ни слова, господа, ни жеста! — торжественно крикнул Зверков, останавливая общее негодованье. — Благодарю вас всех, но я сам сумею доказать ему, насколько ценю его слова.

— Господин Ферфичкин, завтра же вы мне дадите удовлетворенье за ваши сейчашние слова! — громко сказал я, важно обращаясь к Ферфичкину.

— То есть дуэль-с? Извольте, — отвечал тот, но, верно, я был так смешон, вызывая, и так это не шло к моей фигуре, что все, а за всеми и Ферфичкин, так и легли со смеху.

— Да, конечно, бросить его! Ведь совсем уж пьян! — с омерзением проговорил Трудолюбов.

— Никогда не прощу себе, что его записал! — проворчал опять Симонов.

«Вот теперь бы и пустить бутылкой во всех», — подумал я, взял бутылку и… налил себе полный стакан.

«…Нет, лучше досижу до конца! — продолжал я думать, — вы были бы рады, господа, чтоб я ушел. Ни за что. Нарочно буду сидеть и пить до конца, в знак того, что не придаю вам ни малейшей важности. Буду сидеть и пить, потому что здесь кабак, а я деньги за вход заплатил. Буду сидеть и пить, потому что вас за пешек считаю, за пешек несуществующих. Буду сидеть и пить… и петь, если захочу, да-с, и петь, потому что право такое имею… чтоб петь… гм».

Но я не пел. Я старался только ни на кого из них не глядеть; принимал независимейшие позы и с нетерпеньем ждал, когда со мной они сами, *первые*, заговорят. Но, увы, они не заговорили. И как бы, как бы я желал в эту минуту с ними помириться! Пробило восемь часов, наконец девять. Они перешли со стола на диван. Зверков разлегся на кушетке, положив одну ногу на круглый столик. Туда перенесли и вино.

Он действительно выставил им три бутылки своих. Меня, разумеется, не пригласил. Все обсели его на диване. Они слушали его чуть не с благоговеньем. Видно было, что его любили. «За что? за что?» — думал я про себя. Изредка они приходили в пьяный восторг и целовались. Они говорили о Кавказе, о том, что такое истинная страсть, о гальбике[*], о выгодных местах по службе; о том, сколько доходу у гусара Подхаржевского, которого никто из них не знал лично, и радовались, что у него много доходу; о необыкновенной красоте и грации княгини Д-й, которую тоже никто из них никогда не видал; наконец дошло до того, что Шекспир бессмертен.

Я презрительно улыбался и ходил по другую сторону комнаты, прямо против дивана, вдоль стены, от стола до печки и обратно. Всеми силами я хотел показать, что могу и без них обойтись; а между тем нарочно стучал сапогами, становясь на каблуки. Но всё было напрасно. *Они-то* и не обращали внимания. Я имел терпенье проходить так, прямо перед ними, с восьми до одиннадцати часов, всё по одному и тому же месту, от стола до печки и от печки обратно к столу. «Так хожу себе, и никто не может мне запретить». Входивший в комнату слуга несколько раз останавливался смотреть на меня; от частых оборотов у меня кружилась голова; минутами мне казалось, что я в бреду. В эти три часа я три раза вспотел и просох. Порой с глубочайшею, с ядовитою болью вонзалась в мое сердце мысль: что пройдет десять лет, двадцать лет, сорок лет, а я все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и с унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уж невозможно, и я вполне, вполне понимал это и все-таки продолжал ходить от стола до печки и обратно. «О, если б вы только знали, на какие чувства и мысли способен я и как я развит!» — думал я минутами, мысленно обращаясь к дивану, где сидели враги мои. Но враги мои вели себя так, как будто меня и не было в комнате. Раз, один только раз они обернулись ко мне, именно когда Зверков заговорил о Шекспире, а я вдруг презрительно захохотал. Я так выделанно и гадко фыркнул, что они все разом прервали разговор и молча наблюдали минуты две, серьезно, не смеясь, как я хожу по стенке, от стола до печки, и как я *не обращаю на них никакого внимания.* Но ничего не вышло: они не заговорили и через две минуты опять меня бросили. Пробило одиннадцать.

— Господа, — закричал Зверков, подымаясь с дивана, — теперь все *туда*.

— Конечно, конечно! — заговорили другие.

Я круто поворотил к Зверкову. Я был до того измучен, до того изломан, что хоть зарезаться, а покончить! У меня была лихорадка; смоченные потом волосы присохли ко лбу и вискам.

— Зверков! я прошу у вас прощенья, — сказал я резко и решительно, — Ферфичкин, и у вас тоже, у всех, у всех, я обидел всех!

— Ага! дуэль-то не свой брат! — ядовито прошипел Ферфичкин.

Меня больно резнуло по сердцу.

— Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин! Я готов с вами же завтра драться, уже после примирения. Я даже настаиваю на этом, и вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю на воздух.

— Сам себя тешит, — заметил Симонов.

— Просто сбрендил! — отозвался Трудолюбов.

— Да позвольте пройти, что вы поперек дороги стали!.. Ну чего вам надобно? — презрительно отвечал Зверков. Все они были красные; глаза у всех блистали: много пили.

— Я прошу вашей дружбы, Зверков, я вас обидел, но…

— Обидели? В-вы! Ми-ня! Знайте, милостивый государь, что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не можете *меня* обидеть!

— И довольно с вас, прочь! — скрепил Трудолюбов. — Едем.

— Олимпия моя, господа, уговор! — крикнул Зверков.

— Не оспариваем! не оспариваем! — отвечали ему смеясь.

Я стоял оплеванный. Ватага шумно выходила из комнаты, Трудолюбов затянул какую-то глупую песню. Симонов остался на крошечную минутку, чтоб дать на чай слугам. Я вдруг подошел к нему:

— Симонов! дайте мне шесть рублей! — сказал я решительно и отчаянно.

Он поглядел на меня в чрезвычайном изумлении какими-то тупыми глазами. Он тоже был пьян.

— Да разве вы и *туда* с нами?

— Да!

— У меня денег нет! — отрезал он, презрительно усмехнулся и пошел из комнаты.

Я схватил его за шинель. Это был кошмар.

— Симонов! я видел у вас деньги, зачем вы мне отказываете? Разве я подлец? Берегитесь мне отказать: если б вы знали, если б вы знали, для чего я прошу! От этого зависит всё, всё мое будущее, все мои планы…

Симонов вынул деньги и чуть не бросил их мне.

— Возьмите, если вы так бессовестны! — безжалостно проговорил он и побежал догонять их.

Я остался на минуту один. Беспорядок, объедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, окурки папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска в сердце и, наконец, лакей, всё видевший и всё слышавший и любопытно заглядывавший мне в глаза.

— *Туда!* — вскрикнул я. — Или они все на коленах, обнимая ноги мои, будут вымаливать моей дружбы, или… или я дам Зверкову пощечину!

V

— Так вот оно, так вот оно наконец столкновенье-то с действительностью, — бормотал я, сбегая стремглав с лестницы. — Это, знать, уж не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию; это, знать, уж не бал на озере Комо!

«Подлец ты! — пронеслось в моей голове, — коли над этим теперь смеешься».

— Пусть! — крикнул я, отвечая себе. — Теперь ведь уж всё погибло!

Их уж и след простыл; но всё равно: я знал, куда они поехали.

У крыльца стоял одинокий ванька, ночник, в сермяге, весь запорошенный всё еще валившимся мокрым и как будто теплым снегом. Было парно и душно. Маленькая лохматая, пегая лошаденка его была тоже вся запорошена и кашляла; я это очень помню. Я бросился в лубошные санки; но только было я занес ногу, чтоб сесть, воспоминание о том, как Симонов сейчас давал мне шесть рублей, так и подкосило меня, и я, как мешок, повалился в санки.

— Нет! Надо много сделать, чтоб всё это выкупить! — прокричал я, — но я выкуплю или в эту же ночь погибну на месте. Пошел!

Мы тронулись. Целый вихрь кружился в моей голове.

«На коленах умолять о моей дружбе — они не станут. Это мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтический и фантастический; тот же бал на озере Комо. И потому я *должен* дать Зверкову пощечину! Я обязан дать. Итак, решено; я лечу теперь дать ему пощечину».

— Погоняй!

Ванька задергал вожжами.

«Как войду, так и дам. Надобно ли сказать перед пощечиной несколько слов в виде предисловия? Нет! Просто войду и дам. Они все будут сидеть в зале, а он на диване с Олимпией. Проклятая Олимпия! Она смеялась раз над моим лицом и отказалась от меня. Я оттаскаю Олимпию за волосы, а Зверкова за уши! Нет, лучше за одно ухо и за ухо проведу его по всей комнате. Они, может быть, все начнут меня бить и вытолкают. Это даже наверно. Пусть! Всё же я первый дал пощечину: моя инициатива; а по законам чести — это всё; он уже заклеймен и никакими побоями уж не смоет с себя пощечины, кроме как дуэлью. Он должен будет драться. Да и пусть они теперь бьют меня. Пусть, неблагодарные! Особенно будет бить Трудолюбов: он такой сильный; Ферфичкин прицепится сбоку и непременно за волосы, наверно. Но пусть, пусть! Я на то пошел. Их бараньи башки принуждены же будут раскусить наконец во всем этом трагическое! Когда они будут тащить меня к дверям, я закричу им, что, в сущности, они не стоят моего одного мизинца».

— Погоняй, извозчик, погоняй! — закричал я на ваньку.

Он даже вздрогнул и взмахнул кнутом. Очень уж дико я крикнул.

«На рассвете деремся, это уж решено. С департаментом кончено. Ферфичкин сказал давеча вместо департамента — лепартамент. Но где взять пистолетов? Вздор! Я возьму вперед жалованья и куплю. А пороху, а пуль? Это дело секунданта. И как успеть всё это к рассвету? И где я возьму секунданта? У меня нет знакомых…»

— Вздор! — крикнул я, взвихриваясь еще больше, — вздор!

«Первый встречный на улице, к которому я обращусь, обязан быть моим секундантом точно так же, как вытащить из воды утопающего. Самые эксцентрические случаи должны быть допущены. Да если б я самого даже директора завтра попросил в секунданты, то и тот должен бы был согласиться из одного рыцарского чувства и сохранить тайну! Антон Антоныч…»

Дело в том, что в ту же самую минуту мне яснее и ярче, чем кому

бы то ни было во всем мире, представлялась вся гнуснейшая нелепость моих предположений и весь оборот медали, но…

— Погоняй, извозчик, погоняй, шельмец, погоняй!

— Эх, барин! — проговорила земская сила.

Холод вдруг обдал меня.

«А не лучше ли… а не лучше ли… прямо теперь же домой? О боже мой! зачем, зачем вчера я вызвался на этот обед! Но нет, невозможно! А прогулка-то три часа от стола до печки? Нет, они, они, а не кто другой должны расплатиться со мною за эту прогулку! Они должны смыть это бесчестие!»

— Погоняй!

«А что, если они меня в часть отдадут? Не посмеют! Скандала побоятся. А что, если Зверков из презренья откажется от дуэли? Это даже наверно; но я докажу им тогда… Я брошусь тогда на почтовый двор, когда он будет завтра уезжать, схвачу его за ногу, сорву с него шинель, когда он будет в повозку влезать. Я зубами вцеплюсь ему в руку, я укушу его. „Смотрите все, до чего можно довести отчаянного человека!“ Пусть он бьет меня в голову, а все они сзади. Я всей публике закричу: „Смотрите, вот молодой щенок, который едет пленять черкешенок с моим плевком на лице!“

Разумеется, после этого всё уже кончено! Департамент исчез с лица земли. Меня схватят, меня будут судить, меня выгонят из службы, посадят в острог, пошлют в Сибирь, на поселение. Нужды нет! Через пятнадцать лет я потащусь за ним в рубище, нищим, когда меня выпустят из острога. Я отыщу его где-нибудь в губернском городе. Он будет женат и счастлив. У него будет взрослая дочь… Я скажу: „Смотри, изверг, смотри на мои ввалившиеся щеки и на мое рубище! Я потерял всё — карьеру, счастье, искусство, науку, *любимую женщину*, и всё из-за тебя. Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой пистолет и… и прощаю тебя“. Тут я выстрелю на воздух, и обо мне ни слуху ни духу…»

Я было даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что всё это из Сильвио и из «Маскарада» Лермонтова.* И вдруг мне стало ужасно стыдно, до того стыдно, что я остановил лошадь, вылез из саней и стал в снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрел на меня.

Что было делать? И туда было нельзя — выходил вздор; и оставить

дела нельзя, потому что уж тут выйдет… Господи! Как же это можно оставить! И после таких обид!

— Нет! — вскликнул я, снова кидаясь в сани, — это предназначено, это рок! погоняй, погоняй, туда!

И в нетерпении я ударил кулаком извозчика в шею.

— Да что ты, чего дерешься? — закричал мужичонка, стегая, однако ж, клячу, так что та начала лягаться задними ногами.

Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся, мне было не до него. Я забыл всё прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уж *непременно сейчас,* теперь случится, и *уж никакими силами остановить нельзя.* Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстух и там таял; я не закрывался: ведь уж и без того всё было потеряно! Наконец мы подъехали. Я выскочил почти без памяти, взбежал по ступенькам и начал стучать в дверь руками и ногами. Особенно ноги, в коленках, у меня ужасно слабели. Как-то скоро отворили; точно знали о моем приезде. (Действительно, Симонов предуведомил, что, может быть, еще будет один, а здесь надо было предуведомлять и вообще брать предосторожности. Это был один из тех тогдашних «модных магазинов», которые давно уже теперь истреблены полицией. Днем и в самом деле это был магазин; а по вечерам имеющим рекомендацию можно было приезжать в гости). Я прошел скорыми шагами через темную лавку в знакомый мне зал, где горела всего одна свечка, и остановился в недоумении: никого не было.

— Где же они? — спросил я кого-то.

Но они, разумеется, уже успели разойтись…

Передо мной стояла одна личность, с глупой улыбкой, сама хозяйка, отчасти меня знавшая. Через минуту отворилась дверь, и вошла другая личность.

Не обращая ни на что внимания, я шагал по комнате и, кажется, говорил сам с собой. Я был точно от смерти спасен и всем существом своим радостно это предчувствовал: ведь я бы дал пощечину, я бы непременно, непременно дал пощечину! Но теперь их нет и… всё исчезло, всё переменилось!.. Я оглядывался. Я еще не мог сообразить. Машинально я взглянул на вошедшую девушку: передо мной мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо, с прямыми темными бровями, с серьезным и как бы несколько удивленным взглядом. Мне

это тотчас же понравилось; я бы возненавидел ее, если б она улыбалась. Я стал вглядываться пристальнее и как бы с усилием: мысли еще не все собрались. Что-то простодушное и доброе было в этом лице, но как-то до странности серьезное. Я уверен, что она этим здесь проигрывала, и из тех дураков ее никто не заметил. Впрочем, она не могла назваться красавицей, хоть и была высокого роста, сильна, хорошо сложена. Одета чрезвычайно просто. Что-то гадкое укусило меня; я подошел прямо к ней…

Я случайно погляделся в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным: бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами. «Это пусть, этому я рад, — подумал я, — я именно рад, что покажусь ей отвратительным; мне это приятно…»

VI

…Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, — захрипели часы. После неестественно долгого хрипенья последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон, — точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытьи.

В комнате узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным платяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, — было почти совсем темно. Огарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма.

Я приходил в себя недолго; всё разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтоб опять накинуться. Да и в самом забытьи все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странно было: всё, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь, по пробуждении, уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжил из всего этого.

В голове был угар. Что-то как будто носилось надо мной и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытно и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодно-

безучастный, угрюмый, точно совсем чужой; тяжело от него было.

Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжение двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным; даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла, так что мне стало наконец отчего-то жутко.

— Как тебя зовут? — спросил я отрывисто, чтоб поскорей кончить.

— Лизой, — ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо и отвела глаза.

Я помолчал.

— Сегодня погода… снег… гадко! — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотря в потолок.

Она не отвечала. Безобразно всё это было.

— Ты здешняя? — спросил я через минуту, почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову.

— Нет.

— Откуда?

— Из Риги, — проговорила она нехотя.

— Немка?

— Русская.

— Давно здесь?

— Где?

— В доме.

— Две недели. — Она говорила всё отрывистее и отрывистее. Свечка совершенно потухла; я не мог уже различать ее лица.

— Отец и мать есть?

— Да… нет… есть.

— Где они?

— Там… в Риге.

— Кто они?

— Так…

— Как так? Кто, какого звания?

— Мещане.

— Ты всё с ними жила?

— Да.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать.

— Зачем же ты от них ушла?

— Так…

Это *так* означало: отвяжись, тошно. Мы замолчали.

Бог знает почему я не уходил. Мне самому становилось всё тошнее и тоскливее. Образы всего прошедшего дня как-то сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность.

— Сегодня гроб выносили и чуть не уронили, — вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора, а так, почти нечаянно.

— Гроб?

— Да, на Сенной; выносили из подвала.

— Из подвала?

— Не из подвала, а из подвального этажа… ну знаешь… там внизу… из дурного дома… Грязь такая была кругом… Скорлупа, сор… пахло… мерзко было.

Молчание.

— Скверно сегодня хоронить! — начал я опять, что бы только не молчать.

— Чем скверно?

— Снег, мокрять… (Я зевнул).

— Всё равно, — вдруг сказала она после некоторого молчания.

— Нет, гадко… (Я опять зевнул). Могильщики, верно, ругались, оттого что снег мочил. А в могиле, верно, была вода.

— Отчего в могиле вода? — спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать.

— Как же, вода, на дне, вершков на шесть. Тут ни одной могилы, на Волковом, сухой не выроешь.

— Отчего?

— Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я видел сам… много раз…

(Ни одного разу я не видал, да и на Волковом никогда не был, а только слышал, как рассказывали).

— Неужели тебе всё равно, умирать-то?

— Да зачем я помру? — отвечала она, как бы защищаясь.

— Когда-нибудь да умрешь же, и так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была… тоже девушка одна… В чахотке померла.

— Девка в больнице бы померла… (Она уж об этом знает, подумал я, — и сказала: девка, а не девушка).

— Она хозяйке должна была, — возразил я, всё более и более подзадориваясь спором, — и до самого почти конца ей служила, хоть и в чахотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие. Смеялись. Еще в кабаке ее помянуть собирались. (Я и тут много приврал).

Молчание, глубокое молчание. Она даже не шевелилась.

— А в больнице-то лучше, что ль, помирать?

— Не всё ль одно?.. Да с чего мне помирать? — прибавила она раздражительно.

— Не теперь, так потом?

— Ну и потом…

— Как бы не так! Ты вот теперь молода, хороша, свежа — тебя во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь.

— Через год?

— Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена, — продолжал я с злорадством. — Ты и перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом. Еще через год — в третий дом, всё ниже и ниже, а лет через семь и дойдешь на Сенной до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится *какая* болезнь, ну, там слабость груди… аль сама простудишься, али что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется. Вот и помрешь.

— Ну и помру, — ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась.

— Да ведь жалко.

— Кого?

— Жизни жалко.

Молчанье.

— У тебя был жених? а?

— Вам на что?

— Да я тебя не допытываю. Мне что. Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так, жаль.

— Кого?

— Тебя жаль.

— Нечего… — шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась.

Меня это тотчас же подозлило. Как! я так было кротко с ней, а она…

— Да ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а?

— Ничего я не думаю.

— То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша; могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть…

— Не все замужем-то счастливые, — отрезала она прежней грубой скороговоркой.

— Не все, конечно, — а все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше. А с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша, хорошо жить на свете, даже как бы ни жить. А здесь что, кроме… смрада. Фуй!

Я повернулся с омерзеньем; я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные *идейки*, в углу выжитые, жаждал изложить. Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель «явилась».

— Ты не смотри на меня, что я здесь, я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел, — поспешил я все-таки оправдать себя. — К тому ж мужчина женщине совсем не пример. Дело розное; я хоть и гажу себя и мараю, да зато ничей я не раб; был да пошел, и нет меня. Стряхнул с себя и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала — раба. Да, раба! Ты всё отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь, да уж нет: всё крепче и крепче тебя будут опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уж о другом я и не говорю, ты и не поймешь, пожалуй, а вот скажи-ка: ведь ты, наверно, уж хозяйке должна? Ну, вот видишь! — прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча, всем существом своим слушала; — вот тебе и

цепь! Уж никогда не откупишься. Так сделают. Всё равно что черту душу… …И к тому ж я… может быть, тоже такой же несчастный, почем ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя: ну, а я вот здесь — с горя. Ну скажи, ну что тут хорошего: вот мы с тобой… сошлись… давеча, и слова мы во всё время друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дикая, уж потом рассматривать стала; и я тебя также. Разве эдак любят? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что!

— Да! — резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого *да.* Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала? Значит, и она уже способна к некоторым мыслям?.. «Черт возьми, это любопытно, это — *сродни,* — думал я, — чуть не потирая себе руки. — Да и как с молодой такой душой не справиться?..»

Более всего меня игра увлекала.

Она повернула свою голову ближе ко мне и, показалось мне в темноте, подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыханье.

— Зачем ты сюда приехала? — начал я уже с некоторою властью.

— Так…

— А ведь как хорошо в отцовском-то бы доме жить! Тепло, привольно; гнездо свое.

— А коль того хуже?

«В тон надо попасть, — мелькнуло во мне, — сантиментальностью-то, пожалуй, не много возьмешь».

Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством.

— Кто говорит! — поспешил я ответить, — всё бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел и скорей перед тобой виноваты, чем ты перед *ними.* Я ведь ничего из твоей истории не знаю, но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадет…

— Какая такая я девушка? — прошептала она едва слышно; но я расслышал.

«Черт возьми, да я льщу. Это гадко. А может, и хорошо…» Она молчала.

— Видишь, Лиза, — я про себя скажу! Была бы у меня семья с

детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы ни было в семье худо — всё отец с матерью, а не враги, не чужие. Хоть в год раз любовь тебе выкажут. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос; оттого, верно, такой и вышел… бесчувственный.

Я выждал опять.

«Пожалуй, и не понимает, — думал я, — да и смешно — мораль».

— Если б я был отец и была б у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил, право, — начал я сбоку, точно не об том, чтоб развлечь ее. Признаюсь, я краснел.

— Это зачем? — спросила она.

А, стало быть, слушает!

— Так; не знаю, Лиза. Видишь: я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках простаивал, руки-ноги ее целовал, налюбоваться не мог, право. Она танцует на вечере, а он стоит пять часов на одном месте, с нее глаз не спускает. Помешался на ней; я это понимаю. Она ночью устанет — заснет, а он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам в сюртучишке засаленном ходит, для всех скупой, а ей из последнего покупает, подарки дарит богатые, и уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дома жить! А я бы, кажется, свою дочь и замуж не вы давал.

— Да как же? — спросила она, чуть-чуть усмехнувшись.

— Ревновал бы, ей-богу. Ну, как это другого она станет целовать? чужого больше отца любить? Тяжело это и вообразить. Конечно, всё это вздор; конечно, всякий под конец образумится. Но я б, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил: всех бы женихов перебраковал. А кончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семьях худа бывает.

— Другие-то продать рады дочь, не то что честью отдать, — проговорила она вдруг.

А! вон оно что!

— Это, Лиза, в тех семьях проклятых, где ни бога, ни любви не бывает, — с жаром подхватил я, — а где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие есть семьи, правда, да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видала добра, что так говоришь. Подлинно несчастная ты какая-нибудь. Гм… Больше по бедности всё это бывает.

— А у господ-то лучше, что ль? И по бедности честные люди хорошо живут.

— Гм… да. Может быть. Опять и то, Лиза: человек только свое горе любит считать, а счастья своего не считает. А счел бы как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну, а что, коли в семье всё удастся, бог благословит, муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя! хорошо в той семье! Даже иной раз и с горем пополам хорошо; да и где горя нет? Выйдешь, может, замуж, *сама узнаешь.* Зато взять хоть первое-то время замужем за тем, кого любишь: счастья-то, счастья-то сколько иной раз придет! да и сплошь да рядом. В первое-то время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право; я знал такую: «Так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй». Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить? Всё больше женщины. А сама про себя думает: «Зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить». И в доме все на вас радуются, и хорошо, и весело, и мирно, и честно… Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он куда, — я знал одну, — не стерпит, да в самую ночь и выскочит, да и бежит потихоньку смотреть: не там ли, не в том ли доме, не с той ли? Это уж худо. И сама знает, что худо, и сердце у ней замирает и казнится, да ведь любит; всё от любви. А как хорошо после ссоры помириться, самой перед ним повиниться али простить! И так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет, — точно вновь они встретились, вновь повенчались, вновь любовь у них началась. И никто-то, никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, — мать родную, и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь — тайна божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло. Святее от этого, лучше. Друг друга больше уважают, а на уважении много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить! Неужто нельзя ее поддержать? Редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну, а как муж человек добрый и честный удастся, так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет, правда, а там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся, все дела свои сообща положут; тайны друг от друга не будет. А дети пойдут, так тут каждое, хоть и самое трудное время счастьем покажется;

только бы любить да быть мужественным. Тут и работа весела, тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей, и то весело. Ведь они ж тебя будут за это потом любить; себе же, значит, копишь. Дети растут, — чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка; что и умрешь ты, они всю жизнь чувства и мысли твои будут носить на себе, так как от тебя получили, твой образ и подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись тесней отцу с матерью? Говорят вот, детей иметь тяжело? Кто это говорит? Это счастье небесное! Любишь ты маленьких детей, Лиза? я ужасно люблю. Знаешь — розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет, да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит! Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится; ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие, такие маленькие, что глядеть смешно, глазки, точно уж он всё понимает. А сосет — грудь тебе ручонкой теребит, играет. Отец подойдет, — оторвется от груди, перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется, — точно уж и бог знает как смешно, — и опять, опять сосать примется. А то возьмет, да и прикусит матери грудь, коль уж зубки прорезываются, а сам глазенками-то косит на нее: «Видишь, прикусил!» Да разве не всё тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок, вместе? За эти минуты много можно простить. Нет, Лиза, знать самому сначала нужно жить выучиться, а потом уж других обвинять!

«Картинками, вот этими-то картинками тебя надо! — подумал я про себя, хотя, ей-богу, с чувством говорил, и вдруг покраснел. — А ну если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу?» — Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало. Молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее.

— Чтой-то вы… — начала она вдруг и остановилась.

Но я уже всё понял: в ее голосе уже что-то другое дрожало, не резкое, не грубое и несдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое, до того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновато стало.

— Что? — спросил я с нежным любопытством.

— Да вы…

— Что?

— Что-то вы… точно как по книге, — сказала она, и что-то как

будто насмешливое вдруг опять послышалось в ее голосе.

Больно ущипнуло меня это замечанье. Я не того ожидал.

Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенная последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу и которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала, в несколько приемов, к своей насмешке, и наконец только решилась высказать, я бы должен был догадаться. Но я не догадался, и злое чувство обхватило меня.

«Постой же», — подумал я.

VII

— Э, полно, Лиза, какая уж тут книга, когда мне самому гадко вчуже. Да и не вчуже. У меня всё это теперь в душе проснулось… Неужели, неужели тебе самой не гадко здесь? Нет, видно, много значит привычка! Черт знает, что привычка может из человека сделать. Да неужели ж ты серьезно думаешь, что никогда не состареешься, вечно хороша будешь и что тебя здесь веки вечные держать будут? Я не говорю уж про то, что и здесь пакость… А впрочем, я вот что тебе про это скажу, про теперешнее-то твое житье: вот ты теперь хоть и молодая, пригожая, хорошая, с душой, с чувством; ну, а знаешь ли ты, что вот я, как только давеча очнулся, мне тотчас и гадко стало быть здесь с тобой! Только в пьяном виде ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте, живи, как добрые люди живут, так я, может быть, не то что волочился б за тобой, а просто влюбился б в тебя, рад бы взгляду был твоему, не то что слову; у ворот бы тебя подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал; как на невесту б свою на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Подумать про тебя что-нибудь нечистое не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только свистни, и ты, хочешь не хочешь, иди за мной, и уж не я с твоей волей спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работники — все-таки не всего себя закабалит, да и знает, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только: что ты здесь отдаешь? что кабалишь? Душу, душу, в которой ты невластна, кабалишь вместе с телом! Любовь свою на поругание

всякому пьянице отдаешь! Любовь! — да ведь это всё, да ведь это алмаз, девичье сокровище, любовь-то! Ведь чтоб заслужить эту любовь, иной готов душу положить, на смерть пойти. А во что твоя любовь теперь ценится? Ты вся куплена, вся целиком, и зачем уж тут любви добиваться, когда и без любви всё возможно. Да ведь обиды сильнее для девушки нет, понимаешь ли ты? Вот, слышал я, тешат вас, дур, — позволяют вам любовников здесь иметь. Да ведь это одно баловство, один обман, один смех над вами, а вы верите. Что он, в самом деле, что ли, любит тебя, любовник-то? Не верю. Как он будет любить, коли знает, что тебя от него сейчас кликнут. Пакостник он после этого! Уважает ли он тебя хоть на каплю? Что у тебя с ним общего? Смеется он над тобой да тебя же обкрадывает — вот и вся его любовь! Хорошо еще, что не бьет. А может, и бьет. Спроси-ка его, коли есть такой у тебя: женится ли он на тебе? Да он тебе в глаза расхохочется, если только не наплюет иль не прибьет, — а ему самому, может, всей-то цены — два сломанных гроша. И за что, подумаешь, ты здесь жизнь свою погубила? Что тебя кофеем поят да кормят сытно? Да ведь для чего кормят-то? У другой бы, честной, в горло такой кусок не пошел, потому что знает, для чего кормят. Ты здесь должна, ну и всё будешь должна и до конца концов должна будешь, до тех самых пор, что тобой гости брезгать начнут. А это скоро придет, не надейся на молодость. Тут ведь это всё на почтовых летит. Тебя и вытолкают. Да и не просто вытолкают, а задолго сначала придираться начнут, попрекать начнут, ругать начнут, — как будто не ты ей здоровье свое отдала, молодость и душу даром для нее загубила, а как будто ты-то ее и разорила, по миру пустила, обокрала. И не жди поддержки: другие подруги-то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться, потому что здесь все в рабстве, совесть и жалость давно потеряли. Исподлились, и уж гаже, подлее, обиднее этих ругательств и на земле не бывает. И всё-то ты здесь положишь, всё, без завета, — и здоровье, и молодость, и красоту, и надежды, и в двадцать два года будешь смотреть как тридцатипятилетняя, и хорошо еще, коль не больная, моли бога за это. Ведь ты теперь небось думаешь, что тебе и работы нет, гульба! Да тяжеле и каторжнее работы на свете нет и никогда не бывало. Одно сердце, кажется, всё бы слезами изошло. И ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда, пойдешь как виноватая. Перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще

куда-нибудь и доберешься наконец до Сенной. А там уж походя бить начнут; это любезность тамошняя; там гость и приласкать, не прибив, не умеет. Ты не веришь, что там так противно? Ступай, посмотри когда-нибудь, может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну, у дверей. Ее вытолкали в насмешку свои же проморозить маленько за то, что уж очень ревела, а дверь за ней притворили. В девять-то часов утра она уж была совсем пьяная, растрепанная, полунагая, вся избитая. Сама набелена, а глаза в черняках; из носа и из зубов кровь течет: извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лесенке, в руках у ней какая-то соленая рыба была; она ревела, что-то причитала про свою «учась», а рыбой колотила по лестничным ступеням. А у крыльца столпились извозчики да пьяные солдаты и дразнили ее. Ты не веришь, что и ты такая же будешь? И я бы не хотел верить, а почем ты знаешь, может быть, лет десять, восемь назад, эта же самая, с соленой-то рыбой, — приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херувимчик, невинная, чистенькая; зла не знала, на каждом слове краснела. Может быть, такая же, как ты, была, гордая, обидчивая, на других не похожая, королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ожидает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Видишь, чем кончилось? И что, если в ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой о грязные ступени, пьяная да растрепанная, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние, чистые годы в отцовском доме, когда еще она в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу свою ей положит, и когда они вместе положили любить друг друга навеки и обвенчаться, только что вырастут большие! Нет, Лиза, счастье, счастье тебе, если где-нибудь там, в углу, в подвале, как давешняя, в чахотке поскорее помрешь. В больницу, говоришь ты? Хорошо — свезут, а если ты еще хозяйке нужна? Чахотка такая болезнь; это не горячка. Тут до последней минуты человек надеется и говорит, что здоров. Сам себя тешит. А хозяйке-то и выгодно. Не беспокойся, это так; душу, значит, продала, а к тому же деньги должна, значит и пикнуть не смеешь. А умирать будешь, все тебя бросят, все отвернутся, — потому, что с тебя тогда взять? Еще тебя же попрекнут, что даром место занимаешь, не скоро помираешь. Пить не допросишься, с ругательством подадут: «Когда, дескать, ты, подлячка, издохнешь; спать мешаешь — стонешь, гости брезгают». Это

верно; я сам подслушал такие слова. Сунут тебя, издыхающую, в самый смрадный угол в подвале, — темень, сырость; что ты, лежа-то одна, тогда передумаешь? Помрешь, — соберут наскоро, чужой рукой, с ворчаньем, с нетерпением, — никто-то не благословит тебя, никто-то не вздохнет по тебе, только бы поскорей тебя с плеч долой. Купят колоду, вынесут, как сегодня ту, бедную, выносили, в *кабак* поминать пойдут. В могиле слякоть, мразь, снег мокрый, — не для тебя же церемониться? «Спущай-ка ее, Ванюха; ишь ведь „учась“ и тут верх ногами пошла, таковская. Укороти веревки-то, пострел». — «Ладно и так». — «Чего ладно? Ишь на боку лежит. Человек тоже был али нет? Ну да ладно, засыпай». И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорей мокрой синей глиной и уйдут в кабак… Тут и конец твоей памяти на земле; к другим дети на могилу ходят, отцы, мужья, а у тебя — ни слезы, ни вздоха, ни поминания, и никто-то, никто-то, никогда в целом мире не придет к тебе; имя твое исчезнет с лица земли — так, как бы совсем тебя никогда не бывало и не рождалось! Грязь да болото, хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают, в гробовую крышу: «Пустите, добрые люди, на свет пожить! Я жила — жизни не видала, моя жизнь на обтирку пошла; ее в кабаке на Сенной пропили; пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить!..»

Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась, и… вдруг я остановился, приподнялся в испуге и, наклонив боязливо голову, с бьющимся сердцем начал прислушиваться. Было от чего и смутиться.

Давно уже предчувствовал я, что перевернул всю ее душу и разбил ее сердце, и, чем больше я удостоверялся в том, тем больше желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цели. Игра, игра увлекла меня; впрочем, не одна игра…

Я знал, что говорю туго, выделанно, даже книжно, одним словом, я иначе и не умел, как «точно по книжке». Но это не смущало меня; я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут и что самая эта книжность может еще больше подспорить делу. Но теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния! Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Всё молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырывались наружу. Тогда еще

сильнее приникала она к подушке: ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь (я видел это потом) или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы. Я было начал что-то говорить ей, просить ее успокоиться, но почувствовал, что не смею, и вдруг сам, весь в каком-то ознобе, почти в ужасе, бросился ощупью, кое-как наскоро сбираться в дорогу. Было темно: как ни старался я, но не мог кончить скоро. Вдруг я ощупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочатой свечой. Только лишь свет озарил комнату, Лиза вдруг вскочила, села и с каким-то искривленным лицом, с полусумасшедшей улыбкой, почти бессмысленно посмотрела на меня. Я сел подле нее и взял ее руки; она опомнилась, бросилась ко мне, хотела было обхватить меня, но не посмела и тихо наклонила передо мной голову.

— Лиза, друг мой, я напрасно… ты прости меня, — начал было я, — но она сжала в своих пальцах мои руки с такою силою, что я догадался, что не то говорю, и перестал.

— Вот мой адрес, Лиза, приходи ко мне.

— Приду… — прошептала она решительно, всё еще не подымая своей головы.

— А теперь я уйду, прощай… до свидания.

Я встал, встала и она и вдруг вся закраснелась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросила себе на плечи до самого подбородка. Сделав это, она опять как-то болезненно улыбнулась, покраснела и странно поглядела на меня. Мне было больно; я спешил уйти, стушеваться.

— Подождите, — сказала она вдруг, уже в сенях у самых дверей, останавливая меня рукою за шинель, поставила впопыхах свечу и убежала, — видно, вспомнила про что-то или хотела мне принести показать. Убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели, на губах показалась улыбка, — что бы такое? Я поневоле дождался; она воротилась через минуту, со взглядом, как будто просившим прощения за что-то. Вообще это уже было не то лицо, не тот взгляд, как давеча, — угрюмый, недоверчивый и упорный. Взгляд теперь ее был просящий, мягкий, а вместе с тем доверчивый, ласковый, робкий. Так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого чего-нибудь просят. Глаза у ней были

светло-карие, прекрасные глаза, живые, умевшие отразить в себе и любовь, и угрюмую ненависть.

Не объясняя мне ничего, — как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать всё без объяснений, — она протянула мне бумажку. Всё лицо ее так и просияло в это мгновение самым наивным, почти детским торжеством. Я развернул. Это было письмо к ней от какого-то медицинского студента или в этом роде, — очень высокопарное, цветистое, но чрезвычайно почтительное объяснение в любви. Не припомню теперь выражений, но помню очень хорошо, что сквозь высокий слог проглядывало истинное чувство, которого не подделаешь. Когда я дочитал, то встретил горячий, любопытный и детски-нетерпеливый взгляд ее на себе. Она приковалась глазами к моему лицу и в нетерпении ждала — что я скажу? В нескольких словах, наскоро, но как-то радостно и как будто гордясь, она объяснила мне, что была где-то на танцевальном вечере, в семейном доме, у одних «очень, очень хороших людей, *семейных людей* и где *ничего еще не знают*, совсем ничего», — потому что она и здесь-то еще только внове и только так… а вовсе еще не решилась остаться и непременно уйдет, как только долг заплатит… «Ну и там был этот студент, весь вечер танцевал, говорил с ней, и оказалось, что он еще в Риге, еще ребенком был с ней знаком, вместе играли, только уж очень давно, — и родителей ее знает, но что *об этом* он ничего-ничего-ничего не знает и не подозревает! И вот на другой день после танцев (три дня назад) он и прислал через приятельницу, с которой она на вечер ездила, это письмо… и… ну вот и всё».

Она как-то стыдливо опустила свои сверкавшие глаза, когда кончила рассказывать.

Бедненькая, она хранила письмо этого студента как драгоценность и сбегала за этой единственной своей драгоценностью, не желая, чтоб я ушел, не узнав о том, что и ее любят честно и искренно, что и с ней говорят почтительно. Наверно, этому письму так и суждено было пролежать в шкатулке без последствий. Но всё равно; я уверен, что она всю жизнь его хранила бы как драгоценность, как гордость свою и свое оправдание, и вот теперь сама в такую минуту вспомнила и принесла это письмо, чтоб наивно погордиться передо мной, восстановить себя в моих глазах, чтоб и я видел, чтоб и я похвалил. Я ничего не сказал, пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось уйти… Я прошел всю дорогу

пешком, несмотря на то, что мокрый снег всё еще валил хлопьями. Я был измучен, раздавлен, в недоумении. Но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина!

VIII

Я, впрочем, не скоро согласился признать эту истину. Проснувшись наутро после нескольких часов глубокого, свинцового сна и тотчас же сообразив весь вчерашний день, я даже изумился моей вчерашней *сантиментальности* с Лизой, всем этим «вчерашним ужасам и жалостям». «Ведь нападет же такое бабье расстройство нервов, тьфу! — порешил я. — И на что это мой адрес всучил я ей? Что, если она придет? А впрочем, пожалуй, пусть и придет; ничего…» Но, *очевидно*, главное и самое важное дело теперь было не в этом: надо было спешить и во что бы ни стало скорее спасать мою репутацию в глазах Зверкова и Симонова. Вот в чем было главное дело. А про Лизу я даже совсем и забыл в это утро, захлопотавшись.

Прежде всего надо было немедленно отдать вчерашний долг Симонову. Я решился на отчаянное средство: занять целых пятнадцать рублей у Антона Антоновича. Как нарочно, он был в это утро в прекраснейшем расположении духа и тотчас же выдал, по первой просьбе. Я так этому обрадовался, что, подписывая расписку, с каким-то ухарским видом, *небрежно* сообщил ему, что вчера «покутили с приятелями в Hôtel de Paris; провожали товарища, даже, можно сказать, друга детства, и, знаете, — кутила он большой, избалован, — ну, разумеется, хорошей фамилии, значительное состояние, блестящая карьера, остроумен, мил, интригует с этими дамами, понимаете: выпили лишних „полдюжины“ и…» И ведь ничего; произносилось всё это очень легко, развязно и самодовольно.

Придя домой, я немедленно написал Симонову.

До сих пор любуюсь, вспоминая истинно джентльменский, добродушный, открытый тон моего письма. Ловко и благородно, а, главное, совершенно без лишних слов, я обвинил себя во всем. Оправдывался я, «если только позволительно мне еще оправдываться», тем, что, по совершенной непривычке к вину, опьянел с первой рюмки, которую (будто бы) выпил еще до них, когда поджидал их в Hôtel de

Paris с пяти до шести часов. Извинения просил я преимущественно у Симонова; его же просил передать мои объяснения и всем другим, особенно Зверкову, которого, «помнится мне, как сквозь сон», я, кажется, оскорбил. Я прибавлял, что и сам бы ко всем поехал, да голова болит, а пуще всего — совестно. Особенно доволен остался я этой «некоторой легкостью», даже чуть не небрежностию (впрочем, совершенно приличною), которая вдруг отразилась в моем пере и лучше всех возможных резонов, сразу, давала им понять, что я смотрю «на всю эту вчерашнюю гадость» довольно независимо; совсем-таки, вовсе-таки не убит наповал, как вы, господа, вероятно, думаете, а напротив, смотрю так, как следует смотреть на это спокойно уважающему себя джентльмену. Быль, дескать, молодцу не укор.

— Даже ведь какая-то игривость маркизская? — любовался я, перечитывая записку. — А всё оттого, что развитой и образованный человек! Другие бы на моем месте не знали, как и выпутаться, а я вот вывернулся и кучу себе вновь, и всё потому, что «образованный и развитой человек нашего времени». Да и впрямь, пожалуй, это всё от вина вчера произошло. Гм… ну нет, не от вина. Водки-то я вовсе не пил, от пяти-то до шести часов, когда их поджидал. Солгал Симонову; солгал бессовестно; да и теперь не совестно…

А впрочем, наплевать! Главное то, что отделался.

Я вложил в письмо шесть рублей, запечатал и упросил Аполлона снести к Симонову. Узнав, что в письме деньги, Аполлон стал почтительнее и согласился сходить. К вечеру я вышел пройтись. Голова у меня еще болела и кружилась со вчерашнего. Но чем более наступал вечер и чем гуще становились сумерки, тем более менялись и путались мои впечатления, а за ними и мысли. Что-то не умирало во мне внутри, в глубине сердца и совести, не хотело умереть и сказывалось жгучей тоской. Толкался я больше по самым людным, промышленным улицам, по Мещанским, по Садовой, у Юсупова сада. Особенно любил я всегда прохаживаться по этим улицам в сумерки, именно когда там густеет толпа всякого прохожего, промышленного и ремесленного люду, с озабоченными до злости лицами, расходящаяся по домам с дневных заработков. Нравилась мне именно эта грошовая суетня, эта наглая прозаичность. В этот раз вся эта уличная толкотня еще больше меня раздражала. Я никак не мог с собой справиться, концов найти. Что-то подымалось, подымалось в душе беспрерывно, с болью, и не хотело

угомониться. Совсем расстроенный я воротился домой. Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление.

Мучила меня постоянно мысль, что придет Лиза. Странно мне было то, что из всех этих вчерашних воспоминаний воспоминание о ней как-то особенно, как-то совсем отдельно меня мучило. Обо всем другом я к вечеру уже совсем успел забыть, рукой махнул и всё еще совершенно оставался доволен моим письмом к Симонову. Но тут я как-то уж не был доволен. Точно как будто я одной Лизой и мучился. «Что, если она придет? — думал я беспрерывно. — Ну что ж, ничего, пусть и придет. Гм. Скверно уж одно то, что она увидит, например, как я живу. Вчера я таким перед ней показался… героем… а теперь, гм! Это, впрочем, скверно, что я так опустился. Просто нищета в квартире. И я решился вчера ехать в таком платье обедать! А клеенчатый диван-то мой, из которого мочалка торчит! А халат-то мой, которым нельзя закрыться! Какие клочья… И она это всё увидит; и Аполлона увидит. Эта скотина, наверно, ее оскорбит. Он придерется к ней, чтоб мне сделать грубость. А я уж, разумеется, по обычаю, струшу, семенить перед ней начну, закрываться полами халата, улыбаться начну, лгать начну. У, скверность! Да и не в этом главная-то скверность! Тут есть что-то главнее, гаже, подлее! да, подлее! И опять, опять надевать эту бесчестную лживую маску!..»

Дойдя до этой мысли, я так и вспыхнул:

«Для чего бесчестную? Какую бесчестную? Я говорил вчера искренно. Я помню, во мне тоже было настоящее чувство. Я именно хотел вызвать в ней благородные чувства… если она поплакала, то это хорошо, это благотворно подействует…»

Но все-таки я никак не мог успокоиться.

Весь этот вечер, уже когда я и домой воротился, уже после девяти часов, когда, по расчету, никак не могла прийти Лиза, мне все-таки она мерещилась и, главное, вспоминалась всё в одном и том же положении. Именно один момент из всего вчерашнего мне особенно ярко представлялся: это когда я осветил спичкой комнату и увидал ее бледное, искривленное лицо, с мученическим взглядом. И какая жалкая, какая неестественная, какая искривленная улыбка у ней была в ту минуту! Но я еще не знал тогда, что и через пятнадцать лет я все-таки буду представлять себе Лизу именно с этой жалкой, искривленной, ненужной улыбкой, которая у ней была в ту минуту.

На другой день я уже опять готов был считать всё это вздором, развозившимися нервами, а главное — *преувеличением.* Я всегда сознавал эту мою слабую струнку и иногда очень боялся ее: «всё-то я преувеличиваю, тем и хромаю», — повторял я себе ежечасно. Но, впрочем, «впрочем, все-таки Лиза, пожалуй, придет» — вот припев, которым заключались все мои тогдашние рассуждения. До того я беспокоился, что приходил иногда в бешенство. «Придет! непременно придет! — восклицал я, бегая по комнате, — не сегодня, так завтра придет, а уж отыщет! И таков проклятый романтизм всех этих *чистых сердец!* О мерзость, о глупость, о ограниченность этих „поганых сантиментальных душ“! Ну, как не понять, как бы, кажется, не понять?..» — Но тут я сам останавливался и даже в большом смущении.

«И как мало, мало, — думал я мимоходом, — нужно было слов, как мало нужно было идиллии (да и идиллии-то еще напускной, книжной, сочиненной), чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность-то! То-то свежесть-то почвы!»

Иногда мне приходила мысль самому съездить к ней, «рассказать ей всё» и упросить ее не приходить ко мне. Но тут, при этой мысли, во мне подымалась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту «проклятую» Лизу, если б она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы!

Прошел, однако ж, день, другой, третий — она не приходила, и я начинал успокоиваться. Особенно ободрялся и разгуливался я после девяти часов, даже начинал иногда мечтать и довольно сладко: «Я, например, спасаю Лизу, именно тем, что она ко мне ходит, а я ей говорю… Я ее развиваю, образовываю. Я, наконец, замечаю, что она меня любит, страстно любит. Я прикидываюсь, что не понимаю (не знаю, впрочем, для чего прикидываюсь; так, для красы, вероятно). Наконец она, вся смущенная, прекрасная, дрожа и рыдая, бросается к ногам моим и говорит, что я ее спаситель и что она меня любит больше всего на свете. Я изумляюсь, но… „Лиза, — говорю я, — неужели ж ты думаешь, что я не заметил твоей любви? Я видел всё, я угадал, но я не смел посягать на твое сердце первый, потому что имел на тебя влияние и боялся, что ты, из благодарности, нарочно заставишь себя отвечать на любовь мою, сама насильно вызовешь в себе чувство, которого, может быть, нет, а я этого не хотел, потому что это… деспотизм… Это неделикатно (ну, одним словом, я тут зарапортовывался в какой-нибудь

такой европейской, жорж-зандовской, неизъяснимо благородной тонкости…). Но теперь, теперь — ты моя, ты мое созданье, ты чиста, прекрасна, ты — прекрасная жена моя.

И в дом мой смело и свободно

Хозяйкой полною войди![*]“

Затем мы начинаем жить-поживать, едем за границу и т. д., и т. д.». Одним словом, самому подло становилось, и я кончал тем, что дразнил себя языком.

«Да и не пустят ее, „мерзавку“! — думал я. — Их ведь, кажется, гулять-то не очень пускают, тем более вечером (мне почему-то непременно казалось, что она должна прийти вечером и именно в семь часов). А впрочем, она сказала, что еще не совсем там закабалилась, на особых правах состоит; значит, гм! Черт возьми, придет, непременно придет!»

Хорошо еще, что развлекал меня в это время Аполлон своими грубостями. Из терпенья последнего выводил! Это была язва моя, бич, посланный на меня провиденьем. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! Никого в жизни я еще, кажется, так не ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой, важный, занимавшийся отчасти портняжеством. Но неизвестно почему, он презирал меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока. Взглянуть только на эту белобрысую, гладко причесанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей[*],— и вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневавшееся в себе никогда. Это был педант в высочайшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле; и при этом с самолюбием, приличным разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждый свой ноготь — непременно влюблен, он тем смотрел! Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной, а если случалось ему на меня взглядывать, то смотрел твердым, величаво самоуверенным и постоянно насмешливым взглядом, приводившим меня иногда в бешенство. Исполнял он свою должность с таким видом, как будто делал мне высочайшую милость. Впрочем, он почти ровно ничего для меня не делал и даже вовсе не считал себя обязанным что-

нибудь делать. Сомнения быть не могло, что он считал меня за самого последнего дурака на всем свете, и если «держал меня при себе», то единственно потому только, что от меня можно было получать каждый месяц жалованье. Он соглашался «ничего не делать» у меня за семь рублей в месяц. Мне за него много простится грехов. Доходило иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть не в судороги от одной его походки. Но особенно гадко было мне его пришепетывание. У него был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде этого, оттого он постоянно шепелявил и сюсюкал и, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придает ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда, бывало, начнет читать у себя за перегородкой Псалтырь. Много битв вынес я из-за этого чтенья. Но он ужасно любил читать по вечерам, тихим, ровным голосом, нараспев, точно как по мертвом. Любопытно, что он тем и кончил: он теперь нанимается читать Псалтырь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу. Но тогда я не мог прогнать его, точно он был слит с существованием моим химически. К тому же он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что. Мне нельзя было жить в шамбр-гарни[*]: моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества, а Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим к этой квартире, и я целых семь лет не мог согнать его.

Задержать, например, его жалованье хоть два, хоть три дня было невозможно. Он бы такую завел историю, что я бы не знал, куда и деваться. Но в эти дни я до того был на всех озлоблен, что решился, почему-то и для чего-то, *наказать* Аполлона и не выдавать ему еще две недели жалованья. Я давно уж, года два, собирался это сделать — единственно чтоб доказать ему, что он не смеет так уж важничать надо мной и что если я захочу, то всегда могу не выдать ему жалованья. Я положил не говорить ему об этом и даже нарочно молчать, чтоб победить его гордость и заставить его самого, первого, заговорить о жалованье. Тогда я выну все семь рублей из ящика, покажу ему, что они у меня есть и нарочно отложены, но что я «не хочу, не хочу, просто не хочу выдать ему жалованье, не хочу, потому что *так хочу»,* потому что на это «моя воля господская», потому что он непочтителен, потому что он грубиян; но что если он попросит почтительно, то я, пожалуй,

смягчусь и дам; не то еще две недели прождет, три прождет, целый месяц прождет…

Но как я ни был зол, а все-таки он победил. Я и четырех дней не выдержал. Он начал с того, с чего всегда начинал в подобных случаях, потому что подобные случаи уже бывали, пробовались (и, замечу, я знал всё это заранее, я знал наизусть его подлую тактику), именно: он начинал с того, что устремит, бывало, на меня чрезвычайно строгий взгляд, не спускает его несколько минут сряду, особенно встречая меня или провожая из дому. Если, например, я выдерживал и делал вид, что не замечаю этих взглядов, он, по-прежнему молча, приступал к дальнейшим истязаниям. Вдруг, бывало, ни с того ни с сего, войдет тихо и плавно в мою комнату, когда я хожу или читаю, остановится у дверей, заложит одну руку за спину, отставит ногу и устремит на меня свой взгляд, уж не то что строгий, а совсем презрительный. Если я вдруг спрошу его, что ему надо? — он не ответит ничего, продолжает смотреть на меня в упор еще несколько секунд, потом, как-то особенно сжав губы, с многозначительным видом, медленно повернется на месте и медленно уйдет в свою комнату. Часа через два вдруг опять выйдет и опять так же передо мной появится. Случалось, что я, в бешенстве, уж и не спрашивал его: чего ему надо? а просто сам резко и повелительно подымал голову и тоже начинал смотреть на него в упор. Так смотрим мы, бывало, друг на друга минуты две; наконец он повернется, медленно и важно, и уйдет опять на два часа.

Если я и этим всё еще не вразумлялся и продолжал бунтоваться, то он вдруг начнет вздыхать, на меня глядя, вздыхать долго, глубоко, точно измеряя одним этим вздохом всю глубину моего нравственного падения, и, разумеется, кончалось наконец тем, что он одолевал вполне: я бесился, кричал, но то, об чем дело шло, все-таки принуждаем был исполнить.

В этот же раз едва только начались обыкновенные маневры «строгих взглядов», как я тотчас же вышел из себя и в бешенстве на него накинулся. Слишком уж я был и без того раздражен.

— Стой! — закричал я в исступлении, когда он медленно и молча повертывался, с одной рукой за спиной, чтоб уйти в свою комнату, — стой! воротись, воротись, говорю я тебе! — и, должно быть, я так неестественно рявкнул, что он повернулся и даже с некоторым удивлением стал меня разглядывать. Впрочем, продолжал не говорить

ни слова, а это-то меня и бесило.

— Как ты смеешь входить ко мне без спросу и так глядеть на меня? Отвечай!

Но посмотрев на меня спокойно с полминуты, он снова начал повертываться.

— Стой! — заревел я, подбегая к нему, — ни с места! Так. Отвечай теперь: чего ты входил смотреть?

— Если таперича вам есть что мне приказать, то мое дело исполнить, — отвечал он, опять-таки помолчав, тихо и размеренно сюсюкая, подняв брови и спокойно перегнув голову с одного плеча на другое, — и всё это с ужасающим спокойствием.

— Не об этом, не об этом я тебя спрашиваю, палач! — закричал я, трясясь от злобы. — Я скажу тебе, палач, сам, для чего ты приходишь сюда: ты видишь, что я не выдаю тебе жалованья, сам не хочешь, по гордости, поклониться — попросить, и для того приходишь с своими глупыми взглядами меня наказывать, мучить, и не подозр-р-реваешь ты, палач, как это глупо, глупо, глупо, глупо, глупо!

Он было молча опять стал повертываться, но я ухватил его.

— Слушай, — кричал я ему. — Вот деньги, видишь; вот они! (я вынул их из столика) все семь рублей, но ты их не получишь, не па-алучишь до тех самых пор, пока не придешь почтительно, с повинной головой, просить у меня прощения. Слышал!

— Быть того не может! — отвечал он с какою-то неестественною самоуверенностью.

— Будет! — кричал я, — даю тебе честное слово мое, будет!

— И не в чем мне у вас прощения просить, — продолжал он, как бы совсем не замечая моих криков, — потому вы же обозвали меня «палачом», на чем я с вас могу в квартале всегда за обиду просить.

— Иди! Проси! — заревел я, — иди сейчас, сию минуту, сию секунду! А ты все-таки палач! палач! палач! — Но он только посмотрел на меня, затем повернулся и, уже не слушая призывных криков моих, плавно пошел к себе, не оборачиваясь.

«Если б не Лиза, не было б ничего этого!» — решил я про себя. Затем, постояв с минуту, важно и торжественно, но с медленно и сильно бьющимся сердцем, я отправился сам к нему за ширмы.

— Аполлон! — сказал я тихо и с расстановкой, но задыхаясь, — сходи тотчас же и нимало не медля за квартальным надзирателем!

Он было уж уселся тем временем за своим столом, надел очки и взял что-то шить. Но, услышав мое приказание, вдруг фыркнул со смеху.

— Сейчас, сию минуту иди! — иди, или ты и не воображаешь, что будет!

— Подлинно вы не в своем уме, — заметил он, даже не подняв головы, так же медленно сюсюкая и продолжая вдевать нитку. — И где это видано, чтоб человек сам против себя за начальством ходил? А касательно страху, — напрасно только надсажаетесь, потому — ничего не будет.

— Иди! — визжал я, хватая его за плечо. Я чувство вал, что сейчас ударю его.

Но я и не слыхал, как в это мгновение вдруг дверь из сеней тихо и медленно отворилась и какая-то фигура вошла, остановилась и с недоумением начала нас разглядывать. Я взглянул, обмер со стыда и бросился в свою комнату. Там, схватив себя обеими руками за волосы, я прислонился головой к стене и замер в этом положении.

Минуты через две послышались медленные шаги Аполлона.

— Там *какая-то* вас спрашивает, — сказал он, особенно строго смотря на меня, потом посторонился и пропустил — Лизу. Он не хотел уходить и насмешливо нас рассматривал.

— Ступай! ступай! — командовал я ему потерявшись. В эту минуту мои часы принатужились, прошипели и пробили семь.

IX

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

Из той же поэзии

Я стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами моего лохматого, ватного халатишки, — ну точь-в-точь, как еще недавно, в упадке духа, представлял себе. Аполлон, постояв над нами минуты две, ушел, но мне было не легче. Хуже всего, что и она тоже вдруг сконфузилась, до того, что я даже и не ожидал. На

меня глядя, разумеется.

— Садись, — сказал я машинально и придвинул ей стул возле стола, сам же сел на диван. Она тотчас же и послушно уселась, смотря на меня во все глаза и, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта-то наивность ожидания и привела меня в бешенство, но я сдержал себя.

Тут-то бы и стараться ничего не замечать, как будто всё по-обыкновенному, а она… И я смутно почувствовал, что она дорого мне *за всё это* заплатит.

— Ты меня застала в странном положении, Лиза, — начал я, заикаясь и зная, что именно так-то и не надо начинать.

— Нет, нет, не думай чего-нибудь! — вскричал я, увидев, что она вдруг покраснела, — я не стыжусь моей бедности… Напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден, но благороден… Можно быть бедным и благородным, — бормотал я. — Впрочем… хочешь чаю?

— Нет… — начала было она.

— Подожди!

Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться.

— Аполлон, — зашептал я лихорадочной скороговоркой, бросая перед ним семь рублей, остававшиеся всё время в моем кулаке, — вот твое жалованье; видишь, я выдаю; но зато ты должен спасти меня: немедленно принеси из трактира чаю и десять сухарей. Если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека! Ты не знаешь, какая это женщина… Это — всё! Ты, может быть, что-нибудь думаешь… Но ты не знаешь, какая это женщина!..

Аполлон, уже усевшийся за работу и уже надевший опять очки, сначала, не покидая иглы, молча накосился на деньги; потом, не обращая на меня никакого внимания и не отвечая мне ничего, продолжал возиться с ниткой, которую всё еще вдевал. Я ждал минуты три, стоя перед ним, с сложенными à la Napoléon[71] руками. Виски мои были смочены потом; сам я был бледен, я чувствовал это. Но, слава богу, верно ему стало жалко, смотря на меня. Кончив с своей ниткой, он медленно привстал с места, медленно отодвинул стул, медленно снял очки, медленно пересчитал деньги и наконец, спросив меня через плечо: взять ли полную порцию? медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорогой: не убежать ли так, как есть, в халатишке, куда глаза глядят, а там будь что будет.

Я уселся опять. Она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы молчали.

— Я убью его! — вскричал я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила плеснули из чернильницы.

— Ах, что вы это! — вскричала она, вздрогнув.

— Я убью его, убью его! — визжал я, стуча по столу, совершенно в исступлении и совершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком исступлении.

— Ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня. Он мой палач… Он пошел теперь за сухарями; он…

И вдруг я разразился слезами. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между всхлипываний; но я уж их не мог удержать. Она испугалась.

— Что с вами! что это с вами! — вскрикивала она, суетясь около меня.

— Воды, подай мне воды, вон там! — бормотал я слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать слабым голосом. Но я, что называется, *представлялся*, чтоб спасти приличия, хотя припадок был и действительный.

Она подала мне воды, смотря на меня как потерянная. В эту минуту Аполлон внес чай. Мне вдруг показалось, что этот обыкновенный и прозаический чай ужасно неприличен и мизерен после всего, что было, и я покраснел. Лиза смотрела на Аполлона даже с испугом. Он вышел, не взглянув на нас.

— Лиза, ты презираешь меня? — сказал я, смотря на нее в упор, дрожа от нетерпения узнать, что она думает.

Она сконфузилась и не сумела ничего ответить.

— Пей чай! — проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце; так бы и убил ее, кажется. Чтоб отмстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во всё время ни одного слова. «Она же всему причиною», — думал я.

Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе; мы до него не дотрогивались: я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтоб этим отяготить ее еще больше; ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я

сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости, и в то же время никак не мог удержать себя.

— Я оттуда… хочу… совсем выйти, — начала было она, чтобы как-нибудь прервать молчанье, но, бедная! именно об этом-то и не надо было начинать говорить в такую и без того глупую минуту, такому, и без того глупому, как я, человеку. Даже мое сердце заныло от жалости на ее неумелость и ненужную прямоту. Но что-то безобразное подавило во мне тотчас же всю жалость; даже еще подзадорило меня еще более: пропадай всё на свете! Прошло еще пять минут.

— Не помешала ли я вам? — начала она робко, чуть слышно, и стала вставать.

Но как только я увидал эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же прорвался.

— Для чего ты ко мне пришла, скажи ты мне, пожалуйста? — начал я, задыхаясь и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне хотелось всё разом высказать, залпом; я даже не заботился, с чего начинать.

— Зачем ты пришла? Отвечай! Отвечай! — вскрикивал я, едва помня себя. — Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла. Ты пришла потому, что я тебе тогда *жалкие слова*[*] говорил. Ну вот ты и разнежилась и опять тебе «жалких слов» захотелось. Так знай же, знай, что я тогда смеялся над тобой. И теперь смеюсь. Чего ты дрожишь? Да, смеялся! Меня перед тем оскорбили, за обедом вот те, которые тогда передо мной приехали. Я приехал к вам с тем, чтоб исколотить одного из них, офицера; но не удалось, не застал; надо же было обиду на ком-нибудь выместить, свое взять, ты подвернулась, я над тобой и вылил зло и насмеялся. Меня унизили, так и я хотел унизить; меня в тряпку растерли, так и я власть захотел показать… Вот что было, а ты уж думала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? ты это думала? Ты это думала?

Я знал, что она, может быть, запутается и не поймет подробностей; но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так и случилось. Она побледнела, как платок, хотела что-то проговорить, губы ее болезненно искривились; но как будто ее топором подсекли, упала на стул. И всё время потом она слушала меня, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от ужасного страха. Цинизм, цинизм моих слов придавил ее…

— Спасать! — продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате, — от чего спасать! Да я, может, сам тебя хуже. Что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе рацеи-то читал: «А ты, мол, сам зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать?» Власти, власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твоей — вот чего надо мне было тогда! Я ведь и сам тогда не вынес, потому что я дрянь, перепугался и черт знает для чего дал тебе сдуру адрес. Так я потом, еще домой не дойдя, уж тебя ругал на чем свет стоит за этот адрес. Я уж ненавидел тебя, потому что я тебе тогда лгал. Потому что я только на словах поиграть, в голове помечтать, а на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ль ты это, или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй. Я вот дрожал эти три дня от страха, что ты придешь. А знаешь, что все эти три дня меня особенно беспокоило? А то, что вот я тогда героем таким перед тобой представился, а тут вот ты вдруг увидишь меня в этом рваном халатишке, нищего, гадкого. Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь своей бедности; так знай же, что стыжусь, больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно. Да неужели ж ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебе никогда не прощу того, что ты застала меня в этом халатишке, когда я бросался, как злая собачонка, на Аполлона. Воскреситель-то, бывший-то герой, бросается, как паршивая, лохматая шавка, на своего лакея, а тот смеется над ним! И слез давешних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу! И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже никогда *тебе* не прощу! Да, — ты, одна ты за всё это ответить должна, потому что ты так подвернулась, потому что я мерзавец, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочной, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков, которые вовсе не лучше меня, но которые, черт знает отчего, никогда не конфузятся; а вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать — и это моя черта! Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь! И какое, ну какое, какое дело мне до тебя и до

того, погибаешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике!.. Чего ж тебе еще? Чего ж ты еще, после всего этого, торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь?

Но тут случилось вдруг странное обстоятельство.

Я до того привык думать и воображать всё по книжке и представлять себе всё на свете так, как сам еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства. А случилось вот что: Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив.

Испуганное и оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением. Когда же я стал называть себя подлецом и мерзавцем и полились мои слезы (я проговорил всю эту тираду со слезами), всё лицо ее передернулось какой-то судорогой. Она хотела было встать, остановить меня; когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание: «Зачем ты здесь, зачем не уходишь!» — а на то, что мне, должно быть, очень тяжело самому было всё это выговорить. Да и забитая она была такая, бедная; она считала себя бесконечно ниже меня; где ж ей было озлиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве и, вся стремясь ко мне, но всё еще робея и не смея сойти с места, протянула ко мне руки… Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало…

— Мне не дают… Я не могу быть… добрым! — едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. Она припала ко мне, обняла меня и как бы замерла в этом объятии.

Но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти. И вот (я ведь омерзительную правду пишу), лежа ничком на диване, накрепко, и уткнув лицо в дрянную кожаную подушку мою, я начал помаленьку, издалека, невольно, но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть Лизе прямо в глаза. Чего мне было стыдно? — не знаю, но мне было стыдно.

Пришло мне тоже в взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мной в ту ночь, — четыре дня назад… И всё это ко мне пришло еще в те минуты, когда я лежал ничком на диване!

Боже мой! да неужели ж я тогда ей позавидовал?

Не знаю, до сих пор еще не могу решить, а тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем теперь. Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить… Но… но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а следственно, и рассуждать нечего.

Я, однако ж, преодолел себя и приподнял голову: надобно ж было когда-нибудь поднять… И вот, я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство… чувство господства и обладания. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул ее руки. Как я ненавидел ее и как меня влекло к ней в эту минуту! Одно чувство усиливало другое. Это походило чуть не на мщение!.. На лице ее изобразилось сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение. Она восторженно и горячо обняла меня.

X

Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном нетерпении по комнате, поминутно подходил к ширмам и в щелочку поглядывал на Лизу. Она сидела на полу, склонив на кровать голову, и, должно быть, плакала. Но она не уходила, а это-то и раздражало меня. В этот раз она уже всё знала. Я оскорбил ее окончательно, но… нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщением, новым ей унижением, и что к давешней моей, почти беспредметной ненависти прибавилась теперь уже *личная, завистливая* к ней ненависть… А впрочем, не утверждаю, чтоб она это всё поняла отчетливо; но зато она вполне поняла, что я человек мерзкий и, главное, не в состоянии любить ее.

Я знаю, мне скажут, что это невероятно, — невероятно быть таким злым, глупым, как я; пожалуй, еще прибавят, невероятно было не полюбить ее или по крайней мере не оценить этой любви. Отчего же

невероятно? Во-первых, я и полюбить уж не мог, потому что, повторяю, любить у меня — значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел растлить себя нравственно, до того от «живой жизни» отвык, что давеча вздумал попрекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне «жалкие слова» слушать; а и не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтоб жалкие слова слушать, а чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается всё воскресение, всё спасение от какой бы то ни было гибели и всё возрождение, да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате и в щелочку заглядывал за ширмы. Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтоб она исчезла. «Спокойствия» я желал, остаться один в подполье желал. «Живая жизнь»[*] с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно.

Но прошло еще несколько минут, а она всё еще не подымалась, как будто в забытьи была. Я имел бессовестность тихонько постучать в ширмы, чтоб напомнить ей… Она вдруг встрепенулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок, свою шляпку, шубу, точно спасаясь от меня куда-то… Через две минуты она медленно вышла из-за ширм и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся, впрочем, насильно, *для приличия*, и отворотился от ее взгляда.

— Прощайте, — проговорила она, направляясь к двери.

Я вдруг подбежал к ней, схватил ее руку, разжал ее, вложил… и потом опять зажал. Затем тотчас же отвернулся и отскочил поскорей в другой угол, чтоб не видеть по крайней мере…

Я хотел было сию минуту солгать — написать, что я сделал это нечаянно, не помня себя, потерявшись, сдуру. Но я не хочу лгать и потому говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее… со злости. Мне это пришло в голову сделать, когда я бегал взад и вперед по комнате, а она сидела за ширмами. Но вот что я наверно могу сказать: я

сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, *книжная*, что я сам не выдержал даже минуты, — сначала отскочил в угол, чтоб не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой. Я отворил дверь в сени и стал прислушиваться.

— Лиза! Лиза! — крикнул я на лестницу, но несмело, вполголоса…

Ответа не было, мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступеньках.

— Лиза! — крикнул я громче.

Нет ответа. Но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело, с визгом отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гул поднялся по лестнице.

Она ушла. Я воротился в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было.

Я остановился у стола возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. Прошло с минуту, вдруг я весь вздрогнул: прямо перед собой, на столе, я увидал… одним словом, я увидал смятую синюю пятирублевую бумажку, ту самую, которую минуту назад зажал в ее руке. Это была *та* бумажка; другой и быть не могло; другой и в доме не было. Она, стало быть, успела выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда я отскочил в другой угол.

Что ж? я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать? Нет. Я до того был эгоист, до того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я, как безумный, бросился одеваться, накинул на себя, что успел впопыхах, и стремглав выбежал за ней. Она и двухсот шагов еще не успела уйти, когда я выбежал на улицу.

Было тихо, валил снег и падал почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было прохожих, никакого звука не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я отбежал шагов двести до перекрестка и остановился.

«Куда пошла она? и зачем я бегу за ней? Зачем? Упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении! Я и хотел этого; вся грудь моя разрывалась на части, и никогда, никогда не вспомяну я равнодушно эту минуту. Но — зачем? — подумалось мне. — Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же, именно за то,

что сегодня целовал ее ноги? Разве дам я ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять, в сотый раз, цены себе? Разве я не замучу ее!»

Я стоял на снегу, всматриваясь в мутную мглу, и думал об этом.

«И не лучше ль, не лучше ль будет, — фантазировал я уже дома, после, заглушая фантазиями живую сердечную боль, — не лучше ль будет, если она навеки унесет теперь с собой оскорбление? Оскорбление, — да ведь это очищение; это самое едкое и больное сознание! Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда, и как бы ни была гадка грязь, которая ее ожидает, — оскорбление возвысит и очистит ее… ненавистью… гм… может, и прощением… А, впрочем, легче ль ей от всего этого будет?»

А в самом деле: вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос: что лучше — дешевое ли счастие или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше?

Так мне мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой от душевной боли. Никогда я не выносил еще столько страдания и раскаяния; но разве могло быть хоть какое-либо сомнение, когда я выбегал из квартиры, что я не возвращусь с полдороги домой? Никогда больше я не встречал Лизу и ничего не слыхал о ней. Прибавлю тоже, что я надолго остался доволен *фразой* о пользе от оскорбления и ненависти, несмотря на то, что сам чуть не заболел тогда от тоски.

Даже и теперь, через столько лет, всё это как-то слишком *нехорошо* мне припоминается. Многое мне теперь нехорошо припоминается, но… не кончить ли уж тут «Записки»? Мне кажется, я сделал ошибку, начав их писать. По крайней мере мне было стыдно, всё время как я писал эту *повесть:* стало быть, это уже не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье, — ей-богу, не интересно; в романе надо героя, а тут *нарочно* собраны все черты для антигероя, а главное, всё это произведет пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую «живую жизнь» чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы

про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну, попробуйте, ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы… да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь, закричите, ногами затопаете: «Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры в подполье, а не смейте говорить: *„все мы“»*. Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим *всемством*. Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще «живее» вас выхожу. Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется? Оставьте нас одних, без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеряемся, — не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться; что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать? Мы даже и человеками-то быть тяготимся, — человеками с настоящим, *собственным* телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам всё более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи. Но довольно; не хочу я больше писать «из Подполья»…

Впрочем, здесь еще не кончаются «записки» этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться.

Крокодил. Необыкновенное событие, или пассаж в пассаже

справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка, и что из этого вышло

Ohè Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert?[*] [72]

I

Сего тринадцатого января текущего шестьдесят пятого года, в половине первого пополудни, Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в Пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда (не столько по болезни, сколько из любознательности) за границу, — а следственно, уже считаясь по службе в отпуску и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. «Прекрасная идея, — сказал он вседовольно, — осмотрим крокодила! Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами», — и с сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в Пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом — в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро, — подлинно, что мы не знаем заранее судьбы своей! Войдя в Пассаж, он немедленно стал восхищаться великолепием здания, а подойдя к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней кроме крокодила заключаются еще попугаи из иностранной породы какаду и, сверх того, группа обезьян в особом шкафу в углублений. У самого же входа, у левой стены стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны, на крытый крепкою железною сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший, как бревно, совершен но без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства.

— Так это-то крокодил! — сказала Елена Ивановна голосом сожаления и нараспев, — а я думала, что он… какой-нибудь другой!

Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила с чрезвычайно гордым

видом смотрел на нас.

— Он прав, — шепнул мне Иван Матвеич, — ибо со знает, что он один во всей России показывает теперь крокодила.

Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеичем, в других случаях весьма завистливым.

— Мне кажется, ваш крокодил не живой, — проговорила опять Елена Ивановна, пикированная неподатливостью хозяина, и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, чтоб преклонить сего грубияна, — маневр, столь свойственный женщинам.

— О нет, мадам, — отвечал тот ломаным русским языком и тотчас же, приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову.

Тогда коварное чудовище, чтоб показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопенью

— Ну, не сердись, Карльхен! — ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии.

— Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась, еще кокетливее пролепетала Елена Ивановна, — теперь он мне будет сниться во сне.

— Но он вас не укусит во сне, мадам, — галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумию слов своих, но никто из нас не отвечал ему.

— Пойдемте, Семен Семеныч, — продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне, — посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян; из них такие душки… а крокодил ужасен.

— О, не бойся, друг мой, — прокричал нам вслед Иван Матвеич, приятно храбрясь перед своею супругою. — Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает, — и остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами.

Таким образом, всё шло прекрасно и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами и, казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, беспрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания

обращать на хозяина, и хохотала от замечаемого ею сходства сих мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я, ибо сходство было несомненное. Немец-собственник не знал, смеяться ему или нет, и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это-то самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте; но, замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро оборотился и — что же увидел я! Я увидел, — о боже! — я увидел несчастного Ивана Матвеича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем миг — и его не стало. Но опишу в подробности, потому что я всё время стоял неподвижно и успел разглядеть весь происходивший передо мной процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомню. «Ибо, — думал я в ту роковую минуту, — что, если б вместо Ивана Матвеича случилось всё это со мной, — какова была бы тогда мне неприятность!» Но к делу. Крокодил начал с того, что, повернув бедного Ивана Матвеича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги; потом, отрыгнув немного Ивана Матвеича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы. Потом, отрыгнув еще, глотнул еще и еще раз. Таким образом Иван Матвеич видимо исчезал в глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга и на этот раз уже без остатка. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходил по его внутренности Иван Матвеич со всеми своими формами. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба еще раз захотела вероломно подшутить над нами: крокодил понатужился, вероятно давясь от огромности проглоченного им предмета, снова раскрыл всю ужасную пасть свою, и из нее, в виде последней отрыжки, вдруг на одну секунду выскочила голова Ивана Матвеича, с отчаянным выражением в лице, причем очки его мгновенно свалились с его носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того только и выскочила, чтоб еще раз бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Но она не успела в своем намерении: крокодил вновь собрался с силами, глотнул — и вмиг она снова исчезла, в этот раз уже навеки. Это появление и исчезновение еще живой человеческой головы было так

ужасно, но вместе с тем — от быстроты ли и неожиданности действия или вследствие падения с носу очков — заключало в себе что-то до того смешное, что я вдруг и совсем неожиданно фыркнул; но, спохватившись, что смеяться в такую минуту мне в качестве домашнего друга неприлично, обратился тотчас же к Елене Ивановне и с симпатическим видом сказал ей:

— Теперь капут нашему Ивану Матвеичу!

Не могу даже и подумать выразить, до какой степени было сильно волнение Елены Ивановны в продолжение всего процесса. Сначала, после первого крика, она как бы замерла на месте и смотрела на представлявшуюся ей кутерьму, по-видимому, равнодушно, но с чрезвычайно выкатившимися глазами; потом вдруг залилась раздирающим воплем, но я схватил ее за руки. В это мгновение и хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо:

— О мой крокодиль, о мейн аллерлибстер Карльхен! Муттер*, муттер, муттер!

На этот крик отворилась задняя дверь и показалась муттер, в чепце, румяная, пожилая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу.

Тут-то начался содом: Елена Ивановна выкрикивала, как исступленная, одно только слово: «Вспороть! вспороть!» — и бросалась к хозяину и к муттер, по-видимому, упрашивая их — вероятно, в самозабвении — кого-то и за что-то вспороть. Хозяин же и муттер ни на кого из нас не обращали внимания: они оба выли, как телята, около ящика.

— Он пропадиль, он сейчас будет лопаль, потому что он проглатиль ганц чиновник! — кричал хозяин.

— Унзер Карльхен, унзер аллерлибстер Карльхен вирд штербен!* — выла хозяйка.

— Мы сиротт и без клеб! — подхватывал хозяин.

— Вспороть, вспороть, вспороть! — заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюртук немца.

— Он дразниль крокодиль, — зачем ваш муж дразниль крокодиль! — кричал, отбиваясь, немец, — вы заплатит, если Карльхен вирд лопаль, — дас вар мейн зон, дас вар мейн айнцигер зон!*

Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм

заезжего немца и сухость сердца в его растрепанной муттер; тем не менее беспрерывно повторяемые крики Елены Ивановны: «Вспороть, вспороть!» — еще более возбуждали мое беспокойство и увлекли наконец всё мое внимание, так что я даже испугался… Скажу заранее — странные сии восклицания были поняты мною совершенно превратно: мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но тем не менее, желая отметить за погибель любезного ей Ивана Матвеича, предлагала, в виде следуемого ей удовлетворения, наказать крокодила розгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться и, главное, не употреблять щекотливого слова «вспороть». Ибо такое ретроградное желание здесь, в самом сердце Пассажа и образованного общества, в двух шагах от той самой залы, где, может быть, в эту самую минуту господин Лавров читал публичную лекцию*, — не только было невозможно, но даже немыслимо и с минуты на минуту могло привлечь на нас свистки образованности и карикатуры г-на Степанова*. К ужасу моему, я немедленно оказался прав в пугливых подозрениях моих: вдруг раздвинулась занавесь, отделявшая крокодильную от входной каморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно нагибавшаяся верхнею частью тела вперед и весьма предусмотрительно старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодильной, чтоб сохранить за собой право не заплатить за вход.

— Такое ретроградное желание, сударыня, — сказал незнакомец, стараясь не перевалиться как-нибудь к нам и устоять за порогом, — не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах.* Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших…

Но он не докончил: опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за это не заплатившего, с яростию бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью, и тут только я наконец догадался, что вся кутерьма вышла из ничего; Елена Ивановна оказалась совершенно невинною: она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтоб ему только вспороли ножом брюхо и таким образом

освободили из его внутренности Ивана Матвеича.

— Как! ви хатит, чтоб мой крокодиль пропадиль! — завопил вбежавший опять хозяин, — нетт, пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодиль!.. Мейн фатер показаль крокодиль, мейн гросфатер показаль крокодиль, мейн зон будет показать крокодиль, и я будет показать крокодиль! Все будут показать крокодиль! Я ганц Европа известен, а ви неизвестен ганц Европа и мне платит штраф.

— Я, я! — подхватила злобная немка, — ми вас не пускайт, штраф, когда Карльхен лопаль!

— Да и бесполезно вспарывать, — спокойно прибавил я, желая отвлечь Елену Ивановну поскорее домой, — ибо наш милый Иван Матвеич, по всей вероятности, парит, теперь где-нибудь в эмпиреях.

— Друг мой, — раздался в эту минуту совершенно, неожиданно голос Ивана Матвеича, изумивший нас до крайности, — друг мой, мое мнение — действовать прямо через контору надзирателя, ибо немец без помощи полиции не поймет истины.

Эти слова, высказанные твердо, с весом и выражавшие присутствие духа необыкновенное, сначала до того изумили нас, что мы все отказались было верить ушам нашим. Но, разумеется, тотчас же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника. Голос его был заглушенный, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления. Похоже было на то, когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить оставшейся в другой комнате публике, как перекликаются два мужика в пустыне или будучи разделены между собою глубоким оврагом, — что я имел удовольствие слышать однажды у моих знакомых на святках.

— Иван Матвеич, друг мой, итак, ты жив! — лепетала Елена Ивановна.

— Жив и здоров, — отвечал Иван Матвеич, — и благодаря всевышнего проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство; ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и неостроумно…

— Но, друг мой, не заботься об остроумии; прежде всего надобно тебя отсюда как-нибудь выковырять, — прервала Елена Ивановна.

— Ковыряйт! — вскричал хозяин, — я не дам ковыряйт крокодиль.

Теперь публикум будет ошень больше ходиль, а я буду фуфциг[*] копеек просиль, и Карльхен перестанет лопаль.

— Гот зей данк![*] — подхватила хозяйка.

— Они правы, — спокойно заметил Иван Матвеич, — экономический принцип прежде всего.

— Друг мой, — закричал я, — сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить.

— И я то же думаю, — заметил Иван Матвеич, — но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром вспороть брюхо крокодилово, а между тем представляется неизбежный вопрос: что возьмет хозяин за своего крокодила? а с ним и другой: кто заплатит? ибо ты знаешь, я средств не имею…

— Разве в счет жалованья, — робко заметил я, но хозяин тотчас же меня прервал:

— Я не продавайт крокодиль, я три тысячи продавайт крокодиль, я четыре тысячи продавайт крокодиль! Теперь публикум будет много ходиль. Я пять тысяч продавайт крокодиль!

Одним словом, он куражился нестерпимо; корыстолюбие и гнусная алчность радостно сияли в глазах его.

— Еду! — закричал я в негодовании.

— И я! и я тоже! я поеду к самому Андрею Осипычу, я смягчу его моими слезами, — заныла Елена Ивановна.

— Не делай этого, друг мой, — поспешно прервал ее Иван Матвеич, ибо давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осипычу и знал, что она рада съездить поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли. — Да и тебе, мой друг, не советую, — продолжал он, обращаясь ко мне, — нечего ехать прямо с бухты-барахты; еще что из этого выйдет. А заезжай-ка ты лучше сегодня, так, в виде частного посещения, к Тимофею Семенычу. Человек он старомодный и недалекий, но солидный и, главное, — прямой. Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний ералаш семь рублей, то передай их ему при этом удобном случае: это смягчит сурового старика. Во всяком случае, его совет может послужить для нас руководством. А теперь уведи пока Елену Ивановну… Успокойся, друг мой, — продолжал он ей, — я устал от всех этих криков и бабьих дрязг и желаю немного соснуть. Здесь же тепло и мягко, хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном

для меня убежище…

— Осмотреться! Разве тебе там светло? — вскрикнула обрадованная Елена Ивановна.

— Меня окружает непробудная ночь, — отвечал бедный узник, — но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками… Прощай же, будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях. До завтра! Ты же, Семен Семеныч, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеян и можешь забыть, то завяжи узелок…

Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да отчасти и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодильной.

— Вечером за вход опять четвертак! — крикнул нам вслед хозяин.

— О боже, как они жадны! — проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенках Пассажа и, видимо, сознавая, что она похорошела.

— Экономический принцип, — отвечал я с легким волнением и гордясь моею дамою перед прохожими.

— Экономический принцип… — протянула она симпатическим голоском, — я ничего не поняла, что говорил сейчас Иван Матвеич об этом противном экономическом принципе.

— Я объясню вам, — отвечал я и немедленно начал рассказывать о благодетельных результатах привлечения иностранных капиталов в наше отечество, о чем прочел еще утром в «Петербургских известиях» и в «Волосе».*

— Как это всё странно! — прервала она, прослушав некоторое время, — да перестаньте же, противный; какой вы вздор говорите… Скажите, я очень красна?

— Вы прекрасны, а не красны! — заметил я, пользуясь случаем сказать комплимент.

— Шалун! — пролепетала она самодовольно. — Бедный Иван Матвеич, — прибавила она через минуту, кокетливо склонив на плечо головку, — мне, право, его жаль, ах боже мой! — вдруг вскрикнула она, — скажите, как же он будет сегодня там кушать и… и… как же он будет… если ему чего-нибудь будет надобно?

— Вопрос непредвиденный, — отвечал я, тоже озадаченный. Мне, по правде, это не приходило и в голову, до того женщины практичнее

нас, мужчин, при решении житейских задач!

— Бедняжка, как это он так втюрился… и никаких развлечений и темно… как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки… Итак, я теперь вроде вдовы, — прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуясь новым своим положением, — гм… все-таки мне его жаль!..

Одним словом, выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной жены о погибшем муже. Я привел ее наконец домой, успокоил и, пообедав вместе с нею, после чашки ароматного кофе, отправился в шесть часов к Тимофею Семенычу, рассчитывая, что в этот час все семейные люди определенных занятий сидят или лежат по домам.

Написав сию первую главу слогом, приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем и извещаю заранее читателя.

II

Почтенный Тимофей Семеныч встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь: «Чтобы дети не мешали», — проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул у письменного стола, сам сел в кресла, запахнул полы своего старого ватного халата и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид, хотя вовсе не был моим или Ивана Матвеича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым.

— Прежде всего, — начал он, — возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы, как и Иван Матвеич… Я сторона-с и ввязываться ни во что не намерен.

Я удивился, что, по-видимому, он уже всё это знает. Несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности.

— Представьте, — сказал он, выслушав, — я всегда полагал, что с ним непременно это случится.

— Почему же-с, Тимофей Семеныч, случай сам по себе весьма необыкновенный-с…

— Согласен. Но Иван Матвеич во всё течение службы своей именно клонил к такому результату. Прыток-с, заносчив даже. Всё «прогресс» да разные идеи-с, а вот куда прогресс-то приводит!

— Но ведь это случай самый необыкновенный, и общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить…

— Нет, уж это так-с. Это, видите ли, от излишней образованности происходит, поверьте мне-с. Ибо люди излишне образованные лезут во всякое место-с и преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. Впрочем, может, вы больше знаете, — прибавил он, как бы обижаясь. — Я человек не столь образованный и старый; с солдатских детей начал, и службе моей пятидесятилетний юбилей сего года пошел-с.

— О нет, Тимофей Семеныч, помилуйте. Напротив, Иван Матвеич жаждет вашего совета, руководства вашего жаждет. Даже, так сказать, со слезами-с.

— «Так сказать со слезами-с». Гм. Ну, это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Ну, зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет?

— На скопленное, Тимофей Семеныч, из последних наградных, — отвечал я жалобно. — Всего на три месяца хотел съездить, — в Швейцарию… на родину Вильгельма Телля.*

— Вильгельма Телля? Гм!

— В Неаполе встретить весну хотел-с. Осмотреть музей, нравы, животных…

— Гм! животных? А по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодиле…

— Тимофей Семеныч, помилуйте, человек в несчастье, человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику, совета жаждет, а вы — укоряете… Пожалейте хоть несчастную Елену Ивановну!

— Это вы про супругу-с? Интересная дамочка, — проговорил Тимофей Семеныч, видимо смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку. — Особа субтильная. И как полна, и головку всё так на бочок, на бочок… очень приятно-с. Андрей Осипыч еще третьего дня упоминал.

— Упоминал?

— Упоминал-с, и в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, прическа… Конфетка, говорит, а не дамочка, и тут же засмеялись. Молодые они еще люди. — Тимофей Семеныч с треском высморкался. — А между тем вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляют-с…

— Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семеныч.

— Конечно, конечно-с.

— Так как же, Тимофей Семеныч?

— Да что же я-то могу сделать?

— Посоветуйте-с, руководите, как опытный человек, как родственник! Что предпринять? Идти ли по начальству или…

— По начальству? Отнюдь нет-с, — торопливо произнес Тимофей Семеныч. — Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица. Случай подозрительный-с, да и небывалый. Главное, небывалый, примера не было-с, да и плохо рекомендующий… Поэтому осторожность прежде всего… Пусть уж

там себе полежит. Надо выждать, выждать…

— Да как же выждать, Тимофей Семеныч? Ну что, если он там задохнется?

— Да почему же-с? Ведь вы, кажется, говорили, что он Даже с довольным комфортом устроился?

Я рассказал всё опять. Тимофей Семеныч задумался.

— Гм! — проговорил он, вертя табакерку в руках, — по-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит, вместо заграницы-то-с. Пусть на досуге подумает; разумеется, задыхаться не надо, и потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья: ну, там, остерегаться кашля и прочего… А что касается немца, то, по моему личному мнению, он в своем праве, и даже более другой стороны, потому что в *его* крокодила влезли без спросу, а не *он* влез без спросу в крокодила Ивана Матвеичева, у которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила. Ну-с, а крокодил составляет собственность, стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя-с.

— Для спасения человечества, Тимофей Семеныч.

— Ну уж это дело полиции-с. Туда и следует отнестись.

— Да ведь Иван Матвеич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать-с.

— Иван-то Матвеич понадобиться? хе-хе! К тому же ведь он считается в отпуску, стало быть, мы можем и игнорировать, а он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится, ну тогда и спросим, справки наведем…

— Три-то месяца! Тимофей Семеныч, помилуйте!

— Сам виноват-с. Ну, кто его туда совал? Эдак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять-с, а этого и по штату не полагается. А главное — крокодил есть собственность, стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреича на вечере Игнатий Прокофьич говорил, Игнатия Прокофьича знаете? Капиталист, при делах-с, и знаете складно так говорит: «Нам нужна, говорит, промышленность, промышленности у нас мало. Надо ее родить. Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за

границей. Общинная собственность — яд, говорит, гибель! — И, знаете, с жаром так говорит; ну, им прилично: люди капитальные… да и не служащие. — С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки, и знаете — решительно так произносит: дрррробить, говорит, а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда, говорит, вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не помрет, ну и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон и английская политическая и литературная газета „Тайме“, разбирая наши финансы, отзывалась намедни, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет…» Хорошо говорит Игнатий Прокофьич. Оратор-с. Сам по начальству отзыв хочет подать и потом в «Известиях» напечатать. Это уж не стишки, подобно Ивану Матвеичу…

— Так как же Иван-то Матвеич? — ввернул я, дав поболтать старику. Тимофей Семеныч любил иногда поболтать и тем показать, что и он не отстал и всё это знает.

— Иван-то Матвеич как-с? Так ведь я к тому и клоню-с. Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество, а вот посудите: едва только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеича, а мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеич, как истинный сын отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил, а пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобно-с. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трех зараз привезет, а около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять-с.

— Помилуйте, Тимофей Семеныч! — вскричал я, — да вы требуете

почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеича!

— Ничего я не требую-с и прежде всего прошу вас — как уже и прежде просил — сообразить, что я не начальство и, стало быть, требовать ни от кого и ничего не могу. Как сын отечества говорю, то есть говорю не как «Сын отечества»[*], а просто как сын отечества говорю. Опять-таки кто ж велел ему влезть в крокодила? Человек солидный, человек известного чина, состоящий в законном браке, и вдруг — такой шаг! Сообразно ли это?

— Но ведь этот шаг случился нечаянно-с.

— А кто его знает? И притом из каких сумм заплатить крокодильщику, скажите-ка?

— Разве в счет жалованья, Тимофей Семеныч?

— Достанет ли-с?

— Недостанет, Тимофей Семеныч, — отвечал я с грустию. — Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом, как убедился, что всё благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить.

— Утроить, учетверить разве! Публика теперь прихлынет, а крокодильщики ловкий народ. К тому же и мясоед, склонность к увеселениям и потому, повторяю, прежде всего пусть Иван Матвеич наблюдает инкогнито, пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное — пусть выжидает, да и куда ему спешить?

— Ну, а если…

— Не беспокойтесь, сложения плотного-с…

— Ну, а потом, когда выйдет?

— Ну-с, не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя-с, и, главное, то вредит, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно бы как-нибудь руководствоваться. А то как тут решишь? Станешь соображать, а дело затянется.

Счастливая мысль блеснула у меня в голове.

— Нельзя ли устроить так-с, — сказал я, — что уж если суждено ему оставаться в недрах чудовища и, волею провидения, сохранится его

живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе?

— Гм… разве в виде отпуска и без жалованья…

— Нет-с, нельзя ли с жалованьем-с?

— На каком же основании? — В виде командировки…

— Какой и куда?

— Да в недра же, крокодиловы недра… Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении-с…

Тимофей Семеныч задумался.

— Командировать особого чиновника, — сказал он наконец, — в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, — нелепо-с. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения?

— Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте, в живье-с. Нынче всё пошли естественные науки-с, ботаника… Он бы там жил и сообщал-с… ну, там о пищеварении или просто о нравах. Для скопления фактов-с.

— То есть это по части статистики. Ну, в этом я не силен, да и не философ. Вы говорите: факты, — мы и без того завалены фактами и не знаем, что с ними делать. Притом же эта статистика опасна…

— Чем же-с?

— Опасна-с. И к тому ж, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить, лежа на боку? Это уж опять нововведение, и притом опасное-с; и опять-таки примера такого не было. Вот если б нам хоть какой-нибудь примерчик, так, по моему мнению, пожалуй, и можно бы командировать.

— Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор, Тимофей Семеныч.

— Гм, да… — он опять задумался. — Если хотите, это возражение ваше справедливо и даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие и потом, на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку… согласитесь сами — дурной пример-с. Ведь эдак, пожалуй, всякий туда полезет даром деньги-то брать.

— Порадейте, Тимофей Семеныч! Кстати-с: Иван Матвеич просил

передать вам карточный должок, семь рублей, в ералаш-с…

— Ах, это он проиграл намедни, у Никифор Никифорыча! Помню-с. И как он тогда был весел, смешил, и вот!..

Старик был искренно тронут.

— Порадейте, Тимофей Семеныч.

— Похлопочу-с. От своего лица поговорю, частным образом, в виде справки. А впрочем, разузнайте-ка так, неофициально, со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила?

Тимофей Семеныч видимо подобрел.

— Непременно-с, — отвечал я, — и тотчас же явлюсь к вам с отчетом.

— Супруга-то… одна теперь? Скучает?

— Вы бы навестили, Тимофей Семеныч.

— Навещу-с, я еще давеча подумал, да и случай удобный… И зачем, зачем это его дергало смотреть крокодила! А впрочем, я бы и сам желал посмотреть.

— Навестите-ка бедного, Тимофей Семеныч.

— Навещу-с. Конечно, я этим шагом моим не хочу обнадеживать. Я прибуду как частное лицо… Ну-с, до свиданья, я ведь опять к Никифор Никифорычу; будете?

— Нет-с, я к узнику.

— Да-с, вот теперь и к узнику!.. Э-эх, легкомыслие!

Я распростился с стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семеныч, а, выходя от него, я, однако, порадовался, что ему был уже пятидесятилетний юбилей и что Тимофеи Семенычи у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в Пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеичу. Да и любопытство разбирало меня: как он там устроился в крокодиле и как это можно жить в крокодиле? Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне, право, казалось, что всё это какой-то чудовищный сон, тем более что и дело-то шло о чудовище…

III

И, однако ж, это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе — стал ли бы я и рассказывать! Но продолжаю…

В Пассаж я попал уже поздно, около девяти часов, и в крокодильную принужден был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он расхаживал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам еще втрое довольнее, чем давеча утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что «публикум много ходиль». Муттер вышла уже потом, очевидно затем, чтобы следить за мной. Немец с муттер часто перешептывались. Несмотря на то, что магазин был уже заперт, он все-таки взял с меня четвертак. И что за ненужная аккуратность!

— Ви каждый раз будет платиль; публикум будут рубль платиль, а ви один четвертак, ибо ви добры друк вашего добры друк, а я почитаю друк…

— Жив ли, жив ли образованный друг мой! — громко вскричал я, подходя к крокодилу и надеясь, что слова мои еще издали достигнут Ивана Матвеича и польстят его самолюбию.

— Жив и здоров, — отвечал он, как будто издали или как бы из-под кровати, хотя я стоял подле него, — жив и здоров, но об этом после… Как дела?

Как бы нарочно не расслышав вопроса, я было начал с участием и поспешностию сам его расспрашивать: как он, что он и каково в крокодиле и что такое вообще внутри крокодила? Это требовалось и дружеством и обыкновенною вежливостию. Но он капризно и с досадой перебил меня.

— Как дела? — прокричал он, по обыкновению мною командуя, своим визгливым голосом, чрезвычайно на этот раз отвратительным.

Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семенычем до последней подробности. Рассказывая, я старался выказать несколько обиженный тон.

— Старик прав, — решил Иван Матвеич так же резко, как и по всегдашнему обыкновению своему в разговорах со мной. — Практических людей люблю и не терплю сладких мямлей. Готов,

однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки не совершенно нелепа. Действительно, многое могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении. Но теперь это всё принимает новый и неожиданный вид и не стоит хлопотать из одного только жалованья. Слушай внимательно. Ты сидишь?

— Нет, стою.

— Садись на что-нибудь, ну хоть на пол, и слушай внимательно.

Со злобою взял я стул и в сердцах, устанавливая, стукнул им об пол.

— Слушай, — начал он повелительно, — публики сегодня приходило целая бездна. К вечеру не хватило места, и для порядка явилась полиция. В восемь часов, то есть ранее обыкновенного, хозяин нашел даже нужным запереть магазин и прекратить представление, чтоб сосчитать привлеченные деньги и удобнее приготовиться к завтраму. Знаю, что завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебывают. Мало того: станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате — я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, — драгоценны, И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.

— Не наскучило бы? — заметил я ядовито.

Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения — до того заважничал. Тем не менее всё это меня сбило с толку. «С чего, с чего эта легкомысленная башка куражится! — скрежетал я шепотом про себя. — Тут надо плакать, а не куражиться».

— Нет! — отвечал он резко на мое замечание, — ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею — чего доселе не мог за

недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну всё и буду новый Фурье.* Кстати, отдал семь рублей Тимофею Семенычу?

— Из своих, — ответил я, стараясь выразить голосом, что заплатил из своих.

— Сочтемся, — ответил он высокомерно. — Прибавки оклада жду всенепременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная. Но к делу. Жена?

— Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне?

— Жена?! — закричал он даже с каким-то на этот раз визгом.

Нечего было делать! Смиренно, но опять-таки скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал.

— Имею на нее особые виды, — начал он нетерпеливо, — Если буду знаменит *здесь*, то хочу, чтоб она была знаменита *там*. Ученые, поэты, философы, заезжие минералоги, государственные мужи после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон. С будущей недели у нее должны начаться каждый вечер салоны. Удвоенный оклад будет давать средства к приему, а так как прием должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакеями, то и делу конец. И здесь и там будут говорить обо мне. Давно жаждал случая, чтоб все говорили обо мне, но не мог достигнуть, скованный малым значением и недостаточным чином. Теперь же всё это достигнуто каким-нибудь самым обыкновенным глотком крокодила. Каждое слово мое будет выслушиваться, каждое изречение обдумываться, передаваться, печататься. И я задам себя знать! Поймут наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. «Этот человек мог быть иностранным министром и управлять королевством», — скажут одни. «И этот человек не управлял иностранным королевством», — скажут другие. Ну чем, ну чем я хуже какого-нибудь Гарнье-Пажесишки* или как их там?.. Жена должна составлять мне пандан* — у меня ум, у нее красота и любезность. «Она прекрасна, потому и жена его», — скажут одни. «Она прекрасна, *потому что жена его»*, — поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского*, чтоб уметь говорить обо всех предметах. Чаще же всего пусть читает premier-политик* «С. — Петербургских известий», сверяя каждодневно с «Волосом». Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня, вместе с крокодилом, в блестящий салон жены моей.

Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты; с поэтом буду говорить в рифму; с дамами буду забавен и нравственно-мил, — так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным буду служить примером покорности судьбе и воле провидения. Жену сделаю блестящею литературною дамою; я ее выдвину вперед и объясню ее публике; как жена моя, она должна быть полна величайших достоинств, и если справедливо называют Андрея Александровича нашим русским Альфредом де Мюссе*, то еще справедливее будет, когда назовут ее нашей русской Евгенией Тур*.

Признаюсь, хотя вся эта дичь и походила несколько на всегдашнего Ивана Матвеича, но мне все-таки пришло в голову, что он теперь в горячке и бредит. Это был всё тот же обыкновенный и ежедневный Иван Матвеич, но наблюдаемый в стекло, в двадцать раз увеличивающее.

— Друг мой, — спросил я его, — надеешься ли ты на долговечность? И вообще скажи: здоров ли ты? Как ты ешь, как ты спишь, как ты дышишь? Я друг тебе, и согласись, что случай слишком сверхъестественный, а следовательно, любопытство мое слишком естественно.

— Праздное любопытство и больше ничего, — отвечал он сентенциозно, — но ты будешь удовлетворен. Спрашиваешь, как устроился я в недрах чудовища? Во-первых, крокодил, к удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка, сделанного из резинки, вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас в Гороховой, в Морской и, если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте. Иначе, сообрази, мог ли бы я в нем поместиться?

— Возможно ли? — вскричал я в понятном изумлении. — Неужели крокодил совершенно пустой?

— Совершенно, — строго и внушительно подтвердил Иван Матвеич. — И, по всей вероятности, он устроен так по законам самой природы. Крокодил обладает только пастью, снабженною острыми зубами, и вдобавок к пасти — значительно длинным хвостом — вот и всё, по-настоящему. В середине же между сими двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесенное чем-то вроде каучука, вероятнее же всего действительно каучуком.

— А ребра, а желудок, а кишки, а печень, а сердце? — прервал я даже со злобою.

— Н-ничего, совершенно ничего этого нет и, вероятно, никогда не бывало. Всё это — праздная фантазия легкомысленных путешественников. Подобно тому как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты, в качестве домашнего друга, мог бы поместиться со мной рядом, если б обладал великодушием, — и даже с тобой еще достало бы места. Я даже думаю в крайнем случае выписать сюда Елену Ивановну. Впрочем, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. Ибо, положим например, тебе дано устроить нового крокодила — тебе, естественно, представляется вопрос: какое основное свойство крокодилово? Ответ ясен: глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтоб он глотал людей? Ответ еще яснее: устроив его пустым. Давно уже решено физикой, что природа не терпит пустоты. Подобно сему и внутренность крокодилова должна именно быть пустою, чтоб не терпеть пустоты, а, следственно, беспрерывно глотать и наполняться всем, что только есть под рукою. И вот единственная разумная причина, почему все крокодилы глотают нашего брата. Не так в устройстве человеческом: чем пустее, например, голова человеческая, тем менее она ощущает жажды наполниться, и это единственное исключение из общего правила. Всё это мне теперь ясно, как день, всё это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мною, ибо самое название крокодил означает прожорливость. Крокодил, Crocodillo, — есть слово, очевидно, итальянское, современное, может быть, древним фараонам египетским и, очевидно, происходящее от французского корня: croquer, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу. Всё это я намерен прочесть в виде первой лекции публике, собравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда в ящике.

— Друг мой, не принять ли тебе теперь хоть слабительного! — вскричал я невольно. «У него жар, жар, он в жару!» — повторял я про себя в ужасе.

— Вздор! — отвечал он презрительно, — и к тому же в теперешнем положении моем это совсем неудобно. Впрочем, я отчасти знал, что ты

заговоришь о слабительном.

— Друг мой, а как… как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ты сегодня или нет?

— Нет, но сыт и, вероятнее всего, теперь уже никогда не буду употреблять пищи. И это тоже совершенно понятно: наполняя собою всю внутренность крокодилову, я делаю его навсегда сытым. Теперь его можно не кормить несколько лет. С другой стороны, — сытый мною, он естественно сообщит и мне все жизненные соки из своего тела; это вроде того, как некоторые утонченные кокетки обкладывают себя и все свои формы на ночь сырыми котлетами и потом, приняв утреннюю ванну, становятся свежими, упругими, сочными и обольстительными. Таким образом, питая собою крокодила, я, обратно, получаю и от него питание; следовательно — мы взаимно кормим друг друга. Но так как трудно, даже и крокодилу, переваривать такого человека, как я, то уж, разумеется, он должен при этом ощущать некоторую тяжесть в желудке, — которого, впрочем, у него нет, — и вот почему, чтоб не доставить излишней боли чудовищу, я редко ворочаюсь с боку на бок; и хотя бы и мог ворочаться, но не делаю сего из гуманности. Это единственный недостаток теперешнего моего положения, и в аллегорическом смысле Тимофей Семеныч справедлив, называя меня лежебокой. Но я докажу, что и лежа на боку, — мало того, — что только лежа на боку и можно перевернуть судьбу человечества. Все великие идеи и направления наших газет и журналов, очевидно, произведены лежебоками; вот почему и называют их идеями кабинетными, но наплевать, что так называют! Я изобрету теперь целую социальную систему, и — ты не поверишь — как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы, теперь изготовляю четвертую. Правда, сначала надо всё опровергнуть; но из крокодила так легко опровергать; мало того, из крокодила как будто всё это виднее становится… Впрочем, в моем положении существуют и еще недостатки, хотя и мелкие: внутри крокодила несколько сыро и как будто покрыто слизью да, сверх того, еще несколько пахнет резинкой, точь-в-точь как от моих прошлогодних калош. Вот и всё, более нет никаких недостатков.

— Иван Матвеич, — прервал я, — всё это чудеса, которым я едва

могу верить. И неужели, неужели ты всю жизнь не намерен обедать?

— О каком вздоре заботишься ты, беспечная, праздная голова! Я тебе о великих идеях рассказываю, а ты… Знай же, что я сыт уже одними великими идеями, озарившими ночь, меня окружившую. Впрочем, добродушный хозяин чудовища, сговорившись с добрейшею муттер, решили давеча промеж себя, что будут каждое утро просовывать в пасть крокодила изогнутую металлическую трубочку, вроде дудочки, через которую я бы мог втягивать в себя кофе или бульон с размоченным в нем белым хлебом. Дудочка уже заказана по соседству; но полагаю, что эта излишняя роскошь. Прожить же надеюсь по крайней мере тысячу лет, если справедливо, что по стольку лет живут крокодилы, о чем, благо напомнил, справься завтра же в какой-нибудь естественной истории и сообщи мне, ибо я мог ошибиться, смешав крокодила с каким-нибудь другим ископаемым. Одно только соображение несколько смущает меня: так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил, очевидно, меня не может переварить. Сверх того, я живой и потому сопротивляюсь переварению меня всею моею волею, ибо понятно, что не хочу обратиться в то, во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унизительно. Но боюсь одного: в тысячелетний срок сукно сюртука моего, к несчастью русского изделия, может истлеть, и тогда я, оставшись без одежды, несмотря на всё мое негодование, начну, пожалуй, и перевариваться; и хоть днем я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может постичь самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня в бешенство. Уже по одной этой причине надо бы изменить тариф и поощрять привоз сукон английских, которые крепче, а следственно, и дольше будут сопротивляться природе, в случае если попадешь в крокодила. При первом случае сообщу мысль мою кому-либо из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателям наших ежедневных петербургских газет. Пусть прокричат. Надеюсь, что не одно это они теперь от меня позаимствуют. Предвижу, что каждое утро целая толпа их, вооруженная редакционными четвертаками, будет тесниться кругом меня, чтоб уловить мои мысли насчет вчерашних телеграмм. Короче — будущность представляется мне в самом розовом свете.

«Горячка, горячка!» — шептал я про себя.

— Друг мой, а свобода? — проговорил я, желая вполне узнать его мнение. — Ведь ты, так сказать, в темнице, тогда как человек должен наслаждаться свободою.

— Ты глуп, — отвечал он. — Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок*, а нет порядка…

— Иван Матвеич, пощади и помилуй!

— Молчи и слушай! — взвизгнул он в досаде, что я перебил его. — Никогда не воспарял я духом так, как теперь. В моем тесном убежище одного боюсь — литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших. Боюсь, чтоб легкомысленные посетители, глупцы и завистники и вообще нигилисты не подняли меня на смех. Но я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов публики, а главное — мнения газет. О газетах сообщи завтра же.

— Хорошо, завтра же принесу сюда целый ворох газет.

— Завтра еще рано ждать газетных отзывов, ибо объявления печатаются только на четвертый день. Но отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употреблять тебя как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай телеграмм. Каждый день чтоб были здесь все европейские телеграммы. Но довольно; вероятно, ты теперь хочешь спать. Ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике: я не боюсь ее, ибо сама она находится в критическом положении. Стоит только быть мудрым и добродетельным, и непременно станешь на пьедестал. Если не Сократ, то Диоген, или то и другое вместе, и вот будущая роль моя в человечестве.

Так легкомысленно и навязчиво (правда, в горячке) торопился высказаться передо мной Иван Матвеич, подобно тем слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не могут удержать секрета. Да и всё то, что сообщил он мне о крокодиле, показалось мне весьма подозрительным. Ну как можно, чтоб крокодил был совершенно пустой? Бьюсь об заклад, что в этом он прихвастнул из тщеславия и отчасти, чтоб меня унизить. Правда, он был больной, а больному надо уважить; но, признаюсь откровенно, я всегда терпеть не мог Ивана Матвеича. Всю жизнь, начиная с самого детства, я желал и не мог избавиться от его опеки. Тысячу раз хотел было я с с ним совсем расплеваться, и каждый раз меня опять тянуло к нему, как будто я всё

еще надеялся ему что-то доказать и за что-то отметить. Странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы. На этот раз мы простились, однако же, с чувством.

— Ваш друк ошень умна шеловек, — сказал мне вполголоса немец, собираясь меня провожать; он всё время прилежно слушал наш разговор.

— A propos,[73] — сказал я, — чтоб не забыть, — сколько бы взяли вы за вашего крокодила, на случай если б вздумали у вас его покупать?

Иван Матвеич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа. Видимо было, что ему не хотелось, чтоб немец взял мало; по крайней мере он как-то особенно крякнул при моем вопросе.

Сначала немец и слушать не хотел, даже рассердился.

— Никто не смейт покупат мой собственный крокодиль! — вскричал он яростно и покраснел, как вареный рак. — Я не хатит продавайт крокодиль. Я миллион талер не стану браль за крокодиль. Я сто тридцать талер сегодня с публикум браль, а завтра десять тысяч талер собраль, а потом сто тысяч талер каждый день собираль. Не хочу продаваль!

Иван Матвеич даже захихикал от удовольствия.

Скрепя сердце, хладнокровно и рассудительно, — ибо исполнял обязанность истинного друга, — намекнул я сумасбродному немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по сту тысяч, то в четыре дня у него перебывает весь Петербург и потом уже не с кого будет собирать, что в животе и смерти волен бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеич заболеть и помереть и проч., и проч.

Немец задумался.

— Я будет ему капли из аптеки даваль, — сказал он, надумавшись, — и ваш друк не будет умираль.

— Капли каплями, — сказал я, — но возьмите и то, что может затеяться судебный процесс. Супруга Ивана Матвеича может потребовать своего законного супруга. Вы вот намерены богатеть, а намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне?

— Нет, не мереваль! — решительно и строго отвечал немец.

— Нетт, не мереваль! — подхватила, даже со злобою, муттер.

— Итак, не лучше ли вам взять что-нибудь теперь, разом, хоть и

умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присовокупить, что спрашиваю вас не из одного только праздного любопытства.

Немец взял муттер и удалился с нею для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяной.

— Вот увидишь! — сказал мне Иван Матвеич.

Что до меня касается, я в эту минуту сгорал желанием, во-первых, — избить больно немца, во-вторых, еще более избить муттер, а в-третьих, всех больше и больнее избить Ивана Матвеича за безграничность его самолюбия. Но всё это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца.

Насоветовавшись с своей муттер, он потребовал за своего крокодила пятьдесят тысяч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотереею, каменный дом в Гороховой и при нем собственную аптеку и, вдобавок, — чин русского полковника.

— Видишь! — торжествуя, прокричал Иван Матвеич, — я говорил тебе! Кроме последнего безумного желания производства в полковники, — он совершенно прав, ибо вполне понимает теперешнюю ценность показываемого им чудовища. Экономический принцип прежде всего!

— Помилуйте! — яростно закричал я немцу, — да за что же вам полковника-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славы добились? Ну, не безумец ли вы после этого?

— Безумны! — вскричал немец обидевшись, — нет, я ошень умна шеловек, а ви ошень глюп! Я заслужиль польковник, потому што показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат[*] сидиль, а русский не может показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль! Я чрезвышайно умны щеловек и ошень хочу быль польковник!

— Так прощай же, Иван Матвеич! — вскричал я, дрожа от бешенства, и почти бегом выбежал из крокодильной. Я чувствовал, что еще минута, и я уже не мог бы отвечать за себя. Неестественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил мое негодование. Наконец, энергически плюнув раз до пятнадцати в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь умирай там от скуки каждый

вечер, исполняя обязанность истинного друга! Я готов был прибить себя за это и действительно, уже потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя несколько раз кулаком по голове и по другим частям тела. Это несколько облегчило меня, и я наконец заснул даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны, но под самое утро приснилась Елена Ивановна…

IV

Обезьяны, как догадываюсь, приснились потому, что заключались в шкафу у крокодильщика, но Елена Ивановна составляла статью особенную.

Скажу заранее: я любил эту даму; но спешу — и спешу на курьерских — оговориться: я любил ее как отец, ни более, ни менее. Заключаю так потому, что много раз случалось со мною неудержимое желание поцеловать ее в головку или в румяненькую щечку. И хотя я никогда не приводил сего в исполнение, но каюсь — не отказался бы поцеловать ее даже и в губки. И не то что в губки, а в зубки, которые так прелестно всегда выставлялись, точно ряд хорошеньких, подобранных жемчужинок, когда она смеялась. Она же удивительно часто смеялась. Иван Матвеич называл ее, в ласкательных случаях, своей «милой нелепостью» — название в высшей степени справедливое и характеристичное. Это была дама-конфетка и более ничего. Посему совершенно не понимаю, зачем вздумалось теперь тому же самому Ивану Матвеичу воображать в своей супруге нашу русскую Евгению Тур? Во всяком случае, мой сон, если не брать в расчет обезьян, произвел на меня приятнейшее впечатление, и, перебирая в голове за утренней чашкой чаю все происшествия вчерашнего дня, я решил немедленно зайти к Елене Ивановне, по дороге на службу, что, впрочем, обязан был сделать и в качестве домашнего друга.

В крошечной комнатке, перед спальней, в так называемой у них маленькой гостиной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая, на маленьком нарядном диванчике, за маленьким чайным столиком, в какой-то полувоздушной утренней распашоночке сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. Была она обольстительно хороша, но показалась мне тоже и как будто задумчивою.

— Ах, это вы, шалун! — встретила она меня с рассеянной улыбкой, — садитесь, ветреник, пейте кофе. Ну что вы вчера делали? Были в маскараде?

— А разве вы были? Я ведь не езжу… к тому же посещал вчера нашего узника…

Я вздохнул и, принимая кофе, сделал благочестивую мину.

— Кого? Какого это узника? Ах, да! Бедняжка! Ну, что он — скучает? А знаете… я хотела вас спросить… Я ведь могу теперь просить развода?

— Развода! — вскричал я в негодовании и чуть не пролил кофе. «Это черномазенький!» — подумал я про себя с яростью.

Существовал некто черномазенький, с усиками, служивший по строительной части, который слишком уж часто похаживал к ним и чрезвычайно умел смешить Елену Ивановну. Признаюсь, я его ненавидел, и сомнения не было, что он уж успел вчера видеться с Еленой Ивановной или в маскараде, или, пожалуй, и здесь, и наговорил ей всякого вздору!

— Да что ж, — заторопилась вдруг Елена Ивановна, точно подученная, — что ж он там будет сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не придет, а я здесь его дожидайся! Муж должен дома жить, а не в крокодиле…

— Но ведь это непредвиденный случай, — начал было я в весьма понятном волнении.

— Ах, нет, не говорите, не хочу, не хочу! — закричала она, вдруг совсем рассердившись. — Вы вечно мне напротив, такой негодный! С вами ничего не сделаешь, ничего не посоветуете! Мне уж чужие говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвеич теперь уже не будет получать жалованья.

— Елена Ивановна! Вас ли я слышу? — закричал я патетически. — Какой злодей мог вам это натолковать! Да и развод по такой неосновательной причине, как жалование, совершенно невозможен. А бедный, бедный Иван Матвеич к вам, так сказать, весь пылает любовью, даже и в недрах чудовища. Мало того — тает от любви, как кусочек сахару. Еще вчера ввечеру, когда вы веселились в маскараде, он упоминал, что в крайнем случае, может быть, решится выписать вас в качестве законной супруги к себе, в недра, тем более что крокодил оказывается весьма поместительным не только для двух, но даже и для трех особ…

И тут я немедленно рассказал ей всю эту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеичем

— Как, как! — вскричала она в удивлении — Вы хотите, чтоб и я также полезла туда, к Ивану Матвеичу? Вот выдумки! Да и как я полезу, так в шляпке и в кринолине? Господи, какая глупость! Да и какую

фигуру я буду делать, когда буду туда лезть, а на меня еще кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть… Это смешно! И что я там буду кушать?.. и… и как я там буду, когда…, ах боже мой, что они выдумали!.. И какие там развлечения?.. Вы говорите, что там гуммиластиком пахнет? И как же я буду, если мы там с ним поссоримся, — все-таки рядом лежать? Фу, как это противно!

— Согласен, согласен со всеми этими доводами, милейшая Елена Ивановна, — прервал я, стремясь высказаться с тем понятным увлечением, которое всегда овладевает человеком, когда он чувствует, что правда на его стороне, — но вы не оценили одного во всем этом; вы не оценили того, что он, стало быть, без вас жить не может, коли зовет туда; значит, тут любовь, любовь страстная, верная, стремящаяся… Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна, любви!

— Не хочу, не хочу, и слышать ничего не хочу! — отмахивалась она своей маленькой, хорошенькой ручкой, на которой блистали только что вымытые и вычищенные щеткой розовые ноготки. — Противный! Вы доведете меня до слез. Полезайте сами, если это вам приятно. Ведь вы друг, ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы, и спорьте всю жизнь о каких-нибудь скучных науках…

— Напрасно вы так смеетесь над сим предположением, — с важностию остановил я легкомысленную женщину, — Иван Матвеич и без того меня звал туда. Конечно, вас привлекает туда долг, меня же только одно великодушие; но, рассказывая мне вчера о необыкновенной растяжимости крокодиловой, Иван Матвеич сделал весьма ясный намек, что не только вам обоим, но даже и мне в качестве домашнего друга можно бы поместиться с вами вместе, втроем, особенно если б я захотел того, а потому…

— Как так, втроем? — вскричала Елена Ивановна, с удивлением смотря на меня. — Так как же мы… так все трое и будем там вместе? Ха-ха-ха! Какие вы оба глупые! Ха-ха-ха! Я вас непременно буду там всё время щипать, негодный вы эдакой, ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

И она, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась до слезинок. Всё это — и слезы, и смех — было до того обольстительно, что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у ней ручки, чему она не противилась, хотя и выдрала меня легонько, в знак примирения, за уши.

Затем мы оба развеселились, и я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеича. Мысль о приемных вечерах и об

открытом салоне ей очень понравилась.

— Но только надо будет очень много новых платьев, — заметила она, — и потому надо, чтоб Иван Матвеич присылал как можно скорее и как можно больше жалованья… Только… только как же это, — прибавила она в раздумье, — как же это его будут приносить ко мне в ящике? Это очень смешно. Я не хочу, чтоб моего мужа носили в ящике. Мне будет очень стыдно пред гостями… Я не хочу, нет, не хочу.

— Кстати, чтоб не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семеныч?

— Ах, был; приехал утешать, и, вообразите, мы с ним всё в свои козыри играли. Он на конфеты, а коль я проиграю — он мне ручки целует. Такой негодный и, вообразите, чуть было в маскарад со мной не поехал. Право!

— Увлечение! — заметил я, — да и кто не увлечется вами, обольстительная!

— Ну уж вы, поехали с вашими комплиментами! Постойте, я вас ущипну на дорогу. Я ужасно хорошо выучилась теперь щипаться. Ну что, каково! Да, кстати, вы говорите, Иван Матвеич часто обо мне вчера говорил?

— Н-н-нет, не то чтобы очень… Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет…

— Ну и пусть его! По договаривайте! Верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Завтра непременно поеду. Только не сегодня; голова болит, а к тому же там будет так много публики… Скажут: это жена его, пристыдят… Прощайте. Вечером вы ведь… там?

— У него, у него. Велел приезжать и газет привезти. Ну вот и славно. И ступайте к нему и читайте. А ко мне сегодня не заезжайте. Я нездорова, а может, и в гости поеду. Ну прощайте, шалун.

«Это черномазенький у ней будет вечером», — подумал я про себя.

В канцелярии я, разумеется, не подал и виду, что меня пожирают такие заботы и хлопоты. Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили в это утро из рук в руки моих сослуживцев и прочитывались с чрезвычайно серьезными выражениями лиц. Первая попавшаяся мне была — «Листок», газетка без всякого особого направления[*], а так только вообще гуманная, за что ее преимущественно у нас презирали, хотя и прочитывали. Не без удивления прочел я в ней следующее:

«Вчера в нашей обширной и украшенной великолепными зданиями столице распространились чрезвычайные слухи. Некто N., известный гастроном из высшего общества, вероятно наскучив кухнею Бореля* и — ского клуба, вошел в здание Пассажа, в то место, где показывается огромный, только что привезенный в столицу крокодил, и потребовал, чтоб ему изготовили его на обед. Сторговавшись с хозяином, он тут же принялся пожирать его (то есть не хозяина, весьма смирного и склонного к аккуратности немца, а его крокодила) — еще живьем, отрезая сочные куски перочинным ножичком и глотая их с чрезвычайною поспешностью. Мало-помалу весь крокодил исчез в его тучных недрах, так что он собирался даже приняться за ихневмона*, постоянного спутника крокодилова, вероятно полагая, что и тот будет так же вкусен. Мы вовсе не против сего нового продукта, давно уже известного иностранным гастрономам. Мы даже предсказывали это наперед. Английские лорды и путешественники ловят в Египте крокодилов целыми партиями и употребляют хребет чудовища в виде бифштекса, с горчицей, луком и картофелем. Французы, наехавшие с Лессепсом*, предпочитают лапы, испеченные в горячей золе, что делают, впрочем, в пику англичанам, которые над ними смеются. Вероятно, у нас оценят то и другое. С своей стороны, мы рады новой отрасли промышленности, которой по преимуществу недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Вслед за сим первым крокодилом, исчезнувшим в недрах петербургского гастронома, вероятно, не пройдет и года, как навезут их к нам сотнями. И почему бы не акклиматизировать крокодила у нас в России? Если невская вода слишком холодна для сих интересных чужестранцев, то в столице имеются пруды, а за городом речки и озера. Почему бы, например, не развести крокодилов в Парголове или в Павловске, в Москве же в Пресненских прудах и в Самотеке? Доставляя приятную и здоровую пищу нашим утонченным гастрономам, они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и поучать собою детей естественной истории. Из крокодиловой кожи можно бы было приготовлять футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники, и, может быть, не одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами, улеглась бы в крокодиловой коже. Надеемся еще не раз возвратиться к этому интересному предмету».

Я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде, тем не менее опрометчивость известия смутила меня. Не находя, с кем поделиться впечатлениями, я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Саввичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал «Волос», как бы готовясь мне передать его. Молча принял он от меня «Листок» и, передавая мне «Волос», крепко отчеркнул ногтем статью, на которую, вероятно, хотел обратить мое внимание. Этот Прохор Саввич был у нас престранный человек: молчаливый старый холостяк, он ни с кем из нас не вступал ни в какие сношения, почти ни с кем не говорил в канцелярии, всегда и обо всем имел свое собственное мнение, но терпеть не мог кому-нибудь сообщать его. Жил он одиноко. В квартире его почти никто из нас не был.

Вот что я прочел в показанном месте «Волоса»: «Всем известно, что мы прогрессивны и гуманны и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не „созрели“, как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в Пассаже и о котором мы заранее предсказывали. Приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в Пассаже публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, которой вообще недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг вчера, в половине пятого пополудни, в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде, платит за вход и тотчас же, безо всякого предуведомления, лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принужден был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтоб не подавиться. Ввалившись во внутренность крокодила, незнакомец тотчас же засыпает. Ни крики иностранца-собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угрозы обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления Из внутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами (sic[74]), а бедное млекопитающее, принужденное проглотить такую массу, тщетно проливает слезы. Незваный гость хуже татарина, но, несмотря на пословицу, нахальный посетитель выходить не хочет. Не знаем, как и объяснить подобные варварские факты, свидетельствующие о нашей незрелости и марающие нас в глазах иностранцев. Размашистость русской натуры нашла себе достойное

применение. Спрашивается, чего хотелось непрошенному посетителю? Теплого и комфортного помещения? Но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартирами, с проведенной невской водой и с освещенной газом лестницей, при которой заводится нередко от хозяев швейцар. Обращаем еще внимание наших читателей и на самое варварство обращения с домашними животными: заезжему крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом, и теперь он лежит, раздутый горой, и в нестерпимых страданиях ожидает смерти В Европе давно уже преследуют судом обращающихся негуманно с домашними животными. Но, несмотря на европейское освещение, на европейские тротуары, на европейскую постройку домов, нам еще долго не отстать от заветных наших предрассудков.

Дома новы, но предрассудки стары[*] —

и даже и дома-то не новы, по крайней мере лестницы Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на Петербургской стороне, в доме купца Лукьянова, забежные ступеньки деревянной лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в услужении солдатки Афимьи Скапидаровой, принужденной часто всходить на лестницу с водою или с охапкою дров. Наконец предсказания наши оправдались: вчера вечером в половине девятого пополудни, солдатка Афимья Скапидарова провалилась с суповой чашкой и сломала-таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу; русский человек задним умом крепок, но жертва русского авось уже свезена в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать, что дворники, счищающие на Выборгской с деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в кучки, подобно тому как в Европе при очищении сапогов… и т. д., и т. д.»

— Что же это, — сказал я, смотря в некотором недоумении на Прохора Саввича, — что же это такое?

— А что-с?

— Да помилуйте, чем бы об Иване Матвеиче пожалеть, жалеют о крокодиле.

— А что же-с? Зверя даже, *млекопитающего*, и того пожалели. Чем же не Европа-с? Там тоже крокодилов очень жалеют. Хи-хи-хи!

Сказав это, чудак Прохор Саввич уткнулся в свои бумаги и уже не

промолвил более ни слова.

«Волос» и «Листок» я спрятал в карман да, кроме того, набрал для вечернего развлечения Ивану Матвеичу старых «Известий» и «Волосов» сколько мог найти, и хотя до вечера было еще далеко, но на этот раз я пораньше улизнул из канцелярии, чтоб побывать в Пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, подслушать разные мнения и направления. Предчувствовал я, что там целая давка, и на всякий случай поплотнее завернул лицо в воротник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно — до того мы не привыкли к публичности. Но чувствую, что я не вправе передавать собственные, прозаические мои ощущения ввиду такого замечательного и оригинального события.

Игрок

роман

(Из записок молодого человека)

Глава I

Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и бог знает как ждут меня, однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марья Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мною слегка; деньги, однако ж, приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезенцова, французика и еще какого-то англичанина: как водится, деньги есть, так тотчас и званый обед, по-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что я так долго? и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однако ж, надо объясниться. Много накопилось.

Мне отвели маленькую комнатку, в четвертом этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу *к свите генерала.* По всему видно, что они успели-таки дать себя знать. Генерала считают здесь все богатейшим русским вельможей. Еще до обеда он успел, между другими поручениями, дать мне два тысячефранковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь на нас будут смотреть, как на миллионеров, по крайней мере целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу; ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза; он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным, то есть непочтительным взглядом, что он как будто конфузится. В весьма напыщенной речи, насаживая одну фразу на другую и наконец совсем запутавшись, он дал мне понять, чтоб я гулял с детьми где-нибудь, подальше от воксала, в парке. Наконец он рассердился совсем и круто прибавил:

— А то вы, пожалуй, их в воксал, на рулетку, поведете. Вы меня извините, — прибавил он, — но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но по крайней мере имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не

окомпрометировали…

— Да ведь у меня и денег нет, — отвечал я спокойно; — чтобы проиграться, нужно их иметь.

— Вы их немедленно получите, — ответил генерал, покраснев немного, порылся у себя в бюро, справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около ста двадцати рублей.

— Как же мы сосчитаемся, — заговорил он, — надо переводить на талеры. Да вот возьмите сто талеров, круглым счетом, — остальное, конечно, не пропадет.

Я молча взял деньги.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами, вы так обидчивы… Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег и уж, конечно, имею на то некоторое право…

Возвращаясь пред обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. Две превосходные коляски, великолепные лошади! Mademoiselle Blanche в одной коляске с Марьей Филипповной и Полиной; французик, англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели; эффект был произведен; только генералу несдобровать. Я рассчитал, что с четырьмя тысячами франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть семь или восемь тысяч франков; этого слишком мало для mademoiselle Blanche.

Mademoiselle Blanche стоит тоже в нашем отеле, вместе с матерью; где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его «monsieur le comte»,[75] мать mademoiselle Blanche называется «madame la comtesse»;[76] что ж, может быть, и в самом деле они comte et comtesse.

Я так и знал, что monsieur le comte меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, и не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать; а monsieur le comte сам бывал в России и знает, как невелика птица — то, что они называют *outchitel.* Он, впрочем, меня очень хорошо знает. Но, признаться, я и к обеду-то явился непрошеным; кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверно, послал меня обедать за table d'hôt'ом.[77] Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. Добрая Марья Филипповна тотчас же указала мне место; но встреча с мистером Астлеем меня выручила, и я поневоле оказался принадлежащим к их

обществу.

Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших; потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец — в Швейцарии; в течение этих двух недель — два раза, и вот теперь я вдруг встретил его уже в Рулетенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого; он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Норд-Капе и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом; мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом, и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом.

За столом французик тонировал[*] необыкновенно; он со всеми небрежен и важен. А в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно, единственно настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности.

Я был в странном настроении духа; разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос: зачем я валандаюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них? Изредка я взглядывал на Полину Александровну; она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить.

Началось тем, что я вдруг, ни с того ни с сего, громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне, главное, хотелось поругаться с французиком. Я оборотился к генералу и вдруг совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд.

— Если вы человек себя уважающий, — пустился я далее, — то непременно напроситесь на ругательства и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии, за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слова, если вы только русский.

Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в

недоумении, не зная, рассердиться ли ему или только удивиться, что я так забылся.

— Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил, — сказал французик небрежно и презрительно.

— Я в Париже сначала поругался с одним поляком, — ответил я, — потом с одним французским офицером, который поляка поддерживал. А затем уж часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсиньора*.

— Плюнуть? — спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь. Французик оглядывал меня недоверчиво.

— Точно так-с, — отвечал я. — Так как я целых два дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства святейшего отца в Париже*, чтоб визировать паспорт. Там меня встретил аббатик, лет пятидесяти, сухой и с морозом в физиономии, и, выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать, вынул «Opinion nationale»*[78] и стал читать страшнейшее ругательство против России. Между тем я слышал, как чрез соседнюю комнату кто-то прошел к монсиньору; я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежнею просьбою; он еще суше попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел кто-то еще незнакомый, но за делом, — какой-то австриец, его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно; я встал, подошел к аббату и сказал ему решительно, что так как монсиньор принимает, то может кончить и со мною. Вдруг аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсиньора? Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и вскричал: «Так неужели ж вы думаете, что монсиньор бросит для вас свой кофе?» Тогда и я закричал, но еще сильнее его: «Так знайте ж, что мне наплевать на кофе вашего монсиньора! Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому».

«Как! в то же время, когда у него сидит кардинал!» — закричал аббатик, с ужасом от меня отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрет, чем меня пропустит.

Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, «que je suis hérétique et

barbare», и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсиньоры и проч., и проч. — всё равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечною злобою, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Чрез минуту он был уже визирован. Вот-с, не угодно ли посмотреть? — Я вынул паспорт и показал римскую визу.

— Вы это, однако же, — начал было генерал…

— Вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком, — заметил, усмехаясь, французик. — «Cela n'était pas si bête».[79]

— Так неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь — пикнуть не смеют и готовы, пожалуй, отречься от того, что они русские. По крайней мере в Париже в моем отеле со мною стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказал о моей драке с аббатом. Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек за табльдотом, стушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что года два тому назад видел человека, в которого французский егерь в двенадцатом году выстрелил — единственно только для того, чтоб разрядить ружье. Этот человек был тогда еще десятилетним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы.

— Этого быть не может, — вскипел французик, — французский солдат не станет стрелять в ребенка!

— Между тем это было, — отвечал я. — Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули.

Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из «Записок» генерала Перовского*, бывшего в двенадцатом году в плену у французов. Наконец, Марья Филипповна о чем-то заговорила, чтоб перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астлею мой спор с французом, кажется, очень понравился; вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним. рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось с четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к воксалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались наконец одни.

Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась,

когда я передал ей всего только семьсот гульденов. Она была уверена, что я ей привезу из Парижа, под залог ее бриллиантов, по крайней мере две тысячи гульденов или даже более.

— Мне во что бы ни стало нужны деньги, — сказала она, — и их надо добыть; иначе я просто погибла.

Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие.

— Больше ничего, что получены из Петербурга два известия: сначала, что бабушке очень плохо, а через два дня, что, кажется, она уже умерла. Это известие от Тимофея Петровича, — прибавила Полина, — а он человек точный. Ждем последнего, окончательного известия.

— Итак, здесь все в ожидании? — спросил я.

— Конечно: все и всё; целые полгода на одно это только и надеялись.

— И вы надеетесь? — спросил я.

— Ведь я ей вовсе не родня, я только генералова падчерица. Но я знаю наверно, что она обо мне вспомнит в завещании.

— Мне кажется, вам очень много достанется, — сказал я утвердительно.

— Да, она меня любила; но почему *вам* это кажется?

— Скажите, — отвечал я вопросом, — наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны?

— А вы сами к чему об этом интересуетесь? — спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо.

— Еще бы; если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег.

— Вы очень верно угадываете.

— Ну, так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы, за столом: он раза три, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой: *«la baboulinka»*. Какие короткие и какие дружественные отношения!

— Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это, что ли, вам хотелось узнать?

— Еще только посватается? Я думал, что он давно сватается.

— Вы отлично хорошо знаете, что нет! — с сердцем сказала Полина. — Где вы встретили этого англичанина? — прибавила она

после минутного молчания.

— Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите. Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлеем по дороге.

— Он застенчив и влюбчив и уж, конечно, влюблен в вас?

— Да, он влюблен в меня, — отвечала Полина.

— И уж, конечно, он в десять раз богаче француза. Что, у француза действительно есть что-нибудь? Не подвержено это сомнению?

— Не подвержено. У него есть какой-то château.[80] Мне еще вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольно с вас?

— Я бы, на вашем месте, непременно вышла замуж за англичанина.

— Почему? — спросила Полина.

— Француз красивее, но он подлее; а англичанин, сверх того, что честен, еще в десять раз богаче, — отрезал я.

— Да; но зато француз — маркиз и умнее, — ответила она наиспокойнейшим образом.

— Да верно ли? — продолжал я по-прежнему.

— Совершенно так.

Полине ужасно не нравились мои вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостию своего ответа; я об этом ей тотчас же сказал.

— Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уж за одно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться.

— Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, — отвечал я спокойно, — именно потому, что готов как угодно за них расплатиться, и свою жизнь считаю теперь ни во что.

Полина захохотала:

— Вы мне в последний раз, на Шлангенберге, сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до тысячи футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно затем, чтоб посмотреть, как вы будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны, — именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны — мне надо вас беречь.

Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со мною разговор со злобою и раздражением, с настоящею злобою.

— Позвольте вас спросить, что такое mademoiselle Blanche? — спросил я, не желая отпустить ее без объяснения.

— Вы сами знаете, что такое mademoiselle Blanche. Больше ничего с тех пор не прибавилось. Mademoiselle Blanche, наверно, будет генеральшей, — разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится, потому что и mademoiselle Blanche, и ее матушка, и троюродный cousin маркиз — все очень хорошо знают, что мы разорились.

— А генерал влюблен окончательно?

— Теперь не в этом дело. Слушайте и запомните: возьмите эти семьсот флоринов и ступайте играть, выиграйте мне на рулетке сколько можете больше; мне деньги во что бы ни стало теперь нужны.

Сказав это, она кликнула Наденьку и пошла к воксалу, где и присоединилась ко всей нашей компании. Я же свернул на первую попавшуюся дорожку влево, обдумывая и удивляясь. Меня точно в голову ударило после приказания идти на рулетку. Странное дело: мне было о чем раздуматься, а между тем я весь погрузился в анализ ощущений моих чувств к Полине. Право, мне было легче в эти две недели отсутствия, чем теперь, в день возвращения, хотя я, в дороге, и тосковал как сумасшедший, метался как угорелый, и даже во сне поминутно видел ее пред собою. Раз (это было в Швейцарии), заснув в вагоне, я, кажется, заговорил вслух с Полиной, чем рассмешил всех сидевших со мной проезжих. И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз, ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты (а именно каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее! Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением. Я знал это. Так или эдак, но это должно было разрешиться. Всё это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, — эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение; иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со

мною в таких короткостях и откровенностях? Мне кажется, она до сих пор смотрела на меня как та древняя императрица, которая стала раздеваться при своем невольнике, считая его не за человека. Да, она много раз считала меня не за человека…

Однако ж у меня было ее поручение — выиграть на рулетке во что бы ни стало. Мне некогда было раздумывать: для чего и как скоро надо выиграть и какие новые соображения родились в этой вечно рассчитывающей голове? К тому же в эти две недели, очевидно, прибавилась бездна новых фактов, об которых я еще не имел понятия. Всё это надо было угадать, во всё проникнуть, и как можно скорее. Но покамест теперь было некогда: надо было отправляться на рулетку.

Глава II

Признаюсь, мне это было неприятно; я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в игорные залы я вошел с предосадным чувством. Мне там, с первого взгляда, всё не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в фельетонах целого света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фельетонисты рассказывают о двух вещах: во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши игорных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о грудах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это; это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости. Никакого великолепия нет в этих дрянных залах, а золота не только нет грудами на столах, но и чуть-чуть-то едва ли бывает. Конечно, кой-когда, в продолжение сезона, появится вдруг какой-нибудь чудак, или англичанин, или азиат какой-нибудь, турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много; остальные же все играют на мелкие гульдены, и средним числом на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошел в игорную залу (в первый раз в жизни), я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня стукало сердце, и я был не хладнокровен; я наверное знал и давно уже решил, что из Рулетенбурга так не выеду; что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо, и так будет. Как это ни смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется, еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один. Но — какое мне до того дело?

Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер, если б что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка, — и я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить; потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такою жадностию, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не

увидел.

Во-первых, мне всё показалось так грязно — как-то нравственно скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями, обступают игорные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше; мне всегда казалось очень глупою мысль одного отъевшегося и обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание, что «ведь играют по маленькой», — отвечал: тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно: мелкая корысть и крупная корысть — не всё равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато, а насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадки ли вообще нажива и барыш — это другой вопрос. Но здесь я его не решаю. Так как я и сам был в высшей степени одержан желанием выигрыша, то вся эта корысть и вся эта корыстная грязь, если хотите, была мне, при входе в залу, как-то сподручнее, родственнее. Самое милое дело, когда друг друга не церемонятся, а действуют открыто и нараспашку. Да и к чему самого себя обманывать? Самое пустое и нерасчетливое занятие! Особенно некрасиво, на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та серьезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы. Вот почему здесь резко различено, какая игра называется mauvais genr'ом[81] и какая позволительна порядочному человеку. Есть две игры, одна — джентльменская, а другая плебейская, корыстная, игра всякой сволочи. Здесь это строго различено и — как это различие, в сущности, подло! Джентльмен, например, может поставить пять или десять луидоров, редко более, впрочем, может поставить и тысячу франков, если очень богат, но собственно для одной игры, для одной только забавы, собственно для того, чтобы посмотреть на процесс выигрыша или проигрыша; но отнюдь не должен интересоваться своим выигрышем. Выиграв, он может, например, вслух засмеяться, сделать кому-нибудь из окружающих свое замечание, даже может поставить еще раз и еще раз удвоить, но единственно только из любопытства, для наблюдения над шансами, для вычислений, а не из плебейского желания выиграть. Одним словом, на все эти игорные столы, рулетки и trénte et quarante[82] он должен смотреть не иначе, как на забаву, устроенную единственно для его удовольствия. Корысти и ловушки, на которых

основан и устроен банк, он должен даже и не подозревать. Очень и очень недурно было бы даже, если б ему, например, показалось, что и все эти остальные игроки, вся эта дрянь, дрожащая над гульденом, — совершенно такие же богачи и джентльмены, как и он сам, и играют единственно для одного только развлечения и забавы. Это совершенное незнание действительности и невинный взгляд на людей были бы, конечно, чрезвычайно аристократичными. Я видел, как многие маменьки выдвигали вперед невинных и изящных, пятнадцати— и шестнадцатилетних мисс, своих дочек, и, давши им несколько золотых монет, учили их, как играть. Барышня выигрывала или проигрывала, непременно улыбалась и отходила очень довольная. Наш генерал солидно и важно подошел к столу; лакей бросился было подать ему стул, но он не заметил лакея; очень долго вынимал кошелек, очень долго вынимал из кошелька триста франков золотом, поставил их на черную и выиграл. Он не взял выигрыша и оставил его на столе. Вышла опять черная; он и на этот раз не взял, и когда в третий раз вышла красная, то потерял разом тысячу двести франков. Он отошел с улыбкою и выдержал характер. Я убежден, что кошки у него скребли на сердце, и будь ставка вдвое или втрое больше — он не выдержал бы характера и выказал бы волнение. Впрочем, при мне один француз выиграл и потом проиграл тысяч до тридцати франков весело и без всякого волнения. Настоящий джентльмен, если бы проиграл и всё свое состояние, не должен волноваться. Деньги до того должны быть ниже джентльменства, что почти не стоит об них заботиться. Конечно, весьма аристократично совсем бы не замечать всю эту грязь всей этой сволочи и всей обстановки. Однако же иногда не менее аристократичен и обратный прием, замечать, то есть присматриваться, даже рассматривать, например хоть в лорнет, всю эту сволочь: но не иначе, как принимая всю эту толпу и всю эту грязь за своего рода развлечение, как бы за представление, устроенное для джентльменской забавы. Можно самому тесниться в этой толпе, но смотреть кругом с совершенным убеждением, что собственно вы сами наблюдатель и уж нисколько не принадлежите к ее составу. Впрочем, и очень пристально наблюдать опять-таки не следует: опять уже это будет не по-джентльменски, потому что это во всяком случае зрелище не стоит большого и слишком пристального наблюдения. Да и вообще мало, зрелищ, достойных слишком пристального наблюдения для

джентльмена. А между тем мне лично показалось, что всё это и очень стоит весьма пристального наблюдения, особенно для того, кто пришел не для одного наблюдения, а сам искренно и добросовестно причисляет себя ко всей этой сволочи. Что же касается до моих сокровеннейших нравственных убеждений, то в настоящих рассуждениях моих им, конечно, нет места. Пусть уж это будет так; говорю для очистки совести. Но вот что я замечу: что во всё последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли мои к какой бы то ни было нравственной мерке. Другое управляло мною…

Сволочь действительно играет очень грязно. Я даже не прочь от мысли, что тут у стола происходит много самого обыкновенного воровства. Круперам, которые сидят по концам стола, смотрят за ставками и рассчитываются, ужасно много работы, Вот еще сволочь-то! это большею частью французы. Впрочем, я здесь наблюдаю и замечаю вовсе не для того, чтобы описывать рулетку; я приноравливаюсь для себя, чтобы знать, как себя вести на будущее время. Я заметил, например, что нет ничего обыкновеннее, когда из-за стола протягивается вдруг чья-нибудь рука и берет себе то, что вы выиграли. Начинается спор, нередко крик, и — прошу покорно доказать, сыскать свидетелей, что ставка ваша!

Сначала вся эта штука была для меня тарабарскою грамотою; я только догадывался и различал кое-как, что ставки бывают на числа, на чет и нечет и на цвета. Из денег Полины Александровны я в этот вечер решился попытать сто гульденов. Мысль, что я приступаю к игре не для себя, как-то сбивала меня с толку. Ощущение было чрезвычайно неприятное, и мне захотелось поскорее развязаться с ним. Мне всё казалось, что, начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Неужели нельзя прикоснуться к игорному столу, чтобы тотчас же не заразиться суеверием? Я начал с того, что вынул пять фридрихсдоров, то есть пятьдесят гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось, и вышло тринадцать — я проиграл. С каким-то болезненным ощущением, единственно чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще пять фридрихсдоров на красную. Вышла красная. Я поставил все десять фридрихсдоров — вышла опять красная. Я поставил опять всё за раз, вышла опять красная. Получив сорок фридрихсдоров, я поставил двадцать на двенадцать средних цифр, не зная, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое. Таким образом, из

десяти фридрихсдоров у меня появилось вдруг восемьдесят. Мне стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что я решился уйти. Мне показалось, что я вовсе бы не так играл, если б играл для себя. Я, однако ж, поставил все восемьдесят фридрихсдоров еще раз на четку. На этот раз вышло четыре; мне отсыпали еще восемьдесят фридрихсдоров, и, захватив всю кучу в сто шестьдесят фридрихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну.

Они все где-то гуляли в парке, и я успел увидеться с нею только за ужином. На этот раз француза не было, и генерал развернулся: между прочим, он почел нужным опять мне заметить, что он бы не желал меня видеть за игорным столом. По его мнению, его очень скомпрометирует, если я как-нибудь слишком проиграюсь; «но если б даже вы и выиграли очень много, то и тогда я буду тоже скомпрометирован, — прибавил он значительно. — Конечно, я не имею права располагать вашими поступками, но согласитесь сами…» Тут он по обыкновению своему не докончил. Я сухо ответил ему, что у меня очень мало денег и что, следовательно, я не могу слишком приметно проиграться, если б даже и стал играть. Придя к себе наверх, я успел передать Полине ее выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для нее.

— Почему же? — спросила она тревожно.

— Потому что хочу играть для себя, — отвечал я, рассматривая ее с удивлением, — а это мешает.

— Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка ваш единственный исход и спасение? — спросила она насмешливо. Я отвечал опять очень серьезно, что да; что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен, «но чтоб оставили меня в покое».

Полина Александровна настаивала, чтоб я непременно разделил с нею сегодняшний выигрыш пополам, и отдавала мне восемьдесят фридрихсдоров, предлагая и впредь продолжать игру на этом условии. Я отказался от половины решительно и окончательно и объявил, что для других не могу играть не потому, чтоб не желал, а потому, что наверное проиграю.

— И, однако ж, я сама, как ни глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку, — сказала она задумываясь. — А потому вы непременно должны продолжать игру со мною вместе пополам, и — разумеется —

будете. — Тут она ушла от меня, не слушая дальнейших моих возражений.

Глава III

И, однако ж, вчера целый день она не говорила со мной об игре ни слова. Да и вообще она избегала со мной говорить вчера. Прежняя манера ее со мною не изменилась. Та же совершенная небрежность в обращении при встречах, и даже что-то презрительное и ненавистное. Вообще она не желает скрывать своего ко мне отвращения; я это вижу. Несмотря на это, она не скрывает тоже от меня, что я ей для чего-то нужен и что она для чего-то меня бережет. Между нами установились какие-то странные отношения, во многом для меня непонятные, — взяв в соображение ее гордость и надменность со всеми. Она знает, например, что я люблю ее до безумия, допускает меня даже говорить о моей страсти — и уж, конечно, ничем она не выразила бы мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. «Значит, дескать, до того считаю ни во что твои чувства, что мне решительно всё равно, об чем бы ты ни говорил со мною и что бы ко мне не чувствовал». Про свои собственные дела она разговаривала со мною много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Мало того, в пренебрежении ее ко мне были, например, вот какие утонченности: она знает, положим, что мне известно какое-нибудь обстоятельство ее жизни или что-нибудь о том, что сильно ее тревожит; она даже сама расскажет мне что-нибудь из ее обстоятельств, если надо употребить меня как-нибудь для своих целей, вроде раба, или на побегушки; но расскажет всегда ровно столько, сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушки, и если мне еще неизвестна целая связь событий, если она и сама видит, как я мучусь и тревожусь ее же мучениями и тревогами, то никогда не удостоит меня успокоить вполне своей дружеской откровенностию, хотя, употребляя меня нередко по поручениям не только хлопотливым, но даже опасным, она, по моему мнению, обязана быть со мной откровенною. Да и стоит ли заботиться о моих чувствах, о том, что я тоже тревожусь и, может быть, втрое больше забочусь и мучусь ее же заботами и неудачами, чем она сама!

Я недели за три еще знал об ее намерении играть на рулетке. Она меня даже предуведомила, что я должен буду играть вместо нее, потому что ей самой играть неприлично. По тону ее слов я тогда же заметил,

что у ней какая-то серьезная забота, а не просто желание выиграть деньги. Что ей деньги сами по себе! Тут есть цель, тут какие-то обстоятельства, которые я могу угадывать, но которых я до сих пор не знаю. Разумеется, то унижение и рабство, в которых она меня держит, могли бы мне дать (весьма часто дают) возможность грубо и прямо самому ее расспрашивать. Так как я для нее раб и слишком ничтожен в ее глазах, то нечего ей и обижаться грубым моим любопытством. Но дело в том, что она, позволяя мне делать вопросы, на них не отвечает. Иной раз и вовсе их не замечает. Вот как у нас!

Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще четыре дня назад в Петербург и на которую не было ответа. Генерал видимо волнуется и задумчив. Дело идет, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Вчера, например, после обеда они долго и серьезно разговаривали. Тон француза со всеми нами необыкновенно высокомерный и небрежный. Тут именно по пословице: посади за стол, и ноги на стол. Он даже с Полиной небрежен до грубости; впрочем, с удовольствием участвует в общих прогулках в воксале или в кавалькадах и поездках за город. Мне известны давно кой-какие из обстоятельств, связавших француза с генералом: в России они затевали вместе завод; я не знаю, лопнул ли их проект, или всё еще об нем у них говорится. Кроме того, мне случайно известна часть семейной тайны: француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему тридцать тысяч для пополнения недостающего в казенной сумме при сдаче должности. И уж разумеется, генерал у него в тисках; но теперь, собственно теперь, главную роль во всем этом играет все-таки mademoiselle Blanche, и я уверен, что и тут не ошибаюсь.

Кто такая mademoiselle Blanche? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. Говорят, что до моей поездки в Париж француз и mademoiselle Blanche сносились между собой как-то гораздо церемоннее, были как будто на более тонкой и деликатной ноге; теперь же знакомство их, дружба и родственность выглядывают как-то грубее, как-то короче. Может быть, наши дела кажутся им до того уж плохими, что они и не считают нужным слишком с нами церемониться и скрываться. Я еще третьего дня заметил, как мистер Астлей разглядывал mademoiselle Blanche и ее

матушку. Мне показалось, что он их знает. Мне показалось даже, что и наш француз встречался прежде с мистером Астлеем. Впрочем, мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, — из избы сора не вынесет. По крайней мере француз едва ему кланяется и почти не глядит на него; а — стало быть, не боится. Это еще понятно; но почему mademoiselle Blanche тоже почти не глядит на него? Тем более что маркиз вчера проговорился: он вдруг сказал в общем разговоре, не помню по какому поводу, что мистер Астлей колоссально богат и что он про это знает; тут-то бы и глядеть mademoiselle Blanche на мистера Астлея! Вообще генерал находится в беспокойстве. Понятно, что может значить для него теперь телеграмма о смерти тетки!

Мне хоть и показалось наверное, что Полина избегает разговора со мною, как бы с целью, но я и сам принял на себя вид холодный и равнодушный: всё думал, что она нет-нет, да и подойдет ко мне. Зато вчера и сегодня я обратил всё мое внимание преимущественно на mademoiselle Blanche. Бедный генерал, он погиб окончательно! Влюбиться в пятьдесят пять лет, с такою силою страсти, — конечно, несчастие. Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и, наконец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. Mademoiselle Blanche красива собою. Но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере я всегда боялся таких женщин. Ей, наверно, лет двадцать пять. Она рослая и широкоплечая, с крутыми плечами; шея и грудь у нее роскошны; цвет кожи смугло-желтый, цвет волос черный, как тушь, и волос ужасно много, достало бы на две куафюры. Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены; от нее пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные. Голос ее — сиплый контральто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально — по крайней мере при Полине и при Марье Филипповне. (Странный слух: Марья Филипповна уезжает в Россию). Мне кажется, mademoiselle Blanche безо всякого образования, может быть даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была-таки не без приключений. Если уж говорить всё, то может быть, что маркиз вовсе ей не родственник, а мать совсем не

мать. Но есть сведения, что в Берлине, где мы с ними съехались, она и мать ее имели несколько порядочных знакомств. Что касается до самого маркиза, то хоть я и до сих пор сомневаюсь, что он маркиз, но принадлежность его к порядочному обществу, как у нас, например, в Москве и кое-где и в Германии, кажется, не подвержена сомнению. Не знаю, что он такое во Франции? Говорят, у него есть шато[*]. Я думал, что в эти две недели много воды уйдет, и, однако ж, я всё еще не знаю наверно, сказано ли у mademoiselle Blanche с генералом что-нибудь решительное? Вообще всё зависит теперь от нашего состояния, то есть от того, много ли может генерал показать им денег. Если бы, например, пришло известие, что бабушка не умерла, то я уверен, mademoiselle Blanche тотчас бы исчезла. Удивительно и смешно мне самому, какой я, однако ж, стал сплетник. О, как мне всё это противно! С каким наслаждением я бросил бы всех и всё! Но разве я могу уехать от Полины, разве я могу не шпионить кругом нее? Шпионство, конечно, подло, но — какое мне до этого дело!

Любопытен мне тоже был вчера и сегодня мистер Астлей. Да, я убежден, что он влюблен в Полину! Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болезненно-целомудренного человека, тронутого любовью, и именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить, словом или взглядом. Мистер Астлей весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в воксале, на музыке или пред фонтаном он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были: в парке ли, в лесу ли, или на Шлангенберге, — стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом, и непременно где-нибудь, или на ближайшей тропинке, или из-за куста, покажется уголок мистера Астлея. Мне кажется, он ищет случая со мной говорить особенно. Сегодня утром мы встретились и перекинули два слова. Он говорит иной раз как-то чрезвычайно отрывисто. Еще не сказав «здравствуйте», он начал с того, что проговорил:

— А, mademoiselle Blanche!.. Я много видел таких женщин, как mademoiselle Blanche!

Он замолчал, знаменательно смотря на меня. Что он этим хотел

сказать, не знаю, потому что на вопрос мой: что это значит? — он с хитрой улыбкой кивнул головою и прибавил:

— Уж это так. Mademoiselle Pauline очень любит цветы?

— Не знаю, совсем не знаю, — отвечал я.

— Как! Вы и этого не знаете! — вскричал он с величайшим изумлением.

— Не знаю, совсем не заметил, — повторил я смеясь.

— Гм, это дает мне одну особую мысль. — Тут он кивнул головою и прошел далее. Он, впрочем, имел довольный вид. Говорим мы с ним на сквернейшем французском языке.

Глава IV

Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь одиннадцать часов ночи. Я сижу в своей каморке и припоминаю. Началось с того, что утром принужден-таки был идти на рулетку, чтоб играть для Полины Александровны. Я взял все ее сто шестьдесят фридрихсдоров, но под двумя условиями: первое — что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе, второе — что вечером Полина разъяснит мне, для чего именно ей так нужно выиграть и сколько именно денег. Я все-таки никак не могу предположить, чтобы это было просто для денег. Тут, видимо, деньги необходимы, и как можно скорее, для какой-то особенной цели. Она обещалась разъяснить, и я отправился. В игорных залах толпа была ужасная. Как нахальны они и как все они жадны! Я протеснился к середине и стал возле самого крупера; затем стал робко пробовать игру, ставя по две и по три монеты. Между тем я наблюдал и замечал; мне показалось, что собственно расчет довольно мало значит и вовсе не имеет той важности, которую ему придают многие игроки. Они сидят с разграфленными бумажками, замечают удары, считают, выводят шансы, рассчитывают, наконец ставят и — проигрывают точно так же, как и мы, простые смертные, играющие без расчету. Но зато я вывел одно заключение, которое, кажется, верно: действительно, в течении случайных шансов бывает хоть и не система, но как будто какой-то порядок, что, конечно, очень странно. Например, бывает, что после двенадцати средних цифр наступают двенадцать последних; два раза, положим, удар ложится на эти двенадцать последних и переходит на двенадцать первых. Упав на двенадцать первых, переходит опять на двенадцать средних, ударяет сряду три, четыре раза по средним и опять переходит на двенадцать последних, где, опять после двух раз, переходит к первым, на первых опять бьет один раз и опять переходит на три удара средних, и таким образом продолжается в течение полутора или двух часов. Один, три и два, один, три и два. Это очень забавно. Иной день или иное утро идет, например, так, что красная сменяется черною и обратно почти без всякого порядка, поминутно, так что больше двух-трех ударов сряду на красную или на черную не ложится. На другой же день или на другой вечер бывает сряду одна

красная; доходит, например, больше чем до двадцати двух раз сряду и так идет непременно в продолжение некоторого времени, например в продолжение целого дня. Мне много в этом объяснил мистер Астлей, который целое утро простоял у игорных столов, но сам не поставил ни разу. Что же касается до меня, то я весь проигрался до тла и очень скоро. Я прямо сразу поставил на четку двадцать фридрихсдоров и выиграл, поставил пять и опять выиграл и таким образом еще раза два или три. Я думаю, у меня сошлось в руках около четырехсот фридрихсдоров в какие-нибудь пять минут. Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную ставку, в четыре тысячи гульденов, и проиграл. Затем, разгорячившись, вынул всё, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл опять, после чего отошел от стола, как оглушенный. Я даже не понимал, что это со мною было, и объявил о моем проигрыше Полине Александровне только пред самым обедом. До того времени я всё шатался в парке.

За обедом я был опять в возбужденном состоянии, так же как и три дня тому назад. Француз и mademoiselle Blanche опять обедали с нами. Оказалось, что mademoiselle Blanche была утром в игорных залах и видела мои подвиги. В этот раз она заговорила со мною как-то внимательнее. Француз пошел прямее и просто спросил меня, неужели я проиграл свои собственные деньги? Мне кажется, он подозревает Полину. Одним словом, тут что-то есть. Я тотчас же солгал и сказал, что свои.

Генерал был чрезвычайно удивлен: откуда я взял такие деньги? Я объяснил, что начал с десяти фридрихсдоров, что шесть или семь ударов сряду, надвое, довели меня до пяти или до шести тысяч гульденов и что потом я всё спустил с двух ударов.

Всё это, конечно, было вероятно. Объясняя это, я посмотрел на Полину, но ничего не мог разобрать в ее лице. Однако ж она мне дала солгать и не поправила меня; из этого я заключил, что мне и надо было солгать и скрыть, что я играл за нее. Во всяком случае, думал я про себя, она обязана мне объяснением и давеча обещала мне кое-что открыть.

Я думал, что генерал сделает мне какое-нибудь замечание, но он промолчал; зато я заметил в лице его волнение и беспокойство. Может быть, при крутых его обстоятельствах ему просто тяжело было

выслушать, что такая почтительная груда золота пришла и ушла в четверть часа у такого нерасчетливого дурака, как я.

Я подозреваю, что у него вчера вечером вышла с французом какая-то жаркая контра. Они долго и с жаром говорили о чем-то, запершись. Француз ушел как будто чем-то раздраженный, а сегодня рано утром опять приходил к генералу — и, вероятно, чтоб продолжать вчерашний разговор.

Выслушав о моем проигрыше, француз едко и даже злобно заметил мне, что надо было быть благоразумнее. Не знаю, для чего он прибавил, что хоть русских и много играет, но, по его мнению, русские даже и играть не способны.

— А по моему мнению, рулетка только и создана для русских, — сказал я, и когда француз на мой отзыв презрительно усмехнулся, я заметил ему, что, уж конечно, правда на моей стороне, потому что, говоря о русских как об игроках, я гораздо более ругаю их, чем хвалю, и что мне, стало быть, можно верить.

— На чем же вы основываете ваше мнение? — спросил француз.

— На том, что в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, — прибавил я, — следовательно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как например рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает; а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!

— Это отчасти справедливо, — заметил самодовольно француз.

— Нет, это несправедливо, и вам стыдно так отзываться о своем отечестве, — строго и внушительно заметил генерал.

— Помилуйте, — отвечал я ему, — ведь, право, неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом?

— Какая безобразная мысль! — воскликнул генерал.

— Какая русская мысль! — воскликнул француз; Я смеялся, мне ужасно хотелось их раззадорить.

— А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, — вскричал я, — чем поклоняться немецкому идолу.

— Какому идолу? — вскричал генерал, уже начиная серьезно сердиться.

— Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго, но, однако ж, все-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою татарскую породу. Ей-богу, не хочу таких добродетелей! Я здесь успел уже вчера обойти верст на десять кругом. Ну, точь-в-точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками: есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер[*], ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных людей, к которым подходить страшно. У каждого эдакого фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны. Закат солнца, на крыше аист, и всё необыкновенно поэтическое и трогательное…

Уж вы не сердитесь, генерал, позвольте мне рассказать потрогательнее. Я сам помню, как мой отец, покойник, тоже под липками, в палисаднике, по вечерам вслух читал мне и матери подобные книжки… Я ведь сам могу судить об этом как следует. Ну, так всякая эдакая здешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как волы, и все копят деньги, как жиды. Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать; для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу аль в солдаты и деньги приобщают к домашнему капиталу. Право, это здесь делается; я расспрашивал. Всё это делается не иначе, как от честности, от усиленной честности, до того, что и младший проданный сын верует, что его не иначе, как от честности, продали, — а уж это идеал, когда сама жертва радуется, что ее на заклание ведут. Что же дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче: есть там у него такая Амальхен, с которою он сердцем соединился, — но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Тоже ждут благонравно и искренно и с улыбкой на заклание идут. У Амальхен уж щеки ввалились, сохнет. Наконец, лет через двадцать, благосостояние умножилось; гульдены честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и тридцатипятилетнюю Амальхен, с иссохшей грудью и красным носом… При этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного

фатера, и начинается опять та же история. Лет эдак чрез пятьдесят или чрез семьдесят внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, тот своему, и поколений через пять или шесть выходит сам барон Ротшильд или Гоппе и Комп[*]., или там черт знает кто. Ну-с, как же не величественное зрелище: столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет, аист на крыше! Чего же вам еще, ведь уж выше этого нет ничего, и с этой точки они сами начинают весь мир судить и виновных, то есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить. Ну-с, так вот в чем дело: я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гоппе и Комп. чрез пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу. Я знаю, что я ужасно наврал, но пусть так оно и будет. Таковы мои убеждения.

— Не знаю, много ли правды в том, что вы говорили, — задумчиво заметил генерал, — но знаю наверное, что вы нестерпимо начинаете форсить, чуть лишь вам капельку позволят забыться…

По обыкновению своему, он не договорил. Если наш генерал начинал о чем-нибудь говорить, хотя капельку позначительнее обыкновенного обыденного разговора, то никогда не договаривал. Француз небрежно слушал, немного выпучив глаза. Он почти ничего не понял из того, что я говорил. Полина смотрела с каким-то высокомерным равнодушием. Казалось, она не только меня, но и ничего не слыхала из сказанного в этот раз за столом.

Глава V

Она была в необыкновенной задумчивости, но тотчас по выходе из-за стола велела мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану.

Так как я был в особенно возбужденном состоянии, то и брякнул глупо и грубо вопрос: почему наш маркиз Де-Грие, французик, не только не сопровождает ее теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с нею по целым дням?

— Потому что он подлец, — странно ответила она мне. Я никогда еще не слышал от нее такого отзыва о Де-Грие и замолчал, побоявшись понять эту раздражительность.

— А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом?

— Вам хочется знать, в чем дело, — сухо и раздражительно отвечала она. — Вы знаете, что генерал весь у него в закладе, всё имение — его, и если бабушка не умрет, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе.

— А, так это действительно правда, что всё в закладе? Я слышал, но не знал, что решительно всё.

— А то как же?

— И при этом прощай mademoiselle Blanche, — заметил я. — Не будет она тогда генеральшей! Знаете ли что: мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если mademoiselle Blanche его бросит. В его лета так влюбляться опасно.

— Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет, — задумчиво заметила Полина Александровна.

— И как это великолепно, — вскричал я, — грубее нельзя показать, что она согласилась выйти только за деньги. Тут даже приличий не соблюдалось, совсем без церемонии происходило. Чудо! А насчет бабушки, что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграммою и спрашивать: умерла ли, умерла ли? А? как вам это нравится, Полина Александровна?

— Это всё вздор, — сказала она с отвращением, перебивая меня. — Я, напротив того, удивляюсь, что вы в таком развеселом расположении духа. Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли?

— Зачем вы давали их мне проигрывать? Я вам сказал, что не могу

играть для других, тем более для вас. Я послушаюсь, что бы вы мне ни приказали; но результат не от меня зависит. Я ведь предупредил, что ничего не выйдет. Скажите, вы очень убиты, что потеряли столько денег? Для чего вам столько?

— К чему эти вопросы?

— Но ведь вы сами обещали мне объяснить… Слушайте: я совершенно убежден, что когда начну играть для себя (а у меня есть двенадцать фридрихсдоров), то я выиграю. Тогда сколько вам надо, берите у меня.

Она сделала презрительную мину.

— Вы не сердитесь на меня, — продолжал я, — за такое предложение. Я до того проникнут сознанием того, что я нуль пред вами, то есть в ваших глазах, что вам можно даже принять от меня и деньги. Подарком от меня вам нельзя обижаться. Притом же я проиграл ваши. Она быстро поглядела на меня и, заметив, что я говорю раздражительно и саркастически, опять перебила разговор:

— Вам нет ничего интересного в моих обстоятельствах, Если хотите знать, я просто должна. Деньги взяты мною взаймы, и я хотела бы их отдать. У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю, здесь, на игорном столе. Почему была эта мысль у меня — не понимаю, но я в нее верила. Кто знает, может быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось.

— Или потому, что уж слишком *надо* было выиграть. Это точь-в-точь, как утопающий, который хватается за соломинку. Согласитесь сами, что если б он не утопал, то он не считал бы соломинку за древесный сук.

Полина удивилась.

— Как же, — спросила она, — вы сами-то на то же самое надеетесь? Две недели назад вы сами мне говорили однажды, много и долго, о том, что вы вполне уверены в выигрыше здесь на рулетке, и убеждали меня, чтоб я не смотрела на вас как на безумного; или вы тогда шутили? Но я помню, вы говорили так серьезно, что никак нельзя было принять за шутку.

— Это правда, — отвечал я задумчиво, — я до сих пор уверен вполне, что выиграю. Я даже вам признаюсь, что вы меня теперь навели на вопрос: почему именно мой сегодняшний, бестолковый и безобразный проигрыш не оставил во мне никакого сомнения? Я все-

таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно.

— Почему же вы так наверно убеждены?

— Если хотите — не знаю. Я знаю только, что мне *надо* выиграть, что это тоже единственный мой исход. Ну вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть.

— Стало быть, вам тоже слишком *надо*, если вы фанатически уверены?

— Бьюсь об заклад, что вы сомневаетесь, что я в состоянии ощущать серьезную надобность?

— Это мне всё равно, — тихо и равнодушно ответила Полина. — Если хотите — *да*, я сомневаюсь, чтоб вас мучило что-нибудь серьезно. Вы можете мучиться, но не серьезно. Вы человек беспорядочный и неустановившийся. Для чего вам деньги? Во всех резонах, которые вы мне тогда представили, я ничего не нашла серьезного.

— Кстати, — перебил я, — вы говорили, что вам долг нужно отдать. Хорош, значит, долг! Не французу ли?

— Что за вопросы? Вы сегодня особенно резки. Уж не пьяны ли?

— Вы знаете, что я всё себе позволяю говорить, и спрашиваю иногда очень откровенно. Повторяю, я ваш раб, а рабов не стыдятся, и раб оскорбить не может.

— Всё это вздор! И терпеть я не могу этой вашей «рабской» теории.

— Заметьте себе, что я не потому говорю про мое рабство, чтоб желал быть вашим рабом, а просто — говорю, как о факте, совсем не от меня зависящем.

— Говорите прямо, зачем вам деньги?

— А вам зачем это знать?

— Как хотите, — ответила она и гордо повела головой.

— Рабской теории не терпите, а рабства требуете: «Отвечать и не рассуждать!» Хорошо, пусть так. Зачем деньги, вы спрашиваете? Как зачем? Деньги — всё!

— Понимаю, но не впадать же в такое сумасшествие, их желая! Вы ведь тоже доходите до исступления, до фатализма. Тут есть что-нибудь, какая-то особая цель. Говорите без извилин, я так хочу.

Она как будто начинала сердиться, и мне ужасно понравилось, что она так с сердцем допрашивала.

— Разумеется, есть цель, — сказал я, — но я не сумею объяснить — какая. Больше ничего, что с деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом.

— Как? как вы этого достигнете?

— Как достигну? как, вы даже не понимаете, как могу я достигнуть, чтоб вы взглянули на меня иначе, как на раба! Ну вот этого-то я и не хочу, таких удивлений и недоумений.

— Вы говорили, что вам это рабство наслаждение. Я так и сама думала.

— Вы так думали, — вскричал я с каким-то странным наслаждением. — Ах, как эдакая наивность от вас хороша! Ну да, да, мне от вас рабство — наслаждение. Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества! — продолжал я бредить. — Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо… Но я хочу, может быть, попытать и других наслаждений. Мне давеча генерал при вас за столом наставление читал за семьсот рублей в год, которых я, может быть, еще и не получу от него. Меня маркиз Де-Грие, поднявши брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я, с своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза Де-Грие при вас за нос?

— Речи молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она еще возвысит, а не унизит.

— Прямо из прописи! Вы только предположите, что я, может быть, не умею поставить себя с достоинством. То есть я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит. Француз перенесет оскорбление, настоящее, сердечное оскорбление и не поморщится, но щелчка в нос ни за что не перенесет, потому что это есть нарушение принятой и увековеченной формы приличий. Оттого-то

так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша. По-моему, впрочем, никакой формы и нет, а один только петух, le coq gaulois[*]. [83] Впрочем, этого я понимать не могу, я не женщина. Может быть, петухи и хороши. Да и вообще я заврался, а вы меня не останавливаете. Останавливайте меня чаще; когда я с вами говорю, мне хочется высказать всё, всё, всё. Я теряю всякую форму. Я даже согласен, что я не только формы, но и достоинств никаких не имею. Объявляю вам об этом. Даже не забочусь ни о каких достоинствах. Теперь всё во мне остановилось. Вы сами знаете отчего. У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я давно уж не знаю, что на свете делается, ни в России, ни здесь. Я вот Дрезден проехал и не помню, какой такой Дрезден. Вы сами знаете, что меня поглотило. Так как я не имею никакой надежды и в глазах ваших нуль, то и говорю прямо: я только вас везде вижу, а остальное мне всё равно. За что и как я вас люблю — не знаю. Знаете ли, что, может быть, вы вовсе не хороши? Представьте себе, я даже не знаю, хороши ли вы или нет, даже лицом? Сердце, наверное, у вас нехорошее; ум неблагородный; это очень может быть.

— Может быть, вы потому и рассчитываете закупить меня деньгами, — сказала она, — что не верите в мое благородство?

— Когда я рассчитывал купить вас деньгами? — вскричал я.

— Вы зарапортовались и потеряли вашу нитку. Если не меня купить, то мое уважение вы думаете купить деньгами.

— Ну нет, это не совсем так. Я вам сказал, что мне трудно объясняться. Вы подавляете меня. Не сердитесь на мою болтовню. Вы понимаете, почему на меня нельзя сердиться: я просто сумасшедший. А, впрочем, мне всё равно, хоть и сердитесь. Мне у себя наверху, в каморке, стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, и я руки себе искусать готов. И за что вы на меня сердитесь? За то, что я называю себя рабом? Пользуйтесь, пользуйтесь моим рабством, пользуйтесь! Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю иль приревную, а — так, просто убью, потому что меня иногда тянет вас съесть. Вы смеетесь…

— Совсем не смеюсь, — сказала она с гневом. — Я приказываю вам молчать.

Она остановилась, едва переводя дух от гнева. Ей-богу, я не знаю, хороша ли она была собой, но я всегда любил смотреть, когда она так

предо мною останавливалась, а потому и любил часто вызывать ее гнев. Может быть, она заметила это и нарочно сердилась. Я ей это высказал.

— Какая грязь! — воскликнула она с отвращением.

— Мне всё равно, — продолжал я. — Знаете ли еще, что нам вдвоем ходить опасно: меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас, изуродовать, задушить. И что вы думаете, до этого не дойдет? Вы доведете меня до горячки. Уж не скандала ли я побоюсь? Гнева вашего? Да что мне ваш гнев? Я люблю без надежды и знаю, что после этого в тысячу раз больше буду любить вас. Если я вас когда-нибудь убью, то надо ведь и себя убить будет; ну так — я себя как можно дольше буду не убивать, чтоб эту нестерпимую боль без вас ощутить. Знаете ли вы невероятную вещь: я вас с каждым днем люблю *больше,* а ведь это почти невозможно. И после этого мне не быть фаталистом? Помните, третьего дня, на Шлангенберге, я прошептал вам, вызванный вами: скажите слово, и я соскочу в эту бездну. Если б вы сказали это слово, я бы тогда соскочил. Неужели вы не верите, что я бы соскочил?

— Какая глупая болтовня! — вскричала она.

— Мне никакого дела нет до того, глупа ли она иль умна, — вскричал я. — Я знаю, что при вас мне надо говорить, говорить, говорить — и я говорю. Я всё самолюбие при вас теряю, и мне всё равно.

— К чему мне заставлять вас прыгать с Шлангенберга? — сказала она сухо и как-то особенно обидно. — Это совершенно для меня бесполезно.

— Великолепно! — вскричал я, — вы нарочно сказали это великолепное «бесполезно», чтоб меня придавить. Я вас насквозь вижу. Бесполезно, говорите вы? Но ведь удовольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть — хоть над мухой — ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек — деспот от природы и любит быть мучителем. Вы ужасно любите.

Помню, она рассматривала меня с каким-то особенно пристальным вниманием. Должно быть, лицо мое выражало тогда все мои бестолковые и нелепые ощущения. Я припоминаю теперь, что и действительно у нас почти слово в слово так шел тогда разговор, как я здесь описал. Глаза мои налились кровью. На окраинах губ запеклась пена. А что касается Шлангенберга, то клянусь честью, даже и теперь: если б она тогда приказала мне броситься вниз, я бы бросился! Если б

для шутки одной сказала, если б с презрением, с плевком на меня сказала, — я бы и тогда соскочил!

— Нет, почему ж, я вам верю, — произнесла она, но так, как она только умеет иногда выговорить, с таким презрением и ехидством, с таким высокомерием, что, ей-богу, я мог убить ее в эту минуту. Она рисковала. Про это я тоже не солгал, говоря ей.

— Вы не трус? — спросила она меня вдруг.

— Не знаю, может быть, и трус. Не знаю… я об этом давно не думал.

— Если б я сказала вам: убейте этого человека, вы бы убили его?

— Кого?

— Кого я захочу.

— Француза?

— Не спрашивайте, а отвечайте, — кого я укажу. Я хочу знать, серьезно ли вы сейчас говорили? — Она так серьезно и нетерпеливо ждала ответа, что мне как-то странно стало.

— Да скажете ли вы мне, наконец, что такое здесь происходит! — вскричал я. — Что вы, боитесь, что ли, меня? Я сам вижу все здешние беспорядки. Вы падчерица разорившегося и сумасшедшего человека, зараженного страстью к этому дьяволу — Blanche; потом тут— этот француз, с своим таинственным влиянием на вас и — вот теперь вы мне так серьезно задаете… такой вопрос. По крайней мере чтоб я знал; иначе я здесь помешаюсь и что-нибудь сделаю. Или вы стыдитесь удостоить меня, откровенности? Да разве вам можно стыдиться меня?

— Я с вами вовсе не о том говорю. Я вас спросила и жду ответа.

— Разумеется, убью, — вскричал я, — кого вы мне только прикажете, но разве вы можете… разве вы это прикажете?

— А что вы думаете, вас пожалею? Прикажу, а сама в стороне останусь. Перенесете вы это? Да нет, где вам! Вы, пожалуй, и убьете по приказу, а потом и меня придете убить за то, что я смела вас посылать.

Мне как бы что-то в голову ударило при этих словах. Конечно, я и тогда считал ее вопрос наполовину за шутку, за вызов; но все-таки она слишком серьезно проговорила. Я все-таки был поражен, что она так высказалась, что она удерживает такое право надо мной, что она соглашается на такую власть надо мною и так прямо говорит: «Иди на погибель, а я в стороне останусь». В этих словах было что-то такое циническое и откровенное, что, по-моему, было уж слишком много.

Так, стало быть, как же смотрит она на меня после этого? Это уж перешло за черту рабства и ничтожества. После такого взгляда человека возносят до себя. И как ни нелеп, как ни невероятен был весь наш разговор, но сердце у меня дрогнуло.

Вдруг она захохотала. Мы сидели тогда на скамье, пред игравшими детьми, против самого того места, где останавливались экипажи и высаживали публику в аллею, пред воксалом.

— Видите вы эту толстую баронессу? — вскричала она. — Это баронесса Вурмергельм.* Она только три дня как приехала. Видите ее мужа: длинный, сухой пруссак, с палкой в руке. Помните, как он третьего дня нас оглядывал? Ступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски.

— Зачем?

— Вы клялись, что соскочили бы с Шлангенберга; вы клянетесь, что вы готовы убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Ступайте без отговорок. Я хочу посмотреть, как барон вас прибьет палкой.

— Вы вызываете меня; вы думаете, что я не сделаю?

— Да, вызываю, ступайте, я так хочу!

— Извольте, иду, хоть это и дикая фантазия. Только вот что: чтобы не было неприятности генералу, а от него вам? Ей-богу, я не о себе хлопочу, а об вас, ну — и об генерале. И что за фантазия идти оскорблять женщину?

— Нет, вы только болтун, как я вижу, — сказала она презрительно. — У вас только глаза кровью налились давеча, — впрочем, может быть, оттого, что вы вина много выпили за обедом. Да разве я не понимаю сама, что это и глупо, и пошло, и что генерал рассердится? Я просто смеяться хочу. Ну, хочу да и только! И зачем вам оскорблять женщину? Скорее вас прибьют палкой.

Я повернулся и молча пошел исполнять ее поручение. Конечно, это было глупо, и, конечно, я не сумел вывернуться, но когда я стал подходить к баронессе, помню, меня самого как будто что-то подзадорило, именно школьничество подзадорило. Да и раздражен я был ужасно, точно пьян.

Глава VI

Вот уже два дня прошло после того глупого дня. И сколько крику, шуму, толку, стуку! И какая всё это беспорядица, неурядица, глупость и пошлость, и я всему причиною. А впрочем, иногда бывает смешно — мне по крайней мере. Я не умею себе дать отчета, что со мной сделалось, в исступленном ли я состоянии нахожусь, в самом деле, или просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут. Порой мне кажется, что у меня ум мешается. А порой кажется, что я еще не далеко от детства, от школьной скамейки, и просто грубо школьничаю.

Это Полина, это всё Полина! Может быть, не было бы и школьничества, если бы не она. Кто знает, может быть, я это всё с отчаяния (как ни глупо, впрочем, так рассуждать). И не понимаю, не понимаю, что в ней хорошего! Хороша-то она, впрочем, хороша; кажется, хороша. Ведь она и других с ума сводит. Высокая и стройная. Очень тонкая только. Мне кажется, ее можно всю в узел завязать или перегнуть надвое. Следок ноги у ней узенький и длинный — мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком. Глаза — настоящие кошачьи, но как она гордо и высокомерно умеет ими смотреть. Месяца четыре тому назад, когда я только что поступил, она, раз вечером, в зале с Де-Грие долго и горячо разговаривала. И так на него смотрела… что потом я, когда к себе пришел ложиться спать, вообразил, что она дала ему пощечину, — только что дала, стоит перед ним и на него смотрит… Вот с этого-то вечера я ее и полюбил.

Впрочем, к делу.

Я спустился по дорожке в аллею, стал посредине аллеи и выжидал баронессу и барона. В пяти шагах расстояния я снял шляпу и поклонился.

Помню, баронесса была в шелковом необъятной окружности платье, светло-серого цвета, с оборками, в кринолине и с хвостом. Она мала собой и толстоты необычайной, с ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо багровое. Глаза маленькие, злые и наглые. Идет — точно всех чести удостоивает. Барон сух, высок. Лицо, по немецкому обыкновению, кривое и в тысяче мелких морщинок; в очках; сорока пяти лет. Ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди; это, значит, порода. Горд, как павлин.

Мешковат немного. Что-то баранье в выражении лица, по-своему заменяющее глубокомыслие.

Всё это мелькнуло мне в глаза в три секунды.

Мой поклон и моя шляпа в руках сначала едва-едва остановили их внимание. Только барон слегка насупил брови. Баронесса так и плыла прямо на меня.

— Madame la baronne, — проговорил я отчетливо вслух, отчеканивая каждое слово, — j'ai l'honneur d'être votre esclave.[84]

Затем поклонился, надел шляпу и прошел мимо барона, вежливо обращая к нему лицо и улыбаясь.

Шляпу снять велела мне она, но поклонился и сошкольничал я уж сам от себя. Черт знает, что меня подтолкнуло? Я точно с горы летел.

— Гейн![*] — крикнул, или лучше сказать, крякнул барон, оборачиваясь ко мне с сердитым удивлением.

Я обернулся и остановился в почтительном ожидании, продолжая на него смотреть и улыбаться. Он, видимо, недоумевал и подтянул брови до nec plus ultra.[85] Лицо его всё более и более омрачалось. Баронесса тоже повернулась в мою сторону и тоже посмотрела в гневном недоумении. Из прохожих стали засматриваться. Иные даже приостанавливались.

— Гейн! — крякнул опять барон с удвоенным кряк-том и с удвоенным гневом.

— Jawohl,[86] — протянул я, продолжая смотреть ему прямо в глаза.

— Sind Sie rasend?[87] — крикнул он, махнув своей палкой и, кажется, немного начиная трусить. Его, может быть, смущал мой костюм. Я был очень прилично, даже щегольски одет, как человек, вполне принадлежащий к самой порядочной публике.

— Jawo-o-ohl! — крикнул я вдруг изо всей силы, протянув *о*, как протягивают берлинцы, поминутно употребляющие в разговоре фразу «jawohl» и при этом протягивающие букву *о* более или менее, для выражения различных оттенков мыслей и ощущений.

Барон и баронесса быстро повернулись и почти побежали от меня в испуге. Из публики иные заговорили, другие смотрели на меня в недоумении. Впрочем, не помню хорошо.

Я оборотился и пошел обыкновенным шагом к Полине Александровне. Но еще не доходя шагов сотни до ее скамейки, я увидел, что она встала и отправилась с детьми к отелю.

Я настиг ее у крыльца.

— Исполнил… дурачество, — сказал я, поравнявшись с нею.

— Ну, так что ж? Теперь и разделывайтесь, — ответила она, даже и не взглянув на меня, и пошла по лестнице.

Весь этот вечер я проходил в парке. Чрез парк и потом чрез лес я прошел даже в другое княжество. В одной избушке ел яичницу и пил вино: за эту идиллию с меня содрали целых полтора талера.

Только в одиннадцать часов я воротился домой. Тотчас же за мною прислали от генерала.

Наши в отеле занимают два номера; у них четыре комнаты. Первая, большая, — салон, с роялем. Рядом с нею тоже большая комната — кабинет генерала. Здесь ждал он меня, стоя среди кабинета в чрезвычайно величественном положении. Де-Грие сидел, развалясь на диване.

— Милостивый государь, позвольте спросить, что вы наделали? — начал генерал, обращаясь ко мне.

— Я бы желал, генерал, чтобы вы приступили прямо к делу, — сказал я. — Вы, вероятно, хотите говорить о моей встрече сегодня с одним немцем?

— С одним немцем?! Этот немец — барон Вурмергельм и важное лицо-с! Вы наделали ему и баронессе грубостей.

— Никаких.

— Вы испугали их, милостивый государь, — крикнул генерал.

— Да совсем же нет. Мне еще в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякому слову «jawohl», которое они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ним в аллее, мне вдруг это «jawohl», не знаю почему, вскочило на память, ну и подействовало на меня раздражительно… Да к тому же баронесса вот уж три раза, встречаясь со мною, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить. Согласитесь, я тоже могу иметь свое самолюбие. Я снял шляпу и вежливо (уверяю вас, что вежливо) сказал: «Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave». Когда барон обернулся и закричал «гейн!» — меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать: «Jawohl!» Я и крикнул два раза: первый раз обыкновенно, а второй — протянув изо всей силы. Вот и всё.

Признаюсь, я ужасно был рад этому в высшей степени мальчишескому объяснению. Мне удивительно хотелось размазывать

всю эту историю как можно нелепее.

И чем далее, тем я более во вкус входил.

— Вы смеетесь, что ли, надо мною, — крикнул генерал. Он обернулся к французу и по-французски изложил ему, что я решительно напрашиваюсь на историю. Де-Грие презрительно усмехнулся и пожал плечами.

— О, не имейте этой мысли, ничуть не бывало! — вскричал я генералу, — мой поступок, конечно, нехорош, я в высшей степени откровенно вам сознаюсь в этом. Мой поступок можно назвать даже глупым и неприличным школьничеством, но — не более. И знаете, генерал, я в высшей степени раскаиваюсь. Но тут есть одно обстоятельство, которое в моих глазах почти избавляет меня даже и от раскаяния. В последнее время, эдак недели две, даже три, я чувствую себя нехорошо: больным, нервным, раздражительным, фантастическим и, в иных случаях, теряю совсем над собою волю. Право, мне иногда ужасно хотелось несколько раз вдруг обратиться к маркизу Де-Грие и… А впрочем, нечего договаривать; может, ему будет обидно. Одним словом, это признаки болезни. Не знаю, примет ли баронесса Вурмергельм во внимание это обстоятельство, когда я буду просить у нее извинения (потому что я намерен просить у нее извинения)? Я полагаю, не примет, тем более что, сколько известно мне, этим обстоятельством начали в последнее время злоупотреблять в юридическом мире: адвокаты при уголовных процессах стали весьма часто оправдывать своих клиентов, преступников, тем, что они в момент преступления ничего не помнили и что это будто бы такая болезнь. «Прибил, дескать, и ничего не помнит», И представьте себе, генерал, медицина им поддакивает — действительно подтверждает, что бывает такая болезнь, такое временное помешательство, когда человек почти ничего не помнит, или полупомнит, или четверть помнит. Но барон и баронесса — люди поколения старого, притом прусские юнкеры и помещики. Им, должно быть, этот прогресс в юридически-медицинском мире еще неизвестен, а потому они и не примут моих объяснений. Как вы думаете, генерал?

— Довольно, сударь! — резко и с сдержанным негодованием произнес генерал, — довольно! Я постараюсь раз навсегда избавить себя от вашего школьничества. Извиняться перед баронессою и бароном вы не будете. Всякие сношения с вами, даже хотя бы они состояли

единственно в вашей просьбе о прощении, будут для них слишком унизительны. Барон, узнав, что вы принадлежите к моему дому, объяснялся уж со мною в воксале и, признаюсь вам, еще немного, и он потребовал бы у меня удовлетворения. Понимаете ли вы, чему подвергали вы меня, — меня, милостивый государь? Я, я принужден был просить у барона извинения и дал ему слово, что немедленно, сегодня же, вы не будете принадлежать к моему дому…

— Позвольте, позвольте, генерал, так это он сам непременно потребовал, чтоб я не принадлежал к вашему дому, как вы изволите выражаться?

— Нет; но я сам почел себя обязанным дать ему это удовлетворение, и, разумеется, барон остался доволен, Мы расстаемся, милостивый государь. Вам следует дополучить с меня эти четыре фридрихсдора и три флорина на здешний расчет. Вот деньги, а вот и бумажка с расчетом; можете это проверить. Прощайте. С этих пор мы чужие. Кроме хлопот и неприятностей, я не видал от вас ничего. Я позову сейчас кельнера и объявлю ему, что с завтрашнего дня не отвечаю за ваши расходы в отеле. Честь имею пребыть вашим слугою.

Я взял деньги, бумажку, на которой был карандашом написан расчет, поклонился генералу и весьма серьезно сказал ему:

— Генерал, дело так окончиться не может. Мне очень жаль, что вы подвергались неприятностям от барона, но — извините меня— виною этому вы сами. Каким образом взяли вы на себя отвечать за меня барону? Что значит выражение, что я принадлежу к вашему дому? Я просто учитель в вашем доме, и только. Я не сын родной, не под опекой у вас, и за поступки мои вы не можете отвечать. Я сам — лицо юридически компетентное. Мне двадцать пять лет, я кандидат университета, я дворянин, я вам совершенно чужой. Только одно мое безграничное уважение к вашим достоинствам останавливает меня потребовать от вас теперь же удовлетворения и дальнейшего отчета в том, что вы взяли на себя право за меня отвечать.

Генерал был до того поражен, что руки расставил, потом вдруг оборотился к французу и торопливо передал ему, что я чуть не вызвал его сейчас на дуэль. Француз громко захохотал.

— Но барону я спустить не намерен, — продолжал я с полным хладнокровием, нимало не смущаясь смехом мсье Де-Грие, — и так как вы, генерал, согласившись сегодня выслушать жалобы барона и войдя в

его интерес, поставили сами себя как бы участником во всем этом деле, то я честь имею вам доложить, что не позже как завтра поутру потребую у барона, от своего имени, формального объяснения причин, по которым он, имея дело со мною, обратился мимо меня к другому лицу, точно я не мог или был недостоин отвечать ему сам за себя.

Что я предчувствовал, то и случилось. Генерал, услышав эту новую глупость, струсил ужасно.

— Как, неужели вы намерены еще продолжать это проклятое дело! — вскричал он, — но что ж со мной-то вы делаете, о господи! Не смейте, не смейте, милостивый государь, или, клянусь вам!.. здесь есть тоже начальство, и я… я… одним словом, по моему чину… и барон тоже… одним словом, вас заарестуют и вышлют отсюда с полицией, чтоб вы не буянили! Понимаете это-с! — И хоть ему захватило дух от гнева, но все-таки он трусил ужасно.

— Генерал, — отвечал я с нестерпимым для него спокойствием, — заарестовать нельзя за буйство прежде совершения буйства. Я еще не начинал моих объяснений с бароном, а вам еще совершенно неизвестно, в каком виде и на каких основаниях я намерен приступить к этому делу. Я желаю только разъяснить обидное для меня предположение, что я нахожусь под опекой у лица, будто бы имеющего власть над моей свободной волею. Напрасно вы так себя тревожите и беспокоите.

— Ради бога, ради бога, Алексей Иванович, оставьте это бессмысленное намерение! — бормотал генерал, вдруг изменяя свой разгневанный тон на умоляющий и даже схватив меня за руки. — Ну, представьте, что из этого выйдет? опять неприятность! Согласитесь сами, я должен здесь держать себя особенным образом, особенно теперь!.. особенно теперь!.. О, вы не знаете, не знаете всех моих обстоятельств!.. Когда мы отсюда поедем, я готов опять принять вас к себе. Я теперь только так, ну, одним словом, — ведь вы понимаете же причины! — вскричал он отчаянно, — Алексей Иванович, Алексей Иванович!..

Ретируясь к дверям, я еще раз усиленно просил его не беспокоиться, обещал, что всё обойдется хорошо и прилично, и поспешил выйти.

Иногда русские за границей бывают слишком трусливы и ужасно боятся того, что скажут и как на них поглядят, и будет ли прилично вот то-то и то-то? — одним словом, держат себя точно в корсете, особенно

претендующие на значение. Самое любое для них — какая-нибудь предвзятая, раз установленная форма, которой они рабски следуют — в отелях, на гуляньях, в собраниях, в дороге… Но генерал проговорился, что у него, сверх того, были какие-то особые обстоятельства, что ему надо как-то «особенно держаться». Оттого-то он так вдруг малодушно и струсил и переменил со мной тон. Я это принял к сведению и заметил. И конечно, он мог сдуру обратиться завтра к каким-нибудь властям, так что мне надо было в самом деле быть осторожным.

Мне, впрочем, вовсе не хотелось сердить собственно генерала; но мне захотелось теперь посердить Полину. Полина обошлась со мною так жестоко и сама толкнула меня на такую глупую дорогу, что мне очень хотелось довести ее до того, чтобы она сама попросила меня остановиться. Мое школьничество могло, наконец, и ее компрометировать. Кроме того, во мне сформировались кой-какие другие ощущения и желания; если я, например, исчезаю пред нею самовольно в ничто, то это вовсе ведь не значит, что пред людьми я мокрая курица и уж, конечно, не барону «бить меня палкой». Мне захотелось над всеми ними насмеяться, а самому выйти молодцом. Пусть посмотрят. Небось! она испугается скандала и кликнет меня опять. А и не кликнет, так все-таки увидит, что я не мокрая курица…

(Удивительное известие: сейчас только услышал от нашей няни, которую встретил на лестнице, что Марья Филипповна отправилась сегодня, одна-одинешенька, в Карлсбад, с вечерним поездом, к двоюродной сестре. Это что за известие? Няня говорит, что она давно собиралась; но как же этого никто не знал? Впрочем, может, я только не знал. Няня проговорилась мне, что Марья Филипповна с генералом еще третьего дня крупно поговорила. Понимаю-с. Это, наверное, — mademoiselle Blanche. Да, у нас наступает что-то решительное).

Глава VII

Наутро я позвал кельнера и объявил, чтобы счет мне писали особенно. Номер мой был не так еще дорог, чтоб очень пугаться и совсем выехать из отеля. У меня было шестнадцать фридрихсдоров, а там… там, может быть, богатство! Странное дело, я еще не выиграл, но поступаю, чувствую и мыслю, как богач, и не могу представлять себя иначе.

Я располагал, несмотря на ранний час, тотчас же отправиться к мистеру Астлею в отель d'Angletterre, очень недалеко от нас, как вдруг вошел ко мне Де-Грие. Этого никогда еще не случалось, да, сверх того, с этим господином во всё последнее время мы были в самых чуждых и в самых натянутых отношениях. Он явно не скрывал своего ко мне пренебрежения, даже старался не скрывать; а я — я имел свои собственные причины его не жаловать. Одним словом, я его ненавидел. Приход его меня очень удивил. Я тотчас же смекнул, что тут что-нибудь особенное заварилось.

Вошел он очень любезно и сказал мне комплимент насчет моей комнаты. Видя, что я со шляпой в руках, он осведомился, неужели я так рано выхожу гулять. Когда же услышал, что я иду к мистеру Астлею по делу, подумал, сообразил, и лицо его приняло чрезвычайно озабоченный вид.

Де-Грие был, как все французы, то есть веселый и любезный, когда это надо и выгодно, и нестерпимо скучный, когда быть веселым и любезным переставала необходимость. Француз редко натурально любезен; он любезен всегда как бы по приказу, из расчета. Если, например, видит необходимость быть фантастичным, оригинальным, по-необыденнее, то фантазия его, самая глупая и неестественная, слагается из заранее принятых и давно уже опошлившихся форм. Натуральный же француз состоит из самой мещанской, мелкой, обыденной положительности, — одним словом, скучнейшее существо в мире. По-моему, только новички и особенно русские барышни прельщаются французами. Всякому же порядочному существу тотчас же заметна и нестерпима эта казенщина раз установившихся форм салонной любезности, развязности и веселости.

— Я к вам по делу, — начал он чрезвычайно независимо, хотя,

впрочем, вежливо, — и не скрою, что к вам послом или, лучше сказать, посредником от генерала. Очень плохо зная русский язык, я ничего почти вчера не понял; но генерал мне подробно объяснил, и признаюсь…

— Но послушайте, monsieur Де-Грие, — перебил я его, — вы вот и в этом деле взялись быть посредником. Я, конечно, «un outchitel» и никогда не претендовал на честь быть близким другом этого дома или на какие-нибудь особенно интимные отношения, а потому и не знаю всех обстоятельств; но разъясните мне: неужели вы уж теперь совсем принадлежите к членам этого семейства? Потому что вы, наконец, во всем берете такое участие, непременно, сейчас же во всем посредником… Вопрос мой ему не понравился. Для него он был слишком прозрачен, а проговариваться он не хотел.

— Меня связывают с генералом отчасти дела, отчасти *некоторые особенные* обстоятельства, — сказал он сухо. — Генерал прислал меня просить вас оставить ваши вчерашние намерения. Всё, что вы выдумали, конечно, очень остроумно; но он именно просил меня представить вам, что вам совершенно не удастся; мало того — вас барон не примет, и, наконец, во всяком случае он ведь имеет все средства избавиться от дальнейших неприятностей с вашей стороны. Согласитесь сами. К чему же, скажите, продолжать? Генерал же вам обещает, наверное, принять вас опять в свой дом, при первых удобных обстоятельствах, а до того времени зачесть ваше жалованье, vos appointements.[88] Ведь это довольно выгодно, не правда ли?

Я возразил ему весьма спокойно, что он несколько ошибается; что, может быть, меня от барона и не прогонят, а, напротив, выслушают, и попросил его признаться, что, вероятно, он затем и пришел, чтоб выпытать: как именно я примусь за всё это дело?

— О боже, если генерал так заинтересован, то, разумеется, ему приятно будет узнать, что и как вы будете делать? Это так естественно!

Я принялся объяснять, а он начал слушать, развалясь, несколько склонив ко мне набок голову, с явным, нескрываемым ироническим оттенком в лице. Вообще он держал себя чрезвычайно свысока. Я старался всеми силами притвориться, что смотрю на дело с самой серьезной точки зрения. Я объяснил, что так как барон обратился к генералу с жалобою на меня, точно на генеральскую слугу, то, во-первых, лишил меня этим места, а во-вторых, третировал меня как лицо,

которое не в состоянии за себя ответить и с которым не стоит и говорить. Конечно, я чувствую себя справедливо обиженным; однако, понимая разницу лет, положения в обществе и прочее, и прочее (я едва удерживался от смеха в этом месте), не хочу брать на себя еще нового легкомыслия, то есть прямо потребовать от барона или даже только предложить ему об удовлетворении. Тем не менее я считаю себя совершенно вправе предложить ему, и особенно баронессе, мои извинения, тем более что действительно в последнее время я чувствую себя нездоровым, расстроенным и, так сказать, фантастическим и прочее, и прочее. Однако ж сам барон вчерашним обидным для меня обращением к генералу и настоянием, чтобы генерал лишил меня места, поставил меня в такое положение, что теперь я уже не могу представить ему и баронессе мои извинения, потому что и он, и баронесса, и весь свет, наверно, подумают, что я пришел с извинениями со страха, чтоб получить назад свое место. Из всего этого следует, что я нахожусь теперь вынужденным просить барона, чтобы он первоначально извинился предо мною сам, в самых умеренных выражениях, — например, сказал бы, что он вовсе не желал меня обидеть. И когда барон это выскажет, тогда я уже, с развязанными руками, чистосердечно и искренно принесу ему и мои извинения. Одним словом, заключил я, я прошу только, чтобы барон развязал мне руки.

— Фи, какая щепетильность и какие утонченности! И чего вам извиняться? Ну согласитесь, monsieur… monsieur… что вы затеваете всё это нарочно, чтобы досадить генералу… а может быть, имеете какие-нибудь особые цели… mon cher monsieur, pardon, j'ai oublié votre nom, monsieur Alexis?.. n'est ce pas?[89]

— Но позвольте, mon cher marquis,[90] да вам что за дело?

— Mais le général…[91]

— А генералу что? Он вчера что-то говорил, что держать себя на какой-то ноге должен… и так тревожился… но я ничего не понял.

— Тут есть, — тут именно существует особое обстоятельство, — подхватил Де-Грие просящим тоном, в котором всё более и более слышалась досада. — Вы знаете mademoiselle de Cominges?

— То есть mademoiselle Blanche?

— Ну да, mademoiselle Blanche de Cominges… et madame sa mère…[92] согласитесь сами, генерал… одним словом, генерал влюблен и даже… даже, может быть, здесь совершится брак. И представьте при

этом разные скандалы, истории…

— Я не вижу тут ни скандалов, ни историй, касающихся брака.

— Но le baron est si irascible, un caractère prussien, vous savez, enfin il fera une querelle d'Allemand.[93]

— Так мне же, а не вам, потому что я уже не принадлежу к дому… (Я нарочно старался быть как можно бестолковее). Но позвольте, так это решено, что mademoiselle Blanche выходит за генерала? Чего же ждут? Я хочу сказать — что скрывать об этом, по крайней мере от нас, от домашних?

— Я вам не могу… впрочем, это еще не совсем… однако… вы знаете, ждут из России известия; генералу надо устроить дела…

— А, a! la baboulinka!

Де-Грие с ненавистью посмотрел на меня.

— Одним словом, — перебил он, — я вполне надеюсь на вашу врожденную любезность, на ваш ум, на такт… вы, конечно, сделаете это для того семейства, в котором вы были приняты как родной, были любимы, уважаемы…

— Помилуйте, я был выгнан! Вы вот утверждаете теперь, что это для виду; но согласитесь, если вам скажут: «Я, конечно, не хочу тебя выдрать за уши, но для виду позволь себя выдрать за уши…» Так ведь это почти всё равно?

— Если так, если никакие просьбы не имеют на вас влияния, — начал он строго и заносчиво, — то позвольте вас уверить, что будут приняты меры. Тут есть начальство, вас вышлют сегодня же, — que diable! in blan-bec comme vous[94] хочет вызвать на дуэль такое лицо, как барон! И вы думаете, что вас оставят в покое? И поверьте, вас никто здесь не боится! Если я просил, то более от себя, потому что вы беспокоили генерала. И неужели, неужели вы думаете, что барон не велит вас просто выгнать лакею?

— Да ведь я не сам пойду, — отвечал я с чрезвычайным спокойствием, — вы ошибаетесь, monsieur Де-Грие, всё это обойдется гораздо приличнее, чем вы думаете. Я вот сейчас же отправлюсь к мистеру Астлею и попрошу его быть моим посредником, одним словом, быть моим second.[95] Этот человек меня — любит и, наверное, не откажет. Он пойдет к барону, и барон его примет. Если сам я un outchitel и кажусь чем-то subalterne,[96] ну и, наконец, без защиты, то мистер Астлей — племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем, лорда

Пиброка, и лорд этот здесь. Поверьте, что барон будет вежлив с мистером Астлеем и выслушает его. А если не выслушает, то мистер Астлей почтет это себе за личную обиду (вы знаете, как англичане настойчивы) и пошлет к барону от себя приятеля, а у него приятели хорошие. Разочтите теперь, что выйдет, может быть, и не так, как вы полагаете.

Француз решительно струсил; действительно, всё это было очень похоже на правду, а стало быть, выходило, что я и в самом деле был в силах затеять историю.

— Но прошу же вас, — начал он совершенно умоляющим голосом, — оставьте всё это! Вам точно приятно, что выйдет история! Вам не удовлетворения надобно, а истории! Я сказал, что всё это выйдет забавно и даже остроумно, чего, может быть, вы и добиваетесь, но, одним словом, — заключил он, видя, что я встал и беру шляпу, — я пришел вам передать эти два слова от одной особы, прочтите, — мне поручено ждать ответа.

Сказав это, он вынул из кармана и подал мне маленькую, сложенную и запечатанную облаткою записочку.

Рукою Полины было написано:

«Мне показалось, что вы намерены продолжать эту историю. Вы рассердились и начинаете школьничать. Но тут есть особые обстоятельства, и я вам их потом, может быть, объясню; а вы, пожалуйста, перестаньте и уймитесь. Какие всё это глупости! Вы мне нужны и сами обещались слушаться. Вспомните Шлангенберг. Прошу вас быть послушным и, если надо, приказываю. Ваша П.

P. S. Если на меня за вчерашнее сердитесь, то простите меня».

У меня как бы всё перевернулось в глазах, когда я прочел эти строчки. Губы у меня побелели, и я стал дрожать. Проклятый француз смотрел с усиленно скромным видом и отводя от меня глаза, как бы для того, чтобы не видеть моего смущения. Лучше бы он захохотал надо мною.

— Хорошо, — ответил я, — скажите, чтобы mademoiselle была спокойна. Позвольте же, однако, вас спросить, — прибавил я резко, — почему вы так долго не передавали мне эту записку? Вместо того чтобы болтать о пустяках, мне кажется, вы должны были начать с этого… если вы именно и пришли с этим поручением.

— О, я хотел… вообще всё это так странно, что вы извините мое

натуральное нетерпение. Мне хотелось поскорее узнать самому лично, от вас самих, ваши намерения. Я, впрочем, не знаю, что в этой записке, и думал, что всегда успею передать.

— Понимаю, вам просто-запросто велено передать это только в крайнем случае, а если уладите на словах, то и не передавать. Так ли? Говорите прямо, monsieur Де-Грие!

— Peut-être,[97] — сказал он, принимая вид какой-то особенной сдержанности и смотря на меня каким-то особенным взглядом.

Я взял шляпу; он кивнул головой и вышел. Мне показалось, что на губах его насмешливая улыбка. Да и как могло быть иначе?

— Мы с тобой еще сочтемся, французишка, померимся! — бормотал я, сходя с лестницы. Я еще ничего не мог сообразить, точно что мне в голову ударило. Воздух несколько освежил меня.

Минуты через две, чуть-чуть только я стал ясно соображать, мне ярко представились две мысли: *первая* — что из таких пустяков, из нескольких школьнических, невероятных угроз мальчишки, высказанных вчера на лету, поднялась такая *всеобщая* тревога! и *вторая* мысль — каково же, однако, влияние этого француза на Полину? Одно его слово — и она делает всё, что ему нужно, пишет записку и *лаже просит* меня. Конечно, их отношения и всегда для меня были загадкою с самого начала, с тех пор как я их знать начал; однако ж в эти последние дни я заметил в ней решительное отвращение и даже презрение к нему, а он даже и не смотрел на нее, даже просто бывал с ней невежлив. Я это заметил. Полина сама мне говорила об отвращении; у ней уже прорывались чрезвычайно значительные признания… Значит, он просто владеет ею, она у него в каких-то цепях…

Глава VIII

На променаде, как здесь называют, то есть в каштановой аллее, я встретил моего англичанина.

— О, о! — начал он, завидя меня, — я к вам, а вы ко мне. Так вы уж расстались с вашими?

— Скажите, во-первых, почему всё это вы знаете, — спросил я в удивлении, — неужели всё это всем известно?

— О нет, все неизвестно; да и не стоит, чтоб было известно. Никто не говорит.

— Так почему вы это знаете?

— Я знаю, то есть имел случай узнать. Теперь куда вы отсюда уедете? Я люблю вас и потому к вам пришел.

— Славный вы человек, мистер Астлей, — сказал я (меня, впрочем, ужасно поразило: откуда он знает?), — и так как я еще не пил кофе, да и вы, вероятно, его плохо пили, то пойдемте к воксалу в кафе, там сядем, закурим, и я вам всё расскажу, и… вы тоже мне расскажете.

Кафе был во ста шагах. Нам принесли кофе, мы уселись, я закурил папиросу, мистер Астлей ничего не закурил и, уставившись на меня, приготовился слушать.

— Я никуда не еду, я здесь остаюсь, — начал я.

— И я был уверен, что вы останетесь, — одобрительно произнес мистер Астлей.

Идя к мистеру Астлею, я вовсе не имел намерения и даже нарочно не хотел рассказывать ему что-нибудь о моей любви к Полине. Во все эти дни я не сказал с ним об этом почти ни одного слова. К тому же он был очень застенчив. Я с первого раза заметил, что Полина произвела на него чрезвычайное впечатление, но он никогда не упоминал ее имени. Но странно, вдруг, теперь, только что он уселся и уставился на меня своим пристальным оловянным взглядом, во мне, неизвестно почему, явилась охота рассказать ему всё, то есть всю мою любовь и со всеми ее оттенками. Я рассказывал целые полчаса, и мне было это чрезвычайно приятно, в первый раз я об этом рассказывал! Заметив же, что в некоторых, особенно пылких местах, он смущается, я нарочно усиливал пылкость моего рассказа. В одном раскаиваюсь: я, может быть, сказал кое-что лишнее про француза…

Мистер Астлей слушал, сидя против меня, неподвижно, не издавая ни слова, ни звука и глядя мне в глаза; но когда я заговорил про француза, он вдруг осадил меня и строго спросил: имею ли я право упоминать об этом постороннем обстоятельстве? Мистер Астлей всегда очень странно задавал вопросы.

— Вы правы: боюсь, что нет, — ответил я.

— Об этом маркизе и о мисс Полине вы ничего не можете сказать точного, кроме одних предположений?

Я опять удивился такому категорическому вопросу от такого застенчивого человека, как мистер Астлей.

— Нет, точного ничего, — ответил я, — конечно, ничего.

— Если так, то вы сделали дурное дело не только тем, что заговорили об этом со мною, но даже и тем, что про себя это подумали.

— Хорошо, хорошо! Сознаюсь; но теперь не в том дело, — перебил я, про себя удивляясь. Тут я ему рассказал всю вчерашнюю историю во всех подробностях, выходку Полины, мое приключение с бароном, мою отставку, необыкновенную трусость генерала и, наконец, в подробности изложил сегодняшнее посещение Де-Грие, со всеми оттенками; в заключение показал ему записку.

— Что вы из этого выводите? — спросил я. — Я именно пришел узнать ваши мысли. Что же до меня касается, то я, кажется, убил бы этого французишку и, может быть, это сделаю.

— И я, — сказал мистер Астлей. — Что же касается до мисс Полины, то… вы знаете, мы вступаем в сношения даже с людьми нам ненавистными, если нас вызывает к тому необходимость. Тут могут быть сношения вам неизвестные, зависящие от обстоятельств посторонних. Я думаю, что вы можете успокоиться — отчасти, разумеется. Что же касается до вчерашнего поступка ее, то он, конечно, странен, — не потому, что она пожелала от вас отвязаться и послала вас под дубину барона (которую, я не понимаю почему, он не употребил, имея в руках), а потому, что такая выходка для такой… для такой превосходной мисс — неприлична. Разумеется, она не могла предугадать, что вы буквально исполните ее насмешливое желание…

— Знаете ли что? — вскричал я вдруг, пристально всматриваясь в мистера Астлея, — мне сдается, что вы уже о всем об этом слышали, знаете от кого? — от самой мисс Полины!

Мистер Астлей посмотрел на меня с удивлением.

— У вас глаза сверкают, и я читаю в них подозрение, — проговорил он, тотчас же возвратив себе прежнее спокойствие, — но вы не имеете ни малейших прав обнаруживать ваши подозрения. Я не могу признать этого права и вполне отказываюсь отвечать на ваш вопрос.

— Ну, довольно! И не надо! — закричал я, странно волнуясь и не понимая, почему вскочило это мне в мысль! И когда, где, каким образом мистер Астлей мог бы быть выбран Полиною в поверенные? В последнее время, впрочем, я отчасти упустил из виду мистера Астлея, а Полина и всегда была для меня загадкой, — до того загадкой, что, например, теперь, пустившись рассказывать всю историю моей любви мистеру Астлею, я вдруг, во время самого рассказа, был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного. Напротив того, всё было фантастическое, странное, неосновательное и даже ни на что не похожее.

— Ну, хорошо, хорошо; я сбит с толку и теперь еще многого не могу сообразить, — отвечал я, точно запыхавшись. — Впрочем, вы хороший человек. Теперь другое дело, и я прошу вашего — не совета, а мнения.

Я помолчал и начал:

— Как вы думаете, почему так струсил генерал? почему из моего глупейшего шалопайничества они все вывели такую историю? Такую историю, что даже сам Де-Грие нашел необходимым вмешаться (а он вмешивается только в самых важных случаях), посетил меня (каково!), просил, умолял меня — он, Де-Грие, меня! Наконец, заметьте себе, он пришел в девять часов, в конце девятого, и уж записка мисс Полины была в его руках. Когда же, спрашивается, она была написана? Может быть, мисс Полину разбудили для этого! Кроме того, что из этого я вижу, что мисс Полина его раба (потому что даже у меня просит прощения!); кроме этого, ей-то что во всем этом, ей лично? Она для чего так интересуется? Чего они испугались какого-то барона? И что ж такое, что генерал женится на mademoiselle Blanche de Cominges? Они говорят, что им как-то *особенно* держать себя вследствие этого обстоятельства надо, — но ведь это уж слишком особенно, согласитесь сами! Как вы думаете? Я по глазам вашим убежден, что вы и тут более меня знаете!

Мистер Астлей усмехнулся и кивнул головой.

— Действительно, я, кажется, и в этом гораздо больше вашего

знаю, — сказал он. — Тут всё дело касается одной mademoiselle Blanche, и я уверен, что это совершенная истина.

— Ну что ж mademoiselle Blanche? — вскричал я с нетерпением (у меня вдруг явилась надежда, что теперь что-нибудь откроется о mademoiselle Полине).

— Мне кажется, что mademoiselle Blanche имеет в настоящую минуту особый интерес всячески избегать встречи с бароном и баронессой, — тем более встречи неприятной, еще хуже — скандальной.

— Ну! Ну!

— Mademoiselle Blanche третьего года, во время сезона уже была здесь, в Рулетенбурге. И я тоже здесь находился. Mademoiselle Blanche тогда не называлась mademoiselle de Cominges, равномерно и мать ее madame veuve[98] Cominges тогда не существовала. По крайней мере о ней не было и помину. Де-Грие — Де-Грие тоже не было. Я питаю глубокое убеждение, что они не только не родня между собой, но даже и знакомы весьма недавно. Маркизом Де-Грие стал тоже весьма недавно — я в этом уверен по одному обстоятельству. Даже можно предположить, что он и Де-Грие стал называться недавно. Я знаю здесь одного человека, встречавшего его и под другим именем.

— Но ведь он имеет действительно солидный круг знакомства?

— О, это может быть. Даже mademoiselle Blanche его может иметь. Но третьего года mademoiselle Blanche, по жалобе этой самой баронессы, получила приглашение от здешней полиции покинуть город и покинула его.

— Как так?

— Она появилась тогда здесь сперва с одним итальянцем, каким-то князем, с историческим именем что-то вроде *Барберини*[*] или что-то похожее. Человек весь в перстнях и бриллиантах, и даже не фальшивых. Они ездили в удивительном экипаже. Mademoiselle Blanche играла в trente et quarante сначала хорошо, потом ей стало сильно изменять счастие; так я припоминаю. Я помню, в один вечер она проиграла чрезвычайную сумму. Но всего хуже, что un beau matin[99] ее князь исчез неизвестно куда; исчезли и лошади, и экипаж — всё исчезло. Долг в отеле ужасный. Mademoiselle Зельма (вместо Барберини она вдруг обратилась в mademoiselle Зельму) была в последней степени отчаяния. Она выла и визжала на весь отель и разорвала в бешенстве свое платье.

Тут же в отеле стоял один польский граф (все путешествующие поляки — графы), и mademoiselle Зельма, разрывавшая свои платья и царапавшая, как кошка, свое лицо своими прекрасными, вымытыми в духах руками, произвела на него некоторое впечатление. Они переговорили, и к обеду она утешилась. Вечером он появился с ней под руку в воксале. Mademoiselle Зельма смеялась, по своему обыкновению, весьма громко, и в манерах ее оказалось несколько более развязности. Она поступила прямо в тот разряд играющих на рулетке дам, которые, подходя к столу, изо всей силы отталкивают плечом игрока, чтобы очистить себе место. Это особенный здесь шик у этих дам. Вы их, конечно, заметили?

— О, да.

— Не стоит и замечать. К досаде порядочной публики, они здесь не переводятся, по крайней мере те из них, которые меняют каждый день у стола тысячефранковые билеты. Впрочем, как только они перестают менять билеты, их тотчас просят удалиться. Mademoiselle Зельма еще продолжала менять билеты, но игра ее шла еще несчастливее. Заметьте себе, что эти дамы весьма часто играют счастливо; у них удивительное владение собою. Впрочем, история моя кончена. Однажды, точно так же как и князь, исчез и граф. Mademoiselle Зельма явилась вечером играть уже одна; на этот раз никто не явился предложить ей руку. В два дня она проигралась окончательно. Поставив последний луидор и проиграв его, она осмотрелась кругом и увидела подле себя барона Вурмергельма, который очень внимательно и с глубоким негодованием ее рассматривал. Но mademoiselle Зельма не разглядела негодования и, обратившись к барону с известной улыбкой, попросила поставить за нее на красную десять луидоров. Вследствие этого, по жалобе баронессы, она к вечеру получила приглашение не показываться более в воксале. Если вы удивляетесь, что мне известны все эти мелкие и совершенно неприличные подробности, то это потому, что слышал я их окончательно от мистера Фидера, одного моего родственника, который в тот же вечер увез в своей коляске mademoiselle Зельму из Рулетенбурга в Спа. Теперь поймите: mademoiselle Blanche хочет быть генеральшей, вероятно для того, чтобы впредь не получать таких приглашений, как третьего года от полиции воксала. Теперь она уже не играет; но это потому, что теперь у ней по всем признакам есть капитал, который она ссужает здешним игрокам на проценты. Это гораздо

расчетливее. Я даже подозреваю, что ей должен и несчастный генерал. Может быть, должен и Де-Грие. Может быть, Де-Грие с ней в компании. Согласитесь сами, что, по крайней мере до свадьбы, она бы не желала почему-либо обратить на себя внимание баронессы и барона. Одним словом, в ее положении ей всего менее выгоден скандал. Вы же связаны с их домом, и ваши поступки могли возбудить скандал, тем более что она каждодневно является в публике под руку с генералом или с мисс Полиною. Теперь понимаете?

— Нет, не понимаю! — вскричал я, изо всей силы стукнув по столу так, что garçon[100] прибежал в испуге.

— Скажите, мистер Астлей, — повторил я в исступлении, — если вы уже знали всю эту историю, а следственно знаете наизусть, что такое mademoiselle Blanche de Cominges, то каким образом не предупредили вы хоть меня, самого генерала, наконец, а главное, мисс Полину, которая показывалась здесь в воксале, в публике, с mademoiselle Blanche под руку? Разве это возможно?

— Вас предупреждать мне было нечего, потому что вы ничего не могли сделать, — спокойно отвечал мистер Астлей. — А впрочем, и о чем предупреждать? Генерал, может быть, знает о mademoiselle Blanche еще более, чем я, и все-таки прогуливается с нею и с мисс Полиной. Генерал — несчастный человек. Я видел вчера, как mademoiselle Blanche скакала на прекрасной лошади с monsieur Де-Грие и с этим маленьким русским князем, а генерал скакал за ними на рыжей лошади. Он утром говорил, что у него болят ноги, но посадка его была хороша. И вот в это-то мгновение мне вдруг пришло на мысль, что это совершенно погибший человек. К тому же всё это не мое дело, и я только недавно имел честь узнать мисс Полину. А впрочем (спохватился вдруг мистер Астлей), я уже сказал вам, что не могу признать ваши права на некоторые вопросы, несмотря на то, что искренно вас люблю…

— Довольно, — сказал я, вставая, — теперь мне ясно, как день, что и мисс Полине всё известно о mademoiselle Blanche, но что она не может расстаться со своим французом, а потому и решается гулять с mademoiselle Blanche. Поверьте, что никакие другие влияния не заставили бы ее гулять с mademoiselle Blanche и умолять меня в записке не трогать барона. Тут именно должно быть это влияние, пред которым всё склоняется! И, однако, ведь она же меня и напустила на барона!

Черт возьми, тут ничего не разберешь!

— Вы забываете, во-первых, что эта mademoiselle de Cominges — невеста генерала, а во-вторых, что у мисс Полины, падчерицы генерала, есть маленький брат и маленькая сестра, родные дети генерала, уж совершенно брошенные этим сумасшедшим человеком, а кажется, и ограбленные.

— Да, да! это так! уйти от детей — значит уж совершенно их бросить, остаться — значит защитить их интересы, а может быть, и спасти клочки имения. Да, да, всё это правда! Но все-таки, все-таки! О, я понимаю, почему все они так теперь интересуются бабуленькой!

— О ком? — спросил мистер Астлей.

— О той старой ведьме в Москве, которая не умирает и о которой ждут телеграммы, что она умрет.

— Ну да, конечно, весь интерес в ней соединился. Всё дело в наследстве! Объявится наследство, и генерал женится; мисс Полина будет тоже развязана, а Де-Грие…

— Ну, а Де-Грие?

— А Де-Грие будут заплачены деньги; он того только здесь и ждет.

— Только! вы думаете, только этого и ждет?

— Более я ничего не знаю, — упорно замолчал мистер Астлей.

— А я знаю, я знаю! — повторил я в ярости, — он тоже ждет наследства, потому что Полина получит приданое, а получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы! И самые гордые из них — самыми-то пошлыми рабами и выходят! Полина способна только страстно любить и больше ничего! Вот мое мнение о ней! Поглядите на нее, особенно когда она сидит одна, задумавшись:. это — что-то предназначенное, приговоренное, проклятое! Она способна на все ужасы жизни и страсти… она… она… но кто это зовет меня? — воскликнул я вдруг. — Кто кричит? Я слышал, закричали по-русски: «Алексей Иванович!» Женский голос, слышите, слышите!

В это время мы подходили к нашему отелю. Мы давно уже, почти не замечая того, оставили кафе.

— Я слышал женские крики, но не знаю, кого зовут; это по-русски; теперь я вижу, откуда крики, — указывал мистер Астлей, — это кричит та женщина, которая сидит в большом кресле и которую внесли сейчас на крыльцо столько лакеев. Сзади несут чемоданы, значит, только что приехал поезд.

— Но почему она зовет меня? Она опять кричит; смотрите, она нам машет.

— Я вижу, что она машет, — сказал мистер Астлей.

— Алексей Иванович! Алексей Иванович! Ах, господи, что это за олух! — раздавались отчаянные крики с крыльца отеля.

Мы почти побежали к подъезду. Я вступил на площадку и… руки мои опустились от изумления, а ноги так и приросли к камню.

Глава IX

На верхней площадке широкого крыльца отеля, внесенная по ступеням в креслах и окруженная слугами, служанками и многочисленною подобострастною челядью отеля, в присутствии самого обер-кельнера, вышедшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, с собственною прислугою и с столькими баулами и чемоданами, восседала — *бабушка!* Да, это была она сама, грозная и богатая, семидесятипятилетняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня, la baboulinka, о которой пускались и получались телеграммы, умиравшая и не умершая и которая вдруг сама, собственнолично, явилась к нам как снег на голову. Она явилась, хотя и без ног, носимая, как и всегда, во все последние пять лет, в креслах, но, по обыкновению своему, бойкая, задорная, самодовольная, прямо сидящая, громко и повелительно кричащая, всех бранящая, — ну точь-в-точь такая, как я имел честь видеть ее раза два, с того времени как определился в генеральский дом учителем. Естественно, что я стоял пред нею истуканом от удивления. Она же разглядела меня своим рысьим взглядом еще за сто шагов, когда ее вносили в креслах, узнала и кликнула меня по имени и отчеству, что тоже, по обыкновению своему, раз навсегда запомнила. «И эдакую-то ждали видеть в гробу, схороненную и оставившую наследство, — пролетело у меня в мыслях, — да она всех нас и весь отель переживет! Но, боже, что ж это будет теперь с нашими, что будет теперь с генералом! Она весь отель теперь перевернет на сторону!»

— Ну что ж ты, батюшка, стал предо мною, глаза выпучил! — продолжала кричать на меня бабушка, — поклониться-поздороваться не умеешь, что ли? Аль загордился, не хочешь? Аль, может, не узнал? Слышишь, Потапыч, — обратилась она к седому старичку, во фраке, в белом галстуке и с розовой лысиной, своему дворецкому, сопровождавшему ее в вояже, — слышишь, не узнаёт! Схоронили! Телеграмму за телеграммою посылали: умерла али не умерла? Ведь я всё знаю! А я, вот видишь, и живехонька.

— Помилуйте, Антонида Васильевна, с чего мне-то вам худого желать? — весело отвечал я очнувшись, — я только был удивлен… Да и как же не подивиться, так неожиданно…

— А что тебе удивительного? Села да поехала. В вагоне покойно, толчков нет. Ты гулять ходил, что ли?

— Да, прошелся к воксалу.

— Здесь хорошо, — сказала бабушка, озираясь, — тепло и деревья богатые. Это я люблю! Наши дома? Генерал?

— О! дома, в этот час, наверно, все дома.

— А у них и здесь часы заведены и все церемонии? Тону задают. Экипаж, я слышала, держат, les seigneurs russes![101] Просвистались, так и за границу! И Прасковья с ним?

— И Полина Александровна тоже.

— И французишка? Ну да сама всех увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу, прямо к нему. Тебе-то здесь хорошо ли?

— Так себе, Антонида Васильевна.

— А ты, Потапыч, скажи этому олуху, кельнеру, чтоб мне удобную квартиру отвели, хорошую, не высоко, туда и вещи сейчас перенеси. Да чего всем-то соваться меня нести? Чего они лезут? Экие рабы! Это кто с тобой? — обратилась она опять ко мне.

— Это мистер Астлей, — отвечал я.

— Какой такой мистер Астлей?

— Путешественник, мой добрый знакомый; знаком и с генералом.

— Англичанин. То-то он уставился на меня и зубов не разжимает. Я, впрочем, люблю англичан. Ну, тащите наверх, прямо к ним на квартиру; где они там?

Бабушку понесли; я шел впереди по широкой лестнице отеля. Шествие наше было очень эффектное. Все, кто попадались, — останавливались и смотрели во все глаза. Наш отель считался самым лучшим, самым дорогим и самым аристократическим на водах. На лестнице и в коридорах всегда встречаются великолепные дамы и важные англичане. Многие осведомлялись внизу у обер-кельнера, который, с своей стороны, был глубоко поражен. Он, конечно, отвечал всем спрашивавшим, что это важная иностранка, une russe, une comtesse, grande dame[102] и что она займет то самое помещение, которое за неделю тому назад занимала la grande duchesse de N.[103] Повелительная и властительная наружность бабушки, возносимой в креслах, была причиною главного эффекта. При встрече со всяким новым лицом она тотчас обмеривала его любопытным взглядом и о всех громко меня расспрашивала. Бабушка была из крупной породы, и хотя и не вставала

с кресел, но предчувствовалось, глядя на нее, что она весьма высокого роста. Спина ее держалась прямо, как доска, и не опиралась на кресло. Седая, большая ее голова, с крупными и резкими чертами лица, держалась вверх; глядела она как-то даже заносчиво и с вызовом; и видно было, что взгляд и жесты ее совершенно натуральны. Несмотря на семьдесят пять лет, лицо ее было довольно свежо и даже зубы не совсем пострадали. Одета она была в черном шелковом платье и в белом чепчике.

— Она чрезвычайно интересует меня, — шепнул мне, подымаясь рядом со мною, мистер Астлей.

«О телеграммах она знает, — подумал я, — Де-Грие ей тоже известен, но mademoiselle Blanche еще, кажется, мало известна». Я тотчас же сообщил об этом мистеру Астлею.

Грешный человек! только что прошло мое первое удивление, я ужасно обрадовался громовому удару, который мы произведем сейчас у генерала. Меня точно что подзадоривало, и я шел впереди чрезвычайно весело.

Наши квартировали в третьем этаже; я не докладывал и даже не постучал в дверь, а просто растворил ее настежь, и бабушку внесли с триумфом. Все они были, как нарочно, в сборе, в кабинете генерала. Было двенадцать часов, и, кажется, проектировалась какая-то поездка, — одни сбирались в колясках, другие верхами, всей компанией; кроме того, были еще приглашенные из знакомых. Кроме генерала, Полины с детьми, их нянюшки, находились в кабинете: Де-Грие, mademoiselle Blanche, опять в амазонке, ее мать madame veuve Cominges, маленький князь и еще какой-то ученый путешественник, немец, которого я видел у них еще в первый раз. Кресла с бабушкой прямо опустили посредине кабинета, в трех шагах от генерала. Боже, никогда не забуду этого впечатления! Пред нашим входом генерал что-то рассказывал, а Де-Грие его поправлял. Надо заметить, что mademoiselle Blanche и Де-Грие вот уже два-три дня почему-то очень ухаживали за маленьким князем — à la barbe du pauvre général,[104] и компания хоть, может быть, и искусственно, но была настроена на самый веселый и радушно-семейный тон. При виде бабушки генерал вдруг остолбенел, разинул рот и остановился на полслове. Он смотрел на нее, выпучив глаза, как будто околдованный взглядом василиска. Бабушка смотрела на него тоже молча, неподвижно, — но что это был

за торжествующий, вызывающий и насмешливый взгляд! Они просмотрели так друг на друга секунд десять битых, при глубоком молчании всех окружающих. Де-Грие сначала оцепенел, но скоро необыкновенное беспокойство замелькало в его лице. Mademoiselle Blanche подняла брови, раскрыла рот и дико разглядывала бабушку. Князь и ученый в глубоком недоумении созерцали всю эту картину. Во взгляде Полины выразилось чрезвычайное удивление и недоумение, но вдруг она побледнела, как платок; чрез минуту кровь быстро ударила ей в лицо и залила ей щеки. Да, это была катастрофа для всех! Я только и делал, что переводил мои взгляды от бабушки на всех окружающих и обратно. Мистер Астлей стоял в стороне, по своему обыкновению, спокойно и чинно.

— Ну, вот и я! Вместо телеграммы-то! — разразилась наконец бабушка, прерывая молчание. — Что, не ожидали?

— Антонида Васильевна… тетушка… но каким же образом… — пробормотал несчастный генерал. Если бы бабушка не заговорила еще несколько секунд, то, может быть, с ним был бы удар.

— Как каким образом? Села да поехала. А железная-то дорога на что? А вы все думали: я уж ноги протянула и вам наследство оставила? Я ведь знаю, как ты отсюда телеграммы-то посылал. Денег-то что за них переплатил, я думаю. Отсюда не дешево. А я ноги на плечи, да и сюда. Это тот француз? Monsieur Де-Грие, кажется?

— Oui, madame, — подхватил Де-Грие, — et croyez, je suis si enchanté… votre santé… c'est un miracle… vous voir ici, une surprise charmante…[105]

— То-то charmante; знаю я тебя, фигляр ты эдакой, да я-то тебе вот на столечко не верю! — и она указала ему свой мизинец. — Это кто такая, — обратилась она, указывая на mademoiselle Blanche. Эффектная француженка, в амазонке, с хлыстом в руке, видимо, ее поразила. — Здешняя, что ли?

— Это mademoiselle Blanche de Cominges, а вот и маменька ее madame de Cominges; они квартируют в здешнем отеле, — доложил я.

— Замужем дочь-то? — не церемонясь, расспрашивала бабушка.

— Mademoiselle de Cominges девица, — отвечал я как можно почтительнее и нарочно вполголоса.

— Веселая?

Я было не понял вопроса.

— Не скучно с нею? По-русски понимает? Вот Де-Грие у нас в Москве намастачился по-нашему-то, с пятого на десятое.

Я объяснил ей, что mademoiselle de Cominges никогда не была в России.

— Bonjour! — сказала бабушка, вдруг резко обращаясь к mademoiselle Blanche.

— Bonjour, madame, — церемонно и изящно присела mademoiselle Blanche, поспешив, под покровом необыкновенной скромности и вежливости, выказать всем выражением лица и фигуры чрезвычайное удивление к такому странному вопросу и обращению.

— О, глаза опустила, манерничает и церемонничает; сейчас видна птица; актриса какая-нибудь. Я здесь в отеле внизу остановилась, — обратилась она вдруг к генералу, — соседка тебе буду; рад или не рад?

— О тетушка! Поверьте искренним чувствам… моего удовольствия, — подхватил генерал. Он уже отчасти опомнился, а так как при случае он умел говорить удачно, важно и с претензиею на некоторый эффект, то принялся распространяться и теперь. — Мы были так встревожены и поражены известиями о вашем нездоровье… Мы получали такие безнадежные телеграммы, и вдруг…

— Ну, врешь, врешь! — перебила тотчас бабушка.

— Но каким образом, — тоже поскорей перебил и возвысил голос генерал, постаравшись не заметить этого «врешь», — каким образом вы, однако, решились на такую поездку? Согласитесь сами, что в ваших летах и при вашем здоровье… по крайней мере всё это так неожиданно, что понятно наше удивление. Но я так рад… и мы все (он начал умильно и восторженно улыбаться) постараемся изо всех сил сделать вам здешний сезон наиприятнейшим препровождением…

— Ну, довольно; болтовня пустая; нагородил по обыкновению; я и сама сумею прожить. Впрочем, и от вас не прочь; зла не помню. Каким образом, ты спрашиваешь. Да что тут удивительного? Самым простейшим образом. И чего они все удивляются. Здравствуй, Прасковья. Ты здесь что делаешь?

— Здравствуйте, бабушка, — сказала Полина, приближаясь к ней, — давно ли в дороге?

— Ну, вот эта умнее всех спросила, а то: ах да ах! Вот видишь ты: лежала-лежала, лечили-лечили, я докторов прогнала и позвала пономаря от Николы. Он от такой же болезни сенной трухой одну бабу вылечил.

Ну, и мне помог; на третий день вся вспотела и поднялась. Потом опять собрались мои немцы, надели очки и стали рядить: «Если бы теперь, говорят, за границу на воды и курс взять, так совсем бы завалы прошли». А почему же нет, думаю? Дурь-Зажигины разахались: «Куда вам, говорят, доехать!». Ну, вот-те на! В один день собралась и на прошлой неделе в пятницу взяла девушку, да Потапыча, да Федора лакея, да этого Федора из Берлина и прогнала, потому: вижу, совсем его не надо, и одна-одинешенька доехала бы… Вагон беру особенный, а носильщики на всех станциях есть, за двугривенный куда хочешь донесут. Ишь вы квартиру нанимаете какую! — заключила она осматриваясь. — Из каких это ты денег, батюшка? Ведь всё у тебя в залоге. Одному этому французишке что должен деньжищ-то! Я ведь всё знаю, всё знаю!

— Я, тетушка… — начал генерал, весь сконфузившись, — я удивляюсь, тетушка… я, кажется, могу и без чьего-либо контроля… притом же мои расходы не превышают моих средств, и мы здесь…

— У тебя-то не превышают? сказал! У детей-то, должно быть, последнее уж заграбил, опекун!

— После этого, после таких слов… — начал генерал в негодовании, — я уже и не знаю…

— То-то не знаешь! небось здесь от рулетки не отходишь? Весь просвистался?

Генерал был так поражен, что чуть не захлебнулся от прилива взволнованных чувств своих.

— На рулетке! Я? При моем значении… Я? Опомнитесь, тетушка, вы еще, должно быть, нездоровы…

— Ну, врешь, врешь; небось оттащить не могут; всё врешь! Я вот посмотрю, что это за рулетка такая, сегодня же. Ты, Прасковья, мне расскажи, где что здесь осматривают, да вот и Алексей Иванович покажет, а ты, Потапыч, записывай все места, куда ехать. Что здесь осматривают? — обратилась вдруг она опять к Полине.

— Здесь есть близко развалины замка, потом Шлангенберг.

— Что это Шлангенберг? Роща, что ли?

— Нет, не роща, это гора; там пуант…

— Какой такой пуант?

— Самая высшая точка на горе, огороженное место. Оттуда вид бесподобный.

— Это на гору-то кресла тащить? Встащат аль нет?

— О, носильщиков сыскать можно, — отвечал я.

В это время подошла здороваться к бабушке Федосья, нянюшка, и подвела генеральских детей.

— Ну, нечего лобызаться! Не люблю целоваться с детьми: все дети сопливые. Ну, ты как здесь, Федосья?

— Здесь очинно, очинно хорошо, матушка Антонида Васильевна, — ответила Федосья. — Как вам-то было, матушка? Уж мы так про вас изболезновались.

— Знаю, ты-то простая душа. Это что у вас, всё гости, что ли? — обратилась она опять к Полине. — Это кто плюгавенький-то, в очках?

— Князь Нильский, бабушка, — прошептала ей Полина.

— А русский? А я думала, не поймет! Не слыхал, может быть! Мистера Астлея я уже видела. Да вот он опять, — увидала его бабушка, — здравствуйте! — обратилась она вдруг к нему.

Мистер Астлей молча ей поклонился.

— Ну, что вы мне скажете хорошего? Скажите что-нибудь! Переведи ему это, Полина. Полина перевела.

— То, что я гляжу на вас с большим удовольствием и радуюсь, что вы в добром здоровье, — серьезно, но с чрезвычайною готовностью ответил мистер Астлей. Бабушке перевели, и ей, видимо, это понравилось.

— Как англичане всегда хорошо отвечают, — заметила она. — Я почему-то всегда любила англичан, сравнения нет с французишками! Заходите ко мне, — обратилась она опять к мистеру Астлею. — Постараюсь вас не очень обеспокоить. Переведи это ему, да скажи ему, что я здесь внизу, здесь внизу, — слышите, внизу, внизу, — повторяла она мистеру Астлею, указывая пальцем вниз.

Мистер Астлей был чрезвычайно доволен приглашением.

Бабушка внимательным и довольным взглядом оглядела с ног до головы Полину.

— Я бы тебя, Прасковья, любила, — вдруг сказала она, — девка ты славная, лучше их всех, да характеришко у тебя — ух! Ну да и у меня характер; повернись-ка; это у тебя не накладка в волосах-то?

— Нет, бабушка, свои.

— То-то, не люблю теперешней глупой моды. Хороша ты очень. Я бы в тебя влюбилась, если б была кавалером. Чего замуж-то не

выходишь? Но, однако, пора мне. И погулять хочется, а то всё вагон да вагон… Ну что ты, всё еще сердишься? — обратилась она к генералу.

— Помилуйте, тетушка, полноте! — спохватился обрадованный генерал, — я понимаю, в ваши лета…

— Cette vieille est tombée en enfance,[106] — шепнул мне Де-Грие.

— Я вот всё хочу здесь рассмотреть. Ты мне Алексея Ивановича-то уступишь? — продолжала бабушка генералу.

— О, сколько угодно, но я и сам… и Полина и monsieur Де-Грие… мы все, все сочтем за удовольствие вас сопутствовать…

— Mais, madame, cela sera un plaisir,[107] — подвернулся Де-Грие с обворожительной улыбкой.

— То-то, plaisir. Смешон ты мне, батюшка. Денег-то я тебе, впрочем, не дам, — прибавила она вдруг генералу. — Ну, теперь в мой номер: осмотреть надо, а потом и отправимся по всем местам. Ну, подымайте.

Бабушку опять подняли, и все отправились гурьбой, вслед за креслами, вниз по лестнице. Генерал шел, как будто ошеломленный ударом дубины по голове. Де-Грие что-то соображал. Mademoiselle Blanche хотела было остаться, но почему-то рассудила тоже пойти со всеми. За нею тотчас же отправился и князь, и наверху, в квартире генерала, остались только немец и madame veuve Cominges.

Глава X

На водах — да, кажется, и во всей Европе — управляющие отелями и обер-кельнеры при отведении квартир посетителям руководствуются не столько требованиями и желаниями их, сколько собственным личным своим на них взглядом; и, надо заметить, редко ошибаются. Но бабушке, уж неизвестно почему, отвели такое богатое помещение, что даже пересолили: четыре великолепно убранные комнаты, с ванной, помещениями для прислуги, особой комнатой для камеристки и прочее, и прочее. Действительно, в этих комнатах неделю тому назад останавливалась какая-то grande duchesse, о чем, конечно, тотчас же и объявлялось новым посетителям, для придания еще большей цены квартире. Бабушку пронесли, или лучше сказать, прокатили по всем комнатам, и она внимательно и строго оглядывала их. Обер-кельнер, уже пожилой человек, с плешивой головой, почтительно сопровождал ее при этом первом осмотре.

Не знаю, за кого они все приняли бабушку, но, кажется, за чрезвычайно важную и, главное, богатейшую особу. В книгу внесли тотчас: «Madame la générale princesse de Tarassevitcheva»,[108] хотя бабушка никогда не была княгиней. Своя прислуга, особое помещение в вагоне, бездна ненужных баулов, чемоданов и даже сундуков, прибывших с бабушкой, вероятно, послужили началом престижа; а кресла, резкий тон и голос бабушки, ее эксцентрические вопросы, делаемые с самым не стесняющимся и не терпящим никаких возражений видом, одним словом, вся фигура бабушки — прямая, резкая, повелительная, — довершали всеобщее к ней благоговение. При осмотре бабушка вдруг иногда приказывала останавливать кресла, указывала на какую-нибудь вещь в меблировке и обращалась с неожиданными вопросами к почтительно улыбавшемуся, но уже начинавшему трусить обер-кельнеру. Бабушка предлагала вопросы на французском языке, на котором говорила, впрочем, довольно плохо, так что я обыкновенно переводил. Ответы обер-кельнера большею частию ей не нравились и казались неудовлетворительными. Да и она-то спрашивала всё как будто не об деле, а бог знает о чем. Вдруг, например, остановилась пред картиною — довольно слабой копией с какого-то известного оригинала с мифологическим сюжетом.

— Чей портрет?

Обер-кельнер объявил, что, вероятно, какой-нибудь графини.

— Как же ты не знаешь? Здесь живешь, а не знаешь. Почему он здесь? Зачем глаза косые?

На все эти вопросы обер-кельнер удовлетворительно отвечать не мог и даже потерялся.

— Вот болван-то! — отозвалась бабушка по-русски. Ее понесли далее. Та же история повторилась с одной саксонской статуэткой, которую бабушка долго рассматривала и потом велела вынесть, неизвестно за что. Наконец пристала к обер-кельнеру: что стоили ковры в спальне и где их ткут? Обер-кельнер обещал справиться.

— Вот ослы-то! — ворчала бабушка и обратила всё свое внимание на кровать.

— Эдакий пышный балдахин! Разверните его. s Постель развернули.

— Еще, еще, всё разверните. Снимите подушки, наволочки, подымите перину.

Всё перевернули. Бабушка осмотрела внимательно.

— Хорошо, что у них клопов нет. Всё белье долой! Постлать мое белье и мои подушки. Однако всё это слишком пышно, куда мне, старухе, такую квартиру: одной скучно. Алексей Иванович, ты бывай ко мне чаще, когда детей перестанешь учить.

— Я со вчерашнего дня не служу более у генерала, — ответил я, — и живу в отеле совершенно сам по себе.

— Это почему так?

— На днях приехал сюда один знатный немецкий барон с баронессой, супругой, из Берлина. Я вчера, на гулянье, заговорил с ним по-немецки, не придерживаясь берлинского произношения.

— Ну, так что же?

— Он счел это дерзостью и пожаловался генералу, а генерал вчера же уволил меня в отставку.

— Да что ж ты обругал, что ли, его, барона-то? (Хоть бы и обругал, так ничего!)

— О нет. Напротив, барон на меня палку поднял.

— И ты, слюняй, позволил так обращаться с своим учителем, — обратилась она вдруг к генералу, — да еще его с места прогнал! Колпаки вы, — все колпаки, как я вижу.

— Не беспокойтесь, тетушка, — отвечал генерал с некоторым высокомерно-фамильярным оттенком, — я сам умею вести мои дела. К тому же Алексей Иванович не совсем вам верно передал.

— А ты так и снес? — обратилась она ко мне.

— Я хотел было на дуэль вызвать барона, — отвечал я как можно скромнее и спокойнее, — да генерал воспротивился.

— Это зачем ты воспротивился? — опять обратилась бабушка к генералу. (А ты, батюшка, ступай, придешь, когда позовут, — обратилась она тоже и к обер-кельнеру, — нечего разиня-то рот стоять. Терпеть не могу эту харю нюрнбергскую!) — Тот откланялся и вышел, конечно, не поняв комплимента бабушки.

— Помилуйте, тетушка, разве дуэли возможны? — отвечал с усмешкой генерал.

— А почему невозможны? Мужчины все петухи; вот бы и дрались. Колпаки вы все, как я вижу, не умеете отечества своего поддержать. Ну, подымите! Потапыч, распорядись, чтоб всегда были готовы два носильщика, найми и уговорись. Больше двух не надо. Носить приходится только по лестницам, а по гладкому, по улице — катить, так и расскажи; да заплати еще им вперед, почтительнее будут. Ты же сам будь всегда при мне, а ты, Алексей Иванович, мне этого барона покажи на гулянье: какой такой фон-барон, хоть бы поглядеть на него. Ну, где же эта рулетка?

Я объяснил, что рулетки расположены в воксале, в залах. Затем последовали вопросы: много ли их? много ль играют? целый ли день играют? как устроены? Я отвечал, наконец, что всего лучше осмотреть это собственными глазами, а что так описывать довольно трудно.

— Ну, так и нести прямо туда! Иди вперед, Алексей Иванович!

— Как, неужели, тетушка, вы даже и не отдохнете с дороги? — заботливо спросил генерал. Он немного как бы засуетился, да и все они как-то замешались и стали переглядываться. Вероятно, им было несколько щекотливо, даже стыдно сопровождать бабушку прямо в воксал, где она, разумеется, могла наделать каких-нибудь эксцентричностей, но уже публично; между тем все они сами вызвались сопровождать ее.

— А чего мне отдыхать? Не устала; и без того пять дней сидела. А потом осмотрим, какие тут ключи и воды целебные и где они. А потом… как этот, — ты сказала, Прасковья, — пуант, что ли?

— Пуант, бабушка.

— Ну пуант, так пуант. А еще что здесь есть?

— Тут много предметов, бабушка, — затруднилась было Полина.

— Ну, сама не знаешь! Марфа, ты тоже со мной пойдешь, — сказала она своей камеристке.

— Но зачем же ей-то, тетушка? — захлопотал вдруг генерал, — и, наконец, это нельзя; и Потапыча вряд ли в самый воксал пустят.

— Ну, вздор! Что она слуга, так и бросить ее! Тоже ведь живой человек; вот уж неделю по дорогам рыщем, тоже и ей посмотреть хочется. С кем же ей, кроме меня? Одна-то и нос на улицу показать не посмеет.

— Но, бабушка…

— Да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома, не спрашивают. Ишь, какой генерал; я и сама генеральша. Да и чего вас такой хвост за мной, в самом деле, потащится? Я и с Алексеем Ивановичем всё осмотрю…

Но Де-Грие решительно настоял, чтобы всем сопутствовать, и пустился в самые любезные фразы насчет удовольствия ее сопровождать и прочее. Все тронулись.

— Elle est tombée en enfance, — повторял Де-Грие генералу, — seule elle fera des bêtises…[109] Далее я не расслышал, но у него, очевидно, были какие-то намерения, а может быть, даже возвратились и надежды.

До воксала было с полверсты. Путь наш шел по каштановой аллее, до сквера, обойдя который вступали прямо в воксал. Генерал несколько успокоился, потому что шествие наше хотя и было довольно эксцентрично, но тем не менее было чинно и прилично. Да и ничего удивительного не было в том факте, что на водах явился больной и расслабленный человек, без ног. Но, очевидно, генерал боялся воксала: зачем больной человек, без ног, да еще старушка, пойдет на рулетку? Полина и mademoiselle Blanche шли обе по сторонам, рядом с катившимся креслом. Mademoiselle Blanche смеялась, была скромно весела и даже весьма любезно заигрывала иногда с бабушкой, так что та ее наконец похвалила. Полина, с другой стороны, обязана была отвечать на поминутные и бесчисленные вопросы бабушки, вроде того: кто это прошел? какая это проехала? велик ли город? велик ли сад? это какие деревья? это какие горы? летают ли тут орлы? какая это смешная

крыша? Мистер Астлей шел рядом со мной и шепнул мне, что многого ожидает в это утро. Потапыч и Марфа шли сзади, сейчас за креслами, — Потапыч в своем фраке, в белом галстухе, но в картузе, а Марфа — сорокалетняя, румяная, но начинавшая уже седеть девушка — в чепчике, в ситцевом платье и в скрипучих козловых башмаках. Бабушка весьма часто к ним оборачивалась и с ними заговаривала. Де-Грие и генерал немного отстали и говорили о чем-то с величайшим жаром. Генерал был очень уныл; Де-Грие говорил с видом решительным. Может быть, он генерала ободрял; очевидно, что-то советовал. Но бабушка уже произнесла давеча роковую фразу: «Денег я тебе не дам». Может быть, для Де-Грие это известие казалось невероятным, но генерал знал свою тетушку. Я заметил, что Де-Грие и mademoiselle Blanche продолжали перемигиваться. Князя и немца-путешественника я разглядел в самом конце аллеи: они отстали и куда-то ушли от нас.

В воксал мы прибыли с триумфом. В швейцаре и в лакеях обнаружилась та же почтительность, как и в прислуге отеля. Смотрели они, однако, с любопытством. Бабушка сначала велела обнести себя по всем залам; иное похвалила, к другому осталась совершенно равнодушна; обо всем расспрашивала. Наконец дошли и до игорных зал. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настежь.

Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. За игорными рулеточными столами и на другом конце залы, где помещался стол с trente et quarante[*], толпилось, может быть, полтораста или двести игроков, в несколько рядов. Те, которые успевали протесниться к самому столу, по обыкновению, стояли крепко и не упускали своих мест до тех пор, пока не проигрывались; ибо так стоять простыми зрителями и даром занимать игорное место не позволено. Хотя кругом стола и уставлены стулья, но немногие из игроков садятся, особенно при большом стечении публики, потому что стоя можно установиться теснее и, следовательно, выгадать место, да и ловчее ставить. Второй и третий ряды теснились за первыми, ожидая и наблюдая свою очередь; но в нетерпении просовывали иногда чрез первый ряд руку, чтоб поставить свои куши. Даже из третьего ряда изловчались таким образом просовывать ставки; от этого не проходило десяти и даже пяти минут, чтоб на каком-нибудь конце стола не началась «история» за спорные ставки. Полиция воксала, впрочем,

довольно хороша. Тесноты, конечно, избежать нельзя; напротив, наплыву публики рады, потому что это выгодно; но восемь круперов, сидящих кругом стола, смотрят во все глаза за ставками, они же и рассчитываются, а при возникающих спорах они же их и разрешают. В крайних же случаях зовут полицию, и дело кончается в минуту. Полицейские помещаются тут же в зале, в партикулярных платьях, между зрителями, так что их и узнать нельзя. Они особенно смотрят за воришками и промышленниками, которых на рулетках особенно много, по необыкновенному удобству промысла. В самом деле, везде в других местах воровать приходится из карманов и из-под замков, а это, в случае неудачи, очень хлопотливо оканчивается. Тут же, просто-запросто, стоит только к рулетке подойти, начать играть и вдруг, явно и гласно, взять чужой выигрыш и положить в свой карман; если же затеется спор, то мошенник вслух и громко настаивает, что ставка — его собственная. Если дело сделано ловко и свидетели колеблются, то вор очень часто успевает оттягать деньги себе, разумеется если сумма не очень значительная. В последнем случае она, наверное, бывает замечена круперами или кем-нибудь из других игроков еще прежде. Но если сумма не так значительна, то настоящий хозяин даже иногда просто отказывается продолжать спор, совестясь скандала, и отходит. Но если успевают вора изобличить, то тотчас же выводят со скандалом.

На всё это бабушка смотрела издали, с диким любопытством. Ей очень понравилось, что воришек выводят. Trente et quarante мало возбудило ее любопытство; ей больше понравилась рулетка и что катается шарик. Она пожелала, наконец, разглядеть игру поближе. Не понимаю, как это случилось, но лакеи и некоторые другие суетящиеся агенты (преимущественно проигравшиеся полячки, навязывающие свои услуги счастливым игрокам и всем иностранцам) тотчас нашли и очистили бабушке место, несмотря на всю эту тесноту, у самой средины стола, подле главного крупера, и подкатили туда ее кресло. Множество посетителей, не играющих, но со стороны наблюдающих игру (преимущественно англичане с их семействами), тотчас же затеснились к столу, чтобы из-за игроков поглядеть на бабушку. Множество лорнетов обратилось в ее сторону. У круперов родились надежды: такой эксцентрический игрок действительно как будто обещал что-нибудь необыкновенное. Семидесятилетняя женщина без ног и желающая играть — конечно, был случай не обыденный. Я протеснился тоже к

столу и устроился подле бабушки. Потапыч и Марфа остались где-то далеко в стороне, между народом. Генерал, Полина, Де-Грие и mademoiselle Blanche тоже поместились в стороне, между зрителями.

Бабушка сначала стала осматривать игроков. Она задавала мне резкие, отрывистые вопросы полушепотом: кто это такой? это кто такая? Ей особенно понравился в конце стола один очень молодой человек, игравший в очень большую игру, ставивший тысячами и наигравший, как шептали кругом, уже тысяч до сорока франков, лежавших перед ним в куче, золотом и в банковых билетах. Он был бледен; у него сверкали глаза и тряслись руки; он ставил уже без всякого расчета, сколько рука захватит, а между тем всё выигрывал да выигрывал, всё загребал да загребал. Лакеи суетились кругом него, подставляли ему сзади кресла, очищали вокруг него место, чтоб ему было просторнее, чтоб его не теснили, — всё это в ожидании богатой благодарности. Иные игроки с выигрыша дают им иногда не считая, а так, с радости, тоже сколько рука из кармана захватит. Подле молодого человека уже устроился один полячок, суетившийся изо всех сил, и почтительно, но беспрерывно что-то шептал ему, вероятно, указывая, как ставить, советуя и направляя игру, — разумеется, тоже ожидая впоследствии подачки. Но игрок почти и не смотрел на него, ставил зря и всё загребал. Он, видимо, терялся.

Бабушка наблюдала его несколько минут.

— Скажи ему, — вдруг засуетилась бабушка, толкая меня, — скажи ему, чтоб бросил, чтоб брал поскорее деньги и уходил. Проиграет, сейчас всё проиграет! — захлопотала она, чуть не задыхаясь от волнения. — Где Потапыч? Послать к нему Потапыча! Да скажи же, скажи же, — толкала она меня, — да где же, в самом деле, Потапыч! Sortez, sortez![110] — начала было она сама кричать молодому человеку. — Я нагнулся к ней и решительно прошептал, что здесь так кричать нельзя и даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено, потому что это мешает счету, и что нас сейчас прогонят.

— Экая досада! Пропал человек, значит сам хочет… смотреть на него не могу, всю ворочает. Экой олух! — и бабушка поскорей оборотилась в другую сторону.

Там, налево, на другой половине стола, между игроками, заметна была одна молодая дама и подле нее какой-то карлик. Кто был этот карлик — не знаю: родственник ли ее, или так она брала его для

эффекта. Эту барыню я замечал и прежде; она являлась к игорному столу каждый день, в час пополудни, и уходила ровно в два; каждый день играла по одному часу. Ее уже знали и тотчас же подставляли ей кресла. Она вынимала из кармана несколько золота, несколько тысячефранковых билетов и начинала ставить тихо, хладнокровно, с расчетом, отмечая на бумажке карандашом цифры и стараясь отыскать систему, по которой в данный момент группировались шансы. Ставила она значительными кушами. Выигрывала каждый день одну, две, много три тысячи франков — не более и, выиграв, тотчас же уходила. Бабушка долго ее рассматривала.

— Ну, эта не проиграет! эта вот не проиграет! Из каких? Не знаешь? Кто такая?

— Француженка, должно быть, из эдаких, — шепнул я.

— А, видна птица по полету. Видно, что ноготок востер. Растолкуй ты мне теперь, что каждый поворот значит и как надо ставить?

Я по возможности растолковал бабушке, что значат эти многочисленные комбинации ставок, rouge et noir, pair et impair, manque et passe[111] и, наконец, разные оттенки в системе чисел. Бабушка слушала внимательно, запоминала, переспрашивала и заучивала. На каждую систему ставок можно было тотчас же привести и пример, так что многое заучивалось и запоминалось очень легко и скоро. Бабушка осталась весьма довольна.

— А что такое zéro?[112] Вот этот крупер, курчавый, главный-то, крикнул сейчас zéro? И почему он всё загреб, что ни было на столе? Эдакую кучу, всё себя взял? Это что такое?

— А zéro, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на zéro, то всё, что ни поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Правда, дается еще удар на розыгрыш, но зато банк ничего не платит.

— Вот-те на! а я ничего не получаю?

— Нет, бабушка, если вы пред этим ставили на zéro, то когда выйдет zéro, вам платят в тридцать пять раз больше.

— Как, в тридцать пять раз, и часто выходит? Что ж они, дураки, не ставят?

— Тридцать шесть шансов против, бабушка.

— Вот вздор! Потапыч! Потапыч! Постой, и со мной есть деньги — вот! Она вынула из кармана туго набитый, кошелек и взяла из него фридрихсдор. — На, поставь сейчас на zéro.

— Бабушка, zéro только что вышел, — сказал я, — стало быть, теперь долго не выйдет. Вы много проставите; подождите хоть немного.

— Ну, врешь, ставь!

— Извольте, но он до вечера, может быть, не выйдет, вы до тысячи проставите, это случалось.

— Ну, вздор, вздор! Волка бояться — в лес не ходить. Что? проиграл? Ставь еще!

Проиграли и второй фридрихсдор; поставили третий. Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось, даже кулаком стукнула по столу, когда крупер провозгласил «trente six»[113] вместо ожидаемого zéro.

— Эк ведь его! — сердилась бабушка, — да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до zéro! Это этот проклятый курчавый круперишка делает, у него никогда не выходит! Алексей Иванович, ставь два золотых за раз! Это столько проставишь, что и выйдет zéro, так ничего не возьмешь.

— Бабушка!

— Ставь, ставь! Не твои.

Я поставил два фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг — хлоп!

— Zéro, — провозгласил крупер.

— Видишь, видишь! — быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. — Я ведь сказала, сказала тебе! И надоумил меня сам господь поставить два золотых. Ну, сколько же я теперь получу? Что ж не выдают? Потапыч, Марфа, где же они? Наши все куда же ушли? Потапыч, Потапыч!

— Бабушка, после, — шептал я, — Потапыч у дверей, его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте! Бабушке выкинули запечатанный в синей бумажке тяжеловесный сверток с пятидесятью фридрихсдорами и отсчитали не запечатанных еще двадцать фридрихсдоров. Всё это я пригреб к бабушке лопаткой.

— Faites le jeu, messieurs! Faites le jeu, messieurs! Rien ne va plus? [114] — возглашал крупер, приглашая ставить и готовясь вертеть рулетку.

— Господи! опоздали! сейчас завертят! Ставь, ставь! — захлопотала бабушка, — да не мешкай, скорее, — выходила она из себя, толкая меня изо всех сил.

— Да куда ставить-то, бабушка?

— На zéro, на zéro! опять на zéro! Ставь как можно больше! Сколько у нас всего? Семьдесят фридрихсдоров? Нечего их жалеть, ставь по двадцати фридрихсдоров разом.

— Опомнитесь, бабушка! Он иногда по двести раз не выходит! Уверяю вас, вы весь капитал проставите.

— Ну, врешь, врешь! ставь! Вот язык-то звенит! Знаю, что делаю, — даже затряслась в исступлении бабушка.

— По уставу разом более двенадцати фридрихсдоров на zéro ставить не позволено, бабушка, — ну вот я поставил.

— Как не позволено? Да ты не врешь ли! Мусье! мусье! — затолкала она крупера, сидевшего тут же подле нее слева и приготовившегося вертеть, — combien zéro? douze? douze?[115]

Я поскорее растолковал вопрос по-французски.

— Oui, madame,[116] — вежливо подтвердил крупер, — равно как всякая единичная ставка не должна превышать разом четырех тысяч флоринов, по уставу, — прибавил он в пояснение.

— Ну, нечего делать, ставь двенадцать.

— Le jeu est fait![117] — крикнул крупер. Колесо завертелось, и вышло тринадцать. Проиграли!

— Еще! еще! еще! ставь еще! — кричала бабушка. Я уже не противоречил и, пожимая плечами, поставил еще двенадцать фридрихсдоров. Колесо вертелось долго. Бабушка просто дрожала, следя за колесом. «Да неужто она и в самом деле думает опять zéro выиграть?» — подумал я, смотря на нее с удивлением. Решительное убеждение в выигрыше сияло на лице ее, непременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут: zéro! Шарик вскочил в клетку.

— Zéro! — крикнул крупер.

— Что!!! — с неистовым торжеством обратилась ко мне бабушка.

Я сам был игрок; я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки-ноги дрожали, в голову ударило. Конечно, это был редкий случай, что на каких-нибудь десяти ударах три раза выскочил zéro; но особенно удивительного тут не было ничего. Я сам был свидетелем, как третьего дня вышло три zéro *сряду* и при этом один из игроков, ревностно

отмечавший на бумажке удары, громко заметил, что не далее, как вчера, этот же самый zéro упал в целые сутки один раз.

С бабушкой, как с выигравшей самый значительный выигрыш, особенно внимательно и почтительно рассчитались. Ей приходилось получить ровно четыреста двадцать фридрихсдоров, то есть четыре тысячи флоринов и двадцать фридрихсдоров. Двадцать фридрихсдоров ей выдали золотом, а четыре тысячи — банковыми билетами.

Но этот раз бабушка не звала Потапыча; она была занята не тем. Она даже не толкалась и не дрожала снаружи. Она, если можно так выразиться, дрожала изнутри. Вся на чем-то сосредоточилась, так и прицелилась:

— Алексей Иванович! он сказал, зараз можно только четыре тысячи флоринов поставить? На, бери, ставь эти все четыре на красную, — решила бабушка.

Было бесполезно отговаривать. Колесо завертелось.

— Rouge! — провозгласил крупер. Опять выигрыш в четыре тысячи флоринов, всего, стало быть, восемь.

— Четыре сюда мне давай, а четыре ставь опять на красную, — командовала бабушка. Я поставил опять четыре тысячи.

— Rouge! — провозгласил снова крупер.

— Итого двенадцать! Давай их все сюда. Золото ссыпай сюда, в кошелек, а билеты спрячь.

— Довольно! Домой! Откатите кресла!

Глава XI

Кресла откатили к дверям, на другой конец залы. Бабушка сияла. Все наши стеснились тотчас же кругом нее с поздравлениями. Как ни эксцентрично было поведение бабушки, но ее триумф покрывал многое, и генерал уже не боялся скомпрометировать себя в публике родственными отношениями с такой странной женщиной. С снисходительною и фамильярно-веселою улыбкою, как бы теша ребенка, поздравил он бабушку. Впрочем, он был видимо поражен, равно как и все зрители. Кругом говорили и указывали на бабушку. Многие проходили мимо нее, чтобы ближе ее рассмотреть. Мистер Астлей толковал о ней в стороне с двумя своими знакомыми англичанами. Несколько величавых зрительниц, дам, с величавым недоумением рассматривали ее как какое-то чудо. Де-Грие так и рассыпался в поздравлениях и улыбках.

— Quelle victoire![118] — говорил он.

— Mais, madame, c'était du feu![119] — прибавила с заигрывающей улыбкой mademoiselle Blanche.

— Да-с, вот взяла да и выиграла двенадцать тысяч флоринов! Какое двенадцать, а золото-то? G золотом почти что тринадцать выйдет. Это сколько по-нашему? Тысяч шесть, что ли, будет?

Я доложил, что и за семь перевалило, а по теперешнему курсу, пожалуй, и до восьми дойдет.

— Шутка, восемь тысяч! А вы-то сидите здесь, колпаки, ничего не делаете! Потапыч, Марфа, видели?

— Матушка, да как это вы? Восемь тысяч рублей, — восклицала, извиваясь, Марфа.

— Нате, вот вам от меня по пяти золотых, вот! Потапыч и Марфа бросились целовать ручки.

— И носильщикам дать по фридрихсдору. Дай им по золотому, Алексей Иванович. Что это лакей кланяется, и другой тоже? Поздравляют? Дай им тоже по фридрихсдору.

— Madame la princesse… un pauvre expatrié… malheur continuel… les princes russes sont si généreux,[120] — увивалась около кресел одна личность в истасканном сюртуке, пестром жилете, в усах, держа картуз на отлете и с подобострастною улыбкой…

— Дай ему тоже фридрихсдор. Нет, дай два; ну, довольно, а то конца с ними не будет. Подымите, везите! Прасковья, — обратилась она к Полине Александровне, — я тебе завтра на платье куплю, и той куплю mademoiselle… как ее, mademoiselle Blanche, что ли, ей тоже на платье куплю. Переведи ей, Прасковья!

— Merci, madame, — умильно присела mademoiselle Blanche, искривив рот в насмешливую улыбку, которою обменялась с Де-Грие и генералом. Генерал отчасти конфузился и ужасно был рад, когда мы добрались до аллеи.

— Федосья, Федосья-то, думаю, как удивится теперь, — говорила бабушка, вспоминая о знакомой генеральской нянюшке. — И ей нужно на платье подарить. Эй, Алексей Иванович, Алексей Иванович, подай этому нищему!

По дороге проходил какой-то оборванец, с скрюченною спиной, и глядел на нас.

— Да это, может быть, и не нищий, а какой-нибудь прощелыга, бабушка.

— Дай! дай! дай ему гульден!

Я подошел и подал. Он посмотрел на меня с диким недоумением, однако молча взял гульден. От него пахло вином.

— А ты, Алексей Иванович, не пробовал еще счастия?

— Нет, бабушка.

— А у самого глаза горели, я видела.

— Я еще попробую, бабушка, непременно, потом.

— И прямо ставь на zéro! Вот увидишь! Сколько у тебя капиталу?

— Всего только двадцать фридрихсдоров, бабушка.

— Немного. Пятьдесят фридрихсдоров я тебе дам взаймы, если хочешь. Вот этот самый сверток и бери, а ты, батюшка, все-таки не жди, тебе не дам! — вдруг обратилась она к генералу.

Того точно перевернуло, но он промолчал. Де-Грие нахмурился.

— Que diable, c'est une terrible vieille![121] — прошептал он сквозь зубы генералу.

— Нищий, нищий, опять нищий! — закричала бабушка. — Алексей Иванович, дай и этому гульден.

На этот раз повстречался седой старик, с деревянной ногой, в каком-то синем длиннополом сюртуке и с длинною тростью в руках. Он похож был на старого солдата. Но когда я протянул ему гульден, он

сделал шаг назад и грозно осмотрел меня.

— Was ist's der Teufel![122] — крикнул он, прибавив к этому еще с десяток ругательств.

— Ну дурак! — крикнула бабушка, махнув рукою. — Везите дальше! Проголодалась! Теперь сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять туда.

— Вы опять хотите играть, бабушка? — крикнул я.

— Как бы ты думал? Что вы-то здесь сидите да киснете, так и мне на вас смотреть?

— Mais, madame, — приблизился Де-Грие, — les chances peuvent tourner, une seule mauvaise chance et vous perdrez tout… surtout avec votre jeu… c'était terrible![123]

— Vous perdrez absolument,[124] — защебетала mademoiselle Blanche.

— Да вам-то всем какое дело? Не ваши проиграю — свои! А где этот мистер Астлей? — спросила она меня.

— В воксале остался, бабушка.

— Жаль; вот этот так хороший человек.

Прибыв домой, бабушка еще на лестнице, встретив обер-кельнера, подозвала его и похвасталась своим выигрышем; затем позвала Федосью, подарила ей три фридрихсдора и велела подавать обедать. Федосья и Марфа так и рассыпались пред нею за обедом.

— Смотрю я на вас, матушка, — трещала Марфа, — и говорю Потапычу, что это наша матушка хочет делать. А на столе денег-то, денег-то, батюшки! всю-то жизнь столько денег не видывала, а всё кругом господа, всё одни господа сидят. И откуда, говорю, Потапыч, это всё такие здесь господа? Думаю, помоги ей сама мати-божия. Молюсь я за вас, матушка, а сердце вот так и замирает, так и замирает, дрожу, вся дрожу. Дай ей, господи, думаю, а тут вот вам господь и послал. До сих пор, матушка, так и дрожу, так вот вся и дрожу.

— Алексей Иванович, после обеда, часа в четыре, готовься, пойдем. А теперь покамест прощай, да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь, тоже и воды пить надо. А то и позабудешь, пожалуй!

Я вышел от бабушки как одурманенный. Я старался себе представить, что теперь будет со всеми нашими и какой оборот примут дела? Я видел ясно, что они (генерал преимущественно) еще не успели прийти в себя, даже и от первого впечатления. Факт появления бабушки

вместо ожидаемой с часу на час телеграммы об ее смерти (а стало быть, и о наследстве) до того раздробил всю систему их намерений и принятых решений, что они с решительным недоумением и с каким-то нашедшим на всех столбняком относились к дальнейшим подвигам бабушки на рулетке. А между тем этот второй факт был чуть ли не важнее первого, потому что хоть бабушка и повторила два раза, что денег генералу не даст, но ведь кто знает, — все-таки не должно было еще терять надежды. Не терял же ее Де-Грие, замешанный во все дела генерала. Я уверен, что и mademoiselle Blanche, тоже весьма замешанная (еще бы: генеральша и значительное наследство!), не потеряла бы надежды и употребила бы все обольщения кокетства над бабушкой — в контраст с неподатливою и неумеющею приласкаться гордячкой Полиной. Но теперь, теперь, когда бабушка совершила такие подвиги на рулетке, теперь, когда личность бабушки отпечаталась пред ними так ясно и типически (строптивая, властолюбивая старуха et tombée en enfance), теперь, пожалуй, и всё погибло: ведь она, как ребенок, рада, что дорвалась, и, как водится, проиграется в пух. «Боже! — подумал я (и прости меня, господи, с самым злорадным смехом), — боже, да ведь каждый фридрихсдор, поставленный бабушкою давеча, ложился болячкою на сердце генерала, бесил Де-Грие и доводил до исступления mademoiselle de Cominges, у которой мимо рта проносили ложку. Вот и еще факт: даже с выигрыша, с радости, когда бабушка раздавала всем деньги и каждого прохожего принимала за нищего, даже и тут у ней вырвалось к генералу: „А тебе-то все-таки не дам!“ Это значит: села на этой мысли, уперлась, слово такое себе дала; — опасно! опасно!»

Все эти соображения ходили в моей голове в то время, как я поднимался от бабушки по парадной лестнице, в самый верхний этаж, в свою каморку. Всё это занимало меня сильно; хотя, конечно, я и прежде мог предугадывать главные толстейшие нити, связывавшие предо мною актеров, но все-таки окончательно не знал всех средств и тайн этой игры. Полина никогда не была со мною вполне доверчива. Хоть и случалось, правда, что она открывала мне подчас, как бы невольно, свое сердце, но я заметил, что часто, да почти и всегда, после этих открытий или в смех обратит всё сказанное, или запутает и с намерением придаст всему ложный вид. О! она многое скрывала! Во всяком случае, я предчувствовал, что подходит финал всего этого таинственного и напряженного состояния. Еще один удар — и всё будет кончено и

обнаружено. О своей участи, тоже во всем этом заинтересованный, я почти не заботился. Странное у меня настроение: в кармане всего двадцать фридрихсдоров; я далеко на чужой стороне, без места и без средств к существованию, без надежды, без расчетов и — не забочусь об этом! Если бы не дума о Полине, то я просто весь отдался бы одному комическому интересу предстоящей развязки и хохотал бы во всё горло. Но Полина смущает меня; участь ее решается, это я предчувствовал, но, каюсь, совсем не участь ее меня беспокоит. Мне хочется проникнуть в ее тайны; мне хотелось бы, чтобы она пришла ко мне и сказала: «Ведь я люблю тебя», а если нет, если это безумство немыслимо, то тогда… ну, да чего пожелать? Разве я знаю, чего желаю? Я сам как потерянный; мне только бы быть при ней, в ее ореоле, в ее сиянии, навечно, всегда, всю жизнь. Дальше я ничего не знаю! И разве я могу уйти от нее?

В третьем этаже, в их коридоре, меня что-то как толкнуло. Я обернулся и, в двадцати шагах или более, увидел выходящую из двери Полину. Она точно выжидала и высматривала меня и тотчас же к себе поманила.

— Полина Александровна…

— Тише! — предупредила она.

— Представьте себе, — зашептал я, — меня сейчас точно что толкнуло в бок; оглядываюсь — вы! Точно электричество исходит из вас какое-то!

Возьмите это письмо, — заботливо и нахмуренно произнесла Полина, наверное не расслышав того, что я сказал, — и передайте лично мистеру Астлею сейчас. Поскорее, прошу вас. Ответа не надо. Он сам…

Она не договорила.

— Мистеру Астлею? — переспросил я в удивлении. Но Полина уже скрылась в дверь.

— Ага, так у них переписка! — я, разумеется, побежал тотчас же отыскивать мистера Астлея, сперва в его отеле, где его не застал, потом в воксале, где обегал все залы, и наконец, в досаде, чуть не в отчаянии, возвращаясь домой, встретил его случайно, в кавалькаде каких-то англичан и англичанок, верхом. Я поманил его, остановил и передал ему письмо. Мы не успели и переглянуться. Но я подозреваю, что мистер Астлей нарочно поскорее пустил лошадь.

Мучила ли меня ревность? Но я был в самом разбитом состоянии духа. Я и удостовериться не хотел, о чем они переписываются. Итак, он

ее поверенный! «Друг-то друг, — думал я, — и это ясно (и когда он успел сделаться), но есть ли тут любовь?» «Конечно, нет», — шептал мне рассудок. Но ведь одного рассудка в эдаких случаях мало. Во всяком случае предстояло и это разъяснить. Дело неприятно усложнялось.

Не успел я войти в отель, как швейцар и вышедший из своей комнаты обер-кельнер сообщили мне, что меня требуют, ищут, три раза посылали наведываться: где я? — просят как можно скорее в номер к генералу. Я был в самом скверном расположении духа. У генерала в кабинете я нашел, кроме самого генерала, Де-Грие и mademoiselle Blanche, одну, без матери. Мать была решительно подставная особа, употреблявшаяся только для парада; но когда доходило до настоящего *дела*, то mademoiselle Blanche орудовала одна. Да и вряд ли та что-нибудь знала про дела своей названной дочки.

Они втроем о чем-то горячо совещались, и даже дверь кабинета была заперта, чего никогда не бывало. Подходя к дверям, я расслышал громкие голоса — дерзкий и язвительный разговор Де-Грие, нахально-ругательный и бешеный крик Blanche и жалкий голос генерала, очевидно в чем-то оправдывавшегося. При появлении моем все они как бы поприудержались и подправились. Де-Грие поправил волосы и из сердитого лица сделал улыбающееся, — тою скверною, официально-учтивою, французскою улыбкою, которую я так ненавижу. Убитый и потерявшийся генерал приосанился, но как-то машинально. Одна только mademoiselle Blanche почти не изменила своей сверкающей гневом физиономии и только замолкла, устремив на меня взор с нетерпеливым ожиданием. Замечу, что она до невероятности небрежно доселе со мною обходилась, даже не отвечала на мои поклоны, — просто не примечала меня.

— Алексей Иванович, — начал нежно распекающим тоном генерал, — позвольте вам объявить, что странно, в высочайшей степени странно… одним словом, ваши поступки относительно меня и моего семейства… одним словом, в высочайшей степени странно…

— Eh! ce n'est pas ça, — с досадой и презрением перебил Де-Грие. (Решительно, он всем заправлял!) — Mon cher monsieur, notre cher général se trompe,[125] — впадая в такой тон (продолжаю его речь по-русски), но он хотел вам сказать… то есть вас предупредить или, лучше сказать, просить вас убедительнейше, чтобы вы не губили его, — ну да,

не губили! Я употребляю именно это выражение…

— Но чем же, чем же? — прервал я.

— Помилуйте, вы беретесь быть руководителем (или как это сказать?) этой старухи, cette pauvre terrible vieille,[126] — сбивался сам Де-Грие, — но ведь она проиграется; она проиграется вся в пух! Вы сами видели, вы были свидетелем, как она играет! Если она начнет проигрывать, то она уж и не отойдет от стола, из упрямства, из злости, и всё будет играть, всё будет играть, а в таких случаях никогда не отыгрываются, и тогда… тогда…

— И тогда, — подхватил генерал, — тогда вы погубите всё семейство! Я и мое семейство, мы — ее наследники, у ней нет более близкой родни. Я вам откровенно скажу: дела мои расстроены, крайне расстроены. Вы сами отчасти знаете… Если она проиграет значительную сумму или даже, пожалуй, всё состояние (о боже!), что тогда будет с ними, с моими детьми! (генерал оглянулся на Де-Грие) — со мною! (Он поглядел на mademoiselle Blanche, с презрением от него отвернувшуюся). Алексей Иванович, спасите, спасите нас!..

— Да чем же, генерал, скажите, чем я могу… Что я-то тут значу?

— Откажитесь, откажитесь, бросьте ее!..

— Так другой найдется! — вскричал я.

— Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, — перебил опять Де-Грие, — que diable! Нет, не покидайте, но по крайней мере усовестите, уговорите, отвлеките… Ну, наконец, не дайте ей проиграть слишком много, отвлеките ее как-нибудь.

— Да как я это сделаю? Если бы вы сами взялись за это, monsieur Де-Грие, — прибавил я как можно наивнее.

Тут я заметил быстрый, огненный, вопросительный взгляд mademoiselle Blanche на Де-Грие. В лице самого Де-Грие мелькнуло что-то особенное, что-то откровенное, от чего он не мог удержаться.

— То-то и есть, что она меня не возьмет теперь! — вскричал, махнув рукой, Де-Грие. — Если б!.. потом…

Де-Грие быстро и значительно поглядел на mademoiselle Blanche.

— O mon cher monsieur Alexis, soyez si bon,[127] — шагнула ко мне с обворожительною улыбкою *сама* mademoiselle Blanche, схватила меня за обе руки и крепко сжала. Черт возьми! это дьявольское лицо умело в одну секунду меняться. В это мгновение у ней явилось такое просящее лицо, такое милое, детски улыбающееся и даже шаловливое; под конец

фразы она плутовски мне подмигнула, тихонько от всех; срезать разом, что ли, меня хотела? И недурно вышло, — только уж грубо было это, однако, ужасно.

Подскочил за ней и генерал, — именно подскочил.

— Алексей Иванович, простите, что я давеча так с вами начал, я не то совсем хотел сказать… Я вас прошу, умоляю, в пояс вам кланяюсь по-русски, — вы один, один можете нас спасти! Я и mademoiselle Cominges вас умоляем, — вы понимаете, ведь вы понимаете? — умолял он, показывая мне глазами на mademoiselle Blanche. Он был очень жалок.

В эту минуту раздались три тихие и почтительные удара в дверь; отворили — стучал коридорный слуга, а за ним, в нескольких шагах, стоял Потапыч. Послы были от бабушки. Требовалось сыскать и доставить меня немедленно, «сердятся», — сообщил Потапыч.

— Но ведь еще только половина четвертого!

— Они и заснуть не могли, всё ворочались, потом вдруг встали, кресла потребовали и за вами. Уж они теперь на крыльце-с…

— Quelle mégère![128] — крикнул Де-Грие.

Действительно, я нашел бабушку уже на крыльце, выходящую из терпения, что меня нет. До четырех часов она не выдержала.

— Ну, подымайте! — крикнула она, и мы отправились опять на рулетку.

Глава XII

Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа; видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему остальному она была невнимательна и вообще крайне рассеянна. Ни про что, например, по дороге не расспрашивала, как давеча. Увидя одну богатейшую коляску, промчавшуюся мимо нас вихрем, она было подняла руку и спросила: «Что такое? Чьи?» — но, кажется, и не расслышала моего ответа; задумчивость ее беспрерывно прерывалась резкими и нетерпеливыми телодвижениями и выходками. Когда я ей показал издали, уже подходя к воксалу, барона и баронессу Вурмергельм, она рассеянно посмотрела и совершенно равнодушно сказала: «А!» — и, быстро обернувшись к Потапычу и Марфе, шагавшим сзади, отрезала им:

— Ну, вы зачем увязались? Не каждый раз брать вас! Ступайте домой! Мне и тебя довольно, — прибавила она мне, когда те торопливо поклонились и воротились домой.

В воксале бабушку уже ждали. Тотчас же отгородили ей то же самое место, возле крупера. Мне кажется, эти круперы, всегда такие чинные и представляющие из себя обыкновенных чиновников, которым почти решительно всё равно: выиграет ли банк или проиграет, — вовсе не равнодушны к проигрышу банка и, уж конечно, снабжены кой-какими инструкциями для привлечения игроков и для вящего наблюдения казенного интереса, за что непременно и сами получают призы и премии. По крайней мере на бабушку смотрели уж как на жертвочку. Затем, что у нас предполагали, то и случилось.

Вот как было дело.

Бабушка прямо накинулась на zéro и тотчас же велела ставить по двенадцати фридрихсдоров. Поставили раз, второй, третий — zéro не выходил. «Ставь, ставь!» — толкала меня бабушка в нетерпении. Я слушался.

— Сколько раз проставили? — спросила она наконец, скрежеща зубами от нетерпения.

— Да уж двенадцатый раз ставил, бабушка. Сто сорок четыре фридрихсдора проставили. Я вам говорю, бабушка, до вечера, пожалуй…

— Молчи! — перебила бабушка. — Поставь на zéro и поставь сейчас на красную тысячу гульденов. На, вот билет.

Красная вышла, а zéro опять лопнул; воротили тысячу гульденов.

— Видишь, видишь! — шептала бабушка, — почти всё, что проставили, воротили. Ставь опять на zéro; еще раз десять поставим и бросим.

Но на пятом разе бабушка совсем соскучилась.

— Брось этот пакостный зеришко к черту. На, ставь все четыре тысячи гульденов на красную, — приказала она.

— Бабушка! много будет; ну как не выйдет красная, — умолял я; но бабушка чуть меня не прибила. (А впрочем, она так толкалась, что почти, можно сказать, и дралась). Нечего было делать, я поставил на красную все четыре тысячи гульденов, выигранные давеча. Колесо завертелось. Бабушка сидела спокойно и гордо выпрямившись, не сомневаясь в непременном выигрыше.

— Zéro, — возгласил крупер.

Сначала бабушка не поняла, но когда увидела, что крупер загреб ее четыре тысячи гульденов, вместе со всем, что стояло на столе, и узнала, что zéro, который так долго не выходил и на котором мы проставили почти двести фридрихсдоров, выскочил, как нарочно, тогда, когда бабушка только что его обругала и бросила, то ахнула и на всю залу сплеснула руками. Кругом даже засмеялись.

— Батюшки! Он тут-то проклятый и выскочил! — вопила бабушка, — ведь эдакой, эдакой окаянный! Это ты! Это всё ты! — свирепо накинулась на меня, толкаясь. — Это ты меня отговорил.

— Бабушка, я вам дело говорил, как могу отвечать я за все шансы?

— Я-те дам шансы! — шептала она грозно, — пошел вон от меня.

— Прощайте, бабушка, — повернулся я уходить.

— Алексей Иванович, Алексей Иванович, останься! Куда ты? Ну, чего, чего? Ишь рассердился! Дурак! Ну побудь, побудь еще, ну, не сердись, я сама дура! Ну скажи, ну что теперь делать!

— Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня же будете обвинять. Играйте сами; приказывайте, я ставить буду.

— Ну, ну! ну ставь еще четыре тысячи гульденов на красную! Вот бумажник, бери. — Она вынула из кармана и подала мне бумажник. — Ну, бери скорей, тут двадцать тысяч рублей чистыми деньгами.

— Бабушка, — прошептал я, — такие куши…

— Жива не хочу быть — отыграюсь. Ставь! — Поставили и проиграли., — Ставь, ставь, все восемь ставь!

— Нельзя, бабушка, самый большой куш четыре!..

— Ну ставь четыре!

На этот раз выиграли. Бабушка ободрилась.

— Видишь, видишь! — затолкала она меня, — ставь опять четыре!

Поставили — проиграли; потом еще и еще проиграли.

— Бабушка, все двенадцать тысяч ушли, — доложил я.

— Вижу, что все ушли, — проговорила она в каком-то спокойствии бешенства, если так можно выразиться, — вижу, батюшка, вижу, — бормотала она, смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая, — эх! жива не хочу быть, ставь еще четыре тысячи гульденов!

— Да денег нет, бабушка; тут в бумажнике наши пятипроцентные и еще какие-то переводы есть, а денег нет.

— А в кошельке?

— Мелочь осталась, бабушка.

— Есть здесь меняльные лавки? Мне сказали, что все наши бумаги разменять можно, — решительно спросила бабушка.

— О, сколько угодно! Но что вы потеряете за промен, так… сам жид ужаснется!

— Вздор! Отыграюсь! Вези. Позвать этих болванов! Я откатил кресла, явились носильщики, и мы покатили из воксала.

— Скорей, скорей, скорей! — командовала бабушка. — Показывай дорогу, Алексей Иванович, да поближе возьми… а далеко?

— Два шага, бабушка.

Но на повороте из сквера в аллею встретилась нам вся наша компания: генерал, Де-Грие и mademoiselle Blanche с маменькой. Полины Александровны с ними не было, мистера Астлея тоже.

— Ну, ну, ну! не останавливаться! — кричала бабушка, — ну, чего вам такое? Некогда с вами тут! Я шел сзади; Де-Грие подскочил ко мне.

— Всё давешнее проиграла и двенадцать тысяч гульденов своих просадила. Едем пятипроцентные менять, — шепнул я ему наскоро.

Де-Грие топнул ногою и бросился сообщить генералу. Мы продолжали катить бабушку.

— Остановите, остановите! — зашептал мне генерал в исступлении.

— А вот попробуйте-ка ее остановить, — шепнул я ему.

— Тетушка! — приблизился генерал, — тетушка… мы сейчас… мы сейчас… — голос у него дрожал и падал, — нанимаем лошадей и едем за город… Восхитительнейший вид… пуант… мы шли вас приглашать.

— И, ну тебя и с пуантом! — раздражительно отмахнулась от него бабушка.

— Там деревня… там будем чай пить… — продолжал генерал уже с полным отчаянием.

— Nous boirons du lait, sur l'herbe fraîche,[129] — прибавил Де-Грие с зверскою злобой.

Du lait, de l'herbe fraîche — это всё, что есть идеально идиллического у парижского буржуа; в этом, как известно, взгляд его на «nature et la vérité!*»[130]

— И, ну тебя с молоком! Хлещи сам, а у меня от него брюхо болит. Да и чего вы пристали?! — закричала бабушка, — говорю некогда!

— Приехали, бабушка! — закричал я, — здесь!

Мы подкатили к дому, где была контора банкира. Я пошел менять; бабушка осталась ждать у подъезда; Де-Грие, генерал и Blanche стояли в стороне, не зная, что им делать. Бабушка гневно на них посмотрела, и они ушли по дороге к воксалу.

Мне предложили такой ужасный расчет, что я не решился и воротился к бабушке просить инструкций.

— Ах, разбойники! — закричала она, всплеснув руками. — Ну! Ничего! — меняй! — крикнула она решительно, — стой, позови ко мне банкира!

— Разве кого-нибудь из конторщиков, бабушка?

— Ну конторщика, всё равно. Ах, разбойники!

Конторщик согласился выйти, узнав, что его просит к себе старая, расслабленная графиня, которая не может ходить. Бабушка долго, гневно и громко упрекала его в мошенничестве и торговалась с ним смесью русского, французского и немецкого языков, причем я помогал переводу. Серьезный конторщик посматривал на нас обоих и молча мотал головой. Бабушку осматривал он даже с слишком пристальным любопытством, что уже было невежливо; наконец он стал улыбаться.

— Ну, убирайся! — крикнула бабушка. — Подавись моими деньгами! Разменяй у него, Алексей Иванович, некогда, а то бы к другому поехать…

— Конторщик говорит, что у других еще меньше дадут.

Наверное не помню тогдашнего расчета, но он был ужасен. Я наменял до двенадцати тысяч флоринов золотом и билетами, взял расчет и вынес бабушке.

— Ну! ну! ну! Нечего считать, — замахала она руками, скорей, скорей, скорей!

— Никогда на этот проклятый zéro не буду ставить и на красную тоже, — промолвила она, подъезжая к воксалу.

На этот раз я всеми силами старался внушить ей ставить как можно меньше, убеждая ее, что при обороте; шансов всегда будет время поставить и большой куш. Но она была так нетерпелива, что хоть и соглашалась сначала, но возможности не было сдержать ее во время игры. Чуть только она начинала выигрывать ставки в десять, в двадцать фридрихсдоров, — «Ну, вот! Ну, вот! — начинала она толкать меня, — ну вот, выиграли же, — стояло бы четыре тысячи вместо десяти, мы бы четыре тысячи выиграли, а то что теперь? Это всё ты, всё ты!»

И как ни брала меня досада, глядя на ее игру, а я наконец решился молчать и не советовать больше ничего.

Вдруг подскочил Де-Грие. Они все трое были возле; я заметил, что mademoiselle Blanche стояла с маменькой в стороне и любезничала с князьком. Генерал был в явной немилости, почти в загоне. Blanche даже и смотреть на него не хотела, хоть он и юлил подле нее всеми силами. Бедный генерал! Он бледнел, краснел, трепетал и даже уж не следил за игрою бабушки. Blanche и князек наконец вышли; генерал побежал за ними.

— Madame, madame, — медовым голосом шептал бабушке Де-Грие, протеснившись к самому ее уху. — Madame, эдак ставка нейдет… нет, нет, не можно… — коверкал он по-русски, — нет!

— А как же? Ну, научи! — обратилась к нему бабушка.

Де-Грие вдруг быстро заболтал по-французски, начал советовать, суетился, говорил, что надо ждать шансу, стал рассчитывать какие-то цифры… бабушка ничего не понимала. Он беспрерывно обращался ко мне, чтоб я переводил; тыкал пальцем в стол, указывал; наконец схватил карандаш и начал было высчитывать на бумажке. Бабушка потеряла наконец терпение.

— Ну, пошел, пошел! Всё вздор мелешь! «Madame, madame», а сам и дела-то не понимает; пошел!

— Mais, madame, — защебетал Де-Грие и снова начал толкать и показывать. Очень уж его разбирало.

— Ну, поставь раз, как он говорит, — приказала мне бабушка, — посмотрим: может, и в самом деле выйдет.

Де-Грие хотел только отвлечь ее от больших кушей: он предлагал ставить на числа, поодиночке и в совокупности. Я поставил, по его указанию, по фридрихсдору на ряд нечетных чисел в первых двенадцати и по пяти фридрихсдоров на группы чисел от двенадцати до восемнадцати и от восемнадцати до двадцати четырех: всего поставили шестнадцать фридрихсдоров.

Колесо завертелось. «Zéro», — крикнул крупер. Мы всё проиграли.

— Эдакой болван! — крикнула бабушка, обращаясь к Де-Грие. — Эдакой ты мерзкий французишка! Ведь посоветует же изверг! Пошел, пошел! Ничего не понимает, а туда же суется!

Страшно обиженный Де-Грие пожал плечами, презрительно посмотрел на бабушку и отошел. Ему уж самому стало стыдно, что связался; слишком уж не утерпел.

Через час, как мы ни бились, — всё проиграли.

— Домой! — крикнула бабушка.

Она не промолвила ни слова до самой аллеи. В аллее, и уже подъезжая к отелю, у ней начали вырываться восклицания:

— Экая дура! экая дурында! Старая ты, старая дурында!

Только что въехали в квартиру:

— Чаю мне! — закричала бабушка, — и сейчас собираться! Едем!

— Куда, матушка, ехать изволите? — начала было Марфа.

— А тебе какое дело? Знай сверчок свой шесток! Потапыч, собирай всё, всю поклажу. Едем назад, в Москву! Я пятнадцать тысяч целковых профершпилила!

— Пятнадцать тысяч, матушка! Боже ты мой! — крикнул было Потапыч, умилительно всплеснув руками, вероятно, предполагая услужиться.

— Ну, ну, дурак! Начал еще хныкать! Молчи! Собираться! Счет, скорее, скорей!

— Ближайший поезд отправится в девять с половиною часов, бабушка, — доложил я, чтоб остановить ее фурор[*].

— А теперь сколько?

— Половина восьмого.

— Экая досада! Ну всё равно! Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Вот тебе еще два билета, сбегай туда, разменяй мне и эти. А то не с чем и ехать.

Я отправился. Через полчаса возвратившись в отель, я застал всех наших у бабушки. Узнав, что бабушка уезжает совсем в Москву, они были поражены, кажется, еще больше, чем ее проигрышем. Положим, отъездом спасалось ее состояние, но зато что же теперь станется с генералом? Кто заплатит Де-Грие? Mademoiselle Blanche, разумеется, ждать не будет, пока помрет бабушка, и, наверное, улизнет теперь с князьком или с кем-нибудь другим. Они стояли перед нею, утешали ее и уговаривали. Полины опять не было. Бабушка неистово кричала на них.

— Отвяжитесь, черти! Вам что за дело? Чего эта козлиная борода ко мне лезет, — кричала она на Де-Грие, — а тебе, пигалица, чего надо? — обратилась она к mademoiselle Blanche. — Чего юлишь?

— Diantre![131] — прошептала mademoiselle Blanche, бешено сверкнув глазами, но вдруг захохотала и вышла.

— Elle vivra cent ans![132] — крикнула она, выходя из дверей, генералу.

— А, так ты на мою смерть рассчитываешь? — завопила бабушка генералу, — пошел! Выгони их всех, Алексей Иванович! Какое вам дело? Я свое просвистала, а не ваше!

Генерал пожал плечами, согнулся и вышел. Де-Грие за ним.

— Позвать Прасковью, — велела бабушка Марфе.

Через пять минут Марфа воротилась с Полиной. Всё это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решилась весь день не выходить. Лицо ее было серьезно, грустно и озабочено.

— Прасковья, — начала бабушка, — правда ли, что я давеча стороной узнала, что будто бы этот дурак, отчим-то твой, хочет жениться на этой глупой вертушке француженке, — актриса, что ли, она, или того еще хуже? Говори, правда это?

— Наверное про это я не знаю, бабушка, — ответила Полина, — но по словам самой mademoiselle Blanche, которая не находит нужным скрывать, заключаю…

— Довольно! — энергически прервала бабушка, — всё понимаю! Я всегда считала, что от него это станется, и всегда считала его самым пустейшим и легкомысленным человеком. Натащил на себя форсу, что генерал (из полковников, по отставке получил), да и важничает. Я, мать

моя, всё знаю, как вы телеграмму за телеграммой в Москву посылали — «скоро ли, дескать, старая бабка ноги протянет?» Наследства ждали; без денег-то его эта подлая девка, как ее — de Cominges, что ли, — и в лакеи к себе не возьмет, да еще со вставными-то зубами. У ней, говорят, у самой денег куча, на проценты дает, добром нажила. Я, Прасковья, тебя не виню; не ты телеграммы посылала; и об старом тоже поминать не хочу. Знаю, что характеришка у тебя скверный — оса! укусишь, так вспухнет, да жаль мне тебя, потому: покойницу Катерину, твою мать, я любила. Ну, хочешь? бросай всё здесь и поезжай со мною. Ведь тебе деваться-то некуда; да и неприлично тебе с ними теперь. Стой! — прервала бабушка начинавшую было отвечать Полину, — я еще не докончила. От тебя я ничего не потребую. Дом у меня в Москве, сама знаешь, — дворец, хоть целый этаж занимай и хоть по неделям ко мне не сходи, коль мой характер тебе не покажется. Ну, хочешь или нет?

— Позвольте сперва вас спросить: неужели вы сейчас ехать хотите?

— Шучу, что ли, я, матушка? Сказала и поеду. Я сегодня пятнадцать тысяч целковых просадила на растреклятой вашей рулетке. В подмосковной я, пять лет назад, дала обещание церковь из деревянной в каменную перестроить, да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить.

— А воды-то, бабушка? Ведь вы приехали воды пить?

— И, ну тебя с водами твоими! Не раздражай ты меня, Прасковья; нарочно, что ли, ты? Говори, едешь аль нет?

— Я вас очень, очень благодарю, бабушка, — с чувством начала Полина, — за убежище, которое вы мне предлагаете. Отчасти вы мое положение угадали. Я вам так признательна, что, поверьте, к вам приду, может быть, даже и скоро; а теперь есть причины… важные… и решиться я сейчас, сию минуту, не могу. Если бы вы остались хоть недели две…

— Значит, не хочешь?

— Значит, не могу. К тому же во всяком случае я не могу брата и сестру оставить, а так как… так как… так как действительно может случиться, что они останутся, как брошенные, то… если возьмете меня с малютками, бабушка, то, конечно, к вам поеду и, поверьте, заслужу вам это! — прибавила она с жаром, — а без детей не могу, бабушка.

— Ну, не хнычь! (Полина и не думала хныкать, да она и никогда не плакала), — и для цыплят найдется место; велик курятник. К тому же

им в школу пора. Ну так не едешь теперь? Ну, Прасковья, смотри! Желала бы я тебе добра, а ведь я знаю, почему ты не едешь. Всё я знаю, Прасковья! Не доведет тебя этот французишка до добра.

Полина вспыхнула. Я так и вздрогнул. (Все знают! Один я, стало быть, ничего не знаю!)

— Ну, ну, не хмурься. Не стану размазывать. Только смотри, чтоб не было худа, понимаешь? Ты девка умная; жаль мне тебя будет. Ну, довольно, не глядела бы я на вас на всех! Ступай! прощай!

— Я, бабушка, еще провожу вас, — сказала Полина.

— Не надо; не мешай, да и надоели вы мне все. Полина поцеловала у бабушки руку, но та руку отдернула и сама поцеловала ее в щеку.

Проходя мимо меня, Полина быстро на меня поглядела и тотчас отвела глаза.

— Ну, прощай и ты, Алексей Иванович! Всего час до поезда. Да и устал ты со мною, я думаю. На, возьми себе эти пятьдесят золотых.

— Покорно благодарю вас, бабушка, мне совестно…

— Ну, ну! — крикнула бабушка, но до того энергично и грозно, что я не посмел отговариваться и принял.

— В Москве, как будешь без места бегать, — ко мне приходи; отрекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся!

Я пришел к себе в номер и лег на кровать. Я думаю, я лежал с полчаса навзничь, закинув за голову руки. Катастрофа уж разразилась, было о чем подумать. Завтра я решил настоятельно говорить с Полиной. А! французишка? Так, стало быть, правда! Но что же тут могло быть, однако? Полина и Де-Грие! Господи, какое сопоставление!

Всё это было просто невероятно. Я вдруг вскочил вне себя, чтоб идти тотчас же отыскать мистера Астлея и во что бы то ни стало заставить его говорить. Он, конечно, и тут больше меня знает. Мистер Астлей? вот еще для меня загадка!

Но вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю — Потапыч.

— Батюшка, Алексей Иванович: к барыне, требуют!

— Что такое? Уезжает, что ли? До поезда еще двадцать минут.

— Беспокоятся, батюшка, едва сидят. «Скорей, скорей!» — вас то есть, батюшка; ради Христа, не замедлите.

Тотчас же я сбежал вниз. Бабушку уже вывезли в коридор. В руках ее был бумажник.

— Алексей Иванович, иди вперед, пойдем!..

— Куда, бабушка?

— Жива не хочу быть, отыграюсь! Ну, марш, без расспросов! Там до полночи ведь игра идет?

Я остолбенел, подумал, но тотчас же решился.

— Воля ваша, Антонида Васильевна, не пойду.

— Это почему? Это что еще? Белены, что ли, вы все объелись!

— Воля ваша: я потом сам упрекать себя стану; не хочу! Не хочу быть ни свидетелем, ни участником; избавьте, Антонида Васильевна. Вот ваши пятьдесят фридрихсдоров назад; прощайте! — И я, положив сверток с фридрихсдорами тут же на столик, подле которого пришлись кресла бабушки, поклонился и ушел.

— Экой вздор! — крикнула мне вслед бабушка, — да не ходи, пожалуй, я и одна дорогу найду! Потапыч, иди со мною! Ну, подымайте, несите.

Мистера Астлея я не нашел и воротился домой. Поздно, уже в первом часу пополуночи, я узнал от Потапыча, чем кончился бабушкин день. Она всё проиграла, что ей давеча я наменял, то есть, по-нашему, еще десять тысяч рублей. К ней прикомандировался там тот самый полячок, которому она дала давеча два фридрихсдора, и всё время руководил ее в игре. Сначала, до полячка, она было заставляла ставить Потапыча, но скоро прогнала его; тут-то и подскочил полячок. Как нарочно, он понимал по-русски и даже болтал кое-как, смесью трех языков, так что они кое-как уразумели друг друга. Бабушка всё время нещадно ругала его, и хоть тот беспрерывно «стелился под стопки паньски», но уж «куда сравнить с вами, Алексей Иванович, — рассказывал Потапыч. — С вами она *точно с барином* обращалась, а тот — так, я сам видел своими глазами, убей бог на месте, — тут же у ней со стола воровал. Она его сама раза два на столе поймала, и уж костила она его, костила всяческими-то, батюшка, словами, даже за волосенки раз отдергала; право, не лгу, так что кругом смех пошел. Всё, батюшка, проиграла; всё как есть, всё, что вы ей наменяли. Довезли мы ее, матушку, сюда — только водицы спросила испить, перекрестилась, и в постельку. Измучилась, что ли, она, тотчас заснула. Пошли бог сны ангельские! Ох, уж эта мне заграница! — заключил Потапыч, — говорил, что не к добру. И уж поскорей бы в нашу Москву! И чего-чего у нас дома нет, в Москве? Сад, цветы, каких здесь и не бывает, дух, яблоньки наливаются, простор, — нет: надо было за границу! Ох-хо-

xo!..»

Глава XIII

Вот уже почти целый месяц прошел, как я не притрогивался к этим заметкам моим, начатым под влиянием впечатлений, хотя и беспорядочных, но сильных. Катастрофа, приближение которой я тогда предчувствовал, наступила действительно, но во сто раз круче и неожиданнее, чем я думал. Всё это было нечто странное, безобразное и даже трагическое, по крайней мере со мной. Случились со мною некоторые происшествия — почти чудесные; так по крайней мере я до сих пор гляжу на них, хотя на другой взгляд и, особенно судя по круговороту, в котором я тогда кружился, они были только что разве не совсем обыкновенные. Но чудеснее всего для меня то, как я сам отнесся ко всем этим событиям. До сих пор не понимаю себя! И всё это пролетело как сон, — даже страсть моя, а она ведь была сильна и истинна, но… куда же она теперь делась? Право: нет-нет, да мелькнет иной раз теперь в моей голове: «Уж не сошел ли я тогда с ума и не сидел ли всё это время где-нибудь в сумасшедшем доме, а может быть, и теперь сижу, — так что мне всё это *показалось* и до сих пор только *кажется…*»

Я собрал и перечел мои листки. (Кто знает, может быть, для того, чтобы убедиться, не в сумасшедшем ли доме я их писал?) Теперь я один-одинешенек. Наступает осень, желтеет лист. Сижу в этом унылом городишке (о, как унылы германские городишки!) и, вместо того чтобы обдумать предстоящий шаг, живу под влиянием только что минувших ощущений, под влиянием свежих воспоминаний, под влиянием всего этого недавнего вихря, захватившего меня тогда в этот круговорот и опять куда-то выбросившего. Мне всё кажется порой, что я всё еще кружусь в том же вихре и что вот-вот опять промчится эта буря, захватит меня мимоходом своим крылом и я выскочу опять из порядка и чувства меры и закружусь, закружусь, закружусь..

Впрочем, я, может быть, и установлюсь как-нибудь и перестану кружиться, если дам себе, по возможности, точный отчет во всем приключившемся в этот месяц. Меня тянет опять к перу; да иногда и совсем делать нечего по вечерам. Странно, для того чтобы хоть чем-нибудь заняться, я беру в здешней паршивой библиотеке для чтения романы Поль де Кока[*] (в немецком переводе!), которых я почти терпеть

не могу, но читаю их и — дивлюсь на себя: точно я боюсь серьезною книгою или каким-нибудь серьезным занятием разрушить обаяние только что минувшего. Точно уж так дороги мне этот безобразный сон и все оставшиеся по нем впечатления, что я даже боюсь дотронуться до него чем-нибудь новым, чтобы он не разлетелся в дым! Дорого мне это всё так, что ли? Да, конечно, дорого; может, и через сорок лет вспоминать буду…

Итак, принимаюсь писать. Впрочем, всё это можно рассказать теперь отчасти и покороче: впечатления совсем не те…

Во-первых, чтоб кончить с бабушкой. На другой день она проигралась вся окончательно. Так и должно было случиться: кто раз, из таких, попадается на эту дорогу, тот — точно с снеговой горы в санках катится, всё быстрее и быстрее. Она играла весь день до восьми часов вечера; я при ее игре не присутствовал и знаю только по рассказам.

Потапыч продежурил при ней в воксале целый день. Полячки, руководившие бабушку, сменялись в этот день несколько раз. Она начала с того, что прогнала вчерашнего полячка, которого она драла за волосы, и взяла другого, но другой оказался почти что еще хуже. Прогнав этого и взяв опять первого, который не уходил и толкался во всё это время изгнания тут же, за ее креслами, поминутно просовывая к ней свою голову, — она впала наконец в решительное отчаяние. Прогнанный второй полячок тоже ни за что не хотел уйти; один поместился с правой стороны, а другой с левой. Всё время они спорили и ругались друг с другом за ставки и ходы, обзывали друг друга «лайдаками[*]» и прочими польскими любезностями, потом опять мирились, кидали деньги без всякого порядка, распоряжались зря. Поссорившись, они ставили каждый с своей стороны, один, например, на красную, а другой тут же на черную. Кончилось тем, что они совсем закружили и сбили бабушку с толку, так что она наконец чуть не со слезами обратилась к старичку круперу с просьбою защитить ее, чтоб он их прогнал. Их действительно тотчас же прогнали, несмотря на их крики и протесты: они кричали оба разом и доказывали, что бабушка им же должна, что она их в чем-то обманула, поступила с ними бесчестно, подло. Несчастный Потапыч рассказывал мне всё это со слезами в тот самый вечер, после проигрыша, и жаловался, что они набивали свои карманы деньгами, что он сам видел, как они бессовестно воровали и

поминутно совали себе в карманы. Выпросит, например, у бабушки за труды пять фридрихсдоров и начнет их тут же ставить на рулетке, рядом с бабушкиными ставками. Бабушка выиграет, а он кричит, что это его ставка выиграла, а бабушка проиграла. Когда их прогоняли, то Потапыч выступил и донес, что у них полны карманы золота. Бабушка тотчас же попросила крупера распорядиться, и как оба полячка ни кричали (точно два пойманные в руки петуха), но явилась полиция и тотчас карманы их были опустошены в пользу бабушки. Бабушка, пока не проигралась, пользовалась во весь этот день у круперов и у всего воксального начальства видимым авторитетом. Мало-помалу известность ее распространялась по всему городу. Все посетители вод, всех наций, обыкновенные и самые знатные, стекались посмотреть на «une vieille comtesse russe, tombée en enfance», которая уже проиграла «несколько миллионов». Но бабушка очень, очень мало выиграла от того, что избавили ее от двух полячишек. Взамен их тотчас же к услугам ее явился третий поляк, уже совершенно чисто говоривший по-русски, одетый джентльменом, хотя все-таки смахивавший на лакея, с огромными усами и с гонором. Он тоже целовал «стопки паньски» и «стелился под стопки паньски», но относительно окружающих вел себя заносчиво, распоряжался деспотически — словом, сразу поставил себя не слугою, а хозяином бабушки. Поминутно с каждым ходом обращался он к ней и клялся ужаснейшими клятвами, что он сам «гоноровый» пан и что он не возьмет ни единой копейки из денег бабушки. Он так часто повторял эти клятвы, что та окончательно струсила. Но так как этот пан действительно вначале как будто поправил ее игру и стал было выигрывать, то бабушка и сама уже не могла от него отстать. Час спустя оба прежние полячишки, выведенные из воксала, появились снова за стулом бабушки, опять с предложением услуг, хоть на посылки. Потапыч божился, что «гоноровый пан» с ними перемигивался и даже что-то им передавал в руки. Так как бабушка не обедала и почти не сходила с кресел, то и действительно один из полячков пригодился: сбегал тут же рядом в обеденную залу воксала и достал ей чашку бульона, а потом и чаю. Они бегали, впрочем, оба. Но к концу дня, когда уже всем видно стало, что она проигрывает свой последний банковый билет, за стулом ее стояло уже до шести полячков, прежде невиданных и неслыханных. Когда же бабушка проигрывала уже последние монеты, то все они не только ее уж не слушались, но даже и

не замечали, лезли прямо чрез нее к столу, сами хватали деньги, Сами распоряжались и ставили, спорили и кричали, переговариваясь с гоноровым паном за панибрата, а гоноровый пан чуть ли даже и не забыл о существовании бабушки. Даже тогда, когда бабушка, совсем всё проигравшая, возвращалась вечером в восемь часов в отель, то и тут три или четыре полячка всё еще не решались ее оставить и бежали около кресел, по сторонам, крича из всех сил и уверяя скороговоркою, что бабушка их в чем-то надула и должна им что-то отдать. Так дошли до самого отеля, откуда их наконец прогнали в толчки.

По расчету Потапыча, бабушка проиграла всего в этот день до девяноста тысяч рублей, кроме проигранных ею вчера денег. Все свои билеты — пятипроцентные, внутренних займов, все акции, бывшие с нею, она разменяла один за другим и одну за другой. Я подивился было, как она выдержала все эти семь или восемь часов, сидя в креслах и почти не отходя от стола, но Потапыч рассказывал, что раза три она действительно начинала сильно выигрывать; а увлеченная вновь надеждою, она уж и не могла отойти. Впрочем, игроки знают, как можно человеку просидеть чуть не сутки на одном месте за картами, не спуская глаз с правой и с левой.

Между тем во весь этот день у нас в отеле происходили тоже весьма решительные вещи. Еще утром, до одиннадцати часов, когда бабушка еще была дома, наши, то есть генерал и Де-Грие, решились было на последний шаг. Узнав, что бабушка и не думает уезжать, а, напротив, отправляется опять в воксал, они во всем конклаве (кроме Полины) пришли к ней переговорить с нею окончательно и *даже откровенно.* Генерал, трепетавший и замиравший душою ввиду ужасных для него последствий, даже пересолил: после получасовых молений и просьб, и даже откровенно признавшись во всем, то есть во всех долгах, и даже в своей страсти к mademoiselle Blanche (он совсем потерялся), генерал вдруг принял грозный тон и стал даже кричать и топать ногами на бабушку; кричал, что она срамит их фамилию, стала скандалом всего города, и, наконец… наконец: «Вы срамите русское имя, сударыня! — кричал генерал, — и что на то есть полиция!» Бабушка прогнала его наконец палкой (настоящей палкой). Генерал и Де-Грие совещались еще раз или два в это утро, и именно их занимало: нельзя ли, в самом деле, как-нибудь употребить полицию? Что вот, дескать, несчастная, но почтенная старушка выжила из ума,

проигрывает последние деньги и т. д. Одним словом, нельзя ли выхлопотать какой-нибудь надзор или запрещение?.. Но Де-Грие только пожимал плечами и в глаза смеялся над генералом, уже совершенно заболтавшимся и бегавшим взад и вперед по кабинету. Наконец Де-Грие махнул рукою и куда-то скрылся. Вечером узнали, что он совсем выехал из отеля, переговорил наперед весьма решительно и таинственно с mademoiselle Blanche. Что же касается до mademoiselle Blanche, то она с самого еще утра приняла окончательные меры: она совсем отшвырнула от себя генерала и даже не пускала его к себе на глаза. Когда генерал побежал за нею в воксал и встретил ее под руку с князьком, то ни она, ни madame veuve Cominges его не узнали. Князек тоже ему не поклонился. Весь этот день mademoiselle Blanche пробовала и обработывала князя, чтоб он высказался наконец решительно. Но увы! Она жестоко обманулась в расчетах на князя! Эта маленькая катастрофа произошла уже вечером; вдруг открылось, что князь гол как сокол, и еще на нее же рассчитывал, чтобы занять у нее денег под вексель и поиграть на рулетке. Blanche с негодованием его выгнала и заперлась в своем номере.

Поутру в этот же день я ходил к мистеру Астлею или, лучше сказать, всё утро отыскивал мистера Астлея, но никак не мог отыскать его. Ни дома, ни в воксале или в парке его не было. В отеле своем он на этот раз не обедал. В пятом часу я вдруг увидел его идущего от дебаркадера железной дороги прямо в отель d'Angleterre. Он торопился и был очень озабочен, хотя и трудно различить заботу или какое бы то ни было замешательство в его лице. Он радушно протянул мне руку, с своим обычным восклицанием: «А!», но не останавливаясь на дороге и продолжая довольно спешным шагом путь. Я увязался за ним; но как-то он так сумел отвечать мне, что я ни о чем не успел и спросить его. К тому же мне было почему-то ужасно совестно заговаривать о Полине; он же сам ни слова о ней не спросил. Я рассказал ему про бабушку; он выслушал внимательно и серьезно и пожал плечами.

— Она всё проиграет, — заметил я.

— О да, — отвечал он, — ведь она пошла играть еще давеча, когда я уезжал, а потому я наверно и знал, что она проиграется. Если будет время, я зайду в воксал посмотреть, потому что это любопытно…

— Куда вы уезжали? — вскричал я, изумившись, что до сих пор не спросил.

— Я был во Франкфурте.

— По делам?

— Да, по делам.

Ну что же мне было спрашивать дальше? Впрочем, я всё еще шел подле него, но он вдруг повернул в стоявший на дороге отель «De quatre saisons»,[133] кивнул мне головой и скрылся. Возвращаясь домой, я мало-помалу догадался, что если бы я и два часа с ним проговорил, то решительно бы ничего не узнал, потому… что мне не о чем было его спрашивать! Да, конечно, так! Я никаким образом не мог бы теперь формулировать моего вопроса.

Весь этот день Полина то гуляла с детьми и нянюшкой в парке, то сидела дома. Генерала она давно уже избегала и почти ничего с ним не говорила, по крайней мере о чем-нибудь серьезном. Я это давно заметил. Но зная, в каком генерал положении сегодня, я подумал, что он не мог миновать ее, то есть между ними не могло не быть каких-нибудь важных семейных объяснений. Однако ж, когда я, возвращаясь в отель после разговора с мистером Астлеем, встретил Полину с детьми, то на ее лице отражалось самое безмятежное спокойствие, как будто все семейные бури миновали только одну ее. На мой поклон она кивнула мне головой. Я пришел к себе совсем злой.

Конечно, я избегал говорить с нею и ни разу с нею не сходился после происшествия с Вурмергельмами. При этом я отчасти форсил и ломался; но чем дальше шло время, тем всё более и более накипало во мне настоящее негодование. Если бы даже она и не любила меня нисколько, все-таки нельзя бы, кажется, так топтать мои чувства и с таким пренебрежением принимать мои признания. Ведь она знает же, что я взаправду люблю ее; ведь она сама допускала, позволяла мне так говорить с нею! Правда, это как-то странно началось у нас. Некоторое время, давно уж, месяца два назад, я стал замечать, что она хочет сделать меня своим другом, поверенным, и даже отчасти уж и пробует. Но это почему-то не пошло у нас тогда в ход; вот взамен того и остались странные теперешние отношения; оттого-то и стал я так говорить с нею. Но если ей противна моя любовь, зачем прямо не запретить мне говорить о ней?

Мне не запрещают; даже сама она вызывала иной раз меня на разговор и… конечно, делала это на смех. Я знаю наверное, я это твердо заметил, — ей было приятно, выслушав и раздражив меня до боли,

вдруг меня огорошить какою-нибудь выходкою величайшего презрения и невнимания. И ведь знает же она, что я без нее жить не могу. Вот теперь три дня прошло после истории с бароном, а я уже не могу выносить нашей *разлуки*. Когда я ее встретил сейчас у воксала, у меня забилось сердце так, что я побледнел. Но ведь и она же без меня не проживет! Я ей нужен и — неужели, неужели только как шут Балакирев[*]?

У ней тайна — это ясно! Разговор ее с бабушкой больно уколол мое сердце. Ведь я тысячу раз вызывал ее быть со мною откровенной, и ведь она знала, что я действительно готов за нее голову мою положить. Но она всегда отделывалась чуть не презрением или вместо жертвы жизнью, которую я предлагал ей, требовала от меня таких выходок, как тогда с бароном! Разве это не возмутительно? Неужели весь мир для нее в этом французе? А мистер Астлей? Но тут уже дело становилось решительно непонятным, а между тем — боже, как я мучился!

Придя домой, в порыве бешенства, я схватил перо и настрочил ей следующее:

«Полина Александровна, я вижу ясно, что пришла развязка, которая заденет, конечно, и вас. Последний раз повторяю: нужна или нет вам моя голова? Если буду нужен, хоть *на что-нибудь*, — располагайте, а я покамест сижу в своей комнате, по крайней мере большею частью, и никуда не уеду. Надо будет, — то напишите иль позовите».

Я запечатал и отправил эту записку с коридорным лакеем, с приказанием отдать прямо в руки. Ответа я не ждал, но через три минуты лакей воротился с известием, что «приказали кланяться».

Часу в седьмом меня позвали к генералу.

Он был в кабинете, одет как бы собираясь куда-то идти. Шляпа и палка лежали на диване. Мне показалось входя, что он стоял среди комнаты, расставив ноги, опустя голову, и что-то говорил вслух сам с собой. Но только что он завидел меня, как бросился ко мне чуть не с криком, так что я невольно отшатнулся и хотел было убежать; но он схватил меня за обе руки и потащил к дивану; сам сел на диван, меня посадил прямо против себя в кресла и, не выпуская моих рук, с дрожащими губами, со слезами, заблиставшими вдруг на его ресницах, умоляющим голосом проговорил:

— Алексей Иванович, спасите, спасите, пощадите!

Я долго не мог ничего понять; он всё говорил, говорил, говорил и всё повторял: «Пощадите, пощадите!» Наконец я догадался, что он ожидает от меня чего-то вроде совета; или, лучше сказать, всеми оставленный, в тоске и тревоге, он вспомнил обо мне и позвал меня, чтоб только говорить, говорить, говорить.

Он помешался, по крайней мере в высшей степени потерялся. Он складывал руки и готов был броситься предо мной на колени, чтобы (как вы думаете?) — чтоб я сейчас же шел к mademoiselle Blanche и упросил, усовестил ее воротиться к нему и выйти за него замуж.

— Помилуйте, генерал, — вскричал я, — да mademoiselle Blanche, может быть, еще и не заметила меня до сих пор? Что могу я сделать?

Но напрасно было и возражать: он не понимал, что ему говорят. Пускался он говорить и о бабушке, но только ужасно бессвязно; он всё еще стоял на мысли послать за полициею.

— У нас, у нас, — начинал он, вдруг вскипая негодованием, — одним словом, у нас, в благоустроенном государстве, где есть начальство, над такими старухами тотчас бы опеку устроили! Да-с, милостивый государь, да-с, — продолжал он, вдруг впадая в распекательный тон, вскочив с места и расхаживая по комнате; — вы еще не знали этого, милостивый государь, — обратился он к какому-то воображаемому милостивому государю в угол, — так вот и узнаете… да-с… у нас эдаких старух в дугу гнут, в дугу, в дугу-с, да-с… о, черт возьми!

И он бросался опять на диван, а чрез минуту, чуть не всхлипывая, задыхаясь, спешил рассказать мне, что mademoiselle Blanche оттого ведь за него не выходит, что вместо телеграммы приехала бабушка и что теперь уже ясно, что он не получит наследства. Ему казалось, что ничего еще этого я не знаю. Я было заговорил о Де-Грие; он махнул рукою:

— Уехал! у него всё мое в закладе; я гол как сокол! Те деньги, которые вы привезли… те деньги, — я не знаю, сколько там, кажется франков семьсот осталось, и — довольно-с, вот и всё, а дальше — не знаю-с, не знаю-с!..

— Как же вы в отеле расплатитесь? — вскричал я в испуге, — и… потом что же?

Он задумчиво посмотрел, но, кажется, ничего не понял и даже, может быть, не расслышал меня. Я попробовал было заговорить о

Полине Александровне, о детях; он наскоро отвечал:

— Да! да! — но тотчас же опять пускался говорить о князе, о том, что теперь уедет с ним Blanche и тогда… и тогда — что же мне делать, Алексей Иванович? — обращался он вдруг ко мне. — Клянусь богом! Что же мне делать, — скажите, ведь это неблагодарность! Ведь это же неблагодарность?

Наконец он залился в три ручья слезами.

Нечего было делать с таким человеком; оставить его одного тоже было опасно; пожалуй, могло с ним что-нибудь приключиться. Я, впрочем, от него кое-как избавился, но дал знать нянюшке, чтоб та наведывалась почаще, да, кроме того, поговорил с коридорным лакеем, очень толковым малым; тот обещался мне тоже с своей стороны присматривать.

Едва только оставил я генерала, как явился ко мне Потапыч с зовом к бабушке. Было восемь часов, и она только что воротилась из воксала после окончательного проигрыша. Я отправился к ней: старуха сидела в креслах, совсем измученная и видимо больная. Марфа подавала ей чашку чая, которую почти насильно заставила ее выпить. И голос и тон бабушки ярко изменились.

— Здравствуйте, батюшка Алексей Иванович, — сказала она медленно и важно склоняя голову, — извините, что еще раз побеспокоила, простите старому человеку. Я, отец мой, всё там оставила, почти сто тысяч рублей. Прав ты был, что вчера не пошел со мною. Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты, в девять с половиною и поеду. Послала я к этому твоему англичанину, Астлею, что ли, и хочу у него спросить три тысячи франков на неделю. Так убеди ты его, чтоб он как-нибудь чего не подумал и не отказал. Я еще, отец мой, довольно богата. У меня три деревни и два дома есть. Да и денег еще найдется, не все с собой взяла. Для того я это говорю, чтоб не усомнился он как-нибудь… А, да вот и он! Видно хорошего человека.

Мистер Астлей поспешил по первому зову бабушки. Нимало не думая и много не говоря, он тотчас же отсчитал ей три тысячи франков под вексель, который бабушка и подписала. Кончив дело, он откланялся и поспешил выйти.

— А теперь ступай и ты, Алексей Иванович. Осталось час с небольшим — хочу прилечь, кости болят. Не взыщи на мне, старой

дуре. Теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии, да и того несчастного, генерала-то вашего, тоже грешно мне теперь обвинять. Денег я ему все-таки не дам, как он хочет, потому — уж совсем он, на мой взгляд, глупехонек, только и я, старая дура, не умнее его. Подлинно, бог и на старости взыщет и накажет гордыню. Ну, прощай. Марфуша, подыми меня.

Я, однако, желал проводить бабушку. Кроме того, я был в каком-то ожидании, я всё ждал, что вот-вот сейчас что-то случится. Мне не сиделось у себя. Я выходил в коридор, даже на минутку вышел побродить по аллее. Письмо мое к ней было ясно и решительно, а теперешняя катастрофа — уж, конечно, окончательная. В отеле я услышал об отъезде Де-Грие. Наконец, если она меня и отвергнет, как друга, то, может быть, как слугу не отвергнет. Ведь нужен же я ей хоть на посылки; да пригожусь, как же иначе!

Ко времени поезда я сбегал на дебаркадер и усадил бабушку. Они все уселись в особый семейный вагон. «Спасибо тебе, батюшка, за твое бескорыстное участие, — простилась она со мною, — да передай Прасковье то, о чем я вчера ей говорила, — я ее буду ждать».

Я пошел домой. Проходя мимо генеральского номера, я встретил нянюшку и осведомился о генерале. «И, батюшка, ничего», — отвечала та уныло. Я, однако, зашел, но в дверях кабинета остановился в решительном изумлении. Mademoiselle Blanche и генерал хохотали о чем-то взапуски. Veuve Cominges сидела тут же на диване. Генерал был, видимо, без ума от радости, лепетал всякую бессмыслицу и заливался нервным длинным смехом, от которого всё лицо его складывалось в бесчисленное множество морщинок и куда-то прятались глаза. После я узнал от самой же Blanche, что она, прогнав князя и узнав о плаче генерала, вздумала его утешить и зашла к нему на минутку. Но не знал бедный генерал, что в эту минуту участь его была решена и что Blanche уже начала укладываться, чтоб завтра же, с первым утренним поездом, лететь в Париж. Постояв на пороге генеральского кабинета, я раздумал входить и вышел незамеченный. Поднявшись к себе и отворив дверь, я в полутемноте заметил вдруг какую-то фигуру, сидевшую на стуле, в углу, у окна. Она не поднялась при моем появлении. Я быстро подошел, посмотрел и — дух у меня захватило: это была Полина!

Глава XIV

Я так и вскрикнул.

— Что же? Что же? — странно спрашивала она. Она была бледна и смотрела мрачно.

— Как что же? Вы? здесь, у меня!

— Если я прихожу, то уж *вся* прихожу. Это моя привычка. Вы сейчас это увидите; зажгите свечу.

Я зажег свечку. Она встала, подошла к столу и положила предо мной распечатанное письмо.

— Прочтите, — велела она.

— Это, — это рука Де-Грие! — вскричал я, схватив письмо. Руки у меня тряслись, и строчки прыгали пред глазами. Я забыл точные выражения письма, но вот оно — хоть не слово в слово, так, по крайней мере, мысль в мысль.

«Mademoiselle, — писал Де-Грие, — неблагоприятные обстоятельства заставляют меня уехать немедленно. Вы, конечно, сами заметили, что я нарочно избегал окончательного объяснения с вами до тех пор, пока не разъяснились все обстоятельства. Приезд старой (de la vieille dame) вашей родственницы и нелепый ее поступок покончили все мои недоумения. Мои собственные расстроенные дела запрещают мне окончательно питать дальнейшие сладостные надежды, которыми я позволял себе упиваться некоторое время. Сожалею о прошедшем, но надеюсь, что в поведении моем вы не отыщете ничего, что недостойно жантилома и честного человека (gentilhomme et honnête homme[134]). Потеряв почти все мои деньги в долгах на отчиме вашем, я нахожусь в крайней необходимости воспользоваться тем, что мне остается: я уже дал знать в Петербург моим друзьям, чтоб немедленно распорядились продажею заложенного мне имущества; зная, однако же, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решился простить ему пятьдесят тысяч франков и на эту сумму возвращаю ему часть закладных на его имущество, так что вы поставлены теперь в возможность воротить всё, что потеряли, потребовав с него имение судебным порядком. Надеюсь, mademoiselle, что при теперешнем состоянии дел мой поступок будет для вас весьма выгоден. Надеюсь тоже, что этим поступком я вполне исполняю

обязанность человека честного и благородного. Будьте уверены, что память о вас запечатлена навеки в моем сердце».

— Что же, это всё ясно, — сказал я, обращаясь к Полине, — неужели вы могли ожидать чего-нибудь другого, — прибавил я с негодованием.

— Я ничего не ожидала, — отвечала она, по-видимому спокойно, но что-то как бы вздрагивало в ее голосе; — я давно всё порешила; я читала его мысли и узнала, что он думает. Он думал, что я ищу… что я буду настаивать… (Она остановилась и, не договорив, закусила губу и замолчала). Я нарочно удвоила мое к нему презрение, — начала она опять, — я ждала, что от него будет? Если б пришла телеграмма о наследстве, я бы швырнула ему долг этого идиота (отчима) и прогнала его! Он мне был давно, давно ненавистен. О, это был не тот человек прежде, тысячу раз не тот, а теперь, а теперь!.. О, с каким бы счастием я бросила ему теперь, в его подлое лицо, эти пятьдесят тысяч и плюнула бы… и растерла бы плевок!

— Но бумага, — эта возвращенная им закладная на пятьдесят тысяч, ведь она у генерала? Возьмите и отдайте Де-Грие.

— О, не то! Не то!..

— Да, правда, правда, не то! Да и к чему генерал теперь способен? А бабушка? — вдруг вскричал я.

Полина как-то рассеянно и нетерпеливо на меня посмотрела.

— Зачем бабушка? — с досадой проговорила Полина, — я не могу идти к ней… Да и ни у кого не хочу прощения просить, — прибавила она раздражительно.

— Что же делать! — вскричал я, — и как, ну как это вы могли любить Де-Грие! О, подлец, подлец! Ну, хотите, я его убью на дуэли! Где он теперь?

— Он во Франкфурте и проживет там три дня.

— Одно ваше слово, и я еду, завтра же, с первым поездом! — проговорил я в каком-то глупом энтузиазме. Она засмеялась.

— Что же, он скажет еще, пожалуй: сначала возвратите пятьдесят тысяч франков. Да и за что ему драться?.. Какой это вздор!

— Ну так где же, где же взять эти пятьдесят тысяч франков, — повторил я, скрежеща зубами, — точно так и возможно вдруг их поднять на полу. — Послушайте: мистер Астлей? — спросил я, обращаясь к ней с началом какой-то странной идеи.

У ней глаза засверкали.

— Что же, разве *ты сам* хочешь, чтоб я от тебя ушла к этому англичанину? — проговорила она, пронзающим взглядом смотря мне в лицо и горько улыбаясь. Первый раз в жизни сказала она мне *ты.*

Кажется, у ней в эту минуту закружилась голова от волнения, и вдруг она села на диван, как бы в изнеможении.

Точно молния опалила меня; я стоял и не верил глазам, не верил ушам! Что же, стало быть, она меня любит! Она пришла *ко мне,* а не к мистеру Астлею! Она, одна, девушка, пришла ко мне в комнату, в отели, — стало быть, компрометировала себя всенародно, — и я, я стою перед ней и еще не понимаю!

Одна дикая мысль блеснула в моей голове.

— Полина! Дай мне только один час! Подожди здесь только час и… я вернусь! Это… это необходимо! Увидишь! Будь здесь, будь здесь!

И я выбежал из комнаты, не отвечая на ее удивленный вопросительный взгляд; она крикнула мне что-то вслед, но я не воротился.

Да, иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль, до того сильно укрепляется в голове, что ее принимаешь наконец за что-то осуществимое… Мало того: если идея соединяется с сильным, страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь ее наконец за нечто фатальное, необходимое, предназначенное, за нечто такое, что уже не может не быть и не случиться! Может быть, тут есть еще что-нибудь, какая-нибудь комбинация предчувствий, какое-нибудь необыкновенное усилие воли, самоотравление собственной фантазией или еще что-нибудь — не знаю; но со мною в этот вечер (который я никогда в жизни не позабуду) случилось происшествие чудесное. Оно хоть и совершенно оправдывается арифметикою, но тем не менее — для меня еще до сих пор чудесное. И почему, почему эта уверенность так глубоко, крепко засела тогда во мне, и уже с таких давних пор? Уж, верно, я помышлял об этом, — повторяю вам, — не как о случае, который может быть в числе прочих (а стало быть, может и не быть), но как о чем-то таком, что никак уж не может не случиться!

Было четверть одиннадцатого; я вошел в воксал в такой твердой надежде и в то же время в таком волнении, какого я еще никогда не испытывал. В игорных залах народу было еще довольно, хоть вдвое менее утрешнего.

В одиннадцатом часу у игорных столов остаются настоящие, отчаянные игроки, для которых на водах существует только одна рулетка, которые и приехали для нее одной, которые плохо замечают, что вокруг них происходит, и ничем не интересуются во весь сезон, а только играют с утра до ночи и готовы были бы играть, пожалуй, и всю ночь до рассвета, если б можно было. И всегда они с досадой расходятся, когда в двенадцать часов закрывают рулетку. И когда старший крупер перед закрытием рулетки, около двенадцати часов, возглашает: «Les trois derniers coups, messieurs!»,[135] то они готовы проставить иногда на этих трех последних ударах всё, что у них есть в кармане, — и действительно тут-то наиболее и проигрываются. Я прошел к тому самому столу, где давеча сидела бабушка. Было не очень тесно, так что я очень скоро занял место у стола стоя. Прямо предо мной, на зеленом сукне, начерчено было слово: «Passe». *«Passe»* — это ряд цифр от девятнадцати включительно до тридцати шести. Первый же ряд, от первого до восемнадцати включительно, называется *«Manque»:* но какое мне было до этого дело? Я не рассчитывал, я даже не слыхал, на какую цифру лег последний удар, и об этом не справился, начиная игру, как бы сделал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои двадцать фридрихсдоров и бросил на бывший предо мною *«passe»*.

— Vingt deux![136] — закричал крупер.

Я выиграл — и опять поставил всё: и прежнее, и выигрыш.

— Trente et un,[137] — прокричал крупер. Опять выигрыш! Всего уж, стало быть, у меня восемьдесят фридрихсдоров! Я двинул все восемьдесят на двенадцать средних цифр (тройной выигрыш, но два шанса против себя) — колесо завертелось, и вышло двадцать четыре. Мне выложили три свертка по пятидесяти фридрихсдоров и десять золотых монет; всего, с прежним, очутилось у меня двести фридрихсдоров.

Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную — и вдруг опомнился! И только раз во весь этот вечер, во всю игру, страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно сознал: что для меня теперь значит проиграть! Стояла на ставке вся моя жизнь!

— Rouge! — крикнул крупер, — и я перевел дух, огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мною расплатились банковыми

билетами; стало быть, все уж четыре тысячи флоринов и восемьдесят фридрихсдоров! (Я еще мог следить тогда за счетом).

Затем, помнится, я поставил две тысячи флоринов опять на двенадцать средних и проиграл; поставил мое золото и восемьдесят фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною: я схватил последние оставшиеся мне две тысячи флоринов и поставил на двенадцать первых — так, на авось, зря, без расчета! Впрочем, было одно мгновение ожидания, похожее, может быть, впечатлением на впечатление, испытанное madame Blanchard*, когда она, в Париже, летела с воздушного шара на землю.

— Quatre![138] — крикнул крупер. Всего, с прежнею ставкою, опять очутилось шесть тысяч флоринов. Я уже смотрел как победитель, я уже ничего, ничего теперь не боялся и бросил четыре тысячи флоринов на черную. Человек девять бросилось, вслед за мною, тоже ставить на черную. Круперы переглядывались и переговаривались. Кругом говорили и ждали.

Вышла черная. Не помню я уж тут ни расчета, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, тысяч шестнадцать флоринов; вдруг, тремя несчастными ударами, спустил из них двенадцать; потом двинул последние четыре тысячи на «passe» (но уж почти ничего не ощущал при этом; я только ждал, как-то механически, без мысли) — и опять выиграл; затем, выиграл еще четыре раза сряду. Помню только, что я забирал деньги тысячами; запоминаю я тоже, что чаще всех выходили двенадцать средних, к которым я и привязался. Они появлялись как-то регулярно — непременно раза три, четыре сряду, потом исчезали на два раза и потом возвращались опять раза на три или на четыре кряду. Эта удивительная регулярность встречается иногда полосами — и вот это-то и сбивает с толку записных игроков, рассчитывающих с карандашом в руках. И какие здесь случаются иногда ужасные насмешки судьбы!

Я думаю, с моего прибытия времени прошло не более получаса. Вдруг крупер уведомил меня, что я выиграл тридцать тысяч флоринов, а так как банк за один раз больше не отвечает, то, стало быть, рулетку закроют до завтрашнего утра. Я схватил всё мое золото, ссыпал его в карманы, схватил все билеты и тотчас перешел на другой стол, в другую залу, где была другая рулетка; за мною хлынула вся толпа; там тотчас же очистили мне место, и я пустился ставить опять, зря и не считая. Не

понимаю, что меня спасло!

Иногда, впрочем, начинал мелькать в голове моей расчет. Я привязывался к иным цифрам и шансам, но скоро оставлял их и ставил опять, почти без сознания. Должно быть, я был очень рассеян; помню, что круперы несколько раз поправляли мою игру. Я делал грубые ошибки. Виски мои были смочены потом и руки дрожали. Подскакивали было и полячки с услугами, но я никого не слушал. Счастье не прерывалось! Вдруг кругом поднялся громкий говор и смех. «Браво, браво!» — кричали все, иные даже захлопали в ладоши. Я сорвал и тут тридцать тысяч флоринов, и банк опять закрыли до завтра!

— Уходите, уходите, — шептал мне чей-то голос справа. Это был какой-то франкфуртский жид; он всё время стоял подле меня и, кажется, помогал мне иногда в игре.

— Ради бога уходите, — прошептал другой голос над левым моим ухом. Я мельком взглянул. Это была весьма скромно и прилично одетая дама, лет под тридцать, с каким-то болезненно бледным, усталым лицом, но напоминавшим и теперь ее чудную прежнюю красоту. В эту минуту я набивал карманы билетами, которые так и комкал, и собирал оставшееся на столе золото. Захватив последний сверток в пятьдесят фридрихсдоров, я успел, совсем неприметно, сунуть его в руку бледной даме; мне это ужасно захотелось тогда сделать, и тоненькие, худенькие ее пальчики, помню, крепко сжали мою руку в знак живейшей благодарности. Всё это произошло в одно мгновение.

Собрав всё, я быстро перешел на trente et quarante.

За trente et quarante сидит публика аристократическая. Это не рулетка, это карты. Тут банк отвечает за сто тысяч талеров разом. Наибольшая ставка тоже четыре тысячи флоринов. Я совершенно не знал игры и не знал почти ни одной ставки, кроме красной и черной, которые тут тоже были. К ним-то я и привязался. Весь воксал столпился кругом. Не помню, вздумал ли я в это время хоть раз о Полине. Я тогда ощущал какое-то непреодолимое наслаждение хватать и загребать банковые билеты, нараставшие кучею предо мной.

Действительно, точно судьба толкала меня. На этот раз, как нарочно, случилось одно обстоятельство, довольно, впрочем, часто повторяющееся в игре. Привяжется счастие, например, к красной и не оставляет ее раз десять, даже пятнадцать сряду. Я слышал еще третьего дня, что красная, на прошлой неделе, вышла двадцать два раза сряду;

этого даже и не запомнят на рулетке и рассказывали с удивлением. Разумеется, все тотчас же оставляют красную и уже после десяти раз, например, почти никто не решается на нее ставить. Но и на черную, противоположную красной, не ставит тогда никто из опытных игроков. Опытный игрок знает, что значит это «своенравие случая». Например, казалось бы, что после шестнадцати раз красной семнадцатый удар непременно ляжет на черную. На это бросаются новички толпами, удвоивают и утроивают куши, и страшно проигрываются.

Но я, по какому-то странному своенравию, заметив, что красная вышла семь раз сряду, нарочно к ней привязался. Я убежден, что тут наполовину было самолюбия; мне хотелось удивить зрителей безумным риском, и — о странное ощущение — я помню отчетливо, что мною вдруг действительно без всякого вызова самолюбия овладела ужасная жажда риску. Может быть, перейдя через столько ощущений, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений еще, и всё сильней и сильней, до окончательного утомления. И, право не лгу, если б устав игры позволял поставить пятьдесят тысяч флоринов разом, я бы поставил их наверно. Кругом кричали, что это безумно, что красная уже выходит четырнадцатый раз!

— Monsieur a gagné déjà cent mille florins,[139] — раздался подле меня чей-то голос.

Я вдруг очнулся. Как? я выиграл в этот вечер сто тысяч флоринов! Да к чему же мне больше? Я бросился на билеты, скомкал их в карман, не считая, загреб всё мое золото, все свертки и побежал из воксала. Кругом все смеялись, когда я проходил по залам, глядя на мои оттопыренные карманы и на неровную походку от тяжести золота. Я думаю, его было гораздо более полупуда. Несколько рук протянулось ко мне; я раздавал горстями, сколько захватывалось. Два жида остановили меня у выхода.

— Вы смелы! вы очень смелы! — сказали они мне, — но уезжайте завтра утром непременно, как можно раньше, не то вы всё-всё проиграете…

Я их не слушал. Аллея была темна, так что руки своей нельзя было различить. До отеля было с полверсты. Я никогда не боялся ни воров, ни разбойников, даже маленький; не думал о них и теперь. Я, впрочем, не помню, о чем я думал дорогою; мысли не было. Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества — не знаю,

как выразиться. Мелькал предо мною и образ Полины; я помнил и сознавал, что иду к ней, сейчас с ней сойдусь и буду ей рассказывать, покажу… но я уже едва вспомнил о том, что она мне давеча говорила, и зачем я пошел, и все те недавние ощущения, бывшие всего полтора часа назад, казались мне уж теперь чем-то давно прошедшим, исправленным, устаревшим — о чем мы уже не будем более поминать, потому что теперь начнется всё сызнова. Почти уж в конце аллеи вдруг страх напал на меня: «Что, если меня сейчас убьют и ограбят?» С каждым шагом мой страх возрастал вдвое. Я почти бежал. Вдруг в конце аллеи разом блеснул весь наш отель, освещенный бесчисленными огнями, — слава богу: дома!

Я добежал в свой этаж и быстро растворил дверь. Полина была тут и сидела на моем диване, перед зажженною свечою, скрестя руки. С изумлением она на меня посмотрела, и, уж конечно, в эту минуту я был довольно странен на вид. Я остановился пред нею и стал выбрасывать на стол всю мою груду денег.

Глава XV

Помню, она ужасно пристально смотрела в мое лицо, но не трогаясь с места, не изменяя даже своего положения.

— Я выиграл двести тысяч франков, — вскричал я, выбрасывая последний сверток. Огромная груда билетов и свертков золота заняла весь стол, я не мог уж отвести от нее моих глаз; минутами я совсем забывал о Полине. То начинал я приводить в порядок эти кучи банковых билетов, складывал их вместе, то откладывал в одну общую кучу золото; то бросал всё и пускался быстрыми шагами ходить по комнате, задумывался, потом вдруг опять подходил к столу, опять начинал считать деньги. Вдруг, точно опомнившись, я бросился к дверям и поскорее запер их, два раза обернув ключ. Потом остановился в раздумье пред маленьким моим чемоданом.

— Разве в чемодан положить до завтра? — спросил я, вдруг обернувшись к Полине, и вдруг вспомнил о ней. Она же всё сидела не шевелясь, на том же месте, но пристально следила за мной. Странно как-то было выражение ее лица; не понравилось мне это выражение! Не ошибусь, если скажу, что в нем была ненависть.

Я быстро подошел к ней.

— Полина, вот двадцать пять тысяч флоринов — это пятьдесят тысяч франков, даже больше. Возьмите, бросьте их ему завтра в лицо.

Она не ответила мне.

— Если хотите, я отвезу сам, рано утром. Так?

Она вдруг засмеялась. Она смеялась долго.

Я с удивлением и с скорбным чувством смотрел на нее. Этот смех очень похож был на недавний, частый, насмешливый смех ее надо мной, всегда приходившийся во время самых страстных моих объяснений. Наконец она перестала и нахмурилась; строго оглядывала она меня исподлобья.

— Я не возьму ваших денег, — проговорила она презрительно.

— Как? Что это? — закричал я. — Полина, почему же?

— Я даром денег не беру.

— Я предлагаю вам, как друг; я вам жизнь предлагаю. Она посмотрела на меня долгим, пытливым взглядом, как бы пронзить меня им хотела.

— Вы дорого даете, — проговорила она усмехаясь, — любовница Де-Грие не стоит пятидесяти тысяч франков.

— Полина, как можно так со мною говорить! — вскричал я с укором, — разве я Де-Грие?

— Я вас ненавижу! Да… да!.. я вас не люблю больше, чем Де-Грие, — вскричала она, вдруг засверкав глазами.

Тут она закрыла вдруг руками лицо, и с нею сделалась истерика. Я бросился к ней.

Я понял, что с нею что-то без меня случилось. Она была совсем как бы не в своем уме.

— Покупай меня! Хочешь? хочешь? за пятьдесят тысяч франков, как Де-Грие? — вырывалось у ней с судорожными рыданиями. Я обхватил ее, целовал ее руки, ноги, упал пред нею на колени.

Истерика ее проходила. Она положила обе руки на мои плечи и пристально меня рассматривала; казалось, что-то хотела прочесть на моем лице. Она слушала меня, но, видимо, не слыхала того, что я ей говорил. Какая-то забота и вдумчивость явились в лице ее. Я боялся за нее; мне решительно казалось, что у ней ум мешается. То вдруг начинала она тихо привлекать меня к себе; доверчивая улыбка уже блуждала в ее лице; и вдруг она меня отталкивала и опять омраченным взглядом принималась в меня всматриваться.

Вдруг она бросилась обнимать меня.

— Ведь ты меня любишь, любишь? — говорила она, — ведь ты, ведь ты… за меня с бароном драться хотел! — И вдруг она расхохоталась, точно что-то смешное и милое мелькнуло вдруг в ее памяти. Она и плакала, и смеялась — всё вместе. Ну что мне было делать? Я сам был как в лихорадке. Помню, она начинала мне что-то говорить, но я почти ничего не мог понять. Это был какой-то бред, какой-то лепет, — точно ей хотелось что-то поскорей мне рассказать, — бред, прерываемый иногда самым веселым смехом, который начинал пугать меня. «Нет, нет, ты милый, милый! — повторяла она. — Ты мой верный!» — и опять клала мне руки свои на плечи, опять в меня всматривалась и продолжала повторять: «Ты меня любишь… любишь… будешь любить?» Я не сводил с нее глаз; я еще никогда не видал ее в этих припадках нежности и любви; правда, это, конечно, был бред, но… заметив мой страстный взгляд, она вдруг начинала лукаво улыбаться; ни с того ни с сего она вдруг заговаривала о мистере Астлее.

Впрочем, о мистере Астлее она беспрерывно заговаривала (особенно когда силилась мне что-то давеча рассказать), но что именно, я вполне не мог схватить; кажется, она даже смеялась над ним; повторяла беспрерывно, что он ждет… и что знаю ли я, что он наверное стоит теперь под окном? «Да, да, под окном, — ну отвори, посмотри, посмотри, он здесь, здесь!» Она толкала меня к окну, но только я делал движение идти, она заливалась смехом, и я оставался при ней, а она бросалась меня обнимать.

— Мы уедем? Ведь мы завтра уедем? — приходило ей вдруг беспокойно в голову, — ну… (и она задумалась) — ну, а догоним мы бабушку, как ты думаешь? В Берлине, я думаю, догоним. Как ты думаешь, что она скажет, когда мы ее догоним и она нас увидит? А мистер Астлей?.. Ну, этот не соскочит с Шлангенберга, как ты думаешь? (Она захохотала). Ну, послушай: знаешь, куда он будущее лето едет? Он хочет на Северный полюс ехать для ученых исследований и меня звал с собою, ха-ха-ха! Он говорит, что мы, русские, без европейцев ничего не знаем и ни к чему не способны… Но он тоже добрый! Знаешь, он «генерала» извиняет; он говорит, что Blanche… что страсть, — ну не знаю, не знаю, — вдруг повторила она, как бы заговорясь и потерявшись. — Бедные они, как мне их жаль, и бабушку… Ну, послушай, послушай, ну где тебе убить Де-Грие? И неужели, неужели ты думал, что убьешь? О глупый! Неужели ты мог подумать, что я пущу тебя драться с Де-Грие? Да ты и барона-то не убьешь, — прибавила она, вдруг засмеявшись. — О, как ты был тогда смешон с бароном; я глядела на вас обоих со скамейки; и как тебе не хотелось тогда идти, когда я тебя посылала. Как я тогда смеялась, как я тогда смеялась, — прибавила она хохоча.

И вдруг она опять целовала и обнимала меня, опять страстно и нежно прижимала свое лицо к моему. Я уж более ни о чем не думал и ничего не слышал. Голова моя закружилась…

Я думаю, что было около семи часов утра, когда я очнулся; солнце светило в комнату. Полина сидела подле меня и странно осматривалась, как будто выходя из какого-то мрака и собирая воспоминания. Она тоже только что проснулась и пристально смотрела на стол и деньги. Голова моя была тяжела и болела. Я было хотел взять Полину за руку; она вдруг оттолкнула меня и вскочила с дивана. Начинавшийся день был пасмурный; пред рассветом шел дождь. Она подошла к окну, отворила

его, выставила голову и грудь и, подпершись руками, а локти положив на косяк окна, пробыла так минуты три, не оборачиваясь ко мне и не слушая того, что я ей говорил. Со страхом приходило мне в голову: что же теперь будет и чем это кончится? Вдруг она поднялась с окна, подошла к столу и, смотря на меня с выражением бесконечной ненависти, с дрожавшими от злости губами, сказала мне:

— Ну, отдай же мне теперь мои пятьдесят тысяч франков!

— Полина, опять, опять! — начал было я.

— Или ты раздумал? ха-ха-ха! Тебе, может быть, уже и жалко?

Двадцать пять тысяч флоринов, отсчитанные еще вчера, лежали на столе; я взял и подал ей.

— Ведь они уж теперь мои? Ведь так? Так? — злобно спрашивала она меня, держа деньги в руках.

— Да они и всегда были твои, — сказал я.

— Ну так вот же твои пятьдесят тысяч франков! — Она размахнулась и пустила их в меня. Пачка больно ударила мне в лицо и разлетелась по полу. Совершив это, Полина выбежала из комнаты.

Я знаю, она, конечно, в ту минуту была не в своем уме, хоть я и не понимаю этого временного помешательства. Правда, она еще и до сих пор, месяц спустя, еще больна. Что было, однако, причиною этого состояния, а главное, этой выходки? Оскорбленная ли гордость? Отчаяние ли о том, что она решилась даже прийти ко мне? Не показал ли я ей виду, что тщеславлюсь моим счастием и в самом деле точно так же, как и Де-Грие, хочу отделаться от нее, подарив ей пятьдесят тысяч франков? Но ведь этого не было, я знаю по своей совести. Думаю, что виновато было тут отчасти и ее тщеславие: тщеславие подсказало ей не поверить мне и оскорбить меня, хотя всё это представлялось ей, может быть, и самой неясно. В таком случае я, конечно, ответил за Де-Грие и стал виноват, может быть, без большой вины. Правда, всё это был только бред; правда и то, что я знал, что она в бреду, и… не обратил внимания на это обстоятельство. Может быть, она теперь не может мне простить этого? Да, но это теперь; но тогда, тогда? Ведь не так же сильны были ее бред и болезнь, чтобы она уж совершенно забыла, что делает, идя ко мне с письмом Де-Грие? Значит, она знала, что делает.

Я кое-как, наскоро, сунул все мои бумаги и всю мою кучу золота в постель, накрыл ее и вышел минут десять после Полины. Я был уверен, что она побежала домой, и хотел потихоньку пробраться к ним и в

передней спросить у няни о здоровье барышни. Каково же было мое изумление, когда от встретившейся мне на лестнице нянюшки я узнал, что Полина домой еще не возвращалась и что няня сама шла ко мне за ней.

— Сейчас, — говорил я ей, — сейчас только ушла от меня, минут десять тому назад, куда же могла она деваться?

Няня с укоризной на меня поглядела.

А между тем вышла целая история, которая уже ходила по отелю. В швейцарской и у обер-кельнера перешептывались, что фрейлейн утром, в шесть часов, выбежала из отеля, в дождь, и побежала по направлению к hôtel d'Angleterre. По их словам и намекам я заметил, что они уже знают, что она провела всю ночь в моей комнате. Впрочем, уже рассказывалось о всем генеральском семействе: стало известно, что генерал вчера сходил с ума и плакал на весь отель. Рассказывали при этом, что приезжавшая бабушка была его мать, которая затем нарочно и появилась из самой России, чтоб воспретить своему сыну брак с mademoiselle de Cominges, а за ослушание лишить его наследства, и так как он действительно не послушался, то графиня, в его же глазах, нарочно и проиграла все свои деньги на рулетке, чтоб так уже ему и недоставалось ничего. «Diese Russen!»[140] — повторял обер-кельнер с негодованием, качая головой. Другие смеялись. Обер-кельнер готовил счет. Мой выигрыш был уже известен; Карл, мой коридорный лакей, первый поздравил меня. Но мне было не до них. Я бросился в отель d'Angleterre.

Еще было рано; мистер Астлей не принимал никого; узнав же, что это я, вышел ко мне в коридор и остановился предо мной, молча устремив на меня свой оловянный взгляд, и ожидал: что я скажу? Я тотчас спросил о Полине.

— Она больна, — отвечал мистер Астлей, по-прежнему смотря на меня в упор и не сводя с меня глаз.

— Так она в самом деле у вас?

— О да, у меня.

— Так как же вы… вы намерены ее держать у себя?

— О да, я намерен.

— Мистер Астлей, это произведет скандал; этого нельзя. К тому же она совсем больна; вы, может быть, не заметили?

— О да, я заметил и уже вам сказал, что она больна. Если б она

была не больна, то у вас не провела бы ночь.

— Так вы и это знаете?

— Я это знаю. Она шла вчера сюда, и я бы отвел ее к моей родственнице, но так как она была больна, то ошиблась и пришла к вам.

— Представьте себе! Ну поздравляю вас, мистер Астлей. Кстати, вы мне даете идею: не стояли ли вы всю ночь у нас под окном? Мисс Полина всю ночь заставляла меня открывать окно и смотреть, — не стоите ли вы под окном, и ужасно смеялась.

— Неужели? Нет, я под окном не стоял; но я ждал в коридоре и кругом ходил.

— Но ведь ее надо лечить, мистер Астлей.

— О да, я уж позвал доктора, и если она умрет, то вы дадите мне отчет в ее смерти. Я изумился:

— Помилуйте, мистер Астлей, что это вы хотите?

— А правда ли, что вы вчера выиграли двести тысяч талеров?

— Всего только сто тысяч флоринов.

— Ну вот видите! Итак, уезжайте сегодня утром в Париж.

— Зачем?

— Все русские, имея деньги, едут в Париж, — пояснил мистер Астлей голосом и тоном, как будто прочел это по книжке.

— Что я буду теперь, летом, в Париже делать? Я ее люблю, мистер Астлей! Вы знаете сами.

— Неужели? Я убежден, что нет. Притом же, оставшись здесь, вы проиграете наверное всё, и вам не на что будет ехать в Париж. Но прощайте, я совершенно убежден, что бы сегодня уедете в Париж.

— Хорошо, прощайте, только я в Париж не поеду. Подумайте, мистер Астлей, о том, что теперь будет у нас? Одним словом, генерал… и теперь это приключение с мисс Полиной — ведь это на весь город пойдет.

— Да, на весь город; генерал же, я думаю, об этом не думает, и ему не до этого. К тому же мисс Полина имеет полное право жить, где ей угодно. Насчет же этого семейства можно правильно сказать, что это семейство уже не существует.

Я шел и посмеивался странной уверенности этого англичанина, что я уеду в Париж. «Однако он хочет меня застрелить на дуэли, — думал я, — если mademoiselle Полина умрет, — вот еще комиссия!» Клянусь, мне было жаль Полину, но странно, — с самой той минуты, как я

дотронулся вчера до игорного стола и стал загребать пачки денег, — моя любовь отступила как бы на второй план. Это я теперь говорю; но тогда еще я не замечал всего этого ясно. Неужели я и в самом деле игрок, неужели я и в самом деле… так странно любил Полину? Нет, я до сих пор люблю ее, видит бог! А тогда, когда я вышел от мистера Астлея и шел домой, я искренно страдал и винил себя. Но… но тут со мной случилась чрезвычайно странная и глупая история.

Я спешил к генералу, как вдруг невдалеке от их квартиры отворилась дверь и меня кто-то кликнул. Это была madame veuve Cominges и кликнула меня по приказанию mademoiselle Blanche. Я вошел в квартиру mademoiselle Blanche.

У них был небольшой номер, в две комнаты. Слышен был смех и крик mademoiselle Blanche из спальни. Она вставала с постели.

— A, c'est lui!! Viens donc, bêta! Правда ли, que tu as gagné une montagne d'or et d'argent? J'aimerais mieux l'or.[141]

— Выиграл, — отвечал я смеясь.

— Сколько?

— Сто тысяч флоринов.

— Bibi, comme tu es bête. Да, войди же сюда, я ничего не слышу. Nous ferons bombance, n'est-ce pas?[142]

Я вошел к ней. Она валялась под розовым атласным одеялом, из-под которого выставлялись смуглые, здоровые, удивительные плечи, — плечи, которые разве только увидишь во сне, — кое-как прикрытые батистовою отороченною белейшими кружевами сорочкою, что удивительно шло к ее смуглой коже.

— Mon fils, as-tu du coeur?[143] — вскричала она, завидев меня, и захохотала. Смеялась она всегда очень весело и даже иногда искренно.

— Tout autre…[144] — начал было я, парафразируя Корнеля.*

— Вот видишь, vois-tu, — затараторила она вдруг, — во-первых, сыщи чулки, помоги обуться, а во-вторых, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris.[145] Ты знаешь, я сейчас еду.

— Сейчас?

— Чрез полчаса.

Действительно, всё было уложено. Все чемоданы и ее вещи стояли готовые. Кофе был уже давно подан.

— Eh bien! хочешь, tu verras Paris. Dis donc qu'est ce que c'est qu'un outchitel? Tu étais bien bête, quand tu étais outchitel.[146] Где же мои

чулки? Обувай же меня, ну!

Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую, неисковерканную, как все почти эти ножки, которые смотрят такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. Mademoiselle Blanche между тем сидела на постели и тараторила.

— Eh bien, que feras-tu, si je te prends avec? Во-первых, je veux cinquante mille francs. Ты мне их отдашь во Франкфурте. Nous allons à Paris; там мы живем вместе et je te ferai voir des étoiles en plein jour.[147] Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видывал. Слушай…

— Постой, эдак я тебе отдам пятьдесят тысяч франков, а что же мне-то останется?

— Et cent cinquante mille francs,[148] ты забыл, и, сверх того, я согласна жить на твоей квартире месяц, два, que sais-je![149] Мы, конечно, проживем в два месяца эти сто пятьдесят тысяч франков. Видишь, je suis bonne enfant[150] и тебе вперед говорю, mais tu verras des étoiles.[151]

— Как, всё в два месяца?

— Как! Это тебя ужасает! Ah, vil esclave![152] Да знаешь ли ты, что один месяц этой жизни лучше всего твоего существования. Один месяц — et après le déluge![*] Mais tu ne peux comprendre, va! Пошел, пошел, ты этого не стоишь! Ай, que fais-tu?[153]

В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал ее. Она вырвала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец она прогнала меня совсем. «Eh bien, mon outchitel, je t'attends, si tu veux; [154] чрез четверть часа я еду!» — крикнула она мне вдогонку.

Воротясь домой, был я уже как закруженный. Что же, я не виноват, что mademoiselle Полина бросила мне целой пачкой в лицо и еще вчера предпочла мне мистера Астлея. Некоторые из распавшихся банковых билетов еще валялись на полу; я их подобрал. В эту минуту отворилась дверь и явился сам обер-кельнер (который на меня прежде и глядеть не хотел) с приглашением: не угодно ли мне перебраться вниз, в превосходный номер, в котором только что стоял граф В.

Я постоял, подумал.

— Счет! — закричал я, — сейчас еду, чрез десять минут. — «В Париж так в Париж! — подумал я про себя, — знать, на роду

написано!»

Чрез четверть часа мы действительно сидели втроем в одном общем семейном вагоне: я, mademoiselle Blanche et madame veuve Cominges. Mademoiselle Blanche хохотала, глядя на меня, до истерики. Veuve Cominges ей вторила; не скажу, чтобы мне было весело. Жизнь переламывалась надвое, но со вчерашнего дня я уж привык всё ставить на карту. Может быть, и действительно правда, что я не вынес денег и закружился. Peut-être, je ne demandais pas mieux.[155] Мне казалось, что на время — но только на время — переменяются декорации. «Но чрез месяц я буду здесь, и тогда… и тогда мы еще с вами потягаемся, мистер Астлей!» Нет, как припоминаю теперь, мне и тогда было ужасно грустно, хоть я и хохотал взапуски с этой дурочкой Blanche.

— Да чего тебе! Как ты глуп! О, как ты глуп! — вскрикивала Blanche, прерывая свой смех и начиная серьезно бранить меня. — Ну да, ну Да, да, мы проживем твои двести тысяч франков, но зато, mais tu seras heureux, comme un petit roi;[156] я сама тебе буду повязывать галстук и познакомлю тебя с Hortense. А когда мы проживем все наши деньги, ты приедешь сюда и опять сорвешь банк. Что тебе сказали жиды? Главное — смелость, а у тебя она есть, и ты мне еще не раз будешь возить деньги в Париж. Quant à moi, je veux cinquante mille francs de rente et alors…[157]

— А генерал? — спросил я ее.

— А генерал, ты знаешь сам, каждый день в это время уходит мне за букетом. На этот раз я нарочно велела отыскать самых редких цветов. Бедняжка воротится, а птичка и улетела. Он полетит за нами, увидишь. Ха-ха-ха! Я очень буду рада. В Париже он мне пригодится; за него здесь заплатит мистер Астлей…

И вот таким-то образом я и уехал тогда в Париж.

Глава XVI

Что я скажу о Париже? Всё это было, конечно, и бред, и дурачество. Я прожил в Париже всего только три недели с небольшим, и в этот срок были совершенно покончены мои сто тысяч франков. Я говорю только про сто тысяч; остальные сто тысяч я отдал mademoiselle Blanche чистыми деньгами, — пятьдесят тысяч во Франкфурте и чрез три дня в Париже, выдал ей же еще пятьдесят тысяч франков, векселем, за который, впрочем, чрез неделю она взяла с меня и деньги, «et les cent mille francs, qui nous restent, tu les mangeras avec moi, mon outchitel».[158] Она меня постоянно звала учителем. Трудно представить себе что-нибудь на свете расчетливее, скупее и скалдырнее разряда существ, подобных mademoiselle Blanche. Но это относительно своих денег. Что же касается до моих ста тысяч франков, то она мне прямо объявила потом, что они ей нужны были для первой постановки себя в Париже. «Так что уж я теперь стала на приличную ногу раз навсегда, и теперь уж меня долго никто не собьет, по крайней мере я так распорядилась», — прибавила она. Впрочем, я почти и не видал этих ста тысяч; деньги во всё время держала она, а в моем кошельке, в который она сама каждый день наведывалась, никогда не скоплялось более ста франков, и всегда почти было менее.

«Ну к чему тебе деньги?» — говорила она иногда с самым простейшим видом, и я с нею не спорил. Зато она очень и очень недурно отделала на эти деньги свою квартиру, и когда потом перевела меня на новоселье, то, показывая мне комнаты, сказала: «Вот что с расчетом и со вкусом можно сделать с самыми мизерными средствами». Этот мизер стоил, однако, ровно пятьдесят тысяч франков. На остальные пятьдесят тысяч она завела экипаж, лошадей, кроме того, мы задали два бала, то есть две вечеринки, на которых были и Hortense и Lisette и Cléopâtre — женщины замечательные во многих и во многих отношениях и даже далеко не дурные. На этих двух вечеринках я принужден был играть преглупейшую роль хозяина, встречать и занимать разбогатевших и тупейших купчишек, невозможных по их невежеству и бесстыдству, разных военных поручиков и жалких авторишек и журнальных козявок, которые явились в модных фраках, в палевых перчатках и с самолюбием и чванством в таких размерах, о которых даже у нас в

Петербурге немыслимо, — а уж это много значит сказать. Они даже вздумали надо мной смеяться, но я напился шампанского и провалялся в задней комнате. Всё это было для меня омерзительно в высшей степени. «C'est un outchitel, — говорила обо мне Blanche, — il a gagné deux cent mille francs[159] и который без меня не знал бы, как их истратить. А после он опять поступит в учителя; — не знает ли кто-нибудь места? Надобно что-нибудь для него сделать». К шампанскому я стал прибегать весьма часто, потому что мне было постоянно очень грустно и до крайности скучно. Я жил в самой буржуазной, в самой меркантильной среде, где каждый су был рассчитан и вымерен. Blanche очень не любила меня в первые две недели, я это заметил; правда, она одела меня щегольски и сама ежедневно повязывала мне галстук, но в душе искренно презирала меня. Я на это не обращал ни малейшего внимания. Скучный и унылый, я стал уходить обыкновенно в «Château des Fleurs»,[160] где регулярно, каждый вечер, напивался и учился канкану (который там прегадко танцуют) и впоследствии приобрел в этом роде даже знаменитость. Наконец Blanche раскусила меня: она как-то заранее составила себе идею, что я, во всё время нашего сожительства, буду ходить за нею с карандашом и бумажкой в руках и всё буду считать, сколько она истратила, сколько украла, сколько истратит и сколько еще украдет? И, уж конечно, была уверена, что у нас из-за каждых десяти франков будет баталия. На всякое нападение мое, предполагаемое ею заранее, она уже заблаговременно заготовила возражения; но, не видя от меня никаких нападений, сперва было пускалась сама возражать. Иной раз начнет горячо-горячо, но, увидя, что я молчу, — чаще всего валяясь на кушетке и неподвижно смотря в потолок, — даже, наконец, удивится. Сперва она думала, что я просто глуп, «un outchitel», и просто обрывала свои объяснения, вероятно, думая про себя: «Ведь он глуп; нечего его и наводить, коль сам не понимает». Уйдет, бывало, но минут через десять опять воротится (это случалось во время самых неистовых трат ее, трат совершенно нам не по средствам: например, она переменила лошадей и купила в шестнадцать тысяч франков пару).

— Ну, так ты, Bibi, не сердишься? — подходила она ко мне.

— Не-е-ет! Надо-е-е-ла! — говорил я, отстраняя ее от себя рукою, но это было для нее так любопытно, что она тотчас же села подле:

— Видишь, если я решилась столько заплатить, то это потому, что

их продавали по случаю. Их можно опять продать за двадцать тысяч франков.

— Верю, верю; лошади прекрасные; и у тебя теперь славный выезд; пригодится; ну и довольно.

— Так ты не сердишься?

— За что же? Ты умно делаешь, что запасаешься некоторыми необходимыми для тебя вещами. Всё это потом тебе пригодится. Я вижу, что тебе действительно нужно поставить себя на такую ногу; иначе миллиона не наживешь. Тут наши сто тысяч франков только начало, капля в море.

Blanche, всего менее ожидавшая от меня таких рассуждений (вместо криков-то да попреков!), точно с неба упала.

— Так ты… так ты вот какой! Mais tu as de l'esprit pour comprendre! Sais-tu, mon garçon,[161] хоть ты и учитель, — но ты должен был родиться принцем! Так ты не жалеешь, что у нас деньги скоро идут?

— Ну их, поскорей бы уж!

— Mais… sais-tu… mais dis donc, разве ты богат? Mais sais-tu, ведь ты уж слишком презираешь деньги. Qu'est ce que tu feras après, dis donc? [162]

— Après поеду в Гомбург* и еще выиграю сто тысяч франков.

— Oui, oui, c'est ça, c'est magnifique![163] И я знаю, что ты непременно выиграешь и привезешь сюда. Dis donc, да ты сделаешь, что я тебя и в самом деле полюблю! Eh bien, за то, что ты такой, я тебя буду всё это время любить и не сделаю тебе ни одной неверности. Видишь, в это время я хоть и не любила тебя, parce que je croyais, que tu n'est qu'un outchitel (quelque chose comme un laquais, n'est-ce pas?), но я все-таки была тебе верна, parce que je suis bonne fille.[164]

— Ну, и врешь! А с Альбертом-то, с этим офицеришкой черномазым, разве я не видал прошлый раз?

— Oh, oh, mais tu es…[165]

— Ну, врешь, врешь; да ты что думаешь, что я сержусь? Да наплевать! il faut que jeunesse se passe.[166] Не прогнать же тебе его, коли он был прежде меня и ты его любишь. Только ты ему денег не давай, слышишь?

— Так ты и за это не сердишься? Mais tu es un vrai philosophe, sais-tu? Un vrai philosophe! — вскричала она в восторге. — Eh bien, je t'aimerai, je t'aimerai — tu verras, tu sera content![167]

И действительно, с этих пор она ко мне даже как будто и в самом деле привязалась, даже дружески, и так прошли наши последние десять дней. Обещанных «звезд» я не видал; но в некоторых отношениях она и в самом деле сдержала слово. Сверх того, она познакомила меня с Hortense, которая была слишком даже замечательная в своем роде женщина и в нашем кружке называлась Thérèse-philosophe.[*]..

Впрочем, нечего об этом распространяться; всё это могло бы составить особый рассказ, с особым колоритом, который я не хочу вставлять в эту повесть. Дело в том, что я всеми силами желал, чтоб всё это поскорее кончилось. Но наших ста тысяч франков хватило, как я уже сказал, почти на месяц, чему я искренно удивлялся: по крайней мере, на восемьдесят тысяч, из этих денег, Blanche накупила себе вещей, и мы прожили никак не более двадцати тысяч франков, и — все-таки достало. Blanche, которая под конец была уже почти откровенна со мной (по крайней мере кое в чем не врала мне), призналась, что по крайней мере на меня не падут долги, которые она принуждена была сделать. «Я тебе не давала подписывать счетов и векселей, — говорила она мне, — потому что жалела тебя; а другая бы непременно это сделала и уходила бы тебя в тюрьму. Видишь, видишь, как я тебя любила и какая я добрая! Одна эта чертова свадьба чего будет стоить!»

У нас действительно была свадьба. Случилась она уже в самом конце нашего месяца, и надо предположить, что на нее ушли самые последние подонки моих ста тысяч франков; тем дело и кончилось, то есть тем наш месяц и кончился, и я после этого формально вышел в отставку.

Случилось это так: неделю спустя после нашего водворения в Париже приехал генерал. Он прямо приехал к Blanche и с первого же визита почти у нас и остался. Квартирка где-то, правда, у него была своя. Blanche встретила его радостно, с визгами и хохотом и даже бросилась его обнимать; дело обошлось так, что уж она сама его не отпускала, и он всюду должен был следовать за нею: и на бульваре, и на катаньях, и в театре, и по знакомым. На это употребление генерал еще годился; он был довольно сановит и приличен — росту почти высокого, с крашеными бакенами и усищами (он прежде служил в кирасирах), с лицом видным, хотя несколько и обрюзглым. Манеры его были превосходные, фрак он носил очень ловко. В Париже он начал носить свои ордена. С эдаким пройтись по бульвару было не только возможно,

но, если так можно выразиться, даже *рекомендательно.* Добрый и бестолковый генерал был всем этим ужасно доволен; он совсем не на это рассчитывал, когда к нам явился по приезде в Париж. Он явился тогда, чуть не дрожа от страха; он думал, что Blanche закричит и велит его прогнать; а потому, при таком обороте дела, он пришел в восторг и весь этот месяц пробыл в каком-то бессмысленно-восторженном состоянии; да таким я его и оставил. Уже здесь я узнал в подробности, что после тогдашнего внезапного отъезда нашего из Рулетенбурга с ним случилось, в то же утро, что-то вроде припадка. Он упал без чувств, а потом всю неделю был почти как сумасшедший и заговаривался. Его лечили, но вдруг он всё бросил, сел в вагон и прикатил в Париж. Разумеется, прием Blanche оказался самым лучшим для него лекарством; но признаки болезни оставались долго спустя, несмотря на радостное и восторженное его состояние. Рассуждать или даже только вести кой-как немного серьезный разговор он уж совершенно не мог; в таком случае он только приговаривал ко всякому слову «гм!» и кивал головой — тем и отделывался. Часто он смеялся, но каким-то нервным, болезненным смехом, точно закатывался; другой раз сидит по целым часам пасмурный, как ночь, нахмурив свои густые брови. Многого он совсем даже и не припоминал; стал до безобразия рассеян и взял привычку говорить сам с собой. Только одна Blanche могла оживлять его; да и припадки пасмурного, угрюмого состояния, когда он забивался в угол, означали только то, что он давно не видел Blanche, или что Blanche куда-нибудь уехала, а его с собой не взяла, или, уезжая, не приласкала его. При этом он сам не сказал бы, чего ему хочется, и сам не знал, что он пасмурен и грустен. Просидев час или два (я замечал это раза два, когда Blanche уезжала на целый день, вероятно, к Альберту), он вдруг начинает озираться, суетиться, оглядывается, припоминает и как будто хочет кого-то сыскать; но, не видя никого и так и не припомнив, о чем хотел спросить, он опять впадал в забытье до тех пор, пока вдруг не являлась Blanche, веселая, резвая, разодетая, с своим звонким хохотом; она подбегала к нему, начинала его тормошить и даже целовала, чем, впрочем, редко его жаловала. Раз генерал до того ей обрадовался, что даже заплакал, — я даже подивился.

Blanche, с самого его появления у нас, начала тотчас же за него предо мною адвокатствовать. Она пускалась даже в красноречие; напоминала, что она изменила генералу из-за меня, что она была почти

уж его невестою, слово дала ему; что из-за нее он бросил семейство, и что, наконец, я служил у него и должен бы это чувствовать, и что — как мне не стыдно… Я всё молчал, а она ужасно тараторила. Наконец я рассмеялся, и тем дело и кончилось, то есть сперва она подумала, что я дурак, а под конец остановилась на мысли, что я очень хороший и складный человек. Одним словом, я имел счастие решительно заслужить под конец полное благорасположение этой достойной девицы. (Blanche, впрочем, была и в самом деле предобрейшая девушка, — в своем только роде, разумеется; я ее не так ценил сначала). «Ты умный и добрый человек, — говаривала она мне под конец, — и… и… жаль только, что ты такой дурак! Ты ничего, ничего не наживешь!»

«Un vrai russe, un calmouk!»[168] Она несколько раз посылала меня прогуливать по улицам генерала, точь-в-точь с лакеем свою левретку. Я, впрочем, водил его и в театр, и в Bal-Mabile, и в рестораны. На это Blanche выдавала и деньги, хотя у генерала были и свои, и он очень любил вынимать бумажник при людях. Однажды я почти должен был употребить силу, чтобы не дать ему купить брошку в семьсот франков, которою он прельстился в Палерояле и которую во что бы то ни стало хотел подарить Blanche. Ну, что ей была брошка в семьсот франков? У генерала и всех-то денег было не более тысячи франков. Я никогда не мог узнать, откуда они у него явились? Полагаю, что от мистера Астлея, тем более что тот в отеле за них заплатил. Что же касается до того, как генерал всё это время смотрел на меня, то мне кажется, он даже и не догадывался о моих отношениях к Blanche. Он хоть и слышал как-то смутно, что я выиграл капитал, но, наверное, полагал, что я у Blanche вроде какого-нибудь домашнего секретаря или даже, может быть, слуги. По крайней мере говорил он со мной постоянно свысока по-прежнему, по-начальнически, и даже пускался меня иной раз распекать. Однажды он ужасно насмешил меня и Blanche, у нас, утром, за утренним кофе. Человек он был не совсем обидчивый; а тут вдруг обиделся на меня, за что? — до сих пор не понимаю. Но, конечно, он и сам не понимал. Одним словом, он завел речь без начала и конца, à bâtons-rompus,[169] кричал, что я мальчишка, что он научит… что он даст понять… и так далее, и так далее. Но никто ничего не мог понять. Blanche заливалась-хохотала; наконец его кое-как успокоили и увели гулять. Много раз я замечал, впрочем, что ему становилось грустно, кого-то и чего-то было жаль, кого-то недоставало ему, несмотря даже на присутствие Blanche.

В эти минуты он сам пускался раза два со мною заговаривать, но никогда толком не мог объясниться, вспоминал про службу, про покойницу жену, про хозяйство, про имение. Нападет на какое-нибудь слово и обрадуется ему, и повторяет его сто раз на дню, хотя оно вовсе не выражает ни его чувств, ни его мыслей. Я пробовал заговаривать с ним о его детях; но он отделывался прежнею скороговоркою и переходил поскорее на другой предмет: «Да-да! дети-дети, вы правы, дети!» Однажды только он расчувствовался — мы шли с ним в театр: «Это несчастные дети! — заговорил он вдруг, — да, сударь, да, это не-с-счастные дети!» И потом несколько раз в этот вечер повторял слова: несчастные дети! Когда я раз заговорил о Полине, он пришел даже в ярость. «Это неблагодарная женщина, — воскликнул он, — она зла и неблагодарна! Она осрамила семью! Если б здесь были законы, я бы ее в бараний рог согнул! Да-с, да-с!» Что же касается до Де-Грие, то он даже и имени его слышать не мог. «Он погубил меня, — говорил он, — он обокрал меня, он меня зарезал! Это был мой кошмар в продолжение целых двух лет! Он по целым месяцам сряду мне во сне снился! Это — это, это… О, не говорите мне о нем никогда!»

Я видел, что у них что-то идет на лад, но молчал, по обыкновению. Blanche объявила мне первая: это было ровно за неделю до того, как мы расстались.

— Il a de la chance,[170] — тараторила она мне, — babouchka теперь действительно уж больна и непременно умрет. Мистер Астлей прислал телеграмму; согласись, что все-таки он наследник ее. А если б даже и нет, то он ничему не помешает. Во-первых, у него есть свой пенсион, а во-вторых, он будет жить в боковой комнате и будет совершенно счастлив. Я буду «madame la générale». Я войду в хороший круг (Blanche мечтала об этом постоянно), впоследствии буду русской помещицей, j'aurai un château, des moujiks, et puis j'aurai toujours mon million.[171]

— Ну, а если он начнет ревновать, будет требовать… бог знает чего, — понимаешь?

— О нет, non, non, non! Как он смеет! Я взяла меры, не беспокойся. Я уж заставила его подписать несколько векселей на имя Альберта. Чуть что — и он тотчас же будет наказан; да и не посмеет!

— Ну, выходи…

Свадьбу сделали без особенного торжества, семейно и тихо. Приглашены были Альберт и еще кое-кто из близких. Hortense,

Cléopâtre и прочие были решительно отстранены. Жених чрезвычайно интересовался своим положением. Blanche сама повязала ему галстук, сама его напомадила, и в своем фраке и в белом жилете он смотрел très comme il faut.[172]

— Il est pourtant très comme il faut,[173] — объявила мне сама Blanche, выходя из комнаты генерала, как будто идея о том, что генерал très comme il faut, даже ее самое поразила. Я так мало вникал в подробности, участвуя во всем в качестве такого ленивого зрителя, что многое и забыл, как это было. Помню только, что Blanche оказалась вовсе не de Cominges, ровно как и мать ее — вовсе не veuve Cominges, а — du-Placet. Почему они были обе de Cominges до сих пор — не знаю. Но генерал и этим остался очень доволен, и du-Placet ему даже больше понравилось, чем de Cominges. В утро свадьбы он, уже совсем одетый, всё ходил взад и вперед по зале и всё повторял про себя, с необыкновенно серьезным и важным видом: «Mademoiselle Blanche du-Placet! Blanche du-Placet! Du-Placet! Девица Бланка Дю-Пласет!..» И некоторое самодовольствие сияло на его лице. В церкви, у мэра и дома за закуской он был не только радостен и доволен, но даже горд. С ними с обоими что-то случилось. Blanche стала смотреть тоже с каким-то особенным достоинством.

— Мне теперь нужно совершенно иначе держать себя, — сказала она мне чрезвычайно серьезно, — mais vois-tu, я не подумала об одной прегадкой вещи: вообрази, я до сих пор не могу заучить мою теперешнюю фамилию: Загорьянский, Загозианский, madame la générale de Sago-Sago, ces diables des noms russes, enfin madame la générale à quatorze consonnes! comme c'est agréable, n'est-ce pas?[174]

Наконец мы расстались, и Blanche, эта глупая Blanche, даже прослезилась, прощаясь со мною. «Tu étais bon enfant, — говорила она хныча. — Je te croyais bête es tu en avais l'air,[175] но это к тебе идет». И, уж пожав мне руку окончательно, она вдруг воскликнула: «Attends!», [176] бросилась в свой будуар и чрез минуту вынесла мне два тысячефранковых билета. Этому я ни за что бы не поверил! «Это тебе пригодится, ты, может быть, очень ученый outchitel, но ты ужасно глупый человек. Больше двух тысяч я тебе ни за что не дам, потому что ты — всё равно проиграешь. Ну, прощай! Nous serons toujours bons amis, а если опять выиграешь, непременно приезжай ко мне, et tu seras heureux!»[177]

У меня у самого оставалось еще франков пятьсот; кроме того, есть великолепные часы в тысячу франков, бриллиантовые запонки и прочее, так что можно еще протянуть довольно долгое время, ни о чем не заботясь. Я нарочно засел в этом городишке, чтоб собраться, а главное, жду мистера Астлея. Я узнал наверное, что он будет здесь проезжать и остановится на сутки, по делу. Узнаю обо всем… а потом — потом прямо в Гомбург. В Рулетенбург не поеду, разве на будущий год. Действительно, говорят, дурная примета пробовать счастья два раза сряду за одним и тем же столом, а в Гомбурге самая настоящая-то игра и есть.

Глава XVII

Вот уже год и восемь месяцев, как я не заглядывал в эти записки, и теперь только, от тоски и горя, вздумал развлечь себя и случайно перечел их. Так на том и оставил тогда, что поеду в Гомбург. Боже! с каким, сравнительно говоря, легким сердцем я написал тогда эти последние строчки! То есть не то чтоб с легким сердцем, а с какою самоуверенностью, с какими непоколебимыми надеждами! Сомневался ли я хоть сколько-нибудь в себе? И вот полтора года с лишком прошли, и я, по-моему, гораздо хуже, чем нищий! Да что нищий! Наплевать на нищенство! Я просто сгубил себя! Впрочем, не с уем почти и сравнивать, да и нечего себе мораль читать! Ничего не может быть нелепее морали в такое время! О самодовольные люди: с каким гордым самодовольством готовы эти болтуны читать свои сентенции! Если б они знали, до какой степени я сам понимаю всю омерзительность теперешнего моего состояния, то, конечно, уж не повернулся бы у них язык учить меня. Ну что, что могут они мне сказать нового, чего я не знаю? И разве в этом дело? Тут дело в том, что — один оборот колеса и всё изменяется, и эти же самые моралисты первые (я в этом уверен) придут с дружескими шутками поздравлять меня. И не будут от меня все так отворачиваться, как теперь. Да наплевать на них на всех! Что я теперь? Zéro. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал!

Я действительно тогда поехал в Гомбург, но… я был потом и опять в Рулетенбурге, был и в Спа, был даже и в Бадене, куда я ездил камердинером советника Гинце, мерзавца и бывшего моего здешнего барина. Да, я был и в лакеях, целых пять месяцев! Это случилось сейчас после тюрьмы. (Я ведь сидел и в тюрьме в Рулетенбурге за один здешний долг. Неизвестный человек меня выкупил, — кто такой? Мистер Астлей? Полина? Не знаю, но долг был заплачен, всего двести талеров, и я вышел на волю). Куда мне было деваться? Я и поступил к этому Гинце. Он человек молодой и ветреный, любит полениться, а я умею говорить и писать на трех языках. Я сначала поступил к нему чем-то вроде секретаря, за тридцать гульденов в месяц; но кончил у него настоящим лакейством: держать секретаря ему стало не по средствам, и

он мне сбавил жалованье; мне же некуда было идти, я остался — и таким образом сам собою обратился в лакея. Я недоедал и недопивал на его службе, но зато накопил в пять месяцев семьдесят гульденов. Однажды вечером, в Бадене, я объявил ему, что желаю с ним расстаться; в тот же вечер я отправился на рулетку. О, как стучало мое сердце! Нет, не деньги мне были дороги! Тогда мне только хотелось, чтоб завтра же все эти Гинце, все эти обер-кельнеры, все эти великолепные баденские дамы, чтобы все они говорили обо мне, рассказывали мою историю, удивлялись мне, хвалили меня и преклонялись пред моим новым выигрышем. Всё это детские мечты и заботы, но… кто знает: может быть, я повстречался бы и с Полиной, я бы ей рассказал, и она бы увидела, что я выше всех этих нелепых толчков судьбы… О, не деньги мне дороги! Я уверен, что разбросал бы их опять какой-нибудь Blanche и опять ездил бы в Париже три недели на паре собственных лошадей в шестнадцать тысяч франков. Я ведь наверное знаю, что я не скуп; я даже думаю, что я расточителен, — а между тем, однако ж, с каким трепетом, с каким замиранием сердца я выслушиваю крик крупера: trente et un, rouge, impaire et passe или: quatre, noir, pair et manque! С какою алчностью смотрю я на игорный стол, по которому разбросаны луидоры, фридрихсдоры и галеры, на столбики золота, когда они от лопатки крупера рассыпаются в горящие, как жар, кучи, или на длинные в аршин столбы серебра, лежащие вокруг колеса. Еще подходя к игорной зале, за две комнаты, только что я заслышу дзеньканье пересыпающихся денег, — со мною почти делаются судороги.

О, тот вечер, когда я понес мои семьдесят гульденов на игорный стол, тоже был замечателен. Я начал с десяти гульденов и опять с passe. К passe я имею предрассудок. Я проиграл. Оставалось у меня шестьдесят гульденов серебряною монетою; я подумал — и предпочел zéro. Я стал разом ставить на zéro по пяти гульденов; с третьей ставки вдруг выходит zéro, я чуть не умер от радости, получив сто семьдесят пять гульденов; когда я выиграл сто тысяч гульденов, я не был так рад. Тотчас же я поставил сто гульденов на rouge — дала; все двести на rouge — дала; все четыреста на noir — дала; все восемьсот на manque — дала; считая с прежним, было тысяча семьсот гульденов, и это — менее чем в пять минут! Да, в эдакие-то мгновения забываешь и все прежние неудачи! Ведь я добыл это более чем жизнию рискуя, осмелился

рискнуть и — вот я опять в числе человеков!

Я занял номер, заперся и часов до трех сидел и считал свои деньги. Наутро я проснулся уже не лакеем. Я решил в тот же день выехать в Гомбург: там я не служил в лакеях и в тюрьме не сидел. За полчаса до поезда я отправился поставить две ставки, не более, и проиграл полторы тысячи флоринов. Однако же все-таки переехал в Гомбург, и вот уже месяц, как я здесь…

Я, конечно, живу в постоянной тревоге, играю по самой маленькой и чего-то жду, рассчитываю, стою по целым дням у игорного стола и *наблюдаю* игру, даже во сне вижу игру, но при всем этом мне кажется, что я как будто одеревенел, точно загряз в какой-то тине. Заключаю это по впечатлению при встрече с мистером Астлеем. Мы не видались с того самого времени и встретились нечаянно; вот как это было. Я шел в саду и рассчитывал, что теперь я почти без денег, но что у меня есть пятьдесят гульденов, кроме того, в отеле, где я занимаю каморку, я третьего дня совсем расплатился. Итак, мне остается возможность один только раз пойти теперь на рулетку, — если выиграю хоть что-нибудь, можно будет продолжать игру; если проиграю — надо опять идти в лакеи, в случае если не найду сейчас русских, которым бы понадобился учитель. Занятый этой мыслью, я пошел, моею ежедневною прогулкою чрез парк и чрез лес, в соседнее княжество. Иногда я выхаживал таким образом часа по четыре и возвращался в Гомбург усталый и голодный. Только что вышел я из сада в парк, как вдруг на скамейке увидел мистера Астлея. Он первый меня заметил и окликнул меня. Я сел подле него. Заметив же в нем некоторую важность, я тотчас же умерил мою радость; а то я было ужасно обрадовался ему.

— Итак, вы здесь! Я так и думал, что вас повстречаю, — сказал он мне. — Не беспокойтесь рассказывать: я знаю, я всё знаю; вся ваша жизнь в эти год и восемь месяцев мне известна.

— Ба! вот как вы следите за старыми друзьями! — ответил я. — Это делает вам честь, что не забываете… Постойте, однако ж, вы даете мне мысль — не вы ли выкупили меня из рулетенбургской тюрьмы, где я сидел за долг в двести гульденов? Меня выкупил неизвестный.

— Нет, о нет; я не выкупал вас из рулетенбургской тюрьмы, где вы сидели за долг в двести гульденов, но я знал, что вы сидели в тюрьме за долг в двести гульденов.

— Значит, все-таки знаете, кто меня выкупил?

— О нет, не могу сказать, что знаю, кто вас выкупил.

— Странно; нашим русским я никому не известен, да русские здесь, пожалуй, и не выкупят; это у нас там, в России, православные выкупают православных. А я так и думал, что какой-нибудь чудак-англичанин, из странности.

Мистер Астлей слушал меня с некоторым удивлением. Он, кажется, думал найти меня унылым и убитым.

— Однако ж я очень радуюсь, видя вас совершенно сохранившим всю независимость вашего духа и даже веселость, — произнес он с довольно неприятным видом.

— То есть внутри себя вы скрыпите от досады, зачем я не убит и не унижен, — сказал я смеясь. Он не скоро понял, но, поняв, улыбнулся.

— Мне нравятся ваши замечания. Я узнаю в этих словах моего прежнего, умного, старого, восторженного и вместе с тем цинического друга; одни русские могут в себе совмещать, в одно и то же время, столько противоположностей. Действительно, человек любит видеть лучшего своего друга в унижении пред собою; на унижении основывается большею частью дружба; и это старая, известная всем умным людям истина. Но в настоящем случае, уверяю вас, я искренно рад, что вы не унываете. Скажите, вы не намерены бросить игру?

— О, черт с ней! Тотчас же брошу, только бы…

— Только бы теперь отыграться? Так я и думал; не договаривайте — знаю, — вы это сказали нечаянно, следственно, сказали правду. Скажите, кроме игры, вы ничем не занимаетесь?

— Да, ничем…

Он стал меня экзаменовать. Я ничего не знал, я почти не заглядывал в газеты и положительно во всё это время не развертывал ни одной книги.

— Вы одеревенели, — заметил он, — вы не только отказались от жизни, от интересов своих и общественных, от долга гражданина и человека, от друзей своих (а они все-таки у вас были), вы не только отказались от какой бы то ни было цели, кроме выигрыша, вы даже отказались от воспоминаний своих. Я помню вас в горячую и сильную минуту вашей жизни; но я уверен, что вы забыли все лучшие тогдашние впечатления ваши; ваши мечты, ваши теперешние, самые насущные желания не идут дальше pair и impair, rouge, noir, двенадцать средних и так далее, и так далее, я уверен!

— Довольно, мистер Астлей, пожалуйста, пожалуйста, не напоминайте, — вскричал я с досадой, чуть не со злобой, — знайте, что я ровно ничего не забыл; но я только на время выгнал всё это из головы, даже воспоминания, — до тех пор, покамест не поправлю радикально мои обстоятельства; тогда… тогда вы увидите, я воскресну из мертвых!

— Вы будете здесь еще чрез десять лет, — сказал он. — Предлагаю вам пари, что я напомню вам это, если буду жив, вот на этой же скамейке.

— Ну довольно, — прервал я с нетерпением, — и, чтоб вам доказать, что я не так-то забывчив на прошлое, позвольте узнать: где теперь мисс Полина? Если не вы меня выкупили, то уж, наверно, она. С самого того времени я не имел о ней никакого известия.

— Нет, о нет! Я не думаю, чтобы она вас выкупила. Она теперь в Швейцарии, и вы мне сделаете большое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине, — сказал он решительно и даже сердито.

— Это значит, что и вас она уж очень поранила! — засмеялся я невольно.

— Мисс Полина — лучшее существо из всех наиболее достойных уважения существ, но, повторяю вам, вы сделаете мне великое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине. Вы ее никогда не знали, и ее имя в устах ваших я считаю оскорблением нравственного моего чувства.

— Вот как! Впрочем, вы неправы; да о чем же мне и говорить с вами, кроме этого, рассудите? Ведь в этом и состоят все наши воспоминания. Не беспокойтесь, впрочем, мне не нужно никаких внутренних, секретных ваших дел… Я интересуюсь только, так сказать, внешним положением мисс Полины, одною только теперешнею наружною обстановкою ее. Это можно сообщить в двух словах.

— Извольте, с тем чтоб этими двумя словами было всё покончено. Мисс Полина была долго больна; она и теперь больна; некоторое время она жила с моими матерью и сестрой в северной Англии. Полгода назад ее бабка — помните, та самая сумасшедшая женщина — померла и оставила лично ей семь тысяч фунтов состояния. Теперь мисс Полина путешествует вместе с семейством моей сестры, вышедшей замуж. Маленький брат и сестра ее тоже обеспечены завещанием бабки и учатся в Лондоне. Генерал, ее отчим, месяц назад умер в Париже от

удара. Mademoiselle Blanche обходилась с ним хорошо, но всё, что он получил от бабки, успела перевести на себя… вот, кажется, и всё.

— А Де-Грие? Не путешествует ли он тоже в Швейцарии?

— Нет, Де-Грие не путешествует в Швейцарии, и я не знаю, где Де-Грие; кроме того, раз навсегда предупреждаю вас избегать подобных намеков и неблагородных сопоставлений, иначе вы будете непременно иметь дело со мною.

— Как! несмотря на наши прежние дружеские отношения?

— Да, несмотря на наши прежние дружеские отношения.

— Тысячу раз прошу извинения, мистер Астлей. Но позвольте, однако ж: тут нет ничего обидного и неблагородного; я ведь ни в чем не виню мисс Полину. Кроме того, француз и русская барышня, говоря вообще, — это такое сопоставление, мистер Астлей, которое не нам с вами разрешить или понять окончательно.

— Если вы не будете упоминать имя Де-Грие вместе с другим именем, то я попросил бы вас объяснить мне, что вы подразумеваете под выражением: «француз и русская барышня»? Что это за «сопоставление»? Почему тут именно француз и непременно русская барышня?

— Видите, вы и заинтересовались. Но это длинная материя, мистер Астлей. Тут много надо бы знать предварительно. Впрочем, это вопрос важный — как ни смешно всё это с первого взгляда. Француз, мистер Астлей, это — законченная, красивая форма. Вы, как британец, можете с этим быть несогласны; я, как русский, тоже несогласен, ну, пожалуй, хоть из зависти; но наши барышни могут быть другого мнения. Вы можете находить Расина изломанным; исковерканным и парфюмированным; даже читать его, наверное, не станете. Я тоже нахожу его изломанным, исковерканным и парфюмированным, с одной даже точки зрения смешным; но он прелестен, мистер Астлей, и, главное, он великий поэт, хотим или не хотим мы этого с вами. Национальная форма француза, то есть парижанина, стала слагаться в изящную форму, когда мы еще были медведями. Революция наследовала дворянству. Теперь самый пошлейший французишка может иметь манеры, приемы, выражения и даже мысли вполне изящной формы, не участвуя в этой форме ни своею инициативою, ни душою, ни сердцем; всё это досталось ему по наследству. Сами собою, они могут быть пустее пустейшего и подлее подлейшего. Ну-с, мистер Астлей,

сообщу вам теперь, что нет существа в мире доверчивее и откровеннее доброй, умненькой и не слишком изломанной русской барышни. Де-Грие, явясь в какой-нибудь роли, явясь замаскированным, может завоевать ее сердце с необыкновенною легкостью; у него есть изящная форма, мистер Астлей, и барышня принимает эту форму за его собственную душу, за натуральную форму его души и сердца, а не за одежду, доставшуюся ему по наследству. К величайшей вашей неприятности, я должен вам признаться, что англичане большею частью угловаты и неизящны, а русские довольно чутко умеют различать красоту и на нее падки. Но, чтобы различать красоту души и оригинальность личности, для этого нужно несравненно более самостоятельности и свободы, чем у наших женщин, тем более барышень, — и уж во всяком случае больше опыта. Мисс Полине же — простите, сказанного не воротишь — нужно очень, очень долгое время решаться, чтобы предпочесть вас мерзавцу Де-Грие. Она вас и оценит, станет вашим другом, откроет вам всё свое сердце; но в этом сердце все-таки будет царить ненавистный мерзавец, скверный и мелкий процентщик Де-Грие. Это даже останется, так сказать, из одного упрямства и самолюбия, потому что этот же самый Де-Грие явился ей когда-то в ореоле изящного маркиза, разочарованного либерала и разорившегося (будто бы?), помогая ее семейству и легкомысленному генералу. Все эти проделки открылись после. Но это ничего, что открылись: все-таки подавайте ей теперь прежнего Де-Грие — вот чего ей надо! И чем больше ненавидит она теперешнего Де-Грие, тем больше тоскует о прежнем, хоть прежний и существовал только в ее воображении. Вы сахаровар, мистер Астлей?

— Да, я участвую в компании известного сахарного завода Ловель и Комп.

— Ну, вот видите, мистер Астлей. С одной стороны — сахаровар, а с другой — Аполлон Бельведерский; всё это как-то не связывается. А я даже и не сахаровар; я просто мелкий игрок на рулетке, и даже в лакеях был, что, наверное, уже известно мисс Полине, потому что у ней, кажется, хорошая полиция.

— Вы озлоблены, а потому и говорите весь этот вздор, — хладнокровно и подумав сказал мистер Астлей. — Кроме того, в ваших словах нет оригинальности.

— Согласен! Но в том-то и ужас, благородный друг мой, что все

эти мои обвинения, как ни устарели, как ни пошлы, как ни водевильны — все-таки истинны! Все-таки мы с вами ничего не добились!

— Это гнусный вздор… потому, потому… знайте же! — произнес мистер Астлей дрожащим голосом и сверкая глазами, — знайте же, неблагодарный и недостойный, мелкий и несчастный человек, что я прибыл в Гомбург нарочно по ее поручению, для того чтобы увидеть вас, говорить с вами долго и сердечно, и передать ей всё, — ваши чувства, мысли, надежды и… воспоминания!

— Неужели! Неужели? — вскричал я, и слезы градом потекли из глаз моих. Я не мог сдержать их, и это, кажется, было в первый раз в моей жизни.

— Да, несчастный человек, она любила вас, и я могу вам это открыть, потому что вы — погибший человек! Мало того, если я даже скажу вам, что она до сих пор вас любит, то — ведь вы всё равно здесь останетесь! Да, вы погубили себя. Вы имели некоторые способности, живой характер и были человек недурной; вы даже могли быть полезны вашему отечеству, которое так нуждается в людях, но — вы останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. Я вас не виню. На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд (я не о народе вашем говорю). Рулетка — это игра по преимуществу русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакеи, чем воровать… но мне страшно подумать, что может быть в будущем. Довольно, прощайте! Вы, конечно, нуждаетесь в деньгах? Вот от меня вам десять луидоров, больше не дам, потому что вы их всё равно проиграете. Берите и прощайте! Берите же!

— Нет, мистер Астлей, после всего теперь сказанного…

— Бе-ри-те! — вскричал он. — Я убежден, что вы еще благородны, и даю вам, как может дать друг истинному другу. Если б я мог быть уверен, что вы сейчас же бросите игру, Гомбург и поедете в ваше отечество, — я бы готов был немедленно дать вам тысячу фунтов для начала новой карьеры. Но я потому именно не даю тысячи фунтов, а даю только десять луидоров, что тысяча ли фунтов, или десять луидоров — в настоящее время для вас совершенно одно и то же; всё одно — проиграете. Берите и прощайте.

— Возьму, если вы позволите себя обнять на прощанье.

— О, это с удовольствием!

Мы обнялись искренно, и мистер Астлей ушел.

Нет, он не прав! Если я был резок и глуп насчет Полины и Де-Грие, то он резок и скор насчет русских. Про себя я ничего не говорю. Впрочем… впрочем, всё это покамест не то. Всё это слова, слова и слова, а надо дела! Тут теперь главное Швейцария! Завтра же, — о, если б можно было завтра же отправиться! Вновь возродиться, воскреснуть. Надо им доказать… Пусть знает Полина, что я еще могу быть человеком. Стоит только… теперь уж, впрочем, поздно, — но завтра… О, у меня предчувствие, и это не может быть иначе! У меня теперь пятнадцать луидоров, а я начинал и с пятнадцатью гульденами! Если начать осторожно… — и неужели, неужели уж я такой малый ребенок! Неужели я не понимаю, что я сам погибший человек. Но — почему же я не могу воскреснуть. Да! стоит только хоть раз в жизни быть расчетливым и терпеливым и — вот и всё! Стоит только хоть раз выдержать характер, и я в один час могу всю судьбу изменить! Главное — характер. Вспомнить только, что было со мною в этом роде семь месяцев назад в Рулетенбурге, пред окончательным моим проигрышем. О, это был замечательный случай решимости: я проиграл тогда всё, всё… Выхожу из воксала, смотрю — в жилетном кармане шевелится у меня еще один гульден. «А, стало быть, будет на что пообедать!» — подумал я, но, пройдя шагов сто, я передумал и воротился. Я поставил этот гульден на manque (тот раз было на manque), и, право, есть что-то особенное в ощущении, когда один, на чужой стороне, далеко от родины, от друзей и не зная, что сегодня будешь есть, ставишь последний гульден, самый, самый последний! Я выиграл и через двадцать минут вышел из воксала, имея сто семьдесят гульденов в кармане. Это факт-с! Вот что может иногда значить последний гульден! А что, если б я тогда упал духом, если б я не посмел решиться?

Завтра, завтра всё кончится!

Примечания

В четвертом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатаются произведения, опубликованные в 1861–1866 гг.: «Униженные и оскорбленные», «Скверный анекдот», «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья», «Крокодил», «Игрок». Все они (кроме «Игрока») впервые публиковались в журналах Ф. М. и М. М. Достоевских «Время» и «Эпоха».

Достоевский в романе «Униженные и оскорбленные» возвращается к мотивам и героям «Бедных людей», «Белых ночей», «Слабого сердца», «Неточки Незвановой», которые получают в романе в значительной степени иное психологическое и идеологическое наполнение. Это возвращение в 40-е годы, но обогащенное сибирским опытом Достоевского. В романе соотнесены не только судьбы, характеры, психологические ситуации, но и две эпохи жизни русского общества — 1840-х и 1860-х годов. Роман стал своего рода подведением итогов, но не прощанием с прошлым и тем более не отречением от него. Прошлое в «Униженных и оскорбленных» концентрируется вокруг воспоминаний о «Бедных людях», личности и последних годах жизни В. Г. Белинского (критик Б.). Именно трагическая судьба Белинского занимает ключевое место в художественной концепции романа, органически сливаясь с судьбами других «униженных и оскорбленных» героев и сумрачно-трущобным образом столичного города. О приверженности Достоевского «истинно гуманическому» направлению 1840-х годов писал в своей последней статье Н. А. Добролюбов, подчеркивая актуальность и жизненность идеалов и убеждений эпохи Белинского, Герцена, Петрашевского в пореформенной России. Само название романа Достоевского стало эмблемой гуманистического содержания русской литературы XIX в.

Временные пласты в романе «тайн» Достоевского (очевидно жанровое родство с произведениями Ч. Диккенса, О. Бальзака, Э. Сю, Ф. Сулье) смещены или, говоря иначе, совмещены, переплетены: роман-воспоминание как бы вписан в новую «либеральную» полосу жизни. «Униженные и оскорбленные» в определенном смысле воспринимаются как промежуточное звено в творчестве писателя и эскиз к

«Преступлению и наказанию»: поиски своего жанра и оригинальных форм повествования, открытие новых характеров (особенно это относится к князю Валковскому — первому в галерее «хищных» типов Достоевского). Все это определило особое место в творчестве писателя «Униженных и оскорбленных» — первого большого «петербургского» романа Достоевского, и безусловно одного из самых популярных его произведений. «Униженные и оскорбленные», имевшие большой читательский успех, упрочили репутацию Достоевского-художника и «почвеннического» журнала «Время». Однако собственно почвеннических идей здесь почти нет в отличие от других художественных и публицистических произведений Достоевского 1860-х годов, прямо или косвенно связанных с «полемикой идей» века и пропагандой «почвенничества» — направления, главная суть которого заключалась в поисках «общей идеи», идеала, истинно национальных формул прогресса и просвещения. С наибольшей отчетливостью почвенническая программа, во многом созвучная теории «русского социализма» А. И. Герцена, была изложена Достоевским в публицистическом цикле «Ряд статей о русской литературе». В 1861 г. Достоевский с энтузиазмом верил в возможность мирного и постепенного возрождения России, радовался новому духу реформ, идеям великой эмансипации, расцвету «благодетельной гласности». Постепенно, однако, эти надежды поблекли, чему весьма способствовало резкое ухудшение политической обстановки, наступление реакции: расправа над М. Л. Михайловым, петербургские пожары, арест Н. Г. Чернышевского, восстание в Польше (1863–1864). Запрещен был и журнал «Время», вынужденный в 1863 г. прекратить существование на апрельской книжке.

Рассказ «Скверный анекдот» явственно засвидетельствовал скептицизм Достоевского, недоверие к либеральным разговорам о возрождении и обновлении России и одновременно настороженное и брезгливое отношение к вульгарным формам, в которые выливалась эмансипация. Сатирический рассказ Достоевского — непосредственный художественный отклик писателя на недолгую «либеральную весну», жалкие и непоследовательные попытки внедрения «новых порядков» сверху, в конечном счете вылившиеся в «скверный анекдот».

Рассказ был написан уже после первой поездки Достоевского в Западную Европу (1862), сыгравшей немалую роль в эволюции

настроений и взглядов писателя. Достоевский, давно грезивший о встрече со «страной святых чудес», увидел Францию Наполеона III, о которой К. Маркс писал в книге «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»: «Целый народ, полагавший, что он посредством революции ускорил свое поступательное движение, вдруг оказывается перенесенным назад, в умершую эпоху…».[178] Результатом поездки стало радикальное изменение представлений Достоевского о Европе. Обратившись в «Зимних заметках о летних впечатлениях» к проблеме «Запад и Россия», Достоевский яростно полемизирует с «русскими европейцами». Симптоматична близость парадоксов Достоевского к идеям «органической критики» А. Григорьева. Углубляется и полемика Достоевского с «западническими» теориями, задевающая непосредственно и старых вождей «европейской» партии — Чаадаева и Белинского (разительно изменяется общая оценка деятельности критика по сравнению с «Униженными и оскорбленными» и «Рядом статей о русской литературе»). Соответственно явно смягчается, отступает на третий план полемика со славянофилами.

Предпринятое Достоевским в «Зимних заметках о летних впечатлениях» путешествие в старую и новейшую историко-литературную «русскую Европу» иронически оттеняет впечатления от увиденного в современной Европе, представшей царством рассудка и чистогана, грандиозным муравейником без идеалов и «чудес». Достоевский с большой художественной силой запечатлел лондонский «Ваал» и затхлый духовный климат Франции периода общественно-политического застоя. Его критика буржуазной цивилизации имела определенные основания, во многом совпадая с наблюдениями и выводами А. И. Герцена. Но Достоевский (как впрочем, отчасти и Герцен), пораженный нравственным падением Европы пришел к чересчур далеким и императивным заключениям о «натуре» западного человека вообще, в котором «нет братского начала, а, напротив, начало единичное, личное, беспрерывно ослабляющееся, требующее с мечом в руке своих прав». Это представление о Западной Европе, столь отчетливо и категорично сформулированное Достоевским в «Зимних заметках о летних впечатлениях», в дальнейшем останется неизменным. Главным этико-идеологическим ориентиром в творчестве Достоевского станет образ идеального человеческого братства, выпукло обрисованный в «фельетоне за все лето» (так определил жанровую

природу произведения писатель).

«Зимние заметки» — последнее произведение, опубликованное в журнале «Время». Достоевский воспринял запрещение журнала как катастрофу. После немалых усилий журнал удалось возобновить под другим названием: «Эпоха». Новому изданию суждена была короткая жизнь. Наступает, пожалуй, самое тяжелое время в жизни Достоевского. Один за другим уходят из жизни жена Мария Дмитриевна, любимый старший брат Михаил Михайлович. «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все новое и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих <…> Стало все вокруг меня холодно и пустынно», — писал 31 марта 1865 г. Достоевский сибирскому другу А. Е. Врангелю. Серьезный удар журнальным делам нанесла и смерть ведущего литературного критика, идеолога «почвенничества» Аполлона Григорьева. «Эпоха» была обречена и вскоре прекратила существование, несмотря на энергичные усилия Достоевского, опубликовавшего в журнале повесть «Записки из подполья» и рассказ «Крокодил».

Философская повесть «Записки из подполья» явилась важной вехой идеологической и художественной эволюции Достоевского. В повести сложно художественно преломились «полемика идей» века и драматические обстоятельства жизни писателя (а отчасти и эпоха 1840-х годов). Элементы идейной полемики, пародийности очень сильны в повести (как и в рассказе «Крокодил»), хотя, конечно, ими отнюдь не исчерпывается содержание произведения, в котором по давно установившейся традиции видят начало «нового» Достоевского, идеологические и эстетические пролегомены к большим романам и «Дневнику писателя». Аргументы и «фантазии» Парадоксалиста («антигероя») поражали многосоставную систему идей, почерпнутых из разных европейских и русских источников, интегрированных в некое единое и цельное рассудочное и позитивистское мировоззрение. Они задевали как философские положения Гегеля, О. Конта, Г. Бокля, социал-утопические «фантазии», так и «теорию эгоизма» (или «расчета выгод») героев Чернышевского, литературные «указы» Добролюбова и Салтыкова-Щедрина, позитивистские и утилитаристские идеи в статьях Писарева и Зайцева, «календарь» и «формулы» (экономические,

политические, эстетические) М. Н. Каткова.

Иррациональный бунт Парадоксалиста, бросающего со свойственной герою предельной откровенностью и «истерической жаждой противоречий и контрастов» вызов всему общепринятому, узаконенному, «нормальному», разумному, — в сущности, своеобразнейшая исповедь без «порядка» и «системы». Логическая исповедь и «натуральная повесть» органически слились в новый жанр: гениальное художественное открытие Достоевского, при жизни писателя оцененное только А. Григорьевым («Ты в этом роде и пиши»).

Подполье — миросозерцание циничное, надрывное и трагическое: естественный продукт верхушечной цивилизации, оторванной от почвы, «живой жизни». Позднее, в набросках предисловия к роману «Подросток» Достоевский определил сущность, характернейшие черты «подпольного» человека и «подполья»: «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. <…> Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды — не от кого, веры — не в кого! Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство) <…> Причина подполья — уничтожение веры в общие правила. *„Нет ничего святого“*». Таким образом, самим писателем «подполье» расценивалось как явление не исключительное, а типичное, своего рода парадоксально-трагическая и «некрасивая» разновидность «нигилизма» — духовной болезни нового времени.

Рассказ «Крокодил» еще непосредственнее, чем «Записки из подполья», связан с общественно-литературной полемикой середины 1860-х годов. Здесь, в частности, Достоевский откликнулся на полемику между «Современником» и «Русским словом», ранее охарактеризованную им в статье-памфлете как «раскол» в стане «нигилистов». Воспользовался Достоевский и другими событиями в журнально-литературном мире, создавая буквально пронизанную памфлетными мотивами «фантастическую сказку».

Заключает настоящий том роман «Игрок». Достоевский, вынужденный выполнять кабальные условия договора с книгоиздателем

Ф. Т. Стелловским, прервал работу над «Преступлением и наказанием» и менее чем в месяц продиктовал «Игрока» стенографистке Анне Григорьевне Сниткиной, вскоре ставшей женой писателя. Роман «Игрок», действие которого разворачивается в Западной Европе, непосредственно связан с наблюдениями и тезисами «Зимних заметок о летних впечатлениях». В центре романа противопоставление русского национального характера («Я беру натуру непосредственную, человека, однако же, многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и *не смеющего не верить*, восстающего на авторитеты и боящегося их») и «западного», завершенного, устойчивого, константного и, разумеется, «мещанского». Исключительно сильны в «Игроке» автобиографические мотивы: многолетнее увлечение Достоевского игрой на рулетке и сложная, драматичная история отношений писателя с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой перекликаются с центральными образами и сюжетными коллизиями романа (и естественно, что бесценным «реальным комментарием» к произведению служат письма Достоевского тех лет и воспоминания Сусловой и А. Г. Достоевской). Стремительно завершив «Игрока», Достоевский всецело сосредоточился на работе над романом «Преступление и наказание».

Текст «Униженных и оскорбленных» подготовлен А. В. Архиповой; тексты остальных произведений, вошедших в настоящий том, — Е. И. Кийко.

Примечания к «Униженным и оскорбленным» составлены Н. Ф. Будановой; к остальным произведениям — Е. И. Кийко. Послесловие написано В. А. Тунимановым, который является и редактором тома. В редакционно-технической подготовке тома принимала участие С. А. Полозкова.

Униженные и оскорбленные

Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 1–7) с подзаголовком: «Из записок неудавшегося литератора» и посвящением М. М. Достоевскому. Отдельным изданием роман вышел в Петербурге в 1861 г. При жизни Достоевского переиздавался в 1865 и 1879 гг.

Возникновение замысла «Униженных и оскорбленных», очевидно, следует отнести к 1857 г. 3 ноября этого года Достоевский из Семипалатинска сообщил брату Михаилу о намерении написать «роман из петербургского быта вроде „Бедных людей“ (а мысль еще лучше «Бедных людей»)». После переезда в Петербург весной 1860 г. Достоевский непосредственно приступил к работе над романом, о чем уведомил А. И. Шуберт 3 мая 1860 г.: «Воротился я сюда и нахожусь вполне в лихорадочном положении. Всему причиною мой роман. Хочу написать хорошо, чувствую, что в нем есть поэзия, знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера. Месяца три придется теперь сидеть дни и ночи. Зато какая награда, когда кончу! Спокойствие, ясный взгляд кругом, сознание, что сделал то, что хотел сделать, настоял на своем».[179] Однако работа над романом протекала медленно. «… приступаю к писанию и не знаю еще, что будет, но решаюсь работать не разгибая шеи», — жаловался Достоевский А. П. Милюкову 10 сентября 1860 г.[180] Писатель работал над «Униженными и оскорбленными» более года. Как свидетельствует дата в конце журнальной публикации, роман был завершен писателем 9 июля 1861 г. 16 июля 1861 г. М. М. Достоевский писал в связи с этим Я. П. Полонскому: «Он (Федор Михайлович. — *Ред.*) только что отделался, то есть кончил роман свой». [181]

Повествование в «Униженных и оскорбленных» ведется от первого лица. Иван Петрович — начинающий бедный петербургский литератор, разночинец — является одновременно рассказчиком и действующим лицом романа. Образ этот отчасти носит автобиографический характер. Рассказ о литературном дебюте Ивана Петровича, восторженная оценка его первого романа «критиком Б.» (т. е. В. Г. Белинским), взаимоотношения молодого писателя с его «антрепренером» (издателем) — эти и некоторые другие факты восходят к биографии молодого Достоевского, автора «Бедных людей», блистательно

вступившего в 1846 г. на литературное поприще и обласканного самим Белинским. Неожиданный и необъясненный в романе крах — после удачного дебюта — литературных надежд Ивана Петровича является также косвенным отражением биографии молодого Достоевского.

В «Униженных и оскорбленных» романист отказался от соблюдения строгого хронологического принципа, характерного для его последующих романов. Хронология романа, как это неоднократно отмечали исследователи, сбивчива, а исторический фон, на котором совершаются события, условен. Действие романа происходит в течение полутора лет, однако его начало приурочено к середине 40-х годов, а в дальнейшем в романе упоминаются события и факты исторической, общественной и литературной жизни России вплоть до конца 1850-х годов.

Ироническое описание кружка «передовой» молодежи, собирающейся по средам «у Левеньки и Бореньки» (сами эти имена, вызывающие в памяти читателя Левона и Бореньку, друзей Репетилова в комедии Грибоедова «Горе от ума», свидетельствуют о пародийном характере изображения кружка), — пример преднамеренного смещения Достоевским хронологических границ и сближения различных эпох.

Проблемы отвлеченного философского характера, обсуждавшиеся в кружке Левеньки и Бореньки, заставляют вспомнить о «пятницах» М. В. Петрашевского, которые посещал молодой Достоевский в конце 1840-х годов. Споры же Алешиных друзей «по поводу современных вопросов» («Мы говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о современных деятелях…») были характерны для разночинно-демократической среды конца 1850-х — начала 1860-х годов, в преддверии буржуазных преобразований России.

Смещение хронологии позволило Достоевскому создать произведение с более широким, чем предполагалось первоначально, охватом частной и общественной жизни России той эпохи, а также выразить мысль о преемственной связи в идейной и культурной жизни России 1840-х и 1850-х годов.

«Униженные и оскорбленные» — первый большой роман Достоевского после каторги. В нем отразилась идейно-художественная эволюция писателя, вынесшего из Сибири убеждение о трагической оторванности передовой русской интеллигенции от «почвы», неверие в революционный путь преобразования русской действительности.

Иван Петрович изображен как литератор школы Белинского и идейный единомышленник критика. Однако тот гуманистический идеал братства, добра и справедливости, которому верен герой, в отличие от идеалов Белинского не носит активного, действенного характера. Отношение героев к литературному первенцу Ивана Петровича как бы служит критерием их нравственной сущности. Гуманистический пафос «Бедных людей» близок Ихменевым, но совершенно чужд Валковскому, способному испытывать к обездоленному «маленькому человеку» лишь чувство высокомерного презрения, свойственного аристократической среде.

Нередкие упоминания в романе о «Бедных людях», Белинском и эпохе 1840-х годов далеко не случайны. Гуманистическое направление русской литературы 1840-х годов было построено на вере, что «самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой». [182] Эта вера составляет также этическое основание романа «Униженные и оскорбленные».

О внутренней связи между «Бедными людьми» и «Униженными и оскорбленными» свидетельствует своеобразная перекличка заглавий обоих романов. Эпитет «бедные» в заглавии первого романа Достоевского многозначен. «Бедные» — это не только лишенные материального достатка или необходимых средств к существованию люди, но и люди несчастные, обездоленные, униженные, а тем самым вызывающие к себе сочувствие и сострадание. В этом смысле понятия «бедные», «униженные», «оскорбленные» — синонимы.

Описываемые в романе события происходят в Петербурге. Писатель стремился к точному воспроизведению топографии северной столицы. Вознесенский проспект (ныне — проспект Майорова), Большая Морская (улица Герцена), Гороховая (улица Дзержинского), Шестая линия Васильевского острова, Шестилавочная улица (ныне — улица Маяковского), Литейный проспект, Фонтанка, Семеновский, Вознесенский, Торговый мосты и т. д. — все это исторически конкретные приметы Петербурга, который изображен как типичный большой город той эпохи с присущими ему социальными противоречиями и контрастами. Здесь «самый главный князь Ротшильд», символизирующий власть денег, определяет человеческие судьбы и отношения.

Антикапиталистическая тема, трактуемая Достоевским с

гуманистических позиций, проходит через весь роман.

История Нелли позволила Достоевскому изобразить петербургские трущобы и притоны с их обитателями, жизнь городского социального «дна», где господствуют нищета, болезни, пороки, преступления. «Маленький человек», затерявшийся в этом страшном мире, обречен на нищету, позор, физическую и нравственную гибель.

«Мрачная это была история, — так характеризует Иван Петрович судьбу Нелли, — одна из тех мрачных и мучительных историй, которые так часто и неприметно, почти таинственно, сбываются под тяжелым петербургским небом, в темных, потаенных закоулках огромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступлений, среди всего этого кромешного ада бессмысленной и ненормальной жизни…» (наст. том. С. 164).

Не менее трагичны судьбы и других героев романа, «униженных и оскорбленных». Гибнут ограбленные и обманутые Валковским мать и дедушка Нелли; несчастья обрушились на семью Ихменевых, разоренную и опозоренную тем же Валковским; разрушились личная жизнь и литературные планы Ивана Петровича.

Всесильное и торжествующее зло представлено в романе князем Валковским, у которого, по меткому замечанию Н. А. Добролюбова, «душа совсем вынута».[183] Валковский — теоретик и практик откровенного, циничесского, хищнического эгоизма и индивидуализма. К этой зловещей фигуре тянутся все сюжетные линии романа. Он причина несчастий и страданий «униженных и оскорбленных».

Валковский — новый для писателя тип. Этот герой-идеолог — литературный предшественник более сложных и художественно совершенных героев того же плана — «подпольного парадоксалиста», Раскольникова, Свидригайлова, Ставрогина. Образ Валковского еще не обладает той психологической и философской усложненностью, которая свойственна, например, наиболее ему родственным Свидригайлову и Ставрогину, в душах которых, однако, происходит мучительная борьба между злом и добром.

Образ князя Валковского имеет определенные аналогии в западноевропейских литературах — в произведениях Шодерло де Лакло, маркиза де Сада, Шиллера, Гофмана, Э. Сю, Ф. Сулье, Бальзака, изображающих утонченных циников, апологетов и проповедников

аморализма, в философии М. Штирнера, автора нашумевшей книги «Единственный и его собственность».[184] Но аморализм Валковского имел жизненные истоки и в русской действительности того времени, в современной Достоевскому буржуазной индивидуалистической этике. Деньги для Валковского — главный двигатель и вершитель человеческих судеб. Причем князь — гедонист, стремящийся наслаждаться жизнью, к которой он относится потребительски. «Жизнь — коммерческая сделка, — утверждает в беседе с Иваном Петровичем Валковский, — даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему, — вот моя нравственность <…> Идеалов я не имею и не хочу иметь <…> В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов…» (наст. том. С. 244).

Если Валковский принадлежит к «хищному типу», то его сын Алеша относится к числу добрых, но слабых, безвольных людей. Детскость, простодушие, «невинность» придают Алеше своеобразное обаяние и отчасти роднят его с Алешей Карамазовым. В противоположность отцу Алеша не является сознательным носителем зла, однако его бездумный эгоизм, легкомыслие, безответственность в своих поступках объективно содействуют злу.

Рисуя мир «униженных и оскорбленных», Достоевский не идеализирует внутренних возможностей своих героев. Это не только хорошие, благородные, несчастные и страдающие люди, достойные любви и участия. Они в то же время нравственно больны, ущербны, потому что постоянное оскорбление человеческого достоинства не проходит безнаказанно, но калечит душу человека, озлобляет его.

Проблему эгоизма в ее социальном и этическом аспектах, занимающую центральное место в романе, Достоевский исследует всесторонне, с большой психологической и философской глубиной. Эгоизм в его разнообразных видах и проявлениях рисуется ему большим социальным злом, источником «неблагообразия» мира и человеческих отношений. Эгоизм разъединяет, разобщает даже самых близких, дорогих друг другу людей (семья Ихменевых), препятствует их человеческому взаимопониманию и единению.

Валковский — носитель самого страшного — хищнического, циничесого, волчьего эгоизма. Алеша Валковский и Катя представляют в романе эгоизм наивный, непосредственный. Наташе

присущ эгоизм больной, исключительной, жертвенной любви к недостойному избраннику, делающий ее глухой к страданиям близких людей (родителей, Ивана Петровича). Ей же, как и Нелли, в высшей степени свойствен эгоизм страдания, в котором она гордо и ожесточенно замыкается. Эгоизм страдания характерен также для старика Ихменева и отчасти для Ивана Петровича.

Выход из ненормального, болезненного состояния, разъединяющего и разобщающего людей, Иван Петрович видит в любви, прощении, нравственной стойкости и духовном единении «униженных и оскорбленных». Эту идею трогательно и наивно выражает в конце романа старик Ихменев: «О! Пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе, и пусть, пусть теперь торжествуют эти гордые и надменные, унизившие и оскорбившие нас! Пусть они бросят в нас камень!.. Мы пойдем рука в руку…» (см. с. 313).

Разумеется, Достоевский понимал, что подобное нравственное единение не уничтожает социального зла, которое в романе торжествует в лице Валковского. В финале романа — трагически разрушенные судьбы его героев. Писатель-гуманист правдиво показал трагически неразрешимые конфликты своей эпохи.

«Униженные и оскорбленные» — во многом переходное в творчестве Достоевского произведение. Это — первый, еще не вполне художественно совершенный опыт нового для писателя «идеологического романа». В нем содержатся зачатки многих идей, образов, поэтики зрелого Достоевского.

Чернышевский сочувственно откликнулся в «Современнике» на появление в печати первой части «Униженных и оскорбленных»: «Нельзя угадать, как разовьется содержание в следующих частях, потому скажем теперь только, что первая часть возбуждает сильный интерес ознакомиться с дальнейшим ходом отношений между тремя главными действующими лицами: юношею, от имени которого ведется рассказ (роман имеет форму автобиографии), девушкою, которую он горячо любит, которая и сама ценит его благородство, но отдалась другому, очаровательному и бесхарактерному человеку. Личность этого счастливого любовника задумана очень хорошо, и если автор успеет выдержать психологическую верность в отношениях между ним и отдавшейся ему девушкою, роман его будет одним из лучших, какие являлись у нас в последние годы. В первой части, по нашему мнению,

рассказ имеет правдивость: это соединение гордости и силы в женщине с готовностью переносить от любимого человека жесточайшие оскорбления, одного из которых было бы, кажется, достаточно, чтобы заменить прежнюю любовь презрительною ненавистью, — это странное соединение в действительности встречается у женщин очень часто. Наташа с самого начала предчувствует, что человек, которому отдается она, не стоит ее; предчувствует, что готов бросить ее, — и все-таки не отталкивает его, напротив, бросает для него свою семью, чтобы удержать его любовь к себе, поселившись вместе с ним. <…> К несчастию, слишком многие из благороднейших женщин могут припомнить в собственной жизни подобные случаи, и хорошо, если только припомнить как минувшую уже чуждую их настоящего историю».[185]

Начало публикации романа «Униженные и оскорбленные» в журнале «Время» приветствовал А. Н. Плещеев, который писал: «Новый роман его напомнил нам его прежние произведения: те же хватающие за сердце ноты слышны в нем… даже и тот фантастический колорит, который так любит г-н Достоевский, колорит, как будто навеянный на него одним из любимых его писателей, Гофманом, встречается здесь в первой же сцене <…> Первая глава нового романа, где являются странный старик с своей собакой, по нашему мнению, превосходна».[186]

Роман Достоевского после выхода его в свет привлек внимание критиков различных направлений. Расходясь в оценке идейно-художественных достоинств романа, критики, однако, почти единодушно признали увлекательность, занимательность нового произведения писателя.

В журнале «Сын отечества» появилась статья А. Хитрова, в которой были отмечены высокие художественные достоинства романа. «Автор — удивительный мастер оттенять характеры выводимых им лиц и класть особый оттенок на каждого из них, класть не с нескольких приемов, а с одного разу, — писал А. Хитров. — Герои романа — не какие-нибудь бледные тени, но живые люди, говорящие каждый по своим убеждениям, согласно своему взгляду. Как живого вы видите перед собой и этого несчастного Смита, который, кажется вам, и теперь еще сидит у Миллера и смотрит бессмысленно холодным взглядом на горячего немца <…> как живого видите и этого несчастного Ихменева,

скрывающего от людей свои чувства, а в тиши — плачущего о своей Наташе».[187] Критик отмечает художественную достоверность созданных Достоевским образов. «Вообще в этом отношении есть у автора многие великолепные, мастерские страницы. Одна сцена — и перед вами весь человек. Не забудем при этом и того, что характеры, выбранные автором, не из легких».[188] Главное же достоинство романа Достоевского, по мнению критика, состоит в общей гуманистической идее романа, в глубоком сочувствии автора всем «униженным и оскорбленным».

Критик «Русского слова» Г. А. Кушелев-Безбородко, напротив, подчеркнул художественное несовершенство нового произведения Достоевского, отметил слабую сторону в «художественной постройке» романа, натянутость и придуманность сюжетных ситуаций, неестественность поведения персонажей романа и др. Так, например, критику представляются неправдоподобным отношение Ивана Петровича к покинувшей его Наташе и ее возлюбленному; старика Ихменева — к обманувшему его доверие Ивану Петровичу; неоправданно бездушно ведет себя Наташа по отношению к родителям.

Непонятной и необъяснимой кажется критику любовь Наташи и Кати к Алеше. Обе они любят самоотверженно «самого бестолкового молодого человека, еще мальчишку», «фразера до невероятности, болтуна, самодура и вместе с тем глупого донельзя».[189] По мнению Кушелева-Безбородко, автор «не обрисовал, не очертил, не разъяснил ни одного живого лица, ни одного настоящего типа».[190] Заглавие романа «вовсе не оправдывает его содержания». «Униженные и оскорбленные! — восклицает критик. — Сколько ужасных драм кроется в этих двух словах, сколько и вправду есть униженных, сколько оскорбленных!». В романе же Достоевского, считает критик, «собственно говоря, унижен и оскорблен только разве старик Ихменев». Остальные же герои, «если оскорбляются, то решительно для собственного развлечения».[191]

Однако, несмотря на все недостатки, замечает Кушелев-Безбородко, роман читается с увлечением благодаря «мастерскому способу рассказа». Достоевскому присуще «неподражаемое искусство рассказывать; у него свой оригинальный рассказ, свой оборот фраз, совершенно своеобразный и полный художественности». Своеобразный слог Достоевского не уступает по своим достоинствам слогу Тургенева,

Гончарова, Писемского. Критик называет роман «Униженные и оскорбленные» «превосходным сказочным романом».[192]

Наиболее обстоятельный и содержательный анализ романа «Униженные и оскорбленные» дан в известной статье Н. А. Добролюбова «Забитые люди», опубликованной в сентябрьской книжке «Современника» за 1861 г.

Добролюбов отнес роман Достоевского к «лучшим литературным явлениям года»[193] и с сочувствием упомянул о приверженности Достоевского «гуманистическому» направлению 1840-х годов. «То было направление живое и действенное, — пишет критик, — направление истинно гуманистическое, не сбитое и не расслабленное разными юридическими и экономическими сентенциями. Тогда к вопросу о том, отчего человек злится или ворует, относились так же, как и к вопросу, зачем он страдает и всего боится: с любовью и болью начинали приниматься за патологическое исследование подобных вопросов, и если бы продолжалось это направление, оно, без сомнения, было бы плодотворнее всех, за ним последовавших».[194]

Добролюбов отметил, что в «Униженных и оскорбленных» «очень много живых, хорошо отделанных частностей, герой романа, хоть и метит в мелодраму, но по местам выходит недурен, характер маленькой Нелли обрисован положительно хорошо, очень живо и натурально очеркнут также характер старика Ихменева. Все это дает право роману на внимание публики».[195]

Однако в целом роман не удовлетворил критика, заявившего, что «Униженные и оскорбленные» — «ниже эстетических требований».

«Эта бедность и неопределенность образов, эта необходимость повторять самого себя, это неуменье обработать каждый характер даже настолько, чтоб хоть сообщить ему соответственный способ внешнего выражения, — пишет Добролюбов, — все это, обнаруживая, с одной стороны, недостаток разнообразия в запасе наблюдений автора, с другой стороны, прямо говорит против художественной полноты и цельности его создания».[196]

К числу художественных неудач романа Добролюбов относит образ главного героя, который, по мнению критика, из «всех униженных и оскорбленных <…> унижен и оскорблен едва ли не более всех». «Действие романа, — замечает критик, — продолжается какой-нибудь месяц, и тут Иван Петрович беспрерывно на побегушках <…> Но вот и

все; что именно у него на душе, мы этого не знаем, хотя и видим, что ему нехорошо. Словом, перед нами не страстно влюбленный, до самопожертвования любящий человек <…> перед нами просто автор, неловко взявший известную форму рассказа, не подумав о том, какие она на него налагает обязанности. Оттого тон рассказа решительно фальшивый, сочиненный; и сам рассказчик, который, по сущности дела, должен бы быть действующим лицом, является нам чем-то вроде наперсника старинных трагедий».[197] Критике подверглись и другие персонажи романа. «Силлогизмы Наташи поразительно верны, как будто она им в семинарии обучалась, — иронизирует Добролюбов. — Психологическая проницательность ее удивительна, постройка речи сделала бы честь любому оратору, даже из древних. Но согласитесь, ведь очень приметно, что Наташа говорит слогом г. Достоевского? И слог этот усвоен большею частию действующих лиц».[198] Критик недоумевает, «как может смрадная козявка, подобная Алеше, внушить к себе любовь подобной девушки».[199] Достоевский не разъяснил этого. «Сердце героини от нас скрыто, и автор, по-видимому, смыслит в его тайнах не больше нашего».[200]

По мнению критика, Достоевский не сумел также «заглянуть в душу» Валковского. «Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьезно? Чего он боится и чему, наконец, верит? А если ничему не верит <…> то каким образом и при каких посредствах произошел этот любопытный процесс».[201] Общий характер замечаний Добролюбова свидетельствует, что он оценивал роман Достоевского прежде всего с позиций поэтики Гоголя и «натуральной школы» 1840-1850-х годов, предусматривавшей социальную мотивировку характеров и поведения героев. Поэтому критик не мог полностью оценить художественного новаторства Достоевского, прокладывавшего путь к идеологическому роману.[202] Название статьи Добролюбова непосредственно связано с его истолкованием идейного содержания романа. Критик относит «униженных и оскорбленных» героев Достоевского к числу «забитых людей», квалифицируя их «забитость» как «отречение от собственной воли, от собственной личности».[203]

Однако для Добролюбова «забитые люди» это не «мертвые души»: «живы эти люди и жива душа их», «искра божья все-таки тлеется в них

и никакими средствами, пока жив человек, невозможно потушить ее». Размышляя о положении «забитых, униженных и оскорбленных личностей», которых «у нас много в среднем классе», Добролюбов приходит к выводу, что, несмотря на внешнее примирение со своим положением, «они чувствуют его горечь», «жаждут выхода». «Где этот выход, когда и как — это покажет жизнь».[204]

Критик смотрит с известным оптимизмом на будущее «забитых людей», так как со времени появления «Макара Ивановича с братией» жизнь уже шагнула вперед, и в обществе налицо «общее стремление к восстановлению человеческого достоинства и полноправности во всех и каждом». «Может быть, — заключает Добролюбов, — здесь уже и открывается выход из горького положения загнанных и забитых, конечно, не их собственными усилиями, но при помощи характеров, менее подвергшихся тяжести подобного положения, убивающего и гнетущего. И вот этим-то людям, имеющим в себе достаточную долю инициативы, полезно вникнуть в положение дела, полезно знать, что большая часть этих забитых, которых они считали, может быть, пропавшими нравственно, — все-таки крепко и глубоко, хотя и затаенно даже для себя самих, хранит в себе живую душу и вечное, неисторжимое никакими муками сознание своего человеческого права на жизнь и счастье».[205]

В ноябрьской книжке «Русской речи» за 1861 г. была опубликована статья Е. Тур «„Униженные и оскорбленные“, роман г. Достоевского».[206]

Е. Тур, как и другие критики, особо подчеркивает гуманистическую направленность романа Достоевского, присущую его творчеству в целом. По словам Е. Тур, «ни года, ни безвестная для нас жизнь его (Достоевского. — *Ред.*) не изменили ни его воззрений, ни его гуманности, ни его сочувственной любви ко всему, что носит имя человека. Та же теплота чувства, та же любовь, та же нежность в отношении несчастных! Как велико и широко должно быть то сердце, которое диктует страницы, исполненные смягчающего чувства, исполненные высокой свежести и самой трогательной чувствительности».[207] Из этих качеств, как полагает Е. Тур, вытекают и недостатки произведений Достоевского, в которых рядом с тонким психологизмом и глубоким проникновением в жизнь встречаются наивные, детские представления о ней. «Самый выпуклый, самый

цельный, самый верный жизни и действительности характер» в романе, по мнению критика, — князь Валковский — «квинтэссенция всякой гнили, произведение особого слоя общества, в котором не осталось не только свежих соков, но даже тени чего-нибудь, что могло бы напомнить живую жизнь, а следственно, силу и развитие».[208] «Наташа, Алеша были бы безукоризненны;— замечает Е. Тур, — если б читателю можно было хоть на минуту не только помириться, но даже понять любовь безумную и страстную, преданную и глубокую женщины умной, твердой, развитой, чувствительной и горячей к глупому, слабому до тупоумия, пустому до безобразия мальчишке-лгунишке. Само по себе взятое лицо Алеши чрезвычайно живо и верно обрисовано <…> Только наша русская земля могла выработать в известном слое общества таких бесхарактерных лиц <…> Он не зол, не умен, не низок, не корыстолюбив, но зато он делает более зла, чем злой, более низостей, чем отъявленный негодяй, и женится на миллионах, оставляя девушку, которая пожертвовала ему всем».[209] Е. Тур отмечает многозначность названия романа Достоевского: «Как много говорят одни слова эти — униженные и оскорбленные! Сколько тут кровной, ничем не изгладимой обиды, кровавых, ничем не смываемых, неистощимых слез, которые льются и все-таки груди не облегчают! <…> Униженные и оскорбленные — ведь это сознание собственной правоты и вместе собственного бессилия!».[210]

Однако в целом «Униженные и оскорбленные», по мнению Е. Тур, «не выдерживают ни малейшей художественной критики». Роман полон недостатков, несообразностей, «запутанностей и в содержании и завязке». Несмотря на это, он читается с большим удовольствием. «Многие страницы написаны с изумительным знанием человеческого сердца, другие с неподдельным чувством, вызывающие еще более сильное чувство из души читателя. Внешний интерес не падает до самой последней строки, да и самая последняя строка оставляет в читателе желание узнать, что станется с Наташей после страшного сна, и не суждено ли доброму и симпатичному Ване, от лица которого ведется рассказ, утешить ее от всех зол и бурь, которые разразились на ясной дотоле жизни ее…».[211]

Статья Е. Ф. Зарина (подписана: З-ъ) «Небывалые люди»,[212] как свидетельствует уже ее название, полемична по отношению к заглавиям романа Достоевского и статьи Добролюбова.

Основной пафос «Униженных и оскорбленных» Е. Ф. Зарин усматривает в проповеди эмансипации женщин, адвокатом которых якобы выступает Достоевский. По словам критика, Достоевскому «пришлось доказывать вещь, на которую в жизни нет никакого намека <…> Автору хотелось показать пример эмансипации именно в том месте, где совокуплены все меры против этого величайшего семейного зла <…> словом, все условия, при которых самый пылкий темперамент подчиняется давлению установившейся нравственности».[213]

Герои романа: эгоистичная, неблагодарная дочь, жестокосердый отец, «мелодраматический злодей» князь Валковский, «идиотик» Алеша, бесхарактерный и дряблый Ваня (виновник общей беды) — все они в представлении критика какие-то «небывалые люди», редко встречающиеся в жизни.

Роман Достоевского, пишет критик, относится к тому легкому жанру, «который вызывает на трудное соперничество с очень известными корифеями легкого рода, столь изобилующими во французской литературе <…> он (Достоевский. — *Ред.*) только отделал его местными петербургскими колерами, тоже в общепринятом и потому отчасти рутинном роде, а именно: снял на все время своего романа солнышко с нашего горизонта, почастил мелкой, автоматического свойства изморозью, развел по улицам жижу и, в заключение, свел своего героя в казенную больницу».[214]

Первоначальный положительный отклик А. А. Григорьева на роман «Униженные и оскорбленные» содержится в его статье «Реализм и идеализм в нашей литературе (По поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева)».[215]

Григорьев увидел в «Униженных и оскорбленных» стремление «высокодаровитого автора» «Двойника» преодолеть болезненное и напряженное направление «сентиментального натурализма» и сказать новое, «разумное и глубокосимпатичное слово».[216] Несколько позднее Григорьев упрекнул автора «Униженных и оскорбленных» в книжности и фельетонизме. Так, в частности, критик писал Н. Н. Страхову 12 августа 1861 г.: «Что за смесь удивительной силы чувства и *детских* нелепостей роман Достоевского? Что за безобразие и фальшь — беседа с князем в ресторане (князь — это просто книжка!). Что за детство, т. е. детское сочинение, княжна Катя и Алеша! Сколько резонерства в Наташе и какая глубина создания Нелли! Вообще что за мощь всего

мечтательного и исключительного и что за незнание жизни!».[217]

В 1864 г. Страхов опубликовал в журнале «Эпоха» свои «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве». В одном из приведенных писем Григорьева к Страхову, в частности, говорилось, что редакции «Времени» следовало «не загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности».[218]

Достоевский позднее следующим образом откликнулся на отзыв Ап. Григорьева: «В этом письме Григорьева, очевидно, говорится о романе моем „Униженные и оскорбленные“ <…> Если я написал фельетонный роман (в чем сознаюсь совершенно), то виноват в этом я и один только я. Так я писал и всю мою жизнь, так написал всё, что издано мною, кроме повести „Бедные люди“ и некоторых глаз из „Мертвого дома“ <…> Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму (на что требовалось действительно время и *выноска* идей в уме и в душе). В то время как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, а только разве предчувствовал. Но вот что я знал наверно, начиная тогда писать: 1) что хоть роман и не удастся, но в нем будет поэзия, 2) что будет два-три места горячих и сильных, 3) что два наиболее серьезных характера будут изображены совершенно верно и *даже* художественно <…> Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь. Произведение это обратило, впрочем, на себя некоторое внимание публики».[219]

Достоевский в 1864 г. склонен был в известной мере согласиться с Ап. Григорьевым и теми критиками, которые упрекали его в том, что в «Униженных и оскорбленных» он не освободился до конца от традиционной схемы демократического романа-фельетона 1840-1860-х годов с характерными для последнего яркими контрастами света и тени, добра и зла. Но в то же время писатель отчетливо сознавал свое новаторство, он высоко ценил художественную силу и психологическую глубину некоторых образов «Униженных и оскорбленных».

В советское время роман неоднократно переиздавался и выходил массовыми тиражами.

Прижизненных переводов «Униженных и оскорбленных» не было.

Существует несколько переделок романа для сцены (П. А. Черкасова — СПб., 1908; А. Л. Желябужского — М., 1914 и др.).[220]

Известны многочисленные советские театральные постановки «Униженных и оскорбленных». Из них наиболее значительные: Москва, МХАТ 2-й. Инсц. Ю. В. Соболева. Реж. И. Н. Берсенев, С. Г. Бирман; Ленинград, Театр им. Ленинского комсомола. Инсц. Л. Н. Рахманова, З. Л. Юдкевича. Постановка Г. А. Товстоногова. Реж. И. С. Ольшвангер. [221]

Скверный анекдот

Впервые опубликовано в журнале «Время» (1862. № 11. С. 299–352) с подписью: Федор Достоевский.

В рассказе отразилась социально-политическая позиция Достоевского в период либеральных реформ начала 1860-х годов. Автор «Скверного анекдота» не верил искренности заявлений представителей общественных верхов об их готовности прийти на помощь народу, способствовать общественному прогрессу и утверждению принципов гуманизма. Достоевский, как и писатели революционно-демократического лагеря, подчеркнул, что бюрократические круги, как консервативные, так и либеральные в равной степени, озабочены только тем, чтобы при проведении реформ сущность прежних общественных отношений осталась неизменной.

Художественно-идеологическое построение рассказа и его наименование — «Скверный анекдот» — восходят к гоголевской традиции.[222]

Центральной в рассказе является фигура генерала Пралинского, считающего себя гуманным человеком и приверженцем новых либеральных идей. Однако случившееся с ним подтвердило предсказание «ретрограда», тайного советника Никифорова, что Пралинский «не выдержит» принятой на себя роли. Достоевский приводит читателя к выводу, что либеральные идеи подобных «деловых» людей новой формации не соответствуют их «натуре», обнаруживающейся в их поступках. Точка зрения Достоевского в данном случае соответствовала взглядам Салтыкова-Щедрина, который в «Сатирах в прозе» (1859–1862) изобразил бюрократических деятелей времен реформ, охарактеризовав этот период русской жизни как «эпоху конфузов». Особенно близки к главному персонажу рассказа Достоевского Пралинскому Зубатов и Удар-Ерыгин из очерка Салтыкова-Щедрина «К читателю».

В «Скверном анекдоте», как и во многих произведениях Достоевского 1840-х годов, изображена чиновничья среда. Однако конфликт между «его превосходительством» и «маленьким чиновником», «рублей на десяти в месяц жалованья», здесь приобрел большую социальную остроту. Пселдонимов утратил черты

безропотной покорности, свойственные Макару Девушкину («Бедные люди») и Васе Шумкову («Слабое сердце»): в его поведении обнаруживается внутренняя вражда к генералу Пралинскому. По справедливому замечанию А. М. Ремизова, главная «мысль рассказа, с конца и с начала, с Пралинского и с Пселдонимова — *обманувшаяся надежда*».[223]

Не случайно самое светлое лицо в рассказе — мать Пселдонимова, простая русская женщина, добрая и самоотверженная. Введение в рассказ этого, резко отличающегося от всех других персонажей, образа отвечало убеждению Достоевского в том, что единственный подлинный носитель высшей естественной нравственной правды — русский народ.

В 1966 г. режиссеры В. Н. Наумов и А. А. Алов поставили по «Скверному анекдоту» фильм (вышел на экраны в 1987 г.).

Зимние заметки о летних впечатлениях

Впервые опубликовано в журнале «Время» (1863. № 2. С. 289–318; № 3. С. 323–362) с подписью: Федор Достоевский.

По жанру «Зимние заметки о летних впечатлениях» — своеобразные художественные очерки. Это — путевые записки. Мысль о создании произведения такого рода была подсказана Достоевскому, вероятно, его братом, который писал ему 18 июня 1862 г.: «Да написал бы ты в Париже что-нибудь для „Времени“. Хоть бы письма из-за границы».[224] К предложению брата, который был его соредактором по журналу «Время», Достоевский отнесся весьма сочувственно. В письме к Н. Н. Страхову из Парижа от 26 июня (8 июля) 1862 г. он писал: «Мне приходится еще некоторое время пробыть в Париже, и потому хочу, не теряя времени, обозреть и изучить его, не ленясь <…> Не знаю, напишу ли что-нибудь? Если очень захочется, почему не написать и о Париже, но вот беда: времени тоже нет. Для порядочного письма из-за границы нужно все-таки дня три труда, а где здесь взять три дня?».

Приветствуя появление в 1857 г. отдельного издания «Писем об Испании» В. П. Боткина, Н. Г. Чернышевский писал, что «путешествия везде составляют самую популярную часть литературы».[225] Назвав лучшие книги этого рода, вышедшие в России в 1836–1846 гг., Чернышевский сетовал по поводу того, что в следующее десятилетие их было значительно меньше.

Автор «Зимних заметок о летних впечатлениях» продолжал, таким образом, сложившуюся уже в русской литературе традицию. Приступив к работе, Достоевский, вероятно, просмотрел некоторые из путевых очерков своих предшественников. Он внимательно перечитал «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина и «Письма из-за границы» Д. И. Фонвизина (см. с. 389–393). В поле зрения Достоевского находились и позднейшие многочисленные путевые очерки, письма из-за границы, статьи, в которых освещалась под разными углами зрения общественная, культурная и политическая жизнь Западной Европы. Учтен был Достоевским и опыт Генриха Гейне как автора «Путевых картин» (1824–1828).

Систематическое и последовательное описание увиденного и перипетий путешествия не являлось главной задачей Достоевского.

Записи путевых впечатлений в «Зимних заметках» перемежаются обобщенными публицистическими по форме очерками различных сторон жизни европейских стран, главным образом Франции и Англии, и раздумьями автора о судьбах Запада и России. Непосредственным предшественником Достоевского в этом типе очерка был А. И. Герцен как автор «Писем из Франции и Италии» (1847–1852), цикла «Концы и начала» (1862–1863) и др.

Достоевский назвал свои путевые очерки «Зимние заметки о летних впечатлениях», подчеркнув тем самым, что они писались не непосредственно вслед за наблюдениями, почерпнутыми во время путешествия, спустя некоторое время «Летние впечатления» были осмыслены и дополнены ассоциациями, возникшими у автора после возвращения на родину под влиянием актуальных проблем русской жизни. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» мы можем выделить страницы, воспроизводящие отдельные этапы путешествия и являющиеся как бы зарисовками с натуры. Это в главе I — впечатления от Берлина, Кельна и Дрездена, в главе IV — рассказ о полицейских порядках и тайном надзоре на французской железной дороге и в парижских отелях, в главе V — зарисовки ночного Лондона, в главе VII — воспоминания о посещении Пантеона в Париже и др.

Эта часть заметок по художественной структуре генетически связана с жанром «физиологических» очерков, широко распространенных в европейской и русской литературе 1840-х годов. В то же время Достоевский разрушал установившуюся в европейской литературе традицию бесстрастной констатации фактов в описаниях этого рода. Картины жизни стран Европы вызывали у писателя раздумья по поводу проблем философско-исторического, социального и нравственно-этического характера, придававшие изложению публицистическую окраску. Значительная часть повествования посвящена, по собственному определению Достоевского, выяснению того, «каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались» (с. 398).

В «Зимних заметках» в той или иной форме прослеживается проблема взаимоотношения России и Запада начиная с XVIII в. Многие рассуждения на эту тему обобщали то, о чем писал уже сам Достоевский в публицистических и литературно-критических статьях

1860–1862 гг., в частности в «Ряде статей о русской литературе» (1861).

В системе взглядов Достоевского проблема исторических перспектив развития России естественно вытекала из его размышлений о характере взаимоотношений между частью русского общества, получившей европейское образование, и народом. Под этим углом зрения Достоевский изучал различные аспекты политической и общественной жизни Запада и обсуждал свои впечатления с Герценом при встрече с ним в июле 1862 г. в Лондоне.

В письме к Н. П. Огареву от 5 (17) июля 1862 г. Герцен писал: «Вчера был Достоевский — он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиасмом в русский народ».

В «Зимних заметках» Достоевский дал сатирические зарисовки общественных нравов Франции времени Наполеона III, воспроизвел страшные картины жизни пролетариев капиталистического Лондона, разоблачил лживость и лицемерие буржуазно-демократических «свобод» Европы, провозглашенных в результате революций, последовавших за французской революцией XVIII в. Достоевский с сарказмом писал, что свободой в буржуазном обществе пользуется только тот, кто имеет миллион.

Критика европейской цивилизации в «Зимних заметках» по конкретности и остроте близка к демократической мысли эпохи. Осуждая с громадной силой центральный факт всей европейской социальной жизни — общественное неравенство, Достоевский в своих положительных выводах сближался со славянофилами.

Достоевский доказывал, что страсть к стяжательству охватила все слои европейского общества. Достоевский утверждал, что «западная личность» (и рабочий и буржуа в равной степени) лишена братского начала, в то время как в русском народе живет инстинктивная тяга к общине, братству, согласию (с. 428).

Признавая, что представление о «братстве», основанном «на чувстве, на натуре, а не на разуме», может породить мысль: «Ведь это даже как будто унижение для разума», — Достоевский настаивал на тезисе: «Любите друг друга, и всё сие вам приложится» (с. 430). Выполнение этого евангельского завета может, по его мнению, гарантировать достижение всеобщего благополучия вернее, чем доводы отвлеченного рассудка.

Достоевский со страстью доказывал: «…надобно, чтоб я жертвовал

себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя и за это самое общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать всё и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно…» (с. 429).

В этих суждениях автора «Зимних заметок» чувствуется полемика с эвдемонистической моралью просветителей и, в частности, с Чернышевским, утверждавшим в работе «Антропологический принцип в философии», что «человек любит прежде всего сам себя», что даже в основе поступков людей, представляющихся бескорыстными, лежит «мысль о собственной личной пользе» *(Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 281, 283), хотя и выступающая в преобразованной, опосредствованной форме. Полемический отклик в «Зимних заметках» вызвал также тезис Чернышевского, что поведение человека обусловлено в первую очередь социальными причинами. Так, например, в той же работе «Антропологический принцип в философии» Чернышевский писал: «При известных обстоятельствах человек становится добр, при других — зол» (там же. С. 264).

Достоевский считал, что поведение человека в обществе зависит не от одних «обстоятельств» и осознанной разумом личной выгоды, а диктуется прежде всего его «натурой», морально-этические основы которой формируются в определенных национально-исторических условиях тысячелетиями (с. 429). Полемика с теорией «разумного эгоизма» Чернышевского была продолжена Достоевским в повести «Записки из подполья». Впервые сформулированное в «Зимних заметках о летних впечатлениях» представление о «сильно развитой личности», которая, будучи уверенной в своем праве быть личностью, «ничего не может и сделать другого из своей личности <…> как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями» (с. 428–429), воплощено было писателем позднее в образах Сони Мармеладовой и князя Мышкина.

Философская проблематика «Зимних заметок» получила дальнейшее развитие в идеологических дискуссиях на страницах романов Достоевского 1860-1870-х годов. Многие социально-критические идеи последних сформировались на основе выводов, которые сделал писатель, познакомившись с различными аспектами жизни Западной Европы.

На особое, принципиальное значение, которое придавал «Зимним

заметкам» сам автор, указывает тот факт, что он включил их в отличие от других фельетонов и статей, напечатанных во «Времени», во второй том собрания своих сочинений, изданных в 1865–1866 гг. «Зимние заметки о летних впечатлениях» привлекли внимание и писателей и критиков. Ап. Григорьев назвал «заграничные воспоминания» Достоевского «гениально умными и глубокими», а по поводу «изображения» брибри и мабишь в статье, опубликованной в 1864 г. в журнале «Якорь» (№ 2), писал: «Ведь только оригинальное критическое чутье русского человека могло с такою, можно сказать, нахальною беспощадностью и вместе с такою наивностью разоблачить эти милые типы».[226]

Записки из подполья

Впервые опубликовано в журнале «Эпоха» (1864. № 1–2, 4) с подписью: Федор Достоевский.

«Записки из подполья» — произведение, открывшее новый этап в творчестве Достоевского. В центре повести характерный образ «идеолога», мыслителя, носителя хотя и странной, «парадоксальной», но в то же время теоретически замкнутой системы взглядов. Не будучи единомышленником своего «антигероя», Достоевский придал его рассуждениям такую силу доказательности, какой впоследствии отличались монологи главных героев его больших романов — Раскольникова, Ипполита Терентьева, Кириллова, Шатова, Ставрогина, Дмитрия и Ивана Карамазовых.

Принцип построения повести, основанный на контрастах, Достоевский пытался объяснить в письме к брату от 13 апреля 1864 г.: «Ты понимаешь, что такое переход в музыке, — писал он. — Точно так и тут. В 1-й главе, по-видимому, болтовня, но вдруг эта болтовня в последних 2-х главах разрешается неожиданной катастрофой». Новая художественная структура «Записок из подполья» была столь необычна, что даже искушенные в вопросах литературы современники не сразу поняли ее суть и пытались отождествлять идеологию «подпольного» человека с мировосприятием автора. В процессе работы над повестью Достоевский осознал трудность стоящей перед ним задачи. В письме к брату от 20 марта 1864 г. он писал: «Сел за работу, за повесть <…> Гораздо труднее ее писать, чем я думал. А между тем непременно надо, чтоб она была хороша, *самому мне* это надобно. По тону своему она слишком странная, и тон резок и дик: может не понравиться; следовательно, надобно, чтоб поэзия всё смягчила и вынесла».

Творческие трудности усугублялись еще и цензурными искажениями текста, разрушавшими внутреннюю логику повествования. Так, получив первый двойной номер «Эпохи», где было напечатано «Подполье», и обнаружив там, помимо «ужасных опечаток», вмешательство цензора, Достоевский писал 26 марта 1864 г. брату: «… уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем печатать так, как оно есть, т. е. надерганными фразами и противуреча самой себе. Но что же

делать? Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал *для виду*, — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа, — то запрещено…».

В подстрочном примечании к журнальной публикации первой части «Записок» автор указал на связь своего «антигероя» с типом «лишнего человека».

Проблема «лишних людей», на смену которым шли новые герои-деятели, активно обсуждалась в русской публицистике на рубеже 1860-х годов. Проявлял к ней интерес и Достоевский. Так, имея в виду Чацкого и последовавших за ним «лишних людей», Достоевский писал в «Зимних заметках»: «Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду. Это факт, против факта и говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. Так вот не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела» (с. 407).

В то же время Достоевский осознавал и трагичность положения «лишних людей». Герой «Записок» говорит о себе: «Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. <…> Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеку нашего времени» (с. 483). Подобное трагическое мироощущение Достоевский считал характерной чертой «избранных» «лишних людей». Это видно из его отзыва о «Призраках» Тургенева, которые Достоевский прочитал в период работы над «Записками из подполья». В «Призраках» — писал Достоевский Тургеневу 23 декабря 1863 г. — «…много реального. Это реальное — есть *тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время*, уловленная тоска».

Задумав произведение, в центре которого должен был стоять «исповедующийся» «лишний человек», Достоевский не мог не учесть опыта своих предшественников, создавших классические образцы этого типа, а также суждения критиков, объяснивших историческую сущность и закономерность появления «лишних людей».

Герой «Записок из подполья» по своему психологическому облику ближе всего стоит к «русским гамлетам» Тургенева, к «Гамлету Щигровского уезда» (1849) и к Чулкатурину из «Дневника лишнего человека» (1850). Эта общность была отмечена еще Н. Страховым, который в 1867 г. в статье, посвященной выходу в свет Собрания

сочинений Достоевского 1865–1866 гг., писал: «Отчуждение от жизни, разрыв с действительностью <…> эта *язва*, очевидно, существует в русском обществе. Тургенев дал нам несколько образцов людей, страдающих этой язвою; таковы его „Лишний человек“ и „Гамлет Щигровского уезда“ <…> Г-н Ф. Достоевский, в параллель тургеневскому Гамлету, написал с большою яркостию своего „подпольного“ героя…» (Отеч. зап. 1867. № 2. С. 555. Наша изящная словесность).

Следует отметить, что «антигерой» Достоевского в отличие от тургеневских «лишних людей» — не дворянин, не представитель «меньшинства», а мелкий чиновник, страдающий от своей социальной приниженности и восстающий против обезличивающих его условий общественной жизни. Социально-психологическую суть этого бунта, принимавшего уродливые, парадоксальные формы, Достоевский пояснил в начале 1870-х годов. Отвечая критикам, высказавшимся по поводу напечатанных частей «Подростка», он писал в черновом наброске «Для предисловия» (1875): «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости <…> Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!». Достоевский утверждал в заключение, что «причина подполья» кроется в «уничтожении веры в общие правила. *„Нет ничего святого“*».

«Подпольный парадоксалист» выступает против просветительской концепции человека, против позитивистской абсолютизации естественнонаучных методов, особенно математических, при определении законов человеческого бытия. В начале 1860-х годов эти взгляды получили развитие и в идеологии русских революционных демократов, в частности, в теории «разумного эгоизма» Н. Г. Чернышевского.[227]

Основной полемический тезис, сформулированный Достоевским еще в «Зимних заметках», сводился к следующему: социализм не может быть осуществлен на принципе разумного договора личности и общества по формуле «каждый для всех и все для каждого» потому, что, как утверждал Достоевский, «не хочет жить человек и на этих расчетах

<…> Ему всё кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля» (с. 431).

Вся первая часть повести — «Подполье» — является развитием этой мысли.

Оперируя тезисами и понятиями, близкими в отдельных случаях к философским идеям Канта, Шопенгауэра, Штирнера, герой «Записок из подполья» утверждает, что философский материализм просветителей, взгляды представителей утопического социализма и позитивистов, равно как и абсолютный идеализм Гегеля, неизбежно ведут к фатализму и отрицанию свободы воли, которую он ставит превыше всего. «Свое собственное, вольное и свободное хотенье, — говорит он, — свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то всё и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту» (с. 469–470).

Сопоставление «Записок из подполья» со статьями Достоевского 1861–1864 гг. и «Зимними заметками о летних впечатлениях» со всей очевидностью убеждает в том, что «герой подполья воплощает в себе конечные результаты „оторванности от почвы“, как она рисовалась Достоевскому», и потому этот персонаж «не только обличитель, но и обличаемый», не герой, но «антигерой», по выражению самого автора. [228] Проповедуя свободу, подпольный человек в действительности ратует за «свободу от выбора, от обязывающих решений». Его эгоцентризм порожден «страхом перед жизнью». [229]

Заставляя своего героя в качестве «головного», теоретического тезиса проповедовать доведенную до логического предела программу крайнего индивидуализма, Достоевский наметил уже в первой части «Записок из подполья» и возможный, с его точки зрения, выход из этого состояния. Воображаемый оппонент «подпольного человека» говорит ему: «Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца — полного, правильного сознания не будет» (с. 479–480). Очевидно, в доцензурном варианте эта мысль была развита еще более определенно. По утверждению автора, места, где он «вывел потребность веры и Христа» (см. выше), были запрещены. О том, что имел в виду Достоевский, говоря о «потребности веры и Христа»,

можно судить по заметкам в записной тетради (1864–1865 гг.), сделанным вскоре после опубликования «Подполья». Упрекая «социалистов-западников» в том, что они, заботясь только о материальном благополучии человека, «дальше брюха не идут», Достоевский писал в набросках к статье «Социализм и христианство»: «Есть нечто гораздо высшее бога-чрева. Это — быть властелином и хозяином даже себя самого, своего *я*, пожертвовать этим *я*, отдать его — всем. В этой идее есть нечто неотразимо-прекрасное, сладостное, неизбежное и даже необъяснимое <…> социалист не может себе представить, как можно добровольно отдавать себя за всех, по его — это безнравственно. А вот за известное вознаграждение — вот это можно <…> А вся-то штука, вся-то бесконечность христианства над социализмом в том и заключается, что христианин (идеал), всё отдавая, ничего себе сам не требует».

Второй части «Записок из подполья» — «По поводу мокрого снега» — в качестве эпиграфа предпосланы стихи Некрасова «Когда из мрака заблужденья…» (1845). Тема этого стихотворения варьируется и в повести, где она подвергается, однако, глубокому переосмыслению, как и темы жоржсандовских повестей 1850-х годов, — переосмыслению, включающему в себя сочувственное и одновременно полемическое отношение к ним. Конфликт между Лизой — носительницей «живой жизни» и «мертворожденным» «небывалым общечеловеком», «парадоксалистом» из подполья кончается нравственной победой героини. В облике этой героини нашли отражение некоторые черты «сильно развитой личности», о которой Достоевский писал еще в «Зимних заметках» (см. с. 428) и представление о которой в конце 1864 г., т. е. после опубликования «Записок из подполья», дополнилось новыми штрихами. Так, в подстрочном примечании Достоевского к статье Н. Соловьева «Теория пользы и выгоды» сказано: «Чем выше будет сознание и самоощущение своего собственного лица, тем выше и наслаждение жертвовать собой и всей своей личностью из любви к человечеству. Здесь человек, пренебрегающий своими правами, возносящийся над ними, принимает какой-то торжественный образ, несравнимо высший образ всесветного, хотя бы и гуманного кредитора, благоразумно, хотя бы и гуманно, занимающегося всю свою жизнь определением того, что *мое* и что *твое*» (Эпоха. 1864. № 11. С. 13).

Многое из того, что в «Записках из подполья» только намечено,

было развито в последующих романах Достоевского, и в частности в первом из них, в «Преступлении и наказании».

Вышедшая в свет в конце марта 1864 г. первая часть «Записок из подполья» тотчас же обратила на себя внимание революционно-демократического лагеря. Щедрин включил в свое обозрение «Литературные мелочи» «драматическую быль» — памфлет «Стрижи» Высмеивая в сатирической форме участников журнала «Эпоха», он под видом «стрижа четвертого, беллетриста унылого» изобразил Ф. М. Достоевского.

Пародия Щедрина — единственный непосредственный отклик на «Записки из подполья». Интерес критики к этой повести пробудился уже после опубликования романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866).

Н. Н. Страхов в статье «Наша изящная словесность» подчеркивал, что «подпольный человек» «со злобой относится к действительности, к каждому явлению скудной жизни, его окружающей, потому что каждое такое явление его обижает как укор, как обличение его собственной внутренней безжизненности» (Отеч. зап. 1867. № 2. С. 555). Заслугу Достоевского критик видел в том, что он, сумев «заглянуть в душу подпольного героя, с такою же проницательностью умеет изображать и всевозможные варьяции этих нравственных шатаний, все виды страданий, порождаемых нравственною неустойчивостью» (там же).

Высокую оценку «Запискам из подполья» дал Ап. Григорьев. В письме к Н. Н. Страхову от 18 (30) марта 1869 г. Достоевский вспоминал, что Григорьев похвалил эту повесть и сказал ему: «Ты в этом роде и пиши».

Впоследствии «Записки из подполья» привлекли особое внимание Н. К. Михайловского, посвятившего их разбору специальный раздел в статье «Жестокий талант» (1882).

С конца XIX в. постепенно рос интерес к этой повести. Мироощущение «подпольного человека», генетически связанного с «лишними людьми» 1840-1850-х годов, заключало в себе ростки позднейшего буржуазного индивидуализма и эгоцентризма. Художественное открытие Достоевского, впервые указавшего на социальную опасность превращения «самостоятельного хотения» личности в «сознательно выбираемый ею принцип поведения», на рубеже XIX и XX вв. получило подтверждение в ницшеанстве, а

позднее в некоторых направлениях экзистенциализма.

Крокодил

Впервые опубликовано в журнале «Эпоха» (1865. № 2) с подписью: Федор Достоевский.

В «Дневнике писателя» за 1873 г. Достоевский рассказал о том, что в 1864 г. «в Пассаже какой-то немец (Гебгардт, основавший позднее в Петербурге Зоологический сад. — *Ред.*) показывал за деньги крокодила» и этот факт натолкнул его на мысль «написать одну фантастическую сказку, вроде подражания повести Гоголя „Нос“». Этой «литературной шалостью» явился данный рассказ, озаглавленный в первоначальной записи: «О муже, съеденном крокодилом».

Название «Крокодил» рассказ получил при перепечатке его в Собрании сочинений Достоевского 1865 г., а прежнее его название: «Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» было перенесено в подзаголовок. Журнальной публикации рассказа предпослано также следующее предисловие.

> ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ
>
> Редакция с удивлением печатает сей почти невероятный рассказ единственно в том уважении, что, может быть, и действительно, всё это как-нибудь там случилось. В рассказе объясняется, что какой-то господин, известных лет и известной наружности, был проглочен находящимся в Пассаже крокодилом, весь без остатка, и не только остался после этого жив, но даже прожил в крокодиловых недрах невредимо и, по-видимому, охотно две недели; был в это время посещаем праздной и склонной к увеселениям публикой, входил в разговоры с посетителями, хлопотал о пенсии, часто переменял свое направление (и физически, т. е. переворачиваясь с боку на бок, и нравственно, в смысле поведения) и под самый конец, от праздности и от досады, стал философом. Такая отъявленная дичь была бы, разумеется, неестественна, если б чрезвычайно искренний тон автора не склонил редакцию в свою пользу. Кроме того, с величайшей подробностию цитуются почти все газетные статьи, даже стишки, даже яростная полемика, явившиеся в свет по поводу

проглоченного господина. — Доставлен весь этот вздор в редакцию г-ном Федором Достоевским, ближайшим сотрудником и членом редакции, но настоящий автор рассказа до сих пор неизвестен. Однажды, в отсутствие г-на Достоевского из дому (по делам, до читателя не относящимся), явился в его квартиру некоторый неизвестный человек и оставил на его столе рукопись с небольшим письмом от себя, но без подписи. В письме этом он кратко, но напыщенно рекомендует свое сочинение и просит предать его гласности, напечатав в «Эпохе». Так как рассказ тоже никем не подписан, то редакция и уполномочила Федора Достоевского, для виду, подписать под ним свое имя и в то же. время, в видах справедливости, изобрести приличный псевдоним и неизвестному автору. Таким образом, неизвестный автор и назван был Семеном Стрижовым — неизвестно почему. Что же касается до г-на Достоевского, то он с охотою подписал свое имя, справедливо рассуждая, что если повесть сия понравится публике, то ему же будет лучше, потому что подумают, что он сочинил; если же не понравится, то стоит ему только сказать, что не он сочинил, — и дело в шляпе.

Редакция не скрывает, впрочем, от публики одного чрезвычайно важного обстоятельства, именно: сколько она ни старалась, как ни разыскивала хоть чего-нибудь, что могло бы пролить какой-нибудь свет на это неслыханное пассажное происшествие, — ничто не помогало! Никто, решительно никто ни слова не слыхал и не читал о чем-нибудь, хоть капельку на это похожем, хотя и оказалось, что пассажных крокодилов многие ходили смотреть. Одним словом, проглоченного живьем господина, к величайшему сожалению и к величайшей досаде редакции, совсем не оказывалось. Пробовала редакция разыскать те номера газет и в них те статьи, которые были указаны автором; но, к удивлению своему, скоро приметила, что и газет с такими названиями у нас не имеется. В такой крайности нам оставалось только одно: всему поверить и решить, хотя и поневоле, но зато по совести, что незнакомец, сообщивший рукопись, не мог

солгать и, стало быть, всё сообщенное им справедливо. Так мы и сделали, но тут же долгом считаем заявить, что если, на случай, всё это ложь, а не правда, то более невероятной лжи до сих пор еще не бывало в нашей литературе, кроме разве того всем известного случая, когда у некоего майора Ковалева однажды утром сбежал с лица его собственный нос и расхаживал потом в мундире и в шляпе с плюмажем в Таврическом саду и по Невскому. Во всяком случае редакция очень желала бы, чтобы и публика тоже всему поверила; ибо если она не поверит, то, стало быть, будет упрекать редакцию во лжи, — а это уж нам неприятно.

И однако же, — говорим искренно, хотя и не без смущения, — нашлись и в самой редакции люди, горячо восставшие на нас за то, что мы решились поверить такой (будто бы) отъявленной мистификации. С яростию обвиняло нас это меньшинство, несмотря на то, что мы сделали всё, что от нас зависело, для оправдания такого невероятного, происшествия в глазах публики. Не оценив достаточно наших усилий, они кричали, очевидно удаляясь от предмета, что рассказ неизвестного не только противоречит естественным наукам, но даже и анатомии, что проглотить человека известных лет, может быть, вершков семи росту и, главное, образованного — невозможно крокодилу, и т. д., и т. д. — всего не перечтешь, что они накричали, да и не стоит, тем более что большинство голосов было в пользу редакции, а уж решено, что ничего нет лучше принципа большинства голосов для узнания истины. Тем не менее редакция, чтобы исполнить свой долг во всей добросовестности, склонило свое ухо и к этим возгласам. Немедленно из среды ее были командированы четыре непременных ее члена для отыскания правды в Пассаже. Требовалось от них, чтобы все они, в совокупности, вошли в крокодильную, познакомились с крокодилами и разыскали бы всё сами на месте. Командированные были: оба секретаря редакции, с портфелем и без портфеля, один критик и один романист. Не жалея издержек, редакция вручила каждому из них для уплаты за вход в крокодильную по четвертаку. Все четвертаки составляли неотъемлемую

собственность редакции и были приобретены ею законным путем, без какого бы то ни было посредства какой-либо другой редакции.

Командированные члены возвратились все через час в величайшем негодовании. Мало того, не хотели даже говорить с нами, вероятно от досады, и смотрели все в разные стороны. Наконец, побежденные усиленно ласковым обращением редакции, согласились прервать молчание и объявили прямо, но всё еще довольно грубо, что нечего было их и посылать в Пассаж, что тут с первого взгляда видна вся нелепость, что крокодил не может проглотить целиком человека, но что, кто его знает, может быть, оно и могло как-нибудь там случиться. Такой резкий и даже, можно сказать, односторонний приговор сначала не на шутку взволновал редакцию. Тем не менее всё очень скоро и окончательно уладилось. Во-первых, если, «может быть, оно и могло как-нибудь там случиться», то, стало быть, и действительно могло случиться; а во-вторых, по исследованиям бывших в командировке оказалось ясным, что в рассказе неизвестного говорится отнюдь не о тех всем известных крокодилах, которые показываются теперь в Пассаже, а о каком-то другом, постороннем крокодиле, который тоже будто бы показывался в Пассаже, прожил в нем недели три или четыре и, как явствует из рассказа, увезен обратно на свою родину в Германию. Сей же последний крокодил, конечно, мог быть и больше и вместительнее теперешних двух крокодилов, а следственно, отчего ж бы он не мог проглотить известных лет господина, и тем более образованного?

Такое соображение окончательно разрешило все недоумения редакции. Главное — она победоносно отстояла повесть и печатает ее, хотя бы и очень могла без нее обойтись, имея уже достаточный комплект статей и ровно столько листов, сколько ею было первоначально обещано публике для каждого номера «Эпохи», но, не стесняясь этим обещанием, редакция прибавляет и эти лишние листы. Если уж завелись на свете «лишние люди», почему же не случиться в журнале и лишним листам?

В 1860-х годах Достоевский вел дискуссию с демократической журналистикой — «Современником» и «Русским словом». Не менее ожесточенно полемизировал он и с консервативными и либеральными органами — «Русским вестником» М. Н. Каткова, «Голосом» и «Отечественными записками» А. А. Краевского. Все это нашло отражение в «Крокодиле». В своих речах герой рассказа как бы синтезировал различные по своей общественно-политической окраске, но в равной степени неприемлемые для Достоевского идеологические концепции, носителей которых писатель склонен был упрекать в книжном абстрактно-«теоретическом» подходе к действительности и в отрыве от «живой жизни». Воспользовавшись острокомической, гротескной ситуацией, Достоевский язвительно пародировал как радикальные воззрения вульгарных материалистов, «нигилистов» «Русского слова» — В. А. Зайцева и Д. И. Писарева, так и философско-эстетические и социально-экономические теории сотрудников «Современника». При этом следует отметить, что, создавая фигуру главного героя рассказа, либерального чиновника, проглоченного крокодилом, Достоевский опирался на сатирическую характеристику «нигилистов» в статье Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь», направленной против «Русского слова». В статье сказано, что «вислоухие», «нигилисты» — «не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты» (*Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. М., 1968. Т. 6. С. 234).

Появление повести в печати вызвало резкие полемические отклики. Издатель высмеянной в рассказе газеты «Голос» Краевский выдвинул против автора обвинение в том, что «Крокодил» — памфлет на осужденного и 1864 г. правительством Александра II и сосланного в Сибирь Н. Г. Чернышевского. Краевский намекал, что Иван Матвеевич, проглоченный крокодилом и проповедующий из его чрева, — карикатура на Чернышевского, написавшего в Петропавловской крепости роман «Что делать?», а его легкомысленная и недалекая жена — шаржированное изображение О. С. Чернышевской. Достоевский, как только ему представилась возможность, выступил в печати с опровержением этой сплетни, не побоявшись открыто высказать сочувствие ссыльному Чернышевскому.

Изложив историю своего знакомства с Н. Г. Чернышевским и указав на доброжелательный характер их личных взаимоотношений,

Достоевский отверг взведенное на него обвинение в надругательстве над трагической участью Чернышевского. Он писал: «Значит, предположим, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого „несчастного“; мало того — написал на этот случай радостный пашквиль. Но где же тому доказательства: в аллегории? Но принесите мне что хотите… „Записки сумасшедшего“, оду „Бог“, „Юрия Милославского“. стихи Фета — что хотите — и я берусь вам вывести тотчас же <…> что тут именно аллегория о франко-прусской войне или пашквиль на актера Горбунова…» («Дневник писателя» за 1873 г., IV. Нечто личное).

Изучение творческой истории рассказа и его черновых рукописей подтверждает справедливость слов Достоевского, отрицавшего толкование «Крокодила» как памфлета, затрагивающего личность Чернышевского.

Игрок

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений Достоевского (СПб., 1866. Т. 3. С. 5-63).

Замысел «Игрока» возник еще осенью 1863 г. 18 (30) сентября 1863 г. из Рима Достоевский писал Н. Н. Страхову: «Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос в журналах. Всё это отразится в моем рассказе. Да и вообще отразится современная минута (по возможности, разумеется) нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека однако же многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и *не смеющего не верить*, восстающего на авторитеты и боящегося их? Он успокаивает себя тем, что ему *нечего делать* в России и потому жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. <…> Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на *рулетку*. Он — игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец. (Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным. Говорю лишь для ясности). Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность *риска* и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ — рассказ о том, как он третий год играет по игорным домам на рулетке».

Летом 1865 г., теснимый кредиторами, Достоевский вынужден был продать «спекулянту» и «довольно плохому человеку» Ф. Т. Стелловскому право на издание собрания своих сочинений. «Но в контракте нашем была статья, — рассказывал Достоевский в письме к А. В. Корвин-Круковской от 17 июня 1866 г., — по которой я ему обещаю для его издания приготовить роман, не менее 12-ти печатных листов, и если не доставлю к 1-му ноября 1866 г. (последний срок), то волен он, Стелловский, в продолжение девяти лет издавать даром, и как вздумается, всё, что я ни напишу, безо всякого мне вознаграждения».

Увлеченный работой над «Преступлением и наказанием» Достоевский не принимался за новый роман до начала октября 1866 г. Когда же времени на выполнение обязательства осталось меньше месяца, он вынужден был пригласить стенографистку Анну

Григорьевну Сниткину (ставшую впоследствии его женой) и продиктовал ей текст романа в течение 26 дней, с 4 по 29 октября. Можно предположить, что у Достоевского уже были к этому времени приготовлены какие-то черновые варианты текста или подробные планы романа, что и сделало возможным создание «Игрока» в столь короткий срок.

В своих воспоминаниях А. Г. Достоевская рассказала, как писался «Игрок».[230] До ее прихода Достоевский делал черновые наброски, затем с 12 до 4 часов дня с небольшими перерывами диктовал А. Г. Сниткиной текст, который она дома расшифровывала и переписывала набело. Сохранившиеся отрывки текста «Игрока», записанные рукою А. Г. Сниткиной и ставшие наборной рукописью, свидетельствуют, что перед сдачей романа издателю Достоевский еще раз подверг рукопись правке. Рукопись романа, переданного 1 ноября 1866 г. Стелловскому, была названа «Рулетенбург» (т. е. «Город рулетки»). Однако издатель потребовал, чтобы название это было заменено на «какое-нибудь другое, более русское» (см. письмо Достоевского к В. И. Губину от 8 (20) мая 1871 г.). Достоевский согласился, и роман был напечатан в 3 томе Полного собрания сочинений Достоевского, изданного Ф. Стелловским (СПб., 1866), под названием «Игрок»; с того же набора был сделан отдельный оттиск.

В центре повествования — «игрок», один из типов «заграничных русских». Рядом с ним изображена семья русского генерала, тоже из «заграничных русских». Эта семья принадлежит к числу «случайных семейств», выбитых из привычного жизненного уклада крестьянской реформой, художественному исследованию которых Достоевский посвятил свои последующие романы. Множество таких русских семейств за границей Достоевский наблюдал еще во время своей первой поездки по Европе в 1862 г., о чем он писал в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (см. с. 407–408). По приведенным в октябрьском номере «Русского вестника» за 1862 г. данным, только в 1860 г. за границу отправилось более двухсот тысяч русских.

Характерно, что тему «русские за границей» — хотя и в ином ключе — тогда же разработал И. С. Тургенев в романе «Дым» (1867), написанном и опубликованном почти одновременно с «Игроком» Достоевского.

Перипетии любви героя, состоящего на службе в семействе

генерала в качестве домашнего учителя, и падчерицы генерала Полины во многом повторяют сложную историю отношений Достоевского и Аполлинарии Прокофьевны Сусловой. В одном из писем Достоевский писал о ней: «Она требует от людей *всего,* всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт» (Н. П. Сусловой, от 19 апреля 1865 г.). Эти слова в полной мере можно отнести и к Полине. Некоторые сюжетные мотивы в «Игроке», как об этом свидетельствует дневник А. П. Сусловой, были подсказаны Достоевскому реальными событиями. Так, увлечение Полины французом Де-Грие, ее желание вернуть ему какие-то деньги — художественно преображенные факты биографии А. П. Сусловой.[231]

Автору «Игрока» была близка и другая страсть главного героя, Алексея Ивановича, — к игре. О своем увлечении рулеткой во время поездок за границу Достоевский постоянно сообщал близким. В одном из писем к В. Д. Констант от 20 августа (1 сентября) 1863 г. из Парижа, рассказывая об удачной игре в Висбадене, Достоевский писал: «…в эти четыре дня присмотрелся к игрокам. Их там понтирует несколько сот человек, и, честное слово, кроме двух, не нашел умеющих играть. Все проигрываются дотла, потому что не умеют играть. Играла там одна француженка и один английский лорд; вот эти так умели играть и не проигрались, а напротив, чуть банк не затрещал. Пожалуйста, не думайте, что я форсю, с радости, что не проиграл, говоря, что знаю секрет, как не проиграть, а выиграть. Секрет-то я действительно знаю; он ужасно глуп и прост и состоит в том, чтоб удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячиться. Вот и всё…».

«Теория» игры на рулетке автора романа, развитая в цитированном письме, совпадает с рассуждениями на эту же тему его героя Алексея Ивановича, в особенности в последней главе (см. с. 719). А. Г. Достоевская вспоминает, что когда в процессе работы над романом обсуждались судьбы героев, то «Федор Михайлович был вполне на стороне „игрока“ и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе. Уверял, что можно обладать сильным характером, доказать это своею жизнью и тем не менее не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке».[232]

Созданный Достоевским образ «игрока» имел длинную литературную родословную. Перечень произведений мировой литературы, в которых разработан сюжет азартной игры, может быть

бесконечным. Сам Достоевский указал на связь романа с пушкинскими традициями. При этом нужно иметь в виду не только названные им «Маленькие трагедии», но и «Пиковую даму». С «Пиковой дамой» «Игрока» сближают некоторые детали сюжета. Впрочем, пушкинский Германн одержим единой страстью, стремлением к богатству, которое даст ему власть над людьми; Алексей Иванович, выиграв двести тысяч, тут же их растрачивает. И в этом Достоевский видел проявление чисто русской черты характера.

При работе над образом Алексея Ивановича у Достоевского, очевидно, возникали какие-то ассоциации и с «Дубровским» Пушкина. Троекуров называет молодого Дубровского, попавшего в его дом в роли француза-гувернера, «учителем», вкладывая в это слово уничижительный смысл. Алексей Иванович тоже уничижительно именует себя «учителем» в тех случаях, когда хочет подчеркнуть свое зависимое положение. И в повести Пушкина (Глава XI) и в «Игроке» (с. 587 и др.) слово «учитель» приведено во французской транскрипции (outchitel).

«Игрок», как и другие произведения этого периода, связан с публицистическими статьями Достоевского 1861–1864 гг. и, в особенности, с «Зимними заметками о летних впечатлениях». Связь эта сказывается прежде всего в том, что в художественной структуре «Игрока» существенную роль играет стремление автора противопоставить современную ему Россию Европе. Многие образы в этом романе являются как бы иллюстрацией выводов, которые в публицистической форме были выражены Достоевским в его отчете о первой поездке за границу. Алексей Иванович — своеобразный вариант молодых людей, о которых Достоевский сказал в «Зимних заметках», что они вслед за Чацким, не найдя себе дела в России, уехали в Европу и там «чего-то ищут» (с. 408). Но этот персонаж противопоставлен в то же время барону фон Вурмергельму и Де-Грие; «игрок» не хочет «поклоняться немецкому идолу» (с. 606) и не желает посвятить свою жизнь накоплению богатства.

Характеры француза, немца, англичанина, по мнению Достоевского, в ходе исторического развития этих стран отлились в известную законченную «форму»; русский же национальный характер находится еще в процессе развития: отсюда внешняя «бесформенность» натур Алексея Ивановича и Полины, отсюда же и свойственное

русскому человеку стремление преодолеть узость сложившихся на Западе общественных форм, в чем писатель видел историческое преимущество России, залог того, что в недалеком будущем она сможет отыскать пути к более высоким общечеловеческим идеалам. В связи с этим в идейно-художественной концепции романа важное значение имел не лишенный символики образ русской «бабушки» Антониды Васильевны.

Де-Грие и mademoiselle Бланш — это те из парижан, о которых с таким сарказмом Достоевский писал в главах «Опыт о буржуа» и «Бри-бри и мабишь». Называя маркиза-самозванца, мошенника и ростовщика Де-Грие именем благородного героя романа восемнадцатого века «Манон Леско», Достоевский иронически выставлял степень нравственного падения французской буржуазии, утратившей былые идеалы и ставшей на путь стяжательства.

Фигура англичанина мистера Астлея, вызывающего симпатию и у Алексея Ивановича, и у «бабушки», и у Полины, напоминает добрых и благородных героев из романов Диккенса и Теккерея, творчество которых Достоевский высоко ценил. Образ мистера Астлея, обрисованный Достоевским только общими контурами, соответствует также бытовавшему в русской демократической среде представлению об англичанах. Салтыков-Щедрин в хронике «Наша общественная жизнь» (май, 1863 г.) писал, что путешествующий англичанин «везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной тип со всеми его сильными и слабыми сторонами».

«Игрок» неоднократно подвергался сценической обработке и прочно вошел в репертуары драматических театров. В 1916 г. С. С. Прокофьев на сюжет «Игрока» написал оперу, которая тогда же была поставлена в Санкт-Петербургском императорском Мариинском театре.

---

notes

Примечания

1

«Деревенский брадобрей» *(нем.)*

2

Но *(нем.)*.

3

третье сословие… третье сословие — это главное *(франц.)*.

4

гордец *(франц.)*.

является на поклон *(франц.)*.

6

Какое прелестное изображение! *(франц.)*.

7

Букв.: прекрасная любовь *(франц.)*.

8

мужем *(франц.)*.

9

До скорого свидания *(франц.)*

10

Чем хуже, тем лучше *(франц.)*

11

Извините, мой друг *(франц.)*.

12

добродушия *(франц.)*

13

мой дорогой *(франц.)*.

14

Что за мысль, мой дорогой *(франц.)*.

15

Выпьем, мой друг *(франц.)*

в общем *(франц.)*.

17

фактически *(лат.)*.

18

неудавшейся жизнью *(франц.)*.

19

спасибо *(франц.)*.

хорошо сказано *(франц.).*

21

здравый смысл *(франц.)*.

22

в одно прекрасное утро *(франц.)*.

23

или жизнь *(франц.).*

24

чистая доска *(лат.)*.

25

чтобы выглядеть *(франц.)*.

26

Но я — другое дело *(франц.)*.

27

на половинном жалованье *(франц.)*.

ваше общественное положение? *(франц.).*

29

Литератор *(франц.)*.

30

собственник *(франц.)*.

31

чтобы видеть Париж *(франц.)*

32

Вот *(франц.)*.

33

существующее положение *(лат.)*.

34

Веришь ли ты в это? *(франц.).*

третье сословие — это всё *(франц.)*.

36

после меня хоть потоп! *(франц.).*

37

суп *(франц.)*.

воинская слава *(франц.)*.

39

Жак Простак *(франц.).*

40

составить состояние *(франц.)*.

41

Свобода, равенство, братство *(франц.)*

42

Свобода, равенство, братство или смерть *(франц.)*.

корреспонденцию *(франц.)*.

44

Государство — это я *(франц.)*.

45

всеобщего избирательного права *(франц.)*

46

зал ожидания *(франц.).* <Большая приемная в суде, судебные кулуары — *В.Л.*>

47

девственный лоб *(франц.).*

48

Жюль Фавр *(франц.).*

49

Здесь погребен Вольтер *(франц.)*.

50

Здесь погребен Жан-Жак Руссо… человек природы и истины! *(франц.).*

51

Здесь погребен Ланн *(франц.)*.

52

Кончено, сударь *(франц.)*.

несколько сенаторов *(франц.)*.

54

моя супруга *(франц.)*

55

моя козочка *(франц.)*.

56

птичка *(франц.)*.

57

на месте преступления *(франц.)*

58

Русский — скептик и насмешник *(франц.).*

больших фонтанов *(франц.)*.

60

Мой муж еще не видел моря *(франц.)*.

61

поваляться на траве *(франц.)*.

с природой *(франц.)*.

63

Мое дерево, моя стена *(франц.)*.

64

ночной колпак *(франц.)*.

65

шпага моего отца *(франц.)*.

66

обязательное условие *(лат.)*.

67

И автор записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени. Это — один из представителей еще доживающего поколения. В этом отрывке, озаглавленном «Подполье», это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие «записки» этого лица о некоторых событиях его жизни.

Федор Достоевский.

домашним животным *(франц.)*.

69

право владельца *(франц.).*

70

Тише! *(франц.).*

71

по-наполеоновски *(франц.)*.

72

Эй, Ламбер! Где Ламбер? Видел ты Ламбера? *(франц.)*

73

Кстати *(франц.)*.

74

Так *(лат.)*

75

господин граф *(франц.)*.

76

госпожа графиня *(франц.)*.

77

табльдот — общий стол *(франц.)*.

78

«Народное мнение» *(франц.)*.

79

Это было не так глупо *(франц.)*.

80

замок *(франц.)*.

дурным тоном *(франц.).*

82

тридцать и сорок *(франц.)*.

83

галльский петух *(франц.)*.

84

Госпожа баронесса… честь имею быть вашим рабом *(франц.)*.

85

до крайнего предела *(лат.)*.

86

Да *(нем.)*.

87

Вы что, взбесились? *(нем.).*

88

ваше жалованье *(франц.).*

89

дорогой мой, простите, я забыл ваше имя, Алексей?.. Не так ли? *(франц.).*

90

дорогой маркиз *(франц.)*.

91

Но генерал *(франц.).*

мадемуазель Бланш де Коменж и ее мамашу *(франц.)*.

93

барон так вспыльчив, прусский характер, знаете, он может устроить ссору из-за пустяков *(франц.).*

кой черт! молокосос, как вы *(франц.)*.

95

секундантом *(франц.).*

подчиненным *(франц.).*

97

Может быть *(франц.)*.

98

вдова *(франц.)*.

99

в одно прекрасное утро *(франц.).*

100

официант *(франц.)*.

русские вельможи! *(франц.)*.

102

русская, графиня, важная дама *(франц.)*.

103

великая княгиня де Н. *(франц.).*

104

под носом у бедного генерала *(франц.)*.

105

Да, сударыня… И поверьте, я в таком восторге… ваше здоровье… это чудо… видеть вас здесь… прелестный сюрприз *(франц.).*

106

Эта старуха впала в детство *(франц.)*.

107

Но, сударыня, это будет удовольствие *(франц.)*.

108

Госпожа генеральша, княгиня Тарасевичева *(франц.)*.

109

одна она наделает глупостей *(франц.)*.

110

Уходите, уходите! *(франц.)*

красное и черное, чет и нечет, недобор и перебор *(франц.)*.

112

ноль *(франц.).*

113

тридцать шесть *(франц.)*

114

Делайте вашу ставку, господа! Делайте вашу ставку! Больше никто не ставит? *(франц.).*

115

сколько ноль? двенадцать? двенадцать? *(франц.).*

116

Да, сударыня *(франц.)*.

117

Игра сделана! *(франц.).*

118

Какая победа! *(франц.)*.

119

Но, сударыня, это было блестяще! *(франц.)*

120

Госпожа княгиня… бедный эмигрант… постоянное несчастье… русские князья так щедры *(франц.)*.

121

Черт возьми, ужасная старуха! *(франц.).*

122

Черт побери, что это такое! *(нем.)*.

123

Но, сударыня, удача может изменить, один неудачный ход — и вы проиграете всё… особенно с вашими ставками… это ужасно! *(франц.)*.

124

Вы проиграете непременно *(франц.)*.

125

Это не то… Дорогой мой, наш милый генерал ошибается *(франц.)*.

126

этой бедной, ужасной старухи *(франц.).*

127

О дорогой господин Алексей, будьте так добры *(франц.)*.

128

Какая мегера! *(франц.).*

129

Мы будем пить молоко на свежей траве *(франц.).*

«природу и истину!» *(франц.)*.

131

Черт возьми! *(франц.).*

132

Она сто лет проживет! *(франц.).*

133

«Четырех времен года» *(франц.).*

дворянина и порядочного человека *(франц.)*.

135

Три последних игры (букв.: удара), господа! *(франц.)*.

136

Двадцать два! *(франц.).*

137

Тридцать один *(франц.)*.

138

Четыре! *(франц.)*.

139

Господин выиграл уже сто тысяч флоринов *(франц.)*.

140

Эти русские! *(нем.).*

141

Это он!! Иди же сюда, дурачок! Правда ли, что ты выиграл гору золота и серебра? Я предпочла бы золото *(франц.)*.

142

Биби, как ты глуп… Мы покутим, не правда ли? *(франц.).*

143

Сын мой, храбр ли ты? *(франц.).*

144

Всякий другой… *(франц.).*

145

если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж *(франц.)*.

ты увидишь Париж. Скажи-ка, что это такое учитель? Ты был очень глуп, когда ты был учителем *(франц.)*.

147

Ну что ты будешь делать, если я тебя возьму с собой?.. я хочу пятьдесят тысяч франков… Мы едем в Париж… и ты у меня увидишь звезды среди бела дня *(франц.).*

148

А сто пятьдесят тысяч франков *(франц.)*.

149

почем я знаю! *(франц.)*.

150

я добрая девочка *(франц.)*.

151

но ты увидишь звезды *(франц.).*

152

А, низкий раб! *(франц.).*

153

а потом хоть потоп! Но ты не можешь этого понять, где тебе!.. Что ты делаешь? *(франц.).*

154

Ну, мой учитель, я тебя жду, если хочешь *(франц.)*.

155

Может быть, только этого мне и надо было *(франц.)*.

156

но ты будешь счастлив, как маленький король *(франц.)*.

157

Что до меня, то я хочу пятьдесят тысяч франков ренты и тогда… *(франц.)*

158

и сто тысяч франков, которые нам остались, ты их проешь со мной, мой учитель *(франц.)*.

159

и сто тысяч франков, которые нам остались, ты их проешь со мной, мой учитель *(франц.).*

160

«Замок цветов» *(франц.).*

161

Оказывается, ты достаточно умен, чтоб понимать! Знаешь, мой мальчик *(франц.)*.

162

Но… знаешь… скажи-ка… Но знаешь… Что же ты будешь делать потом, скажи? *(франц.).*

163

Вот-вот, это великолепно *(франц.)*.

164

Потому что я думала, что ты только учитель (что-то вроде лакея, не правда ли?)… потому что я добрая девушка *(франц.)*.

165

О, но ты… *(франц.).*

166

надо в молодости перебеситься *(франц.)*.

167

Но ты настоящий философ, знаешь? Настоящий философ!.. Ну я буду тебя любить, любить — увидишь, ты будешь доволен! *(франц.).*

168

Настоящий русский, калмык! *(франц.).*

169

через пятое на десятое, бессвязно *(франц.)*.

170

Ему везет *(франц.)*.

171

у меня будет замок, мужики, а потом у меня всё-таки будет мой миллион *(франц.)*.

172

очень прилично *(франц.)*.

173

Он, однако, очень приличен *(франц.)*.

174

но видишь ли… госпожа генеральша Заго-Заго, эти дьявольские русские имена, словом, госпожа генеральша с четырнадцатью согласными. Как это приятно, не правда ли? *(франц.)*

175

Ты был добрым малым… Я считала тебя глупым, и ты выглядел дурачком *(франц.)*.

176

Подожди! *(франц.)*.

177

Мы всегда будем друзьями… и ты будешь счастлив! *(франц.).*

178

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 121.

179

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 282. С. 9.

180

Там же. С. 15.

181

Достоевский: Статьи и материалы. Пб., 1922. Сб. 1. С. 459.

182

Слова старика Ихменева, выражающие его впечатление от романа Ивана Петровича (а по существу определяющие идейную суть «Бедных людей»). Этими словами, очевидно, навеяно заглавие статьи Добролюбова «Забитые люди», посвященной анализу «Униженных и оскорбленных».

183

Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 235.

184

Роман «Униженные и оскорбленные» «литературен». Исследователи отмечали его глубокую и многостороннюю связь с традициями западноевропейских литератур — немецкой (Гете, Гофман, Шиллер), английской (Диккенс), французской (Ж. Санд, Э. Сю, Бальзак и др.). Подробнее об этом см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. 1972. Т. 3. С. 525–527 (комментарий И. З. Сермана).

185

Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1957. Т. 7. С. 951–952.

186

Моск. ведомости. 1861. 17 янв. № 13 (подписано: П).

187

Сын отечества. 1861. № 9. С. 1094.

188

Там же.

189

Рус. слово. 1861. № 9. С. 44–45.

190

Там же. С. 46.

191

Там же.

192

Там же. С. 45.

193

Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. С. 228.

194

Там же. С. 244.

195

Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. С. 230.

196

Там же. С. 239.

197

Там же. С. 231–232.

198

Там же. С. 238.

199

Там же. С. 234.

200

Там же. С. 235.

201

Там же.

202

Подробнее об оценке Добролюбовым романа «Униженные и оскорбленные» см.: *Туниманов В. А.* Творчество Достоевского: 1854–1862. Л., 1980. С. 156–192.

203

Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. С. 266.

204

Там же. С. 274.

205

Там же. С. 275.

206

Рус. речь. 1861. 5 нояб. № 89. С. 573–576.

207

Там же. С. 574.

208

Рус. речь. 1861. 5 нояб. № 89. С. 574.

209

Там же. С. 575.

210

Там же.

211

Там же. С. 576.

212

Библиотека для чтения. 1862. № 1. Отд. 2. С. 29–56; № 2. Отд. 2. С. 27–42.

213

Там же. № 2. Отд. 2. С. 40,

214

Библиотека для чтения. 1862. № 2. Отд. 2. С. 42.

215

Светоч. 1861. № 4. Отд. 3. С. 11.

216

Там же.

217

А. А. Григорьев: Материалы для биографии / Под ред. В. Княжнина. Пг., 1917. С. 274.

218

Эпоха. 1864. № 9. С. 9.

219

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. 1980. Т. 20. С. 133–134.

220

Подробнее о них см.: Достоевский: Однодневная газета Русского библиологического общества. 1921. 30 окт. (12 нояб.). С. 29.

221

См. список постановок: Ф. М. Достоевский и театр: Библиографический указатель / Сост. С. В. Белов. Л., 1980. С. 142–144. См. также: *Лапкина Г.* Достоевский на современной сцене // Достоевский и театр. Л., 1983. С. 294–334.

222

См.: *Степанова Г. В.* «Скверный анекдот» (Достоевский и Гоголь) // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1987. Вып. 7. С. 166–169.

223

Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1988. Вып. 8, С. 300.

224

Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935. С. 535.

225

Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1948. Т. 4. С. 222.

226

Григорьев А. А. Театральная критика. Л., 1885. С. 29.

227

См.: *Белопольский В. Н.* Достоевский и философская мысль его эпохи. Ростов-на-Дону, 1987. С. 112–116.

228

Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 90, 116.

229

Назиров Р. Г. Творческие принципы Ф. М. Достоевского. Саратов, 1982. С. 60–61.

230

Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 47 и др.

231

Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928. С. 47–60.

232

Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 65.

comments

Комментарии

1

С. 7. …*Мефистофель в собачьем виде*… — В трагедии И.-В. Гете «Фауст» Мефистофель, адский дух, олицетворяющий злое, всеотрицающее начало, впервые предстает перед Фаустом в виде черного пуделя.

2

С. 7. *…из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни…* — Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776–1822) — немецкий писатель-романтик. Его «Фантастические повести…», иллюстрированные французским рисовальщиком и литографом П. Гаварни (1804–1866), вышли во французском переводе в Париже в 1846 г.

3

С. 8. …*за дверью, в квартире хозяина, трещал августин…* — «Мой милый Августин» *(нем.* «Ach, du lieber Augustin») — вальс со словами, популярными в Германии того времени. В позднейшем романе Достоевского «Бесы» в музыкальной импровизации Лямшина пошлый мотив «Августина», вытесняющий революционную «Марсельезу», символизирует победу милитаристской Пруссии над республиканской Францией во франко-прусской войне 1870–1871 гг.

4

С. 9. *…да еще какой-нибудь виц или шарфзин знаменитого немецкого остроумца Сафира…* — Мориц Готлиб Сафир (1795–1858) — поэт и юморист. В 1845 г. в Петербурге были изданы на русском языке «Остроты и анекдоты знаменитого юмориста М. Г. Сафира». Виц (от *нем.* Witz) — шутка; шарфзин (от *нем.* Scharfsinn) — остроумное изречение.

5

С. 10. *«Dorfbarbier»* — «Деревенский брадобрей» *(нем.*) позднее: «Иллюстрированный деревенский брадобрей» — юмористический журнал, издававшийся в Лейпциге Фердинандом Штолле.

6

С. 16. *«Детское чтение»* — Журнал для детей и юношества «Детское чтение для сердца и разума», издававшийся в 1785–1789 гг. русским писателем-просветителем Н. И. Новиковым.

7

С. 16. …*начали читать «Альфонса и Далинду»*… — Сентиментально— нравоучительная повесть «Альфонс и Далинда, или Волшебство искусства и натуры» была опубликована в переводе Н. М. Карамзина в 11–12 частях «Детского чтения» за 1787 г.

8

С. 17. …*Мон Ревеш*… — Фамилия навеяна романом Ж. Санд «Мон-Ревеш» («Mont-Revêche», 1853).

9

С. 20. …*«голяк — потомок, отрасли старинной»*. — Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Княгиня» (1856).

10

С. 21. *…сын его, воспитывавшийся — в лицее…* — Александровский (Царскосельский) лицей, основанный в 1811 г., был привилегированным закрытым учебным заведением для дворян.

11

С. 25–26. *…я кончил мой первый роман, с которого началась моя литературная карьера…* — Здесь и далее личные воспоминания Достоевского о работе над романом «Бедные люди» (см. наст. изд. Т. 1).

12

С. 25–26. *…я кончил мой первый роман, с которого началась моя литературная карьера…* — Здесь и далее личные воспоминания Достоевского о работе над романом «Бедные люди» (см. наст. изд. Т. 1).

13

С. 27. *Щелкопер (устар.*) — бездарный и легкомысленный писатель, писака.

14

С. 27. *Помню, я ободрял его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова…* — Поэт А. П. Сумароков (1717–1777) получил гражданский чин действительного статского советника, что приравнивалось к первому генеральскому званию военной службы. Екатерина II подарила поэту Г. Р. Державину за оду «Фелица» золотую табакерку и пятьсот червонцев; она же посетила лабораторию М. В. Ломоносова в 1764 г.

15

С. 28. …*коллежский советник из правоведов*… — Коллежский советник — гражданский чин шестого класса по петровской Табели о рангах; правовед — выпускник Училища правоведения (открыто в 1835 г. для дворян).

16

С. 28. …*вроде Рославлева или ћрия Милославского…* — Имеются в виду герои исторических романов М. Н. Загоскина (1789–1852) «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) и «ћрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829).

17

С. 28. *…выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались…* — Речь идет о Макаре Девушкине, герое первого романа Достоевского «Бедные люди» (1846). В одном из писем к Вареньке Доброселовой Макар Девушкин жалуется на свое бедственное положение: «Теперь пуговки, дружок мой! Ведь вы согласитесь, крошечка моя, что мне без пуговок быть нельзя; а у меня чуть ли не половина борта обсыпалась!» (см. наст. изд. Т. 1. С. 104).

18

С. 29. …*далеко кулику до Петрова дня*… — Русская пословица (смысл ее: многого еще недостает кому-либо). Петров день — праздник апостолов Петра и Павла у православных христиан (29 июня старого стиля).

19

С. 29. …*зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!* — В. Г. Белинский, приветствуя «гуманную мысль» «Бедных людей», писал: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: „Ведь это тоже люди, ваши братья“» *(Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 554). Ср. со словами Акакия Акакиевича Башмачкина в «Шинели» Гоголя: «„Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?“ — и в этих проникающих словах звенели другие слова: „Я брат твой“».

20

С. 29. *«Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»* — Ставшие крылатыми слова городничего из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (д. I, явл. 1).

21

С. 29. *Вот у меня там «Освобождение Москвы» лежит…* — «Князь Пожарский и нижегородский гражданин Минин, или Освобождение Москвы в 1612 году» (1840) — псевдоисторический роман И. Глухарева; упоминается также в повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (см. наст. изд. Т. 3).

22

С. 30. *«А что, брат, ведь и второе издание, чай, будет?»* — Отдельное издание «Бедных людей» (второе после публикации романа в «Петербургском сборнике») вышло в Петербурге в 1847 г.

23

С. 30. …*Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан.* — По ходатайству В. А. Жуковского, А. О. Смирновой, П. А. Вяземского, П. А. Плетнева Гоголю, проживавшему за границей, в 1845 г. был назначен пенсион на три года из государственного казначейства в сумме 3000 руб. серебром.

24

С. 31. …*в Альнаскары записался*… — Альнаскаров — персонаж комедии Н. И. Хмельницкого (1789–1845) «Воздушные замки» (1818), легковерный мечтатель, имя которого получило нарицательное значение.

25

С. 31. *…я это в «Аббаддонне» читал…* — «Аббаддонна» (1834) — роман писателя-романтика Н. А. Полевого (1796–1846); облик героя этого романа соответствовал ходячим представлениям того времени о поэте-романтике.

26

С. 32. *«Северный трутень»* — пародийное наименование «Северной пчелы» — русской политической и литературной газеты реакционного направления, издававшейся в Петербурге в 1825–1864 гг. Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным. В 1830-1840-х годах нападала на Пушкина, Белинского и писателей «натуральной школы».

27

С. 32. *Ты, положим, талант — ну, не гений, как об тебе там сперва прокричали…* — Возможно, в этой реплике содержится намек на отзывы Белинского о «Бедных людях». Белинский предрекал, что молодому писателю «суждено играть в нашей литературе одну из таких ролей, какие даются слишком немногим», и признавал его талант «необыкновенным и самобытным» (см.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 475–476, 407–408; ср.: М., 1956. Т. 10. С. 40).

28

С. 32. *…читал на тебя эту критику в «Трутне»; слишком уж там тебя худо третируют…* — Возможно, речь идет о статье Л. В. Бранта (подписанной криптонимом Я. Я. Я.) в «Северной пчеле» от 30 января 1846 г., где, в частности, говорилось: «…уверяли, что в этом альманахе явится произведение нового, необыкновенного таланта, произведение высокое, едва ли не выше творений Гоголя и Лермонтова <…> мы с жадностию принялись за чтение романа г. Достоевского и, вместе со всеми читателями, жестоко разочаровались <…> Содержание романа нового автора чрезвычайно замысловато и обширно: из ничего он вздумал построить поэму, драму, и вышло *ничего*, несмотря на все притязания создать нечто глубокое, нечто высокопатетическое, под видом наружной, *искусственной* (а не искусной) красоты». См. также предыдущее примечание.

29

С. 35. *Вечерня* — вечерняя церковная служба.

30

С. 36. *Ладанка* (ладонка) — мешочек с ладаном или каким-либо талисманом, который носили на груди вместе с крестом.

31

С. 39. *Всенощная* — ночная церковная служба.

32

С. 48. *Скриб* Огюстен Эжен (1791–1861) — французский драматург, автор многочисленных водевилей и комедий. Достоевский видел в произведениях Скриба отражение идеалов и вкусов французской буржуазии.

33

С. 51. *Я все еще писал тогда мой большой роман…* — Возможно, здесь отразились воспоминания Достоевского о работе над незавершенным романом «Неточка Незванова», позднее превращенным в повесть (1847–1849).

34

С. 57. *Да ведь он уже умер, в чахотке — оставил что-нибудь жене и детям?* — В. Г. Белинский умер от туберкулеза 28 мая 1848 г.; семья его осталась без всяких средств к существованию (см.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977. С. 563).

35

С. 57. *Мы выходили уж на площадь; перед нами во мраке вставал памятник…* — Памятник Николаю I работы скульптора П. К. Клодта (1805–1867); установлен в Петербурге на Исаакиевской площади в 1859 г.

36

С. 62. *Киот* — застекленная створчатая рама или шкафчик для икон; божница.

37

С. 64. *Хитрый человек! Масон!* — Масон *(франц.* franc maçon; букв.: вольный каменщик) — член религиозно-этического общества с мистическими обрядами, возникшего в XVIII в. в Англии. Масонство получило широкое распространение в России уже в 70-80-х годах XVIII в.

38

С. 64. *…Ихменевы-то, еще при Иване Васильевиче Грозном дворянами были — и в истории Карамзина упомянуто.* — Сведения о древних дворянских родах Ихменевых и Шумиловых вымышлены; в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина они не упоминаются.

39

С. 65. *Иезуит* (от латинской формы имени Иисус — Jesus) — член католического монашеского ордена, основанного в 1534 г. Игнатием Лойолой. Сознательное нарушение нравственных норм (по принципу: «цель оправдывает средства»), характерное для тактики и практики иезуитов, придало понятию «иезуитизм» нарицательное значение.

40

С. 68. *Бонтон* — умение держать себя в «высшем свете», светские манеры и этикет *(франц.* bon ton — хороший тон).

41

С. 75–76. *«Самовар мой кипит на дубовом столе — За цветной занавеской, кровать…»* — Здесь и далее Наташа цитирует стихотворение Я. П. Полонского «Колокольчик» (1854).

42

С. 82. *…ты ведь ходишь иногда на вечера к князю Р***…* — Успех «Бедных людей» открыл Достоевскому путь в великосветские и литературные салоны. Князь Р*** — возможно, князь В. Ф. Одоевский (1803–1869), известный русский писатель и музыкальный критик, в литературно-музыкальном салоне которого бывал Достоевский.

43

С. 85. *…стоит только показать пальчик, как гоголевскому мичману…* — В комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» Жевакин рассказывает Кочкареву о мичмане Петухове, который «тоже эдак был веселого нрава»: «Бывало, ему, ничего больше, покажешь эдак один палец — вдруг засмеется, ей-богу, и до самого вечера смеется» (д. II, явл. 8).

44

С. 87. *…скорее Лиссабон провалится…* — Лиссабонское землетрясение произошло в ноябре 1755 г. В результате землетрясения погибло 60 000 человек и была уничтожена большая часть города. Вольтер описал эту катастрофу в поэме «Лиссабонское землетрясение» и в философской повести «Кандид».

45

С. 88. *…tiers état c'est l'essentiel…* — Третье сословие — это главное *(франц.).* Перефразировка ставшей крылатой фразы из брошюры аббата Э. Ж. Сийеса «Что такое третье сословие?» («Qu'est-ce que le tiers état?», 1789). Во Франции до революции 1789 г. третьим сословием называли непривилегированную, преимущественно городскую часть населения (двумя привилегированными сословиями были дворянство и духовенство).

46

С. 88. *Ротшильды* — династия финансовых магнатов, основателем которой был франкфуртский банкир Майер Ансельм Ротшильд (1743–1812). В XIX в. банкирские дома Ротшильдов распространились по всей Европе. Имя Ротшильда стало символом власти денег и могущества богатства (см. также романы «Идиот» и «Подросток»).

47

С. 90. *Ћлий Цезарь* (100-44 до н. э.) — римский государственный деятель, полководец и писатель.

48

С. 91. *…что-то вроде «обмокни», как у Гоголя…* — В незавершенной комедии Н. В. Гоголя «Тяжба» (1842) помещица Жеребцова в своем завещании вместо «Евдокия» подписалась «Обмокни».

49

С. 91. *Куртизанить* — ухаживать, угодничать, льстить *(франц. courtiser*).

50

С. 110. …*первого попавшегося ваньку, на скверной гитаре*. — Ванька — извозчик; гитара — здесь: наемная коляска.

51

С. 112. *Головка* — головная повязка замужних женщин в крестьянской, мещанской и купеческой среде.

52

С. 113. *Николай Угодник* (Николай Чудотворец) — святой христианской церкви.

53

С. 113. *Не делай своего хорошего, а делай мое дурное…* — Выражение восходит к «Сибирской тетради» Достоевского, которую писатель вел на каторге (см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 4. С. 319). См. также примеч. к с. 121.

54

С. 115. *Частный пристав* — начальник полицейской части.

55

С. 115. *Маклак (разг.)* — посредник, барышник, перекупщик, плут.

56

С. 118. …*вздушить адмирала Чаинского*… — Напиться чаю.

57

С. 119. *Дюссо* — владелец французского ресторана в Петербурге.

58

С. 119. *Лабазник* — торговец (от слова «лабаз» — мучная и крупяная лавке).

59

С. 120. *Иуда и Фальстаф, всё вместе…* — Иуда, один из апостолов — учеников Христа, предал его иудейским первосвященникам за тридцать сребреников; его имя стало синонимом слова «предатель». Фальстаф — комический персонаж в пьесах В. Шекспира «Король Генрих IV» и «Виндзорские кумушки», гуляка и весельчак.

60

С. 120. *Он в поддевке, правда в бархатной, и похож на славянофила…* — Поддевка — простонародная мужская верхняя одежда с застежками сбоку, от плеча, и со сборками на талии. Славянофилы — представители идейно-философского направления русской общественной мысли 1840-х годов, отстаивавшие идею самобытного, отличного от европейского, культурно-исторического пути развития России. Некоторые славянофилы по соображениям идейного характера отказались от европейского платья и вернулись к русской национальной одежде (например, Константин Аксаков).

61

С. 120. *Английский клуб* — дворянские клубы в Петербурге (основан в 1710 г.) и Москве (основан в 1807 г.).

62

С. 120. *Вист* — вид карточной игры, обычно вчетвером.

63

С. 121. *Корнелий Непот* (ок. 100 — после 32 до н. э.) — римский историк и писатель, автор жизнеописания выдающихся людей (римских правителей, полководцев, историков, поэтов и др.); изучение его сочинений предусматривалось программами латинского языка в гимназии.

64

С. 121. *Я хоть и в саже, да никого не гаже — жива-душа калачика хочет — в доме такая благодать, что нечем кошки из избы было выманить — молодец против овец, а против молодца и сам овца — черного кобеля не отмоешь добела.* — Выражения восходят к записям в «Сибирской тетради» Достоевского (см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 4. С. 235, 239, 247).

65

С. 121. …*про твоего первенца говорю.* — Речь идет о первом романе Достоевского «Бедные люди».

66

С. 121–122. …*пролаз и крючок*… — Здесь в смысле: пройдоха и крючкотвор.

67

С. 122. *…какой-нибудь Гомер или Дант, или какой-нибудь Фридрих Барбаруса…* — Гомер (между XII и VII вв. до н. э.) — легендарный греческий поэт, которому приписывают эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея». Данте Алигьери (1265–1321) — великий итальянский поэт, автор «Божественной комедии». Фридрих Барбаросса (ок. 1125–1190) — германский император, с личностью которого связаны многочисленные легенды, предания и сказания.

68

С. 122. *Антрепренер* (от французского entreprendre — предпринимать, приниматься за что-либо) — предприниматель; здесь: издатель.

69

С. 123. *Je prends mon bien où je le trouve — похож на Мольера.* — Я беру свое там, где его нахожу *(франц.).* — Это выражение, ставшее крылатым, приписывалось французскому драматургу Ж. Б. Мольеру (1622–1673). Однако наиболее вероятным его источником является испанская пьеса «Губернаторство Санчо Панса» (1642), которую играла труппа Мольера.

70

С. 131. *Пенаты* — боги-покровители домашнего очага у древних римлян; употребляется в смысле: родной дом, домашний очаг.

71

С. 132. *Машерочка* (от французского ma chère — дорогая моя, милая моя) — обычная форма обращения институток друг к другу; здесь в смысле: милашка *(фамильярное*).

72

С. 134. *Канапе* — небольшой диван с приподнятым изголовьем *(франц.* canapé).

73

С. 134. *…а ндраву моему не препятствуй…* — Выражение встречается, в частности, в «Сценах из купеческого быта» И. Ф. Горбунова (1861). Во второй сцене кучер следующим образом характеризует своего хозяина-купца: «…бывало, что делал — страсть! Стекла, посуду в трактире перебьет: получай, говорит, капиталы за все, что стоит, а ндраву моему не препятствуй!» *(Горбунов И. Ф.* Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1904. Т. 1. С. 172).

74

С. 136. …*огромный Станислав, качавшийся у него на шее.* — Имеется в виду орден Станислава второй степени, который носили на шее.

75

С. 144. *…издававшего уже третий год одну многотомную книгу.* — Речь идет об «Энциклопедическом словаре, составленном русскими учеными и литераторами», который начал издаваться в 1860 г.; обязанности редактора словаря вначале принял на себя А. А. Краевский.

76

С. 151. *Барьер* — черта, обозначающая расстояние между участниками дуэли; поставить к барьеру — заставить драться на дуэли.

77

С. 152. …*как дочь того царя — которая переехала через труп своего отца в колеснице?* — Эпизод из римской истории, рассказанный Титом Ливием (59 до н. э. — 17 н. э.). Дочь римского царя Сервия Туллия, возвращавшаяся домой с форума после провозглашения ее мужа Тарквиния царем, проехала на колеснице по трупу своего отца, убитого Тарквинием, оставив на своем пути кровавые следы (см.: *Тит Ливий.* История от основания Рима // Историки Рима. М., 1970. С. 184–186).

78

С. 194. *Зачем, зачем он умер?* — Речь идет о смерти студента Покровского в романе «Бедные люди».

79

С. 194. *…и они-то …девушка и старичок — И не будут бедные?* — Нелли интересует дальнейшая судьба Вареньки Доброселовой и Макара Девушкина — героев романа «Бедные люди».

80

С. 200. *кто, кажется, где-то у Толстого — избегают такие фразы, в которых местоимения.* — Речь идет об эпизоде из «Детства» Л. Н. Толстого (см.: гл. XXIII, «После мазурки»).

81

С. 200. *кто, кажется, где-то у Толстого — избегают такие фразы, в которых местоимения.* — Речь идет об эпизоде из «Детства» Л. Н. Толстого (см.: гл. XXIII, «После мазурки»).

82

С. 201. …*томпаковый самовар*… — Томпак — сплав латуни, меди и цинка, устойчивый против ржавения.

83

С. 201. …*сотерн, лафит и коньяк*… — Сотерн — сорт белого виноградного вина; лафит — красного.

84

С. 202. *Бергамот* (*итал.* bergamotto) — дерево из рода цитрусовых, из корки плодов которого получают ароматическое эфирное масло, употребляемое в парфюмерии.

85

С. 204. *Стратагема* (или стратегама, *греч.*) — военная хитрость, действие, вводящее противника в заблуждение.

86

С. 208. *…бог знает, какие парижские тайны…* — Выражение навеяно заглавием широко известного в свое время романа французского писателя Э. Сю «Парижские тайны» (1842–1843), изображающего жизнь социальных низов Парижа.

87

С. 208. *…идеальный человек, братец Шиллеру…* — Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805) — великий немецкий поэт и драматург, один из основоположников немецкой классической литературы. В пародийном осмыслении Валковского «вечно юный Шиллер» олицетворяет собой тип прекраснодушного идеалиста-мечтателя.

88

С. 209. *Санта-фе-де-Богота* (Богота) — столица Колумбии.

89

С. 209. *Нассау* — германское герцогство, существовавшее самостоятельно до 1866 г., а затем вошедшее в состав Пруссии.

90

С. 209. …*что, дескать, графиня Хлестова скажет?* — Хлестова — персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», властная старуха, свояченица Фамусова. Ср. с репликой Фамусова в финале комедии:

> Ах! боже мой! что станет говорить
> Княгиня Марья Алексевна!

91

С. 210. *Шлык* — шапка, колпак (в том числе шутовской).

92

С. 214. *Торговый мост* — мост через Крюков канал в Петербурге (Ленинграде).

93

С. 219. …*о начинающихся реформах…* — Речь идет о подготовке крестьянской и других буржуазных реформ в России. Вопрос о них широко обсуждался в печати конца 1850-х гг.

94

С. 230. *В Большую Морскую, к Б.* — Имеется в виду ресторан Бореля на Большой Морской (ныне улица Герцена в Ленинграде).

95

С. 231. *У вас там теперь все нищета, потерянные шинели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые годы и раскольничий быт…* — Выпад князя направлен против демократического, гоголевского направления в литературе. «Потерянные шинели», «ревизоры», «чиновники» — намек на «Шинель» и «Ревизора» Гоголя. «Задорные офицеры» — возможно, имеются в виду герои «Губернских очерков» Н. Щедрина. «Старые годы», «раскольничий быт» — темы антикрепостнических повестей П. И. Мельникова-Печерского.

96

С. 231. *Есть такие искатели приключений, что даже меня тошнит…* — Возможно, намек на роман Е. П. Ковалевского «Петербург днем и ночью» (1845), описывающий жизнь социальных низов. Не исключено также, что язвительный выпад Валковского имел более широкую направленность и метил в писателей «натуральной школы» с их пристрастием к «низким» жанрам, (например, «физиологический очерк»), темам и героям.

97

С. 235. *…один ваш писатель — сумеет ограничиться в жизни ролью второго лица…* — Берсенев, герой романа И. С. Тургенева «Накануне» (1860), в споре с приятелем Шубиным заявляет, что «поставить себя номером вторым — всё назначение нашей жизни» *(Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1964. Т. 8. С. 14).

98

С. 237. *Полишинель (франц.* polichinelle, от *итал.* pulcinella) — комический персонаж французского кукольного народного театра; нарицательное употребление этого слова: шут, паяц.

99

С. 239. …*чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную — надо было задохнуться*. — Ср. эпизод пети-жё *(франц.* petit jeu — салонная игра, фанты) в романе «Идиот», когда гостям Настасьи Филипповны было предложено рассказать (по жребию) о самом дурном поступке своей жизни.

100

С. 240. …*выбрать именно меня конфидентом ваших тайн…* — Конфидент — доверенное лицо, наперсник *(франц.* confident).

101

С. 240. *Есть особое сладострастие — не удостоивает и постыдиться перед ним.* — Мотив нравственного «заголения» героя, цинического срывания им с себя маски благопристойности и благовоспитанности станет, начиная с романа «Униженные и оскорбленные», постоянным в творчестве Достоевского (ср.: Свидригайлов в «Преступлении и наказании», Ставрогин в «Бесах», Клиневич в «Бобке», Федор Павлович Карамазов в «Братьях Карамазовых»). См. также следующее примеч.

102

С. 240–241. *…он раздевался у себя дома — остолбеневшего от изумления зрителя…* — «Анекдот» Валковского восходит к «Исповеди» французского писателя-просветителя Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) (см.: *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. 3. С. 82–83). В романе Достоевского «Подросток» этот эпизод из «Исповеди» пересказывает Аркадий Долгорукий. «Анекдот» Валковского — своеобразная художественная параллель к «нравственному заголению» — циническим откровениям этого героя.

103

С. 241. …*важно, плавно, как тень в Гамлете.* — В трагедии В. Шекспира «Гамлет» призрак датского короля, злодейски умерщвленного братом, является сыну, принцу Гамлету, взывая о мщении.

104

С. 242. *Абесса* — аббатиса, настоятельница женского католического монастыря *(франц.* abbesse).

105

С. 242. *…сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться…* — Граф Донасьен де Сад (литературное имя — маркиз де Сад, 1740–1814) — французский писатель, автор эротических романов. Черты личности, биографии и творчества де Сада позднее послужили основой для возникновения понятия «садизм», обозначающего сладострастие, соединенное с жестокостью. Имя де Сада как воплощения порока и разврата упоминается также в других произведениях Достоевского — «Записках из Мертвого дома», «Бесах», «Братьях Карамазовых».

106

С. 245. *…чем добродетель добродетельнее, тем больше в ней эгоизма. — Возможно,* что это иронический выпад против этического учения о «разумном эгоизме» русских революционных демократов, просветителей 1860-х годов Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского.

107

С. 246. *Талейран* Шарль Морис (1754–1838) — выдающийся французский дипломат, беспринципный и неразборчивый в средствах, мастер дипломатической игры и тайных интриг. Его имя стало нарицательным; здесь в смысле: умный, проницательный человек.

108

С. 248. *Фигура умолчания* — стилистический прием, при котором выражение мысли остается незаконченным, ограничивается намеком. Здесь в смысле: недомолвка, недосказанность.

109

С. 251. *Страстная неделя* — последняя неделя Великого поста, посвященная памяти страданий («страстей») и смерти Христа. См. также примеч. к с. 282.

110

С. 252. *Ирритация* — раздражение *(франц.* irritation).

111

С. 263. *Шлафрок* — домашний халат *(нем.* Schlafrock).

112

С. 264. *Декокт* — отвар из лекарственных трав *(лат.* decoctum — варево).

113

С. 266. *Послезавтра Христос воскрес…* — Другими словами, наступит Пасха.

114

С. 268. *…на В-м мосту…* — Вознесенский мост через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова).

115

С. 275. *Великий пост* — семинедельный пост перед христианским праздником Пасхи.

116

С. 279. *Забежная ступенька* — первая ступенька очередного марша лестницы.

117

С. 282. *Страстная пятница* — день распятия, страданий и смерти Христа; отмечается христианской церковью на последней («страстной») неделе Великого поста. См. также примеч. к с. 251.

118

С. 293. *Смирительный дом* — в России XVIII–XIX вв. род тюремного заключения за нетяжелые преступления.

119

С. 315. *Он смекнул, что литературе надо антрепренера — честь ему и слава за это — антрепренерская, разумеется.* — В образе «антрепренера» Александра Петровича отразились черты личности и характера журналиста, редактора и издателя А. А. Краевского (1810–1889), имевшего в кругах интеллигенции репутацию неразборчивого в средствах литературного дельца и эксплуататора писателей. Достоевский разделял это мнение и тяготился своей зависимостью от Краевского. Ряд резких отзывов о Краевском содержатся в письмах Достоевского 1840-1870-х годов. Против него и возглавлявшейся им газеты «Голос» направлен фельетон Достоевского «Каламбуры в жизни и в литературе» (1864). По словам Достоевского, Краевский «всю жизнь на свое литературное дело смотрел не как на дело, а как на *дела*» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 20. С. 138–139).

120

С. 315. *Смотрю: это статья «переписчика» — до того их — отделываю, что становится приторно.* — Под «переписчиком» подразумевается критик А. В. Дружинин (1824–1864), публиковавший без подписи в «Современнике» свои «Письма иногороднего подписчика». Касаясь повести «Неточка Незванова», Дружинин заметил в одном из «Писем»: «Тяжким трудом отзываются повести г-на Достоевского, пахнут потом, если можно так выразиться, и эта-то излишняя обработка, которой автор не умеет скрыть, вредит впечатлению» (Современник. 1849. № 2. С. 186). Достоевскому часто приходилось писать свои произведения в страшной спешке и в предельно короткий срок. Поэтому поверхностное суждение критика надолго запомнилось ему.

121

С. 318. *Вот С***, тот в два года по одной повести пишет, а N*** в десять лет всего только один роман написал.* — Возможно, намеки на Л. Н. Толстого и И. А. Гончарова. Толстой опубликовал с промежутком в два года части своей автобиографической трилогии — «Детство» (1852) и «Отрочество» (1854). Гончаров работал над «Обломовым» с 1849 по 1859 г.

122

С. 331. *Виланд* Кристоф Мартин (1733–1813) — немецкий писатель, автор фантастической поэмы «Оберон» (1780).

123

С. 334. *…каким он Лазарем было прикинулся…* — «Прикидываться Лазарем», «петь Лазаря» значит притвориться бедным, несчастным, жаловаться на свою судьбу. Выражение восходит к евангельской притче о бедном Лазаре (Евангелие от Луки, гл. 16, ст. 19–31).

124

С. 336. *Морген-фри!* (*нем.* morgen früh) — ранним утром. Начальные строки каламбура: «Морген-фри, нос утри». Он упоминается в «Сибирской тетради» Достоевского (см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 4. С. 247).

125

С. 342. *Парлер* — болтун *(франц.* parleur).

126

С. 344. *…нового вина и новых мехов…* — В Евангелии от Марка сказано: «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые» (гл. 2, ст. 22).

127

С. 346. *Насчет розог, гм… вопрос нерешенный…* — В 1859 г. Н. И. Пирогов, будучи в то время попечителем Киевского учебного округа, одобрил «Правила», допускающие сечение гимназистов розгами. Вступивший с Пироговым в полемику Добролюбов в своих статьях «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» и «От дождя да в воду» настаивал на отмене телесных наказаний не только в гимназиях, но и по отношению к крестьянам. Достоевский также горячо поддерживал требование полной отмены телесных наказаний. После освобождения крестьян от крепостной зависимости необходимость пересмотра карательной системы ощущалась передовой частью общества особенно остро.

128

С. 348. *Невыразимые* (единственного числа нет) — просторечное наименование мужских брюк.

129

С. 349. …*последний день Помпеи*… — Герой рассказа пользуется здесь в переносном смысле названием картины К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» (1833), на которой изображены повергнутые в ужас фигуры жителей этого античного города, гибнущих от внезапно обрушившегося на них извержения вулкана.

130

С. 351. *Галантир* — холодное заливное из рыбы, мяса или дичи.

131

С. 352. *Бламанже,* вернее: бланманже — желе из молока с миндалем и сахаром *(франц.* blanc — белый, manger — кушать, кушанье).

132

С. 352. *…шен де дам, балансе! (франц.* chaîne de dames, balancez) букв.: цепь (или вереница) дам, переступайте с ноги на ногу (покачивайтесь) — здесь: одна из фигур кадрили.

133

С. 354. …*гарун-аль-рашидское нашествие*… — Гарун по прозвищу Аль-Рашид, т. е. справедливый, — калиф, совершавший, по преданию, ночные прогулки по Багдаду, во время которых знакомился с жизнью подданных. После смерти (809) стал героем различных песен и цикла арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

134

С. 357. *Шарме* — очарована *(франц.* charmé).

135

С. 360. *Новый сонник-с есть-с, литературный-с.* — В шуточном «Соннике современной русской литературы», написанном Н. Ф. Щербиной в 1855–1857 гг. и распространявшемся во множестве списков, об И. И. Панаеве (1812–1862), журналисте, писателе и критике, соредакторе Некрасова по «Современнику», сказано: «Панаева Ивана во сне видеть — предвещает залить новый жилет кофеем или купить у Лепретра полдюжины голландских рубашек…» *(Щербина Н. Ф.* Полн. собр. соч. СПб., 1873. С. 332).

136

С. 360. *…новый лексикон издается, так, говорят, господин Краевский будет писать статьи…* — Речь идет об «Энциклопедическом словаре, составленном русскими учеными и литераторами». Первый том этого издания вышел в 1861 г. под редакцией стяжавшего себе славу издателя-эксплуататора А. А. Краевского, что вызвало возмущение в литературных кругах. В письме к И. С. Тургеневу от 17 сентября 1860 г. П. В. Анненков, отметив «огромное невежество Краевского», сообщил, что «на него опрокинулись пасквили, насмешки, позорные изобличения» (Труды Публичной библиотеки СССР им. Ленина. М., 1934. Вып. 3. С. 96). Иронические выпады по поводу невежества А. А. Краевского содержатся также и в фельетоне самого Достоевского «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861). Начиная со второго тома редактором «Энциклопедического словаря» стал П. Л. Лавров. Издание прекратилось в 1863 г. на шестом томе.

137

С. 360. *«Головешка»* — Подразумевается «Искра», сатирический журнал с карикатурами, редакторами-издателями которого в 1859–1864 гг. были Н. А. Степанов и В. С. Курочкин.

138

С. 362. …*рискну рыбку*… — Эта народная пляска описана И. С. Тургеневым в «Старых портретах» (1881): «Плясал Иван удивительно — особенно „рыбку“. Грянет хор плясовую, парень выйдет на середину круга — да и ну вертеться, прыгать, ногами топотать, а потом как треснется оземь — да и представляет движения рыбки, которую выкинули из воды на сушь: и так изгибается и этак, даже каблуки к затылку подводит; а там как вскочит…».

139

С. 362. …*ритурнель* — повторение *(франц.* ritournelle).

140

С. 365. …*всегда говорят: «Академические ведомости»*. — «С.-Петербургские ведомости», ежедневная газета, право издания которой с 1728 г. было предоставлено Академии наук.

141

С. 365. *Фрыштик* — завтрак *(нем.* Frühstück).

142

С. 366. *Фокин* — Очевидно, имеется в виду один из «героев канкана», славившийся «по всему Петербургу своими антраша, доходившими до последней степени бесстыдства», имя которого называет в своих воспоминаниях А. М. Скабичевский (см.: *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1929. С. 242).

143

С. 373. *Салива* — слюна *(франц.* salive).

144

С. 374. …*поддерживаете откупа*… — В данном случае речь идет о системе винных откупов.

145

С. 377. *Шуле* — школа *(нем.* die Schule).

146

С. 379. …*выпить такую чашу желчи и оцта*… — Оцет — уксус. В Евангелии от Матфея сказано: «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью…» (гл. 27, ст. 34).

147

С. 383. …*Торговая казнь* — публичное избиение кнутом на торговых площадях или в присутственных местах. В России торговая казнь была отменена в 1845 г.

148

С. 384. *Манкированный* — неудавшийся *(франц.* manqué).

149

С. 388. *…всё это я объехал ровно в два с половиною месяца*! — Достоевский уехал из Петербурга в Берлин 7 июня (ст. ст.) 1862 г., а вернулся около 14 сентября того же года.

150

С. 388. *…родители читали на сон грядущий романы Радклиф…* — Анна Радклиф (1764–1823) — английская писательница, одна из создателей жанра преромантического «готического» романа (или «романа ужасов и тайн»). В письме к Я. П. Полонскому от 31 июля 1861 г. Достоевский писал, что романы Радклиф, которые он читал «еще восьми лет», пробудили в нем мечту побывать в Италии.

151

С. 389. …*«страна святых чудес»*… — Так назван Запад в стихотворении А. С. Хомякова «Мечта» (1834), основным мотивом которого является сожаление о «дальнем Западе», утратившем свое былое величие и «задернутом» «мертвенным покровом». Стихотворение заканчивается призывом «Проснися, дремлющий Восток!».

152

С. 389. *Кордонные* — прямые, вытянутые по шнуру *(франц.* cordon — шнурок).

153

С. 389. *Даже липы мне не понравились…* — Имеются в виду липы, растущие на одной из центральных улиц Берлина — Unter den Linden, привлекавшей уже внимание русских путешественников. Н. М. Карамзин писал, что она «в самом деле прекрасна. В средине посажены аллеи для пеших, а по сторонам мостовая» («Письма русского путешественника», Берлин, 30 июня 1789).

154

С. 389. …*берлинец пожертвует — своей конституцией.* — Достоевский был в Берлине в напряженный момент так называемого конституционного конфликта 1861–1862 гг. Ирония его относится к членам парламента, при попустительстве которых прусское правительство постоянно нарушало конституцию.

155

С. 390. *…фрески Каульбаха…* — Речь идет о цикле монументальных картин символико-исторического содержания, украшающих лестницы Нового музея в Берлине. Фрески эти были созданы в 1845–1865 гг. немецким художником Вильгельмом Каульбахом (1805–1874).

156

С. 390. *…певец любви, Всеволод Крестовский.* — В начале 1860-х годов Всеволод Владимирович Крестовский (1840–1895) был известен как автор стихотворений и нескольких повестей. Иронический отзыв Достоевского, неоднократно пародировавшего «эротические» стихи этого поэта, относится, по-видимому, к циклу его лирических стихотворений и к пьесам, объединенным под названием «Испанские мотивы» (см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 332 и примеч.).

157

С. 390. *Признаюсь, я много ожидал от собора…* — Кельнский собор — крупнейший в Германии памятник готического зодчества; заложен в 1248 г., окончательное завершение многовековой, неоднократно прерывавшейся на длительные сроки постройки праздновалось только 15 октября 1880 г.

158

С. 390. …*когда учился архитектуре.* — Курс архитектуры Достоевский слушал в 1838–1842 гг. в Военно-инженерном училище, которое закончил в августе 1843 г.

159

С. 390. …*«на коленях просить у него прощения» — как Карамзин — перед рейнским водопадом.* — Речь идет о водопаде, образуемом водами Рейна близ города Шафхаузен (Швейцария). Посетив вторично Рейнский водопад, Н. М. Карамзин писал: «Я наслаждался — и готов был на коленях извиняться перед Рейном в том, что вчера говорил я о падении его с таким неуважением» («Письма русского путешественника», Эглизау, августа 14).

160

С. 390. *Жан-Мария Фарина* (1686–1766) — итальянский химик и фабрикант, первым открывший производство одеколона. В Кельне находился филиал его фирмы, выпускающей знаменитую «Kölnisch Wasser» (*нем.* — кельнская вода), что отмечено во всех путеводителях по Германии.

161

С. 391. …*новый кельнский мост.* — Движение по новому, украшенному готическими башнями и статуями кельнскому мосту через Рейн было открыто в апреле 1861 г.

162

С. 391. *…мы тоже изобрели самовар…* — Возможно, эта фраза Достоевского получила полемический отклик в романе Тургенева «Дым» (1867). Потугин говорит, что «даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы» (гл. XIV).

163

С. 392. *…в гиде Рейхарда…* — Генрих Рейхард (1751–1828) — немецкий писатель, автор путеводителя по Германии, выдержавшего в течение 1805–1861 гг. 19 изданий.

164

С. 392. *Нотр-Дам* — кафедральный собор Парижской богоматери (Notre-Dame de Paris), заложенный в XII в. и перестроенный в XIII в. В то время, когда Достоевский был в Париже, велась реставрация собора.

165

С. 392. …*Баль-Мабиль — засвидетельствован всеми русскими, писавшими о Париже…* — Мабий — место, где устраивались публичные балы (Bal Mabille) с канканом и пр. Герцен в «Письмах из Франции и Италии» (1847–1852) утверждал, что эти балы были доступны только для состоятельных буржуа. Мабий как характерная принадлежность буржуазного Парижа назван также в «Призраках» Тургенева.

166

С. 392. *…в Риме — собора Петра…* — Собор св. Петра был сооружен в XV–XVII вв. при участии крупнейших зодчих, скульпторов и художников Италии (Брунеллески, Микеланджело, Рафаэля и др.).

167

С. 392. *Собор св. Павла* — третий по величине в Европе, по архитектуре похож на собор св. Петра в Риме, постройка по проекту Христофора Врена закончена в 1710 г., расположен в деловой части города — Сити.

168

С. 393. *«Рассудка француз не имеет — для себя несчастье»*. — Неточная цитата из письма Д. И. Фонвизина к П. И. Панину из Ахена от 18 (29) сентября 1778 г. У Фонвизина: «Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда он может веселиться».

169

С. 393. *…отделывающие иностранцев фразы — Белинский был в этом смысле тайный славянофил.* — Определяя свое отношение к характерным чертам европейских наций (как он их понимал), Белинский обычно отмечал и их достоинства, и недостатки. Например, в письме к В. П. Боткину от 2–6 декабря 1847 г он писал: «Я уважаю расчетливость и аккуратность немцев <…> но не люблю их. А люблю я две нации — француза и русака…». «Тайным славянофилом» Достоевский называет Белинского в значительной мере условно. В письме к А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 г. он писал: «…никогда не поверю словам покойного Аполлона Григорьева, что Белинский кончил бы славянофильством».

170

С. 393. *…весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно — это было в сорок шестом году.* — Увлечение Белинского идеями утопического социализма относится к 1841–1845 гг. В конце 1846 г. критик-демократ пришел к выводу, что «у себя, в себе, вокруг <…> должны мы искать — и вопросов и их решения» *(Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 32; *Комарович В. Л.* Идеи французских социальных утопий в мировоззрении Белинского // Венок Белинскому. — Новая Москва. М., 1924. С. 243–272). Социалисты-утописты Франции в 1846 г. были популярны в кружке Петрашевского, членом которого в начале 1847 г. стал и Достоевский. М. Е. Салтыков-Щедрин, также «примкнувший» в середине 1840-х годов к «безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции», впоследствии вспоминал, что из «Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда <…> лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век“ находится не позади, а впереди нас…» *(Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т М., 1972. Т. 14. С. 112).

171

С. 393. *…обожались такие имена, как Жорж Занд, Прудон и проч., или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю-Роллен и т. д.* — Жорж Занд — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804–1876). Пьер Жозеф Прудон (1809–1865) — французский публицист и социолог. При аресте у Достоевского была обнаружена книга Прудона «La célébration du dimanche» («Празднование воскресенья»). Луи Блан (1811–1882) — один из последних представителей французских утопических социалистов, историк. В кружке Белинского особый интерес вызвала книга Луи Блана «Histoire de dix ans» («История десяти лет») (1841–1844), воспринятая как обвинительный акт против диктатуры буржуазии во Франции. Александр Огюст Ледрю-Роллен (1808–1874) — французский политический деятель, мелкобуржуазный республиканец, адвокат по профессии, как и Луи Блан, член Временного правительства в 1848 г.

172

С. 393. …*Чаадаев — негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал всё русское.* — Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856) — русский мыслитель, автор «Философических писем», из которых первое (всего восемь) было напечатано в 1836 г. в «Телескопе», что повлекло за собой закрытие журнала. Герцен оценил появление «Философических писем» Чаадаева как «вызов, знак пробуждения». По его мнению, «письмо разбило лед после 14 декабря». Герцен не согласился с Чаадаевым, утверждавшим, что прошлое России «было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет». Тем не менее он считал, что «душа» Чаадаева переполнена «скорбью», а не презрением ко «всему русскому», как предполагает здесь Достоевский *(Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 221–222). Чернышевский в статье, специально посвященной Чаадаеву (написанной в 1861 г., но не опубликованной при жизни), пришел к выводу, что автор «Философического письма» надеялся на лучшее будущее России, иначе «не говорил бы он так горько о нашем настоящем» (*Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 615). Внимание к Чаадаеву в начале 1860-х годов было привлечено публикацией в ноябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 г. воспоминаний о нем М. Н. Лонгинова. Достоевский на протяжении всего своего творческого пути проявлял живой интерес не только к историко-философским взглядам Чаадаева, но и к его личности. С именем Чаадаева связаны замысел поэмы «Житие великого грешника» и создание образа Версилова в «Подростке».

173

С. 394. *Эйдткунен* — в XIX в. прусское местечко и железнодорожная станция близ русско-прусской границы.

174

С. 394. … *Бежать хотел в Швейцарию…* — строка из юмористического стихотворения Некрасова «Говорун. Записки петербургского жителя А. Ф. Белопяткина» (1843–1845).

175

С. 395. *Ведь это пророк и провозвестник.* — Намеченная здесь характеристика творчества Пушкина впоследствии была развернута Достоевским в речи о Пушкине («Дневник писателя» за 1880 г.), где сказано, что в появлении Пушкина «заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое».

176

С. 395. *Ведь не с неба же, в самом деле, свалилось к нам славянофильство — основание этой затеи пошире московской формулы…* — Впервые о причинах возникновения славянофильской доктрины сказал еще в 1847 г. Белинский. Он расценивал появление славянофилов как свидетельство того, что «Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования», начатого Петром I, и для нее настало время «развиваться самобытно, из самой себя» *(Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 19). Отмечая слабые стороны положительной программы славянофилов и отвергая их мистические предчувствия «победы Востока над Западом, которых несостоятельность слишком ясно обнаруживается фактами действительности», Белинский в то же время признавал, что в славянофильской критике русского европеизма есть много дельного, «с чем нельзя не согласиться хотя наполовину» (там же. С. 17).

177

С. 396. …*на выставку в Лондон*… — Речь идет о Всемирной выставке, которая с 1862 г. была открыта в Лондоне.

178

С. 396. …*«о том, о сем, а больше ни о чем»*. — Источником для этой крылатой фразы послужили, очевидно, слова Фамусова из «Горя от ума» Грибоедова: «…придерутся к тому, к сему, а чаще ни к чему, поспорят, пошумят и… разойдутся» (д. II, явл. 4).

179

С. 397. *…пошел отмаливаться от Парижа всеми библейскими текстами…* — В письмах 1777–1778 гг. из-за границы к П. И. Панину, в одном из которых содержалась фраза «рассудка француз не имеет» (см. примеч. к с. 393), Фонвизин выразил отрицательное отношение к некоторым сторонам французских нравов. Полемизируя с французскими философами, «вся система» которых «состоит в том, чтоб люди были добродетельны независимо от религии», Фонвизин писал П. И. Панину в сентябре 1778 г.: «Истинно, нет никакой нужды входить с ними в изъяснения, почему считают они религию недостойною быть основанием моральных человеческих действий и почему признание бытия божия мешает человеку быть добродетельным? Но надлежит только взглянуть на самих господ нынешних философов, чтоб увидеть, каков человек без религии, и потом заключить, как порочно было бы без оной всё человеческое общество» *(Фонвизин Д. И.* Собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 482). На «библейские тексты» Фонвизин ссылался в произведениях, написанных в последние годы жизни (на рубеже 1780-1790-х годов) и опубликованных посмертно — в «Рассуждении о суетности жизни человеческой» и «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях» (там же. С. 79-105).

180

С. 397. *…чтобы быть русскими — изобрели себе балетный костюм…* — Так, славянофил К. С. Аксаков ходил в русских сапогах, в косоворотке, а на голове носил древнерусский головной убор — мурмолку, являвшуюся предметом постоянных насмешек в кругу западников. В объявлении об издании журнала «Время» в 1861 г. также говорилось о людях, которые, «надев на себя древний кафтан, бархатную поддевку и шелковую рубашку с золотыми галунами, воображают, что они соединились с народным началом».

181

С. 398. *…словами старосты в одном из губернских очерков Щедрина…* — В «Губернских очерках» («Владимир Константиныч Буеракин», 1857) староста, жалуясь на немца-управляющего, говорит: «Да больно уж немец осерчал: сечет всех поголовно, да и вся недолга! „На то, говорит, и сиденье у тебя, чтоб его стегать“…».

182

С. 399. …*написал тогда «Бригадира»*. — В 1769 г.

183

С. 399. *«Умри, Денис, лучше ничего не напишешь», — говорил сам Потемкин.* — По свидетельству одного из первых биографов Фонвизина П. А. Вяземского, эти слова, как гласила молва, Потемкин произнес после первого представления «Недоросля», состоявшегося в 1782 г. (см.: *Вяземский П.* Фонвизин. СПб., 1848. С. 219; ср.: *Берков П. Н.* Театр Фонвизина и русская культура // Русские классики и театр. М.; Л., 1947. С. 86–87).

184

С. 399. *Ляжет на горы, горы трещат — Башни рукою за облак бросает.* — Неточная цитата из стихотворения Державина «Песнь Екатерине II на победы графа Суворова-Рымникского 1794 года». У Державина:

Ступит на горы — горы трещат;
Ляжет на воды — воды кипят;
Граду коснется — град упадет;
Башни рукою за облак кидает.

185

С. 399. *Ляжет на горы, горы трещат — Башни рукою за облак бросает.* — Неточная цитата из стихотворения Державина «Песнь Екатерине II на победы графа Суворова-Рымникского 1794 года». У Державина:

186

С. 400. *Кузьма Прутков — напечатал он в смеси в «Современнике» очень давно уже «Записки моего деда».* — В четвертом номере «Современника» за 1854 г. в «Литературном ералаше» были опубликованы «Выдержки из записок моего деда» К. Пруткова.

187

С. 400. «Остроумный ответ кавалера де Монбазона». — У Козьмы Пруткова этот отрывок назван иначе: «Что к чему привешено». Приведенный ниже текст является вольным пересказом подлинника (ср.: *Козьма Прутков.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1965. С. 162).

188

С. 400. «Остроумный ответ кавалера де Рогана» — Достоевский, очевидно, перепутал герцога де Рогана (1579–1638), о котором Козьма Прутков рассказал анекдот другого содержания (см.: *Козьма Прутков.* Полн. собр. соч. С. 172), с герцогом де Рокелором (1617–1676). Именно с последним произошел пересказанный здесь эпизод. (Об этом см.: *Рак В. Д.* Анекдот о кавалере де Рогане // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1980. Вып. 4. С. 176–177).

189

С. 401. …*«в добросовестном ребяческом разврате»*. — Перефразировка строк из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838):

> И предков скучны нам роскошные забавы,
> Их добросовестный, ребяческий разврат.

190

С. 401…«субдительный суперфлю». — Слова Ноздрева («Мертвые души», гл. IV), означавшие у него, как пояснил Гоголь, «высочайшую точку совершенства».

191

С. 402. Куртаг — приемный день в царском дворце (нем. Courtag. из франц. cour — двор и нем. Tag — день).

192

С. 402. …*Отважно жертвуя затылком.* — Чацкий в «Горе от ума» (д. II, явл. 2) говорит:

> Но между тем кого охота заберет,
> Хоть в раболепстве самом пылком,
> Теперь, чтобы смешить народ,
> Отважно жертвовать затылком?

193

С. 402. *…как североамериканец Южных штатов, текстами начнет защищать необходимость торговли неграми.* — В 1861 г. отделившиеся Южные штаты Америки создали свою конституцию и избрали президента. В декларации мятежного правительства говорилось: «В основу нового союзного правительства положен тот великий принцип, что негры не равны белым, что их рабство является естественным, нормальным состоянием». Декларация американского рабовладельческого правительства в русских прогрессивных кругах была встречена с возмущением и неоднократно обсуждалась в периодической печати. В журнале «Время» политический обозреватель по этому поводу иронически писал: «Признавая Южные штаты, придется согласиться со всеми теми доводами, которыми блистало первое послание президента Южных штатов г. Джефферсона Девиса; он тогда уверял, что рабовладение есть единственная форма, при которой может развиваться цивилизация, что это так и по-божески и по-человечески!..» (Время. 1862. № 1. С. 15).

194

С. 402. …*У нас был нашего полку первой роты капитан — терпеть капитанше?* — Отрывок из комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (д. IV, явл. 2). Курсив в тексте принадлежит Достоевскому. Достоевский цитирует текст «Бригадира», по-видимому, по отдельному изданию (СПб., 1817 или М., 1828). В изданиях сочинений Фонвизина 1830-1850-х гг. в приведенной Достоевским цитате было отличие. Вместо: «изрядная-изрядная молодка» там печаталось «изрядная молодка».

195

С. 403. *…не бьет, значит, не любит.* — Эта тема была развита в пародийной форме в одном из «Персидских писем» (1721) Монтескье. Делясь наблюдениями над нравами русских женщин, персидский посол в Москве сообщал своему другу в Париж: «Жена не верит, что сердце мужа принадлежит ей, если он ее не колотит» (письмо LI).

196

С. 403. …*капитан Копейкин, «в некотором смысле кровь проливал»*. — Неточная цитата из «Мертвых душ» Гоголя (гл. X, «Повесть о капитане Копейкине»).

197

С. 404. *…душа — tabula rasa…* — Выражение, восходящее к сенсуалистической теории познания английского философа Д. Локка (1632–1704). Опровергая теорию врожденных идей, Локк доказывал, что представления и понятия людей возникают в результате воздействия предметов внешнего мира на органы чувств человека.

198

С. 404. *Гомункул* — человечек, которого можно получить, по фантастическим представлениям средневековых алхимиков, искусственным путем *(лат.* homunculus).

199

С. 404. *…досталось же ему за Базарова.* — Речь идет о статьях, в которых автор «Отцов и детей» обвинялся в клевете на молодое поколение, и в первую очередь о статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», напечатанной в мартовской книжке «Современника» за 1862 г. «Время» тогда же выступило в защиту Тургенева и созданного им образа Базарова. Сочувственное отношение к Базарову не помешало, однако, критику журнала, декларировавшего свои «почвеннические» взгляды, признать, что «нигилизм» «детей» побеждается «самой жизнью». Н. Страхов писал: «Базаров — это титан, восставший против своей матери земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей» (Время. 1862. № 4. С. 81). Положительная оценка образа Базарова была высказана также Достоевским в не дошедшем до нас письме его к Тургеневу.

200

С. 404. *Даже отхлестали мы его и за Кукшину…* — Кукшина — действующее лицо в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862).

201

С. 404. …*такими фельдфебелями цивилизации*… — Это выражение, очевидно, было подсказано Достоевскому следующими словами Скалозуба («Горе от ума», д. IV, явл. 5):

> Я князь-Григорию и вам
> Фельдфебеля в Волтеры дам,
> Он в три шеренги вас построит,
> А пикнете, так мигом успокоит.

202

С. 404. *Сипа-мужик* — Сипа (или сипак) в просторечии — грубый невежа, необразованный мужик, деревенщина.

203

С. 405. …*«Еще остатки варварства»*… — Имеется в виду заметка «Еще к характеристике Замоскворечья», где говорилось об «обычае московских купцов, достойном времен глубочайшего варварства…» (Современное слово, 1862. 14 нояб. № 134).

204

С. 407. *…не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела. Этот пункт, говорят, спорный…* — В данном случае Достоевский возражал Герцену, настаивавшему в статье «Лишние люди и желчевики» (1860) на необходимости разграничения тех, кто стал «лишним» в условиях николаевской реакции, и современных бездеятельных героев. В то же время Достоевский отчасти соглашался с Герценом, утверждая, что среди «лишних людей» есть тип, «бывший ужасно полезным когда-то», хотя и «совершенно бесполезный теперь» (с 407). Названная статья Герцена открыла полемику по поводу «лишних людей», главными участниками которой были журналы «Колокол» и «Современник».

205

С. 407. *Попасть в Регулы* — стать героем. Марк Атилий Регул (III в. до н. э.) — римский политический деятель и полководец, прославившийся храбростью.

206

С. 407. …*отправился бы на восток, а не на запад.* — Намек на то, что Чацкий, в монологах которого отразились декабристские настроения, мог бы, как и они, быть сослан в Сибирь.

207

С. 408. …*Молчалина нет — посвятил себя отечеству…* — Этим же приемом, перенесением общеизвестного литературного персонажа в другую эпоху и в другие условия, воспользовался впоследствии Салтыков-Щедрин, посвятивший «господам Молчалиным», преуспевшим на службе, первую часть своих сатирических очерков «В среде умеренности и аккуратности» (1874–1876).

208

С. 408 *«Он знает Русь и Русь его знает»*. — Эти слова Н А Полевого, взятые из предисловия к роману «Клятва при гробе господнем» М., 1832. Ч. 1. С. IX) были уже приведены Достоевским в одном из монологов Фомы Опискина в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (см. наст. изд. Т. 3.)

209

С. 408. …*Рубенса — три грации…* — Картина фламандского художника Петера Пауля Рубенса (1577–1640) «Три грации» (ок. 1639–1640) хранится в Мадриде в музее Прадо. Достоевский в Мадриде не был, но мог знать ее по репродукциям. Возможно, что здесь имеется в виду и другая картина Рубенса «Суд Париса» (1635), на которой тоже изображены три обнаженные богини (находится в лондонской Национальной галерее)

210

С. 408 …*бросаются на Сикстинскую мадонну*… — «Сикстинская мадонна» (1515–1519) Рафаэля (1483 1520) хранится в Дрезденской галерее. Достоевский очень любил «Сикстинскую мадонну», видя в ней «высочайшее проявление человеческого гения» (см.: *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971. С. 148–149).

211

С. 416. *Антропофаги* — людоеды (*греч.* antropos — человек, phagos — пожирающий).

212

С. 416. *Ваал* — у семитических племен древней Сирии бог неба, солнца, плодородия, поклонение которому принимало формы разнузданного разврата и требовало человеческих жертвоприношений; здесь в переносном — смысле бог приобретательства, наживы.

213

С. 416. …*чугунки проложенные поверх домов (а вскоре и под домами)*… — Первая подземная железная дорога (метрополитен) протяженностью 3,6 км была построена в Лондоне в 1860–1863 гг.

214

С. 416. *Вайтчапель* (Whitechapel) — район в восточной части Лондона, населенный в XIX в. рабочей беднотой.

215

С. 416. *Кристальный дворец* — хрустальный дворец (Crystal Palace) был построен по проекту архитектора Дж. Пакстона в 1851 г. в Лондоне, а затем перенесен в 1853–1854 гг. в пригород Сиднем; служил главным павильоном всемирных выставок, проходивших в Лондоне в 1851 и 1862 гг. (см. примеч. к с. 469).

216

С. 416. …*едино стадо* — Имеются в виду слова из Евангелия от Иоанна: «…и будет одно стадо и один пастырь» (гл. 10, ст. 16).

217

С. 417. *…что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса….* — Вавилон, — столица древней Месопотамии, в VII в. до н. э. стал крупнейшим городом Передней Азии, прославился своими роскошными архитектурными сооружениями и «висячими садами». Апокалипсис (*греч.* apokalypsis — откровение) — раннехристианское произведение, составляющее последнюю книгу Нового завета; содержит пророческие предсказания, касающиеся судеб мира и человечества.

218

С. 417. *…масса деревенеет и прихватывает китайщины…* — В середине XIX в. термины «китайщина», «китаизм» употреблялись для определения политического застоя в стране, когда низшие слои населения раболепно подчиняются деспотизму правящих кругов, когда, по словам Белинского, «все держится на закоснелом обычае» *(Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 8. С. 599).

219

С. 417 …*вроде мормоновщины.* — Мормоны — члены религиозной организации, возникшей в США в 1830 г. «Пророки» мормонов проповедовали крайний мистицизм, суеверие и враждебность к прогрессу. Подробности об этой секте Достоевский мог почерпнуть из книги Жюля Реми «Путешествие в страну мормонов» (*Remy Jules* Voyage au pays des Mormons. Paris, 1860. 2 vol.), содержание которой было изложено в статье «Мормонизм и Соединенные Штаты», напечатанной в журнале «Время» (1861. № 10).

220

С. 418. …*еще долго не сбудется для них пророчество — взывать к престолу всевышнего: «доколе, господи»*. — В «Откровении Иоанна Богослова» (Апокалипсис) говорится, что после «великого дня гнева» множество избранных людей предстанет перед престолом «в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Обретя покой, «они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной» (гл. 7). Обращение «Доколе, господи…» встречается во многих псалмах, а также в Книге пророка Аввакума: «Доколе, господи, я буду взывать — и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии — и ты не спасешь?» (гл. 1, ст. 2).

221

С. 419. *Лица точно из кипсеков.* — Кипсек (*англ.* keepsake) — альбом изящных картинок, иногда с текстом.

222

С. 420. …*«Аз есмь воскресение и живот»*… — Слова Иисуса из Евангелия от Иоанна (гл. 11, ст. 25).

223

С. 421. *Английские поэты испокон веку любят воспевать красоту пасторских жилищ…* — Достоевский мог, в частности, иметь здесь в виду роман О. Голдсмита (1728–1774) «Векфильдский священник» (1766), один из русских переводов которого вышел в 1847 г.

224

С. 422. …*le tiers état c'est tout*… — См. примеч. к с. 427.

225

С. 423. …*après moi le déluge*… — Фраза эта, ставшая крылатой, приписывается французскому королю Людовику XV (1710–1774).

226

С. 423. *…не смеет пикнуть слова о мексиканской экспедиции?* — Речь идет о вооруженной интервенции вначале Англии, Испании и Франции (1861–1862), а с весны 1862 г. — только Франции в Мексику. Политические цели этой войны — свержение прогрессивного правительства и превращение Мексики в колонию, а также сопряженные с ней расходы — делали Мексиканскую экспедицию чрезвычайно непопулярной в широких слоях французского общества. В статье «Мексиканская экспедиция», напечатанной в «Политическом обозрении» журнала «Время», говорилось, что французские буржуа «забывают в числе расходов считать людей, которых Франция лишилась и еще вперед лишится» (Время. 1862. № 7. С. 33).

227

С. 423. *Эпузы* — супруги, жены *(франц.* épouses).

228

С. 423. …*что фойе благоденствует…* — Фойе — здесь: домашний очаг *(франц.* foyer).

229

С. 423. *Гантируются* — носят перчатки *(франц.* gant — перчатка).

230

С. 424. *«Жена, муж и любовник»* — роман Поль де Кока, в русском переводе вышел в Москве в 1833–1834 гг.

231

С. 424. *Jacques Bonhomme* — шутливое наименование французского крестьянина.

232

С. 425. *Сократ* (ок. 469–399 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, учение которого отвергало многие общепризнанные воззрения его времени. По приговору афинского суда Сократ умертвил себя ядом.

233

С. 425. …*для нашего Михайловского театра.* — Театр в Петербурге (ныне академический Малый оперный), в помещении которого проходили гастроли иностранных трупп, чаще всего французской комической оперы и оперетты.

234

С. 425. …*как лорда Девоншира*… — Достоевский имеет в виду представителей знаменитого старинного английского рода графов и герцогов. В 1862 г. титул герцога Девоншир носил Вильям Кавендиш, граф Бурлингтон (1808–1891).

235

С. 425. …*Грандисону, Алкивиаду, Монморанси…* — Грандисон — персонаж одноименного романа английского писателя Ричардсона (1689–1761), воплощение безупречной добродетели. Алкивиад (451–404 до н. э.) — афинский полководец; как пишет в его жизнеописании Плутарх, обладал величайшим искусством завоевывать любовь окружавших его людей. Монморанси — Достоевский имеет в виду древний воинственный род французских герцогов.

236

С. 426. *…какой-нибудь Адонис, Вильгельм Телль…* — Адонис — персонаж древнегреческой мифологии, отличавшийся необыкновенной красотой. Вильгельм Телль — бесстрашный герой швейцарской народной легенды, имя которого стало популярным после одноименной драмы (1804) Ф. Шиллера.

237

С. 426. *Галера* — гребное военное судно, существовавшее до конца XVIII в.; гребцами на галерах большей частью были осужденные на каторжные работы.

238

С. 426. …*в кодексе совершенно ясно обозначены пункты воровства из низкой цели, то есть из-за какого-нибудь куска хлеба…* — Это рассуждение, возможно, было написано под впечатлением истории осужденного Жана Вальжана, героя романа В. Гюго «Отверженные» (1862), который Достоевский впервые прочитал летом 1862 г. во Флоренции и вторично просмотрел во время работы над этой частью «Зимних заметок» (см. письмо к А. Н. Милюкову от 2 января 1863 г.).

239

С. 426. *…разум оказался несостоятельным перед действительностью — нет доводов чистого разума…* — Достоевский, очевидно, имеет в виду рационалистические теории, обосновывавшиеся в идеалистических философских учениях и подвергавшиеся в 30-60-х годах XIX в. критике позитивистов, отрицавших философию как науку, претендующую на обобщенный анализ явлений действительности.

В русской публицистике особый интерес к этим проблемам был вызван книгой П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии» (1860). С автором этой книги, развивавшим некоторые положения философии Канта, полемизировали Чернышевский («Антропологический принцип в философии», 1860) и Писарев («Идеализм Платона», 1861; «Схоластика XIX века», 1861). Говоря ниже о разуме Ивана и Петра, Достоевский имеет в виду следующее рассуждение Чернышевского, приведенное в названной выше статье: «…можно находить, что Иван добр, а Петр зол; но эти суждения прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще» *(Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 264). Аналогичное высказывание содержалось в статье Писарева «Схоластика XIX века»: «…воззрения не могут быть ни истинны, ни ложны: есть мое, ваше воззрение, третье, четвертое и т. д. Которое истинно? Для каждого свое…» *(Писарев Д. И.* Соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 1. С. 135).

240

С. 427. *Профершпилился* — проиграл *(нем.* verspielen — проигрывать).

241

С. 427. …*аббат Сийес в своем знаменитом памфлете, что буржуа — это всё.* — Речь идет о Эммануэле Жозефе Сийесе (1748–1836), деятеле французской буржуазной революции. В январе 1789 г. вышла его брошюра под названием «Что такое третье сословие?», в которой содержался этот ставший крылатой фразой афоризм. До революции Сийес был аббатом.

242

С. 427. …*провозгласили вскоре после него: Liberté, égalité, fraternité.* — Речь идет о лозунгах французской буржуазной революции XVIII в.

243

С. 430. *Любите друг друга, и всё сие вам приложится.* — Источником этого афоризма послужили библейские тексты. Ср.: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас» (Евангелие от Иоанна, гл. 15, ст. 12); «Ищите же прежде царства божия и правды его, и это всё приложится вам» (Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 33).

244

С. 430. …*«Каждый для всех и все для каждого» — из одной всем известной книжки.* — На титульном листе книги французского утописта Этьена Кабе (1788–1856) «Путешествие в Икарию» (1840) среди других лозунгов-эпиграфов значилось: «Tous pour chacun. Chacun pour tous» (Все для каждого. Каждый для всех). См.: Voyage en Icarie / Par M. Cabet. Paris, 1848.

245

С. 430. *…потянули основателя братства Кабета к суду.* — В 1847 г. Кабе купил в Америке землю и, переселив туда несколько сот французских рабочих, основал братство. В результате возникших раздоров Кабе был обвинен некоторыми членами братства, вернувшимися во Францию, в мошенничестве. Будучи заочно осужденным, Кабе приехал в Париж и добился пересмотра дела, закончившегося в 1851 г. полным его оправданием.

246

С. 430. *Фурьеристы, говорят, взяли свои последние девятьсот тысяч франков из своего капитала…* — Речь идет о фаланстерианской колонии «La Réunion» («Объединение»), основанной главой французских фурьеристов Виктором Консидераном (1808–1893) в Америке в штате Техас. Колония прекратила свое существование из-за разрушений, которым она подверглась во время гражданской войны 1861–1865 гг.

247

С. 431. …*в муравейнике всё так хорошо — далеко еще человеку до муравейника!* — «Муравейником» назвал человеческое общество Вольтер в «Микромегасе» (1759). Но в данном случае Достоевский, очевидно, имеет в виду рассуждение Лессинга, приведенное Чернышевским в его работе «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» (1856–1857) и содержащее противопоставление человеческого общества муравейнику, где каждый занят полезной деятельностью: «тащит, пристраивает что-нибудь» — при этом муравьи не только не мешают друг другу, но даже помогают (см.: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1948. Т. 4. С. 210).

248

С. 431. *…буржуа торжествует — он тогда еще боролся…* — В данном случае суждения Достоевского о буржуазии во многом совпадают с мыслями, которые развивал Белинский в конце 1847 г. Он писал, что при определении общественной роли буржуазии следует учитывать, на каком этапе своего развития она находится. «Буржуази в борьбе и буржуази торжествующая, — подчеркивал Белинский, — не одна и та же <…> Начало ее движения было непосредственное <…> тогда она не отделяла своих интересов от интересов народа». Буржуазия тогда «выхлопотала права не одной себе, но и народу». Но она решила, иронически отмечал Белинский, «что народ с правами может быть сыт и без хлеба». На этом, т. е. на завоевании для народа «прав без хлеба», заканчивается, по мнению Белинского, прогрессивная роль буржуазии. Буржуазия не борющаяся, а торжествующая, «сознательно ассервировала народ голодом и капиталом» *(Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 12. С. 449).

249

С. 431. *Луи-Филипп* (1773–1850) — Глава младшей линии династии Бурбонов, французский король с 1830 г., свергнутый февральской революцией 1848 г.

250

С. 431. *…разделался с ними на июньских баррикадах ружьем и штыком.* — Речь идет о восстании парижского пролетариата 23–26 июня 1848 г., которое В. И. Ленин назвал первой великой гражданской войной между пролетариатом и буржуазией *(Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 38. С. 305). Восстание было жестоко подавлено правительственными войсками и отрядами буржуазной гвардии.

251

С. 432. *Наполеон III* (1808–1873) — французский император (1852–1870), племянник Наполеона I. Управлял в интересах крупной буржуазии и, попирая элементарные демократические свободы, в то же время демагогически заигрывал с трудящимися.

252

С. 432. *Вспомните один из ямбов Варбие…* — Имеется в виду поэма французского поэта Огюста Барбье (1805–1882) «Раздел добычи» (1830), вошедшая в сборник «Ямбы» (1831).

253

С. 433. …*падам до ног*… *(польск.* padam do nóg) — выражение, означающее: ваш покорный слуга; честь имею кланяться.

254

С. 434. *Толковали о Гарибальди — недели за две до Аспромонте.* — Джузеппе Гарибальди (1807–1882) — народный герой, возглавивший борьбу за освобождение и объединение Италии «снизу», на демократических началах. Достоевский говорит о походе, предпринятом Гарибальди в июне 1862 г. с целью освобождения Рима от папской власти. 29 августа во время сражения с королевскими войсками близ Аспромонте Гарибальди был ранен, взят в плен и арестован. В журнале «Время» начиная с № 1 за 1861 г. регулярно печатались статьи о деятельности Гарибальди. Одна из них называлась «Гарибальди при Аспромонте и в Специи» (Время. 1862. № 9. С. 84-107).

255

С. 434. …*он пользовался неограниченною и самою бесконтрольною властью.* — В сентябре 1860 г. войска Гарибальди при поддержке восставшего народа освободили юг Италии и вступили в Неаполь. Гарибальди был фактическим диктатором всей Южной Италии до 15 октября того же года, когда он передал освобожденную территорию под власть Савойской династии.

256

С. 434. *Даже глаза его разгорелись — о двадцати миллионах франков.* — Присутствовавший при этом эпизоде Н. Н. Страхов в своих воспоминаниях о Достоевском пишет: «Помню до сих пор крупного француза, первенствовавшего в разговоре и, действительно, довольно неприятного. Но речам его придана в рассказе слишком большая резкость; и еще опущена одна подробность: на Федора Михайловича так подействовали эти речи, что он в гневе ушел из столовой, когда все еще сидели за кофе» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 244–245).

257

С. 434. *Хаптурки* — грабители; слово образовано Достоевским от просторечного «хаптура», что означает награбленное имущество.

258

С. 436. *…во Франции всё началось с Людовика XIV.* — Правление (1643–1715) французского короля Людовика XIV (1638–1715) ознаменовалось укреплением абсолютизма. Литература этой эпохи, основным направлением которой был классицизм, а также нравы французского дворянского общества оказали широкое воздействие на культурную и общественно-политическую жизнь европейских стран XVII–XVIII вв.

259

С. 436. *…как это во Франции могли случиться все эти маленькие шалости…* — Речь идет о французской буржуазной революции XVIII в.

260

С. 436. …*припоминает Тьера, Гизо, Одилона Барро.* — Адольф Тьер (1797–1877) — французский государственный деятель, историк, по профессии адвокат. Достоевский имеет в виду его парламентскую деятельность при Луи Филиппе (1830–1851). 1851–1863 гг. — период, когда Тьер временно отстранился от политической деятельности. Франсуа Пьер Гийом Гизо (1787–1874) — французский историк и политический деятель, начавший свою карьеру при Наполеоне I; вышел в отставку после февральской революции 1848 г. Одилон Барро (1791–1873) — французский государственный деятель 1830-1840-х годов.

261

С. 437. *…в законодательном корпусе содержится шесть либеральных депутатов…* — Обсуждение политики правительства в законодательном корпусе (т, е. в парламенте) стало возможным после специального декрета, изданного Наполеоном III 24 ноября 1860 г. Буржуазно-республиканская оппозиция в законодательном корпусе была представлена «группой пяти». Пародируя ход заседания и прения во французском парламенте, Достоевский оперировал главным образом фактами, сообщавшимися в политическом обозрении мартовского номера «Времени» за 1862 г. (с. 9-41). Утверждение Достоевского, что в законодательном корпусе только шесть либеральных депутатов, также, очевидно, почерпнуто оттуда (там же. С. 17). Общая характеристика законодательного корпуса как послушного орудия в руках Наполеона III перекликается с точкой зрения В. Гюго, выраженной им в памфлете «Наполеон малый» (1852) (см.: *Дороватовская-Любимова В.* Париж Второй империи в пародии Достоевского // Литературный критик. 1936. № 9. С. 206).

262

С. 438. *Принц Наполеон*, Жозеф Бонапарт (1822–1891) — двоюродный брат Наполеона III, сенатор; выступал с речами, рассчитанными на сенсационный успех.

263

С. 440. *Jules Favre* — Жюль Фавр (1809–1880), французский политический деятель, адвокат по профессии. С конца 1850-х годов — один из лидеров буржуазно-республиканской оппозиции. Отрывок из судебной речи — пародия на ораторский стиль Ж. Фавра (см.: *Дороватовская-Любимова В.* Париж Второй империи в пародии Достоевского. С. 206–207).

264

С. 440. *В своих трагедиях он достигнул великого, хотя Франция уже имела Корнеля.* — Первая трагедия Вольтера (1694–1778) «Эдип» (1718) сделала его знаменитым и заставила говорить о нем как о достойном преемнике Корнеля (1606–1684), крупнейшего представителя классической трагедии.

265

С. 440. ..*Jean Jacques, l'homme de la nature et de la vérité!* — Источником для этого сжатого определения личности Жан-Жака Руссо (1712–1778) являются следующие слова из первой книги его «Исповеди» (1782–1789): «Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi» (Я хочу показать своим собратьям человека в его истинной природе — и этим человеком буду я). Пользуясь этой декларацией Руссо для обобщенной его характеристики, Достоевский, вероятно, следовал примеру Гейне. Говоря о том, что никому не удавалось до сих пор написать искреннюю автобиографию, Гейне в десятой части второго тома французского издания своей книги «О Германии» («Признания», 1853–1854) добавлял: «…ni le Genevois Jean-Jacques Rousseau; surtout ce dernier qui, tout en s'appelant l'homme de la vérité et de la nature, n'était au fond pas moins mensonger et dénaturé que les autres» (…ни женевцу Жан-Жаку Руссо, — в особенности последнему, который, называя себя человеком природы и правды, в сущности, был не менее лжив и извращен, чем другие).

266

С. 440. *Из этих двух великих людей — называл первого просто дураком.* — Разногласия между Руссо и Вольтером усугублялись их взаимной антипатией. Руссо разоблачил Вольтера как «антихристианина» в «Письмах с горы» (1764); последний ответил памфлетом «Мнение граждан» (1764) и сделал Руссо героем сатирической поэмы «Гражданская война в Женеве» (1768).

267

С. 441. *Маршал Ланн* — Жан Ланн, герцог де Монтебелло (1769–1809), один из выдающихся полководцев наполеоновской армии.

268

С. 442. *Буржуа, если заговорит высоким слогом — моя жена…* — На эту характерную черту речи французского буржуа до Достоевского обратил внимание Бальзак, который в очерке 1840 г. «Бакалейщик» (2-й вариант) писал: «В каком квартале ни производили бы вы опыт, никогда бакалейщик не произнесет легкомысленно: „моя жена“, но скажет: „моя супруга“. В словах „моя жена“ подразумеваются нелепые, странные, низкопробные идеи, подменяющие божественное создание вещью. У дикарей — жены, а у цивилизованных народов — супруги».

269

С. 445. *Блазированный* — пресыщенный *(франц.* blasé).

270

С. 445. *Le Russe est sceptique et moqueur — не принадлежа ни к какой нации.* — Достоевский имеет в виду, в частности, ряд замечаний о русских, высказанных французским путешественником А. де Кюстином в книге «Русские в 1839» (ср.: La Russie en 1839/Par le Marguis de Custine, 2-e éd. Paris, 1843. V. 1. P. 303; V. 2. P. 90, 100 etc.). В 1847 г. в серии фельетонов «Петербургская летопись» Достоевский полемизировал с книгой Кюстина (см.: наст. изд. Т. 2).

271

С. 446. *…я не претендую, как Лесажев бес, снимать крыши с домов.* — Речь идет об Асмодее, персонаже романа французского писателя Алена Рене Лесажа (1668–1747) «Хромой бес» (1707). Достоевский вспомнил этот роман не случайно. Лесаж изобразил замаскированными под испанцев французских буржуа, которые, с его точки зрения, не что иное, как «воры из третьего сословия», и аристократов, погрязших в паразитической и распутной жизни.

272

С. 448. *Мелодрама не умрет, покамест жив буржуа.* — Пародийная характеристика французской драматургии времен Наполеона III, типичными представителями которой были Эмиль Ожье (1820–1889), Викторьен Сарду (1831–1908), Франсуа Понсар (1814–1867), совпадала с оценкой творчества этих писателей в статьях Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и авторов, напечатавших свои обзоры в журнале «Время» (см., напр.: *Бибиков А. П.* Как решаются нравственные вопросы современной французской драмой // Время. 1862. № 2).

273

С. 454. *Покиватель* — Это слово, очевидно, образовано Достоевским от просторечного «киватель»; так назывался человек, который кивает головой, перемигивается или дает скрытно знаки кому-либо (см.: *Даль В. И.* Толковый словарь… 2-е изд. СПб.; М., 1882. Т. 2. С. 106).

274

С. 455. …*«всего прекрасного и высокого»*… — Сочетание понятий «прекрасное и высокое» восходит к эстетическим трактатам XVIII в. (см., например: *Бёрк Э.* Философское исследование о происхождении наших представлений о высоком и прекрасном (1756); *Кант И.* Наблюдение над чувством высокого и прекрасного (1764) и др.). После переоценки эстетики «чистого» искусства в 1840-1860-х годах это выражение приобрело иронический оттенок.

275

С. 458. …*l'homme de la nature et de la vérité.* — См. примеч. к с. 440.

276

С. 460. *Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел…* — Интерес к вопросу о происхождении человека в начале 1864 г. обострился в связи с выходом в Петербурге в русском переводе книги последователя эволюционной теории Ч. Дарвина Томаса Генри Гексли (1825–1895) «О положении человека в ряду органических существ». Не исключена возможность, что эта фраза героя является откликом на вызывавшие полемику статьи В. А. Зайцева, в которых он вслед за К. Фохтом писал о происхождении разных рас людей от различных пород обезьян (см.: *Зайцев В.* Избр. соч. М., 1934. Т. 1. С. 497–498).

277

С. 461. *…со всевозможными Вагенгеймами — перестанут болеть ваши зубы…* — Речь идет о зубных врачах Вагенгеймах (см. с. 478). Судя по «Всеобщей адресной книге Санкт-Петербурга», в середине 1860-х годов в Петербурге было восемь зубных врачей по фамилии Вагенгейм; вывески, их рекламирующие, были распространены по всему городу.

278

С. 461. *…как человек, «отрешившийся от почвы и народных начал», как теперь выражаются.* — Выражение, взятое в кавычки, характерно для статей журналов «Время» и «Эпоха». Ср., например, объявления об издании журнала «Время» в 1861, 1862, 1863 гг. или статью Ф. М. Достоевского «О новых литературных органах и о новых теориях» (1863).

279

С. 462. *Шенапан* — негодяй *(франц.* chenapan).

280

С. 465. *Художник, например, написал картину Ге. — Автор написал «как кому угодно»…* — Здесь полемический выпад против М. Е. Салтыкова-Щедрина, напечатавшего сочувственный отзыв о картине Н. Н. Ге (1831–1894) «Тайная вечеря» (см.: Современник. 1863. № 11. «Наша общественная жизнь»). Эта картина, показанная впервые на осенней выставке Академии художеств в 1863 г., вызвала разноречивые толки. Впоследствии Достоевский упрекал Н. Н. Ге в преднамеренном смешении «исторической и текущей» действительности, отчего, по его мнению, «вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм» (Дневник писателя, 1873, «По поводу выставки»). «Как кому угодно» — статья Щедрина, напечатанная в «Современнике» за 1863 г. (№ 7).

281

С. 465. *Сандальный нос* — нос пьяницы.

282

С. 467. *…ну хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается…* — В двухтомном труде английского историка и социолога Генри Томаса Бокля (1821–1862) «История цивилизации в Англии» высказана мысль, что развитие цивилизации ведет к прекращению войн между народами (см.: *Бокль Т.* История цивилизации в Англии. СПб., 1863. Т. 1. С. 141–146).

283

С. 467. *Вот вам Наполеон — и великий, и теперешний.* — Имена французских императоров — Наполеона I (1769–1821) и Наполеона III (1808–1873) — названы в связи с тем, что периоды правления того и другого ознаменовались большим количеством войн, которые вела Франция.

284

С. 467. *Вот вам Северная Америка…* — В 1861–1865 гг. в Северной Америке шла война против поднявших мятеж рабовладельческих штатов Юга, сопротивлявшихся отмене рабства.

285

С. 467. *Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольдштейн…* — Немецкое герцогство Шлезвиг-Гольштиния с 1773 г. фактически стало провинцией Дании. В 1864 г. шла прусско-датская война, закончившаяся присоединением этой территории к Пруссии.

286

С. 468. …*Атиллы да Стеньки Разины…* — Атилла (?—453) — вождь племени гуннов, возглавлявший опустошительные военные походы на территории Римской империи, Ирана и Галлии. Степан Тимофеевич Разин (ок. 1630–1671) — донской казак, возглавивший крестьянскую войну в России 1667–1671 гг.

287

С. 468. *Клеопатра* (69–30 до н. э.) — царица Египта из династии Птолемеев; имя ее часто упоминалось в русской печати в 1861 г. (см. статью Ф. М. Достоевского «Ответ „Русскому вестнику“» (1861)).

288

С. 468. *…он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши…* — Имеется в виду следующее рассуждение французского философа-материалиста Дидро (1713–1784) в его сочинении «Разговор Даламбера и Дидро» (1769): «Мы — инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства — клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа и которые часто сами по себе ударяют».

289

С. 469. *Тогда выстроится хрустальный дворец.* — См. примеч. к с. 416. Полемический намек на «Четвертый сон Веры Павловны» в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Там описано «чугунно-хрустальное» здание-дворец, в котором, как это представлялось и Ш. Фурье (см. его «Теорию всемирного единства», 1841), живут люди социалистического общества. Моделью для изображения этого дворца послужил хрустальный дворец в Лондоне.

290

С. 469. *…прилетит птица Каган…* — по народному преданию, эта легендарная птица приносит людям счастье.

291

С. 472. *…колосс Родосский — г-н Анаевский свидетельствует о нем…* — Колосс Родосский — бронзовая статуя Гелиоса, бога солнца, высотою в 32 м, изваянная в 280 г. до н. э. и считавшаяся одним из семи чудес света; стояла в гавани древнегреческого города Родоса. А. Е. Анаевский (1788–1866) — автор литературных поделок, бывших предметом постоянных насмешек в журналистике 1840-1860-х годов, — в брошюре, названной им «Энхиридион любознательный» (СПб., 1854), писал: «Колосс Родосский созижден, некоторые писатели уверяют, Семирамидою, а другие утверждают: он воздвигнут не рукою человеческою, а природою» (с. 96).

292

С. 478. *…хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу!* — Полемический намек на выражение, встречающееся в книгах французского социалиста-утописта, ученика Ш. Фурье, В. Консидерана (1808–1893): «Несу свой камень для здания будущего общества». Слова эти, полемизируя с социалистами-утопистами, повторяют в романе Достоевского «Преступление и наказание» Разумихин (ч. III, гл. V) и Раскольников (ч. III, гл. VI).

293

С. 480. …*Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны — Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди…* — Во втором томе изданной во Франции книги «О Германии», в «Признаниях» (1853–1854), Гейне писал: «Составление собственной характеристики было бы работой не только неудобной, но попросту невозможной <…> при всем желании быть искренним, ни один человек не может сказать правду о самом себе». Там же Гейне утверждал, что Руссо в своей «Исповеди» «делает лживые признания для того, чтобы скрыть под ними истинные поступки» или из тщеславия (ср. примеч. к с. 440).

294

С. 482. *По поводу мокрого снега.* — Еще П. В. Анненков, критик и мемуарист, в статье «Заметки о русской литературе» (1849) отметил, что «сырой дождик и мокрый снег» являются непременными элементами петербургского пейзажа в повестях писателей «натуральной школы» и их подражателей.

295

С. 484. *…охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами…* — Образцовый хозяин — помещик Костанжогло изображен Гоголем во втором томе «Мертвых душ». Петр Иванович Адуев — из романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (1847), воплощение здравого смысла и практической деловитости.

296

С. 485. *…свезут в сумасшедший дом в виде «испанского короля»…* — Испанским королем считал себя безумный Поприщин в повести Гоголя «Записки сумасшедшего» (1835).

297

С. 487. *…офицер вершков десяти росту…* — По установившейся традиции в XIX в. рост обозначался вершками, которые отмерялись сверх двух аршин. Следовательно, рост этого офицера — около 186 см.

298

С. 487. *…как поручик Пирогов у Гоголя, — по начальству.* — Поручик Пирогов в повести Гоголя «Невский проспект» (1835), после того как он был высечен оскорбленным мужем — немцем ремесленником, хотел жаловаться генералу и одновременно «подать письменную просьбу в Главный штаб».

299

С. 487. *Штафирка* — подкладка или борт подкладки в ботинках, юбках; здесь — презрительное наименование штатских *(нем.* stafieren — отделывать).

300

С. 488. *…в абличительном виде…* — «Абличительный» вместо «обличительный» здесь и ниже употреблено в ироническом смысле; ср. с. 360.

301

С. 489. *Мизер* — нищета, убожество *(франц.* misère).

302

С. 490. *Суперфлю (франц.* superflu — лишний, бесполезный) — здесь: изысканная; в этом смысле это слово было употреблено Ноздревым в «Мертвых душах» Гоголя (см. примеч. к с. 401).

303

С. 490. …*бонтоннее*… — более соответствующее вкусу хорошего общества *(франц.* bon ton — хороший тон).

304

С. 494. *…получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий…* — Эта мечта «подпольного» героя возродилась позднее в «ротшильдовской» идее Подростка, который тоже хотел, скопив огромное богатство и насладившись могуществом, отдать свои миллионы людям (см.: «Подросток». Ч. 1, гл. 5, III).

305

С. 494. …*чего-то манфредовского*… — здесь: чего-то гордого, возвышенного. Манфред — герой одноименной драматической поэмы Байрона (1817), в которой нашла отражение философия «мировой скорби».

306

С. 494. *…разбиваю ретроградов под Аустерлицем…* — Здесь и далее герой представляет себя в роли Наполеона I. В данном случае имеется в виду победа Наполеона I под Аустерлицем 20 ноября (2 декабря) 1805 г. над объединенными русско-австрийскими войсками. В мечтах героя исследователи обнаружили некоторую перекличку с историей Икара в социально-утопическом романе Кабе «Путешествие в Икарию» (1840). Филантроп-преобразователь в утопии Кабе — также разбивает коалицию королей-ретроградов в битве при Аустерлице (см.: *Комарович В. Л.* Юность Достоевского // Былое. 1924. № 23. С. 37).

307

С. 494. *…папа соглашается выехать из Рима в Бразилию…* — Конфликт Наполеона I с папой Пием VII, в результате которого Наполеон I был отлучен в 1809 г. от церкви, а папа Пий VII в течение пяти лет был фактическим узником французского императора, закончился возвращением в 1814 г. Пия VII в Рим.

308

С. 494. *…бал для всей Италии на вилле Боргезе, что на берегу озера Комо…* — Очевидно, имеется в виду празднование в 1806 г. основания Французской империи, которое было приурочено к 15 августа, дню рождения Наполеона I. Вилла Боргезе в Риме, основанная в первой половине XVIII в., украшенная изящными постройками, фонтанами и статуями, принадлежала в это время Камилло Боргезе, за которым была замужем сестра Наполеона I Полина. Озеро Комо расположено в Итальянских Альпах.

309

С. 494. …*у Пяти углов*… — Место в Петербурге, где сходятся Загородный проспект, Чернышев переулок (ныне ул. Ломоносова), Разъезжая и Троицкая улицы (последняя — ныне ул. Рубинштейна).

310

С. 495. *Акциз* — государственный налог на продукты широкого потребления, в данном случае, очевидно, на вино.

311

С. 497. *Droit de seigneur* — средневековый феодальный обычай, так называемое право первой ночи, по которому крепостная крестьянка обязана была проводить первую брачную ночь со своим господином.

312

С. 508. *…ненавижу клубничку и клубничников.* — Под «клубничкой» гоголевский Ноздрев («Мертвые души») подразумевал любовные похождения. Здесь, возможно, имеется в виду также бульварный листок «Петербургская клубничка. Не для детей», выходивший в 1862 г. и цинично проповедовавший беспринципность.

313

С. 510. *Гальбик* — азартная карточная игра.

314

С. 514–515. …*всё это из Сильвио и из «Маскарада» Лермонтова.* — Сильвио — главный персонаж повести А. С. Пушкина «Выстрел» (1830), вся жизнь которого была посвящена идее мести. В конце повести он восторжествовал над своим противником. В драме «Маскарад» аналогичная роль принадлежит Неизвестному.

315

С. 535. *И в дом мой смело и свободно Хозяйкой полною войди!* — Заключительные строки стихотворения Некрасова «Когда из мрака заблужденья…» (1845).

316

С. 535. …*сложенный ижицей*… — треугольником (ижица — последняя буква церковнославянской и старой русской азбуки, обозначающая звук «и»).

317

С. 536. *Шамбр-гарни (франц.* chambres-garnies) — меблированные комнаты.

318

С. 542. «Жалкие слова» — Цитата из «Обломова» (1859) И. А. Гончарова: так называл Захар назидательные поучения, с которыми обращался к нему его барин (см. ч. 1, гл. 8; ч. 2, гл. 7).

319

С. 546. …*«Живая жизнь»*. — Понятие «живая жизнь» было распространено в литературе и публицистике XIX в. Оно встречается у славянофилов А. С. Хомякова, Ю. С. Самарина, И. В. Киреевского, а также у Тургенева и Герцена. О том, какой смысл вкладывал в это определение Достоевский, в какой-то степени можно судить по словам Версилова в «Подростке» (1875). Он говорит: «…живая жизнь, то есть не умственная и не сочиненная <…> это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное…» *(Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Л., 1975. Т. 13. С. 178 и примеч.; см. также: Т. 17. С. 285–287). Об источнике выражения «живая жизнь» см. статью В. Н. Фойницкого в журнале «Русская речь» (1981. № 2. С. 10–11).

320

С. 551. *Ohé, Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert?* — История возникновения и распространения во Франции этого популярного шуточного обращения, лишенного смысла, изложена в статье М. П. Алексеева «Об одном эпиграфе у Достоевского» (см.: Проблемы теории и истории литературы. М., 1971. С. 367–373). Возглас этот, являющийся, по определению Э. Гонкура, «механическим рефреном», неизменно вызывал смех именно благодаря своей абсурдности, а как эпиграф к рассказу — подчеркивал парадоксальность повествования. Достоевский мог узнать об этом «последнем и блистательном цветке французского остроумия» из русских газет. Об этом см.: *Орнатская Т. И.* «Крокодил» (Дополнения к комментарию) // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1987. Вып. 7. С. 169–171.

321

С. 554. *…о майн аллерлибстер Карльхен! Муттер… (нем.* O mein allerliebster Karlchen! Mutter!) — о мой милейший Карльхен! Матушка!

322

С. 555. *Ганц* — весь *(нем.* ganz).

323

С. 555. *Унзер Карльхен — вирд штербен! (нем.* Unser Karlchen — wird sterben!) — Наш Карльхен, наш милейший Карльхен умрет!

324

С. 555. …*дас вар мейн зон — айнцигер зон! (нем.* das war mein Sohn — einziger Sohn!) — это был мой сын, это был мой единственный сын!

325

С. 555. *…господин Лавров читал публичную лекцию…* — Петр Лаврович Лавров (1823–1900), ученый и философ, один из вождей и теоретиков революционного народничества, выступал с публичными лекциями в зале Пассажа в пользу Литературного фонда. Особенный общественный резонанс имели его три лекции «О современном значении философии», прочитанные в ноябре 1860 г.

326

С. 555. *…карикатура г-на Степанова.* — Николай Александрович Степанов (1807–1877) — художник-карикатурист, редактор и издатель сатирических журналов демократического направления «Искра» и «Будильник».

327

С. 556. *…не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах.* — Намек на следующее рассуждение В. Зайцева, содержащееся в его рецензии на книгу Я. Молешотта «Учение о пище», напечатанной в 8-й книжке «Русского слова» за 1863 г.: «…люди, принужденные обстоятельствами питаться веществами, содержащими в себе самое ничтожное количество фосфорного жиру <…> обнаруживают самое вредное влияние на умственные способности».

328

С. 557. *Фуфциг* — пятьдесят *(нем.* fünfzig).

329

С. 557. *Гот зей данк!* — слава богу! *(нем.* Gott sei dank!).

330

С. 559. …*в «Петербургских известиях» и в «Волосе»*. — Имеются в виду газеты «С.-Петербургские ведомости», редактировавшиеся в 1863–1874 гг. В. Ф. Коршем, и «Голос», редактором-издателем которого был А. А. Краевский.

331

С. 561. *…в Швейцарию… на родину Вильгельма Телля.* — См. примеч. к с. 426.

332

С. 564. *«Сын отечества»* — ежедневная политическая, литературная и ученая газета, основанная в 1862 г. в Петербурге.

333

С. 568. …*буду новый Фурье*. — Шарль Фурье (1772–1837), французский социалист-утопист, идеи которого обсуждались в русских журналах начала 1860-х годов особенно оживленно после выхода в светромана Чернышевского «Что делать?».

334

С. 569. *…хуже какого-нибудь Гарнье-Пажесишки…* — Луи Антуан Гарнье-Пажесс (1803–1878) — французский буржуазный политический деятель, участник революций 1830 и 1848 гг., с 1864 г. — член законодательного корпуса.

335

С. 569. *Пандан* — подобие, соответствие *(франц.* pendant).

336

С. 569. *…энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского…* — См. Е. И. Кийко. Комментарии: Ф.М.Достоевский. Скверный анекдотпримеч. к с. 360.

337

С. 569. *Premier-политик,* (от *франц.* — первый) — здесь: передовая статья.

338

С. 570. *…если справедливо называют Андрея Александровича нашим русским Альфредом де Мюссе…* — Сравнение издателя-дельца А. А. Краевского с французским поэтом-романтиком А. Мюссе (1810–1857) имеет иронический смысл.

339

С. 570. *Евгения Тур* — псевдоним русской писательницы и автора публицистических статей Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир (урожд. Сухово-Кобылина, 1815–1892), в литературном салоне которой собирались писатели и ученые.

340

С. 573. *Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок…* — Измененная цитата из повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница» (1802). У Карамзина: «Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок: а нет порядка без власти самодержавной».

341

С. 576. *Гоф-рат* — здесь: чиновник *(нем.* Hofrat — надворный советник).

342

С. 580. …*«Листок», газетка без всякого особого направления…* — Имеется в виду «Петербургский листок. Газета городской жизни и литературы», основанный в 1864 г. и выходивший ежедневно.

343

С. 581. *Борель* — владелец дорогого ресторана в Петербурге, славившегося изысканной кухней.

344

С. 581. *Ихневмон* — хищное млекопитающее, обитает в приречных зарослях тростника Северной Африки и Передней Азии.

345

С. 581. *Французы, наехавшие с Лессепсом…* — Речь идет о пребывании французского инженера-дельца и дипломата Фердинанда Мари Лессепса (1805–1894) в Африке в связи с началом в 1859 г. работ по прорытию Суэцкого канала.

346

С. 587. *Тонировал* — задавал тон.

347

С. 588. *Монсиньор* — с XIX в. титул католических архиепископов (и епископов) во Франции.

348

С. 588. *…в канцелярию посольства святейшего отца в Париже…* — Рим был до 1870 г. административным центром Папской области, которая имела своих дипломатических представителей в других государствах.

349

С. 588. *«Opinion nationale»* — французская ежедневная политическая газета, орган либеральных бонапартистов, основана в 1859 г. А. Герулем (Ad. Gueroult); выходила в Париже до 1879 г.

350

С. 590. *…отрывки из «Записок» генерала Перовского…* — В отрывке «Из записок» Перовского рассказывается, что во время отступления из Москвы в 1812 г. французы расстреливали русских пленных, отстававших от колонны из-за слабости и истощения (Рус. архив. 1865. № 3. С. 278–279). Василий Алексеевич Перовский (1794–1857) — граф, генерал-адъютант, участник Отечественной войны 1812 года, позднее — оренбургский военный генерал-губернатор.

351

С. 602. *Шато* — замок *(франц.* château).

352

С. 606. *Фатер* — отец *(нем.* Vater).

353

С. 607. …*барон Ротшильд или Гоппе и Комп.*… — Джемс Ротшильд (1792–1868) — Глава банкирского дома. Гоппе — очевидно, Глава банкирского дома в Амстердаме.

354

С. 612. …*nemyx, le coq gaulois.* — Галльский петух — символ Франции и французской национальности.

355

С. 615. *Это баронесса Вурмергельм.* — Возможно, что баронессе была дана фамилия Вурмергельм по ассоциации с фамилией секретаря президента Вурма, одного из самых отрицательных героев драмы Шиллера «Коварство и любовь» (см.: *Альтман М. С.* Иностранные имена героев Достоевского // Русско-европейские литературные связи. М.; Л., 1966. С. 21).

356

С. 617. *Гейн!* — убирайтесь! *(нем.* gehen).

357

С. 633. *…с историческим именем что-то вроде Барберини…* — Барберини — знаменитая римская княжеская фамилия, представители которой завоевали известность еще в XIII в.

358

С. 649. …*стол с trente et quarante*… — Стол для карточной игры «тридцать и сорок» (см. с. 690).

359

С. 667. *Du lait, de l'herbe — et la vérité!* — Об этом Достоевский писал в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (см. с. 447).

360

С. 669. *Фурор* — ярость, неистовство *(франц.* fureur, *итал.* furore).

361

С. 675. *…романы Поль де Кока…* — Шарль Поль де Кок (1794–1871) — французский писатель, автор нравоописательных романов из жизни буржуазии, широко популярных в середине XIX в.

362

С. 675. *Лайдак* — негодяй, мошенник *(польск.* łaidak).

363

С. 680. …*как шут Балакирев.* — Имеется в виду Иван Александрович Балакирев (1699–1763). Приписываемые ему анекдоты вышли в Москве в 1839 г. отдельной книжкой и пользовались широкой известностью.

364

С. 688. …*madame Blanchard*… — Мари Бланшар (1778–1819) — жена одного из первых воздухоплавателей, неоднократно сама поднималась в воздух; погибла во время пожара, возникшего на воздушном шаре от пламени фейерверков, которые она пускала.

365

С. 699. *Mon fils, as-tu du coeur — Tout autre…* — реплики героев в трагедии Корнеля «Сид» (1636) (см. д. I, явл. 5).

366

С. 700. …*et après le déluge!* — См. примеч. к с. 423.

367

С. 704. *Гомбург* — до 1866 г. главный город ландграфства Гессен-Гомбург, один из наиболее модных в то время немецких курортов. До начала 1870-х годов в нем существовали игорные дома, которые Достоевский посещал во время пребывания в этом городе в октябре 1863 г. (см.: *Суслова А. П.* Годы близости с Достоевским. С. 66–67) и в мае 1867 г. (см. письмо к А. Г. Достоевской от 5 (17) мая 1867 г.).

368

С. 705. *Thérèse-philosophe*. — Имеется в виду героиня книги эротического содержания «Thérèse-philosophe, ou Mémoires pour servir à l'histoire de D. Dirrag et de m-lle Eradice» (La Haye, 1748. 2 parties), которая упоминается также в черновых планах «Бесов» и «Жития великого грешника». Книга вышла анонимно. Высказывались предположения, что ее автором мог быть Монтиньи (Montigny) или маркиз Д'Аржан (I.-B. de Boyer d'Argens). См.: Dictionnaire des ouvrages anonymes / Par A.-E. Barbier. Paris. 1964. V. 4. P. 707.